This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

P Slav
176
25

Bd Dec. 1885.

Harvard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT

(Class of 1828).

Received 26 Sept. — 26 Oct. 1885.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ-

ЛИТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 9-я.

СЕНТЯБРЬ, 1885.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія М. М. Стасюлевича, В. О., 2 лин., 7.

КНИГА 9-я. — СЕНТЯБРЬ, 1885.

Стр.

I.—РЕФОРМАЦІЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦІЯ ВЪ ПОЛЬШѢ.—III. Внутренняя политика въ Польшѣ и реформація въ другихъ странахъ.—IV. Возникновеніе реформаціоннаго движенія въ Польшѣ и отношеніе къ нему государственной власти.—**Н. Карѣева** 5

II.—ВЪ НЕПОЧАТОМЪ УГЛУ.—Замѣтки обывателя.—XI-XIX.—Окончаніе.—**Н. Н.** 49

III.—ПЕССИМИЗМЪ И ПРОГРЕССЪ.—IV-VIII.—Окончаніе.—**А. Красносельскаго.** 88

IV.—РОБЕРТЪ ШУМАНЪ.—III-IV.—Окончаніе.—**П. А. Трифонова** 123

V.—ВСЕСОСЛОВНАЯ СЕМЬЯ.—Разсказъ изъ лѣтописей одного благонамѣреннаго сближенія.—I-III.—**Н. Д. Ахшарумова** 157

VI.—ВЪ ВОЛОСТНЫХЪ ПИСАРЯХЪ.—XIII-XVII.—Окончаніе.—**Н. А—рева** . . . 190

VII.—ВЪ ПАНЦЫРѢ ВЕЛИКАНА.—Романъ Ф. Ансти.—Съ англійскаго.—I-VIII.—**А. Э.** 246

VIII.—ФИЛОСОФІЯ ДОНЪ КИХОТА.—**Н. И. Стороженко** 307

IX.—ОБЗОРЪ МАЛОРУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ.—II.—Н. И. Срезневскій.—**А. Н. Пыпина** 325

X.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Общій желѣзно-дорожный уставъ.—Сравненіе его съ первоначальнымъ проектомъ коммиссіи гр. Э. Т. Баранова.—Неразрѣшенные и неудовлетворительно разрѣшенные вопросы.—Достоинства новаго закона.—Перемѣны въ учрежденіи судебныхъ установленій; высшее дисциплинарное присутствіе сената.—Еще нѣсколько словъ по поводу банковъ крестьянскаго и дворянскаго 351

XI.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Свиданія монарховъ въ Гаштейнѣ и въ Кремзирѣ.—Австро-германская дружба.—Отношенія между Германіею и Россіею.—Политическая роль Англіи и мирныя нѣлія въ Европѣ.—Приготовленія къ парламентскимъ выборамъ.—Положеніе дѣлъ во Франціи.—Ссора нѣмцевъ съ испанцами изъ-за колоніальнаго недоразумѣнія.—Колоніальные захваты и ихъ условія 375

XII.—СЪѢЗДЪ ГЕРМАНСКИХЪ АНТРОПОЛОГОВЪ.—**М. И. Кулишера** 389

XIII.—НОВЫЙ ТОМЪ КНИГИ МАРКСА.—**Л. С—скаго** 400

XIV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Учебникъ логики, проф. М. Троицкаго.—Международная хлѣбная торговля, П. Георгіевскаго.—Труды коммиссіи при Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ.—Матеріалы къ медицинской географіи и статистикѣ Россіи, Г. М. Герценштейна.—**Л.**—Закавказскіе сектанты, Николая Дингельштедтъ.—Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго, В. Зеленскаго.—Русское правописаніе, акад. Я. К. Грота.—**А. В.** 405

XV.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Русская печать о Финляндіи.—Представленія, возстающія изъ могилы.—„Русь“ и берлинскій трактатъ.—„Хорошіе“ и „дурные“ учебники.—Наказаніе, идущее вслѣдъ за преступленіемъ.—Кому у насъ весело?—Отставки городскихъ головъ въ Ревелѣ и Ригѣ 420

XVI.—ИЗВѢЩЕНІЕ.—Отъ Общества Любителей Россійской Словесности при Московскомъ университетѣ 432

XVII.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—В. Н. Латкинъ. Земскіе соборы древней Руси.—Полное собраніе сочиненій Я. П. Полонскаго. Изд. Ж. А. Полонской.—Словарь практическихъ свѣдѣній. Изд. д-ра Л. Симонова.—Архивъ князя Воронцова.—Методы изслѣдованія низшихъ организмовъ. Л. Л. Гейденрейха.—Отчетъ по главному тюремному управленію за 1883 годъ.—1885 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ.—Полный курсъ коммерческой корреспонденціи. С. М. Барана.

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстника Европы“ въ 1885 г., см. ниже, на оберткѣ.

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ V.

ГОДЪ XLIX. — ТОМЪ CCLXXXIX. — 1/13 СЕНТЯБРЯ, 1885.

30-1-

ВѢСТНИКЪ
ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ ПОЛИТИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

СТО-ПЯТНАДЦАТЫЙ ТОМЪ

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ V

РЕДАКЦІЯ ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ": ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:
на Васильевскомъ Острову, 2-я линія, № 7.

Экспедиція журнала:
на Вас. Остр., Академич. переулокъ, № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1885

~~121.84~~
~~Slav 30.7~~
1885, Sept. 26 — Oct 26.
Φ Slav 176.25
Bibl. fund.

(1060)

ЕР23885

РЕФОРМАЦІЯ

и

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦЯ ВЪ ПОЛЬШѢ

III *).

Внутренняя политика въ Польшѣ и реформація въ другихъ странахъ.

Политическая сторона польской реформаціи. — Борьба шляхты съ духовенствомъ. — Сеймы между 1552 и 1565 годами. — Протестантскіе послы на этихъ сеймахъ. — Политическія партіи въ Польшѣ по представленію Шуйскаго. — „Направа Рѣчи Посполитой“ и „Экзекуція правъ“. — Заключеніе отъ причинъ къ слѣдствіямъ. — Сравненіе польской реформаціи съ нѣмецкой и французской. — Королевскія реформаціи въ скандинавскихъ государствахъ. — Дорога Генриха VIII. — Католическая реакція въ Польшѣ и въ Испаніи.

Отрицая за внѣшнимъ положеніемъ польской націи и государства по отношенію къ католической церкви и римской куріи особое вліяніе на возникновеніе и развитіе протестантизма въ Рѣчи Посполитой, не обнаруживая ни малѣйшаго признака религіознаго броженія въ народныхъ массахъ, не видя никакихъ особенныхъ поводовъ къ тому, чтобы королевская власть могла серьезно столкнуться съ апостольскимъ престоломъ, мы, кромѣ причинъ реформаціи, лежавшихъ въ степени и характерѣ умственнаго развитія польской шляхты, главное вниманіе должны обратить на борьбу между „рыцарствомъ“ и клиромъ за преобладаніе

*) См. выше: августъ, стр. 523.

въ государствѣ. Борьба эта замѣчательна по своей продолжительности и по своей напряженности. Начало ея нужно отнести къ концу XIV вѣка; наибольшей силы достигла она во второй половинѣ XVI столѣтія. Въ исторіи мы постоянно имѣемъ дѣло съ воздѣйствіемъ слѣдствій на причины, взаимодѣйствіемъ общественныхъ движеній, имѣвшихъ вначалѣ разные источники. Такъ было и здѣсь: ненависть шляхты къ духовенству, о которой говоритъ въ серединѣ XV в. Янъ Остророгъ, способствовала подчиненію шляхты анти-клерикальнымъ вліяніямъ гуситства, гуманизма, протестантизма, и въ свою очередь новыя идеи, которыя приносило съ собою каждое изъ этихъ движеній, только подливали масла въ огонь, обостряли борьбу, давали ей руководящіе принципы и привлекали къ старымъ предметамъ спора новые и новые. Но во всякомъ случаѣ самая борьба шляхты противъ духовенства — въ польской исторіи явленіе болѣе старое, нежели гуситскія, гуманистическія, а тѣмъ болѣе протестантскія вліянія. Если однако не реформація вызвала эту борьбу и скорѣе сама была отчасти и въ весьма значительной мѣрѣ ею вызвана, то съ другой стороны едва ли произошло бы такое обостреніе во взаимныхъ отношеніяхъ обоихъ сословій, какое мы видимъ на сеймахъ середины XVI в., именно безъ особаго вліянія протестантизма. А это очень важно: во внутренней политикѣ Польши были другіе вопросы, которые стали бы, конечно, иначе рѣшаться, не будь этого взаимнаго ожесточенія между епископами, засѣдавшими въ сенатѣ, и „послами“ шляхты, собиравшимися на сеймы; и такого ожесточенія не было бы, не произойди въ обществѣ религіознаго раскола, какъ бы равнодушно ни относились епископы къ „ереси“ и какъ ни мало было настоящаго религіознаго одушевленія въ протестантской шляхтѣ. Во внутренней исторіи Польши борьба эта имѣла громадное значеніе: она была одной изъ причинъ реформаціи со всѣми ея слѣдствіями, она осложняла рѣшеніе вопроса о „направѣ Рѣчи Посполитой“, она съуживала постановку религіознаго вопроса, имѣвшаго и другіе raisons d'être, она заслоняла болѣе важные для всего бытія государства интересы. Сословный характеръ польскаго протестантизма, объясняющійся изъ того направленія, которое приняла вся дѣятельность шляхты, и столкновеніе двухъ сословій, отодвигавшее на задній планъ рѣшеніе важныхъ государственныхъ вопросовъ съ обще-политическимъ значеніемъ, стоятъ въ связи между собою и опредѣляютъ направленіе внутренней политики Рѣчи Посполитой. Мы видѣли, что въ реформаціонномъ движеніи XVI в., кромѣ элементовъ религіознаго протеста противъ католицизма и причинъ оппозиціи

противъ куріи и клира изъ-за чисто мірскихъ побужденій, была и чисто политическая или соціальная сторона. То же было и въ Польшѣ, такъ какъ реформаціонное движеніе совпало здѣсь съ эпохой разложенія средневѣкового строя Польши, когда она должна была выработать себѣ новую политическую организацію: должны были опредѣлиться взаимныя отношенія королевской власти, „можновладства“ и шляхетскихъ сеймовъ, и это могло бы произойти при помощи реформаціи, но вышло такъ, что реформація, принявъ характеръ сословной борьбы между шляхтой и духовенствомъ, скорѣе только мѣшала, чѣмъ помогала. Католическіе историки вольны видѣть въ этомъ печать проклятія, лежащую на протестантизмѣ вообще, но на самомъ дѣлѣ реформація для политической жизни народовъ имѣла самыя разнообразныя слѣдствія, смотря по своему характеру и по обстоятельствамъ, съ которыми ей приходилось имѣть дѣло. Съ другой стороны, сочувствіе безпристрастнаго, но не безстрастнаго историка къ прогрессивнымъ сторонамъ европейской реформаціи XVI вѣка, которую протестантскіе писатели не въ мѣру восхваляютъ, приписывая ей всякое добро въ жизни народовъ, не должно отуманивать взгляда историка передъ тѣми явленіями, въ коихъ реформація, принявъ извѣстный характеръ и попавъ въ извѣстныя условія, въ одномъ какомъ-либо отношеніи или во многихъ мѣшала націи и государству идти по правильному историческому пути.

Польская реформація не вытекала изъ причинъ національно-политическихъ и прошла безслѣдно для „направы Рѣчи Посполитой“: она возникала въ антагонизмѣ двухъ привилегированныхъ сословій и способствовала только установленію между ними дальнѣйшаго modus vivendi. Въ исторіи связь ея съ „направой Рѣчи Посполитой“, вопросъ о которой былъ давно уже поставленъ и былъ предметомъ извѣстнаго намъ трактата Яна Остророга изъ середины XV в., была болѣе внѣшняя; во внутренней связи реформаціонное движеніе находилось съ борьбою между шляхтой и духовенствомъ, которая, какъ мы сказали, началась въ концѣ XIV в. и тянулась потомъ черезъ весь XV и XVI вѣка [1]). Первый серьезный споръ возникъ изъ-за десятины, которая и въ другихъ странахъ служила поводомъ къ недоразумѣніямъ между землевладѣльцами и духовными лицами, собиравшими этотъ на-

[1]) Изъ общихъ историковъ польской реформаціи на эту борьбу обратили особое вниманіе Закржевскій (для XVI в.) и особенно Любовичъ (и для болѣе ранней эпохи, стр. 25—42). См. также Romanowski: Otia Cornicensia, и мою статью „Борьба шляхты съ духовенствомъ на польскихъ сеймахъ середины XVI в.“, написанную на основаніи сеймовыхъ дневниковъ, или діаріевъ („Юридич. Вѣстн.“ 1881).

логъ въ пользу церкви. Кромѣ того, и по поводу компетенціи церковнаго суда происходили недоразумѣнія. Въ серединѣ XIV в. все это было улажено, по крайней мѣрѣ, въ Малой Польшѣ полюбовнымъ соглашеніемъ между шляхтой и духовенствомъ, но оно не вошло въ жизненную практику, и недоразумѣнія постоянно возобновлялись. Въ началѣ XV в. шляхта дѣлаетъ первую попытку провести принципъ вольности и въ свои отношенія къ клиру: піотрковскій съѣздъ 1406 г. постановляетъ о „вольной десятинѣ“ (decima libera), т.-е. о правѣ шляхтича отдавать десятину такому духовному лицу, какому заблагоразсудитъ, и о подчиненіи тяжбъ изъ-за десятины „земскому“, а не церковному суду; далѣе, по тому же рѣшенію шляхты, духовное лицо, добившееся отлученія неплательщика отъ церкви, должно было судиться въ „земскомъ“ судѣ и приговариваться къ возмѣщенію проторей и убытковъ, опредѣлялась компетенція церковнаго суда, запрещалось переносить процессы въ папской курію. Мы обращаемъ вниманіе читателя на эти вопросы, поднятые въ началѣ XV в., на сеймахъ середины слѣдующаго столѣтія, т.-е. черезъ полтора вѣка, опять рѣчь идетъ о десятинахъ, объ отлученіи отъ церкви, о духовномъ судѣ, объ апелляціяхъ въ Римъ. Піотрковскія постановленія 1406 г. имѣли характеръ частнаго соглашенія шляхты, законной силы они не имѣли, раздоры не прекращались, шляхта дѣлалась все притязательнѣе и не хотѣла вообще уплачивать десятинъ; и происходятъ въ первой половинѣ XV в. съѣзды представителей обоихъ сословій для обоюднаго соглашенія по спорнымъ пунктамъ, да и Казиміръ Ягеллончикъ дѣлаетъ попытки какъ-нибудь прекратить вражду двухъ сословій, перешедшую, по свидѣтельству Яна Остророга, въ настоящую ненависть. Съ середины этого столѣтія съѣзды враждующихъ сторонъ прекратились. Шляхта раздѣляетъ взглядъ на десятину, высказанный Яномъ Остророгомъ, не платитъ десятины, обходится грубо и дерзко съ лицами, привозящими ей вызовы въ духовный судъ, не является по этимъ вызовамъ и не обращаетъ вниманія на отлученія отъ церкви. По эдикту Ягеллы отъ 1433 г. отлученный отъ церкви и не примирившійся съ нею въ теченіе года, лишался своего имѣнія, но королевскіе старосты не исполняли этого эдикта, стремясь постоянно переизслѣдовать чуть не каждое дѣло, по которому къ нимъ обращалась духовная власть. Получивъ привилегію судиться только королемъ и панами его „рады“ по всѣмъ дѣламъ, касающимся чести и имѣнія, имѣя эдикты королевскіе, ограждавшіе отъ произвольныхъ ареста и конфискаціи имуществъ каждаго шляхтича, шляхта не сносила существованія суда объ ереси,

имѣвшаго право, по королевскимъ же эдиктамъ, изданнымъ противъ гуситства, приговаривать къ безчестію и конфискаціи. Другая причина раздоровъ была та, что духовенство за свои земли не несло воинской повинности и только уплачивало въ случаѣ войны имъ же самимъ опредѣленный „donum charitativum“: до серединѣ XV в. шляхта довольствовалась этимъ, но теперь она дѣлаетъ попытку сложить съ себя на духовенство часть бремени военныхъ расходовъ и на неуступчивость клира отвѣчаетъ грабежомъ церковныхъ имѣній, дозволяя такія опустошенія производить и наемнымъ войскамъ. Такъ какъ все это сильно раздражало шляхту, явившуюся къ началу XVI вѣка во всеоружіи своихъ правъ и привилегій, то среди нея рождалась и зрѣла мысль совсѣмъ сломить могущество клира. Не-шляхтичъ не имѣлъ владѣнія землей на „земскомъ правѣ“: у духовенства тоже можно было отобрать его имѣнія и обратить ихъ на государственныя нужды. На сеймахъ не было иныхъ сословій, кромѣ шляхты, но почему не устранить и изъ королевской „рады“ засѣдавшихъ тамъ духовныхъ сенаторовъ? Это, дѣйствительно, было послѣдовательно: зачѣмъ еще эта преграда для вольнолюбивыхъ и властолюбивыхъ стремленій шляхты? Ненависть ея къ клиру, упоминаемая въ серединѣ XV в. Яномъ Остророгомъ, въ началѣ XVI в. выразилась во „всеобщемъ крикѣ“ (clamor communis), раздавшемся, по выраженію короля Александра, на сеймѣ 1505 г. противъ привлеченія духовенствомъ къ своему суду свѣтскихъ людей по свѣтскимъ же дѣламъ; а лѣтъ черезъ пятьдесятъ католическая іерархія въ Польшѣ совершенно основательно объясняла явившемуся къ ней на выручку папскому послу, что одна изъ причинъ успѣховъ ереси—въ „постоянной и давнишней враждѣ свѣтскихъ къ клиру, которой конца не будетъ, будь даже духовенство самаго безупречнаго поведенія“. Съ своей стороны, и іерархія дѣлала захваты. Лэнчицкій синодъ 1542 г., опредѣляя компетенцію духовной юрисдикціи, подчинилъ ей много дѣлъ, выходившихъ раньше изъ ея области, и сеймъ 1543 г. принялъ синодальное постановленіе въ число своихъ „конституцій“ только на годъ или вообще до слѣдующаго сейма.

Реформаціонное движеніе въ Польшѣ началось, какъ увидимъ, съ конца сороковыхъ годовъ XVI в., и вопросъ о церковномъ судѣ „de haeresi“ съ его важными гражданскими послѣдствіями получаетъ новое значеніе; но не слѣдуетъ думать, что только реформація вызвала оппозицію противъ духовной юрисдикціи. Въ 1550 г. протестантовъ было мало, а между тѣмъ сеймъ этого года въ Піотрковѣ просилъ короля, чтобы дѣла по ереси судилъ

„сеймъ вольный", такъ какъ подъ однимъ государемъ не должно быть двухъ разныхъ правъ, а на сеймикахъ слѣдующаго года выбраннымъ посламъ давали наказъ добиваться полнаго снесенія духовной юрисдикціи, и въ томъ же году цесарскій посланникъ Герберштейнъ писалъ о стремленіи шляхты къ религіознымъ новшествамъ „не столько изъ-за заботъ о христіанскомъ благочестіи, сколько изъ желанія досадить духовному сословію". Это извѣстіе подтверждается одной иностранной реляціей отъ 1565 г.: когда говорятъ о необходимости избѣгать религіозныхъ новшествъ, многіе католики охотно слушаютъ эти рѣчи; число католиковъ уменьшается, когда заговорятъ о необходимости сохранить привилегіи и юрисдикцію духовенства,—такъ ненавидятъ духовенство за его продажные, корыстолюбивые и злобные суды,—а зайди рѣчь о свободѣ клира отъ налоговъ, о десятинахъ и т. п., и никто почти не будетъ католикомъ. Вотъ почему съ 1552 г. на сеймахъ появляется масса протестантскихъ пословъ: ихъ посылаетъ и католическая ихъ братія, какъ главныхъ борцовъ за шляхетскую вольность противъ клира, а когда борьбѣ въ ея острой формѣ пришелъ конецъ, и протестантская шляхта теряетъ свою силу въ „посольской избѣ".—Разсмотримъ вкратцѣ ходъ дѣла на сеймахъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ XVI в., въ эпоху развитія польскаго протестантизма, выдѣляя вопросъ религіозный.

Піотрковскій сеймъ 1552 г. заявляетъ королю, что займется дѣлами государства только по устраненіи обидъ, чинимыхъ шляхтѣ духовенствомъ, и главный ораторъ (католикъ) доказывалъ тутъ, что церковный судъ противорѣчитъ привилегіи шляхты судиться въ уголовныхъ дѣлахъ только по польскому праву судомъ короля и сената. Послы и епископы пришли къ компромиссу: дѣйствіе духовной юрисдикціи пріостанавливалось на годъ, а шляхта должна была аккуратно выплачивать десятину. Сначала епископы предлагали, впрочемъ, изъять одну шляхту, но послѣдняя не хотѣла, чтобы и ея „подданные", были въ чужой власти. Для Рѣчи Посполитой,—говоритъ Герберштейнъ,—ничего здѣсь предпринято не было, „ибо свѣтское сословіе дворянства препиралось только съ церковнымъ сословіемъ духовныхъ".

На сеймѣ 1553 г. послы жалуются, что „духовное сословіе укоротило всю Рѣчь Посполитую", не платитъ налоговъ и т. п., —и возобновляютъ просьбу объ единомъ судѣ, указывая на то, что одна привилегія, данная королемъ духовенству, есть „прелюдія" къ упадку шляхетскихъ вольностей, „ибо ни одно великое зданіе сразу не падаетъ, а должно быть сначала разрушаемо по кускамъ".

Піотрковскій сеймъ 1555 г. состоялъ изъ протестантовъ, которымъ шляхта дала наказъ ничѣмъ не заниматься до рѣшенія спора. Опять взаимныя пререканія духовенства и пословъ. Послѣдніе жалуются на то, что духовные „утѣсняютъ всѣ сословія и свободно бросаются на шляхетскую честь", отнимаютъ дѣвокъ у своихъ „подданныхъ" и т. п.; ксендзы присуждаютъ къ лишенію жизни, чести и имущества своимъ „чужеземнымъ обычаемъ" и не уважая „короннаго права", отдающаго такія дѣла королю, да и то „на вольномъ сеймѣ съ и..ъ милостями радами",—они, значитъ, забираютъ то, что̀ принадлежитъ его королевской милости. Епископы видѣли признакъ подчиненности шляхты въ томъ, что, являясь къ королю, земскіе послы становились у дверей, а шляхта отвѣчала, что она чрезъ эти двери попадаетъ и на мѣста въ королевской „радѣ", и что епископы лучше бы совѣтовали, если бы входили въ сенатъ чрезъ эти двери, а не какъ-нибудь иначе. Сеймъ окончился самовольнымъ разъѣздомъ пословъ по домамъ, такъ какъ они видѣли, что король хлопочетъ только о податяхъ.

На варшавскомъ сеймѣ 1556 г. раздаются старыя жалобы. „Духовенство,—говорила шляхта королю,—нападаетъ по законамъ не нашимъ, которыхъ мы не знаемъ, на шляхетскую честь и на вольности наши, равняясь своею властью, которой мы не признаемъ, величеству вашей королевской милости... Удивительная вещь, и кто же когда-либо такъ дѣлалъ? Приказывать: молчи и терпи все, что̀ я хочу, да еще похваливай то, что̀ я дѣлаю! Неслыханное это дѣло между хорошими и честными людьми. Тиранамъ это только прилично, которые soluti legibus говорятъ: sit pro ratione voluntas". Свою „неволю" шляхта считала хуже неволи египетской. Дѣло было отложено до слѣдующаго сейма.

Въ программу піотрковскаго сейма 1558—9 г. вошло разсмотрѣть привилегіи духовенства, насколько онѣ противорѣчили общему праву. Здѣсь, между прочимъ, однимъ изъ протестантовъ сказана была замѣчательная рѣчь, подводившая итоги подъ всѣми жалобами на клиръ: 1) спеціальная присяга епископовъ папѣ опасна, дозволяя ему вмѣшиваться черезъ нихъ въ дѣла государства, что̀ особенно важно въ случаѣ избранія короля; 2) привилегіи духовенства опасны для общественной свободы, ибо противъ первой статьи шляхетской вольности о личной неприкосновенности шляхтича безъ законнаго суда ксендзы сочинили свою о выдачѣ епископу всякаго, совершившаго надъ клирикомъ насиліе; противъ второй статьи, ограждающей имѣніе шляхтича отъ произвольной конфискаціи, сочинили другую, по которой имѣніе отлученнаго отъ церкви хотя бы за похищеніе десятины,

какого бы чина онъ ни былъ, движимое и недвижимое, какое у него будетъ, забирается старостою, а противъ третьей,—обѣщанія короля ничего не постановлять безъ совѣта сената и согласія земскихъ пословъ,—выставили запрещеніе отлученному отъ церкви быть даже свидѣтелемъ на судѣ (собственно говоря, третьему „артикулу“ нужно было противопоставить нѣкоторые эдикты и грамоты, выхлопотанные клиромъ у короля безъ согласія сейма; ораторъ такъ и сдѣлалъ, повторяя свои аргументы на сеймѣ 1562—3 г., но тутъ онъ видимо не хотѣлъ задѣвать короля); 3) духовные не признаютъ апелляціи къ королю, а сами апеллируютъ къ папѣ; законы страны запрещаютъ королю судъ внѣ Польши, а каждый ксендзъ можетъ перенести дѣло въ Римъ, такъ что клиръ хочетъ „пановать“ надъ шляхтой auctoritate regia. Выводъ изъ всего былъ такой. То, что̀ епископамъ пріятно, папѣ выгодно: поэтому епископы дѣлаютъ постановленія, противныя „сеймовымъ конституціямъ“, не присягая Рѣчи Посполитой, а давая присягу папѣ, которая была бы противорѣчіемъ присягѣ государству, ибо „панъ римскій скорѣе согласится, чтобы Корона (т.-е. Польша) въ ничто обратилась, чѣмъ чтобы изъ его власти и вліянія что-нибудь убыло“. Рѣчь кончалась, между прочимъ, требованіемъ не допускать епископовъ къ избранію королей, пока они повинуются чужеземному государю, и выраженіемъ сомнѣнія въ ихъ правѣ занимать мѣста въ королевской „радѣ“. Ораторъ (нужно назвать его: это былъ Іеронимъ Оссолинскій, одинъ изъ видныхъ дѣятелей польскаго протестантизма), ораторъ въ этой рѣчи поставилъ вопросъ на государственную точку зрѣнія: шляхта разсчитывала привлечь короля на свою сторону, и потому Оссолинскій такъ осторожно, съ нарушеніемъ даже логики антитезъ, коснулся „третьяго артикула шляхетскихъ вольностей“. Угроза удалить епископовъ изъ сената произвела среди нихъ цѣлую бурю, а земскіе послы вели далѣе свою линію, толкуя старые законы въ смыслѣ независимости шляхты отъ церковнаго суда и господства въ странѣ одного „земскаго права“, и перечисляя всѣ обиды, чинимыя шляхтѣ духовенствомъ по отдѣльнымъ воеводствамъ, а также представляя всѣ опасности отъ духовныхъ судовъ: они могутъ и „отъ наслѣдства отсудить“, „имъ вольно изъ бастарда, изъ мошенника учинить равнаго почтенному шляхтичу“ (то и другое потому, что церковная юрисдикція вѣдала дѣла по духовнымъ завѣщаніямъ и вопросы о законности рожденія); епископы для лучшаго исполненія своихъ приговоровъ дѣлятъ добычу со свѣтскими лицами, дозволяя имъ забирать движимое и недвижимое иму-

щество того, кого они назовутъ еретикомъ. Опять начинались взаимныя пререканія между обоими сословіями, а одинъ епископъ похвалялся тѣмъ, что духовенство „еще не такъ строго пользовалось своей юрисдикціей", а вотъ теперь начнетъ дѣйствовать на всей своей волѣ. Изъ-за этихъ споровъ, соединенныхъ съ чисто личными перебранками, всѣ „коронныя" дѣла и на этомъ сеймѣ остановились; послы были этимъ страшно недовольны, жаловались на пустую трату времени, а дѣло между тѣмъ откладывалось для разсмотрѣнія его въ „радѣ" до продолженія сейма, имѣвшаго состояться въ Краковѣ; но церковная юрисдикція, по крайней мѣрѣ, пріостанавливалась на это время. Сеймъ окончился ничѣмъ, не давъ даже податей, а продолженіе его въ Краковѣ не состоялось.

Не было болѣе шумнаго сейма въ Польшѣ,—сказано въ дневникѣ сейма піотрковскаго 1562—3 г. Сначала шло все довольно гладко, но едва дѣло коснулось правъ духовенства, начались старые споры. Оссолинскій повторилъ свои прежніе аргументы о „трехъ артикулахъ вольностей польскихъ"; примасъ Уханскій защищалъ каноническое право средневѣковыми аргументами теоріи двухъ властей; Оссолинскій обѣщалъ „доказать, что въ церкви римской есть явная идолатрія", и хотя эти слова вызвали, какъ говорится въ дневникѣ сейма, нѣкоторый „disturbium" въ посольской избѣ, въ которой были католики, но всѣ—и католики, и протестанты—послали сказать королю, что до тѣхъ поръ они не будутъ „конклюдовать" о податяхъ, пока, между прочимъ, со шляхты не снимутъ церковной юрисдикціи. Тутъ сдѣланъ былъ шагъ впередъ къ рѣшенію вопроса: шляхта отказывалась вести дальнѣйшіе споры и выслушивать новыя возраженія епископовъ и просила у короля одного, — пусть вопросъ принципіально остается неразрѣшеннымъ, лишь бы старосты не приводили въ исполненіе приговоровъ, постановленныхъ не по польскому праву. Такая постановка вопроса страшно испугала епископовъ, и когда король обѣщалъ посольской избѣ дать ей согласіе „на письмѣ", епископы быстро покинули сенатъ и разошлись по домамъ, а потомъ долго воздерживались отъ посѣщенія королевской „рады", и только боязнь, какъ бы шляхта не воспользовались этимъ для ихъ окончательнаго изгнанія изъ королевскаго совѣта, заставила ихъ (да и то не всѣхъ) черезъ нѣсколько времени снова появиться въ сенатѣ. Рѣзкая форма епископскаго протеста понятна: полученіе десятинъ обезпечивалось тѣмъ, что старосты приводили въ исполненіе рѣшенія духовныхъ судовъ, а послѣднимъ стоило только проклинать, и черезъ годъ у непримирившихся съ цер-

ковью старосты отбирали имѣнія, теперь же всѣ церковныя „клятвы“ должны были остаться безъ всякой юридической силы. Польскіе епископы 1563 г. отнеслись равнодушно къ обвиненію римской церкви въ идолатріи, а какъ дѣло коснулось кармана, не выдержали и демонстративно покинули „раду“. И папскій нунцій понялъ дѣло такимъ образомъ: постановленіе о судебныхъ приговорахъ онъ назвалъ постановленіемъ о десятинахъ.

Въ 1563—4 г. былъ сеймъ въ Варшавѣ. Борьба продолжалась. Земскіе послы все еще требовали пересмотра всѣхъ вообще привилегій духовенства; епископы отвѣчали, что, „будучи первою частью сената и имѣя свое право, какъ духовное сословіе они не подлежатъ ничьему верховенству, въ которомъ у нихъ есть свой старшій, ихъ глава“, а посему они „судимыми о вольностяхъ своихъ никѣмъ быть не могутъ, а тѣмъ болѣе низшими сословіями“. Безконечные раздоры продолжались, повторялись старыя тэмы, развивались новыя положенія, и требовали, напр., чтобы духовные отбывали за „земскую осѣдлость“ военную службу, хотя и не лично, такъ какъ они владѣли не послѣднею частью земскихъ грунтовъ, говорились о военномъ налогѣ и пр. и пр. Епископы не уступали и хлопотали у короля о новомъ утвержденіи ихъ правъ.

Раздоръ обоихъ сословій продолжался и на піотрковскомъ сеймѣ 1565 г., отвлекая вниманіе всѣхъ отъ важнѣйшихъ дѣлъ государства, которыя, какъ жаловалась шляхта, все откладывались отъ одного сейма до другого. Поднимались безпрестанно старые споры о значеніи десятины, о военной службѣ, о своемъ и „чужомъ“ правѣ и т. п.; главнѣйшіе вопросы опять откладывались „до другого раза“, и только одинъ результатъ сейма имѣлъ значеніе: тяжбы о десятинахъ отдавались навсегда въ свѣтскіе суды. На люблинскомъ сеймѣ 1566 г. шляхта задумала было забрать монастырскія имущества на уплату жалованья солдатамъ, но послѣ сейма 1565 г., на которомъ дѣло доходило до бурныхъ и неприличныхъ сценъ, борьба стала затихать: она возобновлялась впослѣдствіи, но съ фактическимъ уничтоженіемъ церковной юрисдикціи имѣла уже совсѣмъ иной характеръ. Хотя на знаменитомъ люблинскомъ сеймѣ 1569 г. было немало протестантовъ, на немъ не происходило ничего, что напоминало бы прежнія ссоры шляхты съ духовенствомъ, папскій нунцій имѣлъ полное право отписать въ Римъ, что здѣсь не было предпринято ничего вреднаго для религіи.

Забудемъ, что на сеймахъ пятидесятыхъ и первой половины шестидесятыхъ годовъ поднимался и вопросъ религіозный, что

энергія, которую проявляла шляхта въ борьбѣ съ церковнымъ судомъ, объясняется нѣкоторыми привилегіями, данными тогдашнимъ королемъ духовенству, и начавшимися съ возникновеніемъ реформаціоннаго движенія процессами „de haeresi“, что въ посольской избѣ было множество протестантовъ на сеймахъ между 1552 и 1565 годами,—забудемъ все это и посмотримъ, въ чемъ заключается смыслъ этой борьбы и каковы были ея результаты. Смыслъ борьбы тотъ, что шляхта не хочетъ быть въ „неволѣ“ у духовенства, не желаетъ, чтобы и ея „подданные“ были подъ „чужою“ властью, хотя главнымъ образомъ заботится о себѣ. Тутъ мы видимъ, съ одной стороны, защиту правъ шляхетской личности, съ другой, защиту интересовъ „рыцарскаго“ сословія. Откуда беретъ свои аргументы посольская изба? Изъ священнаго писанія? Нѣтъ. Для красоты слога и по протестантскому обычаю ораторы ссылаются на „слово Божіе“, но вся аргументація строится на „артикулахъ шляхетской вольности“, на законоположеніяхъ „земскаго права“, на чисто политическихъ соображеніяхъ. Отстаивая свое сословіе, земскіе послы 1552—65 годовъ защищали права личности противъ произвольнаго суда безъ всякихъ гарантій, и права государства на свободу отъ куріи и на то, чтобы ему служили всѣ сословія. Оссолинскій въ своей рѣчи на сеймѣ 1558 — 9 г. несомнѣнно преувеличивалъ опасность отъ епископской присяги Риму: ультрамонтанскаго духа не было въ польскомъ клирѣ, но важно то, что вопросъ переводился съ сословной почвы на политическую. Причина такого перевода та, во-первыхъ, что шляхта думала найти въ королѣ союзника и пугала его опасностью со стороны епископовъ и папы; во-вторыхъ, та, что идея о секуляризаціи средневѣкового государства давнымъ-давно пустила корни въ сознаніи польской шляхты, и въ-третьихъ, та, что, поставивъ себѣ задачей реорганизировать государство, сеймовые послы должны были затронуть многія привилегіи духовенства, наносившія ущербъ финансамъ и военному дѣлу. Но центръ тяжести былъ все-таки въ интересахъ сословія, и едва эти интересы выиграли отъ рѣшенія вопросовъ о десятинѣ и о церковныхъ судахъ въ пользу шляхты, какъ борьба стихаетъ. Вопросы, близко касавшіеся сословія, шляхта выдвигаетъ на первый планъ, не хочетъ ничего предпринимать до рѣшенія этихъ вопросовъ, какъ къ концу этого періода, когда фактически она добилась уже многаго, она соглашается отложить разсмотрѣніе вопроса религіознаго, чтобы заняться „экзекуціей правъ“, подъ именемъ которой проводилась чисто политическая программа шляхты. Такимъ образомъ въ общемъ сословная борьба сильнѣе

интересовала шляхту, чѣмъ „направа Рѣчи Посполитой“, а религіозный вопросъ, осложнявшій эту борьбу, далеко не игралъ первой роли на сеймахъ. Если подъ-конецъ шляхта съумѣла отдѣлить вопросъ религіозный отъ политическаго (мы это увидимъ впослѣдствіи), то „направу Рѣчи Посполитой“ ставила въ зависимость отъ удовлетворенія своихъ сословныхъ жалобъ, тѣмъ болѣе, что и сама „направа“ эта не могла совершиться, не затронувъ привилегій клира. Къ чести тогдашнихъ пословъ нужно сказать, что они нерѣдко выказывали уступчивость и сговорчивость и связывали свое дѣло съ свободой личности и интересами государства, что они проявили бо́льшую терпимость и болѣе широкое пониманіе государственныхъ задачъ того времени, чѣмъ ихъ сословные соперники; но въ общемъ борьба эта страшно мѣшала „направѣ Рѣчи Посполитой“, хотя упрямство епископата, дрожавшаго за свои десятины, и нерѣшительность Сигизмунда Августа,—всѣ эти сеймы были въ его царствованіе,—снимаютъ со шляхты значительную долю вины въ томъ, что требовавшаяся обстоятельствами времени политическая реформа не была проведена въ жизнь. Эта борьба шляхты съ духовенствомъ объясняетъ намъ, почему протестанты, которые, какъ мы увидимъ, не составляли большинства въ шляхетскомъ обществѣ и были очень плохо организованы, играютъ первую роль на сеймахъ между 1552 и 1565 годами: ихъ отправляли на сеймы послами какъ лучшихъ борцовъ противъ клира, а когда борьба стала приводить къ желаннымъ результатамъ, то и роль протестантства въ польскомъ парламентаризмѣ XVI в. окончилась, тѣмъ болѣе, что какъ-разъ въ это время повѣяло реакціей, имѣвшей свои особыя причины. Дневники, или „діаріи“ сеймовъ XVI в. свидѣтельствуютъ намъ о силѣ протестантовъ въ польской избѣ между 1552 и 1565 гг. Сеймъ открывался мессой Св. Духу: въ 1552 г. во время этого богослуженія староста радзѣёвскій Рафаилъ Лещинскій не снялъ шапки, и его выбрали тѣмъ не менѣе въ представители посольской избы; передъ сеймомъ 1558—59 г. на эту мессу явилось очень мало пословъ; передъ засѣданіями посольской избы 1562—63 гг. на ней было мало свѣтскихъ сенаторовъ, а изъ пословъ никого; передъ открытіемъ сейма 1563 г., кромѣ епископовъ, король, пять сенаторовъ и изъ пословъ опять никого. Посольская изба выбирала себѣ „маршалка“: такими маршалками являются протестанты и главнымъ образомъ Николай Сѣницкій, протестантъ, а впослѣдствіи даже аріанинъ (на сеймахъ 1553, 1555, 1558—59, 1563 и 1565 гг.). Главные представители „разновѣрства“ то-и-дѣло попадаютъ въ послы,

называютъ духовныхъ волками въ овечьей шкурѣ (1552), привѣтствуютъ папскаго нунція словами: „добро пожаловать, змѣиное отродье“ (1556), обѣщаютъ доказать явную идолатрію римской церкви (1562—63), требуютъ религіозной свободы, „вольнаго христіанскаго собора“, реформы церкви по примѣру св. царя Осіи (послѣднее на сеймахъ 1562—63 и 1565 г.). На сеймѣ 1555 г., на обвиненія шляхты духовенствомъ въ насиліяхъ послы отвѣчаютъ приблизительно такъ: что же приводятъ противъ насъ? Ничего, кромѣ оскорбленія таинствъ, отобранія костеловъ, присвоенія церковныхъ доходовъ, но неправда, что это дѣлается насильно. Въ 1564 г. въ Люблинѣ Эразмъ Отвиновскій, аріанинъ, вырвалъ изъ рукъ ксендза св. дары и растопталъ ихъ ногами, его судили на сеймѣ, но онъ былъ оправданъ послѣ защитительной рѣчи Рея, доказывавшаго, что оскорбленіе Бога Богу нужно и предоставить. На сеймѣ 1565 г. протестанты все еще составляютъ большинство, но діарій отмѣчаетъ, что тутъ католическихъ пословъ „немало было изъ Великой Польши, изъ Малой никого, изъ Мазовша больше, однако изъ Великой Польши были самые главные,... qui papismo adhaerebant“. Однако, когда одинъ католикъ заявилъ отъ своего имени и отъ имени своихъ товарищей, „которыхъ не мало“, что нѣтъ ихъ согласія на уменьшеніе правъ духовенства, то слова эти вызвали цѣлую бурю въ посольской избѣ, и никто не поддержалъ правовѣрнаго шляхтича.

Мѣшая политической реформѣ, борьба шляхты съ духовенствомъ выдвигала въ сеймахъ протестантовъ, и самую реформу эту такимъ образомъ пришлось проводить нововѣрамъ. Шуйскій говоритъ, что политической ихъ идеей была парламентарная монархія съ церковью, безусловно подчиненной государству, тогда какъ католики стремились къ такой же парламентарной монархіи съ свободною церковью, сохраняющею всѣ свои привилегіи [1]). Это обобщеніе, являющееся съ введеніемъ въ него современныхъ понятій и основанное на краткомъ анализѣ книжекъ двухъ польскихъ публицистовъ середины XVI в. Андрея Фрича Модржевскаго и Станислава Оржеховскаго, немного поспѣшно: по идеѣ могло такъ быть, на дѣлѣ не было. Самъ Шуйскій указываетъ на то, что дѣло не дошло до открытой борьбы между партіями, и на то, что разновѣрцы не образовали одного сплоченнаго лагеря. Католическій историкъ чуть не сводитъ весь вопросъ къ „теократической мысли“ реформаторовъ, желавшихъ толкнуть польскаго короля на дорогу Генриха VIII англійскаго и думаетъ,

[1]) Для дальнѣйшаго Szujski, Historyi polskiej ksiąg dwanaście, стр. 197 и д.

что мысль эта разбилась о великій политическій умъ и твердость Сигизмунда-Августа [1]), и мы еще увидимъ, насколько польскіе „разновѣрцы“ способны были подчиниться реформаціи на манеръ англиканской, и насколько названный король обладалъ качествами, которыми надѣляетъ его историкъ. Такихъ партій, какія воображаетъ Шуйскій, въ строгомъ смыслѣ не существовало. Протестантскихъ пословъ на сеймѣ высылала и на сеймахъ поддерживала и католическая шляхта, и послы эти, добившись уничтоженія церковной юрисдикціи, утратили свое значеніе, тѣмъ болѣе, что не оправдали надеждъ относительно всѣмъ желательной „направы Рѣчи Посполитой“. Вопросъ о политическихъ реформахъ существовалъ въ Польшѣ не со вчерашняго дня [2]), и Бобржинскій въ своей Исторіи Польши съ особымъ вниманіемъ слѣдитъ за тѣмъ, какъ въ реформаціонную эпоху „шляхта пала въ своей борьбѣ за направу Рѣчи Посполитой“ [3]). „Если,—говоритъ онъ,—народъ польскій не долженъ былъ окончательно пасть, нужно было какое-нибудь новое историческое движеніе, которое потрясло бы его до глубины, вырвало бы изъ бездѣятельности, поставило бы ему великую и трудную задачу и воспламенило бы, толкнуло бы его къ достиженію ею обозначенной цѣли. Въ тогдашней Польшѣ (прибавляетъ онъ) эту роль съиграла реформація“. О политическомъ значеніи реформаціи онъ разсуждаетъ такъ: протестантизмъ усиливалъ королевскую власть, и католицизмъ въ видахъ самозащиты хватался за то же средство, а кромѣ того главы враждующихъ религіозныхъ партій послѣ побѣды дѣлались господами положенія. Такая, а не иная задача предстояла и польской реформаціи, ибо въ Польшѣ помышляли сначала о легальной реформѣ чрезъ правительство и духовенство съ соизволенія папы. Изъ протестантизма, сдѣлавшагося знаменемъ лучшей части шляхты, вышла единственная партія съ политической программой, но Сигизмундъ-Августъ не съумѣлъ воспользоваться своимъ положеніемъ и этой программой для укрѣпленія монархической власти. Его отказъ отъ „національнаго собора“ толкнулъ шляхту въ самовольную перемѣну вѣры, а сектантство отвратило отъ себя другую часть націи, склонную къ реформѣ, укрѣпило ее въ католицизмѣ и создало почву, благопріятную для іезуитовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, уже въ концѣ царствованія Сигизмунда Стараго многіе требовали переустройства государства, а при его

[1]) Szujski, Odrodzenie i reformacyja, 94—98, 105—106.

[2]) Hofmann. Historya reform politycznych w Polsce. Познань, 1869.

[3]) Bobrzynski. Dzieje Polski w zarysie, II, 60 — 118. Онъ разсматриваетъ здѣсь время между 1548 и 1574 годами.

преемникѣ между земскими послами и магнатами происходитъ борьба изъ-за этого вопроса. Посольская изба на сеймахъ, о которыхъ мы уже говорили, настойчиво указывала на то, что множество законовъ, весьма полезныхъ государству, не исполняются вслѣдствіе оппозиціи магнатовъ, — и требуетъ пересмотра этихъ законовъ: пусть король рѣшитъ, что̀ законъ, что̀ нѣтъ,—рѣшитъ разъ на всегда для твердаго приведенія ихъ въ исполненіе на будущія времена. На языкѣ времени это называлось попросту „экзекуціей правъ“, но въ сущности въ ней заключалась цѣлая политическая программа „направы Рѣчи Посполитой“. Исторической судьбѣ было угодно, чтобы въ эпоху, когда чувствовалась потребность въ общей реформѣ государства, въ Польшѣ произошло религіозное движеніе, и чтобы въ посольской избѣ на сеймахъ, занявшихся „экзекуціей правъ“, нѣкоторое время господствовали протестанты. Сами обстоятельства такимъ образомъ возлагали на польскую реформацію проведеніе чисто политической реформы, но этого не случилось. Найти причину успѣшности какого-либо движенія гораздо труднѣе, чѣмъ хорошо объяснить неудачу: отрицательныя причины вообще мудренѣе формулировать, чѣмъ положительныя. Кто виноватъ въ неудачѣ польской реформаціи вообще и по ея отношенію къ „направѣ Рѣчи Посполитой?“ Король Сигизмундъ-Августъ, говоритъ Бобржинскій. Нѣтъ, возражаетъ Шуйскій, протестантизмъ былъ способенъ только все замутить. А изслѣдовали ли, спрашиваетъ проф. Любовичъ, насколько мы имѣемъ право говорить о внутренней силѣ самого протестантизма? До сихъ поръ мы говорили о причинахъ возникновенія реформаціоннаго движенія въ Польшѣ. Зная заранѣе его исходъ, т.-е. его паденіе подъ ударами католической реакціи и его безплодность по отношенію къ политическому развитію Рѣчи Посполитой, мы должны при изложеніи „дѣяній“ протестантизма въ Польшѣ обратить наше вниманіе преимущественно на ту ихъ сторону, которая объясняетъ намъ неудачу и незадачу этого движенія. Съ другой стороны, познакомившись съ причинами польской реформаціи, мы имѣемъ право уже въ нихъ самихъ искать общаго объясненія дальнѣйшихъ судебъ движенія.

Силенъ ли былъ религіозный протестъ? Нѣтъ.

Существовала ли національная оппозиція Риму, которая объединила бы всѣ классы общества? На этотъ вопросъ тоже приходится отвѣтить отрицательно.

Была ли у государственной власти особая побудительная причина стать въ рѣзкія отношенія къ куріи? Равнымъ образомъ нѣтъ.

Центръ тяжести польской реформаціи—въ сословной борьбѣ шляхты съ духовенствомъ. Эта борьба кидаетъ шляхту въ протестантизмъ, выводитъ протестантовъ на политическую арену, мѣшаетъ „направѣ Рѣчи Посполитой", дискредитируетъ вслѣдствіе неудачи этой „направы" людей, ею занявшихся, заставляетъ духовенство въ концѣ концовъ искать союза съ Римомъ. Пока этого достаточно, чтобы предвидѣть исходъ движенія, но всѣ эти причины неуспѣха могли быть парализованы другими. Реформы церкви все-таки хотѣли и свѣтскія, и духовныя лица; народъ былъ пассивенъ и подчинился бы реформѣ, если бы только новшества для него были мало замѣтны; планъ національзаціи церкви существовалъ даже среди высшаго духовенства; у королевской власти, помимо тѣхъ или другихъ отношеній къ центру католицизма, могли быть побужденія схватиться за реформацію, и та же королевская власть могла бы энергичнѣе содѣйствовать установленію мира между враждующими сословіями, вмѣсто того, чтобы, какъ было на дѣлѣ, сѣять раздоръ своею безтактностью,—и сама взять въ руки „направу Рѣчи Посполитой". Ничего этого однако не было.

Что могло бы быть въ Польшѣ и чего въ ней ни въ какомъ случаѣ быть не могло, узнать это удобнѣе всего изъ сравненія польской реформаціи съ реформаціей въ другихъ странахъ. Это сравненіе выяснитъ намъ, надѣюсь, характеръ польской реформаціи еще лучше, а также послужитъ для установленія точки зрѣнія, съ которой будетъ въ дальнѣйшемъ разсматриваться исторія этого съ виду блестящаго, но, въ основѣ дѣла, неудачнаго движенія въ Рѣчи Посполитой, носившаго въ себѣ множество плодотворныхъ задатковъ вмѣстѣ съ зародышами собственной гибели.

Прежде всего, что называть успѣхомъ реформаціоннаго движенія? Если стоять на точкѣ зрѣнія церковной, то отпаденіе отъ католицизма цѣлой страны нужно назвать успѣхомъ реформаціи; но если перейти на точку зрѣнія политическихъ и культурныхъ результатовъ, то мѣрка будетъ уже иная. Съ этой стороны, сравнивая польскую реформацію съ нѣмецкой, мы увидимъ, что, въ смыслѣ силы движенія въ обществѣ, Рѣчь Посполитая не можетъ идти въ сравненіе съ Германіей, гдѣ реформація сразу сдѣлалась, по крайней мѣрѣ, на сѣверѣ, всенародной, національной, государственной, общесословной. Въ Польшѣ государственная власть и народныя массы остаются чуждыми движенію, которое и не принимаетъ характера ни оффиціальнаго лютеранства, ни революціонно-демократическаго сектантства. Внутренняя политика

Германіи въ началѣ XVI в. отличается неустойчивымъ равновѣсіемъ: старые счеты элементовъ нѣмецкаго общества и государства не были окончены, взаимныя отношенія императорской власти, князей, имперскаго рыцарства, городовъ и крестьянства не были опредѣлены прочнымъ образомъ, и нѣкоторые изъ этихъ элементовъ хватаются за реформацію, какъ за средство завершить политико-соціальный процессъ въ свою пользу или вообще направить его къ своимъ выгодамъ. Извѣстны неудачи рыцарскаго и крестьянскаго возстаній, соціально-сектантскаго движенія въ городахъ: изъ борьбы вышла побѣдительницею княжеская власть, подчинившая нѣмецкую реформацію бюрократизму и формализму своихъ канцелярій и консисторій. Послѣдняя перестала быть здѣсь живымъ дѣломъ народа, и это облегчило задачу католической реакціи въ Германіи. При своемъ шляхетскомъ характерѣ польская реформація и не была съ самаго начала народнымъ дѣломъ, что́ и въ Рѣчи Посполитой создавало условіе благопріятное для іезуитской реакціи. Такимъ образомъ, если полный неуспѣхъ польскаго протестантизма дѣлается намъ понятнѣе при сравненіи его происхожденія съ происхожденіемъ протестантизма въ Германіи, то для объясненія неполнаго успѣха нѣмецкой реформаціи и относительной удачи католической реакціи въ германскихъ земляхъ Польша представляетъ примѣръ страны, на которой съ особымъ удобствомъ можно изслѣдовать причины паденія реформаціоннаго движенія, не бывшаго или переставшаго быть живымъ народнымъ дѣломъ. Польскій шляхтичъ въ своемъ помѣстьѣ желалъ сдѣлаться тѣмъ же, чѣмъ былъ нѣмецкій фюрстъ въ своемъ княжествѣ, т.-е. забрать реформацію исключительно въ свои руки и только за собою обезпечить религіозную свободу: мы увидимъ, что аналогію аугсбургской формулѣ 1555 г. „cujus regio, ejus religio“, обезпечивавшей не свободу совѣсти, а свободу отдѣльныхъ нѣмецкихъ правительствъ выбирать для себя и для своихъ областей то или другое вѣроисповѣданіе, представляетъ изъ себя стремленіе польской протестантской шляхты дать законную санкцію правилу, которое заставляло бы „подданныхъ“, т.-е. крестьянъ, слѣдовать вѣрѣ пана. И это понятно: въ Германіи реформація совпала съ эпохой усиленнаго роста княжеской власти на счетъ авторитета императора и независимости другихъ элементовъ общества, въ Польшѣ — съ эпохой развитія шляхетскихъ вольностей на счетъ королевской власти и путемъ пригнетенія горожанъ и крестьянъ. Но разница та, что нѣмецкій фюрстъ былъ все-таки государемъ, а польскій шляхтичъ только помѣщикомъ, и если реформація содѣйствовала въ Германіи

развитію самостоятельности отдѣльныхъ княжествъ, усиливая власть фюрстовъ, то въ Польшѣ, отвергнутая королемъ, она прошла безслѣдно для усиленія государственной власти. Стремленія шляхты скорѣе нужно сравнивать съ планами нѣмецкаго имперскаго рыцарства, думавшаго переустроить государство подъ знаменемъ реформаціи, но и тутъ у шляхты мы не замѣчаемъ ни строго опредѣленнаго плана, ни стремленія привлечь на свою сторону другія сословія, ни энергіи, съ какими мы встрѣчаемся въ движеніи, руководившемся Ульрихомъ фонъ-Гуттеномъ. Общіе интересы, во имя которыхъ все-таки дѣйствовали князья и на которые думали опереться имперскіе рыцари, въ польской сословной реформаціи заслонялись себялюбивыми стремленіями шляхты: она не ставила вопроса такъ широко, какъ Ульрихъ фонъ-Гуттенъ, думавшій привлечь на сторону рыцарскаго движенія и императора, и горожанъ, и крестьянъ противъ усиливавшейся власти фюрстовъ,—и въ то же время не обладала средствами княжеской власти для обезпеченія реформаціи въ своихъ имѣніяхъ.

Гораздо болѣе польская реформація представляетъ аналогій съ французскою. Въ самомъ дѣлѣ, и въ Польшѣ, и во Франціи правительства и народныя массы остаются католическими, протестантизмъ поддерживается преимущественно дворянскимъ сословіемъ, на время устанавливается религіозная свобода съ оттѣнкомъ дворянской привилегіи, и побѣждаетъ католическая реакція, поставившая протестантовъ какъ бы внѣ закона. Польскій король давнымъ-давно, французскій по конкордату 1516 г., пользовались правомъ инвеституры, т.-е. назначенія на церковныя должности, что ставило мѣстный клиръ въ подчиненіе государственной власти. Это очень важно: такимъ средствомъ папы впослѣдствіи удержали за собою Баварію, въ которой начиналось реформаціонное движеніе и герцоги которой могли пойти по стопамъ протестантскихъ фюрстовъ, реформировавшихъ церковь въ своихъ княжествахъ. Франциска I подбивали къ разрыву съ Римомъ, какъ подбивали и Сигизмунда-Августа, но оба на это не пошли: были тутъ, конечно, причины чисто личнаго свойства, но и отношенія государства къ куріи во Франціи и въ Польшѣ остались здѣсь не безъ вліянія на то, что правительства обѣихъ странъ остались католическими Народныя массы въ обѣихъ странахъ не были серьезно затронуты протестантизмомъ. Не напоминаетъ ли польскую реформацію то, что говоритъ, напр., Гейсеръ о французской, которая, приводя его слова, „не имѣла гнѣзда и опоры въ массахъ, откуда бы распространялась въ высшіе слои общества.

но считала главныхъ своихъ послѣдователей въ этихъ среднихъ и высшихъ слояхъ, распространяя свои корни болѣе среди дворянства, нежели въ городахъ, болѣе среди ученыхъ и между извѣстными фамиліями, нежели въ народѣ“ [1])? Нельзя развѣ приложить и къ польской шляхтѣ того, что говоритъ Луи Блань о французскомъ кальвинистскомъ дворянствѣ, а именно, что „одушевленное одинаковымъ жаромъ къ сопротивленію относительно трона и къ угнетенію относительно народа, оно напрасно стало бы искать другого ученія, болѣе сообразнаго съ его тенденціями, чѣмъ кальвинизмъ, способный экзальтировать и ту гордость, которая производитъ возмутителей, и ту, которая производитъ тирановъ“ [2]). Но и тутъ первенство на сторонѣ Франціи: Польша не выставила такихъ сильныхъ характеровъ строгаго, серьезнаго, почти мрачнаго характера, какими полна французская исторія второй половины XVI вѣка. Во Франціи подъ знаменемъ протестантизма собирались главнымъ образомъ остатки падавшаго феодализма, въ Польшѣ—представители возвышавшагося сословія шляхты и антимонархическая оппозиція французскаго дворянина не находитъ аналогіи въ Рѣчи Посполитой, гдѣ политическая оппозиція приняла главнымъ образомъ характеръ анти-клерикальный: и во французской аристократіи проявлялось враждебное отношеніе къ клиру, но оно не было такое напряженное и отходило на задній планъ передъ оппозиціей усиливавшейся королевской власти. Съ чисто политической точки зрѣнія польская реформація была какъ бы продолженіемъ начавшейся еще съ конца XIV в. борьбы шляхты противъ духовенства, а французская—моментомъ феодальной (отчасти и муниципальной) реакціи противъ усиливавшагося монархизма. Въ обѣихъ странахъ протестантизмъ такимъ образомъ связалъ свое дѣло съ вожделѣніями дворянства, сдѣлался политическимъ факторомъ въ реформѣ государства съ точки зрѣнія аристократическихъ интересовъ. Это соединеніе религіознаго движенія съ политическими программами высшихъ свѣтскихъ сословій дозволило протестантскимъ партіямъ въ обоихъ государствахъ играть болѣе видную политическую роль, нежели та, къ которой онѣ были способны по общему своею значенію въ той и другой странѣ. Во Франціи однако дѣло дошло до религіозныхъ войнъ: и вѣроисповѣдный фанатизмъ былъ сильнѣе, и политическое движеніе проявило болѣе силы. Вообще французскій протестантизмъ былъ крѣпче польскаго и по своей власти надъ убѣжденіемъ, и по своей спло-

[1]) Гейсеръ, 356.

[2]) Луи Блань, Исторія французской революціи (рус пер.), I, 83.

ченности, и по большей распространенности въ городахъ: польскій былъ слишкомъ мало религіозенъ, слишкомъ раздѣленъ внутренними несогласіями (въ Польшѣ были и лютеране, и братья чешскіе, и кальвинисты, и антитринитаріи разныхъ толковъ), а протестантское мѣщанство въ Рѣчи Посполитой, большею частью нѣмецкое и лютеранское, не могло идти рука объ руку съ шляхтой, которая какъ-разъ принижала городъ своими законодательными постановленіями на сеймахъ эпохи. Понятно, что протестантизмъ не утвердился во Франціи, а тѣмъ болѣе въ Польшѣ, а потомъ, и тамъ, и здѣсь пересталъ играть политическую роль. Въ обѣихъ странахъ, однако, временно существовала религіозная свобода, и въ Польшѣ бо́льшая, чѣмъ во Франціи: гугеноты добились меньшаго, хотя и съ оружіемъ въ рукахъ, но получивъ извѣстныя законныя гарантіи, тогда какъ въ Рѣчи Посполитой религіозная свобода установилась какъ-то сама собою и не получила никакихъ прочныхъ гарантій. Въ обоихъ случаяхъ свобода получаетъ характеръ аристократической привилегіи: въ Польшѣ она включается въ число шляхетскихъ вольностей, во Франціи нантскій эдиктъ признаетъ за дворянствомъ нѣкоторыя привилегіи въ отправленіи кальвинскаго богослуженія, которыхъ были лишены прочіе смертные. Въ концѣ концовъ реакція побѣдила въ обѣихъ странахъ, и протестантизмъ подвергся законодательной проскрипціи. Когда въ Германіи только-что вспыхнуло возстаніе противъ церкви, во Франціи царствовалъ Францискъ I, въ Польшѣ Сигизмундъ Старый: оба вооружились противъ „ереси“ грозными эдиктами, видя, что „всѣ эти секты (какъ выразился французскій король) стремятся болѣе къ разрушенію государствъ, чѣмъ къ назиданію душъ“. Правительственное противодѣйствіе протестантизму въ обѣихъ странахъ оказывалось первоначально болѣе всего по политическимъ соображеніямъ: государи первой половины XVI в. были вообще слишкомъ „политики“, чтобы дѣйствовать иначе. Францискъ I, карая у себя дома религіозныхъ новаторовъ, любезничалъ съ нѣмецкими протестантскими князьями, а Генрихъ II и далѣе пошелъ въ такой политикѣ; и Сигизмундъ I, преслѣдуя ересь въ Польшѣ, санкціонировалъ вѣроотступничество и клятвопреступленіе секуляризованнаго герцога прусскаго, бывшаго гросмейстеромъ монашеско-рыцарскаго ордена. Даже въ случайностяхъ есть сходство, которое, впрочемъ, ничего не объясняетъ по поводу прекращенія династіи Валуа во Франціи и династіи Ягеллоновъ въ Польшѣ; въ обоихъ государствахъ столкнулись религіозно-политическія партіи, и если Генрихъ Бурбонъ, возведенный на французскій престолъ, нашелъ, что „Парижъ стоитъ мессы“,

то и въ жизни польскаго короля Стефана Баторія, заступившаго недолговѣчнаго на польскомъ тронѣ Генриха Анжуйскаго, былъ одинъ моментъ, когда и ему пришлось подумать то же самое, что сказалъ Генрихъ IV. Наконецъ, Франція видѣла уничтоженіе нантскаго эдикта державною рукою короля, объявившаго знаменитое: „государство, это—я"; „государство, это—мы", могла бы сказать польская шляхта XVII в., издававшая на сеймахъ законы противъ „разновѣрцевъ". Въ монархической Франціи католицизмъ былъ признанъ за лучшую опору трона, іезуиты съумѣли нашептать польской шляхтѣ, что лучшее обезпеченіе ея „золотой вольности" въ католицизмѣ. Mutatis mutandis, это сравненіе двухъ реформацій, во многомъ сходныхъ, приводитъ насъ къ той мысли, что польская реформація, менѣе экзальтированная, хуже организованная, не столь энергичная, а вмѣстѣ съ тѣмъ, пожалуй, болѣе сословная, нежели французская, и задатковъ для развитія имѣла меньше. Но вмѣстѣ съ этимъ приведенное сравненіе выдвигаетъ на первый планъ нѣкоторыя черты, общія реформаціонному движенію, и именно въ Польшѣ онѣ являются еще менѣе осложненными, а потому болѣе рельефными, нежели во Франціи.

Основная особенность польской и французской реформаціи та, что государственная власть и народныя массы въ обѣихъ странахъ остались католическими. Здѣсь не мѣсто разсматривать вопросъ, что случилось бы во Франціи при попыткѣ реформаціи сверху, но относительно Польши это вопросъ не праздный. Мы имѣемъ примѣръ двухъ „королевскихъ реформацій"—въ Даніи и Швеціи. Въ обоихъ государствахъ сидѣли на престолѣ государи, возведенные политической революціей; обоимъ королямъ пришлось имѣть противъ себя могущественную духовную аристократію; одинъ сверхъ того, датскій король Фридрихъ I, былъ лютеранинъ, и въ его шлезвигъ-голштинскомъ княжествѣ реформація уже утверждалась, а другой, Густавъ Ваза шведскій, дѣйствовалъ по чисто политическому разсчету. Здѣсь важно не то, какими мотивами руководились Фридрихъ I и Густавъ Ваза, но то, что инициатива принадлежала власти, и власть провела реформацію въ народъ, опираясь на возбужденіе мірянъ противъ клира, причемъ въ массахъ религіозныя новшества не встрѣтили серьезной оппозиціи. Въ Швеціи еще рельефнѣе, чѣмъ въ Даніи, выступаетъ политическая сторона реформаціи. Густавъ Ваза былъ прежде всего политикъ. Ему хотѣлось уничтожить зависимость короны отъ Рима и сломить могущественный клиръ, составлявшій какъ бы государство въ государствѣ и владѣвшій двумя третями земли. Онъ сталъ дѣйствовать, опираясь на сеймъ, въ которомъ участвовали пред-

ставители четырехъ сословій (а не одного, какъ въ Польшѣ, гдѣ сеймъ тоже поговаривалъ, впрочемъ, о реформаціи): монастырскія и церковныя имущества отдавались въ распоряженіе королевской власти и разрѣшалась свободная проповѣдь лютеранскаго ученія, которое только впослѣдствіи измѣнило религіозное настроеніе массъ. На такой шагъ польскій сеймъ тоже рѣшился бы; онъ даже требовалъ этого, а народная масса въ Польшѣ была такъ пассивна, что при извѣстной умѣлости провести и реформу въ обрядъ не представляло затрудненія. Дворянство въ Швеціи стояло въ оппозиціи къ духовенству, но въ томъ-то и дѣло, что здѣсь къ этой оппозиціи присоединялись и виды короны, и враждебное настроеніе другихъ сословій по отношенію къ клиру, и проповѣдь въ народѣ. Примѣръ скандинавскихъ государствъ указываетъ на то, какую важную роль въ реформаціи игралъ починъ государственной власти при чисто внѣшней привязанности народа къ старой вѣрѣ, не проявившаго ни бурнаго сектантскаго энтузіазма, ни страстнаго католическаго фанатизма. И въ Польшѣ масса не возставала ни противъ церкви, ни на ея защиту, а королевская реформація нашла бы поддержку и въ шляхтѣ, и въ духовенствѣ съ его весьма индифферентнымъ отношеніемъ къ куріи. Бобржинскій думаетъ, что въ Рѣчи Посполитой могла произойти реформація съ сохраненіемъ епископата и „поэтическаго обряда“, съ польскимъ соборомъ подъ предсѣдательствомъ короля, съ бракомъ священниковъ, причащеніемъ подъ обоими видами и народнымъ языкомъ въ богослуженіи, такъ какъ сначала въ польскомъ реформаціонномъ движеніи не было „разрушительныхъ, анархичныхъ элементовъ“: „никто не думалъ о свободѣ вѣроисповѣданія, о терпимости, желали одной, безусловно господствующей церкви, опирающейся на государство, которое карало бы отступниковъ средствами свѣтской власти“ [1]). Только неудача мысли о такой реформаціи, по мнѣнію историка, заставила шляхту броситься въ разновѣрство. Едва ли это вѣрно, и если бы польскій король пошелъ по дорогѣ реформаціи сверху, то дѣло окончилось бы не такъ, какъ въ Даніи и Швеціи, а какъ въ Англіи, гдѣ противъ королевской реформаціи пошла реформація народная. Положимъ, въ Польшѣ послѣдняя осталась бы чисто шляхетской, но дѣло въ томъ, что польская шляхта по всему своему воспитанію и образованію, по своимъ инстинктамъ и стремленіямъ была не такова, чтобы дѣйствительно принять такую церковь, какую изображаетъ Бобржинскій.

[1]) Bobrzynski, 66.

Странная вещь: въ Англіи Генрихъ VIII, получившій отъ папы титулъ „защитника вѣры“, отторгается отъ церкви, въ Польшѣ Сигизмундъ-Августъ, въ вѣрѣ не совсѣмъ твердый, остается въ лонѣ церкви, когда у него былъ такой же поводъ, какъ у англійскаго короля, порвать съ Римомъ, къ чему его и подбивали. Здѣсь выразилось различіе въ индивидуальныхъ характерахъ, и сравненіе англійской реформаціи съ польской показываетъ ясно, какъ много значитъ просто личный характеръ историческаго дѣятеля въ критическія минуты народной жизни. Почему польскій король не пошелъ по дорогѣ Генриха VIII, мы еще увидимъ; но Шуйскій, говоря о такой перспективѣ, основательно замѣчаетъ, что въ Польшѣ было слишкомъ много индивидуальной свободы, чтобы подчиниться королевской реформаціи [1]). Но и Англія не подчинилась ей, какъ скандинавскія государства: въ ней была реформація и снизу, съ сектантствомъ, и вся ея сила уже въ томъ періодѣ англійской исторіи, когда легальная реформація совсѣмъ консолидировалась, что говоритъ противъ гипотезы Бобржинскаго. Отмѣтимъ однако существенную черту различія: англійское движеніе снизу имѣло болѣе разнообразныя причины и шире охватило всѣ классы общества, чѣмъ польское, и въ немъ выработались политическіе принципы, шедшіе въ разрѣзъ съ политическими принципами оффиціальной церкви и католицизма. Не то въ Польшѣ: католическая и протестантская шляхта дѣлали одно дѣло въ серединѣ XVI в., и для обезпеченія „золотой вольности“ поляки хватаются сначала за протестантизмъ, а потомъ съ тою же вольностью мирятъ іезуитскій католицизмъ. Съ борьбою двухъ реформацій въ Англіи соединилась въ XVII в. борьба короля и парламента, такъ что побѣда „одной“ религіи была и побѣдой одной „политики“; но польская государственная исторія идетъ своимъ чередомъ, и ея линія одна и та же и въ эпоху наибольшаго развитія протестантизма, и въ эпоху католической реакціи,—постепенный переходъ Рѣчи Посполитой въ руки шляхты. Наконецъ, въ крайнихъ проявленіяхъ протестантизма Польша не выставила ни строгихъ пресвитеріанъ, ни восторженныхъ индепендентовъ, и съ самаго начала въ ея сектантствѣ проявился тотъ раціонализмъ, который мы видимъ въ англійскомъ деизмѣ, вышедшемъ изъ сектантства, когда остылъ его религіозный пылъ.

Вотъ нѣсколько сравненій польской реформаціи съ нѣмецкой, французской, скандинавской и англійской. Ихъ необходимо было

[1]) Szujski, Odrodzenie i reformacyja, тамъ-же.

сдѣлать, чтобы показать относительную слабость польскаго протестантизма даже въ сравненіи съ французскимъ. И во Франціи, и въ Польшѣ побѣдила реакція, но въ Польшѣ побѣда ея была болѣе полной, и Рѣчь Посполитая въ этомъ отношеніи стала довольно близко къ Испаніи. Но въ Испаніи и не трудно было достигнуть извѣстныхъ результатовъ, въ этой странѣ, католической по преимуществу: въ Польшѣ іезуитамъ пришлось бороться съ религіозной свободой, съ протестантизмомъ, съ вольномысліемъ, съ индифферентизмомъ, съ результатами гуманистическаго образованія, со стремленіемъ высшаго духовенства обособиться отъ Рима, перевоспитать все общество, не имѣя притомъ такого пособія, какимъ въ Испаніи была инквизиція, это орудіе фанатизма и деспотизма. Польша—одно изъ самыхъ громадныхъ завоеваній въ лѣтописяхъ „Общества Іисуса", и это сообщаетъ особый интересъ исторіи католической реакціи въ Польшѣ, къ сожалѣнію, еще очень мало научно разработанной.

Теперь мы можемъ перейти къ самому изложенію фактовъ.

IV.

Возникновеніе реформаціоннаго движенія въ Польшѣ и отношеніе къ нему государственной власти.

Слабое вліяніе нѣмецкой реформаціи на Польшу. — Первое отношеніе поляковъ къ реформаціи. — Продолженіе оппозиціи духовенству безъ религіознаго протеста. — Политика Сигизмунда Стараго и его эдикты противъ „ереси", а также мѣры духовенства. — Движеніе сороковыхъ годовъ XVI в. — Первые польскіе протестанты. — Рей, Модржевскій и Оржеховскій. — Смерть Сигизмунда Стараго. — Первые годы Сигизмунда-Августа. — Новыя пріобрѣтенія протестантизма. — Какъ происходило реформированіе костеловъ? — Характеръ и поведеніе Сигизмунда-Августа. — Его отношеніе къ нововѣрію.

Первою формою, въ которой протестантизмъ явился въ польскомъ государствѣ, было лютеранство, и первыми его послѣдователями были не поляки, а нѣмецкое населеніе такъ называемой „королевской" Пруссіи. Какъ на первый случай увлеченія нѣмецкой реформаціей въ земляхъ, находившихся подъ властью польскаго короля, указываютъ на выходъ изъ монастыря, женитьбу и выступленіе съ анти-католическою проповѣдью данцигскаго монаха Якова Кнаде. Это было уже въ 1518 г., т.-е. черезъ годъ послѣ „тезисовъ" Лютера. Характерно въ этой исторіи вотъ что: епископъ куявскій посадилъ сначала этого вѣроотступника въ тюрьму, но потомъ по чьему-то ходатайству выпускаетъ, и тотъ, изгнанный изъ Данцига, находитъ пріютъ у нѣкоего Крокова,

шляхтича изъ-подъ Торна: духовное лицо оказываетъ „еретику“ послабленіе, а шляхтичъ — прямое пособіе. Это, собственно говоря, было началомъ реформаціоннаго движенія въ королевской Пруссіи, но настоящая Польша не была затронута имъ до болѣе поздняго времени. Въ 1520 г. въ Данцигѣ явились новые проповѣдники и послѣдователи протестантизма и скоро сдѣлали такіе успѣхи, что Сигизмундъ I въ 1523 г. вооружился противъ нихъ грознымъ эдиктомъ на имя городскихъ властей; дѣло дошло въ Данцигѣ до возстанія, которое королю пришлось подавлять силой (1526). Это не помѣшало, однако, распространенію реформаціи въ другихъ городахъ польской Пруссіи и средн нѣмецкаго населенія городовъ Великой и Малой Польши и Литвы. Поляковъ лютеранская реформація, повторяю, почти не коснулась въ двадцатыхъ годахъ XVI вѣка: съ одной стороны, ея апостолы не давали себѣ труда выучиться по-польски, обращаясь главнымъ образомъ къ мѣщанству изъ нѣмцевъ; съ другой, сами поляки не особенно сочувственно относились ко всему нѣмецкому, да и монархическій характеръ, который принимало лютеранство, не могъ прійтись по вкусу полянамъ. Это, конечно, не случайность, что реформа Лютера осталась главнымъ образомъ нѣмецкой, тогда какъ болѣе поздній кальвинизмъ получилъ широкое распространеніе и во Франціи, и въ Англіи, и въ Шотландіи, и въ Нидерландахъ, и въ Польшѣ, и въ Литвѣ: въ лютеранствѣ былъ силенъ нѣмецкій національный элементъ. Тѣмъ не менѣе простое знакомство съ новымъ религіознымъ ученіемъ, которое проповѣдовалось въ Германіи, не могло не проникнуть въ Польшу, благодаря тому, что польская молодежь посѣщала нѣмецкіе университеты и, между прочимъ, виттенбергскій, а вмѣстѣ съ тѣмъ и сочиненія Лютера завозились въ страну и находили читателей среди образованной шляхты. О вліяніи этого чтенія на умы мы можемъ судить по интересному признанію, оставленному намъ польскимъ политическимъ писателемъ XVI в. Андреемъ Фричемъ Модржевскимъ [1]). Передъ 1520 г. онъ слушалъ лекціи въ краковскомъ университетѣ. Впослѣдствіи онъ припоминалъ эти времена, когда онъ и его товарищи „обучались всему, только не теологіи“.— „Изъ глубины Германіи,—писалъ онъ тогда,—приносились къ намъ книги, которыя продавались въ самой академіи. Очень многіе изъ насъ, любившіе все то, что̀ ново, читали эти сочиненія, соглашаясь съ выраженными въ нихъ мнѣніями и воздавая имъ похвалы... Мы не въ силахъ были удержаться отъ чтенія книгъ,

[1]) См. его біографію, написанную г. Э. Дылевскимъ. Варшава, 1884.

которыя со всѣхъ сторонъ накоплялись къ намъ, тѣмъ болѣе, что авторами этихъ сочиненій являлись авторы, одаренные необыкновеннымъ умомъ и краснорѣчіемъ. Правду сказать, папскій интердиктъ безпокоилъ нашу совѣсть, но такъ какъ въ это время мы сомнѣвались во всемъ, и намъ положительно не было извѣстно, имѣетъ ли какое-либо значеніе изреченное папой запрещеніе, то мы читали все, что̀ ни попадалось въ руки. На первыхъ порахъ мы и не думали одобрять новое ученіе и новыя идеи... но съ теченіемъ времени, какъ тѣ, которые, ходя подъ палящими лучами солнца, загораютъ, хотя они совсѣмъ не съ тою цѣлью ходятъ по солнцу, такъ и я, усердно читая сочиненія виттенбергскихъ ученыхъ лишь съ тою цѣлью, чтобы познакомиться съ новымъ ученіемъ, сталъ сомнѣваться во всемъ". И вообще поляками руководило на первыхъ порахъ простое любопытство, которое возбуждалось отчасти и появленіемъ въ Польшѣ анти-лютеранскихъ сочиненій [1]), а въ результатѣ оказывалось только сильно поколебленное правовѣріе отдѣльныхъ лицъ. Канцлеръ Христофоръ Шидловецкій прямо писалъ къ папѣ Клименту VII, что Польша не тронута заразой; посланный къ папѣ въ 1525 г. польскими епископами, Юрій Мышковскій жаловался на притѣсненія, чинившіяся свѣтскими людьми духовенству, но не видно, чтобы это происходило по поводу религіозныхъ несогласій; самъ Сигизмундъ I говорилъ, что „лютеранская пагуба" оказываетъ вліяніе преимущественно на его нѣмецкихъ подданныхъ. Проф. Любовичъ внесъ важныя поправки въ исторію этого ранняго періода, въ которомъ иные историки готовы были видѣть болѣе сильное вліяніе реформаціи на поляковъ [2]): были только отдѣльные, да и то сравнительно рѣдкіе случаи увлеченія лютеранствомъ, вотъ и все. „Медленно, — говоритъ онъ еще, — идетъ распространеніе реформаціонныхъ идей въ Польшѣ и въ слѣдующихъ, тридцатыхъ годахъ, но, — прибавляетъ онъ, — успѣхъ въ этомъ отношеніи, хотя и слабый, уже примѣтенъ" [3]). Однако, и здѣсь все дѣло ограничивалось тѣмъ, что больше распродавалось лютеранскихъ книжекъ, такъ что кое-кого изъ книгопродавцевъ привлекали къ суду, да чаще стали молодые люди ѣздить учиться въ виттенбергскій университетъ къ Меланхтону, не считая болѣе частыхъ извѣстій о сочувствіи къ движенію отдѣльныхъ лицъ. До открытой проповѣди лютеранства дѣло едва ли доходило. Правда,

[1]) Lukaszewicz, Dzieje wyzn. helweck. w M. Polsce, 2 (n° 1), 5 (n° 3). O kościołach braci czeskich, 22.

[2]) Любовичъ, 51—53, особенно прим. 2 на стр. 52.

[3]) Тамъ-же, 53.

первую такую попытку приписываютъ бромбергскому нѣмцу въ Познани, Секлуціану (1525), но скорѣе онъ просто получилъ приказаніе прекратить проповѣдь, будучи заподозрѣнъ въ неправовѣріи; правда, въ той же Познани въ тридцатыхъ годахъ учитель въ школѣ Любранскаго, Христоферъ Эндорфинъ, имѣлъ протестантскихъ послѣдователей среди своихъ учениковъ [1]), но и эта пропаганда велась крайне осторожно. На сеймахъ этой эпохи, между тѣмъ, происходила борьба шляхты съ духовенствомъ, но въ ней еще не примѣшивается вопросъ религіозный, и борьба ведется исключительно на почвѣ уже извѣстныхъ намъ интересовъ. Эти сеймы принимаютъ разныя рѣшенія, которымъ, однако, враждующія стороны не подчиняются: духовенство не выплачивало военнаго налога, шляхта не платила десятинъ и при каждомъ удобномъ случаѣ опустошала церковныя имѣнія. Самыя выдающіяся явленія этой борьбы не обнаруживаютъ никакого религіознаго протеста. Въ первой четверти XVI в. у свѣтскихъ людей былъ планъ обратить церковныя имѣнія на удовлетвореніе потребностей государства, и въ 1534 г. Сигизмундъ I писалъ папѣ Павлу III, что нѣтъ недостатка въ свѣтскихъ людяхъ, qui bonis ecclesiasticis inhiant. Четыре года спустя послѣ этого письма Мартинъ Зборовскій составилъ заговоръ не допускать, по смерти короля, его сына къ занятію трона, пока онъ не подтвердитъ правъ шляхты и не дастъ обязательства отобрать третью часть церковныхъ земель на государственныя нужды,—и увлекъ въ этотъ заговоръ до семисотъ человѣкъ. Закржевскій изъ такихъ фактовъ дѣлаетъ выводъ о сильной распространенности тайнаго протестантизма среди шляхты въ тридцатыхъ годахъ; но мысль о секуляризаціи церковныхъ имѣній не была въ Польшѣ новостью, и если она особенно сильно проявилась въ это именно время, то возможное тутъ увлеченіе нѣмецкимъ примѣромъ еще не доказываетъ, чтобы и религіозное ученіе Лютера имѣло многочисленныхъ, но пока еще тайныхъ послѣдователей въ Польшѣ, хотя бы тотъ же Мартинъ Зборовскій и былъ позднѣе однимъ изъ видныхъ представителей протестантизма. Этого мало: въ 1534 г. сенатъ усиленно просилъ короля неуклонно исполнять изданныя распоряженія противъ нововѣрія, которое, какъ сказано въ просьбѣ, „если его не предупредить благоразумными и строгими мѣрами, несомнѣнно внесетъ въ королевство какую-либо великую пертурбацію“ [2]), а въ 1537 г. шляхта, излагая пункты своего недо-

[1]) О Познани Lukaszewicz, Wiadomośc historyczna.

[2]) Такъ сказано въ рукописи, найденной Закржевскимъ, 234.

вольства клиромъ, ни единымъ словомъ не протестовала противъ стѣсненія религіозной свободы, хотя многія распоряженія королевскія противъ „ереси“ задѣвали нѣкоторыя стороны шляхетскихъ вольностей. Такимъ образомъ оппозиція шляхты духовенству въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, даже въ сороковыхъ, все еще имѣетъ прежній характеръ. Одного мы не отрицаемъ: протестантскія идеи, но не чисто религіознаго характера, получили бо́льшую силу надъ умами и знакомство съ новой вѣрой путемъ чтенія „еретическихъ“ книжекъ еще болѣе поколебало католическое правовѣріе шляхты. Однако, въ періодъ времени почти въ четверть вѣка, отъ 1517 г. до начала сороковыхъ годовъ, польская шляхта болѣе интересовалась новыми идеями, чѣмъ ими увлекалась, и болѣе сочувствовала имъ платонически, чѣмъ рѣшалась открыто имъ слѣдовать. Нужно было, чтобы выросло новое поколѣніе, учившееся въ протестантскихъ университетахъ, чтобы явилось болѣе энергичное и болѣе сочувственное шляхтѣ ученіе Кальвина, чтобы отъ новыхъ притязаній духовенства обострилась борьба противъ него со стороны шляхты, чтобы произошла, наконецъ, перемѣна царствованія,—и тогда только реформаціонное движеніе получило въ Польшѣ силу.

Какъ бы тамъ ни было, новое ученіе проникало въ Польшу. Мазовецкій князь Янушъ (Мазовія до 1526 г. была отдѣльнымъ княжествомъ) на варшавскомъ сеймѣ 1525 г. издалъ указъ, запрещавшій подъ страхомъ смерти и конфискаціи чтеніе сочиненій Лютера. Сигизмундъ Старый также встревожился. У короля, впрочемъ, не было ни фанатизма Филиппа II испанскаго, ни теологическаго дилеттантизма Генриха VIII англійскаго: на дѣло онъ смотрѣлъ, какъ политикъ, и, по его словамъ, полемика должна была быть дѣломъ епископовъ, которымъ онъ и желалъ всякаго успѣха, предпочитая самъ быть королемъ и овецъ, и козлищъ. Во внѣшней политикѣ онъ строго держался свѣтскаго принципа, ставя хорошо ли, дурно ли понятые интересы государства выше интересовъ куріи и католицизма. По сосѣдству съ „королевской Пруссіей“, гдѣ онъ въ 1526 г. подавлялъ данцигское возстаніе, была Пруссія, принадлежавшая нѣмецкимъ крестоносцамъ. Лютеранство проникло и сюда, и гросмейстеръ ордена Альбрехтъ Бранденбургскій задумалъ, оставивъ духовное званіе, превратить страну въ свѣтское наслѣдственное герцогство въ ленной зависимости отъ Польши. Уничтожить орденъ могъ только папа, его владѣнія находились подъ властью церкви; Альбрехтъ былъ клятвопреступникомъ и вѣроотступникомъ, но польскій король не обратилъ на это вниманія и торжественнымъ актомъ принятія

присяги отъ новаго герцога, пріѣхавшаго въ Краковъ, санкціонировалъ превращеніе ордена въ Прусское герцогство (1525). Позднѣе „герцогская“ Пруссія съ своимъ кёнигсбергскимъ университетомъ, куда стекалась масса польской молодежи, сдѣлалась проводникомъ реформаціонныхъ идей въ Рѣчь Посполитую. Черезъ двадцать лѣтъ папа Павелъ III склонялъ Сигизмунда I къ вмѣшательству въ религіозную войну, вспыхнувшую въ Германіи, но король своимъ приказомъ на имя старостъ (1546) запретилъ подданнымъ принимать участіе въ нѣмецкой усобицѣ въ чью бы то ни было защиту, ибо онъ, король, связанъ одинаковыми узами съ обоими враждующими лагерями. Внутренняя политика Сигизмунда опредѣлялась желаніемъ полнаго спокойствія, и одинъ разъ королю пришлось даже воздерживать духовныхъ отъ рѣзкости въ полемикѣ съ новыми идеями, такъ какъ она могла вызвать раздраженіе умовъ и оскорбить сосѣднія націи и ихъ государей [1]). На нововѣріе онъ смотрѣлъ глазами правителя, опасавшагося смуть въ странѣ и оберегающаго принципъ власти: перестанутъ, говорилъ онъ въ 1528 г., платить десятину духовенству, чего добраго откажутся платить и налоги государству. Данцигскій бунтъ и волненія въ Германіи укрѣпляли короля на этой точкѣ зрѣнія, и его эдикты противъ „ереси“ полны соображеній такого рода [2]). Въ 1520 и 1522 г. онъ запретилъ подъ страхомъ изгнанія и конфискаціи ввозъ Лютеровыхъ книгъ, указывая на ихъ опасность для существующаго порядка вещей и спокойствія государства (contra mores et instituta patrum...ac in perturbationem communis status): „что останется въ жизни твердаго и прочнаго, коль скоро каждому будетъ дозволено по собственному разумѣнію и произволу судить и рядить о вещахъ божественныхъ и даже человѣческихъ“ (tam de divinis, quam etiam humanis rebus)? Эдиктъ 1523 г. грозитъ уже, кромѣ конфискаціи имуществъ, костромъ за ввозъ, чтеніе и распространеніе книгъ Лютера и другихъ реформаторовъ: все это ведетъ только къ смутѣ людей и происходитъ отъ неповиновенія власти, которая „должна охранять единство и спокойствіе у подданныхъ ей народовъ, а это возможно лишь при томъ условіи, если божескія и человѣческія учрежденія, утвержденныя долговременнымъ обычаемъ и всеобщимъ одобреніемъ, будутъ охраняться и поддерживаться; мятежные же люди, желающіе быть умнѣе, чѣмъ нужно,—наказываться“. Дру-

[1]) См. документъ 1521 г., напечатанный у Закржевскаго, 226—227.

[2]) Самое вѣрное и полное изданіе эдиктовъ въ приложеніи къ книгѣ Закржевскаго.

гой эдиктъ 1523 г. вводитъ сыщиковъ еретическихъ книгъ и установляетъ книжную цензуру ректора краковскаго университета и опять грозитъ казнью: послѣ нападенія на религію захотятъ „все мутить, а это, какъ свидѣтельствуютъ о томъ многіе примѣры, приводитъ къ бунтамъ (ac in perniciem rerum publicarum)". Все это законодательство дополняется спеціальнымъ распоряженіемъ для города Косціяна (1525), въ которомъ лютеранская секта названа вредной для святой вѣры и для спокойствія государства, а общая мысль всѣхъ эдиктовъ Сигизмунда Стараго — политическая опасность отъ разсужденія въ народѣ о томъ, что не его дѣло, quae muneris eorum non sunt, какъ сказано въ эдиктѣ 1522. — Духовенство не проявило такой энергіи, какъ король: піотрковскій и лэнчицкій синоды 1520 и 1522 гг. ничего не предприняли, а лэнчицкій 1523 въ сущности ограничился подтвержденіемъ королевскихъ распоряженій. Слѣдующіе за тѣмъ синоды въ Лэнчицѣ (1527 и 1532 гг.) и Піотрковѣ (1530) приняли только предохранительныя мѣры на случай, да и тѣ рекомендовались главнымъ образомъ епископамъ бреславльскому и куявскому, какъ ближайшимъ къ „еретическимъ" странамъ. Клиръ не былъ особенно ревностнымъ, да и опасности большой еще не существовало, такъ что ограничились введеніемъ сыщиковъ (inquisitores) ереси, запрещеніемъ распространять лютеранскія книжки, недозволеніемъ духовнымъ лицамъ держать еретиковъ на своихъ земляхъ и у себя на службѣ, и т. п. [1]). Въ 1534 г. Сигизмундъ по просьбѣ сената издалъ эдиктъ, запрещавшій посѣщать мѣста, гдѣ жили Лютеръ и другіе видные реформаторы, но исполнять его оказалось трудно: нельзя было конфисковать имѣнія юношей, продолжавшихъ учиться въ Виттенбергѣ, такъ какъ имѣнія принадлежали ихъ родителямъ, а родители говорили, что и не думали посылать сыновей въ Виттенбергъ, что это дѣлалось ими самовольно.

Такъ стояло дѣло въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Съ сороковыхъ начинается поворотъ. Синодальное постановленіе 1542 года о церковномъ судѣ, расширявшее его компетенцію [2]), сильно раздражило шляхту, и безъ того уже враждебную духовенству, и стѣсненія ея свободы въ посылкѣ дѣтей за границу и въ чтеніи книжекъ начинали очень не нравиться. На сеймахъ начала сороковыхъ годовъ земскіе послы и сенаторы уже требовали запрещенія ѣздить, куда кому угодно, и даже запрещенія читать, что

[1]) См. Constitutiones synodales, изд. Вержика (1860).

[2]) См. выше, гл. III.

кто пожелаетъ. Требованія простой индивидуальной свободы встрѣтились съ королевскими эдиктами, изданными, главнымъ образомъ, по политическимъ соображеніямъ и плохо исполнявшимися въ обществѣ, которое имъ не сочувствовало. Тутъ еще нѣтъ религіознаго протеста, защиты именно протестантскихъ университетовъ и книгъ, а защищается принципъ свободы передвиженія и образованія. Король въ 1543 г. долженъ былъ взять назадъ свои ограниченія относительно заграничныхъ поѣздокъ, хоть и подъ условіемъ не распространять новыхъ ученій въ Польшѣ и не ввозить еретическихъ книгъ. Однако, и тутъ запрещалось публичное распространеніе „новыхъ догматовъ, не принятыхъ св. римскою церковью“, но противъ простой принадлежности къ „ереси“, которую должны были разыскивать „инквизиторы“, ничего не говорилось. Послѣднее распоряженіе Сигизмунда Стараго противъ нововѣрія относится къ 1544 г., и хотя около этого времени начинаютъ переходить въ протестантизмъ даже ксендзы, король не принимаетъ противъ нихъ суровыхъ мѣръ [1]). Энергія его слабѣла, его эдикты не пользовались сочувствіемъ общества, въ которомъ развивается сознаніе индивидуальной свободы. Притомъ „на многихъ въ государствѣ, по словамъ Любенецкаго [2]), нагнало страхъ сожженіе въ 1539 г. старухи Екатерины Заляшовской, жены краковскаго городского совѣтника Мельхіора Вейгля, которая подъ вліяніемъ евреевъ понесла таинство причащенія, и, быть можетъ, боязнь суровости стараго короля многихъ удерживала отъ открытаго перехода въ протестантизмъ, какъ думаетъ Лукашевичъ [3]), но въ сущности и торжественное краковское Auto da fe, и всѣ стѣсненія индивидуальной свободы были противны духу тогдашней шляхты, не говоря уже о томъ, что реформація посѣяла въ ней свои сѣмена. Боязнь передъ королевскими эдиктами не была такъ велика, и краковское auto da fe не нагнало такого страху, чтобы люди, которые не были уже правовѣрными католиками, не выступали открыто съ своими мнѣніями. Въ этомъ отношеніи существенной разницы между послѣдними годами Сигизмунда Стараго, умершаго въ 1548 г. и первыми царствованія его сына Сигизмунда-Августа не замѣчается, и только въ 1552 г. протестантизмъ выступаетъ, какъ политическая сила, на сеймахъ. Движеніе, начавшееся до смерти стараго короля, только продолжалось и усиливалось при новомъ,

[1]) Szujski, Hist. Polski. II, 224.
[2]) Lubieniecius, 17.
[3]) Łukaszewicz, Wiadomość historyczna, 15.

такъ что современники и потомство готовы были приписать все перемѣнѣ царствованія, но въ сущности эта перемѣна не была исключительной причиной начала настоящаго реформаціоннаго движенія. Уже „въ началѣ сороковыхъ годовъ, говоритъ проф. Любовичъ, реформаціонное движеніе стало глубже пускать корни въ польскомъ обществѣ... Сороковые годы,—говоритъ онъ,—еще могутъ быть смѣло названы временемъ возникновенія реформаціоннаго движенія въ Польшѣ“ [1]). Тутъ дѣйствовало все,—и ослабленіе строгостей правительства и выступленіе на сцену новаго поколѣнія, и вліяніе возникшаго около этого времени кальвинизма, и противодѣйствіе шляхты мѣрамъ, стѣснявшимъ индивидуальную свободу, и обостреніе отношеній между шляхтой и духовенствомъ по поводу синодальной конституціи 1542 г., и брженіе, вызванное началомъ Тридентскаго собора (1545), и пр., и пр. Подъ 1543 г. Любенецкій отмѣчаетъ успѣхъ тайной протестантской проповѣди въ Краковѣ [2]). Около этого времени два придворныхъ проповѣдника молодого королевича—Янъ Козминчикъ и Лаврентій Пражмицкій стали поговаривать о заблужденіяхъ и порчѣ церкви. Въ Краковѣ же въ домѣ пана Тржецескаго сталъ собираться кружокъ изъ образованныхъ вольнодумцевъ, въ числѣ коихъ были даже каноники, какимъ былъ Яковъ Уханскій [3]), будущій примасъ Польши и сторонникъ національной церкви, и такіе люди, какъ Андрей Фричъ Модржевскій, выступившій на поприще публицистики, и вольномысліе здѣсь проявлялось такъ свободно, что одно лицо въ 1546 г. даже предъявило сомнѣнія о тайнѣ св. Троицы [4]). Былъ здѣсь и итальянецъ Франческо Лисманини, духовникъ королевы Боны, начитавшійся сочиненій Бернарда Олино, подаренныхъ ему самой королевой. Духовныя лица, бывшія подъ вліяніемъ этого кружка, начинали проповѣдовать не совсѣмъ въ старомъ духѣ, и кой-какіе монахи покинули монастырь. „За четыре года передъ кончиной Сигизмунда I,—говоритъ Лукашевичъ,—реформація уже насчитывала въ этой провинціи (въ Малой Польшѣ) множество сторонниковъ въ разныхъ сословіяхъ“ [5]). Онъ даетъ уже цѣлый ихъ списокъ, но мы въ немъ встрѣчаемъ и Уханскаго, и Морджевскаго, бывшихъ только сторонниками реформаціи, но не протестантами, да и опредѣлен-

---

[1]) Любовичъ, 59.

[2]) Lubieniecius, 16.

[3]) См. изданные о немъ матеріалы проф. Вержбовскаго подъ заглавіемъ „Uchanscіana“.

[4]) Lubieniecius, 19.

[5]) Dzieje kościołow wyzn. helw. w M. Polsce, 7.

ной доктрины еще не существовало, хотя замѣчалась склонность именно къ кальвинизму. Начались отпаденія отъ церкви, уже открытыя, которыя продолжаются и усиливаются при Сигизмундѣ-Августѣ: въ 1544 г. въ кальвинизмъ переходитъ конинскій пробощъ Станиславъ Лютомірскій; его примѣру, черезъ два-три года, слѣдуютъ два плебана: недзвѣдскій Феликсъ Кржижакъ изъ Щебржешина и хрженцицкій Яковъ Сильвій, увлекая своихъ помѣщиковъ Стадницкаго и Филиповскаго; около времени смерти Сигизмунда Стараго перемышльскій панъ Христофоръ Пилецкій открыто вводитъ лютеранство въ своемъ имѣніи Ланцутѣ, и его примѣру слѣдуютъ еще два-три шляхтича, а нѣкто Хржонстовскій вліяетъ на пана Яловецкаго, который выгоняетъ доминиканцевъ изъ Червонограда (въ Подоліи) и „профанируетъ“ костелъ, въ которомъ упомянутый Хржонстовскій „запѣлъ съ амвона постыдныя кантилены“. Правда, это только мы и знаемъ до 1548 г., но и другіе факты указываютъ на броженіе. Краковскіе студенты отказываются слушать старыхъ профессоровъ, предпочитая имъ молодыхъ магистровъ, изъ которыхъ иные потомъ встрѣчаются въ числѣ нововѣровъ. Само духовенство жалуется, что „нельзя изобрѣсти столь нечестиваго заблужденія, которое не нашло бы послѣдователей“ среди поляковъ, что среди канониковъ краковскихъ были „зараженные лютерскою ересью“, что въ монастыряхъ „религія была низвергнута“, а вмѣсто нея господствовала „какая-то новая вѣра“, такъ что для монаховъ не было ничего „ненавистнѣе вѣры католической“. Все это преувеличенія, но дѣйствительно общество заинтересовалось церковными вопросами, и его правовѣріе было сильно поколеблено. Гнѣзненскій архіеп. Петръ Гамратъ писалъ папѣ Павлу III, что вѣсть о созваніи собора была принята въ Польшѣ съ удовольствіемъ, но когда въ Польшу въ 1547 г. пришла новость о томъ, что соборъ, состоявшійся въ Тридентѣ (1545), былъ распущенъ, общество было этимъ очень недовольно. На послѣднемъ сеймѣ Сигизмунда I (въ Піотрковѣ 1547—48 г.) земскіе послы выступили даже съ предложеніемъ, чтобы слово Божіе проповѣдовалось въ чистомъ видѣ (pure).

Три писателя выступили въ Польшѣ сороковыхъ годовъ съ анти-католическими и реформаціонными сочиненіями. Первый былъ поэтъ Николай Рей изъ Нагловицъ [1]), одинъ изъ дѣятелей протестантизма впослѣдствіи, переводчикъ псалмовъ на польскій языкъ. Въ 1543 г. онъ далъ сатирическое выраженіе ходячимъ

[1]) Zawadzki, Mikołaj Rej z Nagłowic.

жалобамъ на духовенство въ своемъ произведеніи „Krótka rozprawa między trzemi osobami: panem, woytem a plebanem“, гдѣ между прочимъ, говорится, напр., о томъ, какъ ксендзы на алтарѣ считаютъ яйца. Другой писатель былъ Андрей Фричъ Модржевскій, учившійся сначала, какъ мы видѣли, въ Краковѣ, а въ тридцатыхъ годахъ въ нѣмецкихъ университетахъ, и хорошо знакомый лично съ Меланхтономъ. На поприще публицистики онъ выступилъ въ 1543 г., издавъ двѣ брошюры, одну противъ разнаго наказанія за убійство шляхтича или хлопа, требуя смертной казни вмѣсто „głowizny“, т.-е. денежной пени, другую противъ постановленія, запрещавшаго не-шляхтичу владѣть землею на „земскомъ правѣ“. Въ Краковѣ онъ примкнулъ къ кружку Тржецескаго и въ 1546 г. издалъ брошюру „О высылкѣ пословъ на христіанскій соборъ“, т.-е. Тридентскій, собравшійся въ 1545 г. Реформа нужна, но посредствомъ собора, на который вышлетъ пословъ національный синодъ, а ему должны предшествовать синоды епархіальные съ участіемъ всѣхъ взрослыхъ членовъ епархіи, ибо „религія есть дѣло общее, всѣхъ касается забота о ней, и нельзя никому частнымъ образомъ постановлять что-либо въ общемъ для всѣхъ дѣлѣ“. Запрещеніе читать книги „противниковъ“ нужно отмѣнить и предоставить свободу слова всѣмъ членамъ синодовъ для критики церкви, которая (церковь) „есть союзъ людей, вѣрующихъ во Христа, а они могутъ ошибаться“. Изданію этой брошюры помогъ деньгами каноникъ Леонардъ Слончевскій, позднѣе епископъ Каменецкій. У Модржевскаго не было никакой опредѣленной религіозной доктрины: онъ требовалъ только реформы вообще, терпимости въ дѣлахъ вѣры, свободы слова, участія голоса мірянъ въ дѣлахъ религіи; онъ допускалъ, что церковь можетъ погрѣшать и что нѣкоторые ея догматы утратили силу для образованныхъ людей XVI вѣка, какъ установленные безъ достаточнаго обсужденія. Позднѣе, однако, Модржевскій выступалъ съ брошюрами (1549) въ защиту причащенія подъ обоими видами и противъ безбрачія духовенства, заявляя, что поднимаетъ эти вопросы не ради того, чтобы что-либо утверждать sed disputandi et discendi causa. Это-то желаніе свободно диспутировать о дѣлахъ вѣры всѣмъ и каждому и овладѣло польскимъ обществомъ въ концѣ сороковыхъ годовъ: тутъ нѣтъ еще открытаго перехода въ протестантизмъ, но нѣтъ уже и слѣпой вѣры въ непогрѣшимую римскую церковь, нѣтъ индифферентизма къ религіи, но нѣтъ и мистическаго энтузіазма. Модржевскій былъ сынъ своего народа и своего вѣка, хотя его политическіе взгляды, выраженные особенно въ позднѣйшемъ сочиненіи „Объ исправ-

леніи Рѣчи Посполитой", рѣзко противорѣчили стремленіямъ шляхты. Особаго вниманія во всемъ его реформаціонномъ планѣ заслуживаетъ предложенное имъ участіе свѣтскихъ людей во всемъ дѣлѣ: это было принципомъ и позднѣйшей протестантской шляхты. Третій публицистъ, перемышльскій каноникъ, Станиславъ Оржеховскій [1]), внукъ (по матери) православнаго священника, учился въ Виттенбергѣ у Карльштадта, потомъ отдѣлался отъ „нѣмецкой заразы" двухлѣтнимъ пребываніемъ въ Италіи и въ 1543 г. вернулся на родину, гдѣ скоро издалъ брошюру: „Крещеніе русскихъ". Это — своеобразная защита восточнаго исповѣданія: оно, по его мнѣнію, вовсе недалеко отъ римской церкви, а потому перекрещивать русскихъ, переходящихъ въ католицизмъ, не надо. Оржеховскій — не былъ протестантомъ, но эта его брошюра и новый трактатъ противъ безбрачія духовенства, изданный стараніями краковскаго кружка Тржецескаго, произвели шумъ въ обществѣ. Какими бы мотивами ни руководился Оржеховскій, издавая вторую брошюру, она была принята сочувственно и среди духовенства. Церковный судъ приговорилъ его, однако, къ покаянію, а книжку сжечь. Это было въ 1547 г. „Вся страна, — говоритъ самъ Оржеховскій, — изъявила мнѣ расположеніе и сочувствіе. На мое дѣло было обращено всеобщее вниманіе: объ немъ одномъ только и говорили". Дѣйствительно, за перемышльскаго каноника многіе готовы были заступиться, а за его малодушное смиреніе передъ церковнымъ судомъ ему пришлось выдержать не мало нападокъ. Когда вскорѣ послѣ этого женился кржчоновскій священникъ Валентинъ и былъ за это вызванъ къ суду, съ нимъ явились въ Краковъ многіе знатные паны, пришедшіе его защищать (1549). Самъ Оржеховскій пріободрился и черезъ два года женился: на судъ съ нимъ явилось до трехсотъ человѣкъ, готовыхъ его защищать, и епископъ, не пустивъ ихъ къ себѣ, долженъ былъ заочно постановить приговоръ — объявленіе Оржеховскаго еретикомъ, отлученіе отъ церкви и изгнаніе изъ перемышльской епархіи. Около этого времени онъ написалъ письмо папѣ Павлу III, письмо, въ которомъ звучитъ нота оскорбленнаго шляхетскаго гонора: „Ты меня осудишь, но король не приведетъ въ исполненіе приговора, ибо это запрещаютъ ему законы. Шляхта стала за меня на сеймѣ піотрковскомъ, она и теперь меня защититъ. Не думай, что ты имѣешь дѣло съ итальянцемъ, твоимъ подданнымъ: я — русскій, шляхтичъ польскій". Онъ

[1]) Kubala, Stan. Orzechowski i wpływ jego na Rzeczpospolitę w obec reformacyi XVI w. Lwów, 1870.

грозилъ еписк. Дзядусскому, запрещавшему ему жениться, а потомъ и папскому нунцію Буонджіованни переходомъ въ восточную церковь [1]). Вообще въ это время среди поляковъ существовало примирительное направленіе по отношенію къ восточному исповѣданію, и Модржевскій въ своихъ дальнѣйшихъ соображеніяхъ на счетъ собора совѣтовалъ пригласить на него представителей и восточной церкви, а нѣкоторыхъ польскихъ духовныхъ прямо подозрѣвали въ сочувствіи къ „схизмѣ".

Исторія Оржеховскаго разыгралась уже въ царствованіе Сигизмунда-Августа. Старый король умеръ въ 1548 г., и уже во время его похоронъ чувствовалось приближеніе рѣшительнаго момента.

На похороны съѣхались иностранцы, среди которыхъ были и протестанты, между которыми обращали на себя вниманіе герцогъ прусскій и маркграфъ бранденбургскій. Пріѣхалъ и старый членъ краковскаго кружка Леонардъ, епископъ каменецкій, получившій епархію, несмотря на тяготѣвшее на немъ подозрѣніе въ склонности къ нововѣрію. Этотъ епископъ, между прочимъ, произнесъ проповѣдь, въ которой сравнивалъ вообще своихъ товарищей по сану съ фарисеями и называлъ порожденіемъ ехидны; пусть лучше, — говорилъ онъ еще, — ксендзы женятся, чѣмъ развратничаютъ. Краковскому епископу Самуилу Моцѣевскому пришлось упрашивать своего расходившагося коллегу болѣе не затрогивать щекотливыхъ вопросовъ, но въ обществѣ Леонардъ стяжалъ большую популярность, а выступившій противъ него баккалавръ теологіи Лука, какъ писала одна духовная особа своему пріятелю, „всѣми сдѣлался ненавидимъ". Нѣкто Генрихъ Фалькенбергеръ, бывшій также на похоронахъ польскаго короля, такъ писалъ Боку, канцлеру княжества Бригъ: „я самъ слышалъ отъ важнѣйшихъ пановъ Польши, также и отъ простой шляхты по гостинницамъ, что если бы только это было въ ихъ власти, то въ теченіе одного года осталось бы мало папистовъ". Черезъ три года послѣ начала новаго царствованія, Герберштейнъ, цесарскій посолъ, уже могъ писать слѣдующее: „столько въ Польшѣ сдѣлали нововведеній (novatum est) въ религіи, что просто удивительно и чудовищно (mirum monstrosumque), какъ столь быстро могла произойти столь великая перемѣна въ дѣлахъ вѣры. Уже многіе священники по смерти епископа Самуила (Мацѣёвскаго, краковскаго) женились и брали себѣ дѣвушекъ изъ благородныхъ фамилій". За четыре первые годы новаго царствованія столько лицъ уже покинуло

[1]) См. также его „Repudium Romae".

католическую церковь, что, начиная съ сейма 1552 г., въ посольской избѣ начинаютъ играть роль протестанты. Въ концѣ XVII в. время это казалось началомъ реформаціи: Любенецкій писалъ, что если „приступить къ дѣлу, что называется, ab ovo", то именно при Сигизмундѣ II, „и по имени и на самомъ дѣлѣ Августѣ", Христосъ, „родившійся въ Іудеѣ при Августѣ, при Августѣ же возродился въ Польшѣ": „въ его времена Богъ соизволилъ, чтобы началась реформація въ государствѣ", прибавилъ еще Любенецкій [1]).

Въ 1549 г. уже многіе факты предвѣщали скорое наступленіе полнаго разгара реформаціи [2]): вездѣ не стѣсняются говорить противъ папы, осмѣиваютъ обрядность католической церкви въ маскарадныхъ процессіяхъ (въ Краковѣ въ 1549 или 1550 г.), начинаются процессы изъ-за неплатежа десятины, происходятъ наѣзды шляхты на имѣнія духовенства. Историки польской реформаціи перечисляютъ много костеловъ, перешедшихъ въ руки протестантовъ передъ 1550 г. и въ первые годы слѣдующаго десятилѣтія. Въ 1548 г. въ большомъ количествѣ пріѣхали въ Великую Польшу братья чешскіе, проповѣдуютъ, находятъ послѣдователей среди пановъ и шляхты, отдающихъ въ ихъ руки костелы въ своихъ имѣніяхъ или строящихъ имъ церкви: такъ поступилъ Яковъ Остророгъ въ 1553 г. А когда въ самой Познани духовенство притягиваетъ „еретиковъ къ суду, его усилія разбиваются о сопротивленіе шляхты, силою иногда освобождающей обвиненныхъ въ „ереси" узниковъ. Около 1549 г. въ куявской землѣ начинается открытая проповѣдь кальвинизма подъ покровительствомъ старосты радзѣевскаго, Рафаила Лещинскаго [3]). Въ Малой Польшѣ происходитъ то же самое [4]). Бракъ кржчоновскаго священника далъ протестантамъ возможность сосчитать свои силы: вызваннаго на судъ преступника противъ канонического права сопровождала многочисленная толпа, ставшая на его защиту. Извѣстный Оржеховскій на одномъ изъ сеймиковъ 1550 г. проповѣдуетъ противъ безбрачія; вызванный на судъ епископа, онъ жалуется сейму; шляхта становится на его сторону и грозитъ его защищать, если съ нимъ случится что-либо дурное. Другой случай: Николай Олесницкій повыкидалъ образа изъ церкви и разогналъ монаховъ изъ пинчовскаго монастыря, а когда его

[1]) Lubieniecius, 14 и 16.

[2]) Szujski, Odrodzenie i reformacyja, 78 sq., 176 sq.,

[3]) См. особенно Łukaszewicz, Wiadomość historyczna и O kościołach braci czeskich.

[4]) См. особенно у Любовича, стр. 85 sq.

вызвалъ церковный судъ, и онъ явился въ сопровожденіи громадной толпы, въ которой, кромѣ шляхты, были даже придворные короля, епископъ попробовалъ-было удалить эту толпу, но она не расходилась, и суду оставалось только, не постановивъ никакого приговора, разойтись самому. Эти вызовы въ судъ, сравнительно немногочисленные и большею частью случайные, и данная королемъ въ 1550 г. привилегія духовенству, подкрѣпившая его права, страшно раздражали шляхту, которая съ этого времени и ведетъ свою энергическую аттаку на церковную юрисдикцію, высылая въ сеймы пословъ, извѣстныхъ преимущественно какъ враговъ клира. Шляхта не пропускаетъ случая надѣлать шума по поводу всякаго скандала въ церкви: такъ, бракъ Оржеховскаго (1551) послужилъ поводомъ для множества демонстрацій враждебныхъ духовенству, такъ что епископъ Дзядускій вынужденъ былъ заочно постановить свой приговоръ, опасаясь шляхты, явившейся съ нимъ на судъ, и, несмотря на приказъ короля староста перемышльскій, Петръ Кмита, не рѣшился, въ угоду общественному мнѣнію, привести приговоръ въ исполненіе, „лишить Оржеховскаго чести“ и изгнать его изъ предѣловъ перемышльской епархіи. Были и другіе случаи въ подобномъ родѣ. Вмѣстѣ съ этимъ начинаютъ устраиваться протестантскіе съѣзды для рѣшенія вопроса, какъ производить реформацію: первый такой съѣздъ былъ уже въ 1550 г. въ Пинчовѣ у Олесницкаго, а потомъ съѣзды въ Сломникахъ (1554), Хренчицахъ, Голуховѣ, Козминкѣ (1555) и т. д.

Какъ же происходило реформированіе или „профанированіе“, какъ выражалось духовенство, всѣхъ этихъ костеловъ, перешедшихъ въ руки протестантовъ? Мы имѣемъ довольно подробный разсказъ о томъ, какъ возникла реформированная церковь въ г. Ксенжѣ [1]). Умерла здѣсь сандомірская воеводша, пани Тенчинская, правовѣрная католичка, но пріѣхавшіе на ея погребеніе ея братъ и зять Янъ Бонаръ, каштелянъ бецкій, и Янъ Ласкій задумали похоронить ее „по новому и необычному способу“. Потомъ каштелянъ держалъ рѣчь передъ первѣйшими гражданами о необходимости бѣжать отъ „римскихъ суевѣрій“ и предложилъ ксендзамъ бросить мессу, за что обѣщалъ имъ оставить ихъ въ городѣ. Послѣдніе на это не согласились, „покинули городъ съ печалью и слезами, отрясши прахъ отъ ногъ своихъ“, и были замѣнены новыми проповѣдниками, а что касается до народа, то

[1]) Alb. Niniucii, De violato atque everso in ecclesia ksyąznensi antiquo religionis kultu. 1558.

онъ, что называется, безмолвствовалъ, страха ради передъ важнымъ паномъ. Такъ бывало и въ другихъ случаяхъ и всегда такъ было, и нечего говорить, что въ деревняхъ, по своимъ помѣстьямъ шляхтичи такъ именно и реформировали костелы. Равнымъ образомъ, и въ городахъ, бывшихъ въ частномъ владѣніи шляхтичей, протестантскій культъ вводился насильственнымъ образомъ. У Лукашевича мы читаемъ, напр., длинные списки костеловъ, превращенныхъ въ протестантскіе „сборы“ въ Малой Польшѣ (числомъ 230) и въ Великой Польшѣ (числомъ 79) съ краткими историческими о нихъ замѣчаніями, которыя всѣ сводятся къ одному [1]). Вотъ примѣры изъ Малой Польши: Барановъ, имѣніе кальвинской семьи Лещинскихъ, которые отдали здѣсь католическій костелъ своимъ единовѣрцамъ; Бежицы, имѣніе кальвинской семьи Оржеховскихъ, отнявшихъ у католиковъ костелъ и отдавшихъ его кальвинистамъ; Берестечко,—Ал. Прунскій отдалъ костелъ своимъ новымъ единовѣрцамъ; Бесицы, имѣніе кальвинской семьи Фирлеевъ, которые, отнявши костелъ у католиковъ, отдали его своимъ единовѣрцамъ; Бобинъ, — деревня была въ рукахъ Николая Рея изъ Нагловицъ, который отдалъ здѣшній костелъ кальвинистамъ; Бржежаны,—Николай Сѣнявскій отнялъ здѣсь костелъ у католиковъ и отдалъ его своимъ единовѣрцамъ - кальвинистамъ; Бучачъ, гнѣздо фамиліи Бучацкихъ, изъ которой Николай, подкоморій подольскій, обратился въ кальвинизмъ, и т. д. То же и въ Великой Польшѣ: напр., Хочъ,—Войцѣхъ Маршевскій, получивъ отъ предковъ большія имѣнія, въ однихъ изъ нихъ поотдавалъ католическіе костелы своимъ единовѣрцамъ, а въ другихъ настроилъ имъ новыхъ; въ Хочѣ, отнявши у католиковъ церковь, онъ ввелъ въ ней богослуженіе братьевъ чешскихъ; Цѣнинъ,—деревня принадлежала фамиліи Пржіемскихъ, изъ которой Рафаилъ отдалъ въ 1568 г. здѣшній католическій костелъ своимъ единовѣрцамъ, братьямъ чешскимъ, и т. д. въ такомъ же родѣ. Въ городахъ королевскихъ на насильственное введеніе протестантскаго богослуженія шляхта не рѣшалась, но попытки иногда дѣлались, какъ это произошло въ Освѣцимѣ въ 1554 или 1555 г., по желанію Николая Мѣшковскаго, каштеляна войницкаго, старосты заторскаго и освѣцимскаго. Реформируя церкви въ своихъ помѣстьяхъ, шляхта прежде всего собирала въ свою пользу земли и утварь, принадлежавшую костеламъ, а также и десятины, а на содержаніе пасторовъ удѣляла очень мало средствъ; но случалось и такъ, что если

[1]) O kościołach braci czeskich, rozdział XI. Dzieje kościołow wyznania helweckiego w M. Polsce, rozdział VI.

въ имѣніи шляхтича-кальвиниста умиралъ католическій ксендзъ или владѣлецъ просто его изгонялъ, не всегда на его мѣсто приглашался пасторъ для реформированія церкви, сообразно съ требованіями протестантскаго богослуженія, и самый „сборъ“ матеріально не обезпечивался. На это прямо жаловались протестантскіе проповѣдники на владиславскомъ синодѣ нововѣровъ въ 1559 г. [1]). Тамъ, гдѣ дѣйствительно вводилось новое богослуженіе, не было сначала никакого единообразія: каждый проповѣдникъ дѣйствовалъ по своему личному усмотрѣнію, хотя уже въ 1550 г. была сдѣлана попытка организовать это дѣло на общихъ для всѣхъ малопольскихъ протестантовъ началахъ. На пинчовскомъ съѣздѣ, выселившійся въ Польшу итальянецъ Франциск Станкаръ, посидѣвшій въ тюрьмѣ по приказанію краковскаго епископа, но освобожденный оттуда тремя протестантскими шляхтичами, предлагалъ ввести „кольнскую реформацію“, еще очень несмѣлую, сохранявшую много слѣдовъ католицизма, но многихъ шляхтичей это не удовлетворяло, и, какъ мы видѣли, Олесницкій началъ выбрасывать иконы. Мѣсто Станкара въ Пинчовѣ занялъ скоро Мартинъ Кровицкій, бывшій католическій священникъ, когда-то учившійся у Меланхтона, а въ 1550 г. женившійся, причемъ обрядъ совершенъ былъ монахами-бернардинами, вызванный за это въ церковный судъ, но не явившійся на вызовъ по совѣту друзей. Кровицкій сталъ здѣсь склоняться къ цвингліанской реформаціи. Были и такіе проповѣдники, которые сочиняли собственное богослуженіе, какъ, напр., нѣкій Альбертъ въ имѣніи Станислава Стадницкаго. Братья чешскіе, распространявшіе свое ученіе въ Великой Польшѣ, старались сдѣлать переходъ къ новой литургіи менѣе замѣтнымъ, но такой образъ дѣйствій мы замѣчаемъ и въ Малой Польшѣ. Особенно въ самомъ началѣ реформированіе церквей происходило несмѣло, и постепенно Олесницкаго съ иконами не всегда и не вездѣ находилъ подражателей. Вотъ что говоритъ о себѣ упомянутый Кровицкій: „видя, что нѣтъ никого изъ народа (pospólstwa), кто исповѣдывалъ бы истинную вѣру, я служилъ долгое время въ комжѣ и иконы терпѣлъ болѣе, чѣмъ полгода, и только когда стали познавать правду божію, я снялъ комжу и удалилъ иконы безъ всякаго соблазна“. Въ общемъ народѣ, поспольство не принимало этихъ новшествъ, его сердце не лежало къ сухой и отвлеченной религіи, которая притомъ не проповѣдовала ему облегченія въ этой земной жизни, и крестьяне тайкомъ бѣгали къ сосѣднимъ ксендзамъ, отправлявшимъ католическую мессу. Общее

[1]) Любовичъ, 26³—26⁷.

поведеніе шляхты, съ другой стороны, не обнаруживало особой ея ревности къ новой вѣрѣ, но за то проявляло большую склонность судить и рядить по своему усмотрѣнію въ дѣлахъ религіи.

Что же дѣлалъ новый король? Какъ отнесся онъ къ нововѣрію?

При его вступленіи на престолъ все, что желало въ Польшѣ реформы церкви, возлагало на него большія надежды, а протестанты такъ до самаго конца его жизни и не теряли этихъ надеждъ. Всѣмъ было извѣстно, что еще въ началѣ сороковыхъ годовъ Сигизмундъ-Августъ держалъ при своемъ дворѣ двухъ проповѣдниковъ, сильно заподозрѣнныхъ въ неправовѣріи, и обѣлялъ ихъ передъ крановскимъ епископомъ Самуиломъ Мацѣевскимъ. Кальвинъ посвятилъ ему одно изъ своихъ сочиненій, а Альбрехтъ прусскій написалъ къ нему письмо, какъ къ своему единомышленнику, убѣждая его содѣйствовать распространенію слова Божія. Къ тому же самый дворъ короля не очень строго соблюдалъ обряды и установленія церкви. Но Сигизмундъ-Августъ остался католикомъ. У него не было твердыхъ, опредѣленныхъ убѣжденій, онъ не способенъ былъ принимать важныхъ рѣшеній, у него не всегда было достаточно энергіи, чтобы приводить въ исполненіе тѣ планы, которые, не смотря на все это, все-таки созрѣвали въ его головѣ. Отъ природы незлобивый, мягкій, терпимый, получивъ изнѣженное воспитаніе, онъ хотѣлъ бы всѣмъ угодить, и когда ему приходилось попадать между двухъ огней, онъ всегда былъ бы радъ устроить дѣло такъ, чтобы и волки были сыты, и овцы цѣлы. Такимъ людямъ по душѣ средніе пути, половинчатыя рѣшенія, компромиссы, а болѣе всего откладывать рѣшеніе, отдалять минуту, когда нужно ясно и опредѣленно высказаться: отсюда вся непослѣдовательность его поведенія, всѣ его попытки откладывать дѣло до завтра, давшія ему прозвище dojutrka. Онъ рѣшалъ и отмѣнялъ свои рѣшенія: въ 1556 г. онъ издалъ приказъ, грозившій безчестіемъ каждому шляхтичу, который сталъ бы помогать отъѣзду его матери Боны, но потомъ самъ же хлопоталъ объ отмѣнѣ этого эдикта, изданнаго по совѣту сенаторовъ. При такомъ характерѣ, оставалось одно—ничѣмъ напередъ себя не связывать или обѣщать безъ твердаго намѣренія исполнять, да и обѣщать-то только, чтобъ отвязаться отъ приставаній, сохраняя для себя какую-либо лазейку. Немудрено, что Сигизмунда-Августа трудно было понять и современникамъ, и потомству: одни ошибались относительно его намѣреній, другіе — относительно сущности его характера. Польскіе протестанты до самой его смерти считали его своимъ тайнымъ сторонникомъ: вотъ-вотъ онъ откроется. Польскіе исто-

рики раздѣлились въ своихъ взглядахъ на этого короля. „Не легко,—говоритъ Закржевскій,—составить себѣ ясное сужденіе о Сигизмундѣ-Августѣ“ [1]). Шуйскій приписываетъ ему особую твердость, „которая позволила ему не отходить никогда отъ разъ намѣченной цѣли“ [2]): ему совѣтовали учинить нѣчто въ родѣ англиканской церкви, но онъ отказался отъ роли „теократа“ и выдержалъ до конца [3]). Для Шуйскаго это—какой-то герой католицизма, политикъ, ловко державшійся выжидательнаго образа дѣйствій въ интересахъ самого дѣла. У него было положительное отвращеніе къ роли теократа, онъ понималъ положеніе Польши: новая церковь имѣла бы оппонентовъ съ точками опоры въ Римѣ, или въ Москвѣ; Рѣчь Посполитая была страной слишкомъ мало варварской и слишкомъ любившей индивидуальную свободу, чтобы превратиться въ „теократію восточнаго царата“; для него подчиненіе церкви государству было возвращеніемъ къ язычеству, и католицизмъ былъ для него средствомъ въ борьбѣ съ Востокомъ за принципы религіи и западной цивилизаціи, а потому онъ не согласился на „ретрогрессію“, на возвращеніе къ Руси, на отказъ отъ высшихъ аспирацій Запада, какимъ были бы утраквизмъ, бракъ священниковъ, народный языкъ въ богослуженіи. О политическую идею и сознательную твердость короля, по Шуйскому, разбились всѣ планы нововѣровъ. Иначе судитъ Бобржинскій: Сигизмундъ-Августъ былъ талантливъ, зналъ свѣтъ, умѣлъ пользоваться людьми для своихъ цѣлей, не останавливался передъ средствами, но вся его политика была низменнаго сорта, слишкома мелко плавала при великихъ задачахъ времени; у Сигизмунда-Августа не было широты взгляда, высшаго честолюбія, энергіи, моральной силы; онъ видѣлъ, въ чемъ нуждалась Польша, предсказывалъ паденіе и не умѣлъ поступить рѣшительно [4]). Въ началѣ своего царствованія онъ могъ бы, по Бобржинскому, сдѣлаться господиномъ положенія, но онъ не уловилъ момента [5]): его нерѣшительность въ дѣлѣ національнаго собора и паденіе надеждъ на „костёлъ народовый“ толкнули всѣ горячія головы на самовольную перемѣну вѣры, стали твориться секты, и реформація сдѣлалась источникомъ смуты и анархіи [6]). Таковы сужденія о Сигизмундѣ-Августѣ. Ошибались и нововѣры, считавшіе его совсѣмъ своимъ; ошибается и Шуйскій, изображая его по-

[1]) Zakrzewski, Powstanie reformacyi, 55.
[2]) Szujski, Dzieje Polski. II, 251,
[3]) Szujski, Odrodzenie i reformacyja, 94—98, 105—106.
[4]) Bobrzynski, II, 76—77.
[5]) Тамъ-же, 65 и д.
[6]) Тамъ-же, 97, 105.

литикомъ съ ясной опредѣленной цѣлью впереди, ради которой онъ шелъ на временныя и только кажущіяся уступки, на самомъ дѣлѣ не теряя ее изъ виду и преслѣдуя ее съ замѣчательнымъ постоянствомъ. Бобржинскій вѣрнѣе понялъ характеръ Сигизмунда-Августа, но едва ли „костелъ народовый“ не далъ возникнуть сектамъ. Къ переходу въ протестантизмъ по убѣжденію онъ не былъ способенъ, потому что индифферентно относился къ вопросамъ, раздѣлявшимъ тогдашнее западное христіанство, да и вообще такой переходъ потребовалъ бы отъ него слишкомъ рѣшительнаго шага, а оставить политику постояннаго лавированія онъ не былъ способенъ по самой сущности своего характера, тѣмъ болѣе, что всякій слишкомъ рѣшительный шагъ создалъ бы массу затрудненій, которыя вообще онъ старался обходить: вся забота его была въ томъ, чтобы въ данную минуту не было никакихъ замѣшательствъ, что́ бы тамъ въ концѣ-концовъ ни вышло. Старикъ-отецъ держалъ страну въ покоѣ, никому не потворствуя, сынъ хотѣлъ достигнуть той же цѣли, на сегодняшній день по крайней мѣрѣ, всѣмъ обѣщая и всѣмъ стараясь угодить, хоть на самое-самое короткое время. Отсюда его непослѣдовательность, неопредѣленность его поведенія въ религіозномъ вопросѣ. Онъ точно хотѣлъ, чтобы все уладилось само собою безъ его вмѣшательства и участія, и въ то же время препятствовалъ этому, создавая своей нерѣшительностью, своей непослѣдовательностью, своей безтактностью, противорѣчіями своей политики всевозможныя помѣхи тому, чтобы дѣло двигалось, а не толклось на одномъ мѣстѣ: его „дозавтрашничество“ было выраженіемъ безсильнаго желанія либо остановить исторію, либо устранить себя изъ нея. Это не былъ человѣкъ твердаго рѣшенія и неукоснительнаго исполненія: ему не годились роли ни Генриха VIII, ни Филиппа II, а между тѣмъ, все-таки это былъ человѣкъ желанія, человѣкъ страсти, доходившей до маніи, человѣкъ извѣстнаго упрямства въ вопросахъ, касавшихся лично его самого. Въ политикѣ онъ былъ упрямъ лишь тогда, когда къ нему очень приставали за рѣшительнымъ поступкомъ, да и тутъ упрямство выражалось не въ упорномъ отказѣ, а обѣщаніяхъ сдѣлать со временемъ, въ умѣніи отдѣлываться словами, лишь бы только поставить на своемъ и не рѣшаться.

У Сигизмунда-Августа духовенство выхлопатывало безсильныя мѣры противъ „еретиковъ“, не приводившіяся въ исполненіе и отмѣнявшіяся. Разныя обѣщанія епископамъ и папскимъ нунціямъ не мѣшали ему, однако, дружить съ завѣдомыми „еретиками“, оправдываясь (онъ такъ оправдывался передъ Коммендоне), что

трудно знать, кто еретикъ, кто католикъ. Радзивиллъ Чорный одинъ изъ видныхъ нововѣровъ на Литвѣ, былъ очень близкимъ ему человѣкомъ, также и другіе нововѣры. На сенаторскія мѣста онъ назначалъ людей, „ересь“ которыхъ ему была хорошо извѣстна, а давъ папѣ обѣщаніе сдѣлать генералъ-старостой великопольскимъ непремѣнно католика, онъ назначилъ на это мѣсто протестанта Якова Остророга. Уже на смертномъ одрѣ, онъ сдѣлалъ воеводою и старостою краковскимъ кальвиниста Яна Фирлея, бывшаго уже великимъ коронным маршаломъ, и это дѣлалъ король, который между двумя названными назначеніями послалъ наказъ познанскому магистрату, чтобы на городскія должности выбирались самые достовѣрные католики. Чисто личныя отношенія и совершенно минутныя обстоятельства часто играли роль въ политикѣ Сигизмунда-Августа: люди оказывали на него большее вліяніе, чѣмъ идеи, и впечатлѣнія, вызванныя событіями дня, скрывали отъ глазъ короля общее положеніе дѣлъ въ государствѣ.

Для реформаціи въ Польшѣ было небезразлично, въ какое отношеніе станетъ къ ней король. Нѣкоторые историки объясняютъ первоначальный успѣхъ реформаціи тѣмъ, что король въ Польшѣ былъ монархъ ограниченный [1]), но въ сущности у короля было все-таки много власти, особенно въ назначеніи на должности епископовъ, воеводъ, каштеляновъ, старостъ. Такое право одно кое-что значило, и впослѣдствіи католическая реакція пользовалась имъ для поддержки правовѣрія, систематически назначая на важныя должности только самыхъ испытанныхъ католиковъ, а, между тѣмъ, въ царствованіе Сигизмунда-Августа всѣ главнѣйшія, напр., дигнитарства великопольскія были въ рукахъ протестантовъ.

Итакъ, въ самомъ началѣ реформаціоннаго движенія въ Польшѣ, относя это начало къ сороковымъ годамъ XVI вѣка, вступилъ на престолъ новый король, неспособный ни овладѣть этимъ движеніемъ, насколько это было возможно, ни оказать ему сильное противодѣйствіе, насколько оно тоже было возможно. Послѣднее обстоятельство благопріятствовало почти безпрепятственному распространенію реформаціи, но вмѣстѣ съ тѣмъ не вынуждало протестантовъ подумать серьезнѣе о томъ, чтобы сплотить свои силы, организоваться въ политическую партію. Только одинъ клиръ встрѣтилъ единодушную оппозицію, но она скорѣе была обще-шляхетскимъ, чѣмъ исключительно протестантскимъ дѣломъ.

Н. Карѣевъ.

---

[1]) Zawadzki, Mikołaj Rej, стр. 10. Сравн. 19 и слѣд.

ВЪ НЕПОЧАТОМЪ УГЛУ

Замѣтки обывателя.

XI *).

Семейные Лапкина, измученные прежнею жизнью, поспѣшили довѣрчиво принять то, что давало имъ настоящее. Никольскіе вполнѣ раздѣляли ихъ радость, о Большаковыхъ и говорить нечего — это было ихъ личное дѣло. Задумывался только Иванъ Яковлевичъ. Какъ человѣкъ опытный, онъ не увлекался излишними надеждами и говорилъ, что успокоится не прежде какъ получитъ отъ Лапкина формальное согласіе, т.-е., когда Петръ Иванычъ будетъ объявленъ женихомъ Александры Васильевны предъ всѣми знакомыми; до тѣхъ же поръ считалъ онъ дѣло не конченнымъ.

И Авдотья Семеновна, и Никольскіе посмѣивались надъ мнительностію старика. „Чего еще больше,—говорили они, — даже шампанское пили“! Но Иванъ Яковлевичъ не убѣждался и оставался при своемъ.

Наступила пора уборки хлѣбовъ; рожь начали жать, пшеница ранняго посѣва тоже просила серпа. Глушковскій базаръ продолжалъ наполняться по праздничнымъ днямъ огромными толпами пришлыхъ жнецовъ, для найма которыхъ съѣзжались посѣвщики изъ окрестныхъ селъ, деревень и хуторовъ. Наемка сопровождается иногда характерными явленіями; не обошлось безъ того и на этотъ разъ. Еще за долго до покосовъ былъ пущенъ слухъ, что въ степяхъ ожидается необычайный урожай и травъ, и хлѣбовъ,

*) См. выше: августъ, 666 стр.

что рабочихъ потребуется много и что цѣны на работы будутъ очень высоки. Нуждающійся и потому легковѣрный народъ принималъ такіе слухи за правду и шелъ на нихъ массами. Жнитво —не то, что покосъ, теперь Глушковская площадь еще наканунѣ „наемки“ покрывалась тысячами пришлыхъ рабочихъ, съ котомками на спинѣ, въ рукахъ съ серпомъ, обернутымъ тряпицей. Больше чѣмъ на половину было бабъ, какъ извѣстно, менѣе устойчивыхъ и терпѣливыхъ; не мало насчитывалось и подростковъ.

Едва пробилась утренняя зорька, весь этотъ людъ, спавшій тутъ же на площади, былъ на ногахъ. Въ твердой увѣренности, что цѣна на жнитво установится, какъ говорили слухи, около 20 руб. за хозяйственную десятину, народъ сначала спокойно и терпѣливо ожидалъ нанимателей; но время летѣло, а „настоящихъ“ нанимателей еще не было. Ходили, правда, какія-то личности съ рысьими глазками, съ маленькими клинообразными бородками, въ пуховыхъ картузахъ и длинныхъ кафтанахъ, обнюхивали—чѣмъ пахнетъ въ воздухѣ и прислушивались къ народному говору; многозначительно покашливали они въ руку, при встрѣчахъ шептались между собою и тайкомъ улыбались, тогда какъ по глазамъ ихъ было видно, что они каждую минуту готовы проглотить другъ друга живьемъ.

Господа эти были приказчики-развѣдчики, „арендательскіе молодцы“. Въ числѣ ихъ находились и приказчики Лапкина. Походятъ, походятъ они по базару, а потомъ незамѣтно скроются, переговорятъ съ своими хозяевами и опять появятся въ толпѣ и продолжаютъ принюхиваться и прислушиваться. Они высланы только для соглядатайства, „примѣчаютъ“ и за народомъ, и за товарищами по ремеслу. Приказчикъ Обмѣркина „примѣчаетъ“ за приказчикомъ Обвѣскина, приказчикъ Обвѣскина „примѣчаетъ“ за приказчикомъ Лапкина, тотъ за обоими первыми и т. д.

Соскучившійся долгимъ ожиданіемъ народъ начинаетъ по немногу волноваться и въ это время распространяется слухъ, что урожай у насъ далеко не важный, а развѣ что средній и то еще неизвѣстно, какъ выйдетъ зерномъ — можетъ, и ниже средняго, что рабочаго народа на всѣхъ наемныхъ пунктахъ видимо-невидимо и съ каждымъ днемъ прибываетъ, и т. п.

На площади начинается громкій говоръ, похожій на отдаленный шумъ волнъ, по мѣстамъ проявляются довольно рѣзкія выходки нетерпѣнія со стороны рабочихъ.

Опытные соглядатаи ждали этой минуты.

Въ разныхъ пунктахъ площади останавливаются они противъ

жнецовъ и съ любознательностью людей, никогда не видѣвшихъ серпа, ощупываютъ это орудіе заскорузлыми пальцами.

— Жать, вишь, собрались? — спрашиваютъ невинные развѣдчики.

— Ништо̀, — отвѣчаютъ мужики.

— Изъ какихъ мѣстовъ Господь принесъ?

— Тамбовски... Ты нанимаешь что ли? Такъ мы бы, пожалуй, насъ вотъ артель 60 человѣкъ.

— Нѣтъ, мы такъ, значитъ, для-ради любопытствія одного спросили. Куда намъ такую прорву 60 человѣкъ, намъ и двухъ десятковъ за глаза! Подождемъ, посмотримъ, какъ другіе нанимать станутъ, время терпитъ, у насъ и хлѣбъ-то еще не дошелъ.

— А ты нечего зубы-то заговаривать,—слышится изъ толпы: —ты напрямки сказывай: какую даешь цѣну?

— Я и сказываю, что намъ еще не надо...

Приказчикъ отходитъ на нѣсколько шаговъ.

— А ваша цѣна какая будетъ?—оборачивается онъ.

— Двадцать рублевъ!—голосятъ изъ толпы.

Приказчикъ отодвигается еще на нѣсколько шаговъ и опять оборачивается.

— Это примѣрно на ассигнаціи? — спрашиваетъ онъ и, не ожидая отвѣта, моментально скрывается изъ вида.

Толпа посылаетъ вслѣдъ приказчика народное напутствіе.

Толпа, и въ особенности женщины, волнуется больше и больше, въ загорѣлыхъ и истомленныхъ лицахъ замѣтно сильное возбужденіе. Вдругъ, съ одного конца площади точно грозный девятый валъ несется гулъ:

— Семь рублевъ даютъ, семь рублевъ только!

— Держи его длиннополаго! Бей его, колугура [1])!

Въ другомъ углу площади маленькая партія жнецовъ, не желая тратить время въ безполезныхъ ожиданіяхъ, согласилась наняться сжать небольшой загонъ по 7 руб. за десятину. Но здѣсь уже всѣ вступились.

— Бей ихъ, отродчиковъ!—бей ихъ, чтобы не роняли цѣны!..

Но это уже послѣдняя вспышка народной досады. Солнце подвигается къ полудню, отощавшій и утомленный народъ затихаетъ, развѣдчики, попрятавшіеся—было по закоулкамъ и задворкамъ, вылѣзаютъ изъ засады и осторожно пробираются на площадь; немного погодя выступаютъ и сами Обмѣркины, Обвѣскины, Лапкины и т. п. Преисполненные сокрушеніемъ о грѣхахъ всего

[1]) Народное прозвище раскольника.

рода человѣческаго, кромѣ своихъ, конечно, они смиренно разсуждаютъ:

— Гм... Семь рублевъ. Какъ это можно! Народъ — тоже вѣдь вонъ откуда шелъ, обижать его понапрасну грѣшно, Господу Богу отвѣтишь. По нынѣшнимъ хлѣбамъ не грѣхъ полтинку накинуть, а по мѣстамъ—и всѣ восемь можно дать.

Но и эти семь съ полтинкой и восемь — не больше какъ пробный шаръ, пущенный предъ народомъ съ цѣлію вызнать, какъ онъ взглянетъ на него. Ясно, что утомившіеся жнецы готовы вступить въ сдѣлку и изъ ожидавшихся 20 спустили значительно, поприбавили и землехозяева, торгъ вертится около 10 руб., дѣло почти „на мази", вотъ-вотъ ударитъ кто-нибудь порукамъ, „започнетъ", и не больше какъ черезъ часъ площадь опустѣетъ. Всѣ съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ ожидаютъ рѣшительной минуты, что на площади возстановляются относительныя тишина и порядокъ. Но чу... колокольчикъ! Въ продольной съ площади улицѣ видѣнъ столбъ пыли; онъ быстро подвигается впередъ, влетаетъ на базаръ, и глазамъ народа открывается взмыленная пара неукротимыхъ башкирокъ, плетенка на елабугскомъ ходу и въ ней сѣрый нанковый кафтанъ, сѣрое же отъ пыли лицо съ козлиною бородкою и пуховый картузъ на головѣ.

Пріѣзжаго узнаютъ тотчасъ же и въ народѣ слышатся слова:

— Приказчикъ Гольцова!.. Быть дѣлу!

— Все дѣло теперь изгажено,—ропщутъ арендаторы:—ахъ, пострѣли его наразно! Малость такъ не успѣли закончить...

Гольцовъ, по количеству собственныхъ и арендуемыхъ земель, представляетъ собою нѣчто въ родѣ степного короля, уставщика и заправилы, по камертону котораго поетъ вся палестина.

Между тѣмъ, пріѣхавшій круто осаживаетъ лошадей и, не выходя изъ телѣжки, зычнымъ голосомъ кричитъ:

— Эй, народъ! Азія! Почемъ цѣна?!

Обмѣркины и Обвѣскины—мелюзга въ сравненіи съ Гольцовымъ—только искоса посматриваютъ на пріѣзжаго, а онъ, не обращая на нихъ вниманія, продолжаетъ вызывать:

— Эй, вы! Пенза—толста нога! Сколько васъ тутъ, подходите! Какая, молъ, цѣна?

Телѣжку окружаетъ толпа, изъ которой слышатся голоса:

— Десять монетъ хозяйственну ладятъ!

Пріѣзжій поднимается въ телѣжкѣ на ноги и кричитъ еще громче:

— Кто хочетъ на наши участки?! Двѣнадцать за десятину даю!..

— Мы, мы желаемъ! — ревутъ толпа; телѣжку тѣснятъ со всѣхъ сторонъ.

— Кто согласенъ на 12-ть, давай сюда паспорты!—кричитъ приказчикъ.

Начинается невообразимая возня и давка. Народъ присѣдаетъ на корточки, торопливо снимаетъ котомки, достаетъ изъ нихъ гербовые полулисточки и сотни рукъ, въ перебой, протягиваются къ телѣжкѣ.

— Вали въ плетенку! — командуетъ приказчикъ: — вали-валомъ, после разберемъ!

Телѣжка наполняется паспортами. Приказчикъ достаетъ изъ-подъ козелъ плетеную кошелку и начинаетъ складывать въ нее „письменные виды".

— Разъ, два, три, — считаетъ онъ: — двадцать-девять, двадцать-десять, тридцать... тридцать-девять, тридцать-десять, сорокъ... Ровно 300! Слышите? — спрашиваетъ онъ у 324 человѣкъ, отдавшихъ ему виды.

— Слышимъ! Ровно 300.

— Ну, орда, я теперь поѣду, а вы идите слѣдомъ за мной. Вотъ, по малиновской дорогѣ идите. Тамъ въ Малиновкѣ встрѣтите другого приказчика; онъ укажетъ вамъ, куда идти.

— Можетъ, далеко?—спрашиваетъ толпа.

— Вплоть! — коротко отвѣчаетъ приказчикъ и трогаетъ съ мѣста.—Не запаздывайте,—приказываетъ онъ народу:—ждать васъ не станемъ!

Гольцовскіе жнецы торжествуютъ. Но соглядатаи надъ ними подшучиваютъ.

— Идите, идите,—говорятъ они имъ, съ двусмысленной улыбочкой.

— А что?—не безъ сомнѣнія спрашиваютъ они.

— Да ничего; идите... Не заповдайте, смотрите.

Наемка установилась по 12 руб., толпа начала рѣдѣть, по разнымъ улицамъ разсыпались отдѣльныя партіи жнецовъ отъ 10 и до 100 человѣкъ и въ сопровожденіи нанимателей или приказчиковъ ихъ пошли по своимъ мѣстамъ.

Гольцовскіе жнецы закусили, соснули часокъ и двинулись въ путь. Въ Малиновку пришли они еще до солнечнаго заката, тамъ ихъ дѣйствительно ожидалъ другой приказчикъ, но того, чѣмъ онъ встрѣтилъ ихъ, жнецы никакъ не ожидали.

— Вы съ глушковской наемки?—спросилъ приказчикъ, гарцуя верхомъ на конѣ и поигрывая нагайкой.

— Да.

— Васъ Иванъ Терентьичъ нанималъ?

— Не знаемъ мы имя-отечества его, видали только, что онъ въ казинетовомъ кафтанѣ.

— Картузъ суконный.

— Бородка клинушкомъ, будто какъ у козы.

— Онъ самый, — подтверждаетъ приказчикъ: — почемъ онъ васъ нанялъ?

— По двѣнадцати за хозяйственну.

— Вотъ что,—говоритъ приказчикъ:—часа два тому назадъ проѣхалъ здѣсь Иванъ Терентьичъ и велѣлъ сказать вамъ, что въ Дубровкѣ онъ нанялъ артель въ 500 человѣкъ по 10 руб. за десятину. Если хотите работать за эту цѣну — идите, я провожу васъ, куда слѣдуетъ, а ежели нѣтъ, такъ какъ знаете. Неволить не будемъ, у насъ этого не водится, чтобы силкомъ или обманомъ, у насъ, по Божьи.

Начинается невообразимый шумъ, жалобы неизвѣстно кому, угрозы, упреки, потомъ оханье и аханье, потомъ просьбы—возвратить паспорты.

— Паспортовъ вашихъ у меня никогда не было, братцы, и сейчасъ нѣтъ. Сами знаете—я отъ васъ ихъ не получалъ.

— Да мы этому самому, какъ его... Иванъ Терентьичъ что ли?—ему препоручили.

— У него, смотри, они и будутъ.

— Да гдѣ онъ самъ-отъ? Давай его сюда на глаза!

— Самъ онъ, милые, далече теперь, пожалуй, не догоните... На участокъ онъ уѣхалъ, Ковыловскій этотъ участокъ по нашему будетъ, 30 верстъ отсюда.

— Зачѣмъ онъ съ собой-то увезъ?

— А запамятовалъ, видно; дѣловъ-то у насъ съ нимъ не съ ваше. Такъ-тось.

— Какъ же быть?!—чуть не съ отчаяніемъ восклицаютъ рабочіе и разводятъ руками.

— Право ужъ и не знаю, голуби мои; дѣло это ваше, думайте, какъ лучше для васъ. А ежели на мой разсудокъ полагаетесь, такъ я скажу вамъ вотъ что: пошелъ народъ, изъ вашинскихъ же, по 10 рублевъ и вы идите, только и всего! По пусту вѣдь недѣлю-то проболтаетесь и послѣдніе гроши исхарчите... Впрочемъ, счастливо оставаться! мнѣ тоже калякать-то съ вами некогда.

И прежде, чѣмъ жнецы успѣли что-нибудь сказать, степной скакунъ несъ прикащика уже далеко.

Впереди у жнецовъ оставалась цѣлая ночь; было когда обсудить—что предпринять и дѣлать.

Сонъ укрѣпилъ и успокоилъ ихъ, а съ утренней зарей они длинною вереницею шагали по глухой дорожкѣ, пробираясь на ковыловскій участокъ.

„Утро мудренѣе вечера", и точно—сколько ни разсуждали съ вечера, а проснувшись утромъ, увидѣли, что прежде всего необходимо выручить „по ошибкѣ" увезенные паспорты.

Прослѣдимъ ужъ и мы за ними до конца.

Пришли рабочіе на ковыловскій участокъ и никакой другой партіи въ 500 человѣкъ, разумѣется, не встрѣтили и не видали: на другой-де участокъ отправлена она, сказали имъ. Началсябыло опять шумъ, но никакого прока изъ этого не вышло, а когда дѣло дошло до угрозъ и очень не шуточныхъ, то у Ивана Терентьича въ запасѣ оказался великій укротитель несговорчивыхъ людей, въ видѣ боченка съ водкой. Выпили по чарочкѣ, по другой и сдѣлались поуступчивѣе. У рабочихъ словно повязка съ глазъ спала и они только сейчасъ одумались, что забравшись въ даль отъ наемныхъ пунктовъ, имъ выбирать не изъ чего, пришлось остаться и жать по 10 руб. за десятину.

Отработали что слѣдовало, пришли получать плату и, вмѣсто 10 руб., получили меньше 8-ми за десятину.

Опытный по хозяйственной части Иванъ Терентьичъ объяснилъ все дѣло простымъ недоразумѣніемъ со стороны рабочихъ. Оказалось, опять при помощи того же боченка, что пензенскіе жнецы ведутъ совсѣмъ не такой счетъ хозяйственный десятинѣ, какой введенъ въ употребленіе Гольцовымъ; его-то десятина нѣсколько побольше.

— Да,—назидалъ на прощаньѣ жнецовъ Иванъ Терентьичъ: — у насъ здѣсь своя мѣра—степная. Напредки—знайте объ этомъ.

И пошли они, солнцемъ палимы,
Повторяя: „суди его Богъ"!..

XII.

Почти всегда такъ бываетъ, что наемъ рабочихъ косцовъ или жнецовъ сопровождается выпивкою, иногда на счетъ нанимателя, если онъ изъ щедрыхъ, или когда наниматель скупенекъ и „баловать" рабочихъ не любитъ, они выпиваютъ за свой счетъ, складывая, въ чаяніи великихъ заработковъ, послѣдніе гривны и пятаки. Гривенъ и пятаковъ набирается, должно быть, очень не

мало, потому что виноторговцы страдную пору называютъ „покосомъ“ для себя, а сколько пропивается при возвращеніи съ работы, можно судить по тому, что многіе рабочіе возвращаются домой безъ копѣйки.

Въ „питейныхъ“ Лапкина торговля шла бойко. То-и-дѣло останавливались передъ ними бочки съ привезенною изъ его же склада водкою, разливъ которой производилъ онъ всегда подъ личнымъ наблюденіемъ, изъ опасенія, чтобы служащіе — чего добраго — „не переложили“ какого-нибудь зелья. „Разсыропливалъ“ Лапкинъ вино на нѣсколько сортовъ, отмѣчая каждый изъ нихъ своеобразнымъ названіемъ. Такъ, напримѣръ, водка самой высокой крѣпости называлась у него „королевской“, за нею въ нисходящемъ порядкѣ шли: „барская“, „поповская“, „обыкновенная“ и наконецъ „мужицкая“. Послѣдняя, съ цѣлію возбудить жажду къ вину, разбавлялась водою до невозможности; но за то Василій Никандровичъ подкладывалъ въ нее такую дозу поташу и, какъ выражался онъ — „сибирлету“, что ядовитости вина не выдерживало никакое „нутро“ и мужикъ, выпивъ такой водки, начиналъ каплять и смигивать проступавшіе на глазахъ слезы. Впрочемъ — нужно отдать справедливость — Лапкинъ не возбранялъ мужикамъ пріобрѣтать и привилегированные сорта, разумѣется, за соотвѣтствующую цѣну.

Въ описываемый нами день, Василій Никандрычъ былъ въ Глушковѣ и съ ранняго утра находился въ винномъ складѣ, приготовляя къ завтрешнему базару „свѣжій товаръ“. Только къ полудню, убѣдившись личнымъ опытомъ, что все „въ надлежащихъ градусахъ“, онъ явился къ Большаковымъ, съ лицомъ цвѣта спѣлой малины и съ помутившимися уже глазами.

Петра Иваныча не было дома. Надя занималась у Никольскихъ рукодѣльемъ, а мы втроемъ домосѣдничали.

— Однако же уходился я въ этой „винной атмосферѣ“, — сказалъ Лапкинъ, разсмотрѣвъ отраженіе своей физіономіи въ зеркалѣ, передъ которымъ поправлялъ прическу и попросилъ чаю.

Чай съ неизбѣжною при этомъ закускою были поданы, и радушіе Большаковыхъ, выказанное при угощеніи Лапкина, равнялось ихъ нетерпѣнію услышать обѣщанный отвѣтъ на предложеніе; но гость держалъ въ умѣ свое дѣло и, послѣ двухъ-трехъ фразъ о новостяхъ, перешелъ къ нему весьма круто.

— Ну, Иванъ Яковлевичъ, выручай деньгами — жнитво наступило.

Большаковъ тихо засмѣялся.

— Вы все о деньгахъ хлопочете, Василій Никандрычъ, а

мы ждали васъ съ другими вѣстями. Надѣялись услышать отвѣтъ на счетъ Петра. Надумали что, или нѣтъ?

— Надумалъ, Иванъ Яковлевичъ, надумалъ. Какъ же, помилуй! Я объ этомъ дѣлѣ думаю ежеминутно и—надумалъ.

— Что же надумали-то? — спросила Авдотья Семеновна, передавая ему стаканъ чаю;—объявите ужъ и намъ. А то время идетъ, Петя—ни въ тѣхъ—ни въ сѣхъ, да и мы тоже сердцемъ болѣемъ.

— Ни-ну, это вы, достопочтеннѣйшая Авдотья Семеновна, совсѣмъ ужъ напрасно; совсѣмъ напрасно! Никогда и ничего не принимайте близко къ вашему чувствительному сердцу,—это вамъ мой совѣтъ. Излишняя чувствительность можетъ вредно отозваться на вашемъ нѣжномъ организмѣ. Вотъ вамъ примѣръ — моя Аннета. Она отъ того только и больна, что все къ сердцу принимаетъ. И вотъ—не здорова! А для меня развѣ легко это, а?

Лапкинъ, вѣроятно, и самъ понималъ, что лгалъ непозволительно; но такова ужъ была его страсть рисоваться и болтать; въ настоящемъ же случаѣ болталъ онъ не безъ задней мысли, желая уклониться отъ прямого отвѣта. Не малое время продолжалось это переливанье изъ пустого въ порожнее; Большаковъ еще разъ повторилъ вопросъ; но Лапкинъ, какъ бы и не слыхалъ о чемъ его спрашивали и продолжалъ прерванную рѣчь:

— Прекрасный молодой человѣкъ вашъ Петръ Иванычъ! Оно, впрочемъ, и понятно:—у такихъ благочестивыхъ и строгихъ родителей, какъ вы, плохого дѣтища быть не можетъ. Нно... къ обоюдному нашему прискорбію, долженъ сказать откровенно, что практическаго развитія ему недостаетъ — вотъ что! Я намѣреваюсь заняться имъ серьезно... Даю вамъ слово сдѣлать изъ него человѣка!

— Это вы, Василій Никандрычъ, — горячо возразилъ Большаковъ:—совсѣмъ напрасно будете утруждать себя. Я Петра знаю, онъ не изъ податливыхъ; свое дѣло ведетъ хорошо—бо́льшаго и не требуется.

— Э-э, нѣтъ-съ, Иванъ Яковлевичъ, нѣтъ!—позвольте ужъ не согласиться съ вами. Таланта зарывать въ землю не слѣдуетъ, необходимо пускать его въ оборотъ и пріумножать... Нда-съ!.. Берите примѣръ съ меня...—но языкъ его, вѣроятно, отъ близкаго сосѣдства съ закуской, костенѣлъ и не успѣвалъ за мыслью; Лапкинъ начиналъ путаться и, чтобы замять это, сказалъ:

— Водка у васъ, доложу вамъ, превосходная; отъ Пѣночкина?

— Отъ него.

— Вишь, дочь сватаетъ, а водку въ городѣ покупаетъ!.. А какой я нынче ассортиментъ приготовилъ—прелесть... Такъ какъ же свать: на счетъ денегъ-то?

— О деньгахъ чтоже толковать много, за деньгами дѣло не станетъ: вы прежде отвѣтъ скажите.

— Скажу, другъ, скажу. Не сокрушайся старикъ... И вы, любезнѣйшая Авдотья Семеновна, и вы тоже, Андрей Николаичъ... Обождите немного! Сами видите, сколько у меня дѣла; у любого исправника нѣтъ столько, сколько у меня!.. Ты вотъ, старче праведный, давай мнѣ денегъ и начнемъ убирать хлѣбъ, а молодые люди пусть видятся по немножку.

— Не водится такъ у насъ, въ крестьянствѣ, — отвѣтилъ Иванъ Яковлевичъ, — чтобы по долгу шло сватовство... Разговоры могутъ выйти.—Но Лапкинъ пьянѣлъ все больше и больше. Отъ него такъ и не добились отвѣта. Въ концѣ концовъ онъ началъ уже бушевать и ругаться, и его нужно было уложить спать.

Визитъ Лапкина произвелъ на Большаковыхъ удручающее впечатлѣніе. Въ теченіе двадцатилѣтняго знакомства имъ хотя и не разъ приходилось встрѣчать Василія Никандрыча „во всяческихъ видахъ“; но теперь-то, послѣ двухъ недѣль ожиданія, они никакъ не думали увидѣть и услышать то, чему были свидѣтелями.

Обѣдать въ этотъ день мы не садились. Къ вечеру пришли Никольскіе всѣмъ семействомъ, въ саду устроили чай и по немногу успокоились. Иванъ Яковлевичъ къ этому времени тоже „передумался“. Проснулся и Лапкинъ; но, узнавъ, что у насъ гости, не вышелъ, а спросивъ у кухарки поѣсть, закусилъ и вновь легъ спать.

Утромъ слѣдующаго дня, Лапкинъ, какъ только проснулся, пошелъ въ рѣку и долго купался въ холодной водѣ, „выгоняя изъ себя вчерашнюю дурь“. Столкнувшись съ нимъ въ саду послѣ купанья, я никакихъ признаковъ хмѣля въ немъ не замѣтилъ; онъ былъ свѣжъ, бодръ и крѣпокъ.

Василій Никандрычъ взялъ меня подъ руку и спросилъ:

— А что, вчера я, кажется, немножко... того?

— Нѣтъ ужъ не немножко, а какъ нельзя быть хуже, — отвѣтилъ я.

— Гм... скверно... Поправлять надо какъ-нибудь.

За чаемъ онъ, съ видомъ глубочайшаго смиренія и раскаянія, долго извинялся передъ Большаковыми и когда они смяг-

чились, упросилъ ихъ не тревожить его на счетъ свадьбы до окончанія уборки хлѣбовъ, а затѣмъ получивъ и на это согласіе, занялъ-таки у Ивана Яковлевича денегъ и отправился на базаръ нанимать жнецовъ.

— Ну, Яковличъ, — сказала Авдотья Семеновна по уходѣ гостя:—и правда твоя, будетъ намъ съ нимъ хлопотъ!

— Что дѣлать-то, для сына вѣдь; можно и стерпѣть. Не то еще увидимъ, погоди вотъ.

— Хорошо еще, что Пети нѣтъ дома; пожалуй, онъ и не уважилъ бы ему.

— Ты, старуха, вотъ что:—Петѣ всего не разсказывай... не смущай парня, и безъ того ему трудно.

Петръ Иванычъ возвратился изъ города только къ обѣду. Узнавъ о результатахъ посѣщенія Лапкина, онъ пожалъ плечами и сказалъ:

— Дѣлать нечего, подождемъ...

XIII.

Захвативъ съ собою только-что полученную почту, я ушелъ въ садъ и, уединившись тамъ, занялся ею на свободѣ.

Изъ бесѣдки, въ которой сидѣлъ я, все зарѣчье и половина села видиѣлись какъ на ладони.

Не хотѣлось идти въ душную комнату. Взглядъ приковывала широкая степь, залитая ослѣпительнымъ блескомъ полуденнаго солнца и, въ ожиданіи вечерней прохлады, проникшая подъ жгучими его лучами. Въ воздухѣ струилось марево, синѣющая даль тонула въ туманной мглѣ и незамѣтно сливалась съ небосклономъ. По временамъ показывались свѣтлыя облачка пыли и, вслѣдъ за путникомъ, бѣжали по дорогѣ, вытягиваясь въ прозрачную ленту, пронизанную солнечнымъ лучемъ. Студенецъ, то прячась въ узкихъ берегахъ, то разливаясь по низинамъ въ широкіе плесы, ясно отражалъ чистую лазурь безоблачнаго неба и прибрежные камыши. Въ зарѣчныхъ лугахъ зеленѣли еще стога недавно скошеннаго сѣна, а дальше за ними золотились полосы несжатаго хлѣба. Пахнулъ легкій вѣтерокъ и все пришло въ движеніе; и марево, и облака пыли, и хлѣба—все заволновалось. Но вѣтерокъ будто хотѣлъ пошутить только, пронесся—и нѣтъ его, и опять все успокоилось и замерло въ прежней неподвижности.

На улицѣ было безлюдно; всѣ въ поляхъ на жнитвѣ; дома

только малыя дѣти да немощные старики, хранители домашняго очага отъ лихого человѣка, а больше всего отъ „краснаго пѣтуха“, такъ часто навѣщающаго наши села въ страдную пору.

Отживающіе трудовой вѣкъ старцы сидѣли на завалинахъ, на солнечномъ припекѣ, грѣли износившееся тѣло и ноющія, изломанныя тяжкимъ трудомъ кости. Пока до могилы настанетъ и для нихъ небольшой отдыхъ. Хороводятся они теперь со своими внучатами-младенцами и утѣшаются, глядя на ихъ веселыя забавы.

Часамъ къ пяти дня собрались у насъ дѣвицы Лапкины, семейство Никольскихъ и школьный учитель съ женой.

Въ ожиданіи обѣщаннаго посѣщенія невѣсты, Петръ Иванычъ вернулся изъ поля къ этому же времени; Иванъ Яковлевичъ, оставшись наблюдать за работами самъ, отпустилъ его домой ранѣе обыкновеннаго. Чай, который пили опять въ саду, прошелъ весело и беззаботно. Собрались Лапкины домой и мы всѣмъ обществомъ отправились провожать ихъ.

Опускался вечеръ. Солнце уже закатилось и отблескъ послѣднихъ лучей вечерней зари игралъ на блѣдной лазури неба золотисто-розовымъ сіяніемъ; въ потемнѣвшей котловинѣ Студенца, берегомъ котораго шли мы, начиналъ клубиться легкій паръ. Порою навѣвалъ живительный вѣтерокъ.

По дорогѣ къ хутору, надъ обрывомъ берега, вѣковалъ высокій курганъ, обросшій у основанія кустами бобовника. По народному преданію, въ нѣдрахъ кургана хранился кладъ, зарытый еще первыми насельниками степи. Многимъ благочестивымъ старцамъ и старицамъ, соблюдавшимъ во всей чистотѣ и неприкосновенности „старую, отческую вѣру“, слышались въ сновидѣніяхъ гласы объ этомъ кладѣ, многіе изъ нихъ „усподобились“ даже видѣть „въ полуношный часъ“ теплившіяся на курганѣ свѣчи воску яраго, и вслѣдствіе этого многіе, и не одинъ разъ, сдѣлали попытки подкопаться подъ курганъ со стороны рѣки; но кладъ „не давался“... по неизвѣстности заговора, съ которымъ зарыть. Споры, происходившіе по этому поводу, не выяснили сущности дѣла; такъ, въ теченіе, можетъ быть, столѣтія, и оставалась она въ прежней темнотѣ. Одни утверждали, что кладъ зарытъ „на сто головъ“, другіе—что „на сто колóвъ“... Колья, разумѣется, не Богъ вѣсть что такое, но штука въ томъ, что колья должны быть непремѣнно изъ того древа, которое произрастаетъ „на морѣ на кіянѣ, на островѣ буянѣ“, а какъ дойти до этого острова—никто не зналъ; не знали даже старцы бывалые, хо-

дившіе въ Соловки и въ Іерусалимъ, плававшіе по морямъ, видѣвшіе путь средиземный и слышавшіе, какъ грѣшники стонутъ въ аду. За этимъ незнаніемъ и останавливалось все дѣло!

Для насъ, ходившихъ по новой никоновой ереси, курганъ представлялся древнимъ сторожевымъ пунктомъ и, въ самомъ дѣлѣ, съ него открывался широкій кругозоръ. Любили мы взбираться на этотъ курганъ и теперь тоже не прошли мимо, но, поднявшись на его вершину, въ нѣмомъ удивленіи созерцали безграничную даль, съ одной стороны блѣднѣвшую въ слабомъ мерцаніи угасавшей зари, съ другой — сливавшуюся съ наступающею темнотою. Въ вышинѣ мигали уже первыя звѣзды, а внизу по мѣстамъ теплились огни, на которыхъ жнецы варили ужинъ. Откуда-то доносились звуки, неясные и загадочные, какъ и сама степь въ эту минуту; раздастся такой звукъ, пронесется гулкимъ эхомъ, встревожитъ дремлющую природу и — замретъ неизвѣстно гдѣ...

Петръ Иванычъ стоялъ, съ наслажденіемъ всматриваясь въ растилавшуюся предъ нами панораму. Александра Васильевна довѣрчиво оперлась на его руку и безъ боязни глядѣла впередъ...

У Лапкиныхъ мы застали цѣлый съѣздъ. Слѣдователь съ становымъ и уѣзднымъ лекаремъ, возвращаясь „съ мертваго тѣла“, „мимоѣздомъ“ завернули къ Василію Никандрычу; исправникъ съ акцизнымъ чиновникомъ и двое сосѣднихъ помѣщиковъ средней руки ѣхали со „скотской ярмарки“ и тоже очутились здѣсь; всѣ — съ одинаковою цѣлью „убить ночку“.

Гости расположились на террассѣ, выходившей въ садъ. Полусумракъ, тишина, въ которой замерла окрестность, и, вѣроятно, сознаніе исполненныхъ обязанностей располагали къ благодушію; между гостями шелъ оживленный разговоръ.

Въ залѣ, на большомъ столѣ ожидала гостей „холодная“ закуска и тутъ былъ цѣлый погребъ винъ и цѣлый гастрономическій магазинъ!

Исправникъ, изъ отставныхъ военныхъ, казался человѣкомъ среднихъ лѣтъ, красивой и представительной наружности; онъ небрежно развалился въ креслѣ, наслаждаясь ароматомъ сигары, заботливо предложенной ему внимательнымъ хозяиномъ. Китель представителя исполнительной власти блисталъ бѣлизною даже въ темнотѣ, „игра носкомъ“ заставляла позванивать шпоры и звонъ этотъ производилъ нѣкоторый эффектъ, а въ комъ слѣдуетъ — даже и нѣкоторый трепетъ. Становой приставъ, пожилой уже человѣкъ, давно занимавшій эту должность, присѣвъ, какъ и подобало передъ начальствомъ, бочкомъ на кончикъ стула и на-

клонясь корпусомъ впередъ, „докладывалъ“ исправнику подробности только-что оконченнаго слѣдствія, стараясь выяснить предъ нимъ то, что ему, какъ новому человѣку, годъ назадъ занявшему настоящее мѣсто, казалось темнымъ и непонятнымъ. Исправникъ, слушая его, изрѣдка дѣлалъ вопросы, и, въ минуты недоумѣнія, по старой привычкѣ, поднималъ къ верху плечи. Но—увы—на нихъ были уже не эполеты, а только жгуты!

Акцизный чиновникъ разсказывалъ помѣщикамъ о достоинствахъ новаго контрольнаго снаряда, со введеніемъ котораго акцизное дѣло, по его увѣреніямъ, должно было несомнѣнно процвѣсти, а казна разбогатѣть.

Уѣздный лекарь развивалъ передъ слѣдователемъ какой-то трактатъ изъ области судебной медицины; но тотъ, повидимому, его не слушалъ и молча прихлебывалъ чай.

Василій Никандрычъ, какъ опытный политиканъ, держался въ границахъ скромнаго обывателя, осчастливленнаго посѣщеніемъ такихъ дорогихъ гостей. Онъ съ легкостью юноши леталъ по параднымъ комнатамъ, тщательно осматривая, все ли въ надлежащемъ порядкѣ, а въ промежутки этихъ осмотровъ подскакивалъ къ гостямъ, надоѣдая имъ вопросами: сладко ли сдѣлали вамъ чай? или: не прикажете ли печенья?

Обильная обстановка чайнаго и закусочнаго столовъ, которую встрѣчали мы въ домѣ Лапкина только въ торжественныхъ случаяхъ, могла объясняться развѣ тѣмъ, что сегодня въ первый разъ посѣтилъ его слѣдователь, на которомъ и было сосредоточено исключительное вниманіе хозяина. Онъ безпрестанно подскакивалъ къ нему съ какою-нибудь любезностью и, поправляя значекъ на лѣвой сторонѣ своей груди, улыбался самою простодушнѣйшею улыбкою.

Слѣдователь этотъ, по фамиліи фонъ-Шульцъ, былъ совсѣмъ новичкомъ въ нашихъ краяхъ. Румяный, полный, бѣлокурый юноша, съ женскимъ проборомъ на головѣ и съ завитушками на лбу, съ едва замѣтнымъ пушкомъ вмѣсто усовъ и бороды, онъ, тѣмъ не менѣе, считался должно быть опытнымъ юристомъ, потому что едва успѣвъ показаться на судебномъ горизонтѣ въ качествѣ кандидата, былъ уже назначенъ слѣдователемъ. Сосредоточенная молчаливость, и мычанье сквозь зубы вмѣсто словъ плохо мирились съ его женоподобною наружностью и представлялись напускнымъ, непосильнымъ бременемъ, добровольно подъятымъ на юношескія рамена.

На порогѣ гостиной показалась Александра Васильевна. Лап-

кинъ стремительно подлетѣлъ къ ней, взялъ за руку, вывелъ на терассу и остановился предъ слѣдователемъ.

— Позвольте, многоуважаемый Эдуардъ Карловичъ,—говорилъ счастливый отецъ: — позвольте познакомить: это старшая дочь моя, Александра Васильевна... Прошу...

Лапкинъ не договорилъ, о чемъ намѣревался просить, и стоялъ, изогнувшись въ ожидающей позѣ.

Юристъ не спѣша поднялся со стула и, нисколько не стѣсняясь, обвелъ Александру Васильевну внимательнымъ взглядомъ съ головы до полу и затѣмъ уже, наклонивъ голову на бокъ и опустя руки, процѣдилъ:

— Я очень счастливъ...

И опустился на стулъ.

— Это старшая дочка-съ...—продолжалъ Лапкинъ,—музыкантша и пѣвица-съ, и по-французски говоритъ.

— Да?—переспросилъ слѣдователь.

Александра Васильевна, сконфуженная и оскорбленная, высвободила свою руку изъ руки отца и пошла здороваться съ другими гостями.

Я отошелъ на конецъ терассы. Въ полутьмѣ показалась фигура: это былъ Иванъ Яковлевичъ. Онъ возвращался съ поля мимо хутора и, узнавъ отъ бывшей за воротами прислуги, что семейство его здѣсь, вздумалъ зайти и самъ.

— Вонъ и Иванъ Яковлевичъ идетъ,—проговорилъ я.

Лапкинъ, услышавъ это, однимъ прыжкомъ соскочилъ съ терассы, выбѣжалъ въ калитку, которая вела изъ сада во дворъ и загородилъ Большакову дорогу.

— Ради Бога! — умолялъ Лапкинъ Ивана Яковлевича: — власти у меня теперь... Понимаешь?.. И слѣдователь тоже здѣсь... Пройди, пожалуста, къ Аннѣ Александровнѣ... дворомъ.

Не отвѣтивъ Лапкину ни однимъ словомъ, Большаковъ пошелъ по указанному направленію, а Василій Никандрычъ, отъ испуга, тяжело отдуваясь, говорилъ:

— Фу, батюшки!.. Спасибо вамъ, что во-время предупредили. Что еслибы онъ, въ этакомъ нарядѣ, да къ гостямъ пожаловалъ? Одолжилъ бы, нечего сказать!

Я оставилъ Лапкина отдыхать отъ душевнаго потрясенія, и отправился тоже на половину къ Аннѣ Александровнѣ, съ которой еще не видался. Тамъ, въ этой половинѣ, сидѣло все наше невзыскательное общество и съ увлеченіемъ обсуждало различныя приготовленія къ свадьбѣ, такъ какъ срокъ, назначенный Лапкинымъ, уже оканчивался.

Разговоры эти не представляли для меня интереса, а на другой половинѣ почетные гости сидѣли уже за двумя столами и играли въ карты.

Но вотъ „первую пульку“ кончили, пошла въ ходъ бухгалтерія; въ качествѣ опытныхъ счетоводовъ этимъ занялись на одномъ столѣ акцизникъ, на другомъ Василій Никандрычъ. Разсчетъ, хотя и не безъ споровъ о какомъ-то замѣшавшемся въ балансѣ гривенникѣ, котораго никто не желалъ принять за свой кошть, кончился все-таки благополучно; всѣ встали, расправляя усталыя спины, и направились къ закускѣ. Нападеніе на нее было сдѣлано такъ дружно, что содержимое графиновъ, бутылокъ, тарелокъ и блюдъ сразу исчезло въ глубинѣ утробъ. Поразвеселились, языки развязались, и какъ бы вознаграждая себя за долгое молчаніе, заговорили теперь безъ всякихъ предостереженій; разсказывались анекдоты, отъ которыхъ собесѣдники много смѣялись. Послѣ закуски, обратились опять къ прежнему занятію.

Фонъ-Шульцъ проигрывалъ.

— Несчастливы въ картахъ—счастливы въ любви-съ,—утѣшалъ его Лапкинъ и тотчасъ же вызывалъ изъ другой половины Александру Васильевну.

— Саша! Саничка! — кричалъ онъ: — иди сюда къ намъ!.. Сядь вотъ рядомъ съ Эдуардъ Карлычемъ, можетъ быть, ты имъ счастье принесешь.

Дочь исполняла волю отца.

— Саничка!—не отставалъ лебезить Лапкинъ:—что жъ ты, дружечикъ, не поговоришь съ ними по-французски, а? Поговори, милочка, поговори!

Въ одиннадцать часовъ вечера мы собрались домой. На дворѣ насъ обдало запахомъ гари: въ кухнѣ у Лапкиныхъ пылала плита, слышался стукъ поварскихъ ножей и перебранка повара съ прислугой.

Приготовляли ужинъ.

XIV.

Вскорѣ послѣ того мы узнали новость, весьма важную по мѣстному интересу,—новость, сильно взволновавшую Ивана Яковлевича.

Разъ возвращались мы съ нимъ изъ поля и только-что выѣхали на большую городскую дорогу, смотримъ—на встрѣчу намъ несется телѣга. Пара немилосердно нахлестанныхъ и усталыхъ

лошаденокъ, со сбившимися на бокъ шлеями, шла уже вскачь; но сѣдоки, повидимому, не замѣчали этого и продолжали погонять лошадей. Избитыя клячи, совсѣмъ непривыкшія къ такой поспѣшности, метались по дорогѣ то въ одну, то въ другую сторону, телѣга гремѣла и подпрыгивала, а изъ нея слышался отчаянный крикъ:—выноси, грра-абять!

Чтобы не столкнуться, мы свернули въ сторону, на „цѣлину“ и увидѣли въ телѣгѣ троихъ пьянѣйшихъ мужиковъ. Одинъ изъ нихъ сидѣлъ въ передкѣ, правилъ лошадьми и осыпалъ ихъ ударами и ругательствами, а двое другихъ лежали и дикими голосами выкрикивали какую-то пѣсню.

Не безъ удивленія посмотрѣли мы на нихъ: престольныхъ праздниковъ нигдѣ не было, свадьбъ и ярмарокъ тоже. Обыкновенно „страдная“ рабочая пора считается трезвымъ періодомъ времени и вдругъ такое явленіе! Однако, недоумѣніе наше въ ту же минуту разрѣшилось. Крестьяне замѣтили насъ и, узнавъ Ивана Яковлевича, не останавливаясь, крикнули изъ телѣги:

— Гуляемъ, Большакъ!.. Водянку свою пропили!..

Услыхавъ это, Иванъ Яковлевичъ даже въ лицѣ измѣнился.

— Слышалъ?—спросилъ онъ у меня:—вѣдь это Двориковскіе мужики-то.

— Такъ что же?—спросилъ въ свою очередь я, не понимая, въ чемъ дѣло.

— Да слышишь ты—мельницу пропили!.. Не ладно что-то у нихъ творится. Надо разузнать, что́ тамъ случилось?..

Иванъ Яковлевичъ никакъ не могъ успокоиться и сокрушался о судьбѣ Двориковскихъ крестьянъ, недоумѣвая, какъ могъ произойти такой казусъ? Онъ и охалъ, и головой качалъ, а разобрать все-таки ничего не могъ, потому что ничего не зналъ.

Вдали показался маленькій, щегольски отдѣланный, тарантасъ. Тройка прекрасно подобранныхъ небольшихъ лошадокъ гнѣдой масти, въ русскихъ хомутахъ съ крупнымъ и блестящимъ наборомъ, шла бойко и ровно, позванивая колокольчикомъ „малиноваго“ звона и погромыхивая бубенцами и глухарями. Кучеръ на козлахъ—въ пунцовой рубахѣ, въ плисовой безрукавкѣ и въ низенькой шляпѣ съ павлинымъ перышкомъ, напереди ловко правилъ возжами, выпятивъ локти какъ-то на особый манеръ, усвоенный только кучерами. Видно было по всѣмъ признакамъ, что ѣхалъ не простой смертный, а будущій землевладѣлецъ и земскій дѣятель, Василій Никандрычъ Лапкинъ. И точно: это былъ нашъ сосѣдъ съ неизмѣнными своими спутниками—великимъ по-

хмѣльемъ и сигарою, которою заглушалъ онъ разящій отъ него „винный духъ“.

Лапкинъ сдѣлалъ знакъ рукою, мы остановились; Иванъ Яковлевичъ подошелъ къ тарантасу, а я остался на дрожкахъ держать возжи.

— Какъ уборка?—спросилъ Василій Никандрычъ.

— Ничего, подвигается по маленьку,—отвѣтилъ Большаковъ.

— Не слыхалъ, какъ управляются мои?

— Не слыхалъ, самому не доводилось видѣться, Петръ тоже не былъ у васъ три дня. Да сами-то вы, въ отлучкѣ что-ли были?

— Въ городъ ѣздилъ,—коротко отвѣтилъ Лапкинъ.

— А у насъ здѣсь новость,—не выдержалъ Иванъ Яковлевичъ.

— Какая?

— Да вотъ съ четверть часа назадъ Дворниковскіе проѣхали, сказывали, что мельницу пропили. Кому это и по какому случаю?

— Что-жъ тебя это такъ занимаетъ?

— Да васъ, я думаю, еще больше должно занять; мельница-то чуть не на вашемъ дворѣ стоитъ. Они крикнули, что пропили мельницу, я понимаю это такъ, что они сдали ее кому-нибудь?

— Если и сдали, ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: владѣлецъ можетъ распоряжаться своимъ имуществомъ по личному усмотрѣнію.

— Я не о правахъ говорю, а о томъ, что въ этой мельницѣ вся жизнь ихъ; они безъ нея пропадутъ.

— Ты все преувеличиваешь, старикъ.

— Ничего не преувеличиваю, — горячился Большаковъ, — развѣ я не знаю, въ какомъ они положеніи?.. И кто это поддѣлъ ихъ на такую удочку?!

Лапкинъ захохоталъ.

— На такую удочку поддѣлъ ихъ я!—не безъ достоинства сказалъ онъ.

Иванъ Яковлевичъ отступилъ даже отъ тарантаса.

— Вы!—проговорилъ онъ наконецъ:—не можетъ быть!

Василій Никандрычъ понялъ это восклицаніе по своему, спокойно досталъ изъ кармана пачку сложенныхъ вчетверо листовъ и, выбравъ одинъ изъ нихъ, подалъ Большакову.

— На, читай! Нотаріальное условіе; сегодня утромъ совершили.

Иванъ Яковлевичъ развернулъ листъ и внимательно прочиталъ его.

— Для чего вамъ эта мельница?—спросилъ онъ, возвращая условіе.

— Хлѣбъ молоть!—засмѣялся Лапкинъ.

— Это я понимаю; но мельница существуетъ столько лѣтъ и вы не обращали на нее вниманія, а теперь вдругъ сняли и такъ дешево!

— Потому и снялъ, что дешево. А тебѣ—или завидно?

— Завидовать тутъ нечему; досадно за ошибку крестьянъ.

— Ну, до свиданья, господа, — торопливо сказалъ Василій Никандрычъ, дѣлая подъ козырекъ:—я спѣшу... Пошелъ, Антошка!

Тройка съ трезвономъ покатила къ хутору.

Иванъ Яковлевичъ наконецъ заговорилъ:

— Ахъ, разоритель! Какую штуку выдумалъ, совсѣмъ обошелъ мужиковъ-то! Теперь прощай Дворики, пропащее ваше дѣло!.. Головы что-ли они тамъ потеряли, на что рѣшились—мельницу сдать въ аренду!.. А все вино проклятое! Эхъ, горе наше великое!

Дѣло состояло вотъ въ чемъ.

У Двориковскихъ крестьянъ была водяная мельница, единственная во всей окрестности. Мельница строилась по мысли и указаніямъ Ивана Яковлевича и почти на его средства. Работала она въ прежнее время очень исправно, приносила значительный доходъ и давала возможность платить изъ него всѣ крестьянскія повинности и даже аренду за снимаемый крестьянами участокъ. Словомъ, мельница и кормила, и поила деревню. Но такое благополучіе продолжалось только до распаденія крестьянской общины; нѣкоторые изъ вліятельныхъ крестьянъ, поддерживавшихъ общественный союзъ, перемерли, другіе перечислились въ городъ; къ этому времени Василій Никандрычъ надумалъ торговать виномъ и открылъ въ Дворикахъ „заведеніе“. Въ міру пошелъ полный разладъ и неустройство, мельница оставалась безъ ремонта и начала падать. Иванъ Яковлевичъ не разъ указывалъ это Двориковскимъ крестьянамъ и даже предлагалъ денегъ на капитальное исправленіе мельницы; но мірское шатанье помѣшало воспользоваться этимъ, одни соглашались, другіе нѣтъ. „Живетъ и такъ!—кричали они на сходахъ:—Ты слушай его, Большакато, онъ тѣ наскажетъ!.. Изъ ученыхъ, что и говорить! А разбери, такъ може съ его стороны и подвохъ какой“!

Такъ дѣло о поправкѣ мельницы и затягивалось на неопредѣленное время, а, между тѣмъ, „добрые люди“ воспользовались этимъ какъ нельзя лучше.

Василій Никандрычъ, которому Двориковская мельница представлялась бѣльмомъ на глазу, прибралъ ее, разумѣется, съ помощію вина, къ своимъ рукамъ и снялъ въ аренду за ничтожную плату, но съ обязательствомъ привести ее въ лучшее устройство и страховать на свой счетъ. Расходы по совершенію нотаріальнаго акта Лапкинъ великодушно принялъ тоже на себя. Капитальныхъ поправокъ дѣлать онъ, однако, не разсудилъ: „будущимъ лѣтомъ успѣю, теперь и безъ того деньги необходимы“; кое-что, впрочемъ, слегка починилъ и застраховалъ мельницу въ весьма солидной суммѣ.

Само собою слѣдуетъ, что Двориковскіе крестьяне поняли свою ошибку послѣ времени, а что касается Ивана Яковлевича, то онъ положительно не могъ примириться съ совершившимся фактомъ и смотрѣлъ на него какъ на новый ходъ въ той размашистой игрѣ, которую въ послѣднее время велъ Василій Никандрычъ.

— Не спроста это снялъ онъ мельницу,—не разъ говорилъ намъ Иванъ Яковлевичъ:—руку даю на отсѣченье — тутъ какая нибудь затѣя.

XV.

Уборка хлѣбовъ кончилась. Степь казалась теперь какою-то обстриженною. Все, что только могла взять съ нея рука человѣка — до послѣдней соломенки, было взято. Голо кругомъ. Оставались пока засыхающій бастыльникъ, пригорѣлая колюка и бурьянъ, но ихъ жгли на золу. Бѣловатый дымокъ стлался низко по землѣ, ровною пеленою прикрывая наготу полей и луговъ.

Рѣзкій контрастъ съ такою выжженною пустынею представляло цѣлое поле, на которомъ, благодаря упавшему во время дождику, бойко выбѣжали молодые зеленя. Надъ ними большими стаями кружились стрепета, собиравшіеся покинуть взростившую ихъ степь и улетѣть „въ теплый край за сине море“. Тяжелыя дрофы выступали осторожно, зорко осматривая обнаженную равнину; вокругъ ометовъ соломы начали показываться куропатки, а въ вышинѣ слышались уже гортанные выкрики журавлей и гусей, тоже прощавшихся съ кормилицею-степью до слѣдующей весны. Темносиній цвѣтъ неба измѣнился въ зеленоватый; воздухъ получилъ какую-то необыкновенную прозрачность, такъ что среди дня, при полномъ солнечномъ блескѣ, можно было любоваться бѣловатымъ дискомъ луны.

Все это были признаки, показывавшіе наступленіе осени съ

ея пасмурными днями и ненастьемъ. Но погода держалась пока ясная, ведренная и, пользуясь ею, въ поляхъ кипѣла труженическая жизнь. Крестьяне усиленно и спѣшно молотили хлѣбъ, продолжая работать во всю ночь при свѣтѣ зажженныхъ костровъ. Длинные языки красноватаго пламени, пробиваясь сквозь черный дымъ, освѣщали окрестность на далекое пространство; высоко стояло зарево, то ослабѣвая, то разгораясь сильнѣе; серебристый свѣтъ луны принималъ особенную окраску и словно переливался въ разноцвѣтные огни; звѣзды тускнѣли.

Въ праздничный день въ степи можно было увидѣть охоту на стрепета, или на дудака (дрофа). Охота совершалась такимъ образомъ. Простой рыдванъ подвигается по цѣлинѣ медленно шагъ-за-шагомъ. На днѣ его, за рѣшетчатыми боками, помѣщается мальчикъ-возница и легонько, чуть-чуть, пошевеливаетъ возжами, направляя старую и смирную лошадь. Рядомъ съ мальчикомъ сидитъ взрослый крестьянинъ. Послѣдній — заправскій охотникъ. Въ рукахъ у него тульская „стволина“ необычайной длины и толщины,—прочная стволина, и называетъ онъ ее непремѣнно турецкой. По мнѣнію крестьянъ, лучше и совершеннѣе турецкаго ружья не существуетъ и вотъ, пріобрѣтя такую стволину гдѣ-нибудь „по счастливому случаю“, онъ оправляетъ ее въ ложе и очень гордится такимъ самопаломъ. У меня была довольно порядочная двустволка, но крестьяне не придавали ей никакой цѣны—не увѣсиста и не бухаетъ такъ, какъ стволина. Заряжаетъ крестьянинъ свой самопалъ тоже особеннымъ способомъ, всыпая порохъ въ ружье „мѣроглазно“, съ ладони. Замѣтивъ дичь, охотникъ начинаетъ объѣзжать вокругъ нея, уменьшая постепенно круги. Птица, не подозрѣвая опасности, понемногу скучивается и подпускаетъ стрѣлка на довольно близкое разстояніе. Тогда охотникъ спускается на землю и, подъ прикрытіемъ рыдвана, ползетъ, выбирая удобнѣйшій моментъ для прицѣла; проходитъ нѣсколько секундъ, и, наконецъ, раздается оглушительный выстрѣлъ. Въ первое мгновенье за тучей бѣлаго дыма ничего не видно, но дымъ разсѣевается и охотникъ, быстро вскочившій на ноги, видитъ, что на мѣстѣ лежитъ нѣсколько окровавленныхъ стрепетовъ; одни изъ нихъ убиты на-повалъ, другіе еще бьются въ предсмертныхъ судорогахъ. Послѣднихъ стрѣлокъ прикалываетъ выдернутымъ изъ крыла перышкомъ, втыкая его въ затылокъ птицы, отчего она тутъ же умираетъ.

При удачѣ, терпѣливый и опытный охотникъ набиваетъ въ день паръ 15—20; могъ бы набить и больше, еслибы не расходовалъ такъ много времени на „сгонъ“ птицы и на ползанье, а

въ одиночку стрѣлять онъ не станетъ, разсчитывая зарядъ. Порохъ и дробь требуютъ денегъ, а стрепетъ—ничего не стоющая тварь и расходовать на нее лишній зарядъ не приходится.

Такъ же, какъ на стрепетовъ, охотятся и на дрофъ, но зарядъ кладется несравненно сильнѣе, такой, который „отдаетъ“ и дробь замѣняется картечью или „жеребейками“, нарубленными изъ свинца.

Эти временные охотники въ-летъ стрѣлять не умѣютъ и бьютъ только сидячую птицу; охотничьихъ собакъ не держатъ вовсе, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ существуетъ охота на водяную птицу, нѣкоторые крестьяне, любители пройтись съ ружьемъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, чтобы избѣгнуть необходимости лазить въ воду самимъ, приспособляютъ къ тому простыхъ собаченокъ-дворняшекъ. Но у степныхъ чувашъ, охотниковъ по природѣ, водится очень много собакъ, по виду похожихъ на борзыхъ, пріученныхъ ловить зайцевъ и другихъ звѣрковъ.

Отъ Лапкина по прежнему не было слышно ничего опредѣленнаго. Онъ, видимо, затягивалъ дѣло, подъ разными предлогами. Иванъ Яковлевичъ былъ въ постоянномъ безпокойствѣ за участь молодыхъ людей и не разъ напоминалъ Василію Никандрычу, что назначенный имъ срокъ прошелъ, что всѣ ожидаютъ его отвѣта.

Каково же было его удивленіе, когда въ одинъ изъ такихъ разговоровъ онъ узналъ, что дѣло остановилось собственно за нимъ!

— Какъ за мной?—воскликнулъ оторопѣвшій старикъ.

— Такъ, за тобой,—спокойно подтвердилъ Василій Никандрычъ:—ты, разумѣется, понимаешь—продолжалъ онъ,—что многое въ этомъ случаѣ зависитъ и отъ тебя... Не скупись, старичекъ божій, вотъ въ чемъ суть...

— Если рѣчь идетъ не о дѣтяхъ, а о деньгахъ—объявите ваши условія.

— Именно о деньгахъ... У тебя нынче хлѣба-то вонъ сколько уродилось, тысячъ на шесть продашь, а то и больше.

— Все это дѣтямъ пойдетъ,—отвѣтилъ Большаковъ.

— То-то и есть, что дѣтямъ; а дѣтей у тебя—красная пара. Ты вотъ какъ выдашь свою дочку за какого-нибудь толстосума пшеничника, да наградишь его всѣми своими капиталами, сынъ-отъ и останется не при чемъ.

Я сидѣлъ за работой въ своей комнатѣ и не могъ видѣть выраженія лицъ говорившихъ; но мнѣ слышно было, какъ дрожалъ голосъ Ивана Яковлевича, когда онъ отвѣтилъ:

— Дочь моя молода еще, чтобы ее замужъ собирать, а что касается капиталовъ, то никого не обижу, всѣхъ поровну одѣлю.

— Ну, нѣтъ, пріятель, такъ нельзя. Дѣли по закону. Я тогда и буду знать, на что могу разсчитывать.

— Вамъ разсчитывать вовсе не на что,—говорилъ Большаковъ:—дѣло касается дѣтей.

— Ихъ-то интересы я и отстаиваю, дорогой другъ мой, а потому и совѣтую тебѣ держаться на легальной почвѣ. Ты взгляни на меня: я всегда соблюдаю всевозможныя законныя формальности, оттого и совѣсть моя чиста и я ничего не страшусь! Разсказывай тамъ про меня что угодно—я глухъ ко всему! А спроси ты: почему?—Потому, что у меня на всякую бездѣлицу документецъ имѣется, нда!

— Какъ же, по вашему, я долженъ поступить?—изъ любопытства только спросилъ Большаковъ.

— Извѣстно какъ! Главный наслѣдникъ—сынъ, ему все и предоставь. Для дочери успѣешь нажить еще; самъ же говоришь, что она молода еще; а о женѣ и толковать нечего, она ужъ старушка, обойдется какъ-нибудь, дѣти помогутъ, да ты и самъ-то не умеръ еще пока,—работай!

— Теперь я понимаю, о чемъ вы говорите,—отвѣчалъ Иванъ Яковлевичъ:—и вижу, какъ неправильно глядите вы на законъ. Кромѣ того вы забыли, что я—крестьянинъ, а у крестьянъ, на случай раздѣла есть свои обычаи.

— Какъ знаешь; но если ты не отказываешься отъ своего предложенія, то, въ отношеніи дѣлежа, долженъ поступить по моимъ указаніямъ.

Помолчавъ немного, Лапкинъ продолжалъ:

— Сдѣлай вотъ какъ: перечислись въ купцы и всѣ капиталы передай сыну, такъ какъ онъ долженъ будетъ жить при мнѣ. Дѣла мои—ты знаешь—разростаются и если на предстоящихъ выборахъ я не откажусь отъ избранія въ члены управы, то одному мнѣ никакъ не управиться со всѣми дѣлами, подручный человѣкъ необходимъ. Петръ Иванычъ обязанъ помогать мнѣ и, повѣрь, я выработаю изъ него настоящаго коммерсанта. На случай, чтобы онъ не избаловался, ты капиталъ его отдай въ руки мнѣ. Я полагаю, что это можно сдѣлать даже и теперь, до свадьбы.

— Такія ваши требованія?

— Такія.

Слышу, Большаковъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ.

— Это не подойдетъ!—отвѣтилъ онъ довольно рѣзко.

— Жаль. Но почему же?—насмѣшливо спросилъ Лапкинъ.

— Потому, что мы смотримъ съ вами разно и на дѣло, и на жизнь.

— Такъ что же?

— То, что мы идемъ разными дорогами.

— Ты, напримѣръ, какими?

— Не стоитъ разсказывать, для васъ это непонятно.

— Ха-ха-ха!—разразился вдругъ Лапкинъ:—удружилъ, признаюсь!.. Ха-ха-ха! Непонятно!.. Какой мудреный человѣкъ!.. Ха-ха-ха!..

Лапкинъ долго откашливался и охалъ; но, проглотивъ водочки, успокоился и не безъ ехидства спросилъ:

— А что, Иванъ Яковлевичъ, ты здоровъ?

— Слава Богу, не опасайтесь.

— А на мой взглядъ—ты какъ-будто немножко завираться начинаешь.

— И пусть кажется.

— Нѣтъ, дружокъ; я вѣдь серьезно, жалѣя тебя, говорю. Случилось это съ тобой, я знаю, отчего,—отъ книженокъ!.. Вѣрить каждому печатному вздору о какихъ-то тамъ особенныхъ путяхъ и возвышенныхъ цѣляхъ—нельзя, душа моя, не подъ лѣта тебѣ совсѣмъ. Твое дѣло какое? Лежи на печи и тверди: „День прешедъ, благодарю тя, Спасе мой!“ А ты...

Иванъ Яковлевичъ потерялъ терпѣніе и крикнулъ:

— Что за вздоръ вы говорите! Я васъ не понимаю!

Лапкинъ увидѣлъ, должно-быть, что хватилъ черезъ край. Тонъ Большакова былъ очень грозенъ и Василій Никандрычъ мгновенно перемѣнилъ фронтъ.

— Что же,—началъ онъ:—если я и сказалъ тебѣ это, такъ вовсе не для того, чтобы огорчить тебя, а по дружбѣ, изъ желанія добра. Развѣ я не чувствую, Иванъ Яковлевичъ, какъ много обязанъ тебѣ? Напротивъ: очень чувствую; тѣмъ болѣе, что и сейчасъ вотъ тоже нуждаюсь въ твоей помощи.

Молчаніе.

— Перечислиться въ купцы,—продолжалъ Лапкинъ:—совѣтую я для твоей же пользы; ты самъ, я думаю, видишь, что нынче нѣтъ общественнаго положенія независимѣе купеческаго.

Большаковъ молчалъ.

— Такъ какъ же?

— Что такое?

— Да я, Иванъ Яковлевичъ, на счетъ деньженокъ было къ тебѣ.

— Сейчасъ у меня нѣтъ.

— Неужто не дашь?

— Не дамъ, потому что нечего.

— А ты не сердись, старичекъ милый, полно! Я вѣдь говорилъ съ тобою, право же, по-дружески, а ты разсердился. — Такъ не дашь?—еще разъ спросилъ Лапкинъ, поднимаясь съ мѣста.

— Нѣтъ у меня теперь,—сухо повторилъ Большаковъ.

— Ну, дѣлать нечего, подожду, когда будутъ... Прощай пока!.. Да смотри же у меня: чуръ, не сердиться!

Лапкинъ ушелъ. Иванъ Яковлевичъ долго ходилъ по комнатѣ. Наконецъ онъ не выдержалъ, заглянулъ ко мнѣ и спросилъ:

— Слыхалъ?

— Да.

— Какъ это тебѣ покажется: ограбить семью, перечислиться въ купцы—съ пустыми карманами-то,—и отдать въ кабалу сына!

Большаковъ плюнулъ отъ досады и опять началъ ходить по комнатѣ.

Къ обѣду вернулся съ молотьбы Петръ Иванычъ. Отецъ далъ ему подробный отчетъ о посѣщеніи Лапкина и съ замираніемъ сердца ждалъ отвѣта.

Агрономъ поблѣднѣлъ, губы его нервно задрожали.

— Онъ съума сошелъ!—воскликнулъ Петръ Иванычъ:—я уже сказалъ, что въ домъ къ нему не пойду!

И ушелъ изъ комнаты. Отецъ не пошелъ за нимъ. Онъ былъ доволенъ тѣмъ, что сынъ не поддался искушенію. Съ той поры Иванъ Яковлевичъ окончательно охладѣлъ къ Лапкину, но это нисколько не мѣшало семейной дружбѣ и какъ бы даже усилило ее. Сдѣланное Большаковыми предложеніе сохраняло пока прежнее положеніе.

XVI.

Крестьяне еще не управились съ молотьбой, а наступило уже осеннее ненастье.

Осень для деревни—огневое время. Не успѣетъ пахарь проглотить куска хлѣба изъ новой муки, какъ съ него со всѣхъ сторонъ требуютъ денегъ и денегъ! Кто взыскиваетъ подушные, кто волостные и мірскіе, кто выкупные, продовольственные и ссудные, кто частные долги по исполнительнымъ листамъ и росписямъ, кто всевозможныя неустойки, кто земскіе сборы. Во-

лостной старшина—смирный человѣкъ въ „меженное“ время—ходитъ теперь какъ звѣрь и „нудитъ“ старосту и сборщика, потому что самого его нудятъ неукоснительно; староста и сборщикъ нудятъ міръ, десятскіе околотили подожки, постукивая ими въ ворота и калитки недоимщиковъ. Міръ заметался во всѣ стороны и не зналъ: кого слушать, кого прежде другихъ ублажать? Всѣ требовали одинаково настойчиво и каждый тянулъ въ свою сторону.

Одинъ Василій Никандрычъ не принималъ участія въ этой суматохѣ. Дѣйствуя всегда „на законныхъ основаніяхъ“, онъ не дожидался молотьбы, а по существу условій, заключенныхъ съ посѣвщиками, прямо задерживалъ ихъ хлѣбъ на корню и не допускалъ къ уборкѣ до полной уплаты за землю денегъ. Снявъ такимъ образомъ пѣночки, Лапкинъ започилъ на лаврахъ, наслаждаясь спокойствіемъ гражданина, честно исполнившаго свои обязанности.

По большой дорогѣ къ городу тянулись безконечные обозы съ хлѣбомъ; сморенныя на работѣ клячи тяжело ступали по разрыхленной дождями землѣ и вязли въ грязи; колеса съ насѣвшими между спицами комьями чернозема безпрестанно застрѣвали въ глубокихъ колеяхъ и лошади съ трудомъ вытягивали грузные воза. Около ихъ плелись крестьяне, хозяева хлѣба, тоже утопая въ грязи и изрѣдка покрикивая на обезсилѣвшихъ лошадей. Когда какой-нибудь возъ попадалъ въ глубокую водомоину или окончательно увязалъ въ узкихъ колеяхъ, такъ что лошадь отказывалась сдвинуть его съ мѣста и въ недоумѣніи посматривала по сторонамъ, крестьяне сбѣгались на помощь, дружно брались за гужи и, поощряя себя и клячу ободряющими окриками, въ разъ: —ну-ну, у-у, еще разикъ—ррразъ!—вытягивали возъ, а кляченка, едва переводившая духъ отъ напряженія, надувала костлявые бока, наклоняла голову чуть не до земли и, дрожа всѣмъ тѣломъ, собирала послѣднія силы, чтобы помочь хозяевамъ. Нерѣдко приходилось и такъ, что измучившаяся лошадь, тяжело храпя, падала отъ изнуренія. Тогда останавливался весь обозъ, упавшую лошадь поспѣшно выпрягали, поднимали на ноги и отводили въ сторону, потомъ начинали вытаскивать возъ и, вытянувъ его на ровное мѣсто, опять впрягали несчастную клячу на дальнѣйшую работу. До города было съ небольшимъ 50 верстъ. Сдѣлаютъ эту путину въ двое сутокъ и говорятъ: слава Тебѣ, Господи!

Мучительное это дѣло—доставка хлѣба въ ненастную осень по степнымъ дорогамъ. На сколько хороши онѣ въ сухое время,

на столько же убійственны въ дождливое. Бываетъ, что помощница крестьянина—лошадь, послѣ такой путины дѣлается окончательно безсильной; а сколько рвется сбруи, сколько ломается телегъ? Лучше было бы отложить возку до первопутья, да нельзя, нужда гонитъ!

А какую глубокую думу передумаютъ продавцы хлѣба, шагая около своихъ возовъ! У всѣхъ въ головѣ засѣла одна мысль: какъ ихъ „облапошатъ“ на базарѣ; на сколько, примѣрно, обвѣсятъ при ссыпкѣ, на сколько обочтутъ при разсчетѣ?..

И вотъ, пока плетутся они съ обозомъ въ городъ, вспоминая всѣхъ святыхъ.

На хлѣбной площади города, при ссыпкѣ или разсчетѣ, слышатся уже иные крики. „Караулъ! грабятъ!“—отчаяннымъ голосомъ взываетъ крестьянинъ. Но кровавый вопль этотъ замираетъ какъ въ пустынѣ, вызывая смѣхъ и шутки въ средѣ купеческихъ прикащиковъ... Бываетъ и такъ, что крестьянину, горячо отстаивающему свои интересы, еще и тычковъ накладутъ, а то и того хуже... „Не шуми-де; помни, что въ городу!“

Бѣдовый народъ на нашихъ базарахъ и пристаняхъ!..

Иванъ Яковлевичъ тоже отправилъ небольшой транспортъ съ хлѣбомъ, въ сопровожденіи Петра Иваныча. Имѣя надобность быть въ городѣ, поѣхалъ съ нимъ и я.

Притащились мы въ городъ уже вечеромъ, усталыми и избитыми переѣздомъ по дурной дорогѣ. Городъ смотрѣлъ непривѣтливо. Мрачное небо, грязныя улицы, грязные дома. Закопченые керосиновые фонари какъ бы стыдились освѣтить по ярче такую неряшливость и едва мерцали. Наслѣдіе татарщины, безчисленное множество собакъ и на улицахъ, и на дворахъ, и на подъѣздахъ большихъ домовъ, дѣлали не безопаснымъ даже переѣздъ въ экипажѣ. Цѣлыми стаями бросались онѣ и на лошадей и на тарантасъ, неистово визжали и лаяли. А на оглушительный ревъ ихъ отвѣчали тѣмъ же изъ домовъ „комнатные“ псы, лай которыхъ былъ слышенъ даже сквозь затворенныя окна. Собачій городъ—однимъ словомъ, превосходнѣе любой татарской деревни!

Ренсковые погребки встрѣчались буквально на каждомъ перекресткѣ, въ перемежку съ трактирами и кабаками. Окна ихъ, хотя и задернутыя кисейными занавѣсками („отъ призора очесъ“ полицейскихъ), блистали яркимъ свѣтомъ, помогавшимъ злополучнымъ пѣшеходамъ разсматривать и счастливо обходить баррикады и волчьи ямы мостовой. Надъ подъѣздами „заведеній“ висѣли фонари, на стеклахъ которыхъ красными буквами изображалось названіе прибѣжища. Въ одномъ трактирчикѣ окна стояли

открытыми, паръ изъ нихъ валилъ клубомъ, а хоръ пьяныхъ дѣвицъ-арфянокъ хриплыми голосами пѣлъ современную дребедень русскаго города:

„Милка-душка, мой зазноба,
Ты довелъ меня до гроба!
Дайте ножикъ, дайте вилку,
Я зарѣжу свою милку!
Милка-душка, мой секретъ,
Пойдемъ съ тобой въ лазаретъ!..“

Дальше... Но что же можетъ быть дальше? Дальше пожалуй можно упомянуть, что въ городѣ, какъ водится, есть соборъ, присутственныя мѣста, полицейскія части съ каланчами, городской садъ, пустопорожнія мѣста, немощенныя улицы, поросшія крапивой и т. п.

На слѣдующее утро Петръ Иванычъ поднялся чуть свѣтъ и отправился хлопотать на счетъ продажи и ссылки хлѣба.

Въ свое время вышелъ и я изъ дому, прежде всего въ лавки запастись кое-чѣмъ для деревни. Въ одномъ изъ магазиновъ встрѣтилъ жену исправника съ ея сестрою, дѣвицею уже въ годахъ, и получилъ приглашеніе обѣдать у нихъ.

— Мужъ въ уѣздѣ, мы скучаемъ.

Я отправился въ назначенный часъ къ нимъ и послѣ обѣда, когда „въ угловой“ пили кофе, хозяйка сдѣлала мнѣ такой вопросъ:

— У васъ, говорятъ, свадьба затѣвается?

Я думалъ, что вопросъ сдѣланъ о свадьбѣ Петра Иваныча; но какъ окончательнаго слова отъ Лапкина еще не было, я счелъ за лучшее уклониться отъ прямого отвѣта и спросилъ:

— Какая?

— Ахъ, такъ вы еще не знаете? А я, какая неосторожная, проговорилась.

— Но въ чемъ же вы проговорились? Я полагаю, что свадьба обойдется безъ похищенія невѣсты; въ чемъ же секретъ?

— Положимъ такъ, — согласилась хозяйка, — а все-таки это пока тайна и вы, пожалуста, ужъ никому не передавайте; мнѣ Марья Васильевна сообщила объ этомъ, на условіи никому не сказывать, но вы живете тамъ, для васъ во всякомъ случаѣ интересно...

— Если вы намѣрены разсказать о свадьбѣ, которая предполагается въ домѣ Лапкиныхъ, то не трудитесь: я о ней знаю. Только, дѣло это далеко еще не кончено.

— Не только не кончено, но можно сказать, еще и не на-

чивалось, — отвѣтила исправница: — Лапкинъ, видите ли, очень, очень просилъ Марью Васильевну переговорить съ Шульцомъ, но она еще не говорила; Шульца нѣтъ въ городѣ, онъ въ уѣздѣ... Странно, однако, какъ же вы-то знаете объ этомъ, а Марья Васильевна увѣряла меня, что никто еще не знаетъ, что она только мнѣ одной передала... Ахъ, какая!

Но мнѣ было не до сѣтованій исправницы. Новость просто ошеломила меня, и я едва сдержался, чтобы не обнаружить кипѣвшаго во мнѣ негодованія на поступокъ Лапкина. Между тѣмъ, любезная хозяйка продолжала:

— Лапкинъ обѣщаетъ за дочерью 10 тысячъ и покупаетъ землю...

— Что же,—сказалъ я:—имѣніе, которое арендуетъ теперь Лапкинъ, скоро будетъ продаваться и покупка его дѣло рѣшеное.

— Да,—отвѣтила хозяйка:—Лапкинъ и спитъ, и видитъ попасть въ земство. А говорятъ, что онъ прежде лакеемъ былъ.

— Правда; а теперь мечтаетъ о предсѣдательствѣ въ земской управѣ.

— О, Боже!—воскликнула исправница.

Послѣдовала пауза; воспользовавшись ею, я простился. Меня тревожила мысль—не узналъ ли объ этой „тайнѣ“ Петръ Ивановичъ; оказалось, по счастью, что онъ ничего не знаетъ, собирается въ театръ и взялъ билетъ. Опасаясь, что онъ можетъ встрѣтиться тамъ съ знакомыми и узнать печальную для себя новость, я уговорилъ его ѣхать домой. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній, онъ согласился и черезъ часъ мы катили уже по большой дорогѣ.

Морозило. Скованный черноземъ глухо гудѣлъ подъ колесами тарантаса. Отдохнувшія лошади бѣжали бойко. Въ глубокомъ небѣ ярко горѣли звѣзды; луна разливала матовый свѣтъ. Тянувшіеся вдоль дороги телеграфные столбы выступали впереди внезапно, точно изъ земли выростали и потомъ скрывались за тарантасомъ.

Поѣздка очень оживила моего спутника: онъ, ничего не подозрѣвая, всю дорогу говорилъ о свѣтломъ будущемъ.

XVII.

Однообразно и скучно протянулось дня четыре. Разыгравшееся ненастье заставляло сидѣть дома; только агрономъ сѣдлалъ по вечерамъ коня, надѣвалъ кожанъ и, несмотря на вѣтеръ и дождь, отправлялся на хуторъ. Василій Никандрычъ почти не жилъ дома;

передъ поѣздкой на торги, онъ заканчивалъ дѣла, сводилъ счеты и находился въ безпрерывныхъ разъѣздахъ.

Единственною отрадою во время такого невольнаго заключенія служили журналы и газеты. Почтовый день ожидался какъ большой праздникъ; получивъ почту, мы освѣжались нравственно и чувствовали себя членами общаго цѣлаго... Понять значеніе печатнаго слова и душевную потребность въ немъ можно только въ деревнѣ, когда живешь въ ней года!

На четвертый день погода стала проясняться; въ сумерки семейные Большакова и Никольскіе поѣхали на хуторъ провести тамъ вечеръ, а мы съ Иваномъ Яковлевичемъ остались дома, въ ожиданіи почты. Черезъ какой-нибудь часъ изъ волостного правленія принесли намъ газеты и письма. Обложившись ими, мы пріютились у чайнаго стола, не торопясь пили чашку за чашкой и не замѣчали, что самоваръ, прежде бурно шумѣвшій, а потомъ пищавшій на разные голоса, давно погасъ.

— Прочитай-ка—сказалъ Иванъ Яковлевичъ, передавая мнѣ полученное имъ изъ города письмо.

Я прочелъ. Въ немъ сообщалось объ извѣстномъ уже мнѣ предложеніи Лапкина; прочитавъ, я сказалъ Большакову, что слышалъ объ этомъ въ городѣ и не зналъ, какъ предупредить его.

— Спасибо. Дѣло вовсе не во мнѣ, а надо постараться, чтобы не знали пока ни Петя, ни семейные Лапкина.

Едва кончили этотъ разговоръ, слышимъ, къ подъѣзду подкатилъ экипажъ, кто-то прошелъ по корридору и постучался въ дверь. Иванъ Яковлевичъ отперъ и увидѣлъ передъ собой Василія Никандрыча.

— Ты что же это, старичекъ божій, не удостоилъ посѣщеніемъ,—любезно говорилъ онъ, входя въ комнату:—вотъ и вы тоже,—обратился онъ ко мнѣ, пожимая руку:—ваши всѣ у насъ. Я только послѣ обѣда возвратился изъ странствія; пріятно было бы провести вечерокъ вмѣстѣ, съ недѣлю ужъ никакъ не видались, а я завтра, послѣ-завтра, отправляюсь въ столицу на торги.

„Непремѣнно будетъ денегъ просить,—подумалъ я:—очень ужъ любезенъ что-то“.

Иванъ Яковлевичъ подвинулъ гостю стулъ поближе къ столу.

— Почитываете?—спросилъ Лапкинъ, усаживаясь на мѣсто.—А мнѣ такъ и въ газету заглянуть некогда; такая куча дѣла, хлопотъ, разъѣздовъ, на части разорваться—такъ въ-пору!.. Вотъ и сейчасъ; вмѣсто того, чтобы душою отдохнуть среди искреннихъ и преданныхъ мнѣ друзей, долженъ буду отвлечь васъ отъ благонравнаго препровожденія времени и говорить о дѣлахъ,—не о чемъ больше!..

Я хотѣлъ уйти въ свою комнату.

— Нѣтъ, нѣтъ,—удержалъ меня Лапкинъ:—отъ васъ какіе-же секреты; вы — общій нашъ другъ. Оставайтесь, прошу васъ; я даже разсчитываю на вашу помощь, а то вѣдь старичекъ нашъ иногда и упрямиться умѣетъ... Хе, хе, хе!—добродушно засмѣялся Лапкинъ и ласково похлопалъ Ивана Яковлевича по колѣну.

— Въ чемъ дѣло? — спросилъ тотъ.

Лапкинъ началъ просить позволенія перевести на имя Ивана Яковлевича винную торговлю.

— Хозяиномъ по прежнему останусь я, — пояснилъ онъ: — понимаешь? А мнѣ только вывѣску перемѣнить нужно.

Большаковъ отказался.

— Никогда я въ такія дѣла не путался и начинать не желаю,—сказалъ онъ:—да и когда же передавать, если вы уѣзжаете?

— Это часовое дѣло. Завтра поѣхали бы въ городъ и кончили въ одно утро.

— Нѣтъ ужъ, поищите другихъ.

— Дѣлать нечего, отложу до пріѣзда, тогда въ самомъ дѣлѣ подыщу кого-нибудь... Ну, теперь второе: ты не забылъ, что обѣщалъ денегъ на приданое дочери?

— Нѣтъ, не забылъ.

— Прекрасно. Я думаю, Иванъ Яковлевичъ, удобнѣе было бы купить приданое въ Москвѣ.

— На что лучше.

— Очень радъ, что ты одинаковаго со мной мнѣнія. Я и реестръ составилъ покупкамъ, вотъ...—Лапкинъ началъ искать въ карманахъ.—Что за странность, ужли забылъ?.. Такъ и есть — забылъ! А вѣдь вынулъ изъ ящика и положилъ на столъ. Впрочемъ, все равно, ты повѣришь и такъ. Три съ половиною тысячи тамъ по итогу; я твердо помню.

— Ничего,—замѣтилъ Иванъ Яковлевичъ.

— Какъ быть, старче праведный; знаю, что много, но хочется, чтобы все получше вышло. Я бы и не напомнилъ о твоемъ обѣщаніи, да ты и самъ понять можешь—на торги ѣду, деньги нужны по горло, расходовать на приданое своихъ—не могу.

— Все это я понимаю,—началъ Иванъ Яковлевичъ, видимо сдерживая въ себѣ негодованіе:—но припомните же и вы, Василій Никандрычъ; я обѣщалъ сдѣлать приданое для Александры Васильевны, когда сваталъ ее за своего сына, а не за Шульца.

Лапкинъ какъ-то весь съежился. Онъ никакъ не ожидалъ, что мы знаемъ о его планахъ и трусливо спросилъ:

— Откуда вы объ этомъ знаете?

— Откуда люди, оттуда и мы,—отвѣтилъ Иванъ Яковлевичъ.

— Да, подите вотъ! — заговорилъ Лапкинъ: — какіе у насъ язычки; ни съ того, ни съ сего распустили слухъ—и правы...

— Да, но тутъ замѣшано имя вашей дочери, а вступиться за честь ея кому бы кажется, какъ не отцу!

— Но развѣ можно что сдѣлать со сплетней?

— Въ настоящемъ случаѣ не только можно, но должно.

— Научи: какъ и чѣмъ?

— Стоитъ только объявить, что Александра Васильевна еще въ іюлѣ мѣсяцѣ помолвлена за моего сына, и—только! Если это для васъ, по случаю отъѣзда, неудобно — уполномочьте насъ, мы исполнимъ сами.

Лапкинъ завертѣлся на стулѣ.

— То-есть, оно, видите ли что, — заговорилъ онъ, избѣгая нашихъ взглядовъ: — если говорить откровенно, то... было нѣчто похожее; но я, считая это не больше какъ однимъ разговоромъ, не счелъ нужнымъ сообщать о немъ ни своимъ семейнымъ, ни вамъ.

— Можетъ быть, это и хорошо, — сказалъ Иванъ Яковлевичъ:—оглашать подобные поступки не совсѣмъ удобно...

— Какіе поступки, какіе? Укажи ты мнѣ ихъ?

— Ахъ, что вы!—нетерпѣливо воскликнулъ Большаковъ:—очныя ставки что ли производите? — Онъ всталъ съ мѣста и началъ ходить по комнатѣ.

— Иванъ Яковлевичъ! — залепеталъ Лапкинъ:—ей-же-ей! клянусь тебѣ, какъ честный и благородный человѣкъ!—чтобы мнѣ ни какой радости не видѣть!..

— Нѣтъ ужъ оставьте,—оборвалъ Иванъ Яковлевичъ свою рѣчь и, махнувъ рукой, зашагалъ опять по комнатѣ.

— Вотъ и извольте толковать съ подробнымъ субъектомъ,— обратился ко мнѣ Лапкинъ, разводя руками.—Ну, послушай же, Иванъ Яковлевичъ!.. А ты сядь, этакъ лучше будетъ для тебя; право, скорѣе успокоишься... Послушай, я полагаю, ты все-таки можешь разсудить, что если бы у насъ съ фонъ-Шульцомъ было что-нибудь серьезное, то я и не обратился бы къ тебѣ за деньгами на приданое?

— Охотно вамъ вѣрю и за деньгами не постою; но съ условіемъ.

— Съ какимъ это?

— Сдѣлаемте обрученіе формальное, по церковному чину.

— Что ты, Иванъ Яковлевичъ, помилуй! Я въ ночь уѣзжаю.

— Ничего не значитъ. О. Іосифъ теперь у васъ, женихъ и

невѣста на лицо, поѣдемте сейчасъ къ вамъ и обручимъ ихъ. А затѣмъ я съ вами же поѣду въ городъ, возьму изъ банка деньги и съ рукъ на руки передамъ вамъ.

— Но къ чему же эти обрученія?—упирался Лапкинъ:—достаточно, я думаю, одного слова, къ обрученію мы вовсе не готовы.

— Хорошо. Въ такомъ случаѣ сдѣлаемте иначе: пригласимте сейчасъ же Андрея Николаича, учителя съ супругой, о. діакона съ семействомъ, поѣдемъ всѣ къ вамъ, помолимся, по христіанскому обычаю, и въ присутствіи всѣхъ гостей объявимъ Петра женихомъ Александры Васильевны, а ее—его невѣстою.

— Нѣтъ, нѣтъ, Иванъ Яковлевичъ, не настаивай, пожалуйста, нельзя! Сегодня во-первыхъ и некогда, мнѣ еще уложиться въ дорогу нужно, а во-вторыхъ—не могу я такъ просто покончить такое дѣло... безъ торжества...

— Значитъ, на нынѣшній разъ и разговаривать больше не о чемъ,—обрѣзалъ Большаковъ.

Лапкину оставалось одно—проститься и уйти. Онъ такъ и сдѣлалъ.

Заперевъ за нимъ дверь, Иванъ Яковлевичъ сѣлъ на прежнее мѣсто и тяжело задумался.

— Хорошо еще, что Лапкинъ скрылъ это отъ семейныхъ,—сказалъ я.

— До сихъ поръ для него былъ въ этомъ прямой разсчетъ. Я теперь тоже понимаю, почему онъ не отказалъ намъ съ перваго раза. Не говоря о другомъ, онъ однихъ денегъ повытянулъ у меня больше двухъ тысячъ, да видишь—хотѣлъ сорвать и еще три съ половиной.

— А вѣдь не нынче, завтра узнаютъ и они о его продѣлкахъ. Но скажи, пожалуйста, съ какими капиталами ѣдетъ онъ на торги покупать землю? Хлѣба онъ продалъ не больше какъ тысячи на три, съ этимъ ѣхать нельзя.

— И не знаю, право. Одно можетъ быть: въ городѣ у кого-нибудь занялъ. И то навряд кто дастъ...

XVIII.

Послѣдовавшія за тѣмъ событія совершались такъ быстро одно за другимъ, что участвовавшія въ нихъ лица не успѣвали оправиться отъ впечатлѣній одного, какъ наступало другое. Но разскажу по порядку.

Семейные Большакова пріѣхали съ хутора часовъ въ десять вечера и мы не мало удивились, услыхавъ отъ нихъ, что Лапкинъ домой еще не возвратился. Поговорили кое-о-чемъ, поужинали и разошлись по своимъ угламъ. Было уже за-полночь, когда поднялся какой-то непонятный шумъ и движеніе на улицѣ; не успѣлъ я разобрать ни одного звука, какъ на колокольнѣ ударили набатъ. Моментально всѣ всполошились и выбѣжали на улицу.

— Дворики горятъ!—кричали намъ пробѣгавшіе мимо.

Чрезъ десять минутъ мы уже скакали туда и по пріѣздѣ на мѣсто увидѣли, что горѣла не деревня, а мельница, стоявшая не въ далекѣ отъ Двориковъ, та самая „водянка“, которую недавно снялъ въ аренду Лапкинъ.

Василій Никандрычъ, съ видомъ человѣка, несправедливо наказаннаго судьбою, находился тутъ же и съ воздѣтыми руками къ освѣщеннымъ заревомъ небесамъ посылалъ по направленію ихъ жалобы и стенанія. Крестьяне охали, кричали, бранились и безъ толку суетились, а мельница продолжала горѣть и—сгорѣла до основанія.

На хуторѣ всѣ были въ ужасной тревогѣ. Съ Анной Александровной сдѣлался такой ужасный припадокъ, что извѣстныя и находившіяся подъ руками средства оказались безсильными; пришлось командировать агронома въ сосѣднее село Поляну за земскимъ врачемъ.

Поляна отстояла на 20 верстъ и врачъ пріѣхалъ только къ пяти часамъ утра. Когда все немного успокоилось и больной стало лучше, мы на-свѣту уже отправились домой, а Василій Никандрычъ—въ городъ за агентомъ страхового общества, въ которомъ была застрахована мельница.

Свидѣтельствовать агенту было нечего:—отъ мельницы осталось только то, что находилось въ водѣ, или около воды — вешнякъ, каузъ, колеса, сваи. Тѣмъ не менѣе, агентъ исполнилъ всѣ формальности и въ ту-же ночь возвратился въ городъ. Въ одно время съ нимъ поѣхалъ и Василій Никандрычъ, съ тѣмъ, чтобы изъ города продолжать путь въ столицу на торги.

Въ слѣдующій за этою ночью день, около обѣда, прискакалъ съ хутора верховой за о. Іосифомъ — исповѣдать и пріобщить Анну Александровну. Къ этому требованію верховой добавилъ только, что второй нарочный посланъ опять за докторомъ. Ничего больше отъ гонца мы не узнали.—„Помирать видно на-

думала" — отвѣтилъ онъ на наши разспросы. Поспѣшили на хуторъ сами и черезъ полчаса были тамъ. Больную нашли въ безпомощномъ положеніи, съ едва замѣтными признаками дыханія. Александра Васильевна была въ обморокѣ; растерявшаяся Оля не знала, что́ дѣлать и, вся въ слезахъ, металась по комнатѣ, перебѣгая отъ сестры къ матери и обратно.

Здѣсь же находилась какая-то женщина, которую видѣлъ я въ первый разъ. Коротенькая и жирная, одѣтая по-мѣщански, съ шелковою „модочкою" на головѣ, она держала въ рукахъ желѣзный ковшъ съ водой, въ которой плавали угольки и читала надъ нимъ: „Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его и матерь его Ульянію! Яко ты, Господи, сотворилъ и утвердилъ небо и землю, такъ утверди и укрѣпи въ добромъ здоровьѣ отъ лихого глазу рабынь божіихъ Анну и Александру". И затѣмъ, наговоренною водою она спрыскивала больныхъ. Души эти устроены были, должно быть, ужъ не первый разъ, потому что обѣ больныя были порядочно облиты водой.

Женщина эта, какъ узналъ я, служила цѣловальничихой въ одномъ изъ Двориковскихъ кабаковъ Лапкина и, въ качествѣ довѣренной принципала, явилась въ домъ по его порученію. Порученіе состояло въ томъ, чтобы „внушить" Александрѣ Васильевнѣ безполезность ея мечтаній о замужествѣ за Петра Иваныча.— „Найдутся женихи почище, съ званіемъ", такъ какъ и самъ Василій Никандрычъ поѣхалъ уже „происходить въ помѣщики".

Такимъ путемъ, извѣстилъ Василій Никандрычъ и свое семейство и Большаковыхъ о нежеланіи выдать Александру Васильевну за Петра Ивановича.

Понятно, какъ всѣ были и поражены и оскорблены такимъ поступкомъ.

А дальше опять новая неожиданность.

Владѣльцы арендуемаго Лапкинымъ имѣнія поручили свои дѣла довѣренному лицу. Уполномоченный началъ съ того, что внесъ въ земельный банкъ проценты и такимъ образомъ имѣніе освободилось отъ продажи съ молотка.

Во всякомъ случаѣ это обстоятельство, о которомъ не зналъ и никакъ не ожидалъ Лапкинъ, должно было разстроить его планы. Система возмездія Лапкина ни въ чемъ неповиннымъ наслѣдникамъ владѣльца въ томъ именно и состояла, чтобы поразить ихъ покупкою имѣнія на публичныхъ торгахъ. Но когда это не удалось, неминуемо должно было послѣдовать новое усложненіе,

такъ какъ срокъ аренды имѣнія оканчивался, а Лапкинъ о желаніи или нежеланіи продолжить контрактъ — владѣльцевъ не увѣдомлялъ. Онъ захлебывался отъ удовольствія, разсчитывая прежде всего купить имѣніе, а потомъ ужъ, въ видѣ сюрприза, поднести владѣльцамъ извѣстіе объ этомъ. Но вышло иначе.

Молчаніе Лапкина понудило довѣреннаго пріѣхать въ Глушково и пріѣхалъ онъ черезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда Василія Никандрыча. Довѣренный уполномочивался — или сдать участокъ вновь въ аренду, или даже продать его, если будутъ желающіе.

Такимъ образомъ, Лапкинъ поѣхалъ въ Москву напрасно; возвращенія его слѣдовало ожидать каждый день, но онъ не возвращался.

Хотѣли послать ему телеграмму и не знали куда — адресъ его не былъ извѣстенъ. Съ семейными онъ не имѣлъ обыкновенія переписываться, городскіе знакомые, у которыхъ мы справлялись знали не больше нашего. Узнали только, что закадычный пріятель и руководитель Лапкина, изгнанный изъ службы старинный подъячій и закоренѣлый крючкодѣй, поѣхалъ въ Москву вмѣстѣ съ нимъ.

Между тѣмъ, пріѣздъ уполномоченнаго поселилъ въ семейныхъ Лапкина новое безпокойство: какъ ни печально было насиженное гнѣздо, но неопредѣленность будущаго пугала еще больше. Отъ Василія Никандрыча извѣстій не было. Уполномоченный не могъ ждать дольше и объявилъ крестьянамъ Глушкова и окрестныхъ селъ о цѣли своего пріѣзда.

Въ крестьянской средѣ объявленіе это произвело страшное волненіе, благо, время теперь было совсѣмъ свободное отъ работъ. Нѣсколько дней кряду собирались сходы, въ которыхъ принимали горячее участіе не только всѣ мужики, но и бабы, и даже ребятишки; азартно кричали на этихъ сходахъ отъ утренней до вечерней зори до совершенной потери голоса, по нѣскольку разъ въ день ссорились, чуть не до драки, по стольку же разъ мирились и на мировой шли въ ближайшіе кабаки. Причиною шума и гама было разногласіе крестьянъ: одни желали купить землю въ вѣчное владѣніе, другіе, менѣе домовитые крестьяне, „раззоренные“, какъ называютъ ихъ, настаивали на съемѣ въ аренду, утверждая безполезность покупки, такъ какъ въ скоромъ времени, о чемъ имъ доподлинно извѣстно, должна произойти „прирѣзка“ земли отъ казны.

Иванъ Яковлевичъ въ эти дни почти не пилъ, не ѣлъ, убѣждая крестьянъ согласиться на покупку участка и, наконецъ, об-

щества двухъ селеній Глушкова и Лопухова и деревни Двориковъ рѣшили купить участокъ „сообча“. Вслѣдствіе такого выдающагося рѣшенія, начался-было запой смертный, но угроза уполномоченнаго, что онъ не станетъ больше ждать и уѣдетъ— пріостановила разгулъ, главными запѣвалами въ которомъ были чающіе прирѣзки земли „раззоренные“. Тогда начался торгъ съ уполномоченнымъ, продолжавшійся три дня. Чѣмъ болѣе уступалъ уполномоченный, тѣмъ неограниченнѣе были требованія крестьянъ, усматривавшихъ въ этой уступчивости какой-то „подвохъ“. Дѣло едва не разошлось изъ-за пустяковъ, но заступничество Ивана Яковлевича опять спасло міръ, или правильнѣе міры. Сошлись на самыхъ выгодныхъ для покупателей условіяхъ, выбрали отъ обществъ уполномоченныхъ и отправились въ городъ для завершенія покупки законнымъ порядкомъ.

При раздѣлѣ участка, на пай Ивана Яковлевича достался по жребію особый, очень удобный, по мѣстнымъ условіямъ, уголъ въ 300 десятинъ, за который уплатилъ онъ наличныя деньги, израсходовавъ на то всѣ бывшія у него средства, оказавшіяся, впрочемъ, очень небольшими.

Переговоры по пріобрѣтенію участка отвлекли Двориковскихъ крестьянъ отъ поѣздки въ городъ для полученія страховой преміи за сгорѣвшую мельницу. Теперь, когда выборные отправились въ городъ, имъ же поручили получить и страховыя деньги; но по пріѣздѣ ихъ въ городъ оказалось, что премія выдана уже Лапкину, въ рукахъ у котораго оставался и полисъ, невзятый отъ него крестьянами по опрометчивости. Обстоятельство это послужило поводомъ къ иску, а потомъ обнаружились данныя, на основаніи которыхъ и самый пожаръ мельницы представлялся столь загадочнымъ, что разслѣдованіе ихъ потребовало вызова Лапкина.

Отвѣта на это требованіе получено пока не было.

XIX.

Переживались тяжелые дни, полные какого-то гнетущаго томленія и страха за будущее. Встревоженные событіями послѣдняго времени, мы ждали еще чего-то, болѣе грознаго. Что разразится надъ нашими головами, никто не зналъ, но ясно было для всѣхъ, что послѣдняго слова судьба еще не сказала. Ждать пришлось недолго.

Однажды, когда мы всѣ были въ сборѣ дома, мимо нашихъ

окомъ промчался верховой и, едва осадивъ коня у крыльца, спѣшно вбѣжалъ въ комнаты.

Верховой былъ съ хутора и мы замерли въ ожиданіи его слова.

— Барыня померла!—крикнулъ онъ, едва переводя духъ.

Всѣ растерялись. Кто искалъ шапку, лежавшую передъ глазами на столѣ и не могъ найти, кто не находилъ калошъ, неподвижно стоявшихъ на обычномъ мѣстѣ, кто плакалъ на-взрыдъ, кто былъ уже на дворѣ и приказывалъ скорѣе запрягать лошадей. Никольскіе, потрясенные скорбнымъ извѣстіемъ, не меньше насъ, прибѣжали къ намъ же, и суматоха увеличилась еще болѣе. Наконецъ, къ крыльцу было поданы двое пошевней, и мы помчались. Дорогою спохватились, что Петра Иваныча не было съ нами. Когда и куда онъ исчезъ, никто не зналъ. Прискакавъ на хуторъ, мы нашли его ужъ тамъ.

Анна Александровна, скончавшаяся отъ разрыва сердца, лежала на своемъ диванчикѣ. Оленька, оцѣпенѣвшая отъ ужаса и горя стояла подлѣ нея и глазами, полными отчаянія, всматривалась въ дорогія черты. Въ рукахъ своихъ сжимала она руку матери, какъ бы ожидая, что эти тонкіе и безжизненные пальцы съ обычною ласкою поиграютъ шелковистыми ея локонами... Съ Александрой Васильевной повторились прежніе припадки, отъ которыхъ она едва начала оправляться. За ней ухаживала Лукерья Степановна, блѣдная и смирившаяся съ тѣхъ поръ, какъ увидѣла, что потеряла прежнее довѣріе хозяина и что „время ея прошло“.

На разспросы наши никто не могъ сказать, какъ послѣдовала смерть. Послѣ ужъ, когда Оленька нѣсколько оправилась, она объяснила, что въ минуту смерти матери была при ней. — „Получили почту—говорила она—и мама читала какое-то письмо. Вдругъ вскрикнула и—умерла“!

— Какое письмо? Гдѣ оно?

Письма не оказывалось. Бѣдныя женщины были такъ поражены внезапнымъ ударомъ, что имъ и на мысль не пришло взглянуть, о чемъ говорилось въ письмѣ. Послѣ долгихъ поисковъ скомканное и затоптанное письмо нашлось подъ диваномъ. Путешествовавшій вмѣстѣ съ Лапкинымъ въ Москву пріятель и руководитель его подъячій увѣдомлялъ, что Василій Никандрычъ, потерпѣвъ неудачу на торгахъ, страшно закутилъ, попалъ будтобы въ руки шулеровъ, обыгравшихъ его до копѣйки, и кончилъ тѣмъ, что скоропостижно умеръ отъ удара.

Извѣстіе это поразило насъ до такой степени, что я никакъ

не могу возстановить въ памяти подробностей и ничего не могу разсказать о томъ, какъ пережили первыя минуты дочери Лапкина, оставшіяся теперь круглыми сиротами, нищими и безпріютными.

Анну Александровну похоронили на Глушковскомъ кладбищѣ. Бросая горсть земли на гробъ, въ которомъ успокоилась она на вѣки, мы вмѣстѣ съ нею хоронили мысленно и Василія Никандрыча, погибшаго такъ печально вдали отъ насъ, на чужбинѣ. Жизнь его, полная переворотовъ, была продуктомъ добраго стараго времени. Порываясь отъ стараго рабства къ барскимъ затѣямъ, онъ погибъ на скользкомъ пути, на который вступилъ. Обманывать себя дольше оказалось невозможнымъ и развязка пришла сама собою!..

Н. И.

ПЕССИМИЗМЪ И ПРОГРЕССЪ

IV *).

Чтобы разобраться въ міросозерцаніи пессимистовъ, всего важнѣе понять, во имя чего они отрицаютъ возможность примириться съ жизнью—во имя какихъ идеаловъ и во имя какихъ требованій отъ жизни. Обращаясь за этимъ къ самымъ выдающимся изъ нихъ, Шопенгауеру и Гартману, нельзя не замѣтить, что они осуждаютъ жизнь съ двухъ сторонъ. Ихъ безусловно отрицательное отношеніе къ жизни исходитъ не изъ одного неизмѣннаго идеала, а изъ ясно различимыхъ двухъ. Систематически осуждая всевозможныя проявленія жизни, они выставляютъ то одинъ, то другой изъ нихъ, а иногда даже случается, что и оба вмѣстѣ. На первый взглядъ можетъ показаться, что такая двойственность въ способѣ отношенія къ обсуждаемымъ явленіямъ должна послужить источникомъ явныхъ противорѣчій; но на самомъ дѣлѣ оба идеала, вообще говоря, очень мирно уживаются другъ около друга, хотя, правда, одинъ изъ нихъ значительно преобладаетъ. Дѣло въ томъ, что одинъ идеалъ они почерпаютъ въ лежащемъ позади насъ безвозвратномъ прошедшемъ, другой же направленъ на то, что остается человѣчеству впереди, въ будущемъ. Шопенгауеръ именно учитъ, что чѣмъ выше стоитъ человѣкъ въ своемъ развитіи, тѣмъ меньше въ немъ сохраняется первобытной, безсознательной привязанности къ жизни, тѣмъ меньше его привлекаетъ суета и движеніе жизни, тѣмъ равнодушнѣе онъ къ ея интересамъ, и наоборотъ—чѣмъ онъ развитѣе, тѣмъ упорнѣе ищетъ окончательнаго, безповоротнаго успокоенія отъ напряженной жиз-

*) См. выше: августъ, 708 стр.

ненной дѣятельности и тѣмъ выше цѣнитъ блаженство абсолютнаго покоя, не возмущаемаго не только страданіемъ, но ровно ничѣмъ — ни желаніемъ, ни воспоминаніемъ, ни надеждой, ни мыслью даже [1]). Счастье по этому ученію доступно одному изъ двухъ—либо первобытному существу, либо аскету: первый, благодаря безсознательной, тупой непосредственности, бодро и дѣятельно наслаждается радостями жизни, а второй, цѣною страданій и просвѣтленнаго сознанія, дошелъ до высокаго блаженства абсолютнаго бездѣйствія, которое приближаетъ его къ полному „небытію“ (такъ называемая у буддистовъ „нирвана“). Эти-то два рода счастья, ограничивающіе жизнь съ двухъ противоположныхъ концовъ, и представляютъ собою тѣ два идеала, которые руководятъ Шопенгауеромъ, а вслѣдъ за нимъ и Гартманомъ, въ ихъ безпощадной критикѣ существующаго. И все, что̀ располагается на безчисленныхъ ступеняхъ между живымъ, непосредственнымъ счастьемъ тупого, ограниченнаго существа и безжизненнымъ блаженствомъ высокоразвитого аскета,—все это безжалостно развѣнчивается и топчется во славу двухъ крайнихъ состояній. Во имя ихъ категорически отрицается возможность счастья въ какомъ-нибудь изъ промежуточныхъ положеній, т.-е. отрицается самая возможность для человѣка, вышедшаго изъ первобытнаго состоянія, сохранить свѣжую бодрость жизненнаго настроенія и связанную съ этимъ привязанность къ жизни.

Подъ вліяніемъ такого воззрѣнія, каждый шагъ на пути развитія получаетъ двойное значеніе: во-первыхъ, онъ обязательно сокращаетъ способность наслаждаться жизнью, а слѣдовательно и возможность счастья, и во-вторыхъ, возбуждаетъ стремленіе къ блаженству аскетическаго бездѣйствія.

Какія же, спрашивается, обстоятельства придаютъ въ глазахъ пессимистовъ такой роковой характеръ процессу развитія жизни?— Отвѣтомъ на это могутъ служить соображенія и факты, теоріи и метафизическія положенія всякаго рода, разбросанные по всѣмъ частямъ ученій Шопенгауера и Гартмана, такъ что тутъ скорѣе можетъ затруднить обиліе матеріала, чѣмъ недостатокъ въ немъ.

Если искать краткаго, яркаго и возможно полнаго отвѣта, хотя бы и не точнаго, то всего лучше обратиться къ тому, что̀ Шопенгауеръ высказываетъ о геніяхъ [2]).

---

[1]) Arthur Schopenhauer, Welt als Wille und Vorstellung, I, 365—7 и вообще четвертая книга. „Der Mensch ist befriedigt je nachdem Grade seiner Stumpfheit. говоритъ Шопенгауеръ въ Parerga und Paralipomena, II, 317. Замѣтимъ, что наши указанія относятся ко 2-му изданію сочиненій Шопенгауера.

[2]) Welt, II. § 31; Parerga, II. стр. 72—88.

По его убѣжденію, люди геніальные представляютъ собой самое полное торжество разрушающаго вліянія развитія на привязанность къ жизни. Съ удовольствіемъ ссылается онъ на Аристотеля, сказавшаго, что всѣ геніи меланхоличны, и въ подтвержденіе этой мысли указываетъ на цѣлый рядъ великихъ людей, дѣйствительно страдавшихъ меланхоліей и вообще недовольныхъ жизнью. А великіе люди, вѣдь это цвѣтъ развитія человѣчества; геній,—утверждаетъ Шопенгауеръ,—находится на самой высокой ступени развитія изо всѣхъ, доступныхъ человѣку.

Въ чемъ же состоитъ развитіе генія и почему всякій геній обязательно долженъ быть „меланхоличнымъ“?

Главная особенность генія,—утверждаетъ Шопенгауеръ,—заключается въ необыкновенномъ развитіи ума. И что при этомъ всего важнѣе, развитіе это совсѣмъ особенное, не только по размѣрамъ, но и по своему характеру. Просто талантливый человѣкъ можетъ имѣть какой угодно крупный умъ, но въ глазахъ Шопенгауера это нисколько еще не приблизитъ его къ генію, ибо у генія умъ не только самъ по себѣ высоко развитъ, но и преобладаетъ надъ чувствомъ. У просто талантливаго человѣка при какомъ бы то ни было развитіи его ума, вся работа мысли ограничивается дѣятельностью на пользу человѣка: у одного она направлена на личную пользу, у другого—на пользу общественную, одинъ работаетъ въ области техники, другой въ области науки, но во всякомъ случаѣ у каждаго изъ нихъ умъ служитъ чувству и вообще жизненнымъ интересамъ человѣка, то-есть такъ или иначе стремится улучшить жизнь и помочь человѣку. Всякую подобную дѣятельность Шопенгауеръ обнимаетъ однимъ общимъ названіемъ „практической“, хотя сюда у него цѣликомъ входитъ и вся теоретическая область науки. Дѣлаетъ онъ это на томъ основаніи, что наука изучаетъ явленія, ихъ связь и отношеніе между собой, то-есть исключительно то, что имѣетъ жизненное, реальное значеніе для человѣка, не заботясь о томъ, каковы вещи помимо человѣческаго представленія. Это Шопенгауеръ и называетъ практической дѣятельностью ума, тутъ, какъ онъ выражается, умъ подчиненъ и служитъ чувству, побужденіямъ и вообще живымъ интересамъ человѣка (кратко онъ это любитъ формулировать въ такомъ видѣ: „умъ служитъ волѣ“; но мы предпочитаемъ воздерживаться здѣсь отъ термина „воля“, такъ какъ для незнакомыхъ ближе съ Шопенгауеромъ онъ очень сбиваетъ). Такое, по его словамъ, естественное назначеніе ума имѣетъ мѣсто у всѣхъ нормальныхъ людей, такъ какъ у нихъ дѣятельность ума соотвѣтствуетъ ихъ живымъ потребностямъ; умъ талант-

ливаго человѣка въ этомъ отношеніи отличается только большимъ искусствомъ,—онъ видитъ яснѣе, онъ быстрѣе и мѣтче соображаетъ, но никогда не выходитъ за предѣлы того, что̀ интересуетъ человѣка. У генія же умъ, вслѣдствіе „ненормальнаго“ (abnormes) преобладанія надъ чувствомъ, „эманципируется“ отъ служенія чувствамъ и проникаетъ „въ совсѣмъ другой міръ“,—высшій міръ искуства и философіи, которому, по убѣжденію Шопенгауера, абсолютно чужды какіе бы то ни было живые интересы человѣка. Въ этомъ свѣтломъ мірѣ геній отрѣшается отъ всѣхъ чувствъ, привязанностей и интересовъ людскихъ, сбрасываетъ съ себя „тяжелое иго жизни“ и наслаждается высокимъ блаженствомъ безстрастнаго созерцанія. По словамъ самого Шопенгауера, умъ тутъ получаетъ „чуждое своей природѣ“, „неестественное“, даже „сверхъ-естественное“ назначеніе, и въ этомъ, на его взглядъ, заключается все величіе генія; но въ этомъ же и источникъ его равнодушнаго отношенія ко всѣмъ жизненнымъ интересамъ. Умъ генія, рѣшительно преобладая надъ чувствомъ, заставляетъ чувство молчать и тѣмъ самымъ вытравляетъ все, что̀ держится на чувствахъ,—всѣ интересы, страсти и влеченія, которые привязываютъ человѣка къ жизни и ея радостямъ. Поэтому онъ смотритъ на жизнь „со стороны“, какъ на театральное зрѣлище, ни малѣйше его не трогающее; онъ не можетъ раздѣлить съ людьми ни одной изъ ихъ горестей или радостей; онъ имъ совсѣмъ чужой, конечно, въ той степени, въ какой онъ остается геніемъ и самъ не погруженъ „въ заботы суетнаго свѣта“. Сверхъ того положеніе генія осложняется еще тѣмъ обстоятельствомъ, что геніальный человѣкъ не можетъ быть флегматикомъ; у него, напротивъ, непремѣнно страстный темпераментъ и онъ обладаетъ особенной чувствительностью. Но абсолютный перевѣсъ холоднаго ума не даетъ хода этимъ душевнымъ силамъ, не согласующимся съ индифферентнымъ отношеніемъ къ жизни,—по крайней мѣрѣ, изъ нихъ вытравляется все бодрое и жизнерадостное и они оставляютъ отъ себя только горькій осадокъ раздражительности. Такимъ образомъ равнодушное отношеніе къ интересамъ жизни весьма легко переходитъ въ совсѣмъ враждебное, подъ вліяніемъ котораго все въ жизни представляется пошлымъ, мелочнымъ, ничтожнымъ и, такъ сказать, ненужнымъ.

Подводя итогъ соображеніямъ Шопенгауера о геніи, мы можемъ сказать, что источникъ неизбѣжной „меланхоліи“ генія заключается въ несоотвѣтственномъ сравнительно съ чувствомъ развитіи ума и въ происходящей отсюда „оторванности“ (подлинное выраженіе) одного отъ другого. Легко видѣть, что мы

здѣсь имѣемъ предъ собой крайнее нарушеніе здоровой цѣльности личности и въ этомъ смыслѣ представленіе Шопенгауера о геніи по своей рѣзкости врядъ ли уступаетъ самымъ исключительнымъ примѣрамъ изъ тѣхъ, которые мы нашли у Рибо.

Но оставимъ вопросъ о геніяхъ и перейдемъ въ менѣе исключительному и болѣе понятному кругу явленій. Если мы привели мысли Шопенгауера о геніи, то только въ виду того, что въ нихъ, благодаря ихъ рѣзкости, съ особенной опредѣленностью выступаетъ его руководящій взглядъ на источникъ непривлекательности жизни. Несравненно яснѣе и при томъ реальнѣе та же точка зрѣнія обнаруживается въ его воззрѣніяхъ на счастье.

Надо сказать, что всѣ пессимисты считаютъ внѣшнія блага жизни и вообще внѣшнія обстоятельства не имѣющими никакого существеннаго значенія для счастья [1]). Подвергая разбору богатство, славу, общественное положеніе, они упираютъ на то, что все это нисколько не обезпечиваетъ самого счастья. Напротивъ, на каждомъ шагу видимъ мы людей, осыпанныхъ внѣшнимъ благополучіемъ и въ то же время скучающихъ, не знающихъ, что́ съ собой сдѣлать, какъ убить время и чѣмъ разсѣять безпричинную тоску. Такъ же, повидимому, безпричинна веселость иныхъ людей, которые всюду вносятъ съ собой оживленіе и довольство, наперекоръ внѣшнимъ обстоятельствамъ. Одна и та же внѣшняя обстановка,—говоритъ Шопенгауеръ,—производитъ на каждаго человѣка свое особое впечатлѣніе. Видъ самой красивой мѣстности можетъ быть совершенно испорченъ дурной погодой или отраженіемъ въ плохой камеръ-обскурѣ; точно также для иного человѣка самыя лучшія радости жизни—все равно, что драгоцѣннѣйшія вина во рту, покрытомъ желчью. Самая богатая роскошь, отраженная въ блѣдномъ сознаніи ограниченнаго человѣка, бѣдна и жалка въ сравненіи съ тѣмъ, что́ чувствовалъ Сервантесъ, когда въ тѣсной тюрьмѣ писалъ своего Донъ-Кихота. Упуская это изъ виду, иной читатель Байрона или Гёте, наталкиваясь въ ихъ произведеніяхъ на вещи, явно взятыя изъ дѣйствительной жизни, пожалуй, вздумаетъ завидовать, что имъ посчастливилось на интересныя встрѣчи и событія; а между тѣмъ, тотъ же читатель, можетъ быть, самымъ равнодушнымъ образомъ прошелъ бы мимо того, что́ въ душѣ художника породило произведеніе, полное интереса,—ему бы показалось малозначущимъ и неинтереснымъ то самое, что́, освѣщенное душевнымъ міромъ генія, приводитъ его въ восторгъ и доставляетъ самое возвышенное наслажденіе.

---

[1]) Parerga I, Aphorismen zur Lebensweisheit, стр. 334—42, 351. Welt I, 373.

Поэтому, что̀ дѣйствительно заслуживаетъ зависти, такъ это способность быть счастливымъ, исходящая изъ насъ самихъ. Каждый изъ насъ, когда ему нездоровится, на своемъ личномъ опытѣ знаетъ, какъ много въ этомъ отношеніи значитъ наше собственное состояніе, въ сравненіи съ тѣмъ, что̀ находится внѣ нашей личности. Болѣе широкое подтвержденіе этого даетъ намъ сравненіе между собой различныхъ возрастовъ и людей,—каждый возрастъ и каждый характеръ по своему окрашиваетъ всѣ радости жизни и придаетъ имъ такой или иной оттѣнокъ. Никого поэтому не удивляетъ, что старецъ смотритъ равнодушно на предметъ страсти юноши, или что одно и то же обстоятельство кажется сангвинику крайне интереснымъ, а меланхолику совершенно не стоющимъ вниманія. Повидимому, говоритъ Шопенгауеръ, намъ не чуждо инстинктивное сознаніе, что счастье больше всего зависитъ отъ нашей собственной личности; это видно изъ того, что мы гораздо спокойнѣе переносимъ бѣдствія, приходящія извнѣ, чѣмъ исходящія отъ насъ,—мы при этомъ какъ будто смутно чувствуемъ, что отъ внѣшнихъ обстоятельствъ легко избавиться, а свою собственную личность приходится всюду приносить съ собой.

Съ своей стороны, Шопенгауеръ полагаетъ [1]), что изъ всѣхъ свойствъ личности самое важное для счастья—хорошее, свѣтлое настроеніе. Какъ голодъ—лучшій поваръ, такъ можно сказать, что у кого веселый нравъ и кто радостно настроенъ, у того найдется поводъ порадоваться. Свѣтлое настроеніе, говоритъ Шопенгауеръ, есть единственная настоящая монета счастья; все остальное—только кредитныя бумажки. Что же касается того, чѣмъ такое настроеніе обусловливается, то, по убѣжденію Шопенгауера, все сводится къ согласію съ самимъ собою, то-есть къ внутренней уравновѣшенности.

Вотъ эта мысль лежитъ въ основаніи всѣхъ разсужденій Шопенгауера о счастьѣ. Въ ней онъ, а за нимъ и Гартманъ, черпаютъ силу для своей рѣзко отрицательной критики дѣйствительности и въ ней же,—худо ли, хорошо ли,—находятъ и разрѣшеніе своему недовольству жизнью. Всѣ ихъ нападки на жизнь неизмѣнно клонятся къ тому, что она не даетъ человѣку согласія съ самимъ собой—этого единственнаго дѣйствительнаго блага, и нѣтъ такой жертвы, которую бы они сочли слишкомъ крупной для достиженія этого блага.

Обращаясь къ подробностямъ, замѣтимъ, что въ дальнѣйшемъ

[1]) Parerga, I, стр. 379, 445, 448.

мы пока не будемъ упоминать о мелкихъ отличіяхъ Гартмана отъ Шопенгауера, такъ какъ эти малозначущія частности только напрасно отвлекали бы насъ отъ главнаго.

V.

Слѣдя за самыми разнообразными обвиненіями Шопенгауера противъ жизни, мы каждый разъ въ концѣ концовъ неизмѣнно приходимъ къ тому, что корень всѣхъ золъ заключается во внутреннемъ мірѣ человѣка, а именно, во внутренней невозможности найти счастье въ жизни.

Отчего же зависитъ эта невозможность?

Вотъ какъ представляется дѣло Шопенгауеру.

Жизнь людей,—говоритъ онъ [1]),—состоитъ въ вѣчномъ метаніи, какъ между Сциллой и Харибдой, между двумя бѣдами—нуждой и скукой. Пока мы стремимся къ чему-либо, чувствуемъ въ чемъ-нибудь потребность и эта потребность еще не удовлетворена, мы страдаемъ отъ чувства неудовлетворенія, испытываемъ нужду. Когда же удовлетвореніе наступило, такое удовлетвореніе, что нечего больше желать, — тогда является чувство пустоты, т.-е. скуки. Чтобы избѣжать этой новой бѣды, дѣлаются самыя упорныя усилія, принимаются разнообразнѣйшія мѣры, и въ результатѣ опять непріятное чувство, но уже перваго рода, т.-е. въ видѣ неудовлетворенныхъ потребностей. И такъ далѣе, безъ конца. Вслѣдствіе этого дѣйствительность представляетъ очень странную картину. Съ одной стороны, масса людская,—большая по размѣрамъ,—всю жизнь проводитъ въ ожесточенной борьбѣ съ нуждой, въ борьбѣ за возможность удовлетворить самыя насущныя и притомъ въ высшей степени ограниченныя свои потребности; а съ другой, передъ нами цѣлые классы людей, всѣ заботы которыхъ сосредоточены на пріисканіи новыхъ и новыхъ источниковъ интереса: придумываютъ всевозможныя игры, увеселенія, развлеченія, играютъ въ карты, шахматы, рулетку, танцуютъ, сплетничаютъ, читаютъ пустѣйшіе романы, съ жадностью накидываются на пикантныя уголовныя преступленія,—словомъ, дѣлаютъ все возможное, лишь бы не остаться безъ всякихъ желаній. Выходитъ,—говоритъ Шопенгауеръ,—что, съ одной стороны, люди стремятся обезпечить свое существованіе, а затѣмъ добившись этого, не знаютъ, что́ со своимъ существованіемъ подѣлать, и только о томъ

[1]) Welt, § 57, и Parerga II, § 147 и 154.

и заботятся, какъ бы „убить“ постылое время. Оттого мы на каждомъ шагу видимъ, что пока человѣкъ находится только на пути къ цѣли, она его еще соблазняетъ; а разъ желанная цѣль достигнута, —конецъ увлеченію, наступаетъ равнодушіе и, если не привлекаютъ новыя цѣли,—тоскливая душевная пустота. Оттого часто человѣкъ, всю жизнь потратившій на преслѣдованіе дорогой цѣли, въ концѣ самъ не радуется своему успѣху.

Гдѣ же, спрашивается, источникъ этой роковой дилеммы? Коренится ли онъ въ неустранимой природѣ вещей или же въ немъ нѣтъ ничего неизбѣжнаго?

На этотъ вопросъ Шопенгауеръ отвѣчаетъ двояко. Одинъ отвѣтъ цѣликомъ держится на отвлеченномъ разсужденіи, а другой ближе касается конкретныхъ явленій.

Первый безнадежно пессимистиченъ; онъ утверждаетъ, что такой порядокъ вещей неизбѣженъ. И это на томъ основаніи, что всякое удовольствіе есть не что иное, какъ удовлетвореніе потребности. Поэтому пока потребность не удовлетворена, удовольствія нѣтъ. Когда же она удовлетворена, то самой потребности больше нѣтъ, то-есть больше нечего удовлетворять и, значитъ, опять не можетъ быть удовольствія. Первый случай даетъ страданіе, второй—скуку. Изъ этого выходитъ, что удовольствіе существуетъ только въ самый моментъ перехода отъ страданія къ скукѣ, то-есть въ тотъ моментъ, когда страданіе уже кончается, а скука еще не наступила. Эти чрезвычайно маленькіе промежутки времени и составляютъ все, что́ даетъ большинству людей передышку между страданіемъ и скукой.

Изъ разсужденія этого слѣдуетъ, что этотъ порядокъ вещей есть явленіе неизбѣжное,—по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока счастье человѣка состоитъ въ удовлетвореніи его потребностей. Но, съ другой стороны, Шопенгауеръ приводитъ соображенія, которыя освѣщаютъ тотъ же вопросъ совсѣмъ не такъ безотрадно [1]).

Говоря о бѣшеной погонѣ массы людской за богатствомъ, славой, почестями, общественнымъ положеніемъ и тому подобными жизненными цѣлями, Шопенгауеръ обращаетъ особенное вниманіе на то, какъ мало страстность этихъ стремленій соотвѣтствуетъ цѣнѣ того, чего достигаетъ человѣкъ даже при полномъ успѣхѣ въ этомъ направленіи. Дѣло въ томъ, что все это—только внѣшнія блага: внѣшнее богатство, внѣшнія почести, внѣшнія положенія. И тѣ, кто видитъ въ нихъ цѣль жизни, упускаютъ изъ виду, что истинное, глубокое удовлетвореніе цѣликомъ держится

[1]) Особенно см. Parerga, I, Aphorismen zur Lebensweisheit.

не на нихъ, а на внутреннемъ душевномъ содержаніи человѣка. Внѣшнимъ блескомъ, внѣшнимъ разнообразіемъ и внѣшнимъ богатствомъ впечатлѣній они стремятся вознаградить себя за томительную пустоту, блѣдность, однообразную безсодержательность и вообще ничтожность внутренней жизни. Честолюбецъ, нисколько самъ себя не уважающій, гоняется за титулами, орденами, общественнымъ положеніемъ и всевозможными внѣшними почестями. Человѣкъ, не находящій никакихъ интересовъ въ самомъ себѣ, не можетъ, если онъ не работаетъ, просидѣть четверть часа безъ общества, безъ разговоровъ и развлеченій. Но невозможность замѣнить внутреннее богатство внѣшнимъ безжалостно даетъ себя чувствовать всюду. Внѣшняя суета общественныхъ времяпрепровожденій не въ силахъ восполнить недостатокъ внутренняго оживленія. Оттого такъ трудно найти въ обществѣ дѣйствительное оживленіе и настоящее, искреннее веселье. Не смотря на торжественность и эффектность обстановки, не смотря на блескъ, шумъ и суету, на лицахъ людей написано холодное равнодушіе и скука. Не больше удовлетворенія даетъ и честолюбіе, направленное на внѣшнія почести; чувство чести, чѣмъ больше оно держится не на внутреннихъ достоинствахъ самой личности, а на внѣшнихъ условностяхъ, тѣмъ меньше приноситъ спокойнаго удовлетворенія, —извѣстно, что всякая корпоративная честь тревожна до болѣзненности. И черта эта повторяется во всѣхъ случаяхъ, когда стараются замѣнить внутреннее богатство внѣшнимъ. Непремѣнно является безпокойство, тревожное настроеніе, раздражительность, неспособность чѣмъ-нибудь удовлетвориться, и въ результатѣ— лихорадочная погоня за новыми и новыми источниками удовлетворенія.

Все это,—утверждаетъ Шопенгауеръ,—показываетъ, что если, не смотря на внѣшній успѣхъ и на полное достиженіе внѣшнихъ цѣлей, человѣкъ не испытываетъ настоящаго удовлетворенія, то причиной тому ничтожность внутренняго содержанія. И поэтому тѣ, которые видятъ въ обладаніи внѣшними орудіями счастья самое счастье, похожи на скупца, который принимаетъ деньги за самую цѣль. Всѣ силы истрачиваются на то, чтобы овладѣть внѣшними богатствами, всѣ заботы направлены на нихъ, а тамъ оказывается, что не въ нихъ дѣло.

Такимъ образомъ, нисколько не отступая отъ Шопенгауера, а только подходя вмѣстѣ съ нимъ къ явленіямъ реальной дѣйствительности, мы получаемъ совсѣмъ новое освѣщеніе всего дѣла. Отвлеченное разсужденіе привело насъ къ заключенію, что скука, равнодушіе и ощущеніе пустоты представляютъ просто естествен-

ное слѣдствіе удовлетворенныхъ потребностей. А здѣсь предъ нами категорическое заявленіе Шопенгауера, что „истинный источникъ скуки есть внутренняя безсодержательность".

Но въ чемъ же состоитъ „внутренняя безсодержательность" и отъ чего зависитъ?

Шопенгауеръ подъ вліяніемъ своихъ личныхъ вкусовъ, вообще говоря, былъ совсѣмъ не склоненъ признавать въ жизни человѣка какое бы то ни было серьезное содержаніе, кромѣ интереса и любви къ философіи и искусству. Въ его устахъ на каждомъ шагу все, что́ не посвящено философіи и искусству, съ плеча клеймится эпитетомъ безсодержательнаго. Но такъ какъ Шопенгауеръ никогда не позволитъ себѣ выражать свое личное презрѣніе, не подкрѣпивши его общими соображеніями, то они и должны отвѣтить намъ на вопросъ нашъ.

Философія и искусство, объясняетъ Шопенгауеръ [1]), представляютъ собой совершенно исключительную область, тѣмъ особенно замѣчательную, что она допускаетъ наслажденія удовольствія и счастье безъ всякой примѣси скуки. Зависитъ это отъ того, что тутъ удовольствіе не есть „удовлетворенія потребностей". Дѣло въ томъ, что когда человѣкъ вступаетъ въ эту область, то, согласно Шопенгауеру, у него больше нѣтъ потребностей, онъ отрѣшается отъ всякихъ страстей, побужденій и чувствъ, его не привлекаютъ никакія цѣли и онъ рѣшительно ни къ чему не стремится. Вотъ почему тутъ не можетъ быть рѣчи объ удовлетвореніи какихъ-нибудь потребностей; самихъ потребностей нѣтъ. Высокое же наслажденіе, при этомъ испытываемое, цѣликомъ основано на совершенно безстрастномъ, чисто умственномъ созерцаніи дѣйствительности.

Такъ какъ при этомъ художникъ и философъ въ каждомъ явленіи живой дѣйствительности умѣютъ найти и содержаніе, и интересъ, и наслажденіе, то можетъ показаться, что подъ „внутреннимъ содержаніемъ" Шопенгауеръ разумѣетъ способность находить во всемъ пищу для ума и воображенія. Однако ни за умомъ, ни за воображеніемъ онъ не признаетъ подобнаго исключительнаго значенія, коль скоро они преслѣдуютъ какія-нибудь цѣли. Правда, и у философа и у художника тоже есть цѣль—обладаніе истиной; но Шопенгауеръ горячо настаиваетъ на томъ, во-первыхъ, что преднамѣренное, то-есть сознательное стремленіе къ этой цѣли не обезпечиваетъ ни малѣйшаго успѣха въ этой особенной области, иначе всякій могъ бы по желанію, просто задавшись та-

[1]) Welt I, § 38; Parerga II, § 447—8.

кой цѣлью, сдѣлаться философомъ или художникомъ; а во-вторыхъ, если въ дѣятельности философа или художника все-таки преслѣдуются цѣли, то однѣ только безсознательныя, съ такой же органической необходимостью вытекающія изъ этой дѣятельности, какъ цѣли безсознательной природы. Побуждаетъ ихъ къ работѣ непосредственный инстинктъ, вдохновеніе, а привлекаетъ то непосредственное удовольствіе, которое доставляетъ самый процессъ дѣятельности. Подобный образъ занятій, говоритъ Шопенгауеръ, въ сравненіи съ другими все равно, что танцы по отношенію къ простому хожденію: человѣкъ идетъ, чтобы прійти куда-нибудь, а танцуетъ ради самихъ танцевъ; тоже самое въ философіи и искусствѣ,—тутъ дѣятельность, будучи сама себѣ цѣлью не нуждается ни въ какихъ внѣшнихъ приманкахъ или наградахъ. Она удовлетворяетъ сама по себѣ и источникъ этого удовлетворенія, — говоритъ Шопенгауеръ, — заключается въ свободной игрѣ душевныхъ силъ, въ возможности безпрепятственнаго ихъ приложенія, то-есть вообще въ живой дѣятельности. Этимъ и объясняется, почему такого рода удовольствія не зависятъ отъ достиженія какой-нибудь цѣли и продолжаются непрерывно; почему въ нихъ нѣтъ ни тревожности, ни неувѣренности, ни лихорадочнаго стремленія впередъ; почему, наконецъ, оно сопровождается такимъ высоко блаженнымъ чувствомъ „спокойнаго“ самоудовлетворенія. Становится также понятнымъ, почему Шопенгауеръ не хочетъ признать никакихъ обязанностей философіи и художественнаго творчества по отношенію къ практическимъ задачамъ и интересамъ человѣка: сознательное преслѣдованіе какой бы то ни было цѣли выходитъ за предѣлы непосредственнаго наслажденія самой дѣятельностью; а это нарушаетъ уже весь характеръ удовольствія или, вѣрнѣе, совсѣмъ уничтожаетъ удовольствіе, ибо всякое удовольствіе какъ говорилъ еще Аристотель, состоитъ въ какой-нибудь дѣятельности. Этимъ же объясняется, почему Шопенгауеръ не допускалъ возможности счастья въ практической дѣйствительности; въ ней, утверждаетъ онъ, человѣка привлекаютъ цѣли, лежащія внѣ самой дѣятельности. Тутъ дѣятельность сама по себѣ не доставляетъ никакого удовлетворенія; она не освѣжаетъ, не сообщаетъ ни бодрости, ни свѣтлаго настроенія, и привлекаетъ только въ силу соображеній пользы, мечтами о богатствѣ, надеждами на славу и тому подобными внѣшними приманками. Такъ какъ при этомъ все основывается на успѣхѣ или неуспѣхѣ въ осуществленіи предположенныхъ цѣлей, то весь строй жизни получаетъ характеръ неувѣренности и тревожности. Постепенно черты эти пу-

скаютъ въ душѣ человѣка такіе глубокіе корни, что даже при самомъ полномъ успѣхѣ не даютъ душевнаго успокоенія и такимъ образомъ всегда мѣшаютъ полному удовлетворенію.

Чтобы оцѣнить какъ слѣдуетъ эти разсужденія, не должно забывать, что, по совершенно личнымъ особенностямъ своего воспитанія и характера, Шопенгауеръ не любилъ, да и не уважалъ никакого другого дѣла, кромѣ умственнаго. Всякую работу и всякій трудъ, кромѣ умственнаго, онъ всегда безъ разсужденій относитъ къ самому тягостному и непріятному въ жизни. Точно забывая объ умственной работѣ, онъ называетъ вообще всякую работу наказаніемъ и какъ будто совсѣмъ не допускаетъ возможности находить наслажденіе въ работѣ; на основаніи этого, высшимъ идеаломъ личнаго счастья онъ выставляетъ возможно обезпеченный отъ труда, свободный досугъ. Но въ томъ и дѣло, что въ то же время самымъ привлекательнымъ употребленіемъ этого досуга онъ считалъ умственную дѣятельность, а не бездѣлье. И это объясняется очень просто. Въ той сферѣ, гдѣ жизнь имѣла лично для него свою прелесть, въ той единственной области, въ которой ему, мизантропу и меланхолику, было доступно чувство непосредственнаго удовольствія, тутъ онъ находилъ, что дѣятельность (или, что тоже самое, „игра силъ“ или „свободное ихъ приложеніе“) есть коренной источникъ удовольствія, притомъ самаго глубокаго и самаго полнаго. Что же касается другихъ областей жизни и дѣятельности, то ни одна изъ нихъ не представляла для него ни малѣйшаго самостоятельнаго интереса. Въ нихъ ему было не по себѣ и онъ испытывалъ просто болѣзненное чувство безпокойства, когда приходилось имѣть дѣло съ какими-нибудь практическими задачами. Достаточно сказать, что одно появленіе почтальона съ письмомъ повергало его въ страшное безпокойство, и его сейчасъ же мучило подозрѣніе, что случилось какое-нибудь несчастье, что онъ разоренъ и лишенъ возможности заниматься дольше любимымъ дѣломъ; если ничего худого въ письмѣ не оказывалось, онъ и это принималъ за дурной знакъ. Не мудрено, что находя спокойное удовлетвореніе исключительно въ одной спеціальной сферѣ умственной дѣятельности, онъ не могъ придавать самостоятельную цѣну другимъ родамъ дѣятельности. Однако, не смотря на это пристрастіе, и въ его общихъ соображеніяхъ, и въ фактическихъ примѣрахъ въ этомъ отношеніи довольно легко пропадаетъ граница между умственной сферой и остальными областями жизни. Въ его общихъ положеніяхъ мы между прочимъ находимъ такое: по настоящему,—говоритъ онъ,—всякое удовольствіе состоитъ не въ чемъ другомъ, какъ въ ощу-

щеніи своихъ силъ и возможности найти имъ приложеніе; а съ другой—самое сильное страданіе происходитъ отъ ощущенія недостатка въ нужныхъ силахъ [1]). Такъ неужели же это не имѣетъ полнаго примѣненія ко всѣмъ областямъ жизни? И вотъ, дѣйствительно, какія указанія находимъ мы у него въ пользу этого. Физическое здоровье,—говоритъ онъ,—основано на безпрепятственной дѣятельности различныхъ органовъ; точно также и свѣтлое настроеніе, довольство самимъ собою и жизнью, даются человѣку только свободной дѣятельностью его силъ и способностей. Поэтому, когда обстоятельства избавляютъ насъ отъ необходимости работать ради практическихъ цѣлей, мы придумываемъ себѣ всякія занятія, забавы, игры,—вообще, какъ выражается Шопенгауеръ, предаемся „безцѣльной тратѣ силъ“. Выходитъ, стало быть, что непосредственное наслажденіе отъ самаго процесса дѣятельности возможно не въ одной умственной сферѣ, а и всюду въ жизни. Этому отвѣчаетъ также мнѣніе Шопенгауера, что жизнь вообще представляетъ собой не что иное, какъ движеніе, что самая сущность ея есть дѣятельность [2]). Исходя изъ этого, можно сказать, что любить жизнь и любить дѣятельность одно и то же, и естественный выводъ отсюда, что кому процессъ дѣятельности, или, что тоже самое, процессъ жизни доставляетъ непосредственное наслажденіе, тотъ и способенъ находить прелесть въ жизни и радоваться ея радостями. И наоборотъ. Кто на это не способенъ, тому не найти удовлетворенія въ жизни, тому даже не понять, что́ можетъ быть въ жизни привлекательнаго.

Почти излишне говорить, что найденный нами подъ руководствомъ Шопенгауера источникъ непривлекательности жизни сводится къ внутреннему раздвоенію, къ „несогласію съ самимъ собой“. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣка не удовлетворяетъ то самое, къ чему его же влечетъ, если удовлетвореніе его же собственныхъ побужденій не доставляетъ ему удовольствія, то несомнѣнно онъ страдаетъ внутреннимъ разладомъ. А таковы, какъ мы видѣли, послѣдствія недостатка „внутренняго содержанія“. Очень любопытны въ этомъ отношеніи у Шопенгауера слѣдующія замѣтки [3]). Человѣкъ съ ничтожнымъ душевнымъ содержаніемъ,—говоритъ онъ,—все равно, что музыкальный инструментъ, издающій одну только ноту; монотонность, то-есть однообразіе, его существованія невыносимо безъ дополненія другими, и оно

---

[1]) Welt, I, 360 Parerga, I, 353.
[2]) Parerga. I, 343.
[3]) Parerga, I, стр. 450.

нуждается въ этомъ дополненіи для того, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться къ „цѣлому человѣческому существованію". Тотъ же, у кого есть внутреннее содержаніе, тотъ представляетъ цѣлое, „единицу, а не дробь",—тотъ подобенъ цѣлому оркестру и поэтому способенъ самъ себя удовлетворять (hat an sich selbst genug), не нуждаясь ни въ какомъ дополненіи извнѣ. Не нуждается онъ также ни въ какомъ возбужденіи внѣшними средствами для того, чтобы испытывать удовлетвореніе въ жизни.

Къ этимъ мыслямъ мы дальше еще вернемся.

VI.

Не меньшимъ препятствіемъ къ счастью, чѣмъ „ничтожность внутренняго содержанія", служитъ по ученію Шопенгауера, другая особенность въ жизни людей, а именно неумѣніе жить и наслаждаться настоящей минутой [1]). Мы,—говоритъ Шопенгауеръ,—постоянно живемъ въ ожиданіи лучшаго или предаемся сожалѣнію о прошедшемъ; настоящее же примѣняется нами только такъ себѣ, между прочимъ: оно для насъ только путь къ чему-то, лежащему впереди, а само по себѣ цѣны не имѣетъ. Благодаря этому, большинство людей, приходя къ концу жизни и оглядываясь, чувствуютъ, что вся жизнь прожита точно въ ожиданіи чего-то (ad interim) и съ удивленьемъ замѣчаютъ, что то, чему они дали пройти незамѣченнымъ и, такъ сказать, невкушеннымъ —оно и было жизнью, то-есть тѣмъ самымъ, въ ожиданіи чего они все время жили. Теченіе времени,—говоритъ поэтому Шопенгауеръ,—играетъ роль бича, неустанно преслѣдующаго человѣка, не дающаго ему ни минуты передышки и лишающаго его возможности испытать чувство спокойнаго удовлетворенія.

Въ объясненіе дѣла у Шопенгауера и тутъ имѣется отвлеченная теорія, сводящаяся къ убѣжденію, что такова уже неизбѣжная участь всего, что̀ живетъ во времени; самая сущность времени есть текучесть, перемѣна, стремленіе впередъ; поэтому все, что̀ происходитъ во времени, по самой природѣ вещей не можетъ остановиться и успокоиться, осуждено быть въ вѣчномъ движеніи и въ вѣчной тревогѣ. Отсюда Шопенгауеръ выводитъ, что полное душевное удовлетвореніе возможно только „внѣ времени". Но мы не послѣдуемъ за Шопенгауеромъ въ этомъ фан-

[1]) Parerga II, стр. 304, 5, 6, 313—4, 317 и 318; также Parerga I, Aphorismen zur Lebensweisheit.

тастическомъ направленіи и не станемъ вмѣстѣ съ нимъ углубляться въ метафизическія хитросплетенія, тѣмъ болѣе, что самъ же онъ приводитъ очень вѣскія соображенія въ пользу того, что зло имѣетъ совсѣмъ иное значеніе.

Не смотря на то, что животныя, какъ и все вообще, что̀ намъ извѣстно, живутъ „во времени“, тѣмъ не менѣе Шопенгауеръ называетъ ихъ „олицетвореніемъ настоящаго“. Именно этой особенности животнаго, именно способности отдаваться цѣликомъ данному моменту, мы въ значительной мѣрѣ обязаны тому чувству радости, которое вызываетъ въ насъ наши домашнія животныя; они нѣкоторымъ образомъ даютъ намъ почувствовать непосредственную цѣну настоящаго, не обезпокоеннаго ни прошедшимъ, ни будущимъ. И животное само испытываетъ гораздо больше удовлетворенія отъ всего существованія, чѣмъ мы. Оно не знаетъ озабоченности и опасеній за будущее,—оно поэтому избавлено отъ столь тягостнаго для человѣка предвидѣнія смерти; точно также ему незнакомы муки раскаянія.

Правда, животное вмѣстѣ съ тѣмъ лишено наслажденій, доставляемыхъ воспоминаніями о счастливомъ прошедшемъ и, что еще дороже, радостей надежды. Но замѣчательно, что даже сами эти недостатки имѣютъ свои свѣтлыя стороны. Человѣкъ, обладая способностью преждевременно предвкушать будущія радости, по словамъ Шопенгауера, тѣмъ самымъ уменьшаетъ свое удовольствіе при его дѣйствительномъ наступленіи; такъ что непосредственное удовольствіе сокращается для него съ одной стороны преждевременнымъ его предвкушеніямъ, а съ другой—опасеніемъ потерять его, то-есть заботами о будущемъ. Другими словами, у человѣка удовольствіе не можетъ дѣйствовать сосредоточенно, не можетъ безраздѣльно завладѣть имъ, а непремѣнно разрознено, измельчено на массу мелкихъ частей и поэтому всегда является съ преобладающей примѣсью страданія. При такихъ условіяхъ не мудрено и самой надеждѣ на будущія радости притупиться. Точно также и пріятныя воспоминанія о прошедшемъ не овладѣваютъ человѣкомъ цѣликомъ; къ нимъ то-и-дѣло примѣшивается непріятное чувство, вслѣдствіе сравненія счастливаго прошлаго съ менѣе удачнымъ настоящимъ.

Отъ всего этого избавлено животное. Вообще, если животное наслаждается, то безраздѣльно, безъ ограниченій. Когда же оно страдаетъ, то тоже только непосредственнымъ страданіемъ настоящей минуты, не осложненнымъ ни тягостнымъ сравненіемъ съ прошедшимъ счастьемъ, ни мучительнымъ ожиданіемъ дальнѣйшихъ несчастій. Относительно страданій послѣдняго рода, то-есть

чисто душевныхъ, Шопенгауеръ того убѣжденія, что они несравненно несноснѣе непосредственныхъ, физическихъ: не даромъ, говоритъ онъ, мы совершенно забываемъ о физической боли, когда насъ терзаютъ муки душевныя. Другими словами, даже самыя страданія животнаго, благодаря тому, что они прикованы къ настоящей минутѣ, легче выносимы, чѣмъ человѣческія страданія.

Изъ всего этого мы однако видимъ, что если человѣкъ не умѣетъ безраздѣльно отдаваться настоящему, то виною этому вовсе не его неспособность жить „внѣ времени“,—тутъ ужъ нельзя было бы ничѣмъ помочь,—а совсѣмъ другое, и именно не что иное, какъ рефлексія, то-есть стремленіе отвлекаться отъ непосредственной дѣйствительности. И самъ Шопенгауеръ, помимо своихъ метафизическихъ объясненій на счетъ „сущности времени“, именно на это и указываетъ здѣсь, какъ на главное.

Въ большинствѣ случаевъ,—говоритъ онъ,—человѣкъ и страдаетъ, и радуется не подъ непосредственными впечатлѣніями живой дѣйствительности, а подъ вліяніемъ отвлеченныхъ данныхъ. Реальное удовольствіе настоящей минуты легко уступаетъ въ немъ сознанію, что испытываемое имъ удовольствіе вредно, что оно повлечетъ къ дурнымъ послѣдствіямъ, что оно куплено нехорошей цѣной. И наоборотъ, реальное страданіе данной минуты охотно переносится нами ради будущей пользы, ради того, что̀ подумаютъ о насъ другіе, и изъ тому подобныхъ разсчетовъ отвлеченнаго сознанія. Вообще, въ то время какъ на животное дѣйствуетъ только наглядное, образное, чувственное,—словомъ, только то, что̀ оно испытываетъ непосредственно, у человѣка къ непосредственнымъ ощущеніямъ примѣшивается головная работа разсудка, памяти, воображенія, вслѣдствіе чего непосредственныя чувства страдаютъ: они распатываются, лишаются силы, свѣжести и полноты. Этимъ въ глазахъ Шопенгауера объясняется, почему человѣкъ не знаетъ ни той безпечности, ни того душевнаго спокойствія, которыя свойственны животнымъ. И этимъ же объясняется его неумѣнье жить и пользоваться настоящимъ.

Замѣчательно, что разъ только Шопенгауеръ сталъ на эту почву, то-есть на почву реальныхъ объясненій, онъ ужъ перестаетъ видѣть единственное спасеніе отъ зла въ томъ, чтобы отрѣшиться отъ условій времени, что̀, по его же словамъ, для нормальнаго человѣка немыслимо. При этомъ даже самая способность къ рефлексіи, которая тутъ всему причиной, пріобрѣтаетъ въ его глазахъ не малую положительную цѣну, какъ несомнѣнно благотворная во многихъ отношеніяхъ. Развѣ, въ самомъ дѣлѣ, способность предвидѣть будущее, вспоминать опытъ прошлаго и

сравнивать это прошлое съ настоящимъ, не служитъ великую службу человѣку? Развѣ мало хорошаго, свѣтлаго успокоенія даетъ воспоминаніе о прошедшихъ счастливыхъ дняхъ? Развѣ, наконецъ, мало живой, бодрой энергіи даетъ надежда на будущее? И вотъ, ставши на эту точку зрѣнія, Шопенгауеръ приходитъ къ убѣжденію, что истинная мудрость состоитъ въ умѣньѣ находить нормальную пропорцію между непосредственными чувствами и рефлексіей, а въ частности—между сосредоточенностью на настоящемъ и способностью отрѣшаться отъ него [1]). Только это и можетъ дать счастье человѣку, говоритъ онъ. Плохо тому, кого рефлексія лишила возможности полностью переживать живое содержаніе настоящаго и у кого она подорвала свѣжесть непосредственнаго чувства, но не менѣе плохо тому, кто такъ легкомысленъ, что ничего не знаетъ, кромѣ настоящей минуты и того, что ему представляется непосредственно. Такимъ образомъ, и на этотъ разъ препятствіемъ къ наслажденію жизнью оказывается опять внутренняя неуравновѣшенность личности, — отсутствіе соотвѣтствія между душевными силами. И въ данномъ случаѣ источникомъ этого разлада оказывается преобладаніе рефлексіи надъ непосредственными чувствами.

Къ предъидущему можно прибавить еще только одно обстоятельство, которому Шопенгауеръ придаетъ первостепенное значеніе для счастья человѣка, это—темпераментъ. И источникомъ темперамента меланхолическаго, закрашивающаго всѣ впечатлѣнія въ мрачный колоритъ и дѣлающаго невозможнымъ наслажденіе радостями жизни, онъ называетъ „ненормальный перевѣсъ высшихъ способностей и силъ (то-есть умственныхъ) надъ низшими“ (т.-е. чувственными). Опять, стало быть, дѣло сводится къ внутреннему несоотвѣтствію въ жизненномъ строѣ личности.

Во всякомъ случаѣ, эта третья причина, отнимающая у жизни ея прелесть, будучи самой безъисходной,—потому что темпераментъ дается отъ родителя,—вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ всего меньше общаго интереса и значенія. Поэтому мы на ней останавливаться подробнѣе не станемъ.

Что же касается другихъ двухъ причинъ,—недостатка „внутренняго содержанія“ и рефлексіи, то, сопоставляя эти явленія другъ съ другомъ, не трудно замѣтить, какъ близко они между собой соприкасаются. Въ самомъ дѣлѣ, при отсутствіи того, что Шопенгауеръ называетъ „внутреннимъ содержаніемъ“, человѣкъ ничѣмъ не способенъ непосредственно удовлетвориться и въ

---

[1]) Parerga, I, стр. 441.

связи съ этимъ испытываетъ глубокое внутреннее раздвоеніе. А рефлексія съ своей стороны тоже нарушаетъ цѣльность всѣхъ ощущеній, чувствъ и впечатлѣній, и подкашиваетъ ихъ живую непосредственность. Такимъ образомъ, оба рода обстоятельствъ, которыя въ глазахъ Шопенгауера лишаютъ жизнь всякой цѣны, имѣютъ совершенно одинаковый характеръ и значеніе. Какъ то, такъ и другое представляетъ собой отсутствіе непосредственности, въ тѣсной связи съ недостаткомъ цѣльности, то-есть согласія съ самимъ собой.

Выводъ этотъ очень вѣренъ; въ немъ нашло себѣ выраженіе коренное убѣжденіе Шопенгауера, а именно, что дѣйствительное согласіе съ самимъ собой, глубокое и прочное, возможно только при полнѣйшей непосредственности, а гдѣ нѣтъ непосредственности, тамъ не можетъ быть внутренняго согласія и, стало быть, не можетъ быть счастья.

Около этого пункта вертятся всѣ соображенія Шопенгауера о шансахъ счастья въ жизни. И самыя сильныя обвиненія его противъ жизни сводятся къ тому, что прогрессивный жизненный процессъ роковымъ образомъ разрушаетъ все непосредственное и тѣмъ самымъ неизбѣжно уничтожаетъ стройное, гармоническое согласіе жизни съ самой собой.

Къ этому общему его ученію мы теперь и перейдемъ.

VII.

Въ первой нашей статьѣ мы видѣли, что въ основаніи ученія Майнлендера лежитъ такая мысль: въ началѣ было „единство“; расколовшись, оно создало міръ; отсюда вытекаетъ и неизбѣжность страданій въ жизни и неизбѣжная потеря „жизненной энергіи“.

Въ основаніи же міровоззрѣнія Шопенгауера мы находимъ слѣдующее. Все существующее есть ничто иное, какъ проявленіе „воли къ жизни“; эта воля къ жизни, проявляясь въ массѣ единичныхъ, обособленныхъ явленій, тѣмъ самымъ вступаетъ въ борьбу сама съ собой, неизбѣжнымъ слѣдствіемъ чего оказывается страданіе и внутреннее разслабленіе, которое Шопенгауеръ называетъ „потерей воли къ жизни“.

Гартманъ утверждаетъ почти дословно то же самое, только у него вмѣсто „воли“ фигурируетъ такъ-называемое „безсознательное“.

И чѣмъ больше знакомишься съ каждымъ изъ этихъ трехъ

мыслителей, тѣмъ болѣе убѣждаешься въ полной тождественности этого основного положенія ихъ.

То, что Шопенгауеръ [1]) называетъ „волей", есть, по его объясненію, внутренняя сила, все одушевляющая, всѣмъ движущая, всему дающая жизнь, движеніе, стремительность, а человѣку—чувство и страсть. Словомъ, она есть источникъ всякой „энергіи", во всякомъ случаѣ, „жизненной", потому что, по объясненію Шопенгауера, сказать „воля"—значитъ сказать „воля къ жизни". Вмѣстѣ съ тѣмъ „воля" совершенно безсознательна; это—слѣпая, безразсудная, стихійная сила. Совершенно тѣ же свойства приписываетъ Гартманъ своему „безсознательному". И оба они считаютъ сознаніе той силой, которой суждено въ корень разрушить живую энергію безсознательной „воли".

Чтобы не оставаться безъ свѣта въ фантастической сферѣ туманныхъ понятій и неясныхъ терминовъ, необходимо замѣтить, что въ примѣненіи къ человѣку „воля" означаетъ у Шопенгауера непосредственное побужденіе, не зависящее ни отъ какой работы сознанія. И Шопенгауеръ, будучи убѣжденъ, что жизненную силу и значеніе въ жизни можетъ имѣть только что бы то ни было непосредственное, утверждаетъ, что чѣмъ выше стоитъ существо на лѣстницѣ развитія, тѣмъ больше въ немъ сознанія и, именно вслѣдствіе этого, тѣмъ меньше непосредственности.

Въ наиболѣе чистомъ и, такъ сказать, наименѣе тронутомъ своемъ видѣ „воля" проявляется у животныхъ и человѣка въ видѣ инстинктовъ. И Шопенгауеръ, и Гартманъ съ восхищеніемъ указываютъ на дѣйствительно чудесныя проявленія инстинкта,—больше всего, разумѣется, у животныхъ. Подъ вліяніемъ инстинкта, животныя, безъ какого бы то ни было сознательнаго разсчета, совершаютъ самыя сложныя дѣйствія, съ такимъ искусствомъ и въ то же время съ такой увѣренностью, съ такимъ спокойствіемъ, которымъ можетъ позавидовать самая высоко-развитая сознательная дѣятельность. Разсматривая инстинктивныя побужденія, подъ дѣйствіемъ которыхъ животныя выбираютъ себѣ пищу, умѣютъ избѣгать ядовитыхъ веществъ, находятъ себѣ лечебныя средства, организуютъ семью, строятъ жилища, ухаживаютъ за дѣтенышами и т. д., мы ни въ одномъ изъ нихъ не замѣчаемъ ни колебанія, ни неувѣренности, ни внутренняго несогласія съ самимъ собой,—такъ часто примѣшивающихся къ сознательнымъ побужденіямъ. Такъ вотъ эта же самая внутренняя сила, чудесныя свойства которой обнаруживаются въ инстинктѣ, по ученію Шопенгауера,

[1]) Welt, I, Zweites Buch; II, Ergänzungen zum zweiten Buch.

представляетъ собою организующее живое начало во всемъ міро-зданіи. Она все организуетъ, всему даетъ жизнь и всюду вноситъ тѣ же качества свои,—отсутствіе колебаній, увѣренность, согласіе съ самой собою, вообще, отсутствіе какого-либо внутренняго раздвоенія. Въ этомъ смыслѣ Гартманъ называетъ волю „носителемъ единства". Отсюда и Шопенгауеръ, и Гартманъ объясняютъ тѣсную связь между всѣми явленіями и законами природы и строгую послѣдовательность во всемъ происходящемъ. Разсматривая міръ съ этой стороны, оба они утверждаютъ, что въ немъ господствуетъ самая совершенная гармонія, а Гартманъ даже находитъ, что данный міръ есть лучшій изъ всѣхъ возможныхъ. Съ этой точки зрѣнія, даже и болѣе суровый Шопенгауеръ восхищается тѣмъ, что въ природѣ нѣтъ никакихъ ошибокъ, никакихъ противорѣчій, никакой фальши [1]). И поэтому, говоритъ онъ, природа своей ясной правдивостью, мало того—своей высокой справедливостью страшно пристыжаетъ насъ, исполненныхъ лжи, лицемѣрія, фальши и несправедливости.

Но въ томъ-то и вся бѣда, что это „мы" существуетъ: въ этомъ и заключается роковая причина всѣхъ золъ и бѣдъ жизни, что существуютъ люди, животныя и вообще сознательныя индивидуализированныя существа. Пока ихъ нѣтъ, то-есть пока нѣтъ сознанія, ничто не нарушаетъ торжественнаго гармоническаго согласія міра „воли". Но вотъ „воля", поднимаясь со ступеньки на ступеньку, создаетъ себѣ на службу сознаніе; тогда-то къ міру „воли" присоединяется міръ „представленій", и онъ-то всюду вноситъ раздоръ, раздвоеніе, взаимную борьбу, всюду отражается ложью, фальшью, страданіемъ и несправедливостью. При этомъ-то новомъ поворотѣ дѣлъ, неотъемлемымъ свойствомъ „воли" является раздвоенность (Entzweiung), которая и господствуетъ во всемъ, въ чемъ только участвуетъ сознаніе, то-есть во всемъ доступномъ человѣку мірѣ. Главное, въ чемъ она обнаруживается, это — въ томъ, что, хотя воля и продолжаетъ преслѣдовать единую нераздѣльную цѣль, но осуществляетъ ее въ массѣ единичныхъ, обособленныхъ другъ отъ друга явленій, которыя конкуррируютъ и борятся между собой, оспаривая одно у другого возможность личнаго существованія. Воля все еще продолжаетъ проводить свои безсознательныя цѣли, и съ этой стороны въ ней нельзя замѣтить ни малѣйшаго колебанія, ни малѣйшей неувѣренности. Господствуя, напримѣръ, въ области любовныхъ отно-

[1]) „Die Natus irrt nicht"—Welt I, 331. Das Unbewusste irrt nich, говоритъ Гартманъ, Philosophie des Unbewussten, II, 7.

шеній, она своей колоссальной силой безусловно превозмогаетъ всѣ сознательныя стремленія личности, рѣшительно игнорируя ея интересы. И то же самое во всемъ инстинктивно-безсознательномъ. Но въ той мѣрѣ, въ какой безсознательная „воля“ осуществляется въ личности, то-есть смѣшивается съ сознаніемъ, въ ней является разладъ и всевозможныя его разновидности—страданіе, ложь и несправедливость. Съ этой стороны Шопенгауеру все представляется не только мучительнымъ, но фальшивымъ, ненужнымъ и ничтожнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Тутъ ужъ онъ не видитъ ни той безошибочности, ни той увѣренности, ни того согласія съ самимъ собой, которое характеризуетъ все непосредственное. И во всемъ тутъ виновато существованіе личное, и именно то обстоятельство, что личное сознаніе вноситъ раздѣленіе въ гармоническое цѣлое стихійнаго процесса жизни. Личность, хотя она и есть проявленіе обще-міровой воли, тѣмъ не менѣе не чувствуетъ ничего утѣшительнаго въ томъ, что этой „волѣ“ удается такъ или иначе осуществлять свои цѣли. У нея свои собственныя, личныя цѣли, свои собственные сознательные интересы. И она неизбѣжно страдаетъ отъ того, что эти интересы топчутся стихійной міровой „волей“. Такимъ образомъ, умозаключаетъ Шопенгауеръ, страданія личности проистекаютъ отъ того, что ея интересы не тождественны съ интересами міровой безсознательной „воли“, отъ того, что она сознаетъ себя отдѣльной личностью, единицей среди другихъ единицъ, съ своими особенными, самостоятельными интересами, а не безраздѣльно утонувшей въ безсознательномъ.

А такъ какъ все существующее представляется человѣку исключительно преломленнымъ сквозь призму личнаго сознанія, то съ этой стороны даже и въ безсознательной природѣ всюду является разъединенность, несогласіе и борьба. Такова участь всего, куда только ни проникаетъ разъединяющая сила личнаго сознанія. Поэтому-то, разъ къ стихійной міровой „волѣ“ присоединился сознательный „міръ представленія“, жизнь естественно и неизбѣжно, чѣмъ дальше, тѣмъ больше, склоняется къ совершенному разрушенію. При этомъ, страданіе, возникши вмѣстѣ съ возникновеніемъ сознанія, растетъ вмѣстѣ съ его ростомъ: чѣмъ выше существо по своему развитію, тѣмъ больше, въ немъ сознанія, тѣмъ мучительнѣе чувствуетъ оно разладъ, господствующій во всемъ мірѣ и тѣмъ мучительнѣе оно страдаетъ.

На этомъ не останавливается естественный ходъ развитія жизни. Совокупный ростъ сознанія и страданія естественно и неизбѣжно вызываетъ въ личности возмущеніе противъ того, что

господствуетъ въ жизни и давитъ личность: ей становится не милъ этотъ міръ борьбы, обособленности и всяческаго разъединенія, а что всего хуже—несогласія съ самимъ собой. И постепенно зрѣетъ въ ней упорное стремленіе предаться „вѣчному покою“—внѣ какихъ бы то ни было перемѣнъ, „внѣ времени, внѣ множественности и внѣ разнообразія“ [1]).

Послѣднее выраженіе очень характерно. „Внѣ времени, внѣ множественности и внѣ разнообразія“, какъ мы видѣли, на языкѣ Шопенгауера, это значитъ—внѣ того, что́ сознаетъ человѣкъ. По-простy говоря, „вѣчный покой“ сводится къ полному несуществованію, къ возможно совершенному устраненію всѣхъ слѣдовъ жизни, а практически онъ осуществляется аскетизмомъ. Но замѣчательно, въ какомъ видѣ идеалъ этотъ выраженъ въ своей отвлеченной формѣ: „внѣ времени, внѣ множественности и внѣ разнообразія“. Другими словами, это значитъ, что зло зависитъ отъ невозможности отстоять счастье тамъ, гдѣ жизнь сложна, разностороння, многообразна и гдѣ, вслѣдствіе этого, является возможность столкновенія и раздора между отдѣльными элементами. А такова жизнь, согласно Шопенгауеру, всюду, гдѣ есть личное сознаніе.

Источникомъ зла, такимъ образомъ, является сложность жизненнаго строя, разслабляющая „волю къ жизни“, то-есть разрушающая тѣ силы, на которыхъ держится доброе, дѣятельное и свѣтлое настроеніе въ жизни. Какъ видимъ, объясненіе зла цѣликомъ держится на томъ же положеніи, которое выставлено Майнлендеромъ въ качествѣ главнаго основанія пессимизма.

Но у Шопенгауера ничѣмъ не доказано, что это положеніе всюду и всегда примѣнимо: ничѣмъ онъ не доказываетъ, что всякое усложненіе жизненнаго строя, всякое увеличеніе разнообразія непремѣнно ведетъ къ коллизіи, разслабляющей жизненныя силы. Напротивъ того, у него же самого мы видѣли указанія прямо противоположнаго характера. Такъ, въ талантливомъ человѣкѣ онъ признаетъ бо́льшую сложность ума, чѣмъ у обыкновеннаго человѣка, но вовсе не считаетъ этого обстоятельства источникомъ какихъ-нибудь коллизій или разслабляющимъ жизненную энергію. Мало того, человѣка съ внутреннимъ содержаніемъ, стало быть, умѣющаго найти удовлетвореніе въ жизни, онъ, какъ мы видѣли, сравниваетъ съ оркестромъ, въ которомъ множество разнообразныхъ тоновъ сливается въ одно стройное цѣлое и который, именно благодаря своей многосторонности, не

[1]) Parerga. II, 305.

нуждается ни въ какомъ дополненіи извнѣ и именно поэтому имѣетъ возможность быть счастливымъ. Существованіе же человѣка съ бѣднымъ внутреннимъ содержаніемъ, и потому неспособнаго найти что-нибудь привлекательнаго въ жизни, онъ прямо называетъ монотоннымъ, т.-е. однообразнымъ.

Непослѣдовательность эту можно только поставить въ заслугу безпристрастію Шопенгауера. Преувеличенная оцѣнка размѣровъ зла не заставила его отвернуться отъ явленій, противорѣчащихъ такой оцѣнкѣ. Но всего при этомъ достойнѣе вниманія, что, съ точки зрѣнія самого Шопенгауера, противорѣчія тутъ собственно нѣтъ,—по той же причинѣ, почему съ его точки зрѣнія нѣтъ противорѣчія въ преклоненіи одновременно предъ идеаломъ первобытнаго жизненнаго строя и предъ идеаломъ аскетизма.

Дѣло въ томъ, что стремленіе къ аскетизму (отвлеченно: къ устраненію множественности и прочаго) истекаетъ у Шопенгауера изъ общаго убѣжденія, что лучше совсѣмъ обходиться безъ какого бы то ни было блага, чѣмъ напрягаться, тратить силы и энергію, чтобы удержать его за собой. Съ этой точки зрѣнія, сколько бы ни было привлекательнаго въ радостяхъ жизни, счастья, молодости, любви,—лучше отказаться и отъ одного, и отъ другого, и отъ третьяго, и отъ четвертаго, отъ чего угодно, только бы не нарушать блаженнаго покоя абсолютной бездѣятельности, только бы не напрягаться, не бороться, не дѣйствовать. Надо устранять даже самые поводы къ дѣятельности, всѣ порывы къ счастью и къ жизни, самое чувство, возбуждающее наши силы къ дѣйствію и борьбѣ съ враждебными обстоятельствами.

Здѣсь, какъ видимъ, Шопенгауера пугаетъ не столько само зло, сколько необходимость бороться съ нимъ, вообще, необходимость активной дѣятельности. Тутъ пессимистъ является не холоднымъ бичевателемъ разложенія жизни, а послѣдней жертвой этого разложенія: онъ уже не трезвый судья процесса разслабленія жизненной энергіи, а больше всѣхъ потерпѣвшій — въ немъ разбита энергія, подорваны душевныя силы. Потому-то лицомъ къ лицу съ процессомъ жизни, распространяющимъ область вліянія человѣка, усложняющимъ его душевный міръ, расширяющимъ сферу его дѣятельности и вслѣдствіе этого требующимъ увеличенія силъ личности, пессимистъ чувствуетъ особенный упадокъ душевной энергіи. Чѣмъ развитѣе и сложнѣе жизнь, тѣмъ запутаннѣе отношенія, тѣмъ больше надо энергіи, предпріимчивости и активности, чтобы предупреждать и устранять столкновенія и раздоры,—и тѣмъ большее отчаяніе находитъ на пессимиста, тѣмъ

ниже падаетъ его душевная энергія, тѣмъ упорнѣе онъ сторонится всѣхъ проявленій жизни.

Среди этого могильнаго настроенія, единственнымъ просвѣтомъ, какимъ-то слабымъ отголоскомъ жизни, невытравленнымъ еще слѣдомъ ея, является сочувствіе и уваженіе къ первобытности и непосредственности. Спрашивается: откуда это? почему первобытное и непосредственное избѣгли участи всего живого? почему они не отвергаются съ такой же безпощадностью, какъ и все остальное?

Это очень просто. Все непосредственное дѣлается, такъ сказать, само собой, безъ всякихъ усилій, по крайней мѣрѣ, сознательныхъ усилій. Человѣкъ или животное, непосредственно наслаждающіеся движеніемъ, художникъ, непосредственно восхищающійся красотой природы, философъ, увлекаемый мыслью, — всѣмъ имъ дѣятельность ихъ не стоитъ никакихъ сознательныхъ усилій, у всѣхъ у нихъ она возбуждается не приливомъ сознанія, что надо дѣйствовать, а само по себѣ, легко, свободно, безъ усилій, словомъ, пассивно. И чѣмъ первобытнѣе, чѣмъ элементарнѣе всякое такое непосредственное побужденіе, тѣмъ съ большей легкостью оно дается, тѣмъ оно пассивнѣе. Этимъ-то оно и дорого Шопенгауеру.

Тѣмъ же самымъ объясняется, почему въ его глазахъ единственная возможность для личности примириться съ жизнью и разрѣшить всѣ коллизіи жизни, заключается въ томъ, чтобы безраздѣльно утонуть въ стихійномъ, безсознательномъ процессѣ жизни, не чувствуя никакихъ перегородокъ между собой и всѣмъ остальнымъ, или же, если не доходить до такихъ крайностей, по меньшей мѣрѣ, покорно отдаваться однимъ первобытнымъ, непосредственнымъ побужденіямъ, не осложненнымъ ничѣмъ, что бы требовало отъ личности сознательной активной роли въ жизни. Разсужденіе его такое: стихійныя безсознательныя силы игнорируютъ интересы личности; поэтому, чтобы примириться съ существованіемъ, ей остается не сопротивляться ихъ напору, отдаться ему цѣликомъ, сокративши себя до послѣдней возможности.

Лучшей иллюстраціей этой точки зрѣнія служитъ то, что Шопенгауеръ высказываетъ относительно половой любви. Согласно его „метафизикѣ любви“ [1]), въ любовной страсти все объясняется и все направляется стихійной, безсознательной „волей“, которая преслѣдуетъ въ соединеніи мужчины съ женщиной свои собственныя цѣли, а именно продолженіе рода человѣческаго, то-есть

[1]) Welt, II, гл. 44.

нѣчто безсознательное. Сознательные же интересы живой личности при этомъ безпощадно игнорируются; личность, увлекаясь любовной страстью, привязанностью къ дѣтямъ, убѣждена, что любовь и семья служатъ источникомъ личнаго счастья, а на самомъ дѣлѣ и та, и другая служатъ только къ успѣшному продолженію рода. Мужчина увлекается красотой женщины, женщина энергіей мужчины все это—вліяніе безсознательныхъ интересовъ рода; для рода это полезно, а сознательные интересы личности тутъ ни при чемъ,—они являются здѣсь простымъ орудіемъ безсознательныхъ интересовъ стихійной „воли“. Понятно, что при такомъ ходѣ дѣлъ положеніе личности не можетъ быть завиднымъ. Замѣтимъ, что, хотя у Шопенгауера на первомъ планѣ является здѣсь метафизическая „воля“, но сущность дѣла совершенно реальная. Вѣдь, выраженія: „рабъ своихъ страстей“, „жертва физическихъ похотей“, „жертва темперамента“—самыя обычныя и отмѣчающія самыя реальныя явленія жизни; явленія этой категоріи мы видѣли также въ примѣрахъ болѣзни воли.

Но теперь спрашивается, въ чемъ же надо искать источника зла? Въ томъ ли, что личность недостаточно рѣшительно и энергично становится на почву чисто человѣческихъ интересовъ, или же въ томъ, что напрасно она о нихъ даже заикается?

Не надо думать, что первая точка зрѣнія ставитъ человѣку фантастическую и неосуществимую задачу—уничтожить въ себѣ проявленіе стихійныхъ безсознательныхъ силъ или подавить ихъ силой сознанія,—нисколько! Вся задача, съ этой точки зрѣнія, сводится къ тому, чтобы найти стихійнымъ силамъ подходящее мѣсто среди общаго строя человѣческой жизни, такое мѣсто, чтобы онѣ не только не мѣшали интересамъ человѣческой личности, а даже служили имъ здоровой основой. Шекспировскій Гамлетъ, по словамъ Тургенева [1]), „не знаетъ, чего хочетъ и зачѣмъ живетъ—и привязанъ къ жизни“. Въ этомъ-то и бѣда его; еслибы онъ „зналъ, чего хотѣлъ“, тогда его стихійная „привязанность“ къ жизни не только не причиняла бы ему никакихъ страданій, но, напротивъ, служила бы естественной почвой для его человѣческихъ задачъ, ибо безъ этой реальной почвы высшіе порывы духа теряютъ всякій жизненный сокъ. Въ примѣненіи къ частной сферѣ любви Тургеневъ замѣчаетъ, что Гамлетъ чувственъ, сластолюбивъ и проникнутъ глубокимъ сознаніемъ въ себѣ „болѣзненнаго безсилія полюбить“ [2]). Это значитъ, что

[1]) Собраніе сочиненій, I, 398.

[2]) Тамъ же, I, 405—6.

у Гамлета стихійное чувственное побужденіе не находитъ себѣ достойнаго мѣста въ общемъ строѣ его жизни. Другими словами, сознательныя, человѣческія побужденія его не служатъ русломъ, дающимъ облагораживающій и очеловѣчивающій исходъ стихійнымъ инстинктамъ; вслѣдствіе этого, стихійные безсознательные элементы (то, что Спенсеръ называетъ „заднимъ фономъ сознанія") остаются во всей своей грубости, низменности и наготѣ, а съ другой стороны высшія идеальныя побужденія лишены здоровой, естественной почвы. Иллюстраціей къ тому же самому могутъ служить романтики, у которыхъ чувственность (какъ напр. у Фридриха Шлегеля въ его „Люциндѣ") принимала самыя дикія формы.

Между тѣмъ, у древнихъ грековъ естественныя потребности тѣла тѣсно сплетались и гармонировали съ идеальными требованіями духа. И это у нихъ было во всѣхъ сферахъ жизни. Но Шопенгауеръ даже какъ будто не подозрѣваетъ возможности такого способа примиренія между безсознательно-стихійными элементами и сознательными человѣческими. По его убѣжденію, единственный способъ примирить ихъ—это сокративши послѣдніе.

Повторяемъ, мы тутъ имѣемъ предъ собой уже не указаніе на зло, а типичное его проявленіе, конечный пунктъ разложенія, выражающійся въ упадкѣ душевной энергіи, въ совершенно пассивномъ отношеніи ко всему. Поэтому, если съ этой позиціи всякое осложненіе жизненнаго строя представляется безусловно-враждебнымъ жизни, то совсѣмъ не таково положеніе дѣлъ по отношенію къ тѣмъ, въ комъ процессъ разложенія оставилъ хоть какіе-нибудь слѣды активности. Объ этомъ свидѣтельствуютъ даже тѣ нерѣшительныя и слабыя отклоненія въ пользу жизни, какія намъ удалось найти у Шопенгауера.

То же самое можно замѣтить и у Гартмана, о которомъ намъ остается прибавить немногое. Интересъ его заключается главнымъ образомъ въ томъ, что у него ярче выступаетъ кое-что изъ того, что у Шопенгауера имѣется только въ намекѣ.

VIII.

Необходимо, говоритъ Гартманъ, привыкнуть къ мысли, что прогрессъ жизни совершается вовсе не въ пользу человѣческаго счастья; даже прямо наоборотъ, — мы видимъ, что народы, находящіеся въ грубомъ естественномъ состояніи, гораздо счастливѣе культурныхъ націй, и низшіе, необразованные классы болѣе при-

вязаны къ жизни, чѣмъ высоко развитые [1]). И это, утверждаетъ онъ, не случайный фактъ, а совершенно неизбѣжное явленіе.

Всякій прогрессъ, согласно Гартману, заключается въ расширеніи области дѣйствія сознанія. При этомъ характеристическая черта первыхъ же шаговъ на пути развитія заключается въ томъ, что, вслѣдствіе возникновенія сознанія, „нарушается внутреннее согласіе безсознательнаго съ самимъ собой". И Гартманъ доказываетъ (при помощи крайне отвлеченныхъ соображеній), что сознаніе не иначе можетъ возникнуть, какъ при условіи коллизіи безсознательныхъ силъ, на которыхъ держится жизнь. Только послѣднимъ онъ приписываетъ способность сообщать увѣренность и полное согласіе всѣмъ дѣйствіямъ, не оставляя никакого мѣста колебаніямъ и нерѣшительности. Лунатики, будучи въ безсознательномъ состояніи, спокойно и увѣренно совершаютъ самыя рискованныя вещи; движенія наши отличаются легкостью, быстротою, увѣренностью и граціей тогда, когда они совершаются безсознательно; заикающіеся всего плавнѣе говорятъ, когда не обращаютъ вниманія на свою рѣчь. Вмѣшательство же сознанія вноситъ во всѣ эти дѣйствія чувство сомнѣнія, колебанія, и дѣлаетъ ихъ медленными, неуклюжими и неувѣренными. Особенное вниманіе обращаетъ Гартманъ на то, что сознаніе вноситъ расколъ между представленіемъ о дѣйствіи и самимъ дѣйствіемъ, между намѣреніемъ и исполненіемъ, между головнымъ желаніемъ и реальнымъ побужденіемъ. Безсознательныя стремленія къ какой-нибудь цѣли всегда неразрывно связаны съ настоящими реальными усиліями въ соотвѣтственномъ направленіи; такъ или иначе, въ томъ или другомъ видѣ, а ужъ они непремѣнно переходятъ въ дѣйствіе. А сознаніе открываетъ возможность полной розни между побужденіемъ и исполненіемъ; яркіе примѣры тому мы видѣли на случаяхъ болѣзни воли. И такое раздвоеніе вноситъ сознаніе во всѣ виды обнаруженія чувства и мысли; безсознательные жесты, интонаціи, гримасы всегда естественно правдивы, то-есть въ точности соотвѣтствуютъ тому, что̀ выражаютъ; сознательныя же соображенія дѣлаютъ возможными ложь, лицемѣріе и фальшь всякаго рода.

Словомъ, сознаніе всюду обладаетъ способностью разстроивать единство жизненныхъ процессовъ. А между тѣмъ, процессъ развитія жизни состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ въ расширеніи области вліянія сознанія [2]).

---

[1]) Hartmann, Philosophie des Unbewussten, II, 352—8, 376, 387.

[2]) Тамъ же, II, гл. 3.

Соотвѣтственно этому, Гартманъ называетъ процессъ развитія процессомъ раскола между сознаніемъ и „безсознательнымъ“. При этомъ надо имѣть въ виду, что, по его ученію, „безсознательное“ есть „источникъ жизни“, и всякое удаленіе отъ него обязательно сопровождается изсушеніемъ всякаго живого чувства и холоднымъ равнодушіемъ ко всему въ жизни.

Мы не станемъ приводить тѣхъ отвлеченныхъ и проникнутыхъ крайне метафизическимъ характеромъ соображеній, которыми Гартманъ облекаетъ эту мысль въ теоретической части своего ученія; они представляютъ слишкомъ мало общаго интереса. Гораздо интереснѣе посмотрѣть, какъ та же мысль обставлена въ его воззрѣніяхъ на процессъ исторической жизни человѣчества.

По его словамъ [1]), приходится обратиться ко времени, далеко предшествующему началу человѣческаго рода, чтобы найти соотвѣтствіе между непосредственной основой личности, характеромъ, и сознаніемъ (Charakter und Intelligenz). Собственно оно замѣчается только у низшихъ животныхъ; у высшихъ мы уже находимъ проявленія сознанія, не соотвѣтствующія „непосредственному содержанію чувствъ“. А у человѣка подобное несоотвѣтствіе представляетъ уже сплошное явленіе.

Такимъ образомъ, внутреннее несоотвѣтствіе въ личности оказывается заложеннымъ раньше начала какой бы то ни было исторической жизни.

Обращаясь къ историческимъ судьбамъ человѣчества, Гартманъ утверждаетъ [2]), что жизнь человѣческая прогрессируетъ только въ формальномъ отношеніи: измѣняются внѣшніе пріемы, но не сущность дѣла, не содержаніе. Тутъ рѣчь идетъ не о какой-нибудь метафизической „сущности“, а о внутренней природѣ человѣка. Она-то, говоритъ Гартманъ, нисколько не выигрываетъ отъ того, что суровые и грубые нравы съ теченіемъ времени смѣняются утонченными; эгоизмъ и злоба нисколько не становятся лучше отъ того, что законы и гражданское общество искусственно ихъ сдерживаютъ; взамѣнъ открытыхъ путей, они находятъ себѣ тысячи тайныхъ обходовъ. Низменный уровень нравственныхъ побужденій нисколько не становится лучше отъ того, что они облекаются въ хитрыя культурныя формы. Вообще, внѣшній прогрессъ нисколько не поднимаетъ самого человѣка, не возвышаетъ строя его жизни, не дѣлаетъ его ни лучше, ни довольнѣе. А

[1]) Тамъ же, II, 270.
[2]) Тамъ же, II, гл. 13.

таковъ, по убѣжденію Гартмана, всегдашній характеръ всякаго общественнаго прогресса въ дѣйствительности.

Но мало того, что теченіе прогресса нисколько не улучшаетъ положенія личности,—оно его ухудшаетъ. Какъ на причины ухудшенія, Гартманъ указываетъ на два обстоятельства.

Значеніе одного изъ нихъ всего лучше выяснено у него въ примѣненіи къ наслажденіямъ, доставляемымъ науками и искусствами. Въ прежнее время, говоритъ онъ, наслажденія эти были значительно крупнѣе, чѣмъ теперь. Прежде въ этихъ областяхъ дѣйствовали геніи съ колоссальными творческими силами, а въ настоящее время всеобщей нивеллировки, когда геніевъ замѣнилъ союзъ людей съ очень ограниченными силами, каждый принимаетъ въ дѣлѣ меньше активнаго участія, и наслажденіе получило по преимуществу характеръ пассивнаго воспріятія [1]). А при этихъ условіяхъ оно не можетъ быть глубокимъ: только тотъ дѣйствительно наслаждается истиной и красотой, кому онѣ достаются цѣною живой, энергичной дѣятельности. Не мудрено поэтому, что господствующее въ наше время дилетантски-поверхностное занятіе искусствомъ не даетъ тѣхъ крупныхъ удовольствій, которыя оно способно дать. Изъ источника возвышающаго, неземного наслажденія искусство обращается въ средство разсѣяться и провести какъ-нибудь время, доставляя самое ограниченное наслажденіе.

На основаніи общихъ положеній ученія Гартмана, совершенно то же самое должно имѣть мѣсто во всѣхъ областяхъ жизни. Прогрессивный ходъ мирового процесса состоитъ, согласно ему, въ увеличеніи вліянія сознанія; а сознаніе, утверждаетъ онъ, неизбѣжно увеличиваетъ пассивность и сокращаетъ активность; слѣдствіемъ этого во всѣхъ сферахъ жизни должно явиться, и дѣйствительно является равнодушіе ко всѣмъ радостямъ жизни.

Какъ видимъ, здѣсь повторяется мысль Шопенгауера, что сознаніе враждебно счастью, ибо подрываетъ привязанность къ жизни и ея радостямъ; притомъ у Шопенгауера дѣло объясняется тѣмъ же самымъ: „воля“ есть представитель всякой активности, а дѣйствіе на нее сознательнаго „міра представленія“ заключается въ томъ, что онъ шагъ за шагомъ вноситъ пассивное индифферентное отношеніе ко всему въ жизни.

Но, не смотря на то, что по общему убѣжденію какъ Шопенгауера, такъ и Гартмана, зло это—роковое, однако приведенное указаніе Гартмана на время, когда искусство и наука были

[1]) Тамъ же, II, 380.

источникомъ глубочайшихъ наслажденій, свидѣтельствуетъ, что не всегда люди страдали отъ недостатка активности. И самый характеръ наслажденій, о которыхъ идетъ рѣчь у Гартмана, указываетъ на далеко подвинувшійся историческій періодъ жизни человѣчества.

Открывающаяся такимъ образомъ возможность перенести источникъ зла на историческую почву — въ высокой степени важна. Шопенгауеръ совершенно отвергалъ всякое значеніе исторіи и потому всякое зло неизбѣжно сводилось у него къ кореннымъ законамъ природы. Гартманъ же, не столь рѣшительный въ этомъ отношеніи, какъ видимъ, долженъ былъ дать мѣсто въ исторіи тому самому злу, которое онъ самъ вслѣдъ за Шопенгауеромъ склоненъ ставить въ счетъ роковой природѣ вещей. И это не по отношенію къ частному злу, а къ тому, которое оба они считаютъ центральнымъ пунктомъ въ процессѣ разложенія жизни. Правда, Гартманъ не выясняетъ, какія именно условія исторической жизни разрушаютъ активность; но это уже частности.

Обращаемся теперь въ другой причинѣ, по которой прогрессъ исторической жизни ухудшаетъ положеніе личности. Заключается она въ томъ, что прогрессъ устраняетъ внѣшніе источники недовольства жизнью, а вслѣдствіе этого тѣмъ рѣзче выступаетъ внутренняя невозможность удовлетворенія. Пока человѣкъ борется съ внѣшнимъ зломъ, онъ вѣритъ, что стоитъ побѣдить внѣшнія препятствія и счастье будетъ достигнуто. Но когда уже не остается никакого повода взваливать вину на внѣшнія невзгоды, а счастья между тѣмъ все-таки нѣтъ, тогда въ душу проникаетъ сомнѣніе, возможно ли въ самомъ дѣлѣ счастье, и положеніе становится крайне безотраднымъ. Къ этому-то, говоритъ Гартманъ, въ дѣйствительности и ведетъ прогрессъ исторіи. Успѣхи промышленности, торговли, техники, соціальной жизни, все это почти исключительно приноситъ только одну отрицательную пользу, т.-е. только устраняетъ существующее зло. Соціальныя задачи всѣ даже формулируются отрицательно — „страхованіе“ противъ одного, „устраненіе“ другого, „защита“ отъ третьяго, „обезпеченіе“ отъ четвертаго и т. п. Ну, а когда прогрессъ наконецъ обезпечитъ отъ всѣхъ золъ, тогда предъявится самая трудная задача: какимъ содержаніемъ, какими положительными благами заполнить существованіе?

Такой результатъ всѣхъ мѣръ, направленныхъ на улучшеніе жизни, составляетъ любимую мысль всѣхъ пессимистовъ. Самое широкое развитіе она получила у Шопенгауера [1]), въ видѣ

[1]) Welt, II, 376—7, 385.

того общаго положенія, что удовольствія бываютъ только отрицательныя, т.-е. что всякое удовольствіе есть только избавленіе отъ какого-нибудь страданія. Мысль эту онъ подкрѣпляетъ многими примѣрами того, какъ мы относимся ко всевозможнымъ благамъ жизни. Пока мы здоровы, сыты, одѣты, защищены отъ непогоды, не терпимъ ни отъ кого несправедливостей, живемъ со всѣми въ мирѣ,—мы не замѣчаемъ ни одного изъ этихъ благъ, то-есть относимся къ нимъ совершенно равнодушно, не чувствуемъ отъ нихъ ни удовольствія, ни неудовольствія. Дорогими же они становятся для насъ только тогда, когда мы ихъ лишаемся и когда, слѣдовательно, наступаетъ уже страданіе. Намъ очень трудно отвлечь вниманіе отъ узкаго сапога, жмущаго ногу; но если сапогъ сидитъ хорошо, мы его не замѣчаемъ, и только тогда, когда мы снимаемъ узкій сапогъ и такимъ образомъ избавляемъ себя отъ имѣющагося на лицо страданія, является удовольствіе. То же самое, утверждаетъ Шопенгауеръ, повторяется всегда и всюду, такъ что единственный видъ удовольствій, доступный человѣку, это—избавленіе отъ страданій. Понятно, что съ этой точки зрѣнія дальше устраненія страданій идти некуда. Такимъ образомъ, въ глазахъ Шопенгауера, зло, указываемое Гартманомъ, опять-таки сводится къ природѣ вещей.

Гартманъ далеко не такъ рѣшителенъ въ своихъ воззрѣніяхъ на природу удовольствій. Онъ даже совершенно не соглашается съ Шопенгауеромъ, что удовольствія могутъ быть только отрицательными. Возможны, говоритъ онъ, и такія удовольствія, которыя являются не какъ слѣдствія избавленія отъ страданія, а сами по себѣ. Когда человѣкъ не чувствуетъ ни страданія, ни удовольствія, то онъ находится въ состояніи безразличія; поэтому одно устраненіе страданія приводитъ его именно къ такому состоянію,—такъ сказать, къ нулю (Indifferenzpunkt, Null der Empfindung). Но возможны удовольствія, которыя поднимаютъ чувство выше этого состоянія; таковы, говоритъ Гартманъ, наслажденія искусствомъ, наукой и чувственныя. Всѣ они могутъ являться безъ всякаго предшествовавшаго страданія. Шопенгауеръ, какъ мы видѣли, считаетъ это потому невозможнымъ, что, удовольствіе есть удовлетвореніе потребности и поэтому ему всегда должно предшествовать ощущеніе неудовлетворенной потребности, то-есть страданіе. Гартманъ на это возражаетъ, что разсматривая какое-нибудь удовольствіе чувственное или художественное, мы не замѣчаемъ никакой потребности, прежде чѣмъ удовольствіе наступило. Объяснять это такъ, какъ объясняетъ Шопенгауеръ наслажденія художественныя и философскія, Гартманъ не считаетъ возможнымъ; такого удовольствія, говоритъ онъ, которое бы

не было удовлетвореніемъ потребности, не можетъ быть; не даромъ, Шопенгауеръ самъ приводитъ слова Вольтера: il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins. Разрѣшаетъ же Гартманъ дѣло такимъ образомъ, что въ удовольствіяхъ этого рода одновременно, въ одинъ и тотъ же моментъ, потребность и возбуждается, и удовлетворяется, притомъ одной и той же причиной [1]).

Такъ почему же, спрашивается, прогрессъ все-таки играетъ только отрицательную роль, только устраняетъ различные виды зла, а не даетъ ничего положительнаго?

Послѣ приведенныхъ сейчасъ воззрѣній Гартмана на природу положительныхъ удовольствій, слѣдовало бы ожидать, что онъ покажетъ, какія обстоятельства въ историческомъ прогрессѣ мѣшаютъ увеличенію положительныхъ удовольствій. Но ничего такого мы у него не находимъ. Вообще, свои возраженія противъ теоріи удовольствій Шопенгауера онъ считаетъ имѣющими только принципіальное значеніе; практическая же дѣйствительность такова, что въ приложеніи къ ней, какъ онъ старается показать, положеніе Шопенгауера можно считать совершенно вѣрнымъ.

Но мы на подробностяхъ этого останавливаться не будемъ. Для насъ весь интересъ сосредочивается на самомъ основаніи дѣла, именно на вопросѣ, — почему уничтоженіе цѣлаго ряда крупнѣйшихъ источниковъ зла непремѣнно должно дѣлать жизнь менѣе привлекательной? Въ отвѣтѣ на этотъ вопросъ, какъ въ фокусѣ, сосредоточены самыя типичныя особенности пессимизма и съ особенной яркостью обнаруживается, какое центральное положеніе въ пессимизмѣ занимаетъ ученіе о прогрессѣ.

Итакъ, почему устраненіе положительныхъ золъ должно окончательно разрушить всякую привлекательность жизни? Крупнѣйшія изъ благъ жизни, говоритъ Гартманъ [2]), молодость, здоровье, свобода и матеріальная обезпеченность не даютъ никакого пріятнаго ощущенія, которое бы поднималось выше нулевой точки безразличія; они представляютъ только уровень основанія (Basishorizont), на которомъ еще должны быть построены какія-нибудь радости жизни. Когда человѣкъ молодъ и здоровъ, свободно располагаетъ всѣми своими силами, какъ физическими, такъ и духовными, когда къ тому же онъ матеріально обезпеченъ, тогда, можно сказать, онъ обладаетъ полною способностью наслаждаться жизнью. Но это только одна способность къ наслажденію, а не самое наслажденіе, только возможность счастья, а не дѣйствительное счастье: это все равно, что хорошіе зубы,—безъ примѣ-

[1]) Philosophie des Unbewussten. II, 298.

[2]) Такъ же, II, гл. 13.

нія они ни къ чему не служатъ. Необходимо еще чѣмъ-нибудь заполнить эту возможность, какимъ нибудь реальнымъ содержаніемъ. Будь молодость, здоровье, свобода положительными благами, то-есть имѣй они положительную цѣну, говоритъ Гартманъ, они бы сами по себѣ удовлетворяли, и въ такомъ случаѣ одинъ голый фактъ существованія, одинъ процессъ жизни доставлялъ бы намъ полное удовлетвореніе, вполнѣ заполнялъ бы насъ. Но на самомъ дѣлѣ ни здоровье, ни молодость, ни богатство, не доставляютъ никакого чувства удовольствія. Оно замѣчается только тогда, когда, напр. здоровье является вслѣдъ за болѣзнью, богатство вслѣдъ за лишеніями, или же, когда молодой человѣкъ представитъ себѣ старость или свободный подумаетъ о возможности лишиться свободы. Другими словами, всѣ эти блага дѣйствительно доставляютъ удовольствіе только тогда, когда человѣкъ сознаетъ контрастъ между ихъ присутствіемъ и отсутствіемъ. Поэтому-то, когда общественный прогрессъ уничтожаетъ шансы бѣдности, болѣзней, общественныхъ насилій, тогда сила этого контраста слабѣетъ и чувство удовольствія, получаемое отъ здоровья, богатства, свободы, приводится къ нулю.

А такъ какъ, по убѣжденію Гартмана (также и Шопенгауера), это есть все-таки высшее, что доступно человѣку въ жизни; то чего же, спрашиваетъ онъ, стоитъ жизнь въ цѣломъ? неужели послѣ этого она можетъ представлять что-нибудь привлекательнаго? И къ этому-то безотрадному заключенію должны прійти всѣ, когда будутъ устранены источники зла.

Какъ видимъ, все здѣсь построено на томъ, что къ нулю приравнивается всякое благо, если оно, такъ сказать, не подчеркнуто сознаніемъ; молодость, здоровье, свобода, обезпеченное матеріальное положеніе—все это есть нуль, потому что не даетъ никакого сознательнаго удовольствія, потому что оно только предоставляетъ въ распоряженіе человѣка рядъ силъ, въ томъ числѣ способность наслаждаться, но ничего больше.

Такъ почему же, спрашивается, этотъ нуль не можетъ быть ничѣмъ увеличенъ? почему нельзя прибавить къ нему ничего положительнаго? А именно, почему способность наслаждаться не можетъ найти себѣ положительнаго примѣненія? Другими словами, почему внутреннее, несознаваемое благо не можетъ найти себѣ хода къ сознанію?

Собственно говоря, какъ мы видѣли, Гартманъ допускаетъ возможность положительныхъ удовольствій, стало быть, возможность поднятія выше нуля, и идетъ въ этомъ отношеніи гораздо дальше Шопенгауера, вводя въ кругъ привилегированныхъ удовольствій не только художественныя и философско-научныя, но

еще и всѣ чувственныя. Но все это можно назвать только оговоркой въ прямой ущербъ пессимизму. Въ данномъ же вопросѣ уступка эта ровно ничѣмъ не отражается и Гартманъ даже не дѣлаетъ попытки примѣнить здѣсь свою остроумную теорію положительныхъ удовольствій. Разсуждаетъ же онъ такъ.

Обыкновенный способъ, которымъ волей-неволей люди заполняютъ свое существованіе и даютъ примѣненіе своимъ силамъ, это работа. Но работа, говоритъ онъ, есть зло, которое человѣкъ выбираетъ только для того, чтобы избѣжать худшихъ золъ нужды и скуки. Всякое же заполненіе существованія какими-нибудь дѣйствительно положительными благами сопряжено съ рискомъ потерять ихъ; оно, стало быть, порождаетъ опасность испытать страданіе, т.-е. спуститься уже ниже нулевой точки безразличія, и при этихъ условіяхъ довольство немыслимо.

Въ двухъ соображеніяхъ этихъ, какъ солнце въ каплѣ воды, отразилось все, что̀ есть самаго типичнаго въ пессимизмѣ. Оказывается, что, во-первыхъ, къ „нулю“ потому нельзя прибавить ничего положительнаго, что работа есть зло. Замѣтимъ, что то же самое онъ выражаетъ еще рѣшительнѣе въ такомъ видѣ: „активное движеніе, дѣятельность, напряженіе и трудъ—неудобны, пассивное же движеніе и покой, напротивъ того, удобны“.

А во-вторыхъ, . со всякимъ положительнымъ, т.-е. сознаваемымъ, благомъ оказывается неизбѣжно связаннымъ тревожное сознаніе, что это благо можетъ быть потеряно. Другими словами, всякое сколько-нибудь замѣтное благо непремѣнно сознательно, а гдѣ есть сознаніе, тамъ обязательны рефлексія, неувѣренность и тревожность. И это подрываетъ всякую цѣну всѣхъ положительныхъ благъ, вслѣдствіе чего высшей мудростью является воздержаніе отъ зла.

А на чемъ же, какъ не на томъ же самомъ, построены всѣ и самыя частныя, и самыя общія теоріи пессимистовъ, разсмотрѣнныя нами? Всѣ они въ различныхъ видахъ твердятъ одно и то же,—что всякое осложненіе безсознательнаго міра сознаніемъ и пассивнаго состоянія проявленіями активности нарушаетъ внутреннее согласіе жизни, вызывая неувѣренность и тревожность.

Какъ мы видѣли до сихъ поръ, они утверждаютъ, что при всякомъ такомъ осложненіи жизнь мучительна, а какъ теперь оказывается, безъ такого осложненія она, по ихъ убѣжденію, равна нулю. (У Шопенгауера этому „нулю“ соотвѣтствуетъ тоскливое ощущеніе „пустоты“).

Оглядываясь назадъ на тотъ рядъ соображеній, помощью которыхъ пессимисты отстаиваютъ это ученіе, мы, рядомъ съ метафизикой, встрѣчаемъ здѣсь цѣлый рядъ совершенно реальныхъ

обвиненій противъ жизни. Они указываютъ на то, какъ ничтожны блага, создаваемыя прогрессомъ внѣшней обстановки и внѣшнихъ формъ, вслѣдствіе того, что внутренній міръ личности отстаетъ. Они предостерегаютъ отъ той серьезной опасности, которая лежитъ на пути движенія впередъ внутренняго міра, опасности раздвоенія и обезсиленія человѣка. Но раздавленные тяжестью зла, они даже не останавливаются серьезно на возможности развитія жизни въ положительномъ направленіи, даже не допускаютъ возможности сохранить цѣльность при развитомъ сознаніи и внутреннюю энергію при богатствѣ внѣшней жизни.

Если бы они были правы въ этомъ отношеніи, то оказались бы правыми и во всѣхъ отношеніяхъ; потому что въ самомъ дѣлѣ, полубезсознательная, абсолютно-бездѣятельная жизнь въ состояніи „безразличія“ мало чѣмъ выше совершеннаго отсутствія жизни, или, другими словами, „нуля“. Къ счастью, не только отвлеченныя данныя психологіи, не только данныя біологическія, на которыя мы сослались въ первой нашей статьѣ, но и подлинные факты исторіи свидѣтельствуютъ противъ этого основного положенія пессимистовъ. Достаточно въ этомъ отношеніи сослаться на слѣдующія слова Перикла объ аѳинянахъ: „мы развиваемъ свои умственныя силы,—говоритъ онъ,—не истощаясь; мы соединяемъ удивительнымъ образомъ смѣлость въ дѣйствіи въ рѣшительную минуту съ охотой къ диспутамъ и разногласіямъ о томъ, что́ нужно предпринять; между тѣмъ, какъ у другихъ только изъ незнанія почерпается смѣлость, а диспутъ ведетъ къ нерѣшительности и колебанію“.

Но если зло, указываемое пессимистами, не представляетъ ничего неизбѣжнаго, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что ученіе ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ теряетъ всякую цѣну: оно только получаетъ иную цѣну, чѣмъ та, которую они сами ему приписываютъ. За пессимизмомъ остается крупная заслуга — указаніе на то, что жизнь не можетъ имѣть положительной цѣны, если внѣшній прогрессъ обезсиливаетъ личность, вмѣсто того, чтобы возбуждать въ ней живыя силы, и если возникновеніе и развитіе сознательности не находитъ себѣ прочной опоры въ безсознательной основѣ личности, въ томъ, что́ Спенсеръ называетъ „заднимъ фономъ сознанія“.

А. Красносельскій.

РОБЕРТЪ ШУМАНЪ

Біографическій очеркъ

Окончаніе.

III *).

Послѣ женитьбы, Шуманъ, и прежде весьма склонный къ одиночеству въ тиши своего кабинета, еще болѣе началъ избѣгать общественной жизни, находя полнѣйшее довольство въ семейномъ быту, который какъ нельзя болѣе удовлетворялъ всѣмъ его стремленіямъ, давая ему возможность всецѣло отдаваться любимому труду. Съ ранняго утра садился онъ за работу; работалъ очень много и велъ жизнь въ высшей степени регулярную. Нарушенія этой регулярности были рѣдкимъ исключеніемъ. Приглашеній на вечера Шуманъ не любилъ и не отказывался отъ нихъ только въ крайнихъ случаяхъ, но у себя любилъ иногда принимать близкихъ знакомыхъ и, при хорошемъ настроеніи духа, умѣлъ бывать гостепріимнымъ и даже веселымъ хозяиномъ, выходя иногда изъ своей обычной замкнутости и молчаливости. Онъ вообще говорилъ очень мало или вовсе молчалъ, даже на вопросы отвѣчалъ отрывочными фразами. Его манера разговора была такова, что всегда казалось, будто онъ разговариваетъ съ самимъ собою, про себя, тѣмъ болѣе, что у него была привычка говорить очень слабымъ тихимъ голосомъ. Разговаривать о вещахъ обыкновенныхъ и событіяхъ повседневныхъ онъ рѣшительно не умѣлъ и вообще подобныхъ разговоровъ не выносилъ: въ раз-

*) См. выше: августъ, 782 стр.

сужденія же о предметахъ и вопросахъ его интересующихъ онъ вступалъ неохотно и вообще весьма рѣдко. Для этого нужно было выжидать благопріятный моментъ; но разъ удавалось уловить подобный моментъ, тогда Шуманъ могъ быть по своему весьма разговорчивымъ и положительно изумлялъ серьезными въ высшей степени остроумными замѣчаніями. Только немногимъ, очень близкимъ къ нему лицамъ, доводилось случайно вступать съ нимъ въ подобные разговоры, потому что даже съ ними онъ могъ проводить долгое время въ молчаніи. Молчаливость его отнюдь не выражала апатіи, которой въ Шуманѣ не было; это было особенное свойство характера, развившееся еще съ юныхъ лѣтъ. Такую свою особенность онъ самъ хорошо сознавалъ; и нужно было знать Шумана хорошо и близко, чтобы не толковать въ дурную сторону его несловоохотливость, которая между тѣмъ не разъ въ его жизни служила поводомъ ко многимъ суровымъ и несправедливымъ о немъ сужденіямъ.

Первые четыре года послѣ женитьбы протекли въ совершенной тишинѣ и спокойствіи, нарушаемыхъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ поѣздками для сопровожденія Клары Шуманъ во время ея концертовъ. Такъ въ началѣ 1842 г. Шуманъ провожалъ ее въ Гамбургъ, гдѣ между прочимъ была исполнена его 1-я симфонія; лѣтомъ того же года они ѣздили въ Богемію, гдѣ были представлены князю Меттерниху, пригласившему ихъ пріѣхать въ Вѣну. Но вообще Шуманъ неохотно соглашался на подобныя поѣздки, измѣнявшія порядокъ его работъ и занятій. Съ большимъ трудомъ уговорила его жена сопровождать ее въ Россію, куда она уже давно намѣревалась поѣхать; долго откладывалось это далекое путешествіе и только послѣ категорическаго заявленія Клары, что она поѣдетъ одна, Шуманъ наконецъ рѣшился и въ концѣ января 1844 г. они выѣхали изъ Лейпцига въ Петербургъ.—На пути Клара дала нѣсколько концертовъ: въ Кенигсбергѣ, въ Митавѣ и въ Ригѣ. Въ Петербургѣ было устроено четыре концерта; Клара плѣнила петербургскую публику своей прекрасной игрой, а вмѣстѣ съ тѣмъ понравились и исполняемыя ею произведенія ея мужа. О пребываніи артистической четы въ нашей столицѣ даетъ понятіе слѣдующее письмо Шумана изъ Петербурга отъ 1 апрѣля 1844 г. къ своему тестю Фр. Вику: „Любезный батюшка! На ваше дружеское письмо мы отвѣчаемъ только сегодня, такъ какъ намъ очень хотѣлось сообщить вамъ объ успѣхѣ нашего здѣшняго пребыванія. Мы здѣсь только четыре недѣли. Клара дала четыре концерта и играла у Императрицы; здѣсь мы сдѣлали замѣчательныя знакомства, видѣли много интереснаго,

каждый день приноситъ что-нибудь новое—незамѣтно наступилъ послѣдній день передъ нашимъ дальнѣйшимъ путешествіемъ въ Москву, и если взглянуть на прошлое, то мы можемъ быть вполнѣ довольными тѣмъ, чего достигли.—Мы сдѣлали большую ошибку; мы пріѣхали слишкомъ поздно. Въ такомъ большомъ городѣ нужно много приготовленій; все зависитъ здѣсь отъ двора и отъ haute volée, пресса и газеты оказываютъ мало вліянія. Къ тому же всѣ какъ бы помѣшаны на итальянской оперѣ, Гарсіа (Віардо) произвела неслыханный фуроръ. Поэтому два первыхъ нашихъ концерта были не полны, но третій очень и четвертый (въ Михайловскомъ театрѣ) блистательнѣйшій. Въ то время какъ сочувствіе къ другимъ артистамъ, даже къ самому Листу, постоянно уменьшалось, сочувствіе къ Кларѣ постоянно возрастало и она могла бы дать еще четыре концерта, еслибы не наступила страстная недѣля и мы не должны были уже думать о поѣздкѣ въ Москву. Нашими лучшими друзьями были конечно друзья Гензельта, а затѣмъ, и прежде всѣхъ, оба Віельгорскіе, два отличныхъ человѣка, изъ нихъ Михаилъ настоящая артистическая натура, геніальнѣйшій изъ дилеттантовъ, которыхъ мнѣ приходилось встрѣчать. Клара, кажется, питаетъ тихую страсть къ Михаилу, который, однако же мимоходомъ сказать, имѣетъ уже внуковъ, т.-е. человѣкъ за 50, но свѣжій и молодой тѣломъ и душою. Въ принцѣ Ольденбургскомъ мы также нашли дружескаго покровителя, какъ и въ его женѣ, которая есть олицетворенная кротость и доброта. Они сами водили насъ по своему дворцу. Также Віельгорскіе выказали намъ величайшее вниманіе, устроивъ вечеръ съ оркестромъ, съ которымъ я разучилъ и исполнилъ мою симфонію. О Гензельтѣ можно сказать, что онъ тотъ же, что и прежде, но изнуряетъ себя на урокахъ. Играть публично его болѣе нельзя заставить, его можно слышать только у принца Ольденбургскаго, гдѣ онъ однажды на вечерѣ игралъ съ Кларой мои варіаціи для двухъ фортепіано — Государь и Государыня отнеслись къ Кларѣ очень ласково; 8 дней назадъ она играла у нихъ въ семейномъ кругу цѣлыхъ два часа. „Frühlingslied“ Мендельсона повсюду сдѣлалась любимой вещью публики. Клара должна была ее повторить нѣсколько разъ во всѣхъ концертахъ; у Государыни даже три раза. О великолѣпіи Зимняго Дворца Клара разскажетъ на словахъ. Г-нъ Рибопьеръ (бывшій посланникъ въ Константинополѣ) водилъ насъ на дняхъ по дворцу; это какъ бы сказка изъ „Тысячи одной ночи“.—Мы совсѣмъ здоровы; также о дѣтяхъ имѣемъ лучшія свѣденія.—Подумайте о

моей радости; мой старый дядя [1]) еще живъ; въ первые же дни нашего пріѣзда сюда я познакомился съ тверскимъ губернаторомъ, который его знаетъ. Я тотчасъ же написалъ и вскорѣ получилъ отъ него и его сына, состоящаго командиромъ полка въ Твери, сердечнѣйшій отвѣтъ. Въ слѣдующую субботу онъ празднуетъ 70-лѣтній день своего рожденія и я думаю, что мы какъ-разъ будемъ тогда въ Твери. Какая радость для меня, а также для старика, который никогда не видѣлъ у себя ни одного родственника.—Насъ пугаютъ дорогой въ Москву; впрочемъ, повѣрьте, въ Россіи путешествуютъ не хуже, а даже лучше чѣмъ гдѣ-либо, и я долженъ теперь смѣяться надъ тѣми страшными картинами, которыя рисовало мнѣ мое воображеніе въ Лейпцигѣ. Только все очень дорого (здѣсь въ Петербургѣ особенно, напримѣръ помѣщеніе ежедневно 1 луидоръ, кофе 1 талеръ, обѣдъ 1 дукатъ и т. д.).—Мы думаемъ, возвращаясь опять черезъ Петербургъ, проѣхать въ Ревель, оттуда на пароходѣ въ Гельсингфорсъ и черезъ Або въ Стокгольмъ, затѣмъ вѣроятно по каналамъ въ Копенгагенъ и въ нашу дорогую Германію. Въ началѣ іюня надѣюсь свидѣться съ вами, любезный батюшка, а до того пишите намъ чаще, всегда въ Петербургъ, по адресу Гензельта. Онъ перешлетъ намъ письма.—Здѣшніе музыканты отнеслись къ намъ очень дружески, особенно Генрихъ Ромбергъ. За свое участіе въ послѣднемъ концертѣ они не взяли никакого вознагражденія; они просили только прислать за ними общую карету, что мы и сдѣлали съ большимъ удовольствіемъ. Очень много, такъ много имѣлъ бы я еще вамъ написать; но намъ нужно сегодня еще многое приготовить для поѣздки въ Москву, то примите любезно и это малое. Сердечно поклонитесь вашей женѣ и дѣтямъ отъ Клары и отъ меня и любите меня.—Р. Ш.“

Въ Москвѣ Клара Шуманъ дала три концерта; къ нашей первопрестольной столицѣ Шуманъ питалъ, кажется, особенное пристрастіе. Еще за восемь лѣтъ до того (въ 1836 г.) въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ писалъ, что „имя Москва звучитъ для уха всегда какъ чистый тонъ большого колокола“. Въ бытность же свою въ Москвѣ подъ впечатлѣніемъ Кремля написалъ стихотвореніе, о которомъ упоминаетъ Василевскій [2]), но самаго стихотворенія, къ сожалѣнію, онъ не приводитъ.—Предположенная поѣздка въ Финляндію и Швецію не состоялась; супруги Шуманъ въ іюнѣ 1844 г. возвратились въ Лейпцигъ прямымъ путемъ.

---

[1]) Старшій братъ матери Шумана, Карлъ Шнабель, состоявшій на службѣ въ Россіи военнымъ врачемъ.

[2]) Wasielewski, стр. 197.

Путешествіе въ Россію оставило въ Шуманѣ настолько хорошее воспоминаніе, что у него составился планъ поѣздки въ слѣдующемъ году въ Англію, гдѣ онъ думалъ исполнить свою кантату „Рай и Пери“, разсчитывая на хорошій успѣхъ для нея среди англичанъ, такъ какъ музыка этой кантаты написана, какъ упомянуто выше, на поэму Т. Мура, которая, по выраженію Шумана, „произрасла на англійской почвѣ и была однимъ изъ прекраснѣйшихъ цвѣтовъ англійской поэзіи“. Но этотъ планъ не былъ приведенъ въ исполненіе главнымъ образомъ потому, что музыкальный издатель Buxton не хотѣлъ согласиться на изданіе кантаты „Рай и Пери“ съ англійскимъ текстомъ. Вмѣсто того зимою 1846—47 г. состоялась поѣздка въ Вѣну, гдѣ была исполнена 1-я симфонія Шумана, и Клара играла его фортепіанный концертъ съ оркестромъ. Эти произведенія, исполнявшіяся тогда въ Вѣнѣ впервые, не имѣли никакого успѣха; публика отнеслась къ нимъ холодно и подтвердила прежнее мнѣніе о ней Шумана: „вѣнцы – несвѣдущій народъ“. Не больше успѣха имѣлъ Шуманъ и въ Берлинѣ, куда онъ проѣхалъ изъ Вѣны, для исполненія „Рай и Пери“; но за то, концертируя въ Прагѣ, Шуманы нашли тамъ самый горячій пріемъ.

Въ концѣ 1844 г. Лейпцигъ пересталъ быть постояннымъ мѣстомъ жительства Шумана; въ октябрѣ того года онъ переселился со всѣмъ своимъ семействомъ въ Дрезденъ. Причиной этого переселенія было болѣзненное состояніе Шумана. Усиленная напряженная композиторская дѣятельность за предъидущіе четыре года отразилась на немъ сильнымъ нервнымъ разстройствомъ и доктора предписали ему непремѣнно оставить всѣ свои работы и даже перемѣнить всю обстановку. Занятія по редакціи „Neue Zeitschrift für Musik“ Шуманъ оставилъ охотно; въ послѣднее время всѣ мелкія хлопоты, сопряженныя съ еженедѣльнымъ изданіемъ, становились для него тягостными и непріятными, и уже съ 1 іюля онъ передалъ редакцію своей газеты Освальду Лоренцу.— Кромѣ того, Шуманъ состоялъ профессоромъ композиціи, фортепіанной игры и чтенія партитуръ въ основанной (2 апрѣля 1843 г.) Мендельсономъ Лейпцигской консерваторіи. Но для этихъ занятій онъ менѣе всего былъ способенъ; его біографъ Василевскій, бывшій въ то время ученикомъ лейпцигской консерваторіи, пишетъ, что Шуману недоставало прежде всего качества, безъ котораго преподаватель немыслимъ, именно у него не было дара слова, способности въ каждую минуту высказать опредѣленно, ясно и съ увѣренностью то, что слѣдовало. Шуманъ сознавалъ это и безъ колебаній отказался отъ мѣста профессора консерваторіи, которое

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ оперѣ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ оперѣ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ оперѣ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончели.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ оперѣ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ оперѣ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ оперѣ; онъ намѣтилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончеля.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60). „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ оперѣ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ оперѣ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ оперѣ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончеля.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ операхъ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ операхъ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ операхъ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончели.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ операхъ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ операхъ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ операхъ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончели.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ оперѣ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ оперѣ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ оперѣ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончели.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

занималъ, если исключить время путешествія въ Россію, всего нѣсколько мѣсяцевъ.—Доктора рѣшительно запретили Шуману не только заниматься музыкальными работами какого бы то ни было рода, но, находя, что въ его нервной возбужденности сказывалось какъ бы пресыщеніе музыкой,—даже слушать музыку. Это и было главнымъ основаніемъ переѣзда его изъ Лейпцига, изобилующаго музыкой. Дрезденъ въ этомъ отношеніи болѣе благопріятствовалъ Шуману при его болѣзненномъ состояніи. „Здѣсь можно опять обрѣсть утраченную страсть къ музыкѣ,—писалъ онъ изъ Дрездена въ ноябрѣ 1844 г. — Такъ мало здѣсь того, что можно слушать! А это подходитъ къ моему положенію, потому что я еще сильно страдаю нервами и меня все тотчасъ волнуетъ и раздражаетъ". Первое время онъ жилъ въ Дрезденѣ совершенно уединенно и его состояніе внушало серьезныя опасенія. Поѣздки на морскія купанья приносили нѣкоторую пользу, но въ общемъ здоровье улучшалось медленно и притомъ періодически; ему было то лучше, то хуже. При ухудшеніи здоровья замѣчалось ослабленіе памяти до такой степени, что онъ не могъ запомнить своихъ собственныхъ мелодій. Тѣмъ не менѣе, какъ только чувствовалъ онъ себя въ силахъ, — немедленно принимался за композицію, причемъ въ то время писалъ преимущественно въ строгомъ стилѣ и въ 1845 г. изъ-подъ его пера вышелъ цѣлый рядъ произведеній въ контрапунктическихъ формахъ [1]). Объ этой своей склонности къ контрапунктамъ онъ говорилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „мнѣ самому казалось чѣмъ-то особеннымъ и удивительнымъ, что почти каждый мотивъ, создавшійся въ моемъ воображеніи, являлся со всѣми качествами для разнообразныхъ контрапунктическихъ комбинацій, хотя я былъ далекъ отъ того, чтобы непремѣнно придумывать такія тэмы, которыя допускали бы примѣненіе строгаго стиля. Это давалось само-собой, безъ рефлексіи, какъ бы совершенно естественно".—Въ томъ же году былъ оконченъ фортепіанный концертъ (начатый еще въ 1841 г.) и набросана „вторая симфонія" [2]), которая была окончательно инструментована въ слѣдующемъ 1846 г. и тогда же (5-го ноября) въ первый разъ исполнена въ Лейпцигѣ подъ управленіемъ Мендельсона. Высокія достоинства какъ концерта, такъ и симфоніи доказываютъ, что, не смотря на болѣзненное состояніе Шумана, его творческая геніальность была въ полной силѣ

[1]) „Studien" und „Skizzen für den Pedalflügel" (op. 56 und 58), „Sechs Fugen über den Namen Bach für Orgel" (op. 60), „Vier Fugen für das Pianoforte" (op. 72), „Canon" aus op. 124.

[2]) C-dur op. 61.

своего развитія.—Въ Дрезденѣ Шуманъ сошелся съ нѣкоторыми выдающимися лицами, между прочимъ, съ вдовой К. М. Вебера, съ Фердинандомъ Гиллеромъ; но съ Р. Вагнеромъ, въ то время капельмейстеромъ дрезденской оперы, онъ не могъ сблизиться,—ихъ натуры и принципы были слишкомъ различны.

Въ концѣ изданія собранныхъ статей Шумана о музыкѣ и музыкантахъ находится „театральная книжечка“ (Theaterbüchlein) 1847 — 1850 г., [1]), въ которой сдѣланы Шуманомъ краткія замѣтки подъ впечатлѣніемъ исполненія нѣкоторыхъ оперъ. Изъ этихъ замѣтокъ видно, что Шуманъ въ 1847 г. сравнительно довольно часто посѣщалъ оперный театръ, вслѣдствіе того, что онъ самъ въ то время писалъ оперу. Идею объ оперѣ лелѣялъ онъ уже давно; были сдѣланы Шуманомъ даже и опыты; извѣстно, что въ 1844 г. онъ написалъ хоръ и арію къ задуманной имъ оперѣ „Корсаръ“ по Байрону; но далѣе эта работа не пошла и оба написанные отрывка остались неизданными.—По возвращеніи изъ Россіи, Шуманъ серьезно занялся вопросомъ объ оперѣ; онъ наметилъ болѣе двадцати сюжетовъ для оперъ различнаго рода, разныхъ эпохъ и національностей, но не остановился тогда ни на одномъ. Наконецъ, въ 1847 г. онъ выбралъ сказаніе о св. Геновевѣ и по двумъ нѣмецкимъ драмамъ на этотъ сюжетъ, Фридриха Геббеля и Людвига Тика, самъ написалъ либретто и энергически принялся за музыку своей оперы [2]). Въ августѣ 1848 г. когда композиція оперы приближалась уже къ окончанію, Шуманъ началъ хлопоты о постановкѣ „Геновевы“ на сценѣ въ Лейпцигѣ; но прошло около двухъ лѣтъ прежде, чѣмъ удалось преодолѣть всѣ препятствія. Первое исполненіе оперы состоялось въ Лейпцигѣ 25 (13) іюня 1850 г. подъ управленіемъ самого Шумана. Время было самое неблагопріятное, тѣмъ не менѣе въ театрѣ собралось достаточное число любителей музыки; но опера имѣла только такъ-называемый „succès d'estime, публика приняла ее не особенно горячо и уже послѣ третьяго представленія была на время снята со сцены [3]). Шуманъ былъ совсѣмъ разочарованъ такимъ результатомъ своихъ трудовъ; еще болѣе его

[1]) Schumann's Ges. Schr. т. II, стр. 362—365.

[2]) Однако, эта большая работа не помѣшала ему въ томъ же 1847 г. написать нѣсколько вещей для хора, въ томъ числѣ заключительный мистическій хоръ для „Фауста“ и два trio D-moll (op. 63) и F-dur (op. 80) для фортепіано, скрипки и віолончели.

[3]) Дальнѣйшія попытки исполненія „Геновевы“ на сценѣ также не давали лучшихъ результатовъ. Опера никогда не имѣла особеннаго успѣха и въ Германіи, а внѣ Германіи она, кажется, нигдѣ не исполнялась.

раздражали газетныя рецензіи, съ самыми разнообразными сужденіями объ его операѣ. Большинство музыкантовъ высказывало довольно единодушный приговоръ, именно, что у Шумана не было настоящаго дарованія опернаго композитора [1]).

Періодъ времени 1848—1849 г. былъ самый производительный въ композиторской дѣятельности Шумана. Состояніе его здоровья было значительно лучше прежняго и это тотчасъ отразилось на его творчествѣ. Въ теченіе этихъ двухъ годовъ онъ написалъ массу самыхъ разнообразныхъ произведеній (до 70-ти различныхъ нумеровъ), изъ которыхъ многія весьма значительнаго объема. Шуманъ говорилъ, что никогда не удавалось ему такъ легко овладѣвать своими идеями и облекать ихъ въ художественную форму, какъ въ то время [2]). Онъ работалъ надъ своими композиціями, лежа, стоя, даже на ходу; ему не мѣшало даже самое неудобное положеніе. Работа шла и дома при шумѣ окружающихъ его дѣтей, и въ ресторанѣ за кружкой пива—однимъ словомъ, вездѣ; никогда и ничто не мѣшало ему сосредоточиваться и обдумывать самыя сложныя музыкальныя комбинаціи. Склонности къ какому-нибудь одному роду музыки теперь не замѣчалось. Онъ писалъ и симфоническую музыку и вокальную, пѣсни, романсы и баллады, піесы для фортепіано, хоры съ оркестромъ и à capella, произведенія для скрипки или віолончеля, для кларнета, гобоя или волторны съ оркестромъ или съ фортепіано; все это чередовалось въ его фантазіи и немедленно выходило изъ-подъ его пера въ законченной художественной формѣ. Изъ крупныхъ произведеній Шумана, относящихся къ этому періоду, достойны особеннаго вниманія: „Музыка къ Манфреду“ (Байрона) и „Сцены изъ Фауста“.

„Сцены изъ Фауста“ были задуманы уже давно; начало написано еще въ 1844 г., но за болѣзнью Шумана работа эта была на время прервана. Въ 1849 г. всѣ сцены, согласно первоначальному плану, были окончены и исполнены въ небольшомъ кружкѣ слушателей. Новое произведеніе произвело глубокое впечатлѣніе; самые строгіе цѣнители признали, что композиторъ

[1]) Одинъ только старикъ Шпоръ, присутствовавшій на многихъ репетиціяхъ „Геновевы“, отзывался о ней одобрительно, съ удовольствіемъ находя, что пріемы Шумана близко подходятъ къ пріемамъ, употребленныхъ имъ самимъ въ его послѣдней операѣ „Die Kreuzfahrer“.

[2]) Какъ могучи были тогда его творческія силы, доказываетъ то, что въ 1848 г. когда онъ писалъ свою оперу, въ тоже время написаны: музыка къ „Манфреду“ Байрона, одно изъ капитальнѣйшихъ его произведеній, нѣкоторыя сцены „Фауста“, „Bilder aus Osten“ (шесть пьесъ для фортепіано въ 4 руки), „Adventlied“ для соло, хора и оркестра и нѣсколько мелкихъ вещей.

вполнѣ проникся духомъ геніальнаго германскаго поэта и что посредствомъ музыки Шумана, лучше познаются многія мѣста глубокой гётевской поэзіи. Приближалось празднованіе столѣтней годовщины дня рожденія Гёте 16/28 августа 1849 г. и рѣшено было исполнить музыку къ „Фаусту“ Шумана въ устраиваемыхъ по этому случаю торжественныхъ концертахъ въ Дрезденѣ, Лейпцигѣ и Веймарѣ. Шуманъ былъ очень доволенъ лестнымъ выборомъ его произведенія для такого особеннаго выдающагося торжества; „я бы желалъ имѣть плащъ Фауста,—писалъ онъ по этому поводу Гертелю,—чтобы имѣть возможность вездѣ присутствовать при исполненіи моей музыки“. — Въ Дрезденѣ успѣхъ новаго произведенія Шумана былъ очень хорошій, въ Лейпцигѣ же меньшій. Шуманъ принималъ это спокойно: „Относительно впечатлѣнія, производимаго моими сценами изъ Фауста, я слышу разнообразные отзывы, — писалъ онъ; — на однихъ онѣ кажется, дѣйствуютъ, на другихъ производятъ не достаточно ясное впечатлѣніе. Я предвидѣлъ это заранѣе. Быть можетъ, зимой представится случай къ повторенію исполненія моего произведенія, въ которое я, вѣроятно, включу нѣкоторыя новыя сцены“. Второго исполненія сценъ изъ „Фауста“ Шуманъ при жизни не дождался; но планъ—дополнить свое произведеніе—привелъ въ исполненіе: въ 1850 г. написалъ двѣ новыя сцены [1]), а въ 1853 г. —увертюру. Все это большое капитальное произведеніе въ трехъ частяхъ было напечатано спустя два года послѣ смерти Шумана.

Въ Дрезденѣ Шуманъ жилъ до 1850 г., дѣлая иногда недалекія поѣздки съ женой, концертировавшей по временамъ то въ томъ, то въ другомъ городѣ.. Одно время его дѣятельность разнообразилась занятіями въ качествѣ дирижера общества любителей хорового пѣнія [2]). Сначала Шуманъ занимался въ этомъ обществѣ съ интересомъ и написалъ нѣсколько хоровъ и квартетовъ для мужскихъ голосовъ. Но въ атмосферѣ нѣмецкаго лидертафеля, человѣкъ, подобный Шуману, не могъ ужиться; его натура была слишкомъ богатая и выдающаяся во всѣхъ отношеніяхъ, чтобы мириться съ отчасти буржуазнымъ, отчасти сантиментальнымъ характеромъ, обыкновенно господствующимъ въ подобныхъ нѣмецкихъ кружкахъ любителей. Шуманъ оставилъ хоровое общество весной 1849 г.; „я нахожу въ нихъ слишкомъ мало дѣйствительно музыкальнаго стремленія и чувствую, что не подхожу къ нимъ, какими бы прекрасными людьми они ни были“,—пи-

[1]) Сцену „die vier grauen Weiber“ и сцену смерти Фауста.

[2]) Эту обязанность Шуманъ принялъ отъ Ф. Гиллера, приглашеннаго въ 1847 г. директоромъ музыки въ Дюссельдорфѣ.

салъ онъ Ф. Гиллеру 10 апрѣля 1849 г. [1]). Однако, въ этомъ же письмѣ находимъ такое выраженіе: „Именно лидертафель возвратилъ мнѣ сознаніе моихъ дирижерскихъ силъ, которыя, какъ я полагалъ, совсѣмъ пропали во время моей нервозной ипохондріи; въ дирижерствѣ я чувствую себя какъ дома“. Часто, дирижируя въ концертахъ общества любителей исполненіемъ довольно серьезныхъ произведеній, Шуманъ освоился съ дирижерскою техникою и на этихъ опытахъ капельмейстерской дѣятельности основывалъ болѣе широкіе планы. Спитта утвердительно говоритъ [2]), что Шуманъ въ 1849 г. весьма серьезно разсчитывалъ получить мѣсто директора концертовъ Гевандгауза въ Лейпцигѣ, даже прилагалъ къ тому старанія. Однако же это не осуществилось; но вмѣсто столь почетнаго положенія въ Лейпцигѣ онъ вскорѣ занялъ болѣе скромное капельмейстерское мѣсто въ Дюссельдорфѣ. Бывшій тамъ городскимъ директоромъ музыки Ф. Гиллеръ, переходя въ Кёльнъ, предложилъ Шуману занять его мѣсто. Шуманъ согласился и лѣтомъ 1850 г. переселился въ Дюссельдорфъ.

Въ кругъ новыхъ обязанностей Шумана входило управленіе оркестромъ и обществомъ хорового пѣнія, исполненіе церковной музыки въ торжественные дни и устройство въ теченіе зимняго сезона нѣсколькихъ симфоническихъ концертовъ.—Первый концертъ въ Дюссельдорфѣ подъ управленіемъ Шумана состоялся 24 октября 1850 г.; но еще раньше былъ устроенъ концертъ исключительно изъ шумановскихъ произведеній подъ управленіемъ Юліуса Тауша. Дюссельдорфская публика горячо приняла какъ самого Шумана, такъ и его жену и оказывала имъ много вниманія. Сезонъ 1850 — 51 г. былъ столь оживленный, что пришлось тогда же значительно увеличить число сезонныхъ концертовъ.—Письма Шумана изъ Дюссельдорфа свидѣтельствуютъ, что онъ былъ очень доволенъ своимъ тогдашнимъ положеніемъ. Онъ пользовался полнѣйшею самостоятельностью, его обязательныя занятія оставляли ему значительный досугъ для композиторскихъ работъ, а главное преимущество его положенія составляло то, что имѣя въ своемъ распоряженіи хорошія музыкальныя силы, прекрасно составленный оркестръ и недурной хоръ въ 60 — 70 голосовъ, — онъ могъ немедленно исполнять всѣ свои новыя произведенія. Къ сожалѣнію, въ натурѣ Шумана не было тѣхъ данныхъ, въ силу которыхъ онъ могъ бы быть хорошимъ капельмейстеромъ. Его біографъ, Василевскій, со-

[1]) Wasielewski, стр. 414.
[2]) Ein Lebensbild, стр. 46.

стоявшій концертмейстеромъ Дюссельдорфскаго оркестра при Шуманѣ и самъ бывшій впослѣдствіи капельмейстеромъ, прямо говоритъ [1]), что Шуманъ имѣлъ также мало таланта для дирижированія, какъ и для музыкальнаго преподаванія. Для того и другого у него недоставало существенныхъ качествъ, именно, способности быстро входить съ другими въ тѣсныя отношенія и ясно, наглядно передавать имъ свои намѣренія, такъ какъ онъ или молчалъ, или говорилъ столь тихо, что его рѣчь рѣдко кто-нибудь вполнѣ понималъ. Къ тому же у него недоставало физическихъ силъ и энергіи для капельмейстера; онъ всегда скоро уставалъ и долженъ былъ нѣсколько разъ отдыхать во время репетиціи съ оркестромъ или хоромъ. Наконецъ, у него не было достаточнаго самообладанія и предусмотрительности, необходимыхъ для того, чтобы успѣшно руководить оркестровыми и хоровыми массами. Съ другой стороны, въ пользу Шумана были его достоинства, какъ очень даровитаго музыканта, внушавшія къ нему глубокое уваженіе. Благодаря этому послѣднему, а также тому обстоятельству, что оркестръ и хоръ были приведены его предшественниками въ очень хорошее состояніе, капельмейстерство Шумана въ Дюссельдорфѣ вначалѣ сопровождалось весьма хорошими успѣхами. Но при исключительности его натуры, какъ бы инстинктивно избѣгавшей соприкосновенія съ внѣшнимъ міромъ, всѣ обязанности дирижера, съ которыми связаны многія мелкія неизбѣжныя непріятности, были для него весьма тяжелы. Онѣ становились еще тяжелѣе, по мѣрѣ того, какъ появившіеся опять болѣзненные симптомы все болѣе и болѣе разстраивали его здоровье. Осенью 1853 г. болѣзнь приняла уже такіе размѣры, что послѣ перваго сезоннаго концерта подъ его управленіемъ онъ совсѣмъ отказался отъ капельмейстерскихъ обязанностей.

Первымъ большимъ произведеніемъ Шумана въ теченіе дюссельдорфскаго періода была его 3-ая симфонія [2]), которая была исполнена въ первый разъ въ Дюссельдорфѣ 6 февраля 1851 г. и затѣмъ въ Кёльнѣ 25 февраля того же года, оба раза подъ личнымъ управленіемъ Шумана и въ обоихъ мѣстахъ была принята публикой холодно, не смотря на то, что это наиболѣе глубокая по содержанію и наиболѣе грандіозная изъ всѣхъ шумановскихъ симфоній. Въ то время Шуманъ замышлялъ было писать новую оперу. Онъ остановился на нѣсколькихъ сюжетахъ; для него

[1]) Wasielewski, стр. 267.

[2]) Es-dur (op. 97); эту большую симфонію въ пяти частяхъ Шуманъ написалъ съ небольшимъ въ мѣсяцъ (съ 2 ноября по 9 декабря 1850 г.). Онъ назвалъ ее „третьею“, хотя называемая четвертою симфонія D-moll (op. 120) написана раньше.

было сдѣлано либретто „Мессинской Невѣсты“ по Шиллеру, кромѣ того онъ разсчитывалъ взять сюжетъ „Германа и Доротеи“ Гёте, наконецъ, обратилъ вниманіе на „Деревенскіе разсказы“ Ауэрбаха, однако, ни къ какому рѣшенію не пришелъ и намѣреніе объ операхъ осталось невыполненнымъ [1]). Удовлетворяя своему тогдашнему стремленію къ вокальной музыкѣ, Шуманъ написалъ рядъ балладъ для соло, хора и оркестра, мессу и реквіемъ для хора и оркестра, и нѣсколько романсовъ. Къ этому же періоду (1850—1853 гг.) принадлежатъ еще слѣдующія произведенія: три увертюры—„Мессинская Невѣста“, „Германъ и Доротея“ и „Юлій Цезарь“ (написанныя въ 1851 г.); концертъ для віолончеля съ оркестромъ, тріо (G-moll) для фортепіано, скрипки и віолончеля, двѣ сонаты для фортепіано и скрипки, и нѣсколько фортепіанныхъ пьесъ. Къ числу самыхъ позднѣйшихъ произведеній Шумана принадлежатъ „Торжественная увертюра“, увертюра „Фаустъ“, концертное аллегро для фортепіано съ оркестромъ и „Фантазія“ для скрипки съ акомпаниментомъ оркестра. Всѣ они написаны въ 1853 г., которымъ и заключается композиторская дѣятельность Шумана.

Осенью 1853 г. Шуманъ познакомился съ молодымъ музыкантомъ, тогда еще никому неизвѣстнымъ, а въ настоящее время пользующимся въ Германіи большимъ уваженіемъ, І. Брамсомъ, явившимся къ нему съ рекомендательнымъ письмомъ отъ Іоахима. Шуманъ до такой степени заинтересовался двадцатилѣтнимъ даровитымъ юношей, что еще разъ взялся за перо литератора, оставленное имъ еще въ 1844 г., и написалъ небольшую статью о Брамсѣ, напечатанную въ Neue Zeitschrift für Musik, подъ заглавіемъ „Neue Bahnen“ [2]), гдѣ обращалъ вниманіе музыкальнаго міра на юнаго композитора и предсказывалъ ему великую будущность. — Тогда же Шуманъ имѣлъ близкія сношенія съ другимъ молодымъ музыкантомъ, Альбертомъ Дитрихомъ, на котораго также возлагалъ большія надежды. Существуетъ манускриптъ сонаты для фортепіано и скрипки, написанный Шума-

[1]) Точно также въ то время Шуманъ проектировалъ, вмѣстѣ съ Рих. Полемъ, большую ораторію на библейскій сюжетъ (Св. Дѣва Марія) или историческій (Лютеръ или Жижка); избравъ Лютера, Шуманъ хотѣлъ, чтобы его ораторія удовлетворяла одновременно требованіямъ исполненія какъ въ церкви, такъ и въ концертной залѣ, и намѣревался писать преимущественно для хора, безъ сложныхъ контрапунктическихъ разработокъ, но просто и доступно пониманію каждаго. Но Рих. Поль проектировалъ эту ораторію въ формѣ большой трилогіи, тогда какъ Шуманъ хотѣлъ ограничиться произведеніемъ, удобоисполнимымъ въ одинъ концертный вечеръ; изъ-за этого несогласія планъ ораторіи и не былъ приведенъ въ исполненіе.

[2]) См. Ges. Schriften, т. II, стр. 374.

номъ вмѣстѣ съ Брамсомъ и Дитрихомъ. Соната эта была написана для Іоахима, по случаю его пріѣзда въ Дюссельдорфъ въ октябрѣ 1853 г. [1]).

Изъ Дюссельдорфа Шуманъ неоднократно дѣлалъ разныя поѣздки. Такъ, лѣтомъ 1851 г. онъ ѣздилъ со всей семьей въ Швейцарію; въ томъ же году былъ въ Антверпенѣ, присутствуя, въ качествѣ члена жюри, на бывшемъ тамъ состязаніи бельгійскихъ хоровыхъ обществъ. Въ мартѣ 1852 г. онъ былъ съ женою въ Лейпцигѣ, гдѣ въ теченіе одной недѣли былъ исполненъ цѣлый рядъ его позднѣйшихъ произведеній. На эту „шумановскую недѣлю“ съѣхались многіе музыканты изъ разныхъ городовъ, въ томъ числѣ, напримѣръ, Листъ и Іоахимъ; однако, и при этомъ Шуманъ не былъ польщенъ особымъ успѣхомъ, публика относилась къ нему съ уваженіемъ, но сдержанно и довольно равнодушно, что̀, впрочемъ, для него было уже не новостью. „Я привыкъ видѣть, — писалъ онъ въ 1851 г. Р. Полю, — что мои произведенія, особенно лучшія и наиболѣе глубокія, остаются непонятыми бо́льшею частью публики, когда она слушаетъ ихъ въ первый разъ“.—Гораздо болѣе удовлетворенія вынесъ Шуманъ изъ концертнаго путешествія по Голландіи, куда ѣздилъ въ ноябрѣ 1853 г. Музыкальная газета „Signale“ сообщала о большихъ тріумфахъ Роберта и Клары Шуманъ въ Амстердамѣ, Утрехтѣ, Роттердамѣ, Гаагѣ; всюду концерты были уже подготовлены заранѣе и произведенія разъучены, такъ что Шуману оставалось только встать за пультъ и дирижировать. „Во всѣхъ городахъ, —сообщалъ Шуманъ одному пріятелю объ этой поѣздкѣ, — насъ принимали съ радостью и съ большимъ почетомъ. Къ моему удивленію, я узналъ, что моя музыка въ Голландіи пустила корни едвали не прочнѣе, чѣмъ въ своемъ отечествѣ. Всюду были большія исполненія моихъ симфоній, именно труднѣйшихъ, 2-й и 3-й; въ Гаагѣ приготовили для меня также „Странствованіе Розы“. Послѣдняя поѣздка Шумана была въ Ганноверъ, въ началѣ 1854 г., куда его приглашали для исполненія его большого произведенія „Рай и Пери“.

Первые два мѣсяца 1854 г. Шуманъ жилъ въ Дюссельдорфѣ, занимаясь литературными работами. Одновременно съ редактированіемъ собранія своихъ статей о музыкѣ, подготовляемыхъ къ печати, онъ трудился надъ большимъ сочиненіемъ, названнымъ

[1]) Заглавіе этого произведенія Шуманъ сдѣлалъ такое: „Въ ожиданіи пріѣзда уважаемаго и любимаго друга, Іосифа Іоахима, написали эту сонату Робертъ Шуманъ, Альбертъ Дитрихъ и Іоганнесъ Брамсъ“. Первую часть сонаты написалъ Дитрихъ, 3-ю часть Брамсъ, а интермеццо и финалъ—Шуманъ.

имъ „Dichtergarten“, въ которомъ онъ хотѣлъ собрать, изъ произведеній лучшихъ поэтовъ стараго и новѣйшаго времени, все, что́ касалось музыки. Съ этою цѣлью онъ еще раньше дѣлалъ извлеченія изъ сочиненій Шекспира и Жанъ-Поля; теперь онъ разсчитывалъ расширить свою задачу и предпринялъ такой же компилятивный трудъ относительно библіи, а также греческихъ и латинскихъ классиковъ. Ему однако не суждено было окончить эту работу; его болѣзнь начала усиливаться такъ быстро, что серьезныя занятія были болѣе немыслимы. Физически Шуманъ былъ вполнѣ здоровый человѣкъ, крѣпкаго тѣлосложенія, роста выше средняго, съ изрядною полнотою; но ужасная психическая болѣзнь, признаки которой проявлялись и прежде, все сильнѣе и сильнѣе овладѣвала имъ и, гибельно вліяя на воспріимчивую отъ природы нервную систему, разрушала его здоровый организмъ. Первые болѣзненные симптомы или, вѣрнѣе сказать, признаки склонности къ психической болѣзни обнаружились весьма рано, именно въ 1833 г., когда Шуманъ, подъ вліяніемъ извѣстія о смерти одной изъ своихъ невѣстокъ, находился продолжительное время въ крайне тяжеломъ угнетенномъ состояніи. Многіе изъ хорошо знавшихъ Шумана утверждали, что онъ тогда въ припадкѣ меланхоліи покушался даже выброситься изъ окна и съ той поры всегда питалъ страхъ къ квартирамъ въ верхнихъ этажахъ. Вообще всякія душевныя потрясенія дѣйствовали на него очень сильно и приводили его въ состояніе „смертельной сердечной тоски“, какого-то безотчетнаго страха и мучительной безпомощности. Кромѣ того, у Шумана была склонность предаваться мрачнымъ идеямъ и терзать самого себя, что отравляло лучшіе часы его жизни и длилось обыкновенно весьма долго. Нерѣдко являлось у него предчувствіе ранней смерти: „часто мнѣ кажется, что я не проживу долго,—говоритъ онъ въ письмѣ къ пріятелю 1837 г.,—а я хотѣлъ бы еще кое-что сдѣлать“. Но молодыя силы преодолѣвали ложныя мрачныя представленія и освобождали его отъ душевныхъ страданій. Первые годы послѣ женитьбы онъ провелъ въ счастливомъ спокойствіи; однако въ 1844 г., послѣ усиленной творческой дѣятельности, опять проявилось опасное нервное разстройство, какъ послѣдствіе чрезмѣрнаго умственнаго напряженія. Выздоровленіе шло медленно и только почти черезъ пять лѣтъ вполнѣ возвратились прежнія силы и прежняя способность къ труду и къ творчеству, которую Шуманъ, къ сожалѣнію, опять началъ расточать въ усиленныхъ работахъ, что́, конечно, не замедлило отразиться на его здоровьѣ еще гибельнѣе. Въ 1852 г. какъ всѣ окружающіе Шумана, такъ и онъ самъ не могли не видѣть, что его состояніе внушаетъ

самыя серьезныя опасенія. Попытки найти исцѣленіе въ врачебныхъ средствахъ были напрасны; ужасная болѣзнь все болѣе и болѣе вступала въ свои права. Шуманъ, прежде человѣкъ здравомыслящій, всегда далекій отъ какого бы то ни было мистицизма или суевѣрія, началъ заниматься столоверченіемъ, и безусловно вѣрилъ, что „столы все знаютъ", въ чемъ увѣрялъ и своихъ пріятелей. Начали проявляться также ложныя ощущенія, именно звуковыя; ему слышались голоса, шептавшіе угрозы или укоры; иногда ему казалось, что онъ постоянно слышитъ одинъ опредѣленный звукъ, или же цѣлыя мелодіи и гармоніи. Однажды ночью онъ вообразилъ, что къ нему явились тѣни Шуберта и Мендельсона, чтобы сообщить музыкальную тэму; онъ всталъ съ постели — записалъ эту тэму призраковъ. Вмѣстѣ съ этимъ его все чаще и чаще терзала та „смертельная сердечная тоска", на которую онъ жаловался въ прежніе годы. Однако, всѣ эти симптомы были преходящіе и въ промежуткахъ между ними Шуманъ былъ человѣкомъ нормальнымъ, вполнѣ владѣющимъ своими умственными способностями. Онъ по прежнему читалъ и работалъ; на ту тэму, которая по его предположенію, была доставлена Шубертомъ и Мендельсономъ, онъ началъ писать варіаціи, оставшіяся неоконченными [1]), — это были послѣдніе проблески потухающаго генія. Скоро наступило начало конца. 27 февраля 1854 г. около полудня, Шуманъ подъ вліяніемъ охватившаго его мучительнаго тоскливаго состоянія, незамѣтно ушелъ изъ дому и съ моста бросился въ Рейнъ; во-время подоспѣвшіе лодочники вытащили его изъ воды; его жизнь была спасена, но послѣ этой катастрофы ясные признаки сумасшествія не оставляли никакого сомнѣнія, что состояніе больного безнадежно. Черезъ нѣсколько дней онъ былъ увезенъ изъ Дюссельдорфа и помѣщенъ въ частной лечебницѣ доктора Рихарца въ Энденихѣ, близъ Бонна, гдѣ оставался безвыходно болѣе двухъ лѣтъ до самой своей смерти. Психическая болѣзнь Шумана выразилась въ глубокой меланхоліи. По временамъ его болѣзненное состояніе какъ бы улучшалось; тогда онъ опять становился дѣятельнымъ, велъ переписку, принималъ посѣтителей и тогда же написалъ фортепіанный акомпаниментъ къ скрипичнымъ капричіямъ Паганини. Но эти сравнительно счастливые часы скоро проходили; больной снова впадалъ въ угнетенное состояніе, въ глубокую мучительную грусть; тогда посѣщеніе по-

[1]) Брамсъ впослѣдствіи на ту же тэму написалъ фортепіанныя въ четыре руки варіаціи, составляющія одно изъ лучшихъ его произведеній (op. 23), и посвятилъ ихъ одной изъ дочерей Шумана.

сторонних приводило его въ такое возбужденное состояніе, что докторъ вынужденъ былъ запретить свиданія съ близкими ему людьми, даже съ женою, которая вела съ больнымъ мужемъ переписку и только передъ самой его кончиной ей разрѣшено было остаться у постели умирающаго, чтобы принять его послѣдній вздохъ. — Робертъ Шуманъ умеръ 29 (17) іюля 1856 г., имѣя отъ роду всего 46 лѣтъ. Послѣ него осталось семеро дѣтей, большею частью еще малолѣтнихъ: три дочери и четыре сына. Онъ похороненъ въ Боннѣ на городскомъ кладбищѣ. На могилѣ его воздвигнутъ красивый монументъ, работы Дорндорфа, съ надписью: „Dem grossen Tondichter von seinen Freunden und Verehrern errichtet am 2 mai 1880“ (Великому композитору, воздвигнуто его друзьями и почитателями 2 мая 1880 г.). Памятникъ этотъ сооруженъ на средства, собранныя съ спеціально для этой цѣли устроенныхъ въ Боннѣ (17, 18 и 19 августа 1873 г.) концертовъ, на которыхъ исполнялись исключительно его произведенія, при участіи Клары Шуманъ. Открытіе памятника также сопровождалось музыкальнымъ празднествомъ съ исполненіемъ произведеній Шумана, которыя въ то время были уже лучше оцѣнены и болѣе распространены въ Германіи, чѣмъ при его жизни.

IV.

Композиторская дѣятельность Шумана—если ограничиться его изданными произведеніями, не считая раннихъ дѣтскихъ и юношескихъ творческихъ попытокъ—обнимаетъ періодъ времени въ двадцать четыре года, съ 1830 по 1853 г.; изъ этого періода первыя десять лѣтъ были посвящены исключительно фортепіанной музыкѣ, съ которой и начнемъ общій разборъ шумановскихъ музыкальныхъ произведеній.—Мало кто изъ композиторовъ начиналъ такъ самостоятельно, какъ Шуманъ; въ первой его фортепіанной пьесѣ „Variationen über den Namen Abegg“ (op. 1), написанной въ 1830 г., еще видна школа Гуммеля, Мошелеса, но во всѣхъ другихъ, даже самыхъ раннихъ его произведеніяхъ, какъ напр. „Papillons“, „Intermezzi“ и др., уже явно обнаруживается опредѣленный своеобразный шумановскій стиль, разработанный имъ вполнѣ, конечно, только въ позднѣйшихъ произведеніяхъ. Въ развитіи новаго стиля фортепіанной музыки Шуманъ оказалъ много существенныхъ заслугъ; съ замѣчательною талантливостью и искусствомъ онъ вводилъ въ свои фортепіанныя пьесы новыя гармоніи и новые ритмы, примѣнялъ къ нимъ полифонію

съ частыми контрапунктическими разработками, и посредствомъ широкаго расположенія аккордовъ, примѣненія педалей, употребленія новыхъ смѣлыхъ пассажей и т. п., достигалъ многихъ весьма разнообразныхъ эффектовъ, прежде никогда не встрѣчаемыхъ въ фортепіанной музыкѣ. Весьма возможно, что для этихъ нововведеній онъ видѣлъ примѣры въ произведеніяхъ своихъ современниковъ — Шопена и Листа, но во всякомъ случаѣ стиль его музыки столь существенно отличается отъ стиля, какъ Шопена, такъ и Листа, что Шуману нельзя отказать въ совершенно самостоятельномъ развитіи новой фортепіанной техники и въ этомъ отношеніи его заслуги нисколько не меньше названныхъ сейчасъ композиторовъ [1]). Насколько ново у Шумана примѣненіе фортепіано, т.-е. техническая сторона музыки, настолько же новы его произведенія въ чисто музыкальномъ отношеніи по гармоніямъ и мелодіямъ. Какъ гармонистъ, Шуманъ необыкновенно богатъ, разнообразенъ и изобрѣтателенъ; это безспорно сильнѣйшая сторона его творчества. Въ мелодическомъ отношеніи онъ бѣднѣе, но все-таки новъ и своеобразенъ; въ его фортепіанныхъ пьесахъ мало встрѣчается мелодій широкихъ, пластическихъ, свободно выдѣляющихся; вмѣсто того, среди интересной и своеобразной полифоніи, всюду видно преобладаніе небольшихъ мелодическихъ фразокъ, такъ сказать, зародышей мелодіи, часто полныхъ глубокаго выраженія, что́ придаетъ шумановской музыкѣ особенно романтическій характеръ, усиливающійся прелестными гармоніями и тѣмъ поэтическимъ настроеніемъ, которымъ проникнуто большинство его произведеній. Наконецъ, произведенія Шумана новы и по своему содержанію и по своей формѣ. Спитта въ своемъ сочиненіи о Шуманѣ вполнѣ основательно замѣчаетъ, что Шуманъ былъ музыкантъ и вмѣстѣ съ тѣмъ поэтъ, и кто хочетъ вполнѣ понять всю прелесть его музыки, тотъ, можетъ быть, долженъ проникнуться духомъ нѣмецкихъ поэтовъ, господствовавшихъ въ Германіи во время юношества Шумана, какъ Жанъ-Поль и вся романтическая школа, т.-е. Эйхендорфъ, Гейне, Рюккертъ и др. Какъ эти поэты были велики

[1]) Какъ основательно изучалъ Шуманъ характеръ фортепіано, сколько прилагалъ онъ стараній къ разработкѣ и усовершенствованію новой фортепіанной техники, доказываетъ предисловіе къ его этюдамъ (d'après les caprices de Paganini), гдѣ онъ даетъ особыя упражненія и дѣлаетъ разныя указанія, необходимыя для правильнаго исполненія и достиженія задуманныхъ имъ новыхъ фортепіанныхъ эффектовъ. Уже въ этомъ одномъ изъ самыхъ раннихъ произведеній Шумана, находимъ требованія фортепіанной техники весьма своеобразныя, оригинальныя для того времени и совершенно отличныя отъ прежняго стиля фортепіанной музыки.

преимущественно въ небольшихъ лирическихъ стихотвореніяхъ, въ нѣсколько строчекъ, въ которыхъ нерѣдко заключалось глубокое содержаніе, точно также Шуманъ умѣлъ въ мелкихъ формахъ, именно въ небольшихъ фортепіанныхъ пьесахъ, выражать многое и открывать рядъ ощущеній и чувствъ, недоступныхъ для выраженія словами. Музыка для Шумана всегда была поэтическимъ языкомъ, объясняющимъ душевныя настроенія. Еще въ дѣтствѣ онъ воспроизводилъ на фортепіано музыкальныя характеристики своихъ товарищей; точно также и позднѣе, лица, съ которыми онъ входилъ въ болѣе или менѣе близкія отношенія, собственныя его душевныя волненія, какіе-нибудь эпизоды изъ жизни, прочитанныя поэтическія произведенія и т. п., все это доставляло ему матеріалъ для музыкальнаго творчества. О своихъ раннихъ произведеніяхъ Шуманъ самъ говорилъ, что въ нихъ одновременно отражался и музыкантъ, и человѣкъ; и дѣйствительно, тотъ идеалистъ-романтикъ, какимъ былъ Шуманъ, видѣнъ въ его произведеніяхъ и въ раннихъ—по преимуществу. Такъ, напримѣръ, его небольшія фортепіанныя пьесы подъ названіемъ „Papillons“ представляютъ милыя музыкальныя картинки, написанныя подъ впечатлѣніемъ одной изъ главъ „Flegeljahren“ Ж. Поля, гдѣ изображена чета влюбленныхъ посреди веселой толпы маскарада. Въ такомъ же родѣ, и тоже въ видѣ небольшихъ маскарадныхъ сценокъ, написанъ извѣстный „Carnaval, scènes mignones sur quatre notes“, одно изъ оригинальнѣйшихъ, талантливѣйшихъ и наиболѣе зрѣлыхъ произведеній Шумана; здѣсь опять находимъ собраніе небольшихъ пьесокъ, связанныхъ между собою тѣмъ, что почти всѣ онѣ построены на однѣхъ и тѣхъ же четырехъ нотахъ [1]). Эти пьесы озаглавлены частью маскарадными именами (пьерро, арлекинъ и проч.), частью именами разныхъ лицъ; здѣсь фигурируютъ члены „Давидова Союза“: Флорестанъ, Эзебіусъ, Chiarina (Клара), Эстрелла (Эрнестина Фриккенъ), кромѣ того Шопенъ и Паганини; далѣе слѣдуетъ нѣсколько бальныхъ сценокъ: réconnaissance, aveu, promènade и два вальса (valse noble и valse allemande). Финалъ этихъ пьесъ озаглавленъ: „Marche des „Davidsbündler“ contre les Philistins“, гдѣ подъ именемъ филистимлянъ подразумѣвались филистеры, охарактеризованные

[1]) A, es, c, h или as, c, h—„Asch“, небольшой городъ въ Богеміи, мѣсто рожденія одной знакомой Шумана, Эрнестины Фриккенъ, съ которой онъ, въ то время, когда написанъ „Карнавалъ“ (1835 г.) находился въ дружескихъ отношеніяхъ и едва ли не считался ея женихомъ. Шуманъ въ шутку говорилъ, что городъ Asch имѣетъ музыкальное названіе, такъ какъ его составныя буквы входятъ въ музыкальную гамму и также и въ фамилію Schumann.

темой стариннаго неуклюжаго „Grossvatertanz'a", контрастирующаго съ оживленной горячей музыкой этого марша. „Карнавалъ" занимаетъ въ ряду фортепіанныхъ произведеній Шумана одно изъ первыхъ мѣстъ; по оригинальности замысла и мастерству выполненія это произведеніе можетъ быть названо геніальнымъ; музыкальныя изображенія „пьерро" и „арлекина", и музыкальныя характеристики мечтательной личности „Эзебіуса" и поэтическаго Шопена—превосходны по замѣчательной правдивости и художественности. Отмѣтимъ еще, какъ лучшіе нумера, вступленіе (préambule) и финальный маршъ; впрочемъ, весь „Карнавалъ" принадлежитъ къ тѣмъ произведеніямъ, гдѣ трудно найти слабыя мѣста.

Подобно тому какъ въ „Карнавалѣ", и въ другихъ фортепіанныхъ произведеніяхъ, состоящихъ изъ собранія небольшихъ пьесъ, Шуманъ каждой изъ нихъ любилъ давать особое названіе, характеризующее ея содержаніе [1]). Всѣ эти названія очень удачны, они прекрасно поясняютъ намѣреніе и мысль автора, дополняютъ и усиливаютъ впечатлѣніе слушателя и многія изъ пьесъ этого рода могутъ служить превосходными маленькими образцами програмной музыки. Но и тамъ, гдѣ заглавіе не указываетъ на опредѣленное содержаніе каждой отдѣльной пьесы, самый характеръ музыки часто обнаруживаетъ ея поэтическую основу. Это мы видимъ, напримѣръ, въ „Novelletten"; рапсодическій характеръ музыки этихъ восьми пьесъ прямо указываетъ, что онѣ вызваны какими-нибудь поэтическими разсказами или фантастическими образами, носившимися, вѣроятно, въ воображеніи композитора [2]). Къ тому же роду фортепіанныхъ пьесъ съ поэтическимъ содержаніемъ слѣдуетъ отнести „Kreisleriana", имѣющія въ основѣ фантастическій разсказъ того же названія Гофмана, а также „Arabeske", „Nachtstücke", "Albumblätter" и т. п.

Изъ фортепіанныхъ произведеній Шумана въ мелкихъ музыкальныхъ формахъ, заслуживаютъ вниманіе его варіаціи, такъ какъ въ этомъ, изрядно уже до него избитомъ, жанрѣ внесено имъ много оригинальнаго, отличающаго его варіаціи отъ подобныхъ произведеній другихъ композиторовъ, особенно его современни-

---

[1]) Такъ напримѣръ, въ его „Phantasiestücke" (op. 12) находимъ піесы подъ слѣдующими названіями: „Des Abends", „Aufschwung", „Warum?", „Grillen", „In der Nacht", „Fabel", Traumes Wirren" и „Ende vom Lied". Подобныя же характерныя названія каждой отдѣльной пьесы встрѣчаемъ, напр., въ „Kinderscenen", „Waldscenen", „Album für die Jugend".

[2]) Относительно „Novelletten" и самъ Шуманъ говорилъ, что они были „grössere zusammenhängende abenteurliche Geschichten".

ковъ, въ родѣ Тальберга, Черни, Герца, у которыхъ варіаціи обыкновенно состоятъ въ безсодержательныхъ фигураціяхъ тэмы, украшаемой виртуозными пассажами. У Шумана совсѣмъ иначе: онъ вводитъ въ свои варіаціи такое гармоническое богатство, такое ритмическое разнообразіе, обработываетъ тэмы съ такою талантливою изобрѣтательностью, что каждая его варіація представляетъ живѣйшій интересъ. Нерѣдко основная тэма подвергается у него слишкомъ свободной разработкѣ и принимаетъ такія видоизмѣненія, что становится неузнаваемою за роскошью изящныхъ музыкальныхъ красотъ, ее окружающихъ, какъ напр. въ „Анданте и варіаціяхъ“ для двухъ фортепіано (ор. 46) одномъ изъ прелестнѣйшихъ и граціознѣйшихъ произведеній. Но гдѣ выразилась вся необыкновенная сила Шумана въ стилѣ варіацій, это—его извѣстные „Симфоническіе этюды“, произведеніе, которое одно могло бы доставить автору почетное мѣсто среди первыхъ фортепіанныхъ композиторовъ всѣхъ временъ. Въ этихъ этюдахъ смѣлые бравурные пассажи, полные вкуса, соединены съ богатствомъ полифоніи и съ интереснѣйшими новыми гармоніями, при глубокомъ поэтическомъ содержаніи и замѣчательной красотѣ музыки. Эти варіаціи безусловно лучшее изъ всего, что существуетъ въ фортепіанной музыкѣ въ этомъ родѣ [1]).

Фортепіанная музыка въ широкихъ формахъ является у Шумана въ его трехъ сонатахъ. Первую изъ нихъ Fis-moll (ор. 11) довольно справедливо упрекаютъ за невыдержанность формы; дѣйствительно, въ ней нѣтъ достаточной цѣльности и хорошаго соотвѣтствія между отдѣльными частями, изъ которыхъ первая имѣетъ значительное превосходство надъ остальными. Но уже одна новизна фактуры (особенно если принять въ соображеніе, что она написана въ 1835 г.) предоставляетъ этой сонатѣ исключительное положеніе; а по богатству музыкальнаго содержанія, по той поэтичности, энергіи и страстности, которыми проникнуты вступленіе и первая часть, это одно изъ выдающихся произведеній. Болѣе удачна по формѣ соната G-moll (ор. 22); здѣсь Шуманъ сдержаннѣе въ выборѣ музыкальнаго матеріала и какъ бы старался въ старыя формы ввести новое содержаніе, что ему и удалось; по формѣ, это произведеніе можно отнести къ сонатамъ прежняго періода, по содержанію же оно вполнѣ принадлежитъ нашему времени. По музыкальнымъ достоинствамъ эта

[1]) Сравнивая „Симфоническіе этюды“ Шумана съ „Danse macabre“ Листа для фортепіано и оркестра, преимущество остается за парафразами Листа; но эти послѣднія не исключительно фортепіанныя, а отчасти и оркестровыя, такъ что въ чисто фортепіанной музыкѣ варіаціи Шумана сохраняютъ свое первое мѣсто.

соната слабѣе какъ первой, такъ и третьей сонаты F-moll (называемой также „concert sans orchestre), написанной опять въ болѣе свободной формѣ и содержащей прекрасныя страницы шумановскаго вдохновенія. Къ фортепіаннымъ произведеніямъ Шумана въ болѣе широкихъ формахъ принадлежатъ также „Faschingsschwank aus Wien“ (Fantasie-Bilder) — большая пьеса въ пяти частяхъ; „Humoreske“, гдѣ среди поэтической музыки очень удачно введенъ юморъ, къ которому Шуманъ любилъ иногда прибѣгать какъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ, такъ и фортепіанныхъ произведеніяхъ [1]), и „Phantasie“ (op. 17); изъ нихъ послѣдняя—весьма слабая по музыкѣ пьеса, а два первыхъ, особенно „Humoreske“, могутъ быть поставлены въ ряду наиболѣе интересныхъ фортепіанныхъ произведеній.

Упомянемъ еще, какъ о заслуживающихъ вниманія, пьесахъ для фортепіано въ 4 руки: „Bilder aus Osten“, „Zwölf Clavierstüke“ и „Ballscenen“, и тѣмъ заключимъ нашъ краткій обзоръ фортепіанныхъ произведеній Шумана, въ ряду которыхъ имѣемъ капитальнѣйшія вещи, предоставляющія ихъ автору громкое имя среди композиторовъ всѣхъ временъ. Да и въ большей части остальныхъ его фортепіанныхъ произведеній достоинства такъ существенны, что заставляютъ забывать о недостаткахъ. Замѣтимъ, что фортепіанныя произведенія, написанныя въ первыя 10 лѣтъ композиторской дѣятельности Шумана, въ нѣкоторомъ отношеніи имѣютъ существенныя преимущества. Позднѣе Шуманъ перешелъ отъ исключительно фортепіанной музыки въ сферу болѣе широкую, отдался задачамъ болѣе высокимъ и обогатилъ искусство прекрасными плодами своего творчества во всѣхъ родахъ, во всѣхъ отрасляхъ музыки. Но той свѣжести впечатлѣнія, той богатой изобрѣтательности, той прелестной оригинальности, которыми отличаются многія его фортепіанныя произведенія перваго періода, онъ уже никогда не могъ превзойти, и если въ позднѣйшихъ своихъ произведеніяхъ, болѣе грандіозныхъ, достигалъ подобныхъ качествъ, то не часто. Въ произведеніяхъ перваго періода сильнѣе отражались всѣ его субъективныя качества какъ человѣка: мечтательность, фантастичность и искренность соединялись въ его натурѣ съ нѣкоторой долей врожденной тяжеловатости и грубоватости, — можно сказать, нѣмецкой буржуазности, но значительно смягчаемой громадною талантливостью натуры, никогда не впадавшей въ вульгарность. Эти личныя качества, отражаясь въ произведеніяхъ Шумана, обу-

[1]) Напримѣръ „Grillen“ и „Fabel“ въ Phantasiestücke (op. 12).

словливали ихъ достоинства и недостатки и вмѣстѣ съ тѣмъ впечатлѣніе, производимое ими на музыкантовъ или слушателей. Замѣтимъ еще, что музыка Шумана—по преимуществу нѣмецкая, проникнутая извѣстнымъ національнымъ, отчасти даже народнымъ, характеромъ, что также должно быть принято во вниманіе при оцѣнкѣ его произведеній.

Отъ фортепіанныхъ произведеній Шуманъ перешелъ къ произведеніямъ вокальнымъ съ акомпаниментомъ фортепіано т.-е. къ романсамъ и пѣснямъ. Въ этомъ родѣ музыки онъ имѣлъ геніальнаго предшественника въ лицѣ Франца Шуберта, поставившаго нѣмецкую пѣсню на высокую степень художественнаго развитія; но Шуманъ пошелъ еще дальше, и въ этой области оказалъ большія заслуги. Уступая Шуберту въ богатствѣ мелодіи, Шуманъ имѣлъ передъ нимъ преимущество по новизнѣ и богатству въ гармоническомъ отношеніи и по разнообразію въ фактурѣ своихъ романсовъ. Если его мелодіи не имѣютъ той рельефности и пластичности, какъ у Шуберта, за то шумановскіе романсы въ мелодическомъ отношеніи были новы и оригинальны для своего времени и ихъ мелодіи до такой степени тѣсно связаны съ текстомъ, что какъ будто вытекаютъ изъ самаго стихотворенія. Точно также музыкальная форма его романсовъ вполнѣ соотвѣтствуетъ литературной формѣ лежащихъ въ ихъ основѣ стихотвореній, которыя такимъ образомъ, пріобрѣтая въ музыкѣ бо́льшую степень выразительности, сохраняются во всей неприкосновенности со всѣми своими качествами, а это одно изъ существенныхъ достоинствъ въ вокальной музыкѣ, встрѣчаемое, къ сожалѣнію, далеко не у всѣхъ композиторовъ въ романсѣ. Оставаясь вѣренъ формѣ избраннаго стихотворенія, Шуманъ точно также сохранялъ и другія качества стиховъ, ихъ размѣръ, просодію, вѣрность декламаціи, не прибѣгая, напримѣръ, къ излюбленному другими повторенію словъ текста; если онъ когда и повторялъ какую фразу, то дѣлалъ это, преслѣдуя скорѣе поэтическую, чѣмъ исключительно музыкальную цѣль. Поэтому о Шуманѣ можно сказать съ бо́льшимъ правомъ, чѣмъ о комъ-либо, что онъ не перекладывалъ стихотворенія на музыку, но именно воспроизводилъ ихъ въ звукахъ и какъ бы въ самихъ стихотвореніяхъ находилъ средства для музыкальнаго выраженія текста. Весьма существенно то обстоятельство, что Шуманъ, прежде чѣмъ началъ писать романсы, въ теченіе предшествующей десятилѣтней композиторской дѣятельности, выработалъ новый своеобразный стиль фортепіанной музыки. Примѣняя этотъ стиль къ акомпанименту своихъ романсовъ, онъ придалъ особенное зна-

ченіе фортепіанной партіи, дополняющей и усиливающей партію вокальную, что давало ему средства къ выраженію тончайшихъ музыкально-поэтическихъ оттѣнковъ. Въ шумановскихъ романсахъ аккомпаниментъ или, вѣрнѣе, фортепіанная партія имѣетъ существенное значеніе и всегда находится въ полнѣйшемъ соотвѣтствіи съ характеромъ текста; употребляемые Шуманомъ пріемы въ аккомпаниментѣ отличаются и новизной, и замѣчательнымъ разнообразіемъ. Иногда фортепіанная партія составляетъ какъ бы самостоятельную пьесу, а голосу предоставлена только деклямація [1]); въ другой разъ, наоборотъ, голосъ выступаетъ почти совершенно одинъ, а фортепіано ограничивается немногими аккордами [2]), и именно этимъ и достигается наиболѣе характеристическое впечатлѣніе. Во многихъ романсахъ задача фортепіано заключается въ выраженіи тѣхъ глубокихъ таинственныхъ ощущеній, которыя уже выходятъ за предѣлы выразительности слова; въ такихъ случаяхъ, фортепіано выступаетъ бо́льшею частью совершенно самостоятельно и пѣніе замолкаетъ. Въ этомъ родѣ въ нѣкоторыхъ романсахъ находимъ фортепіанныя заключенія, въ которыя Шуманъ вводитъ не встрѣчавшіяся въ романсѣ, самостоятельныя, темы и тѣмъ придаетъ романсу новый неожиданный характеръ [3]). Иногда въ подобномъ фортепіанномъ заключеніи онъ продолжаетъ стихотвореніе, какъ напримѣръ въ окончаніи „Frauenliebe und Leben“ (op. 42) онъ повторяетъ музыку перваго нумера этого собранія романсовъ, какъ бы вызывая въ фантазіи убитой горемъ вдовы воспоминаніе о минувшемъ счастьи любви.—Вокальной музыки съ фортепіанно, для одного, двухъ и нѣсколькихъ голосовъ, романсовъ, пѣсенъ, балладъ и проч., у Шумана масса. Онъ писалъ музыку на тексты Гейне, Кернера, Рюкерта, Гёте, Эйхендорфа, Шамиссо, Гейбеля, Байрона, Бёрнса и др., при чемъ всегда, за весьма немногими исключеніями, выборъ текста доказываетъ тонкій поэтическій вкусъ Шумана, рѣдко останавливающагося на стихотвореніяхъ, лишенныхъ серьезнаго интереса и художественнаго значенія. Болѣе всего онъ бралъ стихотворенія Гейне, лирическая поэзія котораго близко соотвѣтствовала собственной натурѣ Шумана и въ его музыкѣ нашла изумительно вѣрное выраженіе.

Такой громадный музыкальный талантъ, какъ Шуманъ, конечно, не могъ удовлетворяться тѣсными рамками фортепіано и романсовъ и рано или поздно долженъ былъ обратиться къ ор-

[1]) Напримѣръ „Das ist ein Flöten und Geigen“, op. 48, № 9.

[2]) „Ich hab im Traum geweinet“, op. 48, № 13.

[3]) Напримѣръ „Die alten bösen Lieder“, op. 48, № 16.

кестру; сдѣлавъ это, онъ далъ новыя доказательства силы своего творчества въ такихъ капитальныхъ произведеніяхъ, какъ его четыре симфоніи. Въ этой области онъ не является такимъ яркимъ новаторомъ, какъ Берліозъ или Листъ; въ своихъ симфоніяхъ Шуманъ придерживался въ общемъ прежнихъ симфоническихъ формъ, дѣлая отступленія только въ частностяхъ, и если сравнивать его оркестровыя произведенія съ произведеніями другихъ композиторовъ, то онъ ближе всего къ Бетховену и по фактурѣ своихъ симфоній, и отчасти по ихъ содержанію. Что Шуманъ имѣлъ положительно призваніе къ симфонической музыкѣ, доказываетъ уже его первая симфонія (B-dur), написанная въ 1841 г. Прежнія его попытки писать для оркестра, оставшіяся ненапечатанными, были весьма немногочисленны. „Конечно, я еще мало практиковался въ оркестровыхъ вещахъ,— писалъ Шуманъ въ 1839 г. Дорну [1]), — но думаю еще достигнуть господства (Herrschaft zu erreichen)". Желаемаго онъ достигъ при первой же работѣ въ этомъ родѣ; его первая симфонія — художественное произведеніе, законченное въ своихъ формахъ, богатое хорошей, интересной музыкой и поэтическое по содержанію. Должно быть, прелестныя картины, чудесные образы носились въ фантазіи Шумана, когда онъ писалъ эту симфонію, полную жизни, веселья и бодрости. Въ этомъ отношеніи особенно выдается послѣдняя часть; въ ней столько оживленія, свѣжести, такое спокойно-веселое настроеніе, какого Шуманъ болѣе не достигалъ ни въ одномъ изъ своихъ оркестровыхъ произведеній. Онъ хотѣлъ назвать эту симфонію „Весеннею симфоніею (Frühlings-Symphonie) и проектировалъ дать особыя заглавія каждой части [2]), что, конечно, освѣтило бы намѣренія автора и придало бы музыкѣ болѣе или менѣе опредѣленный характеръ, но, при изданіи партитуры, Шуманъ по какимъ-то соображеніямъ исключилъ эти заглавія. Подобнымъ же счастливымъ, весеннимъ, но болѣе страстнымъ, настроеніемъ проникнута симфонія D-moll, написанная непосредственно вслѣдъ за первою въ томъ же 1841 г. и изданная только въ 1851 г., подъ названіемъ 4-й симфоніи (op. 120). Форма этой симфоніи нѣсколько своеобразна; всѣ ея части (вступленіе, аллегро, романсъ, скерцо и финалъ) слѣдуютъ одна за другой безъ перерывовъ, такъ что вся симфонія заключается

---

[1]) Wasielewski, стр. 367.

[2]) Первую часть симфоніи онъ предполагалъ назвать „Frühlings Erwachen", послѣднюю — „Frühlings Abschied".

какъ бы въ одной большой части [1]). Вѣроятно, вслѣдствіе этого отступленія отъ традиціонной формы и явилась у Шумана, какъ извѣстно, идея назвать это произведеніе „симфоническою фантазіею". — Такъ называемая 2-я симфонія Шумана (C-dur) серьезнѣе и богаче предъидущихъ по содержанію и гораздо шире по замыслу и по выполненію; по характеру музыки и ея настроенію, въ этой симфоніи сильнѣе выдается сродство Шумана съ Бетховеномъ. Это сродство выразилось еще болѣе въ 3-й симфоніи (Es-dur), называемой „Рейнскою симфоніею", самой капитальной и грандіозной изъ всѣхъ симфоній Шумана. Въ этомъ произведеніи Шуманъ не ограничился обычными частями, но между анданте и финаломъ ввелъ самостоятельную пятую часть въ медленномъ темпѣ торжественнаго настроенія [2]) и достигъ такой силы и глубины вдохновенія, что въ этой части, которую по справедливости можно назвать геніальной, находимъ едва-ли не самое лучшее изъ всей шумановской музыки. Превосходны и остальныя четыре части и вся симфонія можетъ служить доказательствомъ большого мастерства и необыкновеннаго богатства творчества, не смотря на то, что эта партитура написана въ 1850 г., когда болѣзненное состояніе Шумана уже начинало сказываться ослабленіемъ творческой фантазіи въ большей части его произведеній, относящихся къ тому-же періоду времени. — Вообще, всѣ четыре симфоніи Шумана занимаютъ въ музыкальномъ искусствѣ видное почетное мѣсто; но при всѣхъ ихъ прекрасныхъ достоинствахъ въ нихъ есть одинъ общій и весьма существенный недостатокъ—онѣ иструментованы далеко неудовлетворительно, что́ сказывается особенно во 2-й и 3-й симфоніяхъ, сложная богатая фактура которыхъ требуетъ наиболѣе рельефной и колоритной инструментовки, а именно этого-то и нѣтъ въ оркестрѣ Шумана, нѣсколько отставшаго въ этомъ отношеніи отъ своего вѣка. Его оркестръ нельзя и сравнивать съ мастерской,

[1]) Независимо отъ внѣшней связи, существуетъ между всѣми частями болѣе тѣсная тематическая связь; такъ, мотивъ вступленія является во 2-й части (въ романсѣ), тема аллегро введена въ финалъ; тріо въ скерцо построено на видоизмѣненной партіи скрипки соло въ романсѣ и т. д. Особенность формы обнаруживается также въ первомъ аллегро, построенномъ нѣсколько иначе, чѣмъ вообще практиковалось прежде, а также въ послѣдней части, связанной съ предшествующимъ ей скерцо своеобразнымъ эпизодомъ въ медленномъ темпѣ, съ величественнымъ фантастическимъ характеромъ, контрастирующимъ съ живымъ веселымъ настроеніемъ музыки финала.

[2]) Извѣстно, что эта часть симфоніи написана подъ впечатлѣніемъ, вынесеннымъ Шуманомъ при видѣ Кельнскаго собора и торжественнаго обряда посвященія епископа въ кардиналы.

изящной, хотя и скромной, инструментовкой Мендельсона, не говоря уже о Берліозѣ или Листѣ, которые расширили свой оркестръ и, вводя новые пріемы, новыя комбинаціи, достигали небывалой до нихъ красоты звука и эффектности въ инструментовкѣ. Шуманъ, наоборотъ, оставался при прежнихъ скромныхъ средствахъ бетховенскаго оркестра и создавалъ произведенія, которыя, по силѣ вдохновенія, по глубинѣ содержанія и по новизнѣ, были выше его инструментаторскихъ способностей. Поэтому его симфоническія произведенія, — и преимущественно лучшія изъ нихъ — при исполненіи производятъ на слушателей не такое сильное впечатлѣніе, какого можно бы было ожидать, при тѣхъ богатыхъ музыкальныхъ достоинствахъ, которыми они обладаютъ.

Есть у Шумана еще одно оркестровое произведеніе, которое также можно причислить къ симфоніямъ и которое онъ первоначально даже назвалъ „симфоньеттой", но впослѣдствіи издалъ подъ заглавіемъ: „Увертюра, скерцо и финалъ". Это произведеніе въ общемъ слабѣе его симфоній, но на чудесную вторую часть можно указать какъ на прекрасный типъ симфоническихъ скерцо.—Какъ въ симфоніяхъ Шуманъ примыкалъ такъ-сказать къ Бетховену, точно также примыкалъ онъ къ нему въ своихъ увертюрахъ, написанныхъ по формѣ бетховенскихъ. Бо́льшая часть увертюръ Шумана написана къ извѣстнымъ драматическимъ литературнымъ произведеніямъ; но лучшее впечатлѣніе онѣ производятъ въ концертной залѣ, если ихъ слушать, зная содержаніе тѣхъ драмъ, къ которымъ онѣ написаны и къ которымъ онѣ дѣйствительно служатъ какъ-бы введеніямъ. Лучшія изъ увертюръ Шумана: „Манфредъ" — къ драмѣ Байрона, „Мессинская Невѣста"—къ драмѣ Шиллера, и „Геновева"—къ оперѣ Шумана; остальныя увертюры: „Фаустъ", „Германъ и Доротея", „Юлій Цезарь" и „Торжественная увертюра" (Fest-Ouv.) съ хоромъ, написанныя въ послѣдніе годы дѣятельности Шумана, слѣдуетъ причислить къ его слабымъ произведеніямъ.

Камерной музыкѣ Шуманъ посвятилъ немного времени изъ своей композиторской дѣятельности, но произведеній въ этомъ родѣ написалъ сравнительно не мало. Три квартета для струнныхъ инструментовъ, написанные имъ въ іюнѣ и въ іюлѣ 1842 г., остались единственными и онъ болѣе не возвращался къ подобному жанру. Квартеты эти—талантливыя чудесныя произведенія; не выходя изъ тѣсныхъ предѣловъ квартетныхъ партитуръ, они богаты прекрасной интересной музыкой, проникнутой тѣмъ романтическимъ поэтическимъ духомъ, той сердечностью и теплотой, которыми отличаются произведенія лучшаго періода творчества

Шумана, и много въ нихъ такой обаятельной прелести, какой онъ достигалъ вообще не часто и въ самыхъ удачнѣйшихъ своихъ вещахъ.—Между его произведеніями для фортепіано и струнныхъ инструментовъ, на первомъ планѣ стоитъ квартетъ (фортепіано скрипка, альтъ и віолончель); это, безъ сомнѣнія, лучшее въ камерной музыкѣ новѣйшаго времени произведеніе, которое еще долго будетъ вызывать удивленіе не только изумительною силою творчества, но и глубиною поэтическаго содержанія музыки, чарующей слушателя отъ начала до конца этого безподобнаго произведенія.—Немногимъ уступаетъ квартету написанный въ одномъ съ нимъ году (1842) квинтетъ для фортепіано и струнныхъ инструментовъ, также заключающій истинно геніальныя музыкальныя красоты и, также какъ квартетъ, изумительный по новизнѣ и по совершенству фактуры.—Изъ трехъ Шумановскихъ тріо для фортепіано скрипки и віолончеля, лучшее первое тріо D-moll (op. 63), характеръ музыки котораго отличается страстностью и отчасти мрачнымъ настроеніемъ; въ этомъ тріо, какъ и въ двухъ другихъ, нѣтъ уже той жизненности и бодрости, которыя бьютъ ключемъ въ фортепіанныхъ квартетѣ и квинтетѣ, что становится понятно, если припомнить, что тріо были написаны значительно позднѣе, когда состояніе духа ихъ автора становилось все мрачнѣе. — Кромѣ названныхъ есть у Шумана еще не мало вещей для фортепіано съ различными инструментами; бо́льшая часть изъ нихъ написана въ послѣдній періодъ его композиторской дѣятельности.

Въ области концертной музыки имѣемъ высокій образецъ творчества Шумана въ его фортепіанномъ концертѣ (A-moll) съ оркестромъ. Это—одно изъ прекраснѣйшихъ и наиболѣе зрѣлыхъ шумановскихъ произведеній; оригинальность фактуры предоставляетъ ему совершенно особенное, исключительное мѣсто среди концертовъ другихъ композиторовъ; рядомъ съ изящными виртуозными фортепіанными эффектами, находимъ здѣсь превосходную содержательную музыку, чѣмъ далеко не всегда отличаются произведенія, предназначаемыя для виртуозныхъ цѣлей. Уступая концертамъ Листа въ эффектности и въ блескѣ инструментовки, концертъ Шумана имѣетъ преимущество по богатству музыкальнаго содержанія и при хорошемъ исполненіи слушается съ большимъ интересомъ. Есть еще у Шумана два концертныхъ аллегро для фортепіано съ оркестромъ [1]), изъ которыхъ одно именно G-dur

[1]) Introduction und Allegro appass. G-dur (op. 92) и Concertallegro mit Introduction D-moll (op. 134).

по своимъ выдающимся достоинствамъ принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ концертной музыки; другое D-moll, позднѣйшее, уступаетъ первому. Замѣтимъ, что концертныя вещи Шумана для фортепіано съ оркестромъ инструментованы удачнѣе, чѣмъ большинство его симфонической музыки и въ этомъ отношеніи отличаются тѣмъ, что партія фортепіано находится въ болѣе тѣсной связи съ оркестромъ, чѣмъ это практиковалось прежде. Упомянемъ еще о слѣдующихъ концертныхъ произведеніяхъ съ оркестромъ: о концертѣ для віолончеля, заслуживающаго особеннаго вниманія каждаго хорошаго віолончелиста-виртуоза и о фантазіи для скрипки, посвященной Іоахиму, у котораго находится также автографъ неизданнаго скрипичнаго концерта (въ 3-хъ частяхъ), написаннаго Шуманомъ въ 1853 г.

Въ одной изъ своихъ журнальныхъ статей, объ исполненіи въ 1840 г. „Klänge aus Osten“ Маршнера [1]), Шуманъ между прочимъ хвалилъ автора за идею „обогатить концертную залу новомъ родомъ музыки“. Названное произведеніе Маршнера состоитъ изъ увертюры, хоровъ и вокальныхъ соло съ оркестромъ; содержаніе заключается въ похожденіяхъ любящей четы. Подобный романтическій сюжетъ, составлявшій прежде исключительно достояніе оперы, замѣняя въ концертной залѣ библейскіе сюжеты ораторій, представлялъ тогда дѣйствительно новый родъ музыки. Шуманъ воспользовался этимъ примѣромъ и въ 1843 г. написалъ большую партитуру „Рай и Пери“ для оркестра, пѣнія соло и хора; это было первое его большое вокальное произведеніе съ оркестромъ. Текстъ для этой музыки заимствованъ изъ поэмы „Лалла Рукъ“ Томаса Мура. Выборъ сюжета весьма удачный, какъ представляющій благодарныя задачи для музыки; сюжетъ (Пери отыскиваетъ наиболѣе пріятный для небесъ даръ, который открылъ бы ей двери рая) очень поэтиченъ и фантастическія картины востока особенно привлекательны для каждаго композитора. Шуманъ не далъ своему произведенію никакого названія, не причисляя его ни къ одной изъ существовавшихъ формъ; оно представляетъ колоссальную кантату въ 3-хъ частяхъ, въ которой находимъ и лирическія мѣста, и поэтическіе разсказы, и большіе драматическіе эпизоды, и сцены, какъ напримѣръ, сцена битвы. Въ музыкальномъ отношеніи задача выполнена Шуманомъ въ общемъ съ большою талантливостью и съ тѣми самостоятельностью и оригинальностью, которыми отличается вся его композиторская дѣятельность. Въ этой партитурѣ много хорошей музыки,

[1]) См. Ges. Schr. v. Schumann, т. II, стр. 287.

чарующей иногда слушателя чудеснымъ лирическимъ нàстроеніемъ, а мѣстами и драматизмомъ; но къ сожалѣнію встрѣчаются, притомъ не рѣдко, и весьма слабыя въ музыкальномъ отношеніи мѣста, написанныя какъ будто на скоро, безъ достаточной критической оцѣнки, что̀ значительно ослабляетъ общее впечатлѣніе при цѣломъ исполненіи этого все же прекраснаго произведенія [1]).

Гораздо значительнѣе другое большое вокальное съ оркестромъ произведеніе Шумана „Сцены изъ Фауста“, большая партитура въ трехъ частяхъ. Въ 1-ую часть партитуры входятъ три сцены изъ первой части драмы Гёте: Фаустъ и Гретхенъ въ саду, Гретхенъ передъ образомъ Mater dolorosa и сцена въ церкви. Другія двѣ части партитуры заключаютъ сцены изъ второй части гётевскаго Фауста; именно во 2-й части партитуры находимъ музыку къ слѣдующимъ эпизодамъ: первая сцена перваго акта (хоръ духовъ, восходъ солнца и монологъ Фауста), сцена четырехъ старухъ и смерть Фауста; 3-я часть состоитъ изъ семи нумеровъ музыки къ послѣднимъ сценамъ 5-го акта. Конечно, если писать музыку къ „Фаусту“ Гёте, не искажая текста, то возможны только подобныя, отрывочныя музыкальныя сцены, и если сравнить, что̀ есть въ музыкѣ на сюжетъ Фауста, то безспорно музыку Шумана слѣдуетъ считать наиболѣе достойною произведенія геніальнаго нѣмецкаго поэта, наиболѣе проникнутою его духомъ и характеромъ. Какъ на выдающіеся нумера въ этой большой партитурѣ укажемъ на „сцену въ церкви“ въ 1-й части, на „восходъ солнца“ и „смерть Фауста“—во 2-й части, и на большинство нумеровъ 3-й части, заключающей сцены „Faust's Verklärung“, для которыхъ и самъ Гёте требовалъ содѣйствія музыки, какъ бы сознавая невозможность даже всею силою своего

---

[1]) Въ такомъ-же родѣ, какъ „Рай и Пери“ есть еще другое произведеніе, но гораздо слабѣйшее, именно „Der Rose Pilgerfahrt“ (странствованіе розы, превращенной въ дѣвушку—плохая сантиментальная идиллія М. Горна), написанная Шуманомъ въ 1851 г. въ болѣе тѣсныхъ рамкахъ и для небольшихъ музыкальныхъ средствъ. Упомянемъ еще о вокальныхъ съ оркестромъ балладахъ: „Der Konigssohn“, „Des Sängers Fluch“, „Das Gluck von Edenhall“—всѣ три на тексты Уланда—и „Vom Pagen und der Königstochter“ на текстъ Гейбеля. Особенныхъ музыкальныхъ достоинствъ какъ „Странствованіе Розы“ такъ и баллады не представляютъ.—Къ этому же роду музыки слѣдуетъ отнести „Nachtlied“ (на текстъ Геббеля), „Neujaralied“ (текстъ Рюкерта) и „Requiem für Mignon“ (изъ Wilhelm Meister Гёте); послѣднее изъ названныхъ произведеній наиболѣе удачное. Какъ по содержанію текста, талантливо сочиненнаго самимъ Шуманомъ, такъ и по музыкѣ, написанной безъ особыхъ претензій, но съ задушевностью и теплотой, реквіемъ Миньоны очень милое произведеніе, разсчитанное не на большую концертную залу, а на маленькій кружокъ любителей музыки.

геніальнаго стиха вызвать настроеніе, необходимое для его цѣлей. Глубокое мистическое содержаніе этихъ сценъ нашло въ партитурѣ Шумана соотвѣтствующее музыкальное выраженіе, которое, усиливая впечатлѣніе, дѣлаетъ эти сцены болѣе понятными и доступными при исполненіи ихъ съ музыкой, чѣмъ при чтеніи, требующемъ особенной сосредоточенности. Въ хоровыхъ нумерахъ 3-й части внесено Шуманомъ столько своеобразной изобрѣтательности и все это выполнено съ такою необыкновенною талантливостью, что здѣсь мы находимъ положительно лучшее изъ всего написаннаго Шуманомъ для хора и оркестра.

Рядомъ съ сценами изъ Фауста можно поставить музыку къ драмѣ „Манфредъ“ Байрона, которую Шуманъ писалъ (въ 1848 г.) съ особеннымъ удовольствіемъ. „Никогда еще не отдавался я работѣ съ такою любовью и съ такимъ подъемомъ силъ“,—говорилъ Шуманъ относительно этого произведенія [1]). Романтическій до крайности сюжетъ драмы Байрона, съ мрачной таинственной основой, глубокій смыслъ содержанія, все это вмѣстѣ плѣняло Шумана и давало ему богатый матеріалъ для музыки. Замѣтимъ, что, рѣшившись писать музыку къ „Манфреду“, Шуманъ не оставался вполнѣ вѣренъ оригиналу драмы, но допустилъ отступленія, сдѣлавъ во всѣхъ трехъ актахъ нѣкоторыя измѣненія и сокращенія. Кромѣ увертюры онъ написалъ пятнадцать нумеровъ музыки, частью вокальной, но преимущественно для одного оркестра. Все здѣсь задумано очень глубоко и выполнено въ общемъ превосходно. Увертюра заслуживаетъ особаго вниманія; согласно содержанію драмы, она проникнута сильною грустью, какъ бы отчаяніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страстнымъ характеромъ, представляя прекрасное выраженіе душевныхъ страданій „Манфреда“ и его мрачныхъ воспоминаній объ Астартѣ, грустный образъ которой такъ чудесно обрисованъ въ средней части увертюры. Прекрасно написанъ антрактъ (№ 5) и еще лучше „вызовъ феи Альповъ“, а такія мелодраматическія сцены, какъ „заклинаніе Астарты“ и „воззваніе Манфреда къ Астартѣ“ принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ Шумана и при исполненіи производятъ сильное впечатлѣніе. Упомянемъ еще, какъ о выдающихся нумерахъ этой интересной партитуры, о соло для англійскаго рожка, о гимнѣ духовъ Аримана (для мужского хора) мрачнаго суроваго характера и о заключительномъ хорѣ. Этотъ хоръ, доно-

---

[1]) Василевскій разсказываетъ, что „Манфредъ“ Байрона производилъ на Шумана такое впечатлѣніе, что однажды, въ Дюссельдорфѣ, читая его вслухъ, на одной сценѣ онъ былъ разстроганъ до слезъ, заставившихъ его прекратить чтеніе.

сящійся издали къ умирающему Манфреду, не входитъ въ планъ намѣреній Байрона и составляетъ одно изъ существенныхъ измѣненій, допущенныхъ Шуманомъ; но по музыкѣ хоръ этотъ такъ безгранично красивъ и послѣ мрачныхъ сценъ драмы производитъ такое смягчающее, примиряющее впечатлѣніе, что, слушая его, остается сожалѣніе о его слишкомъ небольшихъ размѣрахъ и всегда является желаніе повторенія. — Шуманъ предназначалъ свою музыку къ „Манфреду“ для исполненія при сценической обстановкѣ и пытался даже устроить это въ Берлинѣ, что̀ ему однако же не удалось; въ 1852 г. Листъ поставилъ „Манфреда“ съ музыкой Шумана на сценѣ въ Веймарѣ, позднѣе этому примѣру послѣдовали нѣкоторые другіе театры и въ Мюнхенѣ „Манфредъ“ имѣлъ весьма хорошій успѣхъ. Однако, и самъ Байронъ не считалъ своего „Манфреда“ пригоднымъ для сценическаго исполненія и врядъ ли музыка Шумана, сама по себѣ необыкновенно художественная, — можетъ превратить эту драму, назначенную лишь для чтенія, въ произведеніе вполнѣ сценичное.

Писать драматическую музыку для сцены было долгое время завѣтною мечтою Шумана; но изъ-подъ его пера вышла только одна опера „Геновева“, которая до сихъ поръ еще не имѣетъ большого распространенія, хотя по многимъ своимъ достоинствамъ заслуживаетъ этого. Либретто „Геновевы“ (составленное самимъ Шуманомъ по драмамъ Тика и Геббеля), если къ нему относиться съ строгими требованіями какъ къ сценическому произведенію, не лишено существенныхъ недостатковъ; въ немъ видна нѣкоторая натянутость, монотонность, мѣстами отсутствіе дѣйствія, нѣкоторыя сцены не вполнѣ мотивированы и т. п.,—но въ общемъ, по своему содержанію и по выполненію, оно интереснѣе и лучше чѣмъ большая часть извѣстныхъ оперныхъ либретто. Выдающіяся достоинства оперы „Геновевы“ заключаются въ музыкѣ, которая значительно отличается отъ господствующихъ въ театрахъ оперныхъ жанровъ; въ ней нѣтъ ни бравурно-виртуознаго пѣнія итальянскихъ оперъ, ни грубыхъ эффектовъ декоративной мейерберовской музыки, ни тѣхъ прославленныхъ новаторскихъ вагнеровскихъ пріемовъ, которыми и пѣніе, и самая музыка низведены до ничтожества, а музыкальное творчество обращено въ ремесленность. Врагъ внѣшнихъ эффектовъ, Шуманъ и въ операхъ оставался серьезнымъ композиторомъ и, преслѣдуя дѣйствительно художественныя цѣли, пользовался только строго музыкальными средствами. Поэтому его опера очень высоко цѣнится музыкантами, которые находятъ въ ней массу хорошей музыки и несо-

мнѣнныя доказательства большой силы творчества; но обычная публика, воспитанная на операхъ Верди, Мейербера и т. п., конечно, не найдетъ въ „Геновевѣ“ удовлетворенія своимъ оперным требованіямъ; такая публика найдетъ эту музыку слишкомъ скромною, слишкомъ интимною и тонкою для сцены. Вотъ почему опера Шумана до сихъ поръ не сдѣлалась репертуарной оперой и врядъ ли скоро получитъ болѣе широкое распространеніе. А между тѣмъ эта опера скорѣе чѣмъ какая-либо другая можетъ быть названа „музыкальной драмой“, о которой такъ много и громко трактовалъ Вагнеръ. Тѣ существенныя достоинства, которыми отличаются романсы Шумана, — тѣсное сліяніе музыки съ текстомъ, и замѣчательно удачная, правдивая, музыкальная характеристика различныхъ настроеній,—находимъ и въ оперѣ, гдѣ многія драматическія положенія очерчены музыкой съ изумительнымъ искусствомъ. Одна изъ главныхъ особенностей стиля музыки „Геновевы“ заключается въ томъ, что въ ней нѣтъ тѣхъ безсодержательныхъ въ музыкальномъ отношеніи речитативовъ, которые въ большинствѣ оперъ служатъ какъ-бы прозаическими антимузыкальными связками между отдѣльными пѣвучими закругленными оперными нумерами; Шуманъ замѣнилъ подобные речитативы мелодической декламаціей, сопровождаемой не отдѣльными аккордами струнныхъ инструментовъ, какъ въ прежнихъ речитативахъ, а сплошнымъ, связнымъ оркестровымъ акомпаниментомъ, всегда имѣющимъ значеніе и музыкальное содержаніе. Такой мелодической декламаціи онъ отвелъ въ своей оперѣ весьма значительное мѣсто [1]) и если при этомъ не всегда достигалъ вполнѣ хорошихъ результатовъ, то уже самая идея о примѣненіи и развитіи декламаціоннаго стиля доказываетъ, какъ ново и правильно понималъ Шуманъ задачи и цѣли драматической музыки, смѣло осуществляя ихъ въ своей оперѣ.

Для заключенія общаго обзора композиторской дѣятельности Шумана, остается упомянуть о его произведеніяхъ духовной музыки, которыхъ у него написано весьма немного, хотя этотъ родъ музыки онъ считалъ лучшею задачею искусства. „Посвятить силы духовной музыкѣ, — писалъ онъ въ январѣ 1851 г. одному изъ своихъ пріятелей, — остается, конечно,

---

[1]) Въ этомъ отношеніи „Геновева“ имѣетъ сродство съ операми русскихъ композиторовъ позднѣйшаго времени, которыми декламаціонный стиль драматической музыки разработанъ до весьма высокой степени совершенства; лучшій примѣръ — „Каменный Гость“ Даргомыжскаго.

высшей цѣлью художника. Но въ юности всѣ мы еще такъ сильно привержены къ землѣ съ ея радостями и печалями и только въ зрѣломъ возрастѣ начинаемъ стремиться выше. Надѣюсь, что эта пора моихъ стремленій уже недалеко". Еще ранѣе этого у него были написаны произведенія духовной музыки: „Adventlied"—для пѣнія соло, хора и оркестра (1848) и Мотетъ для мужскихъ голосовъ (1849), написанный сначала съ акомпаниментомъ органа, а впослѣдствіи съ оркестромъ. Затѣмъ, въ 1852 г. онъ написалъ для хора съ оркестромъ мессу и реквіемъ. Всѣ эти произведенія, по замыслу, доказываютъ прекрасныя намѣренія серьезнаго художника; но, по выполненію, оставляютъ желать большаго, особенно отъ такого богато-одареннаго музыканта какъ Шуманъ. Да, кажется, и самъ онъ не придавалъ особеннаго значенія этимъ произведеніямъ; месса и реквіемъ были изданы уже послѣ его смерти.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что нѣтъ ни одного рода музыки, въ которомъ бы Шуманъ не далъ прекрасныхъ талантливыхъ произведеній, заслуживающихъ особеннаго вниманія и составляющихъ цѣнный вкладъ въ искусство. Въ областяхъ музыки фортепіанной, вокальной и камерной имѣемъ большой рядъ его произведеній, отличающихся новизною стиля и колорита и особенностью музыкальнаго и поэтическаго содержанія; многія изъ его фортепіанныхъ пьесъ, романсовъ и пѣсенъ, его квартетъ и квинтетъ для фортепіано и струнныхъ инструментовъ, еще долгое время будутъ служить прекрасными художественными образцами, достойными изученія и подражанія. Среди его большихъ оркестровыхъ и вокальныхъ произведеній, имѣются такія капитальныя вещи, какъ четыре симфоніи, фортепіанный концертъ „Сцены изъ Фауста", „Музыка къ Манфреду", которыя занимаютъ мѣсто рядомъ съ величайшими музыкальными произведеніями и составляютъ національную гордость музыкальной Германіи. Наконецъ, его опера „Геновева" заключаетъ такія высокія музыкальныя достоинства, которыя служатъ предметомъ особеннаго вниманія и изученія музыкантовъ. Подобная, въ высшей степени разнообразная, композиторская дѣятельность, обнимающая всѣ области музыкальнаго искусства, представляетъ особенное выдающееся явленіе. Величайшіе музыкальные геніи и тѣ, большею частью, были велики въ какомъ-нибудь одномъ, въ двухъ родахъ музыки, гдѣ дѣйствительно создавали геніальныя вещи, тогда какъ въ другихъ областяхъ ее не проявляли вовсе своего творчества и, если проявляли, то большею частью мало удачно. Шу-

манъ представляетъ исключеніе въ томъ отношеніи, что ему не былъ чуждъ ни одинъ родъ музыки; онъ творилъ въ каждомъ изъ нихъ и ни въ одномъ не стоялъ ниже уровня своей геніальности. Уступая другимъ въ отдѣльныхъ отрасляхъ музыки (напр. въ симфонической музыкѣ онъ не достигалъ величія Бетховена, въ фортепіанной не можетъ быть поставленъ на одну высоту съ Шопеномъ, въ романсахъ и пѣсняхъ, пожалуй, уступаетъ Шуберту), Шуманъ имѣетъ надъ ними преимущество именно въ всесторонности своего творческаго генія и это предоставляетъ ему особенное, исключительное положеніе среди другихъ композиторовъ.

П. Трифоновъ.

ВСЕСОСЛОВНАЯ СЕМЬЯ

Разсказъ изъ лѣтописей одного благонамѣреннаго сближенія.

I.

Это было въ началѣ 70-хъ годовъ... Весенняя ночь застала меня въ перекладной, недалеко отъ К***. Дождь, лившій съ утра, только-что кончился; тройка измученныхъ лошадей, шлепая по размытой глинѣ, едва тащила. Въ тяжеломъ храпѣ ихъ, въ осиплomъ голосѣ ямщика, въ захлебывающемся, надбитомъ звонѣ почтоваго колокольчика слышались крайнія ноты уныния. Мы ѣхали слишкомъ четыре часа, по адской дорогѣ; но двѣ послѣднихъ ея версты, уже въ виду городскихъ огней, особенно истощили мое терпѣніе. Голодный, иззябшій, мокрый, закиданный съ головы до ногъ жидкой грязью, пригоршни которой, съ какимъ-то особеннымъ постоянствомъ, летѣли мнѣ прямо въ лицо, я думалъ, что я до утра не доѣду, и лихорадочная фантазія рисовала мнѣ впереди теплую комнату, дымящійся самоваръ, сухое бѣлье и постель—какимъ-то недосягаемымъ раемъ... Но вотъ, наконецъ, изъ сѣрой мглы, по сторонамъ дороги, пошли выглядывать избы, за избами потянулись заборы и пустыри,—городъ. Грязная слобода смѣнилась мощеною улицей, лачуги въ два-три окна—домами съ нѣкоторой претензіей; — площадь, соборъ, гауптвахта, лавки, каменныя строенія... Проколесивъ еще добрымъ порядкомъ, ямщикъ остановился въ упоръ у подъѣзда довольно опрятнаго дома, въ дверяхъ и окнахъ котораго свѣтились огни... Это была гостинница. Кончена пытка! Я вылѣзъ съ тріумфомъ изъ мокраго сѣна и черезъ минуту былъ водворенъ... Просторный номеръ; въ номерѣ все какъ водится: ширмы, скрывающія неубранную

постель, два голыхъ окна съ какими-то тряпками въ должности шторъ, дверь въ корридоръ и двѣ запертыя двери въ смежные нумера; у одной изъ послѣднихъ—старый, крытый волосянымъ барканомъ диванъ, съ небольшимъ столомъ, прожженнымъ окурками папиросъ и угольками отъ самовара; другой столъ въ простенкѣ у зеркала; нѣсколько жесткихъ стульевъ, подставка для умыванья, и прочее:—картина знакомая всѣмъ, кому доводилось странствовать по Россіи, особенно въ старыя времена, когда она еще не была покрыта сѣтью желѣзныхъ дорогъ, и остановки на ночь случались чаще.

Раздѣвшись и вымывшись, я отправилъ все грязное вонъ изъ комнаты, и усѣлся пить чай. Я былъ весь разбитъ и сквозь тишину, смѣнявшую топотъ прислуги по корридору, въ ушахъ у меня гремѣлъ еще стукъ телѣги, слышался конскій храпъ, звенѣлъ фантастическій колокольчикъ: то смолкнетъ, то снова зальется... Мало-по-малу, однако, эти призрачныя впечатлѣнія уступали мѣсто дѣйствительнымъ. Вниманіе мое скоро было привлечено двумя голосами, которые слышались за дверьми, въ сосѣднемъ номерѣ. Одинъ долеталъ невнятно, за то другой, проникнутый страстнымъ одушевленіемъ, возвышался по временамъ до такихъ нотъ, что его должны были слышать по всей гостинницѣ. Голоса были мужскіе. Невольно прислушиваясь, я былъ удивленъ содержаніемъ разговора, о которомъ, впрочемъ, я могъ судить только по одному голосу. Рѣчь шла о разныхъ высокихъ предметахъ, и еслибъ не быстрота, съ которой она мѣняла ихъ, ее можно бы было принять за рѣчь оратора, обращающагося къ большому собранію. Ссылки, цитаты, слова: „абсолютный“, „вѣчность“, „матерія“; обороты рѣчи въ родѣ:—„допустимъ“, „допустимъ далѣе“, и затѣмъ:—„спрашивается“, или:—„я спрашиваю“; но больше всего неудержимый паѳосъ, съ которымъ все это изливалось, приводилъ меня къ догадкѣ, что за дверьми находится голова, туго набитая міровыми задачами. Къ несчастію, въ корридорѣ, имѣвшемъ глупое свойство протягивать всякаго рода звукъ, шла бѣготня, хлопали двери, кликали половыхъ, звенѣла посуда, роняли на полъ щетки, багажъ. Уловить связь, при такомъ дикомъ аккомпаниментѣ, не было никакой возможности, и это скоро отняло у меня охоту слушать... Полночь, усталость, дремота; окончивъ четвертый стаканъ, я легъ и задулъ свѣчу. Сонъ тотчасъ меня охватилъ; но едва я успѣлъ забыться, какъ за дверьми раздались съ потрясающей силой слова:

— „Дарвинъ! Дарвинъ убилъ идеальное мировоззрѣніе!“

Я вздрогнулъ и приподнялся, съ просонковъ не вдругъ сообра-

кая, кого убили. У меня смирный нравъ, но я не могу отвѣчать за себя, если меня разбудятъ вдругъ.

— Типе вы тамъ съ міровоззрѣніями!—крикнулъ я гнѣвно.—Чортъ побери міровоззрѣнія, которыя не даютъ человѣку спать.

Голосъ замолкъ; но раздались шаги. Шлепая туфлями, кто-то приблизился торопливо къ самымъ дверямъ, и я услыхалъ весьма добродушно произнесенное:—„извините“!

Я тотчасъ узналъ второй голосъ, и это мнѣ объяснило шаги. Крикунъ сидѣлъ у дверей, а собесѣдникъ его, должно быть, въ другомъ углу комнаты, и вѣроятно лежалъ; вѣроятно туфли, надѣтыя въ торопяхъ, не охватили пятокъ, потому что задки ихъ шлепали. Догадки мои были прерваны громкимъ вмѣшательствомъ перваго голоса.

— О человѣкъ! — воскликнулъ онъ.—Жалкій пигмей! Изъ океана вѣчности на долю твою выпадаетъ всего одна капля существованія, но и та превышаетъ силы твои, и ту ты стараешься сократить, теряя лучшее время дня въ безчувствіи!

Гнѣвъ мой остылъ, и мнѣ стало даже смѣшно, но тѣмъ не менѣе я не имѣлъ охоты слушать его всю ночь.

— Эй! вы, труба іерихонская!—перебилъ я, съ трудомъ напрягая голосъ, чтобъ быть услышаннымъ.—Если у васъ безсонница, то жалѣю о васъ, но это еще не причина, чтобъ весь корридоръ держалъ вамъ компанію до утра. Уходите на улицу, если вамъ тутъ неймется.

За дверью стихло; но издали, и какъ я послѣ уже смекнулъ, изъ буфета, доносились сдержанные раскаты хохота. Глупая сцена, происходившая между нами, была, вѣроятно, ожидана и потѣшала незримый партеръ.

— Иванъ Герасимовичъ!—услышалъ я за дверями.—Да говори, голубчикъ, потише... Пожалуйста, извините,—онъ безъ намѣренія... Иванъ Герасимовичъ, я загашу свѣчу.

Я пробовалъ снова уснуть; но сонъ мой не возвращался.—„Вѣдь нужно же этакое несчастіе!“ — разсуждалъ я съ собою громко, какъ я имѣю привычку дѣлать, когда я чѣмъ-нибудь раздраженъ:—„Вчера, въ Куроставлѣ, проклятый органъ съ Травіатой и Трубадуромъ — до двухъ! Сегодня этотъ крикунъ съ своими міровоззрѣніями, а въ промежуткѣ 20 часовъ безъ отдыха, подъ дождемъ, въ подлѣйшей телѣгѣ, по самой подлѣйшей изъ всѣхъ дорогъ!.. И это имѣетъ претензію называться Европой!.. Тычетъ тебѣ въ глаза своими чугунками, а свороти съ чугунки въ сторону, на десять верстъ, и вмѣсто дороги—трясина, и го-

ремыка проѣзжій не обезпеченъ въ самыхъ простыхъ, первобытныхъ потребностяхъ!..

— Кто говоритъ объ обезпеченіи?—раздалось за дверьми съ такою силою, что посуда у меня въ комнатѣ задребезжала.—Пустая мечта изнѣженныхъ поколѣній!.. Вся жизнь человѣка—одинъ непрерывный рядъ треволненій, опасностей, и единственное, дѣйствительно-обезпеченное, совершенно спокойное его положеніе—это двѣнадцать локтей подъ землею,—въ гробу.

Смѣхъ и досада меня разбирали. Сна ни въ одномъ глазу. Я всталъ съ постели и засвѣтилъ свѣчу.

— Чортъ знаетъ что́!—воскликнулъ я.—Эй! вы, голосъ за сценою! Ужъ если вы поклялись не давать мнѣ спать, такъ говорите хоть что-нибудь путное, а не такую безстыжую ерунду. Ну, на что похоже? Вѣдь это какая-то философія гробовыхъ червей, читающая отходную всему живому!

За дверью послышался шумъ, словно какъ что тяжелое поднялось, и что-то другое, тяжелое, отодвигалось.

— Иванъ Герасимовичъ! Иванъ Герасимовичъ!—тревожно увѣщевала вторая партія.

— Оставь! Онъ ложно понялъ меня. Въ жизни своей я не былъ еще ни разу такъ ложно понятъ!.. Я не могу... Я долженъ...

Ключъ щелкнулъ, дверь отворилась съ гуломъ, и я увидѣлъ передъ собой высокую, бородатую, сумрачную фигуру, съ взъерошенной головой, въ очкахъ, въ халатѣ, накинутомъ епанчей поверхъ бѣлья,—съ виду лѣтъ подъ сорокъ. Это и былъ крикунъ. Онъ стоялъ съ чубукомъ въ рукахъ, важно откинувъ голову и оглядывая меня въ очки; а сзади, изъ-за его плеча, приподнимаясь на цыпочкахъ, суетливо и робко, какъ мышь, выглядывала фигурка его товарища,—тоже въ бѣльѣ. Въ глубинѣ номера видѣнъ былъ слабый свѣтъ и край отодвинутаго отъ двери дивана, двойникъ котораго, какъ сторожъ въ минуту опасности вѣрный долгу, стоялъ на моей сторонѣ, заставой... Въ комнатѣ у меня вдругъ запахло удушливымъ дымомъ стараго Жуковскаго вакштафа.

Я собирался протестовать, но главный актеръ этой сцены предупредилъ меня.

— Позвольте, милостивый государь,—сказалъ онъ облокотясь на спинку и не смущенный, повидимому, ни мало странностью этой импровизированной каѳедры:—позвольте мнѣ вамъ замѣтить, что, вовсе не зная еще моей философіи, вы ужъ успѣли составить себѣ о ней совершенно фальшивое представленіе...

— Постойте!—перебилъ я.—Вы ошибаетесь, если вы думаете, что философія—какая бы ни была...

— Я не послѣдователь древне-буддійскаго міровоззрѣнія,— кричалъ онъ, не слушая.

— Оставьте меня въ покоѣ съ міровоззрѣніями!

— Ни его современнаго комментатора Шопенгауера, котораго, впрочемъ, я уважаю...

— Чортъ побери Шопенгауера! Какое мнѣ дѣло до Шопенгауера!

— Но тѣмъ не менѣе я утверждаю, что жизнь далека отъ нашихъ мѣщанскихъ, маленькихъ идеаловъ нравственности и благочинія.

Говоря это, онъ отодвинулъ диванъ, вошелъ и сѣлъ. Товарищъ его проскользнулъ за нимъ, мимоходомъ притворивъ двери, и тоже сѣлъ.

— Однако, что-жъ это, господа?—сказалъ я.—Неужли вы сами не замѣчаете, что вы ведете себя неповолительнымъ образомъ?

— Петръ Ивановичъ, извинись.

Маленькій человѣкъ вскочилъ и отвѣсилъ поклонъ.

— Извините, пожалуйста, — сказалъ онъ.—Желаніе объясниться и неудобство, чтобъ не сказать совершенная невозможность сдѣлать это изъ другой комнаты—в-в-в-вы-нуд-ди-ди... (Онъ заикался).

— Довольно,—перебилъ первый.

Меня чуть не взорвало со смѣху. Чтобы не дать имъ замѣтить это, я убѣжалъ за ширмы и легъ, закутавшись въ одѣяло, лицомъ къ стѣнѣ. Слышу—они тамъ шепчутся:—„Отодвинь“.—„Иванъ Герасимовичъ, нехорошо! ей Богу — нехорошо! — уйдемъ“. — „Нѣтъ,—надо“...

Шаги; кто-то подкрался и потихоньку отодвигаетъ ширмы. Потомъ опять шопоть:—„Пожалуйста... тамъ, на столѣ... табакъ“... Еще шаги и послѣ короткой возни—все стихло.

Я оглянулся; смотрю: ширмы съ одной стороны открыты и наискось, противъ меня, сидятъ они... Все это начало, наконецъ, забавлять меня.

— Ну, — сказалъ я: — ужъ если пришли объясняться, такъ объясняйтесь.

Съ минуту отвѣта не было; ораторъ курилъ съ какимъ-то ожесточеніемъ. Въ полумракѣ, сквозь клубы дыма, его хохлатая голова съ большими, круглыми, свѣтящимися очками казалась центромъ какого-то фантастическаго явленія.

— Милостивый государь!—началъ онъ вдругъ.—Вы требуете обезпеченія; а думали ли вы, какою цѣною вамъ бы пришлось купить его и что потеряла бы жизнь, еслибы вамъ удалось устра-

нить изъ нея все неожиданное, всякаго рода тревогу и безпокойство, опасность и рискъ?.. Милостивый государь! Она потеряетъ весь высшій свой интересъ и смыслъ. То, что̀ останется, будетъ болотный застой, плѣсень, тупая очередь физіологическихъ отправленій, лишенныхъ всякаго человѣческаго достоинства.

— Однако, — возразилъ я: — эта тупая очередь лежитъ въ основѣ всего, и ужъ по этой одной причинѣ должна быть прежде всего обезпечена. Человѣкъ долженъ быть сытъ и одѣтъ и имѣть время выспаться, прежде чѣмъ думать о высшемъ.

— Фатальное слово!—воскликнулъ онъ.—Предсмертное слово отжившаго міровоззрѣнія, которымъ оно отреклось отъ себя и пожертвовало собой... Вы, можетъ быть, думаете: жертва не велика? Нѣтъ, милостивый государь, она громадна! Она обнимаетъ однимъ приговоромъ: науку, искусство, весь высшій строй общественной жизни, все, чѣмъ гордилось когда-нибудь наше надменное просвѣщеніе, провозглашая все это преждевременнымъ, какъ избыткомъ жизни, которымъ старшій братъ не въ правѣ пользоваться, покуда младшій не обезпеченъ въ необходимомъ. Высоко, не правда ли? Къ несчастію, высота — дѣло одностороннее, и тамъ, гдѣ слишкомъ высоко съ одной стороны, съ другой — должно быть въ томъ же размѣрѣ низко... И вотъ, за порогомъ великодушнѣйшей изъ жертвъ, мы видимъ такую страшную глубину паденія, передъ которой самая героическая рѣшимость блѣднѣетъ. Истинно говорю вамъ: страшнѣе и горестнѣе этой трагедіи трудно вообразить! Ибо представьте себѣ, что она съиграна. До этого не дошло, но представьте себѣ, что дошло, что жертва принесена и все это высшее чисто сошло со сцены... Что̀ остается?.. Милостивый государь,—остается брюхо...

— Неужли?

— Истинно такъ.

— Ну, это дѣйствительно очень низко...—Мнѣ лѣнь было спорить и я говорилъ только для поощренія. Яркіе обороты рѣчи его и фантастическій складъ идей занимали меня какъ сказка, которую нянька разсказываетъ дремлющему ребенку.

— Да, милостивый государь,—продолжалъ онъ:—далѣе некуда. Далѣе это господство брюха, долгъ брюху, религія брюха, —религія матерьяльнаго обезпеченія во что бы ни стало; короче — апотеозъ мѣщанства!

— Ужасно!—протянулъ я, зѣвая.—Только мнѣ что-то не вѣрится. Неужли же — серьезно — такъ-таки и готовы были похерить все?

— Ну, нѣтъ,—понимаете—провозгласили принципъ, который

привелъ бы къ этому, еслибы онъ былъ реализированъ съ строгой, логическою послѣдовательностью. Но адвокаты его не разсчитывали на это и не хотѣли этого. Напротивъ, они выбивались изъ силъ, стараясь найти такую формулу жизни, которая примирила бы всѣ ея требованія, какъ высшія, такъ и низшія... И это имъ дѣлаетъ величайшую честь.

— Ммъ, вотъ какъ?

Молчаніе. За стѣною, какъ-разъ противъ моей постели, послышался жалобный вздохъ и слова:—„Господи, Боже праведный!“ —голосъ былъ женскій.—Еще кто-нибудь, кому не даютъ уснуть, подумалъ я. Комната, къ этому времени, была полна дыму; но не взирая на то, онъ выколотилъ и набилъ съизнова.

— Чортъ знаетъ, что̀ это за человѣкъ! — думалъ я, теряясь въ попыткахъ подвесть его подъ какую-нибудь знакомую категорію.—Нѣтъ! Никогда не видалъ ничего подобнаго!

Раскуривъ трубку до-красна, такъ что сухіе табачные корешки трещали и вспыхивали, онъ продолжалъ:

— Милостивый государь! Попытка переустроить жизнь по плану была заносчивая попытка и, какъ извѣстно, рухнула, на практикѣ побѣжденная силою вещей, въ теоріи—новымъ міровоззрѣніемъ.

— Какъ! Еще новое!

— Да; и на этотъ разъ—изъ другого источника. Оно еще молодо и не успѣло сложиться въ замкнутую, выработанную систему; но, тѣмъ не менѣе, черты его уже довольно ясны... Милостивый государь! Оно не находитъ въ основѣ жизни никакихъ благонамѣренныхъ плановъ или задачъ, которые жизнь обязана была бы осуществлять.—Живое,—говоритъ оно:—живетъ не такъ какъ должно, а такъ, какъ можетъ, мало того, и эта возможность доступна только для ограниченнаго числа. Жизнь расточительна и производитъ неизмѣримо больше, чѣмъ можетъ сберечь. Это—тотъ пиръ, на который много приглашено и мало допущено, то скудное, скупо отмѣренное наслѣдство отца, котораго не хватаетъ дѣтямъ и изъ-за котораго между ними, споконъ вѣковъ, идетъ озлобленная война. Горе больнымъ и слабымъ, ибо ихъ родъ осужденъ погибнуть въ этой войнѣ!..

Короткая пауза. За стѣною опять глубокій вздохъ и слова:—„Боже помилуй и сохрани насъ грѣшныхъ!“

— Гоббесъ, милостивый государь, Гоббесъ и Мальтусъ оправданы! Мечты золотого вѣка, завѣтныя упованія кроткихъ сердецъ на всеобщій миръ—развѣнчаны и разбиты! Неумолимый,

вѣчный законъ природы: эксплуатація, жизнь одного на счетъ другого, взаимная травля и истребленіе!..

— Неблаговидно,—замѣтилъ я.

— Да, милостивый государь, по мѣркѣ нашего стараго, идеальнаго міровоззрѣнія очень неблаговидно. Только благоволите сообразить, что мѣрка эта, какъ все человѣческое, условна и погрѣшима. Что-жъ дѣлать? Надо идти впередъ; надо сознаться, что старые идеалы, теперь, когда наука ихъ обошла, оказываются немного узки. Возьмемъ хоть эту благонамѣренную задачу всеобщаго обезпеченія. Что говоритъ о ней новое міровоззрѣніе? Милостивый государь! Оно говоритъ, что всеобщее обезпеченіе, въ смыслѣ удовлетворенія всѣхъ нуждъ, которыя порождаетъ жизнь, не только несоразмѣрно съ объемомъ средствъ ея, но и враждебно развитію ея высшихъ формъ. Оно говоритъ, что подобное обезпеченіе равнялось бы полной побѣдѣ консервативныхъ стремленій жизни надъ прогрессивными, ибо какой прогрессъ возможенъ тамъ, гдѣ нѣтъ выбора, гдѣ жизнь, съ тупымъ безразличіемъ, стремится увѣковѣчить въ себѣ хорошее и дурное, гдѣ всѣ недуги и неспособности взлелѣяны наравнѣ съ здоровьемъ и дарованіемъ?

— Эка дался имъ этотъ несчастный Дарвинъ!—воскликнулъ я.—Ришельё правъ! По тремъ строкамъ можно взвести на человѣка все что угодно: самую изумительную нелѣпость и самое черное преступленіе!

Но едва я успѣлъ сказать это, какъ раскаялся. Разстояніе, отдѣлявшее насъ, показалось ему неудобнымъ; диванъ былъ покинутъ; одинъ за однимъ — они подошли и усѣлись: ораторъ въ ногахъ у меня, на моей постели, товарищъ его поодаль. Густое облако дыма окутало насъ.

— О, нищая русская мысль! — голосилъ первый: — я узнаю тебя, это ты! Это—твое зубоскальство надъ всѣмъ, что не носитъ ливреи учителя, твоя нетерпимость къ свободному слову, твое подобострастное, рабское отношеніе къ вытверженному уроку!.. Не ужасайся и не взывай къ великимъ богамъ изъ-за того, что ребяческія понятія твои о справедливости отвергнуты новымъ міровоззрѣніемъ. Пойми широкій принципъ, незримо-лежащій въ основѣ его: принципъ единства всего существующаго среди феноменальной его пестроты и дробности. Пойми безсмертіе въ непрерывномъ процессѣ жизни, связывающемъ родоначальника съ его отдаленнымъ потомствомъ. Пойми, что это одно—живетъ, одно наслаждается и страдаетъ, родится и умираетъ; и когда ты поймешь это, ты не сдѣлаешь уже ребяческаго вопроса: „какое

право имѣетъ жизнь идти впередъ цѣною такихъ несмѣтныхъ жертвъ?" Ибо тогда тебѣ станетъ ясно, что въ участи безконечнаго множества ежеминутно-рождающихся и умирающихъ, преходящихъ моментовъ своихъ, она—одна хозяйка, одна знаетъ, чего ей нужно и чѣмъ она жертвуетъ, и для чего... Кто въ правѣ требовать у тебя отчета, зачѣмъ ты жертвуешь девятью часами дня для одного, десятаго? И что, еслибы который-нибудь изъ девяти пожертвованныхъ, въ своемъ ослѣпленіи возмнилъ о себѣ, что онъ обиженъ, потребовалъ бы тебя и твоего избранника на судъ?—„Чѣмъ я виноватъ?.. За что вы меня обдѣлили?.. За что я терпѣлъ, а онъ наслаждается?"—„Безумный!" отвѣтилъ бы ты: — „да развѣ ты не узнаешь себя въ этомъ десятомъ часу? Ты и онъ развѣ не тотъ же я?"

— Ну, это знаете, крѣпко!—сказалъ я, смѣясь.

— Но допусти,—продолжалъ онъ не слушая:—допусти, что между моментами твоего существованія нѣтъ этой единоличности, что каждый самъ по себѣ, и у каждаго свой особенный интересъ, свое особое право,—что отвѣчалъ бы ты? Чѣмъ оправдалъ бы того, въ пользу кого ты жертвуешь, передъ тѣми, кого приносишь въ жертву?.. Ничѣмъ; ибо передъ судомъ вѣчной правды нѣтъ привилегій и самое право не мѣряется, тутъ больше — тамъ меньше. Оно—одно, и нельзя отрицать его у послѣдняго червяка, не отрицая тѣмъ самымъ у всей вселенной. Истинно говорю тебѣ, счастье всего человѣчества въ сто тысячъ лѣтъ не искупило бы и одной слезы, пролитой голодающимъ труженикомъ, еслибы все человѣчество, со всѣми его минувшими и грядущими поколѣніями, не выстрадало въ его лицѣ, само, всей мѣры его страданій... Да что говорить о труженикѣ? Собака, замученная на пользу науки, позвала бы эту науку на судъ и выиграла бы свой искъ противъ всѣхъ Лейбницовъ и Ньютоновъ, со всѣми милліонами, ими облагодѣтельствованными, какіе когда либо жили и будутъ жить!..

Онъ говорилъ еще, но я не припомню уже, что̀ именно. Отъ сильнаго утомленія въ головѣ у меня стало мѣшаться. Дарвинъ, Шопенгауеръ, Гоббесъ и Мальтусъ, задача всемірнаго обезпеченія и жертва науки въ пользу страдающаго меньшого брата, и тутъ же замученная на пользу этой науки собака съ ея шейлоковскими претензіями, все спуталось. Въ облакахъ дыма мой номеръ исчезъ и мнѣ мерещился сіяющій тысячами огней, громадный амфитеатръ, а въ серединѣ амфитеатра—ораторъ, съ громадной, всклокоченной головой, съ большими, круглыми сіяющими, какъ маяки, глазами. „Горе больнымъ и слабымъ!" зву-

читъ его мощный басъ. „О Господи!—скоро ли эта мука кончится?“—стонетъ ему въ отвѣтъ, за стѣною, жалобный женскій голосъ... Дремота... все гаснетъ и исчезаетъ... я снова въ телѣгѣ; опять сырая, темная ночь, топотъ копытъ и храпъ, и звонъ почтоваго колокольчика... Нѣсколько разъ я просыпался и видѣлъ передъ собою, съ просонковъ, все ту же хохлатую голову, слышалъ все тотъ же басъ. Мало-по-малу, однако, усталость взяла свое и я уснулъ мертвымъ сномъ.

На другой день я узналъ странныя вещи. Во-первыхъ, философомъ по профессіи оказался совсѣмъ не крикунъ, а маленькій адъютантъ и спутникъ его. Это былъ нѣкто Петръ Ивановичъ Горностаевъ, профессоръ и членъ факультета, недавно еще занимавшій каѳедру психологіи въ К***. А тотъ, въ глаза которому онъ смотрѣлъ и котораго слушалъ съ такимъ почтеніемъ, былъ просто какой-то поручикъ въ отставкѣ, существовавшій уже давно безъ дѣла и безъ своей копѣйки въ карманѣ. Звали его Неплёскинъ; онъ былъ холостой человѣкъ, а Горностаевъ женатъ; но невзирая на то, пріятели жили вмѣстѣ, въ имѣніи Горностаева, которое, какъ я тутъ же узналъ, находилось въ нашемъ уѣздѣ. Я ихъ засталъ въ бѣдѣ, на обратномъ пути изъ Москвы, куда они ѣздили получать съ кого-то какія-то деньги; но денегъ не получили, а только свои, небольшія прожили. Выѣхали въ обратный путь съ нѣсколькими рублями, въ полной увѣренности, что недостающее выслано будетъ имъ на встрѣчу въ К*** и еще разъ ошиблись. Письмо, отправленное еще изъ Москвы въ деревню, къ женѣ Горностаева, не застало ея въ имѣніи и лежало нераспечатанное, а они жили тутъ, вторую недѣлю, въ долгъ и на пищѣ св. Антонія, такъ какъ хозяинъ гостинницы, догадываясь, въ чемъ дѣло, и опасаясь убытковъ, пересталъ отпускать имъ сперва обѣдъ, потомъ даже булки и сахаръ къ чаю.

— Думали этимъ донять,—признавался мнѣ половой:—такъ нѣтъ, хитры! Уйдетъ этотъ низенькій-то, словно какъ по дѣламъ, да и добудетъ тихонько хлѣбца, а давеча даже и колбасу въ карманѣ принесъ. Послѣ ужъ по объѣдкамъ замѣтили и пристыдили... Ну будьте вы, ваше в — діе, справедливы, судите сами: дѣлаютъ ли такъ порядочные-то господа?

— Случай,—замѣтилъ я.

— Нѣтъ, сударь, и случая-то за ними не было. Что говорить,—бываетъ, конечно, грѣхъ,—иной, примѣрно, въ картишки спуститъ, только у этихъ и картъ-то въ рукахъ не видывали.

— Что же они тутъ дѣлаютъ?

Онъ усмѣхнулся не безъ лукавства.—А вотъ изволили слышать, какъ вечоръ, на ночь? Орутъ на весь корридоръ... Т.-е. это высокій, значитъ, орётъ; а господинъ Горностаевъ, тотъ только его заводитъ... Непріятность такая въ домѣ, ваше в—діе, — только и слышишь отъ постояльцевъ неудовольствіе!..

— А вы зачѣмъ меня помѣстили рядомъ?—Онъ сталъ божиться, что мѣста другого не было.

— Ну, а тутъ, возлѣ, съ другой руки?

— Занято-съ.

— Кто?

Онъ мялся. Оказалось, что рядомъ со мной ночевала игуменья К—в. монастыря въ Г***, мать Серафима, больная старуха, пріѣхавшая за двѣсти верстъ, тайкомъ, совѣтоваться съ какой-то кликушей, слава которой гремѣла на три губерніи... Главное я узналъ, однако, не отъ него.

Дѣла и оффиціальныя посѣщенія заняли у меня все утро. Въ третьемъ часу, возвращаясь по корридору, вижу, въ пяти шагахъ отъ моего номера, дверь полуоткрыта и изъ нея выглядываетъ маленькая фигурка, въ жилетѣ, безъ сюртука. Замѣтивъ меня, фигурка въ ту же минуту исчезла, но я узналъ ее. Это былъ Горностаевъ.

Не прошло и пяти минутъ, какъ онъ сидѣлъ у меня: бѣдно-одѣтый и пожилой уже человѣкъ, съ замѣтною просѣдью въ темныхъ, по оконечностямъ мягко-вьющихся волосахъ; простыя черты и добрый, открытый взглядъ, съ выраженіемъ затаенной грусти во всемъ лицѣ. Всматриваясь въ его сухощавую, маленькую фигурку, я почему-то вспомнилъ ту бѣдную, замученную на пользу науки собаку, о которой вчера говорилъ его товарищъ.

Онъ отзывался объ этомъ послѣднемъ съ какимъ-то стыдливымъ и сдержаннымъ фанатизмомъ, какъ о бездонномъ источникѣ мудрости, неизвѣстномъ свѣту и который ему одному дано было счастье открыть.

— Мертвая буква-съ,—пояснялъ онъ, говоря о наукѣ, которую онъ преподавалъ:—и я копался въ ней какъ червякъ, засыпанный мусоромъ разрушающихся системъ, опутанный формулами, изъ-за которыхъ не проникалъ до меня ни одинъ живительный лучъ. Онъ разорвалъ тенета и выкопалъ меня изъ моей могилы. Черезъ него я первый разъ понялъ, что дальше поверхности, на которой плаваетъ патентованная наука, есть глубина, куда очень немногимъ мыслителямъ удавалось минутами заглянуть. Но они осторожно молчатъ о томъ, что́ они тамъ видѣли, или доволь-

ствуются намеками, зная, что говорить о такихъ вещахъ съ толпою—напрасно, что ихъ не поймутъ и сочтутъ помѣшанными, если не закидаютъ каменьями. А между тѣмъ, безъ этого, недосказаннаго, все остальное—прахъ...

— Вчера онъ былъ великъ, не правда ли?—спросилъ онъ вдругъ, обращаясь ко мнѣ съ просвѣтленнымъ лицомъ.

Я отвѣчалъ, что, дѣйствительно, воззрѣнія господина Неплескина очень своеобразны; но видя, что я имѣю дѣло съ фанатикомъ и, вмѣстѣ, желая потолковать совсѣмъ о другомъ, спѣшилъ замять разговоръ.

— Что жъ дѣлаетъ вашъ товарищъ?—спросилъ я, послѣ того какъ онъ умолкъ.—Его что-то неслышно сегодня.

— Спитъ,—отвѣчалъ Горностаевъ.

Это меня удивило, но оказалось, что господа эти профилософствовали всю ночь и только къ семи часамъ уснули.—„Не даромъ сова слыветъ эмблемою мудрости“,—подумалъ я.

Послѣ двухъ-трехъ попытокъ, мнѣ удалось завести рѣчь о причинѣ ихъ долгаго пребыванія въ X*** и онъ, краснѣя, признался мнѣ въ томъ, что́ уже было разсказано. Счетъ ихъ, однако, благодаря осторожности содержателя, оказался весьма невеликъ, прогоны до мѣста тоже немногимъ его превышали. Прикинувъ еще кое-что на непредвидѣнные расходы, все вмѣстѣ могло составить не больше 50-ти рублей, которые я предложилъ имъ безъ церемоніи, съ тѣмъ, что это доставитъ мнѣ удовольствіе, при первой возможности, увидѣть ихъ у себя, въ Мирковѣ. Дѣло уладилось безъ труда, и черезъ три часа они выѣхали.

II.

Въ началѣ мая они привозили мнѣ долгъ, но не застали дома. Не раньше, какъ мѣсяцъ спустя, мнѣ удалось отдать имъ визитъ. Проколесивъ верстъ тридцать и нѣсколько разъ при этомъ сбиваясь съ пути, я поспѣлъ въ усадьбу Петра Ивановича Горностаева уже въ сумерки. Ветхій, одноэтажный домъ съ покачнувшимся на бокъ крыльцомъ и заросшій высокой травою дворъ, въ глубинѣ котораго находилось нѣсколько разрушающихся строеній, все заставляло меня бояться, чтобъ мой пріѣздъ, въ такую позднюю пору, не причинилъ хозяевамъ слишкомъ большихъ хлопотъ; но громкіе возгласы торжества и неподдѣльная радость на лицахъ пріятелей, выбѣжавшихъ меня встрѣчать, разсѣяли мои опасенья.

— Ура!—раздалось на ступеняхъ, когда тарантасъ мой подъѣхалъ къ крыльцу.

Непѣсёкинъ былъ въ старомъ военномъ китель на распашку и въ кумачовой желтой рубахѣ поверхъ широчайшихъ нанковыхъ шароваровъ, что придавало ему какой-то армейскій видъ, но въ тѣхъ же очкахъ, съ такой же всклокоченной головой, и съ тѣмъ же кривымъ, черешневымъ чубукомъ въ рукахъ; пріятель его въ коротенькой и выношенной до нитки триковой парѣ:—оба безъ галстуховъ и въ туфляхъ. Покуда я выпѣзалъ и здоровался, извиняясь за поздній часъ, въ отворенное окно поспѣшно выглянула головка еще не старой женщины и окинувъ меня любопытнымъ взоромъ, столь же поспѣшно скрылась. Громкій говоръ на ступеняхъ крыльца и суетливый топотъ босой прислуги въ сѣняхъ, храпъ лошадей у подъѣзда и горничная со свѣчкой въ дверяхъ, все было, какъ это обыкновенно бываетъ у насъ на Руси, въ подобныхъ случаяхъ. Домъ освѣтился; въ гостиной, гдѣ было уже на скорую руку прибрано и горѣла лампа, на встрѣчу мнѣ вышла съ привѣтливою усмѣшкой, видимо нѣсколько принаряженная хозяйка.

— Лариса Дмитріевна, нашъ х—скій избавитель,—представилъ меня Горностаевъ.

Она разсыпалась въ благодарностяхъ.

— Мнѣ такъ совѣстно,—говорила она:—что вы сами обезпокоились... Я не смѣла надѣяться... Посѣщенія между сосѣдями нынче такая рѣдкость; и близкихъ-то въ кои вѣки дождешься, а вы, какъ я слышала, далеко не изъ близкихъ... Не знаю, какъ и цѣнить такое вниманіе!..—Она вздохнула.—Опять, теперь, наше Ольхино... Еслибъ вы видѣли его въ прежнія времена, вы не узнали бы. Но вы сами изъ здѣшнихъ и мнѣ вамъ нечего объяснять, какъ теперь трудно людямъ, которые не имѣютъ, кромѣ земли, какихъ-нибудь независимыхъ средствъ... Она опять вздохнула и мы усѣлись.—Не насъ однихъ разорило новое положеніе...

— В-в-временно,—скромно замѣтилъ Петръ Иванычъ. Жена оглянула его и словно не удостоивая вниманія, остановила какой-то странный, какъ бы вызывающій взоръ на его пріятелѣ; но Непѣсёкинъ молчалъ. Въ Ольхинѣ очевидно существовало правительство съ строго-консервативнымъ характеромъ и либеральная оппозиція; но послѣдняя, сколько можно было судить, не пользовалась свободой слова. Я съ любопытствомъ посматривалъ на правительство. Это была невысокаго роста, но стройно сложенная и до сихъ поръ еще недурная собою, живая, проворная барыня лѣтъ тридцати-пяти. Сильный загаръ и нѣсколько грубоватый на

скороговоркѣ тонъ голоса, и увѣренный взглядъ, все обличало дѣятельную хозяйку.

— Временно?—протянула она съ язвительною усмѣшкой.— Да, вотъ ужъ тринадцать лѣтъ, какъ тянется это временное, а конца ему еще не видать. Проѣдаемъ свои пятипроцентные, а имѣніе не даетъ ничего, усадьба разваливается, дѣтей воспитывать не на что; съ наемнымъ работникомъ бьемся какъ рыба объ ледъ и въ итогѣ однѣ только непріятности... Ни на кого положиться нельзя, и ни за какія деньги ты не найдешь человѣка, который дѣлалъ бы свое дѣло по совѣсти. Проси, умоляй, ругайся, жалуйся, хорошо обращайся, дурно — все одинаково: какъ только недоглядѣлъ, такъ ужъ и знай, что либо не сдѣлано ничего, либо сдѣлана тебѣ гадость какая-нибудь. А управы нѣтъ, или тоже что нѣтъ, потому что не ѣхать же изъ-за всякаго безпорядка за 30 верстъ, добиваться, чтобы тебѣ присудили штрафу какихъ-нибудь два рубля.

— Мелкія тренія, — попробовалъ было опять вмѣшаться мужъ.—Надо понять, разъ навсегда, что безъ этого ни въ какомъ практическомъ дѣлѣ не обойдешься, и не раздражаться... изъ пустяковъ. Надо имѣть въ виду существенное.

— Ахъ, сдѣлай милость, мой другъ,—съ досадою перебила жена:—не умничай ты свысока въ вещахъ, въ которыхъ ты ничего не смыслишь.

Но Петръ Иванычъ не унимался.—Хозяйство не можетъ идти какъ стѣнные часы.

— Да, надо, однако, чтобы оно шло; а если оно совсѣмъ нейдетъ?.. Если имѣніе, приносившее прежде, въ плохіе года, болѣе тысячи, теперь въ урожай, даетъ какихъ-нибудь пять-шесть сотъ?.. Легко говорить о существенномъ, когда забота о немъ лежитъ не на нашихъ плечахъ.

Молчаніе. Петръ Иванычъ сидѣлъ смущенный, супруга его имѣла разгнѣванный видъ.

— Вотъ, я сошлюсь на человѣка, который, какъ я слыхала, самъ у себя хозяйничаетъ. Правду ли я говорю?

— Правду, Лариса Дмитріевна,—отвѣчалъ я,—но кто жъ виноватъ, если мы, при крѣпостныхъ порядкахъ смотрѣвшіе на себя какъ на отцовъ народа, не позаботились лучше его воспитать? Каковъ ни на есть нашъ мужикъ, онъ несомнѣнно вышелъ изъ нашей школы.

Петръ Ивановичъ украдкою посмотрѣлъ на пріятеля, и они обмѣнялись взглядами затаеннаго торжества; но мадамъ Горно-

стаева очевидно не соглашалась признать за собой ни малѣйшей доли участія въ общей винѣ.

— Не знаю какъ кто,—отвѣчала она съ обиженнымъ видомъ: —а мы, въ Ольхинѣ, никого не учили бездѣльничать. У моего отца, который родился и умеръ въ своемъ имѣніи, хозяйство велось въ строжайшемъ порядкѣ, народъ былъ сытъ, его подати аккуратно уплачены, исправный работникъ, нуждающійся въ пособіи, не зналъ себѣ никогда отказа... — И она начала горячо описывать, какъ справедливъ и заботливъ къ нуждамъ крестьянъ былъ прежній владѣлецъ Ольхина, какъ не терпѣлъ онъ лѣнтяевъ и пьяницъ, какъ даже не мало народу изъ молодежи обучено было, по его старанію, разнаго рода ремесламъ и мастерствамъ, благодаря которымъ иные и до сихъ поръ имѣютъ себѣ обезпеченный заработокъ, кто въ Петербургѣ, кто въ нашемъ уѣздномъ городѣ, и т. д.

Напрасно пытался я ей объяснять, что характеръ народа не создается счастливыми исключеніями, что это продуктъ вѣковъ и множества поколѣній, въ морѣ которыхъ исторія какихъ-нибудь двухъ-трехъ десятковъ лѣтъ, тутъ въ Ольхинѣ, составляетъ каплю; барыня была такъ ослоблена тѣмъ, что она называла черной несправедливостью, и такъ мало способна къ какой-нибудь широтѣ воззрѣній, что я скоро бросилъ неблагодарный трудъ оправдывать передъ ней реформу.

— Вы жили еще недавно въ К***?—сказалъ я, стараясь перемѣнить предметъ.

— Да,—отвѣчала она со вздохомъ:—и эта жизнь, въ сравненіи съ той, которую мы теперь ведемъ, была рай. Петръ Ивановичъ имѣлъ тамъ каѳедру и хорошее жалованье... Театръ, благородное общество, университетъ, гимназія,—удобства большого города и достатокъ... Но намъ надоѣло все это и мы предпочли забиться въ нашу несчастную вотчину, въ глушь, чтобъ зиму и лѣто нянчиться тутъ съ мужичьемъ, которое смотритъ на насъ, своихъ бывшихъ господъ, и на наше добро, какъ на жертву, отданную ему на расхищеніе... Это была печальная перемѣна и какъ ни обязаны мы за нее совѣтамъ доброжелателей —(гнѣвный взглядъ на Неплѣскина, который молчалъ съ олимпійскимъ спокойствіемъ на лицѣ)—но справедливость требуетъ согласиться, что мы и сами тутъ были не безъ грѣха.

Она посмотрѣла на мужа. Петръ Иванычъ сидѣлъ съ виноватымъ видомъ, потупя взоръ.

— Мы, вотъ изволите видѣть, послѣ семи лѣтъ преподаванія, заслужившаго намъ любовь студенческой молодежи и общее

уваженіе въ К***, вдругъ убѣдились, что мы неспособны въ дѣлу, дававшему намъ независимый кусокъ хлѣба, и сами—замѣтьте, сами—уволили себя отъ профессорской каѳедры, съ ничтожной пенсіей, которой едва хватаетъ намъ здѣсь на сахаръ и чай. Но за существенное (она насмѣшливо подчеркнула слово), которое мы рекомендуемъ имѣть въ виду, не смущаясь мелкими треніями, мы сами тутъ не взялись.... Куда намъ! Насъ всякая непріятность разстраиваетъ до такой степени, что мы готовы все бросить на произволъ судьбы и отказаться отъ самыхъ безспорныхъ правъ, чтобъ только намъ дали покой. И мы простодушны, не знаемъ людей,—насъ всякій безграмотный краснобай-прикащикъ увѣритъ, въ чемъ хочетъ.

Диверсія оказалась такъ неудачна, что я ужъ терялъ надежду найти въ этомъ домѣ какой-нибудь безобидный предметъ разговора. Къ счастію поданъ былъ самоваръ, и мы перешли въ столовую, гдѣ хозяйственныя заботы нѣсколько развлекали Ларису Дмитріевну. Было ужъ поздно и къ чаю скоро присоединились сыръ, ветчина, котлеты, вино; меня угощали по-русски всѣмъ, что возможно было подать на столъ. Хозяева, были однако, такъ заняты обязанностями гостепріимства или такъ сыты, что сами едва отвѣдали кой-чего и компанію мнѣ серьезно держалъ только одинъ Неплёскинъ, да и тотъ долго сидѣлъ поодаль, съ какимъ-то тоскливо сдержаннымъ видомъ поглядывая на ветчину. Какъ оказалось потомъ, бѣднягa ждалъ приглашенія; но отъ хозяйки этого мудрено было ожидать, ибо она держала себя, словно не замѣчаетъ его присутствія.

— Иванъ Герасимовичъ, ветчинки?—сказалъ наконецъ Горностаевъ робко и не глядя на жену.

— Не откажусь,—отвѣчалъ философъ, стыдливо потупя взоръ.

Это было въ первый разъ, что я услыхалъ его голосъ въ присутствіи очевидно враждебной ему Горностаевой; но Петръ Ивановичъ, не дожидая отвѣта, уже отрѣзалъ ему кусокъ. За ветчиною, тѣмъ же порядкомъ, послѣдовали котлеты.—Иванъ Герасимовичъ, винца?—и такъ далѣе. Неплёскинъ ни отъ чего не отказывался.

Немедленно послѣ ужина, меня проводили въ комнату, для меня приготовленную.

— Петръ Ивановичъ!—позвала Горностаева, и провожавшій меня хозяинъ поспѣшно выбѣжалъ въ корридоръ. Сквозь полуоткрытыя двери слышенъ былъ ея раздраженный шопотъ. По тону отвѣтовъ не трудно было понять, что мужъ умолялъ ее го-

ворить потише. — Лариса!.. Ларинька!—слышалъ я...—Бѣдняга вернулся ко мнѣ весь красный.

— Не нужно ли вамъ чего?—допрашивалъ онъ, и получивъ въ отвѣтъ, что рѣшительно ничего, присѣлъ на постели, въ ногахъ.

— Не осудите насъ слишкомъ поспѣшно за то, что вы слышали,—произнесъ онъ съ сконфуженнымъ видомъ.—Жена—добрѣйшая женщина и, въ дѣйствительности, далеко не крѣпостница; но ежедневныя столкновенія, безъ которыхъ пока нельзя еще обойтись, раздражаютъ ее до того, что она иногда отзывается о реформѣ очень несправедливо.

Спѣша успокоить его, я отвѣчалъ, что тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Меня, конечно, никто уже не сочтетъ врагомъ реформы, а между тѣмъ я часто и самъ бываю въ такомъ состояніи духа, что новый порядокъ кажется мнѣ фатальнымъ недоумѣніемъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, молъ, что крестьяне смотрятъ на насъ какъ на волковъ, которымъ реформа обрѣзала когти и подпилила зубы; и это большая помѣха; но что будешь дѣлать? Въ основѣ новыхъ ихъ отношеній къ намъ должно быть довѣріе, а довѣріе не дается даромъ;—его еще надобно заслужить.

Онъ мялся; ясно было, что у него есть что-то еще, къ чему онъ не знаетъ, какъ приступить. Догадываясь, что это должно касаться Неплескина, я спросилъ: отчего пріятель его такъ молчаливъ?

— Иванъ Герасимовичъ,—отвѣчалъ онъ, таинственно понижая голосъ и медленно, словно нехотя выговаривая слова:—Иванъ Герасимовичъ, къ несчастію, не въ ладахъ съ женой... Лариса приписываетъ его вліянію, что я бросилъ каѳедру въ К***, что, между прочимъ, крайне несправедливо, такъ какъ онъ первый былъ противъ этого. Но это одна изъ тѣхъ безпричинныхъ идей, которыя зарождаются въ головѣ у женщинъ на зло разсудку. Лариса, странно сказать, недавно еще, какъ нельзя лучше къ нему расположенная и сама приглашавшая его въ Ольхино, здѣсь совершенно перемѣнилась. Теперь она положительно не выноситъ его присутствія, считаетъ каждый кусокъ, имъ съѣденный, перетолковываетъ каждое слово, имъ сказанное. Короче, это гоненіе, безсмысленное и безпощадное. Но онъ все терпитъ изъ дружбы ко мнѣ.

Петръ Иванычъ замолчалъ и задумался.

— Вы спросите, можетъ быть, зачѣмъ я вамъ это разсказываю въ такую пору, когда вы естественно предпочли бы спать;

но жена уже жаловалась вамъ на меня; пожалуется и на него; а я не хочу, чтобы вы о немъ дурно думали. Онъ, какъ дитя, безобиденъ и простъ, и самъ, по скромности своей, не способенъ обороняться.

И онъ не ошибся. Проснувшись рано поутру, въ такую пору, когда хозяинъ и другъ его покоились еще глубокимъ сномъ, я вышелъ въ садъ. Это былъ старый, раскинутый на пологомъ склонѣ и сильно запущенный садъ. Внизу сверкала и серебрилась рѣчка. День обѣщалъ стать жаркій; но въ воздухѣ было покуда еще свѣжо и росистое утро дышало благоуханіями. Бродя по аллеямъ, я неожиданно встрѣтилъ Ларису Дмитріевну. Она была въ блузѣ, съ мокрою простынею въ рукахъ, и объяснила мнѣ, что купается аккуратно каждый день поутру. Въ дневномъ свѣту или, быть можетъ, подъ впечатлѣніемъ слышаннаго вчера, черты лица ея показались мнѣ жестки и непріятны. — „Ксантиппа!“ — мелькнуло въ моемъ умѣ и, страннымъ образомъ, это было первое слово, которое я услыхалъ о ней отъ Неплескина. Но Ксантиппа со мною была любезна. Зная, что я усердный хозяинъ, она разспрашивала меня усердно и съ знаніемъ дѣла: какъ я распоряжаюсь въ своемъ имѣніи и, въ заключеніе, предложила взглянуть на свое хозяйство. — Наши спятъ долго, — сказала она: — мы успѣемъ еще вернуться къ чаю.

Выйдя изъ сада, мы заглянули въ озимое и яровое поля, послѣ чего она показывала мнѣ свой птичникъ и скотный дворъ. Все было въ порядкѣ, и въ результатѣ ея объясненій я убѣдился, что это умная, энергическая хозяйка, что я и высказалъ ей въ недвусмысленныхъ выраженіяхъ. Барыня покраснѣла отъ удовольствія, но минуту спустя лицо ея отуманилось.

— Къ несчастію, я совсѣмъ одна, — сказала она. — Отъ мужа ни помощи, ни совѣта; онъ тутъ живетъ какъ въ чужомъ имѣніи. Хотя бы отъ скуки когда-нибудь заглянулъ на работы или прошелся въ лѣсу. Сидитъ тутъ, какъ въ городѣ, цѣлое утро дома, съ своей цацой Иваномъ Герасимовичемъ, — или въ хорошій день, послѣ обѣда, лягутъ гдѣ-нибудь въ рощѣ, на берегу и пролежатъ до вечера, разсуждая о разныхъ высокихъ матеріяхъ, отъ которыхъ никому на свѣтѣ еще не бывало ни холодно, ни тепло. Думаешь, вотъ наконецъ наговорились досыта; такъ нѣтъ, послѣ чаю еще просидятъ на балконѣ до пѣтуховъ. Но я ужъ махнула рукой на философію... Еслибы еще только одна философія! А то, вотъ изволите видѣть, пріятелю нашему мало, что онъ насъ выжилъ изъ К***, чтобъ легче прибрать къ рукамъ тутъ, въ Ольхинѣ, — мало, что онъ поселился тутъ безъ

гроша собственнаго, и ничего не дѣлая, пальцемъ не шевеля ни для кого, ѣсть за трехъ; онъ проповѣдуетъ еще тутъ такія идеи, которыя, еслибы у Петра Ивановича хватило характера приводить ихъ въ дѣйствіе, сдѣлали бы изъ насъ скоро нищихъ. Съ подобнаго рода понятіями можно еще сидѣть сложа руки и существуя на чей-нибудь счетъ; но хлопотать и заботиться, и платить рабочимъ изъ собственнаго кармана — спасибо! Лучше уже отдать меньшой братьѣ, какъ называютъ ее теперь, и землю, и скотъ, все сразу; пусть сами хозяйничаютъ, какъ знаютъ; а мы будемъ жить ихъ подаяніемъ... Нѣтъ! это низко и возмутительно! Это идеи бездѣльниковъ или завистливыхъ эгоистовъ,— людей, которые весь свой вѣкъ живутъ у кого-нибудь на хлѣбахъ, какъ нашъ пріятель, который, не заслуживъ ничего и не трудясь, не заботясь рѣшительно ни о чемъ, садится, однако, за столъ на первое мѣсто и тянетъ себѣ самый лучшій кусокъ!..

Я пробовалъ-было взять сторону обвиненнаго, но она не хотѣла и слушать.— О! Вы его еще худо знаете,—восклицала она съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ.—Это безстыдный, безсовѣстный человѣкъ, который подъ видомъ дружбы платитъ вамъ черной неблагодарностью! Въ несчастный день мы приняли къ себѣ эту язву въ домъ!

Мы были уже на балконѣ, за самоваромъ. Приходъ ея мужа съ Неплёскинымъ, въ сопровожденіи двухъ ребятишекъ, ея дѣтей, заставилъ на время умолкнуть Ларису Дмитріевну. Потомъ начались опять ядовитыя выходки и язвительные намеки, прямо направленные въ Петра Ивановича, но попадавшіе рикошетомъ въ Неплёскина.

— Ксантиппа!—произнесъ съ горькой усмѣшкою этотъ послѣдній, когда послѣ чаю, мы съ нимъ пошли прогуляться въ саду.— Но и Ксантиппа, слѣдуетъ полагать, была не всегда сварлива... За наши грѣхи медъ женственности перерождается въ уксусъ и желчь!

— Сколько могу, понять однако,—замѣтилъ я: —грѣхъ тутъ не ограниченъ тѣснымъ кругомъ супружескаго разлада. Васъ съ Петромъ Ивановичемъ обвиняютъ не менѣе какъ въ измѣнѣ сословному интересу?

— Ну да, вотъ видите, сословіе обанкрутилось, потому что дурно хозяйничало; а виноваты въ томъ Петръ съ Иваномъ...

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ, догоняя насъ, Петръ Ивановичъ.

— Да въ томъ же,— отвѣчалъ другъ его. И обращаясь ко мнѣ:—Это обыкновенный взглядъ; если у насъ что-нибудь неладно, то виноваты въ томъ всѣ, весь свѣтъ, кромѣ насъ.

— А вотъ мы сейчасъ разсмотримъ это... Пойдемте въ рощу.

Роща стояла у рѣчки, дававшей здѣсь поворотъ, и мы усѣлись на берегу, подъ тѣнью старыхъ березъ. Съ другой стороны разстилались луга и видна была на опушкѣ деревня.

Неплёскинъ тѣмъ временемъ продолжалъ разсуждать.—Древній вопросъ,—говорилъ онъ съ угрюмымъ видомъ:—но до сихъ поръ никто еще не рѣшилъ его. Изъ-за чего мы ссоримся и грыземся и плюемъ другъ другу въ лицо, тогда какъ, собственно говоря, всѣ одинаково жалки и только одна безпредѣльная, всепрощающая любовь могла бы уравновѣсить всемірную скорбь?

— Мм, компенсація? — глубокомысленно произнесъ Горностаевъ.

— Нѣтъ, другъ любезный,—отвѣчалъ тотъ:—не компенсація, а прощеніе и забвеніе. Принципъ компенсаціи, это лавочный и мѣщанскій принципъ, по которому все хорошо, если только все съ лихвой оплачено. Но есть вещи на свѣтѣ, которыя нѣтъ возможности оплатить, и есть счеты, которые, если ихъ цѣликомъ представить къ уплатѣ, сдѣлали бы весь міръ банкротомъ... Я говорю, нужна всепрощающая любовь, чтобы загладить ихъ; но такая любовь далеко не синекура. Попробуй-ка, полюби настоящимъ образомъ не весь міръ, потому что тебя не хватитъ на это, а напримѣръ, хоть вонъ эту деревню, и вѣрно тебѣ говорю, наплачешься за нее какъ никогда не плакался за себя! Воскреснутъ, въ памяти у тебя, татарское иго и распри удѣльныхъ князей, воскреснутъ пожары и голодовка, солдатчина, кровопійство приказной челяди, барщина, плети и кнутъ!.. Прими-ка все это къ сердцу, да послѣ и поищи компенсаціи!.. Нѣтъ, Петръ Иванычъ, милый, еслибы эта деревня вспомнила все, что она перестрадала за тысячу лѣтъ, какъ мы съ тобой помнимъ всѣ наши маленькія невзгоды отъ школьной скамьи,—не пѣла бы она больше пѣсенъ. Горло ея дѣтей пересохло бы и глаза ихъ выскочили бы изъ головы отъ ужаса!.. Забвеніе—вотъ компенсація!..

Онъ былъ не въ духѣ и, сколько мы дальше ни подбивали его, не хотѣлъ продолжать.

На памяти многихъ, теперь состарѣвшихся или погрязшихъ въ сухія заботы людей, еще живо время, когда просвѣщенная молодежь нашего общества, не смущаясь разладомъ своихъ идеаловъ съ суровою правдою жизни, вѣрила, что все можетъ сразу пересоздаться на родинѣ, и согрѣтая этою вѣрою, съ жадностью обсуждала схемы разнаго рода высокихъ, философическихъ и соціальныхъ задачъ. Это была пора горячихъ юношескихъ бесѣдъ и споровъ, которые скоро послѣ реформы смолкли и кажутся намъ

теперь, какъ игры счастливаго дѣтства, чѣмъ-то оставленнымъ далеко позади. Бесѣды Неплёскина напоминали мнѣ именно это время, и впечатлѣніе ихъ было такимъ пріятнымъ отдыхомъ отъ хозяйственныхъ дрязгъ, что однажды заѣхавъ въ Ольхино, я невольно прожилъ въ немъ нѣсколько дней.

Вторая ночь, проведенная тамъ, была тихая звѣздная, и мы, послѣ ужина, долго сидѣли втроемъ на ступенькахъ балкона. Бесѣда шла о народѣ и человѣчествѣ, — мы восходили вспять до Арійскаго періода, отыскивая въ немъ колыбель славянства, и забѣгали въ далекое будущее, усматривая тамъ старость, упадокъ и разрушеніе государствъ; послѣ чего наступило молчаніе и Неплёскинъ, которому, кажется, тѣсно стало ужъ на землѣ, сидѣлъ, уставивъ свой взоръ въ небесную синеву. Дымъ „Жуковскаго“, изъ раскаленной до-красна трубки его, возносился какъ ѳиміамъ къ обителямъ вѣчныхъ свѣтилъ.

И Петръ Ивановичъ тоже смотрѣлъ восторженно, но не на звѣздное небо, а на Неплёскина.

— Гармонія сферъ?—подсказалъ онъ, по выраженію полового въ гостинницѣ, „заводя“ своего пріятеля.

— Да,—отвѣчалъ Неплёскинъ:—терминъ недурно передаетъ субъективную сторону впечатлѣнія. Въ дѣйствительности, однако, это гораздо серьезнѣе музыки; это—рѣчь, исполненная такого глубокаго смысла, что никакое конечное пониманіе неспособно его вмѣстить.

При этомъ, можетъ быть, мы остались бы, такъ какъ онъ замолчалъ, но мнѣ любопытно было узнать, что онъ думаетъ о такихъ высокихъ вещахъ и желая подбить его, я заспорилъ.

— Вашъ терминъ,—сказалъ я:—нѣсколько ближе къ истинѣ, но пожалуй и это не болѣе, какъ цвѣты краснорѣчія.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—я говорю не въ фигурномъ смыслѣ.

— Но въ такомъ случаѣ гдѣ же вы видите—рѣчь? Я вижу не болѣе, какъ простой, умирающій въ отдаленіи свѣтъ бездушныхъ вещей.

Должно быть, это попало въ цѣль, потому что Неплёскинъ, въ Ольхинѣ до сихъ поръ ни разу еще не возвышавшій голоса до тѣхъ трубныхъ нотъ, которыя разбудили меня въ гостинницѣ, вдругъ заоралъ.

— Бездушныхъ!?—воскликнулъ онъ яростно, подскочивъ и оборачиваясь ко мнѣ.—Такъ послѣ этого, значитъ, и наша земля бездушная вещь?!. Неблагодарный сынъ! Кто далъ тебѣ дерзость такъ оскорблять твою мать и кормилицу? Кто научилъ тебя вы-

дѣлять твой разумъ изъ общей связи вещей на землѣ и смотрѣть на эту послѣднюю свысока? „Я, молъ, душа и мысль, а ты какой-то, безцѣльно-вращающійся въ пространствѣ волчокъ“... Заносчивость выскочки, протискавшагося въ дворянство и отрекающагося отъ низкой въ его глазахъ родни!..

— Позвольте! Позвольте, Иванъ Герасимовичъ! — перебилъ я, смѣясь.—Оно, быть можетъ, и очень краснорѣчиво, да дѣло совсѣмъ не въ томъ. Я не оспариваю ни своего земного происхожденія, ни генерическихъ правъ земли на искру разума, тлѣющую во мнѣ. Я сомнѣваюсь только, чтобы вонъ эти далекіе огоньки могли сказать намъ что-нибудь интереснѣе того, что мы знаемъ о нихъ изъ астрономіи.

— Ахъ, ради Бога!—воскликнулъ онъ, вставъ и съ трагическою жестикуляціей расхаживая по небольшой террасѣ передъ балкономъ. — Оставьте меня въ покоѣ съ вашею астрономіей! Наука эта, со всѣми ея пособіями, сидитъ какъ безкрылая птица на берегу морскомъ. Нѣтъ, сударь, не астрономія, а тотъ внутренній смыслъ, которымъ картина эта полна, убѣждаетъ насъ въ безпредѣльномъ избыткѣ и разнообразіи жизни, въ ней разлитой,—жизни осмысленной, съ ея безконечною лѣстницею могущества, мудрости и любви и съ ея несчетными очагами въ безднахъ. Говоритъ ли наука хоть слово объ этой лѣстницѣ? Нѣтъ;—а между тѣмъ есть люди, которые видятъ ее своими умственными глазами почти столь же явственно, какъ Іаковъ видѣлъ ее во снѣ. Вы скажете: это мечтатели? Можетъ быть, но тогда признайте уже за одно мечтаніями и всѣ идеи наши о безконечности. Нѣтъ, сударь, они не мечтатели, а небольше какъ люди, не останавливающіеся ни передъ какими выводами, необходимо слѣдующими изъ принятаго однажды за истину положенія. Съ ихъ точки зрѣнія, безконечность небеснаго сонма свѣтилъ въ пространствѣ и времени не имѣла бы смысла безъ той, другой безконечности, среди которой ихъ собственное существованіе является имъ не болѣе какъ ступенью необозримой градаціи, нисходящей, съ одной стороны, до первыхъ проблесковъ органической жизни, съ другой — достигающей до такихъ вершинъ, передъ которыми, еслибы мы въ состояніи были постичь ихъ, всѣ намъ знакомые идеалы высшаго человѣческаго достоинства и величія оказались бы столь же мелки, какъ какая-нибудь древесная вошь передъ Ньютономъ!..

Дня черезъ два, передъ самымъ моимъ отъѣздомъ, онъ просилъ меня подвезти его въ одно мѣсто, недалеко отъ Ольхина,

гдѣ ему нужно видѣть знакомаго и откуда онъ возвратится пѣшкомъ.

Было еще довольно рано послѣ обѣда, когда мы выѣхали, и время прошло у насъ незамѣтно въ бесѣдѣ. Онъ мнѣ разсказывалъ о своемъ воспитаніи въ П**-омъ кадетскомъ корпусѣ и о первомъ знакомствѣ своемъ съ философіей. Онъ былъ совершенно одинъ въ П-вѣ, сданъ въ заведеніе какимъ-то дальнимъ родственникомъ и брошенъ. Учитель, нѣмецъ, замѣтивъ въ немъ интересъ къ наукѣ, сталъ брать его къ себѣ на домъ и очень скоро выучилъ своему языку. Это былъ человѣкъ просвѣщенный, старый университетскій доцентъ, политическими гоненіями вытѣсненный изъ родины и уже очень давно переселившійся къ намъ, въ Россію. Шкапъ у него, какъ истинный кладезь мудрости, полонъ былъ разнаго рода высокоученыхъ и большею частью философическихъ книгъ, содержаніе которыхъ страннымъ образомъ интриговало воображеніе шестнадцатилѣтняго юноши, не взирая на то, что онъ долго не понималъ въ нихъ рѣшительно ничего. Заставъ его разъ за Кантомъ, нѣмецъ расхохотался. — „Брось это,— сказалъ онъ: — это не про тебя писано. Читай-ка лучше пѣхотный уставъ, который тебѣ пригодится на службѣ“. Но мальчикъ не отставалъ. Сжалившись, наконецъ, надъ нимъ, а, быть можетъ, въ тайнѣ души и сочувствуя его любопытству, старикъ сталъ объяснять ему азбуку своего чернокнижія и къ немалому удивленію нашелъ усерднаго слушателя. При выпускѣ, онъ подарилъ ему нѣсколько старыхъ изданій, и книги эти, на службѣ, стали его неразлучными спутницами, носились въ карманѣ и ночевали подъ изголовьемъ, сопровождали его въ походахъ, въ Турціи, на Кавказѣ, въ Крыму. Немалая доля его небольшого жалованья тратилась на покупку другихъ, которыя онъ, съ безконечными хлопотами, выписывалъ изъ столицъ. Это былъ совершенно особый міръ, между которымъ и тѣмъ, что онъ слышалъ вокругъ себя, въ провинціальномъ кругу или въ своемъ обиходѣ съ товарищами, не существовало рѣшительно никакого прикосновенія. Изрѣдка, впрочемъ, знакомства и жаркіе споры съ людьми, занесенными въ глушь изъ болѣе свѣтлыхъ сферъ, или далекіе отголоски умственнаго движенія въ критическомъ и ученомъ отдѣлѣ толстыхъ журналовъ, или какая-нибудь полемика, случайно касающаяся судьбы иныхъ, въ свое время громкихъ ученій, отраднымъ образомъ освѣжали этотъ замкнутый кругъ. Въ исходѣ шестидесятыхъ годовъ, счастіе улыбнулось ему на мигъ. Онъ получилъ, совсѣмъ неожиданно, какое-то крохотное наслѣдство, заставившее его самымъ нелѣпымъ образомъ возгордиться и бросить службу.

Хлопоты по реализаціи привели въ К***, гдѣ онъ и встрѣтилъ Петра Ивановича. Но нѣсколько тысячъ, по окончаніи дѣла оставшихся у него въ рукахъ, благодаря природной его безпечности, были скоро прожиты, и бѣдняга, съ своею крохотной пенсіей, очутился въ нуждѣ...

Онъ не успѣлъ докончить, какъ кто-то, на поворотѣ дороги, окликнулъ его по имени. Я оглянулся и увидѣлъ бѣгущую на перерѣзъ намъ стройную молодую дѣвку, въ нарядномъ крестьянскомъ платьѣ. Грудь ея поднималась высоко, дышущее здоровьемъ и молодостью, покрытое пышнымъ загаромъ лицо затѣнено было низко опущеннымъ на глаза, цвѣтнымъ платочкомъ, концы котораго, на бѣгу развязавшіеся, развѣвались по вѣтру.

Недалеко отъ дороги видѣнъ былъ новый, обшитый тесомъ и заново крашеный, двухъ-этажный домъ сельской архитектуры, съ рѣзными, досчатыми украшеніями и съ пѣтухомъ на флюгаркѣ... Мой кучеръ остановилъ лошадей.—Здѣсь надо быть?—сказалъ онъ.

— Здѣсь! Здѣсь, родимый!—весело отвѣчалъ ему запыхавшійся, но невзирая на то пѣвучій голосъ.

— Иванъ Герасимовичъ! Голубчикъ! Издали увидала!

Она бѣжала со стороны, и мы нѣсколько обогнали ее, прежде чѣмъ мой тарантасъ остановился.

— Ну, до свиданія; много вамъ благодаренъ, — сказалъ Неплюскинъ, быстро спрыгнувъ на землю.

— Ступай,—шепнулъ я кучеру, и мы уѣхали; но оглянувшись изъ любопытства, я видѣлъ, какъ дѣвка, взмахнувъ руками, съ разбѣга прыгнула ему на шею.

Философу было лѣтъ подъ сорокъ, и меня, признаюсь, удивила такая удаль съ его стороны.

— „Ого!“—подумалъ я:—„да ты видно на разныя руки мастеръ!“

III.

Два мѣсяца послѣ этого я не видѣлъ его и не имѣлъ о немъ никакихъ извѣстій... Въ началѣ августа, въ городѣ, мнѣ попался на встрѣчу Петръ Иванычъ. Онъ былъ одинъ и имѣлъ какой-то уныло-растерянный видъ. На вопросъ о женѣ, я услыхалъ, что она тутъ, недалеко, въ лавкѣ у Вахрамѣева.

— Пойдемте къ ней, я думаю, что она ужъ успѣла кончить... Лариса рада будетъ васъ увидать.

Дорогою я поглядывалъ на него съ участіемъ.

„Что-нибудь да не ладно“, думалось мнѣ.

— Ну, а Иванъ Герасимовичъ?—спросилъ я.

Онъ тяжело вздохнулъ.—Иванъ Герасимовичъ покинулъ меня.

— Какъ такъ покинулъ?—воскликнулъ я.—Гдѣ жъ онъ теперь?

— Да недалеко отъ Ольхина и я вижусь съ нимъ иногда. Только вы понимаете,—и лицо его какъ-то болѣзненно съежилось: —это... это уже совсѣмъ не то... Лариса добилась-таки своего, выжила... Онъ теперь у Мироновыхъ.

— Въ Витяговской усадьбѣ?

— А вы почемъ знаете?.. Ахъ, да, я помню, вы его подвозили... Дѣло, вотъ видите, въ томъ...

Но онъ не успѣлъ разсказать мнѣ, въ чемъ дѣло. Мы были уже въ пяти шагахъ отъ Вахрамѣева, у дверей котораго стоялъ его экипажъ, и изъ лавки, навстрѣчу намъ, вышла Лариса Дмитріевна. Прикащикъ укладывалъ въ тарантасъ покупки. Она была весела и болтала съ непринужденнымъ видомъ о пустякахъ; но о Неплюскинѣ ни полъ-слова.

Немного попозже вечеромъ, я навѣстилъ ихъ у Розы Михайловны или, какъ называли ее у насъ запросто, Розы, нѣмки, державшей при нашемъ уѣздномъ клубѣ нѣчто въ родѣ гостинницы.

Петра Ивановича не было, когда я вошелъ къ нимъ въ номеръ, но Горностаева ожидала его ежеминутно. Она приняла меня самымъ любезнымъ образомъ и за самоваромъ разспрашивала подробно объ урожаѣ, посѣвахъ, жаловалась на ранніе холода,— разсказывала, что ожидаетъ изъ Риги, отъ Вагнера, вишни и яблоки для своего сада, гдѣ за послѣдніе годы все вымерзло.

— Не забывайте насъ, добрый Василій Егоровичъ!—упрашивала она, пожимая мнѣ дружески обѣ руки. Мужъ очень васъ полюбилъ и теперь, когда онъ одинъ... съ непривычки, вы понимаете.. Петръ Ивановичъ очень хандритъ.

— Да развѣ они не видятся?—спросилъ я, догадываясь, что она не пускаетъ мужа къ пріятелю—Витягово отъ васъ такъ близко.

Черная тѣнь пробѣжала у ней по лицу.

— Видятся,—отвѣчала она:—какъ не видѣться? Только вы понимаете, Мироновы эти вѣдь мужики, хотя и богатые. Отецъ-кулакъ, нажившійся въ бытность свою волостнымъ, всякаго рода неправдами, а Дуняшка эта его, изъ-за прекрасныхъ очей которой Иванъ Герасимовичъ насъ бросилъ, просто распутная дѣвка. Сами судите: прилична ли этого рода компанія для людей, которые уважаютъ себя?

Я смотрѣлъ на нее; но она опустила глаза и опять что-то черное промелькнуло у ней на лицѣ.

— И теперь,—продолжала она:—если правда, какъ говорятъ, что онъ на ней женится...

— Какъ—женится!?

— А почему жъ бы и нѣтъ? — развѣ такихъ людей, какъ Иванъ Герасимовичъ, удержатъ какія-нибудь деликатныя соображенія?.. Ему нужно жить не трудясь, на чей-нибудь счетъ, а на чей—не все ли равно? Ну а для мужика, понимаете, выдать дочь за поручика, хоть и нищаго, все-таки лестно... Такъ вотъ, возвращаясь къ вопросу о посѣщеніяхъ, — если правда, что онъ на ней женится, то не трудно понять, какого рода сосѣдствомъ Богъ грозитъ наказать насъ за наши грѣхи. Вы только представьте себѣ какую-нибудь этакую Дуняшку, разряженную,—какъ этого рода твари въ дворянствѣ обыкновенно рядятся, — представьте ее у себя на диванѣ, въ гостиной... фу, отъ одной мысли убѣжишь изъ дому!

Все это вмѣстѣ расшевелило мое любопытство до такой степени, что позже, когда Петръ Ивановичъ, давно уже воротившійся, вышелъ меня провожать, у насъ состоялся маленькій заговоръ: навѣстить Неплёскина. Для этого, нѣсколько дней спустя, онъ пріѣхалъ въ городъ одинъ, и изъ города уже мы съ нимъ отправились вмѣстѣ, въ Ольхино, съ тѣмъ, чтобы по дорогѣ заѣхать къ Ивану Герасимовичу.

Вытягово, еще въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, было богатой помѣщичьею усадьбою; но владѣлецъ его, глубоко-оскорбленный реформою, съ досады продалъ родное гнѣздо мужикамъ и, отряхая отъ ногъ своихъ прахъ отечества, выселился въ чужіе края. Предвидѣлъ онъ или нѣтъ послѣдствія—трудно сказать; но они были печальныя. Крестьянское общество, ставшее собственникомъ имѣнія, распорядилось съ нимъ варварски. Старыя рощи, краса его, были вырублены, каменный барскій домъ временъ Екатерины I проданъ на ломъ и руины его еще долго служили источникомъ добыванія кирпича, желѣза, и прочаго. Мало-по-малу, на мѣстѣ цвѣтущей усадьбы, остался пустырь, съ холмами мусора, подъ которыми уцѣлѣлъ только глубоко-заложенный въ грунтѣ старый фундаментъ зданія. Полевое хозяйство, однакоже, на которое только и былъ разсчетъ, не оправдало возложенныхъ на него ожиданій. Пріобрѣтатели, лѣтъ черезъ восемь, были уже по горло въ долгу и лучшая часть ихъ земли перешла во владѣніе близкихъ сосѣдей. Къ числу послѣднихъ принадлежалъ и бывшій ихъ волостной старшина Мироновъ, который, три года тому на-

задъ, купилъ у общества за безцѣнокъ болѣе ста отборнѣйшихъ десятинъ покосу и пахоты. Онъ же и выстроилъ, недалеко отъ стараго пепелища, тотъ новый съ иголочки домъ крестьянской архитектуры, съ рѣзными досчатыми украшеніями и съ пѣтухомъ на флюгаркѣ, у воротъ котораго встрѣтилъ насъ низкимъ поклономъ самъ хозяинъ.

Это былъ богатырскихъ размѣровъ мужикъ лѣтъ пятидесяти, съ замѣтной просѣдью въ русой, окладистой бородѣ и съ спокойной важностію во взорѣ. Онъ былъ безъ шапки, въ засаленомъ старомъ жилетѣ на ситцевой, вынущенной поверхъ портокъ рубахѣ, съ серебряною цѣпочкой на брюхѣ; но не взирая на этотъ мѣщанскій костюмъ, фигура его бросалась въ глаза своею патріархальностью.

— Добро пожаловать, дорогіе гости!—сказалъ онъ ласково.—Добро пожаловать, батюшка Петръ Ивановичъ, и ваша милость—имени-отчества—не имѣю чести...

Спутникъ мой назвалъ меня и мое село.

— Ивана Герасимовича провѣдать заѣхали?.. Въ добрый часъ! Только они никакъ еще отдыхаютъ послѣ обѣда... Эй! Дуня!

Окошко въ нижнемъ этажѣ стукнуло и изъ него проворно выглянула знакомая уже мнѣ хозяйская дочь.

— Буди-ть-ка его благородіе, скажи: — дорогіе гости пожаловали. Да самоваръ... живо!

Дѣвка, зардѣвшись, кивнула ласково головой Петру Ивановичу и скрылась.

Большая, чистая горница верхняго этажа убранствомъ своимъ напоминала средней руки заѣзжій домъ въ уѣздномъ городѣ. Горшки геранія, резеды и бальзамина на узенькихъ подоконникахъ, варварскіе обои и столь же варварски-раскрашенные портреты въ рамкахъ, стеклянный шкапъ съ посудой, передъ обитымъ продранною клеенкой диваномъ, столъ съ цвѣтной скатерткой, въ углу—стѣнные часы.

Едва успѣли мы оглядѣться тутъ и сказать нѣсколько словъ съ хозяиномъ, какъ дверь изъ сосѣдней комнаты распахнулась съ шумомъ и передъ нами явился Нешлёскинъ.

— Отцы благодѣтели!—гаркнулъ онъ своимъ зычнымъ голосомъ.—Какими судьбами вмѣстѣ?—и не дождавшись отвѣта, кинулся насъ обнимать.

Онъ былъ въ халатѣ, съ сіяющимъ радостію лицомъ и ни тѣни того стѣсненія, которое въ Ольхинѣ дѣлало его непохожимъ на самого себя.

— Ну, благородные представители отставныхъ привилегій,— сказалъ онъ, выпрямившись и положивъ свои длани намъ на плеча:—знаете ли, куда вы пріѣхали?

— Въ Вытягово, — отвѣчалъ простодушно Петръ Иванычъ.

— Нѣтъ, другъ любезный, я не объ имени говорю, а о томъ наступающемъ, земскомъ переворотѣ, котораго этотъ хуторъ является предвозвѣстникомъ. Вытягово—это зародышъ новой формаціи на развалинахъ отживающаго порядка вещей. Это земля, отвоеванная трудомъ у привилегіи. Гдѣ бывшій владѣлецъ имѣнія? За границей, куда влекло его сердце, подкупленное наружнымъ блескомъ чужой земли. А кто на мѣстѣ его? Сей набожный патріархъ, посѣдѣвшій въ школѣ терпѣнія и труда, сей вѣрный сынъ своей родины, годами тяжелаго опыта заслужившій то, чѣмъ онъ пользуется. А пользуется онъ, какъ и тотъ, великой властію надъ людьми; только та старая власть была желѣзная цѣпь, а эта—тонкія сѣти, въ которыя сей ловецъ уловляетъ рыбку свою. ...Неправда ли, государь мой, Терентій Степановичъ?

— Шутите, ваше благородіе!—съ самодовольной усмѣшкой отвѣчалъ Мироновъ.—Надъ кѣмъ она—моя власть? Надъ батракомъ-то? Такъ стоитъ ли же о немъ говорить? Али надъ односельцемъ, что по соглашенію отрабатываетъ должокъ? Да я у него въ рукахъ не меньше, чѣмъ онъ у меня... А надо мною властей-то!.. И! Боже мой! Извольте-ка посчитать...

Онъ возражалъ Неплёскину; но отвѣтъ его видимо обращенъ былъ къ намъ.

— Вы были здѣсь старшиной?—спросилъ я, вглядываясь внимательно въ эту физіономію, на которой, изъ-подъ ея бросающейся въ глаза степенности, просвѣчивало порой что-то неуловимо юркое.

— Былъ-съ,—отвѣчалъ патріархъ:—только битью тому уже скоро четвертый годокъ.

— При васъ, значитъ, куплена эта усадьба, что послѣ исчезла съ лица земли?

— При мнѣ.

— И вы были тоже пріобрѣтателемъ?

— Нѣтъ, сударь,—ни я и никто изъ нашихъ, благодареніе Богу, не былъ. А что довелось мнѣ, за восемь лѣтъ, быть очевидцемъ этихъ мытарствъ, такъ это правда.

Мы всѣ просили его разсказать, какъ было дѣло, и патріархъ, погладивъ бороду, разсказалъ намъ слѣдующее.

— Лѣтъ съ десять тому назадъ,—говорилъ онъ:—померъ тутъ, въ Старомъ Вытяговѣ, богатый баринъ, изволили, можетъ, слы-

хать?—генералъ Степанъ Матвѣичъ Артамоновъ,—и было у него, въ здѣшнихъ мѣстахъ, тысченокъ этакъ до двухъ десятокъ. Имѣніе опосля распродано въ разныя руки; а только допрежде всего наслѣдникъ спустилъ усадьбу. Очень ужъ былъ разобиженъ невымъто положеніемъ и опостылю ему родительское гнѣздо.—„А ну его, молъ, пропадай оно пропадомъ!..“ Гордый былъ господинъ, служилъ въ Петербургѣ, въ гвардіи, и держалъ себя высоко. Видѣть не могъ послѣ воли онъ мужика, и считая всякое дѣло съ нимъ униженіемъ, далъ на продажу довѣренность сродственнику, сосѣду; а самъ махнулъ рукою, да и уѣхалъ отселева навсегда. Свитицынъ, Егоръ Андреевичъ, сродственникъ-то, нынѣшній мировой судья,—тотъ за него и ворочалъ... Такъ вотъ, сударь мой, Егоръ Андреевичъ продали эту усадьбу точно что мужикамъ. Но при усадьбѣ имъ отошло не больше трехъ сотъ десятинъ, да и за тѣ не знали еще, какъ заплатить. А были тѣ мужики не здѣшніе, изъ сосѣдней ....ской губерніи, выселилось сюда ихъ четыре семьи,—съ дѣтьми и съ бабами навсего тридцать душъ. И засылали они сюда, еще допрежде того, ходока—за свѣденіями,—его Карпѣевымъ звали,—который потомъ и купчую имъ совершалъ:—богатый, многосемейный мужикъ и человѣкъ обходительный. Нашимъ онъ тутъ по душѣ пришелся. Ну и считалъ я его тогда за путнаго человѣка; да надо такъ полагать, что либо не былъ онъ въ настоящихъ-то передрягахъ, либо разсчеты какіе имѣлъ, закрытые,—шутъ его знаетъ. Наплелъ землякамъ про покупку-то и не вѣсть чего:—всѣмъ хороша, молъ, и люди-то тутъ—простота, и земля—золотое дно, и житье—не житье, а масляница!.. Польстились, голубчики, по восемнадцати рубликовъ дали за десятину, пять тысячъ, стало быть; но изъ нихъ только тысячу чистоганомъ, а остальное въ разсрочку, въ три года должны были все уплатить. Надѣялись на ленъ; все больше его сначала и сѣяли,—садъ подъ него даже вырубили и распахали; старинную барскую рощу липовую, въ саду, за 25 рублишекъ на лыко продали... И грѣхъ пожаловаться, первые два-три года ленъ у нихъ уродился важный. Больше двухъ берковцевъ десятина давала; а берковецъ шелъ тогда въ 70 рублихъ. По третьему году было опять-таки хорошо, а все уже какъ-то не то; да и хлѣба о ту пору тоже не уродились. Думали-было очистить покупку, анъ выпла у нихъ недоимочка: съ малаго началось, и ничуть не тревожило это ихъ сначала. Надѣялись,—такъ-то надѣялись, что четвертымъ годомъ купили даже у этого самаго ихъ Карпѣева его часть: деньжонки у насъ занимали тогда, чтобъ съ

нимъ разсчитаться. Ждали, значитъ, что будетъ у нихъ по прежнему урожай на славу; одначе не тутъ-то было.

На этомъ мѣстѣ разсказчикъ крякнулъ съ довольнымъ видомъ, и помолчалъ съ минуту.

— Не далъ имъ Богъ ни разу болѣе урожая, послѣ трехъ первыхъ годовъ;—да и не диво, потому—олухи. Чѣмъ бы покупку-то подѣлить, чтобы каждый, значитъ, владѣлъ своимъ безсмѣнно, да и хозяйничалъ у себя спокойно, такъ нѣтъ вишь—зависть! Зачѣмъ у сосѣда лучше!.. А лучше-то можетъ статься только по той причинѣ, что онъ удобренія не жалѣлъ. Такъ нѣтъ, молъ, давай-ка по старому, по обычаю... Ну и пошло у нихъ худо, пошли недоимки со всѣхъ сторонъ;—единственный у кого водились еще деньженки, Карпѣевъ, себѣ на умѣ, значитъ, выбылъ изъ общества. А запасовъ-то нѣтъ... Тутъ грѣшнымъ дѣломъ, ребята-то наши и поприкали голубчиковъ; купецъ Лихотинъ, помнится, дралъ съ нихъ за сѣмена на посѣвъ по пяти за пудъ, тогда какъ красная имъ цѣна—наличными—была три рубля. Да росту платили копѣекъ семнадцать, а по нуждѣ такъ и двадцать съ рубля... Съ тѣхъ поръ и поѣхало у нихъ подъ гору; землю начали продавать,—да только это плохая поправка. Ну, разорились теперича, значитъ, въ конецъ: въ деревнѣ курицы не найдешь; на двухъ лошадяхъ—три хозяина пашутъ;—одинъ даже бросилъ свое хозяйство и ходитъ теперь въ работникахъ. Да погоди, и другіе туда же пойдутъ; годика этакъ черезъ три, совсѣмъ приберетъ къ рукамъ пріятелей!.. И по дѣломъ! Не лазай Ѳедотъ въ чужой огородъ!.. Мало у насъ своей голи-то, изъ чужой губерніи вишь удостоили, пожаловали къ намъ съ капиталами: боярскую вотчину намъ подавай, потому у насъ, молъ, у всякаго по двугривенному въ карманѣ!—„Напрасно, братцы,—я говорю:—господскую-то усадьбу снесли. Жили бы тамъ, на штучныхъ полахъ, подъ потолками узорными, да сосѣднихъ господъ по праздникамъ угощали бы, такъ, пожалуй, дѣло то ваше, говорю, совсѣмъ бы иначе пошло... Выручили бы бояре своихъ-то, вотъ что!..

Онъ крякнулъ, какъ человѣкъ, вплотную поѣвшій, и потирая руки съ самодовольнымъ видомъ, умолкъ.

— Неужели вамъ не жаль ихъ?—сказалъ я, дивясь безсердечному смыслу его насмѣшекъ.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ спокойно.—Кабы несчастіе, али обида была отъ кого, такъ на это имъ грѣхъ пожаловаться. Единственно, можно сказать, за дурость свою поплатились.

— Однако, изъ вашего же разсказа видно, что ихъ прижи-

мали. Два рубля на три за забранное въ долгъ сѣмя, вѣдь это разбойничьи барыши!

Онъ засмѣялся.—Ну да, Лихотинъ точно что малость пересолилъ; хоша опять-таки, это у нихъ, въ купечествѣ, за обиду не почитается; потому дѣло комерческое: сегодня ты въ барышахъ, а завтра въ убыткѣ; надо, значитъ, чтобъ барыши покрывали убытокъ.

— А двадцать процентовъ за деньги, вы что-ли брали?

Петръ Иванычъ, сидѣвшій возлѣ, толкнулъ меня потихоньку локтемъ

— Семнадцать,—поправилъ Мироновъ.—Такъ что же дѣлать-то, батюшка? Сами чать знаете, какая у нашего брата бываетъ нужда. Бываетъ, что хоть зарѣжь, а деньги, въ назначенный часъ, чтобъ были заплачены. Не то что за годъ по двадцати, а и за семь-то денъ иной разъ охотно дашь по пяти, да въ ножки еще поклонишься. ...Вотъ что-съ!

За чаемъ Дуня прислуживала. Это была кровь съ молокомъ, проворная, ловкая дѣвушка лѣтъ 20-ти, съ высокой грудью и быстрымъ взоромъ. Краснѣя и усмѣхаясь, она отпучивалась отъ приглашеній сѣсть и отпушать съ нами чайку, который, по мнѣнію Горностаева, былъ бы слаще, если-бъ хозяйка сама разливала его.

Петръ Иванычъ смѣялся; но только-что мы остались втроемъ, какъ вся веселость его исчезла и мѣсто ея заступило очень серьезное выраженіе.

— Какъ дѣло?—спросилъ онъ пріятеля.

— Да никакъ, — отвѣчалъ Неплёскинъ, тоже серьезно, но какъ-то нехотя, и оба остановили глаза на мнѣ.

— Василій Егорычъ знаетъ,—сказалъ Горностаевъ, и помолчавъ:—ты извини меня, другъ любезный, я буду говорить прямо... Отдумалъ что-ли?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Неплёскинъ, — и если хочешь, вѣрнѣе будетъ сказать, не думалъ... Зачѣмъ? Думай хоть сорокъ лѣтъ, а дѣйствительной жизни себѣ не выдумаешь.

Сначала они немного стѣснялись моимъ присутствіемъ, но по немногу всякія околичности были брошены.

— Не понимаю, какъ можно было на это рѣшиться!—говорилъ Петръ Ивановичъ съ горькимъ упрекомъ.

— Да я и самъ, братъ, не понимаю.

— Иванъ Герасимовичъ! Ради Христа не шути! Серьезное это дѣло,—страшно серьезное! Попомни слово мое: напляшешься ты съ своею Дуней.

— Само собой напляшусь. На то и жена. Съ самою лучшей напляшешься. Ты, напримѣръ, съ Ларисой Дмитріевной...

Я думалъ, что Горностаевъ обидится этого рода сопоставленіемъ, но онъ пропустилъ его мимо ушей какъ нѣчто не относящееся до дѣла.

— Напляшешься и съ отцомъ,—продолжалъ онъ,—даромъ, что патріархомъ выглядитъ. П-п-п-патріархи-то братъ теперь—того, вонъ слышалъ? за семь дней пять процентовъ, да и за тѣ еще въ ноги ему поклонись. И ты не думай, что жизнь у него, какъ зятю, достанется тебѣ дешево. Попомни слово мое, онъ выжметъ изъ тебя сокомъ все, во что ему обойдется мужицкое его честолюбіе.

— Боишься, чтобы не закабалилъ меня на семь лѣтъ, и не заставилъ пасти овецъ?.. Нѣтъ братъ, онъ уважаетъ чины и разсчетъ у него на меня другой. Мы съ Дуней будемъ жить въ городѣ и я буду принятъ въ извѣстномъ кругу, куда ему нужно себѣ протереть дорогу... И буду ходатаемъ по его дѣламъ.

— Поздравляю! Знатныя у тебя будутъ дѣла! да хорошъ будешь ты и ходатай.

— Э! Чортъ его побери! Ему немногаго нужно.

— А если немного нужно, такъ что жъ это будетъ твое положеніе у него?.. Подумай только, на иждивеніи у богатаго мужика, и стало быть, у него въ зависимости, и безъ средствъ когда-нибудь выбиться изъ-подъ его опеки, въ случаѣ если она окажется, какъ навѣрно окажется, нестерпимой... Въ какой грязи и какъ безвылазно ты увязнешь.

Неплёскинъ слушалъ его нетерпѣливо, но очевидно не придавая значенія этимъ рѣчамъ.—Вздоръ!—сказалъ онъ.—Не ужившусь, такъ уѣду отсюда съ Дуней и поступлю во фронтъ. Меня всегда и вездѣ охотно примутъ.

Петръ Иванычъ умолкъ въ совершенномъ отчаяніи... Дорогой изъ Вытягова онъ добивался, что я объ этомъ думаю. Я отвѣчалъ, что по всѣмъ вѣроятіямъ, патріархъ ошибется въ разсчетѣ.

— А! чортъ съ нимъ! Я спрашиваю васъ объ Иванѣ Герасимовичѣ.

— Да что же васъ такъ безпокоитъ Иванъ Герасимовичъ?

— Помилуйте! Онъ погубитъ себя!

— Э! полноте! Иванъ Герасимовичъ слишкомъ большой философъ, чтобъ затрудняться не въ мѣру какими-нибудь житейскими непріятностями. Вы слышали: не уживется съ тестемъ, такъ броситъ его и поступитъ на службу.

— А Дуня?

— Ну, Дуня—еще закрытая карта. Только, я полагаю, ему не разъ доводилось ставить на этого рода карты.

— Какъ! Вы хотите сказать, что онъ уже былъ женатъ?

— Нѣтъ,—началъ я, но вдругъ, спохватясь, оборвалъ.—Во всякомъ случаѣ,—заключилъ я:—вамъ это лучше знать.

Петръ Иванычъ махнулъ рукой.—Женолюбивъ!—сказалъ онъ.

— Давно у нихъ это?—спросилъ я, раздумывая.

— Да сколько я знаю, ужъ нѣсколько мѣсяцевъ. Дѣвка, еще весною, бѣгала къ нему, въ Ольхино.

— И онъ не на шутку любитъ ее?

— Влюбленъ какъ котъ.

Н. Ахшарумовъ.

ВЪ ВОЛОСТНЫХЪ ПИСАРЯХЪ

Замѣтки и наблюденія.

(*Окончаніе*).

XIII *).

— Петровичъ!—взываю я почти каждое воскресенье между тремя и четырьмя часами по-полудни:—сажай судей!

Это значитъ, что старостъ я отпустилъ, просителей всѣхъ удовлетворилъ и теперь намѣреваюсь приступить къ отправленію правосудія. Петровичъ—отставной солдатъ семидесяти-пяти лѣтъ отъ роду, но бодрый и свѣжій, съ зычнымъ голосомъ и представительной наружностью; онъ—сторожъ при волостномъ правленіи, получаетъ шесть рублей жалованья въ мѣсяцъ, въ будни—вставляетъ свѣчи въ подсвѣчники, „соблюдаетъ“ сидящихъ въ арестантской и спитъ по ночамъ на денежномъ сундукѣ правленія; по воскресеньямъ же его главная обязанность заключается въ извлеченіи по мѣрѣ надобности изъ „Центральной Бѣлой Харчевни“ то старшины, то старостъ, то судей и тяжущихся... Ахъ, эта „Бѣлая Харчевня“! Сколько она мнѣ крови испортила за эти три года!.. Расположена она какъ разъ напротивъ волости, саженяхъ въ двадцати отъ нея (есть законъ, что кабаки не могутъ быть ближе 40 саж. отъ волости, а бѣлыя харчевни, т.-е. тѣ же кабаки, но съ продажей горячаго чая—это ничего), флаги надъ ней такъ весело полощутся, а въ открытыя двери несется такой заманчивый гулъ, что рѣдкій посѣтитель волости утерпитъ

*) См. выше: августъ, 461 стр.

не заглянуть и въ „Харчевню", считая ее какимъ-то необходимымъ дополненіемъ къ волостному правленію. Просовывается, напримѣръ, ко мнѣ въ дверь канцеляріи чья-нибудь кудластая голова и спрашиваетъ:

— Якова Иваныча нѣтъ тута?

— Нѣту, — отвѣчаешь съ сердцемъ, потому что приходится въ это утро въ десятый разъ отвѣчать на подобный вопросъ. Посѣтитель, ничего больше не разспрашивая, твердыми стопами направляется въ „Центральную", и пробывъ тамъ болѣе или менѣе долгое время, возвращается уже съ румянцемъ на лицѣ, предшествуемый обезпокоеннымъ старшиной, который, торопясь, открываетъ денежный сундукъ, вынимаетъ требуемую гербовую марку или паспортъ и вновь спѣшитъ въ „Центральную", гдѣ такъ внезапно была прервана его дружеская съ кѣмъ-нибудь бесѣда... И такъ ежедневно, по десяти и болѣе разъ. По воскресеньямъ же „Харчевня" рѣшительно отравляетъ мое существованіе...

— Петровичъ! гдѣ Петровичъ?—взываю я во всю глотку до тѣхъ поръ, пока кто-либо изъ десятскихъ не сжалится надо мной и не объяснитъ, что „Петровичъ въ трактирѣ-съ".

— Бѣги скорѣй, тащи его сюда, да и судей захвати.

Я очень боюсь, чтобы Петровичъ не напился, потому что онъ незамѣнимъ въ роли судебнаго пристава для вызыванія тяжущихся и свидѣтелей и водворенія между ними порядка. Онъ такъ зычно покрикиваетъ, такъ энергично поворачиваетъ и выпроваживаетъ изъ комнаты какого-нибудь забредшаго „на огонекъ" пьянчужку, что публика его боится гораздо больше, чѣмъ самого старшины. Вообще, Петровичъ—рѣдкій и крайне симпатичный типъ стараго служаки, всѣмъ существомъ своимъ преданнаго начальству.. Миръ праху его, этого вѣрнаго слуги, нашедшаго разъ пачку съ деньгами до пяти сотъ рублей, забытую старшиною на столѣ, и возвратившаго ее безъ всякаго промедленія: за этотъ подвигъ онъ получилъ отъ старшины рубль серебра... Исполнителенъ онъ былъ замѣчательно; бывало, скажешь ему:— прикли мнѣ завтра въ $4^1/_2$ часа утра лошадей на квартиру, — и ужъ вполнѣ увѣренъ, что лошади ни на пять минутъ не опоздаютъ, ни на четверть часа ранѣе назначеннаго срока не пріѣдутъ... Былъ однажды на судѣ такой случай: тягались два мужика о запроданной лошади; свидѣтелемъ у одного изъ тяжущихся былъ священникъ изъ сосѣдняго села, который очень тянулъ руку своего кліента и даже съ азартомъ наскакивалъ на судей, покрикивая такъ: „да чего вы думаете,—тутъ и думать нечего!

Пишите прямо: отказать" и проч. Между тѣмъ я замѣтилъ, что дѣло попова кліента неправое, да и судьи, хотя поддакивали „батюшкѣ", но тоже что-то мялись; необходимо было имъ дать поговорить между собой, — но никакъ не въ присутствіи полуначальника ихъ, т.-е. священника. Поэтому я, по обыкновенію, предложилъ всѣмъ присутствующимъ оставить комнату, „такъ какъ судьи будутъ совѣщаться". Всѣ вышли, кромѣ священника, преважно разсѣвшагося на диванѣ, съ видимымъ намѣреніемъ производить „давленіе" на судей.

— Батюшка,—говорю я ему:—предложеніе мое—на время удалиться изъ этой комнаты — относилось къ вамъ въ такой же степени, какъ и ко всѣмъ прочимъ.

— А вы что-жъ не уходите?—придирчиво спрашиваетъ онъ меня.

— Моя обязанность быть здѣсь въ качествѣ секретаря суда. Постороннимъ же здѣсь нѣтъ мѣста.

— Я уйду только въ томъ случаѣ, если и вы уйдете,—настойчиво твердитъ расходившійся пастырь.

— Петровичъ, — говорю я,—попроси батюшку оставить эту комнату.

Не смотря на свою набожность и полное уваженіе къ духовенству, Петровичъ мигомъ подскочилъ къ священнику и, взявъ его легонько за рукавъ рясы, вѣжливо, но настойчиво просилъ удалиться; тотъ, во избѣжаніе пущаго скандала, покорился... Я потомъ спрашивалъ Петровича, какъ это онъ рѣшился вывести священника?—Мнѣ покойный предводитель Сафоновъ говаривалъ, —отвѣчалъ онъ:—старикъ, ты знай только старшину, да писаря, —ихъ только и слушайся; а становые тамъ, урядники и прочая шушера — для тебя не начальники. Вотъ я теперь и знаю: что старшина, или писарь сказалъ, такъ тому и быть. Онъ, батюшка-то, у себя въ церкви хозяйствуй, а здѣсь онъ не хозяинъ.—Такъ вотъ каковъ былъ Петровичъ.

Возвращаюсь къ прерванному разсказу. Десятскій бѣжитъ въ харчевню, но судей безпокоить не рѣшается, а приглашаетъ только „дяденьку Петровича"—такъ всѣ его называютъ—„явиться къ писарю". Этотъ послѣдній на полусловѣ обрываетъ рѣчь и мгновенно является въ дверяхъ канцеляріи, вопрошая: что прикажете?

— Ты, другъ мой, который счетомъ шкаликъ пропустилъ? Только говори по совѣсти.

— Врать не буду, А. Н., — четвертый.

— Ну это ничего; только больше до конца суда — ни-ни!.. Зови же судей.

— Слушаю-съ.

Онъ дѣлаетъ на-лѣво кругомъ и бѣглымъ шагомъ отправляется въ харчевню... Жду пять, десять минутъ, — наконецъ, появляются и судьи.

— Ужъ вы простите великодушно, А. Н., признаться чайкомъ съ морозу побаловались. Морозецъ нынѣ важный, благодаря Создателю!

— Добраго здоровьица, А. Н., съ праздникомъ-съ! Все ли по добру себѣ, по здорову?

— Слава Богу, благодарю... Садитесь, пожалуйста, пора начинать, а то поздно засидимся: нынче восемнадцать дѣлъ.

— Господи, Создатель Милосердый! Да откуда-жъ ихъ такая пропасть?.. Нѣтъ, вы ужъ насъ не держите, А. Н., выпустите поскорѣе, нельзя ли кой-какія до будущаго воскресенья отложить?..

— Къ будущему воскресенью опять наберется десятка два дѣлъ, — ужъ сейчасъ семь жалобъ новыхъ записано. Садитесь, начнемъ поскорѣе, чего народъ зря держать...

Крестясь и покряхтывая залѣзаютъ судьи на свои мѣста позади длиннаго стола, покрытаго зеленымъ сукномъ. Ихъ четыре. Но позвольте мнѣ сначала разсказать, кто сейчасъ сидитъ со мной за этимъ судейскимъ столомъ, и какимъ путемъ они достигли высокаго званія народныхъ судей.

На самомъ дальнемъ концѣ стола, противъ того мѣста, гдѣ обыкновенно стоятъ тяжущіеся, сидитъ Петръ Колесовъ, мужикъ изъ средне-состоятельнаго дома, лѣтъ около сорока, живой и юркій, ведущій обыкновенно допросы и ежеминутно перебивающій какъ свидѣтелей, такъ и тяжущихся своими восклицаніями и замѣчаніями. Колесовъ всегда съ живѣйшимъ интересомъ слушаетъ дѣло, задаетъ вопросы очень остроумные, но подчасъ къ дѣлу и не относящіеся, а имѣющіе только цѣлью уяснить лично Колесову какое-нибудь непонятное ему побочное обстоятельство, о которомъ кто-либо упомянулъ на судѣ. Когда дѣло доходитъ до постановки рѣшенія, то онъ всегда первый предлагаетъ что-нибудь, но зачастую отказывается отъ своего мнѣнія подъ вліяніемъ разсужденій сосѣда, Дениса Черныхъ. Денисъ, безспорно, мужикъ умный, разсудительный; не смотря на свои 60 лѣтъ, онъ еще крѣпокъ и не покидаетъ сохи, хотя у него трое взрослыхъ сыновей. Говоритъ Денисъ мало, слушаетъ тяжущихся, опустивъ глаза въ землю и сохраняя безстрастное выраженіе лица; онъ, несомнѣнно, предсѣдатель нашего суда, хотя такой должности, въ

дѣйствительности, и нѣтъ; но его авторитетъ настолько великъ, что при постановкѣ рѣшенія очень рѣдкіе осмѣливаются перечить ему. Колесовъ уступаетъ ему охотно, хотя и позволяетъ себѣ иногда задать нѣсколько вопросовъ или хотя бы сдѣлать нѣсколько восклицаній, долженствующихъ выразить его удивленіе и сомнѣніе. Совершенно иначе относится къ Черныхъ другой его сосѣдъ, Василій Пузанкинъ или, какъ его по просту называютъ, лишь только онъ выйдетъ изъ-за судейскаго стола,—Васька Голопузъ. Этотъ Васька—типъ деревенскаго прохвоста, на все готоваго за рубль или за полштофъ водки; въ судьи онъ попалъ благодаря поддержкѣ подобныхъ ему, которымъ онъ „стравилъ“ рубля полтора на водку, — и вотъ теперь онъ старается „вернуть свое“. Онъ совершенно продажень; съ упорствомъ, достойнымъ лучшей участи, отстаиваетъ онъ совершенно неправаго, если этотъ неправый посулилъ ему магарычъ; онъ со злостью уступаетъ только соединеннымъ усиліямъ Дениса и Петра, подкрѣпляемымъ и моимъ писарскимъ авторитетомъ,—и часто имѣетъ еще нахальство, уступивъ, приговаривать: „смотрите, дѣло ваше; человѣка, извѣстно, не долго обидѣть... А нужно такъ, чтобы, то-есть, по правдѣ“... Въ эти минуты великолѣпенъ Черныхъ, бросающій на озлобленнаго взяточника мрачно презрительные взгляды; подъ вліяніемъ этихъ взглядовъ, причитанія Васьки становятся все тише и тише и наконецъ переходятъ въ невнятный шопотъ про себя. На судъ Васька является всегда нѣсколько зарумяненнымъ отъ трехъ, четырехъ выпитыхъ „въ задатокъ“ стаканчиковъ; выпить сверхъ этого онъ не рѣшается до суда — съ того времени, какъ я однажды потребовалъ, чтобы онъ вышелъ изъ-за судейскаго стола, такъ какъ онъ былъ окончательно пьянъ; Васька было-запротестовалъ, не желая оставлять теплаго мѣстечка, но я объявилъ, что не буду продолжать дѣла и покину судейскую комнату на все то время, покуда тамъ будетъ засѣдать пьяный Васька. Это подѣйствовало: онъ вышелъ изъ-за стола и впослѣдствіи остерегался уже „перепускать“ лишній стаканчикъ, изъ боязни вновь осрамиться; за то по окончаніи судовъ, Пузанкинъ переставалъ уже стѣсняться и нанивался съ тяжущимися до положенія ризъ. Любопытнѣе всего, что его угощали даже тѣ изъ судившихся, которые, не смотря на его заступничество въ судѣ, проигрывали тяжбы; дѣлалось это изъ благодарности за подмогу: все-таки, молъ, старался человѣкъ, а и такъ сказать надо, — можетъ быть, и хуже безъ него было бы... Но большею частью Васька доилъ имѣющихъ еще только судиться въ будущемъ, застращивая однихъ и суля другимъ всякую благодать, а зачастую не стѣснялся

вышить и съ противной стороны стаканчикъ, другой, причемъ склонялъ ее на мировую съ уступкою, стращая всякими ужасами... Словомъ, это былъ въ полномъ смыслѣ негодяй.

Четвертый судья, Ѳедька ямщикъ, былъ дѣйствительно ямщикомъ и попалъ въ судьи именно потому, что онъ былъ ямщикъ. Свою судейскую обязанность онъ отправлялъ какъ натуральную повинность; во время дѣлопроизводства обыкновенно дремалъ, во всемъ соглашался съ мнѣніемъ большинства, по нѣскольку разъ мѣняя свои рѣшенія, и думалъ только объ одномъ, какъ бы скорѣе отпустили его „ко двору“. Это онъ-то всегда и просилъ меня передъ началомъ засѣданія, — нельзя ли нѣсколько дѣлъ отложить до другого раза? Такимъ образомъ Ѳедька сидѣлъ только для счета, никакого вліянія на ходъ дѣла не оказывая.

И вотъ за однимъ столомъ сидятъ такія разнохарактерныя, прямо другъ другу противуположныя личности, каковы Петруха Колесовъ и Ѳедька ямщикъ, Денисъ Черныхъ и Васька Голопузъ. Какъ же они попали сюда, кто и какъ уполномочилъ ихъ отправлять функціи народнаго правосудія?

Начало января мѣсяца; большая комната сборни при волостномъ правленіи биткомъ набита выборными на волостной сходъ, явившимися для составленія смѣты волостныхъ расходовъ на начинающійся годъ и для производства выборовъ двѣнадцати волостныхъ судей, полномочія которыхъ простираются также на одинъ годъ. Смѣту уже составили, жалованье всѣмъ назначили, причемъ выторговали съ волостныхъ ямщиковъ ведро, съ сторожа и съ десятскаго (которымъ положили—первому шесть и второму — четыре рубля въ мѣсяцъ) — по четверти, да отъ старшины, — коли его милость будетъ,—ожидается полуведерка. Такимъ образомъ въ перспективѣ имѣется два ведра водки, т.-е. по полтора шкалика на человѣка, потому что собравшихся всего около ста сорока душъ. Понятно, что всѣ горятъ нетерпѣніемъ приступить къ даровому угощенію и поэтому съ явнымъ неудовольствіемъ выслушиваютъ мое предложеніе избрать изъ своей среды двѣнадцать человѣкъ на должность волостныхъ судей. Слышатся даже нѣсколько восклицаній: „да чего тамъ выбирать, назначай кого-нибудь, все равно отходятъ!“, но восклицанія эти все-таки подавляются крикомъ большинства: „нѣтъ, такъ нельзя,—дѣлать нечего, надо по закону! Ужъ мы сами назначимъ, какъ допрежь было“!..

— Ну, такъ выбирайте, господа; кого желаете?—повторяю я.

— Да вы разложите по душамъ, много ли на каждое общество приходится судей-то?

— Это не по закону будетъ, господа; надо, чтобы весь сходъ производилъ выборы, а не каждое общество отдѣльно.

— Да изъ кого же, лѣшій ихъ возьми, будемъ выбирать-то, коли примѣромъ сказать — Никольскіе никого изъ нашихъ не знаютъ, а мы Никольскихъ впервое въ глаза видимъ? Кабы всѣ изъ одного села были, ну тамъ другъ дружку все-таки знаемъ, а тутъ за пятнаддать-то верстъ поселки наши лежатъ, — намъ никогда и бывать-то у нихъ не приходилось!..

— Все это такъ, господа, но я не могу раскладку судейской повинности по душамъ дѣлать; мнѣ законъ этого не дозволяетъ.

— Дозвольте намъ выйти, пообдуетъ насъ маленько вѣтеркомъ-то, а то дюже ужъ запотѣли... Выходи, ребята, на улицу, тамъ столкуемся!..

Толпа выходитъ „на вѣтерокъ“, но нѣсколько человѣкъ, въ числѣ коихъ знакомые уже намъ Иванъ Моисѣевичъ, Парфенъ, Петръ Колесовъ и другіе, забѣгаютъ предварительно въ канцелярію, гдѣ сидитъ мой помощникъ, и просятъ его сдѣлать раскладку—по многу ли судей на каждое общество приходится соотвѣтственно числу его ревизскихъ душъ. Оказывается, что изъ Кочетова должно быть выбрано четыре человѣка, изъ Никольскаго двое, изъ Осиновки—двое, изъ Надгорнаго и Троицкаго [1]) вмѣстѣ—одинъ и т. д. Справлявшіеся выходятъ къ ожидающей ихъ у крыльца толпѣ, которой и передаютъ результатъ раскладки; тогда общая толпа распадается на кучки односельчанъ, и начинаются оживленные толки. Я прислушиваюсь къ тому, что происходитъ въ самой многочисленной группѣ, состоящей изъ представителей села Кочетова.

— Такъ какъ же мы надумаемся теперь дѣлать-то, господа? —ведетъ пренія Иванъ Моисѣичъ.—Давайте двоихъ изъ нашего прихода выберемъ, а двоихъ изъ энтого, чтобы поровну было.

— Ладно, валяй...

— У насъ, я думаю, Петруху Колесова можно, да Прохора Дубоваго... Ладно, что-ли, будетъ?

— Чего лучше!.. Отходять!.. Валяй теперь, ребята, своихъ!

— У насъ Гаврикова Илюху, да Ваську Пузанкина!—авторитетно заявляетъ Парфенъ.

— На кой лядъ Пузанкина-то?..—восклицаетъ одинъ скептикъ.

— Какъ на кой лядъ? Да чѣмъ же онъ хуже другихъ-то?..

— Да я, то-ись, къ слову.

---

[1]) Кстати, считаю долгомъ замѣтить, что всѣ названія мѣстъ и имена лицъ, которые приведены въ этихъ очеркахъ—вымышлены. Сохранить дѣйствительныя названія и имена оказалось, по нѣкоторымъ соображеніямъ, неудобнымъ.

— Къ слову?.. Нѣтъ, ты мнѣ скажи, чѣмъ онъ плохъ?.. Не съумѣетъ нешто разсудить, думаешь?.. Да онъ лучше твоего разсудитъ, не-бось!..

— Да я ничего, я только то-исъ про себя мекаю... А ну-те къ ляду, отвяжись ты совсѣмъ!—внезапно озлобляется скептикъ.

— Ваську, Ваську Пузанкина! — поддерживаютъ Парфена человѣкъ пять сторонниковъ Пузанкина, только-что распившихъ три полштофа на его, Пузанкина, счетъ...

Иванъ Моисѣичъ безмолвствуетъ. Онъ свое дѣло сдѣлалъ, своихъ двухъ кандидатовъ (Колесовъ ему сватъ, а Дубовый — пріятель сосѣдъ) провелъ, а до другихъ ему дѣла нѣтъ... Но тутъ мое вниманіе отвлекается другой группой избирателей.

— Конаться, вотъ что! Иначе никакъ нельзя...

— И чудакъ же ты, братецъ мой!.. Вѣдь прошлымъ годомъ нашъ надгоренскій Тимоха отходилъ, теперь вашему троицкому чередъ...

— Ладно, толкуй Захаръ съ бабой!.. А позапрошлымъ годомъ опять-таки нашъ Андрюха ходилъ?.. А душъ-то у васъ сто сорокъ, а у насъ сто пятнадцать,—вотъ и нѣтъ никакого разсчета намъ съ вами наравнѣ чередоваться—душъ-то у васъ побольше...

— Ну, шутъ съ тобой, конайся, коли такъ!..

— Живетъ! Такъ на слѣдующій годъ опять вашъ, надгоренскій будетъ, а нонѣ кому достанется?.. Такъ что ли, старички?..

— Такъ, такъ!.. Кому-жъ конаться?..

— Ну, у насъ опричь тебя, Фролушка, некому быть,—ты здѣсь одинъ отъ трехъ душъ. Конайся ты! А у васъ кто будетъ?

— Да у насъ вотъ Игнатъ Мартынычъ.

— Эхъ, сватъ, лучше бы ужъ тебѣ; старъ я сталъ, пора бы и на покой.

— Вотъ-та! Намъ стариковъ-то и надо, которые насъ бы уму-разуму по-старински учили... Такъ-то. Походишь, не-бось, не умрешь!.. А умрешь, все почетнѣе поминать будутъ! судьей былъ, скажутъ... хо, хо!..

— Охъ, не хотѣлось бы мнѣ!..—продолжаетъ упираться старикъ, но легонько подталкиваемый сзади сватомъ, придвигается къ кандидату „противной партіи“, Фролушкѣ, и берется съ нимъ за кнутовище: чья рука придется, при послѣдовательномъ перемѣщеніи ихъ къ противуположному концу кнутовища, тотъ, значитъ, и судья... Судьба оказалась милостива на этотъ разъ къ Игнату Мартынычу и опредѣлила въ судьи Фролушку, развеселаго малаго лѣтъ тридцати-трехъ, четырехъ.

А вотъ и еще одна группа, привлекшая мое вниманіе.

— Ѳедя, а Ѳедя, да что те стóить, не упрямься, — выручи ты насъ, сдѣлай милость!..

Оказывается, что очередь выставить судью пала на селеніе Хуторки отстоящее отъ Кочетова на 30 верстъ; это выселки изъ села Гладкаго, которое во время VIII ревизіи получило прирѣзку на излишнее количество душъ въ отдѣльномъ участкѣ, потому что по близости свободныхъ казенныхъ земель уже не было. Но Хуторки, хотя и составляютъ отдѣльное, самостоятельное селеніе и даже избираютъ своего старосту, все-таки остались причисленными къ Кочетовской волости, потому что владѣнная запись на землю у нихъ общая съ своей метрополіей—селомъ Гладкимъ; отсюда крайне отяготительная обязанность для хуторянъ—ѣздить въ Кочетово на суды, сходы и проч. Они нанимаютъ особаго ямщика, Ѳедьку, платя ему 90 р. въ годъ, чтобы онъ доставлялъ по воскресеньямъ старосту въ волость и отвозилъ бы его обратно; теперь же, когда до хуторянъ дошла очередь „выставить своего судью“, они и приняли въ крайнее затрудненіе, потому что никто изъ четырехъ выборныхъ не хочетъ каждое воскресенье дѣлать прогулку въ 60 верстъ. Просили они Кочетовскихъ ослобонить ихъ, взять на себя лишнюю судейскую должность, да тѣ запросили ведро водки, а они давали только четверть... Ну, насмѣялись надъ ними только: „ладно, отходите, разжирѣли тамъ, сидя въ углу-то! А вы вотъ съ наше походите-ка!“..

— Да что, ребята, думаю я,—говоритъ одинъ изъ выборныхъ:—Ѳедькѣ все равно кажинное воскресенье забиваться сюда со старостой, такъ его и выберемъ въ судьи. Онъ посидитъ, посидитъ, да и отходитъ такъ-то, Господи благослови.—Нужно сказать, что Ѳедька попалъ въ выборные на волостной сходъ на томъ же основаніи, что ему ужъ все равно забиваться въ волость съ старостой, такъ и въ выборныхъ-молъ за одно отходитъ.

Всѣ отлично понимали, что Ѳедька ни на какую общественную должность, кромѣ старостинаго ямщика, не годится, потому что Богъ его умомъ обидѣлъ, не говоря ужъ про то, что онъ до страсти жаденъ на вино, — но стремленіе съэкономить одного человѣка при отбываніи общественной повинности натолкнуло хуторской міръ сдѣлать Ѳедьку однимъ изъ своихъ представителей. Ѳедька, послѣ легкаго протеста, и получивъ полштофъ мірского вина, согласился принять на себя обязанности выборнаго на волостной сходъ, такъ какъ всѣ обязанности его могли заключаться въ томъ, чтобы при перекличкѣ на сходѣ онъ сказалъ бы „здѣсь“, а потомъ до самой минуты отъѣзда онъ

могъ уже безпрепятственно хранить глубокое молчаніе и дремать, прислонившись спиной къ жарко-натопленной печкѣ. Но перспектива судейскихъ обязанностей испугала Ѳедьку, и онъ энергично сталъ отрекаться отъ сдѣланнаго предложенія.

— Да что вы, почтенные, помилуйте, какой же я судья! Опять мнѣ за лошадью присматривать надо, а тамъ сиди за столомъ... Нѣтъ, ужъ вы ослобоните!

— Пустое ты болтаешь! Прикажешь десятскому за лошадью посмотрѣть—на то онъ и десятскій, а ты судья... А тамъ себѣ будешь смирнехонько въ теплѣ сидѣть, отсидишь, да и поѣдешь съ Господомъ...

— Никакъ это не возможно, старички!..

— Ѳедька, будь другъ! Уважь міръ!.. Мы-те и въ карауль-ные цѣлый годъ выгонять не будемъ...

— Это вѣрно,—не будемъ!—поддерживаетъ міръ и староста.

— И два полштофа сейчасъ выставимъ тебѣ!..

Ѳедька колеблется.

— Да что толковать!—замѣчаетъ еще одинъ выборный:—насъ пятеро—цѣлую четверть мірскую выпьемъ, во—какъ!..

— Выпьемъ!.. Это что и говорить!.. Такъ какъ же, Ѳедька, а?..

У Ѳедьки слюнки текутъ...

Сборня начинаетъ вновь наполняться; выборные столковались и спѣшатъ теперь объявить результаты своихъ совѣщаній.

— Кого же, господа старички, желаете въ судьи?—спрашиваетъ старшина.

— Петруху Колесова!—объявляетъ Иванъ Моисѣевичъ.

— Всѣ желаете?—Опять спрашиваетъ старшина.

— Всѣ... Желаемъ!..—какъ одинъ человѣкъ отвѣчаютъ сто сорокъ выборныхъ.

— Прохора Дубоваго...

— Всѣ желаете?..

— Всѣ...—и т. д. покуда не будутъ провозглашены судьями всѣ двѣнадцать кандидатовъ, въ числѣ коихъ значится и Илюха Гавриковъ, и Васька Пузанкинъ, и Фролъ Бородинъ и Ѳедоръ Ягодкинъ, т.-е. по обиходному—Ѳедька ямщикъ...

— Господа,—заканчиваю я выборы:—у насъ издавна ведется, чтобы всѣ судьи разбивались на три очереди, по четыре человѣка въ каждой, причемъ каждая очередь обязана „отходить“ по четыре мѣсяца; первая очередь съ января по апрѣль включительно, вторая—съ мая по августъ, третья—съ сентября по декабрь. Дозволите вы мнѣ со старшиной распредѣлить новыхъ

судей по очередямъ, или сами будете назначать, когда кому ходить?

— Чего тамъ!.. Стоитъ толковать изъ пустяковъ!.. Сами назначайте, вамъ виднѣе!..—слышатся со всѣхъ сторонъ восклицанія.

Сходъ кончается. Всѣ спѣшатъ къ „распивочному и на вынось“—пить магарычи и разныя отступныя; волость мгновенно пустѣетъ, остаемся только мы съ старшиной, потому что даже Петровичъ съ десятскимъ убѣжали, чтобы изъ своихъ четвертей хоть по стаканчику выпить.

— Ну, какъ-же, Яковъ Ивановичъ, надо вѣдь разсортировать судей? Я многихъ еще не знаю, такъ ты ужъ помоги мнѣ.

— Что-жъ, это можно: вотъ Ваську Пузанкина надо пріобщить къ Черныху; этотъ его окорачивать будетъ, а то Васька-дюже плутъ-мужикъ...

— Какой это Васька? я что-то не припомню...

— А вотъ что намедни приходилъ жаловаться на Воробьева Ивана, будто тотъ у него сѣно на гумнѣ потравилъ...

— А, а! это что еще просилъ пять рублей за потраву, а на полтинникѣ сошелся?..

— Ну, вотъ, этотъ самый... Выжига такой, бѣда! Онъ ворочать теперь пойдетъ, посмотри-ка... Безпремѣнно къ нему Черныха приспособить надо.

— Ладно, записалъ. А вотъ Прохоръ Дубовый, этотъ каковъ изъ себя будетъ?

— Это Иванъ Моисѣича сватъ! Что-жъ, мужикъ хорошій, тверезый мужикъ! Про него дурного ничего сказать нельзя. Его хоть во вторую очередь запиши, онъ тамъ будетъ головой...

Такимъ путемъ и произошла разсортировка судей; послѣдствіемъ этого обстоятельства и было, что въ знакомой уже намъ очередной группѣ находились такія разнохарактерныя личности, каковы Пузанкинъ, Черныхъ, Колесовъ и Ягодкинъ, взаимно дополнявшіе или нейтрализовавшіе другъ-друга.

Посмотримъ, однако, что и какъ дѣлается этими судьями на этихъ судахъ.

XIV.

Итакъ, мы усаживаемся за столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; судьи сидятъ у стѣны по длинѣ стола, я — съ боку, за узкимъ концомъ его. Петровичъ мнѣ порадѣлъ, поставилъ единственное имѣющееся у насъ кресло; онъ это дѣлаетъ каждое воскресенье, не смотря на мои протесты: „вы больше ихъ рабо-

тесте — пишете, а они только языкомъ болтаютъ, вамъ и отдохнуть надо, а на креслѣ и мягче, и откинуться можно" — говоритъ онъ; судьи сидятъ на разнокалиберныхъ стульяхъ. Засѣданіе наше носитъ вначалѣ оффиціально-торжественный характеръ: судьи въ застегнутыхъ на-глухо полушубкахъ туго перепоясаны праздничными домотканными кушаками; но по мѣрѣ того, какъ въ небольшой комнатѣ, гдѣ мы засѣдаемъ, становится все душнѣе,—полушубки разстегиваются, полы становятся свободнѣе, на лицахъ сказывается утомленіе, рѣчь принимаетъ болѣе домашній характеръ. Но въ началѣ, какъ я сказалъ, всѣ держатся чопорно, глубоко вздыхаютъ, шепчутся другъ съ другомъ вполголоса, какъ бы боясь нарушить торжественность обстановки; Петровичъ стоитъ у дверей на вытяжку; на диванѣ сидятъ два оффиціальныхъ свидѣтеля, при которыхъ читаются постановленія суда, что и отмѣчается въ книгѣ такимъ образомъ: „рѣшеніе это объявлено такого-то числа при свидѣтеляхъ, крестьянахъ такихъ-то". Такъ какъ комнатка наша мала, и къ тому же случается, что публика не ведетъ себя достаточно чинно, то кромѣ этихъ двухъ свидѣтелей присутствовать при допросахъ допускается лишь избраннымъ, изрѣдка приходящимъ „скуки ради" послушать суды: учителю, священникамъ, мѣстнымъ торговцамъ, Ивану Моисѣичу и нѣкоторымъ другимъ лицамъ, составляющимъ сливки Кочетовскаго общества. Для прочей, „черной" публики двери нашей залы засѣданій растворяются только въ моментъ объявленія рѣшенія суда.

— Василій Коняхинъ! — вызываю я по жалобной книгѣ истца по первому, стоящему на очереди, дѣлу.

— Василій Коняхинъ! — гремитъ Петровичъ въ полуотворенныя двери, ведущія въ сборню.—Коняхинъ!

— Гдѣ Коняхинъ?.. Аль въ трактиръ ушелъ?

— Здѣся, чего кричишь!..

— Чего-жъ ты не отзываешься, коли тебя зовутъ? — допекаетъ его нашъ судебный приставъ.

— Для-ча мнѣ отзываться... Ты зовешь, я и иду, а отзываться мнѣ не для-ча...

— Ну-ну, не разговаривай, а становись вонъ къ печкѣ...

Вошедшій мужикъ, сутуловатый и широкоплечій, съ угрюмымъ выраженіемъ лица, нѣсколько разъ истово крестится на икону, дѣлаетъ глубокій поклонъ судьямъ и, тряхнувши волосами, становится на указанное мѣсто.

— Вы—Василій Ивановъ Коняхинъ,—спрашиваю я.

— Я самый.

— Въ чемъ ваша жалоба? разсказывайте суду.

— Въ чемъ?.. Извѣстно, въ чемъ: Гришка побилъ.

— Чей это Гришка?—вмѣшивается Колесовъ.

— Волковъ.

— А, а... Волковъ? Это Матвѣя Ивановича зять? Ну такъ, такъ... Побилъ, говоришь ты, и больно?

— Лучше не надо. Глазъ во-какъ раздуло, почернѣлъ совсѣмъ; теперь зажило.

— Такъ-съ. Гдѣ же у васъ дѣло-то было?

— Да около кабака. Я домой хотѣлъ ѣхать, а онъ догналъ и давай бить...

— Такъ ни за что и побилъ?

— Ни за что... Съ празднику мы ѣхали, отъ Гудовскихъ. Праздникъ у нихъ былъ.

— Да что-жъ у тебя языкъ-то, прости Господи, словно жерновъ ворочается! Сказывай веселѣе, какъ у васъ дѣло было?

— Сказывать-то нечего: побилъ, да и только. Безъ глазу двѣ недѣли ходилъ...

— А. Н!—обращается ко мнѣ Колесовъ, потерявъ охоту допрашивать такого неразговорчиваго субъекта:—зовите виновника, послушаемъ, что онъ скажетъ, а отъ этого никакого толку не добьешся.

На выкликъ Петровича въ комнату быстро входитъ очевидно ожидавшій у дверей отвѣтчикъ Григорій Волковъ, юркій вертлявый мужиченка, на видъ гораздо слабѣе коренастаго Конихина. Онъ начинаетъ говорить, не дожидаясь вопроса.

— Не вѣрьте, господа судейскіе, ему; навретъ со злобы, ей-Богу навретъ, какъ пить дастъ...

— Ты не мели!—осаживаетъ его Денисъ Ивановичъ,—а говори дѣломъ, что и какъ у васъ было?

— Извольте видѣть, господа судійскіе: были мы, значитъ, у праздника, въ Гудовкѣ, значитъ... Тамъ на Введеніе завсегда престолъ бываетъ.

— Знаемъ, какъ не знать; сами не однова были! — не утерпѣлъ, чтобы не вставить своего слова Колесовъ.

— Вотъ, вотъ, это и я говорю... Хорошо-съ; ѣдемъ мы оттелева съ нимъ, я на его лошади—потому, первымъ дѣломъ, лошади у меня нѣтъ—еще около Покрова увели, може, слыхали?..

— Съ озимей?—участливо замѣчаетъ Колесовъ.

— Съ озимей, съ озимей; какъ пить дали, увели... А добрый меренокъ былъ, хоть и въ годахъ, а грѣхъ покорить... Ладно;

такъ я и говорю: кумъ (а онъ мнѣ еще и кумомъ доводится)!—поѣдемъ къ празднику вмѣстѣ? Ну, что-жъ, говоритъ, поѣдемъ...

— Вы покороче говорите,—останавливаю я словоохотливаго разсказчика, опасаясь, что мы принуждены будемъ выслушать подробное повѣствованіе о всѣхъ ихъ похожденіяхъ на праздникѣ.—Сказывайте прямо, съ чего у васъ драка вышла? Тамъ, что ли подрались?..

— Упаси Богъ, зачѣмъ тамъ!.. Мы тамъ, то-исъ, во-какъ, душа въ душу были, и вмѣстѣ по гостямъ ходили; а это ужъ какъ мы назадъ ѣхали, неудовольствіе-то промежъ насъ приключилось. Чтой-то, говорю, кумъ, прозябъ я будто маленько?—И то, говоритъ, холодно что-то къ ночи.—Заѣдемъ, говорю, въ Шенталиху, она намъ по дорогѣ будетъ, по стаканчику и выпьемъ. Заѣхали. Спросилъ я у цѣловальника, Ивана Митрича, косушку, да и говорю: у меня, вѣдь, кумъ, денегъ-то нѣту, ужъ видно ты запатинь. Въ ту пору онъ промолчалъ; только, какъ выпили по стаканчику, онъ и сталъ ко мнѣ приставать, чтобы я ему на свои поднесъ косушку. Я ему божусь, что денегъ нѣту, а онъ видно опять захмѣлѣлъ—ругаться сталъ: „такой, да сякой, на моей лошади ѣдетъ, да еще мою водку пьетъ; иди же, говоритъ, пѣшкомъ, а я не повезу“. И пошелъ садиться на телегу. Я за нимъ: кумъ,—говорю,—да что ты, очумѣлъ, родимый, что-ли? тутъ еще пять верстъ до дому, а ужъ ночь на дворѣ: куда я пойду въ этакую темь?.. А кумъ мой расперелюбезный будто меня и не слышитъ, и ухомъ не ведетъ, знай понукаетъ лошадь; ну я тутъ и схватился за возжу—попридержать его маленько... Какъ онъ мнѣ въ тую пору дастъ леща прямо въ ухо, ажъ звонъ у меня въ головѣ пошелъ!.. Ну, въ этотъ разъ и я ужъ не стерпѣлъ, прыгъ къ нему въ телегу и пошло у насъ тутъ неудовольствіе... Да мнѣ гдѣ-жъ было съ нимъ справиться, кабы онъ пьянъ не былъ—сами извольте, господа судьи, посмотрѣть на него и на меня...

— А глазъ ты ему точно подбилъ?—допрашиваетъ Колесовъ.

— Врать не хочу, случился такой грѣхъ: маленько не ладно потрафилъ. Да теперь у него, слава Богу, зажило.

— Вотъ что, почтенный,—прерываетъ свое молчаніе Черныхъ, обращаясь къ жалобщику:—брось это дѣло, ничего не получишь; самъ виноватъ: первый зачалъ, потомъ оба подрались—о чемъ же жаловаться?..

— Это то-есть какъ же?... Ни съ чѣмъ?

— Ахъ, кумъ, кумъ!..—подхватываетъ обидчикъ, ободренный заступничествомъ судьи.—Я-жъ тебѣ еще полуштофъ на мировую

поставить хотѣлъ, а ты поди-жъ, что выдумалъ!.. Въ судъ идти, судейныхъ утруждать такимъ пустякомъ!..

— Ну вотъ это первое дѣло!—восклицаетъ Колесовъ.—Пойдите-ка, выпейте на мировую, да чтобъ ни на комъ...

— Миритеся, говорю вамъ,—заключаетъ Черныхъ,—миритесь скорѣй, не то обѣихъ въ холодную на сутки.

— Дровецъ мнѣ подможете наколоть!—подхватываетъ Петровичъ.—А то нѣтъ моей моченьки: на двѣ печки-то каждый день, сколько ихъ наготовить надо?..

— Что-жъ, кончаете дѣло мировой? — вставляю и я свое словечко.

— Кумъ, брось, пра-слово брось, а?..

— Да ну-те къ лѣшему! Пойдемъ!.. Прощенья просимъ, господа судейскіе.

— Вотъ это превосходно, на что ужъ лучше!—одобряютъ и Колесовъ, и Пузанкинъ, и даже успѣвшій уже задремать „въ теплѣ“ Ѳедька Ягодкинъ. Одинъ Денисъ Иванычъ угрюмо молчитъ.

— Сторожу-то за хлопоты не забудьте приберечь стаканчикъ!—въ догонку уходящимъ кумовьямъ кричитъ Петровичъ, тоже довольный состоявшейся мировой, хотя надежда на помощь при колкѣ дровъ и остается тщетной.

— Ладно, оставимъ. Подходи!..—отвѣчаетъ уже изъ другой комнаты Гришка.

— И съ чего это вздумалось Коняхину жаловаться на кума?—полувопросительно замѣчаю я.—Мужики оба, кажется, хорошіе; ну, подрались, такъ это не въ диво.

— Обидно очень стало Василію-то ходить съ подбитымъ глазомъ: кабы не глазъ — ничего бы и не было, а то засмѣяли его вовсе онамеднись въ трахтирѣ... Вотъ онъ съ пьяну-то и пошелъ жалобу записывать, а потомъ ужъ поопасался отступиться, какъ бы за это что не было,—объяснилъ судья Пузанкинъ, знающій почти всю подноготную житья-бытья Кочетовскихъ обывателей.

Выступаетъ на сцену истецъ по второму дѣлу, старикъ лѣтъ шестидесяти. Онъ жалуется, что сынъ его пересталъ слушаться, бранится, бросается съ кулаками на мачиху—его, старика, вторую жену... Старикъ проситъ судъ „пострацать“ сына, всыпавъ ему десятокъ горячихъ. Зовемъ парня; входитъ малый лѣтъ двадцати пяти, самъ уже отецъ двоихъ дѣтей; за его спиной становится его жена, а съ боку старика — мачиха. Бабы эти вторглись къ намъ, не смотря на протесты Петровича; я оставляю ихъ, однако, въ покоѣ, думая, что изъ имѣющей произойти семейной сцены скорѣй выяснится, кто изъ нихъ правъ, кто виноватъ.

— Батюшки мои, заступитесь, родные!..—причитаетъ мачиха.—Житья мнѣ не стало, со свѣта сгоняетъ...

— Кто тебя сгоняетъ? Сама всѣхъ изъ дому выгоняешь, поѣдомъ меня ѣшь,—замѣчаетъ молодая. Отецъ съ сыномъ молчатъ, не глядя другъ на друга.

— Ты что-жъ это, молодецъ, дѣлаешь, а? Нешто годится это отца родного, да мать забижать?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Отца я не обижаю, а она какая же мнѣ мать!—нехотя замѣчаетъ бунтовщикъ.

Судьи молчатъ; съ двухъ словъ становится для всѣхъ понятной семейная драма тяжущихся: мачиха не уживается съ молодой и натравливаетъ на нее старика, а сынъ заступается за жену свою и отстаиваетъ ее передъ стариками. „Отцы“ не ладятъ съ „дѣтьми“.

— Проси, чего-жъ ты не просишь?—слышу я шопотъ старухи.

— Такъ какъ же, господа судейскіе, постращайте малаго-то?.. совсѣмъ отъ рукъ отбился.

— Старикъ! ты не дарма ли просишь на него? Не твоя-ли хозяйка тебя подбиваетъ свое дѣтище тѣснить?—строго спрашиваетъ Черныхъ.

— Да разрази меня Мать Пресвятая Богородица!.. Да провались я на этомъ мѣстѣ,—начала-было причитать старуха, но быстро умолкла при грозномъ жестѣ Петровича. Старикъ ничего на вопросъ не отвѣтилъ.

— Эй, молодецъ, слухай сюда,—говоритъ Черныхъ.—Можетъ, тутъ и не вся вина твоя, а все-жъ ты супротивъ отца родного не долженъ идти, не смѣешь ругаться, это великій грѣхъ!.. Проси прощенья: онъ, може, и проститъ, а то не прогнѣвайся, отстегаемъ.

„Молодецъ“ угрюмо молчитъ, не поднимая глазъ съ полу.

— Дѣдушка! А то, на первый разъ, вы бы простили его!—дѣлаю я слабую, что̀ и самъ замѣчаю, попытку смягчить старика.

— Какъ же мнѣ прощать, коли онъ не проситъ?—говоритъ онъ и этимъ порываетъ всякую надежду на мирный исходъ дѣла.

По предложенію Петровича (онъ понялъ кивокъ головой, сдѣланный Денисомъ Иванычемъ) вся группа тяжущихся выходитъ изъ комнаты.

Наступаетъ моментъ рѣшенія участи малаго, почему-то пріобрѣвшаго мою симпатію. Я выжидаю, что̀ скажетъ Денисъ Иванычъ; мнѣнія прочихъ не имѣютъ такого значенія. Первымъ, по обыкновенію, начинаетъ говорить Колесовъ.

— Что жъ, господа товарищи, — всыпать ему десяточекъ, или много?

— Чего много!—поддерживаетъ Пузанкинъ, не пользовавшійся ничѣмъ отъ обвиняемаго и поэтому сохраняющій суровый ригоризмъ: — чего много, въ самый разъ! Имъ гляди въ зубы-то: они живо осѣдлаютъ.

— Такъ, такъ,—это первымъ дѣломъ!—поддакиваетъ и Ѳедька, всегда согласный съ чужимъ авторитетно-высказаннымъ мнѣніемъ. Въ эту минуту Ѳедька даже забылъ, какъ въ прошлый праздникъ, напившись въ кабакѣ, пришелъ домой и такъ саданулъ въ бокъ своего отца, начавшаго дѣлать ему выговоры, что тотъ дня два кряхтѣлъ и грозилъ идти жаловаться въ судъ на судью...

Денисъ Ивановичъ все молчитъ; я начинаю надѣяться, что онъ не согласенъ съ мнѣніями прочихъ, и стараюсь расчистить ему путь, указывая на выяснившееся на судѣ обстоятельство— злющій характеръ мачихи, притѣсняющей, по всей вѣроятности, жену обвиняемаго, что и послужило поводомъ къ открытой ссорѣ между „отцами и дѣтьми“. Я намекаю, что не худо бы на первый разъ все дѣло оставить безъ послѣдствій, предупредивъ отвѣтчика, что если на него еще будутъ жалобы, то онъ въ слѣдующій разъ будетъ подвергнутъ тяжелому взысканію.

— Нѣтъ, вовсе прощать ку-быть не годится, — замѣчаетъ Черныхъ.—А дать ему одинъ лозанъ—для острастки...

Но я окончательно возстаю противъ тѣлеснаго наказанія. Парень, доказываю я, кажется, хорошій и долженъ теперь пропасть изъ-за ехидной старушенки. Если пороть, то разница между однимъ и двадцатью ударами — только въ относительной боли, а послѣдствія для осужденнаго одни и тѣ-же: онъ лишается многихъ правъ, не можетъ быть выбранъ старостой, старшиной и пр. Я горячо защищаю жертву семейныхъ неурядицъ и, какъ крайнее средство, предлагаю остановиться на арестѣ, если судъ найдетъ окончательно невозможнымъ совершенно простить обвиняемаго... Прежде всѣхъ со мной соглашается Ѳедька-ямщикъ, такъ какъ онъ—изъ уваженія къ моему писарскому званію—считаетъ необходимымъ согласоваться со мной даже въ ущербъ авторитету Дениса Ивановича; но остальные молчатъ, упорно отстаивая права родительской власти. Совѣщаніе наше тянется около получаса; Колесовъ и Пузанкинъ начинаютъ, наконецъ, сдаваться и говорятъ Черныху: „а то, ну его къ лѣшему!.. давай его въ холодную сутокъ на пять посадимъ, коли закона нѣтъ пороть?“—на что Черныхъ отрывисто отвѣчаетъ: „дѣлайте, какъ знаете“. Я ухватываюсь за эту полууступку съ его стороны и

нему рѣшеніе: арестовать такого-то при вол. правленіи на пять сутокъ... Денисъ Ивановичъ устранилъ себя отъ рѣшенія вопроса, не осмѣливаясь измѣнить ветхо-завѣтнымъ традиціямъ, по которымъ въ данномъ случаѣ требовалось выдать сына головой отцу, т.-е. сдѣлать съ нимъ все, что пожелаетъ отецъ; но новыя времена съ такой неудержимой силой разрушаютъ всѣ отцовскіе и дѣдовскіе обычаи, что Денисъ Ивановичъ иногда въ полномъ недоумѣніи — гдѣ ложь, и гдѣ истина, и, не умѣя разрѣшить этихъ жгучихъ вопросовъ, вовсе отстраняется отъ активнаго вмѣшательства, ограждая себя словами: „дѣлайте какъ знаете“...

Недоразумѣніямъ, возникшимъ по поводу этого дѣла, не суждено было, однако, кончиться на этомъ: когда я прочелъ постановленіе суда о „подвергнутіи Порфирія Алексѣева пятидневному аресту за неповиновеніе родительской власти“, то старикъ вдругъ завопилъ.

— Батюшки, господа судейные!.. да что-жъ это вы со мной дѣлаете? Намъ съ нимъ завтра ѣхать надо къ Сысоеву дрова возить,— я договорился и задатки на три подводы взялъ, — а вы его въ холодную посадить хотите!.. Да гдѣ-жъ мнѣ одному, старику, справиться? Вѣдь онъ у меня одинъ, какъ перстъ!.. Ослобоните, родимые, не зорите!..

Я пытаюсь успокоить старика, увѣряя, что его сына арестуютъ не сейчасъ, а по истеченіи тридцати-дневнаго срока и что онъ самъ можетъ явиться, когда по-свободнѣе будетъ, — но старикъ и на этотъ компромиссъ нейдетъ.

— Завсегда работа около дома найдется: помолотиться, сѣчки скотинѣ нарѣзать; гдѣ-жъ мнѣ одному пять-то дней справляться со всѣмъ хозяйствомъ?.. Нѣтъ, господа судейные, ужъ вы его лучше постегайте, да и отпустите домой!

Черныхъ глубоко вздыхаетъ; Колесовъ ерзаетъ на стулѣ; Пузанкинъ шепчетъ: „я говорилъ—постегать“... Подсудимый все время стоитъ, потупивъ глаза, и только изрѣдка нетерпѣливо встряхиваетъ волосами, когда стоящая позади его молодуха шепчетъ ему что-то на-ухо. Я объявляю, что постановленіе суда уже сдѣлано и измѣнено быть не можетъ, недовольные же имъ имѣютъ право обратиться съ жалобой въ Уѣздное Присутствіе.

— Коли такъ,—съ сердцемъ объявляетъ старикъ,—не надо-жъ мнѣ вашего суда!.. Ничего не хочу—помарайте, ку-быть я и не судился!.. Видно, нонѣ законъ такой есть—сыновьямъ на шеѣ отцовской ѣздить!.. Прощенья просимъ, что обезпокоили васъ.

И онъ величественно—не подберу другого слова — уходитъ, шмыгая избитыми лаптями; сынъ тоже молча поворачивается къ

выходу; одна только молодуха низко кланяется намъ и говоритъ: „Дай вамъ, Господи!.. Помоги, Царица Небесная“.. Петровичъ ласково толкаетъ ее въ двери... Мы сидимъ, словно воды въ ротъ набрали; всѣмъ тяжело, даже и Ѳедькѣ, — про Дениса Ивановича я и не говорю: онъ видимо даже въ лицѣ измѣнился... Не суду возстановлять дискредитированную власть „отцовъ“ надъ „дѣтьми“.

Слѣдующее за этимъ дѣло нѣсколько разгоняетъ мрачное настроеніе нашего духа. Тяжущіеся: мужъ, плюгавый мужиченка, горбатый, съ слезящимися глазами, и жена—по городскому одѣтая женщина, лѣтъ 32--34, все еще довольно красивая, не смотря на отпечатокъ бурной жизни на лицѣ; она держитъ себя модно, говоритъ по „благородному“ и вообще смахиваетъ на горничную средней руки. Истица проситъ судъ заставить отвѣтчика выдать ей паспортъ для проживанія въ городѣ.

— Я вотъ уже шесть годовъ по господамъ живу, хорошія мѣста имѣю, и вдругъ онъ требуетъ меня къ себѣ, господину старшинѣ не дозволяетъ мнѣ документъ выдать...

— Не хочу, чтобъ болталась: иди ко мнѣ жить.

— Никакъ это невозможно-съ: господа!.. Очень прошу принять въ резонъ, что еслибъ у него хозяйство было, еслибъ онъ меня, какъ должно, соблюдать могъ, то это разговоръ иной былъ бы; а то домишко у него весь развалился, самъ онъ въ пастухахъ живетъ... Развѣ у него достатка будетъ соблюдать меня?.. А теперь я и сама не хуже людей живу и еще дочь при себѣ имѣю, — ничего отъ него не прошу, только дай онъ мнѣ документъ.

— А вотъ не дамъ! Иди ко мнѣ, ѣшь мой хлѣбъ!..

— Да есть ли онъ у васъ-то еще, надо перво-на-перво спросить?..—презрительно спрашиваетъ городская.

— Вотъ что, другъ, раскайся-ка: ты самъ ее спервоначалу отпустилъ въ городъ?—спрашиваетъ Колесовъ.

— Извѣстно самъ,—мрачно отвѣчаетъ „другъ“.

— И все время пачпорта давалъ?

— Давалъ...

— Вотъ и разбаловалъ бабу — самъ виноватъ, теперь и кайся. Что ты съ ней теперь дѣлать будешь, коли ежели теперь она къ тебѣ придетъ? Вѣдь она чаи-сахары любитъ, а ты гдѣ ей возьмешь?

— И безъ чаевъ поживетъ...

— Господа судьи!.. Сдѣлайте вы такую милость, уговорите

его! Я ему пять рублей въ годъ буду давать, чтобъ только онъ не нудилъ меня...

— Не надо мнѣ денегъ, иди жить.

— Нѣтъ, Ѳедулычъ, это не дѣло теперь бабу кругомъ обрѣзать... Куда она теперь годится?.. Никуда... Она только тебя по рукамъ, по ногамъ свяжетъ; она теперь тебѣ ужъ не жена!..

Пастухъ молчитъ. Меня все больше начинаютъ интересовать мотивы, заставившіе его вдругъ измѣнить отношенія къ своей пущенной давно на вольную жизнь дражайшей половинѣ. Впослѣдствіи я узналъ, что онъ серьезно сталъ тосковать отъ своей бобыльской жизни и вздумалъ свить себѣ вновь гнѣздо, не принявъ въ разсчетъ полнаго разлада между всей своей жизнью и жизнью городской горничной.

— Ну, выдьте,—говоритъ Колесовъ разнокалиберной четѣ. Что намъ съ ними дѣлать?—обращается онъ къ Денису Черныхъ. —Отпустить ее: пусть беретъ хвостъ въ зубы и убирается, куда глаза глядятъ?..

— Тоже баловать-то не годится ихнюю сестру; онѣ такъ всѣ поразбѣгутся.

— Ну, этой дряни всегда хватитъ... На кой лядъ она ему,— вѣдь она теперь ему не жена, и не хозяйка!

— Извѣстно—городская...

— А. Н.! А можемъ мы ей пачпортъ-то дать?.. Какъ тамъ въ законахъ-то?..

— Въ законѣ—о томъ, что нельзя давать—ничего не сказано... Я думаю, что можно.

— И превосходно. А недоволенъ бери „скопію“, — пусть тамъ высшее начальство разбираетъ ихъ; намъ и того пріятнѣе. Пиши, А. Н., дать ей билетъ.

Мужъ остается этимъ рѣшеніемъ недоволенъ и требуетъ „скопію“, но въ назначенный день за полученіемъ ея не является: за два дня, протекшіе съ воскресенья, онъ, видно, помирился съ своей судьбой—доживать вѣкъ одинокимъ бобылемъ.

— Андрей и Егоръ Петровы!

Входятъ два брата; старшему, Андрею—30 лѣтъ, младшему, Егору—26 л. Они рѣшили подѣлиться, благодаря семейнымъ неурядицамъ: бабы, т.-е. ихъ жены, вздурили и никакъ ужиться не могутъ; ни старшаго, ни старшой въ домѣ нѣту, а молодухи другъ другу подчиняться не хотятъ—ну и не стало житья самимъ братьямъ, — лучше ужъ отъ грѣха разойтись. Но и разойтись не такъ-то легко: помѣстье у нихъ маленькое, двумъ

дворамъ не умѣститься: надобно которому-нибудь изъ нихъ удаляться съ родительскаго гнѣзда. Конечно, никому изъ нихъ нѣтъ охоты садиться на выгонѣ - пустырѣ; спорили, спорили, раза два до драки доходило—а толку нѣтъ никакого... Селенье ихъ небольшое; всѣ прочіе домохозяева родня имъ, ни на чью сторону и не тянутъ; вотъ и порѣшили они разобраться на судѣ: что̀ чужіе умственные люди скажутъ,—такъ тому и быть.

— Ну, какъ тутъ съ этимъ дѣломъ быть, Денисъ Иванычъ? —спрашиваетъ Петруха Колесовъ, и всѣ взоры обращаются на Дениса Иваныча, ибо несомнѣнно, что изъ всѣхъ засѣдающихъ судей онъ одинъ только вполнѣ компетентенъ въ области дѣдовскихъ обычаевъ, нынѣ по наслышкѣ развѣ извѣстныхъ молодому поколѣнію, возросшему подъ сѣнью писаннаго закона.

— А вотъ какъ,—говоритъ Денисъ Иванычъ послѣ минутной паузы:—идти тебѣ, Андрей, на новое мѣсто и отцовскую избу оставить Егоркѣ, а самъ возьмешь, во что старики положатъ взамѣнъ ея, клѣтку съ амбаромъ, или еще что...

— Это мы очень понимаемъ; только почему же это и помѣстье ему, и изба, а мнѣ одни клѣтки?—говоритъ Андрей.

— А потому, молодецъ, что это еще дѣдами нашими заведено такъ: всегда старшій братъ уходитъ отъ младшаго. Не будь этого, старшіе-то всегда спихивали бы молодшихъ на выгона; знамо, они посильнѣе будутъ, они въ годахъ, ну, и тяжелѣе жеребій имъ долженъ идти. Не дѣлись, а сталъ дѣлиться, начинай хозяйство съизнова; такъ-то!..

Андрей покоряется и остается доволенъ рѣшеніемъ: видно, онъ „не дошелъ“ еще до отрицанія власти стариковъ.

Истецъ по слѣдующему дѣлу предъявляетъ ко взысканію роспиську въ 90 р., засвидѣтельствованную въ волостномъ правленіи; срокъ уплаты долга давно истекъ.

— Сколько же вы взыскиваете?—спрашиваю я, чтобы оформить дѣло.

— Пятьдесятъ два рубля съ полтиной,—къ удивленію моему отвѣчаетъ истецъ.

— Какъ такъ? А росписка на 90 руб.?

— Это точно-съ. Только я ужъ получилъ по ней тридцать рублей землицей, да осьмину ржи, да четверть овса, да поросенка, да пахалъ онъ на меня день... Вотъ мы сочлись какъ разъ на тридцать семь съ полтиной вышло. Остальные ищу, какъ собственно срокъ давно уже прошелъ.

— Должны вы ему?—спрашиваю отвѣтчика.

— Что зря болтать, долженъ.

— А много-ли?

— Да подсчитывались, ну-быть пятьдесятъ два рубля.

— Анъ съ полтиной!—вмѣшивается истецъ.

— Анъ, нѣтъ!

— Врешь!..

— Анъ, не вру. Перекрестись, коль съ полтиной!..

— И перекрещусь... А ты думаешь, что не перекрещусь?

— А слеги-то забылъ, что бралъ у меня десятокъ о заговѣнье? по пятачку положили?

— Такъ они за картошку пошли...

— Разуй глаза-то!.. За картошку даве пофитались, какъ за землю-то усчитывались!

— А ну-те къ Богу въ рай!..—говоритъ истецъ упавшимъ голосомъ, должно быть, смутно припоминая, что слеги точно не шли за картошку, но все-таки не желая признать своей ошибки. Пятьдесятъ два, такъ пятьдесятъ два... Не обѣдняю съ полтинника...

— Да и не разживешься...

— Ну, вотъ что, почтенные, — вступается Колесовъ, — чего браниться? Честь честью столковались, и слава Богу: зачѣмъ его, Батюшку, гнѣвить... Такъ какъ же, милушка, отчего деньги-то не отдаешь?

— Да у насъ уговоръ былъ землей расплачиваться по двѣ десятины, я ему каждый годъ отдаю; только больно ужъ обидную цѣну онъ кладетъ—десять съ полтиной; вотъ я и сталъ покупщика искать, съ четырнадцатью рублями за десятину ужъ набиваются...

— А ты денежки-то умѣлъ брать, а отдавать-то не любо?.. А что я второй годъ жду на тебѣ, это ты въ счетъ не кладешь?..

— А ты не кладешь, что поросенка-то у меня за два рубля зачелъ, а онъ на худой конецъ четыре стоитъ?..

— Да не ты ли кланялся, Христомъ Богомъ просилъ просеца на сѣмяна?.. Это-то ты забылъ?..

Долго препираются такимъ образомъ пріятели; ихъ денежныя отношенія такъ запутаны, что крайне мудрено опредѣлить, кто изъ нихъ больше пользовался услугами другого; но что должнику услуги, оказанныя кредиторомъ, обошлись не дешево, это внѣ всякаго сомнѣнія, и симпатія Черныха и Колесова, какъ я замѣчаю, лежитъ въ нему, потому что они общими усиліями стараются сбить истца на мировую, что имъ, наконецъ, и удается послѣ получасового усовѣщиванія. Тяжущіеся кончаютъ дѣло миромъ: десятина идетъ за тринадцать безъ четверти, а уплата остальнаго долга отсрочивается до будущей осени.

Затѣмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ дѣлъ о взысканіи за землю, о недожитіи въ работникахъ и проч. Это дѣла заурядныя, составляющія самый значительный процентъ всѣхъ тяжбъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ. Прослушаемъ еще двѣ финальныхъ тяжбы.

— Еще позалѣтошнимъ годомъ бралъ у меня этотъ молодецъ двѣ десятины подъ яровое по 18 руб. за десятину; рубль далъ задатку, да какъ возить время пришло и я сноны на полѣ пріостановилъ, онъ 15 руб. мнѣ далъ и въ ногахъ валялся просилъ остальные подождать на немъ. Я съ дуру и повѣрилъ, да вотъ по сію пору и жду: „нынѣ, да завтра, нынѣ, да завтра“, только и слышишь. Прикажите ему, господа старички, остаточные 20 р. отдать.

Это говоритъ старикъ лѣтъ шестидесяти, хозяйствующій покулацки, снимающій землю у нуждающихся по осени и раздающій ее по веснѣ, наживая за „коммиссію“ отъ 25 до 75%. Но у старика этого есть еще гоноръ нынѣ исчезающаго уже типа коренного сына деревни, ведущаго безъ всякихъ росписокъ тысячныя дѣла.

— Ты чтожъ не отдаешь Ефиму Степанычу денегъ?—спрашиваетъ, по обыкновенію, Колесовъ.

— Да я ему отдалъ,—говоритъ отвѣтчикъ, малый лѣтъ двадцати четырехъ.

— Отдалъ, да не всѣ.

— Нѣтъ, всѣ отдалъ.

— И языкъ у тебя не отсохнетъ такъ врать-то? Бога хоть побойся!..—говоритъ старикъ.

— Чего мнѣ еще бояться, я и такъ боюсь.

— Ахъ ты паскуда, паскуда!.. Да смѣешь ли ты такъ говорить-то?.. А ну перекрестись, коли отдалъ?..

Я спѣшу вмѣшаться въ дѣло, чтобы не допустить божбы, но опаздываю: отвѣтчикъ, не дрогнувъ и нахально посматривая на старика, кладетъ широкій крестъ..:

— Тьфу ты, окаянный!.. —плюетъ старикъ въ негодованіи.— Пропади ты пропадомъ и съ двадцатью рублями этими!.. Чтобы такой грѣхъ на душу примать, да упаси тебя Царица Милосердая!.. Не надо мнѣ ничего, господа старички, отъ своихъ денегъ отказываюсь, не хочу объ него мараться... Ни на комъ!..

И старикъ уходитъ, дѣлая крестныя знаменья.

— А нельзя ли ему подъ портки десятка два всыпать?— говоритъ Колесовъ, со злобой глядя на небрежно стоящаго „молодца“.

— Никакъ нельзя,—говорю я, и чувствую, что краснѣю,

потому что не прочь былъ бы въ данномъ случаѣ нарушить законъ и допустить подвергнуть отвѣтчика по гражданскому дѣлу уголовному взысканію.

— Петровичъ! Убери его!..—приказываетъ Колесовъ, и я увѣренъ, что онъ чувствуетъ нѣкоторое удовлетвореніе, когда „молодецъ“ подъ мощной рукой Петровича турманомъ вылетаетъ изъ „залы засѣданія“.

А вотъ старуха-черничка на сценѣ. Вся она брыжжетъ злостью, накопившейся у ней на сердцѣ за полстолѣтіе ея невольнаго дѣвства... Она уже много лѣтъ въ ссорѣ съ своими сосѣдями, и обѣ стороны, когда только возможно, гадятъ другъ другу. Случилось черничкину цыпленку залетѣть черезъ плетень на дворъ къ сосѣдямъ; мальчишка съ того двора немедленно свернулъ цыпленку шею и трупъ его перебросилъ обратно къ черничкѣ на дворъ. Это и послужило поводомъ къ настоящему дѣлу: черничка взыскиваетъ за цыпленка рубль. Къ разбору дѣла за восемь верстъ явились: истица, отвѣтчикъ—отецъ провинившагося мальченки съ самимъ виновникомъ дѣла, и десятскій, въ качествѣ свидѣтеля, которому старуха, по всѣмъ правиламъ крючкотворства, предъявила трупъ цыпленка и, такимъ образомъ, засвидѣтельствовала свершенное преступленіе.

— Изъ своихъ обидовъ къ вамъ, господа судіи праведные... Нѣтъ моей моченьки отъ нихъ, въ гробъ меня вогнать хотятъ!..

— Ты-то насъ скоро изъ села выживешь своимъ языкомъ безстыжимъ,— говоритъ отецъ мальченки.

— Я безстыжая? Я?.. Праведные судьи! Помилосердствуйте, будьте заступниками! На старости лѣтъ такое поношеніе...

— Да вы постойте!.. Вы разскажите намъ толкомъ, о чемъ вы просите?

— Писклака [1]) у меня удушилъ его змѣенышъ... Они у меня такъ всѣхъ куръ передушатъ...

— Ври больше, рада языкъ-то чесать... А мальченка, точно, побаловался, такъ я ему за это вихры надралъ.

— Сколько-жъ вы за цыпленка вашего получить желаете?— опять прерываю я ихъ препирательства.

— Меньше рубля никакъ не могу, потому они у меня канехинскаго завода. Еще упокойная барыня, Надежда Яковлевна, когда изволила...

— Постойте, постойте!.. Такъ, рубль просите?

---

[1]) Писклакъ—мѣстное названіе цыпленка.

— Да-съ, рубликъ-съ. А что сверхъ этого положите, коли ваша милость будетъ, ваше благородіе, господинъ писарь...

— Ну, будетъ!.. прерываетъ ее Черныхъ. — Ты, Игнатичъ, сына, говоришь—поучилъ?

— Поучилъ, Денисъ Иванычъ, какъ же,—въ ту жъ пору поучилъ, чтобъ не баловался.

— А ну-ка, поучи еще!

Отцовская длань немедленно запутывается въ бѣлобрысыхъ волосенкахъ восьмилѣтняго мальчугана; раздается жалобный пискъ: „батя, не буду! Ой, ой, никогда не буду!“..

— Ладно!—останавливаетъ Денисъ Иванычъ экзекуцію.—Такъ ты не будешь больше баловаться, парнишка, а?

— Не буду, дяденька!..

— То-то-жъ, смотри!.. А то я вотъ Петровичу тебя отдамъ—онъ те такъ раздѣлаетъ... А ты, Игнатичъ, отдай ей пятиалтынный-то за писклака...

— Что-жъ, Денисъ Иванычъ,—я цѣну настоящую завсегды отдать готовъ... А то вдругъ—рушь!..

— Это какъ же, судьи праведные, сверхъ рублика пятиалтынничекъ мнѣ на убожество пожаловали?—алчнымъ тономъ спрашиваетъ черничка.

— Ну, зажирѣешь, мата: всего-на-всего пятиалтынный.

— Это что же будетъ?.. Въ надсмѣшку вы мнѣ это дѣлаете?—такъ я не молоденькая!.. Нѣтъ-съ, я этимъ судомъ недовольна: два раза по восьми верстъ проѣздила...

— А кто-жъ те сюда тянулъ? Сидѣла бы себѣ дома, акафисты читала, да душу спасала...—ехидствуетъ Колесовъ.

— Скопію мнѣ пожалуйте, господинъ писарь, я дѣла кончать не буду: я завтра-жъ къ господину становому приставу... Рази это по закону?.. Я до высокихъ особъ доходить буду!

— За копіей приходите въ среду, раньше не будетъ готова,—объясняю я.

— Это мнѣ еще разъ восемь-то верстъ переть?.. Понимаю-съ, очень даже преотлично понимаю-съ, что все это вы въ надсмѣшку мнѣ дѣлаете. Только ужъ я не позволю—нѣтъ, ужъ я не позволю!..

И черничка, при дружномъ хохотѣ всѣхъ присутствующихъ (кромѣ Черныха), бѣгомъ бѣжитъ изъ волости—жаловаться товаркамъ на причиненную ей обиду.

— Никого тамъ больше на судъ нѣту?—спрашиваю я Петровича.

— Никакъ нѣтъ-съ!..

Судьи съ нетерпѣніемъ ожидаютъ этого отвѣта, что вполнѣ понятно, ибо уже одиннадцать часовъ вечера. Мы сидѣли, такимъ образомъ, безъ перерыва, семь часовъ и въ это время разобрали тринадцать исковъ; остальныя пять дѣлъ, назначенныя на этотъ день „къ слушанію", пришлось оставить безъ разсмотрѣнія, потому что по двумъ—не явились истцы, въ одномъ—не оказалось отвѣтчика, а по двумъ прочимъ состоялось примиреніе между тяжущимися до вызова ихъ на судъ.

— Слава тебѣ, Создатель Милосердный!..—шепчатъ судьи, дѣлая истовые поклоны передъ иконой. Однако, я увѣренъ, что всякій изъ нихъ влагаетъ въ эти слова свой особый смыслъ, кромѣ развѣ Колесова, который кладетъ кресты машинально, по привычкѣ: Черныхъ благоговѣйно благодаритъ Создателя за наставленіе его уму-разуму, Ѳедька—за то, что наконецъ-то настала минута ѣхать ко двору, а Пузанкинъ—за то, что настала возможность пропить полтинникъ, полученный имъ съ пастуховой жены—въ благодарность за содѣйствіе, оказанное ей при полученіи „разводной" отъ мужа...

XV.

Волостной судъ представляется мнѣ всегда, выражаясь низкимъ стилемъ, въ образѣ человѣка, сидящаго на двухъ стульяхъ, которые постепенно раздвигаются подъ нимъ въ разныя стороны. Стулья эти—законъ и обычай.

Не столѣтіями, а только десятилѣтіями приходится измѣрять промежутокъ времени съ того момента, когда новая струя вторглась въ тѣсно замкнутый кругъ народной жизни, гдѣ все было такъ прилажено по своимъ мѣстамъ, гдѣ всякое явленіе имѣло свое объясненіе, а на всякій случайно возникавшій вопросъ имѣлся уже готовый, дѣдами и прадѣдами выработанный во всѣхъ деталяхъ отвѣтъ,—и вотъ за этотъ сравнительно короткій промежутокъ времени новыя начала успѣли произвести такую ломку въ основахъ народной жизни, что отъ стройнаго зданія мірскихъ и семейныхъ обычаевъ остались лишь жалкія развалины, и только богатое воображеніе можетъ возстановить по нимъ всю картину исконнаго обычнаго права. Но, съ другой стороны, и новое, стройное зданіе писанной регламентаціи, т.-е. закона, не успѣло еще воздвигнуться на мѣстѣ катастрофы, и вотъ нынѣшній деревенскій обыватель съ тоской бродитъ между развалинами одесную и начатыми постройками ошую, тщетно разыскивая тѣ „устои", которые послужили бы ему опорной точкой въ его исполненной тре-

волненіями жизни. Правда, что слово „законъ“ получило уже въ народѣ полное право гражданства: его употребляютъ и кстати, и не кстати—въ послѣднемъ случаѣ даже чаще перваго; выраженіе—„сдѣлать по закону“ стало синонимомъ „сдѣлать ловко, хорошо, надежно“, независимо отъ того, будетъ ли это сдѣлано по совѣсти, согласно мірскимъ воззрѣніямъ о справедливости, или нѣтъ; но законъ не замѣнилъ собою народу полу-исчезнувшихъ устоевъ его жизни. Дѣйствительные законы совершенно неизвѣстны народу: онъ знаетъ только одинъ законъ—это то, что говоритъ или приказываетъ начальство, какое бы оно ни было: урядникъ ли, писарь, мировой ли судья или судебный слѣдователь... Законъ сталъ аттрибутомъ власти; власть, по прежнему, внушаетъ одинъ только страхъ (признаковъ уваженія, довѣрія, любви—нѣтъ),—вотъ почему и законъ сталъ внушать безотчетный страхъ. И вотъ откуда происходитъ такое колоссальное значеніе закона въ народной жизни и такое, при этомъ, огромное непониманіе истиннаго его смысла и требованій; законъ, въ глазахъ мужика, это—нѣчто грозное, необъятное, таинственное,—то нѣчто, во имя чего начальство напускаетъ страхъ, ругается, поретъ, выколачиваетъ недоимки, ссылаетъ въ Сибирь, потрошитъ покойныхъ, сноситъ избы, убиваетъ больную скотину, брѣетъ лбы, гонитъ ребятъ въ школу, прививаетъ оспу и т. д. и т. д., до безконечности. И откуда же темному невѣжественному народу понять логическую причину всѣхъ этихъ на него воздѣйствій, если нѣкоторые исполнители закона, понимающіе ими творимое, не удостоиваютъ входить въ разъясненіе своихъ поступковъ и ограничиваются всесильной формулой: „законъ того требуетъ“,—а нѣкоторые, преимущественно низшіе исполнители, наиболѣе близко стоящіе къ народу, сами не понимаютъ истиннаго смысла и конечной цѣли выполняемыхъ ими предначертаній начальства, которыя и суть въ ихъ глазахъ законъ. Изъ этой путаницы понятій вытекаетъ путаница терминовъ, выраженій и проч., и, наоборотъ, ничего не говорящіе термины порождаютъ дикія представленія. „Сдѣлать по закону“ значитъ, съ точки зрѣнія мужика, сдѣлать такъ, чтобы начальство, съ которымъ придется имѣть дѣло, осталось довольно, не придралось бы. „Напиши мнѣ росписку, да гляди—по закону напиши“! говоритъ мужикъ писарю. Это значитъ, что онъ проситъ написать такъ, чтобы мировой судья, которому, можетъ быть, придется читать росписку, не швырнулъ бы ее обратно (что не разъ бывало), а принялъ бы ее къ разсмотрѣнію. „Ямы для зарыванія павшаго отъ чумы скота надо рыть не мельче 3-хъ аршинъ“,—приказываетъ урядникъ и, для большаго убѣжденія, до-

бавляетъ: „ты пойми, вѣдь это не я говорю, а законъ!“ И мужики пунктуально выполняютъ сообщенный имъ законъ, роютъ ямы въ три аршина глубины, но валятъ въ одну яму по три трупа, такъ что верхній лежитъ почти въ уровень съ поверхностью земли. А урядникъ уходитъ довольный собою и увѣренный, что имъ въ точности исполнено требованіе закона... Да такихъ примѣровъ можно привести не десятки, не сотни, и не тысячи, а милліоны: въ любомъ № любой газеты найдется разсказъ о послѣдствіяхъ дурно или вовсе непонимаемаго закона.

Посмотримъ, что̀ изъ всего этого слѣдуетъ. Зная, какъ народъ боится закона и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не понимаетъ, что̀ законъ и что произволъ,—всякій, кто по-развязнѣе, ужъ не говоря про начальство, старается при помощи „закона“ извлекать выгоду изъ трепещущихъ передъ этимъ сфинксомъ.

— Ты чего, тетеря, не сворачиваешь съ дороги? — кричитъ мой ямщикъ на встрѣчнаго мужика съ возомъ.

— Да пострянешь: вишь, сугробъ какой!

— А не знаешь, иродъ, что „по закону“ ты долженъ начальнику дорогу давать?.. Сворачивай, иль я те кнутомъ огрѣю...

Въ данномъ случаѣ, ямщикъ, везущій хотя бы такое микроскопическое начальство, каковъ волостной писарь, тѣмъ самымъ уже выдвинулся изъ общаго уровня народной массы и считаетъ себя въ правѣ издавать встрѣчнымъ лапотникамъ выгодные для себя „законы“... И такъ всегда и вездѣ, и этого рода примѣровъ такое обиліе, что ихъ и приводить не стоитъ.

Куда мужикъ ни сунется, вездѣ ему тычутъ истинными или вымышленными законами. Хочется батюшкѣ съ мужика содрать лишнюю пятишницу за свадьбу, онъ говоритъ, что нужна метрическая выпись. „Батюшка, да нельзя ли какъ-нибудь безъ этой метривки?“ —Нельзя, надо; не я, а законъ этого требуетъ.—„Батюшка, ужъ я те трюшницу дамъ, не нудь ты меня!“ И законъ попранъ, но мужикъ не знаетъ, истинный или вымышленный. Пошла баба въ казенный лѣсъ ягодъ набрать—ее поймалъ объѣздчикъ и требуетъ рубль штрафу, таща къ лѣсничему: „не я, а законъ требуетъ“—„Отпусти родименькій, я те двоегривенничекъ дамъ!..“ И законъ опять исчезаетъ со сцены. Старшина не хочетъ страховать зданія: „Нельзя, по закону тутъ четырехсаженнаго разрыва нѣтъ“; а напился чаю, да получилъ рублевку—и трехсаженный разрывъ превращается въ законный. Нужно мужику подать какое-нибудь прошеніе; онъ сунулся къ становому, а тотъ посылаетъ его въ городъ къ исправнику: „я бы помогъ тебѣ, да по закону не могу“... Мужикъ—къ исправнику, а тотъ

его въ уѣздное присутствіе, которое „по закону“ должно вѣдать эти дѣла; но въ присутствіи ему именемъ того же закона приказываютъ доставить первоначально справку изъ волостного правленія,—и вотъ мужикъ опять идетъ въ село за справкой. Такимъ образомъ, мужикъ видитъ вокругъ себя сплошныя тенета закона и постоянно чувствуетъ тяжесть опеки; нѣкоторыя личности, посмѣлѣе, прибѣгаютъ къ хроническому подкупу, какъ испытанному средству ускользать изъ тенетъ закона; другія, по-проще, доходятъ даже до комизма въ опасеніяхъ своихъ проштрафиться по отношенію къ законамъ, существующимъ иногда только въ ихъ напуганномъ воображеніи.

Приходитъ ко мнѣ какъ-то разъ мужикъ, котораго я лично зналъ; мужикъ хорошій, но по нынѣшнимъ временамъ излишне смирный. Выбрали его недавно опекуномъ къ сиротѣ-мальчику, и вотъ эта опека стала истиннымъ источникомъ мученія для несчастнаго мужика, чувствовавшаго себя постоянно подъ дамокловымъ мечомъ закона.

— Ты что, Акинфьевичъ?

— Да что, А. Н., къ вашей милости. Дѣло тутъ выходитъ такое, что и ума не приложу.

— Небось, опять касательно опеки?..

— Объ ней, батюшка, объ ней, постылой. Ужъ вы, А. Н., ослободите меня, сдѣлайте такую милость, выберите другого опекуна! Совсѣмъ она меня скружила, треклятая!..

— Да что такое случилось? Сказывай, пожалуйста!

— Дѣло-то вотъ какое: остался отъ покойничка Ивана Сидорыча полушубокъ старенькій, а какъ таперича къ зимѣ дѣло подходитъ, я было и надумался перечинить полушубокъ для Мишутки,—пускай, думаю, себѣ носитъ на здоровье,—да ужъ и не знаю, какъ съ этимъ дѣломъ быть...

— Мишутка это сирота, что-ль?

— Онъ, онъ самый!.. Такъ какъ же, батюшка А. Н., по закону это какъ будетъ—ничего? Въ отвѣтѣ я не буду?

— Да что ты, другъ мой, рехнулся, что ли? За что же ты виноватъ будешь? За то, что старый отцовскій полушубокъ сыну передѣлаешь?.. Да посуди ты самъ, что ты этимъ вѣдь добро сиротѣ сдѣлаешь, такъ за что же тутъ виноватымъ быть?

— Вотъ то-то, мы народъ темный!.. Думается, ну-быть ничего плохого нѣтъ, а сосѣди говорятъ: пойди, спросись, какъ бы въ отвѣтъ за это не попасть, потому, молъ, все до совершенныхъ годовъ мишуткиныхъ въ цѣлости должно быть, какъ на руки принялъ, такъ и сдай, до нитки то-ись...

— Пустое, Акинфьевичъ, пустое! Зря тратить или на себя изводить не хорошо, а если на пользу...

— Ну, вотъ это самое и я думалъ, а все-таки, говорятъ,— поди съ писаремъ погуторь,—онъ человѣкъ ученый, всѣ законы знаетъ... А мы народъ темный, кто е знаетъ, може, и впрямь такой законъ есть...

Въ одномъ изъ селеній нашей волости рѣшительно въ каждомъ дворѣ занимаются посѣвомъ табаку-махорки на огородахъ; культура эта возникла лѣтъ около семи тому назадъ. До изданія акцизныхъ правилъ 1883 года, сбытъ табаку производился безпрепятственно, безъ всякихъ формальностей, а тутъ вдругъ пошли разныя регламентаціи относительно выправленія изъ волости ярлыковъ, укупорки табачныхъ мѣстъ и пр. Недоразумѣній по этому поводу было въ первое время масса.

— А что, А. Н., хотѣли мы поспрошать васъ объ одномъ дѣлѣ...—таинственно докладываютъ мнѣ два табаковода изъ этого селенія.

— Спрашивайте.

— Ужъ мы не знаемъ, какъ и говорить-то: такого горя напринялись. Научите ужъ насъ, какъ бы намъ въ отвѣтѣ не быть. Табачекъ-то мы отвезли свой, продали, все по формѣ, и ярлыки сдали, что̀ отъ васъ получили, а оказывается, что все-таки грѣхъ-то насъ попуталъ.

— Какой-же грѣхъ? Вы не бойтесь, говорите все, какъ есть.

— Да вотъ какое дѣло, А. Н.: трубочкой мы и сами съ сватомъ займаемся, такъ не весь табачекъ-то свезли на продажу, а оставили себѣ фунтиковъ по десятку—на баловство, значитъ— а тутъ и прослышали, быдто этого по новому закону нельзя, быдто за это въ острогъ сажаютъ!

Послѣ нѣкоторыхъ усилій съ моей стороны мужики успокоиваются относительно своей контрабанды.

— И еще ужъ хотѣли за одно обезпокоить вашу милость. Правду гуторятъ, что съ будущаго года менѣе пятидесяти пудовъ табаку нельзя и съ огорода съимать, чтобы маленькихъ, значитъ, огородовъ совсѣмъ не было? А у кого меньше полъ-ста окажется, такъ у того задаромъ будутъ табакъ въ полки отбирать на солдатъ?

А вотъ подлинный разсказъ мужика о волненіяхъ, охватившихъ населеніе при появленіи новаго въ деревнѣ начальства — урядника.

— ...Вбѣгаетъ, этто, мальченка мой, запыхался весь и говоритъ: „тятька, сичасъ мы на улицѣ съ робятами играли, вдругъ

идетъ по улицѣ новый урядникъ, что̀ вечоръ пріѣхалъ,—важный такой, усищи—во!.. и большущая у него сабеля на боку виситъ. А тутъ тетка Матрена съ теткой Анисьей стоятъ и гуторятъ промежъ себя: вотъ его, говорятъ, царь прислалъ; и можетъ онъ по закону этой самой сабелей головы рубить ворамъ... А съ сабелей этой онъ, слышь, и спитъ, николи не съимаетъ, а какъ снялъ, сичасъ его въ Сибирь"... Что ты, говорю, щенокъ, пустое болтаешь? „Нѣтъ, гритъ, ей-Богу; не вру! Поди, самъ посмотри". И взяло меня тутъ раздумье: пожалуй, и впрямь новое такое начальство проявилось; пойду, думаю, въ трахтиръ, тамъ у людей узнаю. Пришелъ, а тамъ народу словно въ праздникъ набралось, и все объ этомъ самомъ урядникѣ толкуютъ. Кто гритъ—что точно, головы рубить будетъ, а кто — что только поджилки на ногахъ будетъ подрѣзывать... Только сидимъ это мы, толкуемъ промежъ себя—глядь, вотъ онъ и самъ тутъ: сурьезный такой, и прямо къ Ермилычу въ его горницу прошелъ. Ну, думаемъ, чтой-то будетъ... Какіе—по домамъ разбѣглись, а какіе—не попасались, остались чай допивать: мы, говорятъ, свои деньги за чай заплатили; такого закона нѣтъ, чтобы чай пить въ трахтирѣ нельзя. Смотримъ Ермилычъ къ нему водку несетъ; а тутъ Михѣйка—у насъ есть, безшабашная головушка—и гритъ Ермилычу: „слышь, Ермилычъ, а что: для-ради перваго знакомства нельзя полу-штофчикомъ господина урядника попросить?" Тотъ смѣется: чего опасаетесь, подносите!—Мы это живымъ манеромъ соорудовали и водочку, и селедочку спросили, и кренделей фунтъ взяли пшеничныхъ, говоримъ Ермилычу: какъ бы это ихнюю милость кликнуть?.. А тотъ по-простому—извѣстно ему не боязно—и гритъ „ему"-то: тамъ, молъ, мужики съ поклономъ васъ ждутъ. „Онъ" и выходитъ къ намъ: что вы, гритъ, ребята?—Такъ и такъ, — Михѣйка-то ему, — не пожалуете ли для-ради пріѣзда стаканчикъ отъ насъ откушать? Какъ мы, т.-е., всею душою... Ну, да и ловокъ же Михѣйка зубы-то чесать, это что и говорить... Ладно; а тотъ долго ломаться не сталъ, — сичасъ, этто, сѣлъ, выпилъ стаканъ и гритъ: хороша, дескать, водка. Ну, мы тутъ духу-то набрались и стали допытываться, что̀ и какъ, а онъ все это съ форсомъ о себѣ: теперь, гритъ, я по закону старѣе всѣхъ у васъ по волости, мнѣ и старшина ни по чемъ. Одначе, про сабелю сказалъ, что она только по формѣ требуется, а что поджилокъ рѣзать онъ не будетъ: такого, вишь, закона еще не было.

Не могу тутъ же не вспомнить разсказъ старшины Якова Иваныча о томъ, какъ онъ знакомился съ машиной, т.-е. съ же-

лѣзной дорогой. Было ему лѣтъ 17, когда провели эту машину, надѣлавшую огромнаго шуму въ околодкѣ. Пронесся, между прочимъ, слухъ, что на нее глядѣть не дозволяется, а кто глядѣть будетъ, въ того съ машины изъ ружья палить будутъ. Вотъ Яковъ Иванычъ былъ какъ-то въ лѣсу недалеко отъ линіи желѣзной дороги.—„Вдругъ, слышу, гудитъ... Ну, думаю, пропалъ я: застрѣлятъ!.. Либо въ чащу бѣжать, либо на мѣстѣ остаться — посмотрѣть, что за машина такая; авось въ лѣсу-то не замѣтятъ... Легъ я на брюхо, да ползкомъ за кустъ, оттуда и посмотрѣлъ. Потомъ, какъ на деревнѣ сказывалъ, не вѣрили: врешь, говорятъ, хвастаешь“...

И вотъ тотъ же самый Михѣйка, — допытывавшійся, будетъ ли урядникъ рѣзать поджилки, — попадаетъ въ волостные судьи; его беруть прямо изъ трактира, гдѣ рѣчь идетъ про „сабелю“ и „поджилки“, сажаютъ за столъ, подъ портретомъ въ золотой рамѣ, и говорятъ: суди!.. А судить надо „по закону“—это Михѣйка твердо знаетъ, потому что ежедневно слышитъ это и отъ мужиковъ, и отъ старшины съ писаремъ, и отъ всякихъ деревенскихъ грамотѣевъ и бывалыхъ людей. И тяжущіеся очень часто говорятъ ему, Михѣйкѣ, во время судопроизводства: „ты какъ насъ судишь-то?.. ты суди по закону, а не какъ-нибудь“. Да и у писаря, что рядомъ сидитъ, книги лежатъ на столѣ и бумаги разныя, — значитъ, и впрямь законы есть, по которымъ судить должно, а какіе такіе законы — онъ, Михѣйка, рѣшительно не знаетъ и потому держитъ себя на судейскомъ креслѣ смирнехонько, слушаясь во всемъ писаря. Несмотря на то, что я на практикѣ старался возможно объективно относиться къ дѣйствіямъ волостныхъ судей, но и мнѣ иногда приходилось „во имя закона“ становиться въ разрѣзъ съ мнѣніями судей; изъ описанія дѣлопроизводства въ крестьянскомъ судѣ читатель, я думаю, замѣтилъ, что я принужденъ былъ защищать отвѣтчика по гражданскому дѣлу отъ тягчайшаго уголовнаго наказанія — порки. Не сдѣлать этого я, по закону, не могъ, такъ какъ на писарѣ лежитъ обязанность разъяснять судьямъ законы, а поступивъ такъ, какъ поступилъ, я грубо подавилъ требованіе народнаго правосудія о наказаніи наглаго обманщика, вина котораго—ложная божба— хотя и не была юридически доказана, но очень ясно чувствовалась всею обстановкою дѣла. Сколько же давленія производится вообще писарями и старшинами на правовой обычай въ пользу химерическаго, экспромтомъ придуманнаго „закона“, подъ которымъ, въ большинствѣ случаевъ, скрывается пристрастіе, подогрѣтое мѣрою пшена или поросенкомъ?.. И вотъ, судья оконча-

тельно не знаетъ, чѣмъ ему руководствоваться,—слышанными ли отъ стариковъ изреченіями народной мудрости: „какъ допрежь живали дѣды и отцы и какъ намъ приказывали жить“,—или авторитетными указаніями писаря на законы?

Я не говорю, что всѣ писаря всегда толкуютъ фальшиво законы, но при нѣкоторой беззастѣнчивости самыя невѣроятныя штуки могутъ сходить съ рукъ единственному умственному во всей волостной администраціи человѣку. Хотя и не всѣ такія продѣлки съ закономъ удаются но мужикъ въ теченіе своей жизни успѣваетъ тысячу разъ убѣдиться на дѣлѣ, что начальство—въ одномъ случаѣ—примѣняетъ одинъ законъ, въ другомъ, совершенно подобномъ случаѣ — другой законъ и т. д.; отсюда происходитъ стремленіе упросить администрацію примѣнить къ данному случаю какой-нибудь законъ полегче, а всякій проситель твердо памятуетъ пословицу: „сухая ложка и ротъ деретъ“.... Послѣдствія такого положенія вещей понятны.

Однако, кромѣ ближайшаго, непосредственнаго толкователя законовъ—писаря, надъ волостными судами тяготѣетъ еще другой, болѣе авторитетный и поэтому болѣе опасный для самостоятельности судовъ толкователь: это—уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе. Писарь въ поступкахъ своихъ руководствуется, главнымъ образомъ, матеріальнымъ разсчетомъ: дана ему мѣра пшена —попранъ обычай, торжествуетъ „законъ“; въ другомъ, однородномъ съ этимъ, случаѣ—пшено на сцену не появлялось—и писарю нѣтъ никакой цѣли, никакого разсчета производить давленіе на судей; словомъ, принципъ не играетъ въ данномъ случаѣ никакой роли, и отдѣльныя злоупотребленія писарей, не будучи, такъ сказать, систематизированы, никакъ не могутъ производить такого же эффекта, какой производитъ сознательное подчиненіе одного начала другому, осмысленный рядъ мѣропріятій, имѣющихъ одну цѣль, — словомъ, какъ дѣятельность уѣздныхъ присутствій.

Уѣздныя присутствія суть, по закону, кассаціонныя инстанціи для обжалованія рѣшеній волостного суда; апелляціонной инстанціи для той же цѣли реформа 1861 года не учредила, а возложила на кассаціонную обязанность слѣдить за ненарушеніемъ волостными судами, съ одной стороны—общихъ существующихъ законовъ, и съ другой—предѣловъ компетенціи. Отсутствіе посредствующей инстанціи между этими двумя сословными учрежденіями —волостнымъ судомъ и крестьянскимъ присутствіемъ (кому же неизвѣстно, что крестьянскія присутствія только по названію крестьянскія, а въ дѣйствительности, по составу своихъ

членовъ — чисто дворянскія?) привело къ полному подчиненію одного другимъ и къ безпрепятственному вторженію сильнѣйшаго въ область слабѣйшаго. Нужно ли говорить, которое изъ этихъ двухъ учрежденій сильнѣе и которое слабѣе, беззащитнѣе?—Здѣсь не мѣсто производить полную оцѣнку вліянія уѣздныхъ присутствій на волостные суды; такая оцѣнка уже нѣсколько разъ выполнялась лицами, располагавшими матеріаломъ несравненно обширнѣйшимъ, чѣмъ располагаю я, да и цѣль настоящихъ замѣтокъ не есть какая-либо цѣль научная, съ готовыми, законченными выводами; я предполагалъ только дать рядъ картинъ изъ народной жизни въ области ея соприкосновенія съ волостью вообще и съ волостнымъ писаремъ въ особенности. Поэтому, не рѣшая такого важнаго вопроса, каковъ вопросъ о подчиненіи сословнаго суда, основаннаго на обычномъ правѣ, административно-чуже-сословному учрежденію, и ограничусь только нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями.

Совокупность мѣропріятій уѣзднаго присутствія относительно волостного суда клонится къ захвату непосредственной надъ нимъ власти черезъ низведеніе себя изъ кассаціонной инстанціи въ апелляціонную; конечная цѣль этой процедуры есть подчиненіе независимаго учрежденія писанному закону, нивеллированіе особенностей народной жизни, не гармонирующихъ съ началами, положенными въ основаніе всего строя государственнаго бюрократизма. Наилучшій практическій способъ для такого подчиненія себѣ независимыхъ крестьянскихъ судовъ уже открытъ и состоитъ въ регламентаціи дѣятельности этихъ судовъ посредствомъ различныхъ распоряженій, дѣлаемыхъ по адресу волостныхъ правленій. И вотъ, мы видимъ грустную и вмѣстѣ съ тѣмъ преуморительную картину. Волостной судъ не есть какое-либо постоянно функціонирующее учрежденіе: оно возникаетъ по воскресеньямъ, примѣрно въ 4 часа дня, и вновь распадается послѣ нѣсколькихъ часовъ существованія; никакія „бумаги“ до него не доходятъ; волостной старшина и сельскіе старостá не имѣютъ, по закону, права даже присутствовать при разборахъ дѣлъ, не говоря уже—руководить судомъ или разъяснить ему что-либо. Слѣдовательно, единственнымъ посредникомъ между уѣзднымъ законодательнымъ учрежденіемъ и волостнымъ судомъ опять-таки является наемное лицо,—волостной писарь, не имѣющій, по закону, права вмѣшиваться въ разборъ дѣла и вся обязанность котораго, опять по закону же, должна ограничиваться записью постановленій этого „независимаго“ суда. Между тѣмъ, въ силу распоряженій присутствія, которыя даются волостнымъ

правленіямъ и которыми разрѣшаются или возбраняются волостному суду тѣ или другія отправленія, — этотъ писарь является какъ бы предсѣдателемъ независимаго суда, законо-толкователемъ, единственнымъ лицомъ, знающимъ, что̀ дозволено и что̀ недозволено суду, и поэтому накладывающимъ на то или другое рѣшеніе суда свое veto. Судъ хочетъ приговорить человѣка къ наказанію—стой, нельзя, онъ въ этомъ дѣлѣ только свидѣтелемъ, а не отвѣтчикомъ; судъ хочетъ взыскать съ вора убытки, причиненные его кражей, и, кромѣ того наказать его уголовнымъ порядкомъ—опять стой, нельзя въ одномъ дѣлѣ соединять уголовный и гражданскій иски; судъ хочетъ разобрать дѣло о принадлежности огорода тому или другому брату—опять нельзя: это дѣло сельскаго схода; судъ хочетъ наказать подравшихся пьяницъ—опять и опять нельзя: это дѣло мирового судьи, потому что драка происходила на улицѣ... И вотъ, цѣлымъ рядомъ систематизированныхъ распоряженій, уѣздное присутствіе узаконяетъ беззаконіе: даетъ просторъ дѣйствіямъ волостного писаря, т.-е. сознательно подчиняетъ судъ писарю, не выпуская этого послѣдняго изъ своихъ ежовыхъ рукавицъ и властвуя, такимъ образомъ, надъ судомъ черезъ посредство своего вполнѣ зависимаго подчиненнаго, вольно-наемнаго безправнаго лица. Вотъ въ общихъ очертаніяхъ картина настоящаго положенія вещей; позволяю себѣ, по принятому мною порядку, нѣсколько иллюстрировать все вышесказанное.

Въ одномъ сельскомъ кабакѣ поздно вечеромъ засидѣлась компанія пріятелей-кумовьевъ; кабатчикъ, истый типъ мелкаго деревенскаго кулака, закрылъ ставни и входную дверь, самъ присосѣдился къ компаніи, и попойка продолжалась такимъ образомъ, какъ бы въ домашнемъ кругу. Изрядно выпивъ, одинъ изъ гостей заспорилъ о чемъ-то съ хозяиномъ; дальше — больше, дошло и до драки; драться началъ кабатчикъ и, будучи сильнѣе своего противника, избилъ его, раскровянилъ ему губу и разорвалъ на немъ новую рубаху „французскаго ситца“. Все это подтвердилось на судѣ свидѣтельскими показаніями прочихъ двухъ кумовьевъ; когда ихъ спрашивали, — почему же они не вмѣшались въ дѣло и не прекратили избіенія своего товарища, то они отвѣтили, что не посмѣли идти противъ Сергѣича, т.-е. кабатчика. Избитый подалъ жалобу въ волостной судъ. Вызванный по повѣсткѣ кабатчикъ до суда отозвалъ меня къ сторонкѣ и просилъ „похлопотать“, чтобы дѣло окончилось ничѣмъ или, самое большее, какимъ-нибудь денежнымъ штрафомъ въ полтинникъ или рубль... Не смотря на то, что двое изъ четырехъ судей ви-

димо клонили дѣло къ желаемому отвѣтчикомъ исходу, въ концѣ концовъ было постановлено подвергнуть негостепріимнаго хозяина аресту на трое сутокъ и взыскать съ него въ пользу потерпѣвшаго за изорванную рубаху „французскаго" ситца — одинъ рубль. Кабатчикъ остался рѣшеніемъ этимъ недоволенъ и подалъ жалобу въ присутствіе, которое и отмѣнило рѣшеніе на томъ основаніи, что драка происходила въ публичномъ мѣстѣ, и разборъ дѣла подлежитъ поэтому вѣденію мирового судьи. Какимъ образомъ избушка, служащая въ ночную пору квартирой хозяину, оказалась публичнымъ мѣстомъ, когда у ней были окна и двери на запорѣ—рѣшить не берусь. Послѣдствіемъ такого примѣненія закона было, что обиженный мужикъ, уже три раза ѣздившій за 10 верстъ по этому дѣлу въ волость (въ 1-й разъ—записать жалобу, во 2-й—явиться къ разбору дѣла и въ 3-й—выслушать рѣшеніе уѣзднаго присутствія), только рукой махнулъ и отъ дальнѣйшаго веденія дѣла отказался, въ виду новыхъ поѣздокъ за 25 в. къ мировому судьѣ... Сергѣичъ торжествовалъ.

Къ описываемой черноземной мѣстности, гдѣ земля съ избыткомъ окупаетъ лежащія на ней повинности, скидка и накидка тяголъ совсѣмъ не производится и общество не вмѣшивается въ порядокъ владѣнія отдѣльными домохозяевами своими душевыми надѣлами: братья дѣлятся, сыновья наслѣдуютъ отцовскія души безъ всякаго вмѣшательства со стороны общества, потому что земля, числящаяся за извѣстной семьей, считается какъ бы ея неотъемлемою собственностью отъ передѣла до передѣла, которые въ описываемой мѣстности бываютъ большею частью при ревизіяхъ. Всякіе споры, происходящіе при раздѣлѣ или при наслѣдованіи, принято здѣсь передавать на разсмотрѣніе волостного суда; изъ этого общаго правила не изъемлется и земельный надѣлъ, какъ объектъ владѣнія.—Два брата, давно уже жившіе врозь, не съумѣли мирно подѣлить земельный надѣлъ ихъ умершаго отца: одинъ требовалъ подѣлить его пополамъ, а другой хотѣлъ его вовсе присвоить себѣ на томъ основаніи, что покойный отецъ жилъ у него до самой своей смерти, требовалъ ухода и содержанія и былъ, наконецъ, похороненъ имъ на свой счетъ безъ всякой матеріальной помощи со стороны перваго брата. Волостной судъ, разсмотрѣвъ это дѣло, рѣшилъ, чтобы младшій братъ, у котораго жилъ отецъ, въ возмѣщеніе своихъ убытковъ отъ болѣзни и похоронъ отца, пользовался два года всѣмъ отцовскимъ надѣломъ, а по прошествіи двухъ лѣтъ — уступилъ бы половину другому брату. Этотъ послѣдній остался рѣшеніемъ суда недоволенъ и подалъ жалобу въ присутствіе; но такъ какъ тамъ не спѣшатъ

съ разборомъ дѣлъ, которыя лежатъ по году и дольше, то, пождавъ нѣкоторое время резолюціи присутствія, жалобщикъ махнулъ рукой и рѣшилъ подчиниться постановленію суда—т.-е. дозволилъ брату запахать весь надѣлъ, — какъ вдругъ приходитъ изъ присутствія ненужная уже резолюція—постановленіе суда отмѣнить, такъ какъ принятое имъ къ разсмотрѣнію дѣло подлежитъ-де вѣденію сельскаго схода на основаніи такой-то ст. Общ. Полож. И вотъ, сельскій сходъ, изъ болѣе чѣмъ ста человѣкъ, долженъ приступить къ необычному для него дѣлу, разбору семейной тяжбы; братья тратятся на угощеніе „стариковъ“ виномъ,—чтобы задобрить ихъ; происходитъ трехъ-часовая брань, чуть-чуть не доходящая до всеобщаго мордобитія, и дѣло, наконецъ, кончается тѣмъ же, что и на волостномъ судѣ, вѣрнѣе сказать—утверждается состоявшееся годъ тому назадъ постановленіе суда, которое, конечно, было сходу извѣстно... Какое, подумаешь, знаніе мѣстныхъ обычаевъ, какое пониманіе духа Общ. Положенія сказалось въ резолюціи уѣзднаго законо-толковательнаго учрежденія!..

XVI.

Не менѣе 50% всѣхъ дѣлъ, разбираемыхъ въ волостномъ судѣ, составляютъ иски о землѣ и иски по поводу сдачи и найма земли. Въ описываемый мѣстности земля составляетъ почти единственный объектъ труда, такъ какъ кустарныхъ промысловъ, или фабричныхъ и другихъ какихъ-либо заработковъ почти не существуетъ; весь смыслъ крестьянской жизни составляетъ земля, все вниманіе крестьянина обращено на эту его кормилицу, и поэтому неудивительно, что и на волостномъ судѣ она играетъ первенствующую роль между всѣми прочими предметами исковъ. Съ другой стороны, слабая власть міра, обусловливаемая отсутствіемъ передѣловъ (я говорилъ уже, что въ большинствѣ обществъ передѣловъ не было или съ X-ой ревизіи — это у государственныхъ, или со времени выхода на волю—у бывшихъ крѣпостныхъ; только въ послѣдніе годы нѣкоторыя общества государственныхъ крестьянъ опять передѣлили поля), даетъ поводъ къ возникновенію частыхъ недоразумѣній изъ-за земли, недоразумѣній, разрѣшеніе коихъ не по закону, а по необходимости перешло на обязанность волостного суда. Довольно значительную долю общаго числа тяжбъ, имѣющихъ отношеніе къ землѣ, составляютъ споры при наслѣдствѣ, такъ какъ земельный надѣлъ умершаго члена семьи остается въ семьѣ покойнаго наравнѣ со всѣмъ прочимъ его имуществомъ,

какъ движимымъ, такъ и недвижимымъ; общество не предъявляетъ правъ на выморочный надѣлъ и не награждаетъ имъ кого-либо изъ своихъ членовъ, а предоставляетъ наслѣдникамъ умершаго вѣдаться между собой. Въ не-черноземныхъ пространствахъ Россіи земля составляетъ для крестьянина если не совсѣмъ тягость, то ужъ во всякомъ случаѣ не слишкомъ лакомый кусокъ, благодаря лежащимъ на ней чрезмѣрнымъ повинностямъ—съ одной стороны, и необходимости большого количества удобренія—съ другой; тамъ земля безъ удобренія имѣетъ лишь цѣнность выгона, а не пахоты, и слабому домохозяину, бабѣ-вдовѣ или сиротамъ, нѣтъ никакого разсчета „тянуть душу", т.-е. имѣть надѣлъ, если у нихъ нѣтъ навоза. — Совсѣмъ не то у насъ, на аршинномъ черноземѣ. До сихъ поръ лишь очень рѣдкія общества, и то преимущественно мелкія, бывшія помѣщичьи, навозятъ землю, потому что черноземъ и въ своемъ естественномъ видѣ, безъ всякаго удобренія, даетъ урожай, и поэтому составляетъ цѣнность самъ по себѣ, а арендная его стоимость въ три или четыре раза превышаетъ лежащіе на немъ платежи и повинности. Поэтому, отъ наслѣдованія хотя бы 1/4 десятины никто изъ крестьянъ—безъ различія пола и возраста—не отказывается, такъ какъ, въ случаѣ наличности рабочаго инвентаря, доставшійся „четвертокъ" будетъ запаханъ и дастъ урожай, не требуя никакихъ затратъ, а въ случаѣ полнаго отсутствія инвентаря, „четвертокъ" можетъ быть сданъ въ аренду и опять-таки дастъ наслѣднику барышъ, каковой составится изъ разности между арендной стоимостью земли и лежащими на ней платежами; наконецъ, не трудно даже нанять кого-либо обработать полоску за деньги или изъ части урожая. Во всѣхъ случаяхъ владѣлецъ получаетъ бо́льшую или меньшую выгоду отъ земли и ни за что добровольно не отдастъ ее на міръ, что̀ противно порядкамъ, установившимся по необходимости на сѣверѣ: тамъ зачастую умоляютъ міръ снять душу, а міръ не снимаетъ. Еще одна черта разницы: у насъ души, такъ или иначе попавшія на міръ, обыкновенно и остаются мірскими, поступая ежегодно въ арендное содержаніе къ желающимъ; въ не-черноземной же мѣстности всякую душу, попавшую на міръ, стараются немедленно навязать кому-нибудь въ пользованіе; причины всѣхъ этихъ особенностей понятны.

Такимъ образомъ, отъ передѣла до передѣла, надѣлъ составляетъ семейскую собственность и наслѣдуется на-ряду со всякимъ другимъ имуществомъ. Мнѣ, можетъ быть, удастся при другомъ случаѣ выяснить особенности формъ землевладѣнія данной мѣстности; въ настоящее же время я считаю нужнымъ указать

лишь причину сравнительно высокаго процента тяжбъ о землѣ между родственниками. Случается, что вдова, выходя замужъ въ другое селеніе, въ качествѣ приданаго приноситъ своему второму мужу земельный надѣлъ перваго; это, впрочемъ, допускается со стороны другихъ сонаслѣдователей—братьевъ умершаго—только въ томъ случаѣ, если со вдовой уходятъ жить къ вотчиму малолѣтніе сыновья ея отъ перваго брака, такъ что земля идетъ, собственно говоря, не за матерью, а за сиротами, которые и суть настоящіе ея владѣльцы; если же у вдовы остались только дѣвочки, то при выходѣ ея въ замужество обыкновенно возникаютъ споры и стремленіе „отбить“ землю—или со стороны сонаслѣдниковъ, или же, за отсутствіемъ таковыхъ, со стороны и самыхъ обществъ, которыя отбираютъ такія души на міръ. Какъ мнѣ неоднократно говорили старики, такіе случаи, когда міръ отбираетъ дѣвичье наслѣдство, стали встрѣчаться лишь въ послѣднее время, когда арендная стоимость земли стала ужъ чуръ-чуръ значительно превышать платежи за нее, чѣмъ и стала возбуждаться корысть; прежде же, вдовѣ будто бы разрѣшалось и на дѣвочекъ сохранять душевой надѣлъ покойнаго мужа. Если вдова бездѣтна, то ей дозволяется питаться отъ надѣла мужа лишь до выхода ея въ новое замужество; въ случаѣ же вторичнаго замужества она непремѣнно лишается его. Впрочемъ, какъ мнѣ уже случилось указать при разсказѣ о Кочетовскомъ передѣлѣ земли, правило это (за исключеніемъ послѣдней оговорки) также стало въ послѣднее время нарушаться, и нѣкоторымъ престарѣлымъ бездѣтнымъ вдовамъ и вдовамъ съ одними дѣвочками было нарѣзано по полъ-души безъ платежа податей, а нѣкоторымъ и вовсе ничего не было дано. Братья, если живутъ врозь другъ отъ друга, наслѣдуютъ отцовскій надѣлъ поровну, т.-е. получаютъ изъ него по ровной части; въ случаѣ смерти кого-либо изъ такихъ братьевъ, его сыновьями дѣлится, какъ личный его душевой надѣлъ, такъ и доля дѣдовскаго надѣла; такимъ образомъ случается, что у двухъ родныхъ братьевъ бываетъ по одному собственному душевому надѣлу, да по половинѣ отцовскаго, да по четвертой или шестой части дѣдовскаго (восьмыхъ долей надѣла мнѣ не встрѣчалось). Въ случаѣ смерти старика дѣда, или дяди бездѣтнаго, или тестя безсыновнаго, дочери котораго всѣ пристроены, земля переходитъ къ его внуку, племяннику или зятьямъ—хотя они были бы изъ другого селенія, причемъ наслѣдники должны прокармливать бабку, тетку и т. п., если таковыя есть; если же онѣ пожелаютъ жить самостоятельно, не переходя къ родственнику по мужской линіи „въ домъ“, то сохра-

няютъ за собой надѣлъ по вышеизложеннымъ правовымъ обычаямъ; но въ послѣднее время всѣ вдовы вообще встрѣчаютъ большее или меньшее противодѣйствіе въ отношеніи наслѣдованій землею со стороны общества.

Однимъ словомъ, покуда существуютъ какія-либо лица мужского пола въ семьѣ (а иногда, какъ сказано, достаточно только женскихъ),—земля отъ передѣла до передѣла есть собственность семейская; я нарочно употребляю выраженіе „семейская", такъ какъ никогда крестьянинъ не смотритъ на землю, находящуюся во владѣніи семьи, какъ на собственность главы семьи—дѣда или отца. Всякій знаетъ, что въ случаѣ отдѣленія его отъ семьи, его доля—не душа, а доля—должна пойти съ нимъ и никакъ не можетъ быть удержана старшимъ въ семьѣ и, въ случаѣ малѣйшаго отступленія отъ существующихъ обычаевъ, дѣло непремѣнно доходитъ до суда; случалось, напр., что отцы выгоняли своихъ сыновей изъ дому, не давая имъ „ни синь-пороху" изъ движимаго имущества, но сыновней земли удержать при себѣ не могли. Впрочемъ, за послѣднее время все чаще и чаще рождаются попытки нарушать порядокъ обычнаго наслѣдованія земельнаго надѣла, вслѣдствіе чего волостной судъ и крестьянское присутствіе постоянно завалены такого рода тяжбами. Понятіе крестьянъ, что земля есть собственность семейская и всѣ земельные дѣла и иски поэтому тоже—семейскіе, очень рельефно обрисовывается въ слѣдующихъ, на первый взглядъ, почти не значущихъ мелочахъ. Если случится крестьянину, имѣющему братьевъ или взрослыхъ сыновей, засудиться при покупкѣ лошади, овцы, или изъ-за платы за личный трудъ, или вообще изъ-за чего-нибудь, не имѣющаго прямого отношенія къ землѣ, то никогда ни братья, ни сыновья тяжущагося „не станутъ за него на судъ", т.-е. не признаютъ его интересовъ за свои. „Нашихъ дѣловъ тутъ не было, пущай онъ (братъ или отецъ) самъ отвѣтъ держитъ, какъ знаетъ",—приходилось слышать отъ отвѣтчика, высланнаго сельскимъ старостою вмѣсто настоящаго отвѣтчика, его брата, отца или сына, въ данную минуту за отлучкой или по болѣзни лишеннаго возможности лично явиться въ судъ. Совсѣмъ не то будетъ, если дѣло той или другой стороной своей касается земли.

Истецъ записалъ жалобу на крестьянина села Борокъ Ивана Васильева о взысканіи полъ-десятины земли въ яровомъ полѣ. Къ разбору дѣла являются истецъ и отвѣтчикъ.

— Въ чемъ у васъ дѣло?

— Снялъ я у нихъ еще передъ святками осьминникъ въ яровомъ; два рубля задатку далъ. Только мясоѣдомъ приходитъ брать

его и говоритъ: дай денегъ, нужда, говоритъ, пришла; ну, я далъ ему еще цѣлковый,—осталося за мной, значитъ, четыре. Пришло время ѣхать пахать; я и говорю: ну какъ же, Васильичъ, укажи осьминникъ-то?—А онъ и пошелъ вилять: сегодня-завтра, сегодня-завтра, да такъ по сію пору и нѣтъ мнѣ ничего... Прикажите землицу отдать.

— Ты что-жъ это, Васильичъ? — обращается къ отвѣтчику его односелецъ-судья. — Деньги брать, а землю въ другія руки сдавать?.. Это, вѣдь, не модель такъ-то!..

— Вина наша; что-жъ, я не отказываюсь. Три рубля, точно, получили. Только мы его Христомъ-Богомъ просили намъ всѣ деньги отдать, потому хлѣбушка весь изошелъ, ѣсть нечего стало, одна картошка осталась, — сами знаете, лѣтошнимъ годомъ по пяти копенъ свезли съ поля... А онъ не даетъ; что-жъ, намъ не помирать же стать; ну, и отдали Кузьмѣ Панфилычу за шесть рублевъ, онъ намъ и деньги въ ту-жъ пору отдалъ.

— А я то какъ-же? Такъ и пропали мои денежки?

— Прибавь малость, Платонъ Емельянычъ, — мы ужъ тебѣ осьминничекъ въ озимомъ отдадимъ.

Но Платона Емельяныча не скоро разжалобишь; основываясь на своемъ правѣ, онъ въ концѣ концовъ получаетъ осьминникъ озимаго вмѣсто ярового безъ всякой приплаты.

— Такъ вы, Иванъ, кончаете дѣло миромъ?—спрашиваю я.

— Онъ Семенъ, а не Иванъ,—поправляетъ меня судья-односелецъ.

— Какъ Семенъ?.. Вѣдь въ жалобной книгѣ записанъ Иванъ.

— Это точно-съ,—объясняетъ истецъ,—потому, какъ землю мнѣ сдавалъ братъ его старшій, Иванъ, и деньги онъ же у меня бралъ, такъ я его и записалъ... Да это все одно-съ...

— Да какъ же все одно? Вѣдь вы съ Иваномъ имѣли дѣло, а Семенъ отвѣчаетъ?..

— Да нѣтути Ивана-то: на степь уѣхамши,—убѣждаетъ меня судья не толковать о пустякахъ.—Еще позавчера уѣхалъ, вотъ Семенъ за него и вышелъ на отвѣтъ.

Я соображаю, въ чемъ дѣло, и, для полнаго успокоенія своего относительно нерушимости закона, спрашиваю:

— Да они вмѣстѣ, что-ль, живутъ? Не подѣлимшись?..

— Зачѣмъ подѣлимшись!.. Вмѣстѣ, вмѣстѣ.

Тогда я перемарываю и въ жалобной книгѣ и въ постановленіи суда слова „Иванъ“ и замѣняю ихъ „Семеномъ“... Для интересовъ семейской собственности земли—совершенно все равно, кто будетъ за нее „отвѣтъ давать“—Иванъ или Семенъ, потому

что хотя и хозяйствуетъ Иванъ, какъ старшій, т.-е. снимаетъ землю, сдаетъ, распредѣляетъ посѣвы, распоряжается уборкой и проч., но дѣлаетъ все это съ вѣденія и молчаливаго согласія Семена, который не хуже его знаетъ, почему это сдѣлано именно такъ, а не иначе, и въ каждый данный моментъ знакомъ со всѣмъ положеніемъ дѣла и можетъ безъ всякаго ущерба для хозяйства замѣнить Ивана; иначе сказать: въ отношеніи земли Иванъ поступаетъ не такъ, какъ ему хочется, а такъ, какъ этого требуетъ сама земля; и поэтому не важно, кто выражаетъ волю земли, Иванъ или Семенъ, ибо не они властвуютъ надъ землей, а земля распоряжается всѣми ихъ поступками, всей ихъ жизнью. Совсѣмъ не то было бы, если-бъ дѣло шло, напримѣръ, о купленной лошади; кто его знаетъ,—какими соображеніями руководствовался Иванъ при покупкѣ лошади на такихъ-то и такихъ-то условіяхъ?—Можетъ быть, онъ разсчитывалъ занять денегъ у тестя, можетъ быть, онъ надѣется самъ обернуться, — уплату податей позадержитъ, что ли, и посидитъ за это въ холодной, или же еще что-нибудь придумаетъ—ничего этого Семенъ не знаетъ, да это и не его дѣло, и Семенъ ни за что не станетъ за Ивана въ отвѣтчики по „лошадному“ дѣлу: „моихъ дѣловъ тутъ нѣтути; какъ они сходились, такъ пущай и расходятся, а я ничего не могу знать въ ихнихъ дѣлахъ“.

По земельнымъ искамъ даже сынъ замѣняетъ иногда на судѣ отца, или племянникъ — дядю, если только они живутъ вмѣстѣ; во всѣхъ же прочихъ дѣлахъ всякій отвѣчаетъ самъ за себя, кромѣ развѣ случаевъ „неотжитія“ въ работникахъ сына или младшаго брата, или въ случаѣ иска за убытки, причиненные хозяину шалостью или нерадѣніемъ мальчикомъ — сыномъ или братомъ, за которыхъ отвѣчаетъ отецъ или старшій братъ, т.-е. хозяева семьи. Не-хозяйствующіе сынъ или младшій братъ ни наняться въ работники, ни оставить мѣсто безъ согласія старшаго въ семьѣ не могутъ, конечно, если они не живутъ въ отдѣлѣ, потому что въ этомъ случаѣ они являются совершенно самостоятельными домохозяевами, независимо отъ того, есть ли у нихъ отецъ или старшій братъ; при совмѣстномъ же жительствѣ старшій въ семьѣ и подряжается съ нанимателемъ, и разсчетъ ведетъ онъ же, въ исключительныхъ развѣ случаяхъ довѣряя поступившему въ работники младшему члену семьи самостоятельно производить разсчетъ съ нанимателемъ, забирать деньги и проч. Даже въ случаяхъ такого, крайне рѣдкаго, довѣрія, отданный въ работу членъ семьи можетъ употребить на себя только какой нибудь двугривенный въ мѣсяцъ „на табачишко“, а все осталь-

ное обязанъ вносить въ семью, откуда уже и получаетъ одежду и, въ случаѣ надобности, пищу. Понятно, что при такомъ положеніи вещей наниматель знаетъ въ качествѣ своего контрагента не самого работника—будь онъ хоть тридцати-лѣтній мужикъ,—а его отца или старшого брата, договорившагося при наймѣ и взявшаго на себя, нѣкоторымъ образомъ, нравственную отвѣтственность за исполненіе договора. Въ случаѣ же нарушенія этого договора, — когда, напр., работникъ уйдетъ до срока, не заживъ забранныхъ денегъ, и т. п., — наниматель вѣдается на судѣ [1]) не съ ушедшимъ отъ него работникомъ, а съ своимъ контрагентомъ, старшимъ членомъ въ семьѣ, который, какъ предполагается въ видѣ правила, санкціонировалъ своимъ согласіемъ нарушеніе младшимъ членомъ семьи заключеннаго съ хозяиномъ обязательства. Бываютъ, впрочемъ, случаи,—какъ исключенія,—когда работникъ уходитъ самовольно, безъ согласія своего старшого; тогда это обстоятельство выясняется на судѣ черезъ допросъ работника въ качествѣ свидѣтеля, что̀ именно побудило его уйти до срока,—тайное ли приказаніе старшого, или постороннее какое-либо обстоятельство, напр., слишкомъ непосильная работа, или побои со стороны работодателя, и проч.? Если судъ приметъ во вниманіе объясненіе работника-свидѣтеля, уважитъ его жалобу на непосильную, напр., работу, или если окажется, что онъ ушелъ отъ хозяина съ согласія своего старшого, — то онъ совершенно устраняется отъ участія въ дѣлѣ, а начинается уже опредѣленіе размѣра и качества претензіи нанимателя къ своему контрагенту. Если же окажется, что работникъ ушелъ „по своевольству“, безъ согласія своего старшого и безъ всякихъ уважительныхъ причинъ, то старшой обязанъ или заставить его доработать до условленнаго срока, или вполнѣ удовлетворить всѣ претензіи нанимателя, такъ какъ онъ, старшой, является виноватымъ или въ томъ, что онъ „распустилъ“ подчиненныхъ ему членовъ семьи до своевольства,—или въ томъ, что далъ свое согласіе на ничѣмъ необусловленный уходъ работника отъ хозяина. Въ томъ случаѣ, когда младшій членъ семьи самовольно ушелъ отъ хозяина, причемъ послѣдній не былъ виною его ухода (не отягощалъ его работой, не билъ, кормилъ исправно и проч.),—старшій членъ обязанъ вознаградить обманутаго хозяина, а съ своимъ непокорнымъ подчиненнымъ, причинившимъ обще-семейскому фонду убытки, можетъ поступить по своему усмотрѣнію:

[1]) Все сказанное здѣсь относится до словесныхъ договоровъ и до волостного суда, а не до юридически обставленныхъ исковъ у мирового судьи.

или дома „поучить“, или просить судъ заняться этой педагогической дѣятельностью черезъ посредство Петровича. Такимъ образомъ, изъ гражданскаго дѣла, предъявленнаго А къ Б, вытекаетъ уголовное дѣло Б къ сыну своему В о непослушаніи родительской власти; отъ гражданской же отвѣтственности передъ А, В избавленъ, какъ неимущее, неполноправное, не-юридическое лицо, а отвѣтствуетъ за него имущественный представитель семьи—Б. Изъ массы случаевъ подобнаго рода приведу здѣсь только одинъ, но довольно характерный.

Старуха-вдова отдала своего четырнадцати-лѣтняго сына въ работники за 15 руб. въ годъ, задатку взяла три рубля. Проживъ двѣ недѣли, мальчикъ ушелъ отъ хозяина; тотъ пожаловался въ судъ. Мать на судѣ показала: „пришла я Ванюшку провѣдать,—смотрю, а онъ плачетъ, рѣкой разливается. Ты что?—говорю. Прибилъ, говоритъ, хозяинъ: заставилъ меня солому подавать крышу крыть, а я не смогъ, онъ и побилъ. Сами посудите, господа судьи—гдѣ-жъ ему силы взять на крышу снопы подавать?.. Ну, я его и взяла къ себѣ,—не дозволила свое дитю мучить“... Судьи признаютъ, что она въ правѣ была взять мальчика, но присуждаютъ все-таки уплатить истцу незажитые мальчикомъ 2 руб. 60 коп., отсрочивъ, въ видѣ льготы, уплату до весны.

Изъ группы дѣлъ о взысканіи частныхъ долговъ рѣзко выдѣляются по своей характерности иски, предъявляемые къ членамъ раздѣлившихся семей, когда долгъ бывалъ сдѣланъ еще до раздѣла кѣмъ-либо изъ членовъ этой семьи. Если семья дѣлится по необходимости, безъ ссоры и недоразумѣній, то при раздѣлѣ имущества всѣ лежащіе на ней долги и обязательства распредѣляются соразмѣрно получаемой каждымъ имущественной долѣ; такъ напр., если сынъ отдѣляется отъ отца, у котораго остается еще сынъ, то отдѣляющійся получаетъ свои душевые надѣлы земли, третью часть движимаго имущества и третью часть строеній, причемъ беретъ на себя уплату и третьей части всѣхъ лежащихъ на семьѣ долговъ. Недоразумѣнія при такихъ дѣлежкахъ бываютъ крайне рѣдко или, если и возникаютъ, то быстро улаживаются. Вотъ одинъ случай изъ этой категоріи дѣлъ.

Единственный сынъ отдѣлился отъ отца, вслѣдствіе несогласной жизни. Зимою 1882—83 г., когда они жили еще вмѣстѣ, отецъ взялъ подъ работу у сосѣдняго помѣщика 20 руб., изъ коихъ за лѣто отработано было только 10 руб., работалъ сынъ.

Осенью они подѣлились. Благодаря тому обстоятельству, что долгъ былъ помѣщичій, что помѣщикъ ко времени ихъ раздѣла иска своего еще не предъявлялъ,—а мужикъ разсчитывается съ

барином вообще только тогда, когда чувствуетъ себя окончательно припертымъ къ стѣнѣ, во все же остальное время втайнѣ питаетъ надежду — „авось-де до разсчета выйдетъ какая перемѣна“,—долгъ этотъ не былъ своевременно разверстанъ между отцомъ и сыномъ. Зимою 1883—84 г. помѣщикъ подалъ къ мировому судьѣ искъ къ нѣсколькимъ крестьянамъ, въ томъ числѣ и къ этому старику, взыскивая какъ дѣйствительный долгъ, такъ и оговоренную по условіямъ неустойку; мировой судья рѣшилъ дѣло, конечно, въ пользу истца, но этотъ послѣдній „великодушно“ предложилъ крестьянамъ вновь отработать свои долги лѣтомъ 1884 г., обѣщая простить въ этомъ случаѣ неустойки. Отвѣтчикомъ по дѣлу явился отецъ, такъ какъ онъ былъ записанъ въ условіи; но послѣ тяжбы у мирового, онъ подалъ въ волостной судъ искъ къ своему отдѣленному уже сыну, требуя, чтобы тотъ обязался отработать половину слѣдуемой съ ихъ бывшей семьи работы. Сынъ упорно отказывался отъ выполненія стараго обязательства семейскаго, оправдываясь, во 1-хъ, тѣмъ, что онъ свою половину уже отработалъ въ прошломъ году, когда былъ въ семьѣ, и, во 2-хъ, тѣмъ, что онъ не былъ сполна выдѣленъ отцомъ, т.-е. не получилъ всей слѣдующей ему половины имущества, а только одну четверть (произошло это потому, что старикъ узналъ, что онъ „по закону“ единственный владѣлецъ всего имущества и можетъ поэтому располагать имъ по своему усмотрѣнію). Судъ, принимая во вниманіе, что сынъ отработалъ половину работы еще тогда, когда жилъ въ семьѣ, и что работа эта „шла въ семью“ и поэтому принята въ разсчетъ быть не можетъ, и что послѣ этого онъ получилъ „изъ семьи“ только половинную часть слѣдующей ему доли семейскаго имущества,— опредѣлилъ: обязать его отработать одну четвертую часть остающейся работы, т.-е. на 2 р. 50 к., а остальной долгъ оставить на отцѣ. Оба тяжущіеся остались рѣшеніемъ суда довольны.

Совсѣмъ иначе бываетъ, если раздѣлъ происходитъ не по личнымъ несогласіямъ, а вслѣдствіе сказывающейся розни въ имущественныхъ интересахъ. Вотъ два случая, лучше всякихъ разсужденій дающіе отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Егоръ Елкинъ былъ сборщикомъ податей и не съумѣлъ отдать отчета въ 70 руб.; сходъ постановилъ взыскать ихъ съ него судебнымъ порядкомъ. Тогда онъ сорокъ рублей внесъ своихъ, а недостающіе тридцать занялъ у другого мужика. Егоръ былъ младшимъ изъ двухъ братьевъ, хотя и ему насчитывалось уже не менѣе 45 лѣтъ; онъ занимался лѣсными операціями, которыя ко времени начета на него пошли все хуже и хуже; дѣла

его позапутались и онъ сталъ покучивать. Тогда старшій братъ, Николай, исключительно занимавшійся хлѣбопашествомъ, потребовалъ раздѣла, который, наконецъ, и произошелъ послѣ цѣлаго ряда препирательствъ, дракъ, брани и проч. Николай рѣшительно отказался взять на себя какую-либо часть братниныхъ долговъ, указывая на то обстоятельство, что онъ—старшій въ семьѣ, и поэтому хозяинъ, а долги сдѣланы Егоромъ за свой личный страхъ, безъ всякаго участія его, Николая. Какъ устроился Егоръ съ прочими своими дѣлами—я не знаю, но тридцати рублей, занятыхъ для пополненія растраты, онъ въ срокъ не уплатилъ и былъ вызванъ въ судъ по жалобѣ кредитора; дать, однако, единоличный отвѣтъ по этому дѣлу онъ отказался, говоря, что деньги онъ бралъ въ семью и поэтому, наравнѣ съ нимъ, долженъ быть вызванъ въ качествѣ отвѣтчика и его братъ, Николай. Къ слѣдующему засѣданію явившійся Николай отказался отъ уплаты части предъявленнаго къ нимъ, Елвинымъ, иска, на томъ основаніи, что деньги эти пошли не на семейскія нужды, а на пополненіе братниной растраты, куда же братъ затратилъ собранную подать, онъ, Николай, не знаетъ, и легко можетъ быть, что при своей пьяной жизни Егоръ просто пропилъ ихъ. Судъ не уважилъ претензіи Егора возложить уплату половины долга на Николая и постановилъ: взыскать всѣ 30 руб. полностью съ одного Егора.

Другой случай. Одинъ изъ трехъ братьевъ, Демьянъ былъ на военной службѣ въ то время, какъ двое другихъ, Иванъ и Тимоѳей занимались крахмально-паточнымъ производствомъ. Семья эта была состоятельная, имѣла двѣ избы, крахмальный заводъ небольшой, англійскую вѣтряную мельницу и порядочный оборотный капиталъ. Вздумали они заниматься еще скупкой овецъ, но промахнулись; ко времени возвращенія Демьяна со службы, дѣла братьевъ сильно пошатнулись; между ними пошли несогласія, проявилось стремленіе утаить другъ отъ друга часть выручки, стали дѣлаться долги, былъ проданъ заводъ и заложена мельница, словомъ—хозяйство поразстроилось. Между прочимъ, занято было сто тридцать рублей у одного мѣстнаго капиталиста, причемъ росписка была заключена формальная и засвидѣтельствована въ волостномъ правленіи. Въ роспискѣ значилось, что деньги взяты всѣми тремя братьями на обще-семейскія нужды, и къ ней подписались: Тимоѳей, какъ грамотный, самолично, а за неграмотныхъ Ивана и Демьяна—совершеннолѣтній сынъ Ивана, Кириллъ. Прошелъ годъ; вражда между братьями приняла такой острый характеръ, что не оставалось ничего, какъ раздѣлиться натрое. Демьянъ получилъ только клѣтку, лошадь, нѣсколько овецъ и

душевой надѣлъ земли, отказавшись отъ части своей въ убранномъ хлѣбѣ и въ прочемъ строеніи съ тѣмъ условіемъ, чтобы не быть отвѣтчикомъ по долговымъ обязательствамъ братьевъ. Иванъ же и Тимоѳей подѣлили прочее имущество поровну, причемъ было не мало перекоровъ объ утаенныхъ будто каждымъ семейскихъ деньгахъ. Еще до раздѣла они отдали своему главному кредитору въ счетъ долга корову за 40 руб., остальныхъ же 90 руб. не уплатили, за что и были всѣ привлечены, въ качествѣ отвѣтчиковъ, къ волостному суду. Вотъ что они показывали на судѣ.

Тимоѳей. Я отъ уплаты своей части долга, т.-е. 30 руб. не отказываюсь, такъ какъ деньги были взяты на обще-семейскія нужды.

Иванъ. Я денегъ этихъ не бралъ и сыну Кириллу не приказывалъ за себя росписываться. На что ихъ бралъ Тимоѳей и куда ихъ дѣвалъ, я не знаю, такъ какъ въ дѣла его не вмѣшивался, и поэтому отъ уплаты какой-либо части долга отказываюсь.

Демьянъ. Когда я уходилъ на службу, мы были втрое богаче, чѣмъ когда я вернулся. Теперь нѣтъ у насъ ничего, ни денегъ, ни мельницы, ни завода... Я ушелъ отъ нихъ почти нищимъ, они мнѣ не дали ни одной копны хлѣба, и я на все это согласился, лишь бы они не путали меня въ свои дѣла. На заключеніе новаго долга я своего согласія не давалъ, да оно и не спрашивалось ими, такъ какъ они поступали всегда по собственному своему разуму, не соображаясь съ моимъ мнѣніемъ.

Сынъ Ивана, Кириллъ. Отецъ приказывалъ мнѣ росписаться и дядя Демьянъ былъ при этомъ дѣлѣ, но спрашивали ли его согласія, я не помню.

Показаніе Ивана, будто бы онъ въ дѣлахъ брата не участвовалъ и долга не дѣлалъ, опровергалось уже тѣмъ однимъ обстоятельствомъ, что обще-семейская корова пошла на уплату долга, который, слѣдовательно, не могъ не быть обще-семейскимъ же. Не смотря на то, что въ росписке значились должниками всѣ трое братьевъ въ равной степени, судъ, помимо писаннаго закона, постановилъ Демьяна отъ отвѣтственности освободить вовсе, а съ Ивана и Тимоѳея взыскать по-ровну, т.-е. по 45 руб. съ каждаго въ пользу кредитора.

Въ приведенномъ только-что рѣшеніи обычно-правового суда очень характерно, между прочимъ, игнорированіе со стороны суда „писаннаго закона“, въ данномъ случаѣ—росписки; нельзя не согласиться, что такое рѣшеніе суда было въ высшей степени согласно съ требованіями справедливости и обычая. Но вотъ почти

однородный фактъ, и какъ приходится жалѣть, что точная буква закона не восторжествовала въ этомъ случаѣ...

Дядя выдавалъ племянницу-сироту замужъ; при сведеніи съ ней счетовъ, оказалось, что онъ затратилъ нѣкоторое количество оставленныхъ ей покойною ея матерью денегъ и нѣкоторыя ея вещи, какъ-то: нѣсколько штукъ холстовъ, полушубокъ и т. п. При нѣсколькихъ свидѣтеляхъ и при старостѣ дядей была написана росписка, по которой онъ обязывался уплатить въ извѣстный срокъ вышедшей уже замужъ племянницѣ тридцать пять руб. Долга этого онъ не уплатилъ, однако, въ теченіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ и довелъ, такимъ образомъ, дѣло до суда. На судѣ онъ привелъ цѣлый рядъ произведенныхъ имъ будто бы на свадьбу племянницы расходовъ, которые и опредѣлилъ въ 25 руб., и соглашался доплатить только остальные 10 рублей. Хотя въ роспискѣ было ясно сказано, что онъ обязуется уплатить 35 р. полностью, и хотя спрошенные свидѣтели подтвердили, что когда онъ просилъ племянницу отсрочить ему уплату долга, то ничего не упоминалъ о произведенныхъ имъ для свадьбы расходахъ и ихъ въ счетъ не клалъ, но судъ, руководствуясь какими-то странными соображеніями (въ этомъ засѣданіи подборъ судей былъ очень плохъ), а, вѣрнѣе всего, посуленнымъ магарычемъ, постановилъ взыскать съ дяди только 15 руб. въ пользу племянницы, а остальные 20 р. зачесть въ счетъ произведенныхъ расходовъ... Истица жаловалась на это рѣшеніе уѣздному присутствію, но оно, вопреки своему обыкновенію, это рѣшеніе суда „по обычаю“ утвердило, и жалобу истицы оставило безъ послѣдствій.

А вотъ торжество и писаннаго закона. Отецъ сталъ притѣснять сыновнюю жену, свою сноху; злые языки говорили, что онъ добивался ея благосклонности, но получилъ отказъ и въ отместку сталъ доѣзжать, какъ сына, такъ и ее въ особенности. Родители молодухи были люди довольно зажиточные и къ мужу ея относились хорошо; поэтому безъ вины виноватые молодые порѣшили уйти къ нимъ на житье, что́ и исполнили однажды въ отсутствіе отца, взявъ изъ дому только свое носильное платье и приданое молодухи. Разсерженный старикъ поднялъ въ волостномъ судѣ цѣлый рядъ исковъ къ сыну и снохѣ, обвиняя ихъ то въ кражѣ полушубка, то въ оскорбленіи его на словахъ, то въ самовольномъ оставленіи родительскаго дома и т. п.; сынъ же, съ своей стороны, сталъ просить сельскій сходъ выдѣлить ему часть изъ отцовскаго имущества, но просьба его не была уважена—благодаря большому значенію, которымъ пользовался старикъ въ селѣ. Тогда сынъ обратился съ жалобой въ волостной судъ, прося о

томъ же выдѣлѣ части имущества, но и тутъ получилъ отказъ, мотивированный тѣмъ, что все имущество — отцово, и что отецъ воленъ сына имъ наградить или не наградить по своему личному усмотрѣнію. Но нужно добавить, что для сохраненія хотя бы нѣкотораго равновѣсія и отецъ на всѣ свои жалобы, поданныя въ судъ, получилъ отказъ... Обездоленному малому ничего не оставалось дѣлать, какъ окончательно войти „въ зятья“ къ своему тестю, что онъ и сдѣлалъ, хотя это въ деревенскомъ обиходѣ и считается нѣсколько зазорнымъ.

XVII.

За мое трехлѣтнее отправленіе обязанностей „секретаря“ волостного суда, мнѣ пришлось присутствовать при разборѣ около 600 дѣлъ; такъ какъ въ Кочетовской волости считается до 1800 крестьянъ-домохозяевъ, то, въ среднемъ, одна треть домохозяевъ успѣла пересудиться за это время. Правда, что нѣкоторыя личности—кулаки, маклаки землей и прочій сельскій „коммерческій“ людъ перебывалъ за это время по нѣскольку разъ въ судѣ, то въ качествѣ истцовъ, то отвѣтчиковъ; но, съ другой стороны, по одному и тому же дѣлу бывало часто по двое, по трое и болѣе отвѣтчиковъ, такъ что отношеніе судившихся къ несудившимся ни въ какомъ случаѣ не будетъ менѣе вышеуказаннаго. Такимъ образомъ, не менѣе одной трети домохозяевъ волости перебывало при мнѣ на волостномъ судѣ, и я имѣлъ полную возможность наблюдать и изучать, какъ характеръ массы предъявленныхъ исковъ, такъ и характеръ даваемыхъ на предъявленные иски отвѣтовъ. Вообще, всякій судъ есть лучшій пробный камень для нравственности населенія, и нигдѣ такъ ярко не высказывается, подчасъ, удачно маскируемыя въ обыденной жизни, отрицательныя качества личности: корыстолюбіе, подлость, алчность, бранчивость и т. п., какъ на судѣ; и по этому удобству разслѣдованія сокровенныхъ побужденій тяжущагося, волостной судъ превосходитъ всѣ другіе, благодаря отсутствію всякихъ стѣснительныхъ формальностей, какъ для судей, такъ и для тяжущихся. На волостномъ судѣ стороны держатся совершенно свободно, говорятъ и спорятъ безъ всякаго стѣсненія, часто уклоняясь отъ существа дѣла къ побочнымъ обстоятельствамъ, такъ или иначе имѣвшимъ отношеніе къ дѣлу, касаются своихъ личныхъ и семейныхъ отношеній, словомъ, не стѣсняясь, „выносятъ соръ изъ избы“, зная, что судьи—свой братъ, мужикъ; и судьи, не стѣсняясь своимъ высокимъ

званіемъ и не боясь уронить свое достоинство, входятъ въ препирательство и даже въ споры съ тяжущимися... Конечно, внѣшняя обстановка суда отъ этого много теряетъ, и городской житель, привыкшій къ торжественности обстановки мирового и окружного суда, былъ бы сильно пораженъ шумомъ и гвалтомъ, царящимъ въ волостномъ судѣ, гдѣ тяжущіеся перекрикиваютъ другъ друга, перебиваютъ судей, „чертыхаются", божатся и плюются, гдѣ сторожъ, на обязанности котораго лежитъ отворять двери, и всякій другой случайный посѣтитель свободно вмѣшиваются въ разборъ дѣла, обращаютъ вниманіе суда на какое-нибудь выяснившееся, по ихъ мнѣнію, важное обстоятельство, подаютъ совѣты, усовѣщиваютъ упорнаго отвѣтчика или черезъ-чуръ жестокосердаго истца; но все это имѣетъ ту хорошую сторону, что все, происходящее на судѣ, вполнѣ естественно, не стѣснено никакими формальностями и соотвѣтствуетъ представленію народа о судѣ, какъ объ учрежденіи, для всѣхъ доступномъ, всѣ функціи коего должны быть для всѣхъ понятны и не изъяты отъ общей гласной критики. Волостные судьи—тѣ же рядовые мужики; они не имѣютъ даже какого-нибудь внѣшняго знака, который отличалъ бы ихъ изъ массы, какъ напр., отличаетъ старосту его „мидаль", и поэтому они вполнѣ солидарны съ массой въ понятіяхъ, взглядахъ и проч. Частныя злоупотребленія со стороны судей служатъ лишь доказательствомъ низкаго уровня нравственности всего населенія; зависимость судей отъ кулаковъ-міроѣдовъ указываетъ лишь на общее порабощеніе народа кулаками; словомъ, крестьянскій судъ служитъ лучшимъ конкретнымъ представленіемъ народной жизни, какова она есть въ дѣйствительности. То, что̀ посторонняго человѣка, не крестьянина, приводитъ въ недоумѣніе, волостныхъ судей даже не удивляетъ: всѣ побужденія истцовъ и тяжущихся имъ совершенно понятны; они сами мыслятъ и поступаютъ такъ, какъ мыслятъ и поступаютъ тяжущіеся; вся разница только въ томъ, что у тяжущагося взглядъ на свое дѣло затемненъ личнымъ интересомъ, разсчетомъ или страстью, а судья, стоящій внѣ сферы дѣйствія этого разсчета или страсти, можетъ сохранить свой взглядъ на дѣло безъ всякаго посторонняго давленія. Я говорю—*можетъ*, потому что въ дѣйствительности этого иногда не бываетъ: у тяжущагося есть много средствъ втянуть судью въ сферу дѣйствія своихъ личныхъ побужденій; эти средства извѣстны: дружба, взятка, экономическое давленіе и т. п.

Главнымъ стимуломъ, побуждающимъ населеніе обращаться въ судъ, есть желаніе „вернуть свое"; многіе истцы, прошатели то-жъ, такъ и заявляютъ: „мнѣ чужого не надо, я *свое* прошу".

Но бываетъ, что, пользуясь удобнымъ случаемъ, прошатель не прочь съ своимъ прихватить и чужое; серьезнымъ укоромъ для нравственности народа это обстоятельство не можетъ, впрочемъ, служить, потому что наряду съ этими явленіями бываетъ много случаевъ, когда прошатель, при полной возможности прихватить чужое, и не думаетъ воспользоваться этой возможностью. Мы уже видѣли на одномъ примѣрѣ, что истецъ просилъ о взысканіи не всей суммы, значившейся въ роспискѣ, а только части ея; изъза полтинника же, казавшагося ему спорнымъ, онъ поднялъ цѣлую бурю... Убѣдительнѣйшимъ же доказательствомъ тому, что въ судъ обращаются преимущественно съ справедливыми исками, служитъ масса мировыхъ сдѣлокъ, заключаемыхъ какъ до разбора дѣла, такъ во время самаго разбора и даже послѣ разбора. До суда доходитъ не болѣе двухъ третей заявленныхъ въ волостномъ правленіи жалобъ: одна треть кончается миромъ безъ всякой помощи правосудія—если не называть помощью посылку отвѣтчику повѣстки; эта послѣдняя какъ бы напоминаетъ ему о существованіи и на него „управы", и онъ спѣшитъ мириться, если на столько честенъ, чтобы безусловно признать свою вину или долгъ. Но еще характернѣе мировыя сдѣлки, заключаемыя послѣ постановки рѣшенія суда. Нерѣдко случается, что судъ присудитъ Ивану съ Петра, скажемъ, пять рублей за потравленное у него сѣно; черезъ полъ-часа или болѣе по объявленіи рѣшенія, когда начинается разборъ третьяго или четвертаго послѣ этого дѣла, въ „залу засѣданія" врываются Иванъ съ Петромъ.

— Вамъ что?

— Да вотъ просимъ покорнѣйше нашъ судъ помарать, потому мы помирились...

— На какихъ условіяхъ?

— Рублевку съ него беру. Что его обижать, Господь съ нимъ!

Это говоритъ истецъ, оцѣнившій сначала потравленное у него сѣно въ десять рулей и оставшійся сильно недовольнымъ, когда судъ присудилъ ему „по таксѣ", т.-е. по закону, только пять рублей.

Особенно много мировыхъ сдѣлокъ бываетъ по уголовнымъ дѣламъ. Нужно сказать, что въ послѣднее время стали появляться въ судѣ массы жалобъ за „нанесенные побои", за оскорбленія „дѣйствіемъ" и даже „словами". Я указывалъ выше на причину этого явленія, кроющуюся въ ослабленіи власти міра и въ сознательномъ устраненіи со стороны сельскихъ старостъ отъ вмѣшательства въ такого рода „кляузныя" дѣла. Жалуются въ судъ и мужикъ на десятскаго, за то, что онъ, гоня его на сходку,

„бадигомъ“ ударилъ, и десятскій на мужика, что онъ его „сволочью“ назвалъ; жена на мужа—за побои; отецъ на сына—за непочтеніе; кумъ на кума—за драку въ пьяномъ видѣ; дѣвка на парня—за уличеніе ея въ связи съ болѣе счастливымъ соперникомъ и т. д., и т. д. Но всѣ эти уголовные, въ извѣстномъ смыслѣ, иски можно подраздѣлить на двѣ, рѣзко другъ отъ друга отличающіяся группы: одна будетъ заключать въ себѣ иски родственниковъ къ родственникамъ, живущимъ въ одной семьѣ (отецъ къ сыну, жена къ мужу, золовка къ деверю, и проч.), другая—всѣ остальные; между тѣмъ, какъ первые всегда имѣютъ цѣлью обуздать насиліе посредствомъ уголовнаго возмездія отвѣтчику арестомъ, тѣлеснымъ наказаніемъ, вторые составляютъ, въ сущности, лишь удобный случай сорвать съ обидчика болѣе или менѣе приличный кушъ за обиду. Какъ исключеніе, изъ двадцати исковъ одинъ, случается, что истецъ проситъ не родственнаго ему отвѣтчика „попужать, чтобъ умнѣе былъ“, и не требуетъ за свою „обиду“ какой-нибудь ассигнаціи; это случается преимущественно тогда, когда истцомъ является или богатый человѣкъ, не имѣющій нужды зариться на тощій гаманокъ „виновника“, или старикъ, или старуха, хоть и не богатые, но считающіе себя по своему возрасту достойными уваженія, и по ветхозавѣтнымъ понятіямъ своимъ не понимающіе, какъ можно рублемъ загладить нанесенную ихъ старческому достоинству обиду. Вообще, требованіе денегъ за нанесенную обиду есть явленіе сравнительно новѣйшее, и нѣкоторые старики, съ которыми мнѣ случалось говорить объ этомъ, съ неодобреніемъ относятся къ нонѣшнимъ временамъ, когда сталъ процвѣтать торгъ своей личностью. „Бывало, — говорятъ они, — подерутся мужики: извѣстно, пьянымъ долго ли до грѣха?.. Коли ровно подрались, протрезвятся и даже не вспомнятъ о дракѣ; ну, а ежели кто кого уже дюже изобидѣлъ, либо старика или старуху затронулъ — старикамъ пожалуются. Виновникъ и начнетъ въ ноги кланяться обиженному, ну, тотъ и проститъ, а виновникъ на-радостяхъ старикамъ за утружденіе четверочку поставитъ. Коли старшого кто обругалъ или, Боже упаси, побилъ, такъ это ужъ завсегда поучатъ, бывало, на сходкѣ, „горяченькихъ“ всыпятъ десятка два или три, а онъ за учобу опять стариковъ водочкой поблагодаритъ... Такъ вотъ и жили безо всякихъ кляузъ, и судовъ этихъ не знали; а теперь, Господи ты Боже мой милостивый! сколько этихъ обидовъ развелось и уму непостижимо!.. Пьяные подрались, сичасъ это въ судъ, давай пять цалковыхъ; парень съ дѣвкой пошутилъ—она въ судъ: давай ей рубль... Ей бы, безстыжей, такой

судъ задать, по-старински, чтобъ она туда и дорогу забыла, а вы сидите, слушаете ее, паскуду... Нѣтъ, теперь народъ куда какъ ослабъ противу прежняго"...

Съ этимъ поборникомъ стараго порядка нельзя безусловно согласиться. Самый фактъ возникновенія жалобъ объ оскорбленіяхъ доказываетъ лишь развитіе сознанія собственнаго достоинства и проявляющееся сознаніе неприкосновенности личности, какъ таковой. Правда, что въ переживаемый нами періодъ всеобщаго господства рубля и полнаго порабощенія всякихъ другихъ принциповъ — принципомъ наживы на счетъ другого, какъ единственно доступнымъ неразвитому уму выходомъ изъ бѣдственнаго экономическаго положенія, возникшее сознаніе о неприкосновенности личности тотчасъ же подчинилось духу времени и стало лишь источникомъ наживы; но все-таки первый шагъ къ поднятію значенія личности сдѣланъ, и если со временемъ будутъ устранены нѣкоторыя пагубныя вліянія на жизненныя условія крестьянства, вліянія, придающія отвратительную окраску всѣмъ отправленіямъ народной жизни, то прогрессъ въ указанномъ отношеніи обрисуется совершенно явственно. Какъ-ни-какъ, а надо признаться, что въ настоящую минуту неприкосновенность личности вошла въ фазисъ оцѣнки ея на рубль, подобно тому, какъ оцѣнивается теперь мірская правда, человѣческая совѣсть, дѣвичья честь...

— Ты чего, красавица?

— Окажите защиту, господа судейные! Яшка Шведовъ срамилъ, опозорилъ меня кругомъ: мнѣ въ люди показаться нельзя!.. Онамеднись въ воскресенье, при всей улицѣ, зачалъ срамить меня: и потаскуха, и такая-сякая. Чѣмъ это я заслужила такую срамоту?.. А ежели онъ ко мнѣ лѣзъ, а я ему отваливать велѣла, такъ это еще не есть причина срамить меня...

— Такъ ты о чемъ же просишь?

— Вы лучше моего знаете, какъ по закону-то...

— Ахъ, глупая!.. Мы и такъ, и этакъ можемъ. А мы тебя спрашиваемъ, какъ тебѣ желательно?..

— Извѣстно, деньгами.

— Много-ль же ты хочешь?..

— Какъ угодно, господа судейскіе, а я меньше десяти рублей никакъ несогласна, потому этакій срамъ принять...

Дѣло кончается тѣмъ, что Яшку приговариваютъ къ одному рублю штрафа въ пользу мірскихъ суммъ; истицѣ же ничего не присуждаютъ, чтобы не повадить ее ходить по судамъ. Она уходитъ, возмущенная неправеднымъ судомъ и въ увѣренности, что Яшка „подпоилъ" судей...

Другая жалоба — о побояхъ. Разсказъ потерпѣвшаго кончается опять просьбой взыскать „по закону“ и судьямъ удается допытаться, что Тимохины побои оцѣниваются „прошателемъ“ въ 25 руб.

Имъ предлагаютъ помириться на рублѣ, и послѣ отказа идетъ судъ. По объявленіи постановленія суда о подвергнутіи, за обоюдную драку, аресту Тимохи на трое сутокъ, а истца на сутки, оба они съ выраженіемъ обманутой надежды выходятъ, но черезъ нѣсколько минутъ вваливаются обратно въ комнату.

— Прикажите помириться, господа судьи!.. Мы таперь согласны, чтобы онъ, то-ись, мнѣ рубль и больше ни на комъ...

Живущимъ подъ одной кровлей, имѣющимъ одинъ общій семейскій фондъ, близкимъ родственникамъ или супругамъ нѣтъ, конечно, никакого смысла просить другъ съ друга деньги за обиду, и поэтому они всегда просятъ „поучить“ виноватаго. Большая часть этихъ дѣлъ кончается миромъ: виноватый (конечно, младшій членъ семьи) кланяется въ ноги обиженному прошателю, тотъ читаетъ ему краткое нравоученіе, вродѣ: „ну, смотри-же, Васька, на этотъ разъ Богъ проститъ, а коли ежели еще что, не прогнѣвайся!“ Судьи, съ своей стороны, „попужаютъ“ какими-нибудь страшными словами обидчика, тѣмъ и кончается домашняя распря въ большинствѣ случаевъ только на время... Но иногда оказывается, по мнѣнію суда, необходимымъ поучить упорнаго обидчика и на дѣлѣ... Наиболѣе же подавляющее впечатлѣніе производятъ дѣла, возникающія по жалобѣ жены на жестокое обращеніе съ ней мужа.

Вообще, представленіе о бабѣ, какъ о полной собственности мужика, сохранилось еще въ сильной степени. Крайне характерно сказалось это воззрѣніе по одному случаю, который я здѣсь приведу, такъ какъ онъ также имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ волостному суду.

Подрались двѣ бабы изъ-за холстовъ; зачинщицу, притомъ въ лоскъ побившую свою противницу, судъ приговорилъ къ аресту на трое сутокъ при волостномъ правленіи. Когда рѣшеніе это вошло въ законную силу, я, по обыкновенію, выдалъ старостѣ приказъ привести рѣшеніе суда въ исполненіе. Дня черезъ два послѣ этого приходятъ ко мнѣ старшина вмѣстѣ съ старостой.

— А. Н! Что мы васъ спросить хотѣли?.. Сами не посмѣли, думаемъ, спрошаючи все-жъ лучше... Мужикъ тутъ одинъ, Николка Рыжій, вотъ жену котораго въ холодную-то присудили — просить, нельзя-ли ему отсидѣть замѣсто нея?..

Я и ротъ разинулъ отъ удивленія.

— Что ты, Яковъ Иванычъ!.. Да вѣдь осуждена она, а не онъ, такъ какъ же его сажать можно?..

— То-то и я говорю, спрошаючи лучше!.. Вишь, по закону-то и нельзя... Мы было думали: какъ она—одна баба, и печку истопить, опять ребятишки, и коровъ подоить... Если ее таперича посадить, кто все это справлять будетъ?.. Такъ нельзя?.. Пойди, староста, скажи Николкѣ, что писарь не велитъ, нельзя, молъ, по закону!.. А мы было думали... Ахъ, грѣхи, грѣхи!..

Черезъ полъ-часа входитъ ко мнѣ самъ Николка съ узелкомъ въ рукѣ.

— Ужъ вы, А. Н., не тѣсните меня, сдѣлайте такую милость!.. Я вотъ и гостинчика вамъ—десяточекъ свѣженькихъ яичекъ принесъ.

— Помилуй, братецъ, да что-жъ тебѣ отъ меня надо?

— Прикажите ужъ мнѣ за бабу отсидѣть!.. Потому, ей никакъ нельзя отъ дому отлучиться... Да и то сказать,—опять кубыть моя тутъ вина, что я не соблюлъ ее, допустилъ до драки; вотъ я отсижу, а тогды ужъ съ ней самъ слажу — она у меня будетъ знать, какъ драться!.. Сдѣлайте такую божескую милость!..

Конечно, я такой божеской милости сдѣлать не могъ.

Выше я упомянулъ бѣгло, что крестьяне оттягиваютъ разсчеты съ помѣщиками до послѣдней возможности, въ чаяніи какой-либо грядущей „перемѣны“. Это-то чаяніе и есть единственная причина массы неисполняемыхъ обязательствъ отработки, массы нарушаемыхъ „зимнихъ“ условій подъ лѣтнюю работу. Лѣность, пьянство, нерадѣніе (оффиціальные мотивы) суть лишь второстепенныя причины этихъ неотработокъ; хозяйственный разсчетъ, присущій всякому мужику, — вотъ главная причина подобныхъ явленій. Беря зимой работу, огромное большинство, — почти всѣ подряжающіеся искренно намѣреваются исполнить взятыя на себя обязательства; но настаетъ рабочая пора—и вдругъ разносятся слухи, что „вышелъ указъ не работать на господъ“, или—„работать, но не дешевле 40 р. за десятину“, или—„черезъ мѣсяцъ, въ такой-то день, будетъ общее поравненье“... Ну, скажите, пожалуйста: какой-же разсчетливый хозяинъ будетъ затрачивать свой трудъ, во 1-хъ,—противно „указамъ“ (надо вспомнить, что говорилось выше объ уваженіи мужика ко всякаго рода законамъ и указамъ), а во 2-хъ,—съ явнымъ для себя убыткомъ, такъ сказать на вѣтеръ, потому что черезъ мѣсяцъ, все равно, выйдетъ „поравненье“, и работа должника не достанется ни барину, ни ему, работавшему, а какому-нибудь „чужому дядѣ“?.. Но проходитъ назначенный для объявки „перемѣны“ день, про-

носится слухъ, что „отложили ищо на годъ“,—и мужикъ безропотно идетъ съ поклономъ къ барину, проситъ подождать на немъ долгъ, опять искренно надѣясь все честно отработать. Конечно, не всѣ баре хотятъ или могутъ ждать—и отсюда масса исковъ съ громадными неустойками, какъ у мирового судьи, такъ и въ волостномъ судѣ. Господа судятся, впрочемъ, съ мужичьемъ чаще у мирового судьи, считая нѣсколько унизительнымъ для себя прибѣгать къ защитѣ волостного суда, гдѣ засѣдаютъ такіе же мужики, а, частью, не довѣряя этому суду, хотя совершенно напрасно. Если у помѣщика есть формальная росписка—а у кого ихъ теперь нѣтъ! — то дѣло его въ волостномъ судѣ такъ-же вѣрно, какъ и у „своего“ судьи: писарь—законникъ и чувствуетъ къ тому-же уваженіе къ сильному истцу, судьи боятся и закона, и писаря, и истца, и помѣщикъ всегда выигрываетъ формально обставленное дѣло. Лично помѣщики никогда почти не являются даже на судъ, а присылаютъ лишь довѣреннаго приказчика или старосту.

Закончу небольшой сценой съ натуры.

Дѣйствіе происходитъ не въ Кочетовскомъ судѣ, а въ одной изъ сосѣднихъ волостей. Истецъ—приказчикъ извѣстнаго въ округѣ своимъ кулачествомъ помѣщика П., отвѣтчикъ — безземельный и бездомовый бобыль, живущій по работникамъ; онъ служилъ у П., но ушелъ отъ него въ самую горячую пору, соблазнившись высокой поденной платой на степи и забывъ, что обязался передъ П. при наймѣ двухъ-рублевымъ штрафомъ за каждый прогульный день. Три рубля забрано было имъ впередъ, да сорокъ дней прогулу,—итого искъ въ 83 р., обставленный всѣми формальностями. Судьи присуждаютъ взыскать съ бобыля 83 руб. въ пользу П. По окончаніи дѣла, одинъ изъ присутствовавшихъ посторонникъ зрителей спросилъ судей:

— Къ чему вы присудили такъ много съ него? Вѣдь онъ во вѣкъ не расплатится,—съ него взять нечего...

— Хе, хе... А потому и осудили такъ: съ него, все едино, взять нечего, а барину,—какъ-ни-какъ,—почетъ!..

Н. А—ревъ.

ВЪ ПАНЦЫРѢ ВЕЛИКАНА

Романъ Ф. Анстн.

Съ англійскаго.

— „Теперь онъ чувствуетъ, что царскій санъ виситъ на немъ, какъ панцырь великана, надѣтый карликомъ".

Макбетъ.

I.

Заступникъ.

Въ самомъ центрѣ Сити, но отдѣленная отъ торговаго шума и суеты кольцомъ лавокъ и подъ сѣнью закопченой классической церкви, находится—или, вѣрнѣе сказать, находилась, такъ какъ ее недавно перевели большая школа св. Петра.

Входя въ массивныя старыя ворота, къ которымъ съ двухъ сторонъ тѣснятся лавки, вы попадали въ атмосферу схоластической тишины, царствующей въ большинствѣ училищъ во время классовъ, когда съ трудомъ вѣрится,—до того безмолвіе велико,—что внутри зданія собрано нѣсколько сотъ мальчиковъ.

Даже поднимаясь по лѣстницѣ, ведущей въ школу и проходя мимо классовъ, вы могли слышать только слабое жужжаніе, долетавшее до васъ сквозь многочисленныя двери,—пока наконецъ швейцаръ въ красной ливреѣ не выйдетъ изъ своей коморки и не позвонитъ въ большой колоколъ, возвѣщавшій, что дневной трудъ оконченъ.

Тогда нервные люди, случайно попавшіе въ длинный темный корридоръ, по обѣимъ сторонамъ котораго шли классы, испыты-

вали очень непріятное ощущеніе: имъ казалось, что какой-то разнузданный демонъ вырвался внезапно на волю. Взрыву обыкновенно предшествовалъ глухой ропотъ и шелестъ, длившійся нѣсколько минутъ послѣ того, какъ замолкнетъ звукъ колокола,— затѣмъ дверь за дверью раскрывались и толпы мальчишекъ съ дикими и радостными воплями вылетали изъ классовъ и опрометью бѣжали по лѣстницѣ.

Послѣ того, въ продолженіе получаса, школа представляла собой вавилонское столпотвореніе: крики, свистки, народныя пѣсни, драки и потасовки, и непрерывный топотъ ногъ. Все это длилось не очень долго, но затихало постепенно: сначала пѣсни и свистки становились все слабѣе и слабѣе, все одиночнѣе и явственнѣе, топотъ ногъ и перекликающіеся голоса мало-по-малу замирали, суматоха прекращалась и робкое безмолвіе водворялось снова, прерываемое лишь торопливыми шагами провинившихся школьниковъ, отправлявшихся въ карцеръ, медленной поступью расходившихся учителей и щетками старыхъ служанокъ, подметавшихъ полъ.

Какъ разъ такую сцену застаемъ мы въ тотъ моментъ, какъ начинается наша исторія. Толпа мальчишекъ съ блестящими, черными ранцами высыпала изъ воротъ и смѣшалась съ большимъ людскимъ потокомъ.

Въ центрѣ главнаго корридора, о которомъ я уже упоминалъ, находилась „Терція", большая, квадратная комната съ грязными, оштукатуренными и выкрашенными свѣтлой краской стѣнами, высокими окнами и небольшимъ, закапаннымъ чернилами, письменнымъ столомъ, окруженнымъ съ трехъ сторонъ рядами школьныхъ столовъ и лавокъ. Вдоль стѣнъ шли черныя доски исписанныя цифрами, и стояла большая четырехъугольная печь въ углу.

Единственное лицо, находившееся теперь въ этой комнатѣ, былъ Маркъ Ашбернъ, классный наставникъ, да и онъ готовился оставить ее, такъ какъ отъ спертаго воздуха и постояннаго напряженія, съ какимъ онъ удерживалъ весь день порядокъ въ классѣ, у него разболѣлась голова. Онъ хотѣлъ, прежде чѣмъ идти домой, просмотрѣть для развлеченія какой-нибудь журналъ или поболтать въ учительской комнатѣ.

Маркъ Ашбернъ былъ молодой человѣкъ,—моложе его, кажется, и не было среди учителей,—и рѣшительно самый изъ нихъ красивый. Онъ былъ высокъ и строенъ, съ черными волосами и краснорѣчивыми темными глазами, имѣвшими способность выражать гораздо больше того, что онъ чувствовалъ. Вотъ, напримѣръ, въ настоящую минуту сантиментальный наблюдатель не-

премѣнно прочиталъ бы во взглядѣ, какимъ онъ окинулъ опустѣвшую комнату, страстный протестъ души, сознающей свою геніальность, противъ жестокой судьбы, закинувшей его сюда, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ только соображалъ, чья это шляпа осталась на вѣшалкѣ у противуположной стѣны.

Но если Маркъ не былъ геніемъ, то въ его манерахъ было что-то обольстительное, какая-то пріятная самоувѣренность, тѣмъ болѣе похвальная, что до сихъ поръ его очень мало поощряли въ этомъ смыслѣ.

Онъ одѣвался хорошо, что производило извѣстное дѣйствіе на его классъ, такъ какъ школьники склонны критиковать небрежность въ костюмѣ своего начальства, хотя сами и не слишкомъ заботятся о томъ, какъ одѣты. Они считали его „страшнымъ щеголемъ", хотя онъ и не особенно щегольски одѣвался, а только любилъ, возвращаясь домой по Пикадилли, имѣть видъ человѣка, только-что разставшагося съ своимъ клубомъ и ничѣмъ особенно не занятымъ.

Онъ не былъ непопуляренъ между школьниками: ему было до нихъ столько же дѣла, сколько до прошлогодняго снѣга, но ему нравилась популярность, а благодаря своему безпечному добродушію, онъ безъ всякаго усилія достигалъ ея. Школьники уважали также его знанія и толковали о немъ между собой, какъ о человѣкѣ, „у котораго башка не сѣномъ набита", такъ какъ Маркъ умѣлъ при случаѣ щегольнуть ученостью, производившей сильное впечатлѣніе.

Въ этихъ случаяхъ онъ уклонялся отъ своего предмета и по всей вѣроятности зналъ, что его ученость не выдержитъ слишкомъ серьезной критики, но вѣдь за то и некому было серьезно критиковать его.

Любопытство, возбужденное въ немъ шляпой и пальто, висѣвшими на вѣшалкѣ въ то время, какъ онъ сидѣлъ за своимъ пюпитромъ, было удовлетворено: дверь, верхняя половина которой была стеклянная и защищена переплетомъ изъ толстой проволоки, —предосторожность, конечно, не лишняя въ данномъ случаѣ,— отворилась и показался маленькій мальчикъ, блѣдный и разстроенный, держа въ рукѣ длинную полосу синяго картона.

— Эге! Лангтонъ, — сказалъ Маркъ, завидя его: — такъ это вы не ушли домой? Въ чемъ дѣло?

— Ахъ! сэръ! — началъ жалобно мальчикъ: — я попалъ въ ужасную бѣду.

— Очень жаль,—замѣтилъ Маркъ:—въ чемъ же дѣло?

— Да я вовсе и не виноватъ,—отвѣчалъ тотъ.—Дѣло было

вотъ какъ. Я шелъ по корридору, какъ разъ противъ дверей стараго Джемми... т.-е. я хочу сказать м-ра Шельфорда, а дверь-то стояла раскрытой. А возлѣ какъ разъ стоялъ одинъ ученикъ; онъ гораздо старше и сильнѣе меня; онъ схватилъ меня за шиворотъ, втолкнулъ въ комнату и заперъ дверь на ключъ. А потомъ пришелъ м-ръ Шельфордъ, выдралъ меня за уши и сказалъ, что я это дѣлаю уже не въ первый разъ и что за это меня посадятъ въ карцеръ. И вотъ далъ мнѣ это и велѣлъ идти къ директору за подписью.

И мальчикъ протянулъ билетъ, на которомъ было написано дрожащимъ почеркомъ старика Шельфорда:

„Лангтонъ. 100 линеекъ за непростительную дерзость. Ж. Шельфордъ".

— Если я снесу это наверхъ, сэръ,—продолжалъ мальчикъ, дрожащими губами,—то мнѣ навѣрно достанется.

— Боюсь, что да, — согласился Маркъ: — но все же вамъ лучше поторопиться, потому что иначе они запрутъ карцеръ и тогда васъ еще строже накажутъ.

Марку въ сущности было жаль мальчика, хотя, какъ мы уже сказали, онъ не очень любилъ школьниковъ; но этотъ въ частности, круглолицый, тоненькій мальчикъ, съ честнымъ взглядомъ и нѣкоторой деликатностью въ голосѣ и манерахъ, заставлявшихъ думать, что у него есть мать или сестра, благовоспитанная женщина, былъ менѣе антипатиченъ Марку, нежели его сотоварищи. Но все же онъ не настолько сочувствовалъ мальчугану, чтобы догадаться, чего тому отъ него нужно.

Юный Лангтонъ повернулся-было, чтобы уходить, съ унылымъ видомъ, затѣмъ вдругъ вернулся назадъ и сказалъ:

— Пожалуйста, сэръ, заступитесь за меня. Я бы перенесъ наказаніе, еслибы въ чемъ провинился. Но я ни въ чемъ не виноватъ, а потому мнѣ обидно.

— Что же я могу сдѣлать?—спросилъ Маркъ.

— Замолвите за меня словечко м-ру Шельфорду. Онъ васъ послушаетъ и проститъ меня.

— Онъ, вѣроятно, уже ушелъ,—возразилъ Маркъ.

— Вы еще застанете его, если поторопитесь, — настаивалъ мальчикъ.

Маркъ былъ польщенъ этимъ довѣріемъ къ его краснорѣчію: ему нравилась также мысль разыграть роль защитника своего класса, а добродушіе, присущее ему, тоже побуждало его согласиться на просьбу мальчика.

— Хорошо, Лангтонъ, я попытаюсь. Сомнѣваюсь, чтобы изъ

этого что-нибудь вышло, но... вотъ что, молчите и держитесь въ сторонѣ... предоставьте мнѣ дѣйствовать.

Они вышли въ длинный корридоръ съ оштукатуренными стѣнами, цѣлымъ рядомъ дверей по обѣимъ сторонамъ и съ темнымъ сводчатымъ потолкомъ.

Маркъ остановился передъ дверью, ведущей въ классъ м-ра Шельфорда и вошелъ. М-ръ Шельфордъ, очевидно, готовился уходить, такъ какъ на головѣ у него была надѣта большая широкополая шляпа, сдвинутая на затылокъ, а вокругъ шеи онъ завертывалъ платокъ; но онъ вѣжливо снялъ шляпу, увидя Марка. То былъ маленькій старичекъ съ большимъ горбатымъ носомъ, краснымъ какъ кирпичъ, морщинистыми щеками, большимъ ртомъ съ тонкими губами, и маленькими, острыми сѣрыми глазками, которыми онъ поглядывалъ искоса, точно разсерженный попугай.

Лангтонъ отошелъ къ одному изъ отдаленныхъ столовъ и сѣлъ, тревожно ожидая рѣшенія своей участи.

— Въ чемъ дѣло, Ашбернъ? — спросилъ достопочтенный Джемсъ Шельфордъ,—чѣмъ могу служить вамъ?

— Вотъ что,—началъ Маркъ,—я...

— Что, что такое?—перебилъ старшій учитель.— Погодите... опять тутъ вертится этотъ дерзкій мальчишка! Я думалъ, что уже раздѣлался съ нимъ. Слушайте-ка, сэръ, вѣдь я отправилъ васъ къ директору на расправу?

— Точно такъ, сэръ, — отвѣчалъ Лангтонъ необыкновенно почтительно.

— Ну, такъ какимъ же образомъ вы тутъ, сэръ, а не на расправѣ? извольте отвѣчать мнѣ, какимъ образомъ вы еще не наказаны, какъ бы слѣдовало?

— Вотъ что,—вступился Маркъ,—онъ одинъ изъ моихъ учениковъ...

— Мнѣ все-равно, чей онъ ученикъ, — сердито перебилъ тотъ:—онъ дерзкій мальчишка, сэръ!

— Не думаю.

— Знаете ли, что онъ сдѣлалъ? Вбѣжалъ съ крикомъ и гиканьемъ въ мою комнату, точно это его дѣтская. И онъ постоянно такъ дѣлаетъ.

— Я никогда этого не дѣлалъ раньше,—протестовалъ Лангтонъ,—и въ этотъ разъ это случилось не по моей винѣ.

— Не по вашей винѣ! Развѣ у васъ пляска св. Витта? Не слыхалъ, чтобы здѣсь водились тарантулы. Отчего вы не врываетесь въ комнату директора? вотъ онъ дастъ вамъ урокъ тан-

цевъ!—ворчалъ старый джентльменъ, усѣвшись на мѣсто и напоминая собой Понча.

— Нѣтъ, но выслушайте меня,—вмѣшался Маркъ,—увѣряю васъ, что этотъ мальчикъ...

— Знаю, что вы мнѣ скажете, что онъ образцовый ученикъ, конечно! Удивительно, какая пропасть образцовыхъ учениковъ врываются ко мнѣ по какимъ-то непреодолимымъ побужденіямъ послѣ классовъ. Я хочу положить этому конецъ, благо одинъ изъ нихъ попался. Вы ихъ не знаете такъ хорошо, какъ я, сэръ; они всѣ нахалы и лгуны, только одни умнѣе другихъ, вотъ и все.

— Боюсь, что вы правы,—замѣтилъ Маркъ, которому не хотѣлось, чтобы его считали неопытнымъ.

— Да, жестокая вещь имѣть дѣло съ мальчишками, сэръ, жестокая и неблагодарная. Если мнѣ случится когда-нибудь поощрять мальчика въ моемъ классѣ, который, по моему мнѣнію, старателенъ и прилеженъ, то, какъ вы думаете, чѣмъ онъ отблагодаритъ меня? Сейчасъ же сыграетъ со мной какую-нибудь скверную штуку, только затѣмъ, чтобы доказать другимъ, что онъ ко мнѣ не поддѣлывается. И тогда всѣ они принимаются оскорблять меня... да что, этотъ самый мальчикъ сколько разъ кричалъ мнѣ сквозь замочную скважину: „Улитка“.

— Я думаю, что вы ошибаетесь,—успокоивалъ Маркъ.

— Вы думаете? Хорошо, я спрошу у него самаго. Слушайте: сколько разъ вы кричали мнѣ „Улитка“, или другіе ругательные эпитеты, сквозь дверь, сэръ?

И онъ наклонилъ ухо, чтобы выслушать отвѣтъ, не спуская глазъ съ мальчика.

— Я никогда не кричалъ „Улитка“, только одинъ разъ я закричалъ „Креветка“. Это было ужъ очень давно.

Маркъ мысленно пожалъ плечами, не безъ презрѣнія къ такой несвоевременной откровенности.

— Ого!—произнесъ м-ръ Шельфордъ, беря мальчика потихонько за ухо.—Креветка? эге! Креветка, слышите вы это, Ашбернъ? Быть можетъ, вы будете такъ добры, объясните мнѣ, почему вы зовете меня „Креветкой“?

Для человѣка, который видѣлъ его красное лицо и вытаращенные глаза, причина была ясна, но, должно быть, Лангтонъ сообразилъ, что для откровенности есть границы и что на этотъ вопросъ нельзя отвѣтить, не подумавши.

— Потому что... потому что другіе васъ такъ называли,—отвѣчалъ онъ.

— Ахъ! а почему же другіе меня называютъ „Креветка“?

— Они мнѣ не объясняли этого, — дипломатически заявилъ мальчикъ.

М-ръ Шельфордъ выпустилъ ухо мальчика, и тотъ благоразумно удалился на прежнее мѣсто, подальше отъ учителей.

— Да, Ашбернъ,—жаловался старый Джемми,—вотъ какъ они меня величаютъ, всѣ какъ одинъ человѣкъ: „Креветка“, да „Улитка“. Они кричатъ мнѣ это вслѣдъ, когда я ухожу домой. И это я терплю уже тридцать лѣтъ.

— Негодяи мальчишки!—отвѣчалъ Маркъ, какъ будто бы эти прозвища были для него новостью и учителя ничего о нихъ не знали.

— Да, да; на дняхъ, когда дежурный отперъ мою каѳедру, тамъ оказался большой, нахальный котенокъ, пялившій на меня свои глаза. Должно быть, онъ самъ себя заперъ туда, чтобы досадить мнѣ.

Онъ не сказалъ, что послалъ купить молока для незваннаго гостя и держалъ его на колѣняхъ въ продолженіе всего класса, послѣ чего ласково выпустилъ на свободу! А между тѣмъ, дѣло было именно такъ, потому что не смотря на долгіе годы, проведенные среди мальчишекъ, сердце его не совсѣмъ очерствѣло, хотя этому мало кто вѣрилъ.

Да, сэръ, эта жизнь тяжелая! тяжелая жизнь, сэръ!—продолжалъ онъ спокойнѣе.—Слушать долгіе годы сряду, какъ полчища мальчишекъ всѣ спотыкаются на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ и перевираютъ однѣ и тѣ же фразы. Мнѣ уже это начинаетъ сильно надоѣдать; я вѣдь уже теперь старикъ. „Occidit miseros crambe“... вы помните какъ дальше?

— Да, да, совершенно вѣрно...—отвѣчалъ Маркъ, хотя онъ и не помнилъ откуда и что это за цитата.

— Кстати о стихахъ,—продолжалъ старикъ,—я слышалъ, что нынѣшній годъ мы будемъ имѣть удовольствіе познакомиться съ однимъ изъ вашихъ произведеній на вечерѣ спичей. Вѣрно это?

— Я не слыхалъ, что это дѣло слажено, – отвѣчалъ Маркъ, краснѣя отъ удовольствія.—Я написалъ маленькую вещицу, такъ, родъ аллегорической святочной пьесы, знаете... masque... какъ ихъ называютъ, и представилъ директору и комитету спичей, но до сихъ поръ еще не получалъ опредѣленнаго отвѣта.

— О! быть можетъ, я слишкомъ поторопился, – замѣтилъ м-ръ Шельфордъ:—быть можетъ, я слишкомъ поторопился.

— Пожалуйста, сообщите мнѣ, что вы объ этомъ слышали?—спросилъ Маркъ, сильно заинтересованный.

— Я слышалъ, что объ этомъ разсуждали сегодня за зав-

тракомъ. Васъ, кажется, не было въ комнатѣ, но, полагаю, что они должны были рѣшить этотъ вопросъ сегодня послѣ полудня.

— О, тогда, быть можетъ, онъ уже рѣшенъ,—сказалъ Маркъ: —быть можетъ, я найду записку на своемъ столѣ. Извините... я... я пойду, погляжу.

И онъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты, совсѣмъ позабывъ о цѣли своего прихода; его занимало въ настоящую минуту нѣчто поважнѣе вопроса, будетъ или нѣтъ наказанъ мальчикъ, вина котораго находится подъ сомнѣніемъ, и ему хотѣлось поскорѣе узнать о результатѣ.

Маркъ всегда желалъ какъ-нибудь прославиться и въ послѣдніе годы ему показалось, что литературная слава всего для него доступнѣе. Онъ уже дѣлалъ многія честолюбивыя попытки въ этомъ родѣ, но даже тѣ лавры, какіе ему могло доставить исполненіе его пьесы мальчиками-актерами на святкахъ, казались желанными. И хотя онъ написалъ и представилъ комитету свою пьесу довольно самоувѣренно и беззаботно, но по мѣрѣ того какъ рѣшительная минута приближалась, онъ дѣлался все тревожнѣе.

То были пустяки, конечно, но все же они могли возвысить его во мнѣніи учителей и директора, а Маркъ нигдѣ не любилъ быть нулемъ. Поэтому неудивительно, если просьба Лангтона улетучилась изъ его памяти, когда онъ спѣшилъ обратно въ классную комнату, оставивъ несчастнаго мальчика въ лапахъ его мучителя.

Старикъ снова надѣлъ широкополую шляпу, когда Маркъ вышелъ изъ комнаты, и уставился на своего плѣнника.

— Ну-съ, если не желаете, чтобы васъ здѣсь заперли на всю ночь, то лучше уходите,—замѣтилъ онъ.

— Въ карцеръ, сэръ?—пролепеталъ мальчикъ.

— Вы, полагаю, знаете дорогу? Если же нѣтъ, то я могу вамъ ее показать,—вѣжливо произнесъ старый джентльменъ.

— Но право же,—молилъ Лангтонъ,—я ничего не сдѣлалъ. Меня втолкнули.

— Кто втолкнулъ васъ? Ну-съ, довольно, я вижу, что вы собираетесь лгать. Кто васъ втолкнулъ?

Было довольно вѣроятно, что Лангтонъ готовился лгать,—кодексъ его понятій дозволялъ это,—но что-то ему, однако, помѣшало.

— Я знаю этого мальчика только по имени,—сказалъ онъ наконецъ.

— Прекрасно; какъ его зовутъ по имени? Я его пошлю въ карцеръ вмѣсто васъ.

— Я не могу вамъ этого сказать,—прошепталъ мальчикъ.

— А почему, нахалъ вы эдакій?—вы вѣдь только что сказали, что знаете.

— Потому что это было бы неблагородно,- смѣло отвѣтилъ Лангтонъ.

— Ага, неблагородно?—повторилъ старый Джемми.—Неблагородно, да! Такъ, такъ, я старъ становлюсь и совсѣмъ забылъ про это. Можетъ быть, вы и правы. А оскорблять старика, это благородно по вашему? Итакъ вы хотите, чтобы я васъ освободилъ отъ наказанія?

— Да, потому что я не виноватъ.

— А если я это сдѣлаю, то вы завтра влетите сюда, крича мнѣ „Улитка“... нѣтъ, я забылъ „Креветка“—это, кажется, ваше любимое прозвище?

— Нѣтъ, я этого не сдѣлаю,—отвѣчалъ мальчикъ.

— Ладно, повѣрю вамъ на слово, хоть и не увѣренъ, что вы того стоите.

И онъ разорвалъ роковую бумажку.

— Бѣгите домой чай пить и не надоѣдайте мнѣ больше.

Лангтонъ убѣжалъ, не вѣря своему счастію, а старый м-ръ Шельфордъ заперъ столъ, взялъ большой дождевой зонтикъ съ крючковатой ручкой, который получилъ странное сходство съ своимъ хозяиномъ, и ушелъ.

— Вотъ милый мальчикъ,—бормоталъ онъ, — не лгунъ, кажется? Но, впрочемъ, кто знаетъ: онъ, можетъ быть, все время водилъ меня за носъ. Онъ способенъ, пожалуй, разсказать другимъ, какъ онъ перехитрилъ „стараго Джемми“. Но мнѣ кажется, что онъ этого не сдѣлаетъ. Мнѣ кажется, что я могу отличить лгуна, при моемъ-то опытѣ.

Тѣмъ временемъ Маркъ вернулся въ свой классъ. Одинъ изъ привратниковъ догналъ его и подалъ записку, которую онъ поспѣшно распечаталъ, но увы! разочаровался. Записка была не отъ комитета, а отъ его знакомаго Гольройда.

„Любезный Ашбернъ,—стояло въ запискѣ,—не забудьте своего обѣщанія заглянуть ко мнѣ, возвращаясь домой. Вы знаете, что это будетъ наше послѣднее свиданіе, а у меня есть до васъ просьба, которую я выскажу, прежде чѣмъ уѣхати. Я дома до пяти часовъ, такъ какъ буду укладываться“.

„Я сейчасъ отправлюсь къ нему, подумалъ Маркъ, надо проститься съ нимъ, а возвращаться для этого нарочно послѣ обѣда слишкомъ скучно“.

Пока онъ читалъ записку, мимо него пробѣжалъ юный Ланг-

тонъ, держа въ рукахъ ранецъ и съ веселымъ и благодарнымъ лицомъ.

— Извините, сэръ,—сказалъ онъ, кланяясь,—ужасно вамъ благодаренъ за то, что заступились за меня передъ м-ромъ Шельфордомъ: еслибы не вы, онъ ни за что не простилъ бы меня.

— Ага!—проговорилъ Маркъ, вдругъ вспоминая о своей милосердной миссіи:—конечно, конечно. Такъ онъ, простилъ васъ? Ну, очень радъ, очень радъ, что могъ быть вамъ полезенъ, Лангтонъ. Не легко было отдѣлаться, не такъ ли? Ну, прощайте, бѣгите домой и потверже выучите своего Непота, чтобы лучше, чѣмъ сегодня, отвѣтить мнѣ урокъ завтра.

Маркъ, какъ мы видѣли, не былъ особенно жаркимъ адвокатомъ мальчика, но такъ какъ Лангтонъ, очевидно, думалъ противное, то Маркъ былъ послѣднимъ человѣкомъ, который бы сталъ выводить его изъ заблужденія. Благодарность всегда пріятна, хотя бы была и не заслуженная.

— Клянусь Юпитеромъ,—сказалъ онъ самъ себѣ не то пристыженный, не то разсмѣшенный:—я совсѣмъ позабылъ про этого мальчишку, бросилъ его на произволъ стараго рака. Но конецъ дѣло вѣнчаетъ!

Въ то время какъ онъ стоялъ у рѣшетки подъѣзда, мимо медленно прошелъ самъ старый ракъ, съ согнутой спиной и безжизненными глазами, разсѣянно устремленными въ пространство. Быть можетъ, онъ думалъ въ эту минуту, что жизнь могла бы быть для него веселѣе, еслибы его жена Мэри была жива и у него были сынки въ родѣ Лангтона, которые встрѣчали бы его послѣ утомительнаго дня, тогда какъ теперь онъ долженъ возвращаться въ одинокій, мрачный домикъ, который онъ занималъ въ качествѣ члена капитула ветхой церкви, находившейся рядомъ.

Но каковы бы ни были его мысли, а онъ былъ слишкомъ ими поглощенъ, чтобы замѣтить Марка, проводившаго его глазами въ то время, какъ онъ медленно спускался съ каменныхъ ступенекъ, ведшихъ на мостовую.

„Неужели и я буду похожъ со временемъ на него?—подумалъ Маркъ. Если я пробуду здѣсь всю свою жизнь, то чего добраго и самъ стану такимъ же. Ахъ! вотъ идетъ Джильбертсонъ... я отъ него узнаю что-нибудь на счетъ моей пьесы“.

Джильбертсонъ былъ тоже учитель и членъ комитета, распоряжающагося святочными увеселеніями. Онъ былъ нервный, суетливый человѣкъ и поздоровался съ Маркомъ съ явнымъ смущеніемъ.

— Ну что, Джильбертсонъ,—произнесъ Маркъ какъ можно развязнѣе,—ваша программа уже готова.

— Гмъ... да, почти готова... гмъ! то есть, не совсѣмъ еще.

— А что же мое маленькое произведеніе?

— Ахъ, да! конечно, ваше маленькое произведеніе. Намъ оно всѣмъ очень понравилось, да... очень понравилось... въ особенности директоръ былъ отъ него въ восторгѣ, увѣряю васъ, мой дорогой Ашбернъ, просто въ восторгѣ.

— Очень радъ это слышать,—отвѣчалъ Маркъ съ внезапной тревогой,—такъ какъ же... вы, значитъ, рѣшили принять мою пьесу?

— Видите ли,—уставился Джильбертсонъ въ мостовую,—дѣло въ томъ, что директоръ подумалъ, и многіе изъ насъ тоже подумали, что пьеса, которую будутъ разыгрывать мальчики, должна быть болѣе... какъ бы это сказать .. не такъ, какъ бы это выразить... болѣе, какъ бы натуральна, знаете... но вы понимаете, что я хочу сказать, не правда ли?

— Несомнѣнно, что тогда это была бы капитальная пьеса,— отвѣчалъ Маркъ, стараясь подавить досаду,—но я легко могъ бы измѣнить это, Джильбертсонъ, если хотите.

— Нѣтъ, нѣтъ,—перебилъ тотъ поспѣшно,—не дѣлайте этого, вы ее испортите; намъ это было бы очень непріятно и... кромѣ того, намъ не хотѣлось бы понапрасну затруднять васъ. Потому что директоръ находитъ, что ваша пьеса немного длинна и недостаточно легка, знаете, и не вполнѣ отвѣчаетъ нашимъ требованіямъ, но мы всѣ очень восхищались ей.

— Но находите ее тѣмъ не менѣе негодной? вы это хотите сказать?

— Какъ вамъ сказать... пока ничто еще не рѣшено. Мы напишемъ вамъ письмо... письмо объ этомъ. Прощайте, прощайте! спѣшу къ поѣзду въ Людгетъ-Гиллъ.

И онъ торопливо убѣжалъ, радуясь, что отдѣлался отъ злополучнаго автора, такъ какъ вовсе не разсчитывалъ, что ему придется лично сообщать о томъ, что пьеса отвергнута.

Маркъ постоялъ, глядя ему вслѣдъ съ горькимъ чувствомъ. Итакъ, и тутъ неудача. Онъ написалъ такія вещи, какія, по его мнѣнію, должны были прославить его, если только будутъ обнародованы; и тѣмъ не менѣе оказывается, что его считаютъ недостойнымъ занять святочную публику ученическаго театра.

Маркъ уже нѣсколько лѣтъ сряду гонялся за литературной извѣстностью, которой многіе всю жизнь тщетно добиваются, пока не сойдутъ въ могилу. Даже въ Кембриджѣ, куда онъ перешелъ изъ этой самой школы св. Петра съ ученой степенью и надеждами на блестящую карьеру, онъ часто измѣнялъ своимъ серьезнымъ занятіямъ, чтобы участвовать въ тѣхъ эфемерныхъ студен-

ческихъ журналахъ, сатирическое направленіе которыхъ имѣетъ даръ оглушать многихъ, какъ полѣномъ.

Нѣкоторое время легкіе тріумфы въ этомъ направленіи сдѣлали изъ него второго Пенденниса среди его товарищей по коллегіи; затѣмъ звѣзда его, подобно звѣздѣ Пенденниса, закатилась и неудача послѣдовала за неудачей. Его экзамены оказались далеко не блестящими и въ концѣ концовъ онъ вынужденъ былъ принять третьеразрядное мѣсто учителя въ той самой школѣ св. Петра, гдѣ учился.

Но эти неудачи только подстрекали его честолюбіе. Онъ покажетъ свѣту, что онъ не дюжинный человѣкъ. Время отъ времени онъ посылалъ статьи въ лондонскіе журналы, такъ что, наконецъ, его произведенія получили нѣкоторое обращеніе... въ рукописномъ видѣ, переходя изъ одной редакціи въ другую.

Время отъ времени какая-нибудь изъ его статей появлялась и въ печати, и это поддерживало въ немъ болѣзнь, которая въ другихъ проходитъ съ теченіемъ времени. Онъ писалъ себѣ и писалъ, излагая на бумагѣ рѣшительно все, что приходило ему въ голову и придавая своимъ идеямъ самую разнообразную литературную форму, отъ трагедіи, писанной бѣлыми стихами, до сонета и отъ трехтомнаго романа до небольшого газетнаго entre-filet, все съ одинаковымъ рвеніемъ и удовольствіемъ, и съ весьма малымъ успѣхомъ.

Но онъ непоколебимо вѣрилъ въ себя. Пока онъ боролся съ толстой стѣной предубѣжденія, которую приходится брать приступомъ каждому новобранцу литературной арміи, но нисколько не сомнѣвался въ томъ, что возьметъ ее.

Но разочарованіе, доставленное ему комитетомъ, больно поразило его, оно показалось ему предвозвѣстникомъ болѣе крупнаго несчастія. Однако, Маркъ былъ сангвиническаго темперамента и ему не стоило большихъ трудовъ снова забраться на свой пьедесталъ.

— Въ сущности, не велика бѣда,—подумалъ онъ.—Если мой новый романъ „Трезвонъ“ будетъ напечатанъ, то объ остальномъ мнѣ горя мало. Пойду теперь къ Гольройду.

II.

Послѣдняя прогулка.

Свернувъ изъ Чансери-Ленъ подъ древнія ворота, Маркъ вошелъ въ одно изъ тѣхъ старинныхъ живописныхъ зданій изъ краснаго кирпича, завѣщанныхъ намъ восемнадцатымъ столѣтіемъ

и дни которыхъ, съ ихъ окнами въ мелкихъ пыльныхъ переплетахъ, башенками по угламъ и другими архитектурными прихотями и неудобствами, уже сочтены. Скоро, скоро рѣзкія очертанія ихъ шпицовъ и трубъ не будутъ больше вырѣзываться на фонѣ неба. Но найдутся непрактическіе люди, которые пожалѣютъ, хотя и не живутъ въ нихъ (а, можетъ быть, и потому самому) объ ихъ разрушеніи.

Газъ слѣпо мигалъ на винтовой лѣстницѣ, помѣщавшейся въ одной изъ башенъ дома. Маркъ проходилъ мимо дверей, на которыхъ прибиты были имена жильцовъ, и черныя, блестящія доски съ обозначеніемъ пути, пока не остановился передъ одной дверью второго этажа, гдѣ на грязной дощечкѣ, въ числѣ другихъ именъ стояло: „М-ръ Винцентъ Гольройдъ".

Если Марка до сихъ поръ преслѣдовала неудача, то и Винцентъ Гольройдъ не могъ похвалиться удачей. Онъ, конечно, больше отличился въ коллегіи, но получивъ степень и поступивъ въ ряды адвокатовъ, три года провелъ въ вынужденномъ бездѣйствіи, и хотя это обстоятельство вовсе не безпримѣрно въ подобной карьерѣ, но здѣсь оно сопровождалось непріятной вѣроятностью на его продолжительность. Сухая сдержанная манера, происходившая отъ скрытой застѣнчивости, мѣшала Гольройду сближаться съ людьми, которые могли быть ему полезны, и хотя онъ сознавалъ это, но не могъ побѣдить себя. Онъ былъ одинокій человѣкъ и полюбилъ, наконецъ, одиночество. Изъ тѣхъ интересныхъ качествъ, которыя, по общему мнѣнію, считаются необходимыми для адвоката, онъ не располагалъ ни однимъ, и будучи отъ природы даровитѣе многихъ другихъ, рѣшительно не находилъ случая проявить свои дарованія. Поэтому, когда ему пришлось разстаться съ Англіей на неопредѣленное время, онъ могъ безъ сожалѣнія бросить свою карьеру, обставленную далеко не блестящимъ образомъ.

Маркъ нашелъ его укладывающимъ небольшую библіотеку и другіе пожитки въ тѣсной, меблированной комнатѣ, которую онъ нанималъ. Окна ея выходили на Чансери-Ленъ, а стѣны выкрашены свѣтло-зеленой краской, которая вмѣстѣ съ кожаной обивкой мебели считается принадлежностью адвокатской профессіи.

Лицо Гольройда смуглое и некрасивое, съ крупными чертами, пріятно оживилось, когда онъ пошелъ на встрѣчу Марку.

— Я радъ, что вы пришли,—сказалъ онъ.—Мнѣ хотѣлось прогуляться съ вами въ послѣдній разъ. Я буду готовъ черезъ минуту. Я только уложу мои юридическія книги.

— Неужели вы хотите взять ихъ съ собою на Цейлонъ?

— Нѣтъ, не теперь. Брандонъ—мой квартирный хозяинъ,

знаете—согласенъ приберечь ихъ здѣсь къ моему возвращенію. Я только-что говорилъ съ нимъ. Идемъ, я готовъ.

Они прошли черезъ мрачную, освѣщенную газомъ комнатку клерка, и Гольройдъ остановился, чтобы проститься съ клеркомъ, кроткимъ, блѣднымъ человѣкомъ, красиво переписывавшимъ рѣшеніе въ концѣ одного изъ дѣлъ.

— Прощайте, Тукеръ,—сказалъ онъ.—Мы съ вами долго не увидимся.

— Прощайте, сэръ. Очень жалѣю, что разстаюсь съ вами. Желаю вамъ пріятнаго пути, сэръ, и всего хорошаго на мѣстѣ; чтобы вамъ тамъ было лучше, чѣмъ здѣсь, сэръ.

Клеркъ говорилъ съ странной смѣсью покровительства и уваженія: уваженіе было чувство, съ какимъ онъ привыкъ относиться къ своему принципалу, ученому юристу, а покровительство вызывалось сострадательнымъ презрѣніемъ къ молодому человѣку, не съумѣвшему пробить себѣ дорогу въ свѣтѣ.

— Этотъ Гольройдъ никогда не сдѣлаетъ карьеры въ адвокатурѣ,—говаривалъ онъ знакомымъ клеркамъ,—у него нѣтъ ловкости, нѣтъ пріятнаго обхожденія и нѣтъ связей. Не понимаю даже, зачѣмъ онъ сунулся въ адвокатуру!

Гольройду нужно было распорядиться на счетъ того, куда адресовать бумаги и письма, которыя могутъ придти въ его отсутствіе, и кроткій клеркъ выслушалъ ихъ съ такой серьезностью, точно и не думалъ все время про себя: — стоитъ толковать о такихъ пустякахъ.

Затѣмъ Гольройдъ покинулъ свою комнату и вмѣстѣ съ Маркомъ спустился по винтовой лѣстницѣ, прошелъ подъ колоннадой палаты вице-канцлера, гдѣ у запертыхъ дверей нѣсколько клерковъ и репортеровъ переписывали списокъ дѣлъ, назначенныхъ для разбирательства на слѣдующій день.

Они прошли черезъ площадь Линкольнъ-Инна и направились къ Пикадилли и Гайдъ-Парку. Погода стояла совсѣмъ не ноябрьская: небо было голубое, а воздухъ лишь настолько свѣжъ, чтобы пріятно напоминать, что на дворѣ глубокая осень.

— Да,—сказалъ Гольройдъ печально,—мы съ вами теперь долго не будемъ гулять вмѣстѣ.

— Вѣроятно,—отвѣчалъ Маркъ съ сожалѣніемъ, звучавшимъ нѣсколько формально, такъ какъ предстоящая разлука его не особенно печалила.

Гольройдъ всегда больше любилъ Марка, чѣмъ Маркъ Гольройда; дружба послѣдняго была для Марка скорѣе дѣломъ случая, нежели личнаго выбора. Они вмѣстѣ квартировали въ Кембриджѣ

и потомъ жили на одной лѣстницѣ въ коллегіи и, благодаря этому, почти ежедневно видѣлись, а это въ свою очередь установило нѣкоторую пріязнь, которая, однако, не всегда бываетъ настолько сильна, чтобы выдержать переселеніе въ другое мѣсто.

Гольройдъ старался, чтобы она пережила ихъ учебные годы, такъ какъ страннымъ образомъ любилъ Марка, не смотря на то, что довольно ясно понималъ его характеръ. Марку удавалось возбуждать пріязнь къ себѣ въ другихъ людяхъ, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, и сдержанный, скрытный Гольройдъ любилъ его больше, чѣмъ даже позволялъ себѣ это высказывать.

Маркъ, съ своей стороны, начиналъ ощущать постоянно возраставшее стѣсненіе въ обществѣ пріятеля, который былъ такъ непріятно проницателенъ и подмѣчалъ всѣ его слабыя стороны и въ которомъ всегда чувствовалъ нѣкоторое передъ собой превосходство, раздражавшее его тщеславіе.

Безпечный тонъ Марка больно задѣлъ Гольройда, который надѣялся на болѣе теплый отвѣтъ, и они молча продолжали путь, пока не вошли въ Гайдъ-Паркъ и не перешли черезъ Ротенъ-Роу, когда Маркъ сказалъ:

— Кстати, Винцентъ, вы, кажется, хотѣли о чемъ-то со мною переговорить?

— Я хотѣлъ попросить васъ объ одномъ одолженіи,—отвѣчалъ Гольройдъ: – это не будетъ для васъ особенно затруднительно.

— О! въ такомъ случаѣ, если я могу это сдѣлать, то конечно... но что же это такое?

— Вотъ что, дѣло въ томъ, что хотя я никому ни слова еще не говорилъ объ этомъ... я написалъ книгу.

— Не бѣда, старина,—замѣтилъ Маркъ съ шутливымъ смѣхомъ, такъ какъ это признаніе, а вѣрнѣе, нѣкоторое замѣшательство, съ какимъ оно было сдѣлано, какъ будто приравнивало къ нему Гольройда.—Многіе до васъ писали книги, и никто отъ того хуже о нихъ не думаетъ, лишь бы только они ихъ не печатали. Это юридическое сочиненіе?

— Не совсѣмъ; это—романъ.

— Романъ!—вскричалъ Маркъ,—вы написали романъ?

— Да, я написалъ романъ. Я всегда былъ мечтатель и меня забавляло передавать свои мечты бумагѣ. Мнѣ не мѣшали.

— Однако, ваша профессія?

— Она мнѣ не давалась въ руки,—отвѣтилъ Гольройдъ, съ меланхолической гримасой.—Я приходилъ обыкновенно въ палаты въ десять часовъ утра и уходилъ въ шесть, проводя цѣлый день въ записываньѣ отчетовъ и протоколовъ, но никто изъ повѣ-

ренныхъ не замѣчалъ моего прилежанія. Тогда я сталъ ходить въ судъ и весьма старательно записывалъ всѣ рѣшенія, но мнѣ ни разу не удалось быть полезнымъ суду, въ качествѣ amicus curiae, такъ какъ оба вице-предсѣдатели, повидимому, отлично обходились безъ моей помощи. Тогда мнѣ все это надоѣло и пришло въ голову написать эту книгу и я не успокоился, пока этого не сдѣлалъ. Теперь она написана и я опять одинокъ.

— И вы желаете, чтобы я просмотрѣлъ и проредактировалъ ее.

— Не совсѣмъ такъ; пускай остается какъ есть. Я хочу попросить васъ вотъ о чемъ: кромѣ васъ, мнѣ не хотѣлось бы обращаться ни къ кому съ этой просьбой. Я желалъ бы, чтобы мою книгу напечатали. Я уѣзжаю изъ Англіи и по всей вѣроятности у меня будутъ полны руки другимъ дѣломъ. Я бы желалъ, чтобы вы попытались найти издателя. Васъ это не очень затруднитъ?

— Нисколько; весь трудъ будетъ заключаться только въ томъ, чтобы пересылать рукопись изъ одной редакціи въ другую.

— Я, конечно, не разсчитываю на то, что вамъ удастся увидѣть ее въ печати; но еслибы, паче чаянія, рукопись была принята, то я предоставляю вполнѣ на ваше усмотрѣніе всѣ условія. Вы опытны въ этихъ дѣлахъ, а я нѣтъ, и къ тому же буду далеко.

— Я сдѣлаю все, что́ могу,—отвѣчалъ Маркъ.—Что это за книга?

— Я уже сказалъ, что это романъ. Право не знаю, какъ описать вамъ подробнѣе: это...

— О, не трудитесь,—перебилъ Маркъ,—я самъ прочту. Какое заглавіе вы ему дали?

— „Волшебныя чары“,—отвѣчалъ Гольройдъ, неохотно открывая то, что́ было такъ долго его тайной.

— Это не свѣтскій романъ, я полагаю?

— Нѣтъ. Я мало бываю въ свѣтѣ.

— Напрасно; многіе были бы весьма довольны познакомиться съ вами.

Но что-то въ тонѣ Марка говорило, что онъ самъ не увѣренъ въ томъ, что́ говоритъ.

— Неужели? Не думаю. Люди вообще добры, но они рады бываютъ видѣть только того, кто умѣетъ позабавить ихъ или заинтересовать, и это вполнѣ натурально. Я не могу похвастаться тѣмъ, что очень занимателенъ или интересенъ; во всякомъ случаѣ теперь поздно объ этомъ сожалѣть.

— Вы не собираетесь, однако, жить пустынникомъ на Цейлонѣ?

— Не знаю. Плантація моего отца находится въ довольно пустынной мѣстности острова. Не думаю, чтобы онъ былъ очень коротокъ съ сосѣдними плантаторами, а когда я уѣзжалъ оттуда ребенкомъ, у меня было еще меньше друзей, чѣмъ здѣсь. Но у меня тамъ будетъ пропасть занятій, пока я ознакомлюсь съ дѣломъ, какъ отецъ, повидимому, желаетъ.

— Онъ прежде не располагалъ имѣть васъ при себѣ?

— Онъ сначала желалъ, чтобы я занялся адвокатурой въ Коломбо, но это было вскорѣ послѣ того какъ я кончилъ курсъ, и тогда я предпочелъ попытать счастія въ Англіи. Я вѣдь второй сынъ, и пока былъ живъ мой старшій братъ Джонъ, меня предоставляли на произволъ судьбы. Вы знаете, что я уже разъ ѣздилъ въ Коломбо, но не могъ поладить съ отцомъ. Теперь же онъ боленъ, а бѣдный Джонъ умеръ отъ дисентеріи и онъ—одинъ, а такъ какъ у меня тутъ нѣтъ никакой практики, то мнѣ неловко отказаться пріѣхать къ нему. Къ тому же меня ничто здѣсь не удерживаетъ.

Они шли черезъ Ротенъ-Роу, когда Гольройдъ говорилъ это. Вечеръ уже почти наступилъ; небо стало свѣтло-зеленое; изъ южнаго Кенсингтона донесся звонъ колокола, призывавшаго къ вечернѣ.

— Не напоминаетъ вамъ этотъ колоколъ кембриджскія времена? — спросилъ Маркъ.—Мнѣ представляется будто мы идемъ послѣ рѣчной гонки и это звонитъ колоколъ нашей церкви.

— Я бы желалъ, чтобы это было такъ,—отвѣчалъ Гольройдъ со вздохомъ:—въ то время хорошо жилось, и оно никогда не воротится.

— Вы въ очень уныломъ настроеніи духа для человѣка, возвращающагося на родину.

— Ахъ! я, видите ли, не чувствую, чтобы это была моя родина. Да и меня никто тамъ не знаетъ, за исключеніемъ моего бѣднаго старика отца; мы тамъ почти какъ иностранцы. Я оставляю здѣсь тѣхъ немногихъ людей, которые мнѣ дороги.

— О! все навѣрное устроится,—разсуждалъ Маркъ съ тѣмъ оптимизмомъ, съ какимъ мы относимся къ чужой будущности.— Вы навѣрное разбогатѣете и скоро станете или богатымъ плантаторомъ, или выборнымъ судьей. Тамъ всякій долженъ составить карьеру. И друзей вы тамъ легче пріобрѣтете, нежели здѣсь.

— Я бы желалъ сохранить тѣхъ, которые у меня уже есть, —отвѣчалъ Гольройдъ,—но, очевидно, надо покориться судьбѣ.

Они дошли до конца Ротенъ-Роу; ворота Кенсингтонскихъ садовъ были заперты, и стоявшій позади рѣшетки полисменъ

подозрительно наблюдалъ за ними, точно опасался, что они вздумаютъ насильно ворваться.

— Вамъ, кажется, тутъ надо повернуть?—сказалъ Маркъ.

Гольройду хотѣлось бы, чтобы Маркъ проводилъ его до Кенсингтона, но такъ какъ тотъ самъ не предлагалъ этого, то гордость помѣшала ему попросить его объ этомъ.

— Еще послѣднее слово насчетъ книги,—сказалъ онъ.—Могу я поставить ваше имя и вашъ адресъ на заглавномъ листѣ? Я отошлю ее сегодня къ Чильтону и Фладгету.

— О, разумѣется,—отвѣчалъ Маркъ,—какъ хотите.

— Я не выставилъ своего настоящаго имени, и еслибы книгу напечатали, я не желаю открывать своего анонима.

— Какъ хотите; но почему?

— Если я останусь адвокатомъ, то романъ, хотя бы даже онъ и имѣлъ успѣхъ, не особенная рекомендація для кліентовъ, и кромѣ того, если меня ждетъ фіаско, то мнѣ пріятнѣе оставаться неизвѣстнымъ, не правда ли? Я поставилъ на книжкѣ имя Винцента Бошанъ.

— Хорошо, хорошо, никто ничего не узнаетъ до тѣхъ поръ, пока вы сами не пожелаете открыться, и если книгу примутъ, то я съ удовольствіемъ буду слѣдить за ея печатаніемъ и напишу вамъ. Объ этомъ не безпокойтесь.

— Благодарю, а теперь прощайте, Маркъ.

Въ голосѣ его послышалось искреннее чувство, которое сообщилось даже самому Марку въ то время, какъ онъ пожималъ руку Винцента.

— Прощайте, —отвѣчалъ онъ,—будьте здоровы, счастливаго пути и всякаго благополучія. Вы не любите писать письма, но надѣюсь, что время отъ времени напишете мнѣ строчку или двѣ. Какъ называется корабль, на которомъ вы отправляетесь?

— „Мангалоръ“. Онъ отплываетъ завтра. А пока прощайте, Маркъ. Надѣюсь, что съ вами еще увидимся. Не забывайте меня.

— Нѣтъ, нѣтъ, мы слишкомъ старинные пріятели.

Еще послѣднее рукопожатіе, минутная неловкость, которую всегда чувствуютъ англичане, разставаясь, и они разошлись въ разныя стороны: Гольройдъ направился въ Безуотеръ черезъ мостъ, а Маркъ повернулъ въ Квинсгетъ и Кенсингтонъ.

Проводивъ пріятеля, Маркъ поглядѣлъ съ минуту вслѣдъ его высокой, мощной фигурѣ, пока тотъ не скрылся во мракѣ. „Я его, вѣроятно, больше не увижу,—подумалъ онъ. Бѣдный Гольройдъ, подумать, что онъ написалъ книгу; онъ—изъ тѣхъ неудачниковъ,

которымъ ни въ чемъ не бываетъ успѣха. Я увѣренъ, что мнѣ она доставитъ много хлопотъ".

Гольройдъ ушелъ съ тяжелымъ сердцемъ.

„Маркъ не будетъ скучать по мнѣ,—говорилъ онъ самому себѣ. Неужели и Мабель такъ же простится со мной".

III.

Прощаніе.

Въ тотъ самый день, какъ мы видѣли Марка и Винцента гулявшими другъ съ другомъ въ послѣдній разъ, миссисъ Лангтонъ и ея старшая дочь Мабель сидѣли въ хорошенькой гостиной своего дома въ Кенсингтонскомъ паркѣ.

Миссисъ Лангтонъ была жена богатаго адвоката съ обширной практикой и одна изъ тѣхъ изящно лѣнивыхъ женщинъ, обворожительныя манеры которыхъ успѣшно прикрываютъ нѣкоторую пустоту ума и характера. Она была все еще хорошенькая женщина и жаловалась на нездоровье всегда, когда это не представляло положительнаго неудобства.

Сегодня былъ одинъ изъ ея пріемныхъ дней, но посѣтителей было на этотъ разъ немного, да и тѣ раньше обыкновеннаго разошлись, оставивъ слѣдъ своего присутствія въ поэтическомъ безпорядкѣ креселъ и стульевъ и пустыхъ чайныхъ чашкахъ въ различныхъ мѣстахъ гостиной.

Миссисъ Лангтонъ покойно раскинулась въ мягкомъ креслѣ и лѣниво слѣдила за горящими угольями въ каминѣ, между тѣмъ какъ Мабель, помѣстившись на кушеткѣ около окна, пыталась читать журналъ при свѣтѣ потухающаго дня.

— Не лучше ли позвонить и велѣть принести лампы, Мабель?—посовѣтовала мать.—Какъ ты можешь читать въ такой темнотѣ? Говорятъ, это очень вредно для глазъ. Я думаю, что никого больше не будетъ, хотя мнѣ странно, что Винцентъ не пришелъ проститься.

— Винцентъ не любитъ пріемныхъ дней,—отвѣчала Мабель.

— Все же уѣхать не простившись, когда мы такъ давно съ нимъ знакомы, и конечно были всегда съ нимъ любезны. Вашъ отецъ всегда приглашалъ адвокатовъ обѣдать, чтобы знакомить ихъ съ нимъ, хотя это ни къ чему никогда не приводило. Онъ отплываетъ завтра. Мнѣ кажется, что онъ могъ бы найти время проститься съ нами.

— И я такъ думаю,—согласилась Мабель,—это непохоже на Винцента, хотя онъ всегда былъ застѣнчивъ и во многихъ отношеніяхъ страненъ. Онъ не такъ давно у насъ былъ, но я не могу повѣрить, чтобы онъ уѣхалъ не простясь.

Миссисъ Лангтонъ осторожно зѣвнула.

— Это меня не удивитъ,—сказала она,—когда молодой человѣкъ готовится... но конецъ ея фразы былъ прерванъ приходомъ ея младшей дочери Долли съ гувернанткой нѣмкой; за ними слѣдовалъ слуга, несшій лампы съ розовыми абажурами.

Долли была живая дѣвочка лѣтъ девяти съ золотистыми волосами, красиво вившимися, и глубокими глазами, оттѣненными длинными рѣсницами и обѣщавшими быть со временемъ опасными.

— Мы взяли съ собой Фриска безъ шнурка, мамаша,—кричала она,—и онъ отъ насъ убѣжалъ. Не правда ли, какъ это дурно съ его стороны?

— Не бѣда, милочка, онъ вернется благополучно домой... онъ вѣдь всегда такъ дѣлаетъ.

— Ахъ, но меня сердитъ то, что онъ убѣжалъ; вы знаете, въ какомъ ужасномъ видѣ онъ всегда возвращается домой. Его надо какъ-нибудь отучить отъ этого.

— Я совѣтую тебѣ хорошенько его пожурить,— вмѣшалась Мабель.

— Я пробовала, но онъ проситъ прощенья, а затѣмъ какъ только его вымоютъ, опять убѣгаетъ. Когда онъ вернется, я его на этотъ разъ хорошенько вздую.

— Милая моя,—закричала миссисъ Лангтонъ,—какое ужасное выраженіе.

— Колинъ говоритъ такъ,—отвѣчала Долли, хотя отлично знала, что Колинъ не особенно щепетиленъ въ своихъ выраженіяхъ.

— Колинъ говоритъ многое такое, чего не слѣдуетъ повторять дѣвочкѣ.

— Да, да,—весело подтвердила Долли.—Я не знаю, извѣстно ли это ему? Я пойду и скажу ему это... онъ вернулся домой.

И она убѣжала какъ разъ въ тотъ моментъ, какъ кто-то позвонилъ у двери.

— Мабель, кто-то должно быть еще съ визитомъ; но я такъ устала, и теперь такъ уже поздно, что я оставлю тебя и Fräulein занимать гостей. Папа и я ѣдемъ сегодня на обѣдъ и мнѣ нужно отдохнуть, прежде чѣмъ одѣваться. Я убѣгу, пока можно.

Миссисъ Лангтонъ граціозно выскользнула изъ комнаты какъ разъ въ ту минуту, какъ дворецкій прошелъ въ переднюю, что-

бы отворить дверь очевидно какому-то посѣтителю, и Мабель услышала, какъ доложили о приходѣ м-ра Гольройда.

— Итакъ вы все-таки пріѣхали проститься? — сказала Мабель, протягивая руку съ ласковой улыбкой.—Мамаша и я, мы думали, что вы уѣдете, не простясь.

— Вамъ бы слѣдовало лучше меня знать.

Винцентъ согласился выпить предложенную ему чашку чаю только затѣмъ, чтобы еще разъ имѣть случай полюбоваться веселой, граціозной манерой, съ примѣсью ласковой насмѣшки, съ которой Мабель его угощала и которая была ему такъ хорошо знакома. Онъ разговаривалъ съ ней и съ Fräulein Мозеръ съ тяжелымъ чувствомъ неудовлетворительности такого тріо для прощальнаго свиданія.

Гувернантка тоже сознавала это. Въ послѣднее время она стала подозрѣвать, какого рода чувства питаетъ Винцентъ къ Мабель, и жалѣла его.

„Этотъ бѣдный молодой человѣкъ уѣзжаетъ далеко, я дамъ ему случай объясниться", думала она и сѣла за фортепіано въ сосѣдней комнатѣ.

Но не успѣлъ Винцентъ обмѣняться нѣсколькими незначительными фразами съ Мабель, какъ въ комнату вбѣжала Долли, а такъ какъ ей никогда въ голову не приходило, чтобы кто-нибудь могъ предпочесть ея разговору чей-нибудь другой, то она вскорѣ совсѣмъ завладѣла Винцентомъ.

— Долли, милая,—закричала гувернантка изъ-за фортепіанъ,—сбѣгай и спроси у Колина, не унесъ ли онъ метрономъ въ классную комнату?

Долли понеслась въ классную и скоро забыла о данномъ порученіи въ спорѣ съ Колиномъ, которому всякое развлеченіе было желательно, когда онъ сидѣлъ за уроками. Фрейлейнъ Мозеръ, конечно, предвидѣла такой результатъ, тѣмъ болѣе, что метрономъ стоялъ около нея.

— Вы, конечно, будете намъ писать, Винцентъ, оттуда?—сказала Мабель.—Чѣмъ вы разсчитываете быть?

— Кофейнымъ плантаторомъ,—мрачно отвѣчалъ тотъ.

— О, Винцентъ!—съ упрекомъ замѣтила молодая дѣвушка,—вы были прежде честолюбивѣе. Помните, какъ мы строили планы на счетъ вашей будущей знаменитости. Но вы не особенно прославитесь, если будете плантаторомъ.

— Если я берусь за это, то по необходимости. Но я все еще честолюбивъ, Мабель. Я не удовлетворюсь этимъ дѣломъ,

если другое мое предпріятіе удастся. Но въ томъ-то и дѣло, что это еще очень гадательно.

— Какое еще предпріятіе? разскажите мнѣ, Винцентъ; вы прежде всегда мнѣ все говорили.

Въ характерѣ Винцента было очень мало замѣтно его тропическое происхожденіе и по своей природной сдержанности и осторожности онъ предпочелъ бы подождать до тѣхъ поръ, пока его книга не будетъ напечатана, прежде нежели признаться въ своемъ писательствѣ.

Но просьба Мабель поколебала его осторожность. Онъ писалъ для Мабель и его лучшей надеждой было то, что она со временемъ прочтетъ и похвалитъ его книгу. Ему захотѣлось взять ее въ повѣренныя и увезти съ собой ея симпатію какъ поддержку въ трудныя минуты.

Еслибы онъ успѣлъ поговорить съ ней о своей книгѣ и ея содержаніи, быть можетъ, Мабель почувствовала бы новый интересъ къ его особѣ и это предотвратило бы многія дальнѣйшія событія въ ея жизни. Но онъ колебался, а тѣмъ временемъ возникла новая помѣха, случай былъ упущенъ, и подобно многимъ другимъ, разъ упущенный, больше не представился. Неугомонная Долли снова явилась невиннымъ орудіемъ судьбы: она пришла съ громаднымъ портфелемъ въ рукахъ и положила его на стулъ.

— Я нигдѣ не могла найти метрономъ, фрейлейнъ. Винцентъ, мнѣ нужна ваша голова для альбома! Позвольте мнѣ ее снять.

— Мнѣ она самому нужна, Долли, я никакъ не могу обойтись безъ нея въ настоящую минуту.

— Я говорю не про вашу настоящую голову, а только про вашъ силуэтъ,—объяснила Долли.—Неужели вы этого не поняли?

— Это не особенно страшная операція, Винцентъ,—вмѣшалась Мабель. — Долли мучитъ всѣхъ своихъ друзей послѣднее время, но она не причиняетъ имъ физической боли.

— Хорошо, Долли, я согласенъ,—сказалъ Винцентъ,—только пожалуйста будьте со мной помягче.

— Садитесь на стулъ возлѣ стѣны,—приказывала Долли.—Мабель пожалуйста сними абажуръ съ лампы и поставь ее вотъ тутъ.

Она взяла карандашъ и большой листъ бумаги.

— Теперь, Винцентъ, сядьте такъ, чтобы ваша тѣнь ложилась на бумагу и сидите смирно. Не двигайтесь и не говорите, иначе вашъ профиль будетъ испорченъ.

— Мнѣ очень страшно, Долли,—объявилъ Винцентъ, послушно усаживаясь, какъ ему было велѣно.

— Какой вы трусъ! Подержи его голову, Мабель. Нѣтъ!—придержи лучше бумагу.

Винцентъ сидѣлъ тихо, въ то время какъ Мабель оперлась сзади на его стулъ, одной рукой слегка придерживая его за плечо и ея мягкіе волосы касались его щеки. Долго, долго, потомъ, въ сущности всю свою жизнь, онъ не могъ вспомнить объ этихъ мгновеніяхъ безъ радостнаго трепета.

— Готово, Винцентъ! — съ тріумфомъ возвѣстила Долли, проводя нѣсколько чертъ по бумагѣ.—У васъ не очень правильный профиль, но силуэтъ будетъ похожъ, когда я его вырѣжу. Вотъ!—подала она голову въ натуральную величину, вырѣзанную изъ черной бумаги.—Неправда ли, очень похоже на васъ?

— Право не знаю, отвѣчалъ—Винцентъ, съ сомнѣніемъ поглядывая на бумагу,—но надѣюсь, что похожъ.

— Я дамъ вамъ съ него копію,—великодушно объявила Долли, вырѣзывая другую черную голову своими проворными ручками.

— Вотъ, возьмите, Винцентъ, и пожалуйста не потеряйте.

— Хотите, чтобы я всегда носилъ его у сердца, Долли?

Долли нашла нужнымъ обдумать этотъ вопросъ.

— Нѣтъ, полагаю, что этого не нужно,—отвѣтила она.—Конечно онъ бы васъ грѣлъ, но, боюсь, что черная бумага марается. Вы должны наклеить его на картонъ и вставить въ рамку.

Въ эту минуту вошла миссисъ Лангтонъ, и Винцентъ пошелъ ей на встрѣчу съ отчаянной надеждой въ душѣ, что авось его пригласятъ провести съ ними послѣдній вечеръ,—надеждой, которой не суждено было осуществиться.

— Любезный Винцентъ,—сказала она, протягивая ему обѣ руки,—и такъ вы все-таки пришли. Право, я боюсь, что вы совсѣмъ насъ забыли. Почему ты не прислала мнѣ сказать, что Винцентъ у насъ, Мабель? Я бы поторопилась одѣться. Мнѣ такъ досадно, Винцентъ, что я должна проститься съ вами второпяхъ. Мужъ и я ѣдемъ обѣдать въ гости и онъ не вернется домой, чтобы переодѣться, а переодѣнется въ своей конторѣ, а я должна за нимъ заѣхать. И теперь такъ ужъ поздно, а они такъ нелѣпо рано обѣдаютъ тамъ, куда мы ѣдемъ, что мнѣ нельзя больше терять ни минуты. Проводите меня до кареты, Винцентъ, пожалуйста. Что, Маршаль не забылъ положить плэдъ? Хорошо; такъ пойдемте. Желаю вамъ всякаго успѣха тамъ, куда вы

ѣдете, и берегите себя, и возвращайтесь домой съ хорошенькой женой. Прикажите, пожалуйста, кучеру ѣхать въ Линкольнъ-Иннъ. Прощайте, Винцентъ, прощайте.

Она привѣтливо улыбалась и махала рукой въ длинной перчаткѣ, пока карета не отъѣхала и онъ все время понималъ, что если она больше никогда его не увидитъ, то это нисколько ее не огорчитъ.

Онъ медленно вернулся въ теплую гостиную, гдѣ пахло фіалками. У него не было больше предлога оставаться здѣсь; онъ долженъ проститься съ Мабель и уйти. Но прежде нежели онъ на это рѣшился, доложили о новомъ гостѣ, который, должно быть, пришелъ какъ разъ въ ту минуту, какъ миссисъ Лангтонъ отъѣхала.

— М-ръ Каффинъ,—возвѣстилъ слуга съ достоинствомъ.

Высокій, стройный молодой человѣкъ вошелъ въ комнату, съ черезъ-чуръ спокойнымъ и развязнымъ видомъ. Его свѣтлые волосы были коротко острижены; красивые глаза проницательны и холодны, а тонкія губы выражали твердость. Голосъ, которымъ онъ управлялъ въ совершенствѣ, былъ звученъ и пріятенъ.

— Неужели вы пришли съ утреннимъ визитомъ, Гарольдъ? —спросила Мабель, которая, повидимому, не очень обрадовалась посѣтителю.

— Да, вѣдь насъ нѣтъ дома, Мабель, неправда-ли?—вернула смѣлая Долли.

— Меня задержали на репетиціи, а потомъ я обѣдалъ,— объяснилъ Каффинъ:—но я бы не пришелъ, еслибы мнѣ не надо было исполнить одного порученія. Передавъ его, я уйду. Что я вамъ сдѣлалъ, что вы хотите меня прогнать?

Гарольдъ Каффинъ былъ родственникъ миссисъ Лангтонъ. Его отецъ занималъ высокое мѣсто между заграничными консулами, а самъ онъ недавно поступилъ на сцену, находя театръ болѣе привлекательнымъ мѣстомъ, нежели министерство иностранныхъ дѣлъ, куда его сперва предназначали. Пока ему не приходилось жалѣть о своей измѣнѣ, такъ какъ онъ почти тотчасъ же получилъ очень выгодный ангажементъ въ одинъ изъ главныхъ театровъ Вестъ-Энда, причемъ общественное положеніе его отъ этого не очень пострадало, частію отъ того, что свѣтъ сталъ въ послѣднее время либеральнѣе въ этомъ отношеніи, а частію потому, что ему раньше удалось упрочить свое положеніе въ свѣтѣ своимъ пріятнымъ обращеніемъ и музыкальнымъ, и драматическимъ талантомъ, что и заставило его избрать театръ своей профессіей.

Какъ и Гольройдъ, онъ зналъ Мабель еще дѣвочкой, а когда она выросла, то влюбился въ нее. Его единственнымъ опасеніемъ, когда онъ поступалъ на сцену, было, что Мабель не одобритъ этого.

Страхъ этотъ оказался неосновательнымъ. Обращеніе съ нимъ Мабель не перемѣнилось. Но его успѣхи, какъ аматёра, не послѣдовали за нимъ на сцену. До сихъ поръ еще ему не поручали ни одной значительной роли и онъ успѣлъ уже настолько разочароваться въ своей новой профессіи, что готовъ былъ отъ нея отказаться при малѣйшемъ поводѣ.

— Вы здѣсь, Гольройдъ, я васъ было не замѣтилъ. Какъ вы поживаете?—радушно сказалъ онъ, хотя въ душѣ чувства его были далеко не дружескія, такъ какъ онъ имѣлъ основаніе считать Винцента своимъ соперникомъ.

— Винцентъ пріѣхалъ проститься,—объяснила Долли.—Онъ завтра уѣзжаетъ въ Индію.

— Добраго пути!—вскричалъ Каффинъ съ повеселѣвшимъ лицомъ.—Но что же это вы такъ вдругъ собрались, Гольройдъ? Я очень, впрочемъ, радъ, что успѣлъ проститься съ вами. И здѣсь Каффинъ, безъ сомнѣнія, говорилъ правду.—Вы мнѣ не говорили, что такъ скоро уѣзжаете.

Гольройдъ зналъ Каффина уже нѣсколько лѣтъ: они часто встрѣчались въ этомъ домѣ, и хотя между ними было мало общаго, но отношенія ихъ были пріятельскія.

— А въ чемъ заключается ваше порученіе, Гарольдъ? — спросила Мабель.

— Ахъ, да! Я сегодня встрѣтилъ дядю и онъ поручилъ мнѣ узнать, согласны ли вы прокатиться въ Чигбёръ въ одну прекрасную субботу и пробыть тамъ до понедѣльника. Я полагаю, что вы не согласны. Онъ добрый старикъ, но можно умереть со скуки, проведя съ нимъ цѣлыхъ два дня.

— Вы забываете, что онъ—крестный отецъ Долли,—замѣтила Мабель.

— И мой дядя,—сказалъ Каффинъ,—но онъ отъ этого нисколько не занимательнѣе. Васъ тоже приглашаютъ, болтушка? („Болтушка“ было прозвище, которымъ онъ дразнилъ Долли, которая къ нему вообще не благоволила).

— Хочешь ѣхать, Долли, если мамаша позволитъ?—спросила Мабель.

— А Гарольдъ поѣдетъ тоже?

— Гарольда не приглашали, моя болтушка,—отвѣчалъ этотъ джентльменъ напрямки.

— Если такъ, то поѣдемъ, Мабель, и я возьму съ собой Фриска, потому что дядя Антони давно уже не видѣлъ его.

Гольройдъ видѣлъ, что оставаться долѣе безполезно. Онъ пошелъ въ классную проститься съ Колиномъ, который былъ такъ огорченъ его отъѣздомъ, какъ только позволяла груда учебниковъ, возвышавшаяся передъ нимъ, и вернулся въ гостиную проститься съ остальными. Гувернантка прочитала на его лицѣ, что ея доброжелательныя усилія ни къ чему не послужили и съ состраданіемъ вздохнула, пожимая ему руку. Долли повисла у него на шеѣ и заплакала, а черствый Гарольдъ подумалъ, что теперь ему можно быть великодушнымъ и почти съ искренней привѣтливостью напутствовалъ его добрыми пожеланіями.

Однако, лицо его омрачилось, когда Мабель сказала:

— Не звоните, Оттилія. Я провожу Винцента до передней... въ послѣдній разъ.

„Хотѣлъ бы я знать, нравится ли онъ ей?“ подумалъ Гарольдъ, съ досадой.

— Пишите какъ можно чаще, Гольройдъ, не правда ли?— сказала Мабель, когда они пришли въ переднюю.—Мы будемъ часто о васъ думать и представлять себѣ, что вы дѣлаете и какъ вамъ живется.

Передняя лондонскаго дома врядъ ли пригодное мѣсто для объясненія въ любви; есть что-то фатально-комическое въ нѣжныхъ чувствахъ, изливаемыхъ посреди дождевыхъ зонтиковъ и шляпъ. Но хотя Винцентъ вполнѣ сознавалъ это, онъ почувствовалъ страстное желаніе высказать Мабель свои чувства въ этотъ послѣдній мигъ, но сдержалъ себя: болѣе вѣрный инстинктъ подсказалъ ему, что онъ слишкомъ долго мѣшкалъ для того, чтобы разсчитывать на успѣхъ. И въ самомъ дѣлѣ, Мабель не подозрѣвала о настоящемъ характерѣ его чувствъ и онъ былъ правъ, думая, что признаніе въ настоящую минуту было бы для нея сюрпризомъ, къ которому она не была подготовлена.

Сантиментальность фрейлейнъ Мозеръ и склонность Каффина видѣть въ каждомъ соперника дѣлали ихъ проницательными, и сама Мабель, хотя дѣвушки рѣдко послѣднія догадываются объ этомъ, никогда не думала о Винцентѣ, какъ о поклонникѣ, и въ этомъ была главнымъ образомъ виновата его сдержанность и скрытность.

Онъ боялся сначала обнаружить передъ ней свои чувства: „она не можетъ любить меня, думалъ онъ, я ничего не сдѣлалъ, чтобы заслужить ея любовь; я нуль“. И ему хотѣлось чѣмъ-

нибудь отличиться, а до тѣхъ поръ онъ молчалъ и рѣдко видѣлся съ ней.

Тогда-то онъ и написалъ свою книгу. и хотя онъ не былъ такъ глупъ, чтобы воображать, что въ женское сердце доступъ возможенъ только путемъ печати, но не могъ не чувствовать, перечитывая свое произведеніе, что онъ дѣлалъ нѣчто такое, что въ случаѣ успѣха можетъ возвысить его въ собственныхъ глазахъ и служить хорошей рекомендаціей для дѣвушки, какъ Мабель, любившей литературу.

Но тутъ отецъ пригласилъ его пріѣхать на Цейлонъ; онъ долженъ былъ ѣхать и увезти съ собой свою тайну, и надѣяться, что время и разлука (очень плохіе, сказать мимоходомъ, союзники) будутъ говорить за него.

Онъ чувствовалъ всю горечь своего положенія, когда держалъ обѣ ея руки и глядѣлъ въ прекрасное лицо и мягкіе глаза, свѣтившіеся сестринскимъ чувствомъ,—да! увы! только сестринскимъ. „Она, можетъ быть, полюбила бы меня со временемъ. Но это время можетъ никогда не настанетъ“, думалъ онъ.

Онъ не рѣшился прибавить ни слова; онъ могъ бы получить братскій поцѣлуй, еслибы попросилъ, но для него такой поцѣлуй былъ бы чистѣйшей насмѣшкой.

Подавленное волненіе дѣлало его рѣзкимъ, почти холоднымъ. Онъ вдругъ выпустилъ ея руки и отрывисто проговорилъ:

— Прощайте, дорогая Мабель, прощайте!—и поспѣшно вышелъ изъ дому.

— Итакъ, онъ уѣхалъ!—замѣтилъ Каффинъ, когда Мабель вернулась въ гостиную, простоявъ нѣсколько секундъ въ передней. — Милый онъ человѣкъ, но нестерпимо скучный, неправда ли? Ему гораздо лучше сажать кофе, нежели болтаться здѣсь, какъ онъ дѣлалъ, съ кофе ему повезетъ больше, нежели съ законовѣдѣніемъ, надо надѣяться.

— Какъ вы любите находить другихъ скучными, Гарольдъ, —сказала Мабель, съ неудовольствіемъ наморщивъ брови.—Винцентъ нисколько не скученъ: вы такъ говорите потому, что его не понимаете.

— Я говорю это не ради осужденія, напротивъ того, мнѣ нравятся скучные люди. Съ ними отдыхаешь. Но какъ вы вѣрно замѣтили, Мабель, я не понимаю его: право же, онъ не производитъ впечатлѣнія человѣка интереснаго. Сколько я его знаю, онъ мнѣ очень нравится, но вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ сознаться, что нахожу его именно скучнымъ. Вѣроятно, я ошибаюсь.

— Да, вѣроятно,—заключила Мабель, чтобы перемѣнить разговоръ.

Но Каффинъ заговорилъ не безъ намѣренія и рискнулъ даже разсердить ее, чтобы произвести то впечатлѣніе, какое ему было желательно. И почти успѣлъ въ этомъ.

— Неужели Гарольдъ правъ,—подумала она. — Винцентъ очень сдержанъ, но мнѣ всегда казалось, что въ немъ есть какая-то скрытая сила, а между тѣмъ, еслибы она была, то проявилась бы въ чемъ-нибудь? Но если даже бѣдный Винцентъ только скученъ, то для меня это все равно. Я все также буду любить его.

Но при всемъ томъ замѣчаніе Каффина помѣшало ей идеализировать Винцента, въ разлукѣ съ нимъ, и посмотрѣть на него иначе, какъ на брата, а этого-то самаго и добивался Каффинъ.

Тѣмъ временемъ самъ Винцентъ, не подозрѣвая — чего дай Богъ каждому изъ насъ—какъ его характеризовалъ пріятель въ присутствіи любимой дѣвушки, шелъ на свою холостую квартиру, чтобы провести послѣдній вечеръ въ Англіи въ одиночествѣ, такъ какъ ни къ какому иному времяпровожденію у него не лежало сердце.

Уже стемнѣло. Надъ нимъ разстилалось ясное, стальнаго цвѣта небо, а передъ нимъ виднѣлся Камденъ-Гиллъ, темная масса, съ сверкающими на ней огнями. На скверѣ, сбоку, нѣмецкій духовой оркестръ игралъ отрывки изъ второго акта „Фауста“ съ такимъ отсутствіемъ выраженія и такъ фальшиво, какъ только можетъ нѣмецкій оркестръ. Но разстояніе смягчало несовершенство исполненія, и арія Зибеля казалась Винценту вѣрнымъ выраженіемъ его собственной, страстной, но непризнанной любви.

— Я готовъ жизнь отдать за нее,—сказалъ онъ почти вслухъ,—а между тѣмъ, не смѣлъ ей этого сказать... но если я когда-нибудь ворочусь и увижу ее... и если не будетъ слишкомъ поздно... она узнаетъ, чѣмъ она была и будетъ для меня. Я буду ждать и надѣяться.

IV.

На Малаховой террасѣ.

Разставшись съ Винцентомъ на Роттенъ-Роу, Маркъ Ашбернъ пошелъ одинъ по Кенсингтонъ-Гай-Стритъ и дальше, пока не дошелъ до одной изъ тихихъ улицъ лондонскаго предмѣстья.

Малахова терраса, какъ называется это мѣсто (названіе это обозначаетъ также и эпоху его возникновенія), производила менѣе убійственное впечатлѣніе, чѣмъ большинство ея современныхъ сосѣдокъ, по мрачному однообразію и претенціозности. Дома на террасѣ окружены были садиками и цвѣтниками и украшены верандами и балконами, и даже зимою терраса глядѣла весело, благодаря разноцвѣтнымъ ставнямъ и занавѣсамъ на освѣщенныхъ окнахъ. Но и тутъ, какъ и во всякомъ иномъ мѣстѣ, были дома болѣе мрачнаго вида. Не бѣдная внѣшность поражаетъ въ нихъ, нѣтъ, но то, что они, повидимому, принадлежатъ людямъ безусловно равнодушнымъ ко всему, кромѣ существенно необходимаго, и неспособнымъ придать какую-нибудь привлекательность своему жилищу. Передъ однимъ изъ такихъ домовъ, угрюмый видъ котораго не смягчался ни балкончикомъ, ни верандой, остановился Маркъ.

На окнахъ не видать было цвѣтныхъ занавѣсей или горшковъ съ цвѣтами, а только ставни изъ толстой темной проволоки.

То была не наемная квартира, но домъ, гдѣ Маркъ жилъ со своей семьей, которая хотя и не отличалась веселостью, но была не менѣе почтенна, чѣмъ всѣ остальныя на террасѣ, а это во многихъ отношеніяхъ лучше веселости.

Онъ нашелъ всѣхъ своихъ за обѣдомъ въ небольшой задней комнатѣ, обтянутой сѣрыми обоями съ крупнымъ и безобразнымъ рисункомъ. Его мать, толстая женщина ледянаго вида, съ холодными сѣрыми глазами и складкой обиженнаго недовольства на лбу и около губъ, разливала супъ съ торжественностью жреца, совершающаго жертвоприношеніе. Напротивъ сидѣлъ ея мужъ, небольшой человѣчекъ, кроткій и неизмѣнно унылый. Остальные домашніе: двѣ сестры Марка, Марта и Трикси, и его младшій братъ, Кутбертъ, сидѣли на обычныхъ мѣстахъ.

Миссисъ Ашбернъ строго взглянула на сына, когда онъ вошелъ.

— Ты опять опоздалъ, Маркъ, — сказала она: — пока ты находишься подъ этой кровлей (миссисъ Ашбернъ любила упоминать о кровлѣ), отецъ твой и я, мы въ правѣ требовать, чтобы ты подчинялся правиламъ нашего дома.

— Видишь ли, мамаша, — отвѣчалъ Маркъ, садясь и развертывая салфетку, — вечеръ былъ такой прекрасный, что я прошелся съ пріятелемъ.

— Есть время для прогулки и время для обѣда, — проговорила его мать такъ, точно приводила текстъ изъ св. писанія.

— А я ихъ спуталъ, мамаша. Такъ? ну, прости, пожалуйста; въ другой разъ не буду.

— Поторопись, Маркъ, пожалуйста, и доѣдай скорѣе супъ; не заставляй насъ ждать.

Миссисъ Ашбернъ никакъ не могла освоиться съ мыслью, что ея дѣти выросли. Она все еще обращалась съ Маркомъ, какъ еслибы тотъ былъ безпечнымъ школяромъ. Она постоянно читала нравоученія и дѣлала выговоры, и хотя давно уже это были холостые заряды, но тѣмъ не менѣе надоѣдали дѣтямъ.

Идеальный семейный кругъ, собравшись вечеромъ, разнообразитъ свое сборище оживленной бесѣдой; кто выѣзжаетъ изъ дому, тотъ передаетъ свои впечатлѣнія и сцены, трагическія или юмористическія, какихъ былъ свидѣтелемъ въ продолженіе дня, а когда они истощатся, женскій персоналъ сообщаетъ болѣе скромныя событія домашней жизни, и время проходитъ незамѣтно.

Такой семейный кругъ можно отъ души поздравить; но есть основанія думать, что въ большинствѣ случаевъ разговоры въ семьяхъ, члены которыхъ ежедневно видятся, становятся крайне односложными. Такъ было, по крайней мѣрѣ, у Ашберновъ. Маркъ и Трикси подчасъ бывали подавлены безмолвіемъ, царствовавшимъ въ ихъ семейномъ кружкѣ и дѣлали отчаянныя усилія завести общій разговоръ о томъ или о другомъ. Но трудно было выбрать такой сюжетъ, который бы миссисъ Ашбернъ не убила въ самомъ зародышѣ какою-нибудь сентенціей. Кутбертъ вообще приходилъ со службы утомленный и немного сердитый. На любезность Марты никакъ нельзя было разсчитывать, а самъ м-ръ Ашбернъ рѣдко когда вмѣшивался въ разговоръ и только тяжело вздыхалъ.

При такихъ обстоятельствахъ понятно, что вечера, проводимые Маркомъ въ его семействѣ, не были особенно веселы. Иногда онъ самъ себѣ дивился, какъ можетъ онъ ихъ такъ долго выносить, и еслибы средства позволяли ему нанять удобную квартиру и устроиться такъ же дешево, какъ въ семьѣ, то онъ, по всей вѣроятности, давно бы уже свергнулъ иго семейной скуки. Но жалованье, получаемое имъ, было невелико, привычки у него были расточительныя и онъ оставался въ семьѣ.

Сегодняшній вечеръ въ частности не обѣщалъ особеннаго оживленія. Миссисъ Ашбернъ мрачно возвѣстила всѣмъ, кому это вѣдать надлежало, что она сегодня не завтракала. Марта сказала вскользь о томъ, что пріѣзжала съ визитомъ какая-то миссъ Горнбловеръ, но это извѣстіе не произвело никакого впечатлѣнія, хотя Кутбертъ порывался-было спросить, кто такая миссъ Горнбловеръ, но во время спохватился, что это его нисколько не интересуетъ.

Затѣмъ Трикси попыталась-было втянуть его въ разговоръ,

спросивъ доброжелательно, но не совсѣмъ удачно: не видѣлъ ли онъ кого (этотъ вопросъ сталъ какой-то формулой), на что Кутбертъ отвѣчалъ, что замѣтилъ двухъ или трехъ прохожихъ въ Сити, а Марта сказала ему, что ей пріятно его постоянство въ шуткахъ. На это Кутбертъ сардонически замѣтилъ, что онъ самъ знаетъ, что онъ веселый малый, но что когда онъ видитъ вокругъ себя ихъ вытянутыя физіономіи, въ особенности же физіономію Марты, то это еще болѣе подзадориваетъ его веселость.

Миссисъ Ашбернъ услыхала его отвѣтъ и строго сказала:

— Не думаю, Кутбертъ, чтобы у твоего отца или у меня была „вытянутая“ физіономія, какъ ты выражаешься. Мы всегда поощряли приличныя шутки и невинную веселость. Не понимаю, почему ты смѣешься, когда мать дѣлаетъ тебѣ замѣчаніе, Кутбертъ. Это совсѣмъ непочтительно съ твоей стороны.

Миссисъ Ашбернъ продолжала бы, по всей вѣроятности, защищать себя и своихъ домашнихъ отъ обвиненія въ вытянутой физіономіи, еслибы не произошла желанная диверсія. Кто-то постучалъ въ наружную дверь. Служанка, поставивъ блюдо на столъ, исчезла, и вскорѣ затѣмъ колоссальное туловище показалось въ дверяхъ и зычный голосъ произнесъ:—Эге! они обѣдаютъ! Ладно, милая, я знаю дорогу.

— Это дядюшка Соломонъ!—сказали за столомъ. Но никакихъ знаковъ радости не было выражено, потому что они были по природѣ очень сдержанны.

— Ну чтожъ, — заявила миссисъ Ашбернъ, которая, повидимому вывела свои заключенія изъ этой сдержанности,—я знаю, что если гдѣ-нибудь мой единственный братъ Соломонъ будетъ желаннымъ гостемъ, то это за нашимъ столомъ.

— Разумѣется, разумѣется, душа моя, — отвѣтилъ м-ръ Ашбернъ торопливо.—Онъ былъ здѣсь на прошлой недѣлѣ, но мы всѣ ему рады всегда и во всякое время.

— Надѣюсь! Ступай, Трикси, и помоги дядѣ снять пальто.

Изъ сосѣдней комнаты долетало пыхтѣнье и кряхтѣнье, доказывавшее, что родственникъ находился въ затруднительномъ положеніи.

Но прежде, нежели Трикси успѣла выполнить материнскій приказъ, въ комнату ввалился краснолицый человѣкъ съ большимъ самодовольнымъ ртомъ, бакенбардами, сходившимися подъ подбородкомъ, и глазами, которые Трикси по секрету величала „свиными глазками“, но въ которыхъ тѣмъ не менѣе свѣтился какой-то особенный первобытный юморъ.

Соломонъ Лайтовлеръ, братъ миссисъ Ашбернъ, удалившійся

отъ дѣлъ торговецъ, составилъ себѣ значительное состояніе торговлей суровскими товарами.

Онъ былъ вдовецъ и бездѣтенъ, и пожелалъ, чтобы одинъ изъ его племянниковъ получилъ университетское образованіе, сдѣлался ученымъ и прославилъ имя и проницательность своего дядюшки; Маркъ на его счетъ былъ помѣщенъ въ Тринити, такъ какъ положеніе м-ра Ашберна въ министерствѣ финансовъ не дозволило бы такого расхода.

Карьера Марка въ Кембриджѣ не была, какъ уже выше упомянуто, изъ блистательныхъ и не могла принести много чести его дядюшкѣ, который, въ видахъ вознагражденія себя за расходы, заставилъ Марка поступить въ ость-индскую гражданскую службу, но когда и это окончилось полнымъ фіаско, то, повидимому, отрекся отъ него, предоставивъ себѣ право вознаграждать себя за издержки попреками, и Маркъ находилъ, что уже окупилъ въ этомъ отношеніи большую часть издержекъ.

— Фу-ты! какая у васъ тутъ жарища! — началъ дядюшка какъ пріятное вступленіе въ разговоръ, потому что сознавалъ себя достаточно богатымъ, чтобы дѣлать замѣчанія о температурѣ чужихъ домовъ; но Кутбертъ выразилъ sotto voce желаніе, чтобы дядюшку попарили бы еще жарче.

— Не могутъ же всѣ жить въ загородныхъ домахъ, Соломонъ, — отвѣчала его сестра,—а въ маленькой комнатѣ всегда кажется тепло человѣку, который пріѣхалъ со свѣжаго воздуха.

— Тепло! — фыркнулъ м-ръ Лайтовлеръ,—скажи лучше, что здѣсь настоящее пекло. Ужъ я сяду подальше отъ огня. Я сяду около тебя, Трикси. Ты будешь ухаживать за старымъ дядей, да?

Трикси, красивая дѣвушка лѣтъ восемнадцати, съ роскошными каштановыми волосами, которые никакъ нельзя было гладко причесать, и хорошенькими ручками, которыя многія другія дѣвушки холили бы болѣе, нежели она, въ послѣднее время пристрастилась къ рисованью, находя его менѣе скучнымъ, нежели занятія по домашнему хозяйству. Дядя Соломонъ всегда пугалъ ее, такъ какъ она не знала, что́ можетъ послѣдовать дальше, а потому поспѣшно очистила ему мѣсто возлѣ себя.

— Ну-съ, милостивый государь, школьный учитель, — обратился онъ къ Марку,—какъ поживаете? Еслибы вы усерднѣе трудились въ коллегіи и сдѣлали мнѣ честь, то были бы теперь ученымъ профессоромъ въ университетѣ или судьей въ ость-индской судебной палатѣ вмѣсто того, чтобы учить несносныхъ мальчишекъ.

На этотъ разъ миссисъ Ашбернъ нашла нужнымъ вступиться за Марка.

— Ахъ, Соломонъ!—сказала она,—Маркъ самъ теперь понимаетъ что былъ глупъ; онъ знаетъ, какъ съ его стороны было безразсудно заниматься праздными писательствомъ для забавы легкомысленныхъ юношей вмѣсто того, чтобы учиться и этимъ доказать свою благодарность за все, что ты для него сдѣлалъ.

— Да, Джонъ, я былъ для него добрымъ другомъ и могъ бы быть еще лучше, еслибы онъ того заслуживалъ. Я не стою за издержки. И еслибы могъ надѣяться, что онъ броситъ свое писательство, то даже и теперь...

Маркъ счелъ за лучшее уклониться отъ прямого отвѣта.

— Еслибы я даже и хотѣлъ писать, дядюшка, то при моихъ школьныхъ занятіяхъ и приготовленіи къ адвокатской профессіи, мнѣ не оставалось бы для этого времени. Но матушка права; я понимаю теперь свою глупость.

Это понравилось дядюшкѣ Соломону, который все еще цѣплялся за обломки своей вѣры въ способности Марка и готовъ былъ помириться на томъ, что у него будетъ племянникъ адвокатъ. Онъ сразу смягчился:

— Ну, кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ. Ты все еще можешь сдѣлать мнѣ честь. И, знаешь-ли что, нынѣшнее воскресенье проведи у меня на дачѣ. Это послужитъ тебѣ отдыхомъ и кромѣ того ты во-очію убѣдишься въ церковныхъ проискахъ моего сосѣда Гомпеджа. Онъ совсѣмъ обошелъ нашего викарія. Заставляетъ его украшать цвѣтами алтарь и зажигать на немъ свѣчи, и все это, когда въ душѣ онъ столько же религіозенъ, какъ...

Тутъ дядюшка Соломонъ обвелъ глазами столъ, ища предметъ для сравненія.

— ...Какъ вотъ этотъ графинъ. Онъ уговорилъ викарія завести мѣшечки для сбора пожертвованій и все потому, что ему было завидно, что служитель ко мнѣ первому подходилъ съ тарелкой. Право, они доведутъ меня до того, что я опять обращусь въ баптиста.

— Вы не любите м-ра Гомпеджа, дядюшка? — спросила Трикси.

— Гомпеджъ и я живемъ не дружно, хотя и сосѣди; что же касается до моихъ чувствъ къ нему, то я не чувствую къ нему ни любви, ни ненависти. Мы не водимъ компаніи другъ съ другомъ и если разговариваемъ, то только въ церкви, да еще черезъ заборъ, когда его птица заберется въ мой садъ... Не хо-

четъ ни за что задѣлать дыру въ своемъ заборѣ, такъ что придется мнѣ сдѣлать это и послать ему счетъ, ...что я непремѣнно и сдѣлаю. Письмо тебѣ, Матью? читай, пожалуйста, не обращай на меня вниманія,—добавилъ дядюшка Соломонъ, такъ какъ въ эту минуту служанка подала письмо Матью Ашберну, которое тотъ и распечаталъ съ позволенія шурина.

Но потеръ лобъ съ смущеніемъ, и слабо проговорилъ:

— Ничего не понимаю, кто это и кому пишетъ, и о чемъ, ничего не разберешь!

— Дай мнѣ посмотрѣть, Матью, я тебѣ, быть можетъ, объясню, въ чемъ дѣло,—сказалъ шуринъ, увѣренный, что для его мощнаго ума мало вещей недоступныхъ.

Онъ взялъ письмо, торжественно надѣлъ pince-nez на свой большой носъ, значительно прокашлялся и началъ читать: „Любезный сэръ", читалъ онъ внушительнымъ тономъ мудреца... ну, что-жъ, это вполнѣ понятно... „Любезный сэръ, мы отнеслись съ полнымъ вниманіемъ къ... гмъ! (тутъ лицо его утратило свое самоувѣренное выраженіе) къ... звонкимъ колоколамъ"... что такое? вотъ такъ штука! Звонкіе колокола? Ужъ не собираешься-ли ты звонить въ колокола, Матью?

— Я думаю, что они съума сошли,—отвѣчалъ бѣдный м-ръ Ашбернъ, у насъ всѣ колокольчики въ домѣ въ полной исправности, не правда-ли душа моя?

— Не слыхала, чтобы который-нибудь испортился; да ихъ недавно и поправляли. Это, должно быть, ошибка,—замѣтила миссисъ Ашбернъ.

— „Которые вы были столь добры, что повергли на наше усмотрѣніе (гмъ! какая изысканная вѣжливость!). Мы однако къ сожалѣнію должны сказать, что не можемъ принять предложеніе ваше"... Ты вѣрно писалъ домоховяину что-нибудь на счетъ аренды и это отвѣтъ отъ его повѣреннаго?—спросилъ дядюшка Соломонъ, но уже далеко не увѣреннымъ тономъ.

— Зачѣмъ я стану ему писать,—отвѣтилъ м-ръ Ашбернъ: —нѣтъ, это не то, Соломонъ читай дальше.

„... Отъ вашей красавицы дочери (эге, Трикси!) мы тоже принуждены отказаться, хотя и съ большой неохотой, но не смотря на нѣкоторыя значительныя достоинства, въ ней есть нѣкоторая грубость (вотъ тебѣ разъ! она свѣжа и нѣжна, какъ роза!) вмѣстѣ съ какой-то незрѣлостью и полнымъ отсутствіемъ формы и содержанія (ты знаешь, что ты легкомысленна, Трикси, я всегда тебѣ это говорилъ!) и это, по нашему мнѣнію, не позволитъ намъ войти съ вами въ соглашеніе по этому предмету".

Дядюшка Соломонъ, дойдя до этого пункта, положилъ письмо на столъ и оглядѣлъ всѣхъ, разинувъ ротъ:

— Я думалъ, что могу похвалиться понятливостью, но это превосходитъ мое пониманіе,—объявилъ онъ.

— Вотъ люди... какъ бишь ихъ зовутъ? Лидбиттеръ и Ганди (должно быть занимаются по газовой и декоративной части) пишутъ за-разъ, что не могутъ придти, поглядѣть на наши звонки, въ исправности-ли они, и что не желаютъ жениться на вашей дочери. Кто ихъ просилъ объ этомъ? Неужели ты такъ низко палъ, Матью, что пошелъ предлагать руку Трикси какому-то газопроводчику? Не могу этому повѣрить; что же это все значитъ въ такомъ случаѣ? Объясните мнѣ и я вамъ буду за то очень благодаренъ.

— Не спрашивайте м е н я,—отвѣчалъ несчастный отецъ,— я ничего не знаю.

— Трикси, тебѣ извѣстно что-нибудь на счетъ этого?—спросила миссисъ Ашбернъ подозрительно.

— Нѣтъ, милая мамаша. Я не желаю выходить замужъ ни за м-ра Лидбиттера, ни за м-ра Ганди.

Положеніе Марка становилось нестерпимо; сначала онъ надѣялся, что если промолчитъ, то отдѣлается отъ разспросовъ въ настоящую минуту, когда на него обрушился тяжкій ударъ: отказъ редакціи напечатать оба его романа, на которые онъ возлагалъ такія надежды. Перенести этотъ ударъ публично было еще тяжелѣе, но онъ понялъ, что никакъ не отдѣлается и что родственники не оставятъ этого дѣла безъ разслѣдованія, а потому рѣшилъ поскорѣй вывести ихъ изъ заблужденія.

Но голосъ его дрожалъ и лицо было красно, когда онъ сказалъ:

— Полагаю, что могу объяснить вамъ это.

— Ты!—вскричали всѣ, при чемъ дядюшка Соломонъ замѣтилъ, что молодые люди очень поумнѣли съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ молодъ.

— Да! это письмо, адресовано ко мнѣ... видите на конвертѣ стоитъ: М-ръ Ашбернъ, имени не обозначено, Марку или Матью Ашберну. Это письмо отъ... отъ одной издательской фирмы,— продолжалъ несчастный Маркъ, отрывистымъ тономъ... Я послалъ ей два своихъ романа: одинъ называется „Дочь красавица“, а другой „Звонкіе колокола“, и ихъ отказываются напечатать, вотъ и все.

Это извѣстіе произвело „сенсацію“, какъ выражаются репортеры. Марта засмѣялась кисло и пренебрежительно. Кутбертъ

глядѣлъ такъ, какъ еслибы имѣлъ многое что̀ сказать, но воздерживался изъ братскаго состраданія. Одна Трикси попыталась было пожать руку Марка подъ столомъ, но ему тяжело было въ настоящую минуту всякое выраженіе симпатіи и онъ нетерпѣливо оттолкнулъ ее и она могла только съ состраданіемъ глядѣть на него.

Миссисъ Ашбернъ трагически застонала и покачала головой: въ ея глазахъ молодой человѣкъ, способный писать романы, былъ погибшимъ человѣкомъ. Она питала спасительный ужасъ ко всякимъ фантазіямъ, такъ какъ принадлежала къ диссентерамъ строгой старинной школы и ихъ предубѣжденія крѣпко засѣли въ ея тупомъ мозгу. Ея супругъ, лично не имѣвшій никакихъ опредѣленныхъ взглядовъ, былъ всегда одинаковаго съ ней мнѣнія, но всѣ они предоставили м-ру Лайтовлеру быть выразителемъ семейнаго здраваго смысла.

Онъ призвалъ въ настоящемъ случаѣ на помощь всю горечь сатирическаго ума, какая была у него въ распоряженіи.

— Вотъ и все, неужели? и этого виолинѣ достаточно, полагаю. Итакъ это звенѣли бубенчики на вашей дурацкой шапкѣ.

— Если вамъ угодно посмотрѣть на это съ такой комической точки зрѣнія, то это ваша воля,—отвѣчалъ Маркъ.

— И вотъ какъ вы готовитесь въ адвокаты? вотъ какъ вы преодолѣли вашу страсть къ бумагомарательству? Я затратилъ на васъ свой капиталъ (онъ имѣлъ обыкновеніе выражаться такъ, какъ еслибы Маркъ былъ какое-то недвижимое имущество), я далъ вамъ хорошее образованіе и все затѣмъ, чтобы вы писали романы, которые вамъ „съ благодарностью“ возвращаютъ назадъ! Вы бы могли заниматься этимъ и не получивъ университетскаго образованія.

— Нѣтъ ни одного знаменитаго писателя, которому бы сначала не возвращали его произведеній,—сказалъ Маркъ.

— Прекрасно,—торжественно произнесъ дядя Соломонъ:— если это такъ, то вы можете себя поздравить съ блистательнымъ началомъ. Надѣюсь, что ты очень всѣмъ этимъ довольна, Дженъ?

— Безполезно говорить,—отвѣчала она,—но это черная неблагодарность за всѣ твои добрыя старанія.

— Но вѣдь литературой можно зарабатывать большія деньги, —оправдывался бѣдный Маркъ.

— Я всегда думалъ, что басня о собакѣ и тѣни написана про глупыхъ фатовъ и теперь убѣдился въ томъ,—сказалъ дядюшка Соломонъ, раздражительно.—Ну, слушай, Маркъ, что я тебѣ скажу въ послѣдній разъ. Брось всѣ эти пустяки. Я сказалъ, что пріі-

ѣхалъ переговорить съ тобой, и хотя ты и обманулъ мои ожиданія, но я не отступлюсь отъ своего; когда я видѣлъ тебя въ послѣдній разъ, то подумалъ, что ты стараешься собственными усиліями выдти въ люди и изучаешь законовѣдѣніе. Я подумалъ: —помогу ему въ послѣдній разъ. Кажется, что все это было одна пустая болтовня, но я все-таки помогу тебѣ. Если ты съумѣешь воспользоваться этимъ—тѣмъ лучше для тебя, если нѣтъ—тѣмъ хуже: я отрекусь отъ тебя на-вѣки. Посвяти себя исключительно законовѣдѣнію и брось свою школу. Я найму тебѣ квартиру и буду содержать тебя до тѣхъ поръ, пока ты не составишь себѣ карьеры. Но только помни одно: прочь бумагомарательство разъ навсегда, и чтобы я больше о немъ не слыхалъ. Согласенъ, или нѣтъ?

Мало есть вещей болѣе обидныхъ для самолюбія, какъ неудача, постигшая Марка: отказъ школьнаго комитета былъ пустякомъ сравнительно. Только тотъ, кто поддавался искушенію послать рукопись издателю или редактору и получилъ ее обратно, можетъ понять тупую боль, причиняемую этимъ, какую-то безсильную ярость, слѣдующую за тѣмъ, и какое-то такое ощущеніе, точно человѣкъ сбитъ съ толку и долженъ теперь начать съизнова думать. Быть можетъ, живописецъ, картину котораго не допустили на выставку, испытываетъ нѣчто подобное. Но въ послѣднемъ случаѣ для самолюбія есть больше выходовъ.

Маркъ очень больно почувствовалъ ударъ, такъ какъ возлагалъ большія надежды на свои злосчастные манускрипты. Онъ послалъ ихъ фирмѣ, съ именемъ которой ему особенно лестно было появиться въ свѣтъ, и вдругъ оба романа безповоротно отвергнуты. На минуту его увѣренность въ самомъ себѣ поколебалась и онъ почти склонилъ голову передъ приговоромъ.

И однако все-таки колебался. Издатель могъ ошибаться. Онъ слыхалъ о книгахъ, отвергнутыхъ съ позоромъ и затѣмъ превознесенныхъ до небесъ. Такъ было съ Карлейлемъ, такъ было съ Шарлоттой Бронти, да и мало-ли еще съ кѣмъ! Онъ желалъ быстрой славы, а юридическая карьера не скоро составляется.

— Ты слышишь, что говоритъ дядя?—сказала мать. Конечно ты не откажешься отъ такого выгоднаго предложенія?

— Нѣтъ, отвѣтила, — замѣтила Марта. — Марку гораздо пріятнѣе писать романы, нежели работать, не такъ-ли, Маркъ? Вѣдь очень весело писать вещи, которыхъ никто не станетъ читать?

— Оставь Марка въ покоѣ, Марта,—вмѣшалась Тринси. — Какъ тебѣ не стыдно!

— Не знаю, почему вы такъ ополчились на меня,—сказалъ Маркъ,—въ писаніи книгъ нѣтъ ничего положительно безнравственнаго. Но, я думаю, что въ этомъ частномъ случаѣ вы правы, дядюшка, и желаете мнѣ добра. Я принимаю ваше предложеніе. Буду усердно готовиться въ адвокаты, такъ какъ повидимому ни во что другое не гожусь.

— И обѣщаешь не писать больше?

— Разумѣется,—раздражительно отвѣтилъ Маркъ, — все что вамъ угодно. Я исправился, я обязуюсь не прикасаться къ чернилямъ во весь остатокъ моихъ дней.

То была не особенно любезная манера принимать такъ называемое выгодное предложеніе, но онъ былъ раздосадованъ и едва сознавалъ, что говорилъ.

Но м-ръ Лайтовлеръ былъ не изъ обидчивыхъ и такъ доволенъ, что поставилъ на своемъ, что не обратилъ вниманія на манеру Марка.

— Прекрасно,—сказалъ онъ,—значитъ,—рѣшено. Я радъ, что ты образумился. Значитъ, поѣдемъ на дачу и не будемъ больше говорить объ этомъ дѣлѣ.

— А теперь,—объявилъ Маркъ съ принужденной улыбкой, —я пойду къ себѣ на верхъ и займусь законовѣдѣніемъ.

V.

Сосѣди.

Слишкомъ недѣля прошла послѣ сцены на Малаховой террасѣ, описанной мною въ послѣдней главѣ,—недѣля, проведенная Марком въ ярмѣ школьныхъ занятій, которыя стали ему еще противнѣе съ тѣхъ поръ, какъ онъ не могъ больше питать никакихъ иллюзій о близкомъ избавленіи. Онъ не въ силахъ былъ видѣть достойное вознагражденіе въ своихъ новыхъ ожиданіяхъ и начиналъ жалѣть о томъ, что согласился на предложеніе дяди.

Онъ отправился на дачу послѣдняго, и нескрываемое довольство м-ра Лайтовлера, очевидно смотрѣвшаго на него какъ на свою собственность, и его непрерывные совѣты ревностно заниматься дѣломъ, только усилили недовольство Марка самимъ собой и своимъ будущимъ. Съ чувствомъ досады шелъ онъ съ своимъ родственникомъ въ небольшую церковь, стоявшую за деревней.

Былъ ясный, ноябрьскій морозный день; багроваго цвѣта солнце сверкало сквозь окрашенныя пурпуромъ облака, и блѣдно-голубое

небо раскидывалось надъ ихъ головами. Сельскій ландшафтъ смутно говорилъ о наступающихъ святочныхъ увеселеніяхъ, недоступныхъ для лондонца, лишеннаго возможности провести Рождество въ деревнѣ, но тѣмъ не менѣе веселящихъ душу.

Маркъ зналъ, что онъ долженъ будетъ провести праздникъ въ Лондонѣ въ кругу семейства, строго соблюдавшаго воскресный день, и отказаться отъ всякой мысли объ увеселеніяхъ. Однако, и его радовало наступленіе Рождественскихъ праздниковъ, а быть можетъ, то было дѣйствіе погоды, или же молодости и здоровья, но только съ каждымъ шагомъ недовольство его разсѣевалось.

Дядюшка Соломонъ облекся въ толстое, драповое пальто и широкополую шляпу такого духовнаго характера, что это отражалось на его разговорѣ. Онъ заговорилъ о ритуализмѣ и сожалѣлъ о томъ, что викарій заразился имъ, и о тайныхъ интригахъ ненавистнаго Гомпеджа.

— Я родился баптистомъ,—говорилъ онъ,—и вернулся бы къ нимъ, еслибы они не были такимъ нищенскимъ сбродомъ.

Въ такихъ разговорахъ они дошли до церкви, и дядя Соломонъ произнесъ громкимъ шопотомъ:

— А вотъ и онъ самъ, Гомпеджъ!

Маркъ во-время оглянулся и увидѣлъ стараго джентльмена, направлявшагося къ скамейкѣ, расположенной напротивъ ихъ собственной. Старый джентльменъ казался на видъ очень сердитымъ. У него было желтое лицо, длинные сѣдые волосы, большіе сѣрые глаза, крючковатый носъ и крупные зубы, виднѣвшіеся изъ-подъ сѣдыхъ усовъ и бороды.

Марку вдругъ стало неловко, потому что сзади м-ра Гомпеджа шла хорошенькая дѣвочка съ распущенными бѣлокурыми волосами, и высокая женщина въ сѣромъ платьѣ, съ свѣжимъ лицомъ, и наконецъ дѣвушка лѣтъ девятнадцати или двадцати, которая повидимому услыхала слова его дяди, такъ какъ проходя взглянула въ ихъ сторону съ выраженіемъ забавнаго удивленія въ глазахъ и чуть-чуть приподнявъ свои хорошенькія брови.

Какъ разъ въ эту минуту раздался громкій „аминь“ изъ ризницы, органъ заигралъ гимнъ, и викарій съ своимъ помощникомъ выступилъ позади процессіи небольшихъ, деревенскихъ мальчиковъ въ бѣлыхъ стихаряхъ и сапогахъ, скрипѣвшихъ самымъ не набожнымъ манеромъ.

Въ качествѣ приверженца нижней церкви м-ръ Лайтовлеръ протестовалъ противъ этой профессіональной пышности громкимъ храпомъ, который повторялся у него всякій разъ, какъ клерджи-

мены выказывали поползновеніе стать на колѣни во время службы, причемъ маленькая дѣвочка оглядывалась на него большими удивленными глазами, точно думала, что онъ или очень набоженъ, или очень нездоровъ.

Маркъ невнимательно слушалъ богослуженіе; онъ смутно сознавалъ, что дядя его поетъ псалмы страшно фальшиво и тщетно пытается подпѣвать въ тактъ деревенскому хору пѣвчихъ. Онъ объяснилъ потомъ Марку, что любитъ показывать примѣръ внимательнаго отношенія къ богослуженію.

Но Маркъ ничего не видѣлъ, кромѣ блестящаго узла волосъ, виднѣвшагося изъ-подъ темныхъ полей шляпы его хорошенькой сосѣдки и, время отъ времени, ея тонкаго профиля, когда она поворачивалась къ своей сестренкѣ. Онъ занялся праздными соображеніями на счетъ ея характера. Была ли она горда? въ ея улыбкѣ, когда она прошла мимо него, былъ оттѣнокъ пренебреженія. Своенравна? въ поворотѣ ея граціозной головки замѣчалось нѣчто высокомѣрное. Но при всемъ томъ она была добра; онъ заключалъ это изъ того довѣрія, съ какимъ дѣвочка прильнула къ ней, когда началась проповѣдь, а она нѣжно обвила ее рукой и притянула еще ближе къ себѣ.

Маркъ былъ уже влюбленъ нѣсколько разъ; послѣдняя любовь его была къ хорошенькой кокеткѣ, которая ловко водила его за носъ, и хотя весь ея репертуаръ былъ истощенъ и она перестала его интересовать къ тому времени, какъ они разстались по взаимному согласію, но ему нравилось думать, что сердце его разбито и навѣки охладѣло къ женщинамъ. Поэтому онъ находился въ самомъ благопріятномъ настроеніи для того, чтобы стать легкой жертвой новаго увлеченія.

Онъ думалъ, что еще никогда не встрѣчалъ дѣвушки, подобной той, которую теперь видѣлъ, такой естественной и не натянутой, а между тѣмъ, такой изящной во всѣхъ своихъ движеніяхъ. Какія поэмы, какія книги можно написать подъ ея вдохновеніемъ, и тутъ Маркъ съ болью вспоминалъ, что покончилъ со всѣмъ этимъ навсегда. Самая изысканная форма поклоненія внѣ его власти, еслибы даже ему и представился случай ухаживать за ней. Эта мысль никакъ не могла способствовать тому, чтобы онъ примирился съ своей судьбой.

Но возможно ли, чтобы случай свелъ его съ его новымъ божествомъ? По всей вѣроятности, нѣтъ. Въ жизни столько бываетъ этихъ соблазнительныхъ проблесковъ, изъ которыхъ никогда ничего не выходитъ. „Если она—дочь Гомпеджа,—думалъ онъ,—то

надо отказаться отъ всякой надежды; но если только есть малѣйшая возможность, то я не упущу ее изъ виду!"

И въ этихъ мечтахъ онъ прослушалъ проповѣдь и не замѣтилъ, какъ служба кончилась.

Когда они вышли изъ церкви, ноябрьское солнце ярко свѣтило. Оно высвободилось теперь изъ-за тучъ, разсѣяло туманъ и грѣло почти какъ весною. Маркъ поглядывалъ во всѣ стороны, ища м-ра Гомпеджа, съ его спутницами; но они остались позади и, какъ онъ опасался, намѣренно. Тѣмъ не менѣе онъ рѣшилъ узнать, кто онѣ такія.

— М-ръ Гомпеджъ былъ въ церкви съ своимъ семействомъ?— спросилъ онъ.

— Гомпеджъ холостякъ или, по крайней мѣрѣ, выдаетъ себя за такого,—язвительно замѣтилъ дядя.

— Кто же эти молодыя дѣвушки?

— Какія молодыя дѣвушки?

— Да тѣ, что сидѣли на его скамейкѣ,—сказалъ Маркъ немного нетерпѣливо;—дѣвочка съ длинными волосами и другая... постарше?

— Развѣ въ церковь ходятъ затѣмъ, чтобы глазѣть на публику? Я не замѣтилъ ихъ; онѣ пріѣзжія, какія-нибудь знакомыя Гомпеджа, полагаю. Въ сѣромъ была его сестра. Она ведетъ его хозяйство, а онъ ее тиранитъ.

Дядя Соломонъ былъ вдовецъ; племянница его покойной жены жила обыкновенно съ нимъ и вела его хозяйство. То была пожилая особа, безцвѣтная и холодная, но понимала, какъ ей слѣдуетъ себя вести въ качествѣ дальней родственницы, и заботилась объ удобствахъ хозяина. Въ настоящую минуту она находилась въ отсутствіи, и отчасти по этой причинѣ Маркъ былъ приглашенъ дядей въ гости.

Они отобѣдали въ небольшой теплой комнатѣ, просто, но хорошо убранной, и послѣ обѣда дядя Соломонъ далъ Марку сигару и раскрылъ томъ американскихъ комментаріевъ на апостольскія посланія, къ которымъ онъ прибѣгалъ, чтобы придать воскресный характеръ своему послѣобѣденному сну; но прежде нежели книга возъимѣла свое дѣйствіе, сквозь закрытыя окна послышались голоса, слабо долетавшіе, очевидно, съ конца сада.

М-ръ Лайтовлеръ открылъ отяжелѣвшіе вѣки:

— Кто-то забрался въ мой садъ,—сказалъ онъ.—Надо пойти и выгнать... это навѣрное опять деревенскіе ребятишки... повадились ко мнѣ...

Онъ надѣлъ старую садовую шляпу и вышелъ въ сопровожденіи Марка.

— Голоса доходятъ какъ будто со стороны дороги Гомпеджа, но никого не видать, — продолжалъ онъ: — да, такъ и есть! Вотъ и самъ Гомпеджъ и его гости глядятъ черезъ мой заборъ! Чего это ему вздумалось глазѣть на мою собственность? Вотъ нахалъ!

Когда они подошли ближе, онъ остановился, и повернувъ къ Марку лицо, побагровѣвшее отъ гнѣва, сказалъ:

— Нѣтъ, это такое нахальство, что превышаетъ всякое вѣроятіе! Каково? онъ глазѣетъ на свою проклятую гусыню, какъ та прохаживается по моему саду, и навѣрное самъ впустилъ ее!

Дойдя до мѣста дѣйствія, Маркъ увидѣлъ сердитаго стараго господина, бывшаго утромъ въ церкви; онъ съ гнѣвомъ смотрѣлъ черезъ заборъ. Рядомъ съ нимъ стояла красивая и стройная дѣвушка, которую Маркъ видѣлъ въ церкви; удивленное личико сестры ея показывалось по временамъ надъ кольями, а позади лаяла и визжала маленькая собачонка.

Всѣ они глядѣли на большого сѣраго гуся, который безспорно забрался въ чужія владѣнія, но несправедливо было бы говорить, какъ м-ръ Лайтовлеръ, что они поощряютъ его къ этому. Напротивъ того, главной заботой ихъ было вернуть его, но такъ какъ заборъ былъ высокъ, а м-ръ Гомпеджъ недостаточно молодъ, чтобы перелѣзть черезъ него, то имъ приходилось ждать, пока птица сама наконецъ образумится.

Но, какъ вскорѣ замѣтилъ Маркъ, безпутная птица не легко могла внять доводамъ разсудка, ибо находилась въ состояніи сильнаго опьяненія; она шатаясь брела по дорожкѣ, нахально вытянувъ свою длинную шею, и ея вялое, сонное гоготаніе какъ будто говорило: — Убирайтесь, я сама себѣ госпожа! — такъ ясно, какъ только это можно выразить на птичьемъ языкѣ.

М-ръ Лайтовлеръ коротко и нѣсколько злобно засмѣялся.

— Ого! Вилькоксъ таки сдѣлалъ, какъ сказалъ, — замѣтилъ онъ. Маркъ бросилъ сигару и слегка приподнялъ шляпу; ему было совѣстно и вмѣстѣ съ тѣмъ ужасно смѣшно. Онъ не смѣлъ взглянуть въ лицо спутницы м-ра Гомпеджа и держался на заднемъ планѣ, въ качествѣ безстрастнаго зрителя.

М-ръ Лайтовлеръ, очевидно, рѣшилъ быть какъ можно грубѣе.

— Добрый день, м-ръ Гомпеджъ, — началъ онъ, — кажется, что имѣлъ удовольствіе уже раньше познакомиться съ вашей птицей; она такъ добра, что по временамъ приходитъ помогать моему садовнику; вы извините меня, но я осмѣлюсь замѣтить,

что когда она находится въ такомъ состояніи, то лучше бы ее держать дома.

— Это срамъ, сэръ,—отрѣзалъ другой джентльменъ, задѣтый такой ироніей:—чистый срамъ!

— Да! это мало дѣлаетъ чести вашему гусю!—согласился дядя Соломонъ, нарочно переиначивая смыслъ словъ своего сосѣда!—Часто это съ нимъ случается?

— Бѣдная гусыня,—пропѣла дѣвочка, появляясь у отверстія въ заборѣ:—какая она странная; крестный, она вѣрно больна?

— Уходи отсюда, Долли,—отвѣчалъ м-ръ Гомпеджъ:—тебѣ не годится на это смотрѣть; уходи поскорѣй.

— Ну, тогда и Фрискъ не долженъ смотрѣть; пойдемъ, Фрискъ,—и Долли снова исчезла.

Когда она ушла, старый джентльменъ сказалъ съ угрожающей улыбкой, выказавшей всѣ его зубы:

— Ну-съ, м-ръ Лайтовлеръ, я вамъ, вѣроятно, обязанъ за то ужасное состояніе, въ какомъ находится эта птица?

— Кто-нибудь да ее напоилъ, это вѣрно,—отвѣчалъ тотъ, глядя на птицу, слабо пытавшуюся распустить крылья и презрительно загоготать надъ міромъ.

— Не отдѣлывайтесь словами, сэръ; развѣ я не вижу, что въ вашемъ саду положили отраву для этой несчастной птицы?

— Успокойтесь, м-ръ Гомпеджъ, ядъ этотъ не что иное, какъ мой старый коньякъ,—отвѣчалъ м-ръ Лайтовлеръ:—и позвольте мнѣ вамъ замѣтить, что рѣдкому человѣку, не то, что какому-нибудь гусю, удается отвѣдать его. Мой садовникъ, должно быть, полилъ имъ нѣкоторыя растенія... ради земледѣльческихъ цѣлей, а ваша птица пролѣзла въ дыру (про которую вы, быть можетъ, припомните, я вамъ говорилъ) и немножко слишкомъ понабралась имъ. На здоровье, только ужъ не сердитесь на меня, если у нея завтра будетъ болѣть голова.

Въ этотъ моментъ Маркъ не могъ удержаться, чтобы не взглянуть на хорошенькое личико, видѣвшееся по ту сторону забора. Не смотря на свою женскую жалостливость и уваженіе къ владѣльцу птицы, Мабель не могла не сознавать нелѣпости этой сцены между двумя старыми разсерженными джентльменами, перебранивавшимися черезъ заборъ изъ-за пьяной птицы. Маркъ увидѣлъ, что ей хотѣлось смѣяться, и ея темносѣрые глаза на минуту встрѣтились съ его глазами и сказали, что она его понимаетъ. То была точно электрическая искра, затѣмъ она отвернулась, слегка покраснѣвъ.

— Я ухожу, дядя Антони,—сказала она,—приходите и вы

поскорѣе; будетъ ссориться, попросите ихъ отдать вамъ назадъ бѣднаго гуся, и я снесу его на птичій дворъ.

— Предоставьте мнѣ поступать, какъ я знаю,—досадливо отвѣчалъ м-ръ Гомпеджъ.—Могу я васъ попросить, м-ръ Лайтовлеръ, передать мнѣ птицу черезъ заборъ... когда вы покончите свою забаву.

— Эта птица такъ любитъ копаться въ моемъ навозѣ, что я долженъ просить извинить меня,—сказалъ м-ръ Лайтовлеръ.—Если вы посвистите, то я попробую загнать ее въ дыру; но ей всегда легче пролѣзть въ нее натощакъ, нежели наѣвшись, даже и тогда, когда она трезва. Боюсь, что вамъ придется подождать, пока она нѣсколько придетъ въ себя.

Тутъ гусь наткнулся на цвѣтной горшокъ, до половины зарытый въ землю, и безпомощно покатился на землю, закрывъ глаза.

— Ахъ, бѣдняжка!—вскричала Мабель,—она умираетъ.

— Видите вы это?—яростно спросилъ владѣлецъ птицы:—она умираетъ и вы отравили ее, сэръ; намоченный ядомъ хлѣбъ былъ положенъ тутъ вами или по вашему приказанію... и, клянусь Богомъ, вы за это отвѣтите.

— Я никогда не клалъ и не приказывалъ класть.

— Увидимъ, увидимъ,—сказалъ м-ръ Гомпеджъ:—мы объ этомъ послѣ поговоримъ.

— Слушайте-же, пожалуйста, не забывайтесь,—заревѣлъ дядя Соломонъ:—будьте хладнокровнѣе.

— Да, будешь тутъ хладнокровнымъ, какъ же! Пойти спокойно погулять въ воскресный день и увидѣть, что вашего гуся заманилъ въ свой садъ сосѣдъ и отравилъ его водкой!

— Заманилъ! это мнѣ нравится! ваша птица такъ застѣнчива, неправда ли, что если ее формально не пригласить, то сама она и дороги не найдетъ?—подсмѣивался м-ръ Лайтовлеръ.

Мабель уже убѣжала; Маркъ остался и уговаривалъ дядю уйти по-добру, по-здорову.

— Я такъ не оставлю этого дѣла, сэръ; нѣтъ, не оставлю,—рычалъ м-ръ Гомпеджъ въ ярости:—повѣрьте, что оно вамъ мало принесетъ чести, хотя вы и церковный староста.

— Не смѣйте поднимать этого вопроса здѣсь!—отпарировалъ ядюнка Соломонъ.—Не вамъ судить меня какъ церковнаго старосту, м-ръ Гомпеджъ, сэръ; да, никакъ не вамъ.

— Не бывать вамъ больше церковнымъ старостой. Я доведу это дѣло до суда. Я начну искъ противъ васъ за беззаконное, дурное и жестокое обращеніе съ моимъ гусемъ, сэръ.

— Говорятъ же вамъ, что я не трогалъ вашего гуся, а если я хочу поливать свой садъ виски или водкой или шампанскимъ, то неужто же я не властенъ этого сдѣлать и долженъ заботиться о вашемъ глупомъ гусѣ; скажите пожалуйста, я не просилъ его приходить сюда и напиваться. Плевать я хотѣлъ на ваши иски, сэръ. Можете судиться, сколько вамъ угодно.

Но не смотря на эти храбрыя заявленія, въ душѣ м-ръ Лайтовлеръ порядочно трусилъ.

— Увидимъ!—отвѣчалъ тотъ злобно:—а теперь еще разъ повторяю, отдайте мнѣ мою бѣдную птицу.

Маркъ нашелъ, что дѣло зашло слишкомъ далеко. Онъ поднялъ тяжелую птицу, которая слабо сопротивлялась, и понесъ ее въ забору.

— Вотъ жертва, м-ръ Гомпеджъ,—сказалъ онъ развязно.— Я надѣюсь, что часа черезъ два она совсѣмъ поправится, а теперь, полагаю, можно покончить со всѣмъ этимъ.

Старый джентльменъ взглянулъ на Марка, принимая отъ него птицу.

— Не знаю, кто вы такой, молодой человѣкъ, а также, какую роль вы играли въ этой позорной исторіи. Если я узнаю, что вы принимали также участіе въ этомъ дѣлѣ, то заставлю васъ раскаяться. Я не желаю входить ни въ какія дальнѣйшія объясненія ни съ вами, ни съ вашимъ знакомымъ, который настолько старъ, что могъ бы лучше понимать обязанности христіанина и сосѣда. Передайте ему, что онъ еще обо мнѣ услышитъ.

Онъ удалился съ обиженной птицей подъ мышкой, оставивъ дядю Соломона въ довольно мрачныхъ размышленіяхъ. Онъ слышалъ, разумѣется, послѣднія слова и поглядѣлъ жалобно на племянника.

— Хорошо тебѣ смѣяться,—говорилъ онъ Марку, идя обратно въ домъ: — но знай, что если этотъ злобный старый идіотъ вздумаетъ начать со мной тяжбу, то надѣлаетъ мнѣ кучу хлопотъ. Онъ вѣдь законникъ, этотъ Гомпеджъ, и страшный крючкотворъ. Удивительно пріятно мнѣ будетъ видѣть, какъ въ газетахъ пропечатаютъ меня за то, что я мучилъ гуся! Я увѣренъ, что они будутъ увѣрять, что я влилъ ему водку прямо въ горло. Это все Вилькоксъ надѣлалъ, а совсѣмъ не я; но они все свалятъ на меня. Я поѣду завтра къ Грину и Ферретту и поговорю съ ними. Ты изучалъ законы. Какъ ты думаешь обо всемъ этомъ? Могутъ они засудить меня? Но вѣдь это страшно глупо, судиться изъ-за какого-то дурацкаго гуся!

„Еслибы и былъ какой-нибудь шансъ познакомиться съ пре-

лестной дѣвушкой,—съ горечью думалъ Маркъ, послѣ того, какъ утѣшилъ дядю настолько, насколько скромное знаніе законовъ ему дозволяло это,—то теперь онъ потерянъ: эта проклятая птица разрушила всѣ надежды, подобно тому, какъ ея предки обманули ожиданія предпріимчивыхъ галловъ".

Сумерки наступали, когда они шли черезъ лугъ, съ котораго уже почти сошли послѣдніе лучи солнечнаго заката; вульгарная вилла окрасилась фіолетовымъ цвѣтомъ, а на западѣ живыя изгороди и деревья вырѣзывались прихотливыми силуэтами на золотомъ и свѣтло-палевомъ фонѣ; одно или два облака цвѣта фламинго лѣниво плыли высоко, высоко въ зеленовато-голубомъ небѣ. На всемъ окружающемъ лежалъ отпечатокъ мира и спокойствія, отмѣчающаго обыкновенно хорошій осенній день, и царило то особенное безмолвіе, какое всегда бываетъ замѣтно въ воскресный день.

Маркъ подпалъ вліянію всего этого и смутно утѣшился. Онъ вспомнилъ взглядъ, какимъ онъ обмѣнялся съ дѣвушкой надъ заборомъ, и это успокоило его.

За ужиномъ дядя тоже пріободрился.

— Если онъ подастъ жалобу, то ему вернутъ ее,—сказалъ онъ самоувѣренно.—Онъ не даромъ вѣдь законникъ, долженъ же онъ это знать, полагаю. Развѣ я могу отвѣчать за то, что сдѣлаетъ Вилькоксъ безъ моего приказанія. Я не говорилъ ему, чтобы онъ этого не дѣлалъ, но вѣдь не говорилъ также, чтобы онъ это сдѣлалъ. И въ чемъ же тутъ, спрашивается, жестокость? такой нектаръ, какъ эта водка. Вотъ налей-ка себѣ рюмку и попробуй.

Но когда они шли спать на верхъ, онъ остановился на верху лѣстницы и сказалъ Марку:—Кстати, напомни мнѣ приказать Вилькоксу разузнать завтра по утру, что дѣлается съ гусемъ.

VI.

Такъ близко и такъ, однако, далеко.

Когда Маркъ проснулся на другое утро, погода перемѣнилась. Ночью былъ морозъ и туманъ окутывалъ тонкой бѣлой пеленой всю окрестность: немногія деревья, которыя можно было видѣть по близости, казались какими-то сѣрыми и это дѣлало ихъ похожими на привидѣнія. Завтракъ былъ поданъ рано, такъ какъ Маркъ долженъ былъ торопиться въ школу, и онъ сошелъ внизъ къ дядѣ, который уже всталъ, пожимаясь отъ холода.

— Кабріолетъ будетъ готовъ черезъ пять минутъ, — сказалъ этотъ джентльменъ съ набитымъ ртомъ,—поэтому поторопись съ завтракомъ. Я самъ отвезу тебя на станцію.

Дорогой онъ читалъ наставленія Марку, но Маркъ не слушалъ его. Онъ думалъ о дѣвушкѣ, глаза которой встрѣтились съ его глазами наканунѣ.

Всю ночь онъ видѣлъ ее во снѣ, тревожномъ, нелѣпомъ, что не мѣшало ему находиться подъ впечатлѣніемъ этого сна. Свистокъ, раздавшійся въ воздухѣ, отдаленный стукъ колесъ о рельсы оповѣстилъ ихъ, что они приближаются къ станціи, но туманъ настолько усилился, что ничего нельзя было видѣть, пока м-ръ Лайтовлеръ не подъѣхалъ къ лѣстницѣ, которая, казалось, никуда не вела и стояла особнякомъ. Здѣсь они поручили кабріолетъ сторожу, а сами пошли на платформу.

— На дворѣ слишкомъ холодно,—сказалъ дядя Соломонъ,—пойдемъ въ залу, тамъ топится каминъ.—Когда они вошли въ залу, то у камина стояла граціозная фигура дѣвушки, грѣвшей руки у огня. Марку не надо было видѣть ея лица, чтобы узнать, что судьба сжалилась надъ нимъ и посылаетъ ему новый случай. Гости м-ра Гомпеджа, очевидно, возвращались въ городъ съ тѣмъ же поѣздомъ, что и онъ, и самъ старый джентльменъ стоялъ спиной къ нимъ и разсматривалъ росписаніе поѣздовъ, прибитое на стѣнѣ.

Дядя Соломонъ, которому Вилькоксъ уже успѣлъ сообщить о томъ, что злополучный гусь находится въ вожделѣнномъ здравіи, повидимому, не испытывалъ никакой неловкости отъ этой встрѣчи, но шумно двигался и кашлялъ, желая какъ будто привлечь вниманіе врага. Маркъ чувствовалъ большое смущеніе, опасаясь сцены; но поглядывалъ такъ часто, какъ только смѣлъ, на даму своихъ мыслей, которая надѣвала перчатки съ рѣшительнымъ видомъ.

— Крестный,—сказала вдругъ маленькая дѣвочка,—вы мнѣ не сказали: хорошо ли велъ себя Фрискъ?

— Такъ хорошо, что не давалъ мнѣ спать всю ночь и занималъ меня своей персоной.

— Что онъ выдъ, крестный? Онъ иногда, знаете, воетъ, когда его оставляютъ въ саду.

— О, да, онъ много выдъ; это онъ отлично умѣетъ дѣлать.

— И вамъ, въ самомъ дѣлѣ, это нравится, крестный? — вопрошала Долли: — многіе, знаете, этого не любятъ.

— Какіе ограниченные люди,—проворчалъ старый джентльменъ.

— Неправда ли? — ораторствовала невинная Долли:—ну, я рада, крестный, что онъ вамъ нравится, потому что теперь я всегда буду его брать съ собой.

— Здравствуйте, м-ръ Гомпеджъ,—сказалъ дядя Соломонъ, прокашливаясь.

— Здравствуйте,—сухо отрѣзалъ тотъ. Дѣвушка отвѣтила на поклонъ Марка, но не подала виду, что узнаетъ его.

Долли громко замѣтила:

— Э, да это старый сосѣдъ, который чѣмъ-то опоилъ вашего гуся; да, крестный?

— Надѣюсь,—продолжалъ дядя Соломонъ,—что вы обдумали вчерашнее свое поведеніе и убѣдились, что зашли слишкомъ далеко, употребивъ тѣ выраженія, къ какимъ вы вчера прибѣгли, тѣмъ болѣе, что птица совсѣмъ здорова, какъ мнѣ передавали сегодня утромъ.

— Не желаю входить въ дальнѣйшія пренія по этому предмету въ настоящую минуту,—отвѣчалъ тотъ сердито.

— Да и мнѣ онъ порядкомъ надоѣлъ, и если вы согласны признать, что были слишкомъ рѣзки вчера, то я готовъ, съ своей стороны, предать его забвенію.

— Я не сомнѣваюсь въ этомъ, м-ръ Лайтовлеръ, но вы должны извинить, если я уклонюсь отъ разсужденій объ этомъ вопросѣ. Я не могу отказаться отъ него такъ легко, какъ вы склонны повидимому думать, и... вороче сказать, я не намѣренъ говорить объ этомъ здѣсь, сэръ.

— Какъ вамъ угодно. Я хотѣлъ только отнестись къ вамъ, какъ добрый сосѣдъ, но это ничего не значитъ. Я могу такъ же хорошо, какъ и другіе, довольствоваться своимъ обществомъ.

— Если такъ, то будьте такъ добры, м-ръ Лайтовлеръ. Мабель, поѣздъ уже пришелъ. Забирайте свои пледы и другія вещи и идемъ.

Онъ надменно прошелъ мимо негодующаго дядюшки Соломона, въ сопровожденіи Мабель и Долли, причемъ первой было какъ будто немножко стыдно поведенія м-ра Гомпеджа, потому что она опустила глаза, проходя мимо Марка, между тѣмъ какъ Долли съ дѣтскимъ любопытствомъ поглядѣла на него.

— Чортъ бы побралъ этихъ старыхъ дураковъ, — сердился про себя Маркъ:—очень нужно имъ было такъ нелѣпо повздорить между собой. Будь они только вѣжливы другъ съ другомъ, я могъ бы уже быть теперь представленъ Мабель; мы могли бы даже вмѣстѣ доѣхать до города.

Маркъ сѣлъ въ отдѣленіе, находившееся рядомъ съ тѣмъ, въ

которое м-ръ Гомпеджъ усадилъ Мабель съ сестрой. Ближе сѣсть онъ не посмѣлъ. Онъ слышалъ, какъ чистый голосокъ Мабель проговорилъ прощальныя слова въ окно вагона, въ то время какъ дядя Соломонъ повторялъ свои увѣщанія усердно работать и воздерживаться отъ всякаго „литературнаго вздора".

Отъ Чигберна до Лондона было не очень далеко, но какъ мы вскорѣ увидимъ, судьба рѣшила, что это путешествіе останется памятнымъ какъ для Марка, такъ и для Мабель.

VII.

Въ туманѣ.

Маркъ былъ вызванъ изъ задумчивости, въ которую погрузился, сидя въ вагонѣ, тѣмъ обстоятельствомъ, что поѣздъ послѣ нѣсколько замедлившагося хода совсѣмъ остановился. — Не можетъ быть, чтобы мы уже пріѣхали, — подумалъ онъ, и выглянувъ въ окно дѣйствительно убѣдился, что не ошибся. Они навѣрное были еще далеко отъ столицы, да и не видать было, чтобы они стояли около станціи, хотя трудно было удостовѣриться въ этомъ, благодаря густому туману, окутывавшему все кругомъ.

Вдоль всего поѣзда разговоры пассажировъ, не заглушаемые больше шумомъ движенія, слышались точно гудѣнье пчелъ. Время отъ времени явственнѣе долетали нѣкоторыя слова, заставлявшія другихъ невольно прислушиваться, потому что при такихъ обстоятельствахъ самый простой разговоръ пріобрѣтаетъ необыкновенную пикантность, можетъ быть потому, что не видишь говорящихъ, и это дѣйствуетъ на воображеніе, или потому, что они не ожидаютъ, что ихъ слышатъ другіе.

Но мало-по-малу всѣ пассажиры сообразили, должно быть, что остановка необычайная; стали спускать стекла въ окнахъ вагоновъ, и въ послѣднихъ стали появляться вопросительныя головы. Разные голоса вопрошали, гдѣ же это они находятся, и почему стоятъ и о чемъ думаетъ, чортъ бы ее побралъ, компанія. На эти вопросы кондукторъ, медленно расхаживавшій вдоль поѣзда, отвѣчалъ съ дипломатической увертливостью, отличающей оффиціальное нежеланіе сознаться въ возможной неисправности.

— Да, — солидно отвѣчалъ онъ:—оказалось необходимымъ остановиться; но сейчасъ должны тронуться; онъ не знаетъ какъ долго еще простоятъ; что-то случилось съ машиной; но ничего серьезнаго; онъ не можетъ въ точности сказать, что̀ именно.

Но какъ разъ подъ окномъ Марка къ нему подошелъ другой кондукторъ съ другого конца поѣзда, гдѣ произошла остановка, и между ними началась торопливая конференція, въ которой уже не было степенности ни съ той, ни съ другой стороны. — Бѣги со всѣхъ ногъ и подай сигналъ выстрѣлами; нельзя терять ни минуты; онъ сейчасъ можетъ налетѣть на насъ, а другихъ сигналовъ не увидятъ въ такую погоду. Я бы на твоемъ мѣстѣ, товарищъ, высадилъ ихъ изъ вагоновъ. Имъ тамъ можетъ не поздоровиться.

Одинъ кондукторъ побѣжалъ подавать сигналы, употребляемые во время тумана, а другой отправился предупреждать пассажировъ. — Выходите изъ вагоновъ, господа; скорѣе, выходите!—кричалъ онъ.

Въ каждомъ поѣздѣ всегда бываетъ какой-нибудь несговорчивый человѣкъ, требующій логическихъ доказательствъ необходимости потревожить свою персону. Онъ сердито выставилъ голову въ окно, подлѣ Марка:

— Слушайте, кондукторъ! — съ важностью закричалъ онъ: — что это значитъ? Почему я долженъ выходить?

— Потому что для васъ будетъ лучше, — коротко отвѣчалъ тотъ.

— Но почему? гдѣ же платформа? Я настаиваю на томъ, чтобы меня подвезли къ платформѣ, я не желаю сломать себѣ шеи.

Нѣсколько человѣкъ, растворившихъ двери своихъ вагоновъ и показавшихся на ступенькахъ, остановились при этихъ словахъ, какъ бы напомнившихъ имъ о чувствѣ собственнаго достоинства.

— Какъ вамъ угодно, сэръ,—отвѣчалъ кондукторъ:—машина сломалась и на насъ съ минуты на минуту можетъ налетѣть другой поѣздъ въ этомъ туманѣ...

Послѣ этого всѣ пассажиры, и первый изъ нихъ несговорчивый господинъ, выказали такую прыть, что скоро очутились внѣ вагоновъ и побѣжали долой съ полотна. Маркъ, мигомъ постигнувшій, какой шансъ посылаетъ ему милостивая судьба, бросился къ дверямъ сосѣдняго отдѣленія, схватилъ Долли на руки въ то время, какъ она готовилась выпрыгнуть изъ вагона, и, едва вѣря своему счастію, подалъ руку Мабели и продержалъ одну счастливую минуту ея ручку въ своихъ рукахъ, въ то время какъ она спускалась съ высокой и крутой ступеньки.

— Скорѣй сходите съ рельсовъ, и отойдите какъ можно дальше отъ дороги на случай столкновенія.

Мабель поблѣднѣла, потому что до сихъ поръ не думала, что существуетъ настоящая опасность. — Не отходи отъ меня, Долли,—сказала она съ полотна.—Здѣсь мы въ безопасности.

Туманъ былъ такъ густъ, что когда они отошли отъ рельсовъ на нѣсколько шаговъ, то поѣзда совсѣмъ не стало видно; пассажиры двигались взволнованными группами, не зная сами, какихъ ужасовъ они могутъ быть свидѣтелями. Волненіе усилилось, когда одинъ изъ нихъ объявилъ, что слышитъ стукъ приближающагося поѣзда.—Слава Богу, что мы во-время успѣли выбраться, и спаси Господь тѣхъ, кто на томъ поѣздѣ! -- закричалъ чей-то голосъ.

Долли услышала это и громко завопила:

— Мабель, мы забыли Фриска! онъ будетъ убитъ; бѣдная собачка, она будетъ убита,—рыдала она.

И къ ужасу Марка бросилась бѣжать въ поѣзду; онъ схватилъ ее за руку.—Пустите меня!—отбивалась Долли,—я должна спасти Фриска.

— Онъ выскочилъ изъ вагона и навѣрное теперь уже въ безопасности,—шепнулъ ей Маркъ на ухо.

— Онъ крѣпко спалъ въ корзинкѣ и не проснется, если я не позову его. Къ чему вы меня держите! Пустите меня,—настаивала Долли.

— Нѣтъ, Долли, нѣтъ,—просила Мабель, наклонившись къ ней,—теперь уже поздно. Тяжело бросить его на произволъ судьбы, но уже дѣлать нечего.

И говоря это, она тоже заплакала.

Маркъ не былъ человѣкомъ, отъ котораго вообще можно было ожидать чего-нибудь героическаго. Нельзя сказать, чтобы онъ былъ себялюбивѣе большинства молодыхъ людей; обыкновенно онъ не любилъ безпокоить себя ради другихъ и въ болѣе хладнокровную минуту и еслибы его не подстрекало присутствіе Мабели, онъ бы конечно вовсе не нашелъ нужнымъ бѣжать спасать собаку отъ мучительной смерти.

Но тутъ была Мабель, и желаніе отличиться въ ея глазахъ сдѣлало героемъ человѣка, характеръ котораго менѣе всего обѣщалъ геройскихъ подвиговъ. Физически онъ былъ достаточно храбръ и способенъ поддаваться первому впечатлѣнію, не заботясь о послѣдствіяхъ. Теперь имъ овладѣло желаніе спасти собаку и онъ слѣпо ему повиновался.

— Подождите здѣсь,—сказалъ онъ,—я схожу за ней.

— О, нѣтъ, нѣтъ,—закричала Мабель;—вы рискуете жизнью.

— Не удерживай его, Мабель,—просила Долли:—онъ хочетъ спасти мою собаку.

Маркъ уже ушелъ и Мабель осталось только утѣшать, какъ она умѣла, плачущую Долли. Маркъ тѣмъ временемъ прошелъ къ той части поѣзда, гдѣ находилось отдѣленіе, которое онъ за-

нималъ, и нашелъ его безъ труда, когда приблизился настолько, чтобы различать предметы сквозь туманъ; дверь въ отдѣленіе Мабели была открыта, и въ ту минуту, какъ онъ впрыгнулъ въ него, онъ услышалъ стукъ приближающагося поѣзда, свистки котораго показались ему адской музыкой, и впервые ему пришло въ голову все слышанное имъ о столкновеніяхъ поѣздовъ и различныхъ пораненіяхъ, претерпѣваемыхъ въ такомъ случаѣ пассажирами.

Но ему некогда было думать объ этомъ; на другомъ концѣ вагона стояла маленькая круглая корзинка, которую онъ видѣлъ въ рукахъ у Долли на Чигбёрнской станціи и въ немъ находился терріеръ, крѣпко спавшій, какъ это и предполагала Долли. Онъ взялъ сонную собаченку, причемъ неблагодарная зарычала, но не успѣлъ соскочить съ ней изъ вагона, какъ послышался сильный толчокъ, отбросившій его на другой конецъ отдѣленія.

Пока это происходило, пассажиры перваго поѣзда, теперь, когда худшее уже произошло и слабые крики и стоны вдоль поѣзда затихли, направились туда, откуда они слышались, и Мабель, держа Долли крѣпко за руку, принудила себя идти за ними, хотя у ней голова кружилась и подгибались колѣни отъ страха, при мысли, что́ она можетъ увидѣть.

Первое, что́ онѣ увидѣли, это толпу возбужденныхъ, взволнованныхъ людей, сыпавшихъ вопросами и бранившихъ начальство обоихъ поѣздовъ.—Къ чему оставили поѣздъ на рельсахъ и не отвели его? вѣдь они могли всѣ убиться.—Все это происходитъ отъ преступной небрежности и слѣдуетъ непремѣнно произвести слѣдствіе... они будутъ настаивать на слѣдствіи... они будутъ жаловаться главной дирекціи и т. д.

Лица казались блѣдными и испуганными въ туманѣ, но всѣ ораторы были, очевидно, цѣлы и невредимы, и сколько можно было судить, ни одинъ изъ поѣздовъ не сошелъ съ рельсовъ, но куда дѣвался молодой человѣкъ, который взялся спасти собаку?

— О, Мабель, - кричала Долли,—Фрискъ убитъ, я увѣрена въ этомъ, спроси, пожалуйста, разузнай, что́ случилось.

Но Мабель не рѣшалась разспрашивать изъ боязни услышать, что человѣческая жизнь принесена благородно, но безплодно въ жертву; она могла только пробираться сквозь толпу съ цѣлью добраться до вагона, гдѣ ждетъ ее рѣшеніе мучительнаго вопроса.

— Кто-то есть въ одномъ изъ вагоновъ, — услышала она чей-то голосъ, когда подошла ближе и сердце ея крѣпче забилось; но вотъ толпа разступилась и она увидѣла Марка Ашберна, идущаго на встрѣчу ей съ блѣдной улыбкой на помертвѣломъ лицѣ и съ трепещущей собачкой на рукахъ.

Къ счастью для Марка, туманные сигналы даны были вовремя, и второй поѣздъ успѣли снабдить сильными тормазами, благодаря которымъ толчокъ былъ значительно ослабленъ, и Маркъ отдѣлался легкимъ ушибомъ, оглушившимъ его только на минуту.

Посидѣвъ нѣсколько мгновеній, чтобы придти въ себя окончательно, онъ поднялъ терріера съ подушекъ, на которыхъ тотъ дрожалъ, прикурнувъ къ нимъ, послѣ того, какъ вышелъ изъ его рукъ при столкновеніи; Маркъ, чувствуя себя все еще немного оглушеннымъ и слабымъ, пошелъ въ удивленную толпу и направился, какъ мы уже видѣли, къ Мабель и Долли.

Долли была слишкомъ взволнована, чтобы выразить свои чувства въ словахъ, она схватила Фриска со слезами на глазахъ и убѣжала съ нимъ, не пытаясь даже поблагодарить его спасителя. Но за то сестра ея съ лихвой вознаградила его за это.

— Какъ намъ благодарить васъ, — сказала она съ дрожью въ голосѣ и невольнымъ восхищеніемъ во взглядѣ: — это было такъ мужественно съ вашей стороны; вы могли быть убиты. Ахъ! вы ушибли себѣ лобъ; кровь шла изъ ранки, и хотя теперь больше не идетъ, но позвольте мнѣ перевязать ее, чтобы она опять не открылась.

Въ сущности то была пустая царапина, но Маркъ не сталъ разубѣждать въ ея важности, чтобы не перестать быть интереснымъ въ глазахъ дѣвушки.

— Я боюсь, что вамъ очень больно,—говорила она съ нѣжной заботой въ голосѣ и во взглядѣ, но Маркъ протестовалъ, что боль ничтожная, и это была святая истина, хотя онъ и не желалъ, чтобы ей повѣрили.

Они прошли нѣсколько шаговъ; по близости никого не было видно, всѣ остальные пассажиры были заняты тѣмъ, что составляли замѣтки или допекали несчастныхъ кондукторовъ. Маркъ, взглянувъ на свою прекрасную спутницу, вдругъ замѣтилъ, что мысли ея заняты теперь не имъ, а чѣмъ-то другимъ, и она вглядывается въ окружающій туманъ.

— Я ищу свою сестренку,—отвѣчала она на его вопросительный взглядъ.—Она убѣжала съ собачкой, которую вы спасли, а въ этомъ туманѣ такъ легко заблудиться. Я должна найти ее... о! вамъ дурно!—закричала она, увидя, что Маркъ зашатался и чуть не упалъ.

— Только голова кружится,—отвѣчалъ онъ:—еслибы... еслибы я могъ присѣсть на минутку, что это тамъ виднѣется, кажется, барьеръ?

— Да, повидимому. Можете ли вы дойти одинъ безъ посто-

ронней помощи?—съ состраданіемъ спросила она.—Обопритесь на меня.

Онъ казался ей какимъ-то молодымъ рыцаремъ, раненымъ изъ-за нея и заслуживающимъ ея попеченій.

— Если вы будете такъ добры,—отвѣтилъ Маркъ.

Онъ сознавалъ, что безсовѣстно шарлатанитъ, потому что отлично могъ въ эту минуту дойти до барьера одинъ. Онъ ничѣмъ инымъ не могъ бы извинить свою эксплуатацію ея симпатіи, кромѣ того, что боялся липнуться ея, и находилъ опьяняющую прелесть въ томъ, что за нимъ ухаживаетъ дѣвушка, отъ которой онъ недавно еще врядъ ли могъ надѣяться дождаться втораго равнодушнаго взгляда. Если онъ преувеличивалъ свое нездоровье, то можно надѣяться, что добрые люди извинятъ ему это, въ виду вышеназванныхъ обстоятельствъ.

Итакъ онъ дозволилъ Мабели довести себя до барьера и усѣлся на одну изъ его гнилыхъ перекладинъ. Между тѣмъ, какъ она намочила платокъ одеколономъ или другой какой-то душистой жидкостью и приказала ему обтереть себѣ лобъ.

— Желала бы я знать,—сказала она,—есть ли докторъ въ числѣ пассажировъ. Навѣрное долженъ быть. Мнѣ кажется, вамъ бы слѣдовало посовѣтоваться съ докторомъ. Я пойду узнаю, нѣтъ ли доктора и приведу его къ вамъ.

Но Маркъ объявилъ, что ему теперь совсѣмъ хорошо, и попросилъ бы ее не оставлять его, еслибы смѣлъ. Но такъ какъ нездоровье его оказывалось несерьезнымъ, то Мабель опять стала тревожиться о Долли.

— Я не буду спокойна, пока не найду ее,—говорила она:—и если вы дѣйствительно поправились, то не можете ли помочь мнѣ найти ее? Она навѣрное гдѣ-нибудь недалеко.

Маркъ радъ былъ всякому предлогу остаться съ ней и охотно согласился.

— Идите въ эту сторону, а я пойду въ ту и мы встрѣтимся опять здѣсь.

— Не лучше ли намъ идти вмѣстѣ, — предложилъ Маркъ, которому такой планъ совсѣмъ не понравился:—она можетъ не узнать меня, если я буду безъ васъ.

— Нѣтъ, она навѣрное узнаетъ васъ, — нетерпѣливо замѣтила Мабель.—Какъ можетъ Долли забыть васъ послѣ того, что вы сдѣлали; но мы теряемъ время. Ступайте въ эту сторону и время отъ времени кликайте ее.

И сама пошла въ другую сторону, а Марку ничего больше не оставалось, какъ повиноваться. Онъ пошелъ, клича время отъ

времени: Долли! Долли! и чувствуя себя нелѣпымъ и несчастнымъ, какъ вдругъ какая-то фигура выросла у него подъ носомъ.

— Вы джентльменъ изъ поѣзда, сэръ? — спросила фигура, оказавшаяся кондукторомъ.

— Да, что вамъ нужно?

— Машина исправлена, сэръ. Поврежденіе было совсѣмъ пустое, сэръ, и мы сейчасъ трогаемся въ путь, сэръ; я собираю всѣхъ пассажировъ.

Марку не особенно хотѣлось уѣхать, но онъ не былъ господинъ своего времени, ему давно уже слѣдовало быть въ школѣ и онъ не могъ долѣе медлить. Онъ не забылъ, какъ, проспавъ однажды, долженъ былъ выслушать вѣжливые, но ѣдкіе упреки директора. Теперь у него былъ законный предлогъ, но все же злоупотреблять имъ не слѣдовало.

Однако, онъ съ минуту колебался.

— Сейчасъ иду,—сказалъ онъ,—но я ищу лэди съ маленькой дѣвочкой и собачкой. Онѣ могутъ не попасть на поѣздъ. Подождите, пока я пойду и предупрежу ихъ.

— Не безпокойтесь, сэръ, мы безъ нихъ не уѣдемъ; я самъ позову ихъ, меня онѣ скорѣе послушаются, чѣмъ васъ, сэръ; съ вашего позволенія, вамъ лучше идти и занять для нихъ мѣсто. Предоставьте мнѣ найти ихъ.

Маркъ услыхалъ слабый лай въ томъ направленіи, въ какомъ пошла Мабель. Очевидно, она нашла дѣвочку. „Всего лучше,— подумалъ онъ,—пойти и занять цѣлое отдѣленіе и съ этой мыслью, а, можетъ быть, и подъ вліяніемъ инстинктивнаго повиновенія всякому мундиру, характеризующему всякаго респектабельнаго англичанина, послушался кондуктора и вернулся на поѣздъ.

Къ своему великому удовольствію онъ нашелъ, что отдѣленіе, въ которомъ сидѣла Мабель, никѣмъ не занято. Онъ сталъ у двери и дожидался появленія Мабель съ сестрой съ радостной надеждой на счастливый конецъ своего путешествія. „Можетъ быть, она скажетъ мнѣ, кто она такая,—думалъ онъ.—Могъ ли я этого вчера ожидать!“

Его размышленія были прерваны другимъ кондукторомъ, человѣкомъ сердитаго вида и съ сѣдоватой бородой.

— Садитесь въ вагонъ, сэръ, если желаете ѣхать съ этимъ поѣздомъ,—сказалъ онъ.

— Я дожидаюсь молодой лэди,—отвѣчалъ Маркъ наивно и нечаянно для самого себя.—Тотъ, другой кондукторъ, обѣщалъ мнѣ...

— Ничего не знаю объ этомъ,—упрямо настаивалъ кондук-

торъ:—если вы говорите про моего собрата, то онъ сейчасъ подалъ мнѣ сигналъ, что поѣздъ трогается. Если хотите ѣхать, сэръ, то скорѣе садитесь въ вагонъ.

Ничего другого не оставалось, такъ какъ не могъ же онъ побѣжать искать Мабель на поѣздѣ. Приходилось ждать до Кингсъ-Кросса; но онъ неохотно и съ превеликимъ разочарованіемъ усѣлся на мѣстѣ, стараясь побѣдить нетерпѣніе и досаду на медленный ходъ поѣзда, осторожно направлявшагося къ цѣли его ожиданій.

Маркъ выскочилъ изъ вагона прежде, нежели поѣздъ остановился. Онъ напрягаетъ зрѣніе въ надеждѣ, не промелькнетъ ли знакомая фигура, но тщетно. Ни Мабель, ни Долли не было видно нигдѣ. Онъ розыскалъ обманувшаго его кондуктора, и ему показалось, что тотъ шагнулъ-было къ нему на встрѣчу, но порывшись въ карманахъ, отвернулся, какъ бы желая избѣжать встрѣчи.

Но Маркъ не допустилъ до этого.

— Гдѣ та лэди?—рѣзко спросилъ онъ. — Вы не захватили ее, должно быть, хотя и обѣщали.

— Не моя вина, сэръ. Я разыскалъ молодую лэди, но маленькая барышня ни за что не хотѣла сѣсть въ вагонъ. Какъ мы ее ни уговаривали, ничего не подѣлали. Молодая лэди рѣшила, такъ какъ до Лондона недалеко, ѣхать въ кэбѣ или въ коляскѣ.

— И... и она ничего не поручила передать мнѣ?—спросилъ Маркъ.

Его лицо выражало такое напряженное ожиданіе, что кондукторъ не рѣшился разочаровать его.

— Она поручила вамъ кланяться,—медленно произнесъ онъ, —и передать вамъ ея поцѣлуй, — прибавилъ онъ, взглянувъ въ лицо Марка,—и чтобы вы не безпокоились о ней и что она увидится съ вами на прежнемъ мѣстѣ и...

— Ну это вы все соврали,—замѣтилъ Маркъ.

— Ладно; значитъ, она ничего не приказывала вамъ передать.

— Но она сдѣлала же какія-нибудь распоряженія относительно своего багажа?

— Саквояжъ ея останется въ багажѣ до востребованія. Могу я чѣмъ другимъ услужить вамъ, сэръ? нѣтъ? въ такомъ случаѣ позвольте засвидѣтельствовать вамъ свое почтеніе. Добраго утра, сэръ.

„Никогда еще не случалось со мной такого,—бормоталъ кондукторъ, возвращаясь въ свой вагонъ.—Пойти и потерять записку, которую только-что взялъ въ руки. Они, очевидно, не водятъ

компаніи; боюсь, что я тутъ напуталъ. Онъ-то, ясное дѣло, влюбленъ въ нее. Мнѣ жаль, что я потерялъ записку, но безполезно было говорить ему объ этомъ".

Что касается Марка, то такой злополучный конецъ его романа совсѣмъ разогорчилъ его. „Она даже не спросила, какъ меня зовутъ?—горько думалъ онъ.—Я рисковалъ жизнью ради нея, она вѣдь знала, что я это дѣлаю только для нея, и такъ скоро позабыла. Я теперь никогда не увижу ее больше, если даже она и живетъ въ Лондонѣ. Надо выбросить ее изъ головы. Этого она, по крайней мѣрѣ, не можетъ мнѣ запретить. Я выброшу ее изъ головы".

Но дни протекали днями, а уныніе его все возрастало. Краткій отдыхъ не освѣжилъ его и оставилъ въ немъ безнадежное стремленіе къ чему-то недостижимому. Жажда славы проснулась съ увеличенной силой, а онъ самъ отнялъ у себя всякіе шансы къ ея достиженію. Время шло, но не приносило ему успокоенія. Онъ чувствовалъ отвращеніе къ самому себѣ и ко всему окружающему.

VIII.

Дурныя вѣсти.

Наступилъ канунъ Рождества, и миссисъ Лангтонъ сидѣла съ съ своими дочерьми въ той самой гостиной, въ которой мы ее уже раньше видѣли. Долли по обыкновенію возилась съ своей собаченкой.

— Милая мама,—объявила она,—завтра я привяжу визитную карточку Фриску на шею и пошлю его въ кабинетъ папаши поздравить папашу съ Рождествомъ. Только вы, мамаша, не говорите ему пока объ этомъ, пожалуйста.

— Не скажу, моя милая, если ты не хочешь,—добродушно отвѣчала миссисъ Лангтонъ.

— И подумать только, что еслибы тотъ джентльменъ не спасъ Фриска, то я бы не могла привязать ему визитную карточку,— продолжала Долли, нѣжно лаская собачку.—А я-то и не поблагодарила его даже. Я совсѣмъ позабыла объ этомъ, а когда вспомнила, то онъ уже ушелъ. Какъ ты думаешь, Мабель, онъ придетъ навѣстить меня? ты вѣдь сказала ему, что мамаша будетъ рада его видѣть? ты написала ему это въ запискѣ, которую отдала кондуктору?

— Да, Долли, — отвѣчала Мабель, отворачиваясь, — но ты знаешь, что онъ не приходилъ.

— Милая моя,—вмѣшалась мать,—я думаю, что онъ выказываетъ большой тактъ тѣмъ, что не приходитъ. Никакой необходимости не было посылать ему записку и онъ очень умно сдѣлаетъ, если не воспользуется ею. Благодарить людей очень скучно и кромѣ того имъ всегда кажется, что ихъ мало благодарили. Конечно, со стороны этого молодого человѣка было очень любезно, что онъ... собственно говоря, я никогда не могла хорошенько уразумѣть, что онъ такое сдѣлалъ, что-то такое произошло въ туманѣ, кажется...—неопредѣленно заключила она.

— Мы подробно разсказывали вамъ, мамаша, — объяснила Долли,—и если желаете, снова повторимъ. Былъ туманъ и нашъ поѣздъ остановился, и мы вышли изъ вагоновъ и я забыла Фриска, онъ находился въ вагонѣ совсѣмъ одинъ, и тогда этотъ джентльменъ побѣжалъ за нимъ и взялъ его изъ вагона и принесъ ко мнѣ. А другой поѣздъ пріѣхалъ и тоже остановился.

— Долли не совсѣмъ точно разсказываетъ, — перебила Мабель, покраснѣвъ.—Въ ту минуту, какъ онъ побѣжалъ за собакой, мы всѣ слышали, что подходитъ другой поѣздъ въ туманѣ и никто не могъ знать, не произойдетъ ли страшнаго столкновенія.

— Въ такомъ случаѣ съ его стороны было крайне безразсудно идти, моя милая, и еслибы я была его мать, то очень бы на него разсердилась.

— Онъ вѣдь очень красивъ, Мабель, не правда ли?—замѣтила Долли непочтительно.

— Въ самомъ дѣлѣ? Да, кажется, онъ красивъ,—отвѣчала Мабель съ напускнымъ равнодушіемъ, но въ душѣ живо припоминала лицо Марка въ то время, какъ онъ стоялъ, прислонившись къ барьеру, и его прекрасные глаза умоляли ее не покидать его.

— Ну чтожъ, ему, можетъ быть, вовсе не интересно, чтобы его благодарили, и совсѣмъ не хочется насъ видѣть, — сказала Долли.—Еслибы хотѣлось, то онъ бы пріѣхалъ, ты вѣдь написала ему нашъ адресъ?

Мабель пришла къ тому же заключенію и въ тайнѣ была имъ задѣта и оскорблена. Она вышла изъ своей обычной сдержанности, чтобы дать ему возможность снова увидѣть ее, если онъ того пожелаетъ, а онъ не пожелалъ этимъ воспользоваться. Душевный миръ ея не былъ серьезно нарушенъ, но гордость была, тѣмъ не менѣе, задѣта. По временамъ ей приходило, однако, въ голову, что ея записка не была доставлена, такъ какъ странно было думать, что восхищеніе, ясно читавшееся въ его глазахъ, такъ легко и скоро испарилось.

— Ай, вотъ и папаша! вы уже вернулись домой!—закричала Долли, когда дверь отворилась и вошелъ высокаго роста господинъ, все еще красивый, лѣтъ пятидесяти, съ большими свѣтлыми глазами, правильнымъ ртомъ и подбородкомъ и сѣдыми бакенбардами. Что касается нравственныхъ качествъ, то въ пользу м-ра Лангтона можно было сказать, что онъ былъ любезенъ со всѣми, кого не считалъ ниже себя, и былъ добрымъ, хотя и не особенно ласковымъ мужемъ. Какъ юристъ, онъ былъ ученъ безъ педантизма и членъ парламента, гдѣ никогда не говорилъ даже и по юридическимъ вопросамъ.

Зоркіе глаза Мабель прежде всѣхъ замѣтили тѣнь на его лицѣ и натянутость въ манерахъ.

— Вамъ нездоровится, папаша, или у васъ была какая-нибудь непріятность сегодня?—спросила она.

— Я здоровъ. У меня есть для васъ новость,—проговорилъ онъ все въ одномъ тонѣ.—Слушай, Долли, ступай и погляди, что дѣлаетъ Колинъ.

— И придти сказать вамъ, папаша?

— Нѣтъ, не приходи, пока я не пришлю за тобой.

Онъ старательно заперъ дверь, и оборотившись къ дочери и женѣ, спросилъ:

— Вы не читали сегодняшнихъ газетъ, конечно?

— Нѣтъ,—отвѣчала миссисъ Лангтонъ:—ты знаешь, что я не читаю газетъ. Джеральдъ,—вдругъ вскричала съ просвѣтлѣвшимъ взоромъ,—вѣрно кто-нибудь изъ судей умеръ?

Мечта о повышеніи мужа и увеличеніи общественныхъ успѣховъ и уваженія для себя и дочерей пронеслась у нея въ умѣ.

— Нѣтъ, не то, Белла, я вовсе еще не собираюсь въ судьи, да и вообще новость моя не добрая, а худая, очень худая.

— О! папа! — закричала Мабель, — не подготовляйте насъ, скажите сразу, въ чемъ дѣло.

— Предоставь мнѣ, душа моя, поступить такъ, какъ я нахожу за наилучшее. Я сейчасъ объяснюсь. Въ „Globe“ напечатана телеграмма отъ агента Ллойда, возвѣщающая о крушеніи „Мангалоры“.

— Корабля, на которомъ уплылъ Винцентъ!—сказала Мабель.—Что онъ спасенъ?

— Нельзя еще ничего сказать навѣрное и... и эти бѣдствія обыкновенно преувеличиваютъ, но боюсь, что есть основаніе думать, что бѣдный малый утонулъ... пассажировъ было въ этотъ моментъ немного на кораблѣ и только четверо или пятеро изъ нихъ спасены, и все женщины. Будемъ надѣяться на лучшій ис-

ходъ, но, прочитавъ подробности кораблекрушенія, сознаюсь, что самъ не питаю большихъ надеждъ. Я наводилъ справки сегодня по утру въ конторѣ кораблевладѣльцевъ, но они сообщили мнѣ немного; завтра они получатъ болѣе подробныя свѣденія, но изъ того, что́ они мнѣ сказали сегодня, я сужу, что мало надежды.

Мабель закрыла лицо руками, стараясь освоиться съ мыслью, что человѣкъ, сидѣвшій здѣсь напротивъ нея, всего какой-нибудь мѣсяцъ тому назадъ, съ странной, почти пророческой печалью въ глазахъ, лежитъ теперь блѣдный и бездыханный гдѣ-то на глубинѣ моря. Она была настолько оглушена этимъ извѣстіемъ, что не могла плакать.

— Джеральдъ,—сказала миссисъ Лангтонъ,—Винцентъ утонулъ. Я въ этомъ увѣрена. Я чувствую, что это будетъ для меня большимъ огорченіемъ; не знаю, когда я къ этому привыкну... Бѣдный, бѣдный Винцентъ! подумать, что я видѣла его въ послѣдній разъ въ тотъ вечеръ, какъ мы обѣдали у Гордоновъ... помнишь, Джеральдъ, такой скучный обѣдъ, а онъ проводилъ меня до кареты и попрощался, стоя на мостовой.

Миссисъ Лангтонъ придавала повидимому большое патетическое значеніе всѣмъ этимъ обстоятельствамъ; она изящно прижала къ глазамъ носовой платокъ.

— И онъ умеръ! Винцентъ умеръ! какъ это тяжко, какъ это печально,—проговорила Мабель и начала плакать.

— Плачь, милочка, это тебя облегчитъ, — сказала миссисъ Лангтонъ.—Я бы желала, чтобы мнѣ можно было также поплакать, это было бы такимъ облегченіемъ. Но вѣдь папаша сказалъ, ты слышала, что еще не вся надежда потеряна; мы не должны отчаяваться; мы должны надѣяться до послѣдней минуты. Ты рѣшительно не хочешь идти обѣдать? Какъ хочешь. Я чувствую, что каждый кусокъ будетъ стоять у меня въ горлѣ, но я должна идти, чтобы не оставить папашу одного. Пожалуйста сообщи эту новость Долли и Колину, и попроси Fräulein пробыть съ ними въ дѣтской до тѣхъ поръ, пока они не лягутъ спать! Мнѣ было бы тяжело видѣть.

Приличное соболѣзнованіе м-ра Лангтона не лишило его аппетита, и миссисъ Лангтонъ почувствовала большое облегченіе, что можетъ отложить свое горе на время. Такимъ образомъ Мабель была предоставлена тяжелая обязанность сообщить объ участи, постигшей бѣднаго Винцента, своей младшей сестрѣ и брату; обязанность тяжелую, потому что дѣти очень любили Гольройда.

Фрейлейнъ Мозеръ также была огорчена смертью молодого

человѣка, которому она желала помочь и который больше не нуждался въ ея помощи и ни въ чьей другой.

Извѣстіе достигло ушей Марка въ тотъ же день рано по утру. Онъ шелъ домой черезъ Сити, когда объявленіе о „кораблекрушеніи и гибели пассажировъ“ бросилось ему въ глаза и заставило его купить „Globe“, съ которымъ онъ и усѣлся въ вагонъ подземной дороги, чтобы съ равнодушнымъ любопытствомъ прочитать подробности. Онъ вздрогнулъ, когда прочиталъ названіе корабля и тщетно искалъ имени Винцента въ спискѣ оставшихся въ живыхъ.

На слѣдующій день онъ также отправился въ контору кораблевладѣльцевъ за справками и къ этому времени были получены подробныя свѣденія, послѣ которыхъ нельзя было больше сомнѣваться въ погибели пріятеля.

Истинное горе такъ же мало можно почувствовать по заказу, какъ и истинную радость, и въ этомъ убѣдился Маркъ не безъ угрызеній совѣсти. Онъ увидѣлъ, что не смотря на всѣ старанія не можетъ такъ оплакивать своего погибшаго друга, какъ бы слѣдовало въ виду существовавшей между ними пріязни. Онъ разрѣшилъ это затрудненіе тѣмъ, что совсѣмъ пересталъ о немъ думать, и заплатилъ дань огорченію, повязавъ черный галстухъ, тогда какъ любилъ носить цвѣтные.

Каффинъ услышалъ новость не безъ нѣкотораго удовольствія. Опасный соперникъ былъ устраненъ съ его пути и теперь онъ могъ безъ всякихъ опасеній воздавать должное достоинствамъ покойнаго и когда ему пришлось заговорить о немъ при Мабель, онъ сдѣлалъ это съ такимъ чувствомъ, что тронулъ ее и она стала послѣ этого лучшаго о немъ мнѣнія.

Ея собственное горе было истинно и глубоко и не нуждалась въ искусственномъ подзадориваніи и во внѣшнихъ проявленіяхъ. И еслибы Винцентъ могъ знать это, то примирился бы съ равнодушіемъ всѣхъ остальныхъ. Забывчивость и безучастіе другихъ людей не властны были оскорблять его, разъ онъ зналъ, что живетъ въ памяти любимой дѣвушки.

Но для покойниковъ гораздо лучше, что ни равнодушіе наше, ни горе не могутъ трогать ихъ, потому что самое истинное горе постепенно смягчается временемъ и не можетъ утѣшить наименѣе требовательнаго человѣка за неизбѣжное забвеніе.

А. Э.

ФИЛОСОФІЯ ДОНЪ КИХОТА

Рѣдкое произведеніе всемірной литературы обладаетъ въ такой степени способностью притягивать къ себѣ критическую мысль, рѣдкое произведеніе подвергалось такому тщательному всестороннему анализу, какъ „Донъ Кихотъ“ Сервантеса. Бауль (Bowle), Пеллисеръ, Клеменсинъ и др. изучили его, какъ изучаютъ классиковъ: возстановили во всей чистотѣ его текстъ, опредѣлили источники, по возможности разгадали заключающіеся въ немъ современные намеки. Въ числѣ критиковъ „Донъ Кихота“ мы встрѣчаемъ такихъ почтенныхъ ученыхъ, какъ Бутервекъ, Сисмонди, Амадоръ де-лосъ-Ріосъ, Галламъ, Прескоттъ, Тикноръ и др., такихъ мыслителей какъ Шеллингъ и Гегель, и такихъ художниковъ, какъ лордъ Байронъ, Гёте, Уордсвортъ, Гейне, Викторъ Гюго́ и нашъ Тургеневъ. Еслибы названные писатели пришли къ сколько-нибудь сходныхъ выводамъ относительно общаго смысла геніальнаго произведенія Сервантеса и характера его героя, то всякая попытка идти наперекоръ коллективному мнѣнію такихъ авторитетовъ, не опираясь на какіе-нибудь новые матеріалы, могла бы показаться безполезной, даже дерзкой; но на самомъ дѣлѣ между взглядами названныхъ писателей на „Донъ Кихота“ существуетъ такая разница, что попытка, если не примирить ихъ другъ съ другомъ, то по крайней мѣрѣ выяснить причины этой разноголосицы, является далеко не лишней. Исторія мнѣній, высказанныхъ о „Донъ Кихотѣ“ въ нашемъ столѣтіи, представляетъ собою любопытную страницу въ исторіи критики. Писатели XVII и XVIII в. (С.-Эвремонъ, Бодмеръ и др.) судили о произведеніи Сервантеса по непосредственному впечатлѣнію и видѣли въ его героѣ типъ, хотя и симпатичный, но все-таки отрицательный. Они высоко цѣнили искусство автора, умѣвшаго соединить въ

одномъ лицѣ столько мудрости и безумія, восхищались мастерски очерченными характерами Донъ Кихота и его знаменитаго оруженосца, изъ которыхъ одинъ прекрасно оттѣняетъ другого, отъ души смѣялись надъ забавными похожденіями и траги-комическими неудачами рыцаря печальнаго образа, но имъ и въ голову не приходило отыскивать затаенный смыслъ въ произведеніи Сервантеса и негодовать на автора за то, что онъ постоянно ставитъ своего героя въ смѣшныя положенія. Съ начала XIX-го, преимущественно подъ вліяніемъ Канта, въ критику вторгается философскій элементъ и главной задачей ея съ этихъ поръ становится выясненіе основной тенденціи художественнаго произведенія, опредѣленіе идеи, лежащей въ основѣ всякаго характера и т. п. Послѣдователь Канта, Бутервекъ, если не ошибаемся, первый замѣтилъ, что осмѣяніемъ рыцарскихъ романовъ не ограничивалась задача автора „Донъ Кихота", что Сервантесъ, какъ истинный поэтъ, преслѣдовалъ высшую цѣль, что онъ увлекся идеей изобразить типъ героя и энтузіаста, друга человѣчества, проникнутаго любовью ко всему возвышенному и благородному, и для осуществленія своихъ идеальныхъ стремленій задавшагося фантастическимъ планомъ возстановить угасшее странствующее рыцарство. Почти одновременно съ Бутервекомъ, можетъ быть, даже подъ его вліяніемъ А. В. Шлегель высказалъ мысль, что сущность произведенія Сервантеса состоитъ въ контрастѣ поэтическаго энтузіазма, олицетвореннаго въ Донъ Кихотѣ, и житейской прозы, воплощенной въ лицѣ Санчо Пансы. Эта мысль была подробно развита Сисмонди въ его извѣстномъ сочиненіи „De la littérature du midi de l'Europe". По мнѣнію Сисмонди, главная задача „Донъ Кихота" — изображеніе вѣчнаго контраста между поэтическимъ и прозаическимъ въ человѣческой жизни. Люди, одаренные душой возвышенной, способны поставить цѣлью своей жизни быть поборниками справедливости и защитниками слабыхъ и угнетенныхъ. Эта героическая преданность великой идеѣ есть лучшее и трогательнѣйшее, что представляетъ намъ исторія человѣческаго рода; но характеръ героя, кажущійся возвышеннымъ, если смотрѣть на него съ возвышенной точки зрѣнія, можетъ показаться смѣшнымъ, если на него взглянуть съ точки зрѣнія здраваго смысла и житейской прозы. Такъ и взглянулъ на него Сервантесъ, показавшій намъ въ своемъ произведеніи тщету величія духа и иллюзій героизма. Великодушный, и благородный, и безкорыстный, храбростью своею превосходящій сказочныхъ рыцарей, которымъ онъ подражаетъ, вѣрный и почтительный любовникъ, лучшій изъ господъ, герой Сервантеса тѣмъ не менѣе

терпитъ на каждомъ шагу неудачи и всѣ его подвиги влекутъ за собой несчастье для другихъ и посрамленіе для него самого. „Вотъ почему,—заключаетъ Сисмонди,—многіе считаютъ „Донъ Кихота“ печальнѣйшей книгой на свѣтѣ, ибо мораль, вытекающая изъ нея, въ высшей степени печальна“. Мнѣнія Бутервека, Шлегеля и Сисмонди оказали сильное вліяніе на послѣдующую критику. Къ этому источнику нужно возвести взглядъ Гегеля, что въ „Донъ Кихотѣ“ осмѣяна идея рыцарства въ своихъ самыхъ возвышенныхъ проявленіяхъ; на этой почвѣ выросъ взглядъ Гейне, утверждавшаго, что „Донъ Кихотъ“ есть величайшая сатира на человѣческую восторженность вообще, и извѣстное мнѣніе Шеллинга, что въ романѣ Сервантеса изображенъ конфликтъ идеальнаго съ реальнымъ, которое представляетъ собою не болѣе какъ переводъ на философскій языкъ взглядовъ Шлегеля и Сисмонди. Замѣчательно, что мнѣніе философствующихъ критиковъ, превратившихъ произведеніе Сервантеса въ какую-то аллегорію, нашли, главнымъ образомъ, отголосокъ въ сердцахъ поэтовъ. Почти всѣ великіе поэты нашего столѣтія, за исключеніемъ развѣ Гёте, признавали Донъ Кихота типомъ положительнымъ и горячо приняли его сторону противъ его автора, будто бы желавшаго осмѣять въ лицѣ своего героя энтузіазмъ къ справедливости и добру и героизмъ въ проведеніи своихъ идеаловъ въ жизнь. „Не сожалѣніе чувствовалъ я къ человѣку, преслѣдующему такія цѣли,—говоритъ Уордсвортъ,—но скорѣе благоговѣніе, и думалъ, что на днѣ его слѣпого и восторженнаго безумія лежитъ глубокая мудрость“. Съ такой же точки зрѣнія смотритъ на Донъ Кихота и лордъ Байронъ и съ свойственною ему стремительностью осыпаетъ жестокими упреками Сервантеса за то, что онъ позволилъ себѣ взглянуть съ комической точки зрѣнія на своего героя... „Изъ всѣхъ романовъ, мною читанныхъ,—говоритъ онъ,—„Донъ, Кихотъ“—безспорно самый печальный и тѣмъ болѣе печальный, что онъ возбуждаетъ въ насъ улыбку. Его герой совершенно правъ; онъ стремится къ правдѣ; его цѣль наказать злыхъ и сражаться съ сильными за слабыхъ. Безуміе его заключается въ его добродѣтели, но тѣмъ не менѣе его приключенія имѣютъ печальный исходъ и еще печальнѣе нравственный урокъ, вытекающій изъ этой по истинѣ эпической поэмы. Возставать противъ несправедливости, помогать слабымъ, отмщать за ихъ обиды и наказывать негодяевъ,—развѣ эти благородныя стремленія, подобно старой сказкѣ, должны быть отнесены къ праздныхъ грёзамъ нашего воображенія? Развѣ стремленіе къ славѣ сквозь всѣ препятствія можетъ быть предметомъ шутки? Да и что такое

самъ Сократъ, если не мудрый Донъ Кихотъ? Своимъ смѣхомъ Сервантесъ положилъ конецъ рыцарству въ Испаніи; одной эпиграммой онъ отсѣкъ правую руку своей родинѣ. Со времени изданія „Донъ Кихота“ Испанія произвела мало героевъ. Таково было пагубное дѣйствіе произведенія Сервантеса. Успѣхъ его былъ купленъ дорогой цѣной нравственнаго упадка его родины“ („Донъ Жуанъ“, пѣснь XIII). Другой великій поэтъ нашего столѣтія, Викторъ Гюго, хотя и соглашается, что Сервантесъ осмѣялъ идеалъ и представилъ осуществленіе его невозможнымъ, но думаетъ, что на днѣ его смѣха лежатъ слезы и что онъ въ глубинѣ своей души также на сторонѣ Донъ Кихота, какъ Мольеръ на сторонѣ Альцеста. Наконецъ, Тургеневъ въ своей извѣстной статьѣ „Гамлетъ и Донъ Кихотъ“ видитъ въ Донъ Кихотѣ типъ положительный, энтузіаста и восторженнаго служителя великой идеи. „Донъ Кихотъ, говоритъ онъ,—весь проникнутъ преданностью идеалу, для котораго онъ готовъ подвергаться всѣмъ возможнымъ лишеніямъ, жертвовать жизнію. Самую жизнь онъ цѣнитъ на столько, на сколько она можетъ служить средствомъ къ воплощенію идеала, къ водворенію истины и справедливости на землѣ. Жить для себя, заботиться о себѣ Донъ Кихотъ счелъ бы постыднымъ. Онъ весь живетъ (если можно такъ выразиться) внѣ себя, для другихъ, для своихъ братьевъ, для противодѣйствія враждебнымъ человѣчеству силамъ—волшебникамъ великанамъ, т.-е. притѣснителямъ“.

Таковъ преобладающій въ современной критикѣ взглядъ на Донъ Кихота, взглядъ, получившій, благодаря Тургеневу, право гражданства и въ нашей литературѣ. Правда, Галламъ, Тикноръ, Сенъ-Бёвъ и др. высказывали иные взгляды, основанные на болѣе глубокомъ изученіи Сервантеса и современной ему эпохи, но эти взгляды не оказали должнаго вліянія на общее направленіе донкихотовской критики, которая по прежнему продолжаетъ строить свои выводы на отвлеченно-философской почвѣ. Оцѣнивать съ разныхъ сторонъ созданные художникомъ типы, раскрывать общій смыслъ художественнаго произведенія и дѣлать изъ него тѣ или другіе нравственные выводы составляетъ законное и неотъемлемое право критики. Злоупотребленіе этимъ правомъ начинается съ той поры, какъ критика сознательно или безсознательно начинаетъ навязывать разбираемому автору свои собственныя воззрѣнія и дѣлаетъ его отвѣтственнымъ за нихъ. Такъ и случилось въ данномъ случаѣ. Оторвавшись отъ исторической почвы и ставши на философскую точку зрѣнія, критика увидала въ произведеніи Сервантеса аллегорію, а въ созданныхъ имъ типахъ—символы

борьбы идеальнаго съ реальнымъ, поэзіи съ прозой и т. п. Возмущенная осмѣяніемъ великодушнаго безумца, задумавшаго водворить на землѣ уже изжитые человѣчествомъ идеалы, она, стоя на своей отвлеченной точкѣ зрѣнія, естественно могла прійти къ убѣжденію, что въ лицѣ Донъ Кихота осмѣяны вообще энтузіазмъ и вѣра въ идеалъ, и вслѣдствіе этого провозгласила произведеніе Сервантеса печальнѣйшей книгой на свѣтѣ, а его самого причислила къ жалкой семьѣ отрицателей всего идеальнаго и возвышеннаго, а въ лицѣ Байрона даже не задумалась обвинить его въ упадкѣ героическаго духа и идеальныхъ стремленій въ Испаніи. Пересмотрѣть вновь этотъ любопытный процессъ художника съ его толкователями, выяснить истинный смыслъ „Донъ Кихота“ и опредѣлить нити, связывающія это любимое дѣтище фантазіи Сервантеса съ его личной жизнью, съ міромъ его идей и воззрѣній, и составить предметъ настоящей статьи.

Основная задача произведенія Сервантеса вполнѣ объясняется изъ состоянія современной ему повѣствовательной литературы. Вслѣдствіе особыхъ историческихъ условій, именно многовѣковой борьбы съ маврами, превратившей страну на цѣлые вѣка въ военный лагерь, и наплыва провансальскихъ трубадуровъ, большинство которыхъ послѣ альбигойскаго погрома бѣжало въ Испанію и нашло тамъ второе отечество, нигдѣ рыцарскіе нравы и традиціи не пустили такихъ глубокихъ корней, какъ на Пиренейскомъ полуостровѣ. Рыцарская идея служенія дамамъ не только наполняетъ собою старинные романсы и хроники, но проникаетъ и въ законодательные памятники. Такъ въ знаменитомъ законникѣ короля Альфонса Мудраго (Las Siete Partidas), относящемся къ половинѣ XIII в., въ главѣ, посвященной исчисленію рыцарскихъ обязанностей, рыцарю, между прочимъ, предписывается призывать передъ битвой имя своей дамы, съ цѣлью влить въ его душу новое мужество и предохранить отъ совершенія несоотвѣтствующихъ его высокому званію поступковъ. Въ примѣръ безразсуднаго увлеченія идеей служенія дамамъ обыкновенно приводятъ нѣмецкаго миннезингера Ульриха фонъ-Лихтенштейна и трубадура Пьера Видаля, изъ которыхъ первый, нарядившись въ фантастическій костюмъ богини любви, проѣхалъ отъ Богеміи до Венеціи, вызывая на бой всякаго, кто не соглашался признать его даму первой красавицей въ мірѣ, а послѣдній, влюбленный въ графиню Лобу де-Пенантье (имя Loba значитъ волчица), желая сдѣлать сюрпризъ дамѣ своего сердца, самъ превратился въ ея девизъ, одѣлся въ волчью шкуру и въ такомъ видѣ едва не былъ растерзанъ не посвященными въ тайны рыцарскихъ девизовъ соба-

ками графини. Но подобные сумасброды въ другихъ странахъ считаются единицами; въ Испаніи же ихъ нужно считать десятками. Въ одной испанской хроникѣ XV в. разсказывается о нѣкоторомъ рыцарѣ Суэньо де-Киньонессѣ, который придумалъ довольно курьезный способъ выраженія своей любви къ плѣнившей его дамѣ: онъ постился разъ въ недѣлю на половину въ честь ея, на половину въ честь Пресвятой Дѣвы, а по четвергамъ, кромѣ того, носилъ на своей шеѣ, какъ символъ рабства, тяжелую желѣзную цѣпь. Чтобъ освободиться отъ этого мнимаго рабства, которое не на шутку стало надоѣдать ему, онъ въ сопровожденіи девяти подобныхъ же сумасбродовъ, занялъ мостъ въ Орбиго на дорогѣ къ С. Яго-де-Компостелла и въ продолженіе тридцати дней вызывалъ на бой всякаго, отправлявшагося на поклоненіе гробу св. Іакова, рыцаря. Замѣчательно, что на этомъ чудовищномъ, по своей продолжительности и нелѣпости мотива, турнирѣ присутствовалъ король Хуанъ II съ своей свитой, который не только не сдѣлалъ попытки вразумить безумцевъ, но своимъ присутствіемъ воодушевлялъ ихъ. Къ концу того же столѣтія относится разсказъ объ одномъ кастильскомъ рыцарѣ, который нарочно пріѣзжалъ въ Англію ко двору Генриха VI съ цѣлью предложить англійскимъ рыцарямъ сразиться съ нимъ въ честь его дамы. Подобныя сумасбродства поддерживались въ Испаніи обширной литературой рыцарскихъ романовъ, во главѣ которыхъ стоялъ португальскій романъ объ Амадисѣ Гальскомъ, написанный въ духѣ романовъ „Круглаго Стола“ и впервые появившійся въ испанской обработкѣ въ концѣ XV в. Романъ этотъ имѣлъ громадный успѣхъ; онъ сдѣлался настольной книгой каждаго грамотнаго человѣка въ Испаніи и вызвалъ массу подражаній и продолженій. Въ эпоху Сервантеса романы такъ-называемаго Амадисова цикла, наполненные самыми невѣроятными происшествіями, совершенно запрудили собою современную литературу и сильно кружили головы молодежи. Писатель начала XVI в. Антоніо де-Гевара замѣчаетъ, что въ его время публика ничего не читала, кромѣ постыдныхъ исторій объ Амадисѣ, Тристанѣ, Прималеони и др., а современникъ его Вальдесъ съ прискорбіемъ сознается, что онъ потратилъ десять лучшихъ лѣтъ своей жизни на чтеніе рыцарскихъ книгъ и до того извратилъ свой вкусъ этой нездоровой пищей, что сдѣлался на нѣкоторое время неспособнымъ цѣнить серьезныя историческія сочиненія. Вліяніе этихъ разжигающихъ воображеніе произведеній, преимущественно на молодые умы, было такъ вредно, что многіе благоразумные люди обращались къ правительству съ просьбой при-

нять мѣры противъ распространенія этой романтической эпидеміи. Въ 1553 г. Карлъ V издалъ указъ, запрещавшій ввозъ рыцарскихъ романовъ въ американскія владѣнія Испаніи, а два года спустя кортесы обратились къ императору съ петиціей, чтобы подобная мѣра была распространена и на Испанію и чтобы всѣ, раньше напечатанные, рыцарскіе романы были преданы сожженію, а новые не могли бы печататься иначе, какъ съ особаго разрѣшенія властей. Но что можно было предписать относительно колоній, того нельзя было сдѣлать относительно Испаніи, гдѣ рыцарскіе романы были любимымъ чтеніемъ всего грамотнаго люда, тѣмъ болѣе, что и самъ императоръ зачитывался ими, а сынъ его, инфантъ Филиппъ II, постоянно являлся въ придворныхъ процессіяхъ въ костюмѣ странствующаго рыцаря, и—если вѣрить Кастильо — вступая въ бракъ съ Маріей Тюдоръ, далъ обѣщаніе, въ случаѣ появленія короля Артура, безпрекословно уступить ему англійскій престолъ.

Изъ сказаннаго ясно, что борьба съ рыцарскими романами была смѣлымъ и высоко-патріотическимъ дѣломъ, вполнѣ достойнымъ такого писателя, какъ Сервантесъ. Что такова была задача „Донъ Кихота“, видно изъ предпосланнаго первой части разговора автора съ однимъ изъ его друзей, который убѣждалъ Сервантеса издать „Донъ Кихота“ и предсказывалъ ему успѣхъ. „Старайтесь только, чтобъ и меланхоликъ разсмѣялся, читая ваше произведеніе и чтобъ весельчаку стало еще веселѣе. Главное же, не упускайте изъ виду вашей цѣли разрушить въ конецъ шаткое зданіе рыцарскихъ романовъ, порицаемыхъ многими, но превозносимыхъ гораздо большимъ количествомъ людей. Если вамъ удастся достигнуть этой цѣли, то подвигъ вашъ будетъ не малый“. Слова эти были написаны Сервантесомъ въ 1605 г. Десять лѣтъ спустя вышла въ свѣтъ вторая часть „Донъ Кихота“. Много воды утекло въ этотъ десятилѣтній промежутокъ для Сервантеса, на многіе вопросы онъ успѣлъ измѣнить свои взгляды, но взглядъ его на свою задачу не измѣнился и онъ заканчиваетъ свое произведеніе словами, въ которыхъ явственно слышится нравственное удовлетвореніе писателя, достигшаго своей цѣли. „Единственнымъ моимъ желаніемъ,—говоритъ онъ,—было возбудить отвращеніе къ сумасброднымъ и лживымъ рыцарскимъ книгамъ, которыя, пораженныя моей правдивой исторіей Донъ Кихота, плетутся, пошатываясь, скоро падутъ совсѣмъ и никогда уже не поднимутся“. Итакъ, въ то время, когда всѣ усилія благомыслящихъ людей, кортесовъ и самой верховной власти, оказались безсильными въ борьбѣ съ господствующимъ вкусомъ публики, Сервантесъ высту-

пилъ въ походъ, не имѣя другого оружія, кромѣ иронiи и здраваго смысла, и пораженный этимъ оружіемъ, цѣлый сонмъ странствующихъ рыцарей, великановъ, фей и волшебниковъ поспѣшно бѣжалъ съ поля битвы, уступая мѣсто другимъ типамъ, другимъ героямъ. Сервантесъ имѣлъ полное право гордиться своей побѣдой, ибо послѣ 1605, когда была издана первая часть „Донъ Кихота", не было написано вновь ни одного рыцарскаго романа, да и старые перестали интересовать публику и за двумя или тремя исключеніями не перепечатывались болѣе. Какъ искусный полководецъ, Сервантесъ раньше, чѣмъ нанести рѣшительный ударъ, тщательно изучилъ силы врага, его тактику и пріемы. По мнѣнію Пеллисера, Клеменсина и другихъ комментаторовъ, въ „Донъ Кихотѣ" обнаруживается на каждомъ шагу близкое знакомство автора со всей обширной литературой рыцарскихъ романовъ; здѣсь осмѣяны не только ихъ духъ, но ихъ высокопарная манера изложенія, ихъ торжественный и напыщенный слогъ, который Сервантесъ по временамъ весьма удачно пародируетъ. Далѣе, чтобъ рельефнѣе показать на живомъ примѣрѣ вредныя послѣдствія увлеченія рыцарскими романами, Сервантесъ выбралъ своимъ героемъ не какого-нибудь деревенскаго простака и невѣжду, котораго легко сбить съ толку, но человѣка умнаго, начитаннаго, исполненнаго возвышенныхъ стремленій. Ахиллесовой пятой этого человѣка была болѣзненно развитая фантазія и страстное участіе къ людскому горю. Рыцарскіе романы, которыми онъ зачитывался въ своемъ деревенскомъ уединеніи, до того подѣйствовали на эти стороны его природы, что дѣйствительность для него перемѣшалась съ вымысломъ, что онъ сталъ страдать галлюцинаціями, подъ вліяніемъ которыхъ онъ видѣлъ то, чего нѣтъ, и упорно отрицалъ то, что въ данную минуту находилось передъ его глазами. Онъ серьезно вообразилъ себя странствующимъ рыцаремъ и, избравъ себѣ оруженосца, отправился сражаться съ угнетателями человѣчества, освобождать отъ очарованія принцессъ, словомъ, совершать всѣ тѣ подвиги, о которыхъ онъ читалъ въ рыцарскихъ романахъ. Донъ Кихотъ—это Амадисъ, заснувшій послѣ одного изъ своихъ подвиговъ на нѣсколько столѣтій и проспавшій паденіе феодализма, водвореніе новаго государственнаго порядка и наступленіе эпохи Возрожденія наукъ. Проснувшись, онъ продолжаетъ то, на чемъ его засталъ сонъ. Онъ не замѣчаетъ, что времена измѣнились, что пора авантюръ и рыцарскаго обожанія женщины прошла безвозвратно, что феи и волшебники, державшіе въ плѣну рыцарей и дамъ, исчезли, что жизнь ставитъ человѣку другія задачи, что нравственный порядокъ дер-

жится на иныхъ началахъ, что права слабыхъ и угнетенныхъ защищаются не странствующими рыцарями, а законами и учрежденіями. Въ этомъ взаимномъ непониманіи живущаго въ прошедшемъ Донъ Кихота и далеко ушедшей отъ него жизни, заключался матеріалъ для массы комическихъ недоразумѣній, которыми искусно воспользовался Сервантесъ, показавшій, что рыцарскіе идеалы Донъ Кихота такъ же устарѣли, какъ и его оружіе, что его храбрость и самоотверженіе оказываются совершенно не нужными въ XVI в. и въ особенности въ той формѣ, въ которой онъ ихъ предлагаетъ міру, что вслѣдствіе этого, думая дѣлать добро и стоять за правду, онъ совершаетъ на каждомъ шагу несправедливости и въ концѣ концовъ даже вредитъ тѣмъ, кому хочетъ оказать помощь. Разсказавъ о томъ, какъ Донъ Кихотъ освободилъ мальчика-пастуха отъ побоевъ его хозяина, который, по удаленіи Донъ Кихота, отдулъ его вдвое сильнѣе, авторъ многозначительно замѣчаетъ: „такимъ-то образомъ нашъ рыцарь пресѣкъ уже одно зло на землѣ“ [1]). Впослѣдствіи Донъ Кихотъ встрѣтился съ освобожденнымъ имъ мальчуганомъ и вмѣсто благодарности услышалъ отъ него слѣдующія горькія слова: „Господинъ странствующій рыцарь! Если придется намъ еще встрѣтиться когда-нибудь, то хотя бы вы увидѣли, что меня раздираютъ на части, ради Бога не заступайтесь за меня, а оставьте меня съ моей бѣдой, потому что худшей бѣды, какъ ваша помощь, мнѣ право никогда не дождаться, и да покараетъ и уничтожитъ Богъ вашу милость со всѣми рыцарями, родившимися когда-нибудь на свѣтѣ“. Другой рыцарскій подвигъ Донъ Кихота имѣлъ еще болѣе печальныя послѣдствія. Встрѣтивши похоронную процессію, которую онъ принялъ за шайку злодѣевъ, увозившихъ тѣло убитаго ими рыцаря, Донъ Кихотъ налетѣлъ на процессію съ своимъ копьемъ и сбросилъ съ мула одного юнаго лиценціата, который при паденіи переломилъ себѣ ногу. Когда же вслѣдъ за тѣмъ побѣдитель безоружныхъ отрекомендовался странствующимъ рыцаремъ, обрекшимъ себя на служеніе добру, возстановленіе правды и попраніе зла, то бѣдный лиценціатъ отвѣчалъ ему со вздохомъ: „Не знаю, право, какъ вы попираете зло, знаю только, что меня, ни въ чемъ неповиннаго, вы оставили съ переломленной ногой, а отъ вашей правды мнѣ во вѣки не поправиться. Могу васъ увѣрить, что величайшее зло и величайшая неправда, которая могла постичь меня въ жизни—это встрѣча съ вами“. Третій знаменитый подвигъ

[1]) Донъ Кихотъ, т. I, стр. 80. Мы цитируемъ по переводу г. Карелина. Спб., 1881, въ двухъ томахъ.

Донъ Кихота въ первой части романа—освобожденіе, отправляемыхъ на галеру каторжниковъ — обрушился на голову самого освободителя, потому что освобожденные Донъ Кихотомъ преступники избили и ограбили его самого. Неужели же подобнаго рода подвиги, а другихъ Донъ Кихотъ и не могъ совершать, потому что не понималъ, что̀ предъ нимъ происходитъ, даютъ ему право считаться героемъ, энтузіастомъ идеи братолюбія, воплощеніемъ самоотверженія на пользу общую? Думать такъ, значило бы утверждать, что непониманіе дѣйствительности и наклонность къ галлюцинаціямъ составляютъ необходимыя условія героизма. Мнѣ кажется, что видя въ Донъ Кихотѣ воплощеніе идеи самоотверженія, выдвигая на первый планъ альтруистическую сторону его подвиговъ, философская критика забываетъ: во-первыхъ, что героизмъ въ практической жизни оцѣнивается не только по нравственнымъ побужденіямъ и по силѣ духа, отличающимъ собою дѣйствія извѣстнаго лица, но также и по разумнымъ средствамъ и ясному сознанію цѣли подвига и могущей изъ него произойти пользы человѣчеству; во-вторыхъ, что Донъ Кихотъ—не самостоятельный дѣятель, но отраженный лучъ, эхо рыцарскихъ романовъ (какъ назвалъ его Галламъ), что въ качествѣ странствующаго рыцаря онъ руководится въ своихъ подвигахъ не только идеей гуманности и самоотверженія на пользу ближнихъ, но суетной жаждой славы и желаніемъ отличиться передъ дамой своего сердца, и что послѣднія побужденія иногда берутъ у него перевѣсъ надъ первыми. Такъ однажды Донъ Кихотъ, рискуя безплодно своею жизнью и подвергая опасности все окрестное населеніе, вызываетъ на поединокъ львовъ, которыхъ князь Оранскій посылалъ въ подарокъ испанскому королю, и когда тѣ не заблагоразсудили выйти изъ отворенной, по приказанію Донъ Кихота, клѣтки, то онъ потребовалъ отъ смотрителя ихъ письменнаго удостовѣренія въ томъ, что онъ исполнилъ свой долгъ и что поединокъ не состоялся не по его винѣ. Въ другой разъ Донъ Кихотъ не желалъ помочь хозяину корчмы, избитому собственными постояльцами, не испросивъ предварительно разрѣшенія на этотъ подвигъ у мнимой принцессы Микомиконъ; когда же это разрѣшеніе было ему дано, онъ все-таки ничѣмъ не помогъ изнемогавшему въ неравной борьбѣ трактирщику, потому что въ силу рыцарскаго кодекса онъ считалъ ниже своего достоинства сражаться съ простыми людьми (т. I, стр. 452 — 453). Я еще припомню здѣсь одинъ случай, когда странствующій рыцарь совершенно заслонилъ въ Донъ Кихотѣ добраго и гуманнаго человѣка. Во время пребыванія Донъ Кихота и Санчо при дворѣ герцога, мнимый Мер-

линъ, который оказался переодѣтымъ мажордомомъ герцога, предсказалъ рыцарю, что очарованная волшебникомъ Дульцинея тогда только приметъ свой настоящій видъ, когда Санчо собственноручно влѣпитъ себѣ 3300 плетей; когда же Санчо сталъ горячо протестовать противъ этого нелѣпаго самоистязанія, Донъ Кихотъ вспыхнулъ и пригрозилъ своему оруженосцу привязать его къ дереву и отсчитать ему не 3300, но 6600 плетей (т. II, стр. 290). Полагаю, что приведенныхъ примѣровъ вполнѣ достаточно, чтобъ видѣть, насколько правы критики, утверждающіе, что Донъ Кихотъ выражаетъ собой вѣру въ идеалъ, энтузіазмъ къ добру и справедливости и идею самоотверженія на пользу общую, и что эти драгоцѣнныя качества человѣческой природы, источники всякой свободы и прогресса, осмѣяны Сервантесомъ въ его романѣ. Нѣтъ, не энтузіазмъ къ добру и правдѣ осмѣянъ авторомъ „Донъ Кихота", а нелѣпая форма проявленія этого энтузіазма, его каррикатура, навѣянная рыцарскими романами и не соотвѣтствующая духу времени. Гёте справедливо замѣчаетъ, что если какая-нибудь идея принимаетъ фантастическій характеръ, то въ силу этого одного она теряетъ всякое значеніе; вотъ почему фантастическое, разбивающееся объ дѣйствительность, возбуждаетъ въ насъ не состраданіе, а смѣхъ, ибо подаетъ поводъ ко многимъ комическимъ недоразумѣніямъ. Къ этому можно прибавить, что если Донъ Кихотъ, несмотря на всѣ свои нелѣпости, способенъ возбуждать въ насъ не только смѣхъ, но и состраданіе, то это объясняется тѣмъ, что онъ лицо двойственное: Донъ Кихотъ не только чудакъ и странствующій рыцарь, но умный, благородный и гуманный человѣкъ. Въ проведеніи этой двойственности въ характерѣ Донъ Кихота, на всемъ протяженіи романа, сказался во всемъ блескѣ художественный талантъ Сервантеса. По скольку Донъ-Кихотъ — странствующій рыцарь, по столько онъ фантазёръ и мономанъ, но лишь только ему удастся выйти изъ заколдованнаго круга своей idée fixe, онъ становится настоящимъ мудрецомъ и изъ устъ его льются золотыя рѣчи, въ которыхъ такъ и хочется видѣть взгляды самого автора. Есть еще одно обстоятельство, заставляющее насъ относиться снисходительно къ недостаткамъ и противорѣчіямъ въ характерѣ Донъ Кихота и подкупающее въ его пользу критическую мысль. Въ наше время господства эгоизма и обѣдненія всякихъ идеаловъ, отрадно остановиться душой даже на печальномъ образѣ великодушнаго безумца, который не стремится достигнуть успѣха на торжищѣ жизни, руководится въ своихъ дѣйствіяхъ идеальными мотивами и готовъ ежеминутно

жертвовать жизнью за то, что̀ его разстроенное воображеніе считаетъ славой, истиной и добромъ.

Образованный умъ Донъ Кихота, возвышенный строй его мыслей, всѣ эти качества, особенно проявляющіяся во второй части романа, когда завѣса начинаетъ спадать съ глазъ героя, и выражающіяся въ его свѣтлыхъ взглядахъ на литературные, нравственные и соціальные вопросы, составляютъ положительную сторону романа, то, что̀ можно съ полнымъ правомъ назвать его философіей. Здѣсь мы приходимъ къ другому, въ высшей степени любопытному вопросу, насколько „Донъ Кихотъ“ имѣетъ автобіографическое значеніе, насколько въ немъ отражается міросозерцаніе его творца.

На автобіографическомъ значеніи своего романа Сервантесъ не разъ настаиваетъ въ различныхъ мѣстахъ „Донъ-Кихота“. „Книга эта,—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, — есть важное дѣло моей жизни“. „Для меня одного,—замѣчаетъ онъ въ концѣ романа—родился Донъ Кихотъ, какъ и я для него. Онъ умѣлъ дѣйствовать, а я писать. Мы составляемъ съ нимъ одно тѣло и одну душу“ (т. II, стр. 580). По мнѣнію Сервантеса, сознательно или безсознательно, но авторъ долженъ высказаться въ своемъ произведеніи. „Перо—языкъ души: что̀ задумаетъ одна, то воспроизводитъ другое. Если поэтъ безупреченъ въ своей жизни, то онъ будетъ безупреченъ и въ своихъ твореніяхъ“ (II, стр. 125). Желаніе высказаться, ускоренное появленіемъ безсовѣстной поддѣлки подъ „Донъ Кихота“, было такъ сильно въ Сервантесѣ, что въ одномъ мѣстѣ второй части онъ устами мнимаго мавританскаго историка Донъ Кихота выражаетъ сожалѣніе, что сюжетъ связываетъ его, что онъ принужденъ постоянно говорить только о Донъ Кихотѣ и Санчо Пансѣ и что это занятіе составляетъ тяжелый трудъ, который не въ состояніи вознаградить авторскихъ усилій. „Обладая достаточнымъ количествомъ ума, знанія и искусства, чтобъ говорить о дѣлахъ всего міра, историкъ постоянно принужденъ удерживать себя въ тѣсныхъ предѣлахъ своего разсказа“ (т. II, стр. 314). Въ виду всѣхъ этихъ заявленій, мы считаемъ себя въ правѣ видѣть въ „Донъ Кихотѣ“ не только сатиру на рыцарскіе романы, не только художественно-исполненную картину испанской жизни конца XVI и начала XVII в., но и откровеніе задушевныхъ взглядовъ и убѣжденій Сервантеса, его Авторскую Исповѣдь, его Былое и Думы. Сюда онъ вложилъ результаты своей житейской опытности и невзгодъ, воспоминанія объ алжирскомъ плѣнѣ, о своихъ бѣдствіяхъ на родинѣ и т. п. Подобно тому, какъ литературная сатира нечувствительно превра-

тилась подъ рукой Сервантеса въ цѣльную картину испанской жизни, такъ и эта послѣдняя, въ свою очередь, сдѣлалась сокровищницей, въ которую онъ вложилъ свои литературные и соціальные взгляды, свои мечты о жизни и счастіи людей.

Выдѣляя автобіографическій элементъ въ романѣ Сервантеса, мы прежде всего коснемся его литературныхъ взглядовъ. Какъ писатель, Сервантесъ долженъ былъ много размышлять надъ предметомъ и задачами своей литературной дѣятельности, и если сопоставить между собой разсѣянныя по всему „Донъ Кихоту“ отдѣльныя замѣчанія относительно лирической поэзіи, драмы и романа, то получится нѣчто въ родѣ цѣльной литературной теоріи. Основную черту этой теоріи составляетъ требованіе правды и естественности, въ особенности, по его мнѣнію, необходимое въ области драматической поэзіи. Въ эпоху Сервантеса драматическое искусство въ Испаніи только-что начинало становиться на свои ноги, и единственнымъ принципомъ его было во что бы то ни стало нравиться публикѣ. Величайшій драматургъ того времени Лопе де Вега открыто заявлялъ, что принимаясь писать пьесу, онъ велитъ выносить изъ своей комнаты классическихъ писателей, чтобъ они не свидѣтельствовали противъ него, что въ своей драматической дѣятельности онъ имѣлъ въ виду не принципы искусства, а вкусы публики, которой нужно поддакивать въ ея безуміи, такъ какъ она платитъ за это деньги. Сервантесъ былъ далекъ отъ подобныхъ меркантильныхъ соображеній; онъ носилъ въ своей душѣ возвышенный взглядъ на искусство и думалъ, что поэзія, отражая въ себѣ дѣйствительность и служа жизненной правдѣ, должна въ то же время служить возвышеннымъ цѣлямъ, увлекать публику въ міръ идеала, а не гаерствовать на площади. Воспитанный на Поэтикѣ Аристотеля и Ars Poëtica Горація, Сервантесъ въ первой части „Донъ-Кихота“ является горячимъ приверженцемъ классической теоріи драмы и разбираетъ съ точки зрѣнія этой теоріи современную ему драму. „Драма,—говоритъ онъ устами священника,—должна быть зеркаломъ, отражающимъ въ себѣ жизнь человѣческую; она должна быть олицетвореніемъ правды и примѣромъ для нравовъ. Напи же драмы отражаютъ въ себѣ одну нелѣпость, изображаютъ распутство и служатъ примѣромъ развѣ для глупости. Въ самомъ дѣлѣ, если намъ представятъ въ первомъ актѣ драмы ребенка въ колыбели, а во второмъ выведутъ его бородатымъ мужемъ, то большей глупости, кажется, и придумать нельзя. Развѣ есть б льшая нелѣпость, какъ представить старика храбрецомъ, а юношу трусомъ, лакея великимъ ораторомъ, пажа мужемъ совѣта, короля носильщикомъ тяжестей и принцессу су-

домойкой? Что сказать наконецъ о нашихъ драмахъ въ отношеніи соблюденія условій времени и мѣста? Развѣ мы не видѣли пьесъ, въ которыхъ дѣйствіе начинается въ Европѣ, продолжается въ Азіи и оканчивается въ Африкѣ, и еслибъ было четыре акта, то четвертый, вѣроятно, происходилъ бы въ Америкѣ, такъ что драма происходила бы во всѣхъ частяхъ свѣта" (т. I, стр. 486—487). Весьма любопытно, что перечисленные недостатки современной испанской драмы привели Сервантеса къ мысли о необходимости учрежденія особой должности эстетическаго критика, которому должны посылаться на просмотръ всѣ назначаемыя къ представленію пьесы и безъ подписи котораго мѣстныя власти не могли бы разрѣшать постановку пьесы на сцену [1]). Еще болѣе имѣютъ значенія помѣщенныя въ первой части „Донъ Кихота" замѣчанія по теоріи романа. И здѣсь требованіе правды и естественности являются верховнымъ требованіемъ, и съ этой точки зрѣнія авторъ подвергаетъ уничтожающей критикѣ всю повѣствовательную литературу своего времени. Перечисливъ массу несообразностей, наполняющихъ собою рыцарскіе романы, Сервантесъ замѣчаетъ: „Если мнѣ скажутъ, что сочинители подобныхъ книгъ просто задались цѣлью выдумывать небывалыя и невозможныя событія, то я на это отвѣчу, что вымыселъ тѣмъ прекраснѣе, чѣмъ менѣе онъ кажется вымышленнымъ. Баснословные разсказы тогда только будутъ нравиться читателю, когда они воспроизведены такимъ образомъ, что невѣроятное покажется ему вѣроятнымъ, когда авторъ поперемѣнно наполняетъ сердце его удивленіемъ, ожиданіемъ, умиленіемъ. Ничего подобнаго нельзя встрѣтить въ сочиненіяхъ автора, съ умысломъ уклоняющагося отъ природы и правды, другими словами отъ того, что составляетъ главную силу художественнаго произведенія". Относясь отрицательно къ современной ему беллетристикѣ, Сервантесъ съумѣлъ превосходно оцѣнить всѣ выгоды, предоставленныя писателю самой формой романа, этой эпопеи новаго времени, въ которой полнѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, можетъ отразиться человѣческая жизнь со всѣмъ разнообразіемъ волнующихъ ее вопросовъ. „Порицая немилосердно эти книги, я нахожу въ нихъ одно хорошее, именно то, что они даютъ писателю полный просторъ, что онѣ представляютъ собою обширное поле, на которомъ во всемъ блескѣ можетъ развер-

[1]) Впослѣдствіи Сервантесъ подъ гнетомъ тяжелыхъ матеріальныхъ обстоятельствъ снова обратился къ давно оставленной имъ сценѣ и въ своей пьесѣ Rufian Dichoso (1615 г.), скрѣпя сердце и очевидно иронизируя надъ самимъ собой, сталъ подлаживаться подъ вкусъ публики и защищать тѣ самые взгляды, противъ которыхъ онъ такъ горячо возставалъ въ первой части „Донъ Кихота".

нуться его талантъ, описывая бури, кораблекрушенія, битвы, изображая характеръ великаго полководца и т. п. Въ подобномъ сочиненіи писатель можетъ попеременно являться астрономомъ, географомъ, музыкантомъ, государственнымъ человѣкомъ, даже волшебникомъ, если къ тому представится удобный случай. Кромѣ того свобода, предоставляемая писателю въ созданіи подобнаго рода произведеній, даетъ ему возможность являться въ нихъ лирикомъ, эпикомъ, трагикомъ и комикомъ, выказать свое превосходство во всѣхъ родахъ поэзіи и краснорѣчія" (т. I, стр. 482—484). До такого широкаго пониманія задачъ романа, какъ бы предугадывающаго ту роль, которую займетъ романъ въ современной намъ жизни, не возвысился ни одинъ писатель XVII вѣка, и я привелъ это мѣсто съ цѣлью показать, насколько Сервантесъ опередилъ свое время.

Отъ литературныхъ воззрѣній Сервантеса перейдемъ къ его религіознымъ и соціально-политическимъ воззрѣніямъ. Хотя среда и эпоха не могли не наложить на Сервантеса извѣстнаго отпечатка, но въ религіозныхъ его воззрѣніяхъ мы не найдемъ и слѣдовъ того фанатизма и изувѣрства, отъ котораго не были свободны лучшіе умы той эпохи, напр. Лопе де-Вега и Кальдеронъ. Даже въ своихъ воззрѣніяхъ на мавританскій вопросъ Сервантесъ руководился не религіозными, а политическими соображеніями. Подобно многимъ изъ своихъ современниковъ онъ видѣлъ въ маврахъ внутреннихъ враговъ, которые никогда не простятъ своего униженія, никогда не сдѣлаются гражданами Испаніи и вѣчно будутъ въ союзѣ съ внѣшними врагами. На этомъ основаніи онъ считалъ изгнаніе мавровъ разумной и законной мѣрой самообороны. По взглядамъ своимъ на религіозные вопросы Сервантесъ приближается къ передовымъ людямъ эпохи Возрожденія: Эразму, Рабле и др. Нигдѣ онъ не тщился обнаружить свою религіозную ревность, нигдѣ онъ не заискиваетъ благосклонность всесильной въ то время церкви. Въ „Донъ Кихотѣ" разсѣянно не мало стрѣлъ, направленныхъ противъ несимпатичныхъ сторонъ и пороковъ современнаго ему духовенства. Такъ въ одномъ мѣстѣ (I, 257) онъ обличаетъ властолюбіе домашнихъ капелановъ: „ужели вы полагаете,—восклицаетъ онъ,—что на свѣтѣ дѣлать больше нечего, какъ втираться въ чужіе дома и стараться забрать въ свои руки хозяевъ?" Во второй части „Донъ Кихота" есть злая выходка противъ монаховъ: „Мнѣ кажется,—замѣчаетъ метръ д'отель сидящему за обѣдомъ губернатору острова Баратаріи Санчо,—что вашей милости не слѣдовало бы кушать ничего, что стоитъ на этомъ столѣ.

Большая часть этихъ кушаньевъ принесена монахинями, а позади креста прячется, говорятъ, чортъ“ (стр. 372). Внѣшняя религіозность и суевѣріе не разъ подвергались осмѣянію Сервантеса. Изъ его остроумной повѣсти „Rinconete y Cortadillo“ всѣ воры и мошенники оказываются набожнѣйшими людьми, строго исполняющими католическіе обряды и поминутно призывающими Бога и святыхъ, чтобы спасти ихъ отъ людского правосудія. Не мало выходокъ противъ всякаго рода суевѣрій попадается и въ „Донъ Кихотѣ“. Хотя герой романа въ качествѣ странствующаго рыцаря долженъ былъ вѣрить въ фей, волшебниковъ и всякую чертовщину, но какъ человѣкъ новаго времени онъ не разъ высказываетъ сомнѣнія въ возможности путемъ колдовства направить извѣстнымъ образомъ человѣческую волю (т. I, стр. 181). По этому поводу Донъ-Кихотъ высказываетъ однажды замѣчательное сужденіе, изъ котораго видно, что Сервантесъ считалъ суевѣріе несовмѣстнымъ съ истинной религіозностью: „Всѣ эти случайности, обыкновенно называемыя въ народѣ предзнаменованіями, должны казаться благоразумному человѣку не болѣе какъ счастливыми случайностями. Между тѣмъ одинъ суевѣръ, выйдя утромъ изъ своего дома и встрѣтившись съ францисканскимъ монахомъ, спѣшитъ возвратиться назадъ, словно онъ встрѣтилъ чудовищнаго грифа. Другой разсыпаетъ на столѣ соль и становится задумчивъ и мраченъ, точно природа обязалась предувѣдомлять человѣка объ ожидающихъ его несчастіяхъ. Благоразумный человѣкъ и христіанинъ не долженъ судить по этимъ пустякамъ о намѣреніяхъ неба“ (т. II., стр. 458). Когда Санчо пріѣхалъ губернаторствовать на островъ Баратарію, то онъ немедленно издалъ приказъ, чтобы нищіе, просящіе милостыню, не пѣли про чудеса, достовѣрность которыхъ они не могли доказать (II, стр. 413). Вѣроятно за эти раціоналистическія выходки, такъ свойственныя эпохѣ Возрожденія, книга Сервантеса попала въ списокъ запрещенныхъ инквизиціею книгъ (Index expurgatorius).

Вездѣ, гдѣ Сервантесъ касается политическихъ и соціальныхъ вопросовъ (исключеніе составляетъ мавританскій вопросъ) онъ обнаруживаетъ возвышенность идей, чувство справедливости и гуманности и замѣчательную государственную мудрость. Подобно передовымъ людямъ эпохи Возрожденія, Сервантесъ, самъ герой Лепанто, гордившійся своими ранами, является врагомъ войны и завоевательной политики. Онъ порицаетъ всякую войну, кромѣ войны оборонительной, цѣль которой—защита вѣры, отечества и короля (т. II, стр. 225—226). Цѣня въ человѣкѣ выше

всего нравственное достоинство, Сервантесъ не придавалъ никакого значенія преимуществамъ рожденія: „Гордись, Санчо, своимъ скромнымъ происхожденіемъ, и не стыдись его, тогда никто не пристыдитъ тебя имъ. Гордись лучше тѣмъ, что ты—незнатный праведникъ, чѣмъ тѣмъ, что ты—знатный грѣшникъ. Если ты изберешь добродѣтель своимъ руководителемъ и постановишь свою славу въ добрыхъ дѣлахъ, тогда тебѣ нечего будетъ завидовать людямъ, считающихъ принцевъ и другихъ знатныхъ особъ своими предками. Кровь наслѣдуется, а добродѣтель пріобрѣтается и цѣнится такъ высоко, какъ никогда не можетъ цѣниться кровь. (т. II, стр. 336). Но высказывая такіе радикальные для того времени взгляды, Сервантесъ не былъ, однако, сторонникомъ всеобщаго равенства, не возставалъ противъ существующаго раздѣленія людей на классы и сословія, на богатыхъ и бѣдныхъ, но только полагалъ, что привилегія происхожденія и богатства должна быть искупаема добровольно принимаемыми на себя заботами о благосостояніи обдѣленныхъ судьбою низшихъ классовъ общества. Извѣстно, что Сервантесъ всю жизнь боролся съ бѣдностью, что, не находя средствъ къ жизни на родинѣ, онъ серьезно думалъ о переселеніи въ Америку, что ему не разъ приходилось, жертвуя собственнымъ достоинствомъ, прибѣгать съ просьбой о помощи къ знатнымъ покровителямъ, которые спасали его чуть не отъ голодной смерти. Въ виду всего этого пріобрѣтаетъ несомнѣнно автобіографическое значеніе великолѣпный гимнъ свободѣ и нравственной независимости, которые онъ влагаетъ въ уста Донъ-Кихота: „Свобода, Санчо, это драгоцѣннѣйшее благо, дарованное небомъ человѣку! Ничто не сравнится съ ней: ни сокровища, скрытыя въ нѣдрахъ земныхъ, ни скрытыя въ глубинѣ морской. За свободу и честь человѣкъ долженъ жертвовать жизнію, потому что рабство составляетъ величайшее земное бѣдствіе. Ты видѣлъ, другъ мой, изобиліе и роскошь, окружавшія насъ въ замкѣ герцога. И что же? Вкушая эти изысканныя яства и замороженные напитки, я чувствовалъ себя голоднымъ, потому что не пользовался ими съ той свободой, съ какой я пользовался бы своею собственностью; чувствовать себя обязаннымъ за милости, значитъ налагать оковы на душу свою. Счастливъ тотъ, кому небо дало кусокъ хлѣба, за который онъ долженъ благодарить только небо!“. Нигдѣ Сервантесъ не достигаетъ такой нравственной высоты и такой политической мудрости, какъ въ тѣхъ совѣтахъ и наставленіяхъ, которые даетъ Донъ-Кихотъ отправляющемуся на губернаторство Санчо. Тутъ передъ нами рисуется идеалъ управленія мудраго, справедливаго, твердаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ проникну-

таго глубокой любовью и милосердіемъ къ людямъ [1]). И таково было вліяніе этой нравственной силы, что Санчо, первоначально видѣвшій въ губернаторствѣ только средство нажиться, подъ вліяніемъ совѣтовъ Донъ-Кихота совершенно перерождается, дѣлается дѣйствительно мудрымъ правителемъ, уничтожаетъ массу злоупотребленій, заботится объ участи бѣдняковъ и въ концѣ концовъ самъ уѣзжаетъ съ острова такимъ же бѣднякомъ, какимъ пріѣхалъ туда.

Я далеко не исчерпалъ всѣхъ перловъ гуманности и мудрости, заключающихся въ разсужденіяхъ Донъ-Кихота, которыя и были главной причиной того, что критика, позабывъ двойственный характеръ Донъ-Кихота, смотрѣла на него исключительно какъ на энтузіаста идеи добра, и негодовала на Сервантеса за то, что онъ ставитъ такую идеальную личность въ смѣшныя положенія. Съ другой стороны мнѣ хотѣлось обратить вниманіе на ускользнувшую отъ большинства публики положительную сторону произведенія Сервантеса, на массу заключающихся здѣсь возвышенныхъ и гуманныхъ идей, которыми особенно изобилуетъ вторая часть „Донъ-Кихота“, когда характеръ героя просвѣтляется, когда завѣса начинаетъ мало-по-малу спадать съ глазъ его. Отъ этой части, написанной Сервантесомъ всего за годъ до смерти, вѣетъ такой тишиной и душевной ясностью, такой радостной вѣрой въ добро и истину, что она кажется намъ поэтическимъ завѣщаніемъ великаго романиста, озареннымъ кроткимъ и умирающимъ свѣтомъ его жизненнаго заката.

Н. Стороженко.

---

[1]) Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести нѣсколько изъ этихъ совѣтовъ, которые никогда не утратятъ своей цѣнности: „Старайся во всемъ открыть истину; старайся прозрѣть ее сквозь обѣщанія и дары богатыхъ и сквозь рубище и воздыханія бѣдныхъ. И когда правосудіе потребуетъ жертвы, не обрушай на голову преступника всей кары суроваго закона: да не вознесется судья неумолимый надъ судьею сострадательнымъ! Но смягчая законъ, смягчай его подъ тяжестью состраданія, а не подарковъ. И если ты станешь разбирать дѣло, въ которомъ замѣшанъ врагъ твой, забудь въ ту минуту личную вражду и помни только правду. Не оскорбляй словами, кого ты принужденъ будешь наказать дѣломъ: человѣкъ этотъ и безъ того будетъ наказанъ; къ чему же усиливать его наказаніе непріятными словами? Когда тебѣ придется судить виновнаго, смотри на него, какъ на слабаго и несчастнаго человѣка, какъ на раба нашей грѣховной природы. И оставаясь справедливымъ къ противной сторонѣ, яви, насколько это будетъ зависѣть отъ тебя, милосердіе къ виновному, потому что, хотя всѣ богоподобныя свойства равны, тѣмъ не менѣе милосердіе сіяетъ въ нашихъ глазахъ ярче справедливости“ и т. д.

ОБЗОРЪ
МАЛОРУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ

II *).—И. И. Срезневскій, 1812—80.

Срезневскій прошелъ долгое и исторически любопытное научно-литературное поприще, на которомъ успѣлъ совершить много важныхъ трудовъ, дающихъ ему почетное мѣсто въ развитіи нашей науки. Обзоръ этого поприща не входитъ въ нашу настоящую задачу, и мы коснемся дѣятельности Срезневскаго лишь по отношенію къ малорусской этнографіи, въ которой произвелъ нѣкогда большое впечатлѣніе его первый этнографическій трудъ [1]).

Ученое поприще Срезневскаго случайно началось въ другой области, именно въ области политической экономіи и статистики, хотя уже съ самыхъ раннихъ лѣтъ его влекло къ народной ста-

*) См. выше: августъ, стр. 744.

[1]) Научная подробная біографія его еще не написана. По смерти его, явился рядъ некрологовъ; одинъ былъ напечатанъ въ „Вѣстн. Евр." 1880. Объ его дѣятельности см.:

— „Импер. Спб. университетъ въ теченіе первыхъ пятидесяти лѣтъ его существованія". Спб. 1870;

— „Библіографическій списокъ сочиненій и изданій ордин. академика Импер. Академіи Наукъ И. И. Срезневскаго. Ко дню пятидесятилѣтія его ученой дѣятельности составленъ въ Отдѣленіи русск. языка и словесности". Спб.. 1879, 4°; и въ особенности:

— Отчетъ о дѣятельности второго отдѣленія имп. акад. наукъ за 1880 годъ", составленный А. Ѳ. Бычковымъ („Сборникъ" II Отд., т. XXII, № 6, Спб. 1881), гдѣ стр. 18—79 посвящены (до сихъ поръ наиболѣе обстоятельному) обзору ученыхъ трудовъ Срезневскаго, а затѣмъ, стр. 79—126, повторенъ библіографическій списокъ его сочиненій и изданій, но съ бо́льшими подробностями противъ изданія 1879 г.

ринѣ и поэзіи; но затѣмъ Срезневскій вскорѣ получилъ возможность направить свои труды на любимые предметы, и съ тѣхъ поръ до конца жизни работалъ въ русской этнографіи, археологіи, филологіи и славистикѣ.

Срезневскій былъ великоруссъ по происхожденію (онъ родился въ Ярославлѣ, а родъ его шелъ изъ рязанской губерніи), но все дѣтство и юность провелъ въ Малороссіи, именно въ Харьковѣ, гдѣ отецъ его былъ профессоромъ россійскаго краснорѣчія и поэзіи и вмѣстѣ инспекторомъ казенно-коштныхъ студентовъ. Онъ рано потерялъ отца, и послѣ домашняго воспитанія очень рано, 14 лѣтъ, поступилъ въ университетъ, гдѣ и кончилъ, 17 л., тогдашній трехлѣтній курсъ. Харьковскій университетъ [1]), основанный въ первые годы царствованія Александра I, всего больше благодаря усиліямъ извѣстнаго патріота-мечтателя, и даже фантазёра, Каразина, университетъ харьковскій, какъ и другія подобныя учрежденія того времени, въ первыя десятилѣтія своего существованія носилъ довольно странный характеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что русская жизнь нуждалась въ просвѣщеніи и что основаніе новаго высшаго учебнаго учрежденія было величайшей заслугой тѣхъ, кто его осуществилъ, и было дѣломъ, въ высокой степени благотворнымъ: нужно было когда-нибудь разбудить людей отъ умственной спячки, дать общественной жизни запасъ необходимыхъ научныхъ средствъ, дать основу для работы сознанія. Первые шаги на этомъ пути были неловки и неувѣренны, и желчные консерваторы не упускали указывать на слабыя стороны новыхъ университетовъ, для которыхъ надо было выписывать иностранныхъ профессоровъ, и для которыхъ не было приготовлено учениковъ. Такова была филиппика противъ университетовъ, основанныхъ при Александрѣ I, въ „Запискѣ о древней и новой Россіи“ Карамзина. Неловкости и затрудненія дѣйствительно случались: первые слушатели бывали мало приготовлены къ университетской наукѣ; профессоровъ дѣйствительно недоставало и ихъ выписывали изъ-за границы не только въ первое время, но и позднѣе,—какъ долго еще выписывали ученыхъ для императорской академіи наукъ. Но эти затрудненія были неизбѣжны при первой постановкѣ науки въ обществѣ, ранѣе ея не имѣвшемъ. Въ самомъ дѣлѣ, не откуда было взять русскихъ ученыхъ; новая наука должна была когда-нибудь бросать свои первые корни, но

[1]) Любопытный и богатый характерными чертами разсказъ о старомъ харьковскомъ университетѣ далъ г. Де-Пуле, въ momentum lucidum его писательства („Харьковскій университетъ и Д. И. Каченовскій“, въ „Вѣстн. Европы“, 1874, январь и февраль).

позднѣйшее ея развитіе, при всѣхъ стѣсненіяхъ, какія пришлось ей испытывать съ разныхъ сторонъ, и при всѣхъ ея недостаткахъ, указываетъ, что это было, однако, дѣло жизненное и для русскаго общества необходимое. Въ молодыхъ поколѣніяхъ являлся контингентъ людей, которые увлекались интересами науки и въ которыхъ зарождался новый слой образованнаго общества. Глухая провинція мало-по-малу привыкала къ новому элементу общественности, хотя часто университетскій профессоръ или ректоръ бывалъ для него только чиновнымъ лицомъ новаго рода. Съ другой стороны, наука не вдругъ могла найти себѣ живое примѣненіе въ мѣстной дѣйствительности: историку, математику, натуралисту, философу, некуда было примѣнять свои новыя знанія— они могли пригодиться развѣ только на той же педагогической дорогѣ, или же примѣнять ихъ было бы не всегда безопасно (какъ это показала, напримѣръ, извѣстная исторія даже въ столичномъ университетѣ, 1821 года). Тѣмъ не менѣе, новое образованіе прокладало себѣ дорогу и овладѣвало умами; новый кругъ людей съ научными понятіями мало-по-малу собрался и, наконецъ, заявилъ интересы знанія въ мѣстной литературѣ и общественной жизни.

Положеніе провинціальнаго университета въ ту пору, когда провинція гораздо больше, чѣмъ теперь, была отдалена и отрѣзана отъ центровъ и вела свою замкнутую жизнь,— это положеніе съ своей стороны отражалось на складѣ мѣстной образованности. Историкъ харьковскаго университета отмѣчаетъ какъ черту этого мѣстнаго просвѣщенія извѣстный мечтательный (слегка поверхностный) идеализмъ, который и былъ совершенно понятенъ въ средѣ образованныхъ людей, удаленныхъ отъ болѣе сильнаго и сознательнаго движенія литературныхъ и научныхъ центровъ. Предоставленные самимъ себѣ, находя мало отвѣта на свои идеи въ окружающей средѣ, эти люди естественно впадали въ отвлеченность, въ сантиментальныя мечтанія на тэму своихъ новыхъ идей. Уединенность университета дѣлала и другое. Въ немъ издавна бывали люди, искренно преданные наукѣ и ревностно для нея работавшіе, какъ филологъ и эстетикъ Кронебергъ, какъ позднѣе историкъ Лунинъ, оставившій по себѣ надолго память талантливаго профессора и рѣдко чистаго характера; но большинство или дѣлались чиновниками,—какъ однимъ изъ антипатичнѣйшихъ примѣровъ этого былъ профессоръ и ректоръ университета, и малорусскій поэтъ, Гулакъ-Артемовскій,—или изнѣживались: университетская наука, въ такихъ рукахъ, очень запаздывала или становилась дилеттантской, и тѣмъ больше у слушателей; или вмѣстѣ съ тѣмъ пускались въ промыселъ—содержаніе студентовъ-пансіо-

неровъ (съ предполагаемымъ обязательствомъ благополучно довести ихъ до окончанія курса—кандидатами или дѣйствительными студентами, смотря по суммѣ, платимой за пансіонера), что̀ долго оставалось язвой именно харьковскаго университета.

Но надо представить себѣ незатѣйливую простоту провинціальнаго быта, слишкомъ скромный уровень обычнаго „просвѣщенія“, чтобы оцѣнить то оживляющее вліяніе, какое производила и эта небольшая наука. Она во всякомъ случаѣ была глубоко благотворна для воспріимчивыхъ, живыхъ умовъ, открывала для нихъ разумную дѣятельность и, въ частности, будила интересы къ мѣстной исторической и народно-поэтической старинѣ.

Въ тѣ годы, когда Срезневскій проходилъ свою университетскую школу, сама окружающая жизнь была еще преисполнена отголосками малорусской старины. Еще жило много историческихъ воспоминаній; эпическая поэзія бандуристовъ и богатая лирическая пѣсня были еще въ полномъ цвѣту; малорусскій обычай хранился не только въ крестьянствѣ, но и въ среднемъ классѣ, и въ быту малорусскихъ помѣщиковъ; въ кругу людей стараго вѣка ходила по рукамъ малорусская книжная старина, лѣтописи и иные историческіе памятники, и изъ ихъ рукъ эти памятники начинали прямо переходить въ руки людей новаго ученаго образованія, которые вывели ихъ потомъ и въ литературный свѣтъ... Съ конца прошлаго вѣка вступалъ въ литературу и народный малорусскій языкъ, сначала въ рѣдкихъ произведеніяхъ, иногда несомнѣнно талантливыхъ и оригинальныхъ, съ народнымъ колоритомъ и малорусскимъ юморомъ, которыя имѣли большой успѣхъ въ своей публикѣ, потому что затрогивали чувствительную струну еще незаглохшей мѣстной народности въ образованномъ (болѣе или менѣе) кругу... До сихъ поръ мало изслѣдовано внутреннее настроеніе малорусскаго общества конца прошлаго и первыхъ десятилѣтій нынѣшняго вѣка; но въ этомъ обществѣ очевидно шло какое-то броженіе, на которое намекаютъ отдѣльные факты, еще мало разъясненные. Что въ концѣ прошлаго столѣтія были еще живыя воспоминанія старой малорусской особности, это не требуетъ объясненій: при Екатеринѣ II только-что окончила свое существованіе малорусская гетманщина (хотя уже въ слабой тѣни прежняго) и только-что закрыта была Запорожская Сѣчь; воспоминанія ходили еще въ образѣ живыхъ людей стараго порядка и съ ихъ идеями, и съ архаической внѣшностью. Эти бытовыя явленія кончили, конечно, свою роль и должны были отойти въ могилу исторіи; но была еще крѣпка любовь къ этимъ воспоминаніямъ и бытовой старинѣ; ея любителями бывали и большіе паны, важ-

ные люди въ родѣ упоминавшагося выше Трощинскаго. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія къ этимъ малорусскимъ патріотическимъ интересамъ,—на которыхъ оперлась и возрождавшаяся въ новомъ видѣ малорусская литература,—присоединились, мало понятнымъ доселѣ образомъ, интересы панславистическіе. Такъ, когда въ Кіевъ проникла мода на масонскія ложи, тамошняя ложа (1818) приняла названіе „Соединенныхъ Славянъ"; въ 1823, основывается, опять съ тѣмъ же именемъ, особое тайное общество, примкнувшее потомъ къ южному обществу. Въ „Донесеніи слѣдственной коммиссіи" 30 мая 1826 г. упоминаются показанія о какихъ-то „малороссійскихъ обществахъ" съ политическими цѣлями [1]). Припомнимъ, что здѣсь же, въ Харьковѣ, носился съ панславистическими планами упомянутый Каразинъ, предлагавшій свои мечтанія о панславянскомъ царствѣ правительству императора Александра I.

Чрезвычайно любопытнымъ памятникомъ того же броженія мѣстныхъ историческихъ воспоминаній и политическихъ идеаловъ осталась знаменитая „Исторія Руссовъ", ходившая по рукамъ подъ именемъ архіепископа Георгія Конисскаго и лишь въ недавнее время признанная подложною. Не принадлежа вовсе Конисскому, эта „Исторія", наполненная или ходячими преданіями, или тенденціознымъ изложеніемъ южно-русской исторіи, остается характернымъ литературнымъ произведеніемъ, рисующимъ задушевныя понятія и мечты мѣстныхъ патріотовъ. Далѣе, однимъ изъ любопытныхъ фактовъ того же настроенія остается великая мѣстная популярность извѣстнаго малороссійскаго „философа" Сковороды, о которомъ, между прочимъ, не разъ писалъ и говорилъ Срезневскій... Эти воспоминанія о старинѣ представлялись тѣмъ живѣе, что обстановка быта, этнографическія особенности края бросались въ глаза, говорили о другомъ оттѣнкѣ племени, о другой исторіи. Замѣчательно, что, какъ именно здѣсь на югѣ показались первые темные намеки на панславизмъ, такъ здѣсь же потомъ развивался особый интересъ къ славянскому національному возрожденію, къ изученію другихъ славянскихъ народностей. Послѣ мечтаній о „Соединенныхъ Славянахъ" въ Кіевѣ, послѣ всеславянскихъ мечтаній Каразина въ Харьковѣ, мы здѣсь же на

[1]) Одно малороссійское общество основывалось какимъ-то Новиковымъ при масонской ложѣ; другое малороссійское общество „будто бы имѣло цѣлію отдѣленіе сего края отъ Россіи и присоединеніе онаго къ независимому королевству польскому". Послѣднее показаніе, въ самомъ „Донесеніи" (стр. 17), признано, впрочемъ, основаннымъ на догадкахъ и найдено несправедливымъ. Любопытно все-таки, что бродили мысли подобнаго рода.

югѣ, или въ средѣ малорусскихъ уроженцевъ и патріотовъ, встрѣчаемъ и первые опыты научныхъ интересовъ къ славянскому міру. Въ тридцатыхъ годахъ, когда у насъ еще не было никакихъ прямыхъ средствъ изученія славянства, Вадимъ Пассекъ, обжившійся въ Харьковѣ, соединяетъ малорусскій патріотизмъ съ философско-историческими разсужденіями о судьбахъ славянства; Артемовскій худо ли, хорошо ли знаетъ о новомъ славянскомъ движеніи; Бодянскій пишетъ книгу о славянской народной поэзіи; Срезневскій въ Харьковѣ записываетъ и издаетъ словацкія пѣсни, переводитъ и объясняетъ чешскіе памятники; при посылкѣ за границу первыхъ будущихъ славистовъ, два послѣдніе являются въ числѣ посылаемыхъ, и къ нимъ присоединяется еще южанинъ, Григоровичъ; еще нѣсколько лѣтъ спустя, натурализованный въ малороссы Костомаровъ основываетъ свое панславистское Кирилло-Меѳодіевское общество... Надо думать, что въ этомъ первомъ пробужденіи славянскихъ интересовъ и сочувствій играло извѣстную роль нѣкоторое сходство въ самомъ положеніи народностей: возникавшая литература на малорусскомъ языкѣ; богатая народная поэзія, которую начали теперь изучать, какъ памятникъ старой и источникъ оживающей народности, имѣли несомнѣнно точки сближенія съ славянскимъ возрожденіемъ, особливо ежели вспоминалась Галиція, гдѣ это народное движеніе было вполнѣ тождественно съ возрожденіемъ другихъ славянскихъ народностей на югѣ и на западѣ. Быть можетъ, отозвался здѣсь, какъ нѣкоторые думали, и отголосокъ старыхъ связей Малороссіи съ южнымъ славянствомъ, когда сербы приходили учиться въ кіевскую академію или когда направлялись въ Малороссію сербскія поселенія въ прошломъ столѣтіи. Сближеніе съ польскимъ обществомъ и литературой было возможно (какъ разсказываетъ г. Де-Пуле) въ самомъ Харьковѣ, гдѣ жило много поляковъ, и т. д.

Срезневскій не былъ малороссомъ по рожденію, но, благодаря всей обстановкѣ, увлекся, какъ истый малороссъ, народными преданіями и поэзіей края, и его, еще юношескія, работы по этому предмету надолго дали ему авторитетъ въ малорусской этнографіи. „Запорожская Старина“ долго была источникомъ обильныхъ цитатъ въ изслѣдованіяхъ о малорусской старинѣ и изданныя въ ней думы переносились отсюда въ другіе сборники, какъ перлы южно-русскаго эпоса... То обстоятельство, что не-малороссы (какъ былъ Срезневскій, а, пожалуй, и Костомаровъ) бывали ревностными дѣятелями въ области малорусской этнографіи и исторіи,—это обстоятельство, какъ извѣстно, послужило какимъ-то образомъ у враговъ украинофильства новымъ обвиненіемъ противъ него:

это будто бы должно было указывать ненормальность движенія, поддержаннаго силами чужихъ дѣятелей (въ которыхъ надо было предположить какое-то заблужденіе); но фактъ доказываетъ совсѣмъ противное, а именно оригинальную силу той мѣстной исторической и этнографической стихіи, которая дѣйствовала даже на людей, собственно ей чуждыхъ, и увлекала ихъ къ изученію этой мѣстной жизни. Понятно также, что это нимало не было заблужденіемъ съ ихъ стороны: Малороссія — не чужая страна, а свой для насъ край, и изученіе ея, усвоеніе ея историческаго и поэтическаго наслѣдія есть заслуга для „обще-русскаго“ цѣлаго; увлеченіе ею со стороны изслѣдователей, не-малороссовъ родомъ, свидѣтельствовало объ ихъ научной, поэтической и національной воспріимчивости.

Мы имѣемъ мало біографическихъ извѣстій о той ближайшей научно-литературной обстановкѣ, въ которой складывались этнографическіе и литературные взгляды Срезневскаго [1]). На книжное поприще онъ вступилъ очень рано, когда ему былъ едва 21 годъ (первая книжка „Запорожской Старины“, 1833), или даже раньше, потому что въ 1831 онъ издаетъ уже съ Росковшенкомъ маленькій „Украинскій Альманахъ“, гдѣ были и его стихи, а въ 1832 году издалъ упомянутыя „Словацкія пѣсни“. То направленіе, въ которомъ съ самаго начала и надолго, почти до конца (по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока „холодъ жизни“ не сдѣлалъ его совсѣмъ равнодушнымъ къ идеальнымъ сторонамъ литературной жизни), была та романтическая народность, о которой мы не одинъ разъ имѣли случай говорить. Эта романтическая народность въ тѣ годы господствовала въ литературномъ отношеніи къ народу (Пушкинъ, Гоголь, Жуковскій; во второмъ ряду — множество романистовъ и поэтовъ: Загоскинъ, Лажечниковъ, Полевой, Вельтманъ и пр., и пр.), и начиналась въ историко-этнографическихъ изслѣдованіяхъ (Максимовичъ, Вадимъ Пассекъ, частію Даль и др.). Мы указывали при другомъ случаѣ достоинства и недостатки этой романтической народности [2]). Большой заслугой ея было то, что она предчувствовала великую народную и нравственно-общественную важность изученія народа и будущее вліяніе идеи народа въ сознаніи общества и въ самой дѣйствительной жизни. Романтики народности угадывали—иногда какъ бы только инстинктомъ (потому что не всегда умѣли этого теоретически объяснить)—недостаточность одной

[1]) О профессорахъ того факультета (этико-политическихъ наукъ), на который онъ вступилъ, см. въ „Отчетѣ“ г. Бычкова, стр. 20.

[2]) См. напр. „Вѣстн. Евр.“ 1882, ноябрь, стр. 172 и далѣе.

чисто-государственной исторіи народа и того отношенія къ народной жизни, которое господствовало тогда въ понятіяхъ большинства и въ житейской рутинѣ и, въ сущности, съ одной стороны было оффиціальное и канцелярское, съ другой помѣщичье; они угадывали также пошлость и ложь той пустой сантиментальности, съ которою начинали-было обращаться къ народу ихъ предшественники, писатели карамзинской школы. Заслугой романтиковъ было стремленіе искать въ народной жизни ея внутренняго смысла, историческаго и бытового; но въ выполненіи этой задачи они дѣлали ошибки, потому что разрѣшеніе вопроса, какъ они его ставили, было имъ еще не по силамъ, не по средствамъ нашего тогдашняго знанія. Тотъ результатъ, какого они искали, могъ быть достигнутъ только цѣлымъ рядомъ историко-филологическихъ наукъ, которыя только-что основывались, а кромѣ того постановкой серьезнаго и нимало не идеалистическаго соціальнаго вопроса; они думали, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ поэзіей и чувствомъ;—не знаемъ, насколько для большинства ихъ ясенъ былъ вопросъ соціальный и даже представлялся ли онъ имъ.

Мы имѣли случай вкратцѣ упоминать о характерѣ „Запорожской Старины“ Срезневскаго [1]). Это была, въ полномъ смыслѣ слова, юношеская работа, но живая, своеобразная и стоившая не малыхъ изученій. Книга посвящена была собиранію малорусскихъ историческихъ преданій и пѣсенъ, пересказу событій южно-русской, по термину Срезневскаго, „запорожской“ исторіи (по малорусскимъ лѣтописямъ и инымъ источникамъ), опытамъ критики и т. д. Только много послѣ оказалось, что очень многіе изъ тѣхъ памятниковъ, въ которыхъ указывалъ Срезневскій драгоцѣнный остатокъ старины и прекрасное поэтическое наслѣдіе героической эпохи, что многіе изъ нихъ были несомнѣнной, странно появившейся и долго неугаданной поддѣлкой. То самое обстоятельство, что поддѣлки не были въ свое время угаданы,—какъ въ русской этнографіи также довольно долго иныя мнимонародныя и грубыя подмалевки Сахарова сходили за чистую монету,—даетъ понятіе и о состояніи критики, и о настроеніи самихъ этнографовъ. Строгое изслѣдованіе текстовъ не приходило въ голову; на первыхъ порахъ довольно было поэтическихъ картинъ, героическихъ чувствъ, меланхолическихъ впечатлѣній прошедшаго—все это было на-лицо, и затѣмъ никто не думалъ провѣрить подлинность источника этихъ чувствъ и картинъ.

Предисловіе Срезневскаго къ „Запорожской Старинѣ“ рисуетъ

[1]) „Вѣстн. Евр.“ 1882, декабрь, 760—762.

романтическое настроеніе, съ которымъ онъ приступаетъ къ своему дѣлу.

„Издавая въ свѣтъ мое собраніе запорожскихъ пѣсенъ и думъ,—говорилъ онъ,—я имѣю въ виду оказать услугу, хотя и маловажную, не однимъ любителямъ народной поэзіи, но преимущественно любопытствующимъ знать старину Запорожскую, — быть, нравы, обычаи, подвиги этого народа воиновъ, который своею храбростію и смѣлостію, своимъ вліяніемъ на весь юго-востокъ Европы и даже Малую Азію особенно въ XVII столѣтіи, своимъ страннымъ составомъ и образомъ жизни, и характеромъ, будучи отличенъ отъ всего, его окружавшаго, заслужилъ мѣсто въ памяти потомства... Бѣдность исторіи Запорожцевъ въ источникахъ письменныхъ заставляетъ наблюдателя искать другихъ источниковъ, и онъ находитъ для своихъ изслѣдованій богатый, неисчерпаемый рудникъ въ преданіяхъ народныхъ.

„Сіи преданія сохраняются въ памяти бандуристовъ, потомковъ тѣхъ бандуристовъ, кои подобно Скальдамъ Скандинавіи сопровождали храбрыхъ вольниковъ Запорожскихъ во всѣ ихъ походы, подобно Скальдамъ возбуждали ихъ къ битвѣ своими пѣснями (?), подобно Скальдамъ сохраняли для потомства въ пѣсняхъ и думахъ своихъ подвиги храбрыхъ,

Дѣла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.

„И доселѣ на Украинѣ есть какъ бы особенный цѣхъ стариковъ, кои то подъ названіемъ и ремесломъ нищихъ, то подъ названіемъ и ремесломъ музыкантовъ, бродятъ изъ села въ село и тѣшатъ народъ своей игрой на бандурѣ, своими печальными напѣвами пѣсенъ и думъ старинныхъ, своими разсказами про былое.

„Въ памяти сихъ стариковъ живетъ старина Запорожская, и въ семъ отношеніи сіи старики важнѣе всякихъ лѣтописей. Хотя преданія о старинѣ, ими разсказываемыя, и подлежатъ строгой критикѣ, но тѣмъ не менѣе почти необходимы для всякаго, кто желаетъ знать исторію Запорожцевъ и даже остальной Украины. Что касается до событій, до внѣшней исторіи народа, какъ называютъ Нѣмцы, то въ сихъ преданіяхъ могутъ быть ошибки въ мелочахъ,—въ именахъ собственныхъ, въ послѣдовательности происшествій. Этого рода преданія можно повѣрить лѣтописями, еще лучше свѣрить ихъ между собою; ибо ни ложь, ни ошибка не можетъ быть общею, одинъ бандуристъ скажетъ такъ, другой иначе; критика поможетъ отличить истину отъ вымысла. Другой родъ преданій бандуристовъ — о бытѣ, нравахъ, обычаяхъ Запорожцевъ, т.-е. о всемъ, что касается до внутренней исторіи. Эти преданія рѣшительно драгоцѣнны, ибо единственны въ своемъ родѣ по содержанію, и по обширности. Главная отрасль преданій бандуристовъ того и другого рода суть пѣсни и думы.

„И кто можетъ слушать безъ соучастія эти пѣсни и думы, въ которыхъ старина Запорожская отразилась такими вѣрными, живописными очерками, — старина, исполненная жизни хотя и грубой, но величественной, поэтической! Въ пѣсняхъ и думахъ Запорожскихъ вы не найдете ни чопорнаго сладкогласія, ни изнѣженности чувствъ, ни роскоши выраженій. Нѣтъ! въ нихъ все дико, подобно дубровамъ и степямъ, воспринявшимъ ихъ на лоно свое при рожденіи,—все порывисто подобно полету урагана степного, подъ глухія завыванья котораго онѣ взлелѣяны, — все бурно, подобно минувшей жизни Запорожья. Нѣжное чувство нерѣдко пробивается сквозь грубую оболочку оныхъ,

но какъ кипучая волна Ненасытенецкой пучины Пекла среди холода зимняго сквозь прозрачную кору льда, ее покрывающую, — пробивается, и застываетъ на ней. То пѣсни юноши, коего сердце, почерствѣвши для умильнаго чувства любви, суровое, непреклонное, радуется одною радостію побѣды и добычи, — питается однимъ желаніемъ битвъ, — юноши, который, неравнодушно взирая на погибель своихъ сподвижниковъ, съ отчаяніемъ отмщевая за смерть ихъ врагамъ, равнодушно ждетъ собственной своей участи, равнодушно, съ надеждою жить въ памяти потомства: эти пѣсни дышатъ отвагою, самонадѣянностью.—То думы старца: убѣленная лѣтами голова его покоится на изголовьѣ могилы, готовой принять его въ свои нѣдра; его надежды исчезли, будто дымъ сновидѣній; но его душѣ осталась еще одна услада,—то воспоминанія минувшаго, то звуки бандуры, ихъ возбуждающіе; и взоры его, прежде пылавшіе буйнымъ пламенемъ воинственности, теперь померкшіе, испепелившіеся, блистаютъ слезой печали о минувшемъ; и голосъ его, уже увядшій, тихій, едва внятный, оживляется, мужаетъ, повторяя въ унылыхъ напѣвахъ преданія своего времени, своего поколѣнія: въ думахъ нѣтъ той непринужденности, той свободы чувства, которая горитъ въ пѣсняхъ; въ нихъ смѣнила ее старческая вялость, нестройность чувства, хотя и глубокаго, и самобытнаго...

„Таковъ общій характеръ думъ и пѣсенъ Запорожскихъ, кои, будучи любопытны для всякаго литератора-беллетриста, важны для историка и этнографа. Подчиненныя музыкѣ, будучи вытверживаемы слово въ слово или почти такъ, онѣ подлежали меньшему вліянію времени, правильнѣе сохранили свое содержаніе, и кромѣ своего содержанія любопытны какъ произведенія народныя, носящія на себѣ отпечатокъ вкуса, мнѣній, наклонностей народа: онѣ суть памятники не только о старинѣ, но и старины. Разсматривая пѣсни и думы Запорожскія со стороны ихъ народности, находимъ, что многія изъ нихъ очень древни, что̀ доказываетъ и образъ повѣствованія, и языкъ: относительно образа повѣствованія должно замѣтить, что во многихъ думахъ говорится о повѣствуемыхъ событіяхъ какъ о недавнопрошедшихъ, или даже и настоящихъ...

„Сіе первое собраніе заключаетъ въ себѣ пѣсни и думы объ историческихъ лицахъ и событіяхъ до Богдана Хмѣльницкаго.

„Остается мнѣ сказать о средствахъ, коими я пользовался для сего изданія. До сего времени пѣсенъ и думъ Запорожскихъ издано было очень мало: К. Цертелевъ издалъ семь думъ и одну пѣсню, Максимовичъ—около двадцати пѣсенъ; всего не болѣе 40 пьесъ, между коими только пятая часть историческихъ. Эта малоизвѣстность памятниковъ поэзіи Запорожской и вмѣстѣ съ тѣмъ увѣренность въ пользѣ оныхъ для исторіи Запорожцевъ— побудили меня заняться собираніемъ оныхъ, и наконецъ я при помощи многихъ особъ, почтившихъ занятія мои своимъ содѣйствіемъ, послѣ семилѣтняго труда, успѣлъ собрать довольно значительное количество какъ думъ и пѣсней, такъ и другаго рода преданій. Не все собрано самимъ мною; большая часть доставлена другими. Я старался съ своей стороны повѣрить самъ лично все доставленное, исправить ошибки, находившіяся въ различныхъ спискахъ, свѣрить списки, выбрать изъ нихъ лучшее,—наконецъ сдѣлать собраніе свое сколько возможно полнѣйшимъ и правильнѣйшимъ".

Если читатель сравнитъ этотъ отрывокъ съ тѣмъ, что̀ мы приводили въ другомъ мѣстѣ изъ подобныхъ разсужденій Пассека, онъ найдетъ чрезвычайное сходство въ возбужденномъ настроеніи обоихъ писателей, которое стремилось въ прошедшемъ къ

поэтическимъ картинамъ больше, чѣмъ къ опредѣленію самыхъ фактовъ, и напр. въ данномъ случаѣ къ первоначальной критикѣ сообщаемыхъ текстовъ. Правда, Срезневскій дѣлалъ нѣчто въ этомъ послѣднемъ отношеніи, — по его словамъ, онъ сличалъ тексты, „исправлялъ ошибки“ (какія ошибки, и на какомъ критеріумѣ исправлялъ?) и т. п.; но впослѣдствіи именно въ этой сторонѣ дѣла и оказались столь крупные недостатки изданія, что они совсѣмъ подорвали его кредитъ...

Изданіе думъ и преданій обставлено было всѣми признаками достовѣрности; при думахъ обозначалось, что собиратель или „самъ“ списалъ пѣсню „со словъ бандуриста“ (что отмѣчается при большомъ числѣ пѣсенъ думъ) или что получилъ отъ такого-то, имъ называемаго лица; наконецъ, издатель не однажды призывалъ критику и изъявлялъ желаніе воспользоваться ея указаніями. Провѣрять не думали; напротивъ, Максимовичъ въ своемъ второмъ изданіи пѣсенъ, вслѣдъ за первыми книжками „Запорожской Старины“, воспользовался ея матеріаломъ; цитаты изъ нея стали обычнымъ дѣломъ. Срезневскій пріобрѣлъ уже съ тѣхъ поръ авторитетное имя [1])...

Если вспомнить, что Срезневскій, по словамъ его въ предисловіи 1833 г., приступилъ къ изданію послѣ „семилѣтняго труда“, т.-е. началъ этотъ трудъ, когда ему было всего четырнадцать лѣтъ, можно найти объясненіе, почему въ его работѣ такъ звучитъ романтическая струна, и почему вмѣстѣ съ тѣмъ въ сборникѣ могли оказаться найденныя потомъ прорухи относительно самаго существеннаго пункта, т.-е. относительно подлинности изданныхъ имъ народныхъ памятниковъ. Онъ несомнѣнно взялъ грѣха на душу, когда утверждалъ, будто „со словъ бандуриста“ записывалъ не существовавшія у бандуристовъ думы, или когда впослѣдствіи не вывелъ изъ заблужденія тѣхъ, кто ими пользовался.

Въ это время, въ тридцатыхъ годахъ, Срезневскій, вѣроятно, при очень скудныхъ книжныхъ средствахъ и самоучкой, начинаетъ заниматься славянскими нарѣчіями. Еще раньше „Запорожской Старины“, въ 1832, онъ издаетъ небольшой сборникъ словацкихъ пѣсенъ, записанныхъ отъ бродячихъ словаковъ, зашедшихъ въ Харьковъ; въ „Очеркахъ Россіи“ Пассека (который въ эти годы прожилъ нѣсколько времени въ Харьковѣ) онъ помѣщаетъ статьи, касающіяся славянской письменной древности; нѣтъ сомнѣнія, что у него въ то время уже развились тѣ славянскіе

[1]) Ср. „Вѣстн. Евр.“ 1882, декабрь, стр. 761.

интересы, какіе мы видѣли у Пассека—предварившаго, по нѣкоторымъ вопросамъ, хотя еще въ туманной формѣ, нѣкоторыя положенія славянофильства. Въ 1839, Срезневскій былъ назначенъ въ число молодыхъ ученыхъ, которые отправлены были тогда въ славянскія земли и стали вскорѣ первыми основателями русской славистики.

Для исторіи науки, и въ частности для ученой біографіи Срезневскаго, одного изъ первыхъ нашихъ славистовъ, особенно любопытны эти первые шаги въ области мало доступнаго до тѣхъ поръ изученія. Послѣ, когда онъ былъ въ самой славянской средѣ, когда онъ познакомился съ передовыми людьми славянскаго движенія (и со многими завязалъ тѣсныя дружескія связи), когда онъ былъ окруженъ и книжными источниками, и живой народной дѣйствительностью,—понятно, какъ былъ пріобрѣтенъ имъ большой горизонтъ знанія; но, какъ ни велика обнаруженная имъ энергія труда и изученія, книжнаго и живого,—остаются чрезвычайно характерны именно эти раннія работы, гдѣ онъ былъ предоставленъ почти только самому себѣ, съ немногими пособіями, безъ руководителя и правильной школы. Эти раннія работы особенно свидѣтельствуютъ о той талантливости, которая дала ему угадывать великую научную важность, въ особенности для народныхъ изученій,—какую представляло знакомство съ славянскимъ міромъ, изслѣдованіе славянской народной жизни. Нѣтъ сомнѣнія, что изученіе малорусской старины (при всѣхъ его юношескихъ недостаткахъ) въ особенности наводило на мысль объ изученіяхъ славянскихъ... Срезневскій отправлялся въ славянскія земли романтикомъ, и это, съ одной стороны, чрезвычайно помогло ему освоиться въ тогдашнихъ славянскихъ отношеніяхъ, сойтись съ людьми, войти въ литературные интересы: потому что то время, конецъ тридцатыхъ и первые сороковые годы, было самымъ разгаромъ славянскаго возрожденія, которое было своего рода романтизмомъ, экзальтированнымъ превознесеніемъ народнаго начала, народной старины, обычая; и съ другой стороны, пребываніе въ славянской средѣ вооружило романтику Срезневскаго всѣмъ запасомъ славянскихъ возбужденій и новаго фактическаго знанія [2]).

---

[2]) Въ академическомъ некрологѣ Срезневскаго, между прочимъ, помѣщена инструкція, которая предназначена была для молодыхъ ученыхъ, отправлявшихся въ славянскія земли. Эта инструкція, составленная въ московскомъ университетѣ, очень любопытна для исторіи нашей славистики. Въ московскомъ университетѣ имѣли тогда много свѣденій о положеніи славянской науки и литературы, знали имена главнѣйшихъ славянскихъ дѣятелей, съ которыми путешественникамъ и рекомендовалось вступить въ сношенія; — инструкція наполнена указаніями тѣхъ ученыхъ работъ, кото-

Это была наиболѣе живая пора Срезневскаго—въ томъ смыслѣ, что онъ исполненъ былъ одушевленіемъ въ народной идеѣ своихъ изученій и давалъ высказываться этому одушевленію, какъ въ своихъ литературныхъ работахъ, такъ и въ лекціяхъ, которыя началъ читать въ харьковскомъ университетѣ, по возвращеніи изъ своего славянскаго путешествія въ 1842 году. Объ его тогдашнихъ лекціяхъ разсказываетъ свидѣтель-очевидецъ:

„Успѣхъ его былъ громадный. Студенты всѣхъ факультетовъ, особенно въ первый годъ курса, толпами стекались слушать краснорѣчиваго профессора; самая большая университетская аудиторія, № 1-й, не вмѣщала всѣхъ желающихъ. Новость предмета, бойкость изложенія, то восторженнаго и приправленнаго цитатами изъ Коллара, Пушкина и Мицкевича, то строго критическаго, не лишеннаго юмора и иронiи, все это дѣйствовало на учащуюся молодежь самымъ возбуждающимъ образомъ; все это было такъ своеобычно, и еще ни разу не случалось, какъ гласило преданіе, на университетской каѳедрѣ. Направленіе профессора было панславистское; стихи Коллара не сходили, можно сказать, съ его устъ“.

Авторъ воспоминаній замѣчаетъ, что въ харьковскомъ университетѣ Срезневскій нашелъ въ особенности чуткую аудиторію. „Славянское братство и единеніе, въ духѣ мира и любви едва ли въ другомъ русскомъ университетѣ нашло бы для себя болѣе благопріятную почву, чѣмъ въ харьковскомъ. Въ 40-хъ годахъ въ харьковскомъ университетѣ число студентовъ колебалось всегда между цифрами 450 и 500; изъ этого числа отъ 150 до 200 было поляковъ. На медицинскомъ факультетѣ мы еще застали студентовъ бывшей виленской медицинской академіи. Были профессора поляки, и такіе даровитые, какъ Валицкій; изъ другихъ назову Александра Мицкевича, читавшаго римское право, брата знаменитаго поэта Адама, угрюмаго литвина, плохо говорившаго по-русски, но совсѣмъ не раздѣлявшаго тенденцій автора „Дзядовъ“... Были литераторы польскіе, какъ Корженевскій и Валицкій; было и общество польское, для губернскаго города немалое. Общеніе между русскими и польскими студентами было полное, вполнѣ теплое и искреннее со стороны первыхъ, простое и безхитростное со стороны послѣднихъ: жгучая взаимная непріязнь,

---

рыя путешественникамъ предлагалось совершить. Но рядомъ съ тѣмъ она производитъ впечатлѣніе, что составители не вѣдали, что́ творятъ; потому что не только одному ученому—въ короткій срокъ—невозможно было выполнить насчитанныхъ работъ, но онѣ остаются недовершенными и цѣлою массою нашихъ ученыхъ до сихъ поръ, почти черезъ пятьдесятъ лѣтъ по составленіи этой ученой инструкціи.

начавшаяся съ послѣдняго мятежа и до сихъ поръ еще не потухшая, тогда была положительно немыслима... Изученіе польскаго языка между харьковскими студентами 40-хъ годовъ было такимъ же обычнымъ явленіемъ, какъ изученіе языковъ французскаго и нѣмецкаго. Послѣ всего сказаннаго становится очевиднымъ та громадная польза, которую приносилъ профессоръ Срезневскій своими панславистскими лекціями первымъ своимъ слушателямъ, въ особенности полякамъ. Независимо отъ этого, молодой профессоръ, какъ никто тогда, съумѣлъ пріохотить студентовъ къ научной дѣятельности, просто—научить ея производству, о чемъ, увы! кажется и теперь лишь немногіе изъ университетскихъ преподавателей думаютъ. Онъ завалилъ студентовъ работами по исторіи русскаго языка, литературы, этнографіи славянства и проч. Онъ на лекціяхъ показывалъ, какъ надобно обращаться съ научнымъ сырьемъ,—лѣтописью, пѣсней, вообще со всякимъ источникомъ“ [1]).

Литературныя работы Срезневскаго со времени его путешествія состояли, почти исключительно, сначала въ отчетахъ объ его путешествіи, потомъ въ замѣткахъ и изслѣдованіяхъ по спеціальнымъ предметамъ, и лишь изрѣдка въ общихъ статьяхъ, разсчитанныхъ на большинство читателей. Эта раскиданность, на первыхъ порахъ, была понятна: собственный интересъ, во время путешествія и послѣ, привлекалъ его къ различнымъ сторонамъ обширнаго предмета, и въ русской ученой литературѣ надо было дать имъ мѣсто, обратить на нихъ вниманіе,—тѣмъ больше, что эти славянскіе предметы представляли много точекъ соприкосновенія съ самимъ русскимъ матеріаломъ (напр. именно въ области миѳологіи, древняго быта, обычая, поэзіи, языка) и сличеніе было плодотворно, становилось необходимостью для самой русской науки. Изъ всѣхъ своихъ сотоварищей Срезневскій всего болѣе былъ, такъ сказать, славянскимъ полигисторомъ, и это была особенная заслуга его въ развитіи нашей славистики. Но и здѣсь, среди этихъ разбросанныхъ, спеціальныхъ работъ не разъ (какъ, напр., особенно въ его живой статьѣ о знаменитомъ сербскомъ этнографѣ Караджичѣ) высказывалась та общая точка зрѣнія, которою онъ увлекалъ своихъ первыхъ университетскихъ слушателей—эта особенная привязанность и ученый интересъ къ первобытному народному, что̀ хранило въ себѣ своеобразную старину, простые патріархальные обычаи, безъискусственную, но глубокую поэзію. Свой пріемъ славянскихъ изслѣдованій Срезневскій опредѣлялъ слѣдующимъ образомъ.

---

[1]) „Вѣстн. Евр.“ 1874, январь, стр. 105—106.

„Изученіе славянскихъ народовъ, ихъ нарѣчій и памятниковъ, ихъ народной словесности,—говорилъ онъ,—изученіе мѣстное, такъ сказать топографическое, считалъ я и считаю тѣмъ болѣе необходимымъ, что каждый живой народъ, каждое живое нарѣчіе, каждая живая народная словесность представляетъ этнологу, историку, филологу хотя нѣчто такое, что наперекоръ судьбѣ пережило долгіе вѣка и сохранилось только въ немъ, что каждый славянскій народъ выражаетъ въ особенной формѣ, будучи необходимымъ звеномъ въ общемъ развитіи славянства, и можетъ дать отвѣты на тѣ или другіе изъ обще-славянскихъ вопросовъ. Въ этомъ отношеніи каждую особенную народность жизни и слова можно сравнить съ особеннымъ музыкальнымъ тономъ: каждая необходима, каждая самобытна, хотя и совпадаетъ, сливается съ другими... Собираніе матеріаловъ должно предшествовать всему".

Изъ этихъ словъ можно видѣть, что новыя славянскія изученія Срезневскаго, собственно говоря, не дали ему новой точки зрѣнія, а только развили старую основу его мнѣній; его старый народный романтизмъ обогатился только несравненно болѣе широкимъ кругомъ наблюденій и запасомъ фактовъ. Въ приведенныхъ словахъ были задатки глубоко справедливыхъ и вызывающихъ сочувствіе мыслей о вниманіи къ народной жизни, при чемъ предполагалась не только научная важность изслѣдованія всѣхъ ея подробностей, но и уваженіе къ этой жизни въ общественномъ и политическомъ отношеніи—уваженіе къ существующимъ народностямъ и ихъ стремленіямъ, потому что въ этихъ стремленіяхъ говорила исторически сложившаяся бытовая и нравственная сущность. Какъ мы замѣтили, Срезневскій странствовалъ по славянскимъ землямъ (онъ именно много странствовалъ, ходилъ пѣшкомъ по селамъ и деревнямъ, чтобы видѣть лицомъ къ лицу народную жизнь, нравы и обычаи, слышать языкъ, пѣсни и преданія) въ самый разгаръ славянскаго возрожденія; и эта борьба—большей частью мелкихъ народностей за свое существованіе, эти усилія мелкихъ литературъ поддержать народный языкъ, выработать изъ его самостоятельныхъ источниковъ новую книжную рѣчь, создать чтеніе, спеціально пригодное для народной массы, изъ которой надо было воспитывать защитниковъ народнаго дѣла,—все это внушило ему великое почтеніе къ этому труду славянскихъ патріотовъ-писателей въ народномъ смыслѣ, и въ своихъ статьяхъ и въ лекціяхъ онъ отдавалъ предпочтеніе этимъ мелкимъ литературамъ, стоящимъ вполнѣ на народной почвѣ, работающимъ для непосредственныхъ интересовъ народа и

ему доступныхъ, передъ тѣми большими литературами, которыя задаются отвлеченными задачами и перестаютъ быть понятны для народа.

Но если, какъ мы сказали, были въ этомъ взглядѣ вызывающіе сочувствіе задатки, то его развитіе и примѣненіе у Срезневскаго было такъ односторонне, что здѣсь открывается глубокая, существенная ошибка его цѣлаго литературнаго взгляда. Его спеціальная защита мелкихъ литературъ имѣла свою важность тѣмъ, что когда всѣ интересы тогдашней нашей литературы были поглощены отвлеченными вопросами философіи, общечеловѣческаго искусства, эта точка зрѣнія напоминала о реальномъ интересѣ народа, образовательномъ и нравственномъ возвышеніи забытыхъ массъ, — возбуждала вниманіе къ внутреннему содержанію народнаго быта, въ которомъ была своя историческая мысль, свое старое чтимое преданіе. Но преувеличеніе этой точки зрѣнія повело къ грубой ошибкѣ, къ совершенному непониманію дѣйствительнаго значенія русской литературы. Въ самомъ дѣлѣ, странно было, превознося маленькія популярныя литературы славянскаго возрожденія, проглядѣть значеніе русской литературы, гдѣ только-что завершилась дѣятельность Пушкина и Лермонтова, гдѣ Гоголь далъ уже свои совершеннѣйшія созданія и гдѣ готовилась къ своему поприщу та блестящая плеяда писателей-художниковъ 40-хъ годовъ, которыхъ теперь встрѣчаетъ съ такимъ изумленнымъ уваженіемъ европейская литература. Академическій біографъ замѣчаетъ, что „преувеличенное увлеченіе всѣмъ народнымъ, стремленіе найти въ немъ разгадку исторіи и уясненіе національнаго характера, отодвинуло, къ сожалѣнію, Срезневскаго отъ новѣйшей литературы, даже до такой степени, что въ позднѣйшее время онъ не признавалъ ни таланта въ Гоголѣ, ни его значенія въ нашей литературѣ“ [1]). Этого мало сказать: Срезневскій не признавалъ не только Гоголя, но всей новѣйшей литературы; она была ему непонятна, ея стремленія были ему чужды— случалось, онъ говорилъ съ пренебреженіемъ не только о Гоголѣ, но и многихъ другихъ писателяхъ, имена которыхъ стали славою русской литературы...

Это пренебреженіе было простымъ непониманіемъ,—какъ ни странно это сказать о человѣкѣ съ живымъ, острымъ, даже блестящимъ умомъ, какъ былъ Срезневскій. Причины этого непониманія были довольно сложны, и одною изъ нихъ была несомнѣнно —воспитавшая его харьковская наука. Въ университетѣ Срез-

[1]) Отчетъ, стр. 39.

невскій не прошелъ никакой правильной школы относительно предметовъ литературы. Едва ли не главнымъ изъ его харьковскихъ руководителей въ годы ученья былъ Гулакъ-Артемовскій, которому впослѣдствіи Срезневскій посвятилъ свою докторскую диссертацію — первую крупную работу въ области славянскихъ изученій. Но Гулакъ-Артемовскій въ научномъ отношеніи былъ совершенное ничтожество: онъ могъ развѣ только поддержать въ Срезневскомъ-студентѣ его наклонности къ изученію народности, могъ оказать пособіе въ первомъ знакомствѣ съ славянскими нарѣчіями,—но не могъ сообщить никакого прочнаго теоретическаго взгляда или научной системы, потому что самъ не имѣлъ никакихъ... Срезневскій увлекся народнымъ, а также и тогдашнимъ литературнымъ романтизмомъ, самъ пробовалъ себя на этомъ поприщѣ вычурными повѣстями (въ „Московскомъ Наблюдателѣ“), и—на этомъ остановился: то броженіе идей тридцатыхъ годовъ, гдѣ созрѣвало послѣдующее увлеченіе гегеліанствомъ или соціализмомъ и готовилось содержаніе двухъ школъ, борьба которыхъ наполняетъ сороковые годы, было ему чуждо и какъ будто неизвѣстно; ему осталось не понятно и все движеніе новѣйшей литературы,—ни въ области художества, какъ Гоголь, ни въ области критики, какъ Бѣлинскій и пр. Пониманіе Срезневскаго остановилось на старомъ романтизмѣ тридцатыхъ годовъ, и дальше не пошло. Впечатлѣнія славянскаго путешествія, породившія у него культъ мелкихъ народныхъ литературъ, нисколько не разъяснили дѣла; свойства этихъ мелкихъ литературъ не могли быть примѣнены къ русской, и условія этой послѣдней остались для него всегда чужды и мало понятны.—Къ этому отсутствію правильнаго литературнаго образованія, наслѣдованному отъ харьковскихъ руководителей, присоединялась особая складка ума и характера самого Срезневскаго. Его умъ былъ по преимуществу разлагающій, аналитическій, съ большою долею скептицизма. Въ теченіе своего долгаго ученаго поприща онъ не создалъ ни одного цѣльнаго, многообъемлющаго труда; напротивъ, его ученая дѣятельность произвела цѣлую массу отдѣльныхъ работъ, чрезвычайно важныхъ и свидѣтельствующихъ о глубинѣ и разнообразіи его свѣденій, — но никогда не пытался онъ на какой-либо общій трудъ, хотя бы для нашего славяновѣденія въ этомъ настояла тогда (да и теперь) большая потребность. Чужія работы подобнаго рода, попытки полагать общія основанія, дѣлать общіе выводы, онъ встрѣчалъ обыкновенно недовѣрчиво. Нѣкогда, въ періодъ юношескаго романтизма, онъ создалъ себѣ культъ народности и усердно служилъ ему, но никогда не выяснилъ его себѣ

въ систематическое міровоззрѣніе. И всякая другая система казалась ему ненужной, невѣрной, и въ сущности была непонятной. Въ самой его спеціальной наукѣ у него не выработалось единаго послѣдовательнаго начала. „Собираніе матеріала“ стало наконецъ его послѣднимъ лозунгомъ;—но вѣдь и для этого надо когда-нибудь осматриваться въ собранномъ, чтобы можно было разумно идти дальше?.. Наконецъ, даже въ частныхъ спорныхъ вопросахъ науки Срезневскій боялся принять опредѣленное рѣшеніе и вмѣсто вывода накоплялъ вопросы, догадки и недоумѣнія...

По переходѣ Срезневскаго въ Петербургъ, въ 1847, въ характерѣ его профессуры и ученой дѣятельности можно замѣтить значительную перемѣну. Онъ сталъ, безъ сомнѣнія, въ ряду лучшихъ профессоровъ филологическаго факультета; онъ производилъ впечатлѣніе своимъ обширнымъ знаніемъ и живымъ изложеніемъ, — но здѣсь его чтенія уже никогда не имѣли того успѣха, о какомъ разсказываетъ г. Де-Пуле. Толпы слушателей изъ всѣхъ факультетовъ уже не было (мы говоримъ о первыхъ 50-хъ годахъ): это были только слушатели изъ даннаго факультета и курса; и здѣсь далеко не всѣмъ лекціи внушали сильный интересъ. Вѣроятно, была иная аудиторія,—въ болѣе серьезно обставленномъ университетѣ (чѣмъ былъ харьковскій), менѣе отзывчивая на неопредѣленный народный романтизмъ; съ другой стороны, быть можетъ, обиліе оффиціальныхъ отношеній, окружившихъ его въ Петербургѣ, недавній печальный исходъ романтическаго панславизма въ Кіевѣ, производили охлаждающее дѣйствіе и наоборотъ создавали новые практическіе интересы,—но съ тѣхъ поръ прежняго энтузіазма не было ни въ чтеніяхъ, ни въ сочиненіяхъ Срезневскаго, который все больше отдается подробностямъ, и все меньше настаиваетъ на общихъ положеніяхъ славянской науки и славянскаго современнаго движенія. Славянская и русская археологія, этнографія, древняя литература, палеографія обогащены множествомъ важныхъ частныхъ изслѣдованій Срезневскаго,—но онъ не обработалъ въ цѣломъ ни одного большого вопроса этихъ наукъ, и народный романтизмъ, которому онъ служилъ, не получилъ новыхъ теоретическихъ разъясненій.

Литература продолжала быть ему чуждой. Его собственная точка зрѣнія на славянское движеніе, котораго онъ былъ такимъ энтузіастомъ, не получала дальнѣйшихъ опредѣленій въ ряду другихъ направленій, и къ этимъ послѣднимъ онъ — въ случайныхъ бесѣдахъ, и никогда въ печати — относился развѣ только съ отрицаніемъ, нетерпимостью, ироніей, но не съ критикой и доказательствами.

Мы говорили о характерѣ его ума. Черты его аналитической складки, недовѣрчивости, иронiи, сказывались еще во времена его харьковской профессуры. Разсказывая о впечатлѣнiи его лекцiй, объ его стараніяхъ научать слушателей обращенiю съ научнымъ сырымъ матеріаломъ, г. Де-Пуле замѣчаетъ: „Не менѣе полезна была его критика, весьма оригинальная и, сколько думаемъ, не безъ предвзятой мысли. Выставляетъ, напримѣръ, профессоръ великими авторитетами науки Востокова, Павскаго, Добровскаго, Шафарика и проч.; затѣмъ эти авторитеты умалялись, указывались ихъ слабыя стороны, и нерѣдко изъ восторженнаго профессоръ переходилъ въ ироническое къ нимъ отношеніе, но, спѣшимъ прибавить, не разбивая въ конецъ ихъ авторитета“ [1]).

Подобное припомнятъ и петербургскіе слушатели Срезневскаго въ первые годы его здѣшней профессуры (о послѣднихъ годахъ мы не имѣемъ ближайшихъ свѣденій). Тѣ, у кого, такъ или иначе, складывался особенный вкусъ къ славянскимъ изученіямъ, съ интересомъ, и иногда съ напряженнымъ любопытствомъ слушали изложеніе, въ которомъ были очень завлекательны личныя, непосредственныя наблюденія профессора въ области славянской жизни; но и имъ приходилось чувствовать недостатокъ теоретической основы,—и самимъ установлять свои взгляды, кто въ славянофильскомъ, кто въ иномъ смыслѣ [2]).

---

[1]) Вѣстн. Евр., тамъ же, стр. 106.

[2]) Какое впечатлѣніе производилъ Срезневскій на тѣхъ, кто именно доискивался понять его мировоззрѣніе, можно видѣть изъ своеобразнаго, не лишеннаго мѣткихъ наблюденій, разсказа Писарева въ его иносказательной картинкѣ факультета конца 50-хъ годовъ:

„Не подлежитъ сомнѣнію, — говорилъ Писаревъ, — что С. былъ умнѣе всѣхъ профессоровъ нашего факультета. Но умъ этотъ, острый и проницательный, сухой и трезвый, былъ преимущественно разлагающаго свойства... Относясь съ глубокою недовѣрчивостью къ трудамъ всѣхъ ученыхъ, онъ не читалъ на лекціяхъ ничего чужого. Всѣ его лекціи состояли изъ сырыхъ матерьяловъ и изъ замѣчаній, составленныхъ имъ самимъ. На каждой лекціи онъ разсматривалъ представившіеся вопросы съ разныхъ сторонъ, приводилъ множество доводовъ за и противъ, напрягалъ ожиданіе слушателей и потомъ не останавливался ни на чемъ. „Можетъ быть, такъ, можетъ быть и не такъ“,—вотъ все, что выносили слушатели; каждая лекція оканчивалась знакомъ вопросительнымъ, и доказывала такимъ образомъ, что С. забавляетъ иногда процессъ мышленія, но что предметъ, о которомъ онъ размышляетъ, всегда остается для него безразличнымъ“. Писареву казалось, что „всякій мало-мальски внимательный наблюдатель могъ легко замѣтить, что С. глубоко равнодушенъ къ своей наукѣ и даже невольно относится къ ней съ легкимъ оттѣнкомъ скептическаго презрѣнія“ Его окончательный выводъ о научномъ характерѣ С.—самый печальный: „Начиная писать главу о С.,—говоритъ онъ,—я хотѣлъ отнестись къ нему почти съ сочувствіемъ, но чѣмъ пристальнѣе я всматривался въ эту замѣчательную личность, тѣмъ ниже падаетъ она въ моихъ глазахъ, и я начинаю чувствовать противъ нея негодованіе!.. Разсматривая умственную деморализацію С., мы страдаемъ за него самого,

Мы привели въ сноскѣ отзывъ Писарева, который можетъ показаться если не легкомысленнымъ, то преувеличеннымъ: но въ немъ была не малая доля правды. Странно сказать, что при обиліи знаній, въ которомъ въ то время—въ сороковыхъ, пятидесятыхъ годахъ—могли у насъ равняться съ Срезневскимъ лишь очень немногіе, онъ нерѣдко отличался той уклончивостью, которая у человѣка менѣе знающаго казалась бы скромностью или незнаніемъ, а здѣсь была трудно объяснима: какъ будто онъ боялся опредѣленнаго мнѣнія,—чтобы не оказалась въ немъ какая-нибудь ошибка, — или какъ будто онъ былъ въ сущности равнодушенъ къ дѣлу. Въ вопросахъ, явно спорныхъ, эта уклончивость доходила до большихъ странностей. Возьмемъ два-три примѣра.

Когда въ сороковыхъ годахъ въ ученомъ славянскомъ и русскомъ мірѣ шелъ вопросъ о времени написанія знаменитаго Реймскаго евангелія, — которое одни относили въ XI-е столѣтіе, а другіе — въ XIV-е, — Срезневскій принялъ участіе въ разборѣ этого вопроса, но какое было его собственное мнѣніе, осталось неизвѣстно. Новый критикъ, снова поднявшій тотъ же вопросъ, Билярскій (впослѣдствіи академикъ), при всѣхъ стараніяхъ не могъ выяснить себѣ дѣйствительнаго взгляда Срезневскаго и обвинилъ его—въ „нигилизмѣ“ (буквально), конечно, не въ томъ фатальномъ смыслѣ, какой слово это получило потомъ, а въ смыслѣ отсутствія яснаго научнаго взгляда [1]). Въ послѣдніе годы своей ученой дѣятельности, Срезневскій принялъ участіе въ спорѣ о подлинности или подложности нѣкоторыхъ подробностей одного древняго чешскаго памятника, гдѣ, при новыхъ изысканіяхъ, открыта была поддѣлка и эта поддѣлка приписывалась старинному его пріятелю Ганкѣ [2]). Поддѣлка была доказана несо-

страдаемъ за достоинство человѣка, потому что здѣсь мы видимъ паденіе замѣчательнаго ума, оставшагося замѣчательнымъ даже въ самомъ паденіи“ (Сочиненія Д. И. Писарева, Спб. 18... т. V, стр. 47—53).

[1]) См. Билярскаго, „Судьбы церковнаго языка. Историко-филологическія изслѣдованія. II. О Кирилловской части Реймскаго евангелія“. Спб. 1848, стр. 105—107 и др. Тщетно отыскивая собственный взглядъ Срезневскаго среди утвержденій, отрицаній, оговорокъ и т. д., Билярскій восклицаетъ: „Мнѣніе критика остается въ непроницаемой темнотѣ: онъ какъ бы съ намѣреніемъ уклоняется отъ всякаго рѣшительнаго выраженія, которое могло бы измѣнить его тайнѣ“... Статья Срезневскаго—„это были только логическія схемы отрицанія и положенія, лишенныя всякаго дѣйствительнаго содержанія мышленія, только призракъ утвержденія и отрицанія, подъ которымъ скрывалось отсутствіе всякаго опредѣленнаго взгляда, полный, абсолютный нигилизмъ“... И т. д. Во второмъ изданіи книги Билярскаго (когда онъ сталъ академикомъ), сколько помнимъ, эти отзывы были выпущены.

[2]) „Дополнительныя замѣчанія на статью А. О. Патеры: чешскія глоссы въ Mater Verborum“, въ Сборникѣ II отд., т. XIX. Спб. 1878.

мнѣнно; Срезневскій въ своихъ „Дополнительныхъ замѣчаніяхъ“ начинаетъ съ великихъ похвалъ трудамъ чешскаго палеографа Патеры (который именно и доказалъ окончательно поддѣлку),— но вслѣдъ затѣмъ начинается разборъ заподозрѣнныхъ пунктовъ памятника, доказательства поддѣлки все болѣе дискредитируются, и въ концѣ концовъ читателю остается выводить, что поддѣлки какъ будто и не было вовсе, и что похвала трудамъ Патеры дана была на смѣхъ. Что же значило все это? Если хотѣлъ Срезневскій выручать изъ обвиненія въ подлогахъ своего стараго пріятеля Ганку („Вячеслава Вячеславича“),—а онъ видимо этого хотѣлъ, —то слѣдовало имѣть храбрость говорить свое мнѣніе, и къ чему въ такомъ случаѣ были натянутыя восхваленія труда Патеры, главнаго обличителя? Если поддѣлки не было, то нельзя было хвалить трудъ, весь состоявшій изъ доказательствъ не существующей поддѣлки и слѣдовательно только путавшій чистое дѣло. Срезневскій избѣжалъ—сказать свое мнѣніе прямо. Статья его, написанная съ большою ловкостью, съ искуснымъ употребленіемъ въ дѣло старой литературы, вся состоитъ изъ сплошной загадки, которую онъ заставляетъ отгадывать читателя, ставя его то на ту, то на другую точку зрѣнія, закидывая его подробностями, отступленіями, и въ концѣ концовъ оставляя его въ недоумѣніи,— совершенно такъ, какъ это изображается у Писарева. Такой пріемъ могъ быть иногда хорошъ на лекціи, какъ средство заставить слушателей самихъ подумать, указать имъ обѣ стороны спорнаго вопроса, пріучать ихъ къ осмотрительности въ историко-филологической критикѣ, словомъ, какъ педагогическій пріемъ; но здѣсь стоялъ передъ ученымъ, авторитетнымъ спеціалистомъ, самый вопросъ, о которомъ надо было сказать да или нѣтъ,—и вмѣсто рѣшенія, онъ затѣялъ съ нимъ какую-то странную игру, которая опять могла навести на мысль, высказанную Писаревымъ, что собственно онъ былъ глубоко равнодушенъ къ наукѣ.—Вопросъ былъ въ самомъ дѣлѣ серьезный и состоялъ въ томъ, дѣйствительно ли чехи владѣютъ замѣчательными древними памятниками, которые въ правѣ считать своимъ національнымъ сокровищемъ и вмѣстѣ важнымъ историческимъ источникомъ, или же чехи были цѣлые десятки лѣтъ, всей націей, просто жертвою ловкаго, хотя бы патріотическаго обмана, совершеннаго этимъ „Вячеславомъ Вячеславичемъ“?

Когда вскорѣ затѣмъ этотъ вопросъ былъ поднятъ во всемъ его объемѣ (у Срезневскаго шла рѣчь только объ одномъ памятникѣ изъ многихъ) другимъ ученымъ, г. Ламанскимъ, который вовсе не видѣлъ въ немъ предмета для шутокъ и софизмовъ,

хотя бы самыхъ ученыхъ, новый изслѣдователь вопроса, самъ ученикъ и послѣ коллега Срезневскаго, разбирая его мнѣніе, не могъ воздержаться отъ выраженія своего негодованія противъ такого отношенія къ предметамъ науки [1]).

Въ предметахъ научной дѣятельности Срезневскаго замѣчали вообще ту перемѣну, что въ позднѣйшее время онъ все рѣже обращался къ той народности, которая нѣкогда вызывала его романтическое одушевленіе, и все меньше обращался къ цѣльнымъ трудамъ—какими прежде бывали, напримѣръ, его изслѣдованія о древнемъ язычествѣ, объ исторіи русскаго языка: онъ какъ будто избѣгалъ предметовъ спорныхъ, гдѣ должно было высказаться цѣлое научное міровоззрѣніе, и предпочиталъ предметы, безъ сомнѣнія, важные для науки, но очень далекіе отъ возможности рѣзкаго столкновенія мнѣній и т. п. Такова была археологія и въ особенности палеографія, которой почти одной онъ посвятилъ труды послѣднихъ лѣтъ своей жизни.

На укоръ, сдѣланный г. Ламанскимъ, Срезневскій ничѣмъ не отозвался, хотя укоръ былъ серьезный и дѣло шло объ одномъ изъ капитальнѣйшихъ предметовъ славянской науки и національнаго интереса у чеховъ.

Точно также онъ ничѣмъ не отозвался, когда поднятъ былъ и вопросъ о подлинности тѣхъ „запорожскихъ“ думъ, которыя были имъ введены въ научное и литературное обращеніе и доставили ему первую ученую репутацію, и изъ которыхъ многія признаны были потомъ несомнѣнно поддѣльными. Какъ это произошло, это такъ и осталось неразъясненнымъ. Въ первое время, какъ мы замѣчали, не было и мысли о возможности поддѣлки; думы изъ книги Срезневскаго переходили въ сборники другихъ авторитет-

[1]) Г. Ламанскій былъ въ положеніи, очень сходномъ съ положеніемъ Билярскаго въ прежнемъ вопросѣ, и напрасно искалъ опредѣленнаго мнѣнія Срезневскаго. Называя уклончивыя разсужденія Срезневскаго (то восхвалявшія трудъ Патеры, то намекавшія, что это трудъ совсѣмъ неосновательный, и вытораживавшія Ганку) адвокатскими ораторскими пріемами, г. Ламанскій говорилъ: — „Мнѣ въ высшей степени грустно, но я долженъ откровенно сказать, что нельзя не считать к р а й н е в р е д н ы м ъ для развитія науки введеніе въ ученыя изслѣдованія пріемовъ и эффектовъ ораторскихъ. Языкъ и способъ изложенія въ научныхъ изслѣдованіяхъ долженъ быть прямой и строгій... Наука живетъ и развивается только въ свободѣ и требуетъ себѣ языка свободнаго и, слѣдовательно, искренняго. Мысль должна не скрываться, прятаться по угламъ и убѣгать въ потемки, а напротивъ, стремиться къ простотѣ, ясности и свѣту; ученое же изслѣдованіе, громоздящее примѣры надъ примѣрами, доводы надъ доводами, быть можетъ эффектные, но не доказанные, носитъ въ самомъ себѣ и наказаніе. Вопросы, сами по себѣ несложные, запутываются и усложняются; доказательства, небрежно приводимыя, порождаютъ новыя ошибки, ложныя заключенія, и вообще являются путаница и хаосъ“... (Журн. Мин. Просв. 1879, февраль, стр. 345).

ныхъ этнографовъ, каковъ былъ, напр., Максимовичъ, цитировались учеными, содѣйствовали славѣ малорусскаго народнаго эпоса. Самому Срезневскому, съ тридцатыхъ годовъ, кажется, не приходилось возвращаться къ предмету его давнихъ сочувствій и изслѣдованій. Разъ, въ 1854, ему случилось говорить, по поводу новаго сборника, Метлинскаго, о собираніи малорусскихъ пѣсенъ; онъ припомнилъ свои старыя работы, но говорилъ о текстахъ собранныхъ имъ думъ безъ малѣйшаго сомнѣнія объ ихъ полной пригодности [1]). Съ шестидесятыхъ годовъ началось опять болѣе пристальное изученіе малорусской народной поэзіи — съ появленіемъ журнала „Основы“, съ открытіемъ юго-западнаго отдѣла Географическаго общества въ Кіевѣ; явились новые собиратели; само собой представилось сличеніе вновь собираемаго матеріала съ прежнимъ, и тогда возникли первыя сомнѣнія въ авторитетѣ старыхъ сборниковъ. Срезневскій предварилъ критику „запорожскихъ“ думъ полу-признаніемъ сомнительности нѣкоторыхъ изъ нихъ, впрочемъ высказаннымъ темно, вскользь, спрятаннымъ въ примѣчаніи, гдѣ не стали бы искать объясненія этнографическаго вопроса [2]).

Категорическое заявленіе подложности многихъ думъ въ „Запорожской Старинѣ“ сдѣлано было въ предисловіи и объяснительныхъ примѣчаніяхъ къ изданію „Историческихъ пѣсенъ малорусскаго народа“ гг. Антоновича и Драгоманова (2 т. Кіевъ, 1874—75). „Съ малорусскою народною поэзіей,—говорили издатели,—

[1]) См. „Извѣстія“ II отд. акад. наукъ, т. III, 1854, стр. 192: „Обративъ вниманіе на историческій элементъ южно-русской поэзіи, я успѣлъ собрать довольно большое количество думъ и пѣсенъ, относящихся къ событіямъ XVI и XVII вѣка, старался объяснить ихъ помощію лѣтописныхъ сказаній и преданій, и ихъ самихъ употребить въ дѣло, какъ историческій источникъ для объясненія лѣтописей. Какъ первый опытъ въ своемъ родѣ и опытъ юноши, едва учившагося оцѣнять дотолѣ еще не подвергавшіяся оцѣнкѣ произведенія народной эпопеи русской, мое изданіе было годно только на время. Съ меня довольно было и того, что послѣ моей попытки историческое значеніе пѣсенъ и думъ, и главныя черты характера думъ, какъ особеннаго рода народной поэзіи эпической, принадлежащаго во всемъ славянскомъ мірѣ исключительно Украинѣ, не могли уже подвергаться сомнѣнію (?) и что хоть нѣкоторыя изъ нихъ не погибли безвозвратно подобно многимъ другимъ, исчезнувшимъ изъ памяти народной. Позже продолжая собирать (?) думы и пѣсни историческія, я готовъ былъ платить за каждую новую думу по червонцу; но почти постоянно получалъ только варіанты уже извѣстныхъ“.

Нѣтъ ни слова о томъ, что самые тексты могли оказаться сомнительными.

[2]) „Подъ названіемъ Запорожской Старины я издалъ... шесть книжекъ малорусскихъ былевыхъ думъ и пѣсенъ въ повременномъ порядкѣ съ историческими объясненіями. Нѣкоторыя изъ этихъ пѣсенъ записаны самимъ мною со словъ пѣвцовъ, другія мнѣ доставлены пріятелями и благопріятелями“. Сборникъ II отд. акад. т. V. (Переписка Востокова). Спб. 1873, стр. 461—462.

повторилось то же, что со всѣми почти другими: ея памятники не только подправляли издатели,.. но иныя пѣсни совсѣмъ передѣлывались, а другія поддѣлывались. Подобный примѣръ въ западной Европѣ представляютъ признанныя теперь всѣми знатоками передѣлки и поддѣлки въ произведшемъ въ свое время столько шуму и представляющемъ дѣйствительно большія достоинства, литературныя и этнографическія, сборникѣ бретонскихъ пѣсенъ Barzaz-Breiz Вилльмарке... Кромѣ какого-то страннаго инстинкта къ фальсификаціи, передѣлывать и поддѣлывать пѣсни и думы малорусскія заставляли многихъ своеобразный патріотизмъ русскій и польскій, стремленіе показать въ народныхъ пѣсняхъ слѣды памяти о глубокой древности... то привести пріятныя авторамъ мысли, напр., доказать поддѣльною думою симпатіи козаковъ къ Стефану Баторію и польскому правительству—напр., въ думѣ, сообщенной для Запорожской Старины I, стр. 77", и т. д. [1]). Цѣлый рядъ такихъ поддѣлокъ издатели указывали въ „Запорожской Старинѣ" [2]). Только въ двухъ думахъ этого сборника, которыхъ „поддѣльность" издатели „считали возможнымъ доказать", они нашли извѣстныя литературныя достоинства, но — „остальныя поддѣлки (какъ въ другихъ сборникахъ, такъ особенно въ Запорожской Старинѣ) до того полны ошибокъ въ языкѣ, до того различаются отъ народныхъ пѣсенъ въ характерѣ, что даже странно, какъ могли они такъ долго вводить въ заблужденіе людей, знакомыхъ съ характеромъ неподдѣльно-народныхъ пѣсенъ и думъ малорусскихъ. Большая часть поддѣльныхъ пѣсенъ и думъ (надо сказать, что въ этихъ поддѣлкахъ смѣшиваются весьма неумѣло внѣшнія особенности пѣсни и думы) говоритъ о времени казачества отъ Наливайки до Хмѣльницкаго—и тутъ мы видимъ занесенными въ эти quasi-народные памятники всѣ заблужденія и ошибки историковъ 30-хъ годовъ, а именно довѣріе къ „Исторіи Руссовъ", съ которою большинство поддѣльныхъ думъ согласно въ разсказѣ фактовъ въ противность другимъ источникамъ и актамъ, —чего въ народныхъ думахъ именно и замѣчается" и т. д.

Наконецъ, подробный разборъ заподозрѣнныхъ пѣсенъ сдѣлалъ Костомаровъ [3]), и относительно цѣлаго ряда думъ и пѣсенъ,

[1]) Истор. пѣсни малор. народа, I, стр. XVIII—XXXII; ср. стр. 159—163.

[2]) Въ томъ числѣ дума—„Дары Баторія", Запор. Старина, I, стр. 77—82. Издатели „Истор. пѣсенъ" обозначаютъ ее „сообщенной" въ Запор. Старину, но въ примѣчаніи къ ней Срезневскаго (I, стр. 123) сказано прямо: „списана мною со словъ бандуриста". И при нѣкоторыхъ другихъ поддѣльныхъ думахъ и пѣсняхъ—та же отмѣтка!

[3]) „Историческая поэзія и новые ея матеріали", статья по поводу изданія гг. Антоновича и Драгоманова, въ „В. Евр.", 1874, декабрь.

пущенныхъ въ ходъ особливо „Запорожскою Стариной", собралъ тѣ основанія, которыя заставляютъ убѣждаться въ справедливости подозрѣній (стр. 611—628). „Наиболѣе вводили насъ въ заблужденіе,—говорилъ Костомаровъ,—сборники русскихъ собирателей, какъ „Запорожская Старина" Срезневскаго, сборникъ Максимовича (который пользовался предыдущимъ), да и отчасти сборники другихъ собирателей. Область народной поэзіи представлялась намъ нагруженною невѣдомыми сокровищами, народный языкъ былъ недостаточно изученъ—все казалось возможнымъ, никто не чувствовалъ въ себѣ столько силъ и столько знанія, чтобы изречь приговоръ надъ тѣмъ, что въ ней существуетъ и что можетъ существовать, и что противорѣчитъ ея духу, языку и пріемамъ. Поэтому неудивительно, что собиратели заносили въ свои изданія даже такія произведенія, о которыхъ положительно извѣстно, кѣмъ они написаны—какъ, напр., „вiють вiтри" Котляревскаго, или „за Нiманъ иду" Писаревскаго и т. п... Теперь почти невозможны тѣ заблужденія, въ какія впадали прежніе собиратели и изслѣдователи. Тѣмъ не менѣе изданныя прежде пѣсни не-народнаго происхожденія, принимавшіяся за дѣйствительно народныя, успѣли уже оставить вредныя вліянія въ наукѣ и литературѣ"...

Переходя къ самому разбору этихъ подозрительныхъ произведеній, Костомаровъ замѣчаетъ, что главное, что заставляетъ сомнѣваться въ ихъ подлинности, это—полное ихъ отсутствіе въ народномъ обращеніи въ настоящее время: до сихъ поръ не было встрѣчено не только ни одной изъ этихъ пѣсенъ, но и никакого слѣда ихъ. „Могутъ намъ возразить, что онѣ могли существовать прежде, но теперь забылись, тѣмъ болѣе, что были достояніемъ однихъ бандуристовъ, а не всего народа. Дѣйствительно, можно найти примѣры, какъ старинныя пѣснопѣнія исчезали. Но не страннымъ ли покажется то обстоятельство, что разомъ исчезло безслѣдно столько думъ и пѣсенъ, тогда какъ другія до сихъ поръ продолжаютъ еще пѣться между бандуристами? Притомъ, почему исчезли именно такія, которыя такъ отличны отъ оставшихся и представляютъ черты, возбуждающія подозрѣніе въ дѣйствительно-народномъ ихъ происхожденіи?"

Но подобная оттоворка или возраженіе теряютъ всякую важность при разборѣ самаго содержанія пѣсенъ и ихъ формы. Въ содержаніи оказываются или съ книжною историческою тенденціей придуманныя тэмы, или совершенно противорѣчащіе духу народной поэзіи пріемы, обороты и сравненія, а въ языкѣ—не народныя слова и выраженія. И дѣйствительно, не нужно быть знатокомъ малорусской поэзіи, чтобы увѣриться въ невозможности

указанныхъ здѣсь пѣсенныхъ оборотовъ и выраженій въ устахъ настоящаго народнаго пѣвца.

„Мы не ставимъ,—кончаетъ Костомаровъ,—вопроса: были ли эти думы и пѣсни составлены нарочно для того, чтобы морочить любителей народной поэзіи, или же онѣ написаны, какъ всякое другое поэтическое произведеніе, вовсе не съ цѣлію выдавать ихъ за народныя, а собиратели ошибочно включили ихъ въ число народныхъ; во всякомъ случаѣ онѣ долго вводили насъ въ заблужденіе". По словамъ Костомарова, Максимовичъ, послѣ того какъ прожилъ десятки лѣтъ на родинѣ, самъ признавалъ заподозрѣнныя пѣсни подложными и къ замѣчаніямъ Костомарова о признакахъ поддѣльности прибавлялъ и собственныя; Максимовичъ говорилъ, что когда жилъ еще въ Москвѣ, вдали отъ родины, онъ обманулся думами „Запорожской Старины",—тѣмъ болѣе, что, по его мнѣнію, онѣ составлены были „даровитымъ авторомъ".

Въ предисловіи издателей „Историческихъ пѣсенъ", въ статьѣ Костомарова сдѣланы были столь категорическія указанія, что, съ точки зрѣнія интересовъ науки, можно было бы ждать какого-нибудь объясненія отъ издателя „Запор. Старины". Но если Максимовичъ, напр., не усумнился признать старую ошибку, то здѣсь никакого объясненія не послѣдовало. Издатель „Запорожской Старины" и прежде,—когда онъ самъ вѣроятно уже созналъ непрочность своего перваго этнографическаго опыта, — не остановилъ заблужденій, изъ него проистекавшихъ; онъ не подалъ голоса и теперь, когда не-народность изданныхъ имъ произведеній была доказана мимо его.

Не было ли отголоскомъ этой старой исторіи то, что въ послѣдующее время, когда онъ, хотя про себя, сознавалъ значеніе „Запорожской Старины", Срезневскій бывалъ особенно требователенъ къ изданіямъ произведеній народной словесности, легко подвергалъ ихъ сомнѣнію и, напр., заподозривалъ труды Рыбникова, когда тотъ впервые выступилъ съ своими открытіями памятниковъ древняго русскаго эпоса, встрѣченнаго имъ въ олонецкомъ краѣ?

А. Пыпинъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е сентября 1885.

Общій желѣзно-дорожный уставъ.—Сравненіе его съ первоначальнымъ проектомъ коммиссіи гр. Э. Т. Баранова.—Неразрѣшенные и неудовлетворительно разрѣшенные вопросы.—Достоинства новаго закона.—Перемѣны въ учрежденіи судебныхъ установленій; высшее дисциплинарное присутствіе сената.—Еще нѣсколько словъ по поводу банковъ крестьянскаго и дворянскаго.

Общій уставъ россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, утвержденный 12-го іюня и обнародованный во второй половинѣ іюля, имѣетъ за собою длинную и сложную исторію. Необходимость общаго закона, восполняющаго пробѣлы и измѣняющаго, на основаніи опыта, постановленія отдѣльныхъ, частныхъ желѣзно-дорожныхъ уставовъ, была сознана уже въ половинѣ семидесятыхъ годовъ; коммиссія, предсѣдательствуемая гр. Э. Т. Барановымъ, открыла свои дѣйствія еще до войны 1877—8 г., возобновила ихъ вслѣдъ за заключеніемъ мира, собрала подробныя свѣденія о положеніи русскихъ желѣзныхъ дорогъ, осмотрѣла всѣ главныя линіи, выслушала мнѣнія компетентныхъ и заинтересованныхъ лицъ и составила, наконецъ, проектъ закона, внесенный, года три тому назадъ, на разсмотрѣніе государственнаго совѣта. Противодѣйствіе предположеніямъ коммиссіи шло не только оттуда, откуда его слѣдовало ожидать по самому существу дѣла — не только изъ сферы желѣзно-дорожныхъ дѣятелей, общій съѣздъ которыхъ напечаталъ цѣлый томъ возраженій противъ проекта; оно шло, между прочимъ, и со стороны министерства, ближе всего стоящаго къ желѣзно-дорожному вопросу. Неудивительно, затѣмъ, что въ окончательномъ своемъ видѣ общій желѣзно-дорожный уставъ далеко уступаетъ первоначальному проекту коммиссіи. Крушенію или искаженію нѣкоторыхъ ея предначертаній способствовала, быть можетъ, и кончина предсѣдателя ея, не участвовавшаго уже въ послѣднемъ обсужденіи проекта государственнымъ совѣтомъ.

Коммиссія графа Баранова задалась мыслью искоренить одну изъ

слабыхъ сторонъ современнаго положенія желѣзно-дорожныхъ обществъ—фиктивную передачу акцій, наполняющую общія собранія подставными, мнимыми акціонерами и сосредоточивающую, de facto, веденіе дѣла въ немногихъ рукахъ, болѣе цѣпкихъ, чѣмъ способныхъ. Въ обнародованномъ теперь уставѣ напрасно было бы искать постановленій, направленныхъ къ этой цѣли. Ошибочно было бы, однако, заключить отсюда, что стремленіе коммиссіи осуждено, въ принципѣ, высшими законодательными учрежденіями. Весьма можетъ быть, что разрѣшеніе вопроса о составѣ акціонерныхъ собраній, о числѣ голосовъ, принадлежащихъ каждому акціонеру, о мѣрахъ противъ злоупотребленій, неразрывно связанныхъ съ теперешними акціонерными порядками, не признано излишнимъ, а только отложено до изданія общаго закона объ акціонерныхъ обществахъ. Дѣйствительно, фиктивная передача акцій встрѣчается не въ одномъ только желѣзнодорожномъ дѣлѣ; условія, ее вызывающія, существуютъ и въ другихъ акціонерныхъ обществахъ, и съ теоретической точки зрѣнія борьба противъ нея не должна быть заключаема въ рамки желѣзно-дорожнаго закона. Не вполнѣ согласными съ теоріей являются здѣсь, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, соображенія практическаго удобства. Общій законъ объ акціонерныхъ обществахъ принадлежитъ къ числу тѣхъ работъ, скорое исполненіе которыхъ, въ особенности у насъ, представляется до крайности труднымъ, почти невозможнымъ. Никто не сомнѣвается въ томъ, что постановленія десятаго тома Свода законовъ, касающіяся акціонерныхъ компаній, давно уже устарѣли, что коренной перемѣнѣ подлежитъ самый порядокъ образованія этихъ компаній—и все-таки все остается по прежнему, попытки преобразованій не приводятъ ни къ какому результату. Проектъ общаго акціонернаго устава, составленный въ началѣ семидесятыхъ годовъ, въ свою очередь успѣлъ устарѣть, а на смѣну его не является ничего новаго. Отсрочка, мотивированная ссылкою на необходимость общей акціонерной реформы, рискуетъ сдѣлаться отсрочкой sine die, на неопредѣленное и во всякомъ случаѣ весьма продолжительное время—а между тѣмъ зло, требующее леченья, постоянно растетъ и нигдѣ не чувствуется такъ сильно, какъ именно въ желѣзно-дорожномъ дѣлѣ. Нельзя не пожалѣть, поэтому, что съ вопросомъ о фиктивной передачѣ акцій не было поступлено точно такъ же, какъ съ другимъ, во многомъ къ нему близкимъ—съ вопросомъ о совмѣстительствѣ. Въ первоначальный проектъ общаго желѣзно-дорожнаго устава было включено нѣсколько статей, направленныхъ противъ совмѣщенія должностей по желѣзно-дорожному управленію съ нѣкоторыми должностями на государственной службѣ. Теперь эти статьи сдѣлались излишними, потому что противъ совмѣстительства при-

няты, какъ извѣстно, общія мѣры, гораздо болѣе рѣшительныя, чѣмъ тѣ, которыя были предначертаны коммиссіею графа Баранова [1]). Ничто не мѣшало бы примѣнить тотъ же образъ дѣйствій къ вопросу о фиктивной передачѣ акцій, т.-е. выдѣлить этотъ вопросъ изъ массы другихъ, относящихся къ акціонернымъ компаніямъ, и разрѣшить его особымъ закономъ, не ожидая составленія общаго акціонернаго устава. Возможность и цѣлесообразность законодательныхъ (въ томъ числѣ и уголовныхъ) мѣръ противъ фиктивной передачи акцій мы старались доказать еще тогда, когда разбирали въ первый разъ проектъ коммиссіи графа Баранова [2]); предстоящее обсужденіе петербургскимъ юридическимъ обществомъ доклада В. Д. Спасовича о необходимости реформы русскаго акціонернаго законодательства скоро дастъ намъ случай возвратиться къ этому вопросу.

Если отсутствіе въ новомъ желѣзно-дорожномъ уставѣ постановленій, регулирующихъ составъ общихъ собраній, можетъ быть объяснено близостью общихъ мѣропріятій по этому предмету, то о другихъ пробѣлахъ, замѣчаемыхъ при сравненіи устава съ первоначальнымъ проектомъ, нельзя, къ сожалѣнію, сказать того же самаго. Обширный отдѣлъ проекта былъ посвященъ служащимъ въ желѣзно-дорожныхъ обществахъ. Коммиссія гр. Баранова стремилась съ одной стороны, къ тому, чтобы опредѣлить существенно-важныя для государства и общества условія этой службы, съ другой стороны,—къ тому, чтобы упрочить и обезпечить, по возможности, положеніе самихъ служащихъ. Проектъ требовалъ отъ служащихъ знанія русскаго языка; для лицъ, которымъ приходится дѣйствовать по сигналамъ, онъ установлялъ предварительное освидѣтельствованіе черезъ врача, съ цѣлью удостовѣренія, что у нихъ нѣтъ физическихъ недостатковъ, несовмѣстныхъ съ исполненіемъ возлагаемыхъ на нихъ обязанностей; онъ опредѣлялъ постепенность въ назначеніи на должности, обезпечивая, такимъ образомъ, надлежащую практическую подготовку служащихъ; онъ полагалъ границы произволу въ увольненіи служащихъ, давалъ оставляемымъ за штатомъ право на извѣстное вознагражденіе, обязывалъ общества къ отводу нѣкоторымъ категоріямъ служащихъ безплатнаго, достаточнаго и удовлетворяющаго гигіеническимъ требо-

[1]) Коммиссія предполагала запретить избраніе въ члены желѣзно-дорожныхъ правленій и ревизіонныхъ коммиссій акціонеровъ, состоящихъ на службѣ въ министерствѣ финансовъ, министерствѣ путей сообщенія и государственномъ контролѣ, а остальныхъ служащихъ допускать къ занятію этихъ мѣстъ не иначе, какъ съ особаго разрѣшенія ихъ высшаго начальства. Декабрьскія правила 1884 г., дополненныя лѣтомъ нынѣшняго года, идутъ гораздо дальше, безусловно воспрещая совмѣстительство высшимъ должностнымъ лицамъ всѣхъ вѣдомствъ.

[2]) См. Внутр. обозр. въ № 4 „Вѣстн. Евр.“ за 1883 г. Другихъ сторонъ желѣзно-дорожнаго вопроса мы касались въ №№ 5 и 9 того же года.

ваніямъ помѣщенія въ жилыхъ сооруженіяхъ дороги, предписывалъ учрежденіе пенсіонныхъ и вспомогательныхъ кассъ, заботился объ участи служащихъ, разстроившихъ свое здоровье при исполненіи служебныхъ обязанностей. Общій желѣзно-дорожный съѣздъ высказался за совершенное исключеніе изъ устава всѣхъ правилъ о служащихъ; онъ находилъ, что вопросъ еще не созрѣлъ и что разработка его можетъ быть предоставлена самимъ желѣзнымъ дорогамъ. Мнѣніе съѣзда одержало верхъ надъ мнѣніемъ коммиссіи; правилъ о служащихъ въ обнародованномъ уставѣ не оказывается вовсе. Предположить, что изданіе ихъ отложено до общей акціонерной реформы или до общей правительственной регламентаціи положенія служащихъ въ акціонерныхъ компаніяхъ, едва ли возможно. Желѣзно-дорожныя общества, съ этой точки зрѣнія, рѣзко отличаются отъ всѣхъ остальныхъ; нигдѣ нѣтъ такого громаднаго числа служащихъ, нигдѣ положеніе служащихъ не связано такъ тѣсно съ интересами государственной и общественной безопасности. Установлять одни и тѣ же правила для служащихъ въ частномъ банкѣ или страховомъ учрежденіи и для служащихъ въ желѣзно-дорожномъ обществѣ, нѣтъ ни надобности, ни основанія. Съ какой стати, напримѣръ, государство стало бы требовать отъ управленія частнымъ банкомъ, чтобы оно отводило нѣкоторымъ изъ своихъ агентовъ квартиры въ помѣщеніи банка? А между тѣмъ, по отношенію къ извѣстнымъ категоріямъ желѣзно-дорожныхъ служащихъ (напр. къ стрѣлочникамъ) такое требованіе представляется въ высшей степени естественнымъ и нормальнымъ. Всѣ проѣзжающіе по желѣзнымъ дорогамъ—другими словами, вся масса народа—заинтересованы въ томъ, чтобы люди, отъ бодрости и вниманія которыхъ зависитъ правильность движенія, являлись на службу свѣжими, хорошо отдохнувшими, не утомленными ходьбою отъ далекой частной квартиры до рельсоваго пути. Неумѣлый банковый бухгалтеръ можетъ только причинить убытокъ своимъ нанимателямъ—неумѣлый дорожный мастеръ или начальникъ станціи можетъ причинить невознаградимый вредъ десяткамъ, сотнямъ пассажировъ и людей, имъ близкихъ. Полагаться, въ отношеніи къ выбору, увольненію и обезпеченію служащихъ, исключительно на благоразуміе и справедливость желѣзно-дорожныхъ обществъ, значило бы забыть все то, о чемъ такъ ясно говоритъ тридцатилѣтняя исторія нашихъ желѣзныхъ дорогъ. До извѣстной степени, конечно, молчаніе устава относительно служащихъ можетъ быть восполнено инструкціями, распоряженіями вновь учрежденнаго совѣта по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ; но есть вопросы, неразрѣшимые этимъ путемъ, есть общія начала, которыя могутъ быть установлены только законодательною властью. Все, сдѣланное уставомъ съ цѣлью упорядоченія желѣзно-

дорожнаго дѣла, можетъ оказаться недостаточнымъ именно потому, что онъ не коснулся исполнителей, высшихъ и низшихъ, ничего не измѣнилъ ни въ положеніи желѣзно-дорожныхъ правленій, ни въ положеніи ихъ мѣстныхъ агентовъ.

Разбирая, въ свое время, проектъ общаго желѣзно-дорожнаго устава, мы указали на излишнюю его сдержанность по отношенію къ желѣзно-дорожнымъ правленіямъ; мы замѣтили, что ничто не мѣшало бы, напримѣръ, ограничить число членовъ правленій, опредѣлить максимальный предѣлъ ихъ вознагражденія, замѣнить, въ иныхъ случаяхъ, коллегіальное управленіе единоличнымъ. Кое-что, однако, проектъ предполагалъ измѣнить и въ этой области; онъ предоставлялъ совѣту по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ право переводить правленія изъ столицъ на линію желѣзной дороги, а также право назначать члена отъ правительства безразлично во всѣ правленія желѣзно-дорожныхъ обществъ. Законъ 12 іюня не уполномочиваетъ совѣтъ ни на то, ни на другое. Мы едва-ли ошибемся, если скажемъ, что въ основаніи этого прискорбнаго различія между проектомъ и закономъ лежатъ тѣ ошибочныя представленія о договорномъ характерѣ желѣзно-дорожныхъ уставовъ, которыя столь усердно пропагандировались общимъ желѣзно-дорожнымъ съѣздомъ. Отношеніе правительственной власти къ желѣзно-дорожнымъ обществамъ и другимъ акціонернымъ компаніямъ сдѣлается нормальнымъ лишь тогда, когда будетъ признано, навсегда и безъ всякихъ колебаній, право законодателя измѣнять и дополнять по своему усмотрѣнію постановленія спеціальныхъ уставовъ, за исключеніемъ только тѣхъ, которыя имѣютъ явно и несомнѣнно характеръ договора между обществомъ и казною (иными словами, между обществомъ и правительствомъ, какъ юридическимъ лицомъ, въ смыслѣ гражданскаго права). Мы уже много разъ говорили объ этой тэмѣ—говорили о ней и по поводу проекта желѣзно-дорожнаго устава, и по поводу закона 5 апрѣля 1883 г. о частныхъ банкахъ, и по поводу положенія 26 апрѣля 1883 г. о городскихъ общественныхъ банкахъ, и по поводу налога на процентныя бумаги; мы старались опровергнуть тѣ софизмы о „пріобрѣтенномъ правѣ“, объ обратномъ дѣйствіи закона, съ которыми переплетается теорія неприкосновенности уставовъ, какъ договоровъ; мы констатировали тѣ противорѣчія, въ которыя впадаетъ наше новѣйшее законодательство, то согласуясь, то расходясь съ любимой доктриной желѣзно-дорожной, банковой и биржевой интеллигенціи. Не смотря на опасеніе наскучить нашимъ читателямъ, намъ приходится опять—и придется, можетъ быть, еще неоднократно—возвратиться къ тому же вопросу; извиненіемъ нашей настойчивости служитъ съ одной стороны важность вопроса, съ другой стороны—недо-

статочное пониманіе его даже въ такихъ сферахъ, которыя не ослѣплены пристрастіемъ къ воинствующей акціонерной дружинѣ. Поясним нашу мысль примѣромъ. Статья 71-ая новаго желѣзно-дорожнаго устава запрещаетъ желѣзнымъ дорогамъ „дѣлать грузоотправителямъ уступки противъ дѣйствующихъ тарифовъ подъ условіемъ перевозки однимъ и тѣмъ же лицомъ извѣстнаго количества груза въ опредѣленный срокъ (рефакціи), равно какъ предоставлять тѣмъ или другимъ грузоотправителямъ какія-либо исключительныя преимущества въ перевозкѣ независимо отъ тарифной платы; всякія по этому предмету частныя соглашенія воспрещаются и признаются недѣйствительными". Дѣйствіе этой статьи ограничивается слѣдующимъ къ ней примѣчаніемъ: „къ желѣзнымъ дорогамъ, въ частныхъ уставахъ которыхъ содержатся постановленія, несогласныя съ правилами, изложенными въ ст. 71, сіи послѣднія примѣняются въ той лишь мѣрѣ, на сколько они не противорѣчатъ означеннымъ постановленіямъ". Находя—и совершенно справедливо,—что исключеніе, въ данномъ случаѣ, значительно уменьшаетъ цѣнность правила, „Московскія Вѣдомости" восклицаютъ: „не понимаемъ, почему было признано нужнымъ узаконить въ уставѣ право за иными дорогами на рефакціонные тарифы, когда для другихъ дорогъ эти тарифы тѣмъ же уставомъ запрещены безусловно"! Такое „непониманіе" свидѣтельствуетъ о совершенномъ незнакомствѣ съ исторіей общаго желѣзно-дорожнаго устава, съ полемикой, столько разъ возгоравшейся и въ печати, и въ оффиціальныхъ сферахъ. Примѣчаніе къ ст. 71-ой—не что иное, какъ одна изъ многихъ, слишкомъ многихъ уступокъ желѣзно-дорожнаго устава основному тезису желѣзно-дорожныхъ адвокатовъ. Оно вызвано предположеніемъ, что запрещеніе рефакціонныхъ тарифовъ для тѣхъ желѣзно-дорожныхъ обществъ, уставами которыхъ подобные тарифы разрѣшены, было бы нарушеніемъ „пріобрѣтеннаго права" обществъ, одностороннимъ измѣненіемъ „договора", облеченнаго въ форму устава и подлежащаго перемѣнѣ лишь съ взаимнаго согласія обѣихъ сторонъ. Посмотримъ, въ какой степени основательно это предположеніе. Для того чтобы имѣть характеръ договора, постановленіе устава должно быть соглашеніемъ между двумя сторонами, входящими въ область гражданскаго права. Соотвѣтствуютъ ли этому опредѣленію постановленія, разрѣшающія рефакціонные тарифы? Соглашеніемъ между казною и обществомъ ихъ очевидно считать нельзя, потому что казна не входитъ здѣсь ни въ какія гражданскія отношенія съ обществомъ, не пріобрѣтаетъ никакихъ гражданскихъ правъ и не принимаетъ на себя никакихъ гражданскихъ обязанностей. Соглашенія между акціонерами, договора между ними здѣсь также нѣтъ, потому что рѣчь идетъ не о

взаимныхъ отношеніяхъ ихъ между собою, а объ отношеніи общества къ грузоотправителямъ, въ договорной части устава вовсе не участвующимъ. Разрѣшая обществу заключеніе съ третьими лицами сдѣлокъ относительно перевозки грузовъ по уменьшенной цѣнѣ, правительство дѣйствовало, безъ сомнѣнія, въ качествѣ законодательной власти, установляло частный законъ, который, наравнѣ со всякимъ другимъ актомъ законодательной власти, подлежитъ дополненію, измѣненію и отмѣнѣ въ законодательномъ порядкѣ, т.-е. по свободному, ни отъ чьей частной воли не зависящему усмотрѣнію законодателя. Въ моментъ изданія тѣхъ или другихъ желѣзно-дорожныхъ уставовъ правительство не встрѣчало препятствій къ разрѣшенію рефакціонныхъ тарифовъ, потому что не предвидѣло неудобствъ и правонарушеній, съ ними сопряженныхъ. Долголѣтній опытъ раскрылъ ему глаза, убѣдилъ его въ необходимости установить равноправность грузоотправителей, положить конецъ вреднымъ и несправедливымъ привилегіямъ. Исходя изъ этого убѣжденія, законодательная власть имѣла полное право распространить дѣйствіе новаго закона на всѣ желѣзно-дорожныя общества, независимо отъ спеціальныхъ ихъ уставовъ. Она не нарушила бы этимъ общаго начала, ограничивающаго дѣйствіе закона во времени („законъ не имѣетъ обратной силы"), потому что правоотношенія, уже возникшія изъ заключенныхъ между обществами и грузоотправителями договоровъ, остались бы въ полной силѣ, и самые договоры могли бы сохранить свое значеніе на срокъ, достаточный для приспособленія сторонъ къ новымъ условіямъ перевозки. Не могло бы быть, точно такъ же, и рѣчи о нарушеніи „пріобрѣтеннаго права" обществъ или грузоотправителей, потому что право, на законѣ основанное, перестаетъ существовать вмѣстѣ съ закономъ. Гражданскимъ правоотношеніямъ несвойственна безусловная неприкосновенность; они установляются не на вѣчность, а на время, и мѣняются, должны мѣняться сообразно съ обстоятельствами, ихъ вызвавшими, съ взглядами, обезпечивавшими за ними государственную санкцію. Предоставленіе правительственной власти права переводить желѣзно-дорожныя правленія изъ одного города въ другой, включеніе въ составъ каждаго желѣзно-дорожнаго правленія члена по назначенію правительства, безусловное запрещеніе рефакціонныхъ тарифовъ—все это имѣло бы подъ собою твердую правовую почву, оставалось бы въ предѣлахъ нормальной, правомѣрной законодательной дѣятельности; все это—и многое другое въ томъ же родѣ—неминуемо должно осуществиться, какъ только потеряетъ свою силу оппозиція частныхъ интересовъ, опирающаяся на цѣлый рядъ юридическихъ недоразумѣній.

Отмѣтимъ еще одно, проистекающее изъ того же источника раз-

личіе между проектомъ барановской коммиссіи и закономъ 12-го іюня. Коммиссія полагала предоставить распорядительному комитету желѣзно-дорожнаго совѣта право пріостанавливать дѣйствіе желѣзно-дорожныхъ тарифовъ, противныхъ закону или вредныхъ для интересовъ государства или публики, а въ крайнихъ случаяхъ — т.-е. въ случаѣ народныхъ бѣдствій или иныхъ несчастій—и право установлять и вводить въ дѣйствіе временные экстренные тарифы. Противъ этого возсталъ общій желѣзно-дорожный съѣздъ, обвиняя коммиссію чуть не въ посягательствѣ на право собственности желѣзно-дорожныхъ обществъ. Побѣда осталась и въ этомъ случаѣ на сторонѣ желѣзно-дорожныхъ дѣятелей; въ уставѣ 12 іюня и въ утвержденномъ одновременно съ нимъ положеніи о совѣтѣ по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ нѣтъ ничего похожаго на упомянутый нами пунктъ коммиссіоннаго проекта. Какая бы бѣда ни разразилась надъ той или другой мѣстностью Россіи, какъ бы настоятельна ни была, напримѣръ, дешевая подвозка хлѣба въ губерніи, пострадавшія отъ неурожая, принятіе или непринятіе мѣръ, необходимыхъ въ видахъ общественной пользы, по прежнему зависитъ отъ доброй воли желѣзно-дорожныхъ обществъ.

Больше посчастливилось той части проекта, которая касается подсудности желѣзно-дорожныхъ дѣлъ. Желѣзно-дорожный съѣздъ стоялъ за сохраненіе для этихъ дѣлъ общихъ правилъ о подсудности, въ силу которыхъ иски къ желѣзно-дорожнымъ обществамъ должны быть предъявляемы по мѣсту нахожденія правленій, т.-е. почти всегда въ столичныхъ судахъ, какъ бы далеки ни были послѣдніе отъ мѣста совершенія событія или сдѣлки, служащихъ поводомъ къ иску. Домогательство съѣзда не было уважено; въ уставъ 12 іюня вошли почти всецѣло постановленія о подсудности, проектированныя коммиссіею графа Баранова. Иски къ желѣзнымъ дорогамъ предъявляются, по усмотрѣнію истца, или по мѣсту нахожденія правленія или управленія дорогъ, или по мѣсту нахожденія станціи назначенія или отправленія, или по мѣсту, причинившаго личный вредъ, событія. Потерпѣвшій получаетъ, такимъ образомъ, возможность избрать для веденія иска тотъ судъ, который наиболѣе къ нему близокъ или наиболѣе для него удобенъ. Нельзя сказать, чтобы положеніе истца становилось, вслѣдствіе этого, совершенно свободнымъ отъ тѣхъ затрудненій, которыя до сихъ поръ препятствовали, сплошь и рядомъ, предъявленію исковъ — особенно малоцѣнныхъ — къ желѣзнымъ дорогамъ. Во многихъ случаяхъ вполнѣ сподручнымъ для истца не будетъ ни одинъ изъ судовъ, перечисляемыхъ въ уставѣ 12 іюня; во многихъ случаяхъ расходы, сопряженные съ поѣздкой въ мѣсто нахожденія суда или съ приглашеніемъ одного изъ тамошнихъ адвокатовъ, окажутся несоразмѣрными съ цифрой отыскиваемыхъ убытковъ. Какимъ

путемъ могли бы быть обезпечены вполнѣ интересы истцовъ — объ этомъ мы подробно говорили въ свое время; мы находили и продолжаемъ находить, что вмѣстѣ съ правилами о подсудности подлежали измѣненію—по отношенію къ дѣламъ желѣзно-дорожнымъ—нѣкоторыя другія процессуальныя формы, предписываемыя уставомъ гражданскаго судопроизводства. Какъ бы то ни было, предоставленіе истцамъ, въ дѣлахъ желѣзно-дорожныхъ, свободы выбора между нѣсколькими судами составляетъ несомнѣнный шагъ впередъ, тѣмъ болѣе, что компетентнымъ судомъ по этимъ дѣламъ уставъ 12 іюня признаетъ, вопреки требованію желѣзно-дорожнаго съѣзда, не коммерческій судъ, а общій (т.-е. окружной или мировой, смотря по цѣнѣ иска; мировому суду малоцѣнные иски подсудны, по новому закону, и въ томъ случаѣ, если они предъявляются къ казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ). Безъ уступки желѣзно-дорожнымъ дѣятелямъ не обошлась, однако, и глава о подсудности: желѣзнымъ дорогамъ дано право требовать соединенія исковъ, одновременно производимыхъ у одного и того же мирового судьи или даже у разныхъ мировыхъ судей, если они начаты однимъ и тѣмъ же лицомъ и вытекаютъ изъ однородныхъ основаній. Другими словами, если нѣсколько исковъ, предъявленныхъ однимъ и тѣмъ же лицомъ къ желѣзно-дорожному обществу, превышаютъ, по суммѣ, пятьсотъ рублей, то общество имѣетъ право перенести ихъ изъ мировыхъ учрежденій въ общія судебныя мѣста, къ явному и ничѣмъ не оправдываемому отягощенію истца. Возражая противъ ходатайства желѣзно-дорожнаго съѣзда, уваженнаго теперь уставомъ 12 іюня, мы поставили слѣдующую дилемму: или иски, въ сущности составляющіе одно цѣлое, раздроблены искусственно — въ такомъ случаѣ общество и по общему закону имѣло бы право домогаться ихъ соединенія; или они дѣйствительно имѣютъ различныя, хотя и однородныя основанія (напр. два крушенія поѣздовъ, два отдѣльныхъ нарушенія правилъ о принятіи или перевозкѣ грузовъ) —въ такомъ случаѣ соединеніе ихъ, вопреки волѣ истца, представляется явною несправедливостью. Какъ выгодно для желѣзно-дорожныхъ обществъ (и, слѣдовательно, какъ невыгодно для частныхъ лицъ) предоставленное имъ статьею 126-ою общаго желѣзно-дорожнаго устава право соединенія исковъ, объ этомъ можно судить уже по тому факту, что раньше всѣхъ другихъ примѣненіе на практикѣ получила именно эта статья; не прошло и недѣли со времени введенія въ дѣйствіе устава, какъ мы уже прочли въ газетахъ о прекращеніи однимъ изъ петербургскихъ мировыхъ судей нѣсколькихъ желѣзно-дорожныхъ дѣлъ, въ силу требованія отвѣтчика о соединеніи ихъ въ одно цѣлое, подсудное общимъ судебнымъ мѣстамъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что передача дѣла изъ одного суда въ

другой по распоряженію самого суда противна общему духу судебныхъ уставовъ, и что слѣдовательно всѣ хлопоты и расходы по вторичному, совокупному предъявленію однажды уже предъявленныхъ, каждый отдѣльно, исковъ упадаютъ на истца. Хорошо еще, если основанія къ искамъ возникаютъ одновременно или столь скоро одно послѣ другого, что истецъ можетъ сразу соединить иски и предъявить ихъ, во избѣжаніе отвода, въ окружномъ судѣ; а что, если основаніе ко второму иску возникаетъ тогда, когда первый уже предъявленъ мировому судьѣ, но еще не разрѣшенъ имъ? Раздѣленіе исковъ, въ такомъ случаѣ, было неизбѣжно, не зависѣло отъ воли истца—а между тѣмъ на него возлагаются всѣ невыгодныя послѣдствія раздѣленія, какъ только этого пожелаетъ желѣзно-дорожное общество.

Проектъ барановской коммиссіи угрожалъ членамъ желѣзно-дорожныхъ правленій уголовнымъ взысканіемъ за всякое нарушеніе или несоблюденіе правилъ о пассажирскомъ и товарномъ движеніи. Въ мнѣніи Государственнаго Совѣта, утвержденномъ одновременно съ общимъ желѣзно-дорожнымъ уставомъ, мы встрѣчаемъ постановленіе, опредѣляющее отвѣтственность служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ какъ за нарушеніе или несоблюденіе ими техническихъ или спеціальныхъ правилъ, ограждающихъ безопасность на желѣзныхъ дорогахъ, такъ и за нарушеніе правилъ полицейскихъ и правилъ о перевозкѣ пассажировъ и грузовъ. Слѣдуетъ ли понимать подъ именемъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ только мѣстныхъ агентовъ движенія и эксплуатаціи, работающихъ на самыхъ линіяхъ, или, сверхъ того, и членовъ желѣзно-дорожныхъ правленій и управленій, не исключая директоровъ, избранныхъ акціонерами? Обыкновенному смыслу словъ: служащіе на желѣзныхъ дорогахъ, болѣе соотвѣтствуетъ, повидимому, первое толкованіе—но остановиться на немъ значило бы парализовать больше чѣмъ на половину дѣйствіе новаго устава. Безотвѣтственность членовъ правленій—одна изъ главныхъ причинъ того плачевнаго положенія, въ которомъ находится у насъ желѣзно-дорожное дѣло.

Весьма важнымъ дополненіемъ къ общему желѣзно-дорожному уставу является упомянутое уже нами положеніе о совѣтѣ по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ. Мысль объ этомъ учрежденіи заимствована новымъ закономъ изъ проекта барановской коммиссіи, но осуществлена далеко не въ томъ видѣ, какъ предполагалось первоначально. Коммиссія графа Баранова хотѣла обезпечить за высшимъ желѣзно-дорожнымъ совѣтомъ совершенно самостоятельное значеніе, поставить его наряду съ другими отдѣльными управленіями и соединить въ его средѣ представителей администраціи и желѣзныхъ дорогъ съ представителями всего общества, въ лицѣ уполномоченныхъ отъ зем-

ства. Положеніе 12 іюня вводитъ желѣзно-дорожный совѣтъ въ составъ министерства путей сообщенія и даетъ ему характеръ преимущественно бюрократическій. Предсѣдательствуетъ въ совѣтѣ министръ путей сообщенія; изъ числа восемнадцати членовъ совѣта на долю министерства путей сообщенія приходится (со включеніемъ предсѣдателя) цѣлая треть. Другую треть совѣта образуютъ представители министерствъ юстиціи, финансовъ, внутреннихъ дѣлъ, государственныхъ имуществъ, военнаго и государственнаго контроля. Кромѣ того, въ совѣтѣ засѣдаютъ два представителя частныхъ желѣзныхъ дорогъ, два представителя торговли и мануфактуръ, и два представителя земледѣльческой и горнозаводской промышленности. Представители желѣзныхъ дорогъ избираются (на одинъ годъ, съ утвержденія министра путей сообщенія) общимъ желѣзно-дорожнымъ съѣздомъ; представители торговли и промышленности „приглашаются“ (также на одинъ годъ) министрами финансовъ и государственныхъ имуществъ, по принадлежности. Дѣлопроизводство совѣта возложено на канцелярію министра путей сообщенія; ей же, вмѣстѣ съ другими отдѣлами того же министерства, предоставленъ докладъ дѣлъ въ совѣтѣ. Если принять въ соображеніе ту роль, которая принадлежитъ въ коллегіальномъ учрежденіи докладчику и предсѣдателю, то можно предсказать, не опасаясь большой ошибки, что совѣтъ по желѣзно-дорожнымъ дѣламъ сдѣлается на практикѣ чѣмъ-то въ родѣ второго совѣта при министрѣ путей сообщенія и не внесетъ ничего существенно новаго въ способъ веденія желѣзно-дорожнаго дѣла. Выборному началу, игравшему важную роль въ проектѣ барановской коммиссіи, законъ 12 іюня отвелъ самое скромное мѣсто, примѣнивъ его—и то съ ограниченіями—только къ желѣзно-дорожнымъ обществамъ. Восторжествовало, очевидно, мнѣніе тѣхъ, которые—и въ печати, и въ оффиціальныхъ сферахъ—провозглашали первоначально проектированный высшій желѣзно-дорожный совѣтъ „новымъ типомъ государственнаго установленія, неудобопримѣнимымъ къ существующему у насъ государственному строю“. Не странно ли, однако, что въ положеніи о дворянскомъ земельномъ банкѣ, утвержденномъ почти одновременно съ положеніемъ 12 іюня, допущено именно то, что̀ не признано возможнымъ по отношенію къ желѣзно-дорожному дѣлу — допущено образованіе совѣта банка отчасти путемъ назначенія, отчасти путемъ выбора [1])? Или, можетъ быть, разгадку этого противорѣчія нужно искать въ томъ, что въ одномъ случаѣ шла рѣчь о представителяхъ

[1]) Члены совѣта дворянскаго земельнаго банка, представляющіе собою элементъ дворанскій, приглашаются министромъ финансовъ обязательно изъ числа выбранныхъ дворянствомъ членовъ мѣстныхъ отдѣленій банка, такъ что источникомъ полномочія ихъ мы въ правѣ признать не назначеніе, а выборъ.

дворянства, а въ другомъ — о представителяхъ земства? Съ точки зрѣнія „удобопримѣнимости къ нашему государственному строю“ между тѣми и другими никакой разницы нѣтъ; если основныя начала этого строя не нарушаются введеніемъ въ одно учрежденіе уполномоченныхъ отъ дворянства, то они столь же мало были бы нарушены введеніемъ въ другое—уполномоченныхъ отъ земства.

Не лишено интереса то обстоятельство, что составомъ вновь созданнаго желѣзно-дорожнаго совѣта не вполнѣ довольны противники самоуправленія. Добрыхъ послѣдствій отъ призыва въ совѣтъ представителей промышленности „Московскія Вѣдомости“ ожидаютъ въ томъ лишь случаѣ, если они дѣйствительно будутъ отстаивать интересы—и притомъ не мѣстные, а общіе—представляемаго ими дѣла. „Положеніе 12 іюня,—замѣчаетъ московская газета,—не говоритъ, какимъ способомъ должны быть избираемы эти лица, откуда они должны быть взяты... Нельзя не пожелать, чтобы они были избраны изъ лицъ, основательно знакомыхъ съ данною промышленною дѣятельностью, и притомъ изъ лицъ, не заинтересованныхъ непосредственно, дабы общіе интересы извѣстной отрасли промышленности не приносились въ жертву частнымъ интересамъ мѣстности, гдѣ представитель имѣетъ свое предпріятіе“. Условія избранія, намѣчаемыя московскою газетою, въ огромномъ большинствѣ случаевъ несовмѣстимы. Основательно, всесторонне знакомымъ съ положеніемъ и нуждами извѣстной отрасли промышленности можетъ быть, за немногими исключеніями, только лицо, живущее ею и въ ея сферѣ и слѣдовательно прямо заинтересованное во всемъ томъ, что̀ можетъ способствовать или противодѣйствовать ея успѣху. Самыя слова закона: „представители торговли, мануфактуръ, земледѣльческой и горнозаводской промышленности“ ясно указываютъ на то, что приглашеніе въ совѣтъ можетъ пасть только на людей, занимающихся, въ данную минуту, данною отраслью промышленности. Что же можетъ помѣшать такому лицу отстаивать въ совѣтѣ не общіе, а мѣстные или даже частные интересы? Чувство долга? Да, если оно въ немъ существуетъ и обладаетъ достаточной силой; но какъ опредѣлить заранѣе наличность этого чувства, какъ выбрать издалека, со стороны, между сотнями и тысячами людей, именно того, кто умѣетъ и хочетъ руководствоваться исключительно общей пользой и служить только ей одной? Намъ скажутъ, можетъ быть, что задача, трудная для министра, столь же трудна и для избирателей; но это едва ли такъ. Избиратели, составляющіе одно цѣлое или хотя бы только связанные между собою общностью занятій, рода дѣятельности, гораздо легче могутъ найти въ своей собственной средѣ лицо, соотвѣтствующее требованіямъ закона. Скажемъ болѣе: далеко не одно и

то же — войти въ составъ извѣстнаго учрежденія въ качествѣ спеціалиста, свѣдущаго человѣка, приглашеннаго властью, или въ качествѣ уполномоченнаго, довѣреннаго отъ той или другой общественной группы. Въ первомъ случаѣ—при равенствѣ, конечно, всѣхъ остальныхъ условій—гораздо меньше чувствуется солидарность съ цѣлымъ, обязывающій характеръ принятыхъ функцій, гораздо меньше, слѣдовательно, сдерживается стремленіе радѣть о себѣ самомъ, о людяхъ или интересахъ наиболѣе дорогихъ и близкихъ. Лицо избранное обязано, наконецъ, отчетомъ передъ избирателями, хотя бы для того, чтобы быть избраннымъ вторично... Газета, отзывъ которой мы привели выше, проповѣдуетъ, какъ извѣстно, представительство и самоуправленіе особаго рода — представительство каждаго отдѣльнаго интереса, самоуправленіе въ смыслѣ заботливости отдѣльнаго лица о преуспѣяніи собственнаго, личнаго дѣла. И что же? Когда законъ создаетъ нѣчто подобное, установляя „представительство“ безъ всякаго общенія между представителями и представляемыми, изобрѣтатели доктрины невольно сознаютъ, что здѣсь что-то неладно, и выражаютъ сомнѣніе въ цѣлесообразности порядка, логически вытекающаго изъ ихъ проповѣди.

Въ томъ видѣ, въ какомъ онъ установленъ закономъ 12-го іюня, призывъ промышленниковъ въ составъ желѣзно-дорожнаго совѣта едва ли достигнетъ цѣли еще и потому, что представителямъ всѣхъ родовъ промышленности въ совѣтѣ отведено только четыре мѣста (изъ восемнадцати), и рядомъ съ ними вовсе нѣтъ представителей другихъ общественныхъ группъ, пользующихся желѣзными дорогами. На долю земледѣльческой промышленности, столь различной въ различныхъ частяхъ имперіи, приходится, напримѣръ, о д и н ъ представитель. Какъ бы велики ни были его знанія и опытность, онъ не будетъ одинаково знакомъ съ нуждами земледѣлія во всѣхъ полосахъ Россіи и неизбѣжно будетъ защищать иногда м ѣ с т н ы е его интересы, не во всемъ согласные съ общими. Большую пользу могли бы принести, съ этой точки зрѣнія, проектированныя барановскою коммиссіею, но не осуществившіяся, мѣстныя отдѣленія желѣзнодорожнаго совѣта. Еще существеннѣе пробѣлъ, образовавшійся вслѣдствіе исключенія изъ состава совѣта уполномоченныхъ отъ земства. Только они—или по крайней мѣрѣ преимущественно они—могли бы представлять въ совѣтѣ интересы публики, проѣзжающей по желѣзнымъ дорогамъ, интересы потребителей, далеко не всегда совпадающіе съ интересами промышленниковъ, т.-е. производителей. Возьмемъ, для примѣра, статью 14 новаго устава, обязывающую желѣзныя дороги принимать всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ безотлагательной отправкѣ являющихся на станціи партій пассажировъ-рабочихъ. Для

того, чтобы это разумное правило могло получить широкое примѣненіе на практикѣ, необходимо разъяснить и дополнить его путемъ инструкцій, составленіе и изданіе которыхъ будетъ зависѣть отъ желѣзно-дорожнаго совѣта. Исполненіе этой задачи было бы прямымъ призваніемъ земскихъ членовъ совѣта, еслибы они были включены въ его составъ, согласно съ предположеніемъ барановской коммиссіи.

Устранивъ земство отъ участія въ желѣзно-дорожномъ совѣтѣ, новый законъ возложилъ на него, однако, одну не маловажную функцію—установленіе условій, которыя должны быть соблюдаемы при обращеніи желѣзныхъ дорогъ, въ экстренныхъ случаяхъ, къ содѣйствію сосѣднихъ съ линіею крестьянъ, а также опредѣленіе вознагражденія за это содѣйствіе. Необходимо ли было узаконять новую натуральную повинность, обязательную для однихъ только крестьянъ, —это вопросъ, по меньшей мѣрѣ, спорный; за отрицательное разрѣшеніе его высказался, въ свое время, даже желѣзно-дорожный съѣздъ. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, только одно: разъ что повинность создана, подробную регламентацію ея всего правильнѣе было поручить земству, какъ это и сдѣлано закономъ 12 іюня. Постоянное расширеніе круга дѣйствій земства весьма характеристично: оно показываетъ, какъ глубоко и прочно земскія учрежденія укоренились въ нашемъ государственномъ строѣ, несмотря на принципіальное отрицаніе ихъ фанатиками реакціи, несмотря на отдѣльныя побѣды, одержанныя въ послѣднее время сословнымъ началомъ. Учрежденію, обреченному на смерть, никто не сталъ бы, конечно, открывать новые пути, указывать новыя задачи.

Мы говорили до сихъ поръ почти исключительно о слабыхъ сторонахъ общаго желѣзно-дорожнаго устава, о тѣхъ его пунктахъ, по которымъ произошла перемѣна къ худшему, сравнительно съ первоначальнымъ проектомъ; но это не мѣшаетъ намъ признавать вполнѣ многочисленныя достоинства новаго закона. Перечислять ихъ было бы слишкомъ долго; ограничимся указаніемъ на тѣ статьи, которыми установляются руководящія начала, опредѣляется общій смыслъ отношеній между желѣзными дорогами и публикой. Всего важнѣе, съ этой точки зрѣнія, статья 6-ая общаго устава, признающая недѣйствительными „всякія предварительныя, на случай могущаго послѣдовать вреда или убытка, сдѣлки и соглашенія желѣзныхъ дорогъ съ пассажирами и отправителями или получателями грузовъ, клонящіяся къ измѣненію отвѣтственности, возлагаемой на желѣзныя дороги постановленіями устава“. Судебная практика послѣднихъ годовъ была богата процессами, возникавшими именно изъ мнимыхъ соглашеній между желѣзными дорогами и частными лицами, т.-е. изъ уступокъ, по необходимости или по незнанію сдѣланныхъ послѣдними въ мо-

ментъ обращенія къ услугамъ дороги. Добиться, въ судебномъ порядкѣ, признанія недѣйствительности подобныхъ уступокъ было весьма трудно, потому что условія, при которыхъ онѣ дѣлались, далеко не всегда можно было пріурочить къ юридическому понятію принужденія или обмана. Теперь, въ виду положительнаго опредѣленія закона, этой трудности болѣе не существуетъ, и нарушеніе, прежними способами, интересовъ частныхъ лицъ становится тѣмъ менѣе вѣроятнымъ, что оно можетъ повлечь за собою, помимо гражданскаго иска, и уголовное преслѣдованіе виновнаго. Чрезвычайно важны, далѣе, постановленія ст. 46—49 устава, обезпечивающихъ пріемъ грузовъ на станцію, хотя бы они и не могли быть немедленно отправлены; ст. 51-й, предписывающей очередь въ отправленіи грузовъ; ст. 53-й и послѣд., опредѣляющихъ сроки доставки грузовъ. Статья 69-ая дополняетъ статью 6-ю, запрещая взиманіе за перевозку грузовъ какихъ-либо платежей, сверхъ установленныхъ тарифами и правилами о дополнительныхъ сборахъ. Вполнѣ цѣлесообразны, наконецъ, правила о порядкѣ взысканія присуждаемыхъ съ желѣзныхъ дорогъ денегъ (ст. 138 и сл.). Если присужденная съ желѣзной дороги сумма не будетъ уплачена въ трехмѣсячный срокъ, взыскателю предоставляется просить о признаніи общества, эксплуатирующаго дорогу, несостоятельнымъ. Признаніе желѣзно-дорожнаго общества несостоятельнымъ влечетъ за собою немедленное взятіе дороги въ казенное управленіе, а затѣмъ, по усмотрѣнію правительства, и выкупъ дороги, не ожидая опредѣленнаго для того уставомъ дороги срока.

Мы немного запоздали разборомъ закона 20 мая, измѣнившаго нѣкоторыя статьи учрежденія судебныхъ установленій, но получили за то возможность говорить о немъ съ ссылкою на его мотивы, напечатанные—по крайней мѣрѣ отчасти,—въ приложеніи къ изданію гг. Щегловитова и Рошковскаго: „Судебные уставы императора Александра II, съ комментаріями и разъясненіями". Самое интересное и важное изъ всѣхъ нововведеній, осуществленныхъ новымъ закономъ,—это, безъ сомнѣнія, ограниченіе начала судебной несмѣняемости. До сихъ поръ судья могъ быть удаленъ отъ должности не иначе, какъ по приговору уголовнаго суда; исключеніе изъ этого правила допускалось лишь въ случаѣ признанія судьи должникомъ несостоятельнымъ, задержанія его за долги или присужденія уголовнымъ судомъ къ наказанію, хотя бы и не соединенному съ потерей или ограниченіемъ служебныхъ правъ. Для перемѣщенія судьи изъ одной мѣстности въ другую требовалось его согласіе. Въ порядкѣ дисциплинарной отвѣтственности судья могъ подлежать только одному взы-

сканію: предостереженію. Законъ 20 мая, учредивъ въ составѣ сената особое высшее дисциплинарное присутствіе, значительно расширилъ предѣлы власти сената по отношенію къ судьямъ. Если министромъ юстиціи будетъ усмотрѣно: 1) что судья совершилъ такія служебныя упущенія, которыя хотя и не влекутъ удаленія его отъ должности по суду, но по своему значенію или многократности свидѣтельствуютъ о несоотвѣтствіи виновнаго въ нихъ судьи занимаемому имъ положенію или о явномъ съ его стороны пренебреженіи къ своимъ обязанностямъ, или 2) что судья дозволилъ себѣ, внѣ службы, такіе противные нравственности или предосудительные поступки, которые хотя и не имѣли послѣдствіемъ привлеченіе его къ уголовной отвѣтственности, но, будучи несовмѣстны съ достоинствомъ судейскаго званія и получивъ огласку, лишаютъ совершившаго ихъ судью необходимыхъ для этого званія довѣрія и уваженія,—то обстоятельства эти передаются министромъ юстиціи на обсужденіе высшаго дисциплинарнаго присутствія Сената, которое, истребовавъ отъ судьи объясненіе, можетъ постановить объ увольненіи его отъ должности. Если судья, поставивъ себя, образомъ дѣйствій въ мѣстѣ служенія, въ такое положеніе, которое подаетъ основательный поводъ сомнѣваться въ дальнѣйшемъ спокойномъ и безпристрастномъ исполненіи имъ своихъ обязанностей, тѣмъ не менѣе будетъ уклоняться отъ предлагаемаго ему перевода въ другую мѣстность, на равную должность, то перемѣщеніе его можетъ воспослѣдовать по постановленію высшаго дисциплинарнаго присутствія, и въ этомъ случаѣ приступающаго къ разсмотрѣнію дѣла не иначе, какъ по предложенію министра юстиціи. Постановленія высшаго дисциплинарнаго присутствія обжалованію не подлежатъ. До сихъ поръ дисциплинарныя дѣла слушались, на основаніи ст. 281 учр. суд. устан., при закрытыхъ дверяхъ, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда сами обвиняемые просили о докладѣ дѣла въ публичномъ засѣданіи суда; при такомъ способѣ доклада обвиняемому предоставлялось имѣть защитника, изъ числа присяжныхъ повѣренныхъ. Новый законъ безусловно устраняетъ гласность въ дѣлахъ дисциплинарныхъ, а также участіе въ нихъ защиты.

Изданію закона 20-го мая предшествовалъ, какъ извѣстно, продолжительный и упорный штурмъ на самостоятельность „судебной республики", на „самоуправство и безотвѣтственность" несмѣняемыхъ судей; извѣстно и то, что нападенія штурмующихъ продолжаются до сихъ поръ, нимало не смягчаясь и не ослабѣвая. Простымъ сопоставленіемъ этихъ обстоятельствъ опредѣляется самъ собою настоящій характеръ новаго закона. Составители его поступили такъ, какъ дѣйствуетъ капитанъ корабля во время сильной бури: они выбросили

за бортъ часть груза, чтобы спасти остальное. Временные распорядители золовой пещеры не удовлетворились этой жертвой; имъ нужна, очевидно, совершенная гибель корабля или равносильное ей уничтоженіе самой цѣнной части груза. И дѣйствительно, уцѣлѣвшій грузъ все еще представляетъ собой большую цѣнность. Судьба судей, менѣе обезпеченная чѣмъ прежде, все же не предоставлена административному „усмотрѣнію"; увольненіе ихъ отъ должности, хотя и возможное теперь безъ суда—т.-е. не вслѣдствіе опредѣленнаго дѣянія, предусмотрѣннаго уголовнымъ закономъ,—все же обставлено гарантіями, далеко не лишенными серьезнаго значенія. Гарантіи эти —двоякаго рода: однѣ изъ нихъ заключаются въ условіяхъ увольненія, установленныхъ закономъ 20 мая, другія—въ самомъ порядкѣ опредѣленія этихъ условій. Поводомъ къ увольненію можетъ служить, какъ мы уже видѣли, либо служебная, либо внѣ-служебная дѣятельность судьи. Въ первомъ случаѣ должны быть обнаружены важныя служебныя упущенія, явно несовмѣстныя съ обязанностями судьи. Итакъ, прежде всего необходима наличность факта или фактовъ, заключающихъ въ себѣ несомнѣнные признаки служебнаго упущенія. Другими словами, основаніями къ увольненію не могутъ служить направленіе судьи, его образъ мыслей, его руководящіе взгляды, его характеръ; его нельзя уволить, напримѣръ, за недостаточную почтительность къ начальству, за неисполненіе необязательныхъ для судьи желаній или указаній, за снисходительность (понятно, остающуюся въ предѣлахъ закона) въ примѣненіи уголовныхъ каръ, за вѣжливое, мягкое обращеніе съ подсудимыми, за настойчивость и твердость въ законныхъ требованіяхъ, обращенныхъ къ посторонниимъ вѣдомствамъ, и т. п. Представимъ себѣ, что въ какомъ-нибудь выдающемся уголовномъ процессѣ предсѣдательствовавшій судья навлекъ на себя неудовольствіе, даже негодованіе тѣхъ или другихъ сферъ допущеніемъ къ допросу свидѣтелей, показанія которыхъ не относились непосредственно къ предмету обвиненія, предоставленіемъ излишней свободы защитнику и недостаточно благопріятнымъ для обвиненія заключительнымъ словомъ. Можно ли было бы почерпнуть во всемъ этомъ матеріалъ для подведенія судьи подъ дѣйствіе новыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 20 мая? Очевидно—нѣтъ. Допущеніе свидѣтелей зависитъ не отъ предсѣдателя, а отъ суда; ошибка, сдѣланная коллегіей, не можетъ быть вмѣнена въ вину одному изъ ея членовъ—да и вообще ошибка въ толкованіи закона не составляетъ служебнаго упущенія въ томъ смыслѣ, въ какомъ о немъ говоритъ новый законъ. Гдѣ границы свободы, на которую имѣетъ право защита—это трудно или, лучше сказать, невозможно опредѣлить разъ навсегда: субъективное убѣж-

деніе судьи не поддается, въ этомъ отношеніи, строгой регламентаціи, и слова, невозбранно произнесенныя защитникомъ, могутъ быть вмѣнены въ вину предсѣдателю развѣ тогда, когда они составляютъ сами по себѣ уголовное преступленіе. Нужно ли прибавлять, что безпристрастное résumé является не нарушеніемъ, а исполненіемъ предсѣдательскихъ обязанностей?.. Итакъ, къ предположенному нами случаю законъ 20 мая оказался бы непримѣнимымъ — а между тѣмъ остріе оружія, которое хотѣли бы сковать ревнители произвола, было бы направлено больше всего и прежде всего именно противъ судей, руководящихся однимъ только закономъ, уважающихъ права подсудимаго и защиты.

Далеко не вполнѣ удобнымъ для тенденціозныхъ операцій надъ личнымъ составомъ суда представляется и то правило новаго закона, которое относится къ внѣ-служебной дѣятельности судей. Мотивомъ увольненія отъ должности являются здѣсь поступки противные нравственности, несовмѣстные съ достоинствомъ судейскаго званія, лишающіе судью общественнаго довѣрія и уваженія. И здѣсь, слѣдовательно, идетъ рѣчь о конкретныхъ фактахъ, а не о предполагаемомъ настроеніи, или направленіи судьи; эти факты должны, сверхъ того, унижать нравственную личность судьи, должны быть предосудительными не съ какой-нибудь специфической точки зрѣнія, а въ глазахъ каждаго порядочнаго человѣка. Подъ дѣйствіе разбираемаго нами закона подойдетъ судья, появляющійся нетрезвымъ въ публичномъ мѣстѣ, систематически ведущій азартную игру, открывающій подъ чужимъ именемъ питейное заведеніе, занимающійся сомнительными спекуляціями,—но не подойдетъ судья, разъѣхавшійся съ женою, или выписывающій „оппозиціонные“ журналы, или уклоняющійся отъ знакомства съ начальствомъ, или не соблюдающій постовъ и т. п. Множество причинъ, вызывающихъ, на практикѣ, увольненіе чиновниковъ не-судебнаго вѣдомства, устранено, такимъ образомъ, изъ круга дѣйствій закона 20 мая, устранено изъ него потому, что законодательная власть (говоря словами журнала Государственнаго Совѣта) не хотѣла „отвратить отъ трудной, отвѣтственной и сравнительно скудно вознаграждаемой судебной службы многихъ полезныхъ дѣятелей, которые нынѣ дорожатъ ею главнымъ образомъ въ виду прочности принадлежащаго ей положенія“. Рекомендуемъ эти слова особому вниманію газетныхъ враговъ новаго суда.

Какъ бы тщательно ни были опредѣлены закономъ условія увольненія, они могутъ быть обходимы, нарушаемы, толкуемы вкривь и вкось, въ особенности, если власть, примѣняющая законъ, дѣйствуетъ безапелляціонно. Чрезвычайно важенъ, поэтому, самый характеръ власти, которой предоставлено примѣненіе

закона. Замѣтимъ, прежде всего, что въ данномъ случаѣ это власть не единоличная, а коллегіальная, не административная, а судебная. Судебной коллегіи свойственны, по самому роду ея дѣятельности, сдержанность, безпристрастіе, уваженіе къ смыслу и духу закона. Она знаетъ обязанности судей, знаетъ ихъ призваніе, ихъ обстановку; она располагаетъ, слѣдовательно, всѣми данными, чтобы отличить служебное упущеніе отъ исполненія служебнаго долга, чтобы опредѣлить, безъ преувеличеній и натяжекъ, сравнительную серьезность или несерьезность упущенія. Высшее дисциплинарное присутствіе принадлежитъ, въ добавокъ, къ составу сената, т.-е. того учрежденія, традиціоннымъ девизомъ котораго служитъ независимость, самостоятельность убѣжденій. Этотъ девизъ претерпѣвалъ временныя затмѣнія, но никогда не исчезалъ вполнѣ и получилъ новую силу благодаря судебной реформѣ императора Александра II-го. Не даромъ же сенатъ—и притомъ не только новый кассаціонный, но и старый, въ лицѣ перваго департамента—раздѣляетъ съ судомъ, съ присяжными, съ городскимъ и земскимъ самоуправленіемъ почетную роль Карѳагена, разрушеніе котораго служитъ боевымъ кличемъ реакціоннаго лагеря. Можно было бы, конечно, пожелать, чтобы составъ высшаго дисциплинарнаго присутствія былъ опредѣленъ точнѣе въ самомъ законѣ и не подлежалъ ежегоднымъ перемѣнамъ [1]); но и при настоящей своей организаціи присутствіе едва ли можетъ пойти въ разрѣзъ съ преданіями и взглядами сената.

Кореннымъ недостаткомъ новыхъ правилъ слѣдуетъ признать безусловное устраненіе ими гласности дисциплинарнаго производства, а вмѣстѣ съ тѣмъ и участія въ немъ защиты. Въ мотивахъ къ новой редакціи ст. 281 учр. суд. уст. объяснено, что правомъ требовать публичнаго доклада дѣла пользовались до сихъ поръ, на практикѣ, „не лица, желающія гласнымъ оправданіемъ предотвратить всѣ могущія падать на нихъ нареканія по поводу несправедливо возбужденнаго обвиненія, а напротивъ, лица, которыя, сознавая шаткость своего положенія и не имѣя никакого исхода, стремятся набросить тѣнь на другихъ, или даже просто своимъ поведеніемъ на судѣ поставить въ непріятное положеніе судей, рѣшившихся предать ихъ отвѣтственности“. Весьма можетъ быть, что такими побужденіями руководствовались нѣкоторые изъ обвиняемыхъ, хотя мы не припомнимъ ни одного дисциплинарнаго дѣла, сопровождавшагося скандаломъ или „вынесеніемъ сора изъ избы“; но отъ отдѣльныхъ случаевъ

[1]) Высшее дисциплинарное присутствіе образуется изъ первоприсутствующихъ обоихъ кассаціонныхъ департаментовъ, всѣхъ сенаторовъ соединеннаго присутствія перваго и кассаціонныхъ департаментовъ и четырехъ сенаторовъ кассаціонныхъ департаментовъ, назначаемыхъ ежегодно Высочайшею властью.

еще далеко до обобщенія, сдѣланнаго въ мотивахъ. О недостаткѣ фактическихъ данныхъ для такого обобщенія можно заключить уже изъ того, что оно вовсе не соотвѣтствуетъ характеру дисциплинарнаго производства. Судьѣ, обвиняемому въ дисциплинарномъ порядкѣ, угрожало, до сихъ поръ, только предостереженіе; какимъ же образомъ онъ могъ сознавать шаткость своего положенія, отсутствіе всякаго исхода? Зная, что онъ и въ случаѣ обвиненія преспокойно сохранитъ свое прежнее мѣсто, могъ ли онъ стремиться къ опороченію своихъ товарищей, могъ ли сознательно готовить для себя такое положеніе, вся тяжесть котораго должна была отозваться прежде всего на немъ самомъ? Предполагать въ обвиняемомъ „желаніе поставить въ непріятное положеніе судей, рѣшившихся предать его отвѣтственности", нельзя уже потому, что въ огромномъ большинствѣ случаевъ возбужденіе дисциплинарнаго производства зависитъ вовсе не отъ тѣхъ судей, на разрѣшеніе которыхъ оно поступаетъ. Мы едва ли ошибемся, поэтому, если скажемъ, что настоящая или по крайней мѣрѣ главная причина устраненія гласности, установляемаго новою редакціею ст. 281-ой, въ приведенныхъ нами мотивахъ не упомянута вовсе. Эта причина—распространеніе круга дѣйствій дисциплинарнаго суда, предоставленіе ему, въ высшей его инстанціи, права увольнять судей и перемѣщать ихъ съ одной должности на другую. Предполагалось, очевидно, что въ новой категоріи дѣлъ, созданной закономъ 20 мая, будетъ много щекотливаго, не подлежащаго оглашенію; предполагалось также, что неудобно доводить до всеобщаго свѣденія возможное разногласіе между министромъ юстиціи и высшимъ дисциплинарнымъ присутствіемъ. Спрашивается, однако, для кого можетъ быть непріятно оглашеніе обстоятельствъ, возбудившихъ вопросъ объ увольненіи судьи? Очевидно—для одного обвиняемаго, если только въ основаніи обвиненія лежатъ серьезныя данныя, достаточно доказанныя и соотвѣтствующія требованіямъ закона. Съ этой точки зрѣнія, слѣдовательно, ничто не мѣшало оставить въ силѣ дѣйствовавшее до сихъ поръ постановленіе о правѣ обвиняемаго домогаться публичнаго слушанія дѣла. Что касается до разногласія между министромъ юстиціи и высшимъ дисциплинарнымъ присутствіемъ, то оно столь же мало говоритъ противъ одной изъ сторонъ, какъ и всякое другое разногласіе между судомъ и прокуроромъ. Гдѣ свобода мнѣній, тамъ неизбѣжно разномысліе; ненормальнымъ слѣдовало бы признать не отклоненіе сенатомъ того или другого предложенія министра, а принятіе первымъ всѣхъ безъ исключенія предложеній послѣдняго. Разрѣшеніе вопроса въ пользу гласности представляло бы еще меньше затрудненій, если бы правило объ увольненіи и перемѣщеніи судей (новая редакція

пун. 3 ст. 295) было редактировано нѣсколько иначе. Теперь буквальный смыслъ этого правила таковъ, что министръ юстиціи сначала убѣждается въ необходимости уволить или перемѣстить судью, и потомъ уже передаетъ дѣло на разсмотрѣніе сената, оправдательный приговоръ котораго является, за тѣмъ, какъ бы прямо противоположнымъ мнѣнію министра. Гораздо правильнѣе было бы поставить министра въ положеніе обвинительной камеры, предающей суду не только тѣхъ, въ виновности которыхъ она убѣждена, но и тѣхъ, противъ которыхъ имѣется достаточно сильное и основательное подозрѣніе. Еслибы министръ юстиціи, передавая дѣло сенату, не высказывался окончательно и рѣшительно противъ обвиняемаго (удерживаемъ это слово за неимѣніемъ другого, болѣе подходящаго), то оставленіе послѣдняго въ должности вовсе не могло бы считаться признакомъ разногласія между дисциплинарнымъ присутствіемъ и министромъ.

Разрѣшенію въ высшемъ дисциплинарномъ присутствіи вопроса объ увольненіи или перемѣщеніи судьи должно предшествовать, на основаніи правилъ 20 мая, истребованіе объясненія отъ судьи. Имѣетъ ли присутствіе право спрашивать свидѣтелей (поручая допросъ ихъ, въ случаѣ надобности, мѣстному суду)—объ этомъ въ законѣ ничего не сказано; мы думаемъ, что это право разумѣется само собою, такъ какъ нельзя же требовать отъ суда произнесенія приговора [1]) по неполнымъ или недостаточно провѣреннымъ даннымъ. Болѣе существеннымъ кажется намъ другой пробѣлъ закона—молчаніе его о томъ, обязателенъ ли для присутствія вызовъ обвиняемаго въ засѣданіе, когда онъ будетъ просить объ этомъ въ письменномъ своемъ объясненіи? Нужно надѣяться, что на практикѣ такая просьба всегда будетъ исполняема сенатомъ, не смотря на отсутствіе положительнаго предписанія закона. Далеко не одно и то же—представить объясненіе письменно или словесно; не говоря уже о неизбѣжной неполнотѣ письменнаго отвѣта, онъ никогда не можетъ имѣть той убѣдительной силы, того непосредственнаго дѣйствія, которыя сознаніе правоты сообщаетъ устной защитѣ. Не всякій, однако, располагаетъ спокойствіемъ духа, самообладаніемъ, необходимымъ для самозащиты. Тѣ же самыя основанія, въ силу которыхъ избраніе защитника признается неотъемлемымъ правомъ подсудимаго, должны были бы обезпечить возможность обращенія къ защитѣ и за судьею, привлеченнымъ къ отвѣтственности въ дисциплинарномъ порядкѣ, особенно когда ему

[1]) Хотя увольненіе и перемѣщеніе, вводимыя закономъ 20 мая, и не отнесены оффиціально къ числу дисциплинарныхъ каръ, но de facto они, безъ сомнѣнія, имѣютъ именно это значеніе, и постановленіе дисциплинарнаго присутствія ничѣмъ, въ сущности, не отличается отъ судебнаго приговора.

угрожаетъ увольненіе отъ должности. Опасаться вліянія цвѣтовъ адвокатскаго краснорѣчія на опытныхъ, испытанныхъ юристовъ, входящихъ въ составъ высшаго дисциплинарнаго присутствія, было бы болѣе чѣмъ странно. Роль защитника ограничивалась бы здѣсь, по необходимости, посредничествомъ между обвиняемымъ и судомъ, т.-е. облеченіемъ въ правильную, стройную форму тѣхъ оправданій, которыя представилъ бы обвиняемый, еслибы волненіе и нравственное разстройство не мѣшали ему говорить самому за себя [1]). Что сказать, наконецъ, о тѣхъ случаяхъ, когда обвиняемый судья не будетъ имѣть возможности, за болѣзнью, лично прибыть въ засѣданіе дисциплинарнаго суда?.. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что дисциплинарный судъ постановляетъ свое рѣшеніе по выслушаніи заключенія оберъ-прокурора, de facto, если не de jure равносильнаго обвинительной рѣчи. При отсутствіи обвиняемаго и недопущеніи защитника послѣднее слово останется, такимъ образомъ, за обвинителемъ, вопреки одному изъ основныхъ началъ судебной реформы.

Далеко уступая, по своей важности, разобраннымъ нами постановленіямъ объ увольненіи и перемѣщеніи судей, остальныя статьи закона 20 мая не лишены, однако, нѣкотораго общаго значенія и интересны не для одного только судебнаго міра. До сихъ поръ въ засѣданіяхъ уголовнаго суда съ участіемъ присяжныхъ предсѣдательствовалъ—если въ составѣ судей не было ни предсѣдателя, ни товарища предсѣдателя суда—старшій изъ наличныхъ членовъ суда; теперь для такихъ случаевъ предсѣдательствующій будетъ назначаться—заранѣе на цѣлый годъ—старшимъ предсѣдателемъ судебной палаты. Мы видимъ въ этомъ несомнѣнную перемѣну къ лучшему, потому что старшій по назначенію членъ суда — далеко не всегда самый способный къ веденію дѣлъ, разсматриваемыхъ съ участіемъ присяжныхъ. Строгое соблюденіе старшинства приводило иногда на практикѣ къ результатамъ весьма неудобнымъ. Можно быть очень дѣльнымъ, очень полезнымъ кабинетнымъ работникомъ—и совершенно не имѣть качествъ, необходимыхъ для предсѣдателя ассизовъ. Вполнѣ цѣлесообразнымъ кажется намъ также введеніе въ окружныхъ судахъ такъ-называемаго roulement, т.-е. перемѣщенія членовъ суда изъ гражданскихъ отдѣленій въ уголовныя (и обратно), уменьшающаго для судей опасность обращенія въ рутинеровъ или узкихъ спеціалистовъ. На первый разъ, впрочемъ, оно будетъ производиться лишь по возможности, а не обязательно, потому что при томъ уровнѣ познаній и подготовки, на которомъ стоятъ еще многіе члены нашей

[1]) Само собою разумѣется, что участіе защиты не лишало бы дисциплинарный судъ права предлагать вопросы обвиняемому, требовать отъ него личныхъ объясненій по всѣмъ предметамъ обвиненія.

магистратуры, постоянный, періодическій переходъ отъ однихъ занятій къ другимъ могъ бы принести больше вреда, чѣмъ пользы.

Послѣдняя вѣдомость о ссудахъ изъ крестьянскаго поземельнаго банка (по 1-е августа 1885 года) заключаетъ въ себѣ, между прочимъ, свѣденія о дѣятельности банка въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ отдѣленія его открыты лишь въ текущемъ году. Такихъ губерній восемь (гродненская, новгородская, воронежская, харьковская, самарская, оренбургская, ставропольская и донская область), такъ что кругъ дѣйствій банка обнимаетъ собою теперь всего двадцать шесть губерній. Въ двухъ губерніяхъ (самарской и ставропольской) къ 1 августа не было еще утверждено ни одной ссуды; за то донская область и харьковская губернія успѣли уже далеко опередить, или по числу ссудъ (22 и 16), или по ихъ размѣру (383 и 349 тысячъ), а иногда и по тому, и по другому, нѣкоторыя губерніи, въ которыхъ дѣятельность банка началась еще въ 1884 или даже въ 1883 г. По числу ссудъ, напримѣръ, обѣ названныя нами губерніи стоятъ выше ковенской (10 ссудъ) и таврической (11 ссудъ), а донская область, сверхъ того, выше подольской губерніи (19 ссудъ); по размѣру ссудъ и харьковская губернія, и донская область стоятъ выше губерній ковенской (11 тысячъ) волынской (174 тысячи), и тверской (334 тысячи), очень близко подходя къ губерніямъ могилевской (395 тысячъ), подольской (411 тысячъ) и таврической (448 тысячъ рублей). Мы видимъ въ этомъ новый аргументъ въ пользу мысли, высказанной нами въ предъидущемъ обозрѣніи—въ пользу немедленнаго распространенія дѣятельности крестьянскаго поземельнаго банка на всѣ губерніи европейской Россіи. Общее число разрѣшенныхъ ссудъ достигло къ 1 августа почти двухъ тысячъ (1981), на сумму 24$^{3}/_{4}$ милл. рублей; куплено при содѣйствіи банка, 86 тысячами домохозяевъ, болѣе полу-милліона (559 тысячъ) десятинъ земли. Крестьянскому поземельному банку разрѣшенъ, на текущій годъ, дополнительный выпускъ свидѣтельствъ на сумму десяти милліоновъ рублей.

Въ то самое время, когда такъ быстро и успѣшно растетъ и развивается дѣятельность крестьянскаго банка, въ нашей печати возникаетъ вопросъ объ ограниченіи не начавшейся еще дѣятельности дворянскаго земельнаго банка, изъятіемъ изъ ея круга всего польскаго дворянства западныхъ губерній. Юридическое основаніе для такого изъятія одна изъ провинціальныхъ газетъ ищетъ въ различіи между привилегіей и закономъ. „Привилегія,—говоритъ „Виленскій Вѣстникъ",—какъ исключительный законъ, обнимающій не всѣхъ вообще,

а только нѣкоторыхъ лицъ, толкуется всегда въ ограничительномъ смыслѣ, а потому логически еще вовсе не слѣдуетъ, что привилегія русскому дворянству относится и къ дворянамъ русскимъ польскаго происхожденія; иначе, почему бы не распространить ее на дворянъ іерусалимскихъ". Нужно было особое искусство, чтобы соединить въ немногихъ строкахъ столько софизмовъ и противорѣчій. Привилегія опредѣляется какъ законъ исключительный, частный, касающійся только нѣкоторыхъ лицъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ привилегіей признается уставъ дворянскаго банка, относящійся къ цѣлому сословію, т.-е. конечно къ чему-то несравненно большему, чѣмъ совокупность „нѣкоторыхъ лицъ". Изъ „русскаго дворянства" выдѣляются „русскіе дворяне польскаго происхожденія", какъ будто дворянство, въ государственныхъ актахъ, называлось „россійскимъ" по происхожденію, по національности, а не по принадлежности къ русскому государственному строю. На одинъ рядъ съ русскими дворянами польскаго происхожденія ставятся, наконецъ, „іерусалимскіе дворяне", т.-е. евреи, какъ будто бы прозвище и оффиціальное званіе—одно и то же. Нѣтъ, что бы ни говорилъ „Виленскій Вѣстникъ", уставъ дворянскаго земельнаго банка несомнѣнно примѣнимъ къ „русскимъ дворянамъ польскаго происхожденія", тѣмъ болѣе, что въ самомъ уставѣ прямо указаны мѣстности, не подходящія подъ его дѣйствіе (Финляндія, царство польское, прибалтійскія губерніи). Другой вопросъ—слѣдуетъ ли измѣнить только-что изданный уставъ въ законодательномъ порядкѣ, оговоривъ, что ссудами изъ дворянскаго банка не могутъ пользоваться поляки-землевладѣльцы западныхъ губерній. Не споримъ, такая оговорка будетъ соотвѣтствовать духу законовъ 10 декабря 1865 и 27 декабря 1884 г.—но будетъ ли она согласна съ духомъ самого устава дворянскаго земельнаго банка? Дворянство западныхъ губерній составляетъ одно цѣлое съ дворянствомъ великороссійскимъ, управляется тѣми же законами, пользуется тѣми же льготами (чего никакъ нельзя сказать о дворянствѣ остзейскихъ губерній и царства польскаго, имѣющемъ, притомъ свои особые земельные банки); объявить его непричастнымъ къ одному изъ общедворянскихъ правъ не совсѣмъ легко, въ особенности разъ что это не было сдѣлано при самомъ изданіи устава дворянскаго банка. Дилемма, неожиданно ставшая на пути примѣненія новаго закона, безспорно принадлежитъ къ числу неудобныхъ, — но это неудобство прямо вытекаетъ изъ сословнаго начала, во имя котораго учрежденъ дворянскій земельный банкъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го сентября 1885 г.

Свиданія монарховъ въ Гаштейнѣ и въ Кремзирѣ. — Австро-германская дружба. — Отношенія между Германіею и Россіею.—Политическая роль Англіи и мирныя вѣянія въ Европѣ.—Приготовленія къ парламентскимъ выборамъ.—Положеніе дѣлъ во Франціи.—Ссора нѣмцевъ съ испанцами изъ-за колоніальнаго недоразумѣнія.—Колоніальные захваты и ихъ условія.

Воинственныя вѣсти смущали насъ весною и замѣтно слабѣли къ концу лѣта: теперь опять господствуетъ осенній миръ, возвѣщенный свиданіями государей и министровъ. Такъ бываетъ почти ежегодно, и эти правильные переходы отъ мнимыхъ или дѣйствительныхъ опасностей къ общему сближенію и покою кажутся связанными неразрывно съ современнымъ политическимъ состояніемъ Европы. Недавно еще на насъ ополчалась Англія, и въ Средней Азіи готовилась роковая встрѣча, которой съ замѣтнымъ нетерпѣніемъ ожидали иностранные и нѣкоторые отечественные патріоты; могущественная Германія была съ нами не въ ладахъ, а вѣнскій дворъ не скрывалъ своего сочувствія къ предпріятіямъ новаго британскаго министерства. „Политическій горизонтъ покрылся тучами", какъ говорили въ былое время; но тучи быстро разсѣялись съ приближеніемъ осени и, вѣроятно, вновь соберутся къ будущей веснѣ, чтобы вызвать тѣ же опасенія и привести къ тѣмъ же результатамъ. Государственные люди нуждаются въ отдыхѣ, и занимающіе ихъ вопросы не могутъ долго сохранять свой жгучій критическій оттѣнокъ; общественное мнѣніе утомляется и ждетъ новыхъ впечатлѣній; вчерашнія симпатіи уступаютъ мѣсто недовольству, воинственныя вспышки смѣняются порывами миролюбія, и политика движется взадъ и впередъ по намѣченнымъ путямъ, безъ особеннаго риска для народовъ. Англо-русская распря, выдвинутая на первый планъ въ заботахъ Европы, низведена опять на степень второстепеннаго „инцидента", недостойнаго служить предметомъ общихъ опасеній и тревогъ; перемѣна министерства въ Англіи только ускорила мирную развязку кризиса, доставивъ нѣкоторое удовлетвореніе нетерпѣливымъ умамъ, раздраженнымъ колеблющеюся политикою Гладстона. Проченъ ли миръ при подобныхъ условіяхъ и надолго ли взяло верхъ новое вѣяніе, подкрѣпленное празднествами въ Гаштейнѣ и Кремзирѣ,—это выяснится въ близкомъ будущемъ; но оптимистическое настроеніе несомнѣнно господствуетъ въ настоящую минуту.

Императоръ Вильгельмъ имѣлъ свиданіе съ австрійскимъ монархомъ въ Гаштейнѣ, 6 августа (н. ст.); черезъ нѣсколько дней австрійскій министръ иностранныхъ дѣлъ, графъ Кальноки, отправился къ князю Бисмарку въ Варцинъ. Повидимому, эти факты не имѣли сами по себѣ большого политическаго значенія. Австрія давно уже идетъ на буксирѣ Германіи; между обѣими имперіями установились настолько тѣсныя связи, что лишній обмѣнъ вѣжливостей ничего не прибавитъ и не убавитъ въ существующей дружбѣ. Дипломатія Вѣны управляется Берлиномъ и не играетъ никакой самостоятельной роли въ великихъ международныхъ вопросахъ. Всякій и безъ того зналъ, что образъ дѣйствій Австріи относительно англо-русскаго конфликта зависитъ всецѣло отъ германскаго канцлера; поэтому не было основанія думать, что переговоры ведутся объ отношеніяхъ къ Англіи или къ Россіи. Нѣмецкія газеты высказывали множество различныхъ догадокъ о предметѣ министерскихъ совѣщаній въ Варцинѣ; большинство склонялось въ пользу того предположенія, что дѣло идетъ о таможенномъ союзѣ, столь желательномъ для интересовъ Венгріи. Графъ Кальноки принадлежитъ къ числу скромныхъ дѣловыхъ дипломатовъ, честолюбіе которыхъ не выходитъ за предѣлы мирнаго сохраненія status-quo; онъ всего менѣе способенъ удивить міръ какою-либо смѣлою комбинаціею или неожиданнымъ новымъ предпріятіемъ во имя могущества и славы монаршіи Габсбурговъ. Разговоры его съ княземъ Бисмаркомъ не могутъ возбудить какія-либо подозрѣнія со стороны иностранныхъ державъ; напротивъ, подобныя свиданія, повторяющіяся періодически изъ года въ годъ, принимаются всегда за доказательство того, что ничто не угрожаетъ миру въ Европѣ. Австро-Венгрія есть прежде всего консервативная сила; она можетъ стоять за спиною Германіи, слѣдовать ея внушеніямъ, подавать свой голосъ въ томъ или другомъ смыслѣ, но дѣйствовать положительно она можетъ лишь въ предѣлахъ небольшого круга интересовъ. То, что хотѣлось бы венгерцамъ, было бы отвергнуто австрійскими нѣмцами, а желанія послѣднихъ противорѣчатъ стремленіямъ чеховъ, хорватовъ и прочихъ славянъ; каждая изъ народностей Австро-Венгріи тянетъ въ другую сторону, и никакая общая политика была бы невозможна, еслибы ей ставились задачи слишкомъ широкія и смѣлыя. Вѣнскій кабинетъ долженъ неизбѣжно лавировать среди противоположныхъ теченій и несогласимыхъ народныхъ чувствъ, съ которыми приходится ему считаться; равновѣсіе сохраняется только при пассивномъ бездѣйствіи, и поэтому система status-quo является естественнымъ лозунгомъ австрійской дипломатіи при современныхъ обстоятельствахъ. Графъ Кальноки есть именно такой министръ, какой нуженъ Австро-Венгріи; онъ совмѣщаетъ въ себѣ отсутствіе иниціативы съ извѣст-

ною долею терпѣливаго постоянства,—онъ твердо держится союза съ Германіею и въ то же время стоитъ за дружбу съ Россіею, сочувствуетъ мадьярскимъ тенденціямъ и принимаетъ въ разсчетъ славянскія симпатіи, не допускаетъ мысли о какой-либо войнѣ и ничего не имѣлъ бы, вѣроятно, противъ того, чтобы другія державы поссорились между собою. Австрія всегда извлекала выгоды изъ замѣшательствъ, въ которыхъ она непосредственно не участвовала; чужія ссоры всегда находятъ сочувственный отголосокъ въ Вѣнѣ и Пештѣ. Но и для того, чтобы успѣшно срывать плоды чужихъ недоразумѣній, требуется энергія и находчивость; а эти качества едва ли присущи нынѣшнимъ правителямъ Австріи. Нельзя сомнѣваться, что вѣнскій кабинетъ имѣлъ бы основательный поводъ радоваться вооруженному столкновенію между Россіею и Англіею; пока соперники боролись бы на Востокѣ, значительная часть балканскихъ земель могла бы легко попасть въ руки Австріи въ награду за ея нейтралитетъ или дружбу,—подобно тому, какъ это было съ Босніею и Герцеговиною послѣ русско-турецкой войны. Графъ Кальноки, быть можетъ, не годился бы для роли счастливаго захватчика; но министры мѣняются сообразно потребностямъ политическаго положенія и, наконецъ, самый вялый дипломатъ становится рѣшительнымъ, когда могущественныя пружины толкаютъ его на извѣстный путь, обставленный всѣми условіями успѣха. Тѣмъ не менѣе Австро-Венгрія проникнута обязательнымъ для нея миролюбіемъ по отношенію къ Россіи, и никто не заподозрилъ бы ее въ какихъ-либо соглашеніяхъ съ враждебною намъ Англіею: готовность пользоваться обстоятельствами далеко не означаетъ еще рѣшимости вызывать ихъ или даже оказывать имъ малѣйшую поддержку. Безполезно разсчитывать на Австрію или опасаться ея въ нормальное время общаго мира; она опасна только въ случаѣ войны сосѣднихъ государствъ между собою или съ посторонними державами. Если предстоятъ еще кровавыя событія въ Европѣ, то не Австрія будетъ въ лагерѣ участниковъ; она будетъ держаться въ сторонѣ до послѣдней возможности, пока не явится искушеніе въ видѣ дешевой добычи или пока замѣшательство не вызвано будетъ инстинктомъ самосохраненія. Все это настолько ясно даже для самыхъ честолюбивыхъ австрійскихъ дѣятелей, что никому и въ голову не приходитъ связывать свиданіе монарховъ въ Гаштейнѣ и переговоры министровъ въ Варцинѣ—съ общими политическими вопросами, занимавшими европейскую дипломатію въ послѣдніе мѣсяцы. Очевидно только одно, что Австро-Венгрія остается пассивною союзницею Германіи и что союзъ этотъ крѣпнетъ съ годами, обращаясь постепенно въ коренной принципъ внѣшней политики Габсбурговъ.

Несравненно больше значенія имѣли празднества въ Кремзирѣ, гдѣ

закрѣпилась оффиціальная дружба между правительствами Австріи и Россіи. Это былъ не просто визитъ, отданный русскимъ государемъ императору Францу-Іосифу, въ отвѣтъ на прошлогодній пріѣздъ послѣдняго въ Скерневицы; здѣсь чувствовалась серьезная политическая подкладка, благодаря присутствію руководящихъ министровъ обѣихъ имперій. Совѣщанія нашего министра иностранныхъ дѣлъ съ графомъ Кальноки указывали на важный фактъ, который могъ считаться сомнительнымъ до послѣдняго времени,—на фактъ австро-русскаго сближенія, устраняющаго всякіе поводы къ безпокойству на счетъ европейскаго мира въ настоящее время. Если Австрія торжественно сближается съ Россіею, то, очевидно, Германія находитъ это своевременнымъ и желательнымъ; а если князь Бисмаркъ не предвидитъ несогласій или столкновеній, то можно быть увѣреннымъ, что все обстоитъ благополучно въ Европѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что опасность англо-русской войны признается окончательно устраненною, и наглядньимъ тому доказательствомъ служитъ кремзирское свиданіе, состоявшееся при заочномъ „духовномъ“ участіи императора Вильгельма. Министерство лорда Сольсбёри могло искать союзниковъ и друзей только въ Вѣнѣ и Берлинѣ, гдѣ находили поддержку и планы лорда Биконсфильда; между тѣмъ, Австрія и Германія выбрали именно настоящій моментъ для подтвержденія тройственнаго союза, изолирующаго Англію въ дѣлахъ материка. Англійскіе государственные люди и ранѣе не думали о войнѣ съ Россіею, не смотря на всѣ угрожающія рѣчи въ парламентѣ и въ печати; теперь они видятъ, что существующая группировка державъ не даетъ мѣста новымъ политическимъ комбинаціямъ, выгоднымъ для британскихъ интересовъ. Разумѣется, дружественныя намъ имперіи не потому хлопочутъ о мирѣ, что онѣ сочувствуютъ Россіи, а потому, что дружба сосѣдней великой страны представляетъ имъ гораздо болѣе выгодъ, чѣмъ тѣ эфемерныя преимущества, которыя могла бы предложить имъ Англія, даже при предположеніи торжества воинственныхъ торіевъ на выборахъ. Значеніе кремзирскаго свиданія было одинаково оцѣнено всею европейскою журналистикою; оно всѣми было понято въ смыслѣ торжественной мирной демонстраціи, которая должна заставить публику забыть афганскія и прочія тревоги, зародившіяся въ Лондонѣ и оттуда распространяемыя по Европѣ.

Кремзиръ, маленькій городъ Моравіи, сдѣлался на нѣсколько дней центральнымъ пунктомъ, на который обращено было напряженное вниманіе политическихъ и газетныхъ дѣятелей. Что происходило въ роскошномъ архіепископскомъ замкѣ графа Фюрстенберга, съ 25 до 27 августа? О чемъ говорили собравшіеся тамъ министры, дипломаты и сановники? Какіе вопросы рѣшались тамъ? Корреспонденты, по-

спавшіе туда изъ разныхъ мѣстъ, могли уловить только внѣшнія черты празднествъ, встрѣчъ и проводовъ, но имъ не дано было проникнуть въ тайну министерскихъ совѣщаній. Въ газетахъ передавались отрывки подслушанныхъ фразъ и анекдотовъ; сотрудникъ вѣнской „Neue Freie Presse“ удостоился подробнаго разговора съ русскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ, а корреспондентъ одной петербургской газеты былъ допущенъ къ разговору съ графомъ Кальноки,—и странное дѣло, заявленія и отвѣты обоихъ министровъ оказались почти однородными. И дѣйствительно, что могли сказать министры своимъ любопытнымъ вопрошателямъ, кромѣ обычныхъ увѣреній о благонадежности мира? Если обсуждалось что-либо новое, то оно составляло секретъ, тщательно скрываемый отъ репортеровъ; а если новаго ничего не было, то и запросы корреспондентовъ были напрасны. Въ сущности, нельзя было предполагать, что въ Кремзирѣ устроится положительное соглашеніе по какому-либо предмету, — и времени для этого было слишкомъ мало, и обстановка не соотвѣтствовала подобному предположенію. Свиданіе двухъ императоровъ и ихъ министровъ было само по себѣ событіемъ достаточно краснорѣчивымъ и опредѣленнымъ, независимо отъ предмета происходившихъ разговоровъ. Довольно того, что Австрія вновь сблизилась съ Россіею; никакихъ другихъ выводовъ нельзя извлечь изъ имѣющихся свѣденій о кремзирскомъ свиданіи. Этотъ выводъ не нуждается въ особыхъ разъясненіяхъ; важность факта заключается въ немъ самомъ, а не въ тѣхъ комбинаціяхъ или сдѣлкахъ, въ которыхъ онъ можетъ выразиться въ данное время. Надобно имѣть въ виду, что Россія вовсе не ищетъ положительныхъ союзовъ, составляемыхъ съ извѣстною заранѣе установленною цѣлью. Мы не преслѣдуемъ никакихъ честолюбивыхъ плановъ, для которыхъ требовалось бы содѣйствіе другихъ державъ; мы стараемся избѣгнуть всякихъ замѣшательствъ и недоразумѣній, охраняя лишь интересы мира, и наши соглашенія съ иностранными кабинетами могутъ имѣть только эту отрицательную основу миролюбія. Одна изъ нѣмецкихъ газетъ („Франкфуртская“) сообщила слухъ, что сближеніе наше съ Австріею направлено противъ Англіи; это совершенно вѣрно, если считать мирныя тенденціи враждебными англійской политикѣ,—ибо ничего другого, кромѣ подтвержденія русской дружбы, не могутъ предпринимать австрійцы противъ англичанъ. Устраненіе вѣнскаго кабинета отъ возможной роли скрытаго союзника Англіи составляетъ шагъ непріятный для воинственныхъ британскихъ патріотовъ, возлагавшихъ нѣкоторыя надежды на косвенное содѣйствіе Австро-Венгріи въ политическомъ походѣ противъ Россіи; но эти надежды были такъ слабы и проблематичны, и самая вѣроятность войны казалась столь отдаленною, что

ни одинъ лондонскій органъ не повторилъ мысли, высказанной „Франкфуртскою газетою". „Times" пытается иронизировать по поводу обстановки кремзирскаго свиданія, но и онъ долженъ былъ сознаться, что политическая обособленность Англіи есть фактъ несомнѣнный, вытекающій изъ цѣлаго ряда ошибокъ британской дипломатіи. Англичане склонны винить Гладстона за то, что онъ мало заботился о благосклонности князя Бисмарка и не соблюдалъ должной вѣжливости относительно Австро-Венгріи; онъ такимъ образомъ разстроилъ дипломатическія связи, подготовленныя лордомъ Биконсфильдомъ, и привелъ страну въ настоящее изолированное положеніе. Но дѣло въ томъ, что въ современныхъ международныхъ комбинаціяхъ могутъ играть роль только державы, располагающія значительною постоянною арміею, и Англія, кто бы ни управлялъ ею, не въ состояніи принимать непосредственное участіе въ союзахъ первоклассныхъ военныхъ государствъ материка.

Парламентская сессія закончилась въ Англіи 14 августа, и предстоящіе выборы должны рѣшить, останется ли во власти министерство лорда Сольсбёри или оно уступитъ мѣсто либеральному кабинету при участіи или безъ участія Гладстона. Въ ожиданіи результата начавшейся избирательной кампаніи, британская политика обречена на бездѣйствіе; министры не могутъ принимать серьезныхъ рѣшеній, пока они не имѣютъ за собою большинства въ парламентѣ. Въ качествѣ временнаго правительства, не получившаго еще надлежащихъ полномочій, торійское министерство вынуждено ограничиваться пассивною ролью по отношенію къ общимъ политическимъ вопросамъ; оно пока не представляетъ собою реальной силы, которую могли бы имѣть въ виду другія державы въ своихъ международныхъ разсчетахъ. Это обстоятельство значительно ослабляетъ положеніе лорда Сольсбёри и подрываетъ въ корнѣ всякія попытки его приступить къ самостоятельному рѣшенію задачъ, унаслѣдованныхъ отъ Гладстона.

Единственный серьезный шагъ, предпринятый министерствомъ, заключается въ назначеніи чрезвычайнаго посланника для переговоровъ съ турецкимъ султаномъ объ устройствѣ египетскихъ дѣлъ Сэръ Друммондъ Вольфъ посланъ въ Константинополь съ письмомъ королевы, въ которомъ оффиціально признаны верховныя права Турціи на Египетъ. Турецкіе сановники должны были чувствовать себя польщенными этимъ добровольнымъ признаніемъ, столь мало гармонирующимъ съ фактическимъ образомъ дѣйствій Англіи за послѣдніе годы. Сэру Вольфу оказанъ былъ самый торжественный пріемъ; султанъ Абдулъ-Гамидъ выразилъ ему свое удовольствіе и благосклонно

выслушалъ его предположенія. Аудіенція 30 августа состоялась уже послѣ долгихъ предварительныхъ совѣщаній министровъ и сановниковъ Порты; тѣмъ болѣе краснорѣчивы были уклончивые и неопредѣленные отвѣты султана по вопросу о мѣрахъ вмѣшательства Турціи въ дѣла Египта. Самая мысль о турецкомъ вмѣшательствѣ не можетъ быть названа счастливою съ точки зрѣнія „престижа“ и авторитета Англіи. Распоряжаться самовластно на берегахъ Нила въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, посылать военныя экспедиціи для водворенія мира въ странѣ и для охраны ея предѣловъ, жертвовать людьми и капиталами во имя британскихъ интересовъ, не допуская никакого посторонняго соперничества, и все это только для того, чтобы въ концѣ концовъ отдать страну въ руки турецкихъ солдатъ,—такого рода политика является на первый взглядъ совершенно непонятною. Великая европейская нація, готовая возстановить турецкое владычество въ Египтѣ, ясно доказывала бы этимъ свою нравственную и политическую несостоятельность; это былъ бы унизительный шагъ назадъ, который ничѣмъ не могъ бы быть оправданъ. Конечно, нельзя понимать буквально предлагаемое Англіею возстановленіе верховныхъ правъ султана; совѣтники Абдулъ-Гамида видятъ и оборотную сторону медали,—они видятъ прежде всего требованіе объ отправкѣ турецкихъ войскъ въ Суданскую пустыню, на смѣну англійскимъ солдатамъ, которымъ пора уже вернуться на родину послѣ понесенныхъ ими потерь и неудачъ. Турція также не имѣетъ лишнихъ военныхъ силъ; притомъ занятіе Судана или какой-либо части Египта требовало бы усилій и жертвъ, которыя вовсе нежелательны для Порты. Англія продолжала бы господствовать въ странѣ черезъ посредство своихъ союзниковъ — турокъ, которые находились бы отъ нея въ финансовой зависимости; она пользовалась бы наемными войсками, вмѣсто того, чтобы рисковать своими собственными людьми. Сдѣлка была бы несомнѣнно выгодна для англичанъ, хотя она не могла бы усилить популярность британскаго правительства; но для турецкаго султана предложеніе, привезенное сэромъ Друммондомъ Вольфомъ, имѣетъ характеръ крайне сомнительной приманки. Миссія сэра Вольфа должна была косвенно выяснить отношенія Турціи къ Англіи; египетскій вопросъ могъ служить предлогомъ для другой болѣе значительной цѣли—для подготовленія англо-турецкаго союза на случай возможныхъ въ будущемъ событій. Много говорится объ этомъ предметѣ въ европейской печати за послѣднее время; но невольно возникаетъ сомнѣніе въ серьезности этихъ толковъ и слуховъ,—если вспомнить запутанныя дѣла нынѣшней турецкой имперіи и обязательныя отношенія ея къ сосѣднимъ могущественнымъ державамъ. Мыслимо ли, чтобы Турція заключила

какой-либо союзъ въ ущербъ Россіи, безъ вѣдома Австріи и, слѣдовательно, Германіи? Рискнетъ ли ослабѣвшая оттоманская имперія выступить противъ своихъ недавнихъ побѣдителей, въ союзѣ съ страною, не имѣющею внушительной арміи? Турки знаютъ также, что Англія всего меньше способна хлопотать о чужихъ интересахъ и что поддержка ея обошлась бы очень дорого, даже при самомъ благопріятномъ ходѣ дѣлъ. Наибольшее, чего можетъ достигнуть лондонскій кабинетъ въ Константинополѣ, это—сближенія съ оттоманскою имперіею и усиленія своего дипломатическаго вліянія на Порту; но и въ этой области невозможно уже вернуться къ временамъ Лейярда и Эллиота, когда Турція вѣрила въ могущественную опеку Англіи и не сомнѣвалась въ ея искренности. Наконецъ внутреннее состояніе Турціи теперь совершенно иное, — оно не допускаетъ уже тѣхъ иллюзій, которыя питались и поддерживались до послѣдней войны. Новыя вліянія установились въ Стамбулѣ и замѣтно вытѣснили англійскія традиціи; совѣтники султана привыкли придавать особенный вѣсъ указаніямъ германскаго канцлера, а также представителей Австріи и Россіи. Съ какой бы стороны ни посмотрѣть на миссію сэра Друммонда Вольфа, выводъ получается одинъ: никакого важнаго результата она имѣть не можетъ. Египетскій кризисъ, запущенный Англіею, останется по прежнему на ея отвѣтственности и доставитъ ей еще не мало заботъ: Турція, по всей вѣроятности, не приметъ этого подарка, хотя и сохранитъ за собою номинальныя права, которыя могутъ пригодиться при случаѣ. Возрожденіе англо-турецкой дружбы не обѣщаетъ прочныхъ ростковъ; оно будетъ лишь невиннымъ напоминаніемъ о безвозвратно потерянномъ прошломъ. Объ англо-турецкомъ союзѣ не можетъ быть и рѣчи, и сэръ Друммондъ Вольфъ вернется въ Лондонъ съ однимъ лишь запасомъ дипломатическихъ вѣжливостей, на которыя столь щедры въ подобныхъ случаяхъ сановники Стамбула.

Лордъ Сольсбёри и его товарищи по кабинету утѣшаютъ общественное мнѣніе предсказаніемъ будущихъ удачъ, которыя настанутъ неизбѣжно послѣ торжества торійской партіи на выборахъ. Министры произносили избирательныя рѣчи еще до закрытія парламентскихъ засѣданій; лордъ Рандольфъ Чёрчилль дѣйствуетъ и говоритъ, какъ человѣкъ партіи, а не какъ отвѣтственный членъ правительства,—и за это онъ ежедневно подвергается самымъ рѣзкимъ нападкамъ печати. Объясняя свой проектъ индійскаго бюджета въ палатѣ общинъ, онъ произнесъ цѣлый обвинительный актъ противъ прежняго министерства вообще и противъ бывшаго вице-короля Индіи, маркиза Рипона, въ особенности. Либеральный вице-король старался привлечь симпатіи туземнаго населенія полезными реформами,—расширеніемъ

мѣстнаго самоуправленія, допущеніемъ индусовъ къ общественнымъ должностямъ, уменьшеніемъ налоговъ и устройствомъ школъ; а лордъ Чёрчиль находитъ, что эта сантиментальная политика привела бы къ опасному революціонному броженію и что все вниманіе Англіи должно быть направлено на улучшеніе военныхъ средствъ въ Индіи. Въ то же время, не смотря на свой воинственный пылъ, лордъ Чёрчиль рѣшительно отрицаетъ приписываемую ему склонность къ рискованнымъ предпріятіямъ во внѣшней политикѣ; онъ высказалъ въ одной изъ недавнихъ рѣчей, что рѣшиться на войну, которая погубила бы до 200,000 человѣческихъ жизней, было бы безуміемъ, пока такое рѣшеніе не вызвано интересами настоятельной политической необходимости. Миролюбіе беретъ верхъ надъ увлеченіями даже въ рѣчахъ этого смѣлаго оратора, этого настоящаго enfant terrible торійскаго министерства: таково отрезвляющее вліяніе нынѣшнихъ международныхъ условій. Суровый критикъ либеральныхъ мѣръ въ Индіи оказывается сторонникомъ гораздо болѣе широкаго либерализма по отношенію къ Ирландіи: для вліятельной партіи автономистовъ онъ допускаетъ уступки, которымъ противился Гладстонъ, ибо эта партія можетъ повліять на выборы весьма существеннымъ образомъ. Въ пользу Ирландіи высказываются и передовые либеральные дѣятели и консерваторы-торіи,—и тѣ, и другіе разсчитываютъ на голоса ирландскихъ депутатовъ. Предводитель послѣднихъ, Парнелль, ловко пользовался до сихъ поръ этимъ исключительнымъ положеніемъ, которое постоянно даетъ ему свободу выбора между соперничающими партіями. Парнелль заявилъ публично, что будущее большинство въ палатѣ общинъ зависитъ отъ ирландцевъ и что при надлежащей энергіи удастся въ теченіе наступающаго законодательнаго періода осуществить завѣтный идеалъ народа—добиться особаго ирландскаго парламента. Самоувѣренное заявленіе Парнелля, повидимому, сильно смутило англичанъ; газеты печатаютъ длинныя статьи для доказательства того, что полная автономія Ирландіи была бы равносильна распаденію британской имперіи и что государственные люди, поддерживающіе ирландскія стремленія ради избирательныхъ цѣлей, совершаютъ крупную и, быть можетъ, непоправимую ошибку. Нельзя отрицать, что поведеніе лорда Чёрчилля и его единомышленниковъ относительно парламентской группы Парнелля противорѣчитъ всѣмъ принципамъ консерватизма. Вообще политическія программы настолько перепутались въ настоящее время, что нерѣдко трудно отличить консерваторовъ отъ радикаловъ: такъ-называемые торійскіе демократы проповѣдуютъ идеи, безспорно радикальныя, а либералы отстаиваютъ охранительныя тенденціи, выдавая ихъ за прогрессивныя. Радикализмъ сильно распространяется въ полити-

ческой жизни Англіи, захватывая въ кругъ своего дѣйствія молодыя поколѣнія обоихъ лагерей; онъ займетъ, вѣроятно, видное мѣсто въ новой палатѣ общинъ, благодаря участію новаго слоя избирателей, призванныхъ впервые къ пользованію политическими правами. Слабая сторона англійской либеральной партіи—недостатокъ въ талантливыхъ и авторитетныхъ руководителяхъ: Гладстонъ сходитъ со сцены, а выступающіе на смѣну ему дѣятели не внушаютъ къ себѣ достаточнаго общаго довѣрія. Чамберленъ портитъ себѣ репутацію частыми противорѣчіями въ своихъ заявленіяхъ и отсутствіемъ послѣдовательности въ своихъ дѣйствіяхъ; сэръ Чарльзъ Дилькъ становится неудобнымъ вслѣдствіе падающихъ на него обвиненій въ безнравственной жизни—обвиненій, быть можетъ, неосновательныхъ, но тѣмъ не менѣе вредныхъ для его политической карьеры. Гладстонъ держится въ сторонѣ отъ избирательной борьбы, и при разрозненности либеральныхъ силъ нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что побѣда достанется лорду Чёрчиллю и его сотоварищамъ.

Французскія палаты окончили свои засѣданія 6 августа, и наиболѣе энергическіе парламентскіе дѣятели успѣли уже объяснить странѣ свои программы и намѣренія. Первымъ выступилъ Клемансо, говорившій пространныя рѣчи въ нѣсколькихъ провинціальныхъ городахъ; за нимъ двинулся Жюль Ферри, который во многомъ копируетъ Гамбетту — въ категорическомъ, самоувѣренномъ тонѣ рѣчей, во внѣшнихъ ораторскихъ замашкахъ, въ исканіи торжественныхъ пріемовъ и встрѣчъ, въ стремленіи совмѣстить наружный радикализмъ съ удобнымъ оппортунизмомъ. Жюль Ферри говоритъ авторитетно и убѣдительно; онъ часто упоминаетъ о своихъ государственныхъ заслугахъ, ссылается на опытъ прошлаго и глядитъ въ будущее съ оттѣнкомъ самодовольства. Популярность его значительно пошатнулась; его называютъ „человѣкомъ Тонкина“, на него взваливаютъ отвѣтственность за всякія колоніальныя невзгоды, ему наносятъ самое худшее оскорбленіе, какое можно нанести французу, приписывая ему роль протеже или креатуры князя Бисмарка,—и однако онъ не теряетъ обычнаго апломба и дѣйствуетъ невозмутимо, какъ человѣкъ, призванный управлять страною. Пока Жюль Ферри былъ во власти, французскіе патріоты не замѣчали ничего подозрительнаго въ его политикѣ; напротивъ, они восхваляли его твердость и энергію, находили его предпріятія благотворными для Франціи и удивлялись только его чрезмѣрной настойчивости по отношенію къ Китаю. Онъ не умѣлъ остановиться во-время въ своемъ колоніальномъ усердіи; его поощряли палаты и нынѣшніе прозорливые критики, ожидая

легкихъ успѣховъ, а теперь серьезные журналы, какъ „Nouvelle Revue", называютъ его орудіемъ Пруссіи.

Мирные французы, переставшіе думать о возмездіи, прониклись вновь какимъ-то патріотическимъ возбужденіемъ; въ обществѣ и въ печати замѣчается безпокойство по поводу неподготовленности страны къ великой войнѣ, и главнымъ виновникомъ этой неподготовленности считается Жюль Ферри, тратившій военныя средства на „преступныя" постороннія экспедиціи. Ненависть къ бывшему министру-президенту усиливается по мѣрѣ того, какъ поднимается затихшее-было чувство вражды къ Германіи. Виновато ли въ этомъ возбужденіи новое министерство Бриссона-Фрейсинэ? Перемѣна кабинета повліяла безспорно на отношенія Франціи къ Берлину; дѣловыя связи съ германскою имперіею приняли сразу болѣе холодный оффиціальный оттѣнокъ. Общественное мнѣніе почувствовало разницу, вспомнило „священный долгъ", забытый отчасти подъ вліяніемъ ненужныхъ тревогъ при Ферри, и осудило всю политику его, какъ опасную для будущаго и разорительную въ настоящемъ. Бриссонъ и Фрейсинэ выразили рѣшимость ликвидировать колоніальныя дѣла, начатыя ихъ предшественниками, и не предпринимать никакихъ дальнѣйшихъ пріобрѣтеній въ отдаленныхъ краяхъ. Это заявленіе было понято въ смыслѣ намека на предстоящій поворотъ въ политикѣ Франціи, въ виду необходимой роли страны въ континентальной Европѣ. Французская перемѣнчивость сказалась тутъ вполнѣ: вчерашніе кумиры низвергнуты безпощадно; вопросы, казавшіеся чрезвычайно важными, признаны вдругъ вредными ловушками; Тонкинъ, Аннамъ, Мадагаскаръ сдѣлались ненавистными словами и служатъ чуть ли не ругательствами. Время Жюля Ферри прошло; подняться онъ можетъ только съ какимъ-либо новымъ девизомъ, который съ успѣхомъ замѣнилъ бы истрепанное колоніальное знамя. Ферри отрекся отъ излишнихъ колоній и выставилъ принципъ „объединенія правительственнаго большинства республиканцевъ на почвѣ радикальныхъ реформъ" — принципъ столь же неопредѣленный, какъ и заманчивый для умѣренныхъ прогрессистовъ. Ферри особенно настаиваетъ на авторитетѣ власти въ республикѣ; но на что должна быть употреблена эта власть и какія реформы стоятъ теперь на очереди,—объ этомъ ораторъ не даетъ точныхъ объясненій. Не болѣе ясныя указанія даются другими дѣятелями. Клемансо отлично критикуетъ и разбиваетъ противниковъ, но выработать свою собственную программу ему не удалось до сихъ поръ; по крайней мѣрѣ его правительственная система мало кому извѣстна. Министры считаютъ долгомъ воздерживаться отъ участія въ выборной агитаціи, чтобы не нарушить свободы избирательнаго движенія; только нѣкоторые члены кабинета, какъ Алланъ-Тарже и

Гобле, пускаются въ арену борьбы на свой собственный страхъ. Способъ выборовъ по департаментскимъ спискамъ будетъ впервые примѣняться теперь на практикѣ; значеніе избирательныхъ комитетовъ неизбѣжно усилится и отдѣльныя партіи явятся, вѣроятно, болѣе сплоченными въ новой палатѣ. Со стороны орлеанистовъ ожидался манифестъ графа Парижскаго, но робкіе слухи объ этомъ планѣ были тотчасъ опровергнуты свѣдущими газетами, указавшими на обычное благоразуміе принцевъ и на нежеланіе ихъ рисковать своими ближайшими интересами ради отдаленныхъ. Программы легитимистовъ и бонапартистовъ всѣмъ извѣстны, и если эти партіи будутъ имѣть серьезное значеніе, то отчасти благодаря временнымъ союзамъ съ членами консервативныхъ „центровъ", занимающихъ среднее мѣсто между монархистами и республиканцами. Выборы 4 октября едва ли измѣнятъ настоящее распредѣленіе французскихъ партій; господствующее нынѣ настроеніе благопріятствуетъ министерству Бриссона-Фрейсинэ.

Парижская печать, освободившись отъ тонкинско-китайскаго кошмара, стала зорко слѣдить за иностранными дѣлами, имѣющими какое-либо отношеніе къ интересамъ и заботамъ сосѣднихъ государствъ, особенно Германіи. Французы злорадствуютъ, видя увлеченіе пруссаковъ колоніальною политикою; они съ удовольствіемъ убѣждаются, что князь Бисмаркъ готовъ ссориться поочередно со всѣми морскими державами, лишь бы закрѣпить за Германіею намѣченные пункты въ разныхъ частяхъ свѣта. Разбрасывая военныя и финансовыя средства по далекимъ колоніямъ, берлинскій кабинетъ такъ или иначе ослабляетъ метрополію; а вступая изъ-за этого въ столкновенія съ другими государствами, онъ создаетъ себѣ затрудненія въ будущемъ. Недавнее занятіе одного изъ Каролинскихъ острововъ представляетъ любопытный примѣръ необдуманной поспѣшности въ дѣйствіяхъ князя Бисмарка. Эти острова издавна считались принадлежащими Испаніи, хотя и не были фактически заняты представителями испанской власти; тамъ находились испанскіе миссіонеры и поселенцы, управлявшіе сами своими мѣстными дѣлами, а въ нѣкоторыхъ пунктахъ появились факторіи нѣмецкихъ торговыхъ фирмъ. Вдругъ является къ одному изъ острововъ германскій военный корабль и, отъ имени германскаго императора, поднимаетъ національное знамя; островъ взятъ подъ защиту могущественной нѣмецкой имперіи. Неизвѣстно, знали ли исполнители этого дѣла о правахъ или притязаніяхъ Испаніи; во всякомъ случаѣ они игнорировали эти права, въ виду отсутствія какихъ-либо внѣшнихъ признаковъ испанскаго господства. Вѣсть объ этомъ „захватѣ" произвела впечатлѣніе, котораго не ожидали нѣмцы; Мадридъ охваченъ былъ лихорадочнымъ волненіемъ, испанцы заговорили о войнѣ и вся страна проявила

политическую горячность, которую едва возможно было сдерживать въ должныхъ предѣлахъ. Миролюбивыя усилія короля Альфонса грозили подорвать его популярность въ народѣ; многіе выражали желаніе, чтобы король немедленно отказался отъ званія шефа одного изъ уланскихъ нѣмецкихъ полковъ. Возбужденіе доходило до того, что война представлялась естественнымъ и неизбѣжнымъ исходомъ для разгоряченныхъ испанскихъ гидальго. Парижскія газеты по мѣрѣ возможности поддерживали это настроеніе сосѣдней страны; французскія общества стрѣлковъ предлагали испанцамъ свои услуги для организаціи партизанскихъ отрядовъ, и даже Донъ-Карлосъ забылъ на время о своихъ правахъ на испанскій престолъ. Министръ-президентъ Кановасъ-дель-Кастильо очутился въ крайне тяжеломъ положеніи; король Альфонсъ счелъ долгомъ обратиться къ германскому наслѣдному принцу съ личной просьбою объ улаженіи дѣла. Князь Бисмаркъ не могъ сознаться въ ошибкѣ или недосмотрѣ; Германія не могла отступить отъ сдѣланнаго шага,—оставалось только подобрать доказательства въ пользу принятаго рѣшенія и успокоить испанцевъ предложеніемъ третейскаго суда. Въ газетахъ возникла странная полемика, въ которой главное мѣсто отводилось выпискамъ изъ учебниковъ географіи; печатались мнѣнія ученыхъ спеціалистовъ о томъ, что Каролинскіе острова только номинально числятся за Испаніею или что они вовсе никому не принадлежатъ. Оффиціозные берлинскіе органы ставятъ то общее положеніе, что нѣтъ опредѣленной власти безъ фактическаго занятія и что безхозяйными должны быть признаны всѣ мѣстности, гдѣ отсутствуютъ внѣшніе признаки и представители чужого господства. Фактъ ставится тутъ вмѣсто права, и притомъ фактъ берется только въ данный моментъ, безъ связи съ его прошлымъ. Руководствуясь новою теоріею нѣмецкихъ оффиціозовъ, слѣдовало бы признать, что хозяинъ имѣетъ право на вещь только до тѣхъ поръ, пока онъ держитъ ее въ рукахъ; стоило бы только оставить ее безъ присмотра, чтобы право на вещь улетучилось безслѣдно. Разумѣется, для политическаго господства существуютъ другія условія, чѣмъ для владѣнія имуществомъ; но и въ этой сферѣ невозможно допустить безусловное примѣненіе правила, выставленнаго нѣмецкою дипломатіею. Государство можетъ быть настолько либерально, что предоставляетъ своимъ колоніямъ полное самоуправленіе и освобождаетъ ихъ отъ присутствія и контроля представителей метрополіи; неужели эти колоніи будутъ вслѣдствіе этого безхозяйными, доступными произвольному захвату? Нѣмецкіе публицисты прибѣгаютъ къ явной натяжкѣ, истолковывая въ такомъ смыслѣ принципъ фактическаго владѣнія. Для владѣнія нуженъ актъ занятія мѣстности на правахъ самостоятельнаго хозяина; затѣмъ фак-

тическое занятіе вовсе не должно быть постояннымъ и непрерывнымъ для того, чтобы владѣніе сохраняло свою силу. Достаточно было испанцамъ разъ завладѣть Каролинскими островами, чтобы пріобрѣсть на нихъ преимущественное право предъ всякими позднѣйшими захватчиками; требовать же документовъ на владѣніе, какъ это дѣлаютъ нѣмцы, значитъ выворачивать вопросъ на изнанку,— ибо и нѣмцы тѣмъ болѣе не могутъ предъявить никакихъ данныхъ въ пользу своихъ притязаній. Своеобразные доводы берлинскаго кабинета могли только раздражать испанцевъ, привыкшихъ признавать Каролинскіе острова частью испанской монархіи; французскіе и англійскіе публицисты единодушно доказывали произвольность нѣмецкихъ захватовъ, насмѣхаясь надъ школьною софистикою патріотическихъ органовъ германскаго канцлера. Испанія чувствуетъ себя глубоко оскорбленною, и въ ней не скоро изгладится память объ этой обидѣ. Нужно ли было это германской имперіи и ея правителямъ? Стоило ли ради какого-то мелкаго островка возстановить противъ себя безобидную націю, давно уже ни съ кѣмъ не враждовавшую и всецѣло преданную завѣтамъ славнаго прошлаго? Испанцы могутъ оказаться весьма неудобными, въ качествѣ враговъ, и толкать ихъ на путь союза съ Франціею не было бы никакого разсчета со стороны Германіи. Князь Бисмаркъ очевидно можетъ также впасть въ ошибку, и напрасно не допускаютъ этого усердные берлинскіе патріоты. На этотъ разъ промахъ былъ дѣйствительно непріятенъ для нѣмецкой дипломатіи и для искренней части нѣмецкаго общества.

Намъ уже приходилось не разъ говорить о другой сторонѣ колоніальныхъ захватовъ,—о совершенномъ пренебреженіи къ правамъ туземныхъ населеній. Мѣсто считается ничьимъ, когда ни одна изъ европейскихъ державъ не водрузила на немъ своего знамени; природные жители и поселенцы игнорируются, какъ будто ихъ совсѣмъ не существуетъ,—принимаются въ разсчетъ только интересы немногихъ европейцевъ, представителей какихъ-либо торговыхъ домовъ, связанныхъ съ колоніею одними лишь коммерческими выгодами. Безполезно было бы возражать противъ насилій, дѣлаемыхъ во имя сомнительныхъ торговыхъ предпріятій; захваты признаются законными, когда жертвы ихъ не пользуются формальнымъ покровительствомъ какого-либо могущественнаго европейскаго государства. Это общее начало было отчасти подтверждено на совѣщаніяхъ конференціи по дѣламъ вновь образованныхъ штатовъ Конго; на постановленія этой конференціи ссылается теперь и Германія по вопросу объ условіяхъ занятія свободныхъ пунктовъ въ отдаленныхъ краяхъ.

СЪѢЗДЪ ГЕРМАНСКИХЪ АНТРОПОЛОГОВЪ.

I.

Продавецъ газетъ въ Берлинѣ, котораго я просилъ собрать для меня тѣ нумера газетъ, въ которыхъ печатались отчеты объ антропологическомъ съѣздѣ, происходившемъ въ Карлсруэ 25—27 іюля, обратился ко мнѣ, нѣсколько смущенный, съ слѣдующимъ вопросомъ: Я,—сказалъ онъ,—къ сожалѣнію, не очень свѣдущъ въ научныхъ вещахъ и я бы покорнѣйше просилъ васъ объяснить мнѣ, что̀ такое антропологія?—Я далъ ему кое-какія объясненія и онъ, очевидно, понявъ, въ чемъ дѣло, сдѣлалъ слѣдующій выводъ:

— Значитъ,—сказалъ онъ,—антропологія есть die Garbe, die alles umfasst (снопъ, все обнимающій).

Представляетъ ли нѣчто подобное антропологія въ Германіи, по крайней мѣрѣ насколько она была представлена на съѣздѣ?—Нѣтъ; судя по рефератамъ или, вѣрнѣе, по числу рефератовъ, относящихся, собственно говоря, къ антропологіи, можно сказать, что антропологія въ Германіи въ настоящее время вовсе не понимается въ томъ обширномъ смыслѣ, въ какомъ она должна пониматься, а исключительно въ смыслѣ археологіи; сюда, конечно, не входитъ археологія, основывающаяся на письменныхъ актахъ и документахъ, но вся та археологія, которая основывается на документахъ вещественныхъ. Иначе говоря, антропологія въ Германіи, въ настоящее время по крайней мѣрѣ, преимущественно изучаетъ документы, находимые въ землѣ и на поверхности земли, въ видѣ череповъ, орудій, валовъ, могильниковъ, и т. д. Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только просмотрѣть заглавія читанныхъ на съѣздѣ рефератовъ: „Остатки римскаго владычества въ Богеміи“, „До-историческія убѣжища“, „Раскопки Шлимана въ Германіи“, „Находки желѣзныхъ орудій въ восточной Пруссіи“ и т. д., и т. д. въ томъ же родѣ. Рефератовъ, обнимающихъ всю область антропологіи, было въ сущности только два: это—рефератъ профессора Вирхова „О расахъ брюнетовъ и блондиновъ“ и рефератъ профессора японскаго университета въ Токіо, Бэльца „О Японіи“. Пожалуй, къ этой же области относился отчетъ Шауфгаузена о наблюденіяхъ надъ микроцефалкой, которая демонстрировалась на съѣздѣ, затѣмъ данныя, сообщенныя имъ же объ измѣреніи череповъ великихъ людей. Къ области этнографіи от-

носился исключительно рефератъ пишущаго эти строки, да пожалуй, извѣстная часть реферата профессора Бэльца. Имѣйте въ виду, что этотъ съѣздъ носитъ наименованіе: „съѣзда антропологовъ, этнологовъ и археологовъ", что очевидно задача этихъ съѣздовъ въ Германіи въ настоящее время съузилась, вопреки намѣренію первоначальныхъ его учредителей. Хорошо ли это или дурно? Для Германіи, для нѣмецкой науки въ этомъ съуженіи предѣловъ антропологіи, конечно, временномъ, а не постоянномъ, ничего зловреднаго нѣтъ. Дѣло въ томъ, что область этнографіи собственно нѣмецкой сильно разработана. Нѣтъ области, нѣтъ мѣста, хотя бы самаго маленькаго, которое не изучено по отношенію къ языку, нравамъ, обычаямъ, пѣснямъ и т. д. Въ этой области сдѣлано очень много и помимо съѣздовъ.

Вѣдь еще въ 1828 году напечатанъ фундаментальный трудъ Гримма, его извѣстные „Rechtsalterthümer". Очевидно, съѣздъ долженъ былъ направить свои усилія къ тому, чтобы углубить изученіе той области антропологіи, которая безъ съѣздовъ оставалась бы мало разработанной, т.-е. онъ долженъ былъ направить свои усилія къ тому, чтобы разрыть вдоль и поперегъ почву Германіи для отысканія разсѣянныхъ въ нѣдрахъ ея остатковъ прежней до-исторической и исторической жизни. И въ этомъ отношеніи, надо сказать правду, съѣзды достигли многаго и очень многаго. Каждый годъ съѣзды назначаются то въ той, то въ другой мѣстности и въ теченіе промежутка времени, проходящаго отъ одного съѣзда до другого, т.-е. въ теченіе года, всѣ усилія мѣстныхъ любителей старины направляются къ тому, чтобы открыть и собрать всю старину, существующую въ этой мѣстности, причемъ всѣ эти находки наносятся на карты, и такимъ образомъ на съѣздѣ вы имѣете возможность ознакомиться съ тѣмъ, насколько данная мѣстность изучена по отношенію къ археологическимъ остаткамъ. Такихъ картъ уже составлено много и теперь, какъ это заявлено было на съѣздѣ, предпринимается изготовленіе одной мѣстной до-исторической карты. Въ настоящее время вся груда собраннаго матеріала представляетъ матеріалъ, въ значительной мѣрѣ необработанный, въ смыслѣ обобщеній. Нѣкоторые выводы относительно переселеній сдѣланы, конечно, на основаніи этихъ остатковъ, но несомнѣнно, что выводы сами собою будутъ напрашиваться въ то время, когда будетъ составлена полная карта всѣхъ остатковъ древности и будутъ опредѣлены на всемъ протяженіи Германіи всевозможныя наслоенія этихъ остатковъ. Такимъ образомъ для Германіи, повторяю, съуженіе предѣловъ антропологіи въ теченіе даннаго, опредѣленнаго времени не представляетъ ничего вреднаго. Эта спеціализація въ извѣстной области антропологіи приписывается въ Германіи вліянію Вирхова. Въ этомъ

мнѣніи есть значительная доля правды. Но несомнѣнно, что Вирховъ въ этомъ случаѣ руководствуется не столько своими симпатіями, сколько дѣйствительными интересами антропологической науки въ Германіи. Самъ онъ, какъ я уже сказалъ, представилъ рефератъ, обнимающій почти всю область антропологіи.

Примѣръ Германіи не можетъ, конечно, служить образцомъ для насъ; если мы въ чемъ-либо и можемъ спеціализироваться на нѣкоторое время, то развѣ въ области этнографіи. Таково не только мое личное мнѣніе, но и мнѣніе представителей науки въ Германіи. Между прочимъ, профессоръ Бастіанъ въ разговорахъ со мною нѣсколько разъ указывалъ на то, что на Россіи, какъ и на Англіи, лежитъ обязанность все болѣе и болѣе расширять область этнографіи и очень просто потому, что это вызывается интересами страны и государства. Интересы и служили стимуломъ возникновенія этнографическаго изученія въ Англіи. Они должны содѣйствовать возможно большему усиленію этого изученія и въ Россіи, представляющей собою, даже помимо новыхъ пріобрѣтеній въ Азіи, массу народностей, соприкасающихся другъ съ другомъ и вліяющихъ другъ на друга. Настоятельная необходимость усиленія изученія этнографіи указана уже довольно подробно и убѣдительно А. Н. Пыпинымъ. Въ настоящую минуту, когда я пишу эти строки, у меня нѣтъ подъ рукою статьи А. Н. и потому я не помню, указалъ ли онъ на одинъ изъ самыхъ благопріятныхъ моментовъ для изученія этнографіи въ настоящее время въ Россіи. Правительство, очевидно, сознавая важность изученія этнографіи въ Россіи, при изданіи новаго университетскаго устава, учредило каѳедру географіи и этнографіи. Прошелъ уже годъ почти, какъ новый уставъ введенъ, а между тѣмъ, каѳедры эти не замѣщены и вѣроятно пройдетъ еще много лѣтъ до тѣхъ поръ, пока эти вакантныя каѳедры будутъ замѣщены. Мы позволяемъ себѣ дѣлать такое предсказаніе въ виду того, что, какъ намъ приходилось слышать, нѣкоторые университеты предъявляютъ экстраординарныя требованія къ лицамъ, выражающимъ желаніе принять на себя преподаваніе этихъ предметовъ. Отъ нихъ требуются математическія и историко-филологическія свѣденія и притомъ въ объемѣ факультетскаго курса, не говоря уже о необходимости основательнаго знанія географіи, этнографіи, антропологіи и археологіи. Очевидно, что такія требованія могутъ повести лишь къ тому, что эти каѳедры просуществуютъ цѣлые десятки лѣтъ только на бумагѣ и не окажутъ, конечно, никакого вліянія на дальнѣйшее развитіе этихъ столь необходимыхъ, именно въ Россіи, наукъ. Для того, чтобы удовлетворить назрѣвшую потребность въ преподаваніи географіи и этнографіи, остается, конечно, прибѣгнуть къ наличнымъ силамъ, уже существующимъ въ странѣ, и возложить на нихъ преподаваніе хотя бы

части предмета, не задаваясь при этомъ требованіями, которымъ едва ли кто, не только въ Россіи, но и въ Европѣ, способенъ удовлетворить.

II.

Въ теченіе десяти лѣтъ въ Германіи и смежныхъ странахъ: Австро-Венгріи, Швейцаріи, Даніи, Бельгіи, производилась перепись посѣщающихъ учебныя заведенія дѣтей, по отношенію къ цвѣту волосъ, глазъ, кожи. Всѣ эти данныя собраны въ настоящее время Вирховомъ и дали ему возможность составить двѣ карты этихъ странъ, изъ которыхъ на одной посредствомъ красокъ изображена густота населенія, принадлежащаго къ расѣ блондиновъ, а на другой—къ расѣ брюнетовъ. Вирховъ считаетъ достаточными данныя, собранныя въ этихъ странахъ, для того, чтобы придти къ опредѣленнымъ выводамъ. Желательно было бы, по его мнѣнію, лишь восполненіе одного пробѣла и при томъ на востокѣ Европы. Я передамъ здѣсь высказанное имъ желаніе. Выдержка изъ его рѣчи, относящаяся къ этому предмету, доставлена мнѣ по желанію Вирхова стенографомъ. „Для насъ,—сказалъ онъ,—было бы весьма важно восполненіе большого пробѣла, представляемаго русской Польшей въ виду того, что въ Галиціи обнаружились весьма замѣчательныя отношенія по вопросу о расахъ. Я пользуюсь случаемъ, чтобъ высказать здѣсь желаніе о восполненіи этого пробѣла. Въ настоящее время, какъ мнѣ извѣстно, въ Варшавѣ сильно занимаются антропологіею, причемъ въ разработкѣ ея принимаютъ участіе многія силы. И я надѣюсь, что желаніе, которое высказано здѣсь мною, произведетъ извѣстное вліяніе и мы будемъ въ состояніи въ скоромъ времени восполнить указанный пробѣлъ".

Цифровыя данныя о соотношеніи между брюнетами, блондинами и смѣшанной расой, Вирховъ сообщилъ только по отношенію къ Германіи. По отношенію къ другимъ странамъ онъ ограничился, къ сожалѣнію, только общими описаніями, не приводя цифровыхъ данныхъ. Всѣ эти данныя имѣются, впрочемъ, въ его изслѣдованіи, которое выйдетъ отдѣльно. Мы сообщимъ здѣсь результаты, къ которымъ пришелъ Вирховъ, въ той формѣ, какъ они даны имъ на съѣздѣ. Въ Германіи 31% всего населенія принадлежитъ къ расѣ блондиновъ, 14% къ расѣ брюнетовъ и свыше 54% къ смѣшанной расѣ, которая подходитъ то къ черноглазой и черноволосой расѣ, то къ бѣлокурой и голубоглазой расѣ. Понятно, что типъ блондиновъ господствуетъ болѣе на сѣверѣ этихъ странъ, а типъ брюнетовъ на югѣ. Но при этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе на слѣдующее: на сѣверѣ Германіи, Бельгіи и Ютландскаго полуострова, раса блондиновъ представ-

ляетъ большую составную часть населенія въ западной и гораздо меньшую въ восточной части этой полосы. (Любопытно, что въ этихъ странахъ и среди евреевъ является сравнительно бо́льшее количество блондиновъ, 11%. Брюнеты среди еврейскаго населенія составляютъ 42%, а остальные принадлежатъ къ смѣшанной расѣ). На сѣверѣ Германіи есть мѣстности, въ которыхъ элементъ брюнетовъ представляетъ только 4%, между тѣмъ, какъ блондины въ тѣхъ же мѣстахъ достигаютъ 56%. Смѣшанная форма сильнѣе всего въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Вюртемберга; меньше всего она представлена въ Вальдесгаузенѣ и въ Ширельбейнѣ и выражается 40%. Саксонско-фрисландское населеніе представляетъ наибольшую цифру блондиновъ. На югѣ населеніе состоитъ изъ франковъ, принадлежащихъ къ типу брюнетовъ. Переселенія франковъ изъ Галліи во времена каролинговъ объясняютъ, по мнѣнію Вирхова, длинную полосу типа брюнетовъ. Значительное количество блондиновъ, существующее на югѣ Германіи, показываетъ, что саксонско-фрисландское населеніе проникало далеко на югъ, вплоть до Вюртемберга и средней Швейцаріи (до кантона Тессина). Вообще слѣдуетъ замѣтить, что граница между преобладающимъ населеніемъ блондиновъ совпадаетъ въ Германіи съ границею двухъ діалектовъ языка, такъ называемыхъ верхне-нѣмецкаго и нижне-нѣмецкаго. Преобладаніе типа брюнетовъ на крайнемъ востокѣ и западѣ Швейцаріи показываетъ, что первоначальное населеніе этихъ мѣстъ сохранилось вплоть до настоящаго времени. Любопытно также отношеніе между расами въ Тиролѣ, Каринтіи, Крайнѣ и Штиріи, т.-е. въ тѣхъ мѣстахъ, которыя во времена римскаго владычества назывались провинціею Норикой. Здѣсь первоначальное населеніе и позднѣйшее населеніе германское отличаются другъ отъ друга по цвѣту волосъ и кожи. То же самое отражается въ Богеміи, гдѣ нѣмецкое населеніе представляетъ типъ блондиновъ, а чешское населеніе типъ брюнетовъ. Какимъ образомъ славяне, которые, подобно саксамъ, несомнѣнно принадлежали къ расѣ блондиновъ, являются брюнетами? Вирховъ полагаетъ, что видоизмѣненіе типа произошло отъ смѣшенія съ какою-нибудь другою расою брюнетовъ,—съ кельтами между прочимъ.

Трудно объяснить также, какимъ образомъ франки и алеманны, въ свою очередь, представляютъ типъ брюнетовъ; трудно объяснить, наконецъ, появленіе въ Швейцаріи цѣлыхъ острововъ, принадлежащихъ къ особому типу—сѣрому. Въ Унтервальденѣ всего 2% блондиновъ, брюнетовъ не больше 20% или 16%; и такимъ образомъ три четверти населенія принадлежитъ къ расѣ съ сѣрыми глазами. Профессоръ Кольманъ, въ виду этого, предложилъ признать самостоятельную расу—сѣрую. Вирховъ допускаетъ такую расу для нынѣшняго времени, но предполагаетъ, что она обязана своимъ возникновеніемъ

смѣшенію двухъ расъ, столь законченному, что это смѣшеніе представляетъ въ настоящее время особую, самостоятельную прочную расу, передающую свои черты неизмѣнно потомству.

Упомяну еще о замѣчаніяхъ Вирхова, сдѣланныхъ по отношенію къ типу населенія въ Галиціи. Тамъ, сказалъ онъ, разница по цвѣту волосъ и глазъ замѣчается не только между національностями, въ видѣ поляковъ или русиновъ, но и между мелкими племенными группами (Stämme), входящими въ составъ этихъ болѣе широкихъ національныхъ группъ. Подробныя цифровыя данныя, относящіяся къ Галиціи и вообще къ славянамъ, представили бы несомнѣнно большой интересъ для русской публики. Къ сожалѣнію, мы располагаемъ только тѣми данными, которыя были приведены въ рѣчи Вирхова.

Къ сказанному до сихъ поръ прибавлю только, что этими данными, очевидно, если не вполнѣ сокрушается, то значительно ослабляется извѣстная теорія, по которой морфологически, внутренно, такъ сказать, югъ побѣждаетъ сѣверъ, брюнеты—блондиновъ. Смѣшеніе расъ ведетъ, очевидно, не къ побѣдѣ одного элемента надъ другимъ, а къ образованію смѣшанной расы,—той расы, которую профессоръ Кольманъ желаетъ называть сѣрою.

Перехожу къ реферату профессора Бэльца, который долженъ быть поставленъ рядомъ съ рефератомъ Вирхова какъ по богатству новаго фактическаго матеріала, такъ и по характеру выводовъ и обобщеній.

Докладчикъ, сгруппировавъ много частностей, каждый разъ при этомъ указывалъ на отношенія ихъ къ общепризнаннымъ научнымъ положеніямъ. Благодаря сообщеннымъ имъ даннымъ, многія изъ этихъ положеній должны быть подвергнуты болѣе тщательной провѣркѣ.

Прежде всего онъ остановился на расовомъ элементѣ японскаго населенія и указалъ, между прочимъ, на то, какъ противорѣчивы заключенія, къ которымъ приходятъ разные наблюдатели. Между прочимъ, по отношенію къ племени айновъ, оказывается, что одинъ изъ этихъ наблюдателей, Деницъ, видѣлъ нѣчто совершенно противоположное тому, что видѣлъ другой, Шрейберъ. Впрочемъ, айны играютъ весьма ничтожную роль въ японскомъ населеніи. Они, по мнѣнію референта, весьма сходны съ типомъ русскаго населенія Сибири. Японцы же принадлежатъ къ монгольской или малайской расѣ, между которыми референтъ не находитъ существенныхъ отличій. Японцы весьма сходны съ евреями, хотя они, конечно, не родственны евреямъ. Тѣмъ не менѣе мѣстомъ родины японцевъ является Месопотамія. Въ пользу этого предположенія говоритъ, между прочимъ, сходство ихъ письма съ акадійскимъ... Такъ какъ у японцевъ нѣтъ сказаній о потопѣ, то референтъ полагаетъ, что они выселились изъ Месопотаміи въ очень отдаленныя отъ насъ времена. За-

служиваетъ вниманія голубое пигментированное пятно на os sacrum или плечѣ, или рукѣ, съ которымъ каждое дитя въ Японіи является на свѣтъ. Это пятно есть уже у четырехмѣсячнаго зародыша и исчезаетъ въ болѣе поздніе годы. Есть ли это признакъ происхожденія человѣка отъ болѣе низшей животной породы, этого референтъ не рѣшаетъ.

Любопытны наблюденія профессора Бэльца надъ вліяніемъ растительной пищи. Вообще въ низшихъ классахъ японскаго населенія преобладаетъ потребленіе растительной пищи, въ особенности риса, между тѣмъ, какъ высшій классъ потребляетъ рыбу и мясо. Низшіе классы представляютъ собою замѣчательно крупные экземпляры по физической организаціи. Этого мало, въ Японіи есть классъ людей, которые занимаются перевозкой людей и тяжестей. Они въ состояніи пробѣжать рысью отъ 60 до 70 километровъ въ день и при этомъ промежутки, которые они дѣлаютъ для ѣды, весьма незначительны. Они подходятъ къ ближайшему колодцу, обливаютъ все тѣло ведромъ воды, проглатываютъ весьма быстро извѣстную порцію варенаго рису и затѣмъ сейчасъ же снова приступаютъ къ отправленію своихъ обязанностей; наполненный такою пищею желудокъ не мѣшаетъ передвиженію. Изъ этого и многихъ другихъ наблюденій профессоръ Бэльцъ приходитъ къ заключенію, что, очевидно, для рабочаго человѣка растительная пища является наиболѣе подходящей: она легче переваривается, менѣе обременяетъ желудокъ и въ то же время въ достаточной мѣрѣ возмѣщаетъ убыль физической силы [1]). Среди низшихъ классовъ Японіи еще до настоящаго времени существуетъ татуировка. Она производится почти безболѣзненно, и ловкій татуировщикъ въ состояніи въ теченіе одной минуты сдѣлать около пяти или шести тысячъ уколовъ. Благодаря этому обстоятельству и пріѣзжающіе туда европейцы, въ особенности моряки, очень охотно подвергаются этой операціи. Японское правительство, воспретивъ татуировку, приказало забирать въ участокъ всѣхъ татуированныхъ, при этомъ оно очутилось въ очень курьезномъ положеніи во время пріѣзда принца Уэльскаго, который, когда онъ прибылъ въ Японію, первымъ дѣломъ велѣлъ прислать себѣ татуировщика. Впрочемъ, татуировка у японцевъ производится не на обнаженныхъ частяхъ тѣла (низшіе классы до сихъ поръ еще не одѣты или полураздѣты), какъ это дѣлаютъ всѣ первобытные народы, а напротивъ, на скрытыхъ одеждою. Цвѣтъ кожи у японцевъ весьма сходенъ съ цвѣтомъ кожи испанцевъ и итальянцевъ. Особенною отличительною чѣртою японцевъ, какъ и вообще восточно-азіатскихъ народовъ, отъ европей-

[1]) Русскіе читатели знаютъ, что эти наблюденія совпадаютъ съ наблюденіями А. Н. Энгельгардта.

цевъ слѣдуетъ считать длинное туловище. И это, по мнѣнію референта, является наиболѣе характернымъ расовымъ признакомъ. Ноги ихъ короче половины туловища. Многіе считаютъ отличительною чертою японцевъ выдающуюся лицевую кость. Но это, по мнѣнію референта, обманъ зрѣнія, происходящій отъ того, что верхняя челюсть у японцевъ нѣсколько иначе искривлена, чѣмъ у европейцевъ.

Однимъ изъ существенныхъ вопросовъ въ антропологіи является вопросъ о скрещиваніи въ средѣ близкихъ родственниковъ. Профессоръ Бэльцъ сообщалъ свои наблюденія и по этому предмету. Оказывается слѣдующее. Въ Японіи существуетъ маленькій островокъ, населенный двумя или тремя стами человѣкъ. Островокъ этотъ почти изолированъ, такъ что туда въ теченіе 300 лѣтъ, какъ констатировано самымъ точнымъ образомъ, не проникло ни одной капли свѣжей крови. Скрещиваніе происходитъ только среди лицъ, принадлежащихъ къ населенію острова и не только не ведетъ ни къ какимъ печальнымъ, по отношенію къ здоровью, послѣдствіямъ, но жители оказываются здоровыми, крѣпкими и умственно развитыми, а приростъ населенія за послѣднія одиннадцать лѣтъ составляетъ 8%, хотя въ послѣдніе годы происходила эмиграція значительнаго числа жителей. Вообще о вырожденіи при этихъ данныхъ не можетъ быть, конечно, и рѣчи. Если вспомнить о брачномъ сожитіи братьевъ и сестеръ въ Сіамѣ, Перу, Кореѣ и древнемъ Египтѣ, то очевидно, что эти факты должны вызвать скептицизмъ по отношенію къ общепризнанному вреду скрещиванія среди близкихъ родственниковъ. Надо думать, что вредныя послѣдствія обнаруживаются лишь тогда, когда скрещивающіеся субъекты обладаютъ предрасположеніемъ къ извѣстнымъ болѣзнямъ. Въ такихъ случаяхъ, конечно, это предрасположеніе усиливается.

Референтъ обратилъ также вниманіе на результаты скрещиванія между японцами и европейцами. Насколько ему удалось подмѣтить, дѣти отъ такихъ браковъ обыкновенно красивы, но въ настоящее время вообще еще трудно судить точнымъ и достовѣрнымъ образомъ о результатахъ этихъ скрещиваній, такъ какъ факты этого рода еще весьма недостаточны.

Изъ рефератовъ, относящихся къ области антропологіи въ собственномъ смыслѣ, упомяну еще о демонстрированіи микроцефалки профессоромъ Шауфгаузеномъ. Ей теперь пятнадцать лѣтъ. Надъ нею производятся наблюденія съ самаго дѣтства. У нея вовсе нѣтъ полушарій и извилинъ въ мозгу. Въ физическомъ отношеніи она вполнѣ здорова, но въ умственномъ отношеніи представляетъ собою идіота. Тѣмъ не менѣе въ послѣднее время у нея пробуждается чувство привязанности къ матери. Въ области языка она ограничивается двумя

словами „папа“ и „мама“. Въ прежніе годы она была гораздо болѣе подвижна, въ настоящее же время она оказывается спокойной. Въ прежнее время у нея бывали слизетеченія, но въ настоящее время они совершенно прекратились. Вообще она любитъ чистоту и смотритъ за собою въ этомъ отношеніи. Очевидно, слѣдовательно, что всѣ физическія отправленія могутъ очень удобно совершаться при отсутствіи верхнихъ полушарій, которыя являются необходимымъ условіемъ лишь для интеллектуальной жизни. Профессоръ Шауфгаузенъ не преминулъ указать при этомъ случаѣ на несостоятельность теоріи Фохта, по которой микроцефалы представляютъ собою возвращеніе къ тому антропоиду, который долженъ считаться нашимъ предкомъ. Какъ извѣстно, обезьяны представляютъ собою гораздо высшую умственную организацію сравнительно съ микроцефалами.

Изъ рефератовъ по археологіи я могу здѣсь упомянуть только о раскопкахъ Шлимана. Эти раскопки, воскресившія предъ нами древнегреческую жизнь въ самыхъ первобытныхъ ея формахъ, интересуютъ весь міръ. Къ сожалѣнію, онѣ у насъ не обратили на себя достодолжнаго вниманія. Я не могу здѣсь восполнить этого пробѣла, такъ какъ пришлось бы коснуться не только реферата Шлимана на съѣздѣ, но и напечатанныхъ его работъ. Шлиману, какъ извѣстно, кромѣ Микенъ, удалось раскопать въ Арголидѣ, въ Тиринсѣ, цѣлый древній греческій дворецъ со всѣми его составными частями. При этомъ найдена цѣлая масса скрытыхъ въ землѣ болѣе тысячи лѣтъ сосудовъ и стѣнныхъ орнаментовъ. Въ теченіе послѣдняго года ему удалось открыть крѣпостной валъ, окружавшій этотъ дворецъ, и вотъ о немъ-то и шла рѣчь на съѣздѣ. Я не стану приводить здѣсь подробностей постройки, скажу лишь, что она принадлежитъ къ циклопическимъ, т.-е. состоитъ изъ каменныхъ плитъ, нагроможденныхъ другъ на другѣ, съ промежутками, наполненными мелкими каменьями и землею. По характеру построекъ, а также сосудовъ, найденныхъ въ громадномъ количествѣ, Шлиманъ приходитъ къ заключенію, что раскопанный имъ Тиринсъ, точно такъ же какъ и Микены, вполнѣ сходны съ типомъ карѳагенскихъ построекъ и очевидно представляли собою финикійскія колоніи.

III.

Вотъ уже шестнадцать лѣтъ какъ въ Германіи ежегодно происходятъ съѣзды антропологовъ, и если принять даже, что только двѣ-три реферата изъ всѣхъ читанныхъ на съѣздѣ представляютъ собою выдающіяся въ научномъ отношеніи явленія, то очевидно, что эти съѣзды во всякомъ случаѣ должны обогащать науку. У насъ нѣтъ съѣздовъ антропологовъ, но есть съѣзды археологовъ, къ сожалѣнію

происходящіе только разъ въ три года, и понятно, что такая рѣдкость съѣздовъ едва ли можетъ сильно содѣйствовать научному творчеству. Впрочемъ, въ настоящее время приходится опасаться за самое существованіе этихъ съѣздовъ, такъ какъ со смертью графа Уварова, исчезла самая сильная опора ихъ.

Мы останавливались до сихъ поръ на научной сторонѣ дѣятельности съѣзда, но не можемъ не указать здѣсь и на общественное значеніе его. И въ ученой Германіи, конечно, очень немногіе интересуются результатами антропологическихъ изслѣдованій въ той научной формѣ, въ какой они предлагаются на съѣздахъ. Очевидно, для того, чтобы сдѣлать ихъ доступными для массы населенія, необходимо сообщать эти результаты въ нѣсколько болѣе популярной формѣ. Это именно и сдѣлалъ предсѣдатель съѣзда, профессоръ Шауфгаузенъ, причемъ онъ указалъ на то, какъ антропологія относится къ общепринятымъ воззрѣніямъ, которыя доставляютъ пищу національному тщеславію и питаютъ народное суевѣріе. Какъ незыблемый результатъ антропологическихъ изслѣдованій, онъ выставилъ фактъ постепеннаго развитія человѣка, какъ въ физическомъ, такъ и въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Онъ указалъ при этомъ на взаимодѣйствіе всѣхъ національностей въ выработкѣ культуры, при чемъ счелъ нужнымъ сокрушить національное тщеславіе, выражающееся въ томъ, что мы, дескать, нѣмцы, являемся носителями цивилизаціи. „Нѣтъ такого народа,—сказалъ онъ,—который могъ бы считать себя носителемъ цивилизаціи, и не будь римлянъ, не было бы нынѣшней нѣмецкой культуры. Да и присутствіе элементовъ гальскихъ, къ которымъ относятся такъ враждебно въ настоящее время, въ этой культурѣ несомнѣнно. Извѣстное мнѣніе, что не-культурные народы исчезаютъ отъ соприкосновенія съ цивилизаціею, есть нелѣпость. Это исчезновеніе есть результатъ не-культурнаго обращенія съ этими народами, но отнюдь не результатъ воздѣйствія культуры". Этимъ положеніемъ, конечно, сокрушается то мнѣніе, по которому якобы существуютъ народы, вовсе не воспріимчивые къ культурнымъ пріобрѣтеніямъ.

Былъ на съѣздѣ еще одинъ инцидентъ, который далъ возможность Вирхову нанести ударъ, и притомъ довольно чувствительный, національному шовинизму и теоріямъ германской „самобытности". Выступилъ молодой человѣкъ, докторъ Вильзеръ, съ теоріею, по которой арійскіе народы пришли не изъ Индіи, а изъ Скандинавіи, причемъ это скандинавское населеніе несомнѣнно было и осталось до сихъ поръ германскимъ. Первоначальное германское населеніе Скандинавіи разошлось-де по разнымъ странамъ, причемъ, по мнѣнію референта, кельты, славяне и многіе другіе народы въ свою

очередь составляютъ одну изъ вѣтвей германской расы. Въ наиболѣе чистомъ видѣ, конечно, германская раса сохранилась въ лонѣ Германіи. „Германцы,—говоритъ онъ, между прочимъ, въ своемъ сочиненіи, Die Herkunf der Deutschen",—суть именно тотъ народъ, который на развалинахъ распадающихся государствъ основывалъ новыя, вливалъ сильную и свѣжую кровь въ организмъ устарѣвшихъ народовъ. Германцы, это именно тотъ народъ, который и въ настоящее время стремится овладѣть всѣмъ міромъ". Подобные же доводы приводилъ авторъ и въ своей декламаціи на съѣздѣ и вообще сильно билъ на патріотизмъ своихъ соотечественниковъ. Профессоръ Вирховъ не могъ удержаться, чтобы не выступить вслѣдъ за референтомъ и показать всю зловредность той методы, которая въ дѣлѣ изысканія научной истины опирается на дурномъ, ложно понятомъ, фальшивомъ патріотизмѣ и на желаніи, во что бы то ни стало, выставить свой народъ избраннымъ народомъ. Выселились ли народы изъ Индіи или изъ какого-либо другого мѣста, это, конечно, еще не рѣшено. Но для того, чтобы доказать происхожденіе всѣхъ европейскихъ народовъ изъ Скандинавіи, въ настоящее время нѣтъ никакихъ данныхъ. Въ самой Скандинавіи дѣло вовсе не такъ просто, какъ это кажется референту. Тамъ констатировано нѣсколько культуръ, объясняемыхъ не иначе, какъ послѣдовательнымъ появленіемъ новыхъ группъ населенія съ юга. Затѣмъ данныя, собранныя въ его докладѣ о блондинахъ и брюнетахъ, указываютъ на типическое отличіе по крайней мѣрѣ между двумя расами, изъ которыхъ составилось населеніе Германіи и Европы, и даютъ основаніе умозаключать о движеніяхъ народовъ не изъ Скандинавіи, а изъ другихъ мѣстъ. Вирховъ обыкновенно говоритъ очень спокойно и хладнокровно, но на этотъ разъ, возражая юному нѣмецкому „самобытнику", онъ дошелъ до пафоса и наносилъ жестокіе удары всѣмъ тѣмъ, которые позволяютъ себѣ строить научныя теоріи не на основаніи научныхъ данныхъ, а на основаніи внушеній чувствъ и національнаго тщеславія. Онъ признавалъ такой способъ дѣйствія подсѣкающимъ въ самомъ корнѣ возможность научнаго развитія и поэтому относился безпощадно къ представителю такихъ стремленій въ области антропологіи.

М. Кулишеръ.

НОВЫЙ ТОМЪ КНИГИ МАРКСА.

Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, von Karl Marx. Zweiter Band. Buch II: Der Cirkulationsprocess des Kapitals. Hamburg, 1885.

Поклонники Маркса, какъ ученаго экономиста, будутъ сильно разочарованы вышедшимъ нынѣ вторымъ томомъ знаменитаго труда о „Капиталѣ". Крайняя сухость и отвлеченность изложенія, отсутствіе литературныхъ и фактическихъ указаній, утомительная растянутость аргументаціи и общій недостатокъ системы,—все это дѣлаетъ чтеніе настоящей книги тяжелымъ подвигомъ даже для спеціалиста. Первый томъ „Капитала" читается также съ трудомъ: безконечныя разсужденія о цѣнности отзываются духомъ схоластики; неудачные примѣры, въ родѣ обмѣна холста на сюртукъ, разбираются на десяткахъ страницъ съ невыносимыми повтореніями,—но за то читатель найдетъ тамъ много новаго и оригинальнаго, массу любопытныхъ свѣденій фактическихъ и научныхъ, подробную критику спеціальной литературы предмета и нѣкоторыя важныя поправки къ существующимъ экономическимъ ученіямъ. Ничего подобнаго не представляетъ вторая часть, приготовленная къ печати давнишнимъ сотрудникомъ и другомъ покойнаго автора, Фридрихомъ Энгельсомъ. Трудъ читателя не окупается въ данномъ случаѣ ни новизною выводовъ, ни смѣлостью и рѣзкостью критики; авторъ, большею частью, повторяетъ мысли, высказанныя въ первомъ томѣ, и пользуется почти исключительно методомъ абстрактной діалектики. Анализъ обращенія капиталовъ, въ послѣднемъ отдѣлѣ книги, имѣетъ безспорно научный интересъ; не мало мѣткихъ замѣчаній разсѣяно въ различныхъ главахъ, по вопросамъ болѣе или менѣе сложнымъ и запутаннымъ, — однако, въ цѣломъ книга производитъ впечатлѣніе чего-то недодѣланнаго, туманнаго и отрывочнаго.

Издатель Энгельсъ объясняетъ въ предисловіи, что матеріаломъ для второго тома послужило нѣсколько рукописей, составленныхъ въ разное время и имѣющихъ отчасти характеръ набросковъ; нѣкоторыя только главы получили окончательную обработку для печати. Энгельсу пришлось самому выбирать и распредѣлять рукописи, приводить ихъ въ порядокъ, дѣлать въ нихъ необходимыя вставки и редакціонныя измѣненія. Задача выполнена издателемъ съ несомнѣннымъ стараніемъ; особое отношеніе его къ памяти автора характеризуется

уже тѣмъ обстоятельствомъ, что предисловіе подписано въ „день рожденія Маркса". Рукописи, находящіяся въ распоряженіи Энгельса, относятся преимущественно къ шестидесятымъ годамъ; весьма немногое писано позднѣе, около 1877 года. Матеріалъ для третьяго тома, имѣющаго выйти въ свѣтъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, приготовленъ еще до выхода въ свѣтъ первой книги „Капитала", въ 1864 и 1865 годахъ; сверхъ того, издатель предполагаетъ напечатать, въ видѣ четвертаго тома, разборъ теорій о прибавочной цѣнности, написанный въ 1861—63 годахъ.

Такимъ образомъ, все новѣйшее движеніе нѣмецкой экономической литературы остается незатронутымъ трудами Маркса. Покойный авторъ продолжалъ воевать съ „младенческой" буржуазной экономіею, давно уже утратившею всякое серьезное значеніе, и совершенно игнорировалъ многія капитальныя работы, появившіяся какъ до изданія „Капитала" въ 1867 году, такъ и послѣ. Марксъ часто останавливается на мнѣніяхъ Адама Смита и подвергаетъ ихъ суровой критикѣ; онъ ссылается также на болѣе раннихъ основателей современной экономической науки—на Кенэ и Тюрго; это и понятно: безъ Адама Смита и физіократовъ не обойдется ни одинъ трактатъ по политической экономіи. Но почему Марксъ считалъ нужнымъ разбирать и осмѣивать взгляды такихъ основательно забытыхъ писателей, какъ Рамзай и Дестютъ-де-Траси, при полномъ пренебреженіи къ болѣе вѣскимъ и новымъ изслѣдованіямъ—это остается неизвѣстнымъ. Трудно объяснить случайностью выборъ того или другого автора, какъ объекта критической оцѣнки. Какъ понять, напримѣръ, молчаніе о Родбертусѣ, писавшемъ съ 1842 года и имѣвшемъ уже громкое имя ко времени выхода перваго тома „Капитала"? Марксъ не упоминаетъ о сочиненіяхъ фонъ-Тюнена, заключающихъ въ себѣ математическій анализъ отношеній между капиталомъ и трудомъ, а вдается охотно въ полемику съ популярными теоріями Жана-Батиста Сэя, которыхъ никто не держится въ настоящее время. Марксъ упомянулъ о Лассалѣ только для того, чтобы обвинить его въ заимствованіяхъ и искаженіяхъ, хотя Лассаль вовсе не претендовалъ на роль самостоятельнаго экономиста-теоретика. Отношеніе Маркса къ наиболѣе видным дѣятелямъ современной ему экономической литературы обнаруживало какую-то систему, которую Энгельсъ пытается теперь отрицать относительно Родбертуса.

Объясненіе Энгельса по этому поводу весьма любопытно. Въ книгѣ Рудольфа Мейера о борьбѣ четвертаго сословія было впервые указано, что Марксъ заимствовалъ свою критику капитализма отчасти изъ трудовъ Родбертуса. Самъ Родбертусъ заявлялъ въ своихъ письмахъ, что Марксъ воспользовался его сочиненіемъ, вышедшимъ въ

1842 году, безъ надлежащей на него ссылки. „Какъ образуется прибавочная цѣнность, присвоиваемая капиталистомъ, — это я показалъ въ своемъ третьемъ соціальномъ письмѣ (въ 1851 году) такъ же точно какъ Марксъ, но только короче и яснѣе его“,—говорится въ одномъ письмѣ къ Рудольфу Мейеру. По словамъ Энгельса, Марксъ не подозрѣвалъ объ этихъ обвиненіяхъ его въ плагіатѣ. Издатель приводитъ довольно оригинальные доводы для очищенія автора отъ всякихъ подозрѣній. „Принадлежавшій Марксу экземпляръ книги Мейера о рабочемъ классѣ былъ разрѣзанъ только въ той части, которая касается международнаго рабочаго союза; остальное я разрѣзалъ уже послѣ его смерти (!). Вся литературная дѣятельность Родбертуса, какъ я знаю положительно, была неизвѣстна Марксу до 1859 года, когда его собственная критика политической экономіи была уже готова не только въ главныхъ чертахъ, но и въ подробностяхъ. Онъ началъ свои экономическія занятія въ Парижѣ въ 1843 году, подъ руководствомъ великихъ англичанъ и французовъ; изъ нѣмцевъ онъ зналъ только Рау и Листа, и этого было съ него достаточно. Ни Марксъ, ни я не знали ничего о существованіи Родбертуса до тѣхъ поръ, пока не пришлось намъ въ 1848 году въ „Новой Рейнской Газетѣ“ разбирать его рѣчи и дѣйствія, какъ берлинскаго депутата и министра. Мы были столь несвѣдущи, что обращались къ рейнскимъ депутатамъ съ вопросомъ, кто такой этотъ Родбертусъ, столь внезапно назначенный министромъ. Но и эти лица не имѣли понятія объ экономическихъ сочиненіяхъ Родбертуса. Только черезъ Лассаля узналъ Марксъ около 1859 года, что существуетъ экономистъ Родбертусъ, и нашелъ его третье соціальное письмо“ въ Британскомъ музеѣ“. Такъ утверждаетъ Энгельсъ, и нѣтъ основанія сомнѣваться въ правдивости его разсказа.

Что долженъ подумать читатель, присутствуя при подобныхъ спорахъ? Можетъ ли считаться серьезною та наука, въ которой каждый изслѣдователь дѣйствуетъ особнякомъ и открещивается отъ знакомства съ чужими работами? Положеніе Маркса, какъ ученаго, едва ли выигрываетъ отъ того, что онъ не зналъ писателей, извѣстныхъ всякому интересующемуся политико-экономическою литературою. Быть можетъ, сочиненія Родбертуса не заслуживаютъ репутаціи, выпавшей на ихъ долю; но невозможно относиться къ нимъ пренебрежительно, какъ это дѣлаетъ Энгельсъ. Послѣдній прибѣгаетъ къ страннымъ натяжкамъ для превознесенія заслугъ Маркса и для уничтоженія его соперниковъ; то онъ доказываетъ, что Марксъ открылъ Америку въ политической экономіи, то онъ напротивъ увѣряетъ, что его открытія сдѣланы были въ сущности еще Смитомъ и Рикардо и, слѣдовательно, не могли быть предвосхищены Родбертусомъ. „Если не только

вульгарные литераторы,—говоритъ Энгельсъ,—но и ученые профессора до того забыли свою классическую экономію, что серьезно упрекаютъ Маркса въ кражѣ у Родбертуса идей, высказанныхъ еще Смитомъ и Рикардо, то это показываетъ лишь, какъ низко упала оффиціальная экономическая наука". Энгельсъ отзывается насмѣшливо о „толпѣ почитателей Родбертуса, выростающихъ какъ грибы подъ теплымъ дождемъ государственнаго соціализма". Это замѣчаніе, въ болѣе общей формѣ, можно распространить и на поклонниковъ Маркса, готовыхъ принимать безъ критики всякое слово учителя. Нигдѣ научная школа не вырождается такъ легко въ узкое и нетерпимое сектантство, какъ въ области соціальныхъ и экономическихъ ученій; и ни одно направленіе не дѣйствуетъ такъ вредно на успѣхи знанія, какъ именно эта привычка преклоняться предъ извѣстной теоріею и передъ извѣстнымъ авторомъ, безъ самостоятельнаго критическаго къ нимъ отношенія.

Карлъ Марксъ занимаетъ свое опредѣленное мѣсто въ новѣйшей политической экономіи,—мѣсто, настолько значительное, что для него нѣтъ надобности вытѣснять или умалять другихъ дѣятелей, предшествовавшихъ ему или современныхъ. Труды Маркса относятся спеціально къ той сторонѣ экономической науки, которая имѣетъ ближайшее соприкосновеніе съ господствующимъ промышленнымъ строемъ хозяйственной жизни въ западной Европѣ. Вопросы о цѣнности и капиталѣ, о производствѣ и обращеніи товаровъ, объ образованіи прибавочной стоимости въ пользу капиталистовъ, о прибыли и рабочей платѣ, — исчерпываютъ собою политическую экономію Маркса, придавая ей значеніе односторонняго анализа крупной промышленности и торговли. Это скорѣе промышленная, чѣмъ политическая экономія; — обще-соціальнаго и политическаго въ ней очень мало. Марксъ всего менѣе можетъ быть признанъ реформаторомъ науки; напротивъ, онъ усиливается по возможности крѣпче втиснуть ее въ узкія рамки, установленныя Рикардо, придерживаясь его основныхъ теоретическихъ воззрѣній и его банкирскаго полу-математическаго метода. Обстоятельства, столь сильно содѣйствовавшія успѣху перваго тома „Капитала", существенно измѣнились съ конца шестидесятыхъ и съ начала семидесятыхъ годовъ. Посмертное изданіе дальнѣйшихъ изслѣдованій Маркса, предпринятое Энгельсомъ, можетъ теперь имѣть только спеціальный научно-литературный интересъ.

Въ одномъ мѣстѣ книги высказано мимоходомъ нѣсколько словъ о русскихъ хозяйственныхъ дѣлахъ. „Русскіе землевладѣльцы,—замѣчаетъ авторъ,—ведущіе хозяйство съ наемными рабочими вмѣсто прежнихъ крѣпостныхъ, вслѣдствіе такъ-называемаго освобожденія

крестьянъ, жалуются теперь на двѣ вещи,—во-первыхъ, на недостатокъ въ денежномъ капиталѣ. Прежде чѣмъ продаютъ жатву, необходимо платить рабочимъ въ большомъ количествѣ, а при этомъ недостаетъ главнаго—наличныхъ денегъ. Капиталъ въ формѣ денегъ долженъ постоянно существовать для уплаты рабочимъ, чтобы вести хозяйство на капиталистическихъ началахъ. Но землевладѣльцы могутъ утѣшиться: розы являются не вдругъ, и со временемъ промышленный капиталистъ располагаетъ не только своими собственными деньгами, но и чужими. Характеристичнѣе другая жалоба, а именно: когда имѣются даже деньги, нельзя все-таки купить рабочія силы въ достаточномъ объемѣ и въ нужное время, такъ какъ русскій крестьянинъ, вслѣдствіе общиннаго землевладѣнія, еще не вполнѣ оторванъ отъ своихъ средствъ производства и, слѣдовательно, не превратился еще въ свободнаго наемнаго рабочаго въ настоящемъ смыслѣ этого слова. А существованіе такого класса рабочихъ есть необходимое условіе для того, чтобы возможно было превращеніе денегъ въ товаръ, въ видѣ превращенія денежнаго капитала въ производительный капиталъ" (стр. 10). Никакихъ выводовъ изъ этого не сдѣлано, однако, и самая эта замѣтка кажется какъ будто отрывкомъ, случайно попавшимъ въ разсужденіе объ условіяхъ капиталистическаго производства. Въ другомъ мѣстѣ, говоря о путяхъ сообщеній, авторъ приводитъ цитату изъ сочиненія г. Чупрова о желѣзно-дорожномъ хозяйствѣ (стр. 29);—это единственная во всей книгѣ ссылка на русскую экономическую литературу. Впрочемъ, Марксъ вообще интересовался русскою литературою и, повидимому, слѣдилъ даже за нашею журналистикою: такъ, во второмъ изданіи „Капитала", вышедшемъ въ 1873 году, онъ съ похвалой отзывается о русскомъ переводчикѣ Милля, называя его „великимъ ученымъ" и однимъ изъ лучшихъ критиковъ буржуазной политической экономіи; вмѣстѣ съ тѣмъ, авторъ разбираетъ рецензію на его трудъ, помѣщенную въ „Вѣстникѣ Европы" за 1870 годъ, и признаетъ справедливость замѣчаній рецензента объ его своеобразномъ діалектическомъ методѣ. У насъ были и „марксисты", безусловные сторонники воззрѣній автора „Капитала"; но изъ нихъ теперь остался только одинъ, вполнѣ послѣдовательный и вѣрный представитель въ нашей экономической литературѣ, почтенный Н. И. Зиберъ, о которомъ сочувственно упоминаетъ Марксъ въ предисловіи ко второму изданію перваго тома своего капитальнаго труда.

Л. С—скій.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1-е сентября 1885.

— Учебникъ логики, съ подробными указаніями на исторію и современное состояніе этой науки въ Россіи и въ другихъ странахъ. Ординарнаго профессора Имп. Моск. университета, М. Троицкаго. Книга первая. Москва, 1885.

Профессоръ Троицкій пріобрѣлъ себѣ почетную извѣстность своимъ талантливымъ изслѣдованіемъ о „нѣмецкой психологіи въ текущемъ столѣтіи". Успѣхъ этого сочиненія выразился между прочимъ въ томъ фактѣ, что уже въ 1883 году понадобилось второе изданіе, а это бываетъ у насъ рѣдко съ книгами подобнаго характера и объема. Гораздо менѣе вниманія обратилъ на себя двухтомный трактатъ объ „общихъ свойствахъ и законахъ человѣческаго духа", подъ многообѣщающимъ заглавіемъ: „Наука о духѣ". Вопросы отвлеченной философіи не пользуются популярностью въ русскомъ обществѣ, и текущая литература обыкновенно проходитъ мимо новыхъ предпріятій въ этой области. Изъ философскихъ наукъ одна только логика разрабатывается у насъ съ успѣхомъ; кромѣ переводовъ Милля, Уэвелля, Джевонса и Бэна, у насъ существуютъ серьезные самостоятельные труды по этому предмету,—какъ напр. проф. Владиславлева, Струве, Николая Грота и др.

Составить руководство по логикѣ, которое вполнѣ соотвѣтствовало бы современному состоянію науки и въ то же время удовлетворяло бы требованіямъ большинства образованныхъ читателей—задача далеко не легкая въ настоящее время. Теперь нѣтъ уже возможности довольствоваться изложеніемъ и комментированіемъ правилъ, унаслѣдованныхъ отъ Аристотеля и его позднѣйшихъ истолкователей,—какъ это дѣлали прежніе авторы. Логика, бывшая долго схоластикою, все болѣе и сильнѣе подвергается вліянію естественныхъ наукъ; въ нее вторгаются такіе изслѣдователи, какъ Вундтъ, капитальный трудъ котораго ждетъ еще русскаго переводчика и издателя. Съ этой точки зрѣнія настоящій „учебникъ" профессора Троицкаго долженъ возбудить къ себѣ болѣе общій интересъ, чѣмъ его прежнія книги о психологіи и о „человѣческомъ духѣ". По плану автора, сочиненіе рас-

падается на три части—на логику дедукціи, логику индукціи и логику наукъ или спеціальную методологію. Вышедшая нынѣ первая книга заключаетъ въ себѣ логику дедукціи или такъ-называемую формальную логику, вмѣстѣ съ небольшимъ введеніемъ и съ вступительною „рѣчью“ объ основахъ логической очевидности. Нѣсколько страннымъ кажется включеніе въ учебникъ текста „рѣчи“, произнесенной на университетскомъ актѣ, съ обращеніемъ къ „милостивымъ государямъ“ и съ сохраненіемъ обычныхъ особенностей подобныхъ рѣчей; намъ кажется, что было бы цѣлесообразнѣе превратить эту рѣчь въ объективный очеркъ ученій о достовѣрности и вѣроятности, сообразно характеру остального содержанія книги. Положенія автора повсюду снабжены подробными указаніями на литературу, какъ иностранную, такъ и русскую; имена нашихъ малоизвѣстныхъ писателей по логикѣ, каковы: Лодій, Пащенко, Гошкевичъ, Михневичъ, Райковскій, Ивашковскій, Рождественскій, Новицкій, Свѣтилинъ и Карповъ, постоянно фигурируютъ рядомъ съ именами европейскихъ мыслителей, что несомнѣнно должно льстить нашему національному самолюбію. Обстоятельныя литературныя указанія дѣлаютъ книгу проф. Троицкаго весьма полезною не для однихъ учащихся. Изложеніе автора отличается сжатостью и точностью — достоинствами довольно рѣдкими въ философскихъ трактатахъ. Авторъ самъ заявляетъ въ предисловіи, что въ обработкѣ отдѣльныхъ частей логики онъ преслѣдовалъ преимущественно двѣ цѣли: „во-первыхъ, передать съ возможною ясностью одну сущность логическихъ ученій, избѣгая всего излишняго и ненужнаго, и во-вторыхъ, сообщить своему изложенію основательность и точность, вмѣстѣ съ качествомъ педагогическимъ—нечувствительнаго перехода отъ однихъ теорій къ другимъ“. Обѣ эти цѣли, повидимому, достигнуты авторомъ въ первой части его учебника. Во всякомъ случаѣ, трудъ проф. Троицкаго займетъ видное мѣсто въ нашей ученой литературѣ вообще и среди русскихъ сочиненій по логикѣ въ особенности.

— **Международная хлѣбная торговля. П. И. Георгіевскаго, привать-доцента Имп. С.-Петербургскаго университета. Выпускъ первый. Страны ввоза (Великобританія, Франція и Германія). Спб., 1885.**

Сочиненіе г. Георгіевскаго можетъ служить образчикомъ безплодной траты времени и силъ въ такъ-называемыхъ ученыхъ работахъ, предпринимаемыхъ спеціально для доказательства пригодности авторовъ къ профессорской карьерѣ. „Международная хлѣбная торговля“ есть только заглавіе, не имѣющее прямого отношенія къ дѣйствительному содержанію книги; гораздо вѣрнѣе было бы назвать эту книгу „учеными опытами о разныхъ вещахъ, по поводу торговли

хлѣбомъ". Чтобы доказать разнообразіе и богатство своихъ свѣденій, авторъ притягиваетъ къ своей тэмѣ какъ можно больше предметовъ, по каждому изъ нихъ собираетъ матеріалы изъ чужихъ сочиненій, излагаетъ пространно и глубокомысленно самыя элементарныя истины, приводитъ цитаты изъ множества книгъ и наконецъ оставляетъ читателя въ совершенномъ недоумѣніи относительно цѣли и смысла всего предпринятаго труда.

Г. Георгіевскій прежде всего разсматриваетъ важный вопросъ о „благодѣтельномъ вліяніи общественности въ развитіи человѣка". „Человѣкъ,—объясняетъ онъ,—уже съ самаго момента появленія на свѣтъ Божій необходимо нуждается въ поддержкѣ другихъ лицъ,— ими обыкновенно оказываются его кровные,—такъ какъ, будь онъ предоставленъ самому себѣ, онъ неминуемо погибъ бы подъ давленіемъ физической зависимости, въ виду громаднаго несоотвѣтствія силъ для борьбы и потребностей организма. Въ болѣе мягкой формѣ, но подобное же вліяніе оказываетъ физическая зависимость и на взрослаго человѣка: подъ давленіемъ ея, безъ помощи себѣ подобныхъ, внѣ общества, способность человѣка, отличающая его такъ рѣзко отъ прочей физической природы—способность къ сравнительно быстрому развитію — доводится почти до нуля и человѣкъ уподобляется прочимъ безсловеснымъ животнымъ (?). Въ первомъ случаѣ прекращается даже ростъ физическій, въ послѣднемъ—развитіе духовное". Объяснивъ эту особенность природы человѣка, авторъ переходитъ къ раздѣленію труда и къ оцѣнкѣ значенія хлѣбной торговли вообще. Оказывается, что „съ демологической (!) точки зрѣнія важность хлѣбной торговли заключается въ отдаленіи, или даже, пожалуй (?), можно сказать, въ устраненіи предѣла для физическаго, а потому и основаннаго на немъ экономическаго и духовнаго роста человѣческихъ обществъ". Конечно, „устраненіе предѣла" составляетъ открытіе, принадлежащее лично г. Георгіевскому и не подкрѣпляемое никакими цитатами. Такъ какъ начинающему ученому не подобаетъ заниматься изученіемъ низменной дѣйствительности, то и нашъ авторъ при выборѣ своей тэмы руководился разными „общими основаніями" — „глубокимъ интересомъ съ точки зрѣнія чисто-экономической" и т. п.; но къ этимъ „общимъ основаніямъ" все-таки скромно „присоединилось еще соображеніе, что вопросъ о хлѣбной торговлѣ представляетъ насущный интересъ для нашего отечества, особенно въ виду сильной конкурренціи, которую приходится выдерживать Россіи со стороны Соединенныхъ Штатовъ и другихъ странъ, пріобрѣтающихъ въ международной хлѣбной торговлѣ постепенно все большее значеніе и оттѣсняющихъ Россію съ главныхъ европейскихъ рынковъ". Нужно отдать справедливость автору, что это послѣднее соображеніе остается безъ всякаго вліянія

на дальнѣйшій ходъ его „изслѣдованія“. Послѣ нѣкоторыхъ замѣчаній о внутреннемъ производствѣ хлѣба въ Англіи, Германіи и Франціи, г. Георгіевскій приступаетъ къ „вопросу“ о путяхъ сообщенія и объ историческомъ ихъ развитіи, отъ древнихъ временъ до введенія желѣзныхъ дорогъ. Эта экскурсія дѣлается на томъ основаніи, что пути сообщенія необходимы для торговли вообще и для хлѣбной торговли въ частности. Третья глава посвящена исторіи хлѣбныхъ законовъ въ трехъ названныхъ выше государствахъ; въ результатѣ получается утѣшительный выводъ, что „вопросы (?) экономической жизни постепенно перерастаютъ политическія границы и, сплачивая въ силу солидарности интересовъ различныя страны и народы, вызывая все большее и большее сближеніе въ законахъ и обычаяхъ послѣднихъ, необходимо ведутъ къ упроченію мира, къ большему единенію отдѣльныхъ народовъ“. Затѣмъ слѣдуетъ разсужденіе о цѣнахъ на хлѣбъ и о вліяніи правительственныхъ мѣръ прежняго времени; наконецъ, только въ послѣднихъ двухъ главахъ говорится дѣйствительно о „международной хлѣбной торговлѣ“ и о настоящемъ положеніи ея въ западной Европѣ.

Говоря о введеніи хлѣбныхъ пошлинъ въ Германіи, авторъ далеко не воспользовался богатою нѣмецкой литературою по этому предмету и даже оставилъ въ сторонѣ такой существенный матеріалъ, какъ отчеты о парламентскихъ преніяхъ; поэтому онъ приходитъ къ выводу одностороннему и отчасти несправедливому относительно князя Бисмарка, оставляя безъ разъясненія вопросъ о мотивахъ и основаніяхъ его покровительственной системы. Статистическія свѣденія о хлѣбной торговлѣ Англіи, Германіи и Франціи, собранныя авторомъ въ заключительной главѣ, дополняются подробными таблицами, приложенными къ концу книги; но при всемъ обиліи этихъ данныхъ, онѣ остаются сырымъ балластомъ, свидѣтельствующимъ лишь объ усердномъ трудолюбіи г. Георгіевскаго. Будучи сторонникомъ неограниченной свободы въ международной хлѣбной торговлѣ, авторъ не замѣчаетъ такихъ симптомовъ, какъ возбужденіе вопроса о ввозныхъ пошлинахъ во Франціи и въ другихъ странахъ; ему кажется, что настало царство свободнаго обмѣна продуктовъ на всемірномъ общечеловѣческомъ рынкѣ, причемъ каждая страна будетъ все болѣе удовлетворять свою потребность въ хлѣбѣ заграничнымъ ввозомъ. Что будутъ эти страны дѣлать съ своими собственными землями и почему нуженъ ввозъ, когда внутреннее производство вполнѣ достаточно для потребностей населенія, — это забылъ авторъ пояснить въ своей книгѣ. Повидимому, авторъ полагаетъ, что, напримѣръ, Англія не могла бы существовать безъ иностраннаго хлѣба; онъ упустилъ изъ виду, что значительная часть англійской территоріи вовсе не обрабатывается земледѣльцами и занята аристократи-

ческими парками, обширными пастбищами и лѣсами, чего не было бы, конечно, при отсутствіи привознаго хлѣба. Извѣстно, что, въ случаѣ надобности, англійская территорія могла бы прокормить населеніе гораздо болѣе многочисленное, чѣмъ нынѣшнее; — для этого требовалось бы только нѣчто въ родѣ „націонализаціи земли“. Оригинальная мысль автора, что свободный ввозъ хлѣба устраняетъ зависимость человѣка отъ физической природы, можетъ быть объяснена только недоразумѣніемъ: хлѣбъ нигдѣ не родится самъ собою въ благодатномъ изобиліи, и никому не достается онъ даромъ; для покупки иностраннаго хлѣба нужны также средства, и несчастна была бы та страна, гдѣ большинство населенія должно было бы покупать пищу за границею,—безденежье народа равносильно было бы голоду. Подъ вліяніемъ своихъ „ученыхъ“ блужданій, г. Георгіевскій доходитъ до полнаго забвенія дѣйствительности и до фантазій, совершенно нелѣпыхъ. Онъ видитъ фактъ несуществующій, — что „солидарность интересовъ, являющаяся цементомъ человѣческаго единенія, переросла политическія границы и связываетъ въ одно цѣлое всѣ страны, всѣ народы (!?)“; онъ думаетъ, что „голодъ и всѣ связанныя съ нимъ бѣдствія, о которыхъ свидѣтельствуетъ исторія въ такихъ яркихъ краскахъ, можно надѣяться, не повторятся больше“, ибо „участіе въ международномъ обмѣнѣ странъ различныхъ частей свѣта обоихъ полушарій дѣлаетъ возможнымъ вполнѣ покрывать недочеты во внутреннемъ урожаѣ однихъ странъ избыткомъ производства другихъ“. Значитъ, по мнѣнію автора, самарскій голодъ произошелъ отъ того, что на мѣстныхъ рынкахъ не было хлѣба и что недочетъ не былъ пополненъ подвозомъ изъ другихъ губерній или изъ-за границы? Запасы хлѣба были достаточны въ Россіи, удобные пути сообщенія тоже существовали, и однако самарскіе крестьяне голодали по одной ничтожной причинѣ: у нихъ не было денегъ для пользованія благами хлѣбной торговли. Смѣшно вспомнить, что книга г. Георгіевскаго представляетъ собою ученую диссертацію по политической экономіи. Автору какъ будто неизвѣстно, что вывозъ хлѣба за границу можетъ идти рядомъ съ голоданіемъ туземнаго населенія; онъ всѣ надежды возлагаетъ на свободный ввозъ, забывая о средствахъ покупки ввозимыхъ продуктовъ. „Такимъ образомъ, — заключаетъ онъ,—хлѣбная торговля пріобрѣтаетъ господствующее значеніе, отъ нея зависитъ ростъ населенія, ею обусловливается и все дальнѣйшее развитіе страны, по скольку оно стоитъ въ зависимости отъ удовлетворенія первой потребности человѣка и связаннаго съ этимъ размноженія населенія. Какъ видимъ (!), господство внѣшней природы надъ человѣкомъ оказывается сломленнымъ (?!), благодаря общественности; мѣсто устраненной физической зависимости занимаетъ зависимость общественная, отличающаяся своимъ взаимнымъ

характеромъ: тогда какъ при господствѣ внѣшней природы зависимость представляется односторонней, здѣсь каждый зависитъ отъ всѣхъ и всѣ отъ каждаго" (стр. 294). И для такого рода выводовъ пишется книга въ двадцать печатныхъ листовъ! Мы не встрѣчали еще подобнаго поразительнаго легкомыслія въ сочиненіи, претендующемъ на научность.

— Труды коммиссіи при Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ. Спб., 1885.

Въ этомъ томѣ „Трудовъ" содержатся любопытные фактическіе матеріалы по важному вопросу, около котораго г. Георгіевскій предпринялъ свои напрасныя упражненія въ разобранной выше книгѣ. Въ концѣ прошлаго года, въ Имп. Вольномъ Экономическомъ обществѣ возбужденъ былъ барономъ П. Л. Корфомъ вопросъ о причинахъ застоя нашей хлѣбной торговли и о средствахъ къ возстановленію сбыта русскаго хлѣба за границу. Баронъ Корфъ взглянулъ на дѣло съ слишкомъ широкой точки зрѣнія; онъ полагалъ, что „нашему времени суждено быть свидѣтелемъ великаго переворота въ экономической жизни не только Россіи, не только Европы, но, можно сказать, всего человѣчества; мечта гуманистовъ, мечта нѣкоторыхъ философовъ и соціологовъ о благоденствіи рода человѣческаго, о томъ, чтобы каждый человѣкъ имѣлъ если не супъ съ курицей, то, по крайней мѣрѣ, кусокъ хлѣба, т.-е. былъ обезпеченъ въ первыхъ потребностяхъ жизни, готова осуществиться или, по крайней мѣрѣ, осуществленіе ея показывается на горизонтѣ:—намъ суждено быть свидѣтелями постепеннаго пониженія цѣнъ на предметъ самой первой потребности человѣчества, на зерновой хлѣбъ". При этомъ предполагается, что каждый человѣкъ изъ неимущаго класса имѣетъ настолько средствъ, что можетъ всегда покупать дешевую пищу. „И можетъ случиться,—продолжалъ докладчикъ,—что въ исторіи человѣчества черезъ 200—300 лѣтъ, говоря объ интересныхъ временахъ нашего вѣка, когда появился дешевый хлѣбъ, въ числѣ странъ, которыя затерты были международною экономическою борьбою и обратились въ пустыню, назовутъ и нашу страну. Конечно, съ точки зрѣнія всемірной исторіи паденіе одной страны уравновѣшивается возвышеніемъ другой, но мнѣ не хотѣлось бы быть въ той странѣ, которая подлежитъ паденію". Мрачный взглядъ барона Корфа вызвалъ возраженія практиковъ, представившихъ дѣло въ совершенно другомъ свѣтѣ. „Дѣйствительно,—замѣтилъ извѣстный спеціалистъ по сельскому хозяйству, А. С. Ермоловъ,—Россія вывозила громадное количество пшеницы, но что такое былъ этотъ вывозъ? Дѣйствительно ли былъ это избытокъ, который мы отправляли за границу? Нѣтъ, русскій земледѣлецъ, хотя

и производилъ пшеницу, но не ѣлъ ея, такъ что вывозъ пшеницы изъ Россіи вовсе не можетъ служить доказательствомъ благопріятнаго положенія русскаго земледѣльческаго населенія и русской сельско-хозяйственной жизни". Упадокъ спроса на русскій хлѣбъ имѣетъ за собою нѣкоторыя мелкія причины, вполнѣ достойныя общаго вниманія. „Теперь наше положеніе дурно,—говоритъ г. Ермоловъ,—потому что иностранный рынокъ не беретъ нашей пшеницы. А почему онъ не беретъ ея? Потому что мы не производимъ ее такъ, какъ онъ желаетъ. Лѣтъ двадцать тому назадъ наша пшеница дѣйствительно была лучшею на европейскомъ рынкѣ, но въ настоящее время она мѣсто это утратила и утратила потому, что мы тѣми формами хозяйства, которыя мы въ послѣднее время создали, лишили себя производства хорошаго хлѣба... Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ этого является ухудшеніе нашего хлѣба. Но, производя такой хлѣбъ, развѣ обращаютъ вниманіе на то, чтобы сортировать его?.. Поэтому за границею не считаютъ возможнымъ пустить русскій хлѣбъ на рынокъ безъ сортировки; даже тотъ хлѣбъ, который вывозится отъ насъ подъ именемъ сортировочнаго, тамъ считается несортировочнымъ и подвергается новой и тщательной сортировкѣ. Между тѣмъ, Америка и Австрія сортировкѣ научены и поставляютъ хлѣбъ въ томъ именно видѣ, какъ его требуютъ... Не далѣе какъ нынѣшнимъ лѣтомъ мнѣ пришлось въ Гамбургѣ говорить съ покупщиками спирта, и на вопросъ, почему они не соглашаются покупать нашъ спиртъ въ очищенномъ видѣ, я услышалъ такой отвѣтъ, что Россія до сихъ поръ не установила еще прочныхъ качествъ своего товара и не достигла однообразія въ немъ; поэтому, дѣлая запасъ, напримѣръ, на тысячу бочекъ, они рискуютъ, не смотря на образцы, получить 500 бочекъ условленнаго качества, а 500 бочекъ другого сорта, вслѣдствіе чего они вынуждены русскій спиртъ перерабатывать на своихъ заводахъ для того, чтобы пустить его въ дальнѣйшее обращеніе. Все это даетъ право сказать, что если Россія рискуетъ потерять свое прежнее мѣсто на европейскомъ хлѣбномъ рынкѣ, то въ этомъ она сама въ значительной мѣрѣ виновата, и если мы не примемъ мѣръ къ улучшенію отпускаемаго за границу хлѣба, то мы рынокъ этотъ для себя закроемъ". Вопросъ о нашей хлѣбной торговлѣ былъ, такимъ образомъ, поставленъ на реальную почву, и кризисъ оказался далеко не столь роковымъ и ужаснымъ, какъ склонны были думать пессимисты. Коммиссія, избранная изъ среды наиболѣе компетентныхъ членовъ общества, дѣятельно занялась обсужденіемъ дѣла съ различныхъ точекъ зрѣнія, и поучительные результаты этихъ занятій изложены въ объемистомъ томѣ, снабженномъ въ концѣ статистическими таблицами и „графическимъ изображеніемъ возрастающаго вывоза изъ Россіи и изъ странъ, съ нею конкуррирующихъ". Особенно интересны доклады гг. Ковалевскаго, Ермолова,

Воейкова (о производствѣ хлѣба въ Индіи), Совѣтова, Беретти, Джурича, Карасевича и Подобы.

— Матеріалы къ медицинской географіи и статистикѣ Россіи. Томъ I. Сифилисъ въ Россіи. Часть I: Сифилисъ селъ и большихъ городовъ. Г. М. Герценштейна. Съ двумя хромолитографированными картами, 4-мя діаграммами и одной графической таблицею. Спб., 1885.

Обширное изслѣдованіе д-ра Герценштейна рисуетъ яркими чертами грустную картину физическаго вырожденія русскаго народа подъ вліяніемъ заразительныхъ болѣзней, въ числѣ которыхъ главное мѣсто принадлежитъ сифилису. „При современныхъ общественно-бытовыхъ условіяхъ нашего народа,—говоритъ авторъ,—сифилисъ—стихійная сила и, какъ таковая, она губитъ на своемъ пути все встрѣчное, часто не щадя и тѣхъ, которые предпринимаютъ личныя мѣры самосохраненія. Какую гарантію могутъ представлять послѣднія, когда неизвѣстно, гдѣ вездѣсущій врагъ, когда мы не можемъ предусмотрѣть всѣ случайности зараженія имъ: осненная лимфа, привитая ребенку, игрушка, пріобрѣтенная въ лавкѣ, ласки наемной прислуги, ея уходъ за ребенкомъ, обѣдъ въ ресторанѣ, мытье въ банѣ, бритье въ парикмахерской и тысячи другихъ повседневныхъ житейскихъ явленій служатъ путями, по которымъ даже въ Петербургѣ, среди интеллигентныхъ классовъ общества, сифилисъ проникаетъ въ наши семьи и поражаетъ нашихъ близкихъ“. Примѣры легкости, съ какою передается болѣзнь, могутъ смутить самаго осторожнаго читателя. „Домашняя прислуга, попадая въ какой либо домъ, часто вызываетъ типичную домовую эпидемію сифилиса. Горничная, находившаяся въ одномъ семействѣ, заразила грудного ребенка своихъ хозяевъ, прикармливая его изъ своего рта; ребенокъ заразилъ мать; старшій сынъ и младшая дочь заразились, по всей вѣроятности, отъ матери или горничной“ и т. д. (стр. 456 и др.). Зараза сообщается оспопрививаніемъ, охватываетъ цѣлыя губерніи, переходитъ по наслѣдству и непрерывно дѣйствуетъ во тьмѣ, благодаря обычному стремленію скрывать признаки неприличной болѣзни. Отсюда видно, на сколько настоятельна потребность въ широкихъ и обдуманныхъ мѣрахъ борьбы противъ этого все болѣе возрастающаго зла Авторъ собралъ и разразработалъ громадное количество свѣденій о мѣрѣ господства заразы въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи и о главныхъ факторахъ ея распространенія. „Разборъ всѣхъ причинъ и условій, содѣйствующихъ распространенію заразы,—заключаетъ авторъ въ концѣ книги,—показалъ намъ, что сифилисъ—бытовая болѣзнь русскаго народа, тѣсно связанная съ его культурнымъ уровнемъ. Болѣе того, подробное изученіе санитарнаго состоянія русскаго народа приводитъ къ заклю-

ченію, что вопросъ о сифилисѣ не можетъ быть выдѣленъ особо, а является въ строгой и тѣсной связи съ общей картиною болѣзненности его (русскаго народа), и поэтому борьба съ однимъ неразрывно предполагаетъ и борьбу со всѣми остальными санитарными бѣдствіями". Безъ сомнѣнія, трудъ г. Герценштейна долженъ обратить на себя вниманіе земскихъ и общественныхъ дѣятелей, интересующихся вопросами народнаго здоровья и благосостоянія.—Л.—

— Закавказскіе сектанты въ ихъ семейномъ и религіозномъ быту. Николая Дингельштедтъ(а). Спб. 1885.

Въ нашей литературѣ послѣдняго времени замѣчается одно явленіе, прежде мало или совсѣмъ не встрѣчавшееся—смѣшеніе разныхъ родовъ литературы въ одномъ произведеніи, напр., соединеніе исторіи, публицистики, этнографіи и т. п. съ одной стороны и беллетристики съ другой. Критика начинаетъ обращать на это вниманіе и высказываться противъ такого смѣшенія, гдѣ всего чаще обѣ стороны литературнаго произведенія страдаютъ отъ неудобнаго сосѣдства: исторія становится плохой исторіей отъ сосѣдства беллетристическихъ украшеній, или беллетристика связана сосѣдствомъ хронологіи (не допускающей вмѣшательства „творчества") и т. п. Самый крупный примѣръ подобнаго смѣшенія представляютъ послѣднія сочиненія Глѣба Успенскаго, который давно уже дѣлаетъ свои очерки поприщемъ для публицистическихъ разсужденій и цѣлыхъ теорій народной бытовой нравственности, какъ во „Власти земли". Это послѣднее соединеніе—публицистики и беллетристической этнографіи—мы сочли бы наиболѣе естественнымъ и извинительнымъ по самой сущности дѣла. Современная народная жизнь находится теперь въ такомъ смутномъ переходѣ отъ быта, несомнѣнно нарушеннаго и даже разрушеннаго, къ другому быту, который только-что складывается теперь подъ новыми условіями и чѣмъ будетъ — покрыто мракомъ неизвѣстности, что беллетристу-наблюдателю естественно отвлечься отъ наблюдаемой картины къ ея соціальному и даже національному смыслу. Мы не имѣли бы ровно ничего противъ „Власти земли" по ея литературной манерѣ, хотя имѣли бы многое противъ собственно публицистической мысли этого произведенія.

Но въ другихъ случаяхъ, гдѣ подобное смѣшеніе не оправдывается ни существомъ дѣла, ни выдающимся талантомъ писателя, гораздо полезнѣе было бы, еслибы господа писатели опредѣляли себѣ точнѣе, что, собственно говоря, они желаютъ сдѣлать: желаютъ ли заняться этнографіей или беллетристикой, хотятъ ли дать серьёзную книгу или нѣчто для увеселенія читателя. Вслѣдствіе этой неясности литературныхъ цѣлей, литература въ послѣднее время наводнена книгами

очень страннаго свойства и — сомнительнаго достоинства: романами, путешествіями, этнографическими очерками, даже путеводителями и т. д., гдѣ и романъ, и путешествіе, и этнографія, и простыя справочныя свѣденія перепутаны и перепорчены фельетонной болтовней, которая полагается необходимой для „легкости“ произведенія.

На такія мысли наводитъ, къ сожалѣнію, и книга г. Дингельштедта. Въ предисловіи мы читаемъ: „Извѣстный знатокъ русскаго раскола, Мельниковъ, говоритъ, что нужно изучать расколъ въ живыхъ проявленіяхъ, преданіяхъ, повѣрьяхъ; нужно изучать обычаи раскольниковъ, узнать воззрѣнія разныхъ раскольничьихъ толковъ на міръ духовный и житейскій, на внутреннее устройство ихъ общинъ. Нужно, говоритъ онъ, стать лицомъ къ лицу съ расколомъ, и тогда анализъ возможенъ (Письма о расколѣ, 1—15)“. Вслѣдствіе этого, авторъ въ своей книгѣ представляетъ „рядъ картинъ, списанныхъ съ натуры“; по этимъ картинамъ авторъ предлагаетъ читателю ознакомиться съ ученіемъ и бытомъ „нѣкоторыхъ сектъ на Кавказѣ“, причемъ наибольшее мѣсто отведено „ученію прыгуновъ, менѣе другихъ извѣстному и возникшему на кавказской почвѣ“.

Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ изображеніемъ раскола въ его „живыхъ проявленіяхъ“—съ предметомъ, давно привлекающимъ усиленное вниманіе нашихъ изслѣдователей народнаго быта и религіозности. Первое условіе подобныхъ изслѣдованій есть точность; но книга г. Дингельштедта написана въ такомъ родѣ, что именно этого въ ней и не имѣется — авторъ заботился не столько о точности, сколько о беллетристической занимательности своего произведенія. Судя по предисловію, читатель ожидаетъ встрѣтить въ книгѣ указаніе на существующія на Кавказѣ секты,—но въ сущности не находитъ; рѣчь идетъ въ сущности только о молоканахъ, и ихъ вѣтви—прыгунахъ, да и эти свѣденія далеко не отличаются точностью.

Первыя три главы книги озаглавлены такъ: 1) „Первые прыгуны въ Закавказьѣ“; 2) „Откуда взялись прыгуны“; 3) „Откуда взялось прыганье“ (?); — т.-е., другими словами, каждая изъ трехъ главъ должна говорить объ одномъ и томъ же, т.-е. о началѣ прыгунской секты. Въ первой и въ третьей главѣ кое-что и сказано объ этомъ; во второй главѣ не сказано совсѣмъ ничего о томъ, „откуда взялись прыгуны“, а разсказывается только о разныхъ ихъ обрядахъ и суевѣріяхъ. О самомъ началѣ секты разсказывается весьма неясно, и въ разныхъ главахъ—различно. Начать съ того, что секту прыгуновъ авторъ считаетъ „возникшей на Кавказѣ“ лѣтъ тридцать тому назадъ, —но это, видимо, та же секта, которая существовала давнымъ-давно, подъ названіемъ хлыстовъ, скакуновъ, и хлысты именно въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ молоканами. Очень вѣроятнымъ представляется,

что секта „прыгуновъ“ вовсе не „возникала на Кавказѣ“, а была принесена готовою изъ Россіи.

О началѣ ея на Кавказѣ авторъ разсказываетъ—въ первой главѣ—такъ. „Лѣтъ 30—35 назадъ (т.-е. въ началѣ 1850-хъ годовъ) во многихъ селеніяхъ средней Россіи стало быстро распространяться такъ называемое молоканское ученіе. Полиція и духовенство встревожились. „Замолоканившіе“ крестьяне упорствовали, и скоро власти свѣтскія и духовныя окончательно убѣдились, что отщепенцы все болѣе и болѣе укрѣпляются въ лжеученіи и съ пути сего сойти не желаютъ“. Въ результатѣ сектанты были сосланы на Кавказъ, гдѣ и поселены были въ эриванской губерніи, „на возвышенной плоскости (близъ?) Гокчайскаго озера“. Здѣсь изъ молоканскихъ собраній выдѣлились наиболѣе усердные молельщики, которые скоро дошли до прямого общенія съ „духомъ“; осѣненные этимъ духомъ начинали дрожать, кривляться, наконецъ, прыгать, и полиція донесла высшему начальству о появленіи новаго вреднаго толка, названнаго прыгунствомъ. „Это случилось въ 1852 году“, отмѣчаетъ авторъ (стр. 6), т.-е.—тотчасъ послѣ поселенія молоканъ на Кавказѣ. И что секта возникла въ первый разъ не на Кавказѣ, на это указываютъ разсказы сектантовъ,— приводимые самимъ авторомъ (стр. 23),— что секта началась еще въ Россіи.

Далѣе, въ главѣ второй о первыхъ проявленіяхъ секты на Кавказѣ не говорится ничего; въ третьей главѣ читаемъ: „Въ январѣ 1853 года пошли предварительные (?) слухи о появленіи въ сел. Никитиномъ и Воскресенскомъ новой секты прыгуновъ. Почти одновременно стало извѣстно, что во всѣхъ другихъ молоканскихъ селеніяхъ есть послѣдователи той же секты. Новая секта, повидимому, быстро преуспѣвала, потому что не успѣли пройти эти слухи, какъ, по дознанію полиціи, оказалось, что въ Никитинѣ почти всѣ, а въ Воскресенскѣ одна половина жителей принадлежитъ къ новой сектѣ“. По хронологіи автора, это выходитъ очень скоро послѣ прибытія сектантовъ на Кавказъ, и быть можетъ, „новая секта“ была новой только для полиціи...

Книга, почти въ 300 страницъ, не можетъ, конечно, не представлять интересныхъ подробностей и матеріаловъ, но она могла бы больше служить для научныхъ цѣлей, еслибы авторъ яснѣе опредѣлилъ свою программу и проще выполнилъ ее. Желаніе быть легкимъ, занимательнымъ (даже остроумнымъ), къ сожалѣнію, помѣшало автору сдѣлать это, и въ результатѣ вышло весьма путаное изложеніе и множество повтореній. Авторъ нѣсколько разъ принимается описывать процессъ прыганья, разсказываетъ подробно сцены не только такія, которыхъ, по его словамъ, были свидѣтелемъ (разговоры передаются иногда такъ, какъ будто были записаны стенографомъ), но и такія,

которыя онъ едва ли видалъ и которыя очевидно прибавлены для беллетристической живописности. Видѣлъ ли, напр., авторъ сцену, описываемую на стр. 20, или на 140—152 или на стр. 193 и далѣе? Если не видѣлъ, то онъ дѣлаетъ непростительную вещь, выдавая за изслѣдованіе раскола свои беллетристическія упражненія.

Или, напримѣръ, для того, чтобы сказать, что сектантскій наставникъ поѣхалъ поучать свою паству, авторъ пишетъ слѣдующее:

„Стоялъ на дворѣ октябрь. Осенній холодный вѣтеръ гналъ низко надъ землею темно-сѣрыя, почти черныя, тучи. Земля была еще совсѣмъ сухая, насквозь промерзлая, словно окоченѣлая, но казалось, что вотъ-вотъ разразится или дождь, или снѣжная мятель. Всегда синія волны прилегающаго къ Александровкѣ залива Гокчи потемнѣли еще болѣе. Волны съ ропотомъ налетали на песчаную отмель (и т. д).

„Въ такую погоду Телѣгинъ, не торопясь, шагомъ ѣхалъ по узкой дорогѣ, вытянувшейся вдоль по берегу Гокчи“ и т. д. (стр. 193—194).

Неужели авторъ думаетъ, что это есть изслѣдованіе о расколѣ по методѣ Мельникова?

Хотя мы, собственно говоря, вовсе не считаемъ Мельникова особенно авторитетнымъ писателемъ,—но все-таки замѣтимъ автору, что Мельниковъ не сталъ бы писать такихъ вещей. Мельниковъ писалъ о расколѣ двояко: или—чисто фактическія изложенія того, что онъ зналъ о расколѣ, его исторіи, ученіяхъ и бытѣ; или—повѣсти изъ раскольничьяго быта. И тамъ, и здѣсь читатель впередъ зналъ, съ чѣмъ имѣетъ дѣло — съ фактомъ ли, или съ беллетристической фантазіей автора, хотя бы пріуроченной къ фактамъ. Его фантазіи имѣли цѣну какъ художественные (нерѣдко весьма удачные) опыты, или какъ средство для популярнаго ознакомленія съ расколомъ читателей, неспособныхъ одолѣть серьезную книгу. Но двухъ родовъ своей работы Мельниковъ все-таки не смѣшивалъ; его фактическія изслѣдованія были заслугой для науки, но послѣдней вовсе не служатъ его беллетристическія произведенія... Къ чему предназначалъ свою работу г. Дингельштедтъ? Для беллетристики,—тогда требуется, въ какой бы то ни было мѣрѣ, художественная тэма, характеры, типы, цѣльно выясненные, чего здѣсь не имѣется; для научной цѣли—тогда совершенно не нужны и даже надоѣдливо мѣшаютъ беллетристическія замашки, описанія природы, сцены, разговоры и т. п.

Трудъ автора выигралъ бы втрое, если бы былъ втрое короче и, вмѣсто длинныхъ и повторяющихся описаній сценъ сектантскаго быта, заключался въ простомъ изложеніи фактовъ, между прочимъ, и такихъ, о которыхъ теперь онъ совсѣмъ не подумалъ. Именно: нужно было бы—во-первыхъ, точное, не-беллетристическое, указаніе вре-

мени и обстоятельствъ перваго поселенія сектантовъ на Кавказѣ; во-вторыхъ, точное указаніе мѣстности, ими занятой, и перечисленіе селъ и деревень, и ихъ населенія; въ-третьихъ, по возможности точное, безъ беллетристическихъ прикрасъ, указаніе разныхъ оттѣнковъ сектъ (теперь авторъ упоминаетъ объ этомъ вскользь и неопредѣленно; но очевидно, что есть оттѣнки весьма различные и характерные, какъ молокане, хлысты, общіе, субботники); въ-четвертыхъ, историческія указанія о событіяхъ во внутренней жизни секты, главныхъ расколоучителяхъ и т. п.; въ-пятыхъ, точное, опять безъ всякихъ прикрасъ, описаніе обрядовъ и обычаевъ, тексты пѣсенъ, отрывки изъ сектантскихъ писаній и т. д.

Объ этомъ послѣднемъ авторъ выражается такъ, въ предисловіи: „Имѣя въ рукахъ много рукописныхъ сектантскихъ сочиненій, я не считалъ удобнымъ ни печатать ихъ цѣликомъ, ни дѣлать изъ нихъ значительныхъ выписокъ, такъ какъ всѣ эти сочиненія, во-первыхъ, достаточно скучны (!), громоздки и безсодержательны, а во-вторыхъ, наполнены подчасъ такими дикими мыслями и разсужденіями, которыя едва ли подлежатъ серьезному анализу (!). Я предпочелъ описать все, лично мною видѣнное и слышанное, избѣгая всякой полемики съ сектантами (!)“.—Неужели, въ самомъ дѣлѣ авторъ полагалъ, что кто-нибудь потребуетъ отъ него „анализа“ и полемики съ сектантами? Далѣе, „печатать цѣликомъ“ также нѣтъ никакой надобности,—но перечислить хотя главныя изъ этихъ многихъ сочиненій, и сдѣлать изъ нихъ (разумѣется, наиболѣе характерныя) выписки (выписываетъ же авторъ сектантскія стихотворенія) было необходимо, во всякомъ случаѣ необходимѣе, чѣмъ описаніе поѣздки Телѣгина мимо озера Гокчи, или чѣмъ описаніе Леонтьевны (стр. 233 и д.). Сообщеніе свѣденій о писаніяхъ кавказскихъ сектантовъ было бы важно какъ для ихъ собственной характеристики, такъ и для сличенія съ писаніями другихъ сектантовъ, что помогло бы объяснить происхожденіе и свойство самыхъ сектъ и т. д. Отъ автора никто бы не потребовалъ, чтобы онъ опровергалъ ихъ,—въ этомъ нѣтъ ни малѣйшей надобности,—но дать о нихъ понятіе слѣдовало, какъ о патологическомъ фактѣ народной религіозной жизни. Они могутъ быть очень скучны—для того, кто хотѣлъ бы сдѣлать изъ нихъ занимательный фельетонъ, — какъ чрезвычайно скучны статистическія цифры тому, кому онѣ не нужны; но указанія о нихъ могутъ быть очень важны тому, кому они потребовались бы для упомянутыхъ сличеній. Раскольничья литература вообще богата подобными скучными вещами, но есть люди, которые считаютъ очень важнымъ научнымъ дѣломъ собрать и описать ее.

Повторяемъ, еслибы авторъ иначе и правильнѣе взглянулъ на

свою задачу въ описаніи закавказскихъ сектантовъ, его книга, безъ беллетристическаго балласта, могла бы выйти гораздо меньше, но была бы несравненно цѣннѣе.

— Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго. (Сборникъ критикъ). Часть вторая. Составилъ В. Зелинскій. М. 1885.

Мы имѣли случай говорить (въ „Литер. обозрѣніи“ за май нынѣшняго года) объ изданіи г. Зелинскаго. Характеръ его остается, конечно, тотъ же. Въ настоящей части помѣщены критическіе отзывы объ „Униженныхъ и оскорбленныхъ“, „Запискахъ изъ Мертваго дома“, „Преступленіи и наказаніи“ и „Идіотѣ“. Предстоитъ, слѣдовательно, еще одна или многія части „комментарія“, т.-е. опять особыя книги. Трудъ составителя такъ не мудренъ, что, кажется, проще было бы собрать за одинъ разъ весь „Комментарій“, т.-е. переписать чужія статьи о Достоевскомъ и издать ихъ за одинъ разъ. Въ настоящемъ выпускѣ г. Зелинскій почти нигдѣ уже не прибавляетъ своихъ мнѣній для руководства читателя. Относительно „Идіота“, онъ не нашелъ въ литературѣ о Достоевскомъ ничего, заслуживающаго его выписокъ, кромѣ отрывковъ изъ „Публичныхъ лекцій“ г. Миллера и статьи доктора Чижа: „въ разбросанныхъ по газетамъ рецензіяхъ высказываются большею частію ничѣмъ не мотивированные отзывы объ „Идіотѣ“, заключающіе въ себѣ либо брань, либо похвалу“. Это очень сомнительно: вѣроятно изъ похвалы, какъ изъ брани можно все-таки понять, что̀ возбуждало сочувствіе или антипатію, и для „комментатора“, затѣявшаго свою работу въ такомъ размѣрѣ, какъ г. Зелинскій, слѣдовало бы отмѣтить впечатлѣніе, какое производилъ романъ Достоевскаго.

— Русское правописаніе. Руководство, составленное по порученію Второго Отдѣленія Импер. Академіи Наукъ академикомъ Я. К. Гротомъ. Третье изданіе. Спб. 1885.

Книжка г. Грота вышла не дальше какъ въ началѣ года и достигла третьяго изданія, не смотря на то, что уже второе изданіе сдѣлано было въ весьма значительномъ числѣ экземпляровъ. Успѣхъ необычайный, и невольно является вопросъ: чѣмъ вызвано это замѣчательное требованіе на книгу г. Грота, когда есть уже множество грамматическихъ учебниковъ, частію даже довольно ухищренныхъ, которые, повидимому, могли бы научить правописанію? Остается думать, что учебники ему не научали, и выводъ, кажется, долженъ быть признанъ справедливымъ. Въ погонѣ за классицизмомъ преподаваніе отечественнаго языка въ послѣднее время пришло положительно въ

упадокъ, который обнаруживается несомнѣннымъ распространеніемъ безграмотности, не только между людьми, прошедшими гимназическій, но (lorribile dictu) даже университетскій курсъ. Тотъ же упадокъ виденъ и въ свойствахъ учебныхъ книгъ, которыя усиленно стремятся къ формализтикѣ наполняются массою схоластическихъ мелочей, но не сообщаютъ ни простого, яснаго знанія, ни любви къ отечественной литературѣ. О результатѣ мы упоминали. Надо думать, что книга г. Грота требуется, между прочимъ, именно многими изъ тѣхъ, которые вынесли изъ школы понятіе о необходимости правильнаго писанія, но въ школѣ ему не научились.—Вѣроятно, не безъ связи съ упадкомъ преподаванія русскаго языка и словесности въ средней школѣ находится и распространеніе въ самой литературѣ если не настоящей безграмотности, то близкаго къ ней небрежнаго отношенія къ правильности языка. Достаточно взять какую-нибудь бойкую современную газету, чтобы встрѣтить массу примѣровъ подобнаго рода: грамматическихъ уродливостей, и рядомъ съ ними вновь вводимыхъ, и совершенно ненужныхъ, иностранныхъ словъ и оборотовъ,—дурная мода, происходящая, между прочимъ, отъ неумѣнья владѣть средствами своего языка. По части правописанія, писателямъ этого рода надо посовѣтовать ознакомиться ближе съ книжкой г. Грота.

Успѣхъ этой книжки во всякомъ случаѣ указываетъ, что она удовлетворяетъ дѣйствительной потребности, и мы порадовались, что Второе Отдѣленіе академіи въ этомъ случаѣ отозвалось на общественную потребность, давши г. Гроту „порученіе“ составить книгу о русскомъ правописаніи. Надо желать, чтобы Отдѣленіе не остановилось на этомъ примѣрѣ вниманія къ нуждамъ нашей образованности по отдѣлу родного языка. Давно назрѣла другая потребность, другая нужда, удовлетворить которой должно было бы (и одно имѣло бы къ тому возможность) Второе Отдѣленіе: это — потребность въ словарѣ русскаго языка, словарѣ, который могъ бы принять двоякую форму: чисто научнаго, историческаго словаря, который служилъ бы для историко-филологическихъ изслѣдованій, и словаря практическаго, который служилъ бы для справокъ грамотнымъ людямъ и самимъ писателямъ, какъ служитъ имъ настоящая книжка г. Грота въ вопросахъ правописанія. —До сихъ поръ не слышно, чтобы Второе Отдѣленіе ставило этотъ вопросъ — и это очень жаль: Отдѣленіе есть у насъ единственное ученое учрежденіе, на которомъ оффиціально лежитъ попеченіе объ этой сторонѣ научныхъ потребностей русской жизни и которое одно въ состояніи изыскать для этой цѣли средства исполненія.—А. В.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-е сентября, 1885.

Русская печать о Финляндіи.—Представленія, возстающія изъ могилы. — „Русь“ и берлинскій трактатъ.—„Хорошіе“ и „дурные“ учебники.—„Кому у насъ весело?“ — Отставки городскихъ головъ въ Ревелѣ и Ригѣ.

Въ нѣсколькихъ десяткахъ верстъ отъ Петербурга начинается обширная, малонаселенная страна, природныя красоты которой извѣстны петербургскимъ жителямъ гораздо больше, чѣмъ внутреннее ея устройство. Чтобы привлечь къ ней, на время, вниманіе русскаго общества и русской печати, нужно что-нибудь экстренное, въ родѣ послѣдней сессіи финляндскаго сейма или недавняго посѣщенія Государемъ Императоромъ Выборга, Вильманстранда и Гельсингфорса. Съ замѣчательнымъ постоянствомъ повторяется, въ такихъ случаяхъ, одно и то же явленіе: рѣзкое противорѣчіе во взглядахъ и чувствахъ, возбуждаемыхъ ближайшимъ знакомствомъ съ финляндскими порядками. Въ однихъ глубокое сочувствіе къ Финляндіи смѣшивается съ тяжелымъ раздумьемъ о судьбѣ ея сосѣда, съ невольнымъ сожалѣніемъ о томъ, что многое, издавна осуществленное по ту сторону рѣки Сестры, до сихъ поръ остается недоступнымъ для Россіи; въ другихъ мѣсто сожалѣнія заступаетъ досада, мѣсто сочувствія—едва скрываемая антипатія. Никогда, кажется, эта двойственность впечатлѣній не выражалась такъ ярко, какъ именно въ послѣднее время. Въ корреспонденціяхъ, описывавшихъ поѣздку царской фамиліи по Финляндіи, преобладало настроеніе, благопріятное для финляндцевъ; но не успѣли еще замолкнуть отголоски торжества, какъ послышались уже новыя варіаціи на старую, злобную тэму. „Каждому финноману,—читаемъ мы въ одной изъ петербургскихъ газетъ,— слѣдуетъ и на утренней, и на вечерней молитвѣ вспоминать, что онъ сынъ страны самой бѣдной, самой непроизводительной въ Европѣ, и гражданинъ народа, въ расовомъ отношеніи одареннаго весьма малою, скудною интеллигенціею... Территорія Финляндіи принадлежитъ Россіи, народъ же финскій, въ виду его простоты, честности и политической безпритязательности, оставленъ нами жить на этой территоріи, въ качествѣ ея безсрочнаго арендатора. Если Финляндія пользуется теперь правами, которыми дорожитъ, то этимъ она обязана всего менѣе своей силѣ, также и не богатству страны,— но прямо обязана нашему великодушію и шведскому пришлому дворянству, имѣвшему возможность за щитомъ Россіи не только сохра-

нить свою оригинальность и свою шведскую культуру, но и передать ее нѣкоторымъ изъ финляндцевъ; поэтому финляндцы существуютъ только потому, что существуетъ громадная, богатая, сильная и великодушная Россія. Благоразумные патріоты финскаго народа должны были бы каждаго ребенка своего заставить заучивать извѣстную басенку: „Какъ я великъ,—дитя на столикѣ вскричалъ,—а няня говоритъ: сниму и будешь малъ". Финляндія—въ сущности только великодушный капризъ Россіи, поставившей ее на нѣкоторую культурную высоту. Какъ только возникаетъ тѣнь какого-нибудь поползновенія со стороны ребенка схватить свою добрую няню за волосы — эта колоссальная няня, безъ всякаго особаго усилія, можетъ поставить капризную малютку со стола подъ столъ".

Изъ-за чего, спрашивается, написана эта діатриба, могущая служить образцомъ—выражаясь мягко—политической безтактности? Изъ-за того, что корреспонденту одной англійской газеты вздумалось приписать финляндцамъ мысль о нейтралитетѣ, на случай войны между Англіей и Россіей. Итакъ, достаточно самаго вздорнаго слуха, чтобы вылить цѣлый потокъ оскорбленій на народъ, намъ дружественный и близкій? Нѣтъ болѣе низкопробнаго, жалкаго хвастовства, чѣмъ хвастовство грубой силой. Угрозы, расточаемыя газетой по адресу финляндцевъ, могутъ быть сведены къ двумъ словамъ, часто раздающимся на площади, въ толпѣ, при встрѣчѣ самонадѣяннаго силача съ неопаснымъ, смирнымъ прохожимъ: берегись, расшибу! Въ чьихъ-нибудь глазахъ эти слова и служатъ, можетъ быть, доказательствомъ молодечества и удали, но никому еще не приходило въ голову считать ихъ убѣдительнымъ аргументомъ, дѣлать ихъ краеугольнымъ камнемъ полемики. Хороша, за то, и полемика, вращающаяся около такого центра! Смѣшивая начало XIX-го вѣка съ эпохой великаго переселенія народовъ, она признаетъ за завоевателемъ право согнать завоеванный народъ съ территоріи, издавна имъ обитаемой; она обращаетъ коренныхъ жителей страны въ „безсрочныхъ арендаторовъ" ея, терпимыхъ только въ виду ихъ „простоты, честности и безпритязательности". Даже англичане, во времена Елизаветы, Кромвелля и Вильгельма III-го, не выгнали ирландцевъ изъ Ирландіи,—а русскіе, при Александрѣ I-мъ, могли выселить финляндцевъ въ Россію или приказать имъ удалиться въ Швецію? Что не было сдѣлано тогда, то можетъ быть сдѣлано теперь, при малѣйшемъ „капризѣ ребенка"? Цѣлый народъ можетъ быть низведенъ на степень англійскихъ tenants at will, сохраняющихъ за собою свои земельные участки лишь on sufferance, пока это угодно землевладѣльцу?.. „Великодушіе", одно только великодушіе создало Финляндію, однимъ только великодушіемъ она держится до настоящей ми-

нуты? Ничего подобнаго не представляетъ вся всемірная исторія. Допустимъ, что въ жизни государствъ или народовъ бываютъ великодушные порывы (хотя при ближайшемъ разсмотрѣніи явленія, обыкновенно подводимыя подъ эту рубрику, всегда или почти всегда оказываются болѣе сложными, побужденія, ихъ вызвавшія—менѣе безкорыстными, чѣмъ кажется съ перваго взгляда); отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы великодушіе могло быть, въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, единственнымъ или главнымъ регуляторомъ международныхъ и междугосударственныхъ отношеній. Чѣмъ бы ни объяснялось установленіе порядковъ, данныхъ Финляндіи вслѣдъ за завоеваніемъ ея Россіей, сохраненіе этихъ порядковъ и дальнѣйшее ихъ развитіе во всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ о томъ, что они не заключали и не заключаютъ въ себѣ ничего несовмѣстнаго съ интересами завоевателя. И дѣйствительно, изъ всѣхъ нашихъ окраинъ Финляндія безспорно причиняла и причиняетъ Россіи всего меньше тревогъ и затрудненій. Не даромъ же покойный императоръ, бывшій свидѣтелемъ образа дѣйствій финляндцевъ во время войны 1854—56 г., призвалъ къ жизни, нѣсколько лѣтъ спустя, учрежденія, не отмѣненныя формально, но бездѣйствовавшія при Николаѣ I-мъ. Этого мало: задачи внутренняго управленія, до сихъ поръ не разрѣшенныя въ западныхъ губерніяхъ, едва поставленныя въ губерніяхъ прибалтійскихъ, въ Финляндіи разрѣшаются сами собою, почти безъ вмѣшательства русской правительственной власти. Финны—въ Финляндіи, эсты и латыши—въ остзейскомъ краѣ принадлежатъ къ одной и той же, „скудно одаренной“ расѣ—а между тѣмъ положеніе тѣхъ и другихъ совершенно различно. Равноправность между шведами и финнами—почти совершившійся фактъ, равноправность между нѣмецкимъ и эсто-латышскимъ населеніемъ прибалтійскихъ губерній—мечта, все еще далекая отъ осуществленія.

Кому обязана Финляндія быстрымъ движеніемъ своимъ впередъ, умственнымъ и матеріальнымъ—шведскому ли „пришлому дворянству“ или совокупности всѣхъ сословій,—это вопросъ, въ разсмотрѣніе котораго мы теперь не входимъ; несомнѣнно только одно—что элементы движенія были мѣстные и что охрана, данная ему Россіей, имѣла преимущественно пассивный характеръ. „Нѣкоторой культурной высоты“ Финляндія достигла сама, собственными силами; первые шаги ея въ этомъ направленіи были сдѣланы ею задолго до завоеванія ея Россіей. Чтобы окончательно убѣдиться въ этомъ, стоитъ только сравнить Финляндію съ странами, ей сосѣдними и отчасти родственными. Путешественники, изучающіе Швецію и Норвегію, встрѣчаются тамъ со многими чертами, свойственными Финляндіи—съ грамотностью, трезвостью, относительною развитостью сельскаго населенія, съ интенсивностью умственной жизни въ городахъ, съ общею заботли-

востью о народной школѣ, съ умѣньемъ извлекать многое изъ немногихъ условій, данныхъ суровымъ климатомъ и неблагодарною почвой. По своей природѣ Финляндія — страна безспорно бѣдная, наравнѣ съ сѣверной полосой скандинавскаго полуострова; но это еще не значитъ, чтобы финляндскій крестьянинъ, въ среднемъ выводѣ, нуждался больше чѣмъ русскій, и чтобы „бѣдной Финляндіи“ можно было, кичась, противопоставлять „богатую Россію“. Финское племя, разсматриваемое какъ одно цѣлое, безспорно менѣе даровито, чѣмъ славянское; но къ чему напоминать объ этомъ финляндцамъ, когда обсуждается только государственная связь ихъ съ Россіей? Русская литература несравненно богаче и выше финской, передъ русскимъ искусствомъ раскрывается горизонтъ несравненно болѣе широкій; но вѣдь рѣчь идетъ не о томъ, чтобы сдѣлать финновъ причастными къ русской литературѣ и русскому искусству. Для потребностей ежедневной жизни, для устройства хорошей администраціи, правильнаго государственнаго хозяйства, финская интеллигенція, въ союзѣ и взаимодѣйствіи съ шведской, оказывается достаточно сильной и умѣлой. Примѣръ мадьяръ, одноплеменныхъ съ финнами, позволяетъ предполагать, что политическая способность не чужда финской расѣ даже тогда, когда въ культурномъ ея слоѣ не преобладаетъ посторонняя примѣсь.

Статья, изъ которой мы привели нѣсколько цитатъ—далеко не единственная въ своемъ родѣ. Та же петербургская газета, полемизируя съ „Helsingfors Dagblad“, ставитъ въ вину финляндской прессѣ ея самозащиту противъ нападеній, задѣвающихъ самыя чувствительныя струны національнаго самолюбія. О характерѣ этой самозащиты можно составить себѣ понятіе по одному примѣру. Возражая противъ увѣренія, что Финляндія „не можетъ пропитывать своего населенія и можетъ, въ этомъ отношеніи, ожидать помощи только отъ Россіи“, гельсингфорская газета восклицаетъ: „какъ будто Финляндія и ея населеніе получили въ подарокъ хоть одинъ изъ тѣхъ кулей русской муки, которые здѣсь потребляются! Всѣ они честно оплачены, совершенно такъ же, какъ и та рожь, которую ежегодно и остальная западная Европа вывозитъ изъ Россіи“. Прочитавъ эти слова, можно только пожалѣть о томъ, что безтактность нѣкоторыхъ русскихъ газетъ заставляетъ нашихъ финляндскихъ собратій повторять такія азбучныя истины, ссылаться на такіе очевидные и безспорные факты. Что же дѣлаютъ петербургскіе антагонисты Финляндіи? Они подчеркиваютъ слова: „остальная Западная Европа“, усматривая въ нихъ дерзновенное поползновеніе финляндцевъ отшатнуться отъ Востока, т.-е. отъ Россіи, и примкнуть, хотя бы мысленно, къ западнымъ нашимъ сосѣдямъ!.. „Хотя военныя силы Финляндіи,—говоритъ другая петербургская газета,—имѣютъ цѣлью защищать престолъ и отече-

ство и тѣмъ содѣйствовать также и защитѣ имперіи, но — timeo Danaos et dona ferentes... Вооруженныя силы Финляндіи въ видѣ обособленной арміи являются такимъ же анормальнымъ явленіемъ въ общемъ строѣ политической жизни Россіи, какъ еслибы предположить существованіе особыхъ армій Бѣлоруссіи, Малороссіи, Кавказа, Сибири. Финская армія, не имѣющая своего raison d'être, является лишь, съ нашей стороны, уступкою гордости и самолюбію финскаго народа". Итакъ, нюландская или улеоборгская губернія ничѣмъ не отличается отъ губерніи витебской или полтавской? Куда же дѣвалось великое княжество финляндское, съ своимъ великимъ княземъ и своимъ сеймомъ?.. Что анормальнаго въ томъ, что въ государствѣ, связь котораго съ Россіей имѣетъ почти исключительно личный характеръ, существуютъ свои мѣстныя войска? Почему „обособленность" финскихъ батальоновъ—нѣчто болѣе удивительное, чѣмъ обособленность, напримѣръ, норвежскаго войска отъ шведскаго?.. О „великодушіи" Россіи по отношенію къ Финляндіи говорится (по поводу невыгоднаго для насъ курса финскихъ марокъ) и въ недавней корреспонденціи „Московскихъ Вѣдомостей", прямо провозглашающей Финляндію „провинціею Россіи". Оригинальна въ этой корреспонденціи ссылка на какого-то „стокгольмскаго академика", ведущаго, будто бы, рѣчи, вполнѣ достойныя нашихъ доморощенныхъ „финнофобовъ". Финляндія, по мнѣнію этого академика—„паразитъ на здоровомъ, могучемъ тѣлѣ Россіи; захочетъ Россія—и паразиту не придется питаться ея соками". Если академикъ, выводимый на сцену корреспондентомъ—не миѳъ, то мы готовы заподозрить его въ намѣреніи перенести ненужнаго и вреднаго намъ „паразита" на свое собственное, шведское тѣло.

То, что́ дѣлается и говорится теперь кругомъ насъ, напоминаетъ иногда сцену на кладбищѣ въ мейерберовскомъ „Робертѣ". Мертвецы встаютъ изъ могилъ, подъ аккомпаниментъ „плохо забытыхъ" мотивовъ; начинается длинный танецъ привидѣній, какъ бы старающихся припомнить прежнія позы и аттитюды. Къ числу такихъ привидѣній принадлежитъ колоссальная фигура, раскинувшаяся „отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды"—фигура, все превозмогающая и преодолѣвающая одною своею колоссальностью. Она является то въ образѣ благодѣтельной волшебницы, то въ образѣ богатыря, однимъ своимъ видомъ наводящаго ужасъ на супостатовъ, то въ образѣ няни, окруженной малолѣтками, балующей или карающей ихъ по „усмотрѣнію". Подъ вліяніемъ этихъ фантасмагорій слабѣетъ чувство дѣйствительности, теряется умѣнье понимать самыя простыя вещи. Личная связь между двумя государствами — форма, давно выработанная исторіей и признанная политикою и правомъ—представляется чѣмъ-то чудовищнымъ, нелѣпымъ; естественные, неизбѣжные

ея результаты разсматриваются какъ аномалія, какъ капризъ, устраняемый въ каждую данную минуту. Зрѣлость государственнаго организма измѣряется его величиною; небольшая страна — только потому, что она небольшая — приравнивается къ ребенку, которому можно и должно отъ времени до времени и пригрозить, чтобы онъ не забывался передъ взрослыми. Презрительное, высокомѣрное отношеніе къ Финляндіи—только одна изъ формъ той „мономаніи величія", признаки которой опять начинаютъ обнаруживаться въ нашемъ обществѣ. Распространенію этой болѣзни всегда благопріятствуетъ остановка или поворотъ назадъ во внутренней жизни государства. Характеристичнымъ ея симптомомъ служитъ съ нѣкоторыхъ поръ, между прочимъ, періодически повторяющійся плачъ надъ берлинскимъ трактатомъ—плачъ, отъ котораго одинъ лишь шагъ до мысли о „реваншѣ". „Въ Петербургѣ,—восклицаетъ „Русь", только что прервавъ шестимѣсячное молчаніе,—и до сихъ поръ не умѣютъ понять всей силы деморализующаго воздѣйствія берлинскаго трактата на русскую жизнь... Берлинскій трактатъ—это нравственное паденіе Россіи какъ государства; непосредственнымъ его результатомъ было совершенное ослабленіе довѣрія къ административному Петербургу". Исходя изъ этой основной мысли, „Русь" усматриваетъ одну свѣтлую точку въ полутьмѣ истекшаго полугодія—„подъемъ духа", вызванный образомъ дѣйствій правительства по англо-афганскому вопросу. „Даже перспектива войны,—утверждаетъ газета г. Аксакова,—никого не смутила. Охотно, повидимому, приняла бы Россія даже самую войну, если ужъ невозможно ей иначе, какъ именно такою цѣною (неужели невозможно?), обрѣсти себѣ нравственное здоровье, почувствовать себя вновь мощнымъ, единымъ цѣлымъ, вновь исполниться вѣры въ единство духа съ высшею властью". Эта тирада напомнила намъ знаменитый вопросъ, поставленный въ концѣ „Нови": „кто будетъ чародѣй, который всѣ наши раны заживитъ, выдернетъ всѣ наши недуги, какъ больной зубъ? Дарвинизмъ? Деревня? Заграничная война?" Комментаріемъ къ паклинскому вопросу могутъ служить теперь письма Тургенева, совпадающія, по времени, съ появленіемъ его послѣдняго романа. „У насъ на Руси,—читаемъ мы въ письмѣ отъ 9 декабря 1876 г.,—снова проявилась столь часто замѣченная черта: ото всѣхъ нашихъ болѣзней— лѣни, вялости, пустоты, скуки—мы ищемъ излечиться разомъ, какъ зубъ заговорить... Вотъ мы теперь за войну ухватились. Все это признакъ слабаго развитія умственнаго—и, говоря прямо, необразованія". Не знаменательно ли, въ самомъ дѣлѣ, самое повтореніе явленія, подмѣченнаго Тургеневымъ? Въ 1876 г. не было еще берлинскаго трактата, не было еще этого козла очищенія, къ которому пріурочивается теперь болѣзнетворное начало въ русскомъ государственномъ организмѣ,—а болѣзнь

все-таки существовала (или, по крайней мѣрѣ, на нее жаловались), и лекарство рекомендовалось то же, что̀ и нынче. О значеніи — или, лучше сказать, о незначительности—берлинскаго трактата для внутренней жизни Россіи мы говорили уже не разъ [1]); ограничимся теперь указаніемъ на противорѣчіе, въ которое впадаютъ наши шовинисты. Они желали бы, повидимому, обойтись безъ войны (припомнимъ поставленный въ скобки вопросъ: неужели невозможно?)—но какъ же обойтись безъ нея, если главнымъ источникомъ зла, главной помѣхой на пути къ лучшему будущему служитъ берлинскій трактатъ? Развѣ есть какое-нибудь средство добиться его отмѣны, не обнажая меча, не прибѣгая къ силѣ? Развѣ достаточно, для этого, повышенія тона въ дипломатическихъ переговорахъ или брянчанія оружіемъ въ газетныхъ статьяхъ, въ застольныхъ спичахъ? Допустимъ, что семь лѣтъ тому назадъ можно было добиться безъ новой войны другихъ результатовъ, чѣмъ тѣ, къ которымъ привелъ берлинскій конгрессъ; слѣдуетъ ли отсюда, что ошибка, сдѣланная тогда, безъ труда можетъ быть исправлена теперь, что Австрія добровольно очиститъ Боснію и Герцеговину, что соединеніе Болгаріи съ Восточной Румеліей не потребуетъ новаго перехода русскихъ войскъ черезъ Балканы?.. Одно изъ двухъ: или необходимо положить конецъ „нравственному паденію“ Россіи, вызванному берлинскимъ трактатомъ—въ такомъ случаѣ незачѣмъ обольщать себя и другихъ надеждой на миролюбивое достиженіе этой цѣли; или нужно признать, что для заботы о поднятіи „престижа“ нѣтъ никакихъ серьезныхъ основаній—и въ такомъ случаѣ рѣшительно отбросить мысль о войнѣ, какъ о чемъ-то нетерпѣливо ожидаемомъ или хотя бы только „охотно принимаемомъ“ Россіей.

Другой выходецъ изъ могилы, также расхаживающій, съ нѣкоторыхъ поръ, по нашей печати—это представленіе о наукѣ, какъ о чемъ-то второстепенномъ и ничтожномъ въ сравненіи съ благонадежностью. Знаменитое изреченіе дѣдушки Крылова о музыкантахъ, „немножечко дерущихъ“, но за то отличающихся „прекраснымъ поведеньемъ“, повторяется теперь, въ разныхъ варіаціяхъ, совершенно серьезно, какъ великая истина и важное руководящее начало. Наука, съ этой точки зрѣнія, представляетъ собою „мало опредѣленнаго и извѣстнаго въ безконечномъ морѣ неопредѣленнаго и неизвѣстнаго“; изъ-за нея не стоитъ быть требовательнымъ и строгимъ. Пускай ученикъ не знаетъ „тонкостей новѣйшей науки“ (напримѣръ, не имѣетъ никакого понятія объ удѣльной системѣ)—на это можно „наплевать“; важно только то, чтобы онъ „понималъ исторію Россіи, какъ понималъ ее Карамзинъ, и имѣлъ въ душѣ тѣ же чувства“... „Не надо

[1]) См., напр., внутр. обозр. въ № 1 „Вѣстн. Евр.“, 1882 г.

быть фанатикомъ науки, какъ вещи относительной, сухой, холодной и бездушной. Надо уважать ее, но ставя въ школѣ и въ воспитаніи выше всего любовь и заботу о душѣ". Противъ послѣдняго положенія нельзя было бы возразить ни слова, еслибы за нимъ не скрывалось нѣчто мало похожее на истинную любовь, на разумную заботу. Въ сущности рѣчь идетъ не о чемъ другомъ, какъ о культивированіи любви къ отечеству посредствомъ благонамѣренныхъ учебниковъ, объ искусственномъ насажденіи „карамзинскихъ" чувствъ, съ помощью классныхъ отмѣтокъ и дисциплинарныхъ взысканій. Никакой учебникъ не можетъ научить патріотизму; единственная его задача—дать положительныя, точныя, систематическія знанія. Настроеніе духа, характеръ, нравственныя правила вырабатываются семьей и жизнью; школа принимаетъ большое участіе въ этой работѣ, но не столько путемъ предписаній, не столько преподаваніемъ ex cathedra частной и общественной морали, сколько совокупностью незримыхъ и неуловимыхъ вліяній, не поддающихся регламентаціи и не являющихся par ordre. Попытки создать, учебниками и лекціями, обязательный для всѣхъ, форменный, такъ сказать, образъ мыслей могутъ привести только къ обратному результату, приготовить почву для другихъ, противоположныхъ мнѣній. Идеаломъ учебника, съ точки зрѣнія новѣйшихъ—т.-е. въ сущности давно одряхлѣвшихъ и отжившихъ—взглядовъ, можно считать учебникъ русской исторіи Устрялова. Достигъ ли онъ своей цѣли—объ этомъ судить не трудно, если припомнить, что на немъ воспиталось поколѣніе конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ... Мы вовсе не хотимъ защищать безусловно устройство и дѣятельность тѣхъ учрежденій, отъ которыхъ зависитъ теперь одобреніе или неодобреніе учебниковъ и книгъ для школьнаго чтенія; но ужъ въ тысячу разъ лучше оставить ихъ какъ они есть, чѣмъ реформировать ихъ по программѣ модныхъ проповѣдниковъ моднаго просвѣщенія. „Знакомство съ авторами учебниковъ, поощреніе хорошихъ, удаленіе дурныхъ, бесѣда съ хорошими директорами училищъ о дѣйствіи того или другого учебника на молодежь, наблюденіе за вліяніемъ учебниковъ въ школѣ, немедленное изъятіе изъ употребленія дурныхъ учебниковъ"—таковы главныя черты этой программы, содержащей въ себѣ всѣ задатки для созданія чего-то въ родѣ высшей школьной инквизиціи. Лицемѣріе учителей и учениковъ — вотъ единственное возможное послѣдствіе системы, при дѣйствіи которой хорошимъ признавалось бы все согласованное, дурнымъ—все несогласованное съ требованіями минуты.

Судя по нѣкоторымъ признакамъ, агитація противъ „дурныхъ" учебниковъ не остается гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Если вѣрить статьѣ, появившейся въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" (№ 224), книга Ушинскаго: „Родное Слово", по которой училось столько школьныхъ

поколѣній, признана недавно „неудобной для употребленія въ училищахъ“. Авторъ статьи совершенно правъ, называя это рѣшеніе „событіемъ большой важности“, „свидѣтельствомъ о наступившемъ переворотѣ въ дѣлѣ начальнаго обученія русской грамотѣ“. Онъ правъ и тогда, когда говоритъ, что „ради логической послѣдовательности“ судьбу книги Ушинскаго должны раздѣлить и другія, написанныя въ томъ же духѣ. „Иначе, — восклицаетъ онъ въ избыткѣ усердія,—изъятіе изъ школы „Родного Слова“ будетъ похоже на отсѣченіе лишь одной головы у многоглавой гидры“. Ушинскій и гидра —это сопоставленіе единственное въ своемъ родѣ, отлично характеризующее „духъ времени“. Что̀ поставить на мѣсто „Родного Слова“, „Нашего друга“ и другихъ книгъ той же категоріи—объ этомъ наши модные педагоги не заботятся; ихъ конечная цѣль—возвращеніе къ часословной школѣ, не нуждающейся ни въ какихъ „свѣтскихъ“ учебникахъ и руководствахъ. Въ церковно-приходскихъ школахъ роль свѣтскихъ книгъ, какъ мы уже знаемъ [1]), доведена или доводится до минимума; почему бы не поступить точно такъ же и по отношенію къ земскимъ школамъ? Путемъ „послѣдовательныхъ“ запрещеній можно поставить ихъ на одинъ уровень съ церковно-приходскими школами — а отсюда уже не далеко будетъ и до установленія одного школьнаго типа, до подчиненія духовенству всѣхъ начальныхъ школъ.

Въ обществѣ привидѣній чувствуешь себя, какъ извѣстно, не совсѣмъ хорошо и спокойно. Не отъ этого ли зависитъ, отчасти неутѣшительный отвѣтъ на вопросъ, поставленный недавно однимъ изъ нашихъ собратій по печати: „Кому у насъ весело“? Наблюденія много видѣвшаго и много испытавшаго автора привели его къ заключенію, что веселиться, пользоваться жизнью умѣютъ въ Россіи (или, точнѣе— въ достаточныхъ, интеллигентныхъ кружкахъ петербургскаго и московскаго общества) только... иностранцы. Не будемъ спорить о фактѣ, но позволимъ себѣ усомниться въ достаточности предложеннаго для него объясненія. По мнѣнію почтеннаго автора, „невесело петербуржцу не отъ того, что нѣтъ для его вкусовъ и потребностей никакого матеріала, а оттого, во-первыхъ, что у насъ сами люди портятъ всякое мѣсто; во-вторыхъ оттого, что всего мы наглотаемся безъ удержу, ни въ чемъ не знаемъ мѣры, нехотя набиваемъ себѣ оскомину“. Положимъ, что такъ; но откуда же взялась эта манія все портить, эта несдержанность и необузданность? Можетъ быть, это черты нашего національнаго характера? Нѣтъ; самъ авторъ признаетъ, что лѣтъ 30—40 тому назадъ у насъ умѣли веселиться—умѣли именно въ той

---

[1]) См. Внутр. обозрѣніе въ предыдущей книгѣ нашего журнала.

сферѣ, тоскливость которой онъ теперь изучаетъ. Намъ кажется, что между русскими и иностранцами, живущими въ Россіи, есть одно существенно-важное различіе. Для послѣднихъ Россія—временной pied à terre, нѣчто въ родѣ гостинницы или проѣзжей дороги. Неудобства гостинницы, какъ бы они ни были велики, переносятся сравнительно легко, потому что каждый останавливающійся въ ней имѣетъ, гдѣ-нибудь, собственную квартиру—мѣсто будущаго успокоенія и отдыха. Другое дѣло—неудобства дома, въ которомъ живешь постоянно; они чувствуются гораздо болѣзненнѣе и сильнѣе, забота, ими вызываемая, способна отравить многія удовольствія. Мы погрѣшили бы противъ истины, еслибы приписали отсутствіе веселья только этой заботѣ; мы видимъ въ ней одну изъ многихъ причинъ сложнаго явленія—но во всякомъ случаѣ такую причину, которую никакъ нельзя скинуть со счетовъ. Почему же, однако, дѣйствіе ея болѣе замѣтно теперь, чѣмъ полвѣка, четверть вѣка тому назадъ? На этотъ вопросъ нельзя отвѣчать въ двухъ словахъ; мы возвратимся къ нему въ другой разъ, а теперь ограничимся одной замѣткой. Неудобства жилища—понятіе относительное; интенсивность причиняемыхъ ими ощущеній прямо пропорціональна ясности, съ которою они сознаются. Тотъ самый домъ, въ которомъ охотно и уютно жили наши предки, показался бы намъ теперь и недостаточно чистымъ, и недостаточно свѣтлымъ, и худо вентилированнымъ, и отводящимъ слишкомъ много мѣста парднымъ комнатамъ, сравнительно съ жилыми покоями и помѣщеніями для прислуги. Tempora mutantur—et nos mutamur in illis.

Удаленіе отъ должности городскихъ головъ Ревеля и Риги составляетъ, по всей вѣроятности, первое звено въ цѣломъ рядѣ рѣшительныхъ мѣръ по отношенію къ остзейскимъ губерніямъ. Рѣшительность, безъ сомнѣнія, здѣсь вполнѣ умѣстна; за исключеніемъ восточныхъ окраинъ—Сибири и Туркестанскаго края,—нѣтъ ни одной мѣстности въ Россіи, которая бы больше нуждалась въ радикальныхъ реформахъ. Попытки пріобщить остзейскій край къ перемѣнамъ, совершавшимся вокругъ него, оставались до сихъ поръ, большею частью, безуспѣшными, къ явному вреду для большинства населенія. Чтобы привести къ желанной цѣли, новая, болѣе энергичная и послѣдовательная политика должна держаться строго законной почвы, дѣйствовать больше путемъ общихъ преобразованій, чѣмъ путемъ отдѣльныхъ, произвольныхъ мѣръ, обращать особенное вниманіе на вопросы, прямо касающіеся благосостоянія народныхъ массъ, и сохранять неприкосновеннымъ все то хорошее, что выработано прошедшимъ остзейскаго края. На первый планъ могла бы быть выдвинута судебная реформа, давно созрѣвшая, но, какъ кладъ, не дающаяся въ руки прибалтійскимъ губерніямъ. Открытіе мировыхъ

судебныхъ учрежденій, на основаніи закона 28 мая 1880 г., должно было состояться еще въ 1881 г.—и не состоялось до сихъ поръ, хотя проектъ преобразованія крестьянскихъ присутственныхъ мѣстъ (отъ котораго было, въ послѣдствіи, поставлено въ зависимость осуществленіе реформы) былъ готовъ уже къ концу 1881 г. Правда, этотъ послѣдній проектъ страдаетъ существенно важными недостатками [1])—но ничто не мѣшаетъ устранить ихъ при разсмотрѣніи его въ высшей законодательной инстанціи, и затѣмъ немедленно ввести въ дѣйствіе какъ мировыя учрежденія, такъ и новую администрацію по дѣламъ крестьянскимъ. Слѣдующимъ шагомъ впередъ могло бы быть преобразованіе общихъ судебныхъ мѣстъ, не представляющее, какъ мы старались доказать еще пять лѣтъ тому назадъ [2]), никакихъ серьезныхъ затрудненій. До какой степени необходима въ остзейскомъ краѣ судебная реформа—объ этомъ можно составить себѣ понятіе съ одной стороны по послѣднему акту правительственной власти, съ другой стороны—по извѣстной венденской исторіи, разыгравшейся въ началѣ нынѣшняго года (см. Внутр. Обозр. въ № 3 нашего журнала). Еслибы можно было полагаться на безпристрастіе остзейскихъ судовъ, удаленіе отъ должности городскихъ головъ Ревеля и Риги было бы предоставлено, безъ сомнѣнія, судебной власти, на разсмотрѣніе которой передаются противозаконныя ихъ дѣйствія. Если бы судъ и мѣстная администрація въ Лифляндіи не были насквозь проникнуты сословнымъ элементомъ, „экзекуціи“ въ родѣ венденской перестали бы быть возможными или, по крайней мѣрѣ, влекли бы за собою тяжелую отвѣтственность виновныхъ. О результатахъ изслѣдованія, произведеннаго въ Венденѣ, до сихъ поръ ничего не слышно—а между тѣмъ подвиги, производимые съ помощью „мечей правосудія“, продолжаются невозбранно. У одного помѣщика,—пишутъ „Московскимъ Вѣдомостямъ“ (№ 192) изъ Риги,—была украдена корова. Потерпѣвшій написалъ объ этомъ заявленіе въ соотвѣтствующій герихтъ. Герихтъ сдѣлалъ распоряженіе произвести обыскъ у всѣхъ подозрительныхъ въ округѣ лицъ, причемъ у одного изъ нихъ обыскъ былъ сдѣланъ въ его отсутствіе, со взломомъ замка въ сараѣ, гдѣ стояла его скотина. Возвратясь домой и вовсе не предполагая, что взломъ учиненъ по распоряженію судьи, крестьянинъ сказалъ: еслибъ я зналъ, кто это сдѣлалъ, задалъ бы ему отличную трепку. Судья, которому были переданы эти слова, привлекъ крестьянина къ суду за оскорбленіе собственной персоны и приговорилъ его къ двадцати ударамъ розогъ, приведя приговоръ тутъ же въ исполненіе. Наказанный крестьянинъ объявилъ, что будетъ жаловаться; тогда

[1]) См. Внутр. Обозр. въ № 12 „В. Е.“ за 1881 г.

[2]) См. Внутр. Обозр. въ № 8 „В. Е.“ за 1880 г.

судья приказалъ наказать его еще двадцатью ударами, хотя это выходило уже изъ предѣловъ его власти. Дѣло поступило къ лифляндскому прокурору, потребовавшему отъ судьи объясненія. Судья не смутился. Онъ откопалъ какую-то статью, предоставляющую судьѣ право доходить не только до сорока, но до шестидесяти ударовъ, если онъ признаетъ это наказаніе необходимымъ въ виду опасности отечеству. „Что же общаго,—восклицаетъ корреспондентъ московской газеты,—между украденной коровой (или, прибавимъ отъ себя, между намѣреніемъ жаловаться на судью) и опасностью отечеству!..“ Возможность такихъ приговоровъ и такихъ къ нимъ объясненій говоритъ сама за себя; дальнѣйшихъ доказательствъ въ пользу реформы, кажется, не нужно. Нельзя не замѣтить, однако, что для успѣха реформъ въ одной изъ окраинъ безусловно необходима гармонія — или, по крайней мѣрѣ, отсутствіе дисгармоніи—между ними и общимъ направленіемъ государственной политики. Объ этомъ свидѣтельствуетъ, между прочимъ, исторія шестидесятыхъ годовъ въ нашемъ сѣверо-западномъ краѣ. Если многое изъ сдѣланнаго или предпринятаго Муравьевымъ и Кауфманомъ въ пользу крестьянскаго населенія оказалось непрочнымъ или не было доведено до конца, то разгадку этому нужно искать именно въ томъ, что по отношенію къ другимъ частямъ имперіи господствовало тогда настроеніе, неблагопріятное для крестьянства. Нельзя одновременно подрывать дѣйствіе судебныхъ уставовъ императора Александра II-го въ губерніяхъ великорусскихъ и малорусскихъ, и распространять ихъ, съ надеждою на успѣхъ, на губерніи остзейскія; нельзя ограничивать служебныя привилегіи дворянства въ Эстляндіи, Лифляндіи и Курляндіи, увеличивая ихъ по сю сторону Чудского озера; нельзя положить конецъ злоупотребленіямъ остзейскими „мечами правосудія“, расширяя примѣненіе тѣхъ же мечей на русской почвѣ. Нельзя, точно такъ же, приступать къ введенію въ остзейскомъ краѣ всесословныхъ земскихъ учрежденій, пока виситъ на воздухѣ всесословность ихъ въ губерніяхъ, пользующихся ими около двухъ десятилѣтій.

Говоря о сохраненіи въ остзейскихъ губерніяхъ того, что заслуживаетъ сохраненія, мы имѣли въ виду преимущественно дерптскій университетъ, — но эта тэма требуетъ подробнаго обсужденія, и мы предоставляемъ себѣ возвратиться къ ней въ другой разъ.

ИЗВѢЩЕНІЯ.

Отъ Общества любителей Россійской Словесности, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.

Общество извѣщаетъ, что съ 1-го іюля по 1-е августа сего 1885 года къ казначею общества поступили собранныя съ высочайшаго соизволенія пожертвованія на сооруженіе въ Москвѣ памятника Николаю Васильевичу Гоголю: 1) по подписнымъ листамъ за №№ 170 и 171 черезъ предсѣдателя уфимской губернской земской управы— 19 рублей; 2) по подписному листу № 208 черезъ Каменецъ-Подольскаго городского голову — 15 руб.; 3) по подписному листу № 53 черезъ предсѣдателя вологодской губернской земской управы — 2 руб.; и 4) по подписнымъ листамъ №№ 51 и 52 черезъ владимірскаго городского голову—8 руб. Итого сорокъ четыре рубля, а всего съ прежде поступившими—одиннадцать тысячъ пятьсотъ тридцать рублей 12 копѣекъ.

ПОПРАВКИ. Во „Внутреннемъ Обозрѣніи“ іюльской книги вкрались слѣдующія опечатки:

Стран.:	*Строка:*	*Напечатано:*	*Слѣдуетъ читать:*
360	10 сверху	Послѣдній правильно основанъ	Послѣдній основанъ
—	12 „	дворъ еще не играетъ	дворъ же не играетъ
361	23 „	оперируя не надъ дѣйствительными хозяйственными единицами, а надъ	оперируя надъ дѣйствительными хозяйственными единицами, а не надъ
367	7 снизу	до нѣкоторой степени и лишаетъ	и до нѣкоторой степени лишаетъ
383	13 сверху	рабочихъ, 10 часовыхъ дней	рабочихъ 10 часовыхъ дней
388	19 „	540 или 2,5 меньше	на 540 или на 2,5% меньше

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

В. П. Латкинъ. Земскіе соборы древней Руси. Историко-юридическое изслѣдованіе. Спб. 1885.

Не смотря на обиліе разсужденій и изслѣдованій о земскихъ соборахъ въ нашей исторической литературѣ, вопросъ о древне-русскомъ народномъ представительствѣ оставался далеко еще не выясненнымъ; значительный туманъ вносился въ эту область славянофильскими и всякими иными тенденціями, мѣшавшими безпристрастному и всестороннему изученію политическаго строя древней Россіи. Изъ писавшихъ объ этомъ предметѣ авторовъ одни преднамѣренно умаляли, а другіе слишкомъ преувеличивали значеніе земскихъ соборовъ; одни видѣли въ нихъ великій самобытный продуктъ русской народной жизни, а другіе считали ихъ явленіемъ временнымъ и переходнымъ, сопутствующимъ лишь процессу собиранія земли московскими государями. Изслѣдованіе г. Латкина представляетъ опытъ полной и подробной исторіи земскихъ соборовъ, съ объясненіемъ ихъ организаціи и особенностей, сравнительно съ западно-европейскими представительными учрежденіями, —при чемъ авторъ старается быть вполнѣ объективнымъ, устраняя всякія произвольныя гипотезы и толкованія. По мнѣнію автора, земскіе соборы „появились не вслѣдствіе какого-нибудь каприза верховной власти, а какъ результатъ требованій самой жизни и тѣхъ условій и обстоятельствъ, среди которыхъ находилось русское общество". Авторъ не находитъ никакой преемственной связи между вѣчемъ и земскимъ соборомъ; „никакой переходной формы, на подобіе западно-европейской, между первичными народными собраніями и представительными учрежденіями Россія не знала". Параллельное изученіе сословно-представительныхъ собраній въ разныхъ государствахъ приводитъ автора къ убѣжденію о поразительномъ сходствѣ между ними—сходствѣ тѣмъ болѣе замѣчательномъ, что исторія этихъ разныхъ государствъ шла далеко не однимъ и тѣмъ же путемъ. Книга г. Латкина читается съ большимъ интересомъ; значительный ученый балластъ нисколько не мѣшаетъ легкости и общедоступности изложенія.

Полное собраніе сочиненій Я. П. Полонскаго. Томъ первый. Стихотворенія. 1841—1885. Изданіе Ж. А. Полонской. Спб. 1885.

Первый томъ сочиненій нашего симпатичнаго поэта, Я. П. Полонскаго, заключаетъ въ себѣ преимущественно лирическія его произведенія, расположенныя въ хронологическомъ порядкѣ. Все изданіе будетъ состоять изъ десяти томовъ. Имя автора издавна пользуется заслуженнымъ сочувствіемъ читающей публики, и настоящее „Полное собраніе" его сочиненій не пройдетъ конечно незамѣченнымъ со стороны любителей русской поэзіи.

Словарь практическихъ свѣденій, необходимыхъ въ жизни всякому. Изданіе д-ра Л. Симонова. Выпуски 4—5. Спб. 1885.

Полезное изданіе д-ра Симонова, доведенное теперь до буквы к, продолжается съ успѣхомъ и будетъ вѣроятно закончено въ скоромъ времени. Отдѣлъ сельско-хозяйственныхъ свѣденій редактируется профессоромъ Бекетовымъ и отличается полнотою и обстоятельностью обработки; весьма подробны также указанія и справки юридическія, составленныя г. Гольмстеномъ. Только цѣна изданія кажется намъ не вполнѣ общедоступною, сравнительно съ иностранными предпріятіями подобнаго рода: два небольшіе выпуска стоятъ 2 р. 50 к.

Архивъ князя Воронцова. Книга тридцать первая. Москва. 1885.

Въ настоящій томъ „Архива" вошли документы, обнимающіе періодъ времени отъ 1758 до 1785 года,—а именно письма графа Романа Воронцова къ его старшему сыну, переписка государственнаго канцлера графа Михаила Воронцова съ племянникомъ, нѣкоторыя письма къ графу Панину, къ Императрицѣ Екатеринѣ II и др. Нечего и говорить о важномъ значеніи этихъ документовъ, освѣщающихъ придворную и политическую жизнь Россіи къ одну изъ наиболѣе любопытныхъ эпохъ новѣйшей ея исторіи.

Методы изслѣдованія низшихъ организмовъ. Л. Гейденрейха. 2-е изданіе. Спб. 1885.

Изученіе низшихъ организмовъ сдѣлало въ послѣдніе годы такіе громадные успѣхи и получило такое важное практическое значеніе, что понадобились спеціальныя руководства для указанія способовъ и пріемовъ изслѣдованія, сообразно нынѣшнему состоянію этой отрасли науки. Трудъ д-ра Гейденрейха, вышедшій вторымъ значительно дополненнымъ изданіемъ, представляетъ собою обстоятельный трактатъ по этому предмету для врачей, естествоиспытателей, ветеринаровъ, студентовъ и др. При составленіи этого труда автору „помогали совѣтомъ и дѣломъ" извѣстные европейскіе ученые—Пастеръ и Дюкло въ Парижѣ, Кохъ въ Берлинѣ, Негели и Цимсенъ въ Мюнхенѣ.

Отчетъ по главному тюремному управленію за 1883 годъ. (Изданіе главнаго тюремнаго управленія). Спб. 1885.

Объемистая книга, изданная главнымъ тюремнымъ управленіемъ, содержитъ въ себѣ массу статистическихъ данныхъ о состояніи нашихъ тюремъ и ихъ обитателей за 1883 годъ. Между прочимъ въ этомъ отчетѣ обращаютъ на себя вниманіе подробныя свѣденія о санитарныхъ условіяхъ мѣстъ заключенія, о движеніи болѣзненности и смертности среди арестантовъ и др.

1885 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ. Выпускъ I. Спб. 1885.

Департаментъ земледѣлія и сельской промышленности дѣлаетъ у насъ очень много для изученія потребностей и условій русскаго сельскаго хозяйства; цѣнныя оффиціальныя изданія, предпринятыя департаментомъ, не разъ уже указывались въ нашемъ журналѣ и были между прочимъ разобраны въ особой статьѣ, помѣщенной въ майской книгѣ за текущій годъ. Изданный нынѣ сборникъ свѣденій за 1885 годъ составленъ на основаніи сообщеній, полученныхъ отъ 2,700 хозяевъ съ разныхъ концовъ Россіи; матеріалы распредѣлены по губерніямъ, причемъ предпосланы краткіе общіе выводы о видахъ на урожай, объ измѣненіи площади посѣвовъ и состояніи рабочаго рынка, а также обзоры погоды въ теченіе зимы и весны. Въ концѣ книги помѣщены свѣденія о видахъ на урожай за границею.

Полный курсъ коммерческой корреспонденціи. С. М. Барацъ. Спб. 1885.

Громадный томъ въ 872 страницы, составленный г. Барацемъ, долженъ служить руководствомъ для воспитанниковъ С.-Петербургскаго коммерческаго училища при „теоретическомъ и практическомъ изученіи корреспонденціи по банковому, товарному, торгово-промышленному, поземельно-кредитному, желѣзно-дорожному и страховому дѣлу". Въ книгѣ приведено около 1600 образцовъ писемъ, относящихся ко всѣмъ этимъ родамъ практической дѣятельности.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

НА 1885 Г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

	Годъ:	Полгода:	Четверть:		Годъ:	Полгода:	Четверть:
Безъ доставки. . .	15 р. 50 к.	8 р.	4 р.	Съ пересылкою . .	17 „ — „	10 „	6 „
Съ доставкою . . .	16 „ — „	9 „	5 „	За-границей	19 „ — „	11 „	7 „

Нумеръ журнала отдѣльно, съ доставкою и пересылкою, въ Россіи — 2 р. 50 к., за-границей — 3 руб.

☛ Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою. ☚

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7, и 2) въ ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелье, на Невскомъ проспектѣ;—въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ И. Печковской, Петровскія линіи.—Иногородные обращаются по почтѣ въ редакцію журнала: Спб., Галерная, 20, а лично—въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскимъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, и тѣмъ изъ иногородныхъ и иностранныхъ, которые вмѣстѣ подписную сумму *по почтѣ* въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адреса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (NB) *допущена* выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адресса просятъ извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адресса изъ городскихъ въ иногородные доплачивается 1 р. 50 к., изъ иногородныхъ въ городскіе—40 коп.; и изъ городскихъ или иногородныхъ въ иностранные — недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ по государствамъ.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера журнала.

Билеты на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногородныхъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: **М. Стасюлевичъ.**

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ-ПОЛИТИКИ

ЛИТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 10-я.

ОКТЯБРЬ, 1885.

ПЕТЕРБУРГЪ.

КНИГА 10-я. — ОКТЯБРЬ, 1885.

Стр.

I.—РЕФОРМАЦІЯ И КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦІЯ ВЪ ПОЛЬШѢ.—V. Борьба за политическую реформу и религіозную свободу, и вопросъ о національномъ соборѣ.—VI.—Полное разновѣрство, попытки его организаціи и унія между протестантскими исповѣданіями.—VII.—Крайнее направленіе польской реформаціи.—**П. П. Карѣева** 433

II.—ВСЕСОСЛОВНАЯ СЕМЬЯ.—Разсказъ.—IV—X.—**Н. Д. Ахшарумова** 480

III.—БЕРЛИНЪ, КАКЪ СТОЛИЦА ГЕРМАНІИ.—Воспоминанія Брандеса.—Перев. съ датскаго.—**Г.** 535

IV.—МОЯ ЖЕНИТЬБА.—Записки В. И. Матвѣева.—I.—**О. С. Стулли** 571

V.—НАПОЛЕОНЪ I, по новымъ изслѣдованіямъ.—**П. Д.** 621

VI.—ВЪ ПАНЦЫРѢ ВЕЛИКАНА. — Романъ Ф. Ансти. — Съ англійскаго. — IX-XVII.—**А. Э.** 668

VII.—РАЗБОРЪ ПОСЛѢДНЯГО ТРУДА К. Д. КАВЕЛИНА: „Задачи этики“.—**В. Д. Спасовича** 717

VIII.—ПОЭТЫ ДВУХЪ ПОКОЛѢНІЙ.—**К. К. Арсеньева** 757

IX.—ОБЗОРЪ МАЛОРУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ.—III.—Н. И. Костомаровъ.—**А. Н. Пыпина** 777

X.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Новый фазисъ вопроса объ административной реформѣ.—„Улучшеніе мѣстныхъ учрежденій“, разсматриваемое съ спеціально-сословной точки зрѣнія. — Охраненіе à outrance и такая же ломка. — „Соединеніе властей“ и сословное земство, какъ главныя основанія „улучшеній“. 800

XI.—ПИСЬМА ИЗЪ МОСКВЫ.—**Wz.** 822

XII.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Болгарское „возсоединеніе“, и его предполагаемая связь съ политикою трехъ имперій.—Роль князя Александра и мѣстныхъ патріотовъ.—Отношеніе европейскихъ державъ, иностранной и нашей реакціонной печати къ совершившемуся перевороту. 841

XIII.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Съ русскими паломниками на Святой Земл весною 1884 года, А. В. Елисѣева.—**А. В.** 86

XIV.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ. — Исполненіе новаго университетскаго устава.—Правила о зачетѣ полугодій и объ экзаменныхъ требованіяхъ правительственныхъ коммиссій.—Регламентація студенческихъ занятій и профессорскихъ лекцій. — Вопросъ о дерптскомъ университетѣ.—По адрессу „Московскихъ Вѣдомостей“ 1

XV.—ИЗВѢЩЕНІЕ.—Отъ Общества Любителей Россійской Словесности 879

XVI.—БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. — Геродотъ. Исторія въ девяти книгахъ, О. Г. Мищенко.—Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи по вѣкамъ, Я. Г. Гуревича.—Переходъ Россіи къ регулярной арміи, П. О. Бобровскаго.—Введеніе въ общее языкознаніе, А. Шитта.

ОБЪЯВЛЕНІЯ см. ниже: XVI стр.

Объявленіе объ изданіи журнала „Вѣстника Европы“ въ 1886 г., см. ниже, на оберт

ОСТ 261885

РЕФОРМАЦІЯ

и

КАТОЛИЧЕСКАЯ РЕАКЦІЯ ВЪ ПОЛЬШѢ

V *).

Борьба за политическую реформу и религіозную свободу, и вопросъ о національномъ соборѣ.

Неудача политической программы шляхты и вопросъ объ элекціи.—Поведеніе Сигизмунда-Августа во время борьбы противъ церковнаго суда.—Характеръ борьбы за религіозную свободу.—Мѣры короля противъ новоевѣрія.—Установленіе фактической религіозной свободы въ Польшѣ.—Мысль о королевской реформаціи.—Вопросъ о національномъ соборѣ.—Столкновенія короля въ Римомъ и бракоразводный вопросъ.—Сеймъ 1570 года и смерть Сигизмунда-Августа.

Черезъ четыре года по вступленіи Сигизмунда-Августа на престолъ, началась политическая роль протестантской шляхты: мы говоримъ объ извѣстныхъ уже читателю сеймахъ между 1552 и 1565, на которыхъ велась ожесточенная борьба шляхты съ духовенствомъ, продолженіе старой сословной борьбы, вступившей въ новый фазисъ [1]). Этотъ новый фазисъ—осложненіе вопроса объ отношеніи между двумя сословіями, съ одной стороны, требованіемъ „экзекуціи правъ“, съ другой, требованіемъ религіозной свободы и національнаго собора, т.-е. программами политической и религіозной. Сигизмунду-Августу пришлось рѣшать

*) См. выше: сентябрь, 5 стр.
1) См. выше главу III.

самые жизненные вопросы, но онъ не оказался на высотѣ своего призванія: политическая программа сеймовъ этой эпохи потерпѣла фіаско отчасти отъ его недальновидности и нерѣшительности, національный соборъ, котораго требовали отъ него и который онъ обѣщалъ, такъ-таки и не состоялся, своей безтактностью онъ затягивалъ споръ шляхты и духовенства, а религіозная свобода установилась въ Польшѣ, нашедши въ немъ заразъ и помощника, и противника.

Требованія шляхты были слѣдующія. Во-первыхъ, она домогалась возвращенія „коронныхъ имуществъ", розданныхъ прежде панамъ, и исполненія статута 1504 г., который запрещалъ такую раздачу: это должно было снова обогатить казну и нанести ударъ не малому количеству „можновладческихъ фортунъ", какъ выражается Бобржинскій, и въ связи съ этимъ находились реформы финансовая, военная и административная. Для такой программы необходимо было содѣйствіе короля, въ которомъ шляхта видѣла, кромѣ того, естественнаго своего союзника въ борьбѣ съ духовенствомъ и Римомъ, мѣшавшимъ реформѣ церкви,— это во-вторыхъ. Третьей идеей шляхты была унія съ Литвой, совершившаяся въ 1569 г. Не нужно думать, что въ этомъ отношеніи сеймы пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ выражали желаніе всей шляхты: это была сравнительно небольшая кучка людей болѣе образованныхъ, съумѣвшихъ занять выдающееся положеніе въ обществѣ, заслужить его довѣріе и постепенно освободиться отъ тѣхъ mandats impératifs, которые раньше сеймики давали высылаемымъ ими въ посольскую избу посламъ; эта кучка, враждебная духовенству, высылается каждый разъ на сеймы и здѣсь старается провести свою программу, и главное ядро ея составляютъ протестанты. Въ числѣ ихъ на сеймѣ 1552 года появляется нововѣръ Рафаилъ Лещинскій, который для того, чтобы имѣть право быть посломъ, отказался отъ должности брестскаго воеводы и черезъ это сдѣлался весьма популярнымъ въ шляхтѣ. Вся программа ихъ должна была идти подъ флагомъ „экзекуціи правъ", т.-е. исполненія прежнихъ законовъ, которому мѣшала оппозиція магнатовъ. Послѣднимъ экзекуція была, конечно, не по нутру, и они всячески дѣйствовали на короля, внушая ему мысль о необходимости непосредственнаго обращенія къ сеймикамъ, на коихъ они всегда могли устроить для себя большинство. Но сеймики снова выслали тѣхъ же пословъ. Начались дебаты объ этой экзекуціи, но помимо того, что ей мѣшалъ споръ шляхты съ духовенствомъ, король самъ откладывалъ рѣшеніе дѣла съ сейма на сеймъ, да и многіе его поступки,

какъ увидимъ ниже, только разжигали взаимную вражду епископовъ и посольской избы. Въ 1558—59 гг. Сигизмундъ-Августъ стоялъ за то, чтобы сеймъ былъ отложенъ и чтобы вопросъ объ „экзекуціи правъ“ былъ соединенъ съ вопросомъ религіознымъ, хотя отмышлялъ отъ рѣшенія послѣдняго и потомъ скрывался за принципомъ, что онъ не судья въ дѣлахъ вѣры. Между тѣмъ, послы земскіе постепенно пріучились къ мысли о необходимости отдѣлить одно отъ другого, и выразили это въ прощальной рѣчи королю: соединяютъ религіозный вопросъ съ экзекуціей и духовной юрисдикціей, но это значитъ, чтобы ни то, ни другое никогда до конца не дошло, „ибо кто не знаетъ, что уже нѣсколько вѣковъ этотъ религіозный вопросъ между людьми не можетъ быть оконченъ, и если ожидать его разрѣшенія и съ нимъ вмѣстѣ окончить наши общественныя дѣла, то никогда ни тому, ни другому конца не будетъ въ этомъ взаимномъ поджиданіи“. А раньше тотъ же Сигизмундъ-Августъ на сеймѣ 1555 года выразилъ посламъ неудовольствіе, когда зашла рѣчь о національномъ соборѣ, о которомъ онъ самъ только говорилъ, и по порученію посольской избы Оссолинскій поставилъ ему на видъ, что самъ же онъ поднялъ этотъ вопросъ, а теперь съ нарушеніемъ правъ земскихъ пословъ велитъ его оставить и перейти къ другимъ дѣламъ. Заводилась на этихъ сеймахъ и рѣчь о королевской элекціи, о вопросѣ важномъ въ виду возможности прекращенія династіи и въ виду религіозныхъ споровъ: шляхта указывала на опасность со стороны папскаго вмѣшательства въ дѣло черезъ епископовъ, ибо Римъ будетъ указывать на кандидата безъ вниманія къ интересамъ государства. Посольская изба 1558—59 г. составила проектъ объ элекціи, на который послѣдовалъ такой отвѣтъ, что „лучше и полезнѣе поручить это Господу Богу“, оставаясь при старомъ порядкѣ, въ сущности неопредѣленномъ и не соотвѣтствовавшемъ новымъ обстоятельствамъ. Такъ и не было ничего предпринято, и Сигизмундъ-Августъ только изнывалъ о томъ, что у него нѣтъ сына, страстно, до какой-то маніи, мечталъ о наслѣдникѣ, думалъ о разводѣ, о четвертомъ бракѣ и ни на что не рѣшался. Между тѣмъ, на сеймѣ 1565 г. произошла сцена, въ которой уже намѣчалась почва борьбы, имѣвшей наступить лѣтъ черезъ 7—8. Николай Сѣницкій, протестантъ, заявилъ: ихъ милости ксендзы уже хлопочутъ о такомъ королѣ, который былъ бы удобенъ имъ и ихъ юрисдикціи. Примасъ (Уханскій) отрицать этого не сталъ.—„Но вѣдь вы безъ насъ ничего не можете сдѣлать“, возразилъ Сѣницкій. Тогда Уханскій спросилъ: „неужели же мы

будемъ стараться о такомъ, какой вамъ, а не намъ нуженъ?" Протестантскій посолъ на это отвѣчалъ, что они, т.-е. его товарищи и шляхта вообще, выберутъ такого, какой имъ самимъ, а не ксендзамъ нуженъ. Только во второй половинѣ своего царствованія Сигизмундъ-Августъ сталъ склоняться къ программѣ шляхты, но нерѣшительно, и въ это время земскіе послы сдѣлали нѣкоторыя постановленія, которыя вредны были для городовъ и промышленности съ торговлею [1]). Въ общемъ король не умѣлъ воспользоваться политической программой сеймовыхъ пословъ для усиленія своей власти противъ духовной и свѣтской аристократіи. Не смотря на все своекорыстіе по отношенію къ городамъ, не смотря на преобладаніе сословнаго элемента въ борьбѣ съ духовенствомъ, посольская изба имѣла планъ, который долженъ былъ и внести больше порядка въ веденіе государственныхъ дѣлъ: во-первыхъ, сеймъ долженъ былъ получить окончательное преобладаніе надъ сеймиками, а послы имѣть совершенныя полномочія отъ шляхты; во-вторыхъ, изба желала утвердить фактически уже установлявшееся рѣшеніе дѣлъ большинствомъ голосовъ; въ-третьихъ, она проводила идею, что сенатъ только совѣтъ короля безъ самостоятельнаго значенія, такъ что король можетъ идти и съ меньшинствомъ [2]). Что же дѣлалъ Сигизмундъ-Августъ? Онъ обращался на сеймики или къ сенату, противъ посольской избы, или указывалъ на то, что не вся изба поддерживаетъ программу и такимъ образомъ внушалъ часто незначительному меньшинству пословъ мысль о возможности сопротивляться большинству. Мало того: въ виду полнаго разстройства администраціи въ государствѣ, шляхта въ 1565 г. предложила Сигизмунду-Августу завести въ каждомъ повѣтѣ своего инстигатора, который распоряжался бы военной силой, имѣлъ надзоръ за всѣми чиновниками и за исполненіемъ королевскихъ приказовъ и доводилъ до свѣденія короля обо всѣхъ безпорядкахъ въ администраціи; но достаточно было оппозиціи въ сенатѣ противъ такого проекта, чтобы Сигизмундъ-Августъ упустилъ изъ рукъ то, что̀ ему самому давалось для усиленія его власти посредствомъ этой новой формы централизаціи государства. А подъ конецъ и сама шляхта стала уже побаиваться усиленія власти, когда среди протестантовъ начало господствовать сектантство, и должно было естественно явиться опасеніе, что первое сильное правительство первымъ дѣломъ обратится противъ нихъ же самихъ, и сеймъ 1570 г. пошелъ уже

[1]) См. выше главу II.

[2]) Bobrzynski, II, 94.

по совсѣмъ другой дорогѣ, противясь и дальнѣйшимъ реформамъ финансовъ, начатымъ раньше, и опредѣленію порядка, въ которомъ долженъ былъ происходить выборъ короля, а послѣднее имѣло важное значеніе въ виду того, что у Сигизмунда Августа не было наслѣдника [1]). Такъ пала политическая программа шляхты, въ продолженіе двухъ десятилѣтій занимавшая сеймы Рѣчи Посполитой. Мы видѣли, что помѣху для нея составляли шедшая своимъ порядкомъ борьба шляхты съ духовенствомъ и религіозная распря, но только пассивное упрямство Сигизмунда-Августа не дало осуществиться этой программѣ: болѣе дальновидный и рѣшительный политикъ овладѣлъ бы этимъ движеніемъ, подчинилъ бы ему рѣшеніе другихъ вопросовъ и воспользовался бы имъ для дѣйствительной „направы", въ которой такъ и нуждалась, дѣйствительно, Рѣчь Посполитая XVI вѣка. Сеймамъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ пришлось бороться за свою политическую программу съ самимъ королемъ, но если эта программа вносила „направу" въ политическій строй Польши, суля ей лучшую организацію правительства и сейма, то въ сферѣ соціальныхъ и экономическихъ интересовъ шляхта ставила на первый планъ самое себя въ прямой ущербъ остальному населенію.

На первый планъ ставила она только себя, добиваясь религіозной свободы, вопросъ о которой разрѣшился извѣстными намъ постановленіями сеймовъ 1562—63 и 1565 годовъ, запретившими свѣтскимъ властямъ приводить въ исполненіе приговоры церковныхъ судовъ, объявленіе которыми кого-либо еретикомъ влекло за собою важныя гражданскія послѣдствія [2]). Далось это не безъ борьбы, и борьба эта велась полтора десятка лѣтъ отчасти только благодаря поведенію Сигизмунда-Августа въ религіозномъ вопросѣ: онъ усложнялъ ее крайнею непослѣдовательностью въ своихъ отношеніяхъ къ реформаціонному движенію, не имѣя никакой опредѣленной идеи и подчиняясь самымъ разнороднымъ личнымъ вліяніямъ и просьбамъ, либо поступая такъ или иначе по соображеніямъ случайнаго и мимолетнаго свойства. Трудно другимъ образомъ объяснить ту путаницу, которую представляютъ изъ себя всѣ исходившіе отъ него акты.

Возьмемъ прежде всего его поведеніе въ спорѣ о церковной юрисдикціи. Не говоря уже о томъ, что вопросъ по обыкновенію откладывался съ одного сейма до другого, Сигизмундъ-Августъ

---

[1]) Тамъ-же, 95—96, 105.

[2]) См. выше главу III.

вѣчно колебался и мѣнялъ взгляды. На сеймѣ 1552 г. онъ думалъ удовлетворить и духовенство, и шляхту, заявивъ, что за епископами остается судъ de haeresi, но безъ права дѣлать постановленія о чести и имуществѣ шляхтича. На одну просьбу земскихъ пословъ онъ, махнувъ рукой, отвѣчалъ: „ну, хорошо“ (fiat), но отказался издать въ этомъ смыслѣ декретъ. По тому же вопросу о судѣ на сеймѣ 1553 г. онъ объявлялъ уже, что это не его дѣло: онъ послалъ къ папѣ посла и ждетъ отвѣта, а между тѣмъ на сеймѣ 1555 г. онъ обѣщалъ созвать въ Польшѣ соборъ безъ позволенія даже папы, но откладывалъ его до болѣе удобнаго времени. Подобная отсрочка была сдѣлана на сеймѣ 1556 г. для того же вопроса о церковной юрисдикціи. Приходитъ время сейма 1558—59 г.: сначала дается обѣщаніе запретить духовнымъ панамъ чинить какіе-либо суды, пока не закончится „экзекуція правъ“, а въ концѣ концовъ новая отсрочка до слѣдующаго сейма. Посольская изба 1562—63 проситъ, чтобы приговоры церковныхъ судовъ не приводились въ исполненіе старостами, на что король соглашается, оговариваясь, что этимъ онъ не ломаетъ правъ ксендзовъ, но въ документѣ, который у него вынудили земскіе послы, представивъ ему и проектъ грамоты, замѣняетъ слово постановляемъ (ustawiamy, терминъ сеймовой конституціи) словомъ приказываемъ (rozkazujemy) терминъ простого эдикта). Послы были недовольны, но король ихъ успокоилъ, давъ въ сущности епископамъ поводъ не смотрѣть на постановленіе, какъ на сеймовую конституцію. Тутъ же послы просили его кассировать одинъ декретъ, выпрошенный у него раньше духовенствомъ противъ вольности шляхетской, но король объяснилъ, что онъ самъ не смотритъ на этотъ декретъ, какъ на статутъ, и что такъ какъ онъ не вписанъ въ конституціи, то нѣтъ и надобности его кассировать особой конституціей. Послѣднюю просьбу посольская изба повторила на второмъ сеймѣ 1563 г., такъ какъ духовные все еще ссылаются на этотъ декретъ, но тутъ Сигизмундъ-Августъ отвѣтилъ, что некогда этимъ заниматься, а духовенству, обратившемуся къ нему съ просьбой объяснить постановленіе предъидущаго сейма въ благопріятномъ для себя смыслѣ, очень уклончиво отвѣчалъ, что оно и не нарушаетъ его правъ. Когда на сеймѣ 1565 г. посольская изба, поддерживаемая даже примасомъ Уханскимъ, мечтавшимъ объ отложеніи отъ Рима, стала просить о созваніи національнаго собора, Сигизмундъ-Августъ прибѣгъ къ обычному своему средству, отложивъ „на иное время о томъ делиберацію“. Сопоставляя сказанное королемъ на сеймѣ 1552 г. съ его отвѣтами шляхтѣ и епископамъ на сеймахъ 1563 г.

можно сдѣлать предположеніе о томъ, какъ думалъ онъ о церковномъ судѣ, т.-е., что его мысль соотвѣтствовала рѣшенію сейма 1562—63 гг., но въ десять слишкомъ лѣтъ онъ не находилъ лучшаго средства рѣшать вопросъ, какъ откладывая „на иное время о томъ делиберацію“.

Эта борьба противъ церковной юрисдикціи была въ сущности борьбой и за религіозную свободу. Но шляхта, отстаивая ее для своихъ единовѣрцевъ, въ сущности смотрѣла на нее не съ точки зрѣнія „droit de l' homme“, а съ точки зрѣнія „droit du citoyen“, причемъ религіозная свобода дѣлалась одной изъ шляхетскихъ только вольностей: если на одномъ изъ сеймовъ ея послы не соглашались на то, чтобы ея „подданные“ оставались подъ епископскимъ судомъ, то объясняли это нежеланіемъ, чтобы надъ этими „подданными“ была еще „чужая власть“. Позднѣе шляхта формулировала нѣчто въ родѣ германскаго „cujus regio, ejus religio“, а на практикѣ давно такъ было: отстаивая свою свободу въ дѣлахъ вѣры, шляхтичъ реформировалъ костелъ въ своемъ имѣніи, а прежніе его прихожане—„подданные“, конечно—либо страха ради ходили въ „сборъ“, который имъ былъ несимпатиченъ, либо тайкомъ бѣгали въ сосѣднее село, гдѣ костелъ оставался „непрофанированнымъ“, и, заплативъ пану забранную имъ у церкви десятину, тайкомъ давали ее и ксендзу. Тѣмъ не менѣе къ чести болѣе интеллигентной шляхты, выступившей на сеймахъ, нужно сказать, что иногда въ ихъ рѣчахъ слышалось болѣе высокое пониманіе религіозной свободы, до котораго додумывались немногіе протестанты XVI вѣка. Вотъ примѣры. Нѣсколько разъ представители посольской избы заявляли, что слову божію должна быть дана свобода, и уже въ 1548 г. говорили, что „особенно стало бы рыцарство благодарить Господа Бога, еслибы о каждомъ то писало и вольно каждому говорило, къ чему когда далъ причину и даетъ по сей день“. На сеймѣ 1555 г. шляхта просила: пусть будетъ дозволено ей „и всякому иному“ имѣть какихъ кто хочетъ капелановъ, а епископы не должны мѣшать имъ проповѣдывать чистое (scziге, т.-е. szczere) слово Божіе. „По-истинѣ,—заявлялъ подканцлеръ Петръ Мышковскій на сеймѣ 1565 г.,—по-истинѣ я желаю, чтобы каждый хорошо вѣрилъ. Я самъ скорѣе готовъ лишиться жизни, чѣмъ отступить отъ своей вѣры. Но пусть различное разумѣніе св. писанія не расторгаетъ любви между нами, пусть одинъ надъ другимъ не насмѣхается, а каждый остается при своемъ разумѣніи. Мы уже видѣли, что дѣлалось у нѣмцевъ и во Франціи: пока одни другихъ ругали, были у нихъ непокои великіе, избѣгая которыхъ оставили они

каждому вольное разумѣніе и, такъ между собою миръ установивши, пребываютъ въ согласіи". Въ прощальной рѣчи, которою маршалокъ обыкновенно привѣтствовалъ короля въ концѣ засѣданій посольской избы, на этомъ же сеймѣ Николай Сѣницвій бросилъ камень въ огородъ Сигизмунда-Августа по поводу такъ называемыхъ парчовскихъ эдиктовъ, коими, какъ мы увидимъ, изгонялись чужеземцы, могущіе „turbare Rempublicam Короны польской": „не безъ причины,—говорилъ онъ,—Господь Богъ такъ раздѣлилъ королевства..., чтобы человѣкъ, притѣсняемый въ одномъ государствѣ, могъ найти убѣжище въ другомъ сосѣднемъ королевствѣ". Дѣйствительно, благодаря шляхтѣ въ Польшѣ установилась такая религіозная свобода, что Рѣчь Посполитая сдѣлалась убѣжищемъ для гонимыхъ за вѣру въ другихъ странахъ.

Установленіе этой свободы встрѣтило со стороны Сигизмунда-Августа помѣху, но не противодѣйствіе. Когда прибыли въ Великую Польшу въ 1548 г. братья чешскіе и были хорошо приняты генералъ-старостою великопольскимъ Андреемъ Гуркою, познанскій епископъ выхлопоталъ у короля приказъ объ ихъ удаленіи, распространенный и на королевскую Пруссію, куда было направились братья. Въ 1550 г. Сигизмундъ-Августъ выдалъ примасу Дзѣржговскому привилегію такого содержанія: единство вѣры будетъ поддерживаться, а отступники не только не будутъ приниматься въ сенатъ и получать должности и староства, но испытаютъ на себѣ строгость законовъ, грозящихъ за ересь безчестіемъ и изгнаніемъ,—и это подтверждалось эдиктомъ на имя старостъ наказывать принадлежащихъ къ сектамъ по законамъ. Около того же времени онъ послалъ въ Римъ увѣренія въ томъ, что будетъ твердо держаться истинной вѣры. Это не помѣшало королю дружить съ протестантами и назначать ихъ на важныя должности, а также читать „еретическія" книжки съ однимъ изъ членовъ краковскаго кружка, Лисманини, не скрывавшимъ своихъ убѣжденій. Созывая сеймъ 1555 г., онъ обратился къ шляхтѣ приблизительно съ такими словами: въ государствѣ отъ вольномыслія происходитъ анархія, а потому онъ рѣшилъ искоренить это бѣдствіе согласно съ волею „вашихъ милостей" (dominationum vestrarum) и по совѣту сенаторовъ [1]). На самомъ сеймѣ онъ держалъ себя такъ, что потомъ оправдывался передъ папой, что не строго дѣйствуетъ противъ „ерети-

[1]) Мысль о политической опасности отъ нововѣрія Сиг. Авг. высказалъ раньше въ инструкціи Андрею Чарыковскому, посланному къ Фердинанду I по дѣлу выбора папы (1549), и въ письмѣ къ Карлу V (1554). См. Dyar. Sejm. когоп. 1548, 53 і 70 г., стр. 92 и 102.

ковъ", опасныхъ и въ политическомъ отношеніи: опасно раздражать шляхту въ виду московской войны, и есть люди, которые совѣтуютъ умѣренность, какъ лучшее средство для успокоенія и примиренія умовъ. На сеймѣ этомъ именно онъ обѣщалъ созвать національный соборъ и даже чрезъ сенаторовъ принималъ участіе въ выработкѣ ими и делегатами отъ посольской избы особыхъ пунктовъ, дозволявшихъ каждому держать у себя въ домѣ и въ церкви какихъ угодно капелановъ, а послѣднимъ служить по какому угодно обряду, причащать sub utraque и жениться, причемъ судебная власть епископовъ уничтожалась. Сигизмундъ-Августъ далъ свое согласіе на эти пункты, по каждому изъ коихъ сенаторы совѣщались съ нимъ раньше, но въ законъ ихъ не превратилъ, хотя и сдѣлалъ протестантамъ уступку: до собора сохраняется status quo, протестанты были вольны держаться своей вѣры, но запрещается распространять реформацію. Такія уступки и вообще отсрочки духовной юрисдикціи, конечно, способствовали распространенію протестантизма. На соборъ Сигизмундъ-Августъ не рѣшился, но просилъ, однако, позволенія на него у новаго папы, Павла IV, вмѣстѣ съ польскимъ богослуженіемъ, утраквизмомъ и бракомъ священниковъ. И вдругъ въ 1556 году король возобновляетъ запрещеніе своего отца печатать еретическія книжки, даетъ старостамъ познанской епархіи приказъ не дозволять въ городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ королевскихъ никакихъ новшествъ и изгонять всѣхъ еретиковъ оттуда, а генералъ-старостѣ велико-польскому даетъ мандатъ, гдѣ говорится, что даже на сеймѣ не было королевской воли на исполненіе протестантами ихъ обрядовъ, и предлагается примѣнять велюнскій эдиктъ 1424 г., приравнивавшій ересь къ государственной измѣнѣ. Старосты, между тѣмъ, думали, что имъ въ „крулевщизнахъ" принадлежало такое же право, какимъ съ 1555 г. шляхта пользовалась въ своихъ имѣніяхъ. На сеймѣ 1556 г. король очутился между двухъ огней: шляхта жаловалась на суровыя мѣры, а епископы и папскій нунцій Липомано говорили Сигизмунду-Августу, что онъ даетъ поводъ подозрѣвать себя въ ереси, не дѣйствуя энергично противъ нововѣрія. Тогда король придумалъ варшавскій эдиктъ 1557 г., запрещавшій религіозныя нововведенія до новаго сейма подъ страхомъ обвиненія въ государственной измѣнѣ: отождествляя дѣло религіи съ своимъ, онъ хотѣлъ угодить епископамъ, а шляхтѣ угодить подчиненіемъ вопроса свѣтскимъ судамъ и запрещеніемъ одного распространенія реформаціи. На сеймѣ 1562—63 г. Сигизмундъ-Августъ взялъ назадъ этотъ эдиктъ, оговорившись, что въ формальной его от-

мѣнѣ нѣтъ надобности, такъ какъ самъ онъ не считаетъ его за статутъ, и дѣйствительно, всѣ вызовы въ судъ по этому эдикту были отмѣнены. Передъ папскимъ легатомъ Коммендоне онъ оправдывался, что трудно знать, кто еретикъ, кто католикъ, но и самый эдиктъ 1557 г. не давалъ того, что было обѣщано Дзѣржговскому семью годами раньше. Одно обстоятельство, однако, напугало короля: одинъ авантюристъ, Гераклидъ, подбилъ двухъ „аріанъ", Лясоцкаго и Филипповскаго, помочь ему завладѣть Валахіей, обѣщая имъ распространить тамъ ихъ вѣру, а тѣ собрали деньги и войско. Тогда король послалъ сказать епископамъ на синодъ варшавскій 1561 г.: нововѣры думаютъ только о бунтахъ, ждите отъ меня поддержки, — но тотъ же канцлеръ, который передавалъ эти слова, совѣтовалъ епископамъ, отъ имени Сигизмунда-Августа, воздержаться отъ преслѣдованій и потерпѣть отъ чинимыхъ имъ обидъ. Синодъ сталъ просить изгнать изъ Польши всѣхъ иноземныхъ еретиковъ, а свѣтскіе сенаторы изъ кальвинистовъ — изгнать антитринитаріевъ. Два эдикта 1564 г., извѣстные подъ названіемъ парчивскихъ, выгоняли изъ Польши всѣхъ чужестранныхъ еретиковъ и запрещали всякое, „особливо людямъ низшаго стана", общеніе съ ересью, преимущественно антитринитарскою, но безъ опредѣленія наказанія. Эти эдикты не помѣшали королю поступать совсѣмъ иначе: за чешскихъ братьевъ заступились нѣкоторыя вліятельныя лица, и не только для нихъ было сдѣлано изъятіе, но имъ дана была королемъ привилегія въ видѣ иммунитета для познанскихъ имѣній Остророга, ихъ покровителя. Въ 1566 г. кальвинисты выхлопотали декретъ объ изгнаніи изъ страны всѣхъ аріанъ и анабаптистовъ,— доказательство, что полной религіозной терпимости не было у польскихъ протестантовъ,—но потомъ Сигизмундъ-Августъ взялъ назадъ этотъ декретъ по настоянію папскаго нунція Руджіери, доказывавшаго необходимость не сортировать еретиковъ, а коли выгонять, такъ выгонять всѣхъ. На сеймѣ 1570 г. король объяснялъ свой поступокъ тѣмъ, что онъ—не судья въ дѣлахъ вѣры, но тутъ же онъ отказалъ протестантамъ уравнять ихъ съ католиками, хотя de facto существовала полная равноправность: это не мое дѣло, какъ бы говорилъ Сигизмундъ-Августъ, а впрочемъ, отложимъ это до слѣдующаго сейма. Такъ протестанты и не добились законной равноправности съ католиками, пользуясь совершенной религіозной свободой: король ей даже помогъ, не согласившись на изгнаніе антитринитаріевъ, котораго добивались кальвинисты, сенаторы и земскіе послы. Вообще въ Сигизмундѣ-Августѣ была и помѣха, но было и пособничество для распро-

страненія протестантизма въ Польшѣ. Вотъ два факта, аналогичныхъ которымъ много: въ 1568 г. онъ, по просьбѣ познанскаго епископа Конарскаго, закрываетъ лютеранскую школу въ его городѣ, а незадолго до смерти, по просьбѣ краковскихъ кальвинистовъ, даетъ охранную грамоту ихъ „сбору". На него вліяли событія вчерашняго дня, но особенно разныя лица, теребившія его въ разныя стороны, и всѣ его распоряженія pro и contra дѣлались по чьей-либо просьбѣ, о чемъ иногда остаются слѣды въ документахъ, выданныхъ изъ его канцеляріи. Онъ все старался откладывать до другого раза и хватался за разныя мысли, чтобы устранить себя: то онъ—не судья въ дѣлахъ религіи, то разновѣріе произошло по волѣ Божіей, а потому человѣческими средствами неустранимо (nullo humano consilio tolli potest). Эдикты издаются, не исполняются, берутся назадъ, и получается законодательство противорѣчивое, безъ общей идеи. Фактически существовала религіозная свобода и притомъ по милости короля бо́льшая, чѣмъ желали главные представители протестантизма, кальвинисты, но такъ-таки нововѣры и не добились обезпеченія за собой этой свободы какимъ-нибудь формальнымъ актомъ, который de jure уравнивалъ бы ихъ въ правахъ съ католиками. Нигдѣ въ Европѣ, гдѣ правительство оставалось католическимъ, протестанты не пользовались такой свободой, какъ въ Польшѣ, но добыли они ее не съ оружіемъ въ рукахъ, что́ заставило бы ихъ тѣснѣе сплотиться и добиться болѣе опредѣленнаго законодательства, а благодаря политиканству Сигизмунда-Августа, не имѣвшаго духа ни на laisser passer, laisser faire, ни на sic volo, sic jubeo. По смерти Сигизмунда-Августа польскіе протестанты очутились поэтому въ очень щекотливомъ положеніи: короля нѣтъ, страна не признаетъ ихъ ученія, католическая реакція подымаетъ голову, а у нихъ нѣтъ за собою никакого обезпеченнаго положительнымъ закономъ права.

Вопросъ о національномъ соборѣ, обѣщанномъ королемъ даже безъ соизволенія папы, такъ и остался вопросомъ. На соборъ этотъ давали согласіе и протестанты. „Мы,—говорили они—напр., на сеймѣ 1556 г.,—при своихъ мнѣніяхъ не стоимъ такъ упорно, чтобы не могли отступить отъ нихъ для лучшаго ученія, и даже о томъ просимъ, чтобы насъ лучше научили, собравши вольный соборъ христіанскій",—хотя на этомъ же сеймѣ послѣ заявили, что „ничего такого на шляхту не будетъ и не можетъ быть наложено, на что бы она добровольно не согласилась". Сигизмунда-Августа прямо приглашали протестанты взять реформу въ свои руки. Напр., на сеймѣ 1562—63 г. Оссолинскій въ одной

изъ своихъ рѣчей сказалъ королю, что если король, подобно св. царю Осіи, не реформируетъ церквей отъ идолопоклонства, то Богъ, не любящій кривды людской, не дастъ ему ничего хорошаго. Точно такъ же и на сеймѣ 1565 г. Николай Сѣницкій просилъ Сигизмунда-Августа исправить все по слову божію по примѣру св. царя Оссіи, „ибо не безъ причины Господь Богъ приказалъ королямъ во всякое время читать и стеречь законъ свой, чтобы отъ него ни направо, ни налѣво не отклонялись ни сами, ни ихъ подданные“: можетъ быть, Господь еще смилуется надъ Польшей ради тѣхъ людей, „колѣно которыхъ не сгибалось передъ Вааломъ“, и пусть на память потомства будетъ написано о королѣ, исполнившемъ волю Божію: non erat similis rex ante eum nec postea similis illi fuit. И внѣ сеймовъ протестанты приставали къ королю съ такими предложеніями: онъ даже ихъ благосклонно выслушивалъ, имѣя среди нихъ много пріятелей.

Была другая партія — католики, требовавшіе національнаго собора, намекъ на который еще въ серединѣ сороковыхъ годовъ мы находимъ въ реформаціонномъ планѣ Андрея Фрича Модржевскаго, требовавшаго широкаго участія польскаго общества въ общемъ для всѣхъ дѣлѣ религіи [1]), и тогда эта мысль понравилась королевичу Сигизмунду-Августу, нашла сторонниковъ въ духовенствѣ и сдѣлалась очень популярна среди шляхты. На сеймѣ 1555 г. о національномъ соборѣ уже всѣ серьезно говорили, и король, обѣщавшій созвать его безъ разрѣшенія папы, счелъ, однако, нужнымъ снестись съ нимъ по этому вопросу. Отъ этого епископы были не прочь: ихъ борьба противъ нововѣрія обусловливалась защитой своихъ сословныхъ интересовъ. Среди духовенства Уханскій, будущій примасъ Польши, былъ главнымъ сторонникомъ идеи и не прочь былъ повысить свое положеніе основаніемъ національной польской церкви, „костёла народоваго“. Большинство шумѣвшей и кричавшей шляхты, поддерживавшей явныхъ и рѣшительныхъ протестантовъ, собственно не было протестантскимъ: въ ней только было поколеблено правовѣріе, происходило броженіе идей, да никто хорошенько до окончанія Тридентскаго собора и не зналъ, что̀ католическое, что̀ еретическое. Католицизмъ видимо разлагается вездѣ, но что̀ выйдетъ изъ этого разложенія, никто хорошенько не зналъ, но всѣ ждали реформы. Партія легальной реформы церкви была весьма значительна и нашла такого выразителя своихъ мнѣній, какимъ былъ Андр. Фр. Модржевскій, написавшій въ началѣ пятидесятыхъ годовъ

[1]) См. выше главу IV.

книгу „De republica emendanda“, въ которой былъ трактатъ о церкви. Онъ проситъ предержащую власть усмирить и утишить волненіе. Напрасно ждетъ міръ вселенскаго собора. Тридентскій соборъ то открывается, то закрывается. Но пусть на настоящемъ соборѣ будутъ и міряне: религія—дѣло общее. Рѣшенія должны приниматься съ общаго согласія, а въ случаѣ несогласій нужно выбирать ученыхъ третейскихъ судей и въ концѣ концовъ между ними въ случаѣ ихъ разногласія одного, хотя бы по жребію. Но не нужно предоставлять рѣшенія папѣ: онъ не выше собора. Въ основу всего дѣла слѣдуетъ положить св. писаніе, а преданія и обычаи старины можно и отмѣнять. Цѣлая программа церковной реформы вошла въ сочиненіе Модржевскаго, и оно было переведено на многіе языки. Даже православныхъ и армянъ считалъ нужнымъ Модржевскій пригласить на этотъ „вселенскій“ соборъ. Многіе польскіе духовные посылали папѣ очень либеральные совѣты относительно Тридентскаго собора, и отъ Польши выбраны были даже послы (между прочимъ, Уханскій), готовые идти на компромиссы съ реформаціей, но новая отсрочка тридентскихъ засѣданій (1552) не дозволила имъ отправиться къ мѣсту назначенія. Недовольство ходомъ дѣла въ Тридентѣ только усиливало мысль о необходимости обойтись средствами національнаго собора, и потому онъ такъ занялъ всѣхъ на сеймѣ 1555 г., подымаясь и на слѣдующихъ сеймахъ. Притомъ въ концѣ этого „вселенскаго“ собора въ Тридентѣ не было законныхъ представителей Польши, которые имѣли бы полномочія отъ польскаго клира. Поэтому онъ долго и не хотѣлъ принять его постановленій, даже тогда, когда король ихъ принялъ, и по окончаніи Тридентскаго собора (1563) епископы польскіе все еще мечтали о своемъ „народовомъ“, такъ что папскимъ агентамъ стоило большихъ хлопотъ и трудовъ не допустить ихъ до этого: Уханскій съ середины шестидесятыхъ годовъ все добивался созванія провинціальнаго синода, но епископъ вармійскій Гозій и папскій нунцій Коммендоне, прибывшій въ Польшу около этого времени, боясь, какъ бы синодъ этотъ не превратился во что-либо другое, мѣшали замысламъ Уханскаго. И сеймъ 1565 г. требовалъ у короля устройства свободной христіанской бесѣды, но Сигизмундъ-Августъ въ послѣдніе годы дѣлался все болѣе и болѣе нерѣшительнымъ. Коммендоне убѣдилъ его не соглашаться на эту „христіанскую розмову“, и онъ отвѣтилъ, что не судья онъ въ дѣлахъ вѣры. Но пусть только король, не будучи судьей, посмотритъ, все ли въ его государствѣ согласно съ словомъ божіимъ, говорили земскіе послы и настаивали на своемъ; но король упря-

мился и отвѣчалъ, что такъ какъ они сами не согласны въ вѣрѣ, то лучше дѣло отложить до другого раза.

Это былъ важный моментъ, тѣмъ болѣе, что съ Римомъ грозилъ разрывъ по другому поводу. Изъ-за Уханскаго, стараго члена кружка краковскихъ вольнодумцевъ, у Сигизмунда-Августа давно происходили съ Римомъ недоразумѣнія. Сначала Уханскій былъ назначенъ на куявскую епископію, но папа его два года не хотѣлъ утверждать: король его поддерживалъ, поддерживала и шляхта на сеймѣ 1558 года. Затѣмъ въ 1562 г. Сигизмундъ-Августъ этого самаго епископа, нетвердаго въ строгомъ католичествѣ и сторонника національнаго собора, назначаетъ архіепископомъ гнѣзненскимъ, примасомъ королевства, и папа на этотъ разъ не противится. Можно подумать, что тутъ была тайная цѣль, но вышло вотъ что. Король былъ женатъ три раза и къ третьей своей женѣ былъ нерасположенъ: это была австрійская эрцгерцогиня Екатерина. Дѣтей у короля не было, но и онъ самъ, и поляки желали, чтобы династія Ягеллоновъ не прекратилась съ его смертью. Притомъ явилось сомнѣніе въ законности брака: Екатерина была сестрой его первой жены. Мысль о разводѣ очень нравилась послѣднему Ягеллону, и даже при дворѣ появилась хорошенькая шляхтянка, на которую смотрѣли, какъ на будущую королеву. На это возлагались надежды: папа, боясь оскорбить австрійскій домъ, не даетъ согласія на разводъ, и отсюда разрывъ, но ему даетъ этотъ разводъ національный соборъ. Какъ бы то ни было, на сеймѣ 1565 г. протестантъ Остророгъ заводитъ рѣчь о необходимости королю жить съ женой, чтобы оставить потомство, и заигрываетъ съ духовенствомъ, а Уханскій, передавая отвѣтъ короля или, вѣрнѣе, обѣщаніе отвѣтить, благодарилъ пословъ, что они согласны возвратить клиру десятины, хотя Остророгъ только сболтнулъ нѣчто въ этомъ родѣ. Папскій нунцій встревожился и насѣлъ на Сигизмунда-Августа: онъ понялъ, что это только прелюдія къ разводу и, не убѣдивъ короля жить съ женой, затормозилъ дѣло. Отвѣтъ короля былъ тотъ, что вопросомъ онъ займется, но это—дѣло духовенства, а не посольской избы. Все началось въ сеймѣ чуть ли не по иниціативѣ самого Сигизмунда-Августа, а тутъ онъ спасовалъ. Ему готовы были дать все: епископы уже на сеймѣ называли его своимъ верховнымъ господиномъ и судьей, онъ самъ готовъ былъ жениться хоть на нищей, лишь бы она оставила ему сына, но онъ ни на что не рѣшается, а время проходитъ. Сама королева съ 1566 г. жила въ Линцѣ, и когда она умерла въ одинъ годъ съ мужемъ (1572), вопросъ такъ и оставался нерѣшеннымъ, хотя

была на примѣтѣ невѣста, дочь покойнаго Николая Радзивилла, протестантка, а Уханскій на сеймѣ 1570 г. обѣщалъ королю расторгнуть бракъ собственною властью. Мечта короля становилась idée fixe, маніей, питавшейся астрологическими и магическими бреднями, и ссылкой на примѣръ Ягеллы, который только отъ четвертой жены имѣлъ потомство, но за старѣющимъ королемъ зорко слѣдилъ хитрый папскій нунцій: его частые разговоры съ Сигизмундомъ-Августомъ противъ Ягеллы выдвигали другой образъ,—Коммендоне говорилъ ему объ англійскомъ королѣ Генрихѣ VIII, который, не будучи въ состояніи добиться развода съ Екатериной Аррагонской, отторгся отъ церкви и довелъ Англію до религіозной войны. Польскій король уклонился отъ дороги Генриха VIII: у него не хватило рѣшимости, а дорога была открыта, и короля на нее толкали и протестантская шляхта, и недовольное новымъ, тридентскимъ и іезуитскимъ, Римомъ, духовенство.

Протестанты сдѣлали попытку на сеймѣ 1570 г. добиться гарантій для своего существованія въ Польшѣ. Сигизмундъ-Августъ обѣщалъ здѣсь „на письмѣ“ исполнить просьбу пословъ и далъ такое письмо, въ которомъ, однако, только обѣщалъ дать документъ о томъ, что и на будущее время онъ не будетъ никого вызывать къ суду по дѣламъ вѣры, ибо таковой судъ королю не принадлежитъ. Въ концѣ концовъ обѣщаніе не было исполнено: въ самой посольской избѣ уже поднимала голову католическая реакція, и король не сдержалъ своего слова, хотя и далъ документъ, откладывавшій дѣло до новаго сейма, до котораго никто по ереси въ судъ привлекаться не будетъ. Но это была уже эпоха, когда Сигизмундъ-Августъ не отвѣчалъ за свои поступки: куртизанки и разныя иныя личности совсѣмъ овладѣвали королемъ. Одной и той же рукой подписывалъ онъ предписаніе гражданскимъ властямъ поддерживать права и привилегіи клира, а другою—грамоту въ пользу краковскихъ христіанъ, „исповѣдующихъ ученіе блаженной памяти достопочтеннаго отца Іоанна Кальвина“, и протестанты стали строить въ столицѣ государства свой „сборъ“, принятый королемъ подъ особую свою охрану (1569—1572 г.). Мало того: мысль о разводѣ все еще сидѣла въ головѣ короля, и надежды протестантовъ и партіи національнаго собора оживлялись, когда смерть пресѣкла дни послѣдняго Ягеллона (1572). Онъ оставлялъ Польшу безъ „направы“ и даже безъ правильнаго порядка элекціи короля, оставлялъ свои обѣщанія на счетъ національнаго собора неисполненными, оставлялъ протестантовъ съ фактической вѣротерпимостью государства, не

обезпеченной никакимъ закономъ положительнаго свойства. Онъ все откладывалъ „до завтра“, но это завтра уже не было въ его рукахъ.

VI.

Полное разновѣрство и попытки его организаціи и уніи между протестантскими исповѣданіями.

Неодинаковыя задачи сеймовъ и синодовъ.—Зародыши гибели польскаго протестантизма.—Недостаточная ревность шляхты къ вѣрѣ и ея стремленіе къ господству въ управленіи новой церковью. — Потребность мало-польской церкви въ организаціи. — Начало кальвинскаго вліянія на эту церковь.—Неудача уніи мало-полянъ съ братьями чешскими.—Янъ Ласкій и его время въ Польшѣ. — Возобновленіе мысли объ уніи мало-полянъ съ братьями чешскими и появленіе раскола въ кальвинизмѣ.—Причины неудачи уніонныхъ попытокъ.—„Сандомирское соглашеніе“.—Торнскій синодъ 1595 г. и брестскій православно-протестантскій соборъ 1596 г.

Какъ явленіе общее, т.-е. внѣ индивидуальныхъ отпаденій отъ католической церкви, польская реформація имѣетъ двоякую исторію: одна происходила главнымъ образомъ на сеймахъ въ царствованіе Сигизмунда-Августа, другая—на синодахъ и съѣздахъ разновѣрцевъ. На сеймахъ отстаивалась свобода вѣроисповѣданія и дѣлались попытки сначала толкнуть государственную власть на путь реформы сверху, посредствомъ національнаго собора, а потомъ главнымъ образомъ добиться политической равноправности католиковъ и протестантовъ, обезпеченной какимъ-либо положительнымъ закономъ. Національный соборъ не состоялся, протестанты не получили желательной гарантіи на право существованія въ Рѣчи Посполитой, хотя фактически и установилась религіозная свобода. Такой результатъ сеймовой борьбы въ продолженіе двухъ десятилѣтій въ значительной степени обусловливался характеромъ и поведеніемъ Сигизмунда-Августа: онъ не дѣлалъ шаговъ, такъ сказать, въ положительную сторону ни въ пользу реформаціоннаго движенія, ни во вредъ ему, если смотрѣть на факты, а не на обѣщанія, слова и распоряженія короля. Съ этой стороны, польскіе протестанты часть вины въ своемъ неуспѣхѣ, могли, по всей справедливости, свалить съ себя на Сигизмунда-Августа, хотя ему же они были обязаны установленіемъ постоянныхъ interim'овъ, которые дозволили имъ пользоваться свободой и распространять свое ученіе. Но у польскихъ протестантовъ были и другія задачи. Во-первыхъ, каждый шляхтичъ собственнымъ изволеніемъ начиналъ реформацію въ своемъ имѣніи, превращая католическій костелъ въ протестантскій „сборъ“

и заводя въ немъ новое богослуженіе: нужно было придать единообразіе реформѣ, организовать новую церковь, установить ученіе и управленіе церкви. Во-вторыхъ, протестантизмъ въ Польшѣ съ самаго начала распространился въ трехъ формахъ—лютеранской, гуситской (братья чешскіе) и кальвинской, породивъ настоящее „разновѣрство“: необходимо было опредѣлить взаимныя отношенія этихъ трехъ исповѣданій. Въ-третьихъ, въ самой кальвинской церкви начался расколъ, приведшій часть польской шляхты къ антитринитаризму: нужно было стать въ то или иное отношеніе къ новому ученію. Эти задачи были задачами синодовъ и съѣздовъ [1]). Польскую реформацію погубило отчасти это разновѣрство и этотъ расколъ въ кальвинизмѣ: они разъединяли силы протестантовъ, заставляли католиковъ, видѣвшихъ ихъ споры, сомнѣваться въ правильности избраннаго ими пути, разстраивали все движеніе. Организація и унія „разновѣрства“ могла идти только по дорогѣ взаимныхъ уступокъ, но, помимо теологическаго упорства, свойственнаго всякой большой или малой сектѣ, уступчивость казалась подчиненіемъ чужой церкви, а польская шляхта была не такова, чтобы подчиняться. Мало того: она хотѣла главенствовать въ новой церкви, и кальвинизмъ, собственно говоря, ее тѣмъ и привлекалъ, что допускалъ участіе свѣтскаго элемента въ церковныхъ дѣлахъ, такъ какъ это участіе могло превратиться въ господство. За всѣмъ тѣмъ отъ энергичности нововѣровъ зависѣло упрочить свое исповѣданіе разными мѣрами, требовавшими матеріальныхъ жертвъ и особой заботливости, но въ общемъ шляхта оказывалась и скуповатой, и мало ревностной къ новой вѣрѣ. Но и тутъ много могла значить опытность и энергія одного человѣка. Если, въ общемъ, участіе протестантовъ на сеймахъ, куда ихъ высылала шляхта, ненавидѣвшая духовенства и до тридентскихъ постановленій и іезуитской реакціи не всегда умѣвшая отличать правовѣрное отъ неправовѣрнаго, представляетъ собой блестящую сторону польскаго протестантизма, выступившаго въ политической роли, и его незадача объясняется во многомъ поведеніемъ короля, то внутренняя жизнь протестантизма обнаруживаетъ намъ его слабость и причины его позднѣйшей гибели по собственной винѣ.

Оставляя въ сторонѣ то, что крестьяне не были серьезно затронуты движеніемъ, такъ какъ на нихъ и вниманія большого

[1]) Во многихъ пунктахъ эта сторона польской реформаціи впервые освѣщена въ книгѣ г. Любовича, который пользовался неизданными синодальными актами протестантовъ. У г. Любовича эта исторія доведена до 1563 г.

не обращали; оставляя въ сторонѣ то, что въ городахъ, кромѣ Кракова, Люблина и т. п. центровъ, гдѣ былъ силенъ нѣмецкій элементъ, мѣстные жители могли часто знать наперечетъ всѣхъ протестантовъ; оставляя въ сторонѣ то, что въ протестантизмъ все-таки открыто перешли сравнительно немногія шляхетскія фамиліи, главнымъ образомъ, изъ тогдашней интеллигенціи [1]),— мы не видимъ, чтобы дѣло шло хорошо даже въ той части націи, которая сдѣлалась протестантской. Шляхтичъ прогонялъ ксендза, „профанировалъ“ костелъ, забиралъ утварь, присвоивалъ церковную землю, захватывалъ десятину; но иногда ксендза не замѣнялъ новымъ проповѣдникомъ или плохо обезпечивалъ его и протестантскій „сборъ“ въ матеріальномъ отношеніи. Синодальные акты мало-польской церкви, начиная съ 1558 г., указываютъ, какъ на причины ея слабости, на необезпеченность сборовъ и ихъ служителей, на недостатокъ въ сеніорахъ и діаконахъ, въ школахъ, въ книгахъ, на отсутствіе однообразія въ ученіи и въ обрядахъ, и несвоевременные религіозные диспуты, на безнравственность духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, признающихъ протестантизмъ. Шляхта, присутствовавшая на влодзиславскомъ синодѣ 1558 г., обѣщала дѣлать по два взноса ежегодно въ общую кассу на нужды церкви, но на ксенжскомъ синодѣ 1560 г. никто не узналъ о состояніи кассы, кто и какъ расходовалъ деньги. Краковская столичная община оставалась иногда подолгу безъ пастора, и во всей Малой Польшѣ въ серединѣ шестидесятыхъ годовъ г. Любовичъ не насчитываетъ и ста кальвинскихъ пасторовъ: проповѣдники на протестантскомъ влодзиславскомъ синодѣ 1559 г. прямо жаловались, что на мѣсто умершаго или изгнаннаго ксендза шляхтичъ-кальвинистъ не всегда приглашалъ проповѣдника [2]). „Профанированіе“ костела не означало еще, что онъ превращался въ настоящій протестантскій „сборъ“. Въ краковской епархіи изъ 850 костеловъ было „профанировано“ около 140, т.-е. одна шестая часть, какъ высчитываетъ г. Любовичъ, но Буковскій принимаетъ одну треть, полагая одну шестую на другія епархіи Малой Польши и на Великую Польшу [3]). Что касается до школъ, то объ ихъ необхо-

[1]) По разсчету кс. Буковскаго, если онъ вѣренъ, даже только около 1000 семействъ изъ общаго числа 250,000. Bukowski, I, 437 и дал. Интереснѣе узнать число реформированныхъ церквей, о чемъ ниже.

[2]) См. у г. Любовича особенно стр. 263—265, 314 и слѣд.

[3]) Bukowski, I, 424 и дал. На Литву онъ беретъ двѣ пятыхъ, а въ общемъ 1200 изъ 4200 костеловъ, считая къ первой цифрѣ и вновь построенные „сборы“ ecclesiae desolatae.

димости говорится постоянно, начиная съ собранія проповѣдниковъ въ Ивановичахъ (1556); о нихъ хлопочутъ синоды у свѣтскихъ патроновъ церкви; но тѣ либо обѣщаютъ и ничего не дѣлаютъ, либо прямо говорятъ проповѣдникамъ, что ихъ дѣло позаботиться объ изысканіи средствъ. Съ изданіемъ исповѣданія вѣры дѣло подвигалось туго; катехизисъ былъ въ употребленіи, изданный Кальвиномъ, да были еще какія-то рукописныя руководства. Въ переводѣ Библіи на польскій языкъ главное участіе принимали антитринитаріи, и еще неизвѣстно, какая судьба его постигла бы, если бы на изданіе его (Брестская Библія) не выдалъ денегъ богатый и щедрый Радзивиллъ (1563). Таково было состояніе мало-польской кальвинской церкви въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, но это было время полнаго ея развитія, когда антитринитаріи еще не отпадали отъ единства. Зато по части притязаній на господство въ новой церкви мало-польская шляхта, ядро протестантизма въ коронѣ, вѣчно недовольная ученіемъ и обрядностью своего исповѣданія, дѣлала не мало, не симпатизируя велико-польскимъ братьямъ чешскимъ, устранявшимъ свѣтскихъ лицъ отъ церковныхъ дѣлъ, и раздѣляя въ этомъ отношеніи съ литовцами предпочтеніе къ кальвинизму. На ксенжскомъ синодѣ 1560 г. шляхта вдругъ усумнилась, слѣдуетъ ли даже выбирать старѣйшинъ (сеніоровъ) изъ среды духовенства, и многіе вліятельные паны стали даже обвинять своихъ проповѣдниковъ въ томъ, что они хотятъ присвоить себѣ такую же власть въ церкви, какую имѣетъ католическій клиръ, и господствовать надъ свѣтскимъ сословіемъ, хотя въ сущности положеніе пасторовъ было необезпеченное, зависимое, подневольное. Составленъ и принятъ былъ даже проектъ, отдававшій управленіе мало-польской церковью въ руки шляхты [1]), но проповѣдники не дали на это согласія. На пинчовскомъ синодѣ 1561 г., куда не пріѣхали главные иниціаторы проекта, въ томъ числѣ извѣстный намъ по сеймамъ Оссолинскій, а проповѣдниковъ съѣхалось много, послѣднимъ удалось убѣдить присутствовавшихъ шляхтичей перемѣнить рѣшеніе. Фактически, однако, шляхта все-таки господствовала въ мало-польской кальвинской церкви, и на влодзиславскомъ синодѣ того же года протестантское духовенство жаловалось на то, что шляхта вмѣшивается въ церковныя дѣла и вершитъ ихъ по своему усмотрѣнію, безъ всякаго спроса у проповѣдниковъ. Всѣ эти факты проливаютъ свѣтъ на чисто шляхетскій характеръ такого протестантизма: если на сеймахъ шляхта добилась права избѣ-

[1]) Любовичъ, 286 и слѣд.

гать наказанія за „профанированіе“ костеловъ въ своихъ имѣніяхъ, что̀ еще не обозначало установленія религіозной равноправности всѣхъ, и шляхтичей, и не шляхтичей, то въ новой церкви она хотѣла господствовать. Это было послѣдовательно: идея подчиненія церкви государству превращалась въ идею господства шляхты въ церкви и надъ духовенствомъ, какъ она уже господствовала надъ горожанами и крестьянами. Во всемъ этомъ разновѣрствѣ, въ этой нерадивости шляхты къ упроченію протестантизма путемъ обезпеченія „сборовъ“ и проповѣдниковъ, путемъ школъ и книгъ, въ этомъ стремленіи ея создать себѣ новый пьедесталъ путемъ перемѣны вѣры, коренилась внутренняя болѣзнь протестантизма; но вѣчное недовольство кальвинистовъ ученіемъ своего исповѣданія въ соединеніи съ вольномысліемъ, къ которому шляхта давно чувствовала склонность, произвело новое, антитринитарское движеніе, которое затерялось бы въ мелкомъ сектантствѣ, если бы ему не придалъ форму, не далъ организацію, не сообщилъ силу Фавстъ Социнъ, бывшій для антитринитаризма тѣмъ, чѣмъ былъ, какъ увидимъ, Янъ Ласкій для болѣе раннихъ нововѣровъ, еще не знавшихъ, къ какому исповѣданію имъ пристать.

Это, дѣйствительно, былъ вопросъ: лютеранство было вѣрой нѣмецкихъ мѣщанъ, и его монархическій характеръ былъ шляхтѣ не по вкусу, какъ по указанной выше причинѣ не особенно нравилось распространившееся, впрочемъ, въ Великой Польшѣ ученіе братьевъ чешскихъ, послѣ того, какъ туда прибыли и нашли тамъ сильныхъ покровителей заграничные послѣдователи этого ученія, а съ началомъ реформаціоннаго движенія среди мало-польской шляхты въ ея владѣніяхъ кто вводилъ кельнскую реформацію, кто склонялся къ цвингліанской, кто сочинялъ свою собственную литургію и т. д. Мало-польскимъ церквамъ нововѣровъ нуженъ былъ реформаторъ и организаторъ. Первымъ реформаторомъ мало-польскихъ церквей явился итальянецъ Францискъ Станкаръ, предложившій на пинчовскомъ съѣздѣ 1550 г. введеніе „кельнской“ реформаціи; но кратковременная реакція 1551 г. послѣ извѣстной грамоты, выданной Сигизмундомъ-Августомъ Дзѣржговскому, заставила Станкара удалиться къ Альбрехту Прусскому, но его мѣсто въ Пинчовѣ занялъ извѣстный намъ также Мартинъ Кровицкій, сторонникъ цвингліанскаго ученія, подобно и нѣкоторымъ еще проповѣдникамъ, тогда какъ другіе склонялись къ „гельветическому“ ученію, т.-е. къ кальвинизму. Въ 1551 г. Польшу посѣтилъ Лелій Социнъ, совѣтовавшій извѣстному духовнику Боны, Лисманини, съѣздить въ Швей-

царію, чтобы познакомиться на мѣстѣ съ тамошней реформаціей, и съ этого времени начинаютъ завязываться у мало-польскихъ протестантовъ отношенія съ швейцарскими реформаторами, открывавшія доступъ кальвинизму въ Польшу. Вернувшійся въ Польшу послѣ 1552 г. Станкаръ составилъ новый проектъ реформаціи, который собравшимися протестантами былъ дополненъ и измѣненъ въ духѣ кельнской и англійской, а исповѣданіе совѣтовалъ принять аугсбургское; но этотъ проектъ удовлетворилъ далеко не всѣхъ нововѣровъ, и они стали съѣзжаться для обсужденія вопроса. Первый такой настоящій синодъ протестантовъ состоялся въ Сломникахъ въ 1554 г., и тутъ говорилось о необходимости обратиться за руководствомъ къ какой-нибудь уже давно установившейся протестантской церкви: рѣшено было пока руководиться проектомъ Станкара, а за руководствомъ обратиться къ велико-польской церкви братьевъ чешскихъ. Съ послѣднею цѣлью въ Хренчицахъ въ 1555 г. былъ устроенъ съѣздъ между малопольскими протестантами и братьями чешскими, но ни этотъ съѣздъ, ни слѣдующій (въ Голуховѣ) не привели ни къ какимъ результатамъ, и только на третьемъ, въ Козминкѣ, была установлена унія въ ученіи и обрядахъ, но съ нѣкоторыми оговорками, въ числѣ которыхъ мы находимъ указаніе на то, что мало-польскіе протестанты продолжаютъ брать десятины. Дѣло, однако, не имѣло серьезнаго характера: пинчовскій синодъ того же года сочувственно принялъ извѣстіе объ уніи, но въ протоколахъ этого синода сказано, что сообщено ему было объ уніи „безъ изложенія формы и способа договора о союзѣ, заключенномъ съ чешскими братьями“ [1]). Въ сущности, за единеніе съ велико-польскими протестантами стояла только незначительная часть малопольскихъ нововѣровъ, а большинство начинало постепенно склоняться къ кальвинизму, тѣмъ болѣе, что Лисманини, уѣхавшій въ Женеву и тамъ женившійся, убѣдилъ Кальвина, уже раньше (1549) посвятившаго Сигизмунду-Августу свое толкованіе Посланія къ евреямъ, обратить особое вниманіе на Польшу. Кальвинъ вступилъ въ переписку съ королемъ и вліятельными протестантами, на которыхъ ему указывалъ Лисманини. Послѣдній самъ, по просьбѣ польскихъ пріятелей и по совѣту самого женевскаго реформатора, возвратился въ Польшу, хотя духовенство выхлопотало у короля эдиктъ объ его изгнаніи, вскорѣ, однако, по

[1]) См. стр. III „приложеній“ къ книгѣ г. Любовича, въ которыхъ помѣщены подобные протоколы отъ 1554 по 1561. Дѣятельность козминецкаго синода была предметомъ современнаго описанія, дословно приведеннаго у Лукашевича, Dzieje kościołow wyzn. helw. w. M. P., 22—44.

обыкновенію отмѣненный. Но на Польшу обратилъ вниманіе еще одинъ изъ тогдашнихъ реформаторовъ, бывшій папскимъ нунціемъ на аугсбургскомъ сеймѣ 1530 г. и католическимъ епископомъ въ Капо-д'Истріи, но перешедшій въ лютеранство, по имени Верджеріо (Вергерій): онъ давно слѣдилъ за тѣмъ, что дѣлалось въ Рѣчи Посполитой, а въ 1556 г. посвятилъ Сигизмунду-Августу свой итальянскій переводъ вюртембергскаго исповѣданія вѣры Бренца. Въ томъ же году онъ прибылъ въ Польшу, но его дѣятельность не имѣла успѣха по отношенію къ распространенію лютеранизма. Мало-польскіе нововѣры тяготѣли къ Кальвину, и такъ какъ въ это время всѣ ожидали національнаго собора, вопросомъ о которомъ занялись сециминскій и пинчовскій синоды 1556 г., то рѣшено было даже пригласить Кальвина съ другими реформаторами въ Польшу и въ этомъ смыслѣ отправлено къ нему посланіе. По этому поводу переписка женевскаго реформатора съ выдающимися представителями польскаго нововѣрія только оживилась. Вся дѣятельность Верджеріо въ Польшѣ ограничивалась литературной полемикой съ папскимъ нунціемъ Липпомано и пропагандой идеи о національномъ соборѣ. Равнымъ образомъ, и козминецкая унія 1555 г. не находила поддержки, что, между прочимъ, выразилось на сециминскомъ синодѣ 1556 г., на которомъ, сказать кстати, присутствовавшіе тамъ паны думали рѣшать и политическія дѣла, — и особенно на синодѣ пинчовскомъ того же года, гдѣ, по поводу польскаго изданія исповѣданія вѣры, многіе протестовали противъ чешскаго ученія и никакого рѣшенія не было принято, а съ другой стороны уже прямо выражалось сочувствіе къ швейцарской реформаціи, хотя мало-польскіе протестанты и продолжали просить помощи и совѣта у братьевъ чешскихъ. Здѣсь же рѣшено было призвать въ Польшу знаменитаго во всей Европѣ реформатора, родомъ поляка, Яна Ласкаго, который вскорѣ и явился на зовъ: онъ былъ прямымъ противникомъ многихъ пунктовъ ученія братьевъ чешскихъ. На съѣздѣ мало-польскихъ проповѣдниковъ въ Ивановичахъ Ласкій уже присутствовалъ, и ему поручено было разсмотрѣть все дѣло уніи съ братьями чешскими, какъ будто вопросъ раньше не былъ уже рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ. Такимъ образомъ, на первыхъ же порахъ унія двухъ главныхъ направленій польскаго нововѣрія потерпѣла неудачу, и главными виновниками этого были мало-польскіе протестанты, не имѣвшіе еще своего ученія: они съ самаго начала отнеслись къ вопросу довольно легкомысленно или еще просто колебались въ выборѣ исповѣданія; при томъ свѣтскіе люди играли особенно важную роль на мало-польскихъ синодахъ,

и у нихъ были свои соображенія относительно всего дѣла, не имѣвшія чисто религіознаго характера. Уже нѣсколько лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ протестантизмъ нашелъ послѣдователей въ Малой Польшѣ, и мѣстная шляхта, отпавшая отъ католицизма или просто зараженная нововѣріемъ, все еще не знала, какъ ей организовать нарождавшуюся церковь. Обращались къ собственнымъ проповѣдникамъ, предлагавшимъ разныя реформаціи, вступали въ переговоры съ братьями чешскими, писали къ заграничнымъ реформаторамъ, выписали изъ Женевы Лисманини и приглашали самого Кальвина, но дѣло не подвигалось впередъ, пока на давнишній зовъ (кажется, съ 1552 г.) не отозвался изъ-за границы полякъ Янъ Ласкій и не пріѣхалъ въ Польшу.

Янъ Ласкій былъ лицомъ, весьма замѣтнымъ на западѣ [1]). Онъ приходился племянникомъ архіепископа-примаса той же фамиліи, получилъ хорошее образованіе, въ молодости много путешествовалъ, былъ знакомъ съ Цвингли, который первый заронилъ въ немъ сомнѣніе относительно римской церкви, жилъ у Эразма, у котораго купилъ библіотеку, оставивъ ему ее въ пожизненное пользованіе (1525). „Я, старикъ,—писалъ Эразмъ,—сдѣлался лучше отъ сожительства съ молодымъ человѣкомъ, и я, старикъ, учился у юноши воздержности, умѣренности, скромности и т. д., которымъ юноша долженъ былъ учиться у старика". [2]) Предназначенный къ высшимъ духовнымъ должностямъ, Янъ Ласкій мечталъ, по возвращеніи на родину, о мирной реформѣ церкви, но въ 1537 г. оставилъ и мечты эти, и родину, а за границей вскорѣ перешелъ въ протестантизмъ и началъ играть выдающуюся роль, какъ церковный реформаторъ. Онъ былъ устроителемъ церковной реформы въ Фрисландіи, помогалъ въ Англіи Кранмеру, а потомъ былъ представителемъ лондонской протестантской общины, дѣйствовалъ во Франкфуртѣ на Майнѣ въ пользу уніи между лютеранствомъ и реформатствомъ. Вездѣ къ нему питали довѣріе и уваженіе: протестантскіе князья и церкви Германіи обращались къ нему за совѣтами, его приглашалъ шведскій король Густавъ Васа, а также и Альбрехтъ Прусскій, и Ласкій только потому къ нему не поѣхалъ, что, какъ кальвинистъ, требовалъ независимости церкви отъ государства и уничтоженія нѣкоторыхъ лютеранскихъ обрядовъ, на что герцогъ не соглашался. Въ 1554 г. Ласкій издалъ посвященное королю, сенату и чинамъ польскимъ, описаніе устроенной имъ въ Гондинѣ общины

[1]) См. его біографіи Валевскаго, Дальтона и др.

[2]) Durand de Laur. Erasme, précurseur de l'esprit moderne. P. 1872. Подробныя біографіи Эразма всегда говорятъ о Iohanes a Lasco.

иностранцевъ, въ которомъ приглашалъ Сигизмунда-Августа, какъ сочувствующаго истинному ученію, произвести въ Польшѣ реформу церкви. Вскорѣ онъ написалъ еще письма къ королю, сенату и шляхтѣ: въ послѣднемъ онъ радуется тому, что шляхта сдѣлалась орудіемъ божіимъ въ низверженіи антихристіанскаго ига папы, но проситъ ее внести больше порядка въ реформацію. Сигизмундъ-Августъ не имѣлъ ничего противъ возвращенія Ласкаго на родину, о чемъ и послалъ ему сказать, а когда тотъ пріѣхалъ, не согласился на просьбу епископовъ о его высылкѣ за границу. Мало того: король даже велѣлъ передать ему, чтобы онъ дѣлалъ свое дѣло, только избѣгая смутъ, и выразилъ согласіе на свиданіе съ нимъ. Свиданіе это произошло въ Вильнѣ и даже не разъ, причемъ Сигизмундъ-Августъ былъ съ нимъ очень любезенъ, обѣщалъ ему заняться реформированіемъ церквей и далъ ему свободу дѣйствій, принявъ его даже въ число своихъ секретарей.

Дѣло организаціи мало-польской церкви Янъ Ласкій повелъ очень искусно: на влодзиславскомъ синодѣ 1556 г. онъ даже содѣйствовалъ поддержкѣ уніи съ братьями чешскими безъ лишенія, однако, мало-польской церкви ея свободы брататься съ другими христіанскими исповѣданіями, а когда на синодъ пріѣхали неожиданно представители братьевъ чешскихъ, онъ даже предложилъ имъ устроить собесѣдованія съ лютеранами, чтобы и ихъ привлечь къ уніи. Но по вопросу объ уніи и ея основахъ мало-поляне и велико-поляне въ концѣ концовъ разошлись: послѣдніе, между прочимъ, были противъ привлеченія къ ней и лютеранъ, а первые на пинчовскомъ синодѣ, 1557 г., не хотѣли допустить полной зависимости отъ братьевъ чешскихъ, которая нарушила бы ихъ христіанскую свободу, потому что Ласкій именно хотѣлъ общенія протестантскихъ церквей, а не подчиненія одной другой, такъ что впервые при немъ мало-польская церковь выступаетъ какъ самостоятельное цѣлое. Идеей Ласкаго было утвердить въ ней кальвинизмъ, но въ то же время, въ виду малочисленности протестантовъ, поддерживать между ними единеніе безъ различія исповѣданія, но ему въ этомъ отношеніи мѣшали Лисманини, сочувствовавшій чешскому ученію, и Верджеріо, который началъ также сочувствовать этому ученію и хлопотать въ то же время о томъ, чтобы нѣмецкіе протестантскіе князья послали посольство къ Сигизмунду-Августу, чтобы склонить его къ переходу въ лютеранство; чтобы противодѣйствовать кальвинизму, Верджеріо соглашался даже на распространеніе ученія братьевъ чешскихъ. Какъ бы тамъ ни было, идеи Ласкаго взяли перевѣсъ и

синодъ въ Липникѣ (въ Моравіи) въ 1558, гдѣ съѣхались мало-поляне и братья чешскіе, освободилъ первыхъ отъ козминецкой уніи, которая, впрочемъ, и не соблюдалась никогда. Однако, попытка Ласкаго склонить къ кальвинизму и велико-польскую шляхту не имѣла успѣха, что̀ не мѣшало ему продолжать хлопотать о соединеніи всѣхъ фракцій евангельскаго ученія противъ папизма: онъ видѣлъ, что польскіе протестанты ничего не добьются отъ государства, если между ними будутъ происходить несогласія. Участіе Ласкаго въ польскомъ реформаціонномъ движеніи и самого Кальвина заставило больше интересоваться дѣлами Рѣчи Посполитой, такъ что онъ писалъ даже Уханскому, а самъ Ласкій продолжалъ оказывать вліяніе на самого короля, сдѣлавшись даже какъ бы посредникомъ между нимъ и протестантами, что̀ должно было еще болѣе придавать ему авторитета въ глазахъ нововѣровъ. Главная же забота его была организовать мало-польскую церковь на началахъ ученія Кальвина, съ которымъ онъ не сходился только по вопросу о предопредѣленіи. Три года стоялъ онъ во главѣ, былъ душою всѣхъ ея синодовъ. Въ сущности, вся организація, данная Ласкимъ мало-польской церкви сводилась къ привлеченію свѣтскихъ людей къ управленію церковью въ качествѣ выборныхъ старѣйшинъ (сеніоровъ), къ опредѣленію правъ и обязанностей суперинтендента, старѣйшинъ (сеніоровъ) и діаконовъ, къ устройству синодовъ и установленію порядка веденія дѣлъ на этихъ собраніяхъ. Шляхтѣ особенно нравилось во всей этой организаціи привлеченіе къ управленію церковью свѣтскихъ людей: шляхта изъ своей среды (или изъ духовныхъ) выбирала сеніоровъ для помощи проповѣдникамъ и для наблюденія за ихъ нравственностью и поведеніемъ, а фактически она уже давно играла роль на синодахъ. Мы видѣли уже, что̀ позднѣе даже сдѣлана была попытка устранить совсѣмъ пасторовъ отъ управленія церковью, предоставивъ его однимъ только свѣтскимъ людямъ. Это было уже въ самый годъ смерти Ласкаго: онъ умеръ въ январѣ 1560 г., а ксенжскій синодъ происходилъ въ сентябрѣ того же года, такъ что въ нѣсколько мѣсяцевъ шляхта успѣла отказаться отъ организаціи церкви, вышедшей изъ рукъ Ласкаго, и синоды въ Ксенжѣ (1560) и Пинчовѣ (1561) только расширили участіе свѣтскаго элемента въ управленіи церковью.

По смерти Ласкаго и мысль объ уніи протестантскихъ церквей получила новую силу: нововѣры видѣли, что это въ ихъ интересахъ, такъ какъ, съ одной стороны, эта унія сдѣлала бы изъ разрозненныхъ фракцій одну партію, что̀ имѣло бы большое значеніе въ борьбѣ за религіозную свободу, а съ другой, многіе ка-

толики, склонные къ реформаціи, смущались внутренними несогласіями польскаго протестантизма, и католическое духовенство эксплуатировало это разновѣрство въ своихъ цѣляхъ. На съѣздѣ мало-польскихъ кальвинистовъ съ велико-польскими братьями чешскими въ Буженинѣ (1561) заходила даже рѣчь о томъ, чтобы на предстоящемъ сеймѣ подать королю общее исповѣданіе вѣры, но, вслѣдствіе неуступчивости, обнаруженной обѣими сторонами, дѣло не состоялось, хотя и было только отложено. Только одни братья чешскіе и подали Сигизмунду-Августу свое исповѣданіе вѣры на варшавскомъ сеймѣ 1563 г. Но какъ разъ въ это время въ самой кальвинской церкви начинается расколъ, появляется сектантство, которое производитъ еще бо́льшее разновѣрство, какъ разъ въ то время, когда Тридентскій соборъ давалъ прочныя указанія на то, во что и чему долженъ былъ вѣрить католикъ, и приближалось прибытіе въ Польшу іезуитовъ. Кальвинистамъ было не до уніи, когда въ ихъ собственной средѣ происходило раздѣленіе. Опытный реформаторъ, Янъ Ласкій далъ, наконецъ, мало-польскимъ нововѣрамъ общее ученіе и организацію, которыхъ они искали столько времени; въ три года онъ успѣлъ объединить ихъ въ одну церковь, получившую правильное устройство, и вдругъ тотчасъ же по его смерти не только подвергается спорамъ эта организація, но происходитъ антитринитарскій расколъ, давно подготовлявшійся, который увеличиваетъ разновѣрство чешской, лютеранской и кальвинской реформаціи новой формой религіознаго движенія XVI в., которое современники сравнивали съ разными ересями первыхъ вѣковъ христіанства. Это явленіе объясняется, во-первыхъ, наплывомъ въ Польшу „еретиковъ“, гонимыхъ въ другихъ странахъ (Польша привлекала ихъ своей религіозной свободой и заступничествомъ, которое шляхта оказывала здѣсь всѣмъ преслѣдуемымъ за вѣру), а во-вторыхъ, тѣмъ вольномысліемъ, тѣмъ, по крайней мѣрѣ, отсутствіемъ догматизма, тѣмъ духомъ индивидуальной свободы, коими отличались мало-польскіе нововѣры: они отстали отъ католицизма, долго бродили безъ опредѣленнаго ученія, о принятіи лютеранства и не думали вслѣдствіе его формализма и бюрократизма, съ чешскими братьями не сладили, не сошедшись съ ними и въ такихъ вопросахъ, какъ взиманіе десятины, подчинились на время Яну Ласкому, сочувствуя кальвинизму за привлеченіе имъ свѣтскаго элемента къ управленію церковью, но тотчасъ по его смерти уже обнаружили недовольство, и началось движеніе обратное, разъединеніе того, что́ было соединено Ласкимъ. При такомъ настроеніи шляхты и думать трудно было объ установленіи прочной уніи. Мы разсмот-

римъ особо возникновеніе и развитіе польскаго антитринитаризма, какъ одной изъ видныхъ формъ разновѣрства въ Рѣчи Посполитой, а пока прослѣдимъ далѣе уніонныя попытки протестантовъ.

Мы видѣли, что цѣлью козминецкой уніи 1555 г. было установить порядокъ во внутренней жизни мало-польской церкви [1]). послѣдняя была еще не организована, и на козминецкомъ синодѣ братья чешскіе даже хвастались своимъ превосходствомъ надъ мало-полянами и въ то же время упрекали ихъ въ томъ, что нѣкоторые слишкомъ задираютъ носъ (wynosicie się tak wysoko), „какъ будто бы уже всего имѣли въ достаточномъ количествѣ". Въ общемъ, однако, мало-поляне хотѣли еще учиться у братьевъ чешскихъ и предлагали имъ важные вопросы въ родѣ того, „должны ли они принуждать своихъ подданныхъ ходить на проповѣди истинныхъ министровъ" (къ сожалѣнію, велико-польскіе составители описанія козминецкаго съѣзда не привели отвѣта братьевъ чешскихъ на этотъ вопросъ). Однако, на пинчовскомъ синодѣ 1556 г. мало-поляне выразили желаніе, чтобы ихъ конфессія имѣла свой особый титулъ (konfessya kościołow w Polszcze chrześciańskich), а о братьяхъ, которыхъ еще называли пикардами, не было ни слова, дабы „та конфессія въ ненависти не была по причинѣ того срамотнаго имени, и отъ него не пришло какое-либо преслѣдованіе". Во времена Яна Ласкаго, мало-польская церковь получила организацію и оказывала еще меньше склонности къ уступчивости, хотя въ уніи чувствовалась потребность въ виду необходимости сплотиться передъ общимъ врагомъ. Въ 1556 г. велико-поляне Юрій Израель и Янъ Рыба обозрѣвали мало-польскіе „сборы", и результатомъ этого посѣщенія было длинное посланіе Яна Рыбы къ единовѣрцамъ своимъ [2]), въ которомъ, между прочимъ, отмѣчены разныя мелочи въ родѣ того, что „министръ" говоритъ не съ „казальницы", а стоя на полу передъ народомъ, и что молитвы читаются не „въ молчаніи и тайности", а „голосомъ", т.-е. произносятся громко. Понятно, что, обращая вниманіе даже на подробности всего, происходящаго при богослуженіи, протестантскіе проповѣдники не могли между собою поладить. На ксенжскомъ синодѣ 1560, на которомъ, кромѣ 50 пасторовъ-кальвинистовъ и человѣкъ сорока мало-польской шляхты, были депутаты отъ чешскихъ братьевъ и лютеранъ изъ Великой Польши,

[1]) Такъ у Лукашевича въ Dziejach wyzn. helw. w M. Polsce, у Закржевскаго (стр. 74), у Любовича и т. д. Но раньше Лукашевичъ объяснялъ козминецкую унію желаніемъ протестантовъ „увеличить свои силы взаимнымъ соединеніемъ". Wiad. historyczna.

[2]) Приведено у Лукашевича, Dzieje wyznania helweckiego, стр 61—99.

отъ церквей литовскихъ и подольскихъ, изъ княжества Заторскаго и изъ Силезіи, было столько крику и шуму, что синодъ былъ, какъ выражается Лукашевичъ, болѣе похожъ на бурный сеймикъ, чѣмъ на совѣщаніе о дѣлахъ вѣры [1]). Чѣмъ болѣе совѣщались польскіе разновѣры объ уніи, тѣмъ все болѣе и болѣе затруднялось дѣло соглашенія: мы видѣли неудачу, постигшую попытку сближенія между кальвинистами и братьями чешскими въ Буженинѣ (1561), но не въ лучшемъ положеніи былъ вопросъ объ единеніи между велико-польскими лютеранами и братьями чешскими на синодѣ въ Познани въ 1560 г. [2]). Появленіе „ереси“ среди самихъ кальвинистовъ даже дало случай чешскимъ братьямъ злорадствовать: ихъ депутаты были на мало-польскомъ синодѣ въ Краковѣ, въ 1563 году, и Юрій Израель объяснялъ здѣсь это „жалостное разорваніе“ отступленіемъ мало-полянъ отъ козминецкой уніи. Въ Куявской землѣ кальвинисты и братья чешскіе встрѣчались на поприщѣ прозелитизма и постоянно приходили въ столкновенія, такъ что явилась настоятельная необходимость положить конецъ раздорамъ. Въ 1565 г. состоялось особое соглашеніе въ Лишковѣ [3]), по которому „министры и братья обѣихъ церквей, состоя въ христіанской любви и пріязни, должны были пребывать въ согласіи“, въ знакъ чего вмѣстѣ молиться и принимать таинства по обряду той церкви, въ которой вмѣстѣ сойдутся. Если такимъ образомъ между кальвинистами и братьями чешскими хотя по временамъ и по мѣстамъ происходило сближеніе, то лютеране относились почти всегда съ однимъ раздраженіемъ къ не-лютеранамъ, и въ этомъ отношеніи Торнъ сдѣлался центромъ полемики противъ „заблужденій братишекъ (fratercu-lorum) богемскихъ“, какъ озаглавлено одно изъ сочиненій тамошняго пастора, Моргенштерна (1565). Но и лютеране понимали, что унія между протестантами въ Польшѣ необходима, и по иниціативѣ суперинтендента аугсбургскаго исповѣданія въ Великой Польшѣ на познанскій лютеранскій соборъ 1567 г. были приглашены депутаты братьевъ чешскихъ, но ихъ скоро отослали, говоря, что въ нихъ не нуждаются, увидѣвъ ихъ желаніе оставаться при своемъ,—и не дали на ихъ требованіе списка заблужденій, заключающихся въ ихъ конфессіи [4]). Однако, полемика

[1]) O kościołach braci czeskich, 53. Сравн. Regenvolscius, 81, 122—123.

[2]) Интересна на послѣднемъ соглашеніе, состоявшееся между нѣкоторыми панами, объ облегченіи участи крестьянъ. Łukaszewicz, Wiadomość historyczna, 59.

[3]) „Списокъ угоди“ лишковской приведенъ у Лукашевича, O Kościołach braci czeskich, 65—67.

[4]) „Процессъ“ этого синода приведенъ у Лукашевича, Wiad. histor., 74 и дал.

послѣ этого велась уже въ болѣе примирительномъ тонѣ: Моргенштернъ изложилъ пункты несогласія между двумя церквами въ Дружескомъ и братскомъ увѣщаніи, на которую одинъ изъ „братьевъ", Янъ Лоренцъ отвѣчалъ Краткой и искренней отповѣдью. Янъ Лоренцъ ѣздилъ потомъ въ Виттенбергъ, гдѣ одобрили чешское ученіе и откуда польскимъ лютеранамъ дали даже совѣтъ войти съ „братьями" въ соглашеніе. Но около того же времени, какъ мы видѣли, кальвинисты выхлопотали у Сигизмунда-Августа декретъ объ изгнаніи антитринитаріевъ. Желаніе одной церкви подчинить себѣ другую, желаніе каждой отстоять свою свободу и теологическіе спюры между проповѣдниками дѣлали всѣ эти попытки уніи безплодными. Только опасность отъ начинавшейся іезуитской реакціи и неопредѣленность положенія разновѣрцевъ въ Рѣчи Посполитой заставили, наконецъ, протестантовъ серьезнѣе подумать о своихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Въ началѣ 1570 г. происходили съѣзды чешскихъ братьевъ съ лютеранами въ Познани и лютеранъ съ кальвинистами въ Вильнѣ, которые подготовили „соглашеніе", состоявшееся весною того же года между тремя исповѣданіями на сандомирскомъ синодѣ. Это соглашеніе имѣло характеръ чисто-политическій: три исповѣданія оставались при своихъ обрядахъ, каждое признавало правовѣріе двухъ другихъ, но всѣ протестанты обязывались дѣйствовать сообща противъ римской церкви и поддерживать другъ друга въ борьбѣ съ католиками. Задумано было, однако, по мысли краковскаго воеводы, Станислава Мышковскаго, составленіе общаго исповѣданія вѣры, и синодъ, принявъ эту мысль въ принципѣ, постановилъ созвать черезъ нѣсколько времени представителей всѣхъ трехъ исповѣданій для выработки такой конфессіи. Во всякомъ случаѣ, на сеймѣ 1570 г. протестанты могли явиться уже объединенными и заявить просьбу объ установленіи религіозной свободы на законномъ основаніи. Намъ уже извѣстно, что просимаго разновѣры не получили [1]), хотя и на этомъ сеймѣ въ маршалки посольской избы былъ выбранъ протестантъ Станиславъ Шафранецъ: большинство сената было уже католическое, и оно не хотѣло, „чтобы лиценція въ людяхъ имѣла возрастать in religione". Пятнадцать лѣтъ прошло между козминецкой уніей и сандомирскимъ соглашеніемъ, и въ самые важные моменты этого періода отдѣльныя вѣтви польскаго протестантизма были политически разъединены. Эта разъединенность, эта внутренняя неорганизованность кальвинизма, главнаго, по своему значенію, проявленія протестан-

[1]) См. выше, главу V.

тизма въ этотъ періодъ времени, излишнее теологизированіе проповѣдниковъ при малой ревности къ вѣрѣ, забиравшей въ свои руки веденіе церковныхъ дѣлъ шляхты, думавшей очень мало о дѣйствительномъ упроченіи протестантизма въ Польшѣ, были важными причинами того, что польскіе разновѣры не были въ состояніи, не смотря на множество благопріятныхъ внѣшнихъ условій, создать въ странѣ что-либо такое, что могло бы выдержать напоръ начавшейся съ шестидесятыхъ годовъ католической реакціи. И послѣ сандомирскаго соглашенія они оставались разновѣрами, dissidentes de religione. Главными дѣятелями сандомирскаго синода были свѣтскіе люди, а не протестантское духовенство, и хотя во время варшавскаго сейма 1578 г. поляки думали уже о томъ, чтобы распространить свое соглашеніе на всю Европу, устроивъ синодъ всѣхъ протестантскихъ церквей, но религіозныя несогласія чешскаго, лютеранскаго и гельветическаго исповѣданій въ самой Польшѣ продолжались, и только общая опасность заставляла ихъ на время прекращать эти споры. Съ этою цѣлью былъ созванъ въ 1595 г. въ Торнѣ синодъ трехъ исповѣданій: онъ долженъ былъ окончательно примирить между собою разновѣровъ, и на синодѣ этомъ было выслушано съ радостью заявленіе православныхъ пословъ, предлагавшихъ единеніе съ ними противъ общаго врага, уже подготовившаго подъ формой уніи подчиненіе восточной церкви Риму. Въ 1596 г. даже состоялся въ Брестѣ православно-протестантскій соборъ [1]): онъ вызванъ былъ уже іезуитской реакціей противъ разновѣровъ и ихъ агрессивной политикой противъ православія. Протестантизмъ ищетъ защиты въ союзѣ съ тѣмъ самымъ исповѣданіемъ, которое въ литовско-русскихъ областяхъ государства немало потерпѣло отъ могущественнаго Николая Радзивилла Чернаго, владѣльца множества имѣній и старостъ, отнимавшаго въ пользу кальвинистовъ не одни католическіе костелы,—и отъ дѣятельности проповѣдниковъ, увлекавшихъ и православныхъ дворянъ въ гельветическое исповѣданіе [2]). Попытки установленія союза и даже религіозной уніи между протестантизмомъ и восточною церковью показываютъ, что если что́ и заставляло самихъ протестантовъ улаживать свои внутреннія несогласія, такъ это только боязнь передъ начинавшейся католической реакціей. Когда эта реакція наступила, польскіе

[1]) См. Соколова, Отношеніе протестантизма къ Россіи, стр. 338 и слѣд.

[2]) Ограничиваясь однѣми польскими областями Рѣчи Посполитой, мы не коснулись протестантскаго движенія въ Литвѣ. См. Łukaszewicz, Dzieje wyznania helweckiego na Litwie. Много важнаго собрано и въ соч. г. Соколова, но имъ можно пользоваться лишь съ величайшею осторожностью.

разновѣры не были готовы вести борьбу съ сплоченной массой іезуитовъ, опиравшейся на католическое населеніе, а потомъ и на правительство, и особенно эксплуатировавшихъ въ свою пользу появленіе той „многоголовой ереси“, о которой говоритъ нашъ московскій бѣглецъ Курбскій.

VII.

Крайнія направленія польской реформаціи [1]).

Европейская реформація, религіозное вольномысліе и сектантство.—Предполагаемая связь польскаго антитринитаризма съ „ересью жидовствующихъ“.—Первыя проявленія антитринитаризма въ Польшѣ и ересь Станкара.—Выдѣленіе антитринитаріевъ изъ кальвинской церкви.—Раздѣленіе антитринитарства на секты.—Фавстъ Социнъ.—Процвѣтаніе социніанства въ Польшѣ.—Особенность социніанства, какъ религіозной системы.—Ея связь съ итальянской культурой.—Раціонализмъ всего ученія социніанъ.—Католическая политика и антитринитаризмъ.—Общія судьбы сектантскаго движенія въ XVI—XVII вѣкахъ.

Говоря вообще о реформаціонномъ движеніи XVI в., мы всегда имѣемъ въ виду, главнымъ образомъ, такъ сказать, оффиціальный протестантизмъ, но религіозная мысль XVI в. на западѣ Европы имѣла и другія выраженія. Во-первыхъ, не забудемъ, что это была эпоха Возрожденія, подъ вліяніемъ котораго и помимо протестантизма образовались другія, весьма во многомъ между собою несхожія, но одинаково вольномысленныя отношенія къ церкви, начиная съ какого-то языческаго индифферентизма къ христіанству, какой мы наблюдаемъ въ Италіи, и кончая отдѣльными проявленіями скептицизма несистематическаго (Рабле) и систематическаго (Помпонацци), или широкаго синкретизма, готоваго слить христіанство съ платонизмомъ (Марсиліо Фичино) или съ чисто восточными теософіями (Рейхлинъ). Протестантизмъ въ общемъ сохранялъ непоколебимыми основные догматы церкви

---

[1]) Главнымъ источникомъ по исторіи антитринитаризма, особенно въ его началѣ является соч. Любенецкаго, а изъ новыхъ историковъ г. Любовичъ самымъ точнымъ образомъ возстановляетъ исторію этого движенія до 1562 г., когда антитринитарство выдѣлилось изъ кальвинизма (стр. 210 sq., 271 sq. и вся X глава). Очеркъ исторіи антитринитаризма въ Польшѣ есть у Otto Focka' въ соч. Der Socinianismus (Kiel. 1847. I, 138—234) и др., но до сихъ поръ мы не имѣемъ подробнаго научнаго труда по исторіи этого движенія въ Польшѣ отъ начала открытой проповѣди антитринитаризма въ этой странѣ (1556) до изгнанія его приверженцевъ сеймомъ 1558 г. Изъ старыхъ изданій назовемъ: Bibliotheca fratrum polonorum (1656); Sandius, Bibliotheca Antitrinitariorum (1684); Lauterbach, Ariano-Socinianismus in Polonia (1725); Bock, Historia Antitrinitariorum (1774).

о троичности Божества, о божественности Іисуса Христа, объ искупленіи имъ человѣка отъ первороднаго грѣха, и эти догматы не подвергались ни малѣйшей критикѣ со стороны такихъ людей, какъ Лютеръ и Кальвинъ. Но мысль, проникнутая раціонализмомъ и дѣйствовавшая подъ сильнымъ вліяніемъ возродившейся философіи, не остановилась передъ этими основами всего историческаго христіанства и повела критику ученія римской церкви еще далѣе, и къ работѣ этой оказались наиболѣе склонными итальянцы, воспитывавшіеся въ вольномысленномъ отношеніи къ откровенной религіи. Они и доставили наибольшее количество родоначальниковъ такъ-называемаго антитринитарскаго движенія, особаго направленія религіозной мысли, уводившаго ее отъ историческаго христіанства къ христіанскому деизму, который отрицалъ основные догматы церкви о троичности Божества и о божественности Іисуса Христа. Привлекаемые религіозной свободой, установившейся въ Польшѣ, итальянскіе антитринитаріи бросились во второй половинѣ XVI в. въ эту страну, и здѣсь не только ихъ проповѣдь имѣла успѣхъ, но даже дала прочные результаты, положивъ начало развитію антитринитаризма, какъ новой формы разновѣрства. Но итальянскіе раціоналисты пришли въ Польшу, прошедши школу протестантизма, въ которомъ антитринитаризмъ также имѣлъ свой источникъ, но уже не столько раціоналистическій, сколько мистическій.

Въ нѣмецкихъ странахъ антитринитаризмъ зародился въ томъ сектантствѣ, которое извѣстно подъ именемъ анабаптизма. Анабаптизмъ стремился создать „церковь святыхъ“ и перестроить гражданское общество на началахъ „царства Божія“, а также возстановить древнюю апостольскую вѣру во всей ея простотѣ, чистотѣ и святости. Во имя „христіанской свободы“, о которой говорили и реформаторы, и во имя непосредственнаго дѣйствія Божества на духъ человѣка или „внутренняго откровенія“, сектанты отвергали безусловный авторитетъ св. писанія, какъ „откровенія внѣшняго“, и ставили его, такимъ образомъ, подъ контроль этого мистическаго „озаренія“ души человѣка божественнымъ свѣтомъ. Въ этомъ движеніи легко могъ зародиться антитринитаризмъ, тѣмъ болѣе, что въ крайней оппозиціи Риму сектанты готовы были подвергнуть критикѣ и отвергнуть все, чему учила римская церковь, и дѣйствительно, въ нѣмецкой Швейцаріи и въ Германіи съ двадцатыхъ годовъ XVI вѣка появляются отдѣльныя личности въ родѣ Гетцера, Денка, Кампана, Гофмана съ болѣе или менѣе неправовѣрными идеями относительно христіанскаго Бога. Но ихъ антитринитаризмъ, мало выработанный въ своихъ основахъ, былъ

скорѣе какимъ-то придаткомъ къ анабаптизму, чѣмъ самостоятельнымъ религіознымъ ученіемъ. Впервые создалъ систему въ этомъ духѣ испанецъ Михаилъ Серветъ, въ молодости побывавшій въ Италіи, а потомъ и въ Германіи въ то время, когда тамъ раздавалась уже проповѣдь анабаптизма. Живя послѣ того въ разныхъ городахъ Франціи и изучая Библію съ церковно-реформаторской цѣлью, онъ сдѣлалъ центральнымъ предметомъ своей критики ученіе о троичности Божества и въ этомъ смыслѣ издалъ трактаты „De Trinitatis erroribus“ (1531), „Двѣ книги діалоговъ о Троицѣ“ (1532) и „Возстановленіе христіанства“ (1553). Эти книги, въ которыхъ антитринитаризмъ достигъ полной своей независимости и самостоятельности, еще проникнуты, однако, мистицизмомъ, и есть даже извѣстіе, что самъ Серветъ вторично совершилъ надъ собою крещеніе, и если это извѣстіе вѣрно, то оно только подтверждаетъ связь серветизма съ анабаптизмомъ. Дальнѣйшее развитіе идей этого рода по смерти Сервета, сожженнаго въ Женевѣ Кальвиномъ (1553), совершалось подъ сильнымъ вліяніемъ итальянской мысли, которая постепенно освобождала основу ученія отъ мистической окраски анабаптизма и усиливала элементъ раціонализма, уже весьма замѣтнаго и въ серветизмѣ [1]). Видными дѣятелями этого движенія въ Швейцаріи явились послѣ сожженнаго еретика итальянскіе бѣглецы Камилло Ренато, Франческо Негри, Пьетро Паоло Верджеріо. Бернардино Окино, Леліо Соццини (Социнъ), Маттео Грибальдо, Джіорджіо Бьяндрата (Бландрата), Джентиле (Гентилій), Паоло Альчіати (Альціатъ) и др., и нѣкоторыхъ изъ этихъ проповѣдниковъ мы встрѣчаемъ потомъ въ Польшѣ, но и они еще находились подъ нѣкоторымъ вліяніемъ анабаптизма, и только именно въ Польшѣ, особенно же подъ вліяніемъ Фавста Социна, антитринитаризмъ порвалъ окончательно связь съ анабаптизмомъ.

Въ виду прямой генетической связи польскаго антитринитаризма съ западнымъ, нѣтъ никакой надобности ставить первый въ связь съ „ересью жидовствующихъ“, бывшей въ московскомъ государствѣ, какъ это дѣлаетъ г. Жуковичъ, указывая на случай сожженія въ Краковѣ (1507) еврея, „говорившаго много противъ вѣры христіанской“, и на сожженіе въ Краковѣ уже извѣстной намъ старухи, соблазненной евреями (1539), да на указъ Сигизмунда I произвести розыскъ между евреями и принять мѣры

[1]) См. Будринъ, Антитринитаріи XVI в. I. Михаилъ Серветъ и его время. Казань, 1878. Михайловскій. Кальвинъ и Серветъ.

для противодѣйствія ихъ пропагандѣ [1]). Изъ послѣдующаго мы увидимъ, что главными дѣятелями антитринитарской пропаганды въ Польшѣ были именно итальянцы, а кромѣ того, и сама доктрина Сервета была знакома полякамъ еще ранѣе того, какъ антитринитаризмъ сталъ открыто проповѣдываться въ Рѣчи Посполитой, и напр., пинчовскій пасторъ Александръ Витрелинъ писалъ въ 1555 г., что среди поляковъ „нѣкоторыхъ привлекаетъ (aliquos tenet) заблужденіе Сервета и его доктрина". И вообще имя Сервета уже упоминается при первыхъ проявленіяхъ антитринитаризма въ Польшѣ, такъ что, повторяемъ, прибѣгать къ гипотезѣ о связи между этимъ движеніемъ и „ересью жидовствующихъ" нѣтъ ни малѣйшей надобности.

Первое извѣстіе о пропагандѣ антитринитаризма въ Польшѣ относится еще къ 1546 г. въ кружкѣ Тржецескаго, о которомъ намъ приходилось упоминать не разъ: въ Краковъ пріѣхалъ какой-то бельгіецъ Спиритусъ, и, будучи приглашенъ къ одному пану на обѣдъ, началъ съ гостями, собравшимися въ библіотекѣ передъ пиромъ, разговоръ по случайному поводу попавшаго ему въ руки молитвенника, гдѣ нашелъ молитвы къ тремъ лицамъ св. Троицы, на ту тэму, что не тремъ ли богамъ присутствовавшіе здѣсь поклонялись. Начался споръ, который, однако, скоро прекратился, и инцидентъ весь имѣлъ лишь то слѣдствіе, что нѣкоторые, какъ Модржевскій, бывшій въ числѣ этихъ гостей и оставившій весь разсказъ, потомъ задумывались надъ словами Спиритуса. Десять, однако, лѣтъ прошло отъ этого случая до первой открытой проповѣди антитринитаризма въ Польшѣ. Но поляки имѣли случай знакомиться съ этимъ движеніемъ, такъ какъ ѣздили въ Швейцарію и къ нимъ пріѣзжали вольнодумцы. Такъ, въ 1551 г. Польшу посѣтилъ итальянскій скептикъ Лелій Социнъ, жившій въ Германіи и Швейцаріи, занимаясь тамъ богословскими вопросами. Кромѣ того, извѣстный Станкаръ, выступавшій сначала въ качествѣ реформатора мало-польскихъ церквей, способствовалъ возникновенію раціонализма, поднявъ споръ о значеніи посредничества Іисуса Христа между Богомъ и людьми, было ли оно въ силу божеской или человѣческой природы Іисуса Христа. Наконецъ, одинъ протестантскій пасторъ, Петръ Гижка, изъ Гонёндза, или Гонезій, въ самой Польшѣ подвергъ анализу догматъ св. Троицы, познакомившись во время своей заграничъ-

[1]) Жуковичъ, 95. Впрочемъ, въ собственно русскихъ областяхъ великаго княжества литовскаго появленію западнаго антитринитаризма и могла предшествовать пропаганда „ереси жидовствующихъ". Левицкій, Соцініанизмъ въ Польшѣ и юго-западной Руси, стр. 40 („Кіевск. Стар.", 1882, апрѣль).

ной поѣздки съ сочиненіями Сервета. Онъ даже выступилъ съ изложеніемъ своего ученія на сециминскомъ синодѣ, бывшемъ въ началѣ 1556 года, а вмѣстѣ съ этимъ написалъ не дошедшее до насъ сочиненіе „De filio Dei homine Christo Jesu“, поѣхалъ въ Виттенбергъ, гдѣ училось много поляковъ, и сталъ вызывать тамъ Меланхтона на диспутъ. Меланхтонъ встревожился, написалъ противъ него опроверженіе и предостерегалъ отъ него поляковъ. Между тѣмъ, Гонезій, вернувшійся на родину, былъ преданъ проклятію, какъ еретикъ, на пинчовскомъ протестантскомъ синодѣ того же самаго года. Между тѣмъ, Станкаръ, распространявшій свое собственное ученіе о посредничествѣ Іисуса Христа въ Трансильваніи, гдѣ встрѣтилъ отпоръ со стороны лютеранскихъ пасторовъ, также вернулся въ Польшу изъ этой отлучки, продолжавшейся четыре года, нашелъ себѣ покровителя въ лицѣ своего прежняго пріятеля Стадницкаго, отдавшаго ему въ завѣдываніе школу въ мѣстечкѣ Дубечкѣ, и выступилъ съ проповѣдью своей доктрины на пинчовскомъ синодѣ 1558 г. Синодъ ее отвергъ, но ею увлеклись нѣкоторые протестанты, одинъ изъ которыхъ былъ въ числѣ переводчиковъ библіи на польскій языкъ. На пинчовскомъ синодѣ 1559 г. Янъ Ласкій предложилъ объявить ученіе Станкара еретическимъ и не допускать диспутовъ съ нимъ, и изъ Польши отправлялся даже посланецъ къ Кальвину съ цѣлью узнать его мнѣніе о вопросѣ. Кальвинъ осудилъ ученіе Станкара, но этотъ не уступалъ и велъ горячую полемику съ противниками. Антитринитаріемъ онъ, однако, не былъ, выступая съ своей теологической доктриной, но только содѣйствовалъ развитію раціонализма среди разновѣрческой шляхты. Настоящимъ свѣтилемъ антитринитаризма былъ Гонезій, который, поселившись въ родной Подляхіи, пріобрѣлъ здѣсь себѣ послѣдователей, хотя двое изъ нихъ, призванные на влодзиславскій протестантскій синодъ 1558 г., и отреклись отъ сочувствія къ Сервету, Гонезію и др. такимъ еретикамъ. Между тѣмъ, изъ Швейцаріи въ Польшу стали уѣзжать тамошніе антитринитаріи, чувствуя себя не совсѣмъ въ безопасности послѣ сожженія Сервета въ Женевѣ, хотя нѣкоторые изъ нихъ, скрывая свои настоящія мнѣнія, и ладили съ тамошними богословами. Къ числу такихъ принадлежалъ Лелій Социнъ, пріѣзжавшій въ Польшу въ 1558—59 г. съ рекомендательными письмами къ Сигизмунду-Августу, Николаю Радзивиллу и др. и нѣсколько разъ бесѣдовавшій съ королемъ. Очень вѣроятно, что онъ вступалъ въ Польшѣ въ диспуты о св. Троицѣ и высказывалъ свои сомнѣнія. Другой итальянецъ, Георгій Бландрата,

дважды бѣжавшій съ родины и покинувшій Швейцарію, гдѣ онъ сблизился съ итальянцами-антитринитаріями (Грибальдо, Альціатомъ, Гентиліемъ, посаженнымъ въ женевскую тюрьму), явился также въ Польшу, прикинулся приверженцемъ Кальвина и, не смотря на предостереженія послѣдняго, пріобрѣлъ вѣсъ среди мало-польскихъ протестантовъ и даже получилъ отъ Сигизмунда-Августа дипломатическую миссію къ венгерской королевѣ (1559). Бландрата успѣлъ многихъ увлечь своимъ ученіемъ, и мало-поляне даже хлопотали о примиреніи съ нимъ Кальвина, приставая къ послѣднему съ просьбами въ этомъ смыслѣ. Въ связи съ этой пропагандой получаетъ значеніе и доктрина жившаго въ это время въ Пинчовѣ тіонвилльскаго уроженца Петра Статорія, имѣвшаго невполнѣ ортодоксальный взглядъ на Св. Духа и нашедшаго также послѣдователей, и ему пришлось оправдываться передъ пинчовскимъ протестантскимъ синодомъ 1559 г. Въ общемъ при жизни Яна Ласкаго проповѣдники антитринитаризма вели себя осторожно, но съ 1560 года Бландрата, пріобрѣтшій большое вліяніе на дѣла мало-польской церкви и вошедшій въ довѣріе къ Николаю Радзивиллу и другимъ вліятельнымъ протестантамъ сталъ уже открыто при случаѣ вызывать у своихъ собесѣдниковъ сомнѣнія относительно догмата о св. Троицѣ. Кальвинъ тогда изъ Женевы въ новомъ изданіи „Толкованія на дѣянія апостольскія“, посвященномъ Николаю Радзивиллу, прямо обвинилъ Бландрату въ приверженности къ ученію Сервета, что раздражило поляковъ, среди которыхъ Бландрата былъ очень популяренъ, а самъ онъ на пинчовскомъ синодѣ 1561 г. представилъ свое исповѣданіе вѣры, не заключавшее ничего еретическаго. Синодъ подвергъ дѣло разслѣдованію и успокоился: Кальвину даже дали объ этомъ знать, чтобы снять съ себя обвиненіе въ серветизмѣ. Съ 1561 г. мало-польскіе синоды начинаютъ собираться очень часто, и то одного, то другого изъ членовъ кальвинскаго исповѣданія начинаютъ подозрѣвать и обвинять въ антитринитаризмѣ, а съ другой стороны, синодальные акты начинаютъ уже прямо говорить объ усиленіи антитринитарской партіи. Есть одно извѣстіе, будто бы Бландрата и Лисманини, совратившійся въ ересь, говорили на краковскомъ синодѣ въ сент. 1561 г., чтобы богословы оставили имъ единаго Бога и не дѣлили его, а сами пользовались посредникомъ, какого себѣ измыслили. Едва ли это вѣрно: въ сущности и Лисманини, заподозрѣнному въ ереси, пришлось оправдываться. Тѣмъ не менѣе значительное количество членовъ синодовъ начинаютъ довольно спокойно относиться къ появленію ереси въ кальвин-

ской церкви, и это дѣйствительно позволило Бландратѣ и Лисманину выступить вскорѣ открыто противъ ученія о св. Троицѣ, такъ что самые синоды съ краковскаго, происходившаго въ самомъ концѣ 1561 г., дѣлаются какъ бы мѣстомъ пропаганды еретическихъ доктринъ. Довольно явное еретичество Бландраты и новыя предостереженія Кальвина все еще казались недостаточными для осужденія „еретика“: по прежнему производятся разслѣдованія, и Бландрата по-прежнему же представляетъ исповѣданія вѣры, въ которыхъ все находятъ въ порядкѣ. Однако на краковскомъ синодѣ въ мартѣ 1562 г. и вскорѣ затѣмъ собравшемся ксенжскомъ уже были голоса за и противъ исповѣданія Бландраты, и какъ бы для избѣжанія раскола послѣдній синодъ рѣшилъ запретить проповѣдникамъ употреблять философскіе термины, каковы Троица, вѣчное рожденіе, исхожденіе и т. п., но пользоваться только выраженіями, находимыми въ св. писаніи и въ апостольскомъ символѣ. Это, конечно, не остановило антитринитарскаго движенія, которое уже въ 1561 г. увлекло многихъ видныхъ дѣятелей мало-польскаго протестантизма, и въ первой половинѣ 1562 г. только два проповѣдника не были затронуты новой ересью, потому что самое постановленіе о неупотребленіи отвлеченныхъ терминовъ имѣло уже антитринитарскій характеръ. Начинаются правильные диспуты между обѣими сторонами уже во второй половинѣ 1562 г., и синодъ въ Роговѣ (іюль) состоялъ уже изъ лицъ, сочувствовавшихъ антитринитаризму, которыя только подтвердили постановленіе пинчовскаго синода о необходимости избѣгать терминовъ, которыхъ нѣтъ прямо въ Библіи и въ апостольскомъ символѣ, а на синодѣ въ Балицахъ (августъ) уже ясно было, что расколъ въ кальвинской церкви неизбѣженъ: одинъ проповѣдникъ доказывалъ здѣсь, что выраженія—троичность, ипостаси и т. п. выдуманы папистами, другой говорилъ, что св. писаніе свидѣтельствуетъ только объ единомъ Богѣ, а посредника между Богомъ и людьми называетъ человѣкомъ. Скоро по приглашенію Бландраты пріѣхалъ въ Польшу Альціатъ, а оба они вызвали сюда и Гентилія. Лицамъ, оставшимся вѣрными кальвинизму, пришлось подумывать уже просто о спасеніи еще не зараженныхъ ересью: средствомъ было порвать всякое общеніе съ антитринитаріями. На защиту кальвинизма выступилъ энергичный влодзиславскій проповѣдникъ Станиславъ Сарницкій, который нашелъ поддержку среди вліятельныхъ кальвинистскихъ пановъ, составившихъ цѣлую партію съ Яномъ Бонаромъ во главѣ. Когда послѣ балицкаго съѣзда состоялся синодъ въ Пинчовѣ, Сарницкій и его сторонники на него не поѣхали, а Янъ

Бонаръ, пригласивъ къ себѣ сеніоровъ краковской кальвинской общины и другихъ лицъ, предалъ антитринитаризмъ проклятію. Явный разрывъ не замедлилъ совершиться: на похороны вскорѣ послѣ совѣщанія краковскихъ сеніоровъ умершаго Яна Бонара съѣхалось много кальвинистовъ, и Сарницкій воспользовался этимъ, чтобы устроить синодъ, на который не были допущены главные дѣятели антитринитаризма, и здѣсь было составлено спеціальное исповѣданіе вѣры, предложенное къ подписи собравшихся. Антитринитаріи созвали свой синодъ въ Пинчовѣ, чтобы тамъ уладить расколъ, произошедшій въ церкви, Сарницкій не поѣхалъ. Такъ передъ знаменитымъ сеймомъ 1562—63 г. кальвинская церковь распалась, и главные дѣятели обоихъ лагерей отправились на сеймъ, одни—чтобы предостеречь шляхту отъ новаго ученія и побудить ее къ борьбѣ съ нимъ, другіе—съ своими цѣлями. Во время самаго сейма въ Піотрковѣ происходилъ религіозный диспутъ, и кальвинисты держали свой синодъ, постановившій очистить мало-польскую церковь отъ всякихъ слѣдовъ служенія въ ней антитринитаріевъ. Одновременно съ этимъ въ кальвинской церкви происходили раздоры, вызванные ученіемъ Станкара, находившимъ сторонниковъ, но осужденнымъ на синодѣ въ Пинчовѣ въ началѣ 1561 г. Съ своей стороны, Станкаръ напалъ на проявленія антитринитарскаго движенія въ кальвинской церкви, объявляя чуть не всѣхъ кальвинистовъ за аріанъ, такъ что и антитринитаріи напали на него съ большимъ ожесточеніемъ.

„Появленіе сектъ въ кальвинской церкви, — говоритъ г. Любовичъ, изслѣдовавшій основательнѣе всѣхъ другихъ историковъ первыя проявленія антитринитарскаго движенія въ Польшѣ отъ незначительнаго по своимъ результатамъ разговора съ какимъ-то Спиритусомъ въ домѣ краковскаго пана въ 1546 г. до выдѣленія антитринитаріевъ изъ малопольской церкви въ 1562,—появленіе сектъ въ кальвинской церкви было поворотнымъ пунктомъ въ ея развитіи“: ея силамъ „происшедшій расколъ нанесъ сильный, ощутительный ударъ“, и „съ эпохи отдѣленія антитринитаріевъ отъ кальвинистовъ реформаціонное движеніе не дѣлаетъ уже болѣе успѣха“ [1]) „Время піотрковскаго сейма 1562—63 гг.,— говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, — кульминаціонный пунктъ въ исторіи кальвинскаго движенія. Можно сказать, что послѣ этого оно не распространяется болѣе ни вглубь, ни вширь. Если оно пріобрѣтаетъ новыхъ адептовъ, то теряетъ старыхъ“ [2]). Анти-

[1]) Любовичъ, 347. И въ изложеніи фактовъ мы слѣдовали за этимъ историкомъ; ср. Lubieniecius, 111—153, 158—170. Regenvolscius, 86.

[2]) Любовичъ, 314.

тринитарство за то сдѣлалось могущественнымъ не только въ малой Польшѣ, но и въ другихъ частяхъ Рѣчи Посполитой, въ коронѣ вообще и на Литвѣ, и на одномъ синодѣ 1563 сорокъ два проповѣдника подписали исповѣданіе вѣры, отвергавшее ученіе о троичности Божества. Въ 1566 г. уже въ самой посольской избѣ были антитринитаріи, и когда сенаторы изъ кальвинистовъ и лютеранъ потребовали у короля эдикта объ изгнаніи приверженцевъ новой секты, то за нихъ заступился посолъ Филипповскій, котораго поддерживали и епископы, исходившіе изъ той мысли, что изгнаніе одной „ереси“ узаконитъ какъ бы существованіе другихъ, и находившіе полезнымъ появленіе раздора среди нововѣрокъ. Сигизмундъ-Августъ издалъ такой эдиктъ, но потомъ взялъ его назадъ по настоянію папскаго нунція Руджіери, т.-е. за антитринитаризмомъ осталось свободное поле.

Новое движеніе породило въ Польшѣ многочисленныя секты, которыхъ были цѣлые десятки и которыя различались между собою только въ подробностяхъ и въ тонкостяхъ примѣненія основного принципа, въ большей близости къ кальвинизму или къ чистому деизму, въ присутствіи или отсутствіи въ нихъ мистическихъ и хиліастическихъ ожиданій; среди сектантовъ были и такіе, которые требовали перекрещиванія взрослыхъ, отрицая дѣйствительность крещенія младенцевъ, и такіе, которые доказывали необходимость этого крещенія. Отсюда и множество названій сектъ—антитринитаріи, унитаріи, аріане, анабаптисты и т. п., но сами себя послѣдователи этихъ ученій называли „братьями польскими“. Не смотря на это раздѣленіе, сектанты, особенно съ тѣхъ поръ, какъ пріобрѣли многочисленныхъ послѣдователей въ шляхтѣ, дѣлали попытки организоваться въ церковь и установить основы своего вѣроученія, съ каковою цѣлью съѣзжались на свои синоды и начали издавать изложенія своихъ доктринъ. Но развитіе антитринитарства относится уже ко времени послѣ смерти Сигизмунда-Августа. Въ 1574 г. эти нововѣры крайней формаціи издали Катехизисъ и конфессію съ эпиграфами: „Услышь, Израиль, Господь Богъ нашъ есть единый Богъ“ и „сказалъ Іисусъ: Тотъ, кого вы называете Богомъ,—отецъ мой“, — но общія очертанія ученія выступали крайне неопредѣленно въ этой книгѣ, такъ какъ догма еще была мало выработана и еще нужно было найти ту общую почву, на которой сошлись бы всѣ оттѣнки антитринитаризма. Въ самомъ дѣлѣ по одному изъ самыхъ существенныхъ вопросовъ христіанскаго деизма между собою расходились учители сектъ кореннымъ образомъ: одни, отрицая единосущность и собезначальность Іисуса

Христа съ Богомъ Отцомъ, признавали его предсуществованіе (praeexistentiam) до пришествія на землю, другіе отвергали преэкзистенцію, но такъ что иные требовали воздаянія Іисусу Христу божескихъ почестей, а иные, какъ переводчикъ Библіи Симонъ Будный, возставали и противъ этого. Этимъ противорѣчивымъ ученіямъ, терявшимся въ своемъ многообразіи, придалъ опредѣленную, прочную форму, а съ нею далъ и свое имя Фавстъ Социнъ.

Фавстъ Социнъ родился въ Сіенѣ въ 1539 г. и получилъ сначала довольно поверхностное гуманистическое образованіе, такъ какъ предназначался къ занятію правомъ. Обладая острымъ умомъ, живя въ эпоху религіозныхъ споровъ, находясь подъ вліяніемъ своего дяди, извѣстнаго намъ Лелія, онъ предался разрѣшенію богословскихъ вопросовъ. Ему, между прочимъ, достались бумаги его дяди, когда тотъ умеръ, и чтеніе ихъ немало содѣйствовало развитію въ Фавстѣ антитринитарскихъ идей. Живя нѣкоторое время при дворѣ тосканскаго великаго герцога Франческо Медичи, онъ усвоилъ самыя утонченныя манеры придворнаго, бывшія впослѣдствіи одной изъ приманокъ, которыя снискали ему расположеніе польской шляхты, когда онъ пріѣхалъ въ Рѣчь Посполитую. Первое его сочиненіе: Объясненіе первой части первой главы евангелія отъ Іоанна, написанное полатыни, появилось въ 1562 г., но, боясь инквизиціи, онъ переселился въ Базель и тамъ уже занялся изданіемъ своихъ новыхъ трактатовъ: Объ Іисусѣ Христѣ искупителѣ и О состояніи перваго человѣка до грѣхопаденія, доказывая въ послѣднемъ сочиненіи, что Адамъ уже созданъ былъ смертнымъ, а вовсе не сдѣлался таковымъ вслѣдствіе грѣхопаденія. Въ Польшу Социнъ пріѣхалъ только въ 1579 г., поставивъ себѣ задачей объединить всѣхъ польскихъ антитринитаріевъ. Достигнуть этого было довольно трудно, потому что часть сектантовъ была анабаптистской, а Социнъ не хотѣлъ перекрещиваться для вступленія въ ихъ общество. Тѣмъ не менѣе своимъ вліяніемъ на умы, своею терпимостью къ противоположнымъ мнѣніямъ, онъ съумѣлъ преодолѣть препятствія, тѣмъ болѣе, что сектантамъ необходимо было сплотиться въ виду двойной опасности — отъ католиковъ и отъ протестантовъ, которые, напр., прямо исключили антитринитаріевъ изъ сандомирскаго соглашенія 1570 г. Дѣятельность Социна въ Польшѣ была кипучая: составленіе сочиненій экзегетическаго и дидактическаго содержанія, обширная переписка съ единомышленниками, разъѣзды по странѣ, во время которыхъ онъ подвергался опасностямъ вслѣдствіе уже сильной въ это время като-

лической реакціи,—все это служило одной цѣли. Отъ начавшагося фанатизма католиковъ ему пришлось немало терпѣть: напр., въ 1598 г. краковскіе студенты напали на его жилище, ограбили его бумаги и книги и сожгли ихъ на площади при крикахъ собравшейся толпы и грозя сжечь его самого, если онъ не отречется отъ своей ереси. Онъ не отрекся, и его грозили потопить въ Вислѣ. Уже двигалось къ рѣкѣ шествіе, но, къ счастью для Социна, въ окно увидѣлъ толпу одинъ профессоръ: онъ спасъ Социна и далъ ему возможность бѣжать изъ Кракова. До самой смерти въ 1604 г. преслѣдуемый, онъ однако продолжалъ свое дѣло, и значеніе его въ реформаціи его послѣдователи опредѣлили двустишіемъ:

Палъ Вавилонъ высокій: Лютеръ разрушилъ въ немъ крышу,
Стѣны Кальвинъ, но Социнъ сокрушилъ и основы [1]),

Социнъ завершилъ развитіе антитринитаризма въ Польшѣ, уложивъ его въ систему, которая была изложена въ такъ называемомъ Раковскомъ катехизисѣ, изданномъ по-польски въ 1605 г. и по-нѣмецки въ 1608 и имѣвшемъ дальнѣйшія изданія уже по изгнаніи социніанъ изъ Польши, причемъ позднѣйшія изданія очень интересны заявленіемъ требованія о полной религіозной свободѣ и принципа измѣняемости вѣроученія сообразно съ движеніемъ времени.

Социніанизмъ объединилъ большое количество польскихъ сектантовъ, и къ нему же пристали многіе антитринитаріи, бѣжавшіе въ Польшу отъ преслѣдованій на родинѣ. Таковы были нѣмецъ Шмальцъ, издатель Раковскаго Катехизиса, Фёлькель и Остророгъ, которые систематизировали и популяризировали ученіе Социна. Но больше всего среди дѣятелей социніанизма было поляковъ: Іеронимъ Мошкоровскій (Moscorovius), переводчикъ Раковскаго Катехизиса на латинскій языкъ съ посвященіемъ Іакову I, англійскому королю, и основатель социніанской общины въ мѣстечкѣ Чарковѣ; Андрей Войдовскій, прославившійся среди своихъ критическимъ анализомъ тѣхъ мѣстъ св. писанія, на которыхъ основывается ученіе церкви о троичности Божества и о божественности Іисуса Христа; Самуилъ Пржишковскій, біографъ Социна и авторъ затерянной исторіи унитарскихъ церквей въ Польшѣ; Станиславъ Любенецкій изъ фамиліи, много сдѣлавшей для распространенія социніанизма, авторъ Исторіи

[1]) Alta ruit Babylon: destruxit tecta Lutherus, Muros Calvinus, sed fundamenta Socinus.

польской реформаціи; Петръ Морсковскій (Morscovius), описавшій внутреннее устройство антитринитарскихъ общинъ въ Польшѣ въ сочиненіи Politica ecclesiastica, и др. Центромъ социніанизма сдѣлалось мѣстечко Раковъ. Оно было основано въ 1569 г. Сѣнинскимъ, сынъ котораго принялъ ученіе Социна и превратилъ Раковъ въ столицу своихъ единовѣрцевъ. Раковъ превратился въ „сарматскія Аѳины“: здѣсь была высшая школа съ тысячью учениковъ въ лучшее ея время, и среди нихъ были и католики, и протестанты, и шляхтичи, и не-шляхтичи; здѣсь существовала типографія, выпускавшая социніанскія изданія; здѣсь же собирались ежегодные синоды социніанъ, рѣшавшіе не только религіозныя дѣла, но и свѣтскія, такъ какъ послѣдователи ученія только въ крайнихъ случаяхъ прибѣгали не къ своему суду. Но это процвѣтаніе было недолгое: вслѣдъ за тѣмъ, какъ нафанатизированная іезуитами толпа разсѣяла люблинскую антитринитарскую общину (1627), и для Ракова пришла очередь, когда онъ достался католическому шляхтичу, превратившему „сарматскія Аѳины“ въ жалкую деревню. Въ Литвѣ центромъ антитринитаризма былъ Несвижъ. Одинъ Кишка, владѣвшій массой имѣній, сдѣлалъ очень много для антитринитаріевъ въ Литвѣ. Здѣсь, между прочимъ, это движеніе коснулось отчасти и православныхъ людей [7]).

Если антитринитарское движеніе зародилось въ нѣмецкихъ земляхъ въ анабаптистскомъ, мистическомъ сектантствѣ, то не эта его форма пришлась по характеру полякамъ. Недаромъ главными дѣятелями движенія въ Польшѣ были итальянцы, давно вліявшіе на Рѣчь Посполитую своей культурой: поляки издавна были предрасположены къ принятію итальянскихъ идей, въ которыхъ скептическая и раціоналистическая мысль имѣла широкое примѣненіе. Нѣмецкая реформація съ своимъ сектантствомъ имѣла совсѣмъ иной психологическій источникъ, чѣмъ социніанизмъ, распространившійся въ Польшѣ. Еще до появленія Лютера отдѣльныя лица и въ томъ числѣ гуманистъ нѣмецкій Эразмъ выставили тезисъ „объ оправданіи посредствомъ вѣры“, сдѣлавшійся исходнымъ пунктомъ и краеугольнымъ камнемъ лютеранской, цвингліанской и кальвиновской теологіи. Вопросъ о томъ, какъ спастись отъ первороднаго грѣха, былъ мученіемъ всей жизни Лютера до той поры, когда онъ узналъ, что „праведный отъ вѣры живъ будетъ“. Съ другой стороны, мистицизмъ въ

---

[1]) Соколовъ, 268 и слѣд. и особенно Левицкій, Социніанство въ Польшѣ и юго-западной Руси въ XVI и XVII в. (Кіев. Старина и отдѣльно 1882).

Германіи давно уже развивался и дѣйствовалъ на умы, подготовляя ихъ къ сектантству, въ которомъ явилось ученіе о „внутреннемъ откровеніи“, о непосредственномъ божественномъ дѣйствіи на душу человѣка, стоящемъ выше буквы „внѣшняго откровенія“, и изъ этого источника произошелъ позднѣйшій англійскій деизмъ, когда англійскіе сектанты XVII вѣка постепенно освободились отъ пророческаго энтузіазма, и „божественное озареніе“ (lumen divinum) души человѣка, имѣвшее для нихъ большее значеніе, чѣмъ само священное писаніе, разрѣшилось въ болѣе спокойную дѣятельность разума. Между „оправданіемъ“ посредствомъ внутренняго акта вѣры по дѣйствію на душу благодати и „божественнымъ озареніемъ“ существуетъ глубокая связь: ибо они выросли на одной и той же психологической почвѣ религіознаго настроенія духа. Иное дѣло въ Италіи: и тамъ въ эпоху Возрожденія занимались религіозными вопросами, но болѣе съ философской стороны, нерѣдко безъ спеціально-христіанскаго оттѣнка, и холодный анализъ разума не допускалъ никакого мистическаго озаренія. Лютеръ не сомнѣвался въ безсмертіи души: его мучилъ вопросъ о томъ, какъ оправдаться передъ Богомъ. Въ Италіи, между тѣмъ, вопросъ о безсмертіи въ загробной жизни давнымъ давно дебатировался (вспомнимъ одного Помпонацци, современника папы Льва X), и онъ-то, а не „оправданіе“, сдѣлался исходнымъ пунктомъ всей соцініанской теоріи. Мы видѣли, что въ сочиненіи: О состояніи перваго человѣка до грѣхопаденія Фавстъ Социнъ отвергъ церковное ученіе о томъ, что Адамъ былъ созданъ безсмертнымъ а потому онъ училъ, что всѣ люди родятся смертными. Какъ Лютеръ утверждалъ, что „оправдываетъ“ человѣка вѣра во Христа, такъ Социнъ говорилъ, что эта вѣра дѣлаетъ человѣка безсмертнымъ: не изъ христіанскаго чувства грѣховности, не изъ боязни передъ страшными послѣдствіями первороднаго грѣха вытекла вся его догма; это чувство и самое понятіе о первородномъ грѣхѣ имѣли мало силы надъ умомъ итальянца, въ которомъ зародилось сомнѣніе въ томъ, дѣйствительно ли человѣкъ по природѣ своей безсмертенъ послѣ грѣхопаденія. Социнъ отвѣтилъ на этотъ вопросъ отрицательно и чисто-раціоналистическимъ путемъ, вопреки вѣковому ученію историческаго христіанства, создалъ свою доктрину. По его представленію, „христіанская религія есть путь, свыше открытый для достиженія вѣчной жизни“. Человѣкъ смертенъ по природѣ, а вслѣдствіе грѣхопаденія уничтожается и въ загробной жизни: цѣль христіанства—избавить его отъ этой второй смерти. Признавая св. писаніе единственнымъ авторитетомъ, Социнъ могъ

толковать его очень широко, различивъ въ немъ по своему существенное и несущественное, буквальное и иносказательное, откуда критическій раціонализмъ всей системы [1]), порвавшей съ дѣйствительнымъ, историческимъ христіанствомъ. Поэтому сочиненія Социна и его послѣдователей отвергаютъ догматъ о троичности Божества, не находя его буквально формулированнымъ въ св. писаніи и не соглашаясь съ нимъ по чисто раціоналистическимъ соображеніямъ. Съ тѣмъ же чисто діалектическимъ творчествомъ своей мысли Социнъ училъ, что цѣлью пришествія Христова было сообщеніе человѣку безсмертія въ загробной жизни, какъ произвольнаго дара Божія. Это надѣленіе человѣка новымъ качествомъ произошло чрезъ воскресеніе Іисуса Христа: оно,—говорилъ Социнъ,—гарантія нашего воскресенія. Но чтобы это утвержденіе имѣло смыслъ, Социну нужно было признаніе Искупителя за простого человѣка: не отличайся онъ отъ остальныхъ смертныхъ, въ воскресеніи Христа не было бы этой гарантіи. Съ другой стороны, съ раціоналистической точки зрѣнія Социнъ не могъ понять ни воплощенія Божества, ни соединенія несліяннаго и нераздѣльнаго двухъ естествъ въ Богочеловѣкѣ. Тѣмъ не менѣе социніане видѣли въ Іисусѣ Христѣ болѣе, чѣмъ простого человѣка и, признавая сверхъестественное его рожденіе, противорѣчили самимъ себѣ, потому что воскресеніе такого человѣка не гарантія нашего воскресенія. Признавая далѣе полную святость и совершенную безгрѣховность Христа, а также сообщенное ему Богомъ за „послушаніе даже до смерти“ могущество, они требовали божескаго поклоненія Христу. Но тутъ было новое противорѣчіе: божественность они понимали, какъ власть надо всѣмъ міромъ ex se ipso, а между тѣмъ, говорили о сообщеніи Іисусу Христу божественности. Поэтому крайніе унитаріи шли дальше, не видя въ Христѣ ничего, кромѣ простого человѣка. Для оправданія своихъ теорій социніане многое прямо создавали: напр., они говорили о восхищеніи Христа на небо передъ выступленіемъ на проповѣдь, и это имъ было нужно въ виду отрицанія ими преэкзистенціи. Равнымъ образомъ крестная смерть для нихъ была не искупительной жертвой, а простымъ переходнымъ моментомъ къ воскресенію, въ которомъ гарантія воскресенія всѣхъ людей. Съ этой точки зрѣнія въ таинствѣ причащенія они видѣли простой символъ, а крещеніе считали за излишнее для спасенія. Основной взглядъ о томъ, что цѣль христіанства надѣленіе тог-

---

[1]) Въ изданіи Раковскаго катехизиса 1684 г. читаемъ: ne quid statuatur, quod ipsi sanae rationi repugnet seu contradictionem involvet.

talis immortalitate, проводился по всей системѣ, но ея противорѣчія мѣшали всѣмъ антитринитаріямъ объединиться подъ ея знаменемъ, такъ что, съ одной стороны, были отъ нея отклонявшіеся, и сама она развивалась далѣе въ раціоналистическомъ смыслѣ, даже послѣ того, какъ антитринитаріи въ половинѣ XVII вѣка были изгнаны изъ Польши.

По крайней отвлеченности своей и разсудочности, а главное вслѣдствіе того, что съ шестидесятыхъ годовъ XVI вѣка началось обратное движеніе поляковъ въ лоно католической церкви, антитринитаризму труднѣе было, чѣмъ тремъ другимъ формамъ польскаго протестантизма, овладѣть обществомъ и бороться съ католицизмомъ. Если сектантство держалось и даже процвѣтало въ Польшѣ, то отчасти даже благодаря католической политикѣ, которая не хотѣла, чтобы изгнаніе антитринитаріевъ усилило протестантовъ лютеранскаго, чешскаго и гельветическаго исповѣданія и было принято за молчаливое признаніе ихъ права на существованіе въ Польшѣ. Съ другой стороны, реакція держала ересь передъ глазами испуганныхъ католиковъ, какъ назидательный примѣръ того, до чего доводитъ отпаденіе отъ единой спасающей церкви. Долгое, столѣтнее открытое существованіе еретиковъ въ предѣлахъ Рѣчи Посполитой указываетъ намъ, какъ силенъ былъ элементъ вольномыслія въ польской реформаціи и какою широкою религіозною свободою пользовалась Польша во второй половинѣ XVI вѣка. Но реакція въ концѣ концовъ перевоспитала общество и нанесла ударъ той терпимости государства, которая установилась при Сигизмундѣ-Августѣ.

Польское сектантство имѣло совсѣмъ иную судьбу, чѣмъ въ другихъ странахъ, гдѣ происходило реформаціонное движеніе. Въ Германіи въ двадцатыхъ годахъ XVI вѣка анабаптизмъ былъ тѣсно связанъ съ великимъ крестьянскимъ возстаніемъ, а позднѣе проявился въ связи съ соціальнымъ броженіемъ среди низшихъ классовъ городского населенія. Подавленный силою, онъ все-таки игралъ роль соціально-политическаго фактора. Въ Польшѣ мы этого не видимъ. Социніанизмъ былъ слишкомъ абстрактенъ, чтобы сдѣлаться понятнымъ народнымъ массамъ, и слишкомъ аристократиченъ, чтобы выйти изъ замкнутаго круга общества на болѣе широкую арену. Вопросъ о правѣ истинныхъ христіанъ имѣть „подданныхъ“ или рабовъ возбуждался польскими сектантами еще въ семидесятыхъ годахъ XVI в., и у нѣкоторыхъ мы находимъ защиту этого права съ ветхо-завѣтной точки зрѣнія, но самъ Социнъ осторожно не затрогивалъ этого вопроса. Зародившись въ анабаптизмѣ, антитринитаризмъ постепенно осво-

бождался отъ анабаптистскихъ вліяній, и хотя они были замѣтны на польскомъ сектантствѣ въ первое время его самостоятельнаго существованія внѣ кальвинской церкви, но именно все развитіе антитринитаризма въ Польшѣ сопровождалось выдѣленіемъ раціонализма изъ мистическихъ мечтаній и ихъ постепеннымъ ослабленіемъ. Между тѣмъ, именно только не теологическая діалектика, отличающая собою социніанизмъ, а мистицизмъ и соціальный идеализмъ анабаптизма могли бы еще привлечь къ польскому сектантству народныя массы, еслибы притомъ онѣ и болѣе въ тому были подготовлены, и болѣе обращали на себя вниманіе проповѣдниковъ, старавшихся объ одномъ только привлеченіи на свою сторону шляхты, съ помощью власти которой надъ массой сельскаго народа они надѣялись утвердить свои доктрины. Въ городахъ и мѣстечкахъ еще существовали социніанскія общины (ихъ было до 150 въ Польшѣ и Литвѣ первой четверти XVII в.), но крестьяне только въ видѣ исключеній затрогивались движеніемъ. Конечно, и въ Польшу проникали съ Запада и сектантскій аскетизмъ, и визіонерство, и мистическій квіетизмъ [1]), но особенныхъ корней они не пустили, и пріѣздъ въ Польшу Социна только далъ перевѣсъ той части сектантовъ, которая наименѣе была проникнута воззрѣніями анабаптизма. Съ другой стороны, партія проповѣдниковъ, возставшая противъ занятія христіанами государственныхъ должностей, противъ суда и военной службы и предававшаяся хиліастическимъ мечтаніямъ, не могла, конечно, имѣть успѣха среди шляхты, и совсѣмъ, разумѣется, не социновское ученіе о полномъ подчиненіи властямъ предержащимъ привлекало къ нему эту шляхту, а именно его раціонализмъ и свободомысліе. Особенно шляхтѣ въ социніанизмѣ нравились его заботы объ образованіи и школахъ, и быть можетъ, никто въ Польшѣ не дѣлалъ такъ много для этого, какъ социніане. Въ сравненіи съ нѣмецкимъ сектантствомъ XVI в. польское является такимъ образомъ болѣе аристократическимъ и раціоналистическимъ: въ нѣмецкомъ именно мы видимъ преобладаніе демократизма и мистицизма. Это различіе отражаетъ на себѣ въ частномъ случаѣ все различіе между польской, болѣе шляхетской и вольномысленной, и нѣмецкой, чисто народной и строже религіозной реформаціей: социніанскіе богословы даже какъ-то боялись затрогивать щекотливый въ ихъ положеніи, какъ протеже шляхты, вопросъ о „подданствѣ“ крестьянъ. Хотя нѣмецкое сектантство было подавлено, оно успѣло произвести соціальное дви-

[1]) Szujski, Odrodzenie i reformacyja, 110 191 и слѣд.

женіе, подобно тому какъ и англійское сектантство середины XVII в. приняло участіе въ политической революціи, установившей въ странѣ на время республику „святыхъ“. Польскій антитринитаризмъ не былъ связанъ съ какимъ-либо соціально-политическимъ движеніемъ и даже въ чисто культурной сферѣ не успѣлъ привести ни къ чему, что могло бы идти въ сравненіе съ позднѣйшимъ англійскимъ деизмомъ, хотя и необходимо отмѣтить полную терпимость социніанъ къ религіознымъ мнѣніямъ другихъ христіанъ. Въ серединѣ XVII вѣка развитію антитринитаризма въ Польшѣ былъ положенъ насильственный конецъ, и социніанизмъ, окрѣпшій въ Рѣчи Посполитой, понесъ свои культурныя вліянія въ другія страны. Антитринитаризмъ могъ существовать въ Польшѣ только потому, что здѣсь ни одна протестантская церковь не была настолько сильна, чтобы его подавить, а католики терпѣли его наравнѣ съ другими „ересями“. Но именно съ антитринитаріевъ могла начать насильственно подавленіе разновѣрства католическая реакція, такъ какъ отъ нихъ отреклись три протестантскія исповѣданія и сами скорѣе преслѣдовали социніанъ, чѣмъ ихъ защищали. Но подавленіе антитринитаризма было только началомъ подавленія и протестантизма.

Н. Карѣевъ.

ВСЕСОСЛОВНАЯ СЕМЬЯ

Разсказъ изъ лѣтописей одного благонамѣреннаго сближенія.

IV *).

На обратномъ пути изъ Ольхина, я заѣхалъ опять къ Неплёскину. Человѣкъ этотъ, съ странной своей способностью уживаться въ самыхъ фальшивыхъ и неустойчивыхъ положеніяхъ, началъ интриговать меня уже независимо отъ своихъ фантастическихъ міровоззрѣній.

Миронова дома не было, да и его постоялецъ нашелся невдругъ.

— Онъ тамъ, на рѣчкѣ, рыбу удитъ,—объясняла Дуня, выбѣжавшая ко мнѣ на встрѣчу. — Малецъ сію минуту за нимъ побѣгъ.

— Напрасно, — сказалъ я. — Лучше бы вы проводили меня къ нему.

— И то провожу; рѣчка отселева недалече. Пока еще Ѳедька его докличется... Идемте.

И мы пошли.

Тропинка, едва замѣтная глазу, вилась между озимей, внизъ, въ сырую ложбину, заросшую мелкимъ березнякомъ, олешникомъ, тальникомъ, и кое гдѣ можжевеловыми кустами. Дуня шла легкою поступью, но такъ проворно, что я едва поспѣвалъ. Дорогою, отвѣчая мнѣ на вопросы, она оборачивалась и убавляла шагу; но деревенскіе жители, кромѣ какъ на гуляньѣ, въ праздникъ, не ходятъ рядомъ.

— Какъ же это вы его одного бросаете? — спрашивалъ я шутя.

*) См. выше: сентябрь, стр. 157.

— А нешто я нянька ему? Да, признаться сказать, и охота то не по мнѣ. Сиди, значитъ, цѣлымъ часомъ, не шевелясь, и молчи.

— Не женское дѣло?

Она засмѣялась.—Ужъ видно не женское.

— И что это ему вздумалось? Въ Ольхинѣ онъ не ѣздилъ удить.

— Да какъ вамъ сказать? Надо быть, тамъ никто не ловитъ, такъ нѣтъ и снастей, — отвѣчала она, подумавъ. — А онъ, какъ есть, настоящій баринъ; все, значитъ, чтобы было ему готовое.

— Привычка, Дуня; когда вы будете барыней, сами потребуете всего готоваго.

Дѣвка, глянувъ на меня, покраснѣла вся до ушей и лицо ея засіяло счастьемъ; но не прошло и минуты, какъ вспышка эта потухла.

— Боюсь я,—шепнула она, потупя взоръ.

— Чего же это?

Дуня не знала что̀ отвѣчать; но видимо не желая прервать разговора, убавила шагу, и я ее скоро догналъ.

Нѣсколько разъ она поднимала глаза на меня, словно пытаясь прочесть мою мысль, но застыдясь, опять опускала ихъ.

— Не знаю ужъ какъ и сказать,—начала она:—вы, господа, — насмѣшники...

— Напрасно вы это думаете, Авдотья Терентьевна. Я у васъ спрашиваю не на смѣхъ, а потому что я принимаю въ вашей судьбѣ самое искреннее участіе.

Опять она усмѣхнулась, замѣтно польщенная.

— Не знаю, слышь, барскихъ вашихъ обычаевъ, — продолжала она. — Въ чемъ-нибудь не потрафишь, сейчасъ охаютъ; вишь, молъ, ворона-то—залетѣла въ большія хоромы!

— Э! полноте! Что за хоромы?.. Нынѣшнимъ временемъ!.. Да и вы, Дуня, во всякомъ случаѣ не ворона. На васъ и вчужѣ-то поглядѣть, сердце радуется, такая вы статная, да пригожая! „Краля“ — это у васъ называется; и я вамъ скажу, на мой взглядъ, вы какъ есть теперь настоящая „краля“.

— Не ври, господинъ!—перебила она, опять вся вспыхнувъ. —Знаю я вашу замашку. Глазъ на глазъ честишь, а на людяхъ, какъ буду жить въ городѣ, съ мужемъ, чать глазъ не покажешь къ намъ въ домъ.

— Вы меня обижаете, Дуня! Совсѣмъ напротивъ, какъ только случится быть въ городѣ, такъ—первымъ же дѣломъ къ вамъ.

Она успокоилась.—А господинъ Горностаевъ?—спросила она.

— И Петръ Ивановичъ тоже. Только, вы понимаете, Петръ Ивановичъ, какъ человѣкъ женатый, не властенъ располагать собой въ такой степени, какъ нашъ братъ, холостой. Да и барыня-то его, маленько—того—съ душкомъ.

— Чего тамъ „съ душкомъ", — отвѣчала дѣвка, сдвинувъ густыя брови. — Какъ есть змѣя подколодная!..—И помолчавъ: — знаемъ мы кое-что объ этой особѣ,—шепнула она.—Ольхино-то не за горами. Ну да мнѣ что? Не крѣпостная ея. Мнѣ жалко Ивана Герасимовича. Чего онъ только не натерпѣлся отъ этого дьявола; чтобъ ей ни дна, ни покрышки! Чтобъ ее разорвало, треклятую!..

Въ эту минуту, вода блеснула сквозь чащу кустарника, и на встрѣчу намъ выбѣжалъ мальчикъ, посланный за ея женихомъ.

— Нашелъ!—возвѣстилъ онъ, махая рукой. —Эва вонъ гдѣ!.. Насилу яво—докликался...

Дорогой обратно, Дуня ни слова не проронила и только-что мы вернулись на хуторъ, оставила насъ вдвоемъ.

Иванъ Герасимовичъ на этотъ разъ казался какъ бы озабоченъ и жаловался мнѣ на Миронова.

— Самъ предлагалъ мнѣ деньги на обзаведеніе, — говорилъ онъ: — а теперь жмется; по бѣдности молъ, придется занять, такъ дай ему, значитъ, на нихъ векселя.

— Такъ чтожъ?—сказалъ я, едва удерживаясь отъ смѣха.— Оно не по родственному, конечно, но онъ же вѣдь не подастъ ко взысканію на родную дочь...

— Да,—отвѣчалъ онъ:—я бы и не постоялъ за этимъ; только тутъ есть... заворожка.

Но онъ не сказалъ, какая, а только выругалъ своего нареченнаго тестя крѣпкимъ словцомъ.—Это тотъ русскій кулакъ,— говорилъ онъ,—о которомъ предсказываютъ, что онъ жида, армянина и грека за поясъ заткнетъ.

— Странно, — сказалъ я:—что именно послѣ крестьянской реформы, этотъ типъ хищника расплодился у насъ въ такой степени.

— Нисколько не странно,—возразилъ онъ.—Напротивъ, это въ порядкѣ вещей и мы должны были этого ожидать. Но мы не хотѣли видѣть трезвой дѣйствительности, считая ее оскорбительной для себя, и забавлялись розовыми мечтами... Типъ міроѣда, отъ котораго мы отворачиваемся теперь съ такой благородной брезгливостью, это, батюшка, весьма поучительное явленіе. Вникните-ка: вѣдь это живой протестъ противъ той крѣпостническо-барской идилліи, которую мы сочинили себѣ о мужикѣ. Въ идилліи этой мы, съ лицемѣрнымъ великодушіемъ, отводимъ ему въ воз-

награжденіе за земныя блага, которыхъ онъ былъ лишенъ по нашей милости, чуть ли не всѣ христіанскія добродѣтели: кротость, смиреніе, простоту сердечную, безкорыстіе и терпѣніе безконечное, а на себя принимаемъ со вздохомъ грѣховную суету, то-есть достатокъ, изящную обстановку жизни и власть. Это—ребяческое самообольщеніе, и пора наконецъ убѣдиться, что нашъ мужикъ почти также далекъ отъ христіанскаго идеала, какъ и мы сами. Разъ получивъ права гражданскія, предоставляющія ему самому искать улучшенія своей участи, онъ понятнымъ образомъ не намѣренъ довольствоваться великопостными добродѣтелями, за которыя мы превозносимъ его. Онъ и самъ не прочь насладиться грѣховными благами міра сего, и не будучи нами воспитанъ въ правилахъ деликатности, понятнымъ образомъ не задумывается ни надъ какими законными способами ихъ пріобрѣтенія. Простительно то или нѣтъ, во всякомъ случаѣ не нашему брату его осуждать. Мы дѣлали триста лѣтъ то же самое, и если при этомъ не драли шкуры съ живого и мертваго, если до нитки обобранные кормильцы наши, подъ крѣпостнымъ ярмомъ, не дохли —въ буквальномъ значеніи слова—съ голоду, то мы доживали свой вѣкъ съ спокойною совѣстью и считались добрыми господами. Нечего удивляться, стало быть, если по нашимъ слѣдамъ и мужикъ стремится теперь къ тому же. Это естественно; только у мужика стремленіе это не выучилось еще рядиться въ приличныя формы и живодерство его, своею грубой откровенностью, оскорбляетъ нашъ вкусъ. Но надо имѣть терпѣніе: мягкія формы придутъ со временемъ и нахальство мало-по-малу уступитъ мѣсто изящному лицемѣрію...

Скоро послѣ того я видѣлъ Ларису Дмитріевну опять у Розы, въ городѣ, и она объяснила мнѣ, что у Неплёскина съ его нареченнымъ тестемъ вышли недоумѣнія. Мироновъ, молъ, разумѣетъ, что всѣ расходы по обзаведенію должны у нихъ быть пополамъ, а такъ какъ тотъ не имѣетъ ни гроша собственнаго, то требуетъ векселей за поручительствомъ какого-нибудь состоятельнаго лица,—понятно, имѣя при этомъ въ виду либо васъ, либо Петра Ивановича.

Я разсмѣялся, но барыня была въ сильномъ негодованіи.

— Вамъ это смѣшно,—говорила она:—а мнѣ, Василій Егоровичъ, просто тошно. Представьте себѣ, что мой мужъ чуть не плакалъ, когда я сказала ему на отрѣзъ, что я несогласна на это дурачество.

— Не можетъ быть?

— Вы, стало быть, ничего не слыхали объ этомъ?

— Слышалъ кой-что, мимоходомъ; — только Иванъ Герасимовичъ не проронилъ мнѣ ни слова о поручительствѣ... А вы отъ кого узнали?

— Да, разумѣется, отъ Петра Ивановича. Къ мужу они обращались оба съ просьбою ихъ разсудить.

— Неплёскинъ, стало быть, противъ этого?

— Ну да, изъ приличія. А въ сущности, я полагаю, ему рѣшительно все равно, на чей счетъ его будущій тесть одѣнетъ, обмеблируетъ и повѣнчаетъ его.

Я отвѣчалъ съ усмѣшкой, что это довольно правдоподобно.

— Но согласитесь, что это низко со стороны Ивана Герасимовича.

— Нѣтъ, это ни низко, ни высоко, Лариса Дмитріевна, а это уже такая натура,—безпечная, глубоко-равнодушная къ нѣкоторымъ вещамъ. Въ сущности онъ такъ же мало способенъ заботиться о своихъ интересахъ, какъ и о вашихъ.

— Вы думаете? Ну, я еще разъ вамъ повторяю, что вы его худо знаете. Такому глубокому эгоисту только и мѣсто, что у какого-нибудь Миронова, потому что тамъ онъ получитъ, конечно, сдачи той же монетою и сполна.

— Курьезно!—сказалъ я, соображая. — Надо будетъ опять заглянуть къ нимъ въ Вытягово. Похожденія этого человѣка начинаютъ меня занимать, здѣсь, на безлюдьи, почти какъ романъ.

Случайно, я поднялъ при этомъ глаза на мою собесѣдницу и отъ меня не укрылась краска, которая вдругъ, какъ зарево, промелькнула у ней на лицѣ.

— Развѣ что такъ,—сказала она.—А то дѣловая компанія ихъ тутъ близко... И она сообщила мнѣ адресъ дома, куда Мироновъ, случайно встрѣченный ими въ городѣ, звалъ Петра Иваныча „на совѣтъ“.—Мужъ сію минуту туда отправился,—прибавила она, посмотрѣвъ на часы,—и вы, если это вамъ интересно, застанете его еще тамъ.

Я отыскалъ ихъ въ какомъ-то мелкомъ заѣзжемъ домѣ, за самоваромъ, и оба, увидѣвъ меня, обрадовались.

— Василій Егорычъ! Голубчикъ!—к-к-какими судьбами?—воскликнулъ Петръ Ивановичъ.

— Лариса Дмитріевна прислала, — отвѣчалъ я... Да только боюсь, не лишній ли я, господа?

— Напротивъ, мы только что вспоминали о васъ. — Вотъ, говоримъ, кабы еще да Василья Егоровича,—анъ вы и тутъ.

— Чайку, сударь, милости просимъ; присядьте, — сказалъ

патріархъ, хозяйничавшій за самоваромъ. — Сахарцу-то въ стаканчикъ прикажете или въ прикуску?.. Вотъ, можно сказать, Господь привелъ!.. Дѣльце у насъ тутъ, батюшка, — думаемъ, думаемъ мы съ ихъ милостью, да не можемъ ума приложить... Изволите видѣть, какъ значитъ — Иванъ Герасимовичъ сдѣлалъ мнѣ, мужику, немалую честь, — дочку мою единственную просваталъ;—и какъ, по чину ихнему,—значитъ, — теперь неприлично имъ съ будущею супругою ихъ жить по-мужицки, то и намѣрены они поселиться тутъ въ городѣ. Ну и само собою — не въ праздности проводить здѣсь время разсчитываютъ. Промыселъ у нихъ, сударь, намѣченъ, что нынѣшнимъ временемъ, можно сказать, и не сыщешь выгоднѣе. Въ ходатаяхъ по дѣламъ, какъ вамъ извѣстно, у насъ тутъ скудость. Не то чтобы ихъ здѣсь вовсе не было, да ужъ больно плохи наши здѣшніе-то: все больше выгнанные со службы, стракулисты, — пьющій, неблагонадежный народъ, а заправскихъ-то, по нуждѣ, купцы изъ П**ва выписываютъ и платятъ за то лихія деньги. Можно на эфтомъ, стало быть, здѣсь заработать хорошій доходъ человѣку грамотному и свѣдущему; а зятюшку моего, нареченнаго, Богъ не обидѣлъ ни разумомъ, ни наукой. И пишутъ-то они бойко; а говорятъ, — сами знаете, — такъ говорятъ, что сонъ и ѣду забудешь, заслушаешься... Одначе, всякое дѣло времени требуетъ, а до времени, какъ ни вертись, фатера нужна имъ тутъ, въ городѣ, и на фатерѣ — утварь, прислуга; одежа у нихъ, по здѣшнему, городскому, маленько тоже въ обновкѣ нуждается...— И онъ тяжело вздохнулъ.—Прикидывали мы тутъ, безъ васъ, съ ихъ милостью... Выходитъ, сударь, что на одно обзаведеніе, бѣднымъ манеромъ, понадобится 600 рублевъ; да содержаніе, въ мѣсяцъ, дешевой цѣною, войдетъ этакъ рубликовъ въ сто. Тысячку, значитъ, по крайности, надо имѣть на первый разъ...— И опять тяжело вздохнувъ, онъ отеръ ситцевымъ съ розовыми цвѣточками носовымъ платкомъ обильный потъ, выступившій на лбу.

Я посмотрѣлъ на Петра Ивановича, но тотъ ни гугу, сидитъ съ виноватымъ видомъ, и опустивъ глаза, мѣшаетъ ложечкою въ стаканѣ.

— По родственному, значитъ, по справедливости,—продолжалъ Мироновъ:—на мою долю приходится тутъ половина, и трудно мнѣ, господа, при малыхъ моихъ достаткахъ, добыть такія деньги, —о-охъ какъ трудно!.. Ну да ужъ это моя забота. А только теперича и за симъ не хватаетъ все-таки еще пяти сотъ и откуда ихъ взять, про то развѣ одинъ Господь вѣдаетъ.

Опять онъ умолкъ и, весь красный, съ распареннымъ отъ шести стакановъ чаю лицомъ, обвелъ насъ взоромъ.

— Капиталу у ихъ благородія не имѣется,—продолжалъ онъ жалобно:—пенція тоже махонькая, а векселей ихъ тутъ въ городѣ не уважутъ безъ поручителя; не получишь подъ нихъ и гривенника за рубль: какъ дѣлать-то?.. Господа почтенные! Не осудите неуча, если по простотѣ своей къ вамъ обращаюсь! Свой вѣдь Иванъ Герасимовичъ-то вамъ, повѣрьте слову его, если ужъ мнѣ не вѣрите: не допустимъ мы вашей милости ни до какихъ непріятностей и убытковъ. Къ Успенью, на будущій годъ, какъ Богъ святъ, будетъ уплачено.—Петръ Иванычъ, батюшка!.. Василій Егорычъ! Отцы родные! Не откажите, выручите!.. И онъ дотронулся рукой до полу, изображая земной поклонъ.

Петръ Иванычъ уставился на меня.

— Вы, значитъ, ручаетесь намъ за своевременную уплату?—сказалъ я.

— Ручаюсь, отецъ родной.

— Такъ что же мѣшаетъ вамъ самому поручиться по векселямъ за вашего зятя?

Его такъ и откинуло отъ стола.—Мнѣ!—переспросилъ онъ.—Да какъ же это такъ, мнѣ-то? Нешто я значу тутъ что-нибудь?

— Э! Полноте! Что вы прикидываетесь? Вы человѣкъ, тутъ въ городѣ хорошо извѣстный.

Онъ мялся.—Не состоя въ купеческомъ званіи,—началъ онъ.

— Пустое, Терентій Степановъ! У васъ есть недвижимость, да еслибы этого кто и не зналъ, то всѣмъ извѣстно, что у васъ есть распивочная тутъ, въ городѣ, и стало быть, есть патентъ на право торговли, котораго совершенно достаточно.

— Сумнительно это, сударь,—произнесъ онъ нетвердымъ голосомъ, и вдругъ измѣняя тонъ:—А хоша бы и такъ, то все же никоимъ образомъ мнѣ невозможно. Пятьсотъ-то рубликовъ за свою долю, и тѣ вѣдь придется по четвертнымъ, да по красненькимъ у своей деревенщины занимать. А скажи я тутъ въ городѣ, что мнѣ требуются такія деньги, да что обо мнѣ подумаютъ? Не иначе какъ спятилъ, значитъ, съ ума человѣкъ, а либо опись назначена у него черезъ три дня, и значитъ, дери съ него что угодно. Вотъ, ваше высокородіе, вы и изволите сообразить: чтобъ получить мнѣ, наличными-то, за зятя, пятьсотъ рублевъ, на какую сумму вексель съ меня возьмутъ?

— Да рубликовъ пятьдесятъ, я полагаю, придется накинуть.

— Шутить изволите?

— Нѣтъ, я серьезно. Да вотъ и Петръ Ивановичъ, я пола-

гаю, того же мнѣнія. Петръ Ивановичъ, вы дали бы этому патріарху пятьсотъ рублей подъ вексель изъ десяти годовыхъ?

— Охотно,—отвѣчалъ тотъ:—еслибъ имѣлъ какую нибудь возможность.

— Ну, я найду возможность. Терентій Степановъ, пишите вексель. Только чуръ—уговоръ. Если къ Успенью, въ будущемъ августѣ, вы не заплатите мнѣ сполна, я вамъ не дамъ отсрочки.

Мироновъ насупился, видимо недовольный.—Много признателенъ вашей милости,—отвѣчалъ онъ сухо и не смотря мнѣ въ глаза. — Будемъ въ надеждѣ-съ; но до поры до времени намъ, благодареніе Господу, торопиться некуда. Пущай моя доля прежде идетъ... И глубоко вздохнувъ, онъ налилъ себѣ еще стаканъ.

Дѣло не состоялось и о немъ больше помину не было, по довольно простой причинѣ. Миронову не было никакой нужды занимать у меня изъ десяти процентовъ деньги, которыя онъ имѣлъ у себя въ укладкѣ, и еще менѣе онъ разсчитывалъ стать передъ нами отвѣтчикомъ за Неплёскина. Разсчетъ у него былъ совсѣмъ обратный. Ему хотѣлось заставить насъ отвѣчать за Ивана Герасимовича, и хотѣлось, кромѣ того, еще содрать съ насъ копѣекъ по двадцати съ рубля за собственные свои пятьсотъ, которыхъ онъ, черезъ подставного, ссудилъ бы зятю подъ вексель, за поручительствомъ добрыхъ его пріятелей, причемъ и волки были бы сыты, и овцы цѣлы... Все это вышло наружу впослѣдствіи и мы посмѣялись-таки, между собою, надъ неудавшимися затѣями этого хитроковзеннаго Улисса.

V.

Свадьба была въ январѣ, и я на ней фигурировалъ шаферомъ жениха. Посаженымъ отцомъ былъ Петръ Ивановичъ, посаженою матерью—супруга акцизнаго надзирателя, и вслѣдъ за ними, не мало другихъ особъ:—чиновники изъ почтоваго вѣдомства, полицейскія власти, купцы—почтили своимъ присутствіемъ торжество, которое кончилось ужиномъ въ русской гостинницѣ, при звукахъ органа, служащаго ей украшеніемъ, и съ обильнымъ потокомъ фабрикованнаго въ Москвѣ шампанскаго. Лариса Дмитріевна по нездоровью отсутствовала и, такимъ образомъ, къ крайнему своему сожалѣнію, потеряла случай увидѣть „Дуняшку“, какъ называла она будущую мадамъ Неплёскину, въ подвѣнечномъ нарядѣ, нарочно для этого дня изготовленномъ лучшей модисткою въ городѣ. Нарядъ этотъ, надо признаться, былъ не

къ лицу деревенской красавицѣ, чувствовавшей себя неловко въ узкомъ, открытомъ на загорѣлой шеѣ, атласномъ лифѣ, и сконфуженной любопытными взорами городской, многочисленной публики. Щеки ея горѣли, прическа съ какими-то крендельками на лбу не шла къ простому лицу;—въ походкѣ недоставало той плавной граціи, которою обладаютъ привычныя къ длиннымъ подоламъ барыни;—ноги ея, наступая на платье спереди, спотыкались и путались въ юбкахъ; руки, при всей ихъ пластической красотѣ, были такъ явно рабочія, хорошо знакомыя со стиркою въ щелоку и съ полосканьемъ въ проруби—руки, что имъ и самимъ какъ-то чувствовалось неловко на бѣломъ атласѣ. Но не взирая на все это, Дуня была такъ стройна и свѣжа, и лучи молодого счастья минутами озаряли такъ ярко ея черты, что сердце даже и самаго равнодушнаго зрителя не могло оставаться къ ней безучастно. Иванъ Герасимовичъ во фракѣ и бѣломъ галстухѣ, съ знакомъ военнаго ордена въ петличкѣ, производилъ на толпу зѣвакъ впечатлѣніе чего-то необычайно-торжественнаго; но знакомый мнѣ хорошо, равнодушный къ своей непосредственной обстановкѣ и то устремленный вдаль, на что-то невидимое, то разсѣянный взоръ его—свидѣтельствовалъ, какъ мало онъ озабоченъ происходящимъ.

Недѣли двѣ послѣ этого, я посѣтилъ молодыхъ на ихъ новой квартирѣ. Она монтирована была самимъ Мироновымъ, и я прибавилъ бы—очень безвкусно, еслибы квартиры людей достаточныхъ, въ нашемъ городѣ, вообще могли оправдать претензію этого рода.

Хозяина не было дома; но молодую жену его я засталъ за критическимъ на ея новомъ поприщѣ и, конечно, нелегкимъ дѣломъ. Она принимала даму, присутствовавшую у ней на свадьбѣ и, очевидно, платившую ей отвѣтный визитъ. Это была жена почтмейстера, съ которымъ Мироновъ, въ качествѣ содержателя почтовой станціи, неподалеку отъ Вытягова, на...ской дорогѣ, былъ въ обязательныхъ отношеніяхъ. Что у нихъ происходило до моего появленія—не знаю; но посѣтительница, развязная молодая женщина, сидѣла съ насмѣшливо-снисходительною улыбочкою на диванѣ (обитомъ сѣрою съ яркими голубыми разводами шерстяною матеріей) и, должно быть, внутренно забавлялась стараніями Авдотьи Терентьевны прилично выполнить свою роль. Мудреная эта задача такъ поглощала Дуню, что она не обратила вниманія даже на шумъ въ прихожей, и я засталъ бѣдняжку въ мучительно-принужденной позѣ передъ своею гостьей, которую она угощала кофеемъ и пыталась занять разговоромъ. Послѣдній, должно быть,

не клеился, потому что хозяйка сидѣла съ пылающими щеками и безпокойнымъ взоромъ. Услышавъ, что кто-то вошелъ въ гостиную, она оглянулась и вдругъ лицо ея просіяло.

— Василій Егорычъ! Гость дорогой!—воскликнула она тѣмъ груднымъ, привѣтливымъ голосомъ, который всегда подкупалъ мое сердце, и быстро вскочивъ, отвѣсила мнѣ поклонъ по-деревенски, всѣмъ корпусомъ.—Батюшка! Да ужъ какъ же я рада вамъ!

Я поклонился со всѣми знаками уваженія и протянулъ ей руку, которую она горячо пожала, тоже по деревенски, вывернувъ локоть наружу. Радость ея была для меня понятна: она привѣтствовала явившагося на выручку къ ней союзника; но почтмейстерша широко открыла глаза, очевидно, не зная, чѣмъ объяснить такой горячій пріемъ.

— Шаферъ они, сударыня, и пріятель Ивана Герасимовича, Василій Егоровичъ, господинъ Владищевъ,—сказала ей весело Дуня; но гостью свою не позаботилась мнѣ назвать.

Къ счастью, всматриваясь внимательнѣе, я узналъ въ ней даму, съ которою мужъ ея познакомилъ меня на свадьбѣ, и это дало мнѣ возможность выручить Дуню, начавъ съ ея гостьей, безъ церемоній, одну изъ тѣхъ бойко-шутливыхъ и перепархивающихъ по разнымъ бездѣльнымъ предметамъ бесѣдъ, до которыхъ уѣздныя барыни наши такія охотницы. Гостья болтала, смѣялась, выпила для компаніи мнѣ еще чашку кофе и, просидѣвъ съ полчаса, ушла, очевидно очень довольная проведеннымъ временемъ, на прощанье расцѣловавъ хозяйку.

Послѣ ухода ея въ гостиной стихло, и Дуня, которую болтовня моя съ гостьей развеселила, видя, что я замолчалъ, опечалилась.

— Скучно, Василій Егоровичъ, батюшка, вамъ со мной, съ деревенщиной неотесанной,—сказала она, повѣсивъ голову.

— Полноте!—возразилъ я:—какъ вамъ не стыдно! Безъ лести, Авдотья Терентьевна, смѣю увѣрить васъ, что вы для меня интереснѣе всякой такой ученой съ органчика канарейки, какъ эта пріятная и образованная особа. Отъ васъ я услышу прямо и безъ прикрасъ то, что у васъ на сердцѣ; а у нея, за множествомъ всякихъ манежныхъ вычуръ, не разберешь, есть ли еще и сердце-то.

— Да будетъ ужъ вамъ подсахаривать!—перебила она.—Глаза-то вѣдь у меня не купленные, не отведете... Добрый вы человѣкъ, не обманывайте меня! Груба вѣдь я, сама знаю; какъ если теперича, напримѣръ, передъ образованною, все одно вѣдь, что суровье передъ тонкимъ холстомъ;—не умѣешь ни сѣсть, ни

встать, ни поклониться, ни разговора пріятнаго завести, какъ эта... Не лгите, весело вамъ было съ ней...

Мы говорили еще, когда вошелъ ея мужъ. Оказалось, что онъ давно уже дома, но не желая встрѣчаться съ гостьей, ждалъ, чтобы она ушла.

— Терпѣть не могу я этихъ сорокъ,—сказалъ онъ,—съ ихъ болтовней и ужимками! Смотри ты у меня, Дуняшка, не перейми. Я только тебя и люблю за то, что на нихъ не похожа; а выучишься вертѣть хвостомъ, да ломаться по ихнему, живо мнѣ опротивѣешь.

Я разсмѣялся.—Вотъ видите ли?—сказалъ я смущенной Дунѣ. —А вы еще ей завидуете... И я разсказалъ Неплёскину нашъ разговоръ.

— Дура!—отрѣзалъ онъ. И обращаясь ко мнѣ:—Ни дать, ни взять дикіе,—пояснилъ онъ:—помните, что́ Колумбъ, съ своею испанской челядью, нашелъ въ Америкѣ, и что́ торопились мѣнять свое чистое золото на дешевую европейскую мѣдь.

— Что за Калумъ такой? Сказка что ли?—спросила Дуня.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—исторія. Только исторія эта больше похожа на сказку, чѣмъ многія настоящія сказки.

Но Дуня была любопытна; пошли разспросы: что такое „исторія“? и—„если ты, Ваня, не врешь“,—то отчего, тутъ въ городѣ, называютъ „исторіей“, когда, напримѣръ, на улицѣ, кто-нибудь заѣхалъ въ ухо кому-нибудь?

Неплёскинъ катался со смѣху.—Ахъ ты моя непосредственность! Золото ты мое, самородное!—восклицалъ онъ, лаская ее и все-таки продолжая подтрунивать.—Дубинка моя неотесанная!

Молодкѣ сначала нравилось это и она сама смѣялась, но на послѣднемъ словѣ вдругъ почему-то обидѣлась и, вскочивъ, оттолкнула его отъ себя съ такой неожиданной силою, что онъ стукнулся звонко затылкомъ о деревянную стѣнку дивана.

— Смотри, не сдѣлай мнѣ при Васильѣ Егоровичѣ „исторіи“!—сказалъ онъ.

— И то смотрю; ладони-то ужъ давно зудятъ.

— Я, можетъ быть, мѣшаю?—спросилъ я.

— А ну васъ къ дьяволу! Озорники!—и Дуня, гнѣвная, выбѣжала изъ комнаты.

— Не знаю, что дѣлать съ своимъ пріобрѣтеніемъ,—сказалъ Неплёскинъ уже безъ шутокъ, когда мы остались одни.—Оставить ее совсѣмъ нешколеную нельзя; а начнешь учить, того и смотри, что все это непосредственное, вся прелесть оригинала со-

трется и выйдетъ само на себя непохожее существо, которое будетъ стыдиться всего, что въ немъ есть естественнаго.

— Да она ужъ и такъ стыдится,—сказалъ я, смѣясь.

Философъ задумался.—Къ несчастію,—продолжалъ онъ вздохнувъ:—это не Дуньки моей одной касается. Это широкій народный вопросъ, который, послѣ крестьянской реформы, стоитъ теперь чуть ли не первымъ на очереди...

— И который,—прибавилъ я:—весьма мудрено рѣшить, какъ рѣшили тотъ, безъ участія прямо заинтересованной въ немъ стороны. Она, быть можетъ, лучше насъ знаетъ, чего ей нужно. А мы?... Чего мы хотимъ? Готовы ли мы отречься отъ нашего просвѣщенія и вернуться въ лоно простонародья, чтобъ стать вмѣстѣ съ нимъ мужикомъ; другими словами—хотимъ ли мы, взрослые, сбливясь съ дѣтьми, вернуться въ ребячество, или хотимъ, чтобъ дѣти, сознавъ преимущества дѣтскаго возраста, не утратили ихъ, перейдя въ другой? Но и то, и другое несбыточно.

— Можетъ быть,—отвѣчалъ Неплёскинъ:—но почему вы думаете, что нашъ народъ тяготится своимъ ребячествомъ?

— Да какъ вамъ сказать? Я не берусь отвѣчать за всѣхъ; но за Авдотью Терентьевну отвѣчаю. Она несомнѣнно хочетъ образованія...

Противъ всякаго ожиданія, Дуня была принята радушно въ высшемъ кругу городского общества и никто не думалъ ей ставить въ вину того запаха деревенщины, который она принесла невольно съ собой изъ дома родительскаго. Правда, что это стоило нѣкотораго труда ея друзьямъ и мужу. Особенно трудно было внушить ей самой, чтобы она не стѣснялась своей невоспитанностью или, по крайней мѣрѣ, не подавала виду, что недостатокъ этотъ смущаетъ ее, и вела себя съ новыми своими знакомыми такъ же непринужденно какъ съ нами, воздерживаясь только отъ рѣзкихъ выходокъ и избѣгая участія въ разговорахъ о томъ, что для нея непонятно. Съ другой стороны, надо отдать справедливость и нашимъ барынямъ! Онѣ словно знали цѣну той „европейской мѣди“, которой завидовала дикарка Ивана Герасимовича, и если не прочь были, за глаза, посмѣяться надъ недостатками вкуса, неловкостями и промахами этой особы, то все же, въ сердцѣ своемъ далеки были отъ той узкой, сословной спѣси, съ которою, напримѣръ, нѣмецкое юнкерство запираетъ двери свои отъ всякой плебейской попытки проникнуть въ его благородный кругъ. Мало того, благодаря извѣстнымъ, демократически-національнымъ вѣяніямъ, которыя около этого времени шли уже очень чувствительно изъ столичныхъ центровъ и находили себѣ благо-

склонный пріемъ въ читающихъ сферахъ уѣзднаго общества,— легенда, пущенная искусно въ ходъ друзьями Дуни, о золотѣ неподдѣльной русской народности, которое въ ней сокрыто, сдѣлала ее скоро предметомъ особеннаго вниманія и любопытства. Послѣднее доходило порой до того, что давали особые вечера нарочно, чтобы показать этотъ феноменъ какому-нибудь пріѣзжему или пріѣзжей; и Дуня, которая не могла не знать ихъ цѣли, являлась на нихъ въ нарочно сшитомъ, для этого рода случаевъ, модно-русскомъ костюмѣ, прельщая однихъ своею здоровою красотою, смѣша или восхищая другихъ наивными выходками и крайнею, къ сожалѣнію, скоро ужъ нѣсколько-заученною простотой обращенія.

Не мало способствовалъ торжеству Авдотьи Терентьевны и другой успѣхъ, одержанный ея мужемъ, тоже противъ всякаго ожиданія. Это было во время сессіи въ нашемъ уѣздномъ городѣ окружнаго суда, передъ которымъ Неплёскинъ выступилъ въ роли защитника одной жалкой женщины, вдовы купеческаго сынка, женившагося противу воли отца и прогнаннаго за это изъ дома родительскаго. Несчастный, искавшій поправить свои дѣла, былъ неразборчивъ на средства, попался, и прежде чѣмъ участь его была рѣшена, погибъ отъ скоротечной чахотки, въ острогѣ. Вдову его обвиняли въ утайкѣ денегъ, обманнымъ образомъ полученныхъ мужемъ за счетъ купца, у котораго онъ служилъ прикащикомъ, и переданныхъ, какъ все заставляло думать, отцу покойнаго, страннымъ образомъ, тотчасъ послѣ ареста сына, принявшему къ себѣ въ домъ его жену съ ребенкомъ. Дѣло со стороны обвиненія затруднено было недостаткомъ прямыхъ уликъ, но нравственная увѣренность, основанная на совпаденіи множества косвенно наводящихъ на слѣдъ обстоятельствъ, была полная и усилена еще тѣмъ, что обвиненная отказывалась отъ всякаго объясненія. На всѣ вопросы, ей предлагаемые, она отвѣчала упорно одно:— мужъ ея денегъ не получалъ и она знать не знаетъ, съ чего на него взвели всю эту напраслину. Дѣло это еще съ осени было на языкѣ у цѣлаго города, такъ какъ обѣ стороны, и пострадавшая, и обвиняемая, принадлежали къ мѣстному городскому купечеству;—и интересъ, возбужденный имъ въ обществѣ, выросъ, ко времени разбирательства, до небывалыхъ еще размѣровъ. Ждали горячаго состязанія, такъ какъ въ качествѣ частнаго обвинителя приглашенъ былъ одинъ изъ самыхъ бойкихъ говоруновъ въ губернскомъ городѣ; да и защита, съ своей стороны, заручилась какою-то знаменитостью. Но недѣли за три до разбирательства, вдругъ, послѣднее это лицо возвратило всѣ посланныя ему бу-

маги, съ извѣстіемъ, что оно не можетъ явиться, ибо милліонный процессъ, по которому оно ужъ два года взяло на себя защиту, назначенъ къ слушанію какъ разъ на тѣ же самые дни. Нужно было, въ одну недѣлю, найти на мѣсто его надежнаго человѣка, но на бѣду такого, и на четыреста верстъ кругомъ, никто не могъ указать. Тогда-то Мироновъ, гостившій какъ разъ объ эту пору у дочери, воротясь поздно вечеромъ отъ знакомыхъ купцовъ, съ таинственной миною обратился къ Ивану Герасимовичу.

— Ну, дорогой зятёкъ,—сказалъ онъ:—послалъ намъ съ тобой Господь такую находку, что, можно сказать, ни мнѣ, ни тебѣ и во снѣхъ не снилось. По дѣлу Алёнкиной, слышь, питерскій-то брехунъ не будетъ. Въ субботу отказъ полученъ и старикъ Егоръ Пантелеичъ волосы на себѣ рветъ, по той причинѣ—нѣтъ у нихъ никого... Бери.

— Батька! Да ты никакъ рехнулся?

— Бери, я тебѣ говорю; дѣло не хитрое, и Крапивка, который съ осени еще имъ орудуетъ, знаетъ его какъ свои пять пальцевъ. Сію минуту видѣлъ его со старикомъ.—„Кабы, говоритъ, не косноязыченъ, да за свои грѣхи не выжилъ изъ вѣры у добрыхъ людей, не нужно бы, говоритъ, мнѣ никакихъ Домостёновъ;—выступилъ бы одинъ на вся супротивная, и милостью Господа одолѣлъ супостатовъ“!.. Да рожа-то вишь у него ужъ больно тутъ всѣмъ опротивѣла; ну и икота эта теперь... А дѣло, говоритъ, я, со всей подноготной, могу разсказать ему въ одинъ день, и выйдетъ оно у него, коли только онъ мастеръ красно говорить, бѣлѣе снѣгу.—„Камни, говоритъ, не выдержутъ, слезы по беззащитной вдовицѣ и по младенцу ея невинному проліютъ“!.. Бери, Иванъ Герасимовичъ; соколикъ ты мой, бери!

— Не дадутъ.

— Эхъ, милый! Да если ужъ я предлагаю, такъ значитъ—дадутъ. Старикъ слыхалъ тебя, помнишь, когда на съѣздѣ витійствовалъ?..—готовъ хоть сейчасъ по рукамъ;—600 чистоганомъ сулитъ.

Послѣ короткаго колебанія, тотъ принялъ, и какъ оказалось впослѣдствіи, не имѣлъ причины раскаяться въ своей дерзости.

Продѣлавъ всѣ дрязги свидѣтельскаго допроса и всю мелочную войну съ обвиненіемъ подъ руководствомъ Крапивкина, онъ произнесъ такую горячую рѣчь, что даже Лариса Дмитріевна, присутствовавшая на засѣданіи, нѣсколько разъ украдкою отирала глаза. Неплёскинъ началъ съ того, что тономъ сдержаннаго презрѣнія разобралъ всѣ свидѣтельства, на которыхъ противная сторона пыталась установить вину, доказывая, что между ними нѣтъ

ничего, способнаго безъ натяжки служить уликою, и затѣмъ остановился на основномъ, служившемъ подкладкою всѣхъ обвиненій противъ вдовы, судебномъ предубѣжденіи,—какъ онъ называлъ,—о захватѣ денегъ покойнымъ.

— Оставимъ, — говорилъ онъ своимъ потрясающимъ голосомъ: — оставимъ на совѣсти человѣка, потребованнаго къ другому суду, запоздалый вопросъ: дѣйствительно ли онъ совершилъ взводимое на него преступленіе. Для нашего, погрѣшимаго правосудія, руководствующагося принципомъ, что человѣкъ не можетъ быть осужденъ, не высказавъ передъ своими судьями всего, что̀ ему извѣстно въ свою защиту,—довольно уже и того, что смерть заградила ему уста, чтобъ воздержаться отъ приговора. Можетъ быть, онъ виноватъ не болѣе какъ въ простой оплошности, которою ловко воспользовался другой,—а можетъ статься и болѣе,—мы не знаемъ. Но послѣ него осталась несчастная, потерявшая въ немъ единственнаго свидѣтеля, который могъ бы ее оправдать,—осталась любящая, неволебимо-преданная, вѣрная памяти его и за гробомъ—жена... И что же мы съ нею сдѣлали, господа?—Мы, какъ озлобленные ловцы, у которыхъ выскользнула изъ рукъ гораздо болѣе дорогая добыча, накинулись на нее съ высоко-поднятыми бичами, съ гиками и угрозами. — „Ты не уйдешь!.. Ты поплатишься намъ за него!.. Оправдывайся, какъ знаешь, но помни, что ты не уйдешь, не выдавъ намъ головою его,—покойнаго!..“ О! Если въ числѣ присутствующихъ здѣсь на судѣ есть женщины съ вѣрнымъ и преданнымъ сердцемъ, то мнѣ нѣтъ надобности имъ объяснять, съ какимъ чувствомъ эта несчастная ихъ сестра должна была отнестись къ бездушному, каменному жестокосердію подобнаго рода травли!.. Я отвѣчаю за нихъ: — любая, на ея мѣстѣ, сказала бы тоже. Она сказала бы: я—не свидѣтельница противъ того, чей сынъ у меня на груди, и чья память, въ моихъ глазахъ, дороже свободы и жизни... Но остальные-то, всѣ мы присутствующіе на этой травлѣ,—братья, мужья, отцы, христіане!—да неужли же сердце не повернется у насъ въ груди при видѣ того, что̀ пять мѣсяцевъ адской нравственной пытки сдѣлали съ этой женщиной, которой всего двадцать лѣтъ, и которую многіе здѣсь, конечно, помнятъ еще цвѣтущею, молодою невѣстой?.. Смотрите, какъ высохли ея руки! Какъ пожелтѣло и исхудало ея лицо!.. Похожа ли она на ту беззастѣнчивую пройдоху, которую рисовало намъ обвиненіе? И не похожа ли она несравненно болѣе на ребенка, загнаннаго и замореннаго,—ребенка, не знающаго, ни кто виноватъ въ его страданіяхъ, ни за что его такъ преслѣдуютъ?.. О! ради вѣчной правды и мило-

сердія, неужли же, въ нашей землѣ, для полноты высокаго правосудія, требуются такія жертвы?...

Покуда онъ говорилъ такимъ образомъ, заключая рѣчь, всѣ взоры были обращены на подсудимую, которая, закрывая руками лицо, беззвучно плакала, и какъ бы въ отвѣтъ ей, въ рядахъ многочисленной публики, состоявшей на половину изъ дамъ, слышны были всхлипыванья. Между присяжными, большинство которыхъ принадлежало къ купечеству, на глазахъ у нѣкоторыхъ тоже блистали слезы. Но тишина, во все продолженіе рѣчи, царила мертвая, и только когда, окончивъ, защитникъ сѣлъ, что-то похожее на налетѣвшій внезапно шквалъ колыхнуло толпу и она разразилась тѣмъ дружнымъ возгласомъ одобренія, который, изъ смутнаго ропота, выростаетъ мгновенно въ бурный, неудержимый взрывъ. Отвѣтныя рѣчи прокуратуры и частнаго обвинителя были слабы, и публика, провѣряя между собою шопотомъ свои впечатлѣнія, почти не слушала ихъ. Всѣ чувствовали, что дѣло выиграно и бывалымъ людямъ довольно было взглянуть на присяжныхъ, когда уходя они переглядывались, чтобы убѣдиться, что между ними не будетъ спора. Дѣйствительно, четверть часа спустя, они вернулись съ сіяющими физіономіями, и приговоръ ихъ: — „Нѣтъ, не виновна“ — покрытъ былъ громомъ рукоплесканій. Освобожденной скоро послѣ того и одурѣвшей отъ счастья женщинѣ, когда она выходила изъ залы суда, кто-то поднесъ ея ребенка: бѣдняга рванулась къ нему и едва не задушила его въ своихъ объятіяхъ... Толпа окружала и провожала ее. Середи барынь, проталкивавшихся, чтобы пожать ей руку, встрѣтивъ Неплёскина, она подняла малютку на встрѣчу ему и, рыдая, упала передъ своимъ защитникомъ на колѣни. Сконфуженный и не слушая говорившую ему что-то Дуню, спѣша избавиться отъ несчетныхъ привѣтствій и поздравленій и приглашеній, нашъ побѣдитель бѣжалъ; но свекоръ его довѣрительницы нагналъ его и насильно увезъ обѣдать. Мироновъ съ дочерью, ранѣе приглашенные, укатили слѣдомъ. Меня съ Горностаевымъ звали туда же; но мы предпочли скромную трапезу съ Ларисой Дмитріевной у Розы.

Въ блестящей нѣмецкою чистотою, общей столовой Розы не было еще никого изъ присутствовавшихъ на разбирательствѣ, и Лариса Дмитріевна, въ ожиданіи заказаннаго обѣда, могла дать просторъ своимъ впечатлѣніямъ.

— Хоть бы буфетъ какой-нибудь завели! — жаловалась она съ усталымъ видомъ, снявъ шляпку и поправляя волосы передъ зеркаломъ. — А то, покуда они тамъ разглагольствуютъ, можно издохнуть съ голоду. Шутка сказать, до 8-ми часовъ вечера про-

горчать въ духотѣ, не пивши, не ѣвши, и для чего? Чтобъ въ заключеніе видѣть, какъ цѣлый городъ чествуетъ выпущенную на волю воровку!

Мужъ посмотрѣлъ на меня, очевидно надѣясь, что я не раздѣляю ея воззрѣнія; но вѣроятно, дорогою изъ суда, ему ужъ зажали ротъ, потому что онъ не спѣшилъ съ протестомъ.

— Зачѣмъ вы хотите казаться злѣе, чѣмъ вы на самомъ дѣлѣ, Лариса Дмитріевна,—сказалъ я:—вы, которая, такъ же какъ и другія, плакали на судѣ? Вѣдь вы же не отопретесь, что вамъ было искренно жалко эту несчастную?

— Ну да, не отпираюсь, — плакала, жалко было... Такъ чтожъ? И каторжника, котораго отправляютъ въ Сибирь за душегубство, жалко, — особенно если ему, какъ этой Аленкиной, двадцать лѣтъ, и у него есть дѣти. Но поздравлять его и устраивать ему торжество, если какому-нибудь наемному краснобаю удастся избавить его отъ наказанія, — это низость, которую могутъ позволить себѣ только такія безстыжія дуры, какъ эти, наши... что оборвали себѣ хвосты въ прихожей, проталкиваясь къ мерзавкѣ.

Я собирался взять сторону нашихъ дамъ, очевидно не убѣжденныхъ въ виновности подсудимой; но общая комната къ этому времени начала наполняться голодною публикою изъ засѣданія, и мы, уступая слово новоприбывшимъ, занялись поданнымъ намъ разсольникомъ.

Около насъ превозносили, конечно, защиту Неплёскина и кто-то разсказывалъ, что даже самъ прокуроръ поздравилъ его.

— Да,—подтвердилъ вошедшій въ эту минуту судебный слѣдователь Гриневичъ: — но онъ замѣтилъ при этомъ, что трогательный эффектъ краснорѣчія былъ бы еще сильнѣе, еслибъ въ моментъ, когда защитникъ началъ указывать на изсохшія руки и прочее, шарманка внизу, подъ окномъ, хватила бы арію изъ Травіаты. „Тогда, — говоритъ: — не поручусь, пожалуй, и я бы заплакалъ“.

— Что-жъ тотъ отвѣчалъ?

— Да пустяки.—„Шарманка,—говоритъ:—это недурно; но вы, какъ старый юристъ, вѣроятно предпочитаете барабанъ. Тоже эффектно, молъ, знаете, когда на экзекуцію этакъ вдругъ ударятъ дробь!“

— Не разберешь,—замѣтилъ одинъ изъ присутствующихъ:— кто у васъ тутъ выходитъ правъ и кого по вашему надо считать виноватымъ. Мужъ-то укралъ или нѣтъ?

— Еще бы! Въ этомъ мы не имѣли сомнѣнія и безъ Ален-

киной,—отвѣчалъ Гриневичъ.—И я не знаю, съ чего онъ на насъ напелъ, что мы выпытываемъ у ней на этотъ счетъ какія-нибудь признанія. Намъ нужно было только добиться отъ ней, куда дѣвались деньги.

— Да развѣ же это не косвенное признаніе, что онѣ украдены?

— Нѣтъ. Мало ли откуда у ея мужа могли быть двѣнадцать тысячъ... Еслибъ она сказала гдѣ онѣ, мы, разумѣется, отобрали бы ихъ, но за то ее оставили бы въ покоѣ. Тѣмъ самымъ, что она скрыла краденое, она навлекла на себя преслѣдованіе какъ соучастница въ воровствѣ... Смекаете?

— Да, этакъ оно понятно.

— Но вы понимаете, что подобныхъ, хозяйственныхъ такъ сказать, соображеній слѣдствія намъ нельзя разсказывать на судѣ.

— Вотъ этого-то и не могу взять въ толкъ... Почему?

— А потому... Это наша игра, и мы рискуемъ ее проиграть, открывъ наши карты раньше, чѣмъ слѣдуетъ...

— И такъ проиграли.

— Не проиграли бы,—возразилъ Гриневичъ,—кабы оракулы эти наши не распустили нюни. Но можно ли было думать, что и у этихъ коровъ—тоже нервы!?..

VI.

Блестящій успѣхъ на судѣ доставилъ Неплёскину положеніе въ обществѣ и кое-какую практику. Дѣла, попадавшіяся ему, однако, были неважныя и по своей простотѣ не требовали ни спеціальнаго юридическаго образованія, ни ораторскаго таланта. Чтобы вести ихъ, достаточно было десятаго тома, да нѣкотораго знакомства съ рутиной профессіи; но для этого надо было не брезгать чорной работою на задворкахъ ея и начать съ аза. А нашъ побѣдитель имѣлъ привычку смотрѣть на житейскую суету съ заоблачной высоты своихъ міровоззрѣній, и дрязги, съ которыми обращались къ нему уѣздные наши искатели правосудія, казались ему отвратительны. Выслушивая какую-нибудь жилу-помѣщицу, восемь лѣтъ къ ряду тягающуюся изъ-за безспорно входящаго въ общій составъ имѣнія, ею проданнаго, но по ошибкѣ въ купчей неупомянутаго покоса, или идіота, купеческаго сынка, недовольнаго выдѣленною сестрѣ его долей наслѣдства, онъ скоро терялъ терпѣніе, и кліенты, обиженные его отвѣтомъ, спѣшили

уйти, распространяя очень невыгодную для начинающаго репутацію гордеца. На разбирательствахъ въ мировомъ судѣ, Неплёскину, впрочемъ, случалось не разъ говорить; но высокій полетъ и торжественный тонъ диссертацій его объ основныхъ принципахъ права, по поводу самыхъ тривіальныхъ случаевъ,—какъ напримѣръ, когда онъ распространялся о правѣ собственности изъ-за грошевой порубки въ лѣсу, или о принципѣ личной неприкосновенности изъ-за побитой морды въ трактирѣ,—вводили нерѣдко въ недоумѣніе даже и тѣхъ, за которыхъ онъ ратовалъ, а въ судьѣ вызывали то жестъ нетерпѣнія, то саркастическую усмѣшку. Кстати или не кстати сказанныя—рѣчи его, однако, были всегда эффектны; дамы съѣзжались на нихъ, какъ на публичныя лекціи, и дѣлали ему послѣ овація.

Тѣмъ временемъ, взятыя имъ на себя дѣла гражданскаго свойства лежали въ его рукахъ, по цѣлымъ мѣсяцамъ, безъ движенія, и тесть, озабоченный скудостію его заработка, но вѣровавшій въ Ивана Герасимовича по-мужицки, не зналъ, чему это приписать.

— Ума не приложу, что́ бы это такое значило,—жаловался онъ мнѣ однажды, разговорившись со мною на улицѣ, въ городѣ. —Давеча заходилъ нарочно къ Крапивкѣ, показывалъ ему бумаженку одну, по дѣлу Давыдкова.—„Что, говорю, за причина, что до сихъ поръ никакого толку?.. Не такъ написано, что ли?“ —„Нѣтъ,—говоритъ,—ничего; титулъ только не по формѣ; да нынче за этимъ не больно гоняются“.—„Такъ отчего-жъ, говорю: нѣтъ ходу? Лѣтось еще пошло“. —„А вѣрно нашли, говоритъ, какое-нибудь опущеніе. Какъ ни пиши, говоритъ, и что ни прикладывай, завсегда возможно найти опущеніе“.—„Такъ какъ же, братецъ?“—„Да такъ же, молъ. Птенецъ у тебя не опытенъ и обычаевъ ихнихъ не смыслитъ. Коли желаешь, чтобъ научили его, чего имъ нужно, такъ ты ихъ допрежде уконтентуй, потому—кто-жъ ихъ знаетъ, можетъ, имъ только того и нужно“... И больше не могъ объяснить; а только когда я сказалъ, что вѣрно „уконтентуй“ означаетъ смазку,—ослабился и кивнулъ головой.

Я засмѣялся.—Да что вы его подъ спудомъ прячете, сказалъ я:—свѣтило-то этакое? Отправьте его туда. Дѣла нельзя обдѣлывать за глаза, за триста верстъ отъ мѣстъ, гдѣ они рѣшаются; и никакая смазка тутъ не поможетъ.

Мироновъ всей пятерней почесалъ въ затылкѣ.

— Никакъ того невозможно,—сказалъ онъ.—И здѣсь-то ихъ содержу въ разоренье себѣ; да здѣсь, по крайности на глазахъ;

затѣи-то лишнія можно и поурѣзать; да и на счетъ припасовъ, не то, такъ другое, все же имѣютъ—свое, не купленное. А тамъ они съ Дунькой чисто меня съѣдятъ.

— Такъ надо имѣть тамъ повѣреннаго или подручнаго. Пусть онъ попроситъ кого-нибудь здѣсь, изъ нашихъ, когда поѣдутъ туда на выборы, въ январѣ. Ему это устроютъ дешево; во всякомъ случаѣ уже дешевле, чѣмъ посылать отсюда смазку, Богъ знаетъ кому и за что; да, пожалуй, еще подъ судъ упекутъ, за подкупъ... А здѣсь вы приставьте ему письмоводителя, изъ бывалыхъ; пожалуй, хотя бы того же Крапивкина. Иначе, я вамъ предвѣщаю, что у него не обойдется безъ промаховъ; и пока еще выучится, онъ тутъ напортитъ столько, что послѣ ему и даромъ ужъ ничего не дадутъ.

Задумался мой патріархъ, и первый разъ, можетъ быть, вопросъ: не ошибся ли онъ въ разсчетѣ на зятя, пришелъ ему въ голову. Но онъ не сказалъ ничего, и только мѣсяца три спустя, я узналъ, что всѣ совѣты мои исполнены.

Сначала, это имѣло хорошіе результаты, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кто ввѣрилъ свои интересы новому адвокату, вовсе не подозрѣвая, что въ цѣломъ городѣ, можетъ статься, трудно бы было найти человѣка, при равныхъ условіяхъ грамотности и добросовѣстности, меньше его способнаго быть легальнымъ ихъ охранителемъ. Дѣла, по крайнему его разумѣнію и при содѣйствіи опытнаго письмоводителя, получали правильный ходъ, и смазка, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она была неизбѣжна, не пропадала даромъ, и въ П...вѣ за ними слѣдило еще болѣе опытное лицо. Только расходы на весь этотъ персоналъ, понятно съ львиною частію въ пользу предпринимателя, и съ процентами, накинутыми на нихъ Мироновымъ, изъ кармана котораго шли предварительныя затраты, казались инымъ, непривычнымъ кліентамъ, чрезмѣрными; но имъ доказывали на счетахъ, что по ихъ дѣлу не брошено ни копѣйки даромъ, и люди, умѣющіе цѣнить прогрессъ, вздохнувъ о сопутствующемъ ему увеличеніи цѣнъ на всѣ потребности, покорялись. Въ итогѣ, уѣздное наше общество было такъ радо, что въ городѣ завелся наконецъ свой собственный, хотя оффиціально и не патентованный, просвѣщенный ходатай, къ которому всякій нуждающійся могъ обратиться за помощью, не рискуя быть проданнымъ за 5 рублей или ограбленнымъ,—что праздновало даже публично, въ клубѣ, первую годовщину его появленія на аренѣ публичной дѣятельности; при чемъ, за обѣдомъ, пили здоровье Ивана Герасимовича съ семействомъ и говорили спичи; а вечеромъ дамы ему поднесли букетъ.

Самъ онъ, за это время, успѣлъ пополнѣть, здоровымъ цвѣтомъ лица и бодрымъ видомъ свидѣтельствуя, что бремя предпринятыхъ имъ трудовъ не изнурительно; а супруга его, назадъ тому уже нѣсколько мѣсяцевъ подарившая его сыномъ, такъ побѣлѣла и раздобрѣла, что деревенскія ея сверстницы, встрѣтясь, съ трудомъ узнавали ее. И никакія слова не въ состояніи передать ихъ удивленіе, когда неузнанная она, проходя, вдругъ оборачивалась и называла ихъ громко по имени.—„Мать пресвятая!“—вскрикивала, вглядѣвшись и хлопая себя по колѣнамъ, какая-нибудь Ариша или Ѳеклуша, съ которой она ходила недавно еще въ хороводахъ и объѣдалась орѣхами въ храмовые праздники. Послѣ чего Авдотья Терентьевна зазывала ихъ часто къ себѣ и поила или кормила до невозможности, показывая по цѣлымъ часамъ свои наряды и прочее. Гораздо чаще однакоже и охотнѣе она принимала свѣтскихъ своихъ знакомыхъ, и въ ихъ кругу, дикарка, снаружи по крайней мѣрѣ, успѣла такъ вышколиться, что ее перестали уже звать на показъ. Произошло это впрочемъ безъ всякихъ стараній съ ея стороны и, быть можетъ, даже на зло ея собственному желанію, тѣмъ незамѣтнымъ путемъ, которымъ мы старимся или растемъ. Въ одеждѣ, походкѣ, манерахъ и обращеніи, она походила уже на самыхъ обыкновенныхъ уѣздныхъ дамъ, и только одно здоровье, съ котораго, при сидячей жизни, ее распирало такъ, что швы у нея на платьяхъ лопались,—бросалось еще въ глаза. Въ другихъ отношеніяхъ дрессировка конечно шла медленнѣе: рѣчь ея сохраняла еще не мало жесткихъ или наивныхъ особенностей, и случались выходки, при которыхъ трудно бывало не улыбнуться; особенно, когда Дуня,—давно уже выучившаяся свободно читать и въ пріемные вечера всегда забывавшая на столѣ какой-нибудь номеръ журнала съ модною повѣстью или романомъ,—неосторожно высказывала свое сужденіе о прочитанномъ... Но наши дамы, чувствуя себя вѣроятно и сами не безъ грѣха по части русской словесности, были не строги къ подобнаго рода промахамъ; а сама она или не замѣчала ихъ, или, когда друзья указывали ей на ошибку, выслушивала ихъ съ недовольнымъ видомъ. Ну, не бѣда,—отвѣчала она, взмахнувъ головой:—я не ученая; съ меня не взыщутъ!.. Къ несчастію, съ первыхъ нашихъ уроковъ, и отъ нескромной легенды мужа ея о чистомъ золотѣ безъискусственной простоты, которое безконечно дороже того, на что она такъ торопится его промѣнять, у ней осталось какое-то смутное убѣжденіе въ превосходствѣ своемъ надъ образованными.

— Чего она задираетъ носъ-то?—ляпнула она какъ-то од-

нажды при мнѣ, насчетъ одной пріѣзжей изъ Петербурга.—Нешто не видитъ, что я не посредственная?

— Авдотья Терентьевна, дорогая!—шепнулъ ей Петръ Иванычъ, сидѣвшій у ней со мною вдвоемъ. — Не повторяйте вы, ради Бога, этого слова! Его не поймутъ; да такъ, какъ вы его произносите, оно и значитъ-то даже совсѣмъ не то, что̀ вы желаете имъ сказать.

— Ну, ну, не буду... Вы вѣчно подцѣпите что-нибудь!.. Да не буду же, вамъ говорю... И помолчавъ:—А все-таки я ей утру когда-нибудь носъ, этой питерской!

Пріемы у нихъ, по тѣснотѣ, да и по средствамъ хозяевъ, были изъ самыхъ скромныхъ. Сходились къ 8-ми, пили чай; а въ 12-ть ужинали. Когда Мироновъ былъ въ городѣ, у него составлялся свой небольшой кружокъ: городскія власти, попы и кто-нибудь изъ почтовыхъ или акцизныхъ. Компанія эта удалялась обыкновенно къ хозяину въ кабинетъ, и тамъ усаживалась за карты. Когда недоставало четвертаго, мѣсто его занималъ Крапивкинъ. Но между гостями Ивана Герасимовича и Дуни можно было нерѣдко встрѣтить цвѣтъ нашего общества, и этого-то никакъ не могла переварить Лариса Дмитріевна, всегда подробно допрашивавшая супруга о томъ, кто былъ и что̀ говорили, что̀ дѣлали у Неплѣскиныхъ. Причину успѣха ихъ она объясняла жадностію людей, скучающихъ въ захолустьѣ, до всякаго рода обновки и модой на мужика.

— Пріѣлась намъ образованность,—издѣвалась она:—хотя говорятъ и не солоно-хлебамши. Давай намъ сюда сиволапа и будемъ ему молиться! Давай намъ Терентьевъ Степановыхъ и Дуняшекъ! Отскоблимъ съ нихъ грязь, причешемъ и посадимъ на первое мѣсто въ гостиной!.. Вытяговская Дуняшка, какъ притягательный центръ въ компаніи нашихъ уѣздныхъ умниковъ, это, должно быть, неоцѣненно!

На замѣчаніе, что вѣдь не весь же простой народъ состоитъ изъ Мироновыхъ, она отвѣчала мнѣ рѣзко:

— Конечно нѣтъ, потому что иначе они перегрызли бы горло другъ другу. Но много ли въ немъ такихъ, которые, ненавидя своихъ міроѣдовъ, въ тайнѣ души не завидовали бы имъ? Найдите хоть одного изъ всѣхъ, вамъ извѣстныхъ, который не счелъ бы за счастье нажиться тѣмъ же путемъ и, однажды нажившись, не постарался бы обратить всю окрестность въ своихъ батраковъ. А дочери ихъ, изъ которыхъ вербуется вся эта челядь, что въ городахъ служитъ кухарками или горничными?.. Попробуйте, поживите съ ними, и полюбуйтесь на чистоту ихъ нравственности,

на скромность, честность, на благодарность ихъ за хорошее обращеніе...

Но не взирая на всѣ эти злобныя выходки, любопытство ея росло, а съ нимъ и желаніе собственными глазами полюбоваться на „Непосредственность“, какъ прозвала она Дуню, послѣ разсказанной ей, въ минуты супружеской откровенности, выходки этой особы. Дѣло вращалось сначала въ сферахъ семейной политики и заботы о свѣтскихъ приличіяхъ, ибо, дѣйствительно, въ городѣ не могли понять, отчего Неплёскинъ, такъ долго пользовавшійся гостепріимствомъ въ Ольхинѣ, не знакомитъ свою жену съ Ларисой Дмитріевной. Вина оказывалась, однако, на сторонѣ послѣдней, такъ какъ Неплёскины были у ней съ визитомъ въ усадьбѣ, попавъ туда, когда ея не было дома, она же не удостоила ихъ никакимъ отвѣтомъ на это вниманіе. Понятно, стало быть, если она хотѣла окончить эти неловкія отношенія, ей слѣдовало загладить свою вину и явиться первой. Но опасеніе, что, быть можетъ, и ей заплатятъ той же монетой, было невыносимо для столбовой дворянки, и чтобъ спасти ея самолюбіе, начаты были дипломатическія прелиминаріи. Придрались къ тому, что Петръ Иванычъ бываетъ такъ часто въ гостяхъ у своего пріятеля, а тотъ ни разу и не подумалъ его навѣстить, хотя бы у Розы, въ городѣ. Но у Розы Неплёскинъ, конечно, засталъ не одного Петра Ивановича, а и супругу его, которая приняла его самымъ любезнымъ образомъ, жаловалась, что онъ совсѣмъ забылъ ихъ, и увѣряла, что ей очень совѣстно за свою невѣжливость, но что она положительно, долгое время, была сердита на нихъ, почему-то вообразивъ себѣ, что они выбрали для своего визита въ Ольхино день, когда она завѣдомо была въ городѣ. Тогда мы, хоромъ, возстали противъ нея, свидѣтельствуя, что ничего подобнаго не было, да и быть не могло, и чтобъ отнять у нея всякій поводъ къ сомнѣнію, Иванъ Герасимовичъ, на другой же день, великодушно привезъ ей Дуню. Послѣ ужъ я узналъ, что послѣдняя, когда ей объявлено было съ вечера, что она поѣдетъ завтра къ Ларисѣ Дмитріевнѣ, разругалась съ мужемъ; но это вздоръ, и я оставляю это, чтобъ перейти къ ихъ встрѣчѣ. Я былъ свидѣтелемъ этой комедіи, которую можно назвать, по всей справедливости, Школой Притворства. Двѣ эти женщины, обѣ въ своей обыденной жизни правдивыя и прямыя нерѣдко до грубости, встрѣтясь у Розы въ номерѣ, положительно обнимались и цѣловались какъ старые, невидавшіеся давно друзья. Но разговоръ, послѣ этого изліянія, былъ неискренній и вертѣлся на пустякахъ. Лариса Дмитріевна вела его съ тою маленькою сни-

сходительною улыбочкою, съ которою взрослая женщина говоритъ съ чужимъ ребенкомъ; а Дуня, въ тайнѣ души робѣвшая передъ строгою барыней, которая раза два турнула ее совсѣмъ по крѣпостному изъ Ольхина,—явно стыдилась этого малодушія, и краснѣла какъ школьница на публичномъ экзаменѣ.

— Бросили Вытягово?

— Да-съ, — отвѣчала по старой памяти Дуня, и тутъ же вспомнила что есъ-еръ не принято прибавлять между образованными.—Иванъ Герасимовичъ, для своихъ дѣловъ, должонъ жить въ городѣ, — торопилась она добавить, отъ замѣшательства дѣлая промахъ на промахѣ.

— И вамъ не жалко было оставить батюшку одного, безъ хозяйки въ домѣ?

— О! онъ не тужитъ... Мы часто видимся... А по хозяйству теперь у него Анна Марковна, дьякона Лужинскаго племянница...

— Это рыженькая?..

— Да; она овдовѣла весной...—и прочее въ этомъ родѣ.

На вопросъ: какъ ей нравится въ городѣ, она отвѣчала уже гораздо храбрѣе, что ничего, молъ, покуда еще не успѣла соскучиться.

— Книжки читаете?..

— Да, эту толстую, желтую, — какъ бишь ее?.. Записки какія-то.

— „Отечественныя Записки"?—подсказалъ я.

— Да, кажется, и еще „Сочиненія Пушкина"...—„Сочиненія" мнѣ больше нравятся... Смерть какъ люблю стихи!

Улыбочка на губахъ у Ларисы Дмитріевны стала злѣе и выраженіе ея заострилось; но жало ея потеряно было для Ивана Герасимовича, который, самъ первый и не стѣсняясь ничьимъ присутствіемъ, громко смѣялся надъ промахами жены. Онъ и теперь улыбнулся, замѣтивъ только, что въ нашъ прозаическій вѣкъ, это—рискованное признаніе.

— Да, слишкомъ уже прозаическій! — подтвердила Лариса Дмитріевна вздохнувъ:—но, быть можетъ, не меньше того и бездарный... И обращаясь къ Дунѣ:

— Вполнѣ раздѣляю вашъ вкусъ, — продолжала она. — По моему, все, что нынче пишутъ, похоже на докладную записку или доносъ. Кто-то назвалъ наше нынѣшнее писательство сысковымъ періодомъ русской литературы, и это довольно вѣрно. Только и видишь, что ловятъ, да уличаютъ кого-нибудь.

— Что жъ дѣлать?—сказалъ я, смѣясь.—Пословица: что у кого болитъ... оправдывается на нашемъ времени. Чѣмъ ви-

новата литература, если кругомъ ея все, поголовно, занято тѣмъ же. Вотъ ужъ лѣтъ двадцать, какъ мы ударились въ сискъ и всѣ мы, съ тѣхъ поръ, или преслѣдуемъ, или состоимъ подъ слѣдствіемъ.

— Ахъ, да,—подтвердила Дуня:—вотъ, въ „Голосѣ“ или въ „Петербургскихъ Вѣдомостяхъ“, еще намедни, Ѳедоръ Игнатьичъ читалъ „Разсказъ Судебнаго Слѣдователя“... Оченно, говоритъ, интересно.

Извѣстіе это окончательно развеселило Ларису Дмитріевну и она все время послѣ того шутила, смѣялась, была любезна съ своими гостями и съ Дуней особенно; звала даже ее съ мужемъ въ Ольхино.

Но она не предчувствовала еще тогда, какое жестокое торжество судьба готовила ей со временемъ.

VII.

Занятія у Ивана Герасимовича, послѣ того какъ онъ пріобрѣлъ себѣ опытнаго письмоводителя, были не тяжелы. Крапивкину отвели, на томъ же дворѣ, какое-то логовище, которое называлось въ домѣ конторою, и онъ выносилъ на своихъ плечахъ всю обыденную суету ходатайства: бѣгалъ за справками по присутствіямъ, къ мировому, въ полицію, къ слѣдователю, къ нотаріусу,—строчилъ черновыя прошенія и т. д; а Иванъ Герасимовичъ слѣдилъ за его работою свысока, давая или скорѣе воображая, что онъ даетъ ей должное направленіе. Утромъ, онъ принималъ у себя кліентовъ или читалъ, исправлялъ и подписывалъ дѣловыя бумаги; а вечеромъ углублялся въ ученыя сочиненія Аренса, Миттермайера, Блунчли и прочихъ подобныхъ свѣтилъ, которыя такъ овладѣли его умомъ, что даже въ своихъ задушевныхъ бесѣдахъ съ Петромъ Ивановичемъ онъ охладѣлъ къ другимъ, высокимъ матеріямъ и толковалъ предпочтительно о вопросахъ права. Но все это, къ сожалѣнію, окупалось плохо, и тесть его, по второму году, жаловался, что онъ въ убыткѣ. Дѣла, молъ, какъ на смѣхъ, все достаются грошевыя; а они съ Дунькой и въ усъ не дуютъ; словно не ихъ забота концы сводить.—„Ахъ вы, говорю: — боярскіе вылетки! Да что я у васъ на оброкѣ что ли?..“

Скоро послѣ того однако, я встрѣтилъ его на почтѣ съ ликующею физіономіей. Онъ получилъ, на имя свое, для односель-

цевъ, какія-то небольшія деньги изъ Питера, и отдѣлавшись, сталъ упрашивать, чтобы я его проводилъ къ своимъ.

— Дѣльце одно, сударь, намъ съ Герасимовичемъ наклевывается,—говорилъ онъ дорогой:—да какъ мы, можно сказать, спервоначала облагодѣтельствованы отъ васъ совѣтомъ, то будьте уже благосклонны, выслушайте... Изволили, можетъ, знать нашего бывшаго голову Ѳедосѣева?

— Да, такъ, немножко... а что?

— Скончался на прошлой недѣлѣ.

— Мнѣ!..

— Если изволите помнить, два года тому назадъ, хватило его; послѣ чего старикъ, хоша и бывалъ еще временемъ на ногахъ, одначе сталъ памятью слабъ и разсудкомъ теменъ, о чемъ былъ и рапортъ изъ нашего города въ П-въ; и по рапорту эфтому требовали отсюда лекарскаго свидѣтельства. Лепехинъ и Блюмеръ, что пользовали его въ болѣзни, писали тогда, что ротъ, молъ, скривило и говоритъ съ затрудненіемъ; а также, что слабъ сталъ очень и головою скорбенъ; по суткамъ лежитъ какъ бревно, уставивъ глаза въ одно мѣсто; — на спросъ едва отвѣчаетъ;—подняться не можетъ безъ помощи;—ну, почитай, какъ есть, къ служебнымъ занятіямъ не способенъ. Скоро потомъ и было ему, учтивымъ манеромъ, предложено, отъ кого надлежитъ, оставить службу. И вотъ, уже нынѣшнимъ годомъ, домашніе повезли его въ Питеръ лечиться, гдѣ онъ и померъ. А былъ нашъ Яковъ Семенычъ, по здѣшнему, человѣкъ богатый. Помимо домовъ, тутъ въ городѣ, одного капиталу за нимъ считаютъ не меньше 100.000. Теперь, изволите видѣть, жена его померла и дѣтей отъ нея не осталось; а жилъ онъ давно уже, или, вѣрнѣе, жило при немъ и ухаживало за нимъ чужое семейство: вдова какая-то, капитанша Моргенъ, съ двумя дочерьми, которой вдовѣ покойный и отказалъ, передъ смертью, безъ малаго весь капиталъ. Родной же своей завѣщалъ: кому деревянный домишко, тутъ въ городѣ, а кому тысченки этакъ двѣ-три. А завѣщаніе-то, смекаете, сочиняла Моргенша, да и подписано-то оно, по неотступнымъ ея настояніямъ, имъ, полоумнымъ, всего за пять день передъ смертью, въ Питерѣ... И вотъ, сударь мой, недалѣе какъ вечоръ, родной племянникъ покойнаго, Петръ Ѳедосѣевъ, былъ, на счетъ эфтого самаго завѣщанія, у Герасимовича.—Извѣстно мнѣ, говоритъ, что дяденька находился не токмо-что не въ своемъ умѣ, а и совсѣмъ въ безпамятствѣ, когда эта баба заставила его подписать духовную;—и есть у меня, молъ, на то достаточно доказательствъ. Свидѣтельство, говоритъ, отъ питер-

скихъ дохторовъ, и письма отъ нихъ, и отъ знакомыхъ, что видѣли Якова Семеновича передъ смертью, и письма отъ этой самой выжиги съ дочерьми;—то какъ, говоритъ, вы на счетъ этого полагаете?..

— Смотрите, Терентій Степановъ, — сказалъ я: — справится ли ваша Крапивка съ такимъ предпріятіемъ?.. Вѣдь имъ придется въ Питерѣ воевать, а въ Питерѣ тамъ народъ зубастъ!

— Э! что Крапивка!—отвѣчалъ онъ увѣренно.—Не на Крапивку разсчетъ. А нашъ Герасимовичъ со всякимъ справится. У него книжищи эти однѣ, нѣмецкія, чего стоютъ! — не всякій и въ Питерѣ-то, я чай, читалъ! Намедни еще за никъ безъ малаго сто рублевъ по счету послалъ.

По просьбѣ его я зашелъ къ Ивану Герасимовичу потолковать; но у него сидѣла какая-то родственница покойнаго, глупая болтовня которой и слезныя жалобы на обиду явственно доносились изъ кабинета. Прождавъ понапрасну часа полтора и наслушавшись отъ Авдотьи Терентьевны сплетенъ, ходившихъ уже по этому дѣлу въ городѣ, я отправился за покупками и немного спустя укатилъ къ себѣ, въ Мирково... Съ недѣлю послѣ того, я узналъ, что Неплёскинъ поладилъ съ племянникомъ и уѣхалъ, не долго думая, по его дѣлу въ Питеръ, гдѣ братъ завѣщателя, тоже изъ нашихъ, уже разнюхивалъ по горячимъ слѣдамъ. Вдвоемъ они заявили на завѣщаніе споръ, какъ на фальшиво приписываемое покойному, и просили назначить формальное слѣдствіе.

Такъ началось это дѣло, стоившее Неплёскину всей его дешево-пріобрѣтенной славы. Чувствуя, что ученые, надъ которыми онъ просиживалъ ночи, не сдѣлали изъ него умѣлаго практика, онъ взялъ съ собою Крапивкина; но не успѣли они осмотрѣться въ сумеркахъ загорающагося процесса, и разглядѣть, какъ слѣдуетъ, нѣкоторыя двусмысленныя его черты, какъ старый уѣздный подъячій, выбитый изъ своего устоя невиданными еще доселѣ прелестями столицы и подъ вліяніемъ разныхъ, волнующихъ впечатлѣній, запилъ, покинувъ бѣднаго своего принципала, со всѣми его Миттермайерами, какъ путника въ незнакомомъ лѣсу. Единственнымъ выходомъ для него, въ интересѣ его довѣрителей, было бы тотчасъ же взять какого-нибудь опытнаго дѣльца, изъ настоящихъ присяжныхъ повѣренныхъ, и передовѣрить ему свой искъ. Но это значило бы сложить оружіе и публично признать себя самозванцемъ,—мѣра, въ которой онъ, какъ предводитель арміи, неспособный понять всей опасности ея положенія подъ своимъ руководствомъ, покуда еще не видѣлъ нужды, тѣмъ болѣе что Крапивкинъ не сплошь находился въ безчувствіи, и видя его,

въ иныя минуты, слезно-кающагося въ своемъ безпутствѣ, естественно было надѣяться, что онъ, не сегодня завтра, войдетъ въ свою колею. Но прежде чѣмъ эта надежда осуществилась, Неплёскинъ успѣлъ надѣлать неисправимыхъ промаховъ. Мало того, строкулистъ, которымъ онъ пробовалъ замѣнить Крапивкина, какой-то выгнанный изъ сената писецъ, улучивъ минуту, когда хозяинъ оставилъ его на мгновеніе одного, укралъ изъ стола его важные документы и продалъ ихъ, за хорошую цѣну, пріятелю, какъ потомъ оказалось, служившему у противниковъ. Дѣло, при этихъ неблагопріятныхъ условіяхъ, непредвидѣнныхъ никакими нѣмецкими теоретиками, поступило въ судъ и проиграно было, со стороны истца, самымъ позорнымъ образомъ.

Телеграмма главнокомандующаго о потерянномъ русскою арміей генеральномъ сраженіи не могла бы такъ поразить нашъ городъ, какъ это извѣстіе. Оно пришло поутру, въ коротком письмѣ Ивана Герасимовича къ своему довѣрителю; а къ вечеру о немъ уже говорили въ домахъ, на улицахъ, въ клубѣ, на почтѣ, у Розы, у Вахрамѣева, словомъ, вездѣ, гдѣ кто-нибудь имѣлъ случай встрѣтить знакомыхъ. Неплёскинъ былъ наша извѣстность, нашъ мѣстный трибунъ, нашъ „Домостѣнъ“, и неудача его огорчила всѣхъ, кто носилъ въ груди хоть искру увѣзднаго самолюбія. Петръ Иванычъ, узнавъ о ней въ тотъ же день на почтѣ, гдѣ онъ получилъ прямое увѣдомленіе отъ пріятеля, кинулся къ Дунѣ, въ надеждѣ, что ей еще ничего неизвѣстно, и какъ настоящій другъ семейства, разсчитывая смягчить для нея ударъ. Но у Дуни уже сидѣлъ отецъ, и довольно было взглянуть на нихъ, чтобы убѣдиться не только, что ихъ уже не о чемъ больше предупреждать, но что у нихъ, вдобавокъ, происходило еще и жаркое объясненіе. Мироновъ имѣлъ разстроенный видъ и поглядывалъ строго на дочь, а та утирала заплаканные глаза.

— Слыхали-съ?—спросилъ патріархъ, съ такою физіономіей, какъ будто ему, на сходѣ, только-что закатили здоровую порцію нашего русско-патріархальнаго назиданія.

— Да; какъ же... Я получилъ письмо... Онъ пишетъ, что убѣдился въ своей неспособности вести далѣе это дѣло и, съ той же почтою, проситъ у своего довѣрителя разрѣшенія передать его довѣренность болѣе опытному дѣльцу.

— А еще что же-съ?

— Пишетъ еще, что А-к-к-инфій Яковлевичъ все время пилъ мертвую и что изъ ящика у него украли важные документы.

— А позвольте узнать; онъ вашей милости ничего не пи-

шетъ: чѣмъ онъ, съ женой и ребенкомъ, разсчитываетъ кормиться, если теперича онъ считаетъ себя неспособнымъ къ ходатайству по судебнымъ дѣламъ?

„У меня было сильное искушеніе, — разсказывалъ мнѣ Горностаевъ,—осадить его краткимъ отвѣтомъ, что, молъ, зять его, послѣ этого, разсчитываетъ уѣхать отсюда и поступить во фронтъ; но я пожалѣлъ Авдотью Терентьевну".

— Нѣтъ, отвѣчалъ онъ:—но вы напрасно такъ безпокоитесь. Изъ того, что вашъ зять не довольно опытенъ для такой запутанной тяжбы, еще не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ совсѣмъ не способенъ къ дѣлу. Самый талантливый генералъ, какъ вамъ извѣстно, можетъ при случаѣ проиграть сраженіе.

— Такъ-съ; да только талантливому-то анералу вѣдь, я полагаю, тоже ѣсть нужно. Ну, а какъ эфтого самаго анерала, послѣ баталіи-то, да по шеямъ изъ службы,—такъ чѣмъ же, позвольте спросить, онъ будетъ существовать?

— Тятенька, да вѣдь вамъ по-русски же говорятъ, что Акинфій Яковлевичъ у него запилъ.

— Молчи!—оборвалъ ее грозно отецъ.—Кому какое дѣло, что у него Крапивкинъ въ нянькахъ служилъ? Въ эфтомъ вѣдь и признаться-то совѣстно. Самъ получаешь деньги, самъ долженъ и дѣло знать; а не знаешь, такъ не берись... Дураковъ-то, охочихъ расплачиваться своими боками за его выучку, мало найдешь... Да и я былъ дуракъ, не повѣрилъ, въ ту нору, какъ добрые люди остерегали. Ну, а теперь—шабашъ! закрывай лавочку!.. О-охъ! пропали, значитъ, за нимъ мои двѣ тысячки триста рублевъ!.. Да только уже впередъ шалишь! на эту удочку больше меня не поддѣнешь... И, обращаясь къ дочери:—Будетъ тебѣ, тутъ въ городѣ, баловаться, коза! Квартиру по-боку, щегольство въ сундукъ, и маршъ, на подножный кормъ, во свояси, въ Вытягово!.. По крайности тамъ хоть въ хозяйствѣ будешь годна; а мужъ-то ужъ и не знаю, на что годится...

И приговоръ этотъ выполненъ былъ, черезъ мѣсяцъ по возвращеніи его зятя, съ самою безпощадной рѣшимостью. На всѣ наши просьбы повременить, чтобы увидѣть, какъ дѣло пойдетъ, онъ отвѣчалъ, что довольно ужъ видѣно. Та обыденная дребедень, для которой необходимо жить въ городѣ, не окупаетъ расходовъ на городскую жизнь; а по большому, гражданскому дѣлу, если найдется еще дуракъ, который его поручитъ, все уже молъ, придется его отправить въ П-въ. Такъ не все-ли равно откуда?..

Дуня была въ отчаяніи. Тысяча удовольствій и развлеченій: знакомства, визиты, наряды, покупки, пріемы у себя дома и ве-

чера у пріятелей, несчетные слухи и новости, сплетни, разсказы, все, къ чему молодая женщина за два года успѣла привыкнуть на волѣ, въ городѣ, и что, при ея живомъ темпераментѣ стало для ней необходимо, какъ хлѣбъ насущный, все это вдругъ исчезло подобно мареву, и она очутилась, какъ сказочная крестьянка, въ старой, полу-мужицкой своей обстановкѣ, съ своими коровами, курами, поросятами, въ непролазной грязи на скотномъ дворѣ, да въ обществѣ батраковъ и батрачекъ, которыхъ она должна поить и кормить; съ знакомою связкою ржавыхъ, тяжелыхъ ключей отъ ледника, мшанника, отъ амбара, отъ клѣти, отъ сундуковъ... Къ послѣднимъ теперь прибавилось еще три большихъ, съ городскою поклажей. И какъ щемило ея сердечко, когда сундуки эти, словно могилы пожравшія столь недавнее и уже столь дорогое ей прошлое, попадались ей на глаза!.. А онъ, образованный, умный, баринъ, вырвавшій ее такъ недавно мощной рукою изъ низменной доли ея и вознесшій въ тотъ рай, гдѣ она имѣла свой домъ и была сама у себя госпожей, и гдѣ ей кланялись, почитали и угощали ее настоящіе господа, онъ—побѣдитель, которому барыни подносили цвѣты и за здоровье котораго, на пирахъ, столбовые бояре пили шампанское,—какимъ колдовствомъ превратился онъ въ этого сгорбленнаго, понураго и одѣтаго вѣчно въ свой старый, дырявый халатъ, угрюмаго старика, который сидитъ теперь здѣсь, цѣлый день, за книгами и глядитъ уже не какъ живой человѣкъ, а какъ выходецъ съ того свѣта?.. Да, не живой!.. Со времени своего возвращенія въ Вытягово, онъ ни о чемъ не заботится, да какъ будто бы ничего уже болѣе и не ждетъ! Все, даже ея воспитаніе, которымъ онъ занимался сперва горячо, потомъ—ссылаясь на недосугъ—лѣниво, теперь, когда у него весь день свободенъ, брошенотакъ, что о немъ и помину болѣе нѣтъ.

...„Тряпка!“—шепнула она ему однажды, когда отецъ корилъ его грубо за неоплатный долгъ, а онъ только плечами пожалъ;—и послѣ, жалѣючи, что она такъ оскорбила его, она не могла однакоже не найти, что она права. Дѣйствительно, если бы онъ былъ не тряпка, онъ не опѣшилъ бы такъ послѣ первой своей неудачи, не воротился бы, какъ высѣченный мальчишка, по первому приказанію, сюда, въ Вытягово, и не отдалъ бы ее съ сыномъ подъ желѣзную власть отца. Съ своей образованностью, онъ бы нашелъ, чѣмъ жить, гдѣ угодно, и не завися ни отъ кого, не кланяясь никому... Короче, Дуня остыла къ мужу и начинала терять къ нему уваженіе. Отъ прежняго счастья у ней осталось теперь одно только: краснощекій, здоровый мальчишка,

сынъ ея, который уже начиналъ лепетать и смѣяться и ползать по полу? Дуня души въ немъ не чаяла; но могла ли она не думать съ тяжелымъ сердцемъ, что̀ ожидаетъ ея малютку, когда онъ выростетъ?.. Хватитъ ли у отца любви и терпѣнія, чтобы не дать ему вырости мужикомъ, чтобъ воспитать его барином не по званію только?.. Бѣдняжка, увы! догадывалась, хотя и не давала себѣ отчета, что мать его неспособна къ этому и никогда не будетъ способна. А между тѣмъ какъ страстно успѣла уже она возненавидѣть то дикое золото, которымъ ее учили такъ дорожить, и какъ мила ей стала теперь, здѣсь въ Вытяговѣ, наша дешевая европейская мѣдь! ...Дешевая, да, быть можетъ; но въ ней есть что-то, чего ни за какія деньги не купишь, если оно упущено съ молоду, и безъ чего человѣкъ, какъ птица безъ крыльевъ, въ жизни своей не поднимется выше того курятника, гдѣ онъ рожденъ! И есть ли на свѣтѣ что-нибудь, чего бы она не дала теперь, чтобы эта мѣдь была обезпечена сыну ея?.. Чтобы онъ зналъ науки?.. Чтобы вольный, широкій путь открытъ былъ ему на всѣ четыре стороны свѣта?.. И пуще всего, чтобы онъ не былъ похожъ на дѣда, всѣ помыслы и заботы котораго ограничены барышемъ!..

Конечно, Дуня не говорила мнѣ этого; да вѣроятно, если бы я ее и допрашивалъ, не съумѣла бы разсказать; но изъ того, что̀ я слышалъ о ней отъ Петра Ивановича, я въ правѣ былъ заключать, что нѣчто подобное, хотя можетъ статься и безотчетно, лежало у ней на душѣ.

VIII.

Черезъ Петра Ивановича, я имѣлъ подробныя свѣденія о томъ, что̀ происходитъ въ семействѣ его пріятеля. Немѣскинъ изрѣдка фигурировалъ еще на разбирательствахъ; но дѣла, съ которыми обращались къ нему, были пустяшныя и доходъ съ нихъ, въ итогѣ равнялся нулю. Каррьера ходатая была для него очевидно кончена, да и самъ онъ не думалъ больше о ней. Увѣсистые тома германскихъ юристовъ, внушавшіе еще недавно тестю его такое глубокое уваженіе, валялись давно въ пыли и о ихъ содержаніи онъ отзывался почти враждебно.

— Право,— говорилъ онъ:— держитъ высоко голову и щеголяетъ немного что не божественными принципами; но въ сущности у него только одинъ принципъ: это—практическое удобство. Оно вынуждаетъ свирѣпый, индивидуальный, семейный или общественный эгоизмъ на нѣкоторыя уступки, съ которыми этотъ

послѣдній мирится только подъ тѣмъ условіемъ, чтобы въ предѣлахъ, ему отмежеванныхъ, не признавать уже никакой посторонней власти. Затѣмъ уступки эти систематизируются и наука готова. Но это только еще теорія и она, сохраняя приличія, старательно маскируетъ истинное свое происхожденіе. А на практикѣ ты не найдешь и этой заботы, которая все же свидѣтельствуетъ о нѣкоторой стыдливости. Практика, это—наслѣдственный старый кафтанъ, едва прикрывающій первобытную наготу, кафтанъ, на которомъ между заплатами свѣжихъ починокъ, цинически лѣзутъ наружу еще неистлѣвшія пятна кровавыхъ эпохъ и лохмотья варварской неурядицы...

Препровожденіе времени его, въ Вытяговѣ, было довольно однообразно. Отъ половодья до заморозковъ онъ удилъ рыбу; а въ промежуткахъ, и въ зимнее время, большею частью сидѣлъ за книгами, которыя Петръ Иванычъ, тайкомъ отъ жены, выписывалъ для своего и пріятеля своего—духовнаго продовольствія. Это были произведенія Дарвина, Лайеля, Спенсера, Геккеля, Фехнера, Гартмана и другихъ современныхъ мыслителей. Пищу эту друзья пережевывали усердно, послѣ чего она поступала въ ихъ разговорный фондъ и служила неисчерпаемой темою философскихъ бесѣдъ... Объ отношеніяхъ своихъ къ тестю и къ Дунѣ Иванъ Герасимовичъ говорилъ мало. Онъ былъ терпѣливъ или, вѣрнѣе сказать, одаренъ природною нечувствительностью эпидермы къ разнаго рода житейскимъ треніямъ; но и эта броня не защищаетъ отъ ежедневныхъ ударовъ, если они направлены неуклонно въ одно, и такъ уже слабое или больное мѣсто. Такими ударами, для Неплѣскина, стали прежде всего постоянныя жалобы и попреки жены.

— Грозитъ (разсказывалъ мнѣ Горностаевъ со словъ пріятеля): —что она здѣсь зачахнетъ.—„Вы,—говоритъ:—съ отцомъ, похоронили меня тутъ, въ Вытяговѣ“!.. А спросишь:—куда же она желаетъ, сердится.—„Я,—говоритъ,—почемъ знаю? Я не ученая и не бывала нигдѣ кромѣ нашего города“.

— „Въ полкъ хочешь?“

— „А гдѣ,—говоритъ:—онъ, твой полкъ?“

— „Ну, гдѣ придется. Иной разъ стоишь цѣлый годъ, на квартирахъ, въ грязномъ мѣстечкѣ, въ жидовской избѣ; и въ мѣсяцъ казна тебѣ отпускаетъ на все какихъ-нибудь 30—40 рублей“.

— „Такъ мало?“

— „Да; что же дѣлать? Войско не пашетъ, не жнетъ, и

для народа, если онъ не живетъ, какъ разбойникъ, добычей отбитою у сосѣдей, трудно его содержать".

— „Дура была,—говоритъ:—что пошла за тебя!".

— „Ну, разумѣется. Вышла бы за какого-нибудь полицейскаго или акцизнаго; то-ли дѣло? Жила бы безвыѣздно въ городѣ и играла бы каждый вечеръ въ стуколку или въ ералашъ".

— „Не стуколка, а жила бы по крайности, своимъ домомъ и на свой счетъ; не изъ милости у отца, какъ теперь! Обидно мнѣ видѣть, Ваня, какъ онъ съ тобою обходится! Словно съ собакой, которая не годится ни домъ стеречь, ни съ стадомъ ходить и которую кормятъ даромъ".

— „Какъ даромъ? Вѣдь я же ему отдаю мою пенсію, всю до послѣдней копѣйки. На мою пенсію я могу жить гдѣ мнѣ угодно, не хуже, чѣмъ я у него живу".

— „Ну да; считай!.. А онъ считаетъ по своему"...

Дѣйствительно, патріархъ считалъ, что пенсія зятя не покрываетъ ему и процентовъ на деньги, которыя тотъ ему задолжалъ. Все это выкладывалось не разъ, по пальцамъ, и съ разнаго рода сѣтованіями, въ присутствіи Горностаева, съ которымъ, какъ съ закадычнымъ другомъ Ивана Герасимовича и человѣкомъ ребячески добродушнымъ, Мироновъ давно ужъ не церемонился. На грубыя обвиненія тестя Неплёскинъ обыкновенно не отвѣчалъ; но Дуня иной разъ, не вытерпѣвъ, огрызалась, и тогда, въ Вытяговѣ, разыгрывались такія идиллін, что Петръ Иванычъ, бѣдняга, передавая мнѣ ихъ, закрывалъ руками лицо.

Разъ какъ-то,—разсказывалъ онъ,—(это было однако-же безъ него и Горностаевъ описывалъ этотъ случай со словъ пріятеля) Мироновъ вернулся изъ города поздно ночью. Онъ былъ отчего-то не въ духѣ, и увидавъ, въ окошкѣ у зятя, огонь, поднялся къ нему.

— Чего изводишь напрасно свѣчи? — сказалъ онъ.—На то чтобъ книжки читать, есть день... Гаси!

— Ну, ладно,—былъ неохотный отвѣтъ:—загашу.

На томъ бы и кончилось, еслибы, въ эту минуту, изъ спальни не выбѣжала въ одномъ платочкѣ, накинутомъ на плечи, Авдотья Терентьевна. Она была взбѣшена и скаредностью отца, и грубымъ его обращеніемъ съ мужемъ (послѣдній, хотя и тряпка, былъ все же, въ глазахъ ея — офицеръ) и тѣмъ, что тяжелый шагъ родителя разбудилъ ребенка, котораго она убаюкивала.

— Да что это, тятенька,—начала она:—намъ отъ тебя спокою нѣтъ!.. Что тебѣ—сальныхъ огарковъ жалко?

— Молчи, подлая!

Она схватила съ полки горсть мѣдняку и высыпала на столъ.— На вотъ тебѣ за свѣчи!..

Тогда родитель ея, озлившись, выхватилъ кнутъ, который былъ у него съ дороги, за поясомъ. Но онъ не успѣлъ пустить въ дѣло этотъ рѣшительный аргументъ, какъ вмѣсто Дуни увидѣлъ передъ собою поднявшуюся, сумрачную фигуру зятя. Трудно было узнать его: какимъ-то чудомъ, этотъ, до сихъ поръ смирный и никогда не перечившій ему человѣкъ преобразился весь, съ головы до ногъ, въ поручика, и стоялъ передъ нимъ, заложивъ руки за спину, съ такимъ взоромъ, что тотъ безсознательно оробѣлъ и попятился... Съ минуту они смотрѣли другъ другу въ глаза; послѣ чего Терентій Степановъ, ни слова не говоря, повернулся и вышелъ. День съ десять послѣ того онъ косился на зятя, не постигая: откуда взялась у него такая прыть; но зять его очевидно былъ тотъ же, безпечный, разсѣянный, тихій Герасимовичъ, какимъ онъ его и доселѣ зналъ. Попробовалъ завести разговоръ, — не гнѣвается; ну и пошло у нихъ, мало-помалу, опять по старому; только Мироновъ, какъ смѣтливый человѣкъ, послѣ этого уже не хватался за кнутъ.

— Скверно! — жаловался Неплёскинъ Петру Ивановичу. — Такъ скверно, что просто иной разъ не въ моготу... Уйду отсюда когда-нибудь, и болѣе не вернусь.

— Ой! что ты!.. А Дуня?

— Э! Дуня не будетъ плакать! Старъ я, братъ, для нея;— вонъ сѣдина какая пошла на вискахъ!.. Да и помимо лѣтъ, что у меня съ ней общаго?.. То, что̀ меня занимаетъ, для нея— тарабарская грамота; а то, что̀ ей нужно и нравится, для меня бирюльки.

— А сынъ?

Неплёскинъ нахмурился; но подумавъ, махнулъ рукой. — Конечно, выростетъ мужикомъ,—отвѣчалъ онъ:—да право, не знаю ужъ, и жалѣть ли о томъ... Ибо, что же хорошаго-то, еслибъ онъ вышелъ похожъ на меня съ тобой? Мы, братъ, и такъ сданы уже, за ненадобностью, въ архивъ; а къ тому времени когда Петька станетъ большой, чай и духу-то нашего на Руси не останется. Какъ взоръ хватаетъ, останутся сплошь одни мужики: – грамотные или неграмотные, сморкающіеся въ платокъ или обходящіеся безъ онаго; но въ сущности все-таки мужики. Да оно и лучше; ибо мужикъ гораздо лучше нашего приспособленъ къ условіямъ нашей дѣйствительной обстановки и корнями прочнѣе сидитъ въ землѣ.

Прошло уже болѣе полугода, что я не видѣлъ Неплёскиныхъ,

когда, на разспросы мои о Дунѣ, Петръ Ивановичъ объяснилъ, что она часто бываетъ въ городѣ и гоститъ тамъ по цѣлымъ днямъ, оставляя ребенка, отнятаго уже отъ груди, на попеченіе Анны Марковны.

— Что же она тамъ дѣлаетъ?

— Не знаю,—отвѣчалъ онъ, наморщивъ лобъ:—мужъ говоритъ, что играетъ въ карты; ну, можетъ статься, и кромѣ того, понимаете, случай одѣться получше и поболтать съ знакомыми... Была недавно, съ Иваномъ Герасимовичемъ, и у насъ, въ Ольхинѣ...

Май подходилъ къ концу, когда я собрался съ нимъ въ Вытягово, а оттуда къ нему. Въ верстѣ отъ Вытягова проходитъ большая дорога, и мы, жалѣя своихъ лошадей, отправили ихъ рано поутру впередъ, а сами поѣхали въ тарантасѣ Петра Иваныча, на почтовыхъ. Дорогою, мы обогнали крестьянскую одноколку, съ лежащимъ въ ней, свѣсивъ ноги впередъ, оборваннымъ мужикомъ, въ невозможной нигдѣ, кромѣ родины его, шапкѣ. Это была когда-то ямщицкая, щегольская шляпа; но время обгрызло ее причудливо по краямъ и заплатало истлѣвшій войлокъ корками слипшейся пыли.

Знакомый ямщикъ, на козлахъ у насъ, не молодой уже человѣкъ, обернулся, кивнувъ головою назадъ съ печальной усмѣшкой, которая явно хотѣла сказать: „видали?“ — И на вопросъ Петра Иваныча, онъ объяснилъ, что это туда же, въ Вытягово.

За ними и я оглянулся.—Кто это?

— А это, ваше высокородіе, мой своякъ изъ Акуловскихъ. Запутался они, что мухи у паука, въ долгу у Терентья Степановича; такъ это, изволите видѣть, общество выставляетъ ему, на лѣтнюю пору, работника. Два ужъ съ Троицы тамъ; да знать, мало; нонесь потребовалъ еще двухъ.

— Вотъ, жалуются на нововведенія,—сказалъ я: — а развѣ это не та же барщина?

— Хуже, ваше высокородіе. Свой баринъ какъ ни будь крутъ, да все же берегъ хоть сколько-нибудь. А этому что? Этотъ тебя какъ чужую лошадь не пощадитъ... Всю кровь онъ изъ нихъ повысосалъ!..—И помолчавъ:—ваше высокородіе! будьте милосливы, вызволите Ильюху! Давеча, въ городѣ, какъ узналъ, что я съ вами, въ ноги мнѣ кланялся. Одинъ у отца работникъ, а старый-то хрычъ чуть живъ! Коли не отпустятъ къ Петровкѣ, такъ начисто, говоритъ, пропалъ!..

Ильюху этого я потомъ видѣлъ въ Вытяговѣ; это былъ парень лѣтъ двадцати съ небольшимъ, красавецъ собой, но молчаливый и сдержанный. Онъ посмотрѣлъ на насъ издали, съ безнадеж-

нымъ видомъ. Мы говорили, однако, о немъ Миронову; но патріархъ отвѣчалъ намъ сухо и неохотно, что онъ наслушался уже ихнихъ росказней, и что если теперича вѣрить работнику, когда онъ поетъ тебѣ Лазаря, то пришлось бы, въ горячую пору, остаться совсѣмъ безъ рукъ.

— Сами изволите знать мужика,—говорилъ онъ:—и каково съ нимъ трудно. Дай я теперича одному поблажку, да съ ними сладу потомъ не будетъ... Али вы думаете, что у этого только въ домѣ нужда? Эхъ, сударь; да еслибы не нужда и не крайняя, такъ развѣ пошелъ бы изъ нихъ кто въ работники?.. Безпеченъ, сударь, мужикъ и лѣнивъ; пока не подступитъ къ нему лихая бѣда, не жди, чтобы онъ о чемъ-нибудь позаботился. Крыша течетъ, не покроетъ; одежа рвется, — не починитъ!.. Говорятъ: — некогда; а устрой его такъ, чтобы онъ не боялся съ голоду помереть, да онъ Бога забудетъ!.. Заплѣснѣетъ у себя на печи!..—И помолчавъ, онъ кивнулъ головою на зятя. — Вотъ, мы съ ихъ благородіемъ тоже маленечко позаплѣснѣли... Рыбку мы здѣсь удимъ и другого дѣла себѣ не придумаемъ; а по чину, кажись, никакая дорога намъ не закрыта, и не обижены мы ни разумомъ, ни познаніями. Вотъ и поди, разгадай загадку!.. Не то зарокъ мы дали, не то лихой человѣкъ насъ сглазилъ!..

— Э! не тужите, Терентій Степанычъ! — сказалъ я:—найдется дѣло.

— Вашими бы устами да медъ пить!.. Одначе, я тутъ закалякался... Чать не затѣмъ пріѣхали господа, чтобы въ такое ведро дома сидѣть? На селище то, помните, собирались?.. Зятюшка, проводи дорогихъ гостей; тутъ недалече. Да захвати и Дуню; а я пойду съ Анной Марковной объ обѣдѣ похлопочу.

Но уходя, онъ обернулся еще разъ къ намъ:

— Дочку мою бояре въ конецъ избаловали; ни на что стала годна. Курицу на обѣдъ зарѣзать и то ей теперича тяжело!..

За воротами насъ догнала Авдотья Терентьевна. Она успѣла переодѣться и раскраснѣвшееся ея лицо сіяло отъ удовольствія.

— Здравствуйте! Здравствуйте!—говорила она своимъ груднымъ, привѣтливымъ голосомъ, горячо пожимая намъ руки. — Хоронніе! Добрые! Знать не совсѣмъ позабыли насъ, ссыльныхъ!

Чувствуя, что это въ сущности относилось ко мнѣ, я сталъ извиняться, ссылаясь на разстояніе и распутицу; но она перебила меня.

— Да ну! ну—будетъ!.. Ну что за счеты, если уже пріѣхали?.. Куда вы?.. Тятенька говоритъ, на селище?.. Идемте; я васъ провожу.

Зная, какъ любитъ Дуня свѣтскія вѣжливости, я предложилъ ей руку, въ которой она, разумѣется, не нуждалась; но тѣмъ не менѣе приняла ее и мы скоро оставили нашихъ спутниковъ позади.

Послѣ шутливыхъ разспросовъ объ общихъ нашихъ знакомыхъ въ городѣ, я спросилъ у нея: какъ живется?

— Охъ, плохо, голубчикъ Василій Егоровичъ!—отвѣчала она, вздохнувъ.—Ни копѣйки своей, и изъ-за каждой копѣйки тебѣ попрекъ! Въ городѣ мы, конечно, тоже жили на тятенькинъ счетъ, потому что доходъ отъ дѣловъ былъ самый пустой; да все уже тамъ хоть надежда была; и не тыкали намъ въ глаза, что мужъ ни на что негоденъ.

— Послушайте, дорогая Авдотья Терентьевна,—сказалъ я:—если вашъ батюшка ставитъ ему въ укоръ недостатокъ заработка, то это меня нисколько не удивляетъ; но я надѣюсь, что вы, по крайней мѣрѣ, не раздѣляете этого обвиненія, потому что нельзя же серьезно судить о годности человѣка по деньгамъ, которыя онъ зарабатываетъ. Заслуга не въ томъ, что мы получаемъ, а въ томъ, что́ даемъ; и еслибы мы не получали даже ни гроша за то, что даемъ, то это еще не значитъ, что мы не нужны. Доходъ очень часто зависитъ отъ случая. Ну не нашелъ себѣ дѣла прибыльнаго; да диво, еслибы онъ и нашелъ его, живучи тутъ, въ Вытяговѣ. А ставить ему въ вину его неудачу въ судебной практикѣ очень несправедливо. Судебная практика, какъ и всякое ремесло, нуждается въ долголѣтней, старательной подготовкѣ. Еслибъ вашъ батюшка думалъ, что зять его, не учась сапожному мастерству, способенъ отлично шить сапоги, онъ бы не менѣе въ немъ ошибся. Да и какая надобность вашему мужу быть непремѣнно ходатаемъ по судебнымъ дѣламъ? Онъ и безъ этого здѣсь не лишній. Иванъ Герасимовичъ—одинъ изъ умнѣйшихъ и образованнѣйшихъ людей, какіе когда-нибудь попадали къ намъ въ захолустье, и наше уѣздное общество, надо отдать ему честь, оцѣнило это. Не даромъ же все, что въ немъ есть выдающагося, перебывало у васъ въ гостиной. Не даромъ и дамы съѣзжались слушать его, когда онъ долженъ былъ говорить на разбирательствахъ. Не дѣло, конечно, ихъ привлекало, такъ какъ дѣла, по которымъ онъ говорилъ, были пустяшныя. Ихъ привлекала рѣчь человѣка, который призванъ быть проповѣдникомъ и учителемъ.

— Голубчикъ, Василій Егоровичъ, какъ вы хорошо говорите!—шепнула Дуня, поднявъ на меня благодарный взоръ.—Только вѣдь мало быть образованнымъ и учить другихъ; надо еще и самому, съ семействомъ, жить чѣмъ-нибудь.

— Имѣйте терпѣніе, дорогая Авдотья Терентьевна, мы найдемъ ему дѣло... А не ему, такъ вамъ.

— Какое?

Но въ самую эту минуту, Неплёскинъ съ Петромъ Иванычемъ насъ догнали.

Мы вышли на рѣчку, и передъ нами, съ другой ея стороны, открылась широкая луговина, кончавшаяся грядою холмовъ, по склонамъ которыхъ, яркими полосами, зеленѣли пашни. Двѣ бѣдныя деревушки и церковь видны были недалеко. За ними, на горизонтѣ, синѣли лѣса.

— Здѣсь!—объявилъ Неплёскинъ.

Я озирался; но ничего похожаго на развалины барской усадьбы не видно было кругомъ.

— Хмъ; гдѣ же, однако?

— Да тутъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы стоимъ. Вотъ горки и рытвины,—въ рытвинахъ лужи. Горки успѣли уже обдерноваться и порости кустарникомъ; но подъ дерномъ мусоръ;—а рытвины—это мѣста, гдѣ выкапывали кирпичъ... А тутъ, вонъ—видите, словно грядки; это—заросшій травою остовъ фундамента. По рисунку его и теперь не трудно еще прослѣдить весь планъ постройки. Вонъ, этотъ большой прямоугольникъ,—это, конечно, зала, и не одна изъ вашихъ уѣздныхъ барынь, конечно, помнитъ еще, какъ она плясала тутъ. А эта продольная, длинная клѣтка посереди, это, конечно, былъ корридоръ... А вонъ, немного подальше отсюда и ниже, къ рѣкѣ, совсѣмъ отдѣльно, словно редутъ, окруженный гласисомъ, это весьма вѣроятно, былъ ледникъ.

— А гдѣ же садъ-то?

— Пойдемте,—сказалъ Неплёскинъ; и онъ повелъ насъ ниже, по склону къ рѣкѣ.—Вотъ тутъ, конечно, былъ садъ,—сказалъ онъ.—Смотрите, вонъ, на обрывѣ къ берегу, еще уцѣлѣли пни, и отъ нихъ идутъ молодые, липовые побѣги. Но все остальное, выше, было распахано...

Мы сѣли на старыхъ пняхъ. Подъ ногами у насъ вода, набѣгая на каменистый берегъ, журчала и плёскала. Лугъ на другой сторонѣ пестрѣлъ цвѣтами. Весеннее солнце играло золотомъ въ струйкахъ рѣки и воздухъ пропитанъ былъ свѣжимъ благоуханіемъ; но за нами лежала тѣнь сгинувшей жизни и общее впечатлѣніе было гнетущее.

— Кладбище!—сказалъ я, оглядываясь.—Только какое-то варварское! Безъ добраго слова о схороненномъ и безъ крестовъ, безъ всякаго символа примиренія!

— Богъ съ вами, голубчикъ!—воскликнула Дуня.—Какое кладбище? Тутъ, акромѣ господскихъ собакъ, никого не хоронили.

— Да я почти тоже и говорю, Авдотья Терентьевна. Отжившее тутъ не отпущено съ миромъ, а просто закопано въ землю, какъ падаль, которую надо убрать, чтобы она не оскорбляла взора.

— Да, батюшка,—подтвердилъ, закуривъ свою трубку Неплёскинъ:—это, я вамъ доложу, радикальное уравненіе!.. Не чета какимъ нибудь тамъ Бальбекамъ и Ниневіямъ!.. Тамъ хоть шакалы и совы находятъ себѣ пріютъ; а у насъ тутъ чисто, какъ на ладони; ни деревца, ни щепки, ни стеклышка битаго не найдешь. Русскій народъ вообще не любитъ кокетничать съ тѣмъ, что однажды сдано въ архивъ. Долой—такъ долой, чтобъ и духу его не оставалось.

— Да; памятники исторіи для него не стоютъ тѣхъ кирпичей, изъ которыхъ они построены.

— Ну, это еще не большая бѣда,—продолжалъ онъ:—это свидѣтельство только, что онъ не знаетъ исторіи. Но вотъ что дѣйствительно дурно: это, если исторія-то, что созидаетъ памятника, была въ дѣйствительности совсѣмъ не его исторія... А похоже таки на то. Весьма любопытный вопросъ напримѣръ: во многомъ ли измѣнились у насъ, за пять или шесть вѣковъ исторической памяти, обработка земли и образъ жизни, одежда, достатокъ, понятія нашего хлѣбопашца?.. И еслибы предокъ его, ну, скажемъ примѣрно, временъ Владиміра Мономаха, вставъ изъ своей могилы, зашелъ къ нему въ избу посмотрѣть, какъ онъ теперь живетъ, большую ли бы онъ нашелъ неремѣну?

— Охота тебѣ говорить такія страсти! — ворчала Дуня крестясь.

— Были, однако, и для него, за это время, двѣ важныя неремѣны,—сказалъ Горностаевъ:—это осѣдлость и государственное единство...

— Да, но осѣдлость сдѣлала его крѣпостнымъ; а государственное единство...

— Ахъ, ради Бога! вмѣшалась опять Авдотья Терентьевна:—кончи ты эти твои мудреные разговоры!.. Скучно!

— Нѣтъ, ты скажи,—обратился къ ней мужъ:—ты чувствуешь ли, какихъ тяжелыхъ жертвъ требуетъ отъ земледѣльца задача государственнаго единства?

— Отстань!

— Да ты скажи только: чувствуешь?

— Отстань, тебѣ говорю!.. не чувствую.

— Счастье твое, что нѣтъ. Ну а еслибы на защиту его сзывали всѣ силы отечества и отцу твоему, или мужу, достался „лобъ“?

— Пустое! Тятенькѣ 55 лѣтъ; а тебя не возьмутъ въ солдаты; ты—офицеръ.

— Вотъ и поди, разговаривай съ бабами! Не желаютъ нести никакихъ государственныхъ тягостей!

Дорогой обратно, она добивалась: какое дѣло нашли мы Ивану Герасимовичу; но я отвѣчалъ, что мы ничего еще не нашли; а только надѣемся...

Мы шли съ ней опять впереди и объ руку.

— А вѣдь за вами должокъ, сударыня,—сказалъ я.

— Какъ такъ?

— Да такъ, что я у васъ былъ въ Вытяговѣ, и въ городѣ, сколько разъ; а вамъ до сихъ поръ и въ голову не пришло навѣстить меня въ Мирковѣ.

Она подняла на меня веселый взоръ и улыбнулась, видимо очень довольная.—Ну, ладно,—сказала она:—ужо пріѣдемъ.

IX.

Въ дѣйствительности, однако, у меня былъ одинъ планъ, о которомъ я уже говорилъ дорогой Петру Иванычу, и позже вечеромъ, въ тотъ же день, мы обсуждали его еще разъ, въ Ольхинѣ.

Кузина моя и сосѣдка Ольшевская затѣвала уже давно, у себя въ Неглинскомъ, сиротскій пріютъ, и ей нужна была женщина безъ претензій, чтобы хозяйничать и ухаживать за дѣтьми. Мужъ, и особенно человѣкъ образованный, признавался не лишнимъ, какъ гарантія хорошаго поведенія, а со временемъ, можетъ статься, и какъ учитель для подростающихъ. Кузина Наташа, еще не дурная собой и бодрая, хотя замѣтно уже отцвѣтающая смуглянка, послѣ разрыва съ мужемъ, жила уже третій годъ одна, съ старушкой матушкою, въ своемъ имѣніи. Оно всего въ двухъ верстахъ отъ меня и я еще съ дѣтства былъ принятъ тамъ какъ родной;—но возвращаюсь къ Наташѣ. Это была добрѣйшая женщина, хотя немного взбалмошная и эксцентрическая, — стремительная, самоувѣренная и настойчивая, при этомъ до крайности впечатлительная и всегда накаленная до-красна какою-нибудь благородной тенденціей. Она читала съ восторгомъ Ауэрбаха, Достоевскаго и въ уѣздѣ у насъ была одною изъ первыхъ, которыя,—говоря словами Ларисы Дмитріевны,—стали молиться на мужика... Дуню съ су-

пругомъ она встрѣчала въ городѣ и они ей понравились; а Наташа—такая женщина, что для нея достаточно двухъ минутъ и нѣсколькихъ словъ, чтобъ разъ навсегда полюбить или возненавидѣть кого-нибудь. Когда я ей намекнулъ, что Дуня — быть можетъ—годилась бы ей въ экономки, она ухватилась за эту идею, какъ за находку. Но у меня съ Петромъ Иванычемъ были нѣкоторыя сомнѣнія, въ виду которыхъ совѣтъ другой, гораздо болѣе зрѣлой и несомнѣнно-практической женщины, казался намъ столь желательнымъ, что мы рѣшились поговорить объ этомъ вопросѣ съ Ларисой Дмитріевной.

Въ Ольхинѣ, на другой день поутру, за чаемъ, я разсказалъ ей проектъ Наташи, не говоря покуда ни слова о томъ, что выборъ хозяйки почти уже сдѣланъ кузиной. Она, разспросивъ подробно о средствахъ и о характерѣ этой послѣдней, одобрила ея планъ, но о шансахъ успѣха отозвалась сомнительно.

— У насъ хватаются горячо,—говорила она:—за этого рода благотворительныя затѣи, воображая, что дѣло достаточно разъ завести, а тамъ оно уже и само пойдетъ. Но какъ увидятъ, что это совсѣмъ не игрушка, которою можно тѣшиться отъ бездѣлья, горячка-то и пройдетъ. Тогда начинаютъ скучать и тяготиться и жалуются, что у насъ въ Россіи нельзя ничего предпринять. И все пустяки; а вѣрно только, что мы беремся съ дуру за вещи, къ которымъ мы не способны, и что стóило бы насъ хорошенько за уши: не шали!.. А то наберутъ въ сотрудники дикихъ какихъ-то, съ такими понятіями, что святыхъ вонъ неси... Ну и конечно, тогда ужъ оставь надежду.

— Нѣтъ,—сказалъ я:—Наталья Ивановна ищетъ кого-нибудь изъ совсѣмъ простыхъ. Да вотъ, напримѣръ, она недавно еще сказала мнѣ, что она охотно взяла бы въ пріютъ такую женщину какъ Авдотья Терентьевна.

Супруга Петра Иваныча вытаращила глаза.

— То есть, какъ же это въ пріютъ? Въ кормилицы, что ли?

— Нѣтъ, въ экономки, и для присмотра за малолѣтними.

— Да вѣдь она безграмотная.

— А Пушкина-то предпочитаетъ „Отечественнымъ Запискамъ“ помните?

Но она махнула нетерпѣливо рукой.—Нѣтъ, знаете, если уже кузина ваша рѣшается взять кого-нибудь изъ простыхъ, то скажите ей, чтобы она взяла лучше мою Анфису. Анфиса очень хорошая, честная женщина, съ замѣчательно добрымъ сердцемъ, и любитъ дѣтей.

— Серьезно, Лариса Дмитріевна, что́ вы имѣете противъ Дуни?

— Я?.. ничего. Но еслибы я устраивала пріютъ, я не взяла бы ни въ няньки, ни въ экономки — дуру, это во-первыхъ; а во-вторыхъ, какая же она нянька? Надъ нею самою понадобятся двѣ няньки, да, можетъ статься, еще березовый прутъ. А въ-третьихъ, развѣ у ней пріютъ на умѣ?.. Да наконецъ, у ней и свое семейство. Куда же ваша кузина дѣнетъ Ивана Герасимовича? Или она и его туда же, въ пріютъ, какъ бездомнаго сироту... Вотъ это, что называется, съ одного удара двухъ птицъ! Ха, ха, ха, ха!..—И она покатилась со смѣху.

Мы съ мужемъ молчали, нѣсколько пристыженные, чувствуя, что въ словахъ ея, не взирая на всю ядовитую ихъ окраску, было не мало правды.

Прямо изъ Ольхина, я заѣхалъ въ Неглинское и признался кузинѣ въ своихъ сомнѣніяхъ. Главное было то, что Дуня дѣйствительно вовсе не развита.

— Ну не бѣда, — возразила она. — Такой развитой, какая мнѣ требуется, я здѣсь не найду, а другая только испортитъ мнѣ дѣло. Пойми пожалуйста, Вася, что я не намѣрена дѣлать изъ своего пріюта школу образованія, отрывающаго дѣтей отъ почвы. Нѣтъ! Ни за что!.. Лучше я ихъ оставлю круглыми неучами, чѣмъ обращать ихъ въ людей, презирающихъ мужика!.. И на вопросъ: „да кто же его презираетъ?“ — она отвѣчала трагически: — всѣ!.. Лавочникъ презираетъ, чиновникъ, даже лавей... А главное, нашъ братъ... Это позоръ для народа, что имя того сословія, которое было всегда вѣрнѣйшимъ его представителемъ, стало у насъ почти браннымъ словомъ!

— По твоему, значитъ,—сказалъ я:—мужикъ, чтобы не презирать своего состоянія, долженъ остаться неучемъ?

— Въ томъ смыслѣ какъ наша интеллигенція понимаетъ его образованіе,—да.

— Но какъ же, по твоему, слѣдуетъ его понимать? Потому что вѣдь мало сказать себѣ, что оно не должно отрывать отъ почвы. А дальше? Умѣнье читать и писать, напримѣръ, надѣюсь, не отрываетъ отъ почвы?..

— Да... при извѣстныхъ условіяхъ...

— Но если однажды ребенокъ выучился читать? Довольно ли этого или желательно, чтобы онъ способенъ былъ тоже и понимать прочитанное?

Молчаніе. Она недовѣрчиво вглядывалась въ мои глаза, опасаясь повидимому ловушки.

— Нужно, стало быть, ему объяснять прочитанное. Но вопросъ, какимъ образомъ? Должно ли это дѣлать правдиво и искренно,

въ томъ убѣжденіи, что истина для него и для насъ—одна; или слѣдуетъ допустить, въ интересахъ тамъ крѣпости почвѣ и прочаго, какія-нибудь уклоненія отъ прямого пути?.. Но въ такомъ случаѣ школа будетъ имѣть два толка: одинъ простой—для дѣтей, по своему состоянію не крѣпкихъ почвѣ, другой—искусственный и пригодный только для мужика...

— А! вотъ оно!—перебила Наташа.—Вотъ отсюда и начинается скользкій путь, на которомъ многіе, съ самымъ лучшимъ намѣреніемъ, дѣлаютъ неисправимый вредъ! У простого народа свое простодушное пониманіе, которое, можетъ быть, и невѣрно въ частностяхъ, но которое мы должны уважать, потому что въ существенномъ оно ближе къ истинѣ, чѣмъ мы думаемъ... Да,—продолжала она горячо:—мы должны его уважать за его чистоту и цѣлость, которую мы утратили. И мы не имѣемъ права его разрушать, потому что намъ нечѣмъ его замѣнить. Цивилизація наша утратила чистоту народнаго духа и осуждена на смерть, если она не покается и не вернется къ тому первобытному, неиспорченному источнику, который одинъ способенъ омыть ея грѣхъ и вдохнуть въ нее свѣжую силу!.. Въ цивилизаціи этой все—ложь и притворство, и прочее.

Что-то знакомое было въ ея словахъ, и я слушалъ ее, стараясь припомнить, гдѣ я это читалъ.—„О! да это изъ Ауэрбаха!"

— Что ты такъ смотришь?—спросила она, вдругъ останавливаясь.—Тебя удивляетъ, что я это говорю?

Но мнѣ не хотѣлось ее обижать, уличивъ въ заимствованіи народныхъ идей у нѣмца, и я отвѣчалъ, что это напоминаетъ мнѣ мои бесѣды на ту же тэму съ Неплёскинымъ.

— Ахъ да, скажи пожалуйста, что это за человѣкъ?

— Одинъ изъ умнѣйшихъ людей, Наташа, и я бы желалъ, чтобъ ты сблизилась съ нимъ, потому что онъ раздѣляетъ отчасти твои педагогическія идеи... И я разсказалъ ей взгляды Ивана Герасимовича по вопросу о воспитаніи Дуни.

Кузина слушала съ жадностью.—Ага! вотъ видишь!—сказала она.—Мужъ, человѣкъ высокообразованный, не посмѣлъ коснуться ея простодушныхъ вѣрованій и предпочелъ оставить ее неразвитою, чѣмъ разрушать, тамъ, гдѣ онъ чувствуетъ, что онъ не въ силахъ ей дать ничего живого на мѣсто разрушеннаго. О! я глубоко его уважаю за это!.. Знаешь что, Вася;—это какъ разъ что мнѣ нужно... И я рѣшилась... Я ихъ возьму къ себѣ, въ августѣ, если только они, тѣмъ временемъ, не найдутъ чего-нибудь лучшаго... А? какъ ты думаешь?

— Кажется, нѣтъ опасности,—отвѣчалъ я.—Кстати, они собираются навѣстить меня въ Мирковѣ.

— Ахъ, вотъ отлично! Пожалуйста, дай мнѣ знать; я пріѣду къ тебѣ обѣдать и мы оставимъ ихъ ночевать. Его ты удержишь въ Мирковѣ; а ее я возьму съ собою сюда и мы съ нею поговоримъ... Приметъ, ты думаешь?

— Я полагаю, что приметъ.

Случай благопріятствовалъ ей. Нѣсколько дней спустя, за обѣдомъ въ Мирковѣ, она разсказывала подробно моимъ гостямъ о своей затѣѣ. Дуня была въ восторгѣ отъ блѣдной, изящно-одѣтой барыни, которая хотъ и дѣлала видъ, что попала ко мнѣ случайно, однако же, видимо занята была ею и мужемъ ея гораздо болѣе, чѣмъ своимъ кузеномъ. Но не догадываясь, въ чемъ дѣло, Авдотья Терентьевна, въ тайнѣ души должна была разумѣется находить подобнаго рода бесѣду скучной, и я любовался геройствомъ, съ которымъ она прикидывалась, что ее очень интересуютъ такіе вопросы, какъ, напримѣръ, на какое число дѣтей и въ предѣлахъ какого возраста разсчитываетъ кузина.

Послѣ обѣда, когда Наташа ее увезла въ Неглинское, я сообщилъ Неплёскину о намѣреніяхъ кузины, воображая обрадовать его перспективой освобожденія отъ кабалы, въ которой онъ жилъ у тестя. Но радость, если она и была потомъ велика, на первыхъ порахъ уступила мѣсто глубокому удивленію. Бѣдняга понять не могъ, какимъ образомъ выборъ кузины остановился на полуграмотной Дунѣ, и думалъ сначала, что онъ не дослышалъ чего-нибудь. Пришлось объяснять ему взгляды этой особы, и въ заключеніе я признался, что нѣсколько покривилъ душой, сообщивъ Наташѣ кое-какія старыя импровизаціи его по вопросу о воспитаніи молодой жены.

— Да, знаете, это у насъ покуда еще однѣ теоріи,—сказалъ онъ:—которыя могутъ казаться практичны, пока не испробуешь ихъ на дѣлѣ. А дѣло, въ отвѣтъ на нихъ, можетъ быть, скажетъ тебѣ дурака, какъ это у насъ и случилось однажды съ теоріями совсѣмъ другого рода. Въ принципѣ я, впрочемъ, не противъ воззрѣній вашей кузины: они невинны и я желаю ей отъ души успѣха. Только, вотъ видите ли, она понимаетъ образованіе въ слишкомъ узкомъ смыслѣ, какъ дѣло учителя, способнаго дать себѣ строгій отчетъ въ преподаваемомъ. Въ дѣйствительности это немножко не такъ. Въ дѣйствительности, громадная масса идей и понятій передается совсѣмъ безотчетно, путемъ простого сближенія между людьми. Ребенокъ, въ родительскомъ домѣ, пріобрѣтаетъ ихъ незамѣтно, отъ няньки, отъ старшихъ братьевъ

или сестеръ, которые ихъ заносятъ изъ школы. Школьникъ заимствуетъ ихъ отъ товарищей, молодой человѣкъ, окончившій школу, у общества, которое онъ посѣщаетъ. Весьма сомнительно, стало быть: удастся ли просвѣщеннымъ классамъ,—предполагая даже, что они будутъ единодушны,—удастся ли имъ, говорю, при желанномъ сближеніи ихъ съ народомъ, такъ контролировать ихъ воспитательное вліяніе, чтобы оно ограничилось передачею только однихъ несомнѣнно здоровыхъ и, такъ сказать, патентованныхъ лементовъ образованія. Подумайте только, какими актерами они должны быть для этого, и какъ рабски держаться въ предѣлахъ своей заученной роли! И сколько заботливо-набожной лжи, какой героизмъ притворства потребуется, чтобы ни разу не измѣнить себѣ въ присутствіи меньшей братьи? Возможно ли это? Да еслибы и было возможно, то стóитъ ли этого рода игра свѣчей? Образованіе, какъ и воздухъ, которымъ мы дышемъ, носитъ въ себѣ несомнѣнно зародыши разныхъ недуговъ, но къ большинству простыхъ и здоровыхъ организацій міазмы эти не пристаютъ. Да вотъ, напримѣръ, жена. Я вамъ отвѣчаю, что никакая нравственная зараза къ ней не пристанетъ.

— Что-жъ васъ заставило ограничить ея образованіе одною грамотою, да первыми правилами ариѳметики?—спросилъ я не безъ лукавства.

Онъ былъ немного смущенъ.—Да какъ вамъ сказать?—отвѣчалъ онъ вздохнувъ.—Между нами, она немножко тупа, и когда я пытался ей разсказать, напримѣръ, начало русской исторіи, не понимала рѣшительно ничего; а заставить ее долбить по учебникамъ, у меня не хватало терпѣнья; да и къ чему? Чтобы напичкать память голыми именами или казенными фразами, съ которыми въ головѣ не связано никакого живого, реальнаго представленія?.. Приходилось умалиться до ея пониманія и развивать его медленно, шагъ за шагомъ. Но у меня, должно быть, нѣтъ на это способности, потому что дѣло и этимъ путемъ у меня не шло. Она зѣвала и жаловалась, что скучно. „Ты что,—говоритъ,—со мною маешься? Ты мнѣ дай лучше книжку; я буду по книжкѣ учить“. Досталъ изъ училища; а она взяла, да и выучила страницы три наизусть.—„На обширной равнинѣ, которая составляетъ восточную половину Европы“—и т. д. слово въ слово. Ну, я и махнулъ рукой... Конечно, надо бы было ей взять учителя; да вы знаете, съ нашими средствами...

— Ну,—думалъ я:—кузина пожалуй что ошибется въ разсчетѣ. Онъ положительно не годится въ элементарной школѣ.

Слѣдовало бы ее предостеречь... Но совѣсть заговорила во мнѣ слишкомъ поздно.

Дѣйствительно, на другой день поутру Дуня вернулась взволнованная, съ радостными извѣстіями. — Наталья Ивановна предложила мнѣ мѣсто смотрительницы въ пріютѣ! 300 рублей годовыхъ, на всемъ готовомъ, и новый съ иголочки домъ!.. Квартирка чистенькая, окошками въ садъ, и мебель изъ барскаго дома, хотя и старенькая, да лучше новой!.. Церковь въ селѣ большая, каменная; и городъ въ семи верстахъ, и лошади въ городъ, когда угодно!

— Что же ты — приняла?

— Еще бы! Я руки у ней цѣловала!.. Такое счастье! Не знаю ужъ, какъ и Бога благодарить!

Молодка была въ восторгѣ и слезы сверкали у ней на глазахъ. — Ванюша, мой дорогой! — восклицала она, порывисто обнимая мужа: — да чтожъ ты не радуешься? Вѣдь это конецъ нашему каторжному житью! Вѣдь тутъ уже тятенька не придетъ къ тебѣ ночью гасить огонь! Читай себѣ книжки свои хоть до утра! А тятенькѣ — носъ! Пущай беретъ твою пенцію за проценты, да и шабашъ! Онъ въ Вытяговѣ, а мы въ Неглинскомъ; онъ самъ по себѣ, и мы тутъ сами по себѣ!.. Ой — весело! Ой — какъ весело!

Она вертѣлась, всплескивая руками и вдругъ, оборачиваясь ко мнѣ:

— Голубчикъ! Я знаю, что это вы все устроили. Чѣмъ мнѣ благодарить васъ?.. По нашему, — по деревенски, — вотъ! — и взмахнувъ руками, она обняла меня.

Мужъ хохоталъ, аплодируя. — Браво! — воскликнулъ онъ. — Молодецъ Дуня! Цѣлуй его крѣпче! это онъ самый и есть зачинщикъ всему!

Зная, какъ я ее зналъ, нельзя было ошибиться въ смыслѣ этой невинной выходки; но она захватила меня врасплохъ, и прежде чѣмъ я успѣлъ опомниться, я уже былъ обожженъ. Къ несчастію, женщины чутки на этого рода вещи, и по смущенному взору Дуни, по жаркой краскѣ, которая охватила мгновенно ея лицо и шею, когда мы взглянули другъ другу въ глаза, я понялъ, что отъ нея, не взирая на всю ея дѣтскую чистоту, не укрылся нелѣпый смыслъ произведеннаго ея ласкою впечатлѣнія. Что она обо мнѣ подумала, я не могъ угадать; но оправясь отъ первой минуты смущенія, она была весела и болтала, смѣялась, шутила со мною по прежнему, совершенно свободно. И только когда они уѣзжали, она, отставъ немного отъ мужа, ко-

торый былъ уже на крыльцѣ, шепнула мнѣ, опуская глаза: — Не осудите меня, голубчикъ.

— За что, Авдотья Терентьевна?

— Такъ, я ужъ знаю за что.

Она заглянула мнѣ быстро въ глаза и съ какой-то странной усмѣшкою убѣжала впередъ.

Не буду разсказывать, какъ я ругалъ себя послѣ этого.

X.

Узнавъ, что дочь получила мѣсто, Мироновъ долго и съ любопытствомъ разспрашивалъ ее о подробностяхъ, нѣсколько разъ возвращаясь къ льготнымъ статьямъ довольства, прислуги, хозяйственной обстановки и прочаго. Той, наконецъ, надоѣлъ допросъ и она объявила рѣшительно, что болѣе ничего не знаетъ.

— Дура!—сказалъ отецъ, вдругъ измѣняя тонъ.—Да ты какимъ же это манеромъ осмѣлилась порѣшить одна, безъ мужа и безъ отца?

— А она, тятенька, ни о Ванѣ, ни о тебѣ, не спрашивала.

— Мало ли что не спрашивала! Ей что? Заберетъ въ руки, да послѣ и сдѣлаетъ все по своему. Поди потомъ, кланяйся; а она тебѣ скажетъ: объ эфтомъ молъ не было уговору.

— Не безпокойся. Она не торговка какая-нибудь, что бьется изъ-за грошей, а благородная дама, барыня...

Но отецъ, покачавъ головой, отозвался весьма недовѣрчиво о благородныхъ, тѣмъ болѣе барыняхъ.—Знаемъ мы ихъ!—ворчалъ онъ.

— Такъ чтожъ, по твоему, мнѣ волостного писаря было позвать? Условіе при свидѣтеляхъ заключать?

— Зачѣмъ?.. А ты бы ей ласково, да учтиво: — „Простите сударыня; я молъ живу у отца и безъ его дозволенія не могу ни шагу, такъ, значитъ, не будетъ ли вашей милости повременить, покуда я съ тятенькою поговорю?..“

— Ахъ, тятенька; да вѣдь я же замужемъ.

— Мало ли что! Муженекъ-то, вотъ видишь-ли, у тебя не въ счетъ; и вся семья на полномъ моемъ иждивеніи: Моя и воля, значитъ, пустить тебя али не пустить на мѣсто. Тѣмъ паче, какъ, значитъ, теперича вы у меня въ неоплатномъ долгу и я долженъ заботиться, чтобы деньги мои не пропали... Жалованья-то, говоришь, триста рублевъ?.. Маловато оно по нонѣшнему; ну да ужъ если точно на всемъ готовомъ... И онъ вздохнулъ, изъ подлобья

поглядывая на дочь.—На всемъ готовомъ можешь шутя и съ сотнею обойтись. А остальные-то двѣсти такъ бы и положили ужъ мнѣ, за долгъ.

— Ахъ тятенька! — возразила Дуня, едва удерживая свое негодованіе.—Дивлюсь я право, какъ только тебѣ не стыдно такое и въ шутку-то говорить! Не чужая вѣдь, кажется, я тебѣ, что ты меня, какъ батрачку, въ заработки желаешь отдать. Али мало, что у тебя тутъ три деревни въ долгу и ставятъ тебѣ работниковъ?

— Молчи!.. Молода еще, чтобы учить отца!.. Нашила на мои деньги, въ городѣ, щегольства, да и куражишься!.. Барынею вишь нынче стала!.. Ну да я прошлымъ тебя не хочу попрекать, а только, по моему, коли умѣла мотать, то умѣй и откладывать. Не въ чужія вѣдь руки пойдетъ. Разсуди-ка: отецъ для кого бережетъ?

— Почемъ я знаю?.. Можетъ для Анны Марковны,—отвѣчала дочь съ язвительною усмѣшкой.

— Ну, видно, съ тобой не сговоришься. А вотъ ужо, изъ города, съѣзжу въ Неглинское, самъ потолкую съ Натальей Ивановной.

Это встревожило Дуню и съ мѣсяцъ она жила въ постоянномъ страхѣ, чтобы отецъ своимъ вмѣшательствомъ не испортилъ ей дѣла. Тѣмъ временемъ пущены были въ ходъ всѣ средства нравственнаго давленія, чтобы усовѣстить старика. Петръ Иванычъ писалъ мнѣ и мы съ нимъ видѣлись; и въ городѣ были опять конференціи, на которыхъ Терентій Степановъ, за самоваромъ, пѣлъ Лазаря и горько жаловался на зятя, на дочь, на тяжелыя времена и убытки со всѣхъ сторонъ; а мы доказывали ему, что не дѣти живутъ для родителей, а родители для дѣтей, и что грѣшно ему отнимать заработокъ у дочери.

— За всѣми убытками, которые вы понесли,—говорилъ я ему:—вы все-таки человѣкъ достаточный, а у нихъ до сихъ поръ ни гроша. Не вамъ, стало быть, а имъ отъ васъ надо ждать помощи.

— Эхъ, ваше высокородіе! Да я ли еще не помогалъ имъ? Два года ихъ въ городѣ содержалъ на свой счетъ и сами изволите знать, терпѣли ли они недостатокъ хоть въ чемъ-нибудь? Платье имъ шилъ, квартиру отдѣлывалъ, нанималъ прислугу, письмоводителя, въ П—въ его на свой счетъ отправлялъ. Стыдно теперича изъ-за него казать и глаза-то въ городѣ, у купечества, потому, у рѣдкаго не въ долгу. Такъ надо же, чтобъ они это чувствовали; а мнѣ отъ нихъ, сударь, не благодарность, а только одна срамота...

— Какъ срамота?..

— А такъ, господа честные,—продолжалъ онъ, оглядываясь и понижая голосъ.—О зятѣ, значитъ, теперь говорю. Молчалъ я объ эфтомъ доселѣ, по той причинѣ, что какъ бы ни было, все уже онъ мнѣ свой, а вашей милости добропріятель, но если пошло на попреки, то разскажу... Изволите знать, у насъ въ Величковѣ, старшину, Ивана Антипыча? Ну-съ, у него намедни былъ бунтъ.

— Не можетъ быть?

— Право слово... Съ мѣсяцъ тому, работники, кто изъ здѣшнихъ, кто изъ сосѣднихъ мѣстовъ, всѣ пять человѣкъ какъ есть, въ одно утро, не говоря худого слова, ушли. Онъ къ становому: понять не могутъ, что́ бы это такое значило. Ну розыскали; двоихъ нашли въ городѣ, прочихъ по деревнямъ. Собрали ихъ:—„Что вы, такіе, сякіе, дурману, что ли, объѣлись“.—„Нѣтъ,—говорятъ:—ничего“.—„Да какъ же это вы такъ ушли?“—„А такъ себѣ, молъ: — по надобности. Мы, у Ивана Антипыча, молъ, не крѣпостные“.—„А заработки?“—„Да что-жъ, молъ, что заработки? Вѣдь не къ турку ушли. За нами не пропадетъ, а только теперича не досугъ, своей работы сверхъ головы“.—„А у тебя, Матюха, въ городѣ, въ кабакѣ, чать тоже своя работа?“ Молчатъ... Ну, съ дураками о чемъ еще говорить?... Передрали ихъ и вернули къ хозяину. Такъ о ту пору и не добились толку. Только вотъ, прошлою пятницей, былъ я въ Величковѣ, и зазвалъ Иванъ Антипычъ меня къ себѣ; да глазъ на глазъ и спрашиваетъ:—„Скажи,—говоритъ:—ты за кого свою Дуню выдалъ?“—„А развѣ не знаешь? Такой-то, молъ, имя рекъ; служилъ въ офицерскихъ чинахъ и въ походахъ, подъ Севастополемъ былъ; теперь въ отставкѣ, съ Егорьемъ и съ пенціей“...—„Знаемъ. Да какъ онъ сюда-то попалъ?“—„А такъ, говорю, и попалъ, что до прежде женитьбы своей, гостилъ недалеча отъ насъ, у Петра Иваныча Горностаева въ Ольхинѣ“.—„Такъ-съ, ну а чѣмъ же, молъ, онъ теперича занимается?“—„Теперича, говорю, онъ аблакатъ“.—„А для чего-же, будучи аблакатомъ, живетъ не въ городѣ, и нѣтъ ли, молъ, у него, по здѣшнимъ мѣстамъ, какого другого занятія?“—„Какое тебѣ, говорю, еще занятіе? Рыбу удитъ въ рѣкѣ, вотъ и все“.—„А правду ли, молъ, разсказываютъ, что онъ, по ночамъ, запирается у себя и книжки читаетъ?.. И что за книжки эти большія деньги заплачены, потому онѣ тайныя?“—„Вздоръ! говорю, изъ книжной лавки, изъ Питера, съ почтой получены; какія тамъ могутъ быть тайныя? Нѣмецкія сочиненія по его ремеслу; я самъ за нихъ и по счету платилъ“... Смотрю, а онъ

головою качаетъ... Злость меня на него взяла. „Да ты чего, говорю, крючки загибаешь? Говори прямо, что ты о немъ слыхалъ?“ Ну онъ мнѣ и разсказалъ... Какъ подпоили они котораго-то изъ бѣглецовъ, и какъ онъ имъ выболталъ, что у нихъ толкуютъ о новой волѣ; будто она уже есть, да въ угоду хозяевамъ до сихъ поръ не объявлена. И что воля эта для батрака, чтобы значитъ ему отъ хозяина не было притѣсненія. Поколѣ живетъ у тебя работникъ доброю волею, онъ твой слуга, а какъ захотѣлъ уйти, такъ, чтобы сію минуту ему разсчетъ и шабашъ. А что если онъ долженъ тебѣ, то воленъ ты взыскивать съ него долгъ судомъ, аль иначе, какъ знаешь, но чтобъ держать его въ кабалѣ, на заработкѣ, за забранныя въ долгъ деньги, и думать оставь... И слышали они это отъ Вытяговскихъ, а Вытяговскіе отъ аблаката, отъ зятя хозяйскаго... Слушаю я его, господа, а у самого ажъ сердце замерло. Такъ вотъ о чемъ, думаю, онъ съ батраками по вечерамъ шушукаетъ!.. Ну, погоди же! Только понятно я этого старшинѣ не сказалъ. „Пустое!—я говорю:—въ хмелю человѣкъ сбрехалъ; а вы и уши развѣсили!“ Но дома съ Герасимовичемъ былъ у меня другой разговоръ.—„Ну зятюшка, говорю, хороша твоя благодарность мнѣ за хлѣбъ-соль!“ „А что?“—„Да вотъ, молъ, что о тебѣ разсказываютъ... Правда ли?“—„Нѣтъ, говоритъ:—это вранье. А говорилъ я имъ вотъ что: вы, говорю, дураки; отъ эфтаго, значитъ, вамъ и воля не въ прокъ. Освободили васъ отъ помѣщиковъ, а вы, черезъ десять лѣтъ съумѣли закрѣпостить себя съизнова своему же брату! Вотъ вы и ждите теперь новой воли... Прождете еще триста лѣтъ!..“

Окончивъ разсказъ, онъ посмотрѣлъ на насъ съ важностью человѣка, сообщающаго рѣшительное извѣстіе.

— По вашему какъ же теперича, господа?—сказалъ онъ,—хорошее это дѣло блазнить мужика, котораго общество ставитъ на заработки за долгъ. „Дурень, молъ, ты! Ну вотъ и воля тебѣ дана, а ты сидишь по прежнему крѣпостнымъ, на барщинѣ, да еще у своево же брата!..“ И какъ теперича если онъ уйдетъ; а хозяинъ его—къ исправнику. „Такъ и такъ, молъ, ваше высокородіе, спору нѣтъ, онъ виноватъ, но не самъ же онъ это выдумалъ. Гдѣ ему дураку! А вотъ отставной какой-то, живетъ у сосѣда въ Вытяговѣ, и на бездѣльѣ бунтуетъ народъ“... А? какъ вы думаете? вѣдь не похвалятъ за это?.. Али, положимъ, хозяинъ-то, не тревожа на первый разъ господина исправника, скажетъ сперва по-пріятельски мнѣ; а я, недолго думая, къ вашей родственницѣ въ Неглинское. „Такъ и такъ, молъ, ваше превосходительство, милость намъ дѣлаете, берете дочку

смотрительницею къ себѣ въ пріютъ, и мнѣ, само собой, лестно такое вниманіе, но по совѣсти долженъ васъ остеречь... Мужъ-то ея, мой зять, вотъ чѣмъ занимается"...

Косвенный смыслъ его словъ былъ довольно ясенъ. Онъ угрожалъ разстроить дѣло. Но насъ встревожило, кромѣ того, и прямое значеніе сообщенныхъ извѣстій, что, разумѣется, не могло ускользнуть отъ такого зоркаго наблюдателя, какъ Мироновъ. Довольный произведеннымъ имъ впечатлѣніемъ, онъ замолчалъ; да и мы не имѣли большого желанія продолжать бесѣду.

— Что за исторія?—сказалъ я Петру Ивановичу, возвращаясь съ нимъ въ Розѣ.—Онъ вамъ не говорилъ?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Горностаевъ, не меньше меня озадаченный.—Да мы и не видѣлись послѣ этого. Въ пятницу, говоритъ Мироновъ, а я не видалъ его съ середы.

— Надо бы разспросить у Ивана Герасимовича...

Дня черезъ два, друзья сидѣли у меня въ кабинетѣ, въ Мирковѣ.

— Пустое!—говорилъ намъ Неплёскинъ, котораго мы обвиняли въ крупной неосторожности.—Еслибы я бунтовалъ ихъ, что, между прочимъ, было бы очень не мудрено, то они первые бы ушли. Но я именно объяснялъ имъ, что это плохое средство. „Разыщутъ васъ, говорю, передерутъ и вернутъ къ тому же Терентью Степанову. И будетъ вамъ, не считая спины, хуже прежняго".

— Да зачѣмъ вы мѣшаетесь въ ихъ отношенія, если не можете имъ указать никакого практическаго исхода?

Онъ молчалъ.

— Вы слышали, какъ они понимаютъ ваши слова? Вонъ у нихъ ужъ и „новая воля", съ правомъ для батрака уйти отъ хозяина, когда ему вздумается, не отработавъ долга!..

— Такъ что-жъ?—отвѣчалъ Неплёскинъ.—Новая воля, конечно, дичь, но право заимодавца держать у себя должника въ кабалѣ, покуда онъ не заплатитъ долга, развѣ же это не варварство? Привычка, конечно, со многимъ насъ примиряетъ, и мы смотримъ спокойно на мужика, котораго сельское общество отдаетъ кредитору на заработки. Ну а представьте себя на мѣстѣ его. Представьте себѣ, напримѣръ, что тотъ же Терентій Степановъ подалъ на васъ ко взысканію и что васъ, какъ несостоятельнаго, приговорили служить у него батракомъ, покуда вы съ нимъ не расплатитесь, какъ бы вамъ это понравилось? А выходъ изъ этого есть, и онъ очень простъ. Нѣтъ надобности въ реформѣ, которая измѣняла бы, какъ та прежняя, всѣ отношенія

собственника земли къ работнику. Довольно простой статьи: „Отдача въ заработки заимодавцу воспрещена и всякаго рода постановленія, клонящіяся къ тому, равно какъ и личные договоры заимодавца съ своимъ должникомъ, по закону не обязательны".

— Ну, мой милѣйшій Иванъ Герасимовичъ,—сказалъ я:— не знаю, или вѣрнѣе, не буду спорить. Теоретически говоря, вы, можетъ быть, и правы; но согласитесь, что поднимать этого рода вопросы, въ бесѣдахъ съ вытяговскими работниками, въ самомъ счастливомъ случаѣ—безполезно. У васъ тамъ не законодательная коммиссія и они могутъ понять васъ совсѣмъ не такъ, какъ вы бы желали быть понятымъ; и изъ этого можетъ выйти какой-нибудь кавардакъ, въ результатѣ котораго васъ обвинятъ въ возбужденіи къ безпорядкамъ съ самой неблаговидной цѣлью. Величковскій старшина, быть можетъ, уже и ощупывалъ путь въ эту сторону; но дѣло, по незначительности размѣра, не получило огласки. А все-таки, вонъ и вашъ тесть придрался къ случаю и грозитъ нажаловаться на васъ Ольшевской. Будьте же, ради Бога, поосторожнѣе, не мѣшайте намъ освободить отъ рабства, по крайней мѣрѣ, хоть васъ съ Авдотьей Терентьевной... Вамъ ужъ недолго осталось жить въ Вытяговѣ; наложите печать молчанія на уста и ни слова съ работниками.

Что онъ и обѣщалъ.

Потомъ мы разспрашивали его объ Ильюхѣ съ компаніей. Всѣ они были изъ разоренной, заѣденной недоимками и запутавшейся въ долгу Акуловки, взрослый рабочій народъ которой, годъ отъ году въ большемъ числѣ, покидая свои очаги, зарабатывалъ себѣ пропитаніе на чужой землѣ. Въ горячую пору, впрочемъ, то тотъ, то другой, отпущенный сердобольнымъ хозяиномъ, появлялся на нѣсколько дней, и работая за троихъ, помогалъ остальнымъ запасти кое-что на голодные мѣсяцы. Но изъ Вытягова, какъ ни молили тамошніе ребята поймавшаго ихъ въ свои сѣти жирнаго паука, Терентій Степановъ, за это лѣто по крайней мѣрѣ, не отпустилъ ни разу еще ни одного. Да ему пожалуй и трудно было, такъ какъ рабочихъ рукъ у него не хватало на обработку всей пріобрѣтенной имъ земли.—„Напрасно и просишь, любезный; теперь не могу, — былъ обычный его отвѣтъ, когда наступали сухіе, знойные дни, и начиналась уборка сѣна:— а вотъ ужо, если Богъ дастъ управимся во время", и такъ дальше... Но лѣто на сѣверѣ коротко и досужіе промежутки въ немъ рѣдки. День за день, съ растущимъ страхомъ и исчезающею надеждой въ душѣ, слѣдилъ оторванный отъ своихъ полей земледѣлецъ, какъ наливается и желтѣетъ рожь въ ненавистномъ

Вытяговѣ; и къ ночи, покуда глубокій сонъ не успѣлъ еще оковать усталыхъ членовъ, ему съ невыразимой тоскою мерещился гдѣ-нибудь на сырыхъ берегахъ извилистаго ручья, единственная надежда спасти свою коровенку зимой, неубранный, пропадающій даромъ покосъ, на которомъ бѣлѣютъ послѣдніе гости лѣта, цвѣты ромашки и вянутъ уже іюльскіе колокольчики. Успѣетъ ли дряхлый, едва таскающій ноги отецъ, съ одною бабою и съ дѣтьми, управиться?.. Нѣтъ, куда!.. Прошедшимъ лѣтомъ и вмѣстѣ-то запоздали!.. А ведро какое Богъ далъ! Явись онъ теперь на помощь, въ три дня бы окончили!.. Да когда у этого сатаны дождешься отпуску?.. Вонъ и Пророкъ уже близко! Надвинутся тучи, ударитъ громъ, пойдутъ проливные дожди; тогда и скажетъ тебѣ: — „ступай“...

Минулъ еще знойный день и снова вечеръ. Земля, увлажненная густою росой, остыла и въ воздухѣ пахнетъ душистою, только-что скошенною травой... Вытяговскіе ребята, вернувшись, поужинали и завалились спать, но одинъ не спитъ. Это сумрачный, смуглый и худощавый, но рослый и статный—Ильюха. Онъ вышелъ изъ холостой избы на крылечко, крякнулъ два раза коростелемъ и всматривается въ густѣющія потемки, словно какъ будто бы поджидаетъ кого. Невдалекѣ что-то бѣлое промелькнуло птицей: это ему махнули платочкомъ изъ-за плетня. Онъ быстро шмыгнулъ туда. Калитка, ведущая въ огородъ, была отворена и въ кустахъ онъ встрѣтилъ одѣтую по-мѣщански, смазливую, рыженькую бабенку. Это была молодая вдовушка, жившая у Миронова уже два года, домохозяйкой.

— Голубушка! Анна Марковна!—говорилъ Ильюха, протягивая къ ней руки, чтобы ее обнять. Но она оттолкнула парня.

— Тише ты, дуралей! Зачѣмъ называешь по имени? Вотъ ужо Терентій Степанычъ услышитъ; онъ те задастъ!

— Эхъ, ужъ не поминай! Все онъ, да онъ; и во всемъ-то онъ поперекъ.

— А тебѣ бы чтобъ все по твоему? Баловень! Да пойдемъ сюда, дальше отъ улицы... Ну, говори, зачѣмъ звалъ?

— Первымъ дѣломъ-то все за тѣмъ же, Аннушка. Очень ужъ тошно мнѣ тутъ, у васъ; таково тошно, что не будь ты, кажись, не вытерпѣлъ бы: бѣжалъ бы отселева безъ оглядки, куда-нибудь въ Питеръ, либо въ Москву; а либо самъ на себя наложилъ бы руки. Только и отойдетъ отъ сердца, когда увидишь тебя, да услышишь изъ устъ твоихъ слово ласковое... радость моя!

— Опять ты за эти глупости!—отвѣчала дьяконша, прики-

дываясь сердитою.—Думала, путное отъ тебя услышу; безъ этого, вотъ-те Христосъ, и не пришла бы... Дивлюсь я право, Илья, чего тебѣ надобно отъ меня? Кажись, я своимъ поведеніемъ не давала тебѣ причины... Или ты думаешь, что по роду будучи изъ духовнаго званія, да и замужемъ бывъ за духовнымъ лицомъ, я, въ своихъ мысляхъ, ставлю себя наравнѣ съ мужикомъ?.. Такъ ты это выбей изъ головы.

— Эхъ, Аннушка!

— Да ты что меня въ Аннушки-то пожаловалъ? Озорникъ! Какая я для тебя Аннушка?

— Сударыня, Анна Марковна, не въ укоръ скажу: вѣдь живешь же на службѣ у мужика?

— Вона! куда хватилъ! Да какъ тебѣ только на умъ взбрело равнять себя съ нимъ? Какой онъ мужикъ, когда онъ богаче другого барина, и торговлю свою имѣетъ въ городѣ, почту содержитъ, дочь за поручикомъ, господа и купечество, и начальство руку ему подаютъ и за столъ съ собою сажаютъ... Да и съ чего ты взялъ, что я у него въ услуженіи? Отъ роду не живала еще ни у кого служанкой!.. А что жалѣючи человѣка, какъ онъ на старости лѣтъ, остался одинъ, и помня, какъ были они съ покойнымъ мужемъ пріятели, поселилась тутъ у него и помогаю ему въ хозяйствѣ, такъ это не въ службу, а въ дружбу. Не по нуждѣ, а по волѣ своей живу; а не будетъ воли моей—уйду.

— Да вотъ не уходишь.

— А тебѣ что? Желалъ бы, чтобы ушла?

— Не знаю ужъ, какъ и сказать... Если правда теперича, что́ говорятъ...

— А что́ говорятъ? — спросила она, оборотясь къ нему съ вызывающею усмѣшкой.

— Что на умѣ у стараго чорта совсѣмъ не хозяйство, и что не даромъ взялъ онъ къ себѣ молодую вдовушку; прочитъ ее, молъ, себѣ не за мѣсто дочери, а за мѣсто жены...

— А хотя бы и такъ?.. Ну вышла я замужъ, скажемъ примѣрно, хоть за Терентья Степаныча... Такъ тебѣ-то не все ли равно за кого?

Несчастный слушалъ ее въ совершенномъ отчаяніи. — Эхъ, Анна Марковна! — произнесъ онъ съ укоромъ:—чѣмъ говорить такія рѣчи, лучше бы ты мнѣ ножъ въ сердце!.. Господь съ тобой!.. И онъ повернулся, чтобы уйти; но Анна Марковна удержала его за плечо.

— Постой, Ильюша, — сказала она, измѣняя тонъ: — ты не сердись на меня, голубчикъ; ты знаешь, я вѣдь люблю пошу-

тить... Ну, говори скорѣе: зачѣмъ еще меня звалъ? А то мнѣ пора...

Онъ взялся за голову, словно припоминая.—Когда Терентій Степановичъ ѣдетъ въ городъ?—спросилъ онъ.

— Да надо быть послѣ завтра.

— Съ вечеру что ли?

— А ужъ не знаю... Надо быть, какъ всегда, по утру, со свѣтомъ.

— Голубушка, коли узнаешь, скажи ты мнѣ это съ вечеру. Какъ только онъ на бокъ, а я за шапку, да и домой. До зарѣзу мнѣ надо быть тамъ, и когда ворочусь, не знаю. Только ты сдѣлай милость, не выдавай. Скажи, что я отпросился съ субботы на воскресенье, въ городъ. До вторника-то утра, авось оставитъ еще въ покоѣ; а тамъ какъ знаетъ; хоть шкуру съ меня съ живого дери.

— Озлится... ну, да ужъ нечего дѣлать... Была не была, возьму на себя.

— Голубушка!..—Онъ нагнулся, и въ темнотѣ густого орѣшника, прозвучали два страстные поцѣлуя.

— Да ну тебя! Чортъ! Пусти!.. отвяжись!..

Двѣ тѣни шмыгнули изъ огорода, черезъ калитку... шелестъ женскаго платья... шаги, и все смолкло.

Съ минуту Илья стоялъ еще на крылечкѣ, одинъ, и думалъ глубокую думу.

Сутки спустя... Но прежде, чѣмъ продолжать, я долженъ оговориться... Это ночное свиданіе и та драма, которая разыгралась вслѣдъ за симъ, въ Вытяговѣ, изложены у меня, въ сущности, все-таки по разсказамъ Неплёскиныхъ. Только мѣстами, гдѣ этотъ источникъ страдалъ уже слишкомъ явной безсвязностью, я былъ вынужденъ, для его пополненія, прибѣгать къ различнаго рода толкамъ, догадкамъ и слухамъ, ходившимъ долгое время у насъ въ уѣздѣ. Можетъ быть, въ томъ числѣ, кое-что, съ точки зрѣнія исторической критики, и не выдержало бы повѣрки; но этого рода грѣхи почти неизбѣжны тамъ, гдѣ разсказъ свидѣтеля вынужденъ пополняться извѣстіями со стороны, къ несчастью всегда до извѣстной степени неразлучными съ легендарной окраской.

Н. Ахшарумовъ.

БЕРЛИНЪ

КАКЪ

СТОЛИЦА ГЕРМАНІИ

Воспоминанія о пятилѣтнемъ пребываніи въ немъ, Георга Брандеса, 1884.

Переводъ съ датскаго.

Конгрессъ и его левъ.

Іюнь—Іюль 1878.

Бѣлое германское знамя развѣвается надъ дворцомъ Бисмарка въ Вильгельмштрассе; каждые два дня часть улицы закрывается отъ двухъ до пяти для пѣшеходовъ и мимо любопытныхъ ожидающихъ то-и-дѣло мелькаютъ, около двухъ часовъ дня, экипажи съ разодѣтыми егерями на козлахъ; въ этихъ экипажахъ члены конгресса спѣшатъ къ мѣсту назначенія, гдѣ на дворѣ ихъ встрѣчаетъ салютомъ караулъ пѣхоты съ тщательно заряженными ружьями, а въ залѣ конгресса—любезность канцлера, столь же тщательно заряженная.

Въ первый разъ еще въ Берлинѣ собрался политическій европейскій конгрессъ; этотъ фактъ самъ по себѣ показываетъ уже, какъ высоко поднялся онъ, какъ столица Германіи. Берлинъ уже потому имѣетъ право назваться „большимъ городомъ“, что присутствіе конгресса ни мало не нарушаетъ обычнаго теченія уличной жизни. Исключая нѣсколькихъ новыхъ караульныхъ будокъ съ двойнымъ карауломъ, выставленныхъ у всѣхъ отелей

и дворцовъ, занимаемыхъ иностранными уполномоченными, физіономія города нисколько не перемѣнилась. Любопытство здѣсь гораздо менѣе развито, чѣмъ въ Копенгагенѣ; частью потому, что здѣсь меньше праздношатающихся на улицахъ, частью еще потому, что здѣсь круглый годъ видятъ массу иностранцевъ. На японцевъ уже никто болѣе не оглядывается, такъ привыкли здѣсь къ появленію этихъ тонконогихъ, безбородыхъ фигуръ въ европейскомъ платьѣ, съ терракоттовымъ цвѣтомъ лица и видомъ куколокъ, которыя такъ и хочется поставить на этажерку. Въ началѣ своего пребыванія здѣсь, члены китайскаго посольства, выходя на улицу въ своихъ синихъ камзолахъ и бѣлыхъ войлочныхъ башмакахъ съ болтающимися на спинѣ длинными косами, должны были постоянно сопровождаться полиціей, такъ какъ кругомъ нихъ всегда бывала давка; но вскорѣ и къ нимъ стали привыкать, особенно послѣ того, какъ одинъ изъ китайцевъ, знакомый съ нѣмецкимъ языкомъ и литературой, помѣстилъ въ „Vossische Zeitung“ статью, въ которой онъ выставилъ на видъ то мирное отношеніе, которое встрѣчаютъ европейцы, появляясь въ европейскомъ костюмѣ на улицахъ Китая, и привелъ въ концѣ двустишіе изъ извѣстнаго стихотворенія Зеймеса „Дикій“:

„Seht, Ihr fremden, klugen, weissen Leute,
Seht, wir Wilden sind doch bessre Menschen!“

Съ этихъ поръ китайцевъ можно часто видѣть гуляющихъ въ полдень парами на главной улицѣ, и прохожіе не заглядываютъ имъ болѣе въ лица и не скалятъ зубы. Даже марокканское посольство, прибывшее сюда въ концѣ мая и отличающееся своими бурнусами, красивыми, бѣлыми тюрбанами и коричневыми лицами, и тѣмъ еще, что они заставили привести всѣхъ животныхъ, предназначенныхъ имъ въ пищу, живьемъ въ кухню отеля „Римъ“ и заколоть на кухонномъ полу своимъ чернымъ слугамъ при содѣйствіи ловкой берлинской кухарки,—и они даже привлекали вниманіе публики только въ томъ отношеніи, что у окна кухни постоянно останавливалась толпа зѣвакъ, и смотрѣла съ широко раскрытымъ ртомъ и глазами на марокканскую стряпню.

Довольно легко, впрочемъ, сдѣлать наблюденія даже надъ самыми выдающимися членами конгресса. Сольсбери и Одо Росселя можно видѣть на Вильгельмштрассе идущими по просту, подъ руку, въ дворцу Бисмарка, такъ какъ они живутъ въ угловомъ домѣ, всего въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него. Вотъ скрывается въ открытыхъ воротахъ рѣшетчатой ограды турецкій уполномоченный, нѣмецъ по рожденію, Мехемедъ-Али-Паша въ красной фескѣ, откинувшійся совершенно на спинку экипажа,

ѣдетъ въ раздумьѣ и, повидимому, далеко не веселомъ. Вотъ летитъ во весь опоръ экипажъ Горчакова; фигура князя хорошо знакома Берлину. Его можно видѣть ежедневно сидящимъ цѣлыми часами у открытаго окна бель-этажа русскаго посольства. Это маленькій старикъ съ большой головой, болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, въ зеленой бархатной ермолкѣ; черты лица его очень тонки и на высокомъ лбу его какъ бы написано благородство и умъ. Вслѣдъ за нимъ слѣдуютъ съ короткими промежутками отъ „Kaiserhof'a" экипажи съ итальянскими уполномоченными и англійскими старшими и младшими членами конгресса. Въ послѣднемъ экипажѣ сидитъ опустившаяся, потерявшая, на видъ, всѣ жизненныя силы, фигура графа Биконсфильда, недавно еще Веньямина Дизраэли, который на этотъ разъ является львомъ конгресса.

Если я называю Биконсфильда львомъ конгресса, то я вовсе не хочу сказать этимъ, чтобы онъ имѣлъ въ себѣ нѣчто львиное, во внутреннихъ ли, во внѣшнихъ ли чертахъ своихъ. Высокая, массивная фигура Бисмарка, его диктаторскій характеръ гораздо скорѣе могли бы дать поводъ назвать его львомъ; онъ засѣдаетъ къ тому же въ конгрессѣ, какъ король Нобель въ сказкѣ въ кругу своихъ совѣтниковъ. Но, не смотря на все это, Бисмаркъ все-таки не левъ конгресса, такъ какъ замѣчательнѣйшій звѣрь момента и положенія—левъ соціальный въ противоположность психическому и моральному. Въ „Jardin des Plantes" въ Парижѣ при Лудовикѣ-Филиппѣ „львомъ" сада былъ не левъ, а жирафъ, такъ какъ на него только и приходили смотрѣть, не видавъ еще до сихъ поръ ничего подобнаго въ Парижѣ. Биконсфильдъ въ Берлинѣ какъ разъ тотъ жирафъ, который играетъ въ великомъ дипломатическомъ звѣринцѣ роль льва.

Популярностію своей онъ обязанъ многимъ причинамъ. Прежде всего здѣсь чувствуютъ, что на конгрессѣ онъ—естественный союзникъ Германіи и Австріи, такъ какъ онъ является самымъ открытымъ противникомъ Россіи. Затѣмъ имъ восхищаются за энергію, съ которой онъ призвалъ страну свою къ оружію. Послѣ того, какъ пришло извѣстіе о занятіи Англіей Кипра, къ вышесказанному присоединилось еще уваженіе, которое въ большихъ городахъ всегда оказываютъ каждому, кто ловко съумѣлъ въ политикѣ воспользоваться моментомъ. Наконецъ онъ возбуждаетъ интересъ своей жизнью, которая есть мастерское произведеніе своего рода, и нельзя отрицать, что, если побѣжденныя трудности обусловливаютъ цѣну и значеніе художественнаго про-

изведенія, то жизнь Биконсфильда настоящее художественное произведеніе.

Какъ велика его популярность въ Берлинѣ, видно не только изъ той массы букетовъ, которые подносятъ ему постоянно разныя хорошенькія ручки, но особенно изъ анекдотовъ, которые разсказываютъ о немъ. Онъ заслоняетъ въ нихъ собой самого Бисмарка, и если анекдоты и не всѣ, или не вполнѣ согласны съ истиной, то они служатъ все-таки доказательствомъ того, какъ сильно завладѣлъ онъ фантазіей общества.

Конгрессъ начался, какъ извѣстно, рѣшеніемъ болгарскаго вопроса. Россія предложила продольное дѣленіе Болгаріи и настолько обезпечила себѣ успѣхъ среди турецкихъ уполномоченныхъ, что Бисмаркъ готовъ былъ согласиться на русское предложеніе. Онъ спросилъ мнѣнія Андраши, который поставилъ свое согласіе въ зависимость отъ согласія Англіи. Разсказываютъ теперь, что Андраши тотчасъ послѣ разговора съ Бисмаркомъ, сообщившимъ ему, что завтра утромъ онъ переговоритъ объ этомъ съ Биконсфильдомъ, послалъ какъ можно скорѣе одного изъ своихъ секретарей къ Биконсфильду, чтобы предупредить его о грозящей опасности. Когда имперскій канцлеръ явился на слѣдующее утро къ Биконсфильду и началъ разговоръ вопросомъ, какъ его свѣтлость нашла Берлинъ и его жителей, которые не особенно славятся своею любезностью и предупредительностью, то услышалъ въ отвѣтъ: „Я просто въ восторгѣ. Я нахожу, что Берлинъ гораздо лучше, чѣмъ говорятъ о немъ; я нашелъ здѣсь въ высшей степени любезныхъ и предупредительныхъ людей. Не больше какъ часъ тому назадъ, я послалъ одного изъ моихъ секретарей на станцію желѣзной дороги, чтобы спросить начальника, могу ли я имѣть сегодня вечеромъ экстренный поѣздъ для меня и для моего дипломатическаго корпуса въ Лондонъ, и милый предупредительный начальникъ,—закончилъ Биконсфильдъ, ударяя особенно на эти слова,—обѣщалъ мнѣ тотчасъ же экстренный поѣздъ, какъ только понадобится". Бисмаркъ во все свиданіе не обмолвился словомъ про Болгарію, и такимъ образомъ рѣшена была участь Болгаріи и дѣленіе ея на Придунайскую Болгарію и Восточную Румелію. Но экстренный поѣздъ Биконсфильда появлялся каждый разъ вновь на дипломатическомъ горизонтѣ, какъ только англійскимъ уполномоченнымъ нужно было настоять на своихъ требованіяхъ.

Другой анекдотъ. Бисмаркъ и Биконсфильдъ стояли какъ-то у окна на балконѣ въ „Kaiserhof'ѣ и смотрѣли разговаривая на шумное уличное движеніе. Разговоръ кончился, и Бисмаркъ

взялъ, не извинившись предварительно, по разсѣянности, каску и надѣлъ на свою, не особенно богатую волосами голову. Биконсфильдъ, нѣсколько пораженный въ началѣ, что не слышитъ извиненія, вынимаетъ немедленно изъ-подъ мышки свой шапоклакъ и пристально смотритъ на князя; еще одна минута, и бацъ!—шапо-клакъ раскрывается передъ самымъ носомъ Бисмарка, и Биконсфильдъ, не говоря также ни слова, покрываетъ свою нѣсколько зеленоватую, отъ употребленія косметиковъ, курчавую голову. Тутъ только Бисмаркъ замѣчаетъ свою ошибку, беретъ съ изысканной вѣжливостью его свѣтлость подъ руку, выходитъ съ нимъ на балконъ, и начинаетъ снова прерванный разговоръ.

Разсказываютъ, наконецъ, еще слѣдующій эпизодъ, который будто бы произошелъ на засѣданіи конгресса во время опредѣленія границы Арменіи. Графъ Шуваловъ только-что окончилъ свой докладъ по этому вопросу, когда неожиданно лордъ Биконсфильдъ сдѣлалъ замѣчаніе, что у него нѣтъ подъ рукой карты Арменіи и Анатоліи. Графъ Шуваловъ началъ свой докладъ объ 58 статьѣ берлинскаго трактата словами: „Новая граница идетъ отъ Чернаго Моря черезъ A и B до C.“—„Позвольте!“—замѣчаетъ Биконсфильдъ, просматривавшій съ большимъ вниманіемъ переданную ему кн. Горчаковымъ карту:—Граница идетъ отъ A до b и c.“ За этимъ слѣдуетъ маленькое обсужденіе, и предложеніе Англіи принимается. Графъ Шуваловъ продолжаетъ свой докладъ: „Граница идетъ отъ C къ D и E и подымается къ F.“ „Позвольте!“—восклицаетъ углубленный все время въ карту премьеръ Англіи:—граница идетъ отъ c до d, e и доходитъ до f.“ Опять горячія возраженія со стороны русскихъ дипломатовъ, потому что предложеніе Биконсфильда грозитъ отдать, такимъ образомъ, завоеванную дорогою цѣною полосу Арменіи Турціи. Тѣмъ не менѣе, русскимъ приходится, въ концѣ концовъ, не только согласиться на эти уступки, но англійскій премьеръ принуждаетъ ихъ даже, опираясь на ихъ собственную карту, уступить еще третью полосу Арменіи. Даже, Шуваловъ, столь покойный обыкновенно, и тотъ начинаетъ двигаться безпокойно на своемъ креслѣ и смотритъ вопросительно на сосѣда своего, русскаго канцлера.

Наконецъ Горчаковъ угадываетъ причину необыкновенной прозорливости Биконсфильда относительно границы Арменіи и шепчетъ Шувалову на ухо: „Saprisli! Я нечаянно передалъ лорду Биконсфильду карту нашихъ крайнихъ уступокъ. Придется согласиться“.

Сухая и саркастическая увѣренность сквозитъ въ этихъ болѣе или менѣе достовѣрныхъ разсказахъ, и ей-то и восхищаются здѣсь такъ въ Биконсфильдѣ. Та замѣчательная степень самообладанія, которую развиваетъ въ англичанахъ парламентская жизнь, совершенно отсутствуетъ у нѣмецкихъ политическихъ дѣятелей. Бисмаркъ кипятится, когда начинаютъ говорить извѣстные ораторы, и въ душѣ желалъ бы не являться даже вовсе въ рейхстагъ, чтобы только не слышать этого. Я самъ видѣлъ, какъ Ласкеръ опускалъ голову и просто сгибался подъ градомъ колкостей Бисмарка. Биконсфильдъ, чувства котораго не менѣе сильны, чѣмъ чувства кого бы то ни было, и темпераментъ котораго достаточно пылокъ, сидитъ въ парламентѣ во время самыхъ яростныхъ нападокъ самаго ожесточеннаго противника совершенно спокойно съ полузакрытыми глазами, какъ бы въ дремотѣ. Когда нападки становятся особенно яростны, онъ начинаетъ только пристально разсматривать кончики своихъ сапогъ, медленно повертывая ихъ, какъ бы желая тщательно осмотрѣть ихъ со всѣхъ сторонъ. Когда упреки, которые бросаютъ ему въ лицо, взбѣсили бы каждаго, онъ встаетъ, снимаетъ пылинку съ отворота сюртука или съ лѣваго рукава, разсматриваетъ затѣмъ ногти, и даже тогда, когда всякій другой государственный человѣкъ не могъ бы не высказать хоть чѣмъ-нибудь волненія или безпокойства, онъ поднимаетъ свой моноклъ, вставляетъ его въ глазъ, и взглянувъ быстро на часы на галлереѣ прямо противъ предсѣдателя, сбрасываетъ его однимъ быстрымъ движеніемъ вѣкъ.

Есть два современныхъ намъ политическихъ дѣятеля, съ которыми Биконсфильдъ такъ и просится на сравненіе.

Какъ писатель и государственный дѣятель, Биконсфильдъ, не смотря на всю свою оригинальность и превосходство во всемъ, скорѣе всего напоминаетъ Наполеона третьяго. Они принадлежатъ оба къ одному и тому же типу. На томъ и на другомъ лежитъ печать авантюризма. И тотъ, и другой исходили изъ почти фаталистическаго убѣжденія въ ихъ будущемъ величіи, каждый изъ нихъ вѣрилъ въ свою звѣзду. Оба основывали эту вѣру на гордости предковъ или рода: Наполеонъ—на томъ, что въ жилахъ его течетъ кровь Бонапарта (которой, однако, въ немъ не было ни капли), Дизраэли—на своемъ еврейско-аристократическомъ происхожденіи (не зная почти ровно ничего о своихъ предкахъ); оба видѣли рожденіе свое въ романтическомъ свѣтѣ семейнаго рока. Оба вооружились, прежде всего, противъ буржуазіи, какъ господствующаго класса; олигархія, завладѣвшая королевскою властью, была имъ обоимъ одинаково ненавистна. Вигги

были для Дизраэли такимъ же точно предметомъ отвращенія, какъ всесильное меньшинство промышленниковъ и финансистовъ Луи-Филиппа для Наполеона. И тотъ, и другой были имперіалистами и демократами, приверженцами союза коронной власти съ массой противъ среднихъ классовъ; и тотъ, и другой—государственные соціалисты. И на того, и на другого вѣкъ положилъ свою печать. Они обозначаютъ собою переходъ отъ политическаго романтизма или романтической политики къ современному реализму. Одинъ былъ пассивнымъ мечтателемъ и рано отупѣлъ, другой—активная, практическая, неизносимая натура.

Другая современная личность, съ которой неизбѣжно приходится сравнивать Биконсфильда, это—заклятый врагъ его и противникъ, Гладстонъ. Они принадлежатъ оба къ одному и тому-же поколѣнію; великая религіозная реакція захватила собою молодость обоихъ; и въ томъ, и другомъ, поэтому, видѣнъ и теперь еще отчасти богословъ. Гладстонъ сдѣлался пюзеистомъ въ то же самое время, какъ Дизраэли—ритуалистомъ; и тотъ, и другой лишены одинаково, какъ богословы-философы, научной почвы; у Гладстона своя оригинальная теорія о предсуществованіи св. Троицы, которую онъ находитъ у Гомера; у Дизраэли своя оригинальная предопредѣлительная теорія о распятіи Іисуса Христа и еврейскомъ племени. Но далѣе этой узкой полосы сходство не идетъ, такъ какъ теологическая ограниченность Биконсфильда—на половину, повидимому, умышленная, между тѣмъ какъ у Гладстона она полна наивности.

Гладстонъ, вообще, человѣкъ убѣжденія, что́ вовсе не мѣшаетъ ему, однако, мѣнять свои убѣжденія. Онъ шагъ за шагомъ измѣнилъ совершенно свои политическія идеи, но въ каждую данную минуту онъ твердо и глубоко вѣрилъ въ непреложность того политическаго принципа, который онъ признавалъ. Лордъ Биконсфильдъ, напротивъ, ставилъ себѣ всегда въ заслугу непоколебимость своихъ политическихъ убѣжденій и остался въ главныхъ чертахъ вполнѣ вѣренъ самому себѣ; если, не смотря на это, взглядъ его на политику и мѣнялся иногда, то перемѣны, замѣчаемыя въ его политическихъ точкахъ зрѣнія, происходили исключительно изъ разумнаго соображенія съ обстоятельствами, а не отъ перемѣны понятій. Гладстонъ—характерная личность, человѣкъ съ большими задатками, которые и развиваются въ немъ непрерывно, человѣкъ съ громаднымъ трудолюбіемъ и обширнымъ умомъ; у него голова финансиста и сердце филантропа, но въ общемъ личность, не представляющая особенной глубины и интереса. Лордъ Биконсфильдъ, напротивъ, совершенно ориги-

нальный характеръ, въ немъ есть что-то демоническое. Это—умъ металлическій, Гладстонъ расплывчатый. Онъ былъ всегда однимъ и тѣмъ-же и съ трудомъ лишь могъ измѣняться; онъ отшлифовалъ себя по внѣшности, научился владѣть собою, пріобрѣлъ обширное знаніе людей, гибкость и осторожность, которыя напоминаютъ иногда фокусника, но въ болѣе глубокомъ смыслѣ слова онъ не развивался вовсе, а сглаживалъ только свои шероховатости объ окружающее. Въ то время, какъ Гладстону ничего не стоитъ сознаться въ сѣдланной ошибкѣ, Дизраэли не въ чемъ признаваться, и онъ имѣетъ на это до нѣкоторой степени право, такъ какъ онъ чувствуетъ за собой нѣчто цѣлое, неподдающееся вліянію времени; онъ разъ навсегда не ошибается ни въ чемъ, какъ и не старѣетъ никогда. Вотъ гдѣ сходятся въ немъ истинное и напускное; онъ не сознается никогда въ политической ошибкѣ, какъ не сознается въ сѣдинѣ. Но если мы возьмемъ слово: развитіе, въ менѣе точномъ смыслѣ самосовершенствованія и самообладанія, то Биконсфильдъ стоитъ гораздо выше Гладстона по развитію. Въ то время, какъ Гладстонъ до старости лѣтъ, даже въ большей еще степени, чѣмъ прежде, даетъ увлекать себя гнѣву и капризамъ, выказываетъ раздражительность и нетерпѣніе, соперникъ его дѣлается съ годами все болѣе и болѣе хладнокровнымъ. Онъ, въ сочиненіяхъ котораго превосходная степень царствуетъ надо всѣмъ, сдѣлался вожакомъ партіи, не теряющей никогда своего самообладанія; онъ умѣетъ молчать, какъ никто другой; онъ—безсердечный, непроницаемый парламентскій сфинксъ, олицетвореніе терпѣнія и настойчивости.

Гладстонъ—ясный и сильный, но многорѣчивый ораторъ; въ потокѣ словъ его не блеститъ никогда отдѣльное слово или отдѣльная поражающая фраза изъ тѣхъ, которыя, разъ мы ее услышали, навсегда остаются въ нашей памяти. Въ одной изъ своихъ рѣчей онъ выразился какъ-то, что ораторъ долженъ будто-бы возвратить слушателямъ въ видѣ потока то, что́ было дано ему ими въ видѣ пара. Онъ самъ ораторъ этого рода и на высказанной здѣсь внутренней связи съ слушателями и основывается могучая сила его слова; рѣчи его въ напечатанномъ видѣ рѣдко производятъ впечатлѣніе. Рѣчи Биконсфильда, въ противоположность этому,—монологи въ самомъ полномъ смыслѣ слова, произведенія первобытнаго, парадоксальнаго и потому одинокаго ума, творенія писателя по призванію, пикантныя и блестящія, но хороши лишь отрывками; въ цѣльномъ видѣ они тривіальны, это одноцвѣтная ткань съ яркими блестками.

Но самый рѣзкій контрастъ представляютъ эти два государ-

ственные человѣка не въ парламентской дѣятельности, а во внѣшней политикѣ. На этомъ-то поприщѣ Биконсфильдъ и достигъ того первенства, благодаря которому онъ и царитъ въ настоящую минуту въ Берлинѣ надъ всѣмъ положеніемъ дѣлъ. Положительно непонятно, какъ можно одобрять и даже защищать изъ либеральнаго доктринерства внѣшнюю политику Гладстона по отношенію къ Турціи и къ Россіи. Его неумѣстная агитація въ пользу болгаръ парализовала Англію въ рѣшительную минуту. Иностранная политика его, безцѣльная и противорѣчивая, осудила сама себя. Биконсфильду Англія обязана тѣмъ, что имѣетъ такой рѣшающій голосъ теперь въ столицѣ Германіи.

Недавно хотѣли опредѣлить конгрессъ и членовъ его выраженіемъ, что всемірная исторія переселилась въ Берлинъ. При этомъ хватили немножко черезъ край, такъ какъ великія историческія личности едва ли—тѣ, которыхъ возноситъ толпа и политика ставитъ во главѣ народовъ. Томасъ Эдисонъ безспорно такая же историческая личность, какъ и лордъ Биконсфильдъ, а Викторъ Гюго стоитъ гораздо выше въ этомъ отношеніи, чѣмъ г. Ваддингтонъ. Несомнѣнно, однако, что всемірная исторія собрала теперь въ своемъ капризѣ во дворцѣ министерства иностранныхъ дѣлъ самыхъ различныхъ людей всѣхъ странъ. Тутъ встрѣтились такіе люди, какъ потомокъ древняго княжескаго рода Горчаковъ, съ прежнимъ изгнанникомъ и революціонеромъ Лотаромъ Бухеромъ, книга котораго: „Парламентаризмъ въ Англіи“ полна самой жгучей ненависти къ Россіи и глубочайшаго презрѣнія ко всему парламентскому строю Англіи. Бухеръ—чрезвычайно даровитый и способный человѣкъ, но безъ „здраваго смысла“. Бисмаркъ—само олицетвореніе здраваго смысла; онъ развился въ немъ въ своего рода геніальность. Поэтому первый тотчасъ же инстинктивно подчинился второму, а второй тотчасъ же замѣтилъ, что у того есть способности, которыми онъ можетъ воспользоваться. На конгрессѣ встрѣтились, кромѣ того, закаленные рубаки въ родѣ Мехемедъ-Али-Паши съ усатыми дипломатами школы Бисмарка въ лицѣ фонъ-Радовица, посла въ Аѳинахъ. Все имѣетъ своихъ представителей въ этомъ собраніи: геній, родовитость и богатство, имперія, королевство и республика, христіанство, израиль и исламъ, арійская, семитическая и монгольская расы, все, кромѣ права слабаго. Этимъ не отрицается, однако, что соціализмъ всѣхъ оттѣнковъ имѣетъ своихъ представителей въ конгрессѣ: государственный соціализмъ, скупающій желѣзныя дороги и стремящійся къ монополіи въ лицѣ Бисмарка, за которымъ слѣдуютъ: Лотаръ Бухеръ, живой

памятникъ соглашенія Бисмарка съ Лассалемъ, и сантиментальный соціализмъ Дизраэли, который высказывался всегда не только въ романѣ своемъ „Сивилла", но и въ дѣйствительности за союзъ коронной власти съ низшими слоями общества, — въ первый разъ, и, всего смѣлѣе, въ іюлѣ 1839 года, когда онъ выразилъ въ парламентѣ свои симпатіи чартистамъ, не смотря на несочувствіе къ нѣкоторымъ ихъ требованіямъ. Но какъ бы ни разнились между собой нѣмецкій юнкеръ, теперешній канцлеръ, и англо-еврейскій премьеръ, сходство въ нихъ все-таки есть; это—глубоко вкоренившаяся вражда и нескрываемое презрѣніе къ буржуазному либерализму. Биконсфильдъ былъ только послѣдовательнѣе Бисмарка въ этомъ отношеніи, такъ какъ послѣдній долгое время опирался на національ-либераловъ въ Германіи, между тѣмъ какъ Биконсфильдъ былъ всегда самымъ заклятымъ врагомъ виговъ.

Конгрессъ кончился тѣмъ, что Турція и европейскія державы получили отсрочку на короткое время. Дѣло подвинулось бы гораздо далѣе впередъ, еслибы Австрія имѣла мужество воспользоваться до паденія Плевны слабостью Россіи, или еслибы Биконсфильдъ смѣло объявилъ Россіи войну послѣ Санъ-Стефанскаго договора, вмѣсто того, чтобы ограничиться угрозами. Теперь же осталось много узловъ неразвязанными. Нѣкоторое время, однако, миръ, вѣроятно, продлится. Въ тотъ день, когда рѣшенъ былъ вопросъ о границахъ Болгаріи, Бисмаркъ велѣлъ замѣнить бѣлое военное знамя Германіи на своемъ дворцѣ торговымъ флагомъ. Было ли это случайностью или символомъ? Во всякомъ случаѣ здѣсь многое указываетъ на послѣднее *).

Выборная борьба.

13 іюля 1878.

На дняхъ я имѣлъ продолжительный разговоръ съ однимъ молодымъ докторомъ, который сопровождалъ Ласкера въ его путешествіяхъ по выборному округу. „Въ какихъ мѣстахъ говорилъ онъ рѣчи?" —спросилъ я. „Спросите лучше, гдѣ онъ ихъ не говорилъ? — отвѣчалъ врачъ. Даже въ городкахъ съ населеніемъ въ 1500 жителей онъ говорилъ рѣчи и приглашалъ присутствующихъ задавать ему вопросы и требовать разъясненій,

*) Едва ли есть надобность опровергать эти враждебные отзывы датскаго писателя; они остаются любопытны какъ отголосокъ берлинскаго настроенія въ эпоху конгресса.—*Ред.*

если они того желаютъ, и даже въ такихъ маленькихъ мѣстечкахъ слушателей собираюсь не менѣе 700—800". Сынъ Бисмарка, Гербертъ Бисмаркъ, далеко не опытный еще какъ ораторъ и слишкомъ важный для того, чтобы предпринимать такія выборныя путешествія, можетъ, кажется, быть увѣренъ, что провалится на выборахъ съ небывалымъ еще тріумфомъ.

Вообще съ каждымъ днемъ становится все болѣе и болѣе очевиднымъ, что Бисмаркъ не достигъ своей цѣли, распустивъ рейхстагъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что либералы потеряютъ изрядное число голосовъ въ рейхстагѣ, но не настолько, однако, чтобы правительство могло разсчитывать на какое-либо большинство. Нѣтъ сомнѣнія, что Бисмаркъ подготовитъ себѣ такой рейхстагъ, который приметъ въ концѣ концовъ его законопроектъ противъ соціалистовъ, особенно если законопроектъ этотъ будетъ составленъ настолько умно, что не коснется ни одной изъ прочихъ партій; но бо́льшаго онъ едва ли добьется. Отъ введенія табачной монополіи, онъ, повидимому, пока отказался.

Между тѣмъ, волны выборной борьбы порядкомъ бурлятъ и въ самомъ Берлинѣ. Консерваторы употребили слѣдующую уловку: они выставили самыхъ популярныхъ среди либераловъ людей кандидатами противъ нихъ же, чтобы поставить ихъ въ неловкое положеніе—вотировать, волею-неволею, противъ такихъ популярныхъ личностей, какъ Фалькъ и Мольтке. Во всякой другой странѣ нашли бы мефистофелевскимъ коварствомъ заставить самихъ либераловъ быть причиной паденія любимѣйшаго ихъ министра, такъ какъ всюду въ другой странѣ такое положеніе на выборахъ было бы равносильно выходу въ отставку. Но въ Пруссіи министръ тогда именно и сидитъ всего крѣпче на своемъ мѣстѣ, когда наканунѣ онъ провалился на выборахъ. Фалькъ провалился въ прошломъ году на выборахъ въ Берлинѣ, и если и въ этомъ году съ нимъ случится то же самое, то онъ можетъ утѣшиться, что это не въ первый разъ.

Изъ людей, всего болѣе вліявшихъ на выборъ его рѣчами и брошюрами, наибольшій интересъ представляетъ Трейчке. За невзрачной внѣшностью этого полустараго, совершенно глухого прусскаго профессора скрываются далеко не дюжинныя дарованія. Несообразно было бы выставить его прямымъ врагомъ современныхъ идей. Я помню, что читалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ его „Historische und politische Aufsätze" (Статьи по исторіи и политикѣ) и ни мало не подозрѣвалъ тогда, что въ немъ могли бы скрываться иныя убѣжденія кромѣ „крайне-либеральныхъ", какъ говорится у насъ на сѣверѣ. Примѣромъ

можетъ служить его трактатъ „О свободѣ“, въ которомъ онъ называетъ несмываемымъ пятномъ позора для германской цивилизаціи XIX вѣка, что такому человѣку, какъ Давидъ Штраусъ, не позволили никогда говорить съ каѳедры. Можно привести также его восторженную статью о Байронѣ, въ которой онъ жестоко нападаетъ на правительство тори въ Англіи временъ Байрона. Трейчке принадлежитъ, однако, къ тѣмъ умамъ, которыхъ много вездѣ, особенно же въ Германіи, и которые съ годами начинаютъ ставить идею государства все выше и выше развитія индивидуальной свободы. Кромѣ того, онъ всегда отличался узкостью взглядовъ; я рѣшительно не помню, чтобы встрѣчалъ въ какомъ-либо другомъ нѣмецкомъ писателѣ такія узко-шовинистскія сужденія о Гейне и Бёрне. Когда въ руки Бисмарка перешли козыри политики, то на Трейчке напало ослѣпленіе; онъ вскорѣ потерялъ изъ виду всякій иной прогрессъ, кромѣ растущей не по днямъ, а по часамъ славы Бисмарка. Въ то же время все увеличивающаяся глухота изолировала его совершенно отъ окружающаго его міра; въ рейхстагѣ онъ говорилъ часто рѣчи, не имѣвшія никакого отношенія къ предъидущему, и которыя онъ не въ состояніи былъ поддержать противъ послѣдующихъ нападокъ, такъ какъ ничего не слышитъ. Мнѣ интересно было прослѣдить, какъ ловко противники Трейчке умѣли обернуть его собственное прошлое противъ него же самого.

На выборномъ собраніи въ прошлое воскресенье нѣкій Дюргольдъ выставилъ на видъ безчеловѣчную суровость Трейчке по отношенію къ соціаль-демократамъ. Трейчке, какъ извѣстно, разъ на всегда покончилъ со всѣми ихъ стремленіями, сказавши, что всемірная исторія показываетъ намъ, что милліоны людей должны были всегда нести тяжелый и низменный трудъ, чтобы дать нѣсколькимъ тысячамъ людей возможность мыслить и пользоваться благами земли; въ послѣднее время онъ старался заклеймить партію соціалистовъ названіемъ партіи убійцъ изъ-за угла. Дюргольдъ прочелъ по этому поводу слѣдующія строки изъ напечатаннаго тринадцать лѣтъ тому назадъ труда Трейчке, въ которыхъ онъ говоритъ о тогдашнихъ опасеніяхъ на счетъ соціаль-демократовъ. „Что за безчеловѣчная жестокость въ этихъ сужденіяхъ о классѣ людей, который столь позорнымъ образомъ называютъ опаснымъ! Какое безсердечное осужденіе всякаго стремленія низшихъ классовъ къ довольству въ жизни!... Какой низкій страхъ при каждомъ проявленіи гордости и самосознанія въ низшихъ слояхъ общества!“ Это относится къ 1865 году, когда Лассаль уже закончилъ свое поприще.

Во вчерашнемъ выборномъ засѣданіи въ Берлинѣ, Вирховъ нанесъ еще болѣе чувствительные удары этому крайне-консервативному профессору. Въ то же время, какъ Трейчке перемѣнилъ свои политическія убѣжденія, онъ перемѣнилъ и религіозныя. Онъ одинъ изо всѣхъ націонаѣ-либераловъ осуждалъ дѣятельность Госсбаха, не какъ еретическую, а какъ „безтактную“. Послѣднее названіе есть любимѣйшее выраженіе свободныхъ мыслителей консервативнаго характера для честныхъ служителей церкви. Теперь онъ старается доказать въ своихъ брошюрахъ, что партія прогрессистовъ и партія соціаль-демократовъ въ сущности одно и то же, и старается возбудить избирателей противъ обѣихъ, какъ „не имѣющихъ религіи“. Въ наказаніе ему Вирховъ прочелъ къ общему восторгу слѣдующій отрывокъ изъ „Статей по исторіи и политикѣ“ Трейчке (3-е изданіе 1867): „Въ наши дни можно найти гораздо болѣе истиннаго христіанства въ мірянахъ, чѣмъ въ духовенствѣ. Христіанская любовь встрѣчается гораздо чаще у столь поносимыхъ теперь невѣрующихъ, чѣмъ въ сердцахъ духовенства. Въ великомъ дѣлѣ послѣдняго столѣтія, освобожденія человѣчества отъ тысячи оковъ, которыя надѣлъ на него не-христіанскій произволъ, церковь не принимала никакого участія. Неотъемлемое преимущество защитниковъ церкви, это—способность портить самыя лучшія начинанія невѣроятной подлостью средствъ защиты“. Когда Вирховъ дошелъ до этого мѣста, то долженъ былъ остановиться на минуту, прерванный громкимъ хохотомъ присутствующихъ. Когда онъ продолжалъ затѣмъ: „Итакъ, милостивые государи, все это очень мило и убѣдительно, но не даетъ, однако, права бросать намъ въ лицо упрекъ въ невѣріи“, то простота и тонкая иронія этихъ словъ обезпечили побѣду этому замѣчательному и неутомимому оратору. Трейчке съ своимъ прошедшимъ является, безъ сомнѣнія, нѣсколько страннымъ членомъ „христіанско-соціальной группы“ или, какъ ее также называютъ, партіи главныхъ придворныхъ проповѣдниковъ.

Часто приходится слышать сѣтованія, что такой выдающійся ученый, какъ Вирховъ, человѣкъ, создавшій цѣлую новую науку, промѣнялъ настоящее поле своей славы на шаткую область археологіи и политики. Его политическая дѣятельность была неблагодарна; оппозиція его противъ Бисмарка основывалась на ложномъ представленіи о планахъ этого великаго государственнаго дѣятеля, и осталась безплодной, какъ кажется, и по нынѣ. Вирховъ вѣруетъ въ либерализмъ, какъ политическій принципъ, съ непоколебимостью, которую я могъ бы назвать завидной,

еслибы могъ вообще завидовать вѣрѣ въ доктрину. Каковы бы то ни были вообще мнѣнія о его политическихъ воззрѣніяхъ, но каждый развитой человѣкъ не можетъ не сознавать всей пользы того, когда великіе люди этого рода не считаютъ себя слишкомъ высокостоящими, чтобы заниматься политикой, но имѣютъ смѣлость, благодаря громадному превосходству своему надъ всѣми, раскрывать свои карты. Какъ только рѣчь касается свободы мысли, мнѣніе такого человѣка, какъ Вирховъ, имѣетъ вѣсъ, который трудно даже опредѣлить.

На этихъ дняхъ императора перевезли изъ Берлина въ Бабельсбергъ, въ Потсдамъ, и Unter den Linden, благодаря этому, сталъ наконецъ послѣ долгаго времени, вновь доступенъ для пѣшеходовъ, что придало городу его обычный характеръ и помогаетъ разсѣявать нѣсколько тяжелыя впечатлѣнія переживаемаго нами періода. Паника ослабѣваетъ мало-по-малу, и въ Берлинѣ начинаютъ уже чувствоваться симптомы возвращающагося здороваго взгляда на гнусности такого рода, какъ преступленія противъ Величества и доносы.

Провинціальная жизнь.

21 іюля 1878.

Маленькая дѣвочка, которая слышала какъ то жалобы на дурной воздухъ большихъ городовъ и восхваленіе здороваго деревенскаго воздуха, спросила: „Такъ почему же не строятъ городовъ въ деревняхъ?“ Какъ жаль, что до этого еще не додумались. Бываютъ лѣтніе дни, когда меня до безумія тянетъ въ деревню.

Не потому, что Берлинъ, какъ думаютъ обыкновенно, отличается особеннымъ недостаткомъ деревьевъ и садовъ. Напротивъ, на свѣтѣ не много городовъ, гдѣ съ такимъ разумнымъ рвеніемъ заботились бы о процвѣтаніи растительности. Много заботъ причинила, конечно, почва, но и трудъ далъ за то невѣроятные результаты.

Необъятная „Королевская площадь“ представляла собой еще въ 1872 году песчаное море, безплодную пустыню, переходя которую каждый пѣшеходъ увязалъ въ глубокомъ пескѣ по щиколку. Теперь же не только середина ея вымощена художественной мозаикой, превосходныхъ цвѣтовъ и рисунковъ, но на ней находятся еще безчисленные кусты и лужайки, которые далеко кругомъ наполняютъ воздухъ своимъ благоуханіемъ. Гряды цвѣтовъ засѣяны такими растеніями, что покрываются попере-

мѣнно въ разныя времена года душистыми цвѣтами и, кромѣ того, сирени, акаціи и липы наполняютъ въ разное время своимъ благоуханіемъ всю западную часть Берлина. Цвѣты въ грядахъ не только часто и аккуратно поливаются, но и каждое отдѣльное растеніе осматриваютъ регулярнымъ образомъ и ухаживаютъ за нимъ какъ только возможно; зимой садовники обходятъ по утрамъ садъ и стряхиваютъ снѣгъ съ молодыхъ елей; многія гряды прикрываются на зиму цѣликомъ и каждому вредному вліянію стараются противодѣйствовать по мѣрѣ силъ и возможности. Въ Тиргартенѣ на каждое дерево смотрятъ какъ на сокровище и обкладываютъ кругомъ камнями; ради нихъ же паркъ освѣщается исключительно керосиномъ, а не газомъ. Вообще, на благоустройство Тиргартена не жалѣютъ никакихъ расходовъ.

Берлинъ не можетъ сравниться съ Парижемъ по числу деревьевъ на улицахъ, но деревьевъ съ душистымъ цвѣтомъ въ немъ гораздо болѣе. Для Парижа растительность—перо, которое онъ прикалываетъ къ своей шляпѣ, для Берлина — душистый букетъ, который онъ прижимаетъ къ своему сердцу „The city swims in verdure“ [1]), говоритъ о Парижѣ Елизавета Броунингъ. О Берлинѣ можно сказать безъ преувеличенія, что бываютъ мѣсяцы, когда извѣстные кварталы буквально тонутъ въ благоуханіи цвѣтовъ.

Теперь, однако, время душистыхъ цвѣтовъ прошло и хочется прочь изъ города съ его камнями и политической лихорадкой, въ деревню, въ степь, обрамленную деревьями, гдѣ воздухъ свѣжъ и чистъ и чувства людей идилличны.

Мѣстечко, куда я направился, лежитъ въ Ганноверѣ; это—нѣчто среднее между торговымъ городомъ и деревней съ 2000 жителей, изъ коихъ большая часть, по старой привычкѣ, привержена къ Вельфамъ. Только недавно еще желѣзная дорога протянула свою вѣтвь къ этому мѣстечку, такъ что можно было бы ожидать, что оно живетъ еще той первобытной идиллической жизнью, какой мы представляемъ себѣ жизнь всѣхъ маленькихъ нѣмецкихъ городковъ. И увидѣвъ издалека этотъ городокъ съ его красивыми, опрятными домиками, чистенькими улицами, плодоносными полями, маленькимъ лѣскомъ, и стрѣльбищемъ, гдѣ больше танцуютъ, чѣмъ стрѣляютъ, каждый пріѣзжій невольно скажетъ себѣ: это—идиллія Фосса „Луиза“, только не въ стихахъ, а въ прозѣ!

При первомъ знакомствѣ впечатлѣніе идилліи какъ будто

[1]) Городъ купается въ зелени.

подтверждается. Здѣсь не читаютъ. Единственная газета, проникающая сюда, это „Buxtehude Zeitung“, очень мирная, впрочемъ, газета, не смотря на свое дикое, варварско-тевтонское названіе. Классъ чиновниковъ, представляемый здѣсь новымъ почтмейстеромъ и амтманомъ, преклоняется передъ Пруссіей; простой же народъ смотритъ на Пруссію, какъ на враждебную и, главнымъ образомъ, какъ на голодную власть. Быть взятымъ въ рекруты недавно еще считалось „служить кукушкѣ“, т.-е. чорту („dem Kuk-Kuk dienen“); жителямъ вновь присоединенныхъ провинцій въ прусскомъ орлѣ будетъ еще долго помнится кукушка; пруссаки уже слишкомъ полакомились жирнымъ кусочкомъ ганноверской земли. Но злоба утихаетъ и мирная жизнь входитъ мало-по-малу въ свою колею. Шумная культура промелькнула надъ этой мѣстностью, задѣвъ ее только крыломъ. Мнѣ говорили, что зимой по вечерамъ здѣсь бываетъ такъ темно, хоть глазъ выколи, и что, выходя изъ дому, приходится брать фонарь, какъ въ добрые средніе вѣка въ большихъ городахъ.

Если присмотрѣться, однако, поближе, то идиллія исчезаетъ, исчезаетъ до такой степени, что приходится наталкиваться на тѣ же самыя страсти и ожесточенныя соперничества, какъ и въ большихъ городахъ. Вотъ вамъ примѣръ. Городская церковь здѣсь стара и грозитъ обрушиться. Она выстроена на болотистомъ грунтѣ, опускается и даетъ такія трещины, что постоянно опасаются ея паденія. Отцы города рѣшили, что нужно выстроить новую церковь, но—гдѣ? Тутъ начинается споръ. Два мѣстные туза, которыхъ я имѣлъ счастіе видѣть лично, раздѣляютъ между собой власть въ городѣ. Одинъ изъ нихъ, фабрикантъ В., маленькій, угловатый, темноватый господинъ съ черными усами и чертами лица, какъ бы выточенными изъ дерева; онъ—членъ ландтага и вѣрноподданный, хитрый, старый мужичина, который держитъ нѣсколько сотенъ рабочихъ и заставляетъ ихъ, при помощи ловко и во-время распредѣленныхъ наградъ, вотировать противъ кандидатовъ соціаль-демократической партіи. Другой, купецъ Е., стройный провинціальный красавецъ, имѣющій магазинъ съ зеркальными окнами, носитъ изящные пестрые галстухи и похожъ вообще гораздо болѣе на аристократа, чѣмъ его соперникъ. Эти два туза жестоко борятся теперь изъ-за мѣста постройки новой церкви.

Купецъ положилъ начало безкорыстнымъ предложеніемъ, совершенно въ духѣ идилліи. Онъ проектируетъ выстроить церковь за городомъ и предлагаетъ городу уступить для этой цѣли безвозмездно участокъ собственной земли. Фабрикантъ, опасающійся,

что онъ лишится въ такомъ случаѣ доходовъ съ своей гостинницы, лежащей какъ разъ противъ старой церкви, всѣми силами противодѣйствуетъ этому плану, доказываетъ неразумность, даже, такъ сказать, невозможность выстроить церковь, иначе, какъ въ самой серединѣ города, и заставляетъ своего вѣрнаго агента, которому платитъ за это, раздавать горожанамъ подписные листы для пожертвованій на постройку новой церкви на мѣстѣ старой: фундаментъ долженъ быть, однако, на этотъ разъ заложенъ такъ глубоко, что одна закладка его поглотитъ добрую половину всей стоимости постройки. По временамъ г. фабрикантъ выписываетъ изъ Берлина архитекторовъ, которыхъ и угощаетъ „на счетъ общества“, на собранныя по подпискѣ на постройку церкви деньги, и получаетъ въ концѣ концовъ отъ нихъ послѣ кофе заключеніе, что новое зданіе можно и слѣдуетъ возвести на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ валится старое.

Но и соперникъ его не бездѣйствуетъ. Г-нъ Е., съ зеркальными окнами, вѣнчаетъ чело свое сіяніемъ безкорыстія. Онъ самымъ рѣшительнымъ образомъ заявляетъ повсюду, что В. руководствуется, подъ предлогомъ общественнаго блага и пользы гражданъ, самыми грязными эгоистическими цѣлями, опасаясь, что гостинница будетъ пустовать. Но развѣ въ евангеліи нѣтъ словъ, которыя ясно доказываютъ намъ, что не слѣдуетъ возводить своей церкви на пескѣ и болотѣ?

Купецъ навѣрно давно остался бы побѣдителемъ, еслибы злые люди, друзья фабриканта, не распустили слуха, что и у безкорыстнаго нашего купца есть своя ахиллесова пята; при ближайшемъ изслѣдованіи оказывается дѣйствительно то, что утверждаетъ молва, т.-е., что на томъ участкѣ земли, часть котораго онъ такъ безкорыстно уступаетъ въ пользу города, стоитъ заброшенный и малопосѣщаемый трактиръ, принадлежащій ему. Еслибы городъ принялъ предлагаемый ему даръ, то этотъ трактиръ пришелся бы какъ разъ противъ новой церкви и превратился бы въ золотое дно для хозяина; пиво и водка потекли бы тогда тамъ, какъ млеко и медъ въ Ханаанской землѣ, и туда собралось бы, навѣрное, много разъ болѣе марокъ и пфеннинговъ, чѣмъ стоитъ весь участокъ, который онъ хочетъ уступить городу.

Новый пасторъ, важная особа съ строгимъ лицомъ, узкими губами и гладкими бѣлокурыми волосами, не выходящій никогда иначе изъ дому, какъ въ высокомъ почтенномъ цилиндрѣ, не высказался еще ни за то, ни за другое предложеніе; пока онъ предоставляетъ обѣимъ сторонамъ ухаживать за собой и угощать себя; и тотъ, и другой почтительно выслушиваютъ его вѣчныя

сѣтованія на невѣріе нашего времени и введеніе гражданскаго брака, который, какъ извѣстно, есть широкій путь ко всему дурному. Новаго пастора здѣсь не любятъ. Его упрекаютъ въ томъ, что онъ черезъ-чуръ ужъ заботится о своемъ комфортѣ на счетъ города, заставляетъ отдѣлывать вновь сверху до низу свой пасторскій домъ, пріобрѣтаетъ дорогую мебель и роскошные ковры, все на счетъ города. Онъ поступаетъ при этомъ такъ: приглашаетъ къ себѣ обѣдать старшину, крестьянина, который чувствуетъ себя крайне польщеннымъ такимъ высокимъ вниманіемъ тѣмъ болѣе, что на обѣдѣ присутствуетъ и пасторша, и добивается этимъ путемъ всего, что только душѣ его угодно.

Новаго пастора упрекаютъ еще въ томъ, что вмѣсто того, чтобы довольствоваться положенными по таксѣ 3 грошами (30 пфенниговъ) за причащеніе мірянъ, онъ требуетъ платы натурой, т.-е. колбасой, которая по тонкости мѣстнаго приготовленія причисляется здѣсь къ деликатессамъ, и что онъ не только плотно закусываетъ ею, но и беретъ еще домой по крайней мѣрѣ на добрыхъ 15 грошей. Это повело къ тому, что крестьянинъ теперь тотчасъ запираетъ на ключъ свой шкапъ съ провизіей, какъ только кто-нибудь умираетъ въ домѣ и приходится посылать за пасторомъ. Поэтому, всѣми силами стараются свергнуть на слѣдующихъ выборахъ стараго и провести новаго старшину, который лучше бы оберегалъ общественный кошель. Но большой вопросъ—удастся ли это.

Очень интересный типъ представляетъ собою амтманъ, высшее мѣстное начальство, 60-лѣтній геркулесъ и бонвиванъ. Онъ занималъ это мѣсто еще при ганноверскомъ правительствѣ и рисковалъ поэтому слетѣть почти навѣрное при паденіи королевства; но этотъ молодецъ во-время принялъ свои мѣры, чтобы сохранить за собой мѣсто, провозгласивъ уже на слѣдующій день послѣ лангензальцской капитуляціи тостъ за императора Вильгельма, новаго короля Ганновера. Какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ отношеніяхъ, онъ подаетъ храбрый примѣръ своимъ подчиненнымъ. Онъ холостъ, но отнюдь не врагъ женщинъ. Въ послѣднее время въ его квартирѣ поселилась вдова съ двумя молодыми дочерьми, между которыми онъ ровно дѣлитъ свое вниманіе и которыя въ благодарность за это нѣжно ухаживаютъ за нимъ. Лѣтомъ онъ отправляется съ ними путешествовать и записывается въ отельныхъ книгахъ слѣдующимъ образомъ: Амтманъ NN съ племянницами. Къ сожалѣнію, капризы и антипатія барышенъ имѣютъ не малое вліяніе на его рѣшенія по службѣ, и все это, вмѣстѣ взятое, далеко не способствуетъ уваже-

нію къ нему жителей, хотя ему при встрѣчѣ и кланяются очень низко. Нельзя, однако, отказать ему въ уваженіи въ одномъ, что онъ не пьетъ, слабость, которой поддались, къ сожалѣнію, послѣ нѣкоторой борьбы съ однообразіемъ тихой жизни, многіе изъ менѣе высокостоящихъ чиновниковъ города.

И все-таки, въ городѣ есть одна превосходная и выдающаяся личность, это—врачъ. Чѣмъ болѣе я знакомлюсь съ нимъ, тѣмъ болѣе интересуюсь имъ. Когда вы видите его проѣзжающаго мимо въ капюшонѣ, закрывающемъ его щеки, онъ смотритъ, не смотря на свою коренастую фигуру, очень невзрачно—настоящій деревенскій врачъ, вѣчно въ телегѣ, вѣчно въ разъѣздахъ, не знающій ни покоя, ни отдыха. Бесѣдуя съ нимъ чаще, испытываешь то пріятное впечатлѣніе, которое вызываетъ общеніе съ дѣльной работящей личностью, и замѣчаешь проблески душевной красоты, передъ которой нельзя не преклонятся. Онъ—опора всего уѣзда; его разыскиваютъ за 20 миль отсюда, и ему рѣдко приходится, благодаря этому, проводить ночь дома. Онъ спитъ обыкновенно только нѣсколько часовъ въ дорогѣ. Онъ долженъ быть всѣмъ для всѣхъ: акушеръ и консультантъ, хирургъ и утѣшитель, онъ поперемѣнно принужденъ то ампутировать ногу, то давать политическія указанія. Онъ никогда не устаетъ, читаетъ больше, чѣмъ спитъ, о чемъ ясно свидѣтельствуютъ его бѣдные глаза, и соединяетъ въ себѣ знанія спеціалиета съ замѣчательнымъ многосторонниимъ образованіемъ. Разъ на всегда отказавшись для себя лично ото всего, онъ живетъ исключительно для блага другихъ. Для себя самого онъ имѣетъ одно только желаніе—не отупѣть въ этой глуши, гдѣ рѣдко удается ему встрѣтить равнаго себѣ по развитію, и поддерживать чтеніемъ бодрость духа и умственное свое развитіе.

Онъ врачъ по призванію, но не по влеченію. Отецъ его былъ врачъ душой и тѣломъ, сынъ же страстно предался изученію философической эстетики и исторіи искусствъ въ гейдельбергскомъ и берлинскомъ университетахъ. Онъ видѣлъ Штрауса и слышалъ Фишера, о которомъ сохранилъ восторженныя воспоминанія юности. Но отсутствіе практическаго примѣненія выбранной спеціальности и преждевременная смерть отца принудили его взяться за медицину. Онъ вскорѣ всецѣло предался изученію своей новой спеціальности, хотя и не забывалъ никогда того, что такъ сильно увлекало его умъ въ молодости. Связанный бракомъ съ женщиной, которая не понимаетъ его, безъ радостей въ жизни, со дня потери единственнаго своего ребенка, подававшаго большія надежды сына, привязанный къ своей старухѣ матери, ко-

торую онъ взялъ къ себѣ въ домъ и смерти которой онъ ожидаетъ теперь со дня на день—онъ живетъ всецѣло для исполненія своихъ обязанностей и находитъ въ этомъ утѣшеніе въ жизни. Путешествіе въ Римъ, вотъ послѣдняя надежда, которой онъ тѣшитъ себя годъ за годъ и на которое у него все не хватаетъ свободнаго времени. Онъ читаетъ все, что появляется вновь болѣе или менѣе выдающагося, и сочувствуетъ такъ же горячо, какъ и въ молодости, талантливымъ писателямъ; онъ—рьяный политикъ и при разъѣздахъ своихъ не упускаетъ случая убѣдить возможно большее число своихъ клiентовъ вотировать за либеральнаго кандидата въ рейхстагъ. Они слѣдуютъ совѣтамъ его изъ личной симпатіи къ нему, а не по убѣжденію.

У него мало надеждъ поэтому, что они и впередъ будутъ поступать такимъ же образомъ. На религіозную агитацію въ родѣ той, которая началась теперь во всей Германіи, онъ совершенно не имѣетъ никакого вліянія. Оружіемъ нападенія для консервативной партіи служитъ молва, распространяемая ею про либеральныхъ политическихъ дѣятелей, что тѣ не вѣрятъ въ Христа, какъ Сына Божія (вожаки въ Ганноверѣ всѣ безъ исключенія члены „Protestantenverein“). Молва эта производитъ чудеса; крестьяне пугаются и сторонятся либеральныхъ партій. Если сравнить здѣшнихъ крестьянъ съ датскими въ политическомъ отношеніи, то каждаго невольно поразитъ ихъ неразвитость, а если они и способны къ пробужденію, то скорѣе въ смыслѣ аграрной агитаціи, чѣмъ въ смыслѣ стремленія къ свободѣ. Вообще можно сказать, что имъ недостаетъ самостоятельности. Только ближе къ Гольштейну, въ Марскландѣ, Кедингерландѣ и около этихъ мѣстъ встрѣчаются смѣлые самостоятельные крестьяне, фермеры, которые гордятся своими деньгами и землей, но и у нихъ, не смотря на всю ихъ самостоятельность, нѣтъ истинно свободнаго духа. Недовольство противъ пастора и религіозное суевѣріе идутъ здѣсь рука объ руку. Въ Даніи замѣчается въ этомъ отношеніи въ одно и то же время и большій, и меньшій прогрессъ. Датское крестьянство до сихъ поръ еще не подвергалось испытаніямъ этого рода. Всѣ либеральныя вожделѣнія его заключались до сихъ поръ главнымъ образомъ въ вполнѣ справедливомъ стремленіи обезпечить себѣ положеніе сословія въ государствѣ, но никто не знаетъ, какое впечатлѣніе произвелъ бы на него лозунгъ „за или противъ“ господствующей церкви. Съ этой точки зрѣнія оно и не имѣетъ права считать пока свой уровень развитія выше уровня развитія нѣмецкаго крестьянства.

Съ 1870 года ганноверская молодежь перестала выказывать

особенное недовольство противъ присоединенія королевства къ Пруссіи. Многихъ, конечно, заставляетъ морщиться еще надпись „провинція Ганноверъ", которую имъ приходится читать на получаемыхъ ими письмахъ, но и это сгладится со временемъ. Не смотря на высокія подати, выгоды въ сравненіи съ тѣмъ, что было при національномъ королевскомъ домѣ, слишкомъ очевидны. Въ государствѣ Бисмарка нѣтъ ни мелкой политики личностей, ни вліянія любовницъ. Все, къ чему стремится правительство, существенно само по себѣ, что бы тамъ ни говорили.

Послѣдній король Ганновера былъ слѣпъ, и самое страстное желаніе его всю жизнь состояло въ томъ, чтобы заставить вѣрить народъ и даже окружающихъ его въ то, что онъ—зрячій. Въ ганноверскомъ уставѣ престолонаслѣдія есть параграфъ, который лишаетъ права вступленія на престолъ каждаго принца, которому какой-либо физическій недостатокъ можетъ мѣшать управлять страною; это и было причиной того, что въ началѣ отецъ короля Георга, впослѣдствіи же и онъ самъ систематически обманывали весь свѣтъ тѣмъ, что король будто бы вовсе не слѣпъ. Благодаря этому, король былъ всю свою жизнь комедіантомъ, и къ тому же комедіантомъ мнительнымъ и жестокимъ, который старался мстить каждому, кого онъ могъ только заподозрить въ разгадкѣ этого фарса. Онъ говорилъ съ дамами и мужчинами, которымъ онъ давалъ аудіенціи, о свѣжемъ цвѣтѣ лица ихъ, объ ихъ туалетахъ или объ красивомъ видѣ изъ оконъ замка. Онъ говорилъ людямъ, что онъ находитъ, что они нисколько не перемѣнились съ тѣхъ поръ, какъ онъ видѣлъ ихъ въ послѣдній разъ. Онъ требовалъ при въѣздѣ своемъ въ какой-либо городъ, чтобы дома украшались флагами и коврами. Если онъ пренебрегъ совершенно портовымъ положеніемъ города Эмдена, то это было карой тому, что жители, знавшіе, что король слѣпъ, не нашли нужнымъ украсить городъ свой при въѣздѣ его флагами и коврами.

Все это невозможно при новомъ правительствѣ; оно грубо, но величественно, и даже самый гнѣвъ его имѣетъ всегда политическій, а не личный характеръ. Маленькіе деспоты вреднѣе одного большаго.

Я люблю эту мѣстность съ ея тихимъ уединеніемъ, котораго никто не нарушаетъ своими посѣщеніями и не тревожитъ безпрерывными электрическими звонками. Я люблю эти далекія уединенныя прогулки въ степь, гдѣ такъ благоухаетъ цвѣтущій вересъ подъ лучами полуденнаго солнца; люблю бродить въ этомъ прелестномъ буковомъ лѣсу, гдѣ никто не гуляетъ, кромѣ меня, и гдѣ я знаю каждую тропинку, каждое деревцо, каждый кустъ.

Онъ не такъ великъ, правда, какъ Тиргартенъ, но онъ имѣетъ то преимущество, что деревья его растутъ совершенно свободно и рука садовника никогда не касается ихъ, что лѣсъ этотъ не прорѣзается вытянутыми по линейкѣ дорогами и дорожками съ катающимися по нимъ дамами и гарцующими офицерами. По временамъ здѣсь бываютъ минуты, когда начинаешь дышать легко и свободно и забываешь жизнь въ этомъ снѣ на яву.

Пессимизмъ.

4 Августа 1878.

Изъ 397 выборовъ 336 уже окончились, такъ что теперь не трудно опредѣлить впередъ общее положеніе дѣлъ.

Результаты выборовъ показываютъ намъ, что Бисмаркъ, опираясь на однихъ только консерваторовъ, можетъ разсчитывать лишь на меньшинство въ рейхстагѣ; но что въ то же время, заключивъ миръ съ ультрамонтанами, онъ можетъ достигнуть желаемаго большинства. Первые шаги къ примиренію съ клерикалами поэтому уже сдѣланы. Папскій нунцій, Мазелла, былъ принятъ недавно въ Киссингенѣ самимъ Бисмаркомъ и былъ встрѣченъ сыномъ его, Гербертомъ Бисмаркомъ, на станціи желѣзной дороги; говорятъ даже, что соглашеніе уже достигнуто, что майскіе законы остаются въ своей силѣ, но будутъ примѣняться такъ мягко, что потеряютъ фактически всякое значеніе.

Такимъ образомъ Каносса не увидѣла Бисмарка, но и Берлинъ, еще менѣе, папу; сошлись на половинѣ дороги въ Киссингенѣ. Такъ вотъ каковъ конецъ знаменитой попытки подчинить клерикализмъ власти государства, о чемъ было столько крику! Вотъ чѣмъ кончилась великая культурная борьба, начатая Лессингомъ, Кантомъ, Фихте и Шиллеромъ и перенесенная-было стараніями и поддержкой обширнѣйшаго въ мірѣ протестантскаго государства на практическую почву жизни.

Первыя знаменія совершившагося переворота въ положеніи дѣлъ появились уже. Министерство народнаго просвѣщенія предписало начальникамъ и начальницамъ частныхъ школъ Берлина изгнать немедленно изъ школьнаго употребленія всѣ тѣ руководства, „которыя содержатъ въ себѣ что-либо оскорбительное по отношенію къ католической церкви“. Поименованы также и самыя руководства: различные учебники, въ числѣ ихъ христоматія Клетке и Зебальда для высшихъ женскихъ классовъ.

Надо замѣтить, что книга Клетке и Зебальда выдержала уже 6 изданій и находится въ употребленіи 35 лѣтъ (со временъ пред-

шественника Фалька, пресловутаго реакціонера Мюлера, превратившаго министерство въ католическую коллегію) и что, когда вышеупомянутые господа сдѣлали запросъ „училищной депутаціи“, какія именно мѣста въ учебникѣ найдены особенно вредными, то имъ указали по пунктамъ на слѣдующія мѣста:

— „Сонъ Галилея“,—Энгеля, особенно мѣсто: „Какъ горячо молится народъ на колѣняхъ за преслѣдователей Галилея, которые лишаютъ его плодовъ его же нивы“.

— Изображеніе Шиллеромъ смерти Густава Адольфа въ его „Тридцатилѣтней войнѣ“.

— Стихотвореніе Гекинга: „Мѣсто геройской смерти Густава Адольфа“.

Невольно спрашиваешь себя, неужели это Германія, Германія культурной борьбы, неужели это Пруссія, Пруссія Фалька, въ которой мы живемъ, и переживаемъ такіе циркуляры? На это отвѣчаютъ, что приказъ былъ присланъ косвеннымъ образомъ изъ министерства духовныхъ дѣлъ, во главѣ котораго стоитъ до сихъ поръ еще Фалькъ. Надо отдать справедливость ультрамонтанамъ, они мастерски умѣютъ ставить свои требованія! Старая некрасивая исторія съ Галилеемъ неудобна имъ еще до сихъ поръ, они стараются поэтому предать ее еще разъ забвенію; нѣтъ ничего страннаго въ томъ, что имя это рѣжетъ ухо этимъ господамъ. Затѣмъ Густавъ Адольфъ! Два раза встрѣчается это имя въ спискѣ „школьной депутаціи“. Подвиги его должны быть забыты, смерть его за Германію не должна воспѣваться передъ нѣмецкими дѣвочками. Его ставятъ на одну доску съ героями въ родѣ Августа Саксонскаго и Людовика XV, жизнь которыхъ неудобно разсказывать обыкновенно маленькимъ дѣвочкамъ, не очищая ее предварительно отъ значительной доли частностей. И затѣмъ, кто бы вы думали? Шиллеръ, самъ великій Шиллеръ и это—въ Германіи! И запрещаются не его необузданныя, чувственныя стихотворенія молодости, нѣтъ; запрещается отрывокъ изъ его историческаго труда, столь невинно-наивнаго, но ярко свидѣтельствующаго о его чистой любви къ свободѣ, памятный разсказъ изъ „Тридцатилѣтней Войны“. Викторъ Шербюлье усмѣхался язвительно по поводу возведенія новой имперіей памятника Шиллеру на „Gendarmenmarkt“ въ Берлинѣ, и находилъ злую иронію въ сопоставленіи названія площади и имени поэта. Въ то время насмѣшка эта была неумѣстна, но реакція въ Германіи постаралась придать ей смыслъ. Галилей, Густавъ Адольфъ и Шиллеръ: вотъ какія три имени изгнаны изъ учеб-

никовъ! Эти три имени говорятъ такъ громко за себя, что комментаріи излишни.

Настоящее положеніе соціаль-демократовъ равносильно изгнанію ихъ изъ рейхстага; нѣсколько мѣстъ, которыя они сохранили еще за собой, принесутъ имъ мало пользы. Но несмотря на это, и правительству нѣтъ особенныхъ причинъ радоваться пораженію соціаль-демократовъ. Третья часть всѣхъ избирателей Берлина оказалась принадлежащей къ соціаль-демократамъ; въ этомъ году за соціаль-демократовъ было подано на 20,000 голосовъ болѣе, чѣмъ въ предшествовавшіе выборы, и въ теченіе пяти выборовъ съ 1867 — 1878 года, число голосовъ за нихъ возрасло съ 69 на 56,336. Усиленіе реакціи повлечетъ за собой, естественнымъ образомъ, соотвѣтственное усиленіе соціальной партіи.

Всѣхъ болѣе пострадала на выборахъ партія прогрессистовъ; она потеряла всю восточную часть Пруссіи, которая почти единственно и поддерживала ее своими голосами, которые перешли теперь на сторону консервативной партіи. Она насчитываетъ всего около двухъ десятковъ голосовъ въ рейхстагѣ, которые будутъ держаться пока стороны національ-либераловъ. Усилившаяся реакція гонитъ избирателей къ двумъ крайностямъ: консерватизму и соціаль-демократіи; все, что лежитъ между ними, гибнетъ.

Для Бисмарка, однако, съ его холоднымъ презрѣніемъ къ людямъ, все это безразлично. Онъ добивается лишь независимости новой имперіи отъ вліянія отдѣльныхъ государствъ союза, и независимости военнаго бюджета отъ воли парламента; для этихъ цѣлей каждое большинство, которымъ онъ можетъ пользоваться, для него одинаково желательно и пригодно.

Радость жизни надолго угасла въ нѣмецкомъ народѣ. Въ смыслѣ внѣшней политики, имперія могущественнѣе, чѣмъ когда-либо; съ высоты птичьяго полета она представляетъ, по прежнему, гордое зрѣлище полумилліона блестящихъ шишаковъ и штыковъ. Но общій видъ ея совершенно перемѣнился. Блеску оружія недостаетъ солнца, которое заставляло бы блестѣть желѣзо блескомъ серебра, которое могло бы давать блескъ и улыбку даже самимъ шишакамъ. Густая туча недовольства и разочарованія лежитъ тяжелымъ кошмаромъ надъ народомъ и имперіей. Карманы у всѣхъ пусты, а тюрьмы полны, полны до верху политическими преступниками, которые сболтнули въ пивной лишнее или глупое слово. Не знаешь положительно, что можно и что нельзя ска-

зать, и въ тишинѣ только слышишь глухіе удары по громадной наковальнѣ, на которой правительство и союзный совѣтъ куютъ новые законы, новое оружіе противъ соціализма и либерализма. „Здѣсь зажимаютъ ротъ", гласитъ невидимая надпись надъ входомъ въ мастерскую.

И туча разочарованія и недовольства спускается все ниже и ниже, ложится все болѣе и болѣе надъ огромной имперіей и ея народонаселеніемъ.

Но въ то время, какъ она опускается, въ нѣмецкой литературѣ кипитъ не менѣе ожесточенная война противъ пессимизма, чѣмъ противъ соціализма. Сами нѣмцы начинаютъ мало-по-малу удивляться этому. Редакторъ одного изъ здѣшнихъ еженедѣльныхъ изданій, говорилъ мнѣ недавно: „курьезно, однако, что никогда еще въ Германіи не писали такъ единодушно противъ пессимизма, какъ теперь, когда каждый, съ кѣмъ приходится только говорить, пессимистъ".

Хотя пессимистическое настроеніе духа, которое такъ распространено и такъ часто проявляется теперь, имѣетъ мало общаго съ пессимизмомъ теоретическимъ, противъ котораго пишутъ и борятся, я хорошо понимаю, однако, что часто ихъ можно весьма легко смѣшать. Глубокое чувство недовольства жизнью смѣшивается естественнымъ образомъ съ извѣстной теоріей о ничтожности жизни. Толпѣ можетъ казаться, конечно, что послѣднее основывается на первомъ. Тѣмъ не менѣе, это справедливо лишь по отношенію къ абсолютному и широкому пессимизму Шопенгауэра, который ведетъ къ совершеннѣйшей пассивности въ жизни, но далеко не по отношенію къ болѣе сложному ученію Эдуарда Гартмана, которое взываетъ какъ разъ къ дѣятельности и противъ котораго пишутъ, однако, постоянно, что оно подрываетъ мужество и энергію.

Ошибку этого рода сдѣлалъ, между прочимъ, г. Клэсъ-Лундинъ въ своемъ сочиненіи „Германія", въ которомъ есть много вѣрнаго о жизни и нравахъ въ Германіи; но едва-ли мы будемъ несправедливы къ автору, если скажемъ, что онъ выказываетъ больше прозорливости относительно внѣшнихъ обычаевъ и нравовъ, внѣшнихъ формъ и обстоятельствъ жизни, чѣмъ относительно того, что́ происходитъ въ сердцахъ и умахъ людей. Лундинъ совершенно ошибочно смѣшиваетъ пессимизмъ Гартмана съ тѣмъ родомъ пессимизма, который онъ будто-бы встрѣчалъ среди берлинскихъ дамъ, въ формѣ „міровой скорби" и отчаянія (напускного или дѣйствительнаго), неизбѣжнымъ слѣдствіемъ котораго является равнодушіе къ жизни; онъ не знаетъ, что этотъ

пессимизмъ есть стремленіе къ культурному развитію и вообще идеалистиченъ самъ по себѣ; онъ не замѣчаетъ что, благодаря именно этой идеалистичности, не имѣющей ничего общаго съ надутостью и равнодушіемъ, пессимизмъ этотъ составляетъ выдающееся явленіе въ жизни современнаго нѣмецкаго общества, одно изъ самыхъ интересныхъ, можетъ быть, какія представляетъ намъ теперь нѣмецкій народъ.

Тѣмъ не менѣе, пессимистическій элементъ этой философіи, по крайней мѣрѣ въ той формѣ, какъ онъ выразился у Гартмана, не можетъ, по моему мнѣнію, претендовать на какое-либо научное значеніе. Пессимизмъ, какъ таковой, есть ученіе, что жизнь есть несчастіе, что лучше было бы не жить вовсе, или, говоря другими словами, что свѣтъ, который извѣстенъ и доступенъ намъ, дуренъ въ самомъ своемъ основаніи. Ученіе это не только бездоказательно и безплодно, но и, что́ гораздо хуже, неясно въ самомъ своемъ основаніи. Невозможно опредѣлять міръ какъ „дурной“ или „хорошій“. Міръ такъ же мало дуренъ или хорошъ, какъ синь или желтъ. Что-же касается человѣческой жизни, то quasi-научныя опредѣленія нѣмецкими пессимистами пріятныхъ или непріятныхъ ощущеній жизни, какъ и попытка ихъ доказать перевѣсъ послѣдняго въ жизни, прежде всего произвольны, такъ какъ не существуетъ мѣрила для этой цѣнности.

Гартманъ, однако, и не проповѣдуетъ вовсе бѣдственности жизни; онъ проповѣдуетъ только мораль, выведенную на основаніи сознанія ея человѣкомъ. Эта идеальная, страстная сторона пессимизма Гартмана понята и разобрана недавно совершенно вѣрно въ одномъ, довольно впрочемъ, неудовлетворительномъ, самомъ по себѣ, трудѣ Шарля Вильдмана въ журналѣ „The nineteenth Century“: „Соціальныя причины нѣмецкаго пессимизма“. Авторъ обращаетъ особенное вниманіе читателя на такія причины, какъ грустное, непосильное школьное обученіе, безъ необходимыхъ физическихъ упражненій, скука университетской жизни, безсодержательныя попойки и безсмысленныя дуэли, которыя совершаются не подъ вліяніемъ страстей, а по приказу корпорацій („Burschenschaften“); онъ указываетъ затѣмъ на малое значеніе семейной жизни, которое основывается яко-бы на второстепенности, по мнѣнію автора, значенія женщины въ Германіи. Переходя къ ученому сословію, онъ указываетъ особенно на недостатокъ уваженія общества къ людямъ науки въ наше жадное къ наживѣ время, въ противоположность тому глубокому почтенію, которое оказывалось прежде въ маленькихъ нѣмецкихъ городкахъ его потертому фраку и трудно добытымъ познаніямъ. Для осталь-

ныхъ классовъ общества мотивомъ разочарованія выставляется возрастающая трудность составить себѣ значительное состояніе, въ связи съ грубымъ матеріализмомъ, все болѣе и болѣе проникающимъ въ нашу жизнь. Короче, основная мысль Вильдмана та, что прежній нѣмецкій идеализмъ, произведшій столько великаго, неизбѣжно долженъ былъ сдѣлаться, подъ вліяніемъ нашего рѣзко-реальнаго времени, пессимистичнымъ.

Объясненіе это нѣсколько поверхностно, хотя и содержитъ въ себѣ много вѣрнаго. Вильдманъ совершенно упускаетъ изъ виду нѣчто, не подвергающееся никакимъ случайностямъ и вліяніямъ времени и составляющее вѣчно правдивый элементъ того воззрѣнія на жизнь, которое береть за исходную точку скорбь, какъ нѣчто неоспоримое. Писатели начала нашего столѣтія, меланхолики по профессіи, были эгоистами, къ которымъ можно примѣнить слова поэта:

„Sie können nur betrachten
Ihr gross' zerrissen' Herz".

У писателей-пессимистовъ нашего времени, смѣшиваемыхъ теперь съ ними, индивидуальное страданіе включено въ міровую скорбь и смягчено ею.

Пессимистическое настроеніе духа, царящее теперь въ Германіи, глубоко рознится отъ пессимизма теоретическаго; оно какъ разъ противоположно ему, такъ какъ оно есть ничто иное, какъ дурно замаскированный оптимизмъ. Оптимистъ, ожидающій многаго отъ жизни, громко и часто вопіетъ, что въ жизни онъ встрѣчаетъ безпрестанное разочарованіе. Оптимистъ не приготовленъ къ борьбѣ съ муками и препятствіями, которыми усыпанъ жизненный путь человѣка. Пессимистъ же, не ожидающій счастья въ жизни, встрѣчаетъ въ ней радости, на которыя не смѣлъ даже надѣяться, счастливыя мгновенія, часы и дни, наслажденіе которыми еще болѣе увеличивается темной рамой его міровоззрѣнія. Вотъ, какъ выразилась про нихъ покойная жена Гартмана: „Пессимистъ замѣчаетъ звѣзды на темномъ небосклонѣ жизни; оптимистъ же, ожидая постоянно въ полночь восхода солнца, не находитъ радости даже въ мерцаніи звѣздъ, кажущихся ему живой насмѣшкой надъ его надеждами и мечтами".

Несчастные мечтатели соціализма, такъ жестоко гонимые теперь въ Германіи за то только, что они глубоко чувствуютъ всю бѣдственность жизни и вѣрятъ въ возможность,—еслибы только правительство и правящіе классы того захотѣли,—такого благоустройства и счастія на землѣ, что это былъ бы второй рай, всѣ эти люди обыкновенно закоснѣлые оптимисты. Я далеко не же-

лаю, конечно, чтобы имъ подали камень вмѣсто хлѣба или теоріи вмѣсто улучшенія ихъ быта, но я не могу отдѣлаться въ то же время отъ убѣжденія, что нетерпѣніе ихъ очень уменьшилось бы, ихъ радужныя надежды потускнѣли бы и недовольство ихъ значительно смягчилось бы, еслибы возможно было вложить въ нихъ, какъ-нибудь, извѣстную дозу пессимизма, научить ихъ, что потребности въ жизни растутъ по мѣрѣ того, какъ увеличивается благосостояніе, что страданія есть всюду, такъ какъ жизнь только постепенный переходъ къ смерти, что большая часть благъ, къ которымъ они стремятся, только воображаемыя блага, и что разъ мы достигли чего-нибудь въ жизни, оно не прельщаетъ насъ болѣе, какъ это грезилось намъ прежде въ нашихъ помыслахъ и желаніяхъ.

Низшіе классы не въ состояніи, конечно, слѣдовать такому развитію мысли, и еслибы они и поняли ее, то не повѣрили бы, а приняли бы только за военную хитрость со стороны имущихъ и счастливыхъ. Во всякомъ случаѣ это вопросъ, надъ которымъ стоитъ задуматься. Послѣ того, какъ цѣлыми вѣками старались вбить въ голову простолюдина теистическій оптимизмъ, мы пришли къ результату, который грозитъ огромнымъ пожарищемъ для всѣхъ значительныхъ странъ Европы со стороны недовольныхъ. Нечего удивляться поэтому, если пессимисты убѣждены въ томъ, что только ясное сознаніе безумности погони за счастіемъ, бѣдственности и мученій самой жизни, въ состояніи вразумить народныя массы, какъ мало основательна ихъ зависть и какъ преувеличены представленія ихъ о возможности полнаго счастья и довольства въ жизни.

Октябрь, 1878.

Въ одно и то же время съ принятіемъ нѣмецкимъ рейхстагомъ законопроекта противъ стремленій соціаль-демократіи „ниспровергнуть существующій строй государства и общества“, въ Берлинѣ появилось сочиненіе, которое подвергаетъ принципы соціаль-демократіи философской и, по мнѣнію автора, разгромляющей критикѣ. Это — сочиненіе Гартмана „Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins“, т.-е. приблизительно: разъясненіе возможныхъ и фактически существующихъ нравственныхъ принциповъ. Это—введеніе къ этикѣ, заслуживающее какъ распространенія, такъ и критическаго разбора у насъ на сѣверѣ, гдѣ этика Мартенсена, гораздо болѣе бѣдная мыслями, возбудила недавно сенсацію въ нѣкоторыхъ кружкахъ общества, что̀ показываетъ,

какъ сильны еще клерикальныя воззрѣнія въ Даніи и Норвегіи. Въ странахъ, подобныхъ Даніи, гдѣ наука, какъ и вся литература вообще, носила въ теченіе цѣлаго столѣтія отпечатокъ богословскихъ воззрѣній, тамъ представителями враждебныхъ партій, самыхъ разнообразныхъ направленій, являются обыкновенно клерикалы различныхъ оттѣнковъ; такъ и въ настоящемъ случаѣ оказывается, что епископъ даетъ странѣ этику, раввинъ оспариваетъ правильность нѣкоторыхъ частностей ея, а другой епископъ (Монрадъ) трактуетъ о ея политическихъ элементахъ. Изъ этого заколдованнаго круга, епископъ-раввинъ-епископъ, народъ, привыкшій, по примѣру среднихъ вѣковъ, предоставлять своимъ священникамъ мыслить за себя, не въ состояніи выбраться.

Въ Германіи клерикальная печать имѣетъ свое узкое поле дѣятельности, на которомъ и рѣшаетъ всѣ свои домашніе споры; все же, что появляется изъ клерикальныхъ лагерей, не читается болѣе или менѣе образованной публикой и не причисляется вообще къ литературѣ. Ни одинъ мало-мальски выдающійся органъ нѣмецкой печати не помѣщаетъ такихъ статей. Начиная съ „Deutsche Rundschau“ и кончая „Gartenlaube“, клерикальный оттѣнокъ не терпится нигдѣ и вся ежедневная печать слѣдуетъ, за исключеніемъ оффиціальныхъ и клерикальныхъ органовъ, тому же принципу.

Слѣдствіемъ этого является то, что всѣ великія сраженія изъза идей происходятъ на почвѣ общечеловѣческаго права, безъ малѣйшаго вниманія къ тому, какъ смотрятъ на это церковные авторитеты, безъ опасенія разногласій или несогласій съ ними, безъ преклоненія передъ ними и обыкновенно не вдаваясь въ полемику съ ними.

То же самое происходитъ и въ принципіальныхъ спорахъ на почвѣ этики и философіи. Ни та, ни другая сторона, т.-е. независимо отъ того, представляетъ ли она оптимизмъ и пессимизмъ, или спиритуализмъ, или реализмъ, не имѣетъ ни малѣйшаго отношенія къ ортодоксальной теологіи и ни мало не сообразуется въ своихъ спорахъ съ ея мнѣніями. Если Дюрингъ горячо нападаетъ на взгляды Шопенгауера или Гартмана о бѣдственности жизни, то онъ столь же далекъ отъ клерикализма какъ и они. Онъ защищаетъ довольство жизнью, но отвергаетъ въ то же время существованіе загробной жизни. Тѣмъ же характеромъ отличаются и научные споры Вирхова съ Геккелемъ, причемъ чуждые дѣлу науки авторитеты оставляются совершенно въ сторонѣ.

Новый трудъ Гартмана, въ 870 слишкомъ страницъ, напи-

санный яснымъ и легкимъ языкомъ, представляетъ собою попытку къ разрѣшенію одного изъ философскихъ споровъ нашего вѣка. Написавъ его съ научной цѣлью, авторъ, увлекаясь успѣхомъ перваго своего произведенія и желая остаться въ связи съ умственной жизнью дня и минуты, придалъ новому труду своему нѣсколько фельетонный характеръ, стараясь соединить въ немъ серьезность капитальнаго философскаго труда съ занимательностью брошюры (чудовищной по размѣрамъ); съ этой цѣлью онъ пытается пояснить нѣкоторые изъ разбираемыхъ имъ основныхъ принциповъ, примѣрами изъ жизни въ видѣ хорошо извѣстныхъ религіозныхъ и политическихъ явленій въ родѣ іезуитства и соціаль-демократіи. Этимъ усиливается непосредственное впечатлѣніе его сочиненія, въ ущербъ постоянному. Не могу сказать, чтобы смѣсь эта мнѣ особенно нравилась, къ тому же я рѣшительно не согласенъ съ авторомъ на счетъ его основныхъ взглядовъ.

Какъ извѣстно, англійскій моралистъ и философъ права, Бентамъ, имѣвшій огромное вліяніе на политическіе взгляды въ различныхъ странахъ Европы въ концѣ прошлаго столѣтія и началѣ нынѣшняго, выставилъ нравственной цѣлью жизни: возможно большее счастье для возможно бо́льшаго числа людей. Дѣйствовать съ этой цѣлью онъ называетъ приносить пользу, и подъ именемъ ученія о пользѣ эта теорія нашла себѣ приверженцевъ и враговъ во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ,—приверженцевъ въ лицѣ людей, жаждавшихъ реформъ, принявшихъ съ теченіемъ времени названіе либераловъ; враговъ — среди людей съ болѣе тонкимъ развитіемъ, которымъ слово „польза“ казалось слишкомъ грубымъ; среди поэтовъ, для которыхъ оно звучало слишкомъ прозаично, и особенно среди романтиковъ, для которыхъ ученіе это пахло демократіей и ненавистью къ прекрасному, подъ которымъ они прежде всего разумѣли древность или во всякомъ случаѣ прекрасное въ древности.

Либералы, которые, какъ мы уже сказали, считали себя призванными обезпечить возможно большее счастье возможно большему числу людей, и, съ теченіемъ времени, приняли во многихъ странахъ названіе прогрессистовъ, исходятъ изъ той точки зрѣнія, что, трудясь для счастія массъ, они трудятся на пользу культурнаго прогресса, и наоборотъ. Прогрессисты смотрятъ на эти два выраженія просто какъ на синонимы. Несоотвѣтственность этихъ двухъ понятій другъ другу есть однако истина, которую не возможно было долго скрывать, и намеки на которую мы постоянно слышимъ въ частной жизни. Кто не слышалъ, или не дѣлалъ самъ многозначительныхъ замѣчаній, что простому человѣку не

слѣдуетъ открывать тѣхъ или другихъ культурныхъ истинъ, чтобы не сдѣлать его несчастнымъ, или что современныя научныя истины нельзя проповѣдывать съ площади, потому что народъ, которому тяжело и безъ того въ жизни, долженъ остаться при своихъ понятіяхъ и т. д. Эти доводы приводятся постоянно въ стереотипномъ порядкѣ и особенно часто въ странахъ съ католическимъ и протестантскимъ населеніемъ, приводятся даже политическими дѣятелями либеральнаго направленія, когда начинается рѣчь о популяризированіи современной религіозной науки и критики религій. Если разобраться здѣсь поглубже, то за каждымъ изъ этихъ доводовъ лежитъ предположеніе, что, содѣйствуя во что бы то ни стало культурному прогрессу, мы лишаемъ народъ все большаго и большаго счастія въ жизни, и наоборотъ, если мы хотимъ содѣйствовать, во что бы ни стало, счастью народа, то должны такимъ же образомъ принести въ жертву культурный прогрессъ.

Рознь между этими двумя конечными цѣлями либерализма стала особенно рѣзкой со времени возникновенія соціаль-демократіи. Соціалисты начали громко проповѣдывать счастье массѣ, отзываясь по временамъ пренебрежительно о культурномъ прогрессѣ. Невольнымъ слѣдствіемъ этого явилось то, что либералы стали особенно сильно настаивать на необходимости культурнаго прогресса („которому грозятъ современные гунны и вандалы“) и отодвинули въ то же время заботу о счастьѣ массъ на задній планъ.

Что здѣсь долженъ возникнуть принципіальный споръ, что можетъ наступить необходимость взять за принципъ или культурный прогрессъ или, напротивъ, „возможно большее счастіе для возможно большаго числа людей“, это совершенно не приходило въ голову ни либераламъ, ни соціалистамъ. Несмотря на всю рознь между ними, ихъ соединяетъ, тѣмъ не менѣе, одна и та же общая почва, и я съ своей стороны долженъ сказать, что въ этомъ отношеніи они глубоко правы.

Противъ этого-то убѣжденія и возсталъ теперь энергично Гартманъ. Соціаль-демократія, говоритъ онъ, необходимое и логическое слѣдствіе либерализма. Ученіе о возможно большемъ счастіи для возможно большаго числа людей должно было естественнымъ образомъ повести къ возникновенію разрушительныхъ теорій соціализма. Какая иронія судьбы надъ либерализмомъ англичанъ, что именно онъ породилъ ученіе, которое, будучи примѣнено въ жизни, повело къ образованію партіи, которая старается теперь нанести пораженіе своему же родителю—либерализму. Но

хотя соціалисты настолько послѣдовательны, что, признавая общій съ либералами девизъ, признаютъ за собой и отвѣтственность за свою дѣятельность въ этомъ направленіи, но они глубоко непослѣдовательны въ томъ отношеніи, что могутъ еще мечтать о совмѣстимости культурнаго прогресса съ стремленіями ихъ обезпечить счастье народнымъ массамъ. Между тѣмъ это—двѣ вещи, діаметрально противоположныя другъ другу. Всякая культура во всѣ времена, утвердилась и утверждается на меньшинствѣ, которое, по общему закону дифференцировки, должно становиться все меньшей и меньшей частью народныхъ массъ. Вмѣстѣ съ прогрессомъ въ культурѣ увеличивается и разница между культурнымъ уровнемъ счастливаго меньшинства и уровнемъ массъ, между тѣмъ какъ уменьшеніе этой разницы есть несомнѣнный признакъ паденія культуры. Упраздненіе этого меньшинства равносильно уничтоженію единственнаго носителя, единственнаго рычага культуры. Соціаль-демократія, стремясь къ все большему и большему равенству въ этомъ отношеніи, трудится, такимъ образомъ, надъ уничтоженіемъ культуры.

Чтобы не прервать хода мыслей Гартмана, я воздержусь пока отъ всякихъ возраженій. Только оптимизмъ, говоритъ онъ, тѣшитъ себя иллюзіями, что прогрессъ въ культурѣ, какъ таковой, приноситъ счастіе народу; пессимизмъ, прозрѣвшій ихъ, знаетъ, что увеличеніе культуры влечетъ за собой увеличеніе бѣдственности жизни. Чтобы доставить счастіе массамъ, надо стремиться къ отупѣнію ихъ и къ поддержкѣ ихъ прозябательной жизни.

Какъ ни тупы вообще народныя массы, сами по себѣ, но онѣ совершенно вѣрно сознаютъ, что люди просвѣщенія и прогресса, освободивъ ихъ, напр., отъ опеки іезуитовъ, отнимутъ у нихъ счастье и покой въ жизни. Достаточно сравнить съ этой цѣлью внутреннюю жизнь любого современнаго центра цивилизаціи съ такой же жизнью какой-нибудь тихой ультрамонтанской деревни. Тамъ кипитъ жесточайшій раздоръ, неумолкаемый ропотъ недовольства, всюду горчайшее озлобленіе на бѣдность и недостатки жизни; тутъ царитъ тихое покорство судьбѣ, терпѣливое перенесеніе бѣдъ и несчастій, какъ ниспосылаемыхъ Богомъ, и здоровое непосредственное наслажденіе самыми низменными и грубыми удовольствіями. Какъ завидно созерцательное спокойствіе физіономіи быка, и какъ отлично съумѣло іезуитство придать народамъ, при помощи могущественнѣйшаго своего орудія, духовенства, оттѣнокъ поразительнаго сходства съ упомянутымъ жвачнымъ животнымъ! Какъ безумны и безсмысленны, съ точки зрѣнія этихъ теорій о счастьѣ, негодующія фразы о развращенности

духовенства и невѣжествѣ населенія этихъ клерикальныхъ областей, если только подумать, какъ сладко живется этимъ людямъ въ ихъ невѣжествѣ и какъ счастливы они, если могутъ служить орудіями презрѣннаго разврата собственнаго духовенства.

Съ тонкимъ критическимъ чутьемъ Гартманъ выхватываетъ мѣсто изъ книги для чтенія для рабочихъ („Arbeiterlesebuch“) Лассаля, гдѣ противорѣчіе между ученіемъ о счастьѣ и принципомъ прогресса кажется ему бьющимъ особенно сильно въ глаза, и анализируетъ отдѣльныя части цитатъ. Въ рѣчи, произнесенной Лассалемъ въ 1863 году во Франкфуртѣ на Майнѣ и запрещенной къ продажѣ на этихъ дняхъ, есть слѣдующее мѣсто: „Вы, нѣмецкіе работники, удивительные люди! Французскимъ и англійскимъ рабочимъ надо объяснять, какъ помочь ихъ печальному положенію; вамъ же приходится прежде всего доказывать, что вы дѣйствительно несчастны. Пока у васъ есть кусокъ скверной колбасы и кружка пива, вы не хотите вовсе замѣчать и знать, чего вамъ недостаетъ въ жизни. Но это происходитъ, опять-таки, отъ вашего проклятаго недостатка потребностей. Какъ, скажете вы, недостатокъ потребностей,—развѣ это не добродѣтель? Да, безъ сомнѣнія, это добродѣтель для христіанскаго монаха или индійскаго факира, но историку и политику-эконому нужны иныя добродѣтели. Спросите любого политико-экономa, что́ есть величайшее несчастіе для народа; и онъ вамъ скажетъ: это не имѣть вовсе потребностей; однѣ только потребности и способны двигать впередъ развитіе и культуру“. Отсталость въ культурномъ отношеніи и верхъ бѣдствій смѣшиваются здѣсь, безъ дальнѣйшихъ различій, какъ нѣчто равнозначущее, хотя, удивительно, какъ Лассаля самого не поразило такое противорѣчіе, что, по его же словамъ, все несчастіе здѣсь въ томъ, что рабочій не чувствуетъ недостатковъ жизни, не несчастенъ.

Пессимисту не трудно извлечь пользу для себя изъ такой небрежности выраженій; ему это какъ разъ на руку и даетъ поводъ къ новымъ варіяціямъ на тэму рѣшительной розни между двумя конечными цѣлями либерализма: счастьемъ массъ и культурнымъ прогрессомъ, что здѣсь необходимо рѣшиться разъ навсегда на выборъ того или другого принципа, и что, выбирая первое, человѣкъ неизбѣжно долженъ стремиться къ животному и низменному прозябанію, оставляя въ сторонѣ всякую мысль о культурныхъ цѣляхъ, и что, наоборотъ, при выборѣ второго, онъ долженъ быть впередъ увѣренъ, что всякій шагъ впередъ въ смыслѣ культуры влечетъ за собой новыя жертвы и новыя бѣдствія. Еслибы, говоритъ Гартманъ, принципъ наибольшаго сча-

стія для наибольшаго числа людей былъ дѣйствительно рѣшающимъ нравственнымъ принципомъ, тогда содѣйствовать всеобщему отупѣнію, распространять радужныя надежды, было бы нравственной обязанностью каждаго изъ насъ, между тѣмъ, какъ содѣйствіе цѣлямъ просвѣщенія было бы величайшимъ преступленіемъ на свѣтѣ. Чтобы дать просторъ иллюзіямъ и радужнымъ надеждамъ, слѣдовало бы тогда противодѣйствовать энергическими предупредительными и полицейскими мѣрами всякой свободѣ мысли и свободѣ ученія. Къ этому заключенію, по его словамъ, должны съ теченіемъ времени придти вполнѣ логическимъ путемъ и сами соціаль-демократы; затѣмъ онъ бросается въ противоположную сторону и утверждаетъ, что высшая обязанность человѣка содѣйствовать культурному прогрессу и что, ради этого, не слѣдуетъ останавливаться ни передъ чѣмъ, что здѣсь не должно быть мѣста опасеніямъ принести вредъ народу, опасеніямъ, возникающимъ всегда передъ такими могущественными двигателями цивилизаціи, какъ война и другіе насильственные культурные перевороты.

Какъ видно изъ этого, основаніемъ такого взгляда служитъ убѣжденіе, что необразованные люди и невѣжды счастливѣе всѣхъ на свѣтѣ и что культура, какъ таковая, только увеличиваетъ страданія жизни. Стюартъ Милль предвидѣлъ въ своемъ философскомъ трудѣ, гдѣ онъ выставилъ принципомъ счастье народныхъ массъ, возможность такого взгляда и возражаетъ на это слѣдующими словами: „Лучше быть неудовлетвореннымъ человѣкомъ, чѣмъ довольной свиньей, лучше быть неудовлетвореннымъ Сократомъ, чѣмъ самодовольнымъ дуракомъ. Если дуракъ и свинья убѣждены въ обратномъ, то это происходитъ только отъ того, что они видятъ исключительно одну сторону вопроса, между тѣмъ какъ противникамъ ихъ видны обѣ“. Стюартъ Милль обходитъ здѣсь нѣсколько суть дѣла, такъ какъ вопросъ заключается не въ томъ: лучше ли быть (въ нравственномъ смыслѣ) неудовлетвореннымъ Сократомъ или самодовольной свиньей, но въ томъ, кто счастливѣе, Сократъ или свинья. Я не думаю, однако, чтобы Милль не нашелъ отвѣта, еслибы вопросъ этотъ былъ предложенъ даже въ такой прямой формѣ, какъ сейчасъ. Сократъ счастливѣе, безъ сомнѣнія, счастливѣе даже съ кубкомъ яда въ рукѣ. Его преслѣдовало несчастіе, но онъ не былъ несчастенъ, твердость души никогда не покидала его. Есть доля правды въ парадоксѣ стоиковъ: мудрецъ счастливъ даже на кострѣ, счастливъ даже, когда его пожираетъ пламя. Янъ Гусъ не былъ несчастенъ, восклицая на кострѣ: „Sancta simplicitas!“ Во сколько

же разъ счастливѣе долженъ быть развитой и образованный человѣкъ, благодаря своему развитію и образованію?

Гартманъ совершаетъ коренную ошибку въ своемъ воззрѣніи на счастье. Онъ смѣшиваетъ счастье съ спокойствіемъ прозябанія, между тѣмъ какъ для довольства человѣка необходимы два элемента: спокойствіе и впечатлѣніе. Счастіе заключается для различныхъ людей, смотря по темпераменту ихъ, главнымъ образомъ или въ спокойствіи, или въ обиліи впечатлѣній. Одни довольствуются малымъ количествомъ впечатлѣній, малымъ количествомъ ощущеній, если только при этомъ не нарушается особенно рѣзко ихъ покой, между тѣмъ какъ другіе могутъ примиряться даже со многими несчастіями и страданіями въ жизни, лишь бы они могли испытывать возможно болѣе впечатлѣній въ жизни. И тѣ, и другіе нуждаются, однако, для дѣйствительнаго счастія въ обоихъ элементахъ, и отождествлять счастіе съ прозябаніемъ совершенно невозможно.

Вотъ причина, почему прогрессъ въ культурѣ не удаляетъ насъ, какъ говоритъ Гартманъ, все далѣе и далѣе отъ счастія. Совершенно справедливо, что культурный прогрессъ часто сталкивается на пути своемъ съ благосостояніемъ индивидуумовъ и даже уничтожаетъ его, но конечная цѣль его все-таки общее благо. Образованный человѣкъ, какъ болѣе развитой, не только воспріимчивѣе необразованнаго къ страданіямъ и мукамъ жизни, но воспріимчивѣе въ то же время и къ благамъ ея. Образованный человѣкъ, такимъ образомъ, въ одно и то же время гораздо счастливѣе и гораздо несчастнѣе необразованнаго. Счастіе, которое онъ знаетъ и которымъ онъ пользуется, счастіе болѣе высокаго рода. Изреченіе Бентама имѣло въ виду не только счастіе, но и возможно большее счастіе. Счастіе, напр., которое даруетъ намъ познаніе истины, такъ велико само по себѣ, такъ сильно и глубоко, что то, которое могутъ дать намъ иллюзіи, блѣднѣетъ передъ нимъ, и съ этой точки зрѣнія оно—не болѣе какъ плохое, презрѣнное счастіе, котораго мы стыдимся совершенно также, какъ стыдимся презрительной и унизительной страсти. Мнѣ скажутъ: истина очень часто горька. Я могу только отвѣтить: познаніе даже самой горькой истины даруетъ намъ все-таки покой.

Отмѣтимъ еще слѣдующій фактъ, интересный для сравнительной психологіи: если пессимизмъ вылился въ теорію трудами въ лицѣ Шопенгауера и Гартмана, то этимъ мы обязаны исключительно Германіи. Въ лирической формѣ онъ давно уже звучалъ въ строкахъ несчастнаго итальянскаго поэта Леопарди, но странно, что этотъ взглядъ на жизнь не имѣетъ представителей въ нѣмец-

кой изящной литературѣ,—представителей, достойныхъ вниманія по крайней мѣрѣ.

Современной Германіи недостаетъ молодыхъ поэтическихъ силъ въ этомъ направленіи; по крайней мѣрѣ во всемъ, что появилось до сихъ поръ, нѣтъ и слѣда пессимизма. Наоборотъ, современная Франція, какъ Франція Наполеона, такъ и республики, настоящая родина пессимизма. Если понимать подъ пессимизмомъ полнѣйшее разочарованіе, печальный взглядъ на жизнь, частое и сильное сомнѣніе въ томъ: есть ли жизнь благо,—то современная французская литература отличается наиболѣе пессимизмомъ въ Европѣ. Вся литература во время имперіи носила на себѣ оттѣнокъ пессимизма; холодный пессимизмъ замѣтенъ у Мериме; Бальзакъ далеко не чуждъ его; всѣ сочиненія Леконтъ-Лелиля полны пессимизма. О Готье и Эрнестѣ Фейдо нельзя не сказать того же самаго. Сколько пессимизма, напримѣръ, въ книгѣ Тэна: „Notes sur Paris!“ Лирическія произведенія Боделэра —сплошной сплинъ, сплошное отчаяніе; въ произведеніяхъ Флобера „L'education sentimentale“, и „Salammbo“, или въ „Charles Demailly“, „La fille Elisa“ Гонкура замѣченъ основной взглядъ пессимистовъ, что печаль есть нѣчто положительное, а чувство радости—отрицательное, что радость только временное избавленіе отъ печали и бѣдствія, которое начинаетъ тяготить насъ, переходя въ скуку, какъ только умолкаетъ на долго печаль. Да, можно сказать безъ преувеличенія, что писатели, подобные только-что названнымъ, проникнуты гораздо глубже, и совершенно иначе, чувствомъ пресыщенія въ жизни, чѣмъ Шопенгауеръ или Эдуардъ Гартманъ. Какая глубокая меланхолія въ произведеніяхъ новѣйшихъ писателей: Додэ въ „Jacques“ и „Le Nabab“, и Эмиля Зола въ классическомъ „L'assommoir“. Даже болѣе юные, какъ Гюи-де-Мопассанъ и Ришпэнъ, не смотря на всю любовь къ жизни, пессимисты по системѣ, по убѣжденію. Да, можно даже сказать, пессимизмъ—ихъ единственная религія также, какъ и предметъ высшей моды во Франціи.

Страны остались вѣрны своему призванію. Германія создала пессимизмъ теоретическій, Франція перенесла его на реальную литературную почву. Болѣе счастливымъ временамъ, чѣмъ наши, суждено, повидимому, провозгласить вновь: Memento vivere, Гёте, изъ его извѣстнаго „Sendschreiben“.

Г.

МОЯ ЖЕНИТЬБА

Записки В. И. Матвѣева.

Человѣку свойственно желать оставить по себѣ слѣдъ въ потомствѣ. Сезострисы достигали этого, сооружая гранитныя пирамиды; Тамерланы, за неимѣніемъ подъ рукою гранита, строили ихъ изъ человѣческихъ череповъ. Я буду скромнѣе и въ назиданіе историкамъ и моралистамъ будущаго вѣка оставлю эти воспоминанія, въ которыхъ повѣствуется о томъ, какъ я женился и что изъ этого вышло. Тревожитъ меня одно: зовутъ меня Василій Ивановичъ Матвѣевъ и я боюсь, что потомство смѣшаетъ меня съ тысячью тысячъ Матвѣевыхъ, обитающихъ на Руси,—я лично знаю ихъ до полусотни. Но que faire? Есть три вещи, отреченіе отъ которыхъ я считаю неблаговиднымъ: собственная физіономія, имя и вѣра, въ которой родился. Въ воспоминаніяхъ, писанныхъ для потомства,—паспортовъ не требуется,—мнѣ легко было бы выдать себя за какого-нибудь Санъ-Эсперато или Бенъ-Фриволіо, но по указанной причинѣ остаюсь Матвѣевымъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ я буду касаться постороннихъ лицъ и обстоятельствъ лишь настолько, насколько это нужно для поясненія непосредственнаго сюжета моего разсказа. Ввожу моихъ читателей (будущаго столѣтія) такъ сказать in medias res.

I.

Года четыре спустя по окончаніи университетскаго курса, которые провелъ въ Москвѣ, давая уроки и кое-что пописывая, я былъ назначенъ учителемъ въ Гайскъ, одинъ изъ сѣверныхъ при-

волжскихъ губернскихъ городовъ. Отчасти мнѣ грустно было разстаться съ привольною московскою жизнью, отчасти я былъ этому радъ: кружки in der Stadt Moskau начинали мнѣ надоѣдать и я былъ не прочь отъ фразы окунуться въ дѣйствительную жизнь. При томъ Гайскъ, какъ ясно было изъ газетъ, высоко держалъ знамя просвѣщеннаго либерализма. Знамя это, какъ извѣстно, составляетъ исконную принадлежность нашего отечества, всѣхъ его мѣстностей, сословій и вѣдомствъ. Но владѣютъ этимъ знаменемъ мѣстности, сословія и вѣдомства не одновременно, а преемственно, передавая его другъ другу. Такъ нѣкогда это знамя развѣвалось надъ военнымъ вѣдомствомъ, позднѣе надъ морскимъ. Было время, когда имъ на всю Россію потрясалъ одинъ изъ откупщиковъ и только по уничтоженіи откуповъ сдалъ его въ акцизное вѣдомство, отъ котораго позднѣе оно перешло къ адвокатамъ, а отъ нихъ по прямой преемственности къ опереточнымъ пѣвицамъ. Куда оно двинется дальше и двинется ли—покажетъ исторія. Начало моего повѣствованія относится къ тому времени, когда оперетка еще не была изобрѣтена и представителями просвѣщеннаго либерализма въ Россіи были именно акцизные чиновники, а ими-то и славился Гайскъ. Сверхъ того Гайскъ былъ не лишенъ историческихъ воспоминаній и я зналъ изъ учебника географіи, что на площади его красуется монументъ, если и не очень изящный по виду, за то справедливо льстившій патріотической гордости гайцевъ. Словомъ, я долженъ былъ считать себя очень счастливымъ, что попадаю въ Гайскъ, а не въ другой городъ обширной русской имперіи. Во избѣжаніе недоразумѣній замѣчу, что и другіе города обладали несомнѣнно и акцизными чиновниками, и историческими воспоминаніями, и патріотизмомъ, но не въ такой степени, какъ Гайскъ, по крайней мѣрѣ, не на столько рельефно и общепризнанно.

Пріѣхалъ я въ Гайскъ по Волгѣ на пароходѣ. Издали городъ показался мнѣ очень красивъ. Онъ, главнымъ образомъ, былъ расположенъ на возвышеніи, незамѣтно спускавшемся къ Волгѣ. Большіе бѣлые дома, нѣсколько церквей, окружающія городъ темныя сосновыя и еловыя рощи, изъ нѣдръ которыхъ блестѣли золоченныя главы историческихъ монастырей,—все это было очень живописно. А тутъ у города широко разлившаяся Волга съ снующими по ней пароходами и лѣсомъ мачтъ у пристани придавали картинѣ, освѣщаемой іюльскимъ солнцемъ, видъ приволья и дѣятельности, радовавшихъ душу. Въѣхалъ я въ Гайскъ съ свѣтлымъ чувствомъ, но увы! оно продолжалось недолго и вскорѣ я испыталъ на себѣ вліяніе бича, отравляющаго жизнь въ провинціаль-

номъ городѣ: вліяніе убійственной скуки. Не то, чтобы гайскіе акцизные чиновники оказались ниже своей репутаціи. Напротивъ, въ благородствѣ осанки и манеръ съ ними могъ поспорить развѣ самый степенный членъ англійскаго парламента или самый представительный дворецкій какого-нибудь вельможи прошедшаго времени. Но въ сознаніи собственнаго превосходства они держались тѣснымъ кружкомъ, ни съ кѣмъ не дѣлясь сокровищами ума и сердца; обществу отъ нихъ, какъ отъ козла, не было ни шерсти, ни молока. Впрочемъ, подлежало еще сомнѣнію, было ли общество въ Гайскѣ. Были отдѣльные небольшіе кружки изъ лицъ, связанныхъ между собою интересами служебными, дѣловыми, клубными и клубничными, но изъ нихъ не составлялось общества за отсутствіемъ сколько-нибудь общихъ интересовъ. Нужно принять во вниманіе, что и пора была самая глухая съ нѣкоторымъ преобладаніемъ реакціонныхъ поползновеній. Великое дѣло освобожденія крестьянъ въ главномъ уже совершилось и начинало отходить въ область исторіи; другія важныя реформы: судебная, земская, учебная, контрольная и пр. только готовились; афера и гешефтъ еще не сдѣлались всероссійскимъ вожделѣніемъ. Гайскъ скучалъ. Въ наиболѣе развитыхъ его кружкахъ, если таковые по какому-нибудь случаю были въ сборѣ, царствовало молчаніе. Только послѣ продолжительной паузы наиболѣе мыслящій субъектъ, ударяя сосѣда по колѣну, говорилъ: такъ-то, любезный Василій Ивановичъ или Василій Семеновичъ, и затѣмъ кружокъ переходилъ или къ закускѣ съ наливками, или къ зеленому столу. Чтобы возстановить въ Гайскѣ біеніе пульса общественной жизни, нуженъ былъ какой-нибудь общій всепоглощающій интересъ. Къ счастію Гайска такой интересъ былъ найденъ. Это былъ театръ. Въ Гайскѣ оказалось весьма порядочное театральное зданіе. Кѣмъ и какъ оно было выстроено, не знаю, но оно было и красиво, и обширно, и удобно. Дѣло однако не только въ зданіи, но и въ трупѣ, и въ этомъ отношеніи Гайску до сего времени не очень счастливилось. Но именно въ годъ моего пріѣзда по этому предмету были приняты особенныя мѣры: антрепренеромъ приглашенъ извѣстный провинціальный трагикъ и исполнитель русскихъ пѣсней Доливо-Вольскій и ему обѣщана значительная субсидія. Изъ какихъ суммъ была эта субсидія, городскихъ, общественныхъ или казенныхъ, не знаю; очень можетъ быть, и изъ казенныхъ: разсказъ мой относится къ тому золотому въ нѣкоторомъ смыслѣ вѣку, когда у каждаго казеннаго учрежденія былъ свой сундукъ, которымъ оно могло распоряжаться по усмотрѣнію. Какъ бы то ни было, субсидія была обѣщана и впослѣдствіи своевременно выдана. До-

ливо-Вольскій въ свою очередь обязался составить не только вполнѣ удовлетворительную драматическую труппу, но и имѣть для дивертиссемента подобіе балета, которымъ въ то время, по невѣденію оперетки, должны были довольствоваться любители пріятныхъ ощущеній.

Спектакли должны были открыться во второй половинѣ сентября, но повсемѣстные оживленные толки о театрѣ начались уже въ концѣ августа. Воспитанный на московскомъ театрѣ его лучшей поры, съ такими артистками, какъ Щепкинъ, Васильевъ, Шумскій, Самаринъ, Живокини, Васильева, Косицкая и др., я принялъ въ этихъ толкахъ дѣятельное участіе; недаромъ я и въ Москвѣ пописывалъ въ газетахъ театральныя рецензіи. Но

„Тутъ и таилась погибель моя".

Косвеннымъ виновникомъ моихъ грядущихъ злоключеній оказался Вите... Я забылъ сказать, что Гайскъ, въ числѣ другихъ городовъ, не южнѣе 55-го градуса сѣверной широты, служилъ мѣстомъ отдохновенія для тѣхъ, кому признано было полезнымъ отдохнуть. Въ числѣ такихъ лицъ въ Гайскѣ я засталъ Вите. Не смотря на свою басурманскую фамилію, онъ былъ чисто русскій и служилъ прежде учителемъ русской словесности въ одной изъ петербургскихъ гимназій. Теперь въ Гайскѣ онъ числился чиновникомъ губернскаго правленія и состоялъ редакторомъ неоффиціальной части мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостей. Я съ нимъ познакомился тотчасъ по пріѣздѣ и мы часто видѣлись. Разъ, во время моихъ разглагольствованій о театрѣ, Вите молча и какъ-то особенно серьезно слушалъ меня и, наконецъ, съ довольнымъ видомъ потеръ руки.

— Эврика! — провозгласилъ онъ.—Я все ломалъ голову, кто мнѣ будетъ писать театральныя рецензіи. Не отвертитесь.

Я скромно протестовалъ.

— Ладно. Тамъ увидимъ; успѣемъ еще поговорить; не сейчасъ.

Между тѣмъ о формирующейся въ Москвѣ труппѣ получались болѣе и болѣе полныя извѣстія. Доливо-Вольскій два раза лично на самое короткое время пріѣзжалъ въ Гайскъ и получалъ продолжительныя аудіенціи у губернатора, числившагося главою кружка любителей театра. Нѣкоторые сценическіе корифеи, съ которыми велъ антрепренеръ переговоры, также пріѣзжали на день взглянуть на городъ и на театръ, пріискивали себѣ квартиру и уѣзжали вновь, съ тѣмъ, чтобы, какъ и прилично корифеямъ, прибыть потомъ послѣдними. Въ началѣ сентября стали прибывать актеры уже на постоянное жительство и о прибытіи ихъ молва тотчасъ же разносила вѣсть по городу. Прибылъ съ

семьей извѣстный въ приволжскомъ краѣ артистъ на серьезныя комическія роли Русаковъ, комикъ Жуковъ съ женою балериной, нѣсколько второстепенныхъ актеровъ и актрисъ, въ числѣ которыхъ молва называла двухъ сестеръ-красавицъ Ривановыхъ, пріѣхавшихъ съ матерью. Въ одинъ день, придя къ часу прибытія парохода на пристань, одно изъ любимыхъ мѣстъ прогулки гайцевъ, я былъ обрадованъ встрѣчей съ старымъ моимъ знакомцемъ Увальцевымъ (по шерсткѣ кличка), который тутъ же представилъ меня весьма симпатичной женщинѣ, своей женѣ.

— Варя не въ составѣ труппы; она пріѣхала только затѣмъ, чтобы посмотрѣть, какъ муженекъ ея будетъ ломаться. Очень радъ, что васъ встрѣтилъ. Гайскъ-то городъ ой, ой, ой! Говорятъ, если тутъ и найдешь порядочнаго человѣка, такъ и тотъ въ концѣ концовъ, по выраженію Сабакевича, окажется свинья.

— Тише,—толкнула его жена:—могутъ услышать; видишь, сколько публики.

— А пусть ихъ слышатъ; не дѣтей намъ съ ними крестить.

Увальцевъ былъ оригиналъ. Онъ служилъ въ военной службѣ, былъ ужъ штабсъ-капитанъ артиллеріи, но по страсти къ театру вышелъ въ отставку съ тѣмъ, чтобы дебютировать на московской сценѣ и дебютировалъ довольно успѣшно; но для него пока тамъ не оказалось мѣста; въ ожиданіи онъ игралъ на провинціальныхъ театрахъ.

— Ну, до зобаченья,—промолвилъ онъ:—давайте вашъ адрессъ и мы не замедлимъ къ вамъ явиться.

У Увальцевыхъ черезъ нѣсколько дней я познакомился съ Ривановыми. Обѣ онѣ были прехорошенькія; впрочемъ по отношенію къ старшей, Любови Васильевнѣ, сказать это было мало. Ей было приблизительно 23, 24 года. Выразительное и миловидное круглое лицо съ правильными чертами, большіе глубокіе темнокаріе глаза подъ тонкими бровями, густые темные волосы, стройный, развитой станъ—давали ей полное право на названіе красавицы. Во всякомъ случаѣ это была прелестная женщина. Держала она себя свободно, была разговорчива, при томъ по всему видно было, что она получила порядочное воспитаніе. Меня однако привлекла особенно не она, а сестра ея, представлявшая съ ней совершенную противуположность. Любовь Васильевна была вполнѣ развившаяся женщина, Ольга являлась едва сформировавшейся молодой дѣвушкой, казавшейся гораздо моложе своихъ девятнадцати лѣтъ. Свѣтлая блондинка, высокая, стройная съ продолговатымъ лицомъ матовой бѣлизны, съ небольшими сѣрыми глазами, смотрѣвшими неопредѣленно куда-то вдаль, она

точно была полна какой-то загадки. Молчаливость и немѣнящееся выраженіе лица поддерживали это впечатлѣніе загадочности. Въ продолженіе двухъ часовъ, которые я провелъ съ нею въ первый разъ, она едва сказала нѣсколько словъ, не болѣе двухъ трехъ разъ соблаговолила слегка улыбнуться.

— Вы на какія роли?—спросилъ я старшую Ривanову.

— Кажется, преимущественно на роли театральныхъ гостей, публики и толпы. Я не актриса, не умѣю „торговать то гнѣвомъ, то тоской послушной“. Меня и приглашаютъ только заурядъ съ Олей. Она—дѣйствительно актриса; хорошая или дурная—другой вопросъ, — сами увидите, — но актриса.

— Правду говоритъ о себѣ и о васъ Любовь Васильевна?— обратился я къ младшей Ривановой, желая, наконецъ, услышать ея голосъ.

— Да, она не любитъ театра, а я, что̀ дадутъ, играю какъ умѣю. Да она и не училась этому, училась въ пансіонѣ, а я въ театральной школѣ.

Говорятъ—я самъ забылъ уже—что любовь овладѣваетъ человѣкомъ вдругъ при первой встрѣчѣ. Это, повидимому, случилось и со мною. Образъ Ольги Ривановой крѣпко засѣлъ въ моемъ воображеніи; мнѣ очень хотѣлось снова увидѣть ее; нѣсколько дней къ ряду я заходилъ къ Увальцевымъ, не встрѣчу ли ее, но напрасно, и я съ большимъ нетерпѣніемъ ждалъ открытія спектаклей. Наконецъ, около 15 сентября они начались. Я, разумѣется, не стану подробно говорить о нихъ. Замѣчу только, что труппа дѣйствительно оказалась хорошо составленною. Русаковъ, напримѣръ, въ нѣкоторыхъ роляхъ, какова роль Юсова въ „Доходномъ мѣстѣ“, былъ не только не хуже, но, по моему мнѣнію, даже лучше Садовскаго, если не принимать во вниманіе недостатка, присущаго вообще игрѣ на провинціальныхъ сценахъ. На нихъ повтореніе одной и той же пьесы бываетъ очень рѣдко, чуть не каждый день актерамъ приходится фигурировать въ новыхъ роляхъ, поэтому роли они знаютъ плохо, играютъ „подъ суфлера“ и немилосердно тянутъ рѣчь. Плоха оказалась только примадонна Мальцевская, исполнявшая роли первыхъ любовницъ. Когда-то она была, вѣроятно, и не дурная актриса и не дурна собой; но теперь ей было по меньшей мѣрѣ подъ сорокъ лѣтъ; худа она была какъ Сара Бернаръ. Не мудрено, что игра ея въ роляхъ молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ съ морщинами на лицѣ, которыхъ не могли скрыть даже бѣлила, и съ жилами въ канатъ толщиною на шеѣ, давала мало мѣста иллюзіи и доставляла мало удовольствія зрителямъ. Ольга Ривanова была дѣйствительно та-

лантливой, хотя еще и неопытной актрисой; что касается старшей Ривановой, то на сценѣ, какъ и въ гостиной, она была очень мила и симпатична, но являлась во всѣхъ роляхъ одинакова, съ своимъ собственнымъ характеромъ и обликомъ, а не съ тѣмъ, какой имѣлся въ виду авторомъ.

Въ день перваго представленія утромъ зашелъ ко мнѣ Вите.

— Будете сегодня въ театрѣ?

— Буду.

— То-то же. Не забудьте обѣщанія на счетъ театральныхъ рецензій.

— Я вамъ ничего не обѣщалъ и, право, не хочется, да и некогда.

— Перестаньте. Обѣщали или не обѣщали — это дѣло рѣшенное. Я ужъ и губернатору сказалъ; сегодня въ театрѣ онъ самъ будетъ говорить съ вами объ этомъ. Пожалуйста, не отнѣкивайтесь: не захотите же вы оставить меня въ дуракахъ предъ губернаторомъ. Завтра первая статья должна быть готова: необходимо, чтобы она появилась въ слѣдующемъ номерѣ газеты.

Черезъ три дня статья дѣйствительно появилась. Она была прочитана всѣми и произвела сенсацію. За первой явилась вторая, третья... Словомъ каждый номеръ вѣдомостей—онѣ выходили разъ въ недѣлю — былъ снабженъ театральными фельетонами моего издѣлія, въ которыхъ я не ограничивался рецензіей игры актеровъ, но старался дать нѣчто въ родѣ соціально-литературныхъ этюдовъ. Статьи читались въ городѣ на расхватъ; что касается актеровъ, — въ день появленія вѣдомостей съ ранняго утра они толпились у типографіи, чтобы получить только-что вышедшій изъ-подъ пресса листокъ. Сначала тяготясь нѣсколько этими статьями, я самъ скоро вошелъ во вкусъ: право казнить и миловать, хотя бы только словомъ, очень заманчиво. Я не могъ не замѣчать, что во время спектакля все вниманіе актеровъ сосредоточено на мнѣ; мой аплодисментъ воодушевлялъ ихъ; мое молчаніе ихъ коробило. Я приписывалъ это слишкомъ щекотливому артистическому самолюбію и лишь впослѣдствіи догадался, что дѣло шло не только о самолюбіи, но и о кускѣ хлѣба: отзывы объ игрѣ того или другого актера имѣли вліяніе на условія ангажемента его въ будущій сезонъ. Знай я это—а всѣмъ театральнымъ рецензентамъ не мѣшаетъ принимать это во вниманіе, — я, вѣроятно, уклонился бы отъ щекотливаго положенія рецензента или, по крайней мѣрѣ, велъ дѣло иначе. Но тутъ съ нѣкоторой важностью неофита я возсѣлъ на тронъ эстетики и распредѣлялъ вѣнки и порицанія. Вѣнки принимались какъ долж-

ное; порицанія, даже самыя легкія, выводили изъ себя irritabile genus артистовъ. Собственнымъ опытомъ позналъ я вѣчную близость Тарпейской скалы отъ Капитолія. Хотя всѣмъ было извѣстно, что театральную хронику веду я, но оффиціально я въ этомъ не сознавался; поэтому въ выраженіяхъ на счетъ рецензента въ моемъ присутствіи могли не стѣсняться и я не разъ присутствовалъ при собственной казни. Я забылъ сказать, что въ числѣ моихъ привилегій, какъ рецензента, было право входить за кулисы и даже посѣщать уборныя—артистовъ; посѣщеніе уборныхъ артистокъ въ Гайскѣ, сколько мнѣ извѣстно, не практиковалось.

— Нужно лучше репетировать пьесы,—говорилъ за кулисами Русакову губернаторъ:—а то въ самомъ дѣлѣ несносно: одно и то же слышишь два раза; разъ отъ суфлера, другой разъ отъ актера. Шутка рецензента, чтобы роли такъ ужъ и читалъ суфлеръ, а актеръ только разѣвалъ ротъ, — не лишена ни остроумія, ни основательности.

— Плевать намъ, ваше превосходительство, на рецензентовъ! (косвенный взглядъ въ мою сторону; я стоялъ тутъ же). Знаемъ мы ихъ; для смазливаго личика у нихъ и рецензіи иныя, а нашему брату все Садовскаго въ глаза тычутъ. Да на столичной сценѣ, гдѣ пьеса пятьдесятъ разъ репетируется, да сто разъ въ ряду идетъ, мы, можетъ, и Садовскому не уступили бы. А побудь-ка Садовскій въ нашей кожѣ, да отваляй по десяти ролей въ недѣлю, —посмотрѣли бы мы на него. А намъ все Садовскій, да Садовскій!

— Да все, что̀ вы говорите, указывалось въ рецензіи.

— Указывалось-то оно указывалось, да какъ указывалось: все какъ бы съ загвоздкой въ твоемъ кондуитномъ спискѣ, да съ глумленьемъ: ты, молъ, разѣвай ротъ, да руками махай, а говорить за тебя будетъ другой! Рецензенты, алтынники, погибели на васъ нѣту!

— Однако жъ вы не слишкомъ,—замѣчаетъ губернаторъ раздраженному артисту.

— Не я говорю, ваше превосходительство: сердце говоритъ.

Впрочемъ черезъ два дня тотъ же Русаковъ, прочитавъ, что въ такой-то роли онъ мнѣ понравился больше Садовскаго,—при встрѣчѣ низко кланялся и почтительно жалъ протянутую ему руку.

Больше всѣхъ раздражена была Мальцевская,—противъ публики вообще и противъ меня въ особенности.

— Вы, Богъ знаетъ, что̀ выдѣлываете,—говоритъ ей губернаторъ:—вы топаете ногой на зрителей, плюетесь. Публика не виновата, что вы ей не нравитесь; она не обязана непремѣнно апплодировать вамъ.

— Что же мнѣ дѣлать, если у меня полонъ ротъ слюней,— рѣзко возражаетъ Мальцевская.

— Не знаю, что̀ дѣлать, но и ожесточенно плеваться по адресу зрителей тоже нельзя.

— Слюни глотаются,—говорю я вполголоса губернатору.

— Monsieur Матвѣевъ говоритъ, что слюни глотаются.

— Только monsieur Матвѣевъ и можетъ это сказать; отъ monsieur Матвѣева только это и услышишь!

Я спѣшу уйти подальше отъ разгнѣванной мегеры. Послѣ спектакля въ корридорѣ ко мнѣ подходитъ антрепренеръ Доливо-Вольскій.

— Вы очень обидѣли г-жу Мальцевскую; я самъ не ожидалъ, чтобы вы рѣшились сказать такую вещь женщинѣ.

— Что я сказалъ такое?

— Вы сказали: свиньи глотаютъ.

— Что за нелѣпость. Я сказалъ: слюни глотаются.

— Да, конечно... впрочемъ вотъ и сама г-жа Мальцевская.

— Очень вамъ благодарна, что вы приравняли меня къ свиньямъ.

— Откуда вы это взяли? Я сказалъ слюни, слюни глотаются.

— Все равно, вамъ нечего было вмѣшиваться въ мой разговоръ съ губернаторомъ.

— Monsieur Матвѣевъ,—перебиваетъ ее подлетѣвшая къ намъ водевильная актриса Синцева: — вы совершенно справедливо и чрезвычайно остроумно замѣтили, что я не умна и не пригожа, но забыли прибавить, что я также и несчастлива.

— Я ничего не замѣчалъ, а если вы говорите о статьѣ, то тамъ просто была приведена пословица безъ отнесенія ея на вашъ счетъ.

— Повѣрьте, я не такъ глупа, какъ вамъ кажется, и могу иногда понять, что̀ для чего говорится.

Я озираюсь какъ волкъ, пойманный въ овчарнѣ, и ищу, куда бы мнѣ спастись отъ разъяренныхъ овечекъ.

Были, впрочемъ, сцены тяжеле. Въ числѣ актеровъ былъ комикъ Жуковъ. Когда-то, впрочемъ, вѣроятно очень давно, онъ былъ должно быть актеромъ не безъ дарованія, но потомъ спился. На сценѣ онъ не выговаривалъ ни одного членораздѣльнаго звука, а только мычалъ и неизмѣнно выдѣлывалъ два-три жеста, одни и тѣ же, которые отъ частаго повторенія давно утратили комизмъ. Я сначала кротко увѣщевалъ Жукова, потомъ вознегодовалъ и сталъ обличать. Какъ-то я вошелъ въ уборную jeune premier'а,

гдѣ засталъ нѣсколько другихъ актеровъ, въ томъ числѣ и Жукова, развалившагося на диванѣ.

— У, рецензентъ!—заговорилъ Жуковъ, уставясь въ меня пальцемъ.—Ему бы только строчить, по полъ-копѣйки за строчку (Жуковъ лгалъ безбожно: я получалъ по полторы),—а что онъ сдѣлалъ съ человѣкомъ! Куда я теперь дѣнусь, кто меня возьметъ? Съ голоду околѣвать.

— Вы сами виноваты; вамъ говорили, предупреждали...

— Виноватъ! Предупреждали! Нечего предупреждать, безъ тебя знаютъ. А ты-то что знаешь? Знаешь ли, что получаю-то я тридцать цѣлковыхъ, да жена сорокъ за то, что выплясываетъ въ трико передъ разными прохвостами. Да и то на полгода, а тамъ... Словъ моихъ не слыхалъ! Мычитъ! Теперь слышишь? Печатай же въ газетахъ, что молъ Жуковъ заговорилъ. Туда же, Живокини да Живокини! Да у Живокини домъ свой, а у меня и шинель вѣтромъ подбита, а мнѣ пятьдесятъ съ хвостикомъ. Строчилъ! Что-жъ, и за мой голодъ получилъ небось, если не тридцать серебрениковъ, какъ Іуда, то хоть тридцать полукопѣекъ. Не прогнѣвись, больше не стоишь. И то деньги, на улицѣ не поднимешь.

Послѣ этой сцены я, разумѣется, и словомъ уже не обмолвился о Жуковѣ. Богъ знаетъ, что еще можно было ожидать отъ него въ пьяномъ видѣ. Впрочемъ, это произошло въ самомъ концѣ театральнаго сезона. Все, что я могъ сдѣлать, это похвалить ловкость Жуковой въ танцахъ и даже удачное исполненіе ею какой-то роли, когда ей пришлось замѣнить внезапно заболѣвшую актрису. Встрѣчаться съ Жуковымъ я, однако, избѣгалъ.

Что касается Ривановыхъ, то отзывы мои о нихъ были вообще благопріятны и изрѣдка приправлялись доброжелательными совѣтами. Поставивъ себѣ вообще за правило быть въ рецензіяхъ благосклоннымъ и милостивымъ, кромѣ случаевъ, когда спасительная строгость являлась необходимой, я былъ, разумѣется, особенно снисходителенъ къ такому молодому развивающемуся таланту, какимъ оказывалась Ольга Риванова. А она дѣйствительно была актрисой. Глядя, съ какой непосредственностью и естественностью она передавала роли наивно-безсердечныхъ, неразвитыхъ, часто глупыхъ молодыхъ женщинъ въ комедіяхъ Островскаго, въ родѣ Жадовой или Липочки, я про себя не ограничивался только оцѣнкой артистки: тотъ, кто такъ правдиво можетъ изображать пошлость, тупость и злость, думалось мнѣ, несомнѣнно носитъ въ душѣ твердо укоренившіеся идеалы правды, благости и душевной красоты. Сквозь привлекательную оболочку я прозрѣвалъ въ артисткѣ еще болѣе привлекательныя качества

ума и сердца. Правда, внѣ сцены образъ Ольги какъ-то тускнѣлъ; взоръ ея, одушевленно блестѣвшій на сценѣ, снова получалъ неопредѣленное выраженіе, развязность движеній смѣнялась сдержанностью и даже неловкостью. Но, во-первыхъ, я видѣлъ ее обыкновенно на очень короткое время, во-вторыхъ, нѣкоторая загадочность въ женщинѣ, при другихъ подходящихъ условіяхъ, всегда усиливаетъ страсть мужчины. Я чувствовалъ, что любовь моя къ Ольгѣ растетъ, становилось все сильнѣе и сильнѣе желаніе овладѣть существомъ, въ которомъ, при дѣвственной прелести, мнѣ чудился богатый запасъ нравственныхъ сокровищъ. Что касается чувствъ Ольги ко мнѣ, по ея обращенію я не могъ дѣлать никакихъ заключеній. Если я подходилъ къ ней за кулисами, она подавала мнѣ руку съ вѣжливой и любезной, нѣсколько заученой улыбкой (такъ улыбаться, вѣроятно, учатъ ихъ въ театральной школѣ); на мои вопросы отвѣчала коротко и обыкновенно очень неопредѣленно. Раза два я пытался завести съ ней серьезный разговоръ, напр., о характерѣ изображаемаго ею на сценѣ лица въ той или другой пьесѣ; она слушала меня вѣжливо и, повидимому, очень внимательно, но всегда находила предлогъ прервать разговоръ на половинѣ. Она вдругъ звала проходившихъ мимо актера или актрису.

— Извините, на одну секунду; я сейчасъ возвращусь.

И дѣйствительно, тотчасъ возвращалась, но для того только, чтобы сказать мнѣ съ милой улыбкой:

— Pardon, я должна идти переодѣться.

Нѣсколько разъ мнѣ случилось проводить Ривановыхъ изъ театра; во время пути говорила обыкновенно старшая сестра, Ольга шла молча. Къ себѣ онѣ меня не приглашали, явиться же безъ приглашенія я считалъ неумѣстнымъ, тѣмъ болѣе, что, какъ я слышалъ объ этомъ отъ Увальцева, у нихъ, кромѣ нѣсколькихъ актеровъ, никто не бываетъ. Былъ еще одинъ пунктъ, который мнѣ очень хотѣлось разъяснить: нѣтъ ли какой сердечной привязанности? Съ этимъ вопросомъ, въ весьма тонкой формѣ, я было обратился къ Увальцевымъ, но получилъ отъ него очень неудовлетворительный отвѣтъ.

— Кажется, нѣтъ, а, впрочемъ, бѣсъ ихъ знаетъ. Какое намъ съ Варей до того дѣло, какая кума съ какимъ кумомъ сидѣла. Мы бабьими сплетнями не занимаемся.

Впрочемъ, я зналъ, что у меня есть въ нѣкоторомъ смыслѣ соперникъ. Мнѣ указалъ на него въ театрѣ Вите.

— Вы знаете того господина въ ложѣ?

— Нѣтъ, а что?

— Это—Ювинъ. Я слышалъ, что онъ намѣренъ повести серьезную атаку на младшую Риванову. Вы, кажется, тоже на нее заглядываетесь. Смотрите, такого соперника не одолѣете.

Ювинъ былъ мѣстный помѣщикъ и имѣлъ около Гайска какой-то заводъ, кажется, лѣсопильный. Это былъ человѣкъ лѣтъ за сорокъ съ небольшимъ. По слухамъ, онъ былъ большой аферистъ и очень богатъ. Въ Гайскѣ онъ пользовался репутаціей бельома и завиднаго жениха, но такъ какъ въ продолженіе болѣе нежели десяти лѣтъ онъ благополучно избѣгъ посягательствъ на его свободу со стороны гайскихъ дѣвъ и вдовъ, то прекрасный полъ отзывался о немъ не совсѣмъ одобрительно. Близкое знакомство съ нимъ неизбѣжно повредило бы доброму имени любой дѣвушки или женщины.

Мнѣ онъ не казался, однако, опаснымъ соперникомъ; я считалъ его старикомъ, къ тому же Ольга, когда онъ подходилъ къ ней—онъ тоже сталъ бывать за кулисами—какъ мнѣ казалось, обращалась съ нимъ далеко не такъ любезно, какъ со мною; наконецъ, это не было ни для кого тайной, онъ былъ въ связи съ актрисой Синцевой.

Сойтись ближе съ Ривановыми помогъ мнѣ предстоящій пріѣздъ извѣстнаго трагика негра Ольдриджа, совершавшаго въ это время круговое артистическое путешествіе по Россіи съ своими тремя ролями въ шекспировскихъ драмахъ. Доливо-Вольскій не упустилъ пригласить его и въ Гайскъ. Зайдя разъ утромъ въ воскресенье къ Увальцеву, я засталъ у него болѣе половины труппы въ горячихъ толкахъ по поводу Ольдриджа. Риванова были тутъ же.

— А, Василій Ивановичъ! Очень кстати. Вы должны намъ помочь.

— Въ чемъ?

— Вы знаете, ждемъ Ольдриджа, но вообразите себѣ, не только Джесику и Дездемону, но даже Корделію собирается играть съ нимъ Мальцевская.

— Видите ли, господа, собственно говоря, двуязычные спектакли съ Ольдриджемъ—онъ по-англійски, другіе по-русски — такой фарсъ въ художественномъ отношеніи, что не все ли равно, кто кого будетъ играть: публика будетъ смотрѣть на одного Ольдриджа.

— Ну оно не совсѣмъ такъ. Да главное дѣло не въ эстетикѣ: и теперь уже Мальцевская вертитъ труппой, какъ хочетъ. Поиграетъ она съ Ольдриджемъ и съ ней окончательно сладу не будетъ. Самъ Доливо-Вольскій старался убѣдить ее, но куда тебѣ:

рветъ и мечетъ и, конечно, настоитъ на своемъ. Нѣтъ, пожалуйста, постарайтесь не допустить этого.

— Что-жъ я могу сдѣлать? Да, наконецъ, кто же будетъ играть на нашей сценѣ и Дездемону и Корделію?

— А Ольга Васильевна!

— Согласится ли Ольга Васильевна? эти роли очень трудны; въ нихъ очень строго нужно соблюсти извѣстный тактъ, извѣстную мѣру. Нужна большая опытность.

— Я играла въ Нижнемъ и Дездемону, и Офелію, и публика прекрасно меня принимала.

— Хорошо, поговорю объ этомъ кое-съ-кѣмъ, хотя и не могу ручаться, что̀ выйдетъ изъ моихъ стараній.

Уходъ свой отъ Увальцевыхъ я приладилъ такъ, что мнѣ удалось проводить Ривановыхъ до театра и получить, наконецъ, отъ старшей сестры приглашеніе посѣтить ихъ.

— Мамаша такъ жалѣетъ, что незнакома съ вами; ей очень хотѣлось бы лично поблагодарить васъ за снисходительность, съ которою вы относитесь къ нашей игрѣ.

Я не упустилъ случая воспользоваться приглашеніемъ и дня черезъ три—былъ какой-то праздникъ—явился къ нимъ часу въ двѣнадцатомъ съ визитомъ во фракѣ. Ривановы занимали скудно меблированную квартиру въ три небольшихъ комнаты. Первая комната, въ которой меня приняли и которая, повидимому, служила и гостиной, и столовой, не представляла образцоваго порядка: на ничѣмъ непокрытомъ столѣ стояли пустые чайные стаканы и лежали куски отломаннаго хлѣба; тутъ же были разбросаны тетради и виднѣлась колода картъ, порядкомъ засаленныхъ.

Сестры Ривановы, кажется, только-что встали: онѣ были въ очень простенькихъ блузахъ, съ открытыми шеями и съ волосами, небрежно свернутыми на затылкѣ. Впрочемъ, онѣ, должно быть, привыкли принимать посѣтителей въ такомъ нарядѣ, и мой приходъ не очень смутилъ ихъ, хотя старшая Риванова и сочла нужнымъ извиниться въ небрежности своего и сестрина костюма. Черезъ нѣсколько минутъ явилась Риванова мать. Это была небольшая и худощавая пожилая женщина, съ болѣзненнымъ темнымъ лицомъ, весьма смахивающая на цыганку. Сестры исчезли и вскорѣ вновь явились въ тѣхъ же блузахъ, но уже въ перелинкахъ и рукавчикахъ и съ убранными головами. Мать говорила, между тѣмъ, со мной о Москвѣ, о Гайскѣ и затѣмъ разсыпалась въ благодарности за лестные отзывы въ газетѣ о дочеряхъ.

— Полноте, мамаша,—замѣтила Любовь Васильевна,—послѣ

вашей благодарности Василій Ивановичъ стѣснится, пожалуй, выбранить насъ, если найдетъ нашу игру дурною.

— За что же бранить, если вы того не заслуживаете. Бранить зря въ печати актрису грѣхъ; это значитъ отнимать у нея хлѣбъ.

Я просидѣлъ у Ривановыхъ довольно долго, хотя разговоръ и не былъ особенно разнообразенъ. Преимущественно говорила мать о театральныхъ успѣхахъ дочерей; мнѣ были показаны ленты отъ поднесенныхъ имъ въ Нижнемъ вѣнковъ.

— Олѣ въ ея бенефисъ поднесли золотой браслетъ и серебряный чайный сервизъ, но мы его оставили въ Москвѣ.

— Скажите попросту, мамаша,—смѣясь проговорила старшая Риванова,—заложили въ ломбардѣ, когда нужно было ѣхать сюда.

— Ну что-жъ дѣлать, и заложили. Жизнь-то трудна, немного театромъ заработаешь.

— А постоянно вы въ Москвѣ изволите жить?

— Да, когда нѣтъ ангажемента, въ Москвѣ; туда всѣ актеры въ свободное время съѣзжаются. Да тамъ у меня и домишко есть на курьихъ ножкахъ; все-таки уголъ свой, да и то часто хоть пропадай, еслибы не выручали деньжонки, что́ Люба получаетъ.

— Вы, мамаша, всѣ наши дѣла Василію Ивановичу разболтаете.

— Что скрываться-то? шила въ мѣшкѣ не спрячешь. Что говорить,—жизнь-то не сладкая, вѣкъ маешься, вѣкъ скитаешься изъ мѣста въ мѣсто.

Старуха усиленно вздохнула. Младшая Риванова встала и ушла въ сосѣднюю комнату. Я сталъ разспрашивать Любовь Васильевну о предстоящихъ спектакляхъ и о ея будущихъ роляхъ. Въ это время явился одинъ изъ молодыхъ актеровъ. Онъ вошелъ развязно съ припѣвомъ:

„Вотъ и я, вотъ и я,
Звали чорта вы, друзья".

— Мое нижайшее Любови Васильевнѣ и Марьѣ Семеновнѣ.

Мое присутствіе его не смутило—эти господа не конфузливы. Онъ поклонился мнѣ довольно небрежно, чуть ли даже не съ нѣкоторой издѣвкой. Я отвѣчалъ ему церемоннымъ поклономъ.

— Имѣю честь представить,—произнесла Любовь Васильевна,—одно изъ украшеній нашей сцены, артистъ Яковъ Гавриловичъ Цвѣтаевъ, подающій большія надежды сдѣлаться со временемъ совершеннымъ шутомъ, то бишь, комикомъ, хотѣла я сказать.

— О царица души моей, жестокая королева, столь же же-

стокая, сколь и прекрасная! Почто разишь сердце раба твоего? Впрочемъ, чтожъ за бѣда быть шутомъ?

„Шутъ имѣетъ власть
Правду говорить,
Хоть за это всласть
Могутъ, могутъ бить".

— Гдѣ же Ольга Васильевна? Я ей ноты принесъ для куплетовъ въ завтрашнемъ водевилѣ.

— Она въ той комнатѣ, можете идти къ ней. Вы съ репетиціи?

— Да. Ну, скажу вамъ, шло у насъ: кто въ лѣсъ, кто по дрова. То-то врать будемъ вечеромъ.

— Вы-то не очень наврете съ вашей памятью. Вы и чужія всѣ роли знаете.

— Нѣтъ, случается врать, хоть и не часто, а случается.

Цвѣтаевъ ушелъ въ другую комнату; начался разговоръ вполголоса, затѣмъ громкій споръ, потомъ опять шушуканье съ взрывами смѣха Ольги. Меня начинало коробить; мнѣ чудилось, не на мой ли счетъ прохаживается этотъ шутъ, и едва понималъ то, что говорила мнѣ въ это время старшая Риванова. Я взялся за шляпу.

— Куда вы такъ скоро?—заговорила Риванова мать.—Оля, что ты тамъ засѣла; иди къ намъ.

Но я былъ раздосадованъ — самъ не знаю чѣмъ — и сталъ прощаться. Въ дверяхъ появилась Ольга. На ея губахъ еще играла улыбка; обыкновенно матово-блѣдное лицо ея зарумянилось.

— Этотъ Цвѣтаевъ, съ нимъ просто умора; онъ такъ смѣшно копируетъ.

— Кого жъ онъ копировалъ?

— Да никого; такъ, всѣхъ.

— Невѣжливо уходить въ другую комнату, когда есть гости,— сентенціозно замѣтила мать.

Ольга насупилась, подернула плечомъ и молча усѣлась. Мать просила не забывать ихъ и навѣщать почаще. Любовь Риванова проводила меня въ переднюю, повторила просьбу матери и на прощанье крѣпко пожала мнѣ руку. Вышелъ я отъ Риванovыхъ въ очень непріятномъ расположеніи духа; бѣсила меня малая доля вниманія, удѣленнаго мнѣ Ольгой; бѣсило шушуканье съ Цвѣтаевымъ, позволявшимъ себѣ—теперь это было уже внѣ сомнѣнія —издѣваться надо мною. Но любовный задоръ отъ всего этого только усиливался: она будетъ моею, твердилъ я про себя, можетъ быть, даже и вслухъ, усаживаясь въ ожидавшія меня сани.

Къ Ривановымъ я сталъ похаживать частенько, и вскорѣ не проходило дня, чтобы я хоть на минуту не завернулъ къ нимъ; скоро я сталъ у нихъ своимъ человѣкомъ. Если я заставалъ сестеръ въ блузахъ, съ распущенными волосами, онѣ не стѣснялись, оставались такъ какъ были и я вдоволь могъ любоваться роскошными бѣлокурыми волосами Ольги, падавшими по поясъ. Иногда я заставалъ Ольгу одну и былъ очень счастливъ. Говорить намъ все-таки было не о чемъ, но она съ улыбкой смотрѣла, какъ я навивалъ на руку длинную прядь ея волосъ. Какъ-то я поцѣловалъ ей руку. Она засмѣялась и, освобождая руку, замѣтила:

— Не стоитъ цѣловать; у меня такія большія некрасивыя руки, не такъ какъ у Любы.

Если я приходилъ къ Ривановымъ вечеромъ, мнѣ позволялось приносить закуску, вино, лакомства. Напившись чаю, мы садились играть втроемъ въ дурачки и играли до полуночи, до часу, до двухъ. Игра прерывалась наконецъ заявленіемъ Любови Васильевны, что пора кончить, что ее клонитъ сонъ; она уходила, но мы съ Ольгой продолжали умное занятіе.

— Оля, пора кончить, у тебя завтра репетиція, — говорила черезъ полчаса изъ другой комнаты сестра.

— Не кончу, пока не отыграюсь, — возражала Ольга: — я не хочу лечь спать дурой.

И мы играли, пока въ дуракахъ не оставался я. Иногда мнѣ и тутъ еще не хотѣлось уходить.

Разъ, когда мы еще продолжали игру съ Ольгой, меня позвала изъ другой комнаты старшая сестра.

— Подите сюда на минуту, Василій Ивановичъ, я хочу вамъ сказать кое-что.

Я вошелъ; Любовь Васильевна сидѣла у стола, облокотившись на руку. Она сдѣлала мнѣ знакъ приблизиться; я наклонился къ ней. Ея руки обхватили мою голову и она крѣпко меня поцѣловала.

Я испугался.

— Полноте шалить, — услышалъ. Что вы хотѣли сказать?

Она отвернулась, я вышелъ.

— Что вамъ сказала Люба?—спросила Ольга.

— Чтобъ я не очень засиживался, такъ какъ это васъ утомляетъ.

— Я слышала.

Я промолчалъ, самъ не давая себѣ хорошенько отчета въ томъ, что чувствовалъ въ эту минуту.

Бывая чуть не безвыходно у Ривановыхъ, я почти никого не

видѣлъ у нихъ: изрѣдка заходилъ Цвѣтаевъ; раза три заѣзжала актриса Левина, бывшая съ Любовью Васильевной на „ты“, да столько же разъ засталъ я у Ривановыхъ Ювина, обращавшагося со мною при этихъ встрѣчахъ съ какою-то высокомѣрною и утрированною вѣжливостію. Встрѣчи эти были мнѣ очень непріятны, но совершенно равнодушное обращеніе съ нимъ Ольги меня успокоивало. Отмѣнно любезна, даже до приторности, была съ нимъ мать, но такая любезность со всѣми вошла у нея, повидимому, въ привычку.

Дѣятельность моя, какъ театральнаго рецензента, продолжалась. Я говорилъ уже, что Ольга Риванова была актриса съ задатками таланта, такъ что если я и грѣшилъ въ отзывахъ о ней немножко въ ея пользу, то незамѣтно для себя и мало замѣтно для другихъ. Согласно обѣщанію, я говорилъ по поводу спектаклей Ольдриджа съ губернаторомъ и другими вліятельными любителями театра. Всѣ подсмѣивались надъ притязаніями Мальцевской, но близко къ сердцу дѣла не принимали и вдобавокъ подтрунивали надъ моимъ неравнодушіемъ къ Ривановой. Я выступилъ со статьею. Говоря о предстоящемъ пріѣздѣ Ольдриджа, я пускался въ соображенія о томъ, кто изъ артистокъ нашей сцены можетъ фигурировать въ роляхъ Дездемоны и Корделіи и, разумѣется, останавливался на Ривановой. Правда — говорилъ я въ статьѣ — съ одной стороны артистка эта нѣсколько молода и, быть можетъ, недостаточно опытна для такой роли, какъ роль Дездемоны, но съ другой — „намъ“ достовѣрно извѣстно, что она уже исполняла ее съ безусловнымъ успѣхомъ на одной изъ выдающихся провинціальныхъ сценъ. Конечно, со стороны третьей, игра съ Ольдриджемъ не то, что съ доморощеннымъ Отелло, но съ четвертой можно надѣяться, что высокое искусство знаменитаго трагика благотворнымъ образомъ подѣйствуетъ на силы нашей молодой и, скажемъ не обинуясь, талантливой артистки и заставитъ ее превзойти себя.

Читая въ корректурѣ мою четырехстороннюю рацею, Вите морщился и пытался убѣдить меня, что едва ли газетѣ удобно вмѣшиваться въ вопросъ о распредѣленіи ролей. Но я былъ твердъ и разомъ изъ статьи дѣлалъ министерскій вопросъ: aut sit ut est aut non sit, и затѣмъ-молъ отъ дальнѣйшихъ рецензій отказываюсь. Вите уступилъ.

— Да шутъ васъ побери; печатайте что хотите; хоть въ роль самого Отелло прочьте вашу Риванову; тѣмъ забавнѣе будетъ.

Въ театральномъ гайскомъ міркѣ статья произвела сенсацію и вызвала толки, не совсѣмъ благопріятные даже со стороны тѣхъ,

кто просилъ меня дѣйствовать противъ Мальцевской. Говорилось, что нужно было нападать на Мальцевскую, а не превозносить черезъ мѣру Ривanову, которая по таланту нисколько не выше любого или любой изъ артистовъ и артистокъ труппы. Да если пошло на правду, то Мальцевская не въ примѣръ талантливѣе Ривановой, не говоря уже о ея опытности.

Сама Мальцевская была взбѣшена въ высшей степени. На другой или на третій день я столкнулся съ нею у входа за кулисы.

— Позвольте узнать, вслѣдствіе благосклонности которой изъ Ривановыхъ вы оказываете имъ такое дѣятельное покровительство? Быть можетъ, обѣихъ?

Фраза, очевидно, была заготовлена.

— Вы глупы и дерзки,—отвѣтилъ я ей и пошелъ.

— Ваши принцессы мнѣ еще поплатятся.

Ольгѣ статья моя на первое время принесла горькіе плоды. Въ труппѣ недавніе противники Мальцевской обратились въ ея сторонниковъ. Даже пріятель мой Увальцевъ изъ оппозиціи перешелъ въ равнодушные. Ривановы оказались какъ бы въ опалѣ; антрепренеръ придирался къ Ольгѣ и даже оштрафовалъ ее за поздній приходъ на репетицію. Ольгѣ казалось даже—мнѣ передавала Люба,—что сама публика стала принимать ее менѣе радушно. Виновникъ всѣхъ этихъ бѣдъ былъ я и мнѣ приходилось за нихъ платиться: одинъ разъ, когда я утромъ пришелъ къ Ривановымъ, Ольга не вышла подъ предлогомъ, что она не одѣта; въ другой разъ, хотя и вышла, но была такъ непривѣтлива, такъ торопилась на репетицію, что я самъ поспѣшилъ уйти. Въ театрѣ, если я появлялся за кулисами, Ольга издали и довольно принужденно мнѣ кланялась, точно заодно со всѣмъ персоналомъ труппы, тщательно отъ меня сторонившимся. Привѣтлива была одна Любовь Васильевна, но и та, крѣпко пожавъ мнѣ руку и подаривъ меня своей очаровательной улыбкой, спѣшила уйти въ уборную. Я пересталъ ходить за кулисы. Въ субботу, когда я вечеромъ по обыкновенію пришелъ къ Ривановымъ поиграть въ дурачки, сестеръ не оказалось дома. Мать приняла меня суше обыкновеннаго и объявила, что дочери на именинахъ и едва ли скоро вернутся.

— Бѣдная Оля,—прибавила она,—пусть хоть одинъ вечеръ проведетъ пріятно; она такъ измучилась въ послѣднее время; непріятности за непріятностями да толки разные; а дѣвушка что снѣгъ: каждая капля грязнитъ.

Мораль туда же. Словомъ, репримандъ неожиданный:—я же

остался виноватъ. Ушелъ я отъ Ривановыхъ чуть не въ бѣшенствѣ: „чортъ ихъ побери, еще ломаются!“ — думалось мнѣ. „Ну и благо:—баба съ возу, кобылѣ легче“. Но черезъ нѣсколько минутъ было иное:—образъ Ольги, этой глупой, пустенькой дѣвчонки, которую я въ эту минуту ненавидѣлъ, вставалъ передо мной,—и я говорилъ себѣ: „а, ты отъ меня носъ воротишь, — хорошо же! Я докажу тебѣ.. что?.. что ты будешь моею!“ Логика! Мы глумимся надъ логикой женской; нужно сознаться, что наша мужская бываетъ подъ часъ не менѣе курьезна. Въ досадливомъ расположеніи духа шелъ я домой съ тѣмъ, чтобы часа черезъ полтора снова навѣдаться въ Ривановымъ. Теченіе моихъ мыслей, между тѣмъ, приняло другой оборотъ: Ольгу я уже не считалъ ни глупой, ни пустой; напротивъ, провидѣлъ въ ней гордость, оскорбленное достоинство, подозрѣвалъ интригу и увѣрялъ себя, что въ сущности она расположена ко мнѣ. Очевидно— заключалъ я — все это недоразумѣніе, которое легко устранить. Необходимо объясниться съ Ольгой и я объяснюсь сегодня же, хотя бы пришлось ждать Ольгу до полуночи.

Придя домой (я нанималъ отъ хозяевъ три комнаты со столомъ и прислугой), я приказалъ Аксиньѣ ставить самоваръ и въ ожиданіи его прилегъ съ книгою, и вскорѣ, не смотря на только-что испытанное волненье, погрузился въ весьма сладкую дремоту. Разбудила меня Аксинья, которая принесла самоваръ и сообщила, что пріѣхала какая-то дама и спрашиваетъ, можно ли войти. Я бросился въ переднюю; это была старшая Риванова.

— А, Любовь Васильевна! Пожалуйте. Вы одни или съ Ольгой Васильевной?

— А безъ нея вы мнѣ и не рады? въ такомъ случаѣ прощайте.

— Что за вздоръ; разумѣется, радъ. Давайте сюда шубку. Какія у васъ холодныя руки.

— Посмотрѣли бы, какая мятель поднялась. Нужно было очень большое желаніе васъ видѣть, чтобы пуститься въ такую даль въ такую погоду.

— Очень вамъ благодаренъ.

Озябли вы—согрѣемъ васъ,
Отдушничекъ откроемъ поскорѣе

и напоимъ чаемъ. А гдѣ же Ольга Васильевна, дома?

— Нѣтъ, Боже мой, у Русаковыхъ. Я тоже тамъ была да ушла домой; думала, вы прійдете. Мама сказала, что вы были и ушли; я отправилась вслѣдъ за вами. Пустите меня къ самовару; я буду хозяйничать. Къ вамъ никто не придетъ?

— Не знаю.

— Нельзя ли сказать, что васъ нѣтъ дома.

— Никто и спрашивать не станетъ, а прямо придетъ; въ щели ставень свѣтъ видѣнъ, значитъ, дома. Да и кто придетъ, кто-нибудь изъ учителей, Сименсъ, Вите? Все свои, что за бѣда?

— Бѣды нѣтъ.

— Слѣдовательно?

— Слѣдовательно будемъ пить чай.

— Ольга Васильевна долго пробудетъ у Русаковыхъ?

— Вѣроятно, долго; ее не пустятъ. Меня тоже не пускали, да я изъ-за васъ поссорилась и ушла. Надоѣло слушать, какъ васъ травятъ.

— Въ самомъ дѣлѣ. Скажите, за что? Сами меня просили.

— Говорятъ, просили, да не о томъ.

— А Ольга Васильевна что говоритъ?

— По обыкновенію, ничего, но должно быть, не очень довольна: на нее нападки со всѣхъ сторонъ. Да если еще съ Ольдриджемъ играть будетъ не она, а Мальцевская, - ей проходу не будетъ; засмѣютъ. Придется уѣхать. Трудно актрисѣ на провинціальной сценѣ безъ покровителя.

— Развѣ у всѣхъ есть покровители?

— Кажется, кромѣ насъ съ Олей. У кого мужъ, у кого...

— Кто же?

— Просто покровитель. Чѣмъ женщины виноваты, что онѣ безпомощны, что всякій можетъ ихъ втоптать въ грязь. Еще хорошо, если, какъ у меня, есть хоть немного своихъ денегъ, не то заставятъ пресмыкаться и валяться въ грязи, чтобы не умереть съ голоду.

Мы помолчали.

— Мама говорила какъ-то при васъ, что я получаю деньги; теперь я нарочно о нихъ упомянула; я хочу, чтобы вы знали насъ такими, какія мы есть; я скажу вамъ, какія это деньги и отвуда: тоже, если хотите, отъ покровителя. Я жила въ Москвѣ съ однимъ... купецъ... это было давно, мнѣ едва минуло семнадцать лѣтъ... Какъ это случилось, не знаю: и обманули, и подпоили, и любила немножко, и дура была. Все равно, прошлаго не вернешь. Я жила съ нимъ около трехъ лѣтъ; потомъ онъ женился. Передъ женитьбой онъ внесъ на мое имя въ контору пять тысячъ, съ тѣмъ, чтобы я ихъ получила, когда мнѣ будетъ тридцать лѣтъ. „Не то—говоритъ – тебя оберутъ“. До тѣхъ поръ я получаю изъ конторы по 500 рублей процентовъ въ годъ

— Давно вы съ нимъ разстались?

— Больше двухъ лѣтъ. Онъ женился изъ-за приданаго, по выбору родни: у купцовъ въ Москвѣ это почти всегда какая-то сдѣлка. Потомъ опять и пріѣзжалъ, и присылалъ, — упрашивалъ, сулилъ Богъ знаетъ что,—я прогнала.

— Что же, вы его любили?

— Сначала да: молодой, красивый, веселый; все повѣнчаться хотѣлъ, да родни боялся. Потомъ сталъ безобразничать, особенно передъ женитьбой.

— А вашъ отецъ давно умеръ?

— О какомъ отцѣ вы спрашиваете, о Ривановѣ? Онъ, кажется, и теперь еще живъ. Мы не его дѣти; мы отъ разныхъ отцовъ. Мой отецъ былъ помѣщикъ; онъ умеръ въ Крыму во время войны, въ ополченіи. Съ матерью они скоро разстались, но онъ до смерти высылалъ деньги на мое воспитаніе и два раза пріѣзжалъ въ Москву посмотрѣть на меня. Отецъ Оли былъ актеръ; онъ умеръ года четыре тому назадъ. Черезъ него я и познакомилась съ моимъ покровителемъ; только-что тогда пансіонъ кончила.

— Какъ же фамилія этого покровителя, какъ вы его называете?

— Богъ съ нимъ; что вамъ до этого?

— А у Ольги Васильевны тоже былъ покровитель?

— Что вы! Развѣ не видите — она совсѣмъ ребенокъ. Она и того не знаетъ, что я вамъ теперь разсказала. Пожалуй, не понимаетъ, что такое покровитель.

— Будто, послѣ пятилѣтняго пребыванія въ театральной школѣ и двухъ лѣтъ игры на театрѣ во всевозможныхъ пьесахъ?

— Подите же, странно, а случается. Да знаете ли, что я вамъ скажу: Ольга не знаетъ ни одной пьесы, въ которыхъ играетъ; она знаетъ только свою роль, да и той не понимаетъ.

— Едва ли; она передаетъ роли всегда со смысломъ и часто очень вѣрно.

— Потому что видѣла и что у нея есть талантъ. Роль, которой не видѣла или ей не показали, не сыграетъ.

— Какъ же играла бы она съ Ольдриджемъ?

— Что же, Дездемону она видѣла и очень хорошо играла.

— Ну а Корделію?

— И Корделію сыграла бы, хоть и не видѣла на сценѣ.

— Почему?

— Это секретъ:—я дала ей честное слово никому не говорить объ этомъ.

— Да, что же Ольдриджъ; когда онъ пріѣдетъ и кто съ нимъ будетъ играть главныя женскія роли?

— Пріѣдетъ, говорятъ, скоро, а кто будетъ играть — неизвѣстно. Мальцевская безпрестанно сказывается больною. Объ Ольгѣ Доливо-Вольскій говорилъ съ Русаковымъ, спрашивалъ, какъ она играла Дездемону въ Нижнемъ.

— Что же тотъ отвѣтилъ?

— Ни то, ни се. Говоритъ: — играла-молъ, а какъ играла, не знаю. Хлопали, вызывали — значитъ, хорошо. Впрочемъ, это былъ ея бенефисъ, а въ бенефисъ всѣхъ вызываютъ. Но довольно и объ Ольдриджѣ, и о театрѣ: за цѣлый день надоѣло. Да и вообще довольно; пора и честь знать. Прощайте.

— Куда? Мы еще будемъ ужинать. Я хочу подпоить васъ и вывѣдать отъ васъ всю подноготную.

— Нечего вывѣдывать, я и такъ вамъ все сказала. Есть у васъ карты? Давайте сыграемъ въ дурачки, одну игру, но не даромъ.

— На что прикажете?

— На все. Проигравшій обязанъ исполнить все, что́ потребуетъ выигравшій.

— Въ предѣлахъ возможнаго и съ тѣмъ, что требуемое не должно вредить жизни, чести и здоровью.

— Хорошо. Какой вы обстоятельный, точно нѣмецъ.

Я раскрылъ карточный столъ. Какъ нарочно, ко мнѣ шли всѣ козыри и я выигралъ.

— Проиграла, можете требовать, что́ хотите, хоть того, чтобы сейчасъ въ Волгу въ прорубь бросилась.

— Не имѣю права по условію:—противъ здоровья; простудиться можете.

— Все равно, даю вамъ безусловное право; все, что́ хотите: себя убить, другого, пойти воровать. Требуйте.

Въ это время весьма кстати явилась Аксинья съ ужиномъ, конфектами и виномъ.

— Прежде всего требую, чтобы вы садились ужинать.

— Очень рада; я голодна какъ волкъ: именинный пирогъ съ перебранкой за васъ не шелъ мнѣ въ горло.

— Вы любите шампанское?

— Да люблю; впрочемъ, я давно его не пила. Давайте.

У хозяйки моей весьма кстати оказались бокалы. Я налилъ.

— За что же мы будемъ пить?

— Во-первыхъ, за предстоящее посрамленіе Мальцевской и за сценическій успѣхъ Ольги Васильевны.

— За нее,—хорошо. А за меня что́? Впрочемъ, все равно

за что бы не пить, лишь бы въ винѣ горе утопить. Видите, стихами говорю.

— Какое же горе?

— Да хоть то, что мнѣ и пожелать нечего. За ваше здоровье.

— И за ваше.

— Спасибо; этого добра довольно. Но давайте же ѣсть. Я умираю съ голоду.

— Обо мнѣ вы все знаете; разскажите же о себѣ, какъ вы росли, какъ жили.

Я началъ нехотя и мало-по-малу разболтался; говорилъ о дѣтствѣ, объ университетѣ, о своихъ планахъ; разсказалъ нѣсколько сердечныхъ эпизодовъ. Собесѣдница моя была внимательна и интересовалась разсказомъ. Разговоръ нашъ мало-по-малу принялъ характеръ полной задушевности. Одного я не касался,—любви моей къ Ольгѣ. Говорить объ этомъ мнѣ что-то мѣшало, вѣроятно то, что я самъ себѣ не уяснилъ еще моихъ намѣреній.

Бутылка была почти пуста; Любовь Васильевна выпила четыре или пять бокаловъ. И безъ того живая и румяная, она еще болѣе оживилась и разрумянилась.

— Однако, который часъ?—спросила она.

— Второй въ началѣ.

Ой, какъ мы засидѣлись. Пора.

Она потянулась въ креслѣ.

— И встать не хочется. На дворѣ мятель и вьюга, а здѣсь такъ свѣтло и уютно. Такъ бы, кажется, до утра и не тронулась съ мѣста.

Я засмѣялся и довольно принужденно. Любовь Васильевна разомъ приподнялась какъ на стальной пружинѣ.

— Испугались? Дѣйствительно пора. Прощайте.

— Къ чему стремительность, не все ли равно получасомъ раньше или позже? Одну я не отпущу васъ во второмъ часу ночи. Кстати, захватите коробку съ конфектами, попотчуйте сестру.

— Конфектовъ я не возьму; лучше сама зайду какъ-нибудь и доѣмъ. Я не скажу дома, что была у васъ; скажу, что у Левиной; благо, ея не было у Русаковыхъ, она съ ними поссорилась, притомъ конфектъ у Ольги и безъ вашихъ дѣвать некуда. Ихъ ей по два по три раза въ недѣлю привозитъ и присылаетъ Ювинъ, какъ онъ говоритъ, смѣясь, „по подряду“. Нарочно изъ Москвы еще выписываетъ.

— Я не зналъ. Какъ же принимаетъ это Ольга Васильевна?

— Принимаетъ, какъ и все: говоритъ съ Ювинымъ такъ же мало, какъ и съ вами, а вниманія обращаетъ еще меньше. Конфекты возьметъ, сунетъ куда-нибудь и забудетъ; на другой день вспомнитъ и съѣстъ половину.

— Счастливый характеръ.

— Можетъ быть. Но пора. Если провожаете,—идемъ; если нѣтъ,—я иду одна.

— Идемъ, но послѣдній бокалъ на дорогу.

— Хорошо, съ тостомъ: за достойное монтіоновской премія благонравіе нынѣшнихъ молодыхъ людей вообще и рецензентовъ въ особенности.

Она залпомъ выпила бокалъ. Я расшаркался.

Вѣтеръ утихъ, но шелъ маленькій снѣжокъ; стало немного теплѣе. Хотя луны за снѣгомъ и не было видно, но ночь была если не свѣтла, то бѣла. Къ величайшему моему удовольствію почти тотчасъ же попался извощикъ, ветхій старичекъ на бѣлой кляченкѣ и мы пошли нырять по ухабамъ, рискуя вывалиться. Я долженъ было обнять мою спутницу. Другую мою руку она взяла въ муфту и крѣпко сжала въ своихъ рукахъ.

— Эхъ,—вырвалось у меня,—если бы можно было приказывать сердцу.—Я слегка пожалъ ея руку.

— Если нельзя приказывать, незачѣмъ объ этомъ говорить. Для чего дразнить?

Я взглянулъ на нее; и безъ того большіе глаза ея были широко раскрыты.

— Холодно; жаль, что я мало пила вина.

— Эту бѣду легко поправить, стоитъ вернуться. Еще есть бутылка въ запасѣ.

— Хорошо, вернемся и будемъ пить, но съ тѣмъ, чтобы не уходить уже, остаться. Хотите? Слушайте, вы знаете, я вамъ сказала, я не дѣвушка, я ни отъ кого не завишу; на васъ не будетъ лежать никакой отвѣтственности, васъ ничто не свяжетъ. Хотите? Хочешь?

Въ голосѣ Любови Васильевны слышалась не страсть, а точно скорбная мольба. Руки ея до боли сжимали мою руку. Искушеніе было очень сильно, но и на этотъ разъ я совладалъ съ собою.

— Нѣтъ. Это было бы несчастье и для васъ, и для меня. Вы знаете, я люблю другую, я люблю сестру вашу.

Она выпустила мою руку и отвернулась. Минуты три мы ѣхали молча. Она снова начала прерывающимся голосомъ:

— Если такъ, зачѣмъ ты тянешь съ Олей? Кончи чѣмъ-нибудь; женись на ней, увлеки ее, но кончи. Не вѣчно же играть въ дурачки до зари. Смотри, у тебя похитятъ ее изъ-подъ носа.

— Кто похититъ?

— Не знаю, кто; Ювинъ, Цвѣтаевъ, наконецъ первый встрѣчный, у кого въ жилахъ течетъ кровь, а не паренное молоко. Старикъ, стой. Я дѣйствительно много пила, голова у меня какъ не своя. Выпустите меня, тутъ недалеко, я дойду пѣшкомъ.

— Помилуйте, тутъ снѣгъ по колѣно.

— Ничего. Мнѣ необходимо освѣжиться. Пожалуйста, не идите со мной. Прощайте.

По возвращеніи домой я чувствовалъ себя до того усталымъ, что не былъ въ силахъ разобраться въ своихъ впечатлѣніяхъ и чувствахъ. Для меня было ясно только то, что, какъ выразилась Любовь Васильевна, продолжать играть въ дураки по меньшей мѣрѣ глупо, и потому я далъ себѣ слово на другой же день здраво размыслить о томъ, какъ мнѣ поступить. Заснулъ я какъ убитый, но проснулся до зари, закурилъ папиросу и, помня вчерашнее рѣшеніе, принялся разсуждать. Первая мысль, пришедшая мнѣ въ голову была такая: не плюнуть-ли, молъ, на все, да не улепетнуть ли по-добру по-здорову, какъ отъ Ольги, такъ и отъ Любы, благо, это еще не поздно. Но бѣда именно въ томъ, что эта здравая мысль явилась первою и не въ видѣ вывода, а въ видѣ одной изъ посылокъ, и теряла значеніе рядомъ съ другой посылкой, уже не въ формѣ мысли, а въ формѣ предвзятаго, крѣпко засѣвшаго мнѣ въ голову: „она должна быть моею“. Затѣмъ, по тогдашней моей логикѣ обсужденію и подлежалъ только вопросъ: чѣмъ моею, женой или любовницей? Собственно говоря, фатомъ я никогда не былъ и не очень высоко цѣнилъ свою особу. Хотя обращеніе со мной старшей Ривановой и могло мнѣ внушить нѣкоторое самомнѣніе, но передъ Ольгой я робѣлъ и очень сомнѣвался въ томъ, чтобы единственно pour mes beaux yeux она, очертя голову, рѣшилась броситься мнѣ на шею. Но, положимъ, мое ловеласничество и удалось, а дальше? Бросить Ольгу по окончаніи театральнаго сезона? Не говоря о возмутительности такого поступка, онъ былъ бы просто нелѣпостью, да пожалуй, и не прошелъ бы мнѣ даромъ: первая Люба глаза бы мнѣ выцарапала. Поселить ее съ собою здѣсь въ Гайскѣ невозможно: здѣсь не Москва и не Петербургъ, да и все-таки въ концѣ концовъ пришлось бы жениться, создавъ для себя предварительно невозможное положеніе. Остается слѣдовательно свататься. „Но жена не гитара; поиграмши на стѣнка не повѣсишь“, какъ

говорилъ въ одномъ водевилѣ Цвѣтаевъ въ образѣ какого-то мудраго нѣмчуры. А Ольга—нечего таить отъ себя—неразвита, неряшлива, взбалмошна и вообще дурно воспитана. Наконецъ мать ея, которая должна стать тещей! Брр! Лучше бѣжать. Но тутъ опять возникалъ образъ Ольги съ ея капризной, вызывающей гримасой; раздавалось въ ушахъ ея своенравное „будетъ по моему", меня брала досада, рождалось какое-то хищное, чуть не враждебное чувство и я возвращался къ тому, съ чего началъ: „она должна быть моею".

Выкуривъ безчисленное множество папиросъ и перевернувъ на всѣ лады дилемму бѣжать или жениться, я наконецъ бросилъ это безплодное переливанье изъ пустого въ порожнее, порѣшивъ пока плыть по теченію и выжидать событій. И странно, въ тотъ же моментъ мнѣ опять казалось, что стоитъ только засѣсть—разумѣется, не тотчасъ, а завтра, послѣ завтра—и подумать, и самое удовлетворительное и разумное рѣшеніе несомнѣнно будетъ найдено. Только впослѣдствіи я далъ себѣ отчетъ въ этомъ миражѣ: все дѣло было не въ невозможности пріискать разумное рѣшеніе, а въ недостаткѣ рѣшимости ему слѣдовать.

Мнѣ вдругъ страстно захотѣлось освободить себя на время отъ Риваловыхъ; цѣлые два дня я не показывалъ къ нимъ носа, гулялъ по городу, былъ у нѣсколькихъ знакомыхъ, завернулъ въ клубъ и чувствовалъ себя счастливымъ, какъ школьникъ, избавленный на нѣсколько дней отъ уроковъ. Я даже эманципировалъ себя на недѣлю отъ театра и отъ статей о немъ. Не понавѣдаться къ Риваловымъ и на третій день я считалъ не совсѣмъ благовиднымъ, но вовсе не былъ огорченъ, не заставъ сестеръ дома. Когда же опять черезъ день я наконецъ увидѣлъ Ольгу, оказалось, что ей не до меня: пріѣхалъ Ольдриджъ и черезъ часъ пріѣдетъ въ театръ знакомиться съ артистами.

— Скажите же, наконецъ,—обратилась Ольга ко мнѣ, едва я вошелъ въ комнату,—дадутъ мнѣ роли Дездемоны и Корделіи?

— Не знаю. Все, что могъ сдѣлать, я сдѣлалъ: и говорилъ и писалъ.

— Очень вами благодарна! Мальцевская со мной не кланяется; Доливо-Вольскій смотритъ чортомъ, всѣмъ этимъ я обязана нѣкоторымъ не кстати услужливымъ людямъ. Видно, мама, намъ придется завтра же уѣхать въ Москву.

— Изъ чего ты такъ волнуешься Оля,—замѣтила Любовь Васильевна:—очень можетъ быть, что тебѣ дадутъ эти роли или по крайней мѣрѣ одну изъ нихъ; а если и не дадутъ, тоже бѣда небольшая и уѣзжать изъ-за этого нечего.

— Для васъ, разумѣется, не бѣда, а я впередъ говорю, что какихъ-нибудь Эмилій, горничныхъ Мальцевской, я играть не буду; предоставляю вамъ лизать ей ручки, если вамъ это нравится.

— Лучше играть горничную на сценѣ, нежели внѣ сцены говорить, какъ горничная.

— Избавьте меня отъ вашего остроумія; мнѣ не до того.

— Въ самомъ дѣлѣ—сказалъ я,—напрасно вы такъ волнуетесь, Ольга Васильевна; притомъ у васъ сейчасъ репетиція, да еще въ присутствіи Ольдриджа; вамъ необходимо быть покойнѣе.

— Оставьте меня въ покоѣ съ совѣтами; я сама знаю, что мнѣ дѣлать.

— Вы видите, Олю такъ напугалъ пріѣздъ Ольдриджа, что она внѣ себя и всѣмъ готова наговорить дерзостей.

— Мама, хоть вы прикажите ей замолчать; не то я расплачусь и не пойду на репетицію: пусть хоть выгоняютъ.

Ольга ушла въ другую комнату.

— Ольга Васильевна, не хотите ли я подвезу васъ къ театру?

— Нѣтъ, я и одна дойду; и такъ ужъ очень много вамъ обязана.

Мнѣ, разумѣется, ничего не оставалось, какъ взяться за шапку, что̀ я и сдѣлалъ. „Ну, отыскалъ же я себѣ дульцинею", размышлялъ я дорогой и... и тѣмъ не менѣе эта неотесанная, грубая дѣвчонка была единственнымъ предметомъ моихъ помысловъ.

Ближайшимъ пріятелемъ моимъ въ Гайскѣ былъ докторъ Сименсъ. Я съ нимъ познакомился тотчасъ по пріѣздѣ. Онъ былъ московскаго университета; у насъ оказались общія воспоминанія и даже общіе знакомые и мы сблизились, хотя онъ былъ лѣтъ на восемь, на десять старше меня. Я часто бывалъ у него. Жена его, Александра Викторовна, была премилая женщина. Впрочемъ всѣ дамы милы, особенно провинціальныя. Дѣло однако не въ этомъ, а въ томъ, что когда я пришелъ домой, хозяйка моя сообщила мнѣ слѣдующее: заходилъ докторъ и просилъ передать мнѣ, что пріѣхалъ Ольдриджъ и остановился у него; если я хочу видѣть поближе трагика-негра, приходилъ бы обѣдать часамъ къ четыремъ. Не ожидая обѣда, я тотчасъ же собрался идти къ Сименсу, но въ дверяхъ столкнулся съ Увальцевымъ.

— Я къ вамъ на минуту сказать, что пріѣхалъ Ольдриджъ и остановился у Сименса.

— Знаю, Сименсъ заходилъ и я сегодня обѣдаю съ Ольдриджемъ.

— Но вы, вѣроятно, не знаете того, что и я узналъ только сегодня: по условію Ольдриджа съ антрепренеромъ окончательное распредѣленіе ролей въ его спектакляхъ принадлежитъ ему, Ольдриджу. Значитъ, вамъ легко чрезъ Сименса устроить судьбу своей феи.

— Какой феи, съ чего вы взяли, и что за выраженіе?

— Во всякомъ случаѣ вы понимаете, о комъ я говорю. Спорить некогда и такъ опоздалъ вѣрно на репетицію; кстати для вашего свѣденія: мать Риванова на всѣхъ перекресткахъ твердитъ, что вы компрометируете ея дочерей и вредите имъ въ сценическомъ отношеніи. Она могла бы прибавить, что вы—и это главное—вредите ея планамъ.

— Объяснитесь, что за планы?

— Потомъ; некогда; прощайте.

Ольдриджъ уже уѣхалъ въ театръ, но Сименсъ къ моему удовольствію былъ дома.

— Какимъ образомъ попалъ къ вамъ Ольдриджъ,—былъ первый вопросъ, который я сдѣлалъ при входѣ въ комнату.

— Вотъ подите-жъ, никакъ не ожидалъ. Оказалось, что его лечилъ въ Москвѣ мой школьный товарищъ и узнавъ, что онъ ѣдетъ въ Гайскъ, далъ ему письмо ко мнѣ, а тотъ прямо сюда и пріѣхалъ за совѣтомъ, гдѣ ему остановиться. Я отдалъ ему кабинетъ, гостиную и прихожую; мы съ Шурой на это время какъ-нибудь въ четырехъ комнатахъ потѣснимся.

— Я къ вамъ съ просьбой: окажите дружбу, замолвите слово въ пользу Ольги Ривановой.

— Заполонила-таки ваше сердце эта Риванова,—проговорила жена Сименса.

— Тутъ дѣло не въ сердцѣ, а въ художественномъ чувствѣ; нельзя же, чтобы такія роли играла чуть не пятидесятилѣтняя старуха.

— Да ладно, для сердца или для художества, постараемся это устроить. Да чего лучше, вы и скажете ему за обѣдомъ.

— Мнѣ хотѣлось бы быть въ сторонѣ.

— Вамъ хотѣлось бы, чтобы каштаны для васъ таскали изъ печки другіе, а вы ихъ только кушать соблаговолите. И то дѣло. Постараемся. All right.

— Ба, да не выучились ли вы для Ольдриджа по-англійски. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы съ нимъ объясняетесь?

— Онъ говоритъ по-нѣмецки, хоть и съ грѣхомъ пополамъ.

За обѣдомъ я былъ представленъ Ольдриджу. Я сказалъ, что года два тому назадъ имѣлъ удовольствіе видѣть его въ Москвѣ.

— О да, Москва—хорошій городъ, хорошая публика. Я очень люблю Москву. Я и теперь тамъ игралъ и еще поѣду.

О своихъ спектакляхъ Ольдриджъ сказалъ, что начнетъ ихъ королемъ Лиромъ, который и пойдетъ черезъ два дня. Вѣрный своему обѣщанію, Сименсъ спросилъ, кто будетъ играть Корделію и замѣтилъ ли Ольдриджъ Риванову.

— Rivanova, o ja, sehr hübsches Mädchen; sie spielt Cordelia.

— А Мальцевскую видѣли?

Ольдриджъ сжалъ губы и поднесъ ихъ къ носу. Вышла такая смѣшная гримаса, что мы покатились со смѣху. Самъ Ольдриджъ смѣялся, скаля бѣлые зубы и щуря маленькіе глаза.

Сименсъ не унимался и снова заговорилъ объ Ольгѣ: что она играетъ Корделію, это очень хорошо, но желательно, чтобы она была и Дездемоной; сидящій здѣсь молодой человѣкъ ужасно желаетъ видѣть ее Дездемоной и на сценѣ, и въ дѣйствительности, и обѣщаетъ даже не придушить ее за это. Конечно, она молода, къ слову сказать, это,—не во гнѣвъ моей женѣ,—не очень уже большой порокъ въ женщинахъ (Ольдриджъ осклабился)... да, такъ она молода, но у нея несомнѣнный талантъ, какъ увѣряетъ мой молодой другъ,— онъ указалъ на меня,—одинъ изъ знаменитѣйшихъ театральныхъ критиковъ въ Россіи, и притомъ она съ большимъ успѣхомъ исполняла уже роль Дездемоны на многихъ сценахъ.

Ольдриджъ сдѣлался очень серьезенъ.

— Das wollen wir noch sehen, das kann sein... Aber Malsewska wird nie mit mir Desdemona spielen... no! no!—прибавилъ онъ внезапно и, строго сжавъ губы, быстро поводилъ по воздуху указательнымъ пальцемъ.—Роль Отелло не такая роль, чтобы можно было рисковать стать въ глазахъ публики смѣшнымъ, являясь влюбленнымъ въ этакую...

Ольдриджъ прибавилъ какое-то слово, вѣроятно, англійское, которое мы съ Сименсомъ не поняли, но которое несомнѣнно означало вовсе не лестный для Мальцевской эпитетъ. Дѣло было, такимъ образомъ, болѣе, чѣмъ на половину, выиграно и милость моей „феи“ до нѣкоторой степени обезпечена. Впрочемъ, я рѣшилъ выжидать событій и до Лира къ Ривановымъ не ходить. Вечеромъ я отправился въ театръ. Одинъ изъ служителей подалъ мнѣ маленькій конвертъ; это была записка отъ Любови Васильевны: „Оля играетъ Корделію. Она безмѣрно счастлива и, кажется, въ душѣ вамъ очень благодарна, даже спрашивала меня, не разсердились ли вы за утренніе. Въ трупѣ она разомъ выросла

на сажень; всѣ съ нею любезны и внимательны, за исключеніемъ нѣсколькихъ ярыхъ почитателей Мальцевской. Приходите. Ваша Л."

Шла комедія Островскаго „Свои люди"; Ольдриджъ былъ въ театрѣ и сидѣлъ въ ложѣ губернатора; тамъ же былъ и Вите. Въ антрактѣ послѣ перваго акта мы съ Сименсомъ пошли засвидѣтельствовать ихъ превосходительствамъ свое почтеніе, причемъ я—Сименсъ былъ также въ ложѣ съ женою—получилъ приглашеніе остаться въ ложѣ. Окрыленная успѣхомъ по поводу роли Корделіи, Ольга играла превосходно. Роль Липочки была исполнена ею съ такой законченностію, которой я прежде въ ней не замѣчалъ. Сцена, когда Липочка посылаетъ отца назадъ въ тюрьму, была передана ею такъ естественно и такъ безсердечно, что меня морозъ подралъ по кожѣ. Вите, съѣвшій на всѣхъ языкахъ по собакѣ, сидѣлъ возлѣ Ольдриджа и подробно комментировалъ ему происходившее на сценѣ. По окончаніи комедіи, послѣдовали многократные вызовы главныхъ дѣйствующихъ лицъ: Русакова (купецъ Большовъ), Увальцева (Подхалюзинъ) и Оли. Ольдриджъ, испросивши предварительно позволеніе у губернаторши (она и Вите были единственныя въ Гайскѣ лица, говорившія по-англійски) вмѣстѣ съ губернаторомъ, усердно аплодировалъ Олѣ, которая въ концѣ была вызвана solo. Она черезъ всю залу послала имъ два поклона и двѣ улыбки съ обворожительностію завзятой актрисы. Губернаторъ и Ольдриджъ въ сопровожденіи Вите отправились за кулисы. Я предпочелъ не являться туда и остался въ ложѣ.

— Правду говорятъ въ городѣ,—спросила меня губернаторша,—что вы женитесь на Ольгѣ Ривановой?

— Ничего не могу сказать, такъ какъ это мнѣ самому пока еще неизвѣстно.

— Она, кажется, очень милая дѣвушка.

Черезъ минуту губернаторша прибавила:

— Чтобы вы не придали моему вопросу несоотвѣтственнаго толкованія, напомню вамъ - вы это, безъ сомнѣнія, давно знаете,— что я сама была актрисой, правда, недолго и въ столицѣ; тамъ эта профессія обставлена не такъ неудобно, какъ въ провинціи.

Насталъ, наконецъ, день спектакля Ольдриджа. Театръ былъ набитъ биткомъ, не смотря на увеличенныя цѣны. Во всѣхъ проходахъ стояли стулья. Свое абонентное мѣсто перваго ряда я предоставилъ Сименсу (жена его была въ ложѣ съ знакомыми), а самъ забился куда-то въ уголъ. Спектакль начался среди гробового молчанія многолюдной залы, которая вся обратилась во вниманіе. Здѣсь я, разумѣется, не буду повторять отзывовъ объ игрѣ знаменитаго трагика, составлявшихъ предметъ моей рецензіи, по-

явившейся черезъ два дня. Да и не на Ольдриджѣ было сосредоточено, главнымъ образомъ, мое вниманіе: сердце мое тревожно билось за нее. Едва, однако, она появилась на сценѣ, я могъ понять, что тревога напрасна: вся въ бѣломъ, съ скромнымъ и робкимъ выраженіемъ въ глазахъ, устремленныхъ съ тревожнымъ ожиданіемъ на отца, стоявшая предъ нами Корделія была живымъ олицетвореніемъ невинности и дочерней преданности. Какъ просто, съ какимъ глубокимъ чувствомъ отвѣчала она на упреки Лира въ черствости сердца, не смотря на молодость: „Я молода, но я правдива и искренна“. Да, она правдива и искренна, подсказывало мнѣ сердце. Вслѣдъ за тѣмъ Лиръ обращается къ жениху Корделіи, какому-то герцогу, съ саркастическимъ предложеніемъ взять ее себѣ въ жены, но безъ приданаго, если ему нравится ея смазливая фигурка. Нужно было видѣть, какъ быстро при этихъ словахъ повернула Корделія къ отцу свою головку, какимъ чувствомъ оскорбленнаго достоинства и вмѣстѣ глубокой скорби одушевилось лицо ея. Театръ разразился рукоплесканіями. Самъ Ольдриджъ давалъ знакъ, что аплодируетъ. Успѣхъ былъ обезпеченъ.

— Что, какова наша Ольга Васильевна?—раздался у меня надъ ухомъ голосъ Цвѣтаева.

— Великолѣпно.

— Не даромъ мы съ нею цѣлыя двѣ недѣли штудировали роль Корделіи. То ли еще увидите!

— Позвольте мнѣ ваше имя и отчество.

— Яковъ Петровичъ, къ вашимъ услугамъ.

— Если игра Ольги Васильевны дѣло вашихъ рукъ, то вы великій артистъ, Яковъ Петровичъ.

— Не знаю-съ. Случается, какъ говорятъ, большая душа въ маленькомъ тѣлѣ.

— Добавьте, и большой умъ.

— Ничего не могу сказать.

Мнѣ въ голову, между тѣмъ, пришла блестящая мысль.

— Дорогой Яковъ Петровичъ, будьте здѣсь по окончаніи акта, я хочу кое-о-чемъ попросить васъ.

— Слушаю.

По окончаніи акта, я отыскалъ Цвѣтаева.

— Ѣдемъ.

— Куда?

— Скажу дорогой.

Проходя корридоромъ, мы слышали раздававшіеся въ залѣ залпы рукоплесканій и вызовы Ольдриджа и Ольги Ривановой.

Цвѣтаевъ сіялъ. Блестящая мысль моя состояла въ томъ, чтобы ознаменовать удачу Ольги торжественнымъ ужиномъ. Это могло мнѣ стоить полуторамѣсячнаго жалованья, но я рѣшился раскошелиться. Мы заказали ужинъ въ лучшей гостинницѣ Гайска съ приказаніемъ заготовить винъ и преимущественно побольше шампанскаго. Цвѣтаева я попросилъ присмотрѣть за приготовленіями, такъ какъ самому мнѣ необходимо было присутствовать въ спектаклѣ для завтрашней рецензіи.

— Но я лишаю васъ удовольствія видѣть Ольдриджа.

— Я вѣдь и самъ играю роль шута; затѣмъ, меня не столько интересуетъ Ольдриджъ—я его уже видѣлъ—сколько Ольга Васильевна, но не безпокойтесь, я всюду успѣю, благо, у насъ антракты длинные.

Король Лиръ оканчивался. Особенно выгодна для Ольги вышла послѣдняя сцена. Съ блѣднымъ и прекраснымъ лицомъ, съ распущенными волосами, стройная, въ простенькомъ бѣломъ платьѣ лежала на кушеткѣ мертвая Корделія. Немного не эффектна была большая нога, выдвинувшаяся изъ-подъ шлейфа, но опытный глазъ Лира тотчасъ же замѣтилъ это и онъ среди трагическихъ ламентацій привелъ шлейфъ въ порядокъ. Занавѣсъ опустился. Театръ гремѣлъ. Крики: Ольдриджъ, Риванова, были, вѣроятно, слышны черезъ улицу. Ольдриджу было подано нѣсколько вѣнковъ; одинъ изъ нихъ онъ хотѣлъ-было возложить на распущенные волосы Корделіи; но, съ находчивостію и граціей, которыхъ я и не подозрѣвалъ въ ней, Ольга быстро выхватила одинъ изъ вѣнковъ и надѣла его на голову артиста. Раздались неистовые аплодисменты. Ольдриджъ, раскланиваясь съ публикой, пожалъ Ольгѣ руку.

„Ривановой вѣнокъ, вѣнокъ Ривановой!“ заревѣли сотни голосовъ, преимущественно сверху, гдѣ виднѣлись въ изобиліи гимназическіе воротники (кто далъ право этимъ господамъ распоряжаться не ими припасенными вѣнками? Однако, сознаюсь, въ душѣ я рѣшилъ на слѣдующемъ урокѣ поставить энтузіастамъ по лишнему баллу). Принявъ вѣнокъ изъ чьихъ-то рукъ, Ольдриджъ надѣлъ его на голову Ольги. Я бросился за кулисы.

Въ жизни каждаго человѣка бываетъ минута, которая можетъ быть названа его апогеемъ, поворотной точкой: до нея онъ поднимался; съ нея начинается спускъ. Такой точкой для Ольги былъ, вѣроятно, этотъ вечеръ; пожалуй, даже не для нея одной; для насъ съ Цвѣтаевымъ это были тоже, въ нѣкоторомъ смыслѣ, именины сердца.

Я встрѣтилъ Ольгу, сходившую со сцены въ вѣнкѣ изъ ва

сильковъ и ландышей (разумѣется, поддѣльныхъ; гдѣ быть въ Гайскѣ цвѣтамъ въ это время года). Я крѣпко пожалъ ей руку и поздравилъ съ успѣхомъ. Она отвѣчала привѣтливой улыбкой. Въ этой улыбкѣ, во всѣхъ движеніяхъ Ольги было столько самообладанія, благовоспитанной развязности, свободы манеръ, что я готовъ былъ не узнать ее. Изъ нѣсколько неловкой и даже— что скрывать—неотесанной дѣвушки она вдругъ, хотя бы только на одинъ вечеръ, подъ вліяніемъ окрыляющаго успѣха, превратилась въ граціозную, увѣренную въ себѣ, женщину.

Въ обширномъ корридорѣ за сценой, въ ожиданіи Ольдриджа, переодѣвавшагося въ уборной, собралась вся труппа съ Доливо-Вольскимъ во главѣ (Мальцевской, разумѣется, не было). Ольгу всѣ поздравляли. На сценѣ шелъ въ это время балетный дивертиссементъ. Большая часть гостей была приглашена на ужинъ. Я обратился съ приглашеніемъ къ Доливо-Вольскому, но онъ объявилъ, что, къ величайшему огорченію, долженъ отказаться, такъ какъ ему предстоитъ еще по окончаніи спектакля свести немедленно очень сложные счеты.

— Ему Мальцевская строго-на-строго запретила,—шепнулъ мнѣ Увальцевъ.—Провѣдала про ужинъ и прислала записку даже незапечатанную — ее читали: „поѣдешь-молъ, такъ и домой не являйся; все равно, не пущу“.

Сименсъ обѣщалъ хоть на минуту привезти Ольдриджа, а Вите сообщилъ, что чуть ли и губернаторъ не намѣренъ заѣхать; онъ, по крайней мѣрѣ, приказалъ доложить себѣ, когда поѣдетъ Ольдриджъ. Затѣянный мной ужинъ принималъ такимъ образомъ характеръ овваціи. Я поспѣшилъ пригласить вице-губернатора, благо онъ, человѣкъ холостой и поклонникъ балета, не уѣхалъ еще изъ театра; по дорогѣ сдѣлалъ еще два-три приглашенія мѣстныхъ тузовъ, имѣвшихъ обычай встрѣчать утро въ клубѣ. За кулисы я поспѣлъ какъ разъ къ выходу Ольдриджа. Онъ жалъ всѣмъ руки и говорилъ: „I thank you, благодару, благодару“. Пожимая руку Ольгѣ, онъ многозначительно произнесъ магическое для нея: „ви— Дездемона!“

Главная зала знаменитой гайской гостинницы „Европа“ блистала яркимъ свѣтомъ нѣсколькихъ десятковъ стеариновыхъ свѣчей и керосиновыхъ лампъ, только-что вошедшихъ въ то время въ употребленіе. Стали прибывать приглашенные. Вскорѣ пріѣхали, въ сопровожденіи Цвѣтаева, Ривановы, нарядно пріодѣвшіяся. Оказалось, что Увальцевъ догадался захватить въ театрѣ вѣнокъ Ольги, которая теперь, по требованію всѣхъ присутствовавшихъ, должна была надѣть его. Гайскъ любилъ и умѣлъ покушать и

обильная закуска, преимущественно изъ рыбныхъ продуктовъ, съ разными водками и винами, давала пока занятіе гостямъ и позволяла имъ терпѣливо ждать ужина. Минутъ черезъ двадцать, вбѣжалъ кто-то изъ мелкихъ актеровъ съ извѣстіемъ, что пріѣхали Ольдриджъ, Доливо-Вольскій и чуть ли не самъ губернаторъ. Я поспѣшилъ на лѣстницу встрѣтить почетныхъ гостей. При появленіи Ольдриджа раздалось ура! Губернаторъ, отъ имени жены, подалъ Ольгѣ небольшой букетъ, на этотъ разъ изъ живыхъ цвѣтовъ, въ изящномъ серебряномъ портъ-букетѣ, вѣроятно, уцѣлѣвшемъ у губернаторши отъ ея прошлыхъ сценическихъ успѣховъ. Лакеи разносили шампанское. Взявъ бокалъ, Ольдриджъ чокнулся со всѣми присутствующими. Чокаясь съ Ольгой, онъ, улыбаясь, проговорилъ: „My Desdemona!“

Дѣвушка сіяла; блѣдныя щеки ея зарумянились. Цвѣтаевъ ей что-то нашептывалъ и вдругъ, ко всеобщему остолбенѣнію, моему въ особенности, Ольга заговорила по-англійски:

— The approbation of the greatest living tragedian will for ever be imprinted in my grateful heart.

Какъ она произносила, не знаю, да я и не понялъ: фразу эту я списалъ послѣ, а тогда перевелъ ее намъ Вите.

Выслушавъ Ольгу съ снисходительной улыбкой, хотя и съ расширенными нѣсколько глазами, Ольдриджъ отвѣчалъ тоже по-англійски, приблизительно, по тутъ же сдѣланному переводу Вите, слѣдующее:

— Изъ Корделій, съ которыми мнѣ приходилось играть на разныхъ русскихъ сценахъ, вы были несомнѣнно одной изъ лучшихъ. Благодаря вамъ, а равно замѣчательно художественной игрѣ и другихъ артистовъ гайской труппы, мнѣ удалось снискать одобрѣніе здѣшней почтенной публики въ большей мѣрѣ, нежели заслуживаетъ мой скромный талантъ.

Отъ приглашенія занять мѣсто за столомъ Ольдриджъ отказался. Онъ приложилъ обѣ руки къ желудку и развелъ ими, указывая вслѣдъ затѣмъ на Сименса: докторъ, молъ, запрещаетъ. Доливо-Вольскій, сколько ни уговаривали его и я, и Увальцевъ,— клялся и божился, что никакъ не можетъ, что и на минуту едва урвался и долженъ еще долго проработать. Цвѣтаевъ сообщилъ мнѣ потихоньку, что Ювинъ очень желалъ бы получить приглашеніе, что онъ здѣсь въ одной изъ залъ гостинницы съ какимъ-то цѣннымъ подаркомъ для Ольги. Я пропустилъ мимо ушей это заявленіе.

Временные гости ушли. Проводивъ ихъ, мы сѣли за ужинъ.

Онъ длился долго и прошелъ оживленно и весело. Меня и другихъ интриговало англійское привѣтствіе Ольги.

— Какъ это вы вдругъ выучились по-англійски?—приставали къ ней.

— Какъ бы ни выучилась, а выучилась. Захотѣла и выучилась.

Для меня это впослѣдствіи объяснилось: текстъ былъ сочиненъ Цвѣтаевымъ, который отыскалъ въ Гайскѣ какого-то англичанина, заставилъ его перевести фразу, заучилъ ее самъ, затѣмъ выучилъ ей и Ольгу. Подъ суфлянію того же Цвѣтаева Ольга такъ удачно и пустила въ оборотъ эту фразу. Она дѣйствительно была хорошая актриса.

Было около четырехъ часовъ, когда стали разъѣзжаться. Мы вышли гурьбой; у подъѣзда ждалъ десятокъ извощичьихъ саней. Ночь была морозная и мѣсячная.

— Господа, что за прелесть ночь. Прокатимся немного за городъ, а потомъ проводимъ Ольгу Васильевну; она сегодня именинница.

Почти всѣ приняли приглашеніе. Я, разумѣется, ѣхалъ съ Ольгой; Сименсъ подхватилъ Любу и клялся, что никому ее не уступитъ. Я шепнулъ Цвѣтаеву, чтобы онъ захватилъ нѣсколько бутылокъ шампанскаго, бокаловъ и ѣхалъ къ Ривановымъ.

Ольга вздрагивала отъ холода; я развернулъ свою широкую енотовую шубу и мы оба въ нее закутались. Ольга довѣрчиво ко мнѣ прижалась; я крѣпко поцѣловалъ ее въ губы; она не отклонилась и засмѣялась. Это былъ нашъ первый поцѣлуй. Впослѣдствіи Ольга увѣряла, что это былъ вообще первый поцѣлуй въ ея жизни, разумѣется, не считая сцены.

Сзади доносился до насъ смѣхъ и споръ Сименса съ Любой. По нашему примѣру, они тоже закутались въ шубу Сименса и споръ шелъ о поцѣлуѣ. Когда я хотѣлъ поцѣловать Ольгу еще разъ, она отклонилась.

— Довольно на сегодня; губы заболятъ.

— Я васъ увезу.

— Куда?

— Куда бы то ни было, къ себѣ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы не разставаться съ вами.

— Нельзя; завтра репетиція Дездемоны; я и то не успѣю выспаться.

— Богъ съ нею, и съ репетиціей, и съ Дездемоной. Увезти?

— Не стоитъ; слишкомъ свѣтло. Все равно, увидятъ, догонятъ и отымутъ.

— Кто же?

— Да хоть Люба. Она даромъ что такая тихая, а смотритъ за мной въ оба глаза.

— А вы этимъ недовольны?

— Мнѣ все равно, я сама себя знаю.

— Мы устроимъ такъ, что скоро васъ никто отъ меня не отыметъ.

Мы подъѣзжали къ квартирѣ Ривановыхъ; въ окнахъ виднѣлся свѣтъ. Насъ встрѣтили Цвѣтаевъ и Риванова мать, порядкомъ заспанная и не очень довольная. Мы дѣйствительно пересолили: всѣмъ хотѣлось спать, и, не допивъ даже по второму бокалу, всѣ разъѣхались. Мы съ Сименсомъ вышли послѣдніе и вмѣстѣ сѣли въ сани. Вите уѣзжалъ съ Левиной.

— Bonne chance,—крикнулъ имъ вслѣдъ Сименсъ.

— Merci; je ne le lache point,—раздался въ отвѣтъ развязный отвѣтъ Левиной.

— Эхъ-ма, мы-то съ вами простаки, ѣдемъ вдвоемъ,—заговорилъ докторъ.—Если бы дома не жена, да не пара ребятъ, не уступилъ бы я своей спутницы. Что за славная бабенка!

— Вотъ я завтра разскажу о вашихъ мечтаніяхъ Александрѣ Викторовнѣ.

— Не повѣритъ; она знаетъ, что еще постоитъ за себя. Ну да я, положимъ, не въ счетъ, а вы-то чего зѣвали? Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait!

Докторъ вздохнулъ.

— Эхъ вы, старикъ! Пожалуй, въ самомъ дѣлѣ лѣтъ на пять старше меня.

— На десять, батюшка, на десять: тридцать девятый; да и женѣ ужъ двадцать восемь. Жисть, жисть,— какъ говорятъ въ Москвѣ, уйдетъ и не оглянешься. Что толку, что и жилъ.

— Что толку? Взгляните, какъ хорошо кругомъ, какъ блестятъ звѣзды, какъ горитъ Юпитеръ, какъ мерцаетъ, переливая изъ цвѣта въ цвѣтъ, Сиріусъ.

— Онъ будетъ мерцать и переливать и тогда, когда о насъ не только люди, но и черви забудутъ. Да мнѣ-то что въ его мерцаньи и переливаньи? Лучше бы онъ не мерцалъ, да и я не былъ какимъ-то эфемернымъ червякомъ, который сегодня какъ будто нѣчто, и болтаетъ, и на Юпитера смотритъ, а завтра завѣдомо ничто. Философы тоже!

Я зналъ, что Ольгѣ не до меня и оставилъ ее въ покоѣ.

На третій день давался Отелло и прошелъ для Ольги не менѣе удачно, какъ и Лиръ. Съ самаго начала спектакля она во мнѣніи публики стояла чуть не наравнѣ съ Ольдриджемъ; по крайней мѣрѣ, его ни разу не вызывали безъ Ривановой. И дѣйствительно, Ольга играла прекрасно: вѣрность интонаціи, изящество жестовъ, соотвѣтствіе мимики смыслу рѣчей Ольдриджа, произносимыхъ на непонятномъ для нея языкѣ — все было въ ея игрѣ. Мастеръ же этотъ Цвѣтаевъ дрессировать актрисъ, думалось мнѣ. Мнѣ было даже нѣсколько досадно и, пожалуй, едва ли я не былъ бы болѣе доволенъ, если бы Ольга играла похуже. Ольдриджу поднесли серебряный кубокъ, Ольгѣ золотой браслетъ. Кто его передалъ въ оркестръ, я не замѣтилъ, но не Ювинъ, хотя, быть можетъ, и отъ него. Менѣе удачна была роль Ольги въ послѣдней пьесѣ репертуара Ольдриджа, Венеціанскомъ кущѣ. Дочь Шейлока, Джесику, играла Левина и играла очень мило. Самый типъ ея красоты, смахивавшій на еврейскій, былъ какъ нельзя болѣе кстати. Ольга, въ роли Порціи, была не совсѣмъ удовлетворительна, быть можетъ, оттого, что главные моменты роли ей приходилось вести въ мужскомъ костюмѣ, въ которомъ она была довольно неловка. Признаюсь, этотъ костюмъ былъ мнѣ вовсе не по сердцу; я даже готовъ былъ протестовать противъ исполненія Ольгой роли Порціи, но удерживался, обсудивъ, что протестъ мой останется втунѣ.

Спектакли Ольдриджа кончились, да и пора было: оживленіе, которое они внесли въ гайскую жизнь, начинало переходить въ утомленіе. Я былъ особенно радъ: благодаря необходимости писать рецензіи, мнѣ постоянно приходилось вилять между Сциллой и Харибдой, какъ въ отношеніи Ольдриджа, такъ и въ отношеніи Ольги. И одного, и другую такъ же опасно было перехвалить, какъ и недохвалить. Увальцевъ и такъ увѣрялъ, что я увертливъ, какъ сорокъ дипломатовъ вмѣстѣ. „Хорошо, хоть то—прибавлялъ онъ,— что и насъ всѣхъ, за-урядъ, произвели чуть не въ театральные генералы“. Я вздохнулъ свободно, когда Ольдриджъ уѣхалъ.

Въ страсти, какъ въ волнѣ, чередуются подъемъ и паденіе, и чѣмъ выше подъемъ, тѣмъ и паденіе глубже. Въ моей любви къ Ольгѣ послѣ напряженности послѣднихъ дней послѣдовало нѣкоторое охлажденіе. Мнѣ не очень хотѣлось ее видѣть; въ теченіе недѣли я зашелъ къ Ривановымъ всего два раза и то не надолго. Съ Ольгой, встрѣчавшей меня нѣсколько привѣтливѣе прежняго, я могъ перемолвиться лишь нѣсколькими словами и они относились къ тому, что Мальцевская съ нею окончательно не гово-

ритъ, что Доливо-Вольскій относится къ ней очень сухо, а за нимъ и многіе изъ труппы.

Черезъ недѣлю, утромъ, я получилъ записку отъ Любови Васильевны: „Сегодня вечеромъ я занята въ театрѣ, а Ольга свободна и будетъ дома; вы можете видѣть ее одну и переговорить съ нею; мама не помѣшаетъ". Сообщеніе это возбудило во мнѣ довольно странное чувство, очень далекое отъ восторга: тащутъ, молъ, къ расправѣ бычка на веревочкѣ. О томъ, что лучше, быть или не быть сегодня у Ривановыхъ, я не разсуждалъ, я зналъ, что буду: законъ нравственнаго движенія въ данномъ направленіи по инерціи такъ же непреодолимъ, какъ и движенія физическаго. Мало того, если бы для свиданія моего съ Ольгой встрѣтилось какое-нибудь препятствіе, я былъ бы раздосадованъ, но въ увѣренности, что я ее увижу, я медлилъ непростительно. Довольно долго я проспалъ послѣ обѣда, долго пилъ чай и, наконецъ отправившись изъ дома, заѣхалъ въ театръ, хотя тамъ шла пьеса, которую я вовсе не намѣренъ былъ видѣть. По окончаніи перваго акта, я пошелъ за кулисы. Меня увидѣла, сходя со сцены, Любовь Васильевна, изображавшая какую-то древнюю русскую боярыню въ сарафанѣ и кокошникѣ.

— Вы отъ насъ?—спросила она.

— Нѣтъ, только собираюсь къ вамъ.

— Вы получили утромъ мою записку?

— Получилъ.

Она пожала плечами, — единственный неграціозный жестъ въ манерахъ Любы, но у нея и онъ выходилъ очень мило.

— Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна знаетъ, что я пріѣду?

— Не знаю, я съ нею о васъ не говорила. Но прощайте; нужно идти переодѣться. Если будете у насъ, еще увидимся; я здѣсь скоро отдѣлаюсь.

Но я все еще не пошелъ къ Ривановымъ, а прошелъ въ фойе, потомъ встрѣтилъ Доливо-Вольскаго и довольно долго слушалъ разсказы его о „свирѣпости" Ольдриджа.

— Ужъ подлинно Шейлокъ: за каждую копѣйку готовъ вырѣзать по фунту мяса.

— Да вѣдь не изъ удовольствія бродитъ онъ по нашимъ весямъ. Признайтесь, и для васъ его спектакли обошлись не безъ выгоды.

— Еще бы! Иначе я не пригласилъ бы его. Считать и мы умѣемъ.

Доливо-Вольскій любилъ прикидываться ловкимъ аферистомъ.

— А впрочемъ, чортъ его знаетъ, дѣйствительно ли выгодно. Былъ, правда, постоянно полный театръ, за то теперь пустуетъ. Городъ-то не изъ важныхъ, зрители все одни и тѣ же и съ нихъ больше того, что́ можно, на театръ не вытянешь, хоть ты имъ Щепкина, Тамберлика или Фанни Эльслеръ приглашай. А тутъ еще вы съ своей критикой.

— Вотъ тебѣ на! А я думалъ, что вы меня благодарите денно и ночно: не будь критики, публика наполовину меньше интересовалась-бы театромъ.

— Такъ-то оно такъ, но вы съ вашей Ривановой мнѣ вотъ гдѣ сидите,—онъ показалъ на затылокъ.

— Это почему?

— Про то ужъ я знаю. Хоть бы увезли ее, что ли?

— А сколько неустойки возьмете?

— Придачи дамъ. Просто отъ труппы житья теперь нѣтъ изъ-за нея: разносился-молъ съ Ривановой какъ дурень съ писаной торбой. А мы-молъ чѣмъ хуже?

— Да вѣдь она единственная талантливая у васъ актриса.

— Ну, полноте, есть и другія не хуже ея, да во всякомъ случаѣ, что мнѣ съ нея толку. Вотъ Левина, та, по крайней мѣрѣ, каждый спектакль десятокъ лишнихъ зрителей привлечетъ: дожидаются, кому платокъ бросить съ нею ужинать. Театръ не монастырь. Знаете ли, я подумываю, не остаться ли здѣсь послѣ масляной, да завести великопостныя живыя картины какъ въ Москвѣ бываютъ: рынокъ невольницъ, Амуръ и Психея. Да чорта съ два въ этомъ Гайскѣ и невольницъ подходящихъ отыщешь. Куда ни взглянешь кругомъ—все уродъ на уродѣ.

Въ отместку за Ольгу, я хотѣлъ-было сказать, что подходящая Психея на-лицо — Мальцевская, да взглянулъ на дебелую фигуру Доливо-Вольскаго и поудержался.

Было уже около десяти часовъ, когда я постучался къ Ривановымъ. Мнѣ отворила Ольга.

— Хотите чаю? Мама, кажется, уже спитъ, но я сама живо поставлю самоваръ.

Я отказался.

— Что же мы съ вами будемъ дѣлать? Хоть бы вы меня какой-нибудь умной игрѣ выучили.

— Выучу, но сперва мнѣ хотѣлось бы поговорить съ вами.

— О чемъ?

— О многомъ. Сядемте.

Я взялъ ее за руку и предался даже размышленію, поцѣловать ли ее сначала и потомъ приступить къ объясненію или

объясненіе закончить поцѣлуемъ. Но размышлять мнѣ пришлось недолго; раздался стукъ въ наружную дверь и явился Цвѣтаевъ.

— Здравствуйте, Василій Ивановичъ, а я васъ только-что видѣлъ въ театрѣ. Матушка, Ольга Васильевна, будьте отцомъ роднымъ, напойте чайкомъ; смерть измучился; три акта отвалялъ; ломался такъ, что въ горлѣ пересохло. Что, пустенекъ-то театръ. Впрочемъ, довольно они при Ольдриджѣ награбастали; будетъ съ нихъ. Даже намъ нашъ Долива все жалованье до копѣйки за прежнее время выдалъ.

— А сколько получилъ Ольдриджъ?

— Это у насъ глубокая тайна; ее самъ кассиръ не знаетъ. Когда разсчеты были покончены, взаимныя условія собственноручно были изорваны Доливой и Ольдриджемъ въ мелкіе кусочки. Должно полагать, получилъ Ольдриджъ не мало. А за что—подумаешь. Вся штука въ томъ, что играетъ-то всего три роли—спеціалистъ, молъ, да негръ въ придачу. А то какъ есть заурядный актеръ.

— Будто бы?

— Вѣрно. Да что! хотите я вамъ все это не хуже его изображу?

Ставъ въ позу, Цвѣтаевъ вдругъ, на импровизированномъ англійскомъ языкѣ, шипя и пришепетывая, сталъ декламировать монологъ въ подражаніе Ольдриджевскому Шейлоку. Голосъ, осанка, жесты, мимика были такъ похожи и въ тоже время такъ карикатурны, что мы съ Ольгой хохотали до упаду. Еще комичнѣе вышелъ грозный Отелло съ палкой отъ половой щетки, привѣшенной на носовомъ платкѣ къ боку на подобіе сабли.

— Постойте, теперь я изображу вамъ несчастную жертву свирѣпаго мавра.

Состроивъ скромную до глупости мину, Цвѣтаевъ сталъ пародировать Ольгу въ роли Дездемоны. Ольга и смѣялась, и сердилась.

— Перестаньте; неправда, я была не такая. Перестаньте, не то я серьезно разсержусь, и чаю не дамъ, и прогоню.

Въ это время возвратилась Любовь Васильевна, но Цвѣтаевъ не унимался, точно задавшись какой-то цѣлью; за Дездемоной послѣдовала Корделія; за ней Порція. Неловкая походка Ольги въ мужскомъ костюмѣ, дубоватыя манеры мнимаго законника передавались Цвѣтаевымъ въ изумительно похожей карикатурѣ. Ольга, наконецъ, серьезно разсердилась, заплакала какъ капризный ребенокъ и ушла въ другую комнату.

— Какъ вамъ не стыдно такъ дразнить ее, — заявила въ полголоса Любовь Васильевна:—вы знаете, какая она самолюбивая.

— Дѣйствительно, глупо. Къ чему я это дѣлалъ.

Онъ сталъ необыкновенно серьезенъ. Любовь Васильевна

долго убѣждала сестру, прежде чѣмъ та согласилась снова къ намъ выйти.

— Противный! Если вы еще разъ когда-нибудь посмѣете представлять меня, мы съ вами враги на-вѣки-вѣчные.

— А другихъ можно?

— Это ужъ не мое дѣло. Любу—сколько хотите; пусть попробуетъ, какъ это пріятно.

— Можно, Любовь Васильевна?

— Очень буду рада видѣть, какова я на сценѣ.

Цвѣтаевъ засѣменилъ мелкими шажками, какъ выступала Люба въ костюмѣ судейскаго писца въ томъ же Шейлокѣ,

„Такъ точно. Онъ свидѣтельствуетъ вамъ
Почтеніе",—

тоненькимъ голоскомъ декламировалъ Цвѣтаевъ, комично склонивъ голову на-бокъ и не зная, повидимому, куда дѣвать руки. Любовь Васильевна смѣялась, хотя и сильно покраснѣла.

— Вамъ бы въ шуты идти,—замѣтила Ольга.

— Собираюсь, въ клоуны въ московскій циркъ на время поста.

— Давайте въ дураки играть, — предложила Ольга, когда чай былъ отпитъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, — возразила Любовь Васильевна,—не нужно больше этихъ дураковъ; и для насъ глупо и еще глупѣе, что мы заставляемъ Василія Ивановича проводить такъ время. Если намъ не о чемъ говорить, лучше идти спать.

— Ну вы съ Василіемъ Ивановичемъ будьте умными, а мы будемъ дураками. Хотите играть, Яковъ Петровичъ?

— Играть нечѣмъ; карты были такія грязныя, что я бросила ихъ въ печку.

— Очень вамъ благодарна, что вы распоряжаетесь моими вещами.

— Полно капризничать, Оля. Давай лучше поболтаемъ.

— Спасибо. Я, во-первыхъ, не сорока, а, во-вторыхъ, слишкомъ глупа для васъ. Я ужъ лучше по вашему совѣту пойду спать.

— Это на душѣ Якова Петровича грѣхъ. Онъ привелъ Ольгу Васильевну въ такое дурное расположеніе духа. Да и дѣйствительно спать пора.

Мы вышли вмѣстѣ съ Цвѣтаевымъ и шли молча.

„Не женися, молодецъ, слушайся меня.
На тѣ деньги, молодецъ, ты купи... вина",—

запѣлъ Цвѣтаевъ.

— Кого это вы назидаете?

— Себя-съ. Кого же больше? Какое мнѣ дѣло до другихъ?

— А вы собираетесь жениться?

— Напротивъ, какъ вы изволили слышать, собираюсь не собираться жениться.

Мы дошли до угла; Цвѣтаеву предстояло повернуть на-лѣво, мнѣ на-право. Но, выждавъ, пока онъ отошелъ на приличное разстояніе, я пошелъ обратно къ Ривановымъ, почему-то сообразивъ, что именно въ тотъ же вечеръ долженъ объясниться съ Ольгой. Дверь отворила мнѣ Любовь Васильевна.

— Ольга, кажется, уже легла. Подождите, я скажу ей.

— Ну вотъ; буду я еще вставать,—послышался изъ другой комнаты капризный голосъ.—Точно нельзя завтра.

— Да не вставай, пусть Василій Ивановичъ войдетъ сюда на минуту.

— Вотъ еще! Тогда я лучше встану.

Минуты черезъ три Ольга вышла, позѣвывая, въ большомъ платкѣ, съ распущенными волосами.

— Простите, Оля, что я васъ побезпокоилъ. Мнѣ непремѣнно хотѣлось сегодня кончить нашъ разговоръ, прерванный Цвѣтаевымъ. Болѣе двухъ недѣль, помните, съ того вечера, я не имѣлъ случая видѣть васъ одну. Скажите, вы не сердитесь, что я васъ поднялъ?

— Все равно, я встала; что мнѣ сердиться.

— Скажите, любите вы меня.

— Не знаю.

Я поцѣловалъ ее. Она подняла на меня глаза, которые показались мнѣ кроткими и нѣжными какъ глаза Дездемоны.

— Любите, да?

— Не знаю, послѣ скажу.

— Когда послѣ?

— Когда-нибудь.

— Когда-же?

— Ну хорошо, сегодня воскресенье, въ среду скажу.

— Почему въ среду, а не сейчасъ?

— Сказала, въ среду. Пустите меня, идите. Мама услышитъ, будетъ бранить меня за то, что я сижу съ вами раздѣтая. Идите, я провожу васъ.

— Нужно проститься съ Любовью Васильевной.

— Не надо; идите: мнѣ стыдно, она слышала, какъ мы цѣловались. Я буду сидѣть здѣсь, пока она заснетъ.

Въ передней я еще разъ хотѣлъ обнять ее; она плотно укуталась платкомъ.

— Идите, а то и въ среду меня не увидите.

— Еще поцѣлуй на прощанье.

— Ну хорошо, только не дотрогивайтесь до меня; я васъ сама поцѣлую. Ну, теперь идите.

Вышелъ я отъ Ривановыхъ въ какомъ-то грустно или, по меньшей мѣрѣ, задумчиво-блаженномъ настроеніи. Въ смыслѣ отвѣта, какой я получу въ среду, я не сомнѣвался. Итакъ, finita la comedia и холостой жизни конецъ. Собственно говоря, о холостой жизни мнѣ жалѣть особенно было нечего: я всегда былъ человѣкомъ очень степеннымъ и молодость моя протекла въ порядкѣ и почти безъ всякихъ увлеченій, но меня пугали предстоящія заботы и хлопоты. Правда, сближеніе съ любимой дѣвушкой, предстоящее обладаніе любимой женщиной уравновѣшивали въ моихъ мечтахъ тяжесть этихъ хлопотъ и заботъ, но не поглощали ихъ совершенно, какъ это несомнѣнно было бы при болѣе глубокой и осмысленной любви. Первое чувство, съ которымъ я проснулся на другой день, это нѣкоторая отрада, что еще цѣлые два дня я могу ни о чемъ не думать. Во мнѣ мелькнула даже неопредѣленная надежда, что авось что-либо отдалитъ среду на нѣкоторое время. Затѣмъ мнѣ со всею ясностью, въ первый разъ, предстала личность моей будущей тещи съ ея болѣе чѣмъ сомнительнымъ прошлымъ. Но я поскорѣй поспѣшилъ заглушить эту мысль.

Вечеромъ я былъ въ театрѣ и побывалъ за кулисами. Шелъ „Ревизоръ“ и Ольга играла роль дочери городничаго. Она, впрочемъ, по обыкновенію, почти все время антрактовъ проводила въ уборной и я ее видѣлъ только издали. Съ Любовью Васильевной имѣлъ маленькій разговоръ,—не о вчерашнемъ; объ этомъ она ни слова.

— Ахъ, я забыла вамъ сказать о счастіи, которое насъ посѣтило. Доливо-Вольскій необыкновенно къ намъ внимателенъ, особенно къ Ольгѣ. Онъ два раза къ-ряду, вчера утромъ и сегодня, былъ у насъ и ясно намекаетъ, что не прочь бы теперь же заключить съ нами контрактъ и на лѣто, и на будущую зиму. Передъ театромъ я зашла къ Увальцевымъ; тѣ говорятъ уже, что ходятъ слухи, будто Доливо-Вольскій окончательно разсорился съ Мальцевской и намѣренъ ея мѣсто предложить Ольгѣ.

— Какое мѣсто?

— Вѣроятно, мѣсто первой любовницы,—спросите Увальцева, онъ здѣсь,—быть можетъ, даже не только на сценѣ.

— Что за нелѣпость!

— Я и передаю вамъ какъ о нелѣпости, о которой вамъ, однако, не мѣшаетъ знать. Да вотъ Увальцевъ, спросите его, откуда эти слухи.

Я, однако, Увальцева ни о чемъ спрашивать не сталъ и ушелъ изъ-за кулисъ въ очень досадливомъ настроеніи духа.

Отвѣтъ, ожидавшійся въ среду, не только не отдалился, но былъ полученъ днемъ раньше. Во вторникъ, возвратясь изъ гимназіи и пообѣдавъ, я легъ спать съ тѣмъ, чтобы вечеромъ отправиться въ клубъ поиграть въ ералашъ. Часовъ въ семь Аниська разбудила меня и сказала, что меня спрашиваетъ какая-то дама. Это была Ольга.

— Видите, я сама къ вамъ пріѣхала.

— Очень радъ; давайте сюда шляпку и шубу.

— Меня Люба прислала. Вотъ вамъ записка отъ нея.

Ольга подала мнѣ запечатанный конвертикъ. Въ запискѣ значилось: „Посылаю къ вамъ Ольгу. Если вы дѣйствительно ее любите, то устройтесь съ нею окончательно. Иначе она можетъ быть для васъ потеряна. Сейчасъ я едва устранила то, что могло бы навсегда отдалить ее отъ васъ“.

— Вы читали эту записку?

— Нѣтъ. Я просила; Люба не дала, сказала, послѣ узнаешь.

— Прочтите и скажите, что такое случилось.

— Ничего не случилось, Люба все выдумываетъ. Пріѣхалъ Ювинъ и сталъ просить, чтобы я ѣхала съ нимъ кататься. Я не хотѣла, отговаривалась; онъ все приставалъ; мама тоже говоритъ: „поѣзжай, что ты все дома сидишь, только не надолго“. Я пошла одѣваться. Люба говоритъ: „не ѣзди, иначе погибнешь“. Я говорю, не знаю, кого слушать; онъ меня ждетъ; что я ему скажу“? Говоритъ: „одѣвайся, пройди чернымъ ходомъ и поѣзжай къ Василію Ивановичу. Я дамъ тебѣ записку“. Я и пріѣхала. Больше ничего. Люба вѣчно напутаетъ. Что за бѣда, еслибы я и проѣхалась немного съ Ювинымъ?

— Любовь Васильевна прекрасно сдѣлала и я очень, очень ей благодаренъ. Но садитесь, отдохните; мы сейчасъ поговоримъ.

Я зажегъ лампу, поставилъ свѣчи во всѣхъ трехъ комнатахъ и приказалъ давать чай. Затѣмъ подсѣлъ къ Ольгѣ и взялъ обѣ ея руки въ свои.

— Оля, что я васъ люблю, вы давно знаете. Завтра вы обѣщали сказать, любите вы меня. Скажите теперь, любите?

Она молчала.

— Скажите же, любите, хотите быть моей женою?

Она подняла на меня глаза.

— Если бы не хотѣла, не пріѣхала бы.

Я обнялъ и поцѣловалъ ее.

— Какъ вы крѣпко цѣлуете. У меня еще отъ позавчерашняго все лицо болитъ; вы бородой натерли. Покажите мнѣ ваши комнаты. Это ваша мебель или хозяйская?

— Почти все моя, хозяйской немного.

— Сколько у васъ книгъ; только больше не-русскія. Можно вашъ альбомъ посмотрѣть?

— Смотри, что́ хочешь, какъ полная хозяйка. Только давай говорить другъ другу ты.

— Хорошо, ну ты, ты... Нѣтъ лучше послѣ, а то мнѣ будетъ казаться, будто это на театрѣ. Какое веселое кресло; такъ бы все сидѣла и качалась. Въ самомъ дѣлѣ, какъ у васъ все хорошо прибрано, аккуратно, красиво.

— Если такъ нравится, не уходи, оставайся. Завтра обвѣнчаемся.

Она разсмѣялась.

— Кто же насъ теперь станетъ вѣнчать,—теперь постъ. А остаться, если хотите, останусь; мнѣ все равно. Дома мнѣ очень надоѣло.

Мнѣ кровь бросилась въ голову.

— Оля, ты понимаешь, что значитъ молодой дѣвушкѣ остаться у холостого?

— Понимаю. Но вы сказали, что мы женимся; вы меня не обманете.

Я въ волненьи ходилъ по комнатѣ.

— Я несомнѣнно не обманулъ бы тебя, я никого никогда не обманывалъ, но я сдѣлаю лучше. Какъ бы ни былъ я счастливъ, еслибы могъ съ этой же минуты не разставаться съ тобою,— я не хочу, чтобы наша совмѣстная жизнь начиналась скандаломъ, чтобы общество, въ которое ты войдешь, имѣло право смотрѣть на тебя съ двусмысленной улыбкой.

Я сдѣлалъ паузу. Сказанное мною было и возвышенно, и краснорѣчиво и меня немного смущала только мысль, нѣтъ ли чего подобнаго у Шекспира, Островскаго или Дьяченко, не разсмѣялась бы Ольга. Но она не смѣялась, а слушала, расширивъ нѣсколько глаза и открывъ ротъ. Я продолжалъ:

— Вотъ что:—поѣдемъ сейчасъ къ вамъ, объявимъ, что мы женихъ и невѣста, возьмемъ Любу; пригласимъ твою матушку, если ей будетъ угодно, и пріѣдемъ ко мнѣ пить чай. Хорошо?

— Какъ хотите, мнѣ все равно.

Черезъ три четверти часа я былъ уже дома и занимался

приготовленіями къ пріему невѣсты, ея сестры и неизбѣжнаго Цвѣтаева, котораго засталъ у Ривановыхъ и не могъ не пригласить. Будущая теща, которую мы нашли порядкомъ не въ духѣ и которая, повидимому, не особенно обрадовалась моему сватовству, ѣхать ко мнѣ отказалась: „куда я поѣду ночью? Дурите уже сами, а меня увольте".

Отдавъ приказанія на случай прибытія гостей, я забѣжалъ на минуту къ Сименсу, который жилъ напротивъ.

— Слышишь, Саша,—закричалъ онъ женѣ изъ кабинета, когда я передалъ ему свою новость, — молодецъ то порѣшился, сосватался.

— Отъ души поздравляю,—пожимая мнѣ руку, говорила Александра Викторовна,—и желаю вамъ счастья. Какъ можно скорѣе приводите къ намъ вашу невѣсту.

— А вы, докторъ, что не поздравляете? Что вы скажете?

— Да что скажу? Скажу хорошо и больше ничего. Извѣстно, каждому человѣку ужъ отъ Бога положено хоть разъ въ жизни сдѣлать глупость—такъ или иначе связаться съ бабой. А тамъ, какимъ соусомъ эта глупость приправлена, не все ли равно. Чи вмеръ, чи болячка задавила,—конецъ одинъ.

Нѣтъ ни малѣйшей надобности разсказывать ни о тѣхъ полутора мѣсяцахъ, которые прошли до свадьбы, ни о самой свадьбѣ. Останавливаюсь лишь кое-на-чемъ. Главный вопросъ состоялъ въ томъ, когда должна быть свадьба. Сватовство мое происходило около двадцатыхъ чиселъ декабря и театральнаго сезона оставалось еще болѣе полутора мѣсяца: въ началѣ февраля масляница, затѣмъ постъ. Допустить, чтобы моя жена, жена старшаго учителя гимназіи, фигурировала на подмосткахъ, я признавалъ неблаговиднымъ, да и служба моя несомнѣнно могла потерпѣть отъ этого. Между тѣмъ, Доливо-Вольскій и слышать не хотѣлъ о нарушеніи контракта съ Ольгой. Нарушить его можно было только съ уплатой неустойки въ нѣсколько сотъ рублей и притомъ потерять бенефисъ. Положимъ, деньги у меня были, тысячъ около трехъ, но бросать ихъ зря мнѣ вовсе не хотѣлось. Да и Люба, которая стала нашимъ ментором, рѣшила, что дарить ихъ Доливо-Вольскому не слѣдуетъ. Мы согласились, что свадьбу отложимъ до февраля и Ольга будетъ продолжать играть. Но этимъ дѣло не распутывалось. Послѣдній день, въ который можно было вѣнчаться,—пятница передъ масляной, контрактъ же Ольги захватывалъ и масляницу. Совмѣщеніе несовмѣстимаго, какъ извѣстно, если и можетъ имѣть мѣсто, то не иначе, какъ по соизволенію свыше. Оно и послѣдовало. Губер-

наторъ объявилъ Доливо-Вольскому, что если тотъ не дастъ письменнаго согласія на прекращеніе съ 1-го февраля дѣйствія контракта съ Ольгой Ривановой, то ни онъ, ни многіе изъ его пріятелей, носа въ театръ не покажутъ. Антрепренеръ долженъ былъ уступить. Милость свыше этимъ не ограничилась. Какъ то въ театрѣ губернаторша потребовала меня къ себѣ въ ложу и милостиво выразила надежду, что въ одинъ изъ слѣдующихъ спектаклей я познакомлю ее съ своею невѣстой. Я, разумѣется, не замедлилъ исполнить любезное приказаніе: — на другой же день, по совѣщаніи съ Александрой Викторовной и съ Любой, я купилъ дорогой матеріи на платье Ольгѣ — не въ тѣхъ же платьяхъ, въ которыхъ она бывала на сценѣ, явиться ей къ губернаторшѣ. Черезъ три дня платье, очень нарядное и изящно сшитое, было готово, а черезъ недѣлю, въ свободный для Оли день, она имѣла честь просидѣть весь спектакль въ губернаторской ложѣ. Посвященіе ея въ члены мѣстнаго общества совершилось. Ея обычная неразговорчивость была приписана скромности и почтительной робости, и все сошло какъ нельзя лучше.

Впрочемъ рядомъ съ поощреніемъ сдѣланнаго мною шага, мнѣ какъ Цезарю предъ идами марта, были тревожныя предзнаменованія.

Во-первыхъ, я видѣлъ сонъ. За мной гонялся черный жеребенокъ, превратившійся потомъ въ чернаго человѣка (въ родѣ Ольдриджа, только поменьше и почернѣе), который положилъ мнѣ палецъ на языкъ и спросилъ: „ну что, сладко умирать?“ Если бы я вскорѣ послѣ того умеръ, то несомнѣнно счелъ бы этотъ сонъ предвѣщаніемъ близкой кончины, но такъ какъ этого не случилось, то сонъ слѣдовательно относился къ женитьбѣ.

Были и предостереженія. На третій день послѣ помолвки я заѣхалъ къ Увальцевымъ. Къ моему удивленію они меня не поздравили. Я самъ долженъ былъ начать рѣчь о предстоящей женитьбѣ моей.

— Ольга Васильевна,—сказала послѣ не продолжительнаго молчанія Увальцева,—несомнѣнно прекрасная дѣвушка, но, простите, дорогой Василій Ивановичъ, достаточно ли вы познакомились съ нею, сходятся ли настолько ваши характеры, что ваша будущая жизнь съ нею...

— Варя!—почти съ крикомъ прервалъ ее мужъ, ударяя кулакомъ по столу,—какое тебѣ до всего этого дѣло? Что ты вѣчно суешь свои пальцы между дверью и притолокой? Мало еще у тебя враговъ изъ-за твоего языка? Кого ты предостережешь, кого исправишь? Да и почему ты можешь знать что-нибудь?

Оставь каждаго жить такъ, какъ онъ находитъ лучше, и не каркай ворономъ.

Я обратился въ Ватѣ съ просьбою быть у меня шаферомъ.

— Что-жъ, хорошо. Бывалъ я секундантомъ на дуэли, бывалъ распорядителемъ на похоронахъ; шаферомъ быть не случалось, но думаю, это не страшнѣе. Предупреждаю однако, какъ на дуэли, такъ и на свадьбѣ я за послѣдствія не отвѣчаю и заранѣе умываю руки. Съ своей стороны могу увѣрить, что у насъ съ Левиной дѣло до свадьбы не дойдетъ и я васъ въ шафера къ себѣ не приглашу.

— Что вы этимъ хотите сказать?

— Не больше того, что́ сказалъ. Разумѣется, между mademoiselle Ривановой и Левиной я не думалъ проводить ни малѣйшей параллели. Просто сорвалась съ языка бравада обреченнаго холостяка надъ женитьбой, совершенно неумѣстная, сознаюсь, предъ человѣкомъ, который зоветъ въ шаферы. Итакъ къ вашимъ услугамъ, когда прикажете. Разумѣется, не иначе, какъ въ предѣлахъ Гайска и его окрестностей. Климатъ другихъ странъ и весей, какъ вамъ извѣстно, признанъ для меня вреднымъ.

Быть посаженымъ отцомъ и посаженою матерью звалъ я Сименсовъ. Докторъ изъявилъ съ своей стороны полное согласіе, но относительно жены отвѣтилъ, что ей онъ ни за что не позволитъ: онъ не хочетъ, чтобы жена его прослыла совсѣмъ старухой. Пришлось довольствоваться этой причиной и въ посаженыя матери пригласить мою добрѣйшую хозяйку.

Воспроизвести въ точности, что́ я въ то время думалъ и чувствовалъ, было бы для меня затруднительно: за десять лѣтъ назадъ неизбѣжно глядишь сквозь призму дальнѣйшихъ чувствъ и событій. Одно несомнѣнно вѣрно: и въ моемъ сватовствѣ и въ моемъ положеніи жениха мнѣ все чудилось нѣчто не серьезное; точно это была не дѣйствительная жизнь, а разыгрываніе водевиля. Едва ли я ошибусь, сказавъ, что и Ольгѣ наши отношенія представлялись какъ бы театральными; оттого она такъ легко глядѣла на нихъ и готова была, напримѣръ, остаться у меня, если я пожелаю; точно въ водевилѣ: согласіемъ ея положеніе исчерпано, требуемый эффектъ произведенъ, а затѣмъ занавѣсъ опустится, она пойдетъ въ уборную, переодѣнется и отправится домой пить чай и играть въ дурачки. Этимъ я объясняю и то, что Ольга позволяла мнѣ дѣлать съ собой что угодно (видно, моль, по роли такъ слѣдуетъ): обнимать ее довольно нескромно, носить на рукахъ, сажать къ себѣ на колѣни. Одного она не

любила—поцѣлуевъ; опять-таки, какъ на сценѣ: она все боялась, что дурно выбритой бородой я натру ей лицо.

Призрачностью нашихъ отношеній объяснялось и то, что я откладывалъ свадьбу безъ положительной въ томъ надобности и то, что съ Ольгой я все-таки былъ скромнѣе, нежели былъ бы вѣроятно при болѣе реальномъ чувствѣ. Такой не серьезный характеръ нашихъ отношеній не ускользалъ и отъ другихъ, по крайней мѣрѣ отъ Любы.

— Вы не очень давайте намъ съ Ольгой волю,—говорилъ я ей шутя,—и хорошенько присматривайте за нами, а то долго ли до грѣха.

— Въ этомъ отношеніи я за васъ не боюсь. Знаете, я думаю, что вы „не сожгли бы за собой кораблей".

— Вѣроятно нѣтъ; зачѣмъ жечь. Я вообще не люблю безвыходныхъ положеній.

— И я тоже и менѣе всего могу желать, чтобы вы стали въ безвыходное положеніе относительно Оли. Но когда я гляжу на васъ съ Олей, мнѣ все кажется, что вы не настоящіе люди, а куклы на веревочкахъ. Такъ и ждешь, что веревочки оборвутся и занимательное представленіе кончится на половинѣ.

Мнѣ оставалось только пожать плечами и заявить, что хотя все это, должно быть, очень остроумно, но смыслъ сказаннаго остается для меня весьма теменъ.

О сестрѣ Ольга Васильевна выразила большую заботливость. На рождествѣ я съѣздилъ на нѣсколько дней въ Москву и по возвращеніи нашелъ Ривановыхъ на новой квартирѣ, недалеко отъ моей, очень приличной и чистой.

Какъ-то вечеромъ пришла Ольга. Она часто приходила, то одна, то съ сестрой. Съ вечера моей помолвки двери изъ моихъ комнатъ въ комнаты хозяекъ были отворены, составилась общая квартира и Ривановы приходили какъ бы собственно не ко мнѣ, а къ моимъ хозяйкамъ, которыя очень подружились съ Ольгой. Мать, какъ я сказалъ, была въ высшей степени благодушна; дочь, дѣвушка лѣтъ за сорокъ, была мечтательна и сантиментальна и принимала близко къ сердцу все, что̀ касалось любви и брака. Итакъ пришла Ольга.

— Ты одна?

— Да, я убѣжала изъ дома. Надоѣло слушать вѣчную брань мамы съ сестрою.

— За что?

— Все за меня. Любѣ прислали ея проценты за полгода,

а она всѣ ихъ отослала въ Москву шить мнѣ приданое. Мама сердится, говоритъ, сами потомъ голодать будемъ.

— Да она совершенно права. Съ какой стати сестрѣ на тебя тратиться. Ты не должна бы позволять этого.

— А мнѣ чего мѣшаться; развѣ я распоряжаюсь деньгами? Что́ и сама получаю, я имъ же все отдаю.

На другой день я предложилъ Любѣ взять отъ меня обратно все, что́ она издержала на сестру: Любовь Васильевна вспыхнула.

— Какое вамъ дѣло до этого? Ольга пока не жена ваша; можетъ быть, и не будетъ ею; мало ли что можетъ случиться. Женитесь, тогда издерживайте на нее, сколько хотите.

Ѳ. Стулли.

НАПОЛЕОНЪ I

по

НОВЫМЪ ИЗСЛѢДОВАНІЯМЪ

„Alles war gesagt, doch alles bleibt zu sagen".

Göthe.

Въ 1880 году, въ Парижѣ появились „Записки г-жи де-Ремюза", бывшей придворной дамы первой супруги Наполеона I-го, императрицы Жозефины. Записки эти, бойко и живо очерчивающія нравы и обычаи своего времени, важнѣйшихъ наполеоновскихъ содѣятелей и приближенныхъ, а главное—личность самого Наполеона, немедленно же привлекли къ себѣ вниманіе не одной французской, но также и европейской, а вмѣстѣ съ тѣмъ и нашей литературы, которая, тогда же поспѣшила познакомить нашу публику съ ними въ статьѣ, озаглавленной: „Наполеонъ за кулисами и на сценѣ" („Вѣстникъ Европы", 1880 г., кн. 6-я и 7-я). Нѣсколько позже, появляются уже не мемуары, а новое историческое изслѣдованіе о Наполеонѣ, за длинный періодъ времени, съ 1769 по 1799 годъ, т.-е., со дня рожденія его до переворота, 18-го брюмера, — изслѣдованіе, писанное на основаніи не однихъ только, болѣе или менѣе, извѣстныхъ историческихъ сочиненій и матеріаловъ, но на основаніи многихъ новыхъ, до сихъ поръ еще неизвѣстныхъ, источниковъ старательно авторомъ изъ различныхъ архивовъ извлеченныхъ, и историческое изслѣдованіе это проскальзываетъ какъ-то мало замѣтнымъ въ европейской литературѣ, а въ нашей остается почти

незамѣченнымъ. А между тѣмъ, оно, — не смотря даже на то, что историческая литература обладаетъ уже такими серьезными и цѣнными произведеніями, какъ книга Ланфрэ, — заслуживаетъ никакъ не меньшаго вниманія, чѣмъ записки г-жи Ремюза.

Историческое изслѣдованіе это, изданное подъ заглавіемъ „Бонапартъ и его время“ (Bonaparte et son temps, 1769—1799, d'après les documents inédits), заключается въ трехъ, довольно объемистыхъ томикахъ, и принадлежитъ перу французской артиллеріи подполковника Юнга. Имя Юнга не пользуется извѣстностью въ европейской литературѣ, а оба изслѣдованія его, какъ первое „Объ образованіи арміи первой республики“, появившееся въ 1872 году, такъ и то, о которомъ мы ведемъ теперь рѣчь, какъ по внѣшности своей, такъ и по профессіи ихъ автора, носятъ на себѣ, на первый взглядъ, тѣ черты спеціально-военныхъ произведеній, которыхъ однихъ часто бываетъ достаточно, чтобы литература обошла ихъ молчаніемъ, предоставляя оцѣнку ихъ военнымъ спеціалистамъ. Можетъ быть, что это и послужило причиною, почему объ книги Юнга, а особенно послѣдняя, имѣвшая во Франціи весьма большой успѣхъ, осталась, внѣ ея, вообще мало замѣченною.

Любопытно, однако, что имени Юнга довелось пріобрѣсть даже нѣкоторую извѣстность въ Европѣ, не по его книгѣ, а по судебному процессу, гдѣ ему пришлось выступить, благодаря главнѣйшимъ образомъ этому же труду. Не станемъ здѣсь подробно разсказывать этого процесса, извѣстнаго подъ названіемъ дѣла „Юнга-Вестина“, о которомъ, года четыре тому назадъ, очень много толковалось во всѣхъ европейскихъ газетахъ. Но считаемъ, однако, не лишнимъ напомнить о немъ читателю, какъ для характеристики Юнга, такъ равно нравовъ и пріемовъ, къ какимъ въ политической борьбѣ прибѣгаютъ бонапартистская, да и вообще всѣ, ей подобныя, реакціонныя партіи. Юнгъ — не молодой уже офицеръ, составившій себѣ на родинѣ не громкую, но солидную репутацію хорошаго знатока военнаго дѣла, даровитаго, но скромнаго, не гонящагося за карьерой работника и горячаго патріота. Во времена имперіи, Юнга, за его образъ мыслей, въ высшихъ сферахъ не любили и даже всячески старались препятствовать его служебному повышенію. Франко-прусская война ничѣмъ особеннымъ не выдвинула Юнга, хотя и подтвердила его репутацію честнаго дѣятеля. Принадлежа въ составу „самозатворившейся“ въ Мецѣ рейнской арміи, Юнгъ, вмѣстѣ съ генераломъ д'Андло и другими, былъ въ числѣ лицъ, всѣми зависящими отъ нихъ мѣрами сопротивлявшихся предательству Базена и давшихъ, что-

слѣдствіи, на судѣ, весьма полновѣсныя противъ него улики. Уже однихъ этихъ обстоятельствъ, не говоря даже о пріязни, которую всегда выказывалъ Юнгу покойный Гамбетта, въ органѣ котораго „Republique Française“ Юнгъ состоялъ, къ тому же, и сотрудникомъ, было совершенно достаточно, чтобы поднять противъ него всю ненависть бонапартистовъ. А тутъ появились еще двѣ книги Юнга, потрясающія самыя основы наполеоновской легенды! Такого пораженія партія бонапартистовъ вынести безнаказанно уже не могла, и вотъ она выдвигаетъ противъ него гг. де-Вестина, Жюля Амига и другихъ, подобныхъ имъ политическихъ интригановъ, которые, сначала—полупрозрачно, а затѣмъ и прямо обвиняютъ Юнга, ни больше, ни меньше, какъ въ предательствѣ отечества нѣмцамъ, въ образѣ выдачи имъ секретнѣйшихъ государственныхъ бумагъ, будто бы, вдругъ, исчезнувшихъ изъ канцеляріи военнаго министра, въ которой служилъ Юнгъ. Обвиненіе было обставлено такъ ловко внѣшними правдоподобностями, что, не смотря на всю безупречность прошлаго и настоящаго Юнга, получило въ обществѣ кредитъ, и вызвало процессъ, привлекшій къ себѣ чуть не весь Парижъ.

Результатъ процесса оказался, однако, не только не соотвѣтствующимъ, но даже противуположнымъ надеждамъ бонапартистовъ, чуть не торжествовавшимъ уже побѣды надъ своими противниками, республиканцами, которыхъ они полагали жестоко оскандализировать въ лицѣ Юнга. Юнгъ вышелъ изъ процесса чистымъ отъ самомалѣйшей тѣни подозрѣнія въ возведенномъ на него преступленіи. Юнгъ, съ возстановленной репутаціей, съ еще большимъ жаромъ принялся за окончаніе ненавистнаго имъ своего историческаго труда.

Эльзасецъ родомъ и пламенный патріотъ, главнѣйшею цѣлью своихъ трудовъ и надеждъ Юнгъ поставляетъ перерожденіе и обновленіе французской арміи, что онъ неразрывно связываетъ съ гражданственнымъ устройствомъ, умственнымъ, нравственнымъ и матеріальнымъ преуспѣяніемъ цѣлой страны, и для достиженія чего, единственнымъ вѣрнымъ путемъ, признаетъ путь, въ основѣ котораго положено историческое, строго-критическое изслѣдованіе прошлаго.

„Когда народъ, — говоритъ Юнгъ,—въ теченіе шестидесяти лѣтъ вытерпѣлъ три нашествія и видѣлъ, какъ послѣдовательно обрѣзывались границы его территоріи послѣ пораженій, подобныхъ ватерлооскому, седанскому и мескому, онъ имѣетъ не только право, но обязанность предаться, безъ всякой предвзятости, изслѣдованію вопроса: не существуетъ ли же, наконецъ, какой-либо

логической связи между этими катастрофами, постигавшими страну въ концѣ почти пятнадцати-лѣтнихъ періодовъ времени, слѣдовавшихъ за государственными переворотами 18-го брюмера и 2-го декабря, производившимися людьми одной и той же семьи, руководившимися одними и тѣми же инстинктами и принципами?“...

Уже судя по тому немногому, что́ мы сообщили о Юнгѣ и о цѣли его историческихъ работъ, легко понять, что Юнгъ вовсе не принадлежитъ къ числу тѣхъ объективныхъ историковъ, которые съ олимпійскимъ спокойствіемъ могутъ изучать и повѣствовать прошлое своей родины. Но Юнгъ знаетъ, что какъ ни возвышенно чувство патріотизма, оно, въ то же время, плохой союзникъ въ дѣлѣ критическаго историческаго изслѣдованія; а потому, онъ умѣетъ сдерживать это чувство въ должныхъ предѣлахъ, вслѣдствіе чего и произведеніе его носитъ въ себѣ всѣ черты, если не безпристрастнаго, то въ общемъ всегда серьезнаго историческаго труда.

„Исторіи Бонапарта, — говоритъ онъ въ предисловіи,—еще нѣтъ, да ее и не могло быть. Неблагопріятныя обстоятельства, рядомъ съ недостаткомъ матеріаловъ, препятствовали тому.

„Во время реставраціи и іюльской монархіи, люди имперіи были слишкомъ на виду у всѣхъ, чтобы способствовать трудамъ, могущимъ пролить нѣкоторый свѣтъ на любопытную фигуру цезаря, за счастливой звѣздой котораго они когда-то шли. Въ ихъ личномъ интересѣ было — не объяснять ни своихъ, ни его политическихъ превращеній, а, напротивъ, хранить о нихъ молчаніе, держать въ непроницаемой тайнѣ. А что до атлетовъ революціи, то частью—изгнанные, частью—позабытые, они стояли тогда внѣ возможности подвергнуть контролю разсказни своихъ современниковъ...

„Одна наполеоновская армія оставалась еще въ глазахъ Европы живымъ выраженіемъ новыхъ учрежденій, — иллюзія, въ которую, однако, вѣрили искренне. Высшіе сановники,—тѣ скоро обрѣли миръ, найдя возможнымъ согласовать свои убѣжденія съ своими вожделѣніями. Одинъ народъ, да солдаты сохранили еще вѣрность національной идеѣ, но перепутавъ, однако, въ ней все, — цезаризмъ и свободу, славу и рабство. Да и какъ было имъ, — влекомымъ адскимъ вихремъ, разразившимся на сѣверѣ Россіи, разобраться, отдать себѣ отчетъ въ движеніи, уносившемъ ихъ?—Когда Франція подверглась нашествію, развѣ преторіанцы и республиканцы не соединили своихъ силъ къ отраженію чужеземцевъ и тѣхъ французскихъ дезертировъ, которые слѣдовали по

пятамъ ихъ?—Развѣ сами непримиримые 18-го брюмера не стали въ ту пору подъ знамена того же Наполеона, и не лили своей крови на ряду съ тѣми, кто наканунѣ были ихъ гонителями?..

„Все спуталось въ этомъ хаосѣ, въ этомъ изумительномъ смѣшеніи разнороднѣйшихъ элементовъ, трезвое уразумѣніе котораго стало невозможнымъ...

„Потребовалась вторая имперія, — третье нашествіе,—чтобы снять повязку съ глазъ и дать, наконецъ, понять наименѣе способнымъ уяснять себѣ сущность дѣла, что наполеоновскій режимъ, кромѣ ярлыка,—не имѣетъ въ себѣ народнаго ровно ничего“...

„Какимъ же образомъ можно было, при такомъ состояніи среды, приступить къ свободному анализу преобразованія французскаго общества, къ изученію человѣка, геній котораго внесъ такую политическую и нравственную путаницу въ умы его?...— Все стало легендой, и должно было оставаться ею.—Тьма, вѣчная тьма! А во тьмѣ—народъ, сдѣлавшійся безсознательнымъ соучастникомъ его же губящаго властелина...

„Да и какъ было людямъ, въ глазахъ которыхъ исторія народа заключается не въ одномъ лишь торжественномъ изображеніи подвиговъ и жестовъ прославившихся личностей, приняться за дѣло, когда доступы къ архивамъ оставались закрытыми; когда масса оригинальныхъ бумагъ и документовъ находились разбросанными по портфелямъ лицъ, таившихъ ихъ у себя въ видахъ личныхъ своихъ интересовъ; когда изыскатель могъ пользоваться развѣ только мемуарами,—да и то преимущественно оправдательными?

„Появленіе въ печати корреспонденціи Наполеона I, политической, военной и административной, сдѣланное по распоряженію Наполеона III, могло, казалось бы, послужить драгоцѣннымъ источникомъ для историковъ; но—стоило только взглянуть на рапортъ коммиссіи, на которую былъ возложенъ этотъ трудъ, чтобы сразу въ томъ разочароваться.

„Государь,—говорятъ въ этомъ рапортѣ члены коммиссіи,— Августъ причислилъ Цезаря къ лику боговъ и посвятилъ ему храмъ: храмъ исчезъ, но преданія сохранились. Ваше величество, пожелавъ воздвигнуть несокрушимый памятникъ главѣ династіи, соблаговолили возложить на насъ собраніе и публикацію корреспонденціи Наполеана I, и проч...“ и далѣе: „Спѣшимъ заявить, что, согласно воли вашего величества, мы, воспроизводя письма императора, отнюдь не дозволяли себѣ хотя какихъ-либо измѣненій, поправокъ или нарушеній ихъ подлиннаго текста... Самъ

Наполеонъ, считая осаду Тулона началомъ своей общественной дѣятельности, указалъ нашей коммиссіи время, которое она должна была избрать отправнымъ пунктомъ своего труда. Съ этого безсмертнаго времени и начинается публикація собранныхъ нами корреспонденцій".

„Въ этой оффиціальной бумагѣ, что ни слово, то—ложь",—говоритъ Юнгъ. Исторіи,—продолжаетъ онъ,—нѣтъ вовсе дѣла до апоѳеозъ, возводимыхъ по побужденіямъ, скрывающимся въ личныхъ интересахъ; а во-вторыхъ, жизнеописаніе историческаго человѣка начинается не съ того времени, когда онъ получилъ извѣстность, а съ того дня, когда онъ вступилъ на избранную дорогу, когда онъ принялъ участіе въ политической жизни своей страны. А съ этой точки зрѣнія, исторія Наполеона начинается —не съ осады Тулона, въ 1793 году, а съ 1785 года,—когда онъ получилъ офицерскіе эполеты и почти немедленно же кинулся въ политическую борьбу. „Сразу не дѣлаются,—говоритъ Юнгъ, —главнокомандующими, первыми консулами и императорами. Если же такія внезапныя, феноменальныя превращенія и представляются иногда въ исторіи, то необходимо ихъ анализировать".

Впрочемъ, помимо затрудненій, указанныхъ выше Юнгомъ, которыя препятствовали до послѣдняго времени строго-критическому изученію Наполеона,—существовали, по его мнѣнію, и другія обстоятельства, способствовавшія также не мало къ поддержкѣ въ обществѣ совершенно фальшивыхъ мнѣній о Наполеонѣ и живучести его легенды. Обстоятельства эти Юнгъ, не безосновательно, видитъ въ произведеніяхъ самыхъ новѣйшихъ историковъ, изъ которыхъ одни,—можно сказать огромное большинство,—писали свои, на живую нитку сшитыя, произведенія нерѣдко съ предвзято-политическими или просто съ меркантильными цѣлями; а другіе грѣшили тѣмъ, что крайне спеціализировали свои труды, излагая событія общественно-гражданской жизни почти независимо отъ событій военныхъ. Между тѣмъ, какъ органическая, взаимная связь ихъ, никогда, быть можетъ, не выступала съ такою наглядностью и не играла такой роли, какъ во время революціи, когда Франціи пришлось одновременно вести отчаянную борьбу и съ внутренними, и съ внѣшними врагами. „Помощію арміи создалась первая французская республика,—говоритъ Юнгъ, —въ арміи же республика нашла и свою гибель. И та, и другая имѣли свои великія и слабыя стороны. Ихъ торжество, какъ и паденіе имѣли одно общее имъ происхожденіе: забвеніе законовъ, управляющихъ человѣческими обществами".

Нынѣ обстоятельства перемѣнились. Вмѣсто недостатка, по-

явилась масса матеріаловъ, которыми изыскателямъ остается только пользоваться. Юнгъ не считаетъ себя исчерпавшимъ всю массу этихъ матеріаловъ, но полагаетъ, что уже и тѣхъ, которые удалось разыскать ему, достаточно для того, чтобы возстановить нѣкоторые факты въ надлежащемъ ихъ видѣ и изобразить въ настоящемъ свѣтѣ „удивительную и причудливую личность генія, извѣстнаго подъ именемъ Наполеона Бонапарте“.

Юнгъ не преклоняется предъ этою историческою личностью и, хотя и признаетъ ее безспорно выдающеюся, но не относитъ къ числу такихъ, которыя, какъ, напр., Людовикъ XIV и Вольтеръ, выражали въ себѣ существеннѣйшія черты своей эпохи.— „Говорятъ: „вѣкъ Людовика XIV“, „вѣкъ Вольтера“, но можно ли сказать: „вѣкъ Наполеона?“ — „Нѣтъ, ибо какъ ни былъ изумителенъ Бонапартъ, личность его представляется какъ бы совсѣмъ исчезающею въ ряду грандіозныхъ событій, ознаменовавшихъ эпоху революціи, которой онъ былъ — не выразителемъ, но болѣзненнымъ порожденіемъ, ненормальнымъ продуктомъ“.

Но такое воззрѣніе на Наполеона не устраняетъ важности самаго тщательнаго изученія его. „Это своего рода метеоръ,—говоритъ онъ,—со страшною силою разразившійся надъ Франціею и Европой и оставившій послѣ себя тяжелые слѣды, не исчезнувшіе еще и понынѣ, который и изучать слѣдуетъ также, какъ изучаютъ подобныя ему космическія явленія. Не достаточно изслѣдовать условія, при которыхъ могутъ періодически появляться въ жизни человѣческой такіе метеоры-личности; чтобы правильно судить о нихъ, надобно еще изслѣдовать самое происхожденіе ихъ и ту среду, въ которой они росли и развивались“.

Юнгъ начинаетъ поэтому свое изслѣдованіе—не съ рожденія, и даже не съ производства Наполеона въ офицеры, а со дня присоединенія къ Франціи родины ея будущаго повелителя, съ 23 мая 1769 г., когда французы, въ лицѣ своихъ двухъ генераловъ, Во и де-Марбёфа, впервые услышали фамилію Буонапарте.

Изслѣдованіе свое Юнгъ доводитъ до 18-го брюмера. Но важнѣйшій интересъ книги Юнга сосредоточивается въ первомъ, занимающемъ едва ли не три-четверти всего ея объема, отдѣлѣ, гдѣ имъ собрано множество, либо—мало, либо—вовсе неизвѣстныхъ свѣденій, относящихся какъ до самого Наполеона, такъ до его семьи, людей и обстоятельствъ, имѣвшихъ вообще обширное вліяніе на его дѣятельность и судьбу, или, какъ онъ любилъ, впослѣдствіи, выражаться, повѣривъ въ свое провиденціальное назначеніе,—на „его звѣзду“.—Второй отдѣлъ книги, начинаю-

щійся съ итальянской кампаніи 1796—97 годовъ, хотя и не лишенъ нѣкотораго историческаго интереса, но, вообще говоря, не много уже добавляетъ новаго къ тому, что́ уже извѣстно. А потому, оставляя въ сторонѣ этотъ послѣдній отдѣлъ труда Юнга, мы остановимся лишь на первомъ, заключающемъ въ себѣ эпоху отъ рожденія до назначенія Наполеона главнокомандующимъ итальянской арміей, въ 1796 г., и представляющимъ вполнѣ достаточный матеріалъ для разгадки и оцѣнки внутренняго міра Наполеона, а стало быть, и—тѣхъ цѣлей, которыя онъ станетъ преслѣдовать по мѣрѣ того, какъ карьера его начнетъ расширяться, благодаря, частію—его необыкновеннымъ военнымъ способностямъ, политической ловкости и дерзости, частію—изумительному счастью, такъ долго не измѣнявшему ему, а еще болѣе, благодаря—рутинности и слѣпотѣ человѣческихъ массъ...

I.

Буонапарты, по происхожденію, — тосканскіе дворяне, что подтверждается дворянскою грамотою, выданною, 18 мая 1757 года, герцогомъ тосканскимъ дѣду Наполеона, Іосифу, въ которой, между прочимъ, послѣдній титулуется еще и патриціемъ. Отецъ Наполеона, Карлъ утверждалъ даже, что на ихъ фамильномъ гербѣ красовалась графская корона со щитомъ, на которомъ начертаны были буквы: B и P, что значитъ Buona-Parte, —слова, отъ слитнаго произношенія которыхъ и образовалась ихъ фамилія.

Время переселенія Буонапартовъ изъ Тосканы въ Корсику совпадаетъ со временемъ завоеванія ея Генуей, политики которой всѣ они, до отца Наполеона, были горячими партизанами. Всѣ, юристы по профессіи, бойкіе и пронырливые, Буонапарты очень скоро освоились на своей новой родинѣ и успѣли даже пріобрѣсть нѣкоторое значеніе въ г. Аяччіо, гдѣ они основались на жительство и гдѣ дѣдъ Наполеона, Іосифъ, занималъ почетную должность городского старшины. Онъ умеръ, какъ и всѣ почти предки его, вообще не отличавшіеся долговѣчностью, на сороковомъ году жизни, не оставивъ своему сыну, 17-ти лѣтнему Карлу, ничего, кромѣ небольшой земельки, находившейся въ долинѣ р. Талаво, близъ Боконьяно, да сомнительныхъ надеждъ, основанныхъ на правахъ его матери, Виргиніи, на довольно значительное наслѣдство отъ нѣкоего Петра Одоне.

Мать Карла, Виргинія, была дочерью этого Одоне, богатаго

жителя Аяччіо. Одоне, умира́я, оставилъ завѣщаніе, по которому все свое состояніе отдавалъ своему единственному сыну, Павлу-Эмилію, но съ тѣмъ, что, если Павелъ умретъ бездѣтнымъ, то состояніе должно перейти къ его сестрѣ, Виргиніи Буонапарте, и ея дѣтямъ. Павелъ умеръ холостякомъ, но, вопреки отцовскаго завѣщанія, все состояніе передалъ не сестрѣ, а іезуитамъ, которые, успѣвъ при жизни овладѣть его душой, овладѣли послѣ его смерти и имуществомъ. Права, предъявленныя Іосифомъ на послѣднее отъ имени жены своей, Виргиніи, въ силу отцовскаго завѣщанія, конечно, были отвергнуты добродѣтельными отцами. Начался процессъ. Процессы по дѣламъ подобнаго рода и теперь не легки, а въ прошломъ вѣкѣ они были почти безнадежны. Много времени, здоровья, и денегъ, извелъ на этотъ процессъ Іосифъ, но такъ и умеръ, завѣщая окончаніе его сыну, вмѣстѣ съ ненавистью къ іезуитамъ и ихъ ученію.

Юный Карлъ Буонапарте не былъ лишенъ ни ума, ни образованія, ни нѣкоторой сердечности, а еще того болѣе—юркости и изворотливости, свойственныхъ всѣмъ членамъ его семейства, но природа не надѣлила его серьезностью и энергіею дѣловитаго человѣка, а крайне стѣсненныя обстоятельства, среди которыхъ ему съ юности пришлось броситься въ поиски за средствами, необходимыми и для существованія, и для веденія заманчиваго процесса, не могли способствовать къ развитію въ немъ ни нравственныхъ правилъ, ни стойкости мнѣній.

Такимъ образомъ, по фамильнымъ преданіямъ партизанъ генуэзцевъ, Карлъ Буонапарте, однако, ни мало не задумался покинуть старыхъ друзей и перебѣжать на сторону Паоли, когда послѣдній, видимо, началъ одолѣвать ихъ; но лишь только счастье измѣняетъ Паоли, какъ онъ, съ такою же легкостью, бѣжитъ на встрѣчу къ французамъ, является къ нимъ, 23 мая 1769 года, въ числѣ представителей Аяччіо, завѣрявшихъ новыхъ завоевателей Корсики въ своей преданности, и сразу уже ищетъ у нихъ милостей. Да и какъ, впрочемъ, было не искать этихъ милостей, когда, не смотря на свои 23 года, Карлъ былъ уже четыре года женатъ и, имѣя, ко дню завоеванія французами Корсики, трехъ дѣтей, ожидалъ еще четвертаго?!. Правда, небольшой домъ въ Аяччіо и виноградникъ въ его окрестностяхъ, взятые Карломъ въ приданое за женою, Летиціею Рамалино, вмѣстѣ съ землекою, унаслѣдованною имъ отъ отца, представляли нѣкоторое обезпеченіе, но далеко недостаточное для поддержанія многочисленной семьи и для разорительнаго процесса.

Общественная дѣятельность, какъ выше уже замѣчено, была

постояннымъ занятіемъ и главнымъ источникомъ жизненныхъ средствъ всего семейства Буонапартовъ. Къ ней, конечно, обратился и Карлъ, занимавшій должность ассесора въ юнтѣ Аяччіо еще до завоеванія Корсики французами. Но, такъ какъ, для служебной карьеры вообще, требовалось покровительство сильныхъ, то Карлъ, прежде всего, и направилъ свои старанія въ эту сторону, и, притомъ съ такимъ успѣхомъ, что скоро сталъ самымъ ближайшимъ пріятелемъ важнѣйшихъ лицъ новой администраціи острова, а особенно — самого генералъ-губернатора, графа Марбёфа. Такая могущественная протекція, какъ и слѣдовало ожидать, скоро принесла свои плоды. Карла утвердили въ его должности ассесора юнты; назначили членомъ дворянской коммиссіи по распредѣленію поземельнаго налога и делегатомъ отъ дворянства въ Версаль, а въ заключеніе, гр. Марбёфъ даже вызвался хлопотать о помѣщеніи двухъ старшихъ сыновей его на казенный счетъ въ правительственныя учебно-воспитательныя заведенія, предлагая, одного — сдѣлать морякомъ, а другого — пустить по духовной карьерѣ. Семейный совѣтъ, которому Карлъ сообщилъ это предложеніе, принялъ ее съ восторгомъ. Оставалось теперь Карлу выправить только документы, т.-е. метрики на сыновей, а главное,—что больше всего требовалось тогда—свидѣтельство о принадлежности его, Карла, въ четвертомъ поколѣніи къ дворянскому роду. Не легко удалось Карлу добыть всѣ эти документы, а особенно послѣдній, для котораго ему пришлось даже съѣздить нарочно въ Тоскану; сильная рука Марбёфа дала, наконецъ, дальнѣйшій ходъ этому дѣлу.

Резолюція была вообще утѣшительная. Изъ двухъ сыновей, о которыхъ просилъ Карлъ, правда, только одинъ, рожденный 15 августа 1769 года, принимался на счетъ казны въ Бріенскую военную школу. Но и этой милости было достаточно, чтобы привести семью въ величайшую радость, еслибы только она не омрачалась нѣкоторыми другими обстоятельствами, крѣпко затруднявшими бѣднаго Карла. Въ письмѣ, извѣщавшемъ его о пріемѣ сына, требовалось прежде всего, чтобы онъ лично представилъ доказательства своего дворянства предсѣдателю герольдіи, въ Парижѣ, а затѣмъ, чтобы онъ, представляя мальчика въ школу, снабдилъ его разными вещами, по положенію; притомъ мальчикъ, для поступленія, долженъ быть настолько подготовленъ во французскомъ языкѣ, чтобы могъ свободно читать и писать. Ни одинъ изъ дѣтей Карла не зналъ тогда ни слова по-французски. Это было уже первое затрудненіе. Вторымъ являлись снабженіе мальчика вещами при поступ-

ленiи въ школу и обязательная поѣздка въ Парижъ, на что требовались не малыя деньги. А тутъ опять родился сынъ, по счету уже девятый ребенокъ; къ тому же, все настойчивѣе пошли слухи о скоромъ вызовѣ представителей трехъ сословiй въ Версаль, и Карлъ, какъ представитель дворянства, почему-то считалъ себя обязаннымъ задать пиръ, на который пригласилъ и главнѣйшихъ представителей властей, разумѣется, начиная съ графа Марбёфа. Какъ уже Карлъ вывернулся изъ всѣхъ этихъ затрудненiй, гдѣ досталъ денегъ?—неизвѣстно. Извѣстно только, что 24 сентября 1778 года въ домѣ Карла происходило блистательное празднество, за которымъ слѣдовалъ и рядъ другихъ, надѣлавшихъ много шуму въ Аяччiо, и что на первомъ изъ этихъ празднествъ графъ Марбёфъ, маркизъ Каргесъ и г-жа Бушепорнъ, супруга интенданта, удостоили хозяина чести быть воспрiемниками его новорожденнаго сына, Людовика—будущаго короля Голландiи.

Но, какъ мало было еще въ это время даже между ближайшими родственниками Буонапартовъ партизановъ французскаго владычества, можно было видѣть уже изъ того, что на празднествахъ этихъ такiя важныя мѣстныя лица, какъ викарiй Аяччiо, Луцiанъ Буонапарте, и другiе, прямо не пожелали даже и участвовать. Не смотря, однако, на такую демонстративную выходку родственниковъ, праздники Карла, какъ нельзя болѣе, удались и заключились даже такимъ радостнымъ для него сюрпризомъ, на какой онъ едва ли и разсчитывалъ. Всѣ ходатайства и просьбы его, какъ сообщилъ теперь самъ графъ Марбёфъ, нашли желанный исходъ: Iосифъ Фешъ [1]), братъ жены Карла, принимался на счетъ казны въ семинарiю, находящуюся въ г. Э; Варезе, кузенъ ея, получалъ мѣсто викарiя у епископа отёнскаго, которымъ былъ братъ графа Марбёфа, но, что важнѣе всего, дѣлу объ одоновскомъ наслѣдствѣ обѣщался скорый и благопрiятный для Карла исходъ.

Но надобно же было, однако, собираться и ѣхать, такъ какъ представители сословiй созывались уже въ Версаль, и товарищи Карла, представители двухъ другихъ сословiй, Казабiанка и монсиньоръ Сантини, были уже на пути туда. Выѣхалъ, наконецъ, въ путь и Карлъ въ сопровожденiи двухъ сыновей, Наполеона и Iосифа, Феша и Варезе, изъ Аяччiо, и 15 декабря 1778 года былъ уже съ ними въ Марсели.

---

[1]) Теща Карла, Рамолино, была по смерти перваго мужа, отца Летицiи, замужемъ за Фешемъ.

II.

Изъ двухъ сыновей Карла, высаживавшихся теперь впервые на французскую, совершенно чужую имъ землю, одинъ родился въ Корте, 7 января 1768 года, а другой—въ Аяччіо, 15 августа 1769 года. Въ Бріенскую школу, какъ мы знаемъ уже, разрѣшено было принять послѣдняго. А такъ какъ, въ лицѣ его, въ школу былъ представленъ отцомъ Наполеонъ, то, очевидно, что днемъ его рожденія слѣдуетъ принимать 15 августа 1769 года. Такъ, по крайней мѣрѣ, выходитъ, по метрикѣ Наполеона, хранящейся въ архивѣ французскаго военнаго министерства,—по свидѣтельству всѣхъ его историковъ и потому, наконецъ, что 15 августа всегда считалось днемъ его рожденія, торжественно праздновавшимся впослѣдствіи, когда онъ сталъ императоромъ. Но это оказывается не совсѣмъ такъ по документамъ, разысканнымъ Юнгомъ, по которымъ становится еще вопросомъ: дѣйствительно ли Наполеонъ родился въ Аяччіо 15 августа 1769 года, а не въ Корте 7 января 1768 года? и точно ли именемъ, даннымъ ему при крещеніи, было: Наполеонъ, а не Набуліоне, Наполіоне или Неаполе?!.

Сличая документы (приводимые въ подлинникѣ Юнгомъ), дѣйствительно нельзя не прійти къ заключенію, что мѣстомъ рожденія Наполеона основательнѣе признать не Аяччіо, а г. Корте, то мѣсто и тотъ день, которые до сихъ поръ считались мѣстомъ и днемъ рожденія его брата, Іосифа, бывшаго, значитъ, не старшимъ, а младшимъ братомъ Наполеона. Къ такому заключенію, невольно приводятъ, кромѣ того, и заботливость, съ какою Наполеонъ, по достиженіи власти, старался уничтожать въ Марсели, Аяччіо, Бастіа и Корте всѣ дѣла и бумаги, относящіяся до фамиліи Бонапартовъ, — и исчезновеніе изъ метрическихъ книгъ, въ Аяччіо, именно тѣхъ листовъ, въ которыхъ могло быть означено время рожденія его или его брата Іосифа, и то обстоятельство, почему издатели „корреспонденціи“, пропуская массу интересныхъ документовъ, начинаютъ прямо съ осады Тулона, не предпославъ своему труду ни единаго біографическаго слова, какъ это обыкновенно принято въ изданіяхъ подобнаго рода. Наконецъ, это отчасти, подтверждаетъ и письмо самого Наполеона къ Паоли, отъ 12 іюня 1789 г., въ которомъ онъ говоритъ: „Я родился, когда отечество (т.-е. Корсика) погибало. Тридцать тысячъ французовъ, извергнутыхъ (vomis) на наши берега, топящихъ нашу свободу въ потокахъ крови,—

таково было омерзительное зрѣлище, поразившее впервые мои взоры. Крики умирающихъ, стоны притѣсняемыхъ, безнадежныя рыданія раздавались около моей дѣтской колыбели"... Очевидно, если бы родился Наполеонъ 15 августа 1769 года, т.-е. послѣ успокоенія острова, онъ не могъ бы уже слышать послѣдніе крики сражающихся; но если онъ родился 7 января 1768 года, то, разумѣется, онъ могъ говорить о впечатлѣніяхъ своего ранняго дѣтства въ выраженіяхъ, какими начинается приведенное письмо.

Такимъ образомъ Наполеонъ, такъ сказать, не легально носилъ имя и замѣщалъ брата своего Іосифа, какъ и наоборотъ, и что, слѣдовательно въ Бріенскую школу вмѣсто Іосифа, который долженъ былъ бы туда быть опредѣленнымъ, опредѣлили, подъ его именемъ и съ его документами, Наполеона... Но зачѣмъ, съ какою цѣлію было Карлу пускаться на такую уловку, какъ подмѣнъ одного сына другимъ? Вопросъ этотъ разрѣшается Юнгомъ весьма просто. Дѣло въ томъ, что въ королевскія военныя школы того времени принимали лишь дѣтей, не перешедшихъ десятилѣтняго возраста. Наполеонъ поступилъ въ Бріенскую школу 24 апрѣля 1779 года, слѣдовательно, еслибы въ метрикѣ днемъ рожденія его значилось 7 января 1768 года, т.-е., настоящій день его рожденія, то онъ, какъ перешедшій узаконенный возрастъ, пріему уже не подлежалъ бы. Отцу его, такимъ образомъ, представлялось что нибудь изъ двухъ: или отдать въ школу Іосифа или же представить, съ метрикою Іосифа, Наполеона. Но въ нѣжномъ и скромномъ Іосифѣ не видно было никакихъ задатковъ къ военной службѣ, почему онъ и предназначался къ духовной карьерѣ, тогда какъ старшій, Наполеонъ, пылкій, бойкій и забіяка, казалось, совмѣщалъ въ себѣ всѣ качества, нужныя для военнаго моряка. Пустить мальчиковъ по двумъ жизненнымъ путямъ, совершенно не соотвѣтствовавшимъ ихъ враждебнымъ качествамъ, въ силу одной лишь случайности ихъ рожденія, естественно, могло превысить волю отца, впередъ установившаго уже себѣ при этомъ воззрѣніе, кому изъ нихъ по какой дорогѣ идти. А потому, не мудрено если отецъ и рѣшился воспользоваться сходствомъ именъ своихъ сыновей (имя: Іосифа, предшествовавшее Набуліоне, судя по документамъ, видимо, было добавлено позже) и произвести такую, въ сущности, ни для кого не обидную замѣну одного изъ нихъ другимъ?

Какъ бы то ни было, но если обмѣнъ этотъ былъ совершонъ, что весьма похоже на истину, то трудно, вслѣдъ за Юнгомъ, не

замѣтить въ этомъ обмѣнѣ черты характера Карла, проходящей черезъ всю жизнь, — какъ его, такъ и всѣхъ его сыновей, а именно: той легкости, съ какою всѣ они вообще относились, какъ увидимъ впослѣдствіи, ко всякой лжи, обману, лицемѣрію — лишь только касалось дѣло ихъ личнаго интереса для чего всѣ средства имъ казались хороши.

Да и не одно обстоятельство рожденія Наполеона, а все, все представляется страннымъ и измѣнчивымъ въ этомъ удивительномъ субъектѣ: и имя, и фамилія, и почеркъ и, наконецъ, политическіе взгляды и убѣжденія.

Имени Наполеона въ католическихъ святцахъ вовсе нѣтъ Но есть св. мученикъ, имя котораго имѣетъ, по-латынѣ, двоякое произношеніе: Ndapolus и Néapoli. Самая орѳографія этого имени очень разнообразна: въ однихъ документахъ оно пишется Nabulione, въ другихъ — Napoleone, въ третьихъ — Napoloeone. Въ свадебномъ актѣ оно пишется—Napolione, а на Вандомской колоннѣ значится—Neapolio. Въ Бріенской школѣ это имя произносилось—Napouillone. Дворянинъ де-Буонапарте, при монархіи, при республикѣ называется, сначала Буонапарте, затѣмъ, при назначеніи главнокомандующимъ итальянской арміей, Бонапартъ, и уже, по достиженіи императорства—Наполеонъ. То же со стилемъ и почеркомъ. Со времени выхода изъ школы до генеральскаго чина, Наполеонъ, если и пишетъ какимъ-то произвольнымъ стилемъ, дѣлая при томъ массу самыхъ грубыхъ грамматическихъ ошибокъ, то, по крайней мѣрѣ болѣе или менѣе еще разборчиво. Но, по мѣрѣ дальнѣйшаго возвышенія, почеркъ его все ухудшается и, наконецъ, становится просто іероглифическимъ, чѣмъ онъ, какъ бы, старается скрыть свою крайнюю грамматическую несостоятельность. Не меньше метаморфозъ замѣчается и въ политическихъ его воззрѣніяхъ. Сначала роялистъ настолько, конечно, насколько могъ быть такимъ корсиканецъ; съ 1789 года революціонеръ и корсиканецъ, записной ненавистникъ Франціи; съ 1793 года тотъ же ярый революціонеръ, но уже на жалованьи у Конвента; съ 1796 года почти французъ, не безъ задней, однако, мысли о корсиканской автономіи; со времени возврата изъ Египта до коронаціи—французъ; съ коронаціи до паденія—космополитъ, а на о. св. Елены—опять французъ, въ видахъ созданія своихъ завѣта и легенды.

Таковъ былъ этотъ человѣкъ, дѣйствительно метеоромъ пронесшійся надъ одряхлѣлой Европой и оставившій послѣ себя слѣды не только еще не исчезнувшіе во Франціи, но сохранившіеся до сихъ поръ, и въ Европѣ, гдѣ и до сихъ поръ его идеи, пріемы и

замашки служатъ образцами для государственныхъ дѣятелей, претендующихъ на оригинальную геніальность, но въ сущности, являющихся не болѣе, какъ его учениками и подражателями, болѣе или менѣе неудачными...

III.

Но мы оставили Карла Бонапарте съ его родственной свитой въ Марсели. Здѣсь онъ провелъ нѣсколько дней въ кругу своихъ земляковъ и родственниковъ, офицеровъ королевско-корсиканскаго полка, а за тѣмъ, по дорогѣ въ Парижъ, отправился далѣе,—на города Э и Отенъ: въ первомъ надо было сдать въ семинарію Феша, а въ послѣднемъ лично представить епископу родственника, вновь сюда назначеннаго викарія Варезе, и временно пристроить въ школу своихъ обоихъ мальчиковъ, для подготовленія къ предстоящему экзамену. Рекомендательныя письма, которыми Карлъ постарался заручиться отъ графа Марбёфа къ его родственникамъ въ Бургундіи и брату, епископу отенскому, пришлись ему теперь какъ нельзя болѣе кстати: 31 декабря онъ прибылъ въ Отенъ, а на другой день, вечеромъ, Наполеонъ и Іосифъ были уже въ школѣ.

Изъ Отена Карлъ отправился въ Парижъ. Здѣсь онъ пробылъ съ небольшимъ три мѣсяца. Но, не смотря на кратковременность своего пребыванія и на участіе въ собраніяхъ трехсословныхъ представителей, Карлъ успѣваетъ, однако не только хлопотать объ наслѣдствѣ и признаніи древности своего дворянскаго рода, но еще добиться концессіи на плантацію тутовыхъ деревьевъ, разводимыхъ въ Корсикѣ и исходатайствовать у короля пособіе для себя и своихъ двухъ товарищей, корсиканскихъ представителей!... Ходатайство это мотивировалъ Карлъ недостаточностью средствъ, ассигнованныхъ Корсикою на расходы по путешествію депутатовъ въ Парижъ, что особенно чувствительно оказалось, — какъ говорится въ его прошеніи, — для епископа Сантини, „бѣднѣйшаго изъ всѣхъ бѣдняковъ въ Корсикѣ“, а равно для него, Буонапарте, и его товарища, Казабіанки, также находящихся „въ крайней нуждѣ“. Впрочемъ, такія ходатайства тогда удовлетворялись обыкновенно не только легко, но даже охотно, —лишь бы только ходатайствующіе представители вели себя какъ слѣдуетъ, т.-е. подавали бы свои голоса за все, что отъ нихъ власть не потребуетъ. Надобно думать, что представители Корсики именно такъ себя и вели, ибо на запросъ, сдѣланный по поводу ихъ ходатайства, секретарь собранія помѣтилъ ихъ: „за-

служивающими просимаго пособія за добронравность, здѣсь ими выказанную", въ силу чего онъ и полагалъ бы выдать имъ 6000 ливровъ, распредѣливъ ихъ, согласно обычаю, такъ: 2500 л. епископу Сантини, 2000—Буонапарте и 1500—Казабіанкѣ, представителю средняго сословія.

Узнавъ, 17 апрѣля, о пособіи, дарованномъ ему королемъ, и объ окончательномъ пріемѣ Наполеона въ школу на счетъ казны, Карлъ поѣхалъ въ Бріенъ, куда 23 апрѣля и привезъ Наполеона. 24 апрѣля отецъ представилъ мальчика въ школу.

Судя по свѣденіямъ, выказаннымъ Наполеономъ во французскомъ языкѣ даже послѣ шестилѣтняго его пребыванія въ Бріенской школѣ, можно думать, что, предварительныя испытанія по крайней мѣрѣ, по французскому языку, особенною строгостью въ школѣ тогда не отличались. 25 апрѣля 1779 года Наполеонъ распростился съ отцомъ и былъ уже окончательно сданъ въ школу.

Съ какою же, однако, подготовкою ребенокъ Наполеонъ поступилъ въ Бріенскую школу? и что это была за школа?

Образованіе Наполеона началось съ уроковъ итальянскаго языка, въ школѣ для дѣвочекъ, находившейся въ Аяччіо. Кой-какія отрывочныя, коротенькія свѣденія изъ священной исторіи и катехизиса онъ получилъ отъ своего внучатнаго дѣдушки, Луціана Буонапарте, а начальныя правила письма—отъ дядюшки Феша. Этимъ собственно и ограничивался весь запасъ знаній, пріобрѣтенныхъ имъ на родинѣ. Отецъ видѣлъ всю недостаточность подготовки мальчика, не говоря о полномъ незнаніи имъ французскаго языка, къ предстоящему ему въ Бріеннѣ испытанію, почему такъ и заботился о временномъ его помѣщеніи въ отенской школѣ. Въ школѣ этой ребенокъ, правда, успѣлъ, благодаря своимъ необыкновеннымъ способностямъ, настолько освоиться съ невѣдомымъ ему языкомъ, чтобы удовлетворить снисходительнымъ требованіямъ пріема въ Бріенскую школу.

Мать Наполеона, Летиція, по общему свидѣтельству, была женщина энергическая, съ порядочнымъ запасомъ сердечной жесткости, умная, но безъ образованія, и, притомъ, до того поглощенная заботами о большой семьѣ, что ей было не до воспитанія дѣтей; а отца, постоянно отсутствовавшаго, вѣчно занятого, Наполеонъ почти и не зналъ.

Что же при такой семейной обстановкѣ могъ Наполеонъ заимствовать отъ своихъ родителей?!.. Развѣ только нѣкоторыя изъ нравственныя черты: умъ, энергію и жесткость сердца—отъ матери; честолюбіе, ловкость и двоедушіе отъ отца.. Эти черты

онъ дѣйствительно и заимствовалъ отъ нихъ, и даже въ высокой мѣрѣ, по закону наслѣдственнаго воспріятія, а стало быть, помимо своей и ихъ воли.—Вообще же ребенокъ Наполеонъ росъ безъ особыхъ заботъ и присмотра, предоставленный больше самому себѣ, своей натурѣ. Вѣчно на улицѣ, въ подранной обуви и съ растрепанными волосами, ребенокъ Наполеонъ не особенно и дорожилъ домашнимъ очагомъ и обществомъ своихъ сверстниковъ и брата, съ которыми находился въ безпрерывныхъ ссорахъ и дракѣ. Любимымъ мѣстомъ препровожденія времени было для него общество баньольскаго пастуха и матросовъ. За то здѣсь Наполеонъ проводилъ долгіе часы, упиваясь легендарными повѣствованіями о быломъ Корсики, о геройской борьбѣ, которую его соотечественники вели съ своими завоевателями и угнетателями, и объ удалыхъ разбойничьихъ подвигахъ, совершавшихся еще и тогда противъ ненавистныхъ французовъ корсиканцами, скрывавшимися въ горахъ и лѣсахъ, и между которыми дѣйствующими лицами являлись не рѣдко даже и родственники самихъ разсказчиковъ. Имя Паоли, которое мальчику такъ часто приходилось слышать въ семьѣ, между сверстниками, у баньольскаго пастуха и матросовъ, не сходило съ устъ. Корсиканскій народъ продолжалъ еще не только обожать и оплакивать своего героя, находившагося въ изгнаніи, но и упорно ждать его,—ждать, какъ Мессію, долженствующаго прійти и освободить его отъ ига французскаго. Что же могъ вынести такой страстновпечатлительный ребенокъ, какимъ былъ Наполеонъ, изъ всѣхъ этихъ разсказовъ? Прежде всего—привязанность къ корсиканской независимости, ненависть къ французамъ и обожаніе къ Паоли, который, дѣйствительно, на долгое время и сталъ для него идеаломъ.

Конечно, стоя съ дѣтства такъ близко къ народу, къ которому, какъ бы инстинктивно, сама натура влекла его, Наполеонъ вынесъ изъ этого источника—не одни тѣ чувства и мысли, которыми, повидимому, такъ глубоко былъ проникнутъ въ дѣтствѣ и юности. По всей вѣроятности, отсюда же захвачены имъ были и та туманная фантастичность влеченій къ чему-то безмѣрно-широкому и сказочному, уживавшаяся въ немъ рядомъ съ самой некрасивой дѣйствительностью, и — не то вѣра, не то — суевѣріе съ доброй примѣсью самаго грубаго раціонализма, и выносливость въ работѣ, трудѣ и, наконецъ, знаніе низменныхъ народныхъ страстей и умѣнье вертѣть народными массами, обольщать ихъ и увлекать за собою,—вопреки даже самымъ простымъ, очевиднымъ ихъ интересамъ и пользамъ. Но онъ не вынесъ изъ народа—ни пониманія дѣйствительныхъ его нуждъ и стремленій, ни любви

къ нему, ни вообще многого такого, что могъ бы вынести, и что выносили другіе, также, какъ онъ, въ дѣтствѣ близко стоявшіе къ народу,— также, какъ онъ, щедро надѣленные умственными способностями, но не получившіе, къ сожалѣнію, ни власти, ни могущества, какія были волею судебъ даны ему.—Почему все это случалось такъ, а не иначе, рѣшить, конечно, трудно. Разумѣется играла роль въ развитіи Наполеона и собственная его натура; но вѣроятно не обошлось и безъ вліянія обстановки и среды, среди которыхъ прошли его дѣтство, отрочество и ранняя юность. А они были, вообще, и печальны, и тяжелы, и тѣмъ болѣе, что, Наполеону не довелось натолкнуться ни на кого, кто могъ бы указать ему настоящій путь, ведущій къ дѣйствительному познанію человѣка и природы, и кто пособилъ бы ему уяснить мысли, такъ рано начавшія волновать его замѣчательно организованную голову. Одинокимъ росъ онъ дома, въ школѣ и одинокимъ остался до конца...

Бріенская школа, при вступленіи въ нее Наполеона, была еще совсѣмъ новымъ заведеніемъ. Она возникла въ 1776 г., одновременно съ другими, точно такими же девятью школами (colléges), учрежденными въ разныхъ провинціяхъ Франціи, во время министерства гр. Сенъ-Жермена, на мѣсто упраздненныхъ старыхъ, парижскихъ и флешской военныхъ школъ.

Гр. Сенъ-Жерменъ, какъ извѣстно, вступилъ на свой постъ съ цѣлымъ планомъ реформъ, долженствовавшихъ обновить обветшалое и совсѣмъ разлагавшееся какъ въ матеріальномъ, такъ и нравственномъ отношеніяхъ, зданіе военныхъ учрежденій Франціи. При такихъ стремленіяхъ, одною изъ первыхъ заботъ, на которыхъ остановилась дѣятельность новаго военнаго министра, совершенно естественно была забота о правильной постановкѣ образованія, получаемаго молодыми людьми въ военныхъ школахъ,— этихъ разсадникахъ, подготовляющихъ для арміи ея руководителей, командировъ и вождей. Эти школы были найдены Сенъ-Жерменомъ въ состояніи, нимало несоотвѣтствующемъ ихъ цѣли. Стоили эти школы казнѣ страшно дорого, а воспитывали и обучали своихъ птенцовъ такъ дурно вообще, что, вмѣсто образованныхъ и проникнутыхъ истиннымъ воинскимъ духомъ офицеровъ, давали арміи людей,—по словамъ Сенъ-Жермена,—„преисполненныхъ лишь духомъ горделиваго чванства, непокорности и презрѣнія ко всѣмъ и всему, ихъ средѣ не принадлежавшему, чѣмъ въ частяхъ войскъ, куда они выпускались на службу, возбуждали только всеобщія къ себѣ отвращеніе и ненависть".

Для блага арміи требовалась, очевидно, полная реорганизація такъ дурно устроенныхъ военно-учебныхъ заведеній.

Король, не смотря на оппозицію придворной партіи, вообще враждебно относившейся къ преобразовательнымъ стремленіямъ военнаго министра, согласился, однако, съ его доводами, и 1-го февраля 1776 г. появился декретъ, повелѣвавшій упразднить старыя военныя школы и учредить, вмѣсто нихъ, десять новыхъ, въ томъ числѣ въ Бріеннѣ.

Въ декретѣ, учреждавшемъ новыя школы, говорилось, между прочимъ: „Главною заботою е. в., при распредѣленіи воспитанниковъ старыхъ школъ по вновь устроеннымъ коллежамъ, было: поставить ихъ въ ближайшее соприкосновеніе съ дѣтьми гражданъ другихъ сословій, чтобы, такимъ образомъ, дать имъ возможность пріобрѣсть драгоцѣнные плоды общественнаго воспитанія, заключающіеся въ образованіи характера и смягченіи нравовъ, въ смиреніи гордости, часто молодыми дворянами смѣшиваемой съ высотою души, и въ усвоеніи правильныхъ воззрѣній и отношеній ко всѣмъ слоямъ общественнымъ“... Тѣ изъ воспитанниковъ новыхъ школъ,—добавлялось въ декретѣ,—которые, по достиженіи извѣстнаго возраста и по успѣшномъ прохожденіи курса, пожелаютъ поступить въ военную службу, будутъ отправляемы въ части войскъ, предварительно въ качествѣ юнкеровъ (cadets gentilshommes), для которыхъ и будетъ учреждено въ войскахъ 1200 вакансій; тѣ же изъ нихъ, которые, по внутреннему влеченію, предпочтутъ духовную или гражданскую карьеру, будутъ отправляемы въ соотвѣтствующія тому учебныя заведенія...“

Очень легко удалось Сенъ-Жермену устроить прекрасныя зданія для школъ со всею подходящею имъ внѣшнею обстановкою. Но, когда дошло дѣло до внутренней ихъ организаціи, то,—вопреки всѣмъ его доводамъ и настояніямъ,—основанія для пріема, по которымъ доступъ въ школы предоставлялся, по преимуществу, дѣтямъ лицъ привилегированныхъ сословій, удержали прежнія; а начальствованіе и воспитаніе въ нихъ поручили монашескимъ орденамъ, вѣденію которыхъ предоставили даже и самое комплектованіе школъ учителями, подъ однимъ лишь условіемъ,—не выходить изъ предѣловъ ассигнованныхъ на этотъ предметъ, крайне недостаточныхъ суммъ.

Такимъ образомъ, С.-Жерменъ, упраздняя старыя военныя школы, въ сущности, ни мало не умалилъ зла, противъ котораго боролся, а только перемѣстилъ его, ибо новыя школы на дѣлѣ оказывались не только ничѣмъ не лучше, но даже, въ нѣкото-

рыхъ отношеніяхъ, еще хуже, чѣмъ старыя... Всѣхъ учениковъ въ Бріенской школѣ полагалось имѣть 120 человѣкъ, изъ которыхъ половина содержались на счетъ казны, а другая—на свой собственный. Изъ четырехъ монашескихъ орденовъ, между которыми были распредѣлены новыя школы, Бріенская досталась въ руки минимовъ (minimes), самаго невѣжественнаго изъ всѣхъ.

IV.

По свидѣтельству почти всѣхъ наставниковъ, отличительными чертами характера и нрава Наполеона, рѣзко выдѣлявшими его ребяческую фигуру въ отенской школѣ, были: малая общительность, меланхолическая мечтательность и враждебность къ своимъ товарищамъ-чужеземцамъ, съ которыми онъ не столько рѣзвился, сколько спорилъ и ссорился, а особенно по поводу ихъ насмѣшекъ надъ Корсикою.—„Товарищи его,—разсказываетъ аббатъ Шадронъ, отенскій учитель Наполеона,—начнутъ иногда честить корсиканцевъ трусами. Тогда онъ, вдругъ, разражается съ видомъ холодной флегмы, составляющей основу его характера, и говоритъ, что,—приди французы не десять, а четыре противъ одного, никогда корсиканцы не поддались бы имъ... Но, однако же, у васъ былъ такой славный вождь, какъ Паоли? —замѣчалъ на это ему Шадронъ. Тогда онъ, съ неудовольствіемъ, горделиво отвѣчалъ: да, м. г., я желалъ бы очень походить на него!..“—Въ Бріенской школѣ всѣмъ этимъ нравственнымъ особенностямъ Наполеона суждено было не только не исчезнуть или не сгладиться, но найти еще болѣе благопріятную почву для дальнѣйшаго развитія. Въ Отенѣ былъ, по крайней мѣрѣ, епископъ, братъ покровителя, графа Марбёфа, не покидавшій ребенка своимъ вниманіемъ; было равенство состояній съ товарищами, хотя и чуждыми по языку и нравамъ. Не то было въ Бріеннѣ. Здѣсь, мало того, что ребенокъ не нашелъ во всемъ персоналѣ школы ни единой близкой души, но попалъ еще и въ среду товарищей, чуждыхъ ему уже во всемъ, такъ какъ, въ большинствѣ, все это были дѣти богатой аристократіи; прибавилось презрительное отношеніе новыхъ компаньоновъ къ его происхожденію, ядовитыя насмѣшки надъ его нищетой. Какимъ тяжелымъ гнетомъ ложились всѣ эти отношенія товарищеской среды на дѣтскую душу Наполеона, можно видѣть изъ письма къ отцу въ 1781 г., на второй годъ пребыванія въ Бріеннѣ, т.-е., когда ему былъ 12-й годъ.

„Батюшка!—пишетъ Наполеонъ.—Если у васъ и у моихъ покровителей нѣтъ средствъ для приличнаго меня содержанія въ школѣ, возьмите меня изъ нея, и даже—безотлагательно. Мнѣ стало болѣе не подъ силу выставляться на показъ съ моей нищетою, выносить насмѣшки нахальныхъ школяровъ, не имѣющихъ надо мною никакихъ другихъ преимуществъ, кромѣ богатства, такъ какъ между ними не сыщется и одного, который былъ бы, хотя сколько-нибудь, способенъ понять благородныя чувства, наполняющія меня.—Неужели же, батюшка, вашему сыну такъ постоянно и оставаться мишенью, служащею для шутокъ разныхъ глупцовъ, которые, гордясь сластями, пріобрѣтаемыми ими, станутъ съ улыбкою издѣваться надъ лишеніями, которыя выношу я!—Нѣтъ, нѣтъ! Если судьбѣ уже не угодно улучшить настоящей моей участи, то — вырвите меня изъ Бріенна, сдѣлайте изъ меня, если это необходимо, простого рабочаго. Уже одни эти просьбы мои могутъ дать вамъ понятіе о моемъ отчаяніи. Вѣрьте, письмо это я пишу не подъ диктовку суетныхъ желаній разорительныхъ забавъ и удовольствій: я равнодушенъ къ нимъ. Мнѣ необходимо только доказать, что, подобно моимъ товарищамъ, и у меня есть средства пріобрѣтать ихъ“.

Что отвѣчалъ отецъ на это письмо, и даже отвѣчалъ ли,—неизвѣстно. Но, что онъ не могъ ни взять изъ Бріенна сына и сдѣлать его рабочимъ, ни тѣмъ болѣе улучшить его матеріальное положеніе, которымъ обусловливалось и его положеніе нравственное, это—внѣ сомнѣнія, такъ какъ денежныя дѣла Карла Буонапарте, со времени помѣщенія Наполеона въ Бріеннъ, становились чѣмъ дальше, тѣмъ все стѣснительнѣе и хуже. Дѣдушка Люціанъ отвѣчалъ, впрочемъ, внуку, объясняя ему почти безвыходное положеніе отца, въ виду чего совѣтовалъ ему, за лучшее, разсчитывать во всемъ на себя самого. Но, что же больше и оставалось дѣлать мальчику, окруженному недружелюбной, обидно третирующей его товарищеской средой, вдали отъ родины и семьи, лишенному, наконецъ, и послѣдней надежды на родительскую помощь, на которую онъ разсчитывалъ, какъ на единственное средство, могущее еще улучшить его тяжелый бытъ?—Затаиться, сосредоточиться, уйти въ самого себя, изыскивая въ себѣ, въ своихъ внутреннихъ силахъ средствъ, необходимыхъ для перенесенія тяжкаго настоящаго, устройства неизвѣстнаго будущаго, для борьбы за жизнь вообще. Такъ Наполеонъ и сдѣлалъ. Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе онъ удалялся въ Бріеннѣ отъ всѣхъ, мрачно предаваясь своимъ думамъ и мечтамъ, которыя, если и нарушались иногда, то развѣ какимъ-либо рѣзкимъ спо-

ромъ или конфликтомъ съ товарищами. Таково было, наприм., столкновеніе, возникшее у него съ однимъ изъ своихъ товарищей и повлекшее за собою арестъ Наполеона, 7-е октября 1783 г. Причиной конфликта, какъ и всегда, послужили насмѣшки надъ его корсиканскимъ происхожденіемъ и занятіями отца.—Очень любопытно письмо, написанное Наполеономъ по поводу этого случая къ гр. Марбёфу.

„Если я виноватъ, — говоритъ 14-ти-лѣтній мальчикъ въ этомъ письмѣ,—и, слѣдовательно, заслуженно лишенъ свободы, то благоволите, графъ, довершить благодѣянія, которыми я всегда пользовался отъ васъ: возьмите меня изъ школы и лишите вашего покровительства, осчастлививъ имъ лучше другого, болѣе меня того стоющаго. А я,—я никогда и не буду достоинъ его, ибо не чувствую силъ къ обузданію себя отъ запальчивости, проявляющейся во мнѣ тѣмъ неудержимѣе, чѣмъ болѣе я считаю священными для себя мотивы, возбуждающіе ее во мнѣ. Какія бы соображенія ни осуждали этой запальчивости, я никогда не потерплю, чтобы честное имя моего уважаемаго отца забрасывалось грязью! Ограничиваться жалобами начальству въ подобномъ случаѣ будетъ всегда—выше моихъ силъ, ибо во мнѣ существуетъ глубокое убѣжденіе, что достойный сынъ только самъ можетъ и долженъ мстить за оскорбленіе такого рода. Что же до благодѣяній, которыми вы, графъ, такою щедрою рукою осыпали меня, то память о нихъ никогда не исчезнетъ изъ сердца моего. Я никогда не перестану говорить себѣ: да, у меня было высокочтимое покровительство, но, чтобы пользоваться имъ, надлежало имѣть качества, которыми небо обдѣлило меня“.

Благодаря участію гр. Марбёфа, дѣло кончилось ничѣмъ.. Но, какъ самый фактъ, такъ равно и оба письма, здѣсь приведенныя, могутъ служить хорошею иллюстраціею положенія Наполеона въ Бріеннѣ, и того нравственнаго его состоянія, которое этимъ положеніемъ обусловливалось.

Къ необщительности, мечтательности и враждебности къ окружающей его ребяческой средѣ, замѣченныхъ въ Наполеонѣ уже въ Отенѣ, въ Бріеннѣ видимо примѣшалось уже и чувство протеста противъ незаслуженныхъ, но постоянныхъ униженій и оскорбленій, чувство уязвленнаго самолюбія, зачатки заносчиваго самомнѣнія. Почему-же, при этомъ, не могли возникнуть и другія, еще болѣе острыя и злыя чувства—зависти къ почестямъ, къ богатству, ревниваго стремленія ко всѣмъ благамъ, связаннымъ съ ними, жажда карьеры? Всѣ условія школьной обстановки Наполеона въ Бріеннѣ должны были способствовать тому.

А при тѣхъ впечатлительности и нервности, которыми вообще отличалась натура его,—то неудержимо страстная, то жестко-холодная,—они легко могли возобладать надъ всѣми прочими побужденіями и, постепенно разрастаясь, превратиться, наконецъ, въ тѣ неодолимыя себялюбіе и честолюбіе, которыя, въ пору зрѣлости, сдѣлались главнѣйшими двигателями всей его дѣятельности, въ ту, какую-то злостно-презрительную гордыню, съ какою онъ, стоя на вершинѣ своего могущества, сталъ безразлично относиться къ государямъ и государствамъ, къ отдѣльнымъ личностямъ и цѣлымъ народамъ, къ аристократамъ и демократамъ, къ человѣческимъ уму и глупости, словомъ—чуть не ко всѣмъ и всему, кромѣ самого себя!.. Да и что же могло бы послужить, —если не противудѣйствующею, то, по крайности, умѣряющею силою направленію, по которому такъ естественно должно было пойти развитіе чувствъ и мыслей Наполеона съ бріеннской школьной скамьи?—Высшія религіозныя стремленья? Но, не вынеся ихъ изъ подъ отеческаго крова, онъ тѣмъ менѣе могъ воспріять ихъ подъ невѣжественной и фарисействующей ферулой своихъ здѣшнихъ воспитателей. А про высшія тенденціи, даваемыя философіей, наукой и вообще солиднымъ образованіемъ, нечего и вспоминать, говоря о Бріеннской школѣ... Могло бы еще въ данномъ случаѣ сослужить Наполеону нѣкоторую службу,—а особенно при его природномъ умѣ—самообразованіе, къ которому невольно наталкивала его жажда знанія, не удовлетворявшаяся жалкой школьной рутиной. И дѣйствительно, за время своего школьнаго пребыванія, Наполеонъ предавался чтенію со всѣмъ свойственнымъ ему увлеченіемъ, читая все, что только ни подвертывалось подъ руку. Но, что же могло ему попадаться-то для чтенія въ захолустномъ городкѣ Бріеннѣ или въ цензурно-монашеской библіотекѣ школы? Наполеонъ читалъ безъ подготовки и безъ разбора, оставшись вслѣдствіе того, самоучкою, во всемъ значеніи этого слова, во всю свою послѣдующую жизнь...

V.

Года шли за годами. Мальчикъ регулярно переходилъ изъ класса въ классъ. Успѣхи Наполеона въ школьныхъ занятіяхъ, вопреки утвержденію его панегиристовъ, были, что называется, средніе, въ чемъ можно убѣдиться и изъ аттестаціи, данной ему помощникомъ инспектора, Керилліо, человѣкомъ весьма къ нему расположеннымъ. Вотъ что, между прочимъ, говорится въ

ней: „Де-Буонапарте, ученикъ 4-го класса; росту—4 фута, 10 дюйм., 10 линій; сложенія хорошаго; здоровья превосходнаго; послушенъ, честенъ и признателенъ; поведенія безупречнаго; особенно преуспѣваетъ въ математикѣ; въ исторіи и географіи—посредственъ; въ латыни и тѣлесныхъ упражненіяхъ—слабъ. Изъ него можетъ выйти превосходный морякъ. Заслуживаетъ перевода въ парижскую школу". Изъ этой аттестаціи можно видѣть также, что морская служба несомнѣнно была первоначальнымъ желаніемъ Наполеона. Такое влеченіе было, впрочемъ, вполнѣ и естественно со стороны юноши, родившагося въ портовомъ городѣ и начитавшагося такъ много о блистательныхъ морскихъ подвигахъ Бугенвилей и Сюффреновъ, тѣмъ болѣе, что, служа во флотѣ, онъ весьма легко могъ попасть и въ Тулонъ, т.-е. находиться вблизи родины и семьи. Того же добивался въ началѣ и отецъ.

Дѣло о наслѣдствѣ, полученіе котораго могло бы обезпечить благосостояніе семьи, какъ ни бился Карлъ, все не распутывалось. Выгоды каштановой плантаціи, взятой имъ въ аренду, оказывались также пока проблематическими. Семья все нарастала; расходы расли, увеличиваясь, между прочимъ, и самымъ образомъ жизни Карла, постоянно соперничавшаго во вліяніи и представительствѣ съ такими богатыми людьми, какъ Буттафуоко и Казабіанка, а тутъ, какъ бы въ добавленіе къ денежнымъ невзгодамъ, онъ почувствовалъ еще и первые признаки болѣзни, долженствовавшей вскорѣ свести его въ могилу.

Трое дѣтей, Людовикъ, Полина и Каролина, были еще слишкомъ малы, чтобы думать о ихъ воспитаніи внѣ дома. Но Люціану, находившемуся уже въ Отенѣ, было уже девять, а Элизѣ семь лѣтъ. Объ этихъ надлежало хлопотать безотлагательно, чтобы своевременно пристроить ихъ, какъ хотѣлось Карлу, перваго—въ Бріеннскую школу, а послѣднюю — въ институтъ Св. Людовика, въ С.-Сирѣ. Особенно не легкимъ дѣломъ оказывалось устройство Элизы въ аристократическомъ институтѣ св. Людовика, куда, на королевскій счетъ, принимали не иначе, какъ только дочерей отцовъ, которые могли доказать свое четырехсотълѣтнее дворянство и, кромѣ того, представить еще епископское удостовѣреніе о ихъ матеріальной недостаточности. Вліяніе гр. Марбёфа помогло, однако, Карлу побѣдить эти препятствія: Элиза была принята, о чемъ онъ и былъ, по тогдашнему обычаю, извѣщенъ особымъ королевскимъ рескриптомъ.

Воспитаніе, получаемое дѣвицами въ институтѣ св. Людовика, было, правда, самое пустое, но выгоды, связанныя съ нимъ,

были велики: дѣтей не только воспитывали и содержали на королевскій счетъ, но еще при выпускѣ снабжали гардеробомъ, давали 3000 ливровъ въ приданое и 150 ливровъ на путевыя издержки. Надо было ѣхать, а для того опять прибѣгать къ займу, тѣмъ болѣе, что отправиться во Францію ему теперь было необходимо и по многимъ еще обстоятельствамъ. Надобно было похлопотать и о наслѣдствѣ, и объ опредѣленіи Люціана въ Бріеннъ и посовѣтоваться съ врачами на счетъ своего здоровья, и, сверхъ того, серьезно потолковать и съ Іосифомъ, который вдругъ пожелалъ теперь перемѣнить духовную карьеру на военную, чѣмъ окончательно спутывалъ всѣ разсчеты семьи.

Въ похвалу Карла слѣдуетъ, однако, замѣтить, что онъ, до послѣдней минуты, не терялся въ массѣ мелочныхъ затрудненій, вынуждавшихъ его всю жизнь хлопотать и биться, какъ рыба объ ледъ. Такъ это было и теперь. Надо было и собираться въ путь, на который у него совсѣмъ не имѣлось денегъ; да надо было присутствовать еще и на торжественномъ обѣдѣ, устраиваемомъ благодарными корсиканцами гр. Марбёфу. Карлъ выѣхалъ, наконецъ, въ путь. По дорогѣ, въ Отенѣ, онъ захватилъ съ собою Люціана, и 21 іюня 1784 г., вмѣстѣ съ нимъ и дочерью, Элизою, былъ уже въ Бріеннѣ.

Пять лѣтъ минуло уже со времени разлуки Карла съ Наполеономъ, который предсталъ теперь предъ отцемъ почти молодымъ человѣкомъ. Какова была эта встрѣча сына съ отцомъ, братомъ и сестрою, которыхъ онъ едва зналъ, объ этомъ сохранились нѣкоторые слѣды въ письмѣ Наполеона къ Фешу, спустя нѣсколько дней послѣ этого свиданія.

Начавъ письмо краткимъ сообщеніемъ о прибытіи въ Бріеннъ отца и сказавъ нѣсколько словъ о Люціанѣ, который, научившись хорошо по-французски, почти забылъ по-итальянски, Наполеонъ обращается затѣмъ къ намѣренію Іосифа промѣнять духовную на военную карьеру, что́ и подвергаетъ длинному, строгому, даже по пунктамъ излагаемому—не только обсужденію, но и самому безпощадному осужденію. Чѣмъ-то уже не юношескимъ отзывается отъ этого письма, въ которомъ особенно поражаетъ тенденція управлять другими, и сухой разсчетъ, съ точки зрѣнія котораго онъ разбираетъ и осуждаетъ намѣреніе Іосифа. Любопытенъ также въ этомъ письмѣ, писанномъ будущимъ великимъ полководцемъ, крайне пренебрежительный отзывъ его о „пѣхотныхъ офицерахъ“, какимъ, по его мнѣнію, только и можетъ быть Іосифъ, наклонный „бездѣльничать въ теченіе трехъ-четвертей времени всей своей службы“.

Не долго, однако, Карлу пришлось погостить у сына, въ Бріеннѣ. По существовавшему положенію о военныхъ школахъ, одновременное воспитаніе двухъ братьевъ на счетъ казны въ нихъ не допускалось; слѣдовательно, для опредѣленія Люціана надобно было, чтобы Наполеонъ прежде вышелъ изъ училища. Но тутъ-то и встрѣтилось неожиданное затрудненіе. Наполеонъ сдалъ успѣшно свои окончательные экзамены; но при выпускѣ, число конкуррентовъ на службу во флотѣ оказалось такъ велико, что начальству, за невозможностью удовлетворить всѣхъ, пришлось избрать между ними только нѣкоторыхъ, къ числу коихъ оно почему-то Наполеона не причислило.

Наполеону, хотя и поставленному за отличіе во главѣ взвода, приходилось, въ ожиданіи вакансіи во флотѣ, оставаться въ училищѣ, т.-е. загораживать брату поступленіе туда на счетъ казны да и самому тратить время попусту. Оставалось опять хлопотать въ Парижѣ.

Въ Парижѣ, какъ эта, такъ и другая, вслѣдъ за ней, поданная Карломъ просьба министру о принятіи на службу въ артиллерію Іосифа, рѣшительно отказывавшагося отъ духовной карьеры, были приняты вообще благосклонно. Начальство соглашалось принять Іосифа въ артиллерію, но съ тѣмъ, конечно, что онъ сдастъ требуемый для того экзаменъ. А такъ какъ въ Отенѣ къ такому экзамену онъ подготовиться не могъ, то и было условлено, что, предварительно, онъ вступитъ, по желанію, въ бріеннскую или мецскую школу, съ тѣмъ, чтобы сдать свой экзаменъ въ будущемъ году. Принимали насчетъ казны и Люціана въ бріеннскую школу, но тоже подъ условіемъ, что Наполеонъ оставитъ школу и, отказавшись отъ морской, изберетъ какой-либо другой родъ службы.

Въ отвѣтъ на письмо отца, по этому поводу, Наполеонъ выразилъ желаніе вступить на службу въ артиллерію или въ инженеры, чтобы только не попасть въ пѣхоту, которую онъ считалъ тогда ни во что, и не въ кавалерію, гдѣ служба была бы слишкомъ тяжела для его самолюбія, и такъ достаточно уже перетерпѣвшаго на школьной скамьѣ.

Но для того, чтобы получить офицерскій чинъ, Наполеону надлежало выдержать еще одинъ искусъ,—пробыть годъ въ парижской королевской военной школѣ, куда онъ и былъ отправленъ въ октябрѣ того же 1784 г.

Повидаться съ отцомъ Наполеону болѣе уже не удалось, такъ какъ Карлъ, у котораго быстро исчезали въ разъѣздахъ и хлопо-

тахъ не только деньги, но и физическія силы, торопился теперь возвратиться въ Корсику.

Совмѣстное ли пребываніе съ бойкимъ и веселымъ Люціаномъ, свиданіе съ отцомъ и сестрою, надежда ли на скорый выходъ изъ школы, или, наконецъ, всѣ эти обстоятельства вмѣстѣ, повліяли на черствый и скрытный нравъ Наполеона, но только въ письмѣ въ отцу отъ 12 сентября 1784 г., впервые замѣчается нѣкоторая черта привязанности къ отцу, матери, роднымъ и домочадцамъ, которыхъ онъ даже всѣхъ поименовываетъ въ письмѣ, посылая имъ всѣмъ свой привѣтъ.

Остальная часть этого письма, по обыкновенію, отличается свойственными его письмамъ точностью и методичностью, съ которыми онъ, даже по пунктамъ, излагаетъ свои соображенія, что выгоднѣй и удобнѣе для Іосифа, поступить въ Бріеннъ или Мецъ? Любопытно также заключеніе этого письма, въ которомъ Наполеонъ проситъ отца—выслать ему Босвеля (исторію Корсики) и другія сочиненія или мемуары, относящіеся до исторіи Корсики. „Не бойтесь,—говоритъ онъ,—я сохраню и привезу ихъ съ собою въ цѣлости, хотя бы мнѣ чрезъ шесть лѣтъ довелось побывать въ Корсикѣ“. Просьба эта можетъ служить несомнѣннымъ доказательствомъ, что мысль писать исторію своей родины, надъ которою онъ и проработалъ всю свою молодость, впервые возникла въ головѣ Наполеона еще въ Бріеннѣ, т.-е., когда ему едва исполнилось 15 лѣтъ.

VI.

19 октября 1784 г. Наполеонъ прибылъ изъ Бріенна въ Парижъ; 23 того же окт., послѣдовалъ рескриптъ короля къ главному инспектору королевскихъ артиллерійскихъ школъ о зачисленіи Наполеона въ роту юнкеровъ парижской королевской школы, и въ тотъ же день, вечеромъ, онъ вступилъ въ нее.

Королевская парижская школа эта была та самая, которая, по причинѣ злоупотребленій и дурного духа, господствовавшихъ въ ней, была, какъ мы помнимъ, упразднена въ министерство Сенъ-Жермена, въ февралѣ 1776 г. Возстановленіе ея и притомъ, почти въ прежнемъ видѣ, послѣдовало съ небольшимъ чрезъ годъ, послѣ паденія этого министерства, а именно 17 іюля 1777 года.

Главными дѣятелями реставраціи старой школы явились, какъ и слѣдовало ожидать, придворные противники Сенъ-Жермена. Духъ кастовой запосчивости, нетерпимости и распущенности,—гово-

рили они, заимствуется дворянскими дѣтьми вовсе не въ школахъ, а въ самихъ ихъ семьяхъ, въ обществѣ, откуда, естественно, переходитъ и въ войска. А потому упраздненіе старой школы не только не ослабило, но, напротивъ, увеличило еще зло, бросивъ, въ силу реформы Сенъ-Жермена, 15-лѣтнихъ юношей, неопытныхъ и малосвѣдущихъ, въ полки, въ качествѣ gentil-homm'овъ. Съ другой стороны они указывали на опустѣлыя громадныя зданія школы, безполезно стоящія, и на громадный personalъ учителей, офицеровъ и прочихъ ея чиновъ, продолжавшихъ получать прежнее содержаніе, не дѣлая ровно ничего. Все это составляло чистую потерю казны. А, между тѣмъ, возстановить школу, при всей сохранившейся, такимъ образомъ, обстановкѣ ея, было такъ просто и легко: стоило только приказать присылать въ нее изъ провинціальныхъ школъ тѣхъ изъ воспитанниковъ, которые предназначались къ выпуску въ полки въ качествѣ gentil-homm'овъ, и школа опять готова.

Само собою разумѣется, что вникнувъ во всѣ эти доводы и разсужденія противниковъ С.-Жермена, и можно, да и слѣдовало бы, прійти къ инымъ, совсѣмъ другимъ и гораздо болѣе плодотворнымъ и широкимъ выводамъ, чѣмъ возстановленіе стараго, нравственно прогнившаго учебнаго заведенія. Но для противниковъ С.-Жермена и для тогдашняго французскаго правительства и этого вывода было достаточно, такъ какъ имъ все думалось, что, чѣмъ скорѣе и больше они успѣютъ возстановить всякой изношенній негодности, въ родѣ парижской школы, тѣмъ скорѣе укрѣпятъ шатающуюся власть и тѣмъ вѣрнѣе прировняютъ свое время ко времени Людовика XIV, о чемъ они наивно и упорно продолжали мечтать.

Во вновь возстановленную школу принимались, какъ ученики школъ, получившіе въ нихъ воспитаніе на казенный счетъ, такъ равно и воспитывавшіеся въ нихъ на свое иждивеніе. Послѣдніе вносили по 2000 ливровъ въ годъ и по 400 единовременно при поступленіи. По достиженіи 16-ти лѣтняго возраста, имъ давали чинъ подпоручика (sous-lieutenant), не возбраняя, однако, желающимъ оставаться въ школѣ для пополненія своего образованія. Изучались въ школѣ, кромѣ военныхъ наукъ: исторія, географія и живые языки. Но какъ? Объ этомъ можно себѣ составить понятіе по самому, конечно, способному ученику этой школы, Наполеону, который утратилъ даже чувство своего природнаго, итальянскаго языка, не изучивъ хорошо и французскаго, на которомъ никогда правильно не говорилъ, а писалъ съ самыми грубѣйшими ошибками (напр., jusqici—вмѣсто jusqu'ici; jété—

вмѣсто j'étais; déffance—вмѣсто défense; ses troups—вмѣсто ses troupes; l'avallance—вмѣсто la vaillance, и т. п.).

Число воспитанниковъ школы доходило до 120 ч., но любопытно, что кадръ ея учителей и разныхъ административно-хозяйственныхъ чиновъ, почти равнялся тому же числу!

Столъ, одежда—не только учащихся, но даже конюховъ, да вообще и вся обстановка школы были доведены до роскоши. Администрація школы помѣщалась въ великолѣпныхъ квартирахъ; ученики жили по два. Товарищемъ Наполеона по жилью попался скромный и добрый малый, нѣкто Демази, сынъ бѣднаго, выслужившагося артиллерійскаго полковника. Наполеонъ сошелся и даже подружился съ нимъ настолько, конечно, насколько то допускала натура его, вообще мало искренняя и наклонная къ господству.

Въ Парижѣ, гдѣ не подалеку была сестра, были и знакомыя, какъ, напр., m-me Пермонъ и епископъ отенскій, Марбёфъ, всегда ласково принимавшіе Наполеона, положеніе его, естественно, оказалось менѣе изолированнымъ, чѣмъ въ Бріеннѣ. Что же касается до нравственныхъ страданій, обусловливаемыхъ неравенствомъ товарищеской среды, то въ этомъ отношеніи положеніе Наполеона въ парижской школѣ прямо даже ухудшилось. Да и какъ могло быть иначе въ заведеніи, гдѣ рядомъ съ нимъ и безвѣстнымъ Демази, воспитывались дѣти: Роганов, Пюисегюровъ, Марсильяковъ, Монморанси и проч., невольно вносившіе въ школу и нравы роскоши двора, и замашки и обычаи своихъ родителей?!. Вѣроятно, подъ вліяніемъ этихъ-то чувствъ Наполеонъ и написалъ тогда свою первую записку „о вредѣ роскоши въ военныхъ школахъ“...

Вообще Наполеону въ школѣ жилось не легко, тѣмъ болѣе, что въ послѣднее время и вѣсти изъ дому получались далеко не утѣшительныя. Семья многочисленная и безъ того, 15 ноября 1784 г. прибросла еще новымъ членомъ: родился Іеронимъ. А дѣло о наслѣдствѣ вызывало больного отца на новую, непосильную и разорительную поѣздку во Францію, куда къ тому же нужно было еще везти въ бріеннскую школу и путающагося баловня Іосифа. Собравшись съ послѣдними силами и средствами, Карлъ отправился, наконецъ, въ вояжъ, но при переѣздѣ почувствовалъ себя такъ дурно, что изъ Марсели вынужденъ уже былъ отправиться прямо въ Монпелье къ врачамъ. Здѣсь, правда, онъ нашелъ самый радушный пріемъ и уходъ у друга своего дѣтства, г-жи Пермонъ, урожденной Комненъ, будущей герцогини

д'Абрантесъ; но болѣзнь Карла пошла такъ быстро, что 24 фев. его уже не стало. Онъ скончался на 38 году жизни.

Корсика, конечно, потерпѣла не великую утрату въ лицѣ Карла Буонапарте, всю свою жизнь заботившагося не столько объ общественныхъ, сколько о своихъ интересахъ, и бывшаго всегда преданнѣйшимъ слугою лишь тѣхъ, на чьей сторонѣ была власть и сила; но собственно для семьи потеря его была тяжелымъ ударомъ, такъ какъ она оставалась теперь и безъ главы и почти безъ средствъ. Опекунство надъ семьей принялъ пока на себя старикъ викарій Люціанъ; но это, конечно, не много улучшило ея положеніе и ни мало не измѣнило положеніе Іосифа, который и по лѣтамъ и потому, что одинъ изъ всей семьи находился на волѣ, увидѣлъ теперь себя въ необходимости отказаться отъ своихъ прежнихъ военныхъ проектовъ и поспѣшить въ Корсику, чтобы тамъ, по близости матери, оставшейся съ четырьмя малолѣтками, найти хоть какое-либо выгодное приложеніе своимъ силамъ. Изъ письма, написаннаго Наполеономъ къ матери, отъ 29 марта, видно, что смерть отца отозвалась и на его душѣ, хотя нельзя не придти въ нѣкоторое недоумѣніе отъ post-scriptum'a, которымъ заключается это дѣйствительно прочувствованное, коротенькое письмо: до того онъ мало вяжется и съ содержаніемъ письма и съ обстоятельствомъ, послужившимъ къ нему поводомъ!—„27 марта, въ 7 ч. вечера,—говорится здѣсь —королева Франціи разрѣшилась принцемъ, получившимъ титулъ герцога Норманскаго".

Вниманіе его въ то время было привлечено вовсе не рожденіемъ принца, а совсѣмъ другимъ. Онъ занятъ былъ изученіемъ матеріаловъ для исторіи Корсики, чтеніемъ Руссо, котораго читалъ и перечитывалъ, да сверхъ того, еще составленіемъ записки „о воспитаніи молодыхъ маніотовъ", по образцу которыхъ, по мнѣнію его, слѣдовало бы вести воспитаніе и въ нравственно испорченныхъ французскихъ школахъ. Записку эту, прежде, чѣмъ представить военному министру, для котораго она собственно и предназначалась, Наполеонъ послалъ, однако, на предварительное чтеніе отцу Бертону, директору Бріеннской школы. Но Бертонъ, подъ предлогомъ того, что гр. Сегюру было не до записокъ юноши, а въ сущности, вѣроятно, изъ опасенія, какъ бы онъ не подвергся отвѣтственности за рѣзкость тона записки, посовѣтовалъ Наполеону, оставить его намѣреніе, съ чѣмъ онъ и согласился.

Между тѣмъ, приближалось время выпуска. Въ ротѣ, въ ко-

торой числился Наполеонъ, число конкуррентовъ на выпускъ въ артиллерію было не велико. Молодые дворянчики не особенно стремились тогда въ артиллерію и въ инженеры, какъ въ такіе рода оружія, гдѣ и въ то время требовалось вообще больше знаній и труда, чѣмъ въ другихъ. А потому изъ 58 учениковъ, подлежавшихъ производству въ подпоручики, къ выпуску въ артиллерію предназначено было всего только шесть.

Судя по 42-му нумеру выпуска, видно, что выпускной экзаменъ былъ сданъ Наполеономъ не особенно блестяще. Въ аттестаціи, выданной, при этомъ, школою, о Наполеонѣ говорится слѣдующее: „Сдержанъ, прилеженъ; предпочитаетъ занятія и чтеніе лучшихъ авторовъ всякимъ удовольствіямъ. Любитъ отвлеченныя науки, но равнодушно относится къ другимъ. Математику и географію знаетъ основательно. Тихъ, расположенъ къ уединенію, своенравенъ, надменъ; въ высшей мѣрѣ наклоненъ къ эгоизму; не разговорчивъ, рѣзокъ въ отвѣтахъ; находчивъ, но суровъ въ возраженіяхъ. Крайне самолюбивъ, честолюбивъ и мечтаетъ о многомъ. Молодой человѣкъ этотъ заслуживаетъ особаго вниманія“. Нельзя не сознаться, что въ этой аттестаціи данной 16-лѣтнему мальчику, не дурно очерченъ будущій въ немъ человѣкъ!

1-го сентября 1785 г. былъ подписанъ декретъ о производствѣ де-Буонапарте въ подпоручики—въ бомбардирскую роту Ла-Ферскаго артиллеристскаго полка, квартировавшаго въ Валансѣ. Избирая этотъ полкъ, молодой подпоручикъ, конечно, руководился относительной близостью стоянки его къ Корсикѣ и надеждою быть когда-нибудь командированнымъ туда съ какой-либо изъ ротъ, обыкновенно посылаемыхъ полкомъ, отъ времени до времени, на службу въ Корсику. Въ тотъ-же полкъ былъ выпущенъ и другъ его, Демази.

Но декретъ о производствѣ, подписанный 1-го сент., появился только 26 окт. Тяжело прошли эти шесть недѣль ожиданія декрета для Наполеона, остававшагося въ Парижѣ безъ всякихъ средствъ. Къ счастью, нашлись средства у Демази, товарищески подѣлившагося ими съ Наполеономъ, безъ чего онъ не зналъ бы, какъ и выбраться изъ Парижа, откуда оба пріятеля, вмѣстѣ, наконецъ, и отбыли въ Валансъ, 29 октября.

До Ліона пріятели доѣхали благополучно. Но дальнѣйшій путь отъ Ліона до Валанса, куда Наполеонъ съ Демази прибыли 5-го ноября, имъ пришлось уже, за неимѣніемъ денегъ, совершить пѣшкомъ!..

VII.

Новая жизнь, открывшаяся для Буонапарте съ прибытіемъ въ полкъ, успокоительно повліяла, по крайней мѣрѣ, на первое время, на его нравъ, начинавшій, въ особенности въ послѣднее время школьнаго пребыванія, все больше и больше оттѣняться чертами раздражительности и мизантропіи. Между артиллерійскими офицерами, его новыми сотоварищами, не было ни знатныхъ, ни богатыхъ людей; и значитъ, не могло быть между ними и Буонапарте и тѣхъ отношеній соціальнаго неравенства, которыя такъ мучительно отзывались на его самолюбіи въ Бріеннской и Парижской школахъ.

По заведенному порядку, Буонапарте заставили въ полку,— не смотря на офицерскій патентъ, нести, въ теченіе двухъ мѣс. службу простого канонира, но приняли вообще хорошо, а капитанъ Демази встрѣтилъ его, какъ друга его брата, даже съ распростертыми объятіями. Чего же болѣе для начинающаго? Содержаніе, получаемое Буонапарте, было не велико. Оно состояло тогда: изъ 800 ливровъ жалованья, 120 л. квартирныхъ и 200 ливр., получаемыхъ имъ, въ качествѣ королевскаго воспитанника, изъ шкатулки короля. Конечно, всего этого, едва могло хватать, чтобы только какъ-нибудь перебиться изо дня въ день; но, вѣдь, въ возрастѣ, въ которомъ находился тогда Буонапарте, да еще среди общества матеріально живущаго не лучше, такая недостаточность средствъ переносится легко, а особенно, когда голова юноши, подобно головѣ Наполеона, кишитъ мечтами о будущемъ! Было, правда, облачко, нагонявшее на молодого подпоручика столь обычное для него мрачное настроеніе духа, это —неимѣніе средствъ немедленно побывать на родинѣ. Но и это облачко стало разсѣиваться добрыми вѣстями изъ дому: брата Людовика, которому было теперь 8 лѣтъ, неизмѣнный покровитель семьи, гр. Марбефъ, обѣщалъ устроить на королевскій счетъ въ одной изъ военныхъ школъ; даже безнутный Іосифъ надѣялся скоро украсить грудь свою тосканскимъ орденомъ св. Стефана, о чемъ онъ, по праву первородства, ходатайствовалъ у герцога Тосканскаго, за вѣковыя заслуги и преданность фамиліи Буонапарте дому тосканскому, а также и въ виду того, какъ говорилось въ прошеніи, чтобы теперь, когда Корсика отошла подъ власть французскаго короля, онъ, Іосифъ, вновь украшенный орденомъ св. Этьена, могъ, при всякомъ случаѣ, доказывать свои глубочайшіе высокопочитаніе и вѣрность его, королевско-тосканскому высочеству, какъ равно и его августѣйшей семьѣ."

Эта любопытная просьба и заявленіе со стороны вѣрноподданнаго француза, какимъ выдавалъ себя Іосифъ Буонапарте, проливаетъ яркій свѣтъ на нравы этой фамиліи и на тѣ чувства, какія, члены ея въ дѣйствительности питали къ Франціи!.. Но, что всего болѣе утѣшало Наполеона, это, конечно, вѣсть о благопріятной развязкѣ, которую начинало получать дѣло о наслѣдствѣ, часть котораго была уже недавно передана г-жѣ Летиціи Буонапарте на правахъ долгосрочнаго владѣнія. Теперь возможность побывать дома становилась для Наполеона только вопросомъ времени.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ, Наполеонъ, какъ бы, ожилъ, сдѣлался веселѣй, сообщительнѣй. Онъ сталъ даже появляться въ небольшомъ кружкѣ, въ который ввелъ его аббатъ Тардивонъ, другъ и гр. Марбёфа и вообще всѣхъ покровителей семьи Бонапартовъ; началъ посѣщать салонъ нѣкоей г-жи Коломбье, гдѣ встрѣчался съ г-жами Дюпонъ, С. Жерменъ, Лоренсенъ и др., о которыхъ сохранилъ впослѣдствіи память и которымъ даже покровительствовалъ, когда достигъ власти.

Съ своими полковыми товарищами Буонапарте въ близкія знакомства не входилъ. Исключеніе въ этомъ случаѣ составляли человѣка четыре, пять, изъ его школьныхъ однокашниковъ, съ которыми почти только и былъ на довольно близкой ногѣ. Вообще же говоря, друзей, въ настоящемъ смыслѣ этого слова, у Наполеона въ полку не было, да онъ ихъ и не искалъ въ военномъ кругу, предпочитая всегда этому кругу общество гражданское. Такъ было, впрочемъ, не въ одномъ Валансѣ, но и во всѣхъ другихъ мѣстахъ, куда впослѣдствіи ни перемѣщался Ла-Ферскій полкъ. Пустая, фривольная болтовня, кутежи, дебоширство, въ которыхъ проводилась большая часть времени тогдашними офицерами, даже и артиллерійскими, отталкивали Наполеона отъ военнаго кружка.

Въ немъ, въ этомъ своемъ военномъ кружкѣ, въ которомъ произрасталъ будущій величайшій изъ полководцевъ, онъ не находилъ не только отвѣта, но даже интереса къ тѣмъ вопросамъ, которые, мучительно волнуя тогда общество, также точно волновали и его. А потому не было тутъ ничего и удивительнаго, если Буонапарте, чуждаясь своихъ товарищей, искалъ сближенія и дружбы съ прокурорами, адвокатами, аббатами и другими интеллигентными представителями различныхъ слоевъ общественныхъ, людьми, хотя и чуждыми ему по профессіи, но за то гораздо болѣе близкими по высшимъ умственно-нравственнымъ интересамъ, чѣмъ его товарищи по оружію.

Новыя знакомства и связи, сведенныя Наполеономъ въ валан-

скомъ обществѣ, не отвлекли его ни отъ разнообразнаго чтенія, которому онъ теперь предавался, проводя напролетъ ночи, преимущественно, надъ произведеніями философовъ, а главное Руссо, ни отъ заповѣдной мысли написать исторію Корсики.

Въ апрѣлѣ, 1786 г. онъ приступилъ даже къ осуществленію этой мысли, а къ началу іюля у него уже были готовы двѣ первыя и планъ остальныхъ главъ исторіи Корсики, что онъ, все вмѣстѣ, и послалъ, при письмѣ, къ аббату Рейналю.

„...Мнѣ нѣтъ еще и 18-ти лѣтъ,—говоритъ Наполеонъ въ этомъ письмѣ,—а я уже пишу исторію! А такъ какъ въ этомъ возрастѣ люди должны еще учиться, то весьма возможно, что моя дерзкая попытка вызоветъ даже у васъ насмѣшку. Но, нѣтъ! я этого не могу допустить, потому что если снисходительность, дѣйствительно, присуща таланту, то вы въ высокой мѣрѣ должны обладать ею...—Если вы одобрите мой трудъ, я стану продолжать его, если нѣтъ, я его покину".

Буонапарте не ошибся въ разсчетѣ на снисходительность Рейналя. Знаменитый ученый просмотрѣлъ это ребяческое произведеніе, написанное къ тому же плохимъ языкомъ, и вѣроятно, чтобы не огорчать юношу, далъ ему нѣсколько указаній, рекомендуя вновь пересмотрѣть свой трудъ. Наполеонъ сталъ собирать новые матеріалы.

Но, въ то время, когда Буонапарте только-что собирался приняться вновь за свою исторію, батальонъ, въ которомъ служилъ онъ, вдругъ, получилъ приказаніе отправиться въ Ліонъ, на усмиреніе возникшаго тамъ, такъ называемаго, грошоваго бунта (émeute de Deux-Sous).

Въ силу стараго обычая, существовавшаго въ Ліонѣ, дворянство пользовалось правомъ запрещать своимъ вассаламъ продажу вина въ теченіе августа мѣсяца, чѣмъ, понятно, устранялась конкурренція въ сбытѣ продукта, получаемаго съ текущаго винограднаго сбора. Какъ ни были чудовищны всякаго рода привилегіи тогдашней аристократіи, но это право являлось до того несправедливымъ даже самому дворянству, что оно, хотя формально и не отказалось отъ него, но издавна перестало имъ пользоваться, такъ, что о немъ почти уже всѣ и позабыли. Не забылъ только это право архіепископъ ліонскій, которому, вдругъ, пожелалось возстановить его въ 1786 г. Началось волненіе, которое, постепенно разростаясь, охватило, наконецъ, все рабочее населеніе города и его окрестностей. Волненіе это, впрочемъ, скоро стало само-собою и утихать, но мѣстныя власти, признали его за бунтъ. Призваны были войска. Губернаторъ началъ розыскивать и хва-

тать зачинщиковъ между народомъ. А когда народъ, выведенный этимъ изъ себя, сталъ выказывать, наконецъ, сопротивленіе, то нашли нужнымъ прибѣгнуть къ репрессіямъ, дошедшимъ даже до висѣлицъ. Испуганный такими мѣрами, народъ побросалъ мастерскія, фабрики, полевыя работы, и массами пустился спасаться въ Швейцарію, къ границѣ которой, разумѣется, немедленно были высланы военные кордоны, долженствовавшіе ловить бѣдняковъ, и силою водворять ихъ на мѣстахъ прежняго жительства. Этимъ собственно и кончился пресловутый бунтъ.

Буонапарте прибылъ съ батальономъ въ Кіонъ 15 августа, когда наружное спокойствіе было уже возстановлено, такъ что непосредственнаго участія въ усмиреніи бунта ему принять не довелось. Оставаясь въ теченіе цѣлаго мѣсяца съ батальономъ въ Ліонѣ, былъ, видимо, больше занятъ своею квартирною хозяйкою, молодою вдовою Бланъ, чѣмъ окружающею его жизнью. Такъ, по крайней мѣрѣ, можно заключить изъ письма къ Фешу, въ которомъ онъ говоритъ, что: „чувствовалъ себя въ Ліонѣ такъ хорошо, что готовъ былъ бы въ немъ остаться хоть на всю жизнь! Но, надобно идти, куда повелитъ судьба... У солдата не должно быть другихъ привязанностей, кромѣ привязанности къ своему знамени“...

Отсюда пришлось слѣдовать съ своимъ батальономъ уже не въ Валансъ, а въ Дуэ, куда, тѣмъ временемъ, былъ переведенъ и весь его полкъ.

19 октября Наполеонъ прибылъ въ Дуэ. Но здѣсь уже ждали его письма изъ дому и, при томъ, съ самыми печальными вѣстями. Графа Марбёфа, друга и покровителя семьи, не стало! Онъ умеръ 20 сент., а съ нимъ умерли и надежды на пристройство подроставшихъ братьевъ и сестеръ Наполеона въ учебныя заведенія. Дѣдушка Люціанъ былъ тяжко нездоровъ. Не удававшіяся дѣла Іосифа вынуждали его предпринять путешествіе въ Тоскану. Но, что гораздо было хуже, интендантъ острова, подъ разными предлогами отказывалъ въ уплатѣ денегъ, слѣдовавшихъ матери за плантацію тутовыхъ деревьевъ. При такомъ положеніи дѣла, мать признавала присутствіе Наполеона необходимымъ и настоятельно вызывала его въ Корсику. Надобно было ѣхать, а между тѣмъ, по причинѣ недавняго прибытія въ Дуэ полка, начальство отказывало ему въ отпускѣ до начала будущаго года.

Всѣ эти прискорбныя семейныя обстоятельства, вмѣстѣ съ инстинктивнымъ отвращеніемъ Буонапарте къ требованіямъ монотонной гарнизонной жизни, съ сырымъ и холоднымъ климатомъ Дуэ, съ лихорадкою, здѣсь схваченною и не покидавшею

его, впослѣдствіи, въ теченіе осьми лѣтъ, сокрушительно повліяли на молодого подпоручика. Онъ впалъ въ самое мрачное отчаяніе и сталъ даже помышлять о самоубійствѣ, какъ то можно видѣть изъ одной записки, писанной имъ въ эту эпоху его жизни.

„Всегда одинокій между людьми,—говоритъ Наполеонъ въ этой запискѣ,—лишь только я вхожу къ себѣ, какъ мысли, одна мрачнѣе другой, овладѣваютъ мною. Куда же онѣ устремятся сегодня? Къ смерти!.. Вотъ, почти уже 6 или 7 лѣтъ, какъ я на чужбинѣ. Чрезъ четыре мѣсяца мнѣ предстоитъ радостная встрѣча съ соотечественниками, съ родными... Да развѣ уже однихъ тѣхъ отрадныхъ чувствъ, отъ которыхъ начинаетъ биться сердце мое при одномъ лишь воспоминаньи дѣтства, не достаточно, чтобы я могъ сознать всю полноту счастья, ждущаго меня на родинѣ? И, между тѣмъ, какая-то темная сила заставляетъ меня желать саморазрушенія!.. Да и что дѣлать въ этомъ мірѣ? Вѣдь, все равно,—вѣчно жить не будешь; а потому, не лучше-ли покончить съ собою теперь-же? Будь мнѣ лѣтъ за шестьдесятъ, я, быть можетъ, и былъ бы еще готовъ изъ уваженія къ предразсудкамъ моихъ современниковъ смиренно ожидать часа, когда сама природа положитъ конецъ моимъ днямъ. Но, такъ какъ, кромѣ несчастій и горя, мнѣ жизнь пока не дала ничего, то съ чего я стану переносить ее?.. И до чего люди удалились отъ природы, до чего они стали трусливы, презрѣнны и низки!.. А что за зрѣлище представляютъ мнѣ на родинѣ мои соотечественники, съ трепетомъ лобызающіе руку, налагающую на нихъ цѣпи рабства?!. Вѣдь, это уже не прежніе корсиканцы, не герои, воодушевленные высокими чувствами, съ ненавистью относящіеся ко всякой тираніи, роскоши, презрѣнному куртизанству!.. Гордый и полный благороднаго чувства своей личной независимости, корсиканецъ жилъ когда-то счастливо. Дни онъ посвящалъ служенію обществу, а ночи проводилъ въ объятіяхъ обожаемой жены, забывая въ восторгахъ любви всѣ невзгоды дня! Эти ночи были ночами боговъ! Но теперь, когда исчезла свобода, исчезло и счастье корсиканца, какъ сонъ!.. О, французы! вы не только отняли у насъ все, что было намъ дорого, вы еще развратили наши нравы!.. Настоящее положеніе моей родины и невозможность измѣнить его служатъ для меня еще новою причиною, чтобы покинуть этотъ міръ, гдѣ я, по долгу обязанъ восхвалять тѣхъ, кого по совѣсти обязанъ ненавидѣть... И когда я прибуду, наконецъ, на родину, то что же стану изображать изъ

себя, съ какою рѣчью обращусь къ ней? Нѣтъ, хорошій гражданинъ не долженъ переживать гибели своего отечества!..

„Если бы освобожденіе моихъ соотечественниковъ зависѣло отъ уничтоженія одного человѣка, я ни на минуту не остановился-бы, чтобы пронзить его грудь мечемъ мщенія за родину, за ея поруганные законы!.. Мнѣ жизнь сдѣлалась бременемъ, невыносимымъ тѣмъ болѣе, что люди, среди которыхъ я живу и съ которыми придется, вѣроятно, и всегда жить, настолько же отличаются отъ меня своими нравами, насколько лунный свѣтъ отъ солнечнаго".

Само собою разумѣется, что это мрачное настроеніе духа было временнымъ, нагнаннымъ на 18-лѣтняго Наполеона, и болѣзнью и всею неприглядною его тогдашнею жизненною обстановкою. Тоска, бездѣятельность, нужда, и мучительныя рефлексіи въ настоящемъ; а въ перспективѣ—лѣтъ черезъ 15 капитанскій чинъ, да лѣтъ 15 службы въ этомъ чинѣ, а затѣмъ полунищенское существованіе на пенсію въ какомъ-нибудь захолустьѣ, вотъ и все! Да, было отъ чего, подъ часъ, придти Наполеону въ мрачное настроеніе духа. Замѣтимъ при этомъ кстати, что быстрые переходы отъ одного настроенія духа къ другому, совершенно противуположному, были всегдашнею чертою его характера, какъ въ юности, такъ и въ зрѣлыхъ годахъ. Но, несомнѣнно однако, что при всемъ томъ въ этой запискѣ весьма опредѣленно очерчивается и его нелюбовь къ Франціи, и жажда выдѣлиться изъ общей среды, и та, какая-то лихорадочная фантастичность которая, рядомъ съ честолюбивыми стремленіями, скоро явятся въ подкладкѣ всей послѣдующей дѣятельности Наполеона.

Въ февралѣ 1787 г., послѣ четырнадцати-мѣсячнаго пребыванія въ полку, онъ уѣхалъ наконецъ въ отпускъ.

VIII.

Отпускъ стряхнулъ съ Наполеона мрачныя мысли о самоубійствѣ. По пути въ Корсику, онъ заѣхалъ въ Валансъ, чтобы побывать у аббата Тардивона и попросить его участія о переводѣ брата Люціана изъ Бріенна въ семинарію г. Э, куда тотъ вознамѣрился теперь поступить, вдругъ воспылавъ желаніемъ, въ противуположность Іосифу, посвятить себя, вмѣсто военной, духовной карьерѣ. Въ Марсели Наполеонъ сдѣлалъ визитъ Рейналю и только въ концѣ февраля прибылъ въ Корсику.

Предъ матерью предсталъ теперь уже не мальчикъ, вриклиТомъ V.—Октябрь, 1885. 42/16

вый, капризный и задорный, а молодой человѣкъ, офицеръ королевской-артиллеріи, невысокаго роста, худой, блѣдный, съ нѣсколько торопливыми и неровными движеніями, съ пронзительнымъ взглядомъ, съ отрывистою рѣчью и съ явнымъ желаніемъ руководить и повелѣвать всѣми къ нему близкими. Такая руководящая роль въ семьѣ принадлежала, впрочемъ, теперь Наполеону, какъ бы по праву. Іосифъ, попрежнему, все въ поискахъ за устройствомъ себѣ положенія, находился въ то время во Флоренціи, гдѣ занялся торговлею оливковымъ масломъ, долженствовавшею, будто бы, обогатить его; Люціанъ былъ въ Бріеннѣ; Элиза—въ С.-Сирѣ. Людовику было 9 л.; красавицѣ Полинѣ—семь, Карлоттѣ—пять, а Іерониму всего три года. Дѣдушка Люціанъ, страдавшій подагрою, почти не выходилъ изъ комнаты. Наполеонъ являлся, такимъ образомъ, единственнымъ старшимъ въ семьѣ.

Пріѣздъ его былъ событіемъ въ Аяччіо. Это былъ первый корсиканецъ, вышедшій изъ королевскихъ военныхъ школъ! Многое перемѣнилось на островѣ за осьмилѣтнее отсутствіе Наполеона, начиная съ лицъ корсиканской администраціи. Сильно измѣнился и духъ островитянъ, среди которыхъ все рѣзче начинаю проявляться недовольство французскою властью, — недовольство, правда, пока молчаливое, но, тѣмъ не менѣе, глубокое. Начали уже показываться на островѣ и агенты Паоли, а въ Тосканѣ, Клементій Паоли, Піетри и братья Арена, стоявшіе во главѣ паолистовъ, явно вели свою агитацію.

Раздѣльность политическихъ мнѣній корсиканцевъ стала становиться все виднѣе, даже среди членовъ однихъ и тѣхъ же семействъ. Ближайшіе родственники Буонапартовъ, Паравичини, Джіубега, Біанелли и Орнано, стояли на сторонѣ существующаго порядка; но дѣдушка, викарій Люціанъ, оставался по прежнему неисправимымъ приверженцемъ корсиканской независимости, поборниками которой являлись въ ту пору Фешъ, а еще болѣе — самъ подпоручикъ королевско-французской артиллеріи. Часто и подолгу Наполеонъ бесѣдовалъ со старикомъ Люціаномъ на эту тему, развивая предъ нимъ, въ то же время, принципы новѣйшей философіи, которымъ старикъ внималъ съ любопытствомъ, съ восторгомъ взирая на пламеннаго ихъ проповѣдника. Г-жа Летиція также нерѣдко присутствовала при этихъ бесѣдахъ, но, ничего въ нихъ не понимая, только пожимала иногда плечами, считая рѣчи сына не болѣе, какъ бредомъ больного.

Лихорадка дѣйствительно подтачивала тогда силы Наполеона, которому покой и отдыхъ, какъ моральный, такъ и физическій,

были бы полезны вообще; но покой немыслимъ для натуръ, подобныхъ наполеоновской, у которыхъ лихорадочно-нервное состояніе представляется какъ бы основою всего ихъ существа.

Да, къ тому же, Наполеону было и не до отдыха: часть времени уходила у него на хлопоты по устройству имѣнія и материнскихъ дѣлъ, на посѣщенія, съ тою же цѣлью, мѣстныхъ администраторонъ; а остальная употреблялась на чтеніе и на литературныя занятія. Онъ ревностно продолжалъ теперь работать надъ своею исторіею Корсики; началъ въ это время даже романъ и историческую драму: „Графъ Эссексъ“, да, сверхъ того, написалъ еще сказку во вкусѣ Вольтера и Дидеро, подъ заглавіемъ: „Маска Пророка“.

Сказка эта, ничтожная въ литературномъ отношеніи, любопытна особенно тѣмъ, что въ ней Наполеонъ, по мнѣнію Юнга, аллегорически какъ бы изобразилъ свою будущую дѣятельность и судьбу. Сказка, въ модномъ тогда восточномъ стилѣ, обличаетъ „безумную страсть къ самопрославленію“...

Срокъ отпуска, взятаго Наполеономъ, приходилъ, между прочимъ, къ концу. Надо было или собираться къ отъѣзду, или —просить объ отсрочкѣ. Буонапарте остановился на послѣднемъ рѣшеніи и просилъ объ отсрочкѣ отпуска „еще на пять съ половиною мѣсяцевъ, съ сохраненіемъ содержанія“. — Мотивами просьбы выставлялись, съ одной стороны—его разстроенное здоровье, а съ другой — разстроенныя дѣла семьи. Просьба была уважена.

Хлопоты и занятія Наполеона оставались прежнія. Но не смотря, однако, на всю его ревность устройство домашнихъ дѣлъ, а особенно спорнаго дѣла по разсчетамъ за плантацію, подвигалось плохо. Поѣздка въ Парижъ становилась весьма не безполезною; къ тому же отсрочка отпуска истекала; слѣдовательно, такъ или иначе, а надобно было ѣхать во Францію! — Въ ту пору Буонапарте всячески уклонялся отъ службы, но еще не махнулъ рукою на всѣ постановленія и приказы начальства, какъ уже вскорѣ сталъ дѣлать. Къ своевременному отъѣзду изъ Корсики побуждали его, кромѣ того, еще настойчиво ходившіе тогда слухи о войнѣ съ Пруссіей, о формированьи, съ этой цѣлью, арміи на сѣверной границѣ, а также и о томъ, будто бы въ составъ этой арміи предназначается и Ла-Ферскій полкъ.

15-го окт. Наполеонъ выѣхалъ изъ Аяччіо и къ 1-го ноября, къ сроку, былъ въ Парижѣ. Здѣсь онъ узналъ, что слухи о войнѣ невѣрны, но что полкъ его уже выступилъ изъ Дуэ и направляется въ Бретань и Нормандію, чтобы войти, однако, въ составъ

—не сѣверной, а другой арміи, которую, какъ утверждали, предполагалось образовать на берегахъ океана.

Въ дѣйствительности и этотъ слухъ былъ также невѣренъ, такъ какъ дѣло шло вовсе не объ образованіи арміи, а о томъ, чтобы, подъ благовиднымъ предлогомъ, сосредоточить около Парижа нѣсколько войскъ, въ виду приближавшагося времени созыва генеральныхъ штатовъ,—на случай волненій, которыхъ правительство ждало и сильно боялось. Ла-Ферскій полкъ, вмѣсто того, чтобы слѣдовать къ берегамъ океана, очутился въ Сенъ-Дени, гдѣ его и остановили.

Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, Буонапарте нашелъ, что въ С.-Дени ему дѣлать нечего, а потому началъ ходатайствовать о новомъ шести-мѣсячномъ отпускѣ, въ ожиданіи разрѣшенія котораго просилъ о дозволеніи временно остаться въ Парижѣ, для устройства домашнихъ дѣлъ. Предлогомъ къ такому продолжительному отпуску, испрашиваемому сряду же послѣ десятимѣсячнаго отпуска, изъ котораго онъ только-что вернулся, выставлялась имъ крайняя необходимость для него присутствовать на засѣданіяхъ корсиканскаго сословнаго собранія, для защиты существеннѣйшихъ интересовъ его бѣднаго отечества!—Наполеонъ представился, при этомъ, начальнику артиллеріи, которымъ былъ тогда извѣстный Грибоваль, и такъ успѣлъ заинтересовать своей участью высоко-честнаго и ученаго артиллериста, что тотъ сдался на его просьбу: отпускъ былъ разрѣшенъ, хотя на этотъ разъ и безъ содержанія.

Мѣсяцъ, проведенный Буонапарте въ Парижѣ, отъ возврата съ одного отпуска до разрѣшенія другого, былъ посвященъ имъ исключительно дѣламъ семьи. Онъ хлопоталъ о пріемѣ въ Бріенн Людовика, о переводѣ изъ Бріенна въ Э .Люціана, писалъ письма отъ себя и матери по дѣламъ о наслѣдствѣ къ интенданту Корсики, но уже не въ заискивающемъ, раболѣпствующемъ тонѣ писемъ покойнаго отца, а всегда почти въ рѣзкихъ, а часто дерзкихъ выраженіяхъ. Но, люди ли, занимавшіе тогда высшія административныя мѣста, къ которымъ обращался Буонапарте съ письмами, были снисходительны, или же въ атмосферѣ тогдашняго общества чувствовалось уже приближеніе революціонной бури, но только всѣ эти выходки Буонапарте сходили ему какъ-то съ рукъ!.. Къ началу святокъ, онъ былъ уже въ Аяччіо. Въ общественныхъ дѣлахъ своей родины, вопреки увѣреніямъ, которыя давалъ Грибовалю, онъ принималъ самое умѣренное участіе и все время по прежнему, посвящалъ дѣламъ семьи, а главное—исторіи Корсики. Къ концу отпуска она была окончена. Буонапарте

порѣшилъ посвятить этотъ свой трудъ епископу Санскому, брату своего бывшаго покровителя, гр. Марбёфа.

IX.

По возвращеніи, послѣ пятнадцати-мѣсячнаго отсутствія, въ полкъ, который найденъ былъ Буонапарте теперь уже въ Оксоннѣ, для него опять началась столь ненавистная ему, монотонная гарнизонная жизнь. Въ качествѣ члена, онъ участвовалъ здѣсь въ особой коммиссіи, назначенной для испытанія дѣйствій мортиръ разныхъ калибровъ; временно завѣдывалъ даже полигономъ, но съ такою небрежностью, что подвергся даже за то аресту, — обстоятельство, не помѣшавшее, однако, ему написать Фешу: „Чувствую себя нездоровымъ, а причина тому — большія работы, которыми руковожу". Этими весьма не трудными порученіями собственно и исчерпывалась вся служебная дѣятельность Буонапарте въ Оксоннѣ. Вообще, служба въ полку была нетребовательна, такъ что, за исполненіемъ ея, у него оставалось довольно свободнаго времени, которымъ онъ могъ распюлагать по своей доброй волѣ.

Буонапарте нанялъ, по возвращеніи, небольшую каморку въ домѣ Ломбара, учителя математики въ оксоннской школѣ, и велъ почти затворническую жизнь, предаваясь теперь, по преимуществу, историческому чтенію.

Правда, по обыкновенію своему, онъ свелъ знакомство съ нѣкоторыми гражданскими городскими лицами и, между прочимъ, съ комиссаромъ Ноденомъ, съ которымъ, впослѣдствіи, велъ даже переписку; охотно бесѣдовалъ съ ними, но посѣщалъ ихъ вообще очень рѣдко. Что же до полковыхъ товарищей, то, за исключеніемъ Демази, къ которому онъ, попрежнему, заходилъ, съ прочими всѣ его отношенія, внѣ службы, ограничивались лишь встрѣчами за табль-д'отами,. Но, что же, однако, сталось съ „исторіею Корсики"? Книгопродавцы въ Валансѣ, Оксоннѣ и Долѣ, къ которымъ онъ попытался обратиться съ предложеніемъ объ изданіи своего произведенія, отказали ему въ этомъ. Между парижскими книгопродавцами, правда, охотники оказывались, но съ условіемъ предварительнаго взноса суммы, равной половинѣ стоимости изданія. Буонапарте началъ уже было склоняться на это, далеко не легкое условіе; сталъ даже списываться и съ Фешемъ относительно того, какъ достать необходимую сумму. Но тутъ опять случилась бѣда: Санскій епископъ, которому Напо-

леонъ предполагалъ посвятить свой трудъ, вдругъ впалъ въ немилость!

Буонапарте хотѣлось какъ можно болѣе обезпечить успѣхъ своему произведенію; а для этого, по обычаямъ времени, самимъ вѣрнымъ средствомъ являлось посвященіе книги какому-либо вліятельному лицу. Санскій епископъ, естественно, терялъ уже въ этомъ отношеніи всякое значеніе; а потому, о посвященіи ему теперь книги не могло быть болѣе и рѣчи. Но кому же посвятить ее? Буонапарте былъ, вообще, человѣкъ быстрыхъ рѣшеній. А потому, не прошло и десяти дней, послѣ отправки къ Фешу только-что приведеннаго письма, какъ уже онъ писалъ къ нему другое,—прося, „съ возможною поспѣшностью справиться въ Пизѣ, у его друга, объ адресѣ Паоли въ Лондонѣ“... О Паоли въ послѣднее время опять заговорили газеты.

Порѣшивъ теперь посвятить свой трудъ, вмѣсто епископа,—Паоли, Буонапарте призналъ нужнымъ сдѣлать въ немъ и соотвѣтствующія тому измѣненія. А потому, въ ожиданіи отвѣта объ адресѣ Паоли, онъ, не теряя времени, вновь засѣлъ за свою исторію и всю, отъ начала до конца, переписалъ ее, измѣнивъ въ ней даже духъ, въ которомъ она была раньше написана. Такая усидчивая работа не мѣшала, однако, Наполеону писать, кромѣ того, еще самыя разнообразныя замѣтки и разсужденія по поводу религіозныхъ, экономическихъ и политическихъ вопросовъ, которыя, если не были напечатаны имъ, то единственно по неимѣнію средствъ. Изъ этихъ замѣтокъ особенно любопытно „Разсужденіе о королевской власти“. Содержаніе этого разсужденія должно было, по мысли автора, заключаться въ слѣдующемъ:—„Сначала, въ сочиненіи должно быть изложено вообще происхожденіе и то обширное значеніе, которое пріобрѣло въ человѣческихъ умахъ самое званіе короля. — Наиболѣе соотвѣтствующее управленіе для королевской власти — военное“. „За тѣмъ, въ сочиненіи слѣдуетъ подробно разсмотрѣть: какимъ образомъ была присвоена королями власть, которою они пользуются въ 12-ти европейскихъ государствахъ? Между ними найдется весьма немного такихъ, которые не заслуживали бы быть низложенными“.

Но, пока Фешъ наводилъ справки объ адресѣ Паоли, вѣсти изъ дому получались далеко не утѣшительныя: Людовику былъ отказанъ пріемъ въ Бріеннѣ; Люціана до сихъ поръ не принимали въ семинарію Э, а тяжба матери съ администраціею, по разсчетамъ за плантацію, не подвигалась.

Между тѣмъ событія, смѣняясь одно другимъ, шли тогда съ поражающей быстротой. Всѣ ждали созыва генеральныхъ штатовъ.

Всеобщее возбужденіе умовъ доходило до высочайшей степени, охватывая всѣ слои общества, не исключая, конечно, и арміи. Тамъ и сямъ, какъ признаки приближающейся грозы, начинали уже возникать волненія, переходившія нерѣдко въ прямое сопротивленіе властямъ. Такъ было въ Авенѣ, гдѣ, въ февралѣ, взбунтовался цѣлый полкъ, отказавшись исполнить приказаніе начальства — не ходить на прогулку за городъ; и командиръ полка долженъ былъ уступить. Въ Серрѣ вспыхнуло движеніе въ народѣ, причемъ, дѣло дошло даже до убійства двухъ негоціантовъ, подозрѣваемыхъ въ скупчествѣ хлѣба. Движеніе это само, впрочемъ, вскорѣ утишилось послѣ перваго взрыва; но возбужденіе, вызванное имъ было, однако, такъ велико, что нашли нужнымъ вытребовать изъ Оксонна роту Ла-Ферскаго полка, въ главѣ которой, за отсутствіемъ командира ея, стоялъ тогда подпоручикъ Буонапарте. Надобности въ содѣйствіи роты, впрочемъ, не встрѣтилось.

Въ Серрѣ Буонапарте проводилъ время въ чтеніи историческихъ книгъ, преимущественно относящихся къ народнымъ революціоннымъ движеніямъ.

Освобожденіе родины и представитель этой идеи, Паоли, съ которымъ ему хотѣлось, какъ можно поскорѣе, войти въ сношенія, — вотъ, что занимало теперь его мысли. А потому, лишь только получилась, наконецъ, столь нетерпѣливо ожидаемая отъ Феша справка объ адресѣ Паоли, какъ 12 іюня,—за нѣсколько дней до открытія перваго національнаго собранія, онъ отправлялъ къ Паоли письмо, составляющее, въ своемъ родѣ, политическую исповѣдь.

Говоря выше о рожденіи Наполеона, мы привели уже начало этого письма; „я родился, когда отечество погибало“, и т. д. Вотъ нѣкоторыя мѣста изъ него.

„Вы покинули нашъ островъ, а съ вами покинула насъ надежда и на счастье. Цѣною нашей покорности было рабство. Наши соотечественники очутились нынѣ—не только подъ тяжестью тройной цѣпи, въ которую ихъ заковали солдатъ, чиновникъ и сборщикъ податей, но еще и подъ тяжестью презрѣнія... презрѣнія у тѣхъ, власти которыхъ они подчинились! — Возможно ли еще представить себѣ больнія муки, какія приходится переживать при этомъ всякому, у кого есть только сердце? Испытывалъ ли даже несчастный перувіанецъ, гибнувшій отъ желѣза алчныхъ испанцевъ, болѣе оскорбительныя, ядовитыя притѣсненія? А между тѣмъ, нашлись предатели отечества, эти низкія души, которыя, для оправданія своего корыстолюбія, начали распространять са-

мые недостойные слухи противъ національнаго правительства и противъ васъ — особенно! Писатели начинаютъ вѣрить этой лжи и передавать ее потомству за истину...

„Возмущенный чтеніемъ подобныхъ вещей, я рѣшился, наконецъ, разсѣять туманъ этой лжи, являющейся результатомъ невѣжества...

„Изученіе съ дѣтства французскаго языка: долгія наблюденія и мемуары, найденные мною въ портфеляхъ нѣкоторыхъ патріотовъ, даютъ мнѣ нѣкоторую надежду разсчитывать на успѣхъ".

„Я хочу провести параллель между вашею и настоящею администраціею... Хочу покрыть позоромъ предателей... Вызвать къ суду общественнаго мнѣнія нашихъ правителей, вывести на свѣтъ всѣ ихъ притѣсненія, интриги и штуки, и, если возможно, заинтересовать во всемъ этомъ благомыслящаго человѣка, стоящаго нынѣ во главѣ правительства (Неккера)... Я молодъ, но любовь къ истинѣ, отечеству и надежда на улучшеніе участи соотечественниковъ послужатъ для меня поддержкою въ трудѣ... Нѣкоторое время я предполагалъ даже побывать въ Лондонѣ, чтобы лично засвидѣтельствовать вамъ мои чувства и поговорить съ вами о бѣдствіяхъ отечества, но дальность разстоянія препятствуетъ пока тому"...

„Моя матушка, г-жа Летиція,—добавляетъ Наполеонъ,—поставила мнѣ въ особую обязанность постараться возобновить въ вашей памяти безвозвратно минувшіе годы пребыванія въ Корте".

Летиціи, конечно, и въ голову не приходило, что сынъ ея переписывается съ Паоли, политическимъ изгнанникомъ, тотъ сынъ, который только-что писалъ отъ имени ея къ министру такое прошеніе: „Обремененная восемью дѣтьми, вдова человѣка, прослужившаго всю жизнь въ королевской администраціи острова Корсики... жертвовавшаго значительныя суммы (это Карлъ, всю жизнь выпрашивавшій пособій и протекцій), въ видахъ достиженія цѣлей правительства... я, находясь нынѣ въ состояніи безпомощности, рѣшаюсь припасть къ подножію трона и обратиться къ вашему чувствительному сердцу... Восемь птенцовъ, м. г., будутъ вѣчно молить Бога за васъ!"...

Буонапарте не долго пришлось ждать отвѣта отъ Паоли. Корсиканскій герой, въ очень любезномъ письмѣ, благодарилъ Наполеона за всѣ пожеланія; говорилъ, что злостные слухи, распускаемые врагами на его счетъ, его ни мало не страшатъ, такъ какъ онъ считаетъ себя чистымъ предъ своею совѣстью и, въ заключеніе всего, въ тонѣ чисто отеческомъ, добавлялъ: „Вы слишкомъ еще молоды, чтобы браться за исторію... Не торопи-

тесь браться за задачу, требующую такой серьезной, ученой подготовки... Не принимайте безразборчиво всего, что говорится и пишется... Особенно постарайтесь воспользоваться совѣтами аббата Рейналя"...

Такіе отеческіе совѣты, исходившіе отъ такой высоко стоящей патріотической личности, какою предъ Буонапарте долженъ былъ представляться Паоли, пришлись, однако, не по сердцу молодому подпоручику, который, повидимому, уже и въ ту пору своей жизни оказывался болѣе падкимъ на похвалы, чѣмъ на добрые совѣты, —какъ бы ни были лживы первыя и вѣрны послѣдніе. А потому онъ вновь засѣлъ за свою „Исторію Корсики" и передѣлалъ ее въ рядъ легендарныхъ разсказовъ, вложенныхъ въ уста корсиканскаго старца, „горца изъ Бокоиьяно". Въ такомъ новомъ своемъ видѣ „Исторія Корсики" должна была быть посвящена теперь уже не Паоли, а новой, тогда популярной, личности, а именно: Неккеру! Но прежде, чѣмъ препроводить свое произведеніе къ Неккеру, онъ представилъ его на пересмотръ своему старому бріеннскому наставнику, отцу Дюпюи. Книга не понравилась Дюпюи, какъ по своимъ рѣзкостямъ, такъ и просто по литературнымъ недостаткамъ. Но Неккеръ, герой дня, которому предназначалось посвятить на-ново передѣланную „Исторію Корсики", въ это время впалъ уже въ немилость и бѣжалъ за границу,

До исторіи, до Неккера ли теперь было Буонапарте?! Клятва въ jeu de paume; слитіе сословій; взятіе Бастиліи; эмиграціонное бѣгство принцевъ; назначенія Бальи — мэромъ Парижа, а Ла-Файета—начальникомъ національной гвардіи; наконецъ, знаменитая ночь 4 августа, — всѣ эти событія пронеслись въ теченіе какихъ-нибудь шести недѣль, какъ ураганъ, измѣнивъ все, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣ проекты автора „корсиканской эпопеи". Даже въ маленькомъ тихомъ Онсоннѣ, возникли волненія, дошедшія до сожженія и разграбленія домовъ сборщиковъ соляного налога; причемъ, когда власти потребовали содѣйствія вооруженной силы, то солдаты Ла-Ферскаго полка наотрѣзъ отказались участвовать въ усмиреніи бушующихъ, оставаясь спокойными зрителями ихъ неистовствъ. А когда одинъ изъ офицеровъ попытался-было арестовать нѣкоторыхъ, изъ числа подбивающихъ другихъ къ неповиновенію, то едва спасся самъ отъ преслѣдованія толпы, успѣвъ какъ-то переряднться въ женское платье. Всѣ эти чрезвычайныя событія уже и сами по себѣ возбуждали Буонапарте до послѣдней крайности, а Фешъ писалъ о революціонномъ настроеніи въ Корсикѣ; говорилъ о намѣреніи учредить въ ней центральный комитетъ и о предположеніи Іосифа стать во главѣ

этого комитета, причемъ доказывалъ необходимость личнаго присутствія Наполеона при такомъ положеніи дѣлъ на островѣ, для его же собственной пользы!..

Съ другой стороны, представлялось и самому Наполеону еще и такое соображеніе: во Франціи, во всѣхъ городахъ, уже была учреждена національная гвардія. Почему же она не могла и не должна была быть учреждена въ Корсикѣ? А если такъ, то почему же ему, единственному изъ корсиканцевъ, вышедшему изъ военныхъ королевскихъ школъ, не занять въ этой отечественной гвардіи, если не главнаго, то, по крайней мѣрѣ, виднаго мѣста? При крайнемъ возбужденіи, имъ овладѣвшемъ, не мудрено, что рядомъ съ лихорадкой, давно уже не покидавшей его, стала теперь развиваться и анемія, такъ, что состояніе его здоровья возбудило даже серьезное сомнѣніе врачей. Новый отпускъ становился для него необходимостью, и онъ дѣйствительно вновь получилъ его на время съ 15 сент. по 15 марта 1790 г.

Въ ожиданіи этого отпуска ему привелось быть свидѣтелемъ еще новыхъ сценъ неповиновенія и даже бунта среди солдатъ своего же полка. Дѣло пошло изъ того, что солдаты, почти всѣхъ частей тогдашней французской арміи, начали предъявлять требованіе, гдѣ—на контроль, а гдѣ и на выдачу имъ на руки экономической суммы, образовывавшейся изъ остатковъ отъ денегъ, отпускаемыхъ на содержаніе, жалованье, пищу, и проч. солдатъ, и состоявшей въ распоряженіи особаго офицерскаго комитета. Солдаты Ла-Ферскаго полка потребовали выдачи этихъ денегъ на руки, и командиръ полка отказать имъ въ томъ не рѣшился. На другой же день, перепившіеся солдаты разбрелись по всему городу, стали останавливать по улицамъ своихъ же офицеровъ, заставляя ихъ пить и плясать съ собой. Пришлось при этомъ пить и плясать и Буонапарте. Такія непріятности имѣли, впрочемъ, для него и свою полезную сторону, представляя прекрасный случай изучать на практикѣ, какъ производятся возстанія и бунты, и пріобрѣсть путемъ опыта тѣ свѣденія, которыя ему впослѣдствіи очень пригодились, и даже въ скоромъ времени.

Въ письмахъ къ Фешу, писанныхъ Наполеономъ, въ ожиданіи отпуска, заключаются почти прямыя инструкціи относительно возстанія, которыя онъ, въ непродолжительномъ времени, предполагалъ произвесть на своей родинѣ.

Въ эту эпоху своей жизни, бывшую канономъ вступленія его на политическую арену, Наполеонъ достигъ уже полнаго, по крайней мѣрѣ, физическаго развитія, хотя оффиціально ему и считалось тогда 20, но, въ дѣйствительности, былъ уже 22-ой г. Не высокаго роста (5 ф., 2 дюйма, 4 линіи), съ нѣсколько не-

пропорціонально большою головою, оживляемою проницательными голубыми глазами, съ длинными, прямыми, шатеновыми волосами, обрамляющими впалыя, худыя щеки и падающими на широкія плечи,—такова была фигура Наполеона, тогда болѣзненнаго, худенькаго, бѣднаго и вообще невзрачнаго офицера. При плохомъ начальномъ образованіи, вынесенномъ имъ изъ школы, всѣ свѣденія его, даже по артиллерійской спеціальности, ограничивались усвоеніемъ лишь самыхъ необходимыхъ служебныхъ обязанностей, безъ которыхъ нельзя было уже и обойтись.

Онъ не выносилъ обыденныхъ служебныхъ занятій, да и вообще на военную службу онъ смотрѣлъ, какъ на предметъ, по безсодержательности и рутинности своей, не заслуживающій даже, съ его стороны, и вниманія.

Замѣчательно, что въ эту пору своей жизни Наполеонъ относился съ полнымъ равнодушіемъ даже ко всѣмъ вопросамъ о коренномъ переустройствѣ и пересозданіи арміи, занимавшемъ тогда положительно всѣ умы во Франціи. Его умъ, его вниманіе въ это время были обращены совсѣмъ въ другую сторону. Онъ поглощенъ былъ тогда всецѣло мыслями о своей Корсикѣ, о политическихъ вождяхъ, о законодателяхъ и завоевателяхъ, между которыми искалъ себѣ образцовъ.

Разнообразное и постоянное чтеніе, за которымъ Наполеонъ просиживалъ ночи, побуждаемый къ нему врожденною страстью все постичь, все узнать, хотя бы-то съ общей и поверхностной точки зрѣнія, принесло уже свои плоды: въ эту пору его жизни, не было, можно сказать, предмета, о которомъ онъ не имѣлъ бы понятія. Но безпорядочность, разбросанность и отсутствіе метода, съ коими чтеніе велось, сдѣлали то, что точнаго и вполнѣ опредѣленнаго сужденія не было у него ни о чемъ! А отъ этого въ головѣ Наполеона, хотя и богато одаренной, царилъ полнѣйшій хаосъ, который, вмѣстѣ съ нервною мечтательностью и честолюбіемъ, дѣлалъ изъ него, въ то время, какого-то фантаста, слѣпо, неудержимо рвавшагося куда-то впередъ; но куда и къ чему именно?—на это, по крайности въ описываемую эпоху его жизни, Наполеонъ не далъ, бы конечно, точнаго отвѣта и самъ: до того и мысли, и мечты, и проекты быстро смѣнялись у него одни другими, не останавливаясь твердо ни на чемъ! Одно, въ чемъ, какъ кажется, онъ не сомнѣвался, отъѣзжая 16 сент. изъ Оксонна, это—въ томъ, что ему уже не придется болѣе видѣть ни своего полка, ни усыновившей, и, худо ли, хорошо ли, а все-таки воспитавшей его Франціи!

Н. Д.

ВЪ ПАНЦЫРѢ ВЕЛИКАНА

Романъ Ф. Анстн.

Съ англійскаго.

IX *).

Поворотный пунктъ.

Въ одно пасмурное январьское утро Маркъ вошелъ въ столовую на Малаховой террасѣ, гдѣ засталъ всѣхъ своихъ домашнихъ, за исключеніемъ миссисъ Ашбернъ, которая завтракала въ постелѣ—совсѣмъ необычное для нея баловство.

— Маркъ,—сказала Трикси, откидываясь на спинку стула и подставляя ему лицо для поцѣлуя,—тебѣ есть письмо.

Не трудно было видѣть, что это письмо возбуждало сдержанное любопытство въ младшихъ членахъ семейства, которые уже отзавтракали и очевидно ломали голову надъ тѣмъ, кто бы это писалъ Марку. Три пары глазъ уставились въ него въ то время какъ онъ садился на свое мѣсто.

Въ послѣднее время Маркъ рѣдко получалъ письма и въ особенности это письмо, со штемпелемъ Фладгэтъ и К° на конвертѣ, всѣхъ заинтересовало. Ашберны не интересовались литературой вообще, но имя знаменитыхъ издателей все же было имъ знакомо и возбудило ихъ любопытство.

Маркъ также прочиталъ это имя. На минуту оно заставило его сердце забиться сильнѣе, такъ какъ ему пришла мысль, что

---

*) См. выше: сентябрь, стр. 246.

письмо касается его злополучныхъ манускриптовъ. Хотя онъ не имѣлъ никакого дѣла съ этой фирмой, но подобныя дикія надежды рождаются иногда совсѣмъ безсмысленно. Онъ взялъ письмо и готовъ былъ распечатать его. Но вдругъ вспомнилъ, что оно, должно быть, касается рукописи Винцента и частію затѣмъ, чтобы сохранить его тайну, частію изъ желанія подразнить окружающихъ, очевидно, интересовавшихся его содержаніемъ, положилъ письмо въ карманъ.

— Почему ты его не распечатываешь?—спросила нетерпѣливо Трикси, надѣявшаяся, что великолѣпный литературный успѣхъ выпалъ наконецъ на долю ея любимаго брата.

— Неприлично за завтракомъ.

— Глупости!—воскликнула Трикси:—съ какихъ поръ ты такъ церемонишься съ нами?

— Отнынѣ я намѣренъ церемониться. Я нашелъ, что не слѣдуетъ пренебрегать вѣжливымъ обращеніемъ другъ съ другомъ, когда находишься въ своей семьѣ. Я намѣренъ пріучить и васъ къ вѣжливости и начну сегодня.

— Очень благодарны тебѣ за это,—отвѣчала Марта,—но я нахожу, что достаточно вѣжлива и не нуждаюсь въ твоихъ урокахъ.

— Не сомнѣваюсь въ этомъ, Марта. Но знаешь, всѣ мы, исключая тебя, конечно, могли бы быть вѣжливѣе другъ къ другу, не нанося себѣ этимъ никакой обиды.

— Ну чтожъ, Маркъ,—вмѣшалась Трикси,—тебѣ остается только попросить нашего позволенія прочитать письмо и дѣло въ шляпѣ.

— Развѣ это показано въ книгахъ, трактующихъ объ этикетѣ?—спросилъ Маркъ.

— Не дури: почему ты не хочешь попросить нашего позволенія?

— Потому, вѣроятно, что я хочу прежде позавтракать. Ничто такъ не вредитъ пищеваренію, моя милая, какъ привычка читать за ѣдой; каждый медикъ скажетъ тебѣ это.

— Можетъ быть,—догадалась Марта,—у Марка есть свои причины для того, чтобы прочитать это письмо наединѣ.

— А знаешь, Марта, ты пожалуй и угадала.

— Да ужъ разумѣется; но не бойся, хотя бы это было любовное посланіе, или счетъ отъ кредитора, или новый отказъ издателей напечатать твое произведеніе, насъ это нисколько не интересуетъ. Мы вовсе не желаемъ знать твои секреты, не правда-ли, Кутбертъ?

— Это очень любезно съ вашей стороны. Значитъ, я не очень опечалю васъ, если прочту свое письмо наединѣ?

Но даже и оставшись одинъ, онъ не спѣшилъ распечатывать письмо.

— Обычный отказъ,—думалъ онъ.—Бѣдный Винцентъ! теперь ему все равно. Ну-ка, прочтемъ, какъ они его отдѣлываютъ, и онъ началъ читать.

„Любезный сэръ, мы прочитали романъ, озаглавленный „Волшебныя чары", который вы сдѣлали намъ честь доставить нѣсколько времени тому назадъ. На нашъ взглядъ въ этомъ произведеніи есть несомнѣнная оригинальность и достоинства, которыя не останутся, конечно, незамѣченными публикой и во всякомъ случаѣ найдутъ у нея такой пріемъ, который можетъ поощрить автора къ дальнѣйшимъ усиліямъ. Конечно, существуетъ извѣстный рискъ касательно этого пункта, вслѣдствіе чего намъ невозможно предложить такія условія за первую книгу, какія впослѣдствія законно могутъ быть постановлены для вторичнаго произведенія, вышедшаго изъ-подъ того же пера. Мы дадимъ вамъ... (и тутъ слѣдовала такая цифра, которая показалась Марку очень крупной за первое произведеніе незнакомаго писателя). Если наше предложеніе будетъ принято вами, то соблаговолите пожаловать къ намъ, когда вамъ будетъ угодно, чтобы сговориться на счетъ всѣхъ предварительныхъ подробностей.

„Имѣемъ честь быть

„Чильтонъ, Фладгэтъ и К°".

Маркъ торопливо пробѣжалъ это письмо сначала съ чувствомъ недовѣрчиваго удивленія, а потомъ досады на своенравіе фортуны.

Винценту не пришлось испытать ни проволочекъ, ни разочарованія и неудачъ, неразлучныхъ съ первыми дебютами на литературномъ поприщѣ. Онъ сразу завоевалъ себѣ мѣсто, но какой изъ этого толкъ? Ни похвалы людей, ни слава земная ничего больше для него не значили.

Маркъ горько раздумывалъ объ этомъ и досада его усиливалась еще и оттого, что издатели очевидно считали его самого авторомъ книги и ему предстоитъ непріятная обязанность вывести ихъ изъ заблужденія.

Отправившись на слѣдующій день въ редакцію, онъ послалъ свою карточку съ однимъ изъ клерковъ, возсѣдавшихъ за внушительными конторами изъ краснаго дерева, и былъ введенъ въ пріемную, гдѣ журналы и книги, симметрически разложенные по столамъ, напоминали пріемную комнату дантиста.

Маркъ перебиралъ книги съ несовсѣмъ благоразумной нервностью, но дѣло въ томъ, что ему казалось унизительнымъ объяснять, что онъ простой агентъ. Ему пришло также вдругъ въ голову, что смерть Гольройда можетъ усложнить дѣло и онъ сердился на покойнаго пріятеля за то, что тотъ поставилъ его въ такое неловкое положеніе.

Клеркъ вернулся съ извѣстіемъ, что м-ръ Фладгэтъ будетъ счастливъ немедленно познакомиться съ Маркомъ. Послѣдняго опять повели по корридорамъ, гдѣ сквозь раскрытыя двери онъ увидѣлъ въ комнатахъ людей, сидящихъ за конторками и чѣмъ-то занятыхъ, пока его не ввели, наконецъ, въ небольшую комнату со множествомъ большихъ плетеныхъ корзинъ, набитыхъ корректурами и рукописями, и грудами книгъ и журналовъ, посреди которыхъ возсѣдалъ м-ръ Фладгэтъ, спиной къ свѣту, проникавшему сквозь окна съ цвѣтными стеклами.

Онъ всталъ и пошелъ на встрѣчу Марку, и послѣдній увидѣлъ маленькаго человѣчка съ рыжими волосами и баккенбардами, живыми глазами, оригинальной, перпендикулярной складкой на лбу надъ коротенькимъ, тупымъ носомъ, подвижнымъ ртомъ и пріятными непринужденными манерами.

— Какъ поживаете, м-ръ Бошанъ?—сказалъ онъ радушно, очевидно прибѣгая къ nom de plume въ видѣ комплимента:—итакъ, вы рѣшили довѣриться намъ, неправда-ли? Ну и прекрасно; надѣюсь, что вамъ не придется пожалѣть объ этомъ.

Маркъ сказалъ, что онъ въ этомъ увѣренъ.

— Ну-съ, что касается книги, то я самъ просмотрѣлъ ее, равно какъ и м-ръ Блакшо, нашъ секретарь, и долженъ сказать вамъ, что вполнѣ раздѣляю его мнѣніе, что вы написали замѣчательное произведеніе. Какъ мы вамъ сообщали, знаете, впередъ никакъ нельзя знать, окажется ли изданіе выгоднымъ въ матеріальномъ отношеніи, но мое мнѣніе отъ этого не перемѣнится. На мой взглядъ книга эта сразу должна составить вамъ имя.

Маркъ съ завистью услышалъ это. Давно, давно мечталъ онъ о такомъ свиданіи и о такихъ именно словахъ; теперь мечта его осуществилась, но съ такой безпощадной насмѣшкой.

— Но все же рискъ существуетъ,—продолжалъ м-ръ Фладгэтъ,—несомнѣнный рискъ и это обусловливаетъ предложенныя вамъ условія. Довольны ли вы ими? Знаете, первая книга...

— Извините,—отчаянно перебилъ Маркъ,—я боюсь, что вы думаете, что... что я написалъ эту книгу.

— Да, я такъ думаю,—отвѣчалъ м-ръ Фладгэтъ съ юмористической искоркой въ глазахъ:—на рукописи стоялъ вашъ адресъ

и я пришелъ къ довольно естественному заключенію, что м-ръ Ашбернъ и м-ръ Бошанъ одно и то же лицо. Неужели я ошибся?

— Книга написана однимъ моимъ пріятелемъ,—съ усиліемъ произнесъ Маркъ,—не такъ давно онъ уѣхалъ за границу.

— Въ самомъ дѣлѣ? въ такомъ случаѣ мы бы предпочли вести сѣ нимъ лично переговоры.

— Это невозможно, мой пріятель утонулъ въ морѣ, но просилъ меня быть его представителемъ въ этомъ дѣлѣ и мнѣ извѣстны всѣ его желанія.

— Не сомнѣваюсь въ этомъ, но видите ли, м-ръ... м-ръ Ашбернъ, это дѣло щекотливое. Я полагаю, у васъ есть какое-нибудь письменное полномочіе, которое докажетъ намъ, что мы имѣемъ дѣло (это чистѣйшая формальность) съ настоящимъ его довѣрителемъ.

— Нѣтъ, у меня такого полномочія не имѣется, мой пріятель очень желалъ сохранить свое инкогнито.

— Такъ, такъ,—откашлялся м-ръ Фладгэтъ,—но можетъ быть, вы можете доставить мнѣ какую-нибудь записку объ этомъ дѣлѣ? Можетъ быть, такая найдется между вашими бумагами?

— Нѣтъ, моё пріятель не нашелъ нужнымъ дать мнѣ такую записку, онъ очень желалъ...

— Такъ, такъ, понимаю, но можетъ быть вы можете мнѣ достать отъ него одну строчку или двѣ?

— Говорю вамъ, что мой пріятель умеръ,—отвѣчалъ Маркъ нетерпѣливо.

— Ахъ, да, я совсѣмъ объ этомъ позабылъ. Я думалъ... ну да это все равно. Ну-съ, м-ръ Ашбернъ, если вы ничего не можете намъ сказать больше того, что́ сейчасъ сказали, то-есть чего-нибудь такого, что̀ бы дало намъ возможность войти съ вами въ соглашеніе, то боюсь... боюсь, что долженъ попросить у васъ времени на размышленіе. Если вашъ пріятель дѣйствительно умеръ, то полагаю, что ваши полномочія весьма опредѣленны. Но быть можетъ, онъ, гмъ!.. изъ желанія сохранить инкогнито, распустилъ слухъ о своей смерти?

— Не думаю,—сказалъ Маркъ, дивясь двусмысленному тону издателя, въ которомъ не было ничего зловѣщаго, но которымъ онъ какъ-будто приглашалъ себя опровергнуть.

— Значитъ, это ваше послѣднее слово?—сказалъ м-ръ Фладгэтъ и въ голосѣ его послышалось разочарованіе и досада, а складка на лбу рѣзче обозначилась.

— Къ сожалѣнію, да,—отвѣчалъ Маркъ, вставая:—извините, что такъ долго задержалъ васъ.

— Не смѣю васъ удерживать, но м-ръ Ашбернъ, неужели

же вы хотите, чтобы наше свиданіе окончилось ничѣмъ, какъ грозитъ, повидимому? Неужели вы не можете сказать мнѣ двухъ-трехъ словъ, которыя бы все уладили? Я не принуждаю васъ говорить намъ то, что вы желали бы скрыть, но увѣряю васъ, что переданная вами исторія о какомъ-то м-рѣ Винцентѣ Бошанѣ, который умеръ, только связываетъ намъ руки, понимаете ли, связываетъ намъ руки.

— Если такъ,—отвѣчалъ Маркъ съ досадой, — то я могу сказать только, что очень сожалѣю объ этомъ, но рѣшительно не знаю, какъ этому помочь.

Онъ находилъ, что Гольройдъ надѣлалъ ему слишкомъ много хлопотъ.

— Ну-съ, м-ръ Ашбернъ, какъ я уже раньше говорилъ вамъ, я—послѣдній человѣкъ, который сталъ бы приставать къ вамъ, но, право... знаете, право же это безразсудно! Мнѣ кажется, вы могли бы быть со мной откровеннѣе. Не вижу причины, почему бы вамъ мнѣ не довѣриться!

„Неужели этотъ человѣкъ соблазняетъ меня? — подумалось Марку.—Неужели же ему такъ хочется напечатать книгу, что онъ приглашаетъ меня сочинить какую-нибудь исторію, которая бы дала возможность выйти изъ представившихся затрудненій?“

Замѣтимъ мимоходомъ, что никакой такой мысли не приходило въ голову почтенному м-ру Фладгэту, который, хотя и желалъ, конечно, напечатать книгу, но отнюдь не беззаконнымъ путемъ, на подобіе какого-нибудь издателя Мефистофеля. У него была, конечно, цѣль, заставлявшая его взывать къ довѣрію Марка, и мы ее сейчасъ узнаемъ. И хотя цѣль эта была вполнѣ невинная, но фантазія Марка создала мрачнаго демона, соблазняющаго его поступить съ невыразимымъ вѣроломствомъ. Онъ задрожалъ, но не отъ отвращенія.

— Что вы хотите сказать?—пролепеталъ онъ.

М-ръ Фладгэтъ съ искренней веселостью взглянулъ на блѣдное и взволнованное лицо молодого человѣка.

— Что я хочу сказать,—повторилъ онъ.—Послушайте, я зналъ чувствительныхъ дамъ, желавшихъ скрыть свою личность и свой полъ отъ издателей; я зналъ мужчинъ, старавшихся убѣдить даже самихъ себя, что равнодушны къ славѣ, но такого упорнаго запирательства и желанія разыграть—заранѣе извиняюсь, что прибѣгаю къ такому сравненію — литературнаго страуса, мнѣ еще никогда не приходилось видѣть! Мнѣ еще не случалось встрѣчать автора, который бы такъ страстно желалъ оставаться неизвѣстнымъ, что готовъ былъ скорѣе взять обратно свою рукопись,

нежели обнаружить свою тайну передъ издателемъ. Послушайте, можетъ быть, м-ръ Винцентъ Бошанъ не такъ уже безвозвратно погибъ. Нельзя ли воскресить его? М-ръ Ашбернъ, пожалуйста воскресите его!

— Вы ставите меня въ очень затруднительное положеніе,— сказалъ Маркъ вполголоса.

Онъ понялъ, какъ несправедливы его подозрѣнія относительно этого человѣка, высказывавшаго такую невинную и восхитительную гордость своею собственной удивительной проницательностью. Онъ понялъ также, какъ легко и безопасно можетъ онъ воспользоваться этимъ недоразумѣніемъ и какая будущность откроется передъ нимъ въ такомъ случаѣ, но все еще боролся противъ соблазна, безсознательно предлагаемаго ему.

— Можетъ быть, можетъ быть, м-ръ Ашбернъ, но будьте благоразумны. Увѣряю васъ, что писатель, кто бы онъ ни былъ, не имѣетъ причины стыдиться этой книги; придетъ время, когда, по всей вѣроятности, онъ будетъ ею гордиться. Но все-таки если онъ желаетъ скрыть свое настоящее имя, то передайте ему, что онъ можетъ намъ довѣриться. Намъ случалось уже и прежде держать такіе секреты, конечно, не особенно долго, но только потому, что авторы, обыкновенно, разрѣшали намъ выдать ихъ тайну; сами мы никогда ей не измѣняли.

— Вы, кажется, сказали,—проговорилъ Маркъ, какъ будто думалъ вслухъ,—что другія произведенія того же автора могутъ разсчитывать на лестный пріемъ?

— Я буду очень радъ, если мнѣ представится случай напечатать еще другую книгу сочиненія м-ра Винцента Бошана, хотя м-ра Бошана, какъ вы объяснили, уже нѣтъ болѣе въ живыхъ. Но, можетъ быть, остались болѣе раннія произведенія этого автора?

Марка охватило желаніе сдѣлать еще попытку, вопреки обѣщанію, данному дядѣ,—помѣстить своихъ злополучные „Колокола“ и „Дочь Красавицу“. На минуту ему пришло въ голову отвѣтить на послѣдній вопросъ утвердительно. Онъ не сомнѣвался, что эти произведенія встрѣтятъ теперь иной пріемъ, чѣмъ у гг. Лидбиттера и Ганди. Къ тому же это послужитъ въ пользу Гольройда, а не его самого. Но тутъ онъ вспомнилъ, что различіе почерковъ можетъ его выдать. Онъ сконфузился и промолчалъ. Терпѣніе м-ра Фладгэта начинало истощаться.

— Мы, кажется, толчемся все на одномъ мѣстѣ,—сказалъ онъ съ натянутой шутливостью.—Боюсь, что долженъ попросить васъ рѣшить этотъ вопросъ теперь же. Вотъ рукопись, присланъ-

ная вами. Если авторъ умеръ, мы вынуждены къ величайшему сожалѣнію вернуть ее вамъ. Если вы имѣете что̀ сказать мнѣ по этому поводу, то говорите теперь же. Я, конечно, не могу васъ принудить, но объявляю только, что послѣ всего вами сказаннаго мы не можемъ обойтись безъ дальнѣйшихъ объясненій. Ну-съ, м-ръ Ашберитъ, что скажете?

— Дайте мнѣ подумать, — пробормоталъ Маркъ, и издатель увидѣлъ на его лицѣ колебаніе, хотя оно и было совсѣмъ иного рода, нежели онъ предполагалъ.

Маркъ снова усѣлся и подперъ подбородокъ рукой, отвернувъ лицо отъ взглядовъ своего собесѣдника. Въ немъ шла такая борьба, какой до сихъ поръ ему еще никогда не приходилось выдерживать, и ему давали всего лишь нѣсколько минутъ срока, чтобы покончить съ нею.

Быть можетъ, въ такого рода кризисахъ человѣкъ не всегда строго логически разбираетъ pro и contra, какъ это случается читать въ книгахъ. Непріятельскія силы въ такихъ случаяхъ довольно легко разсѣять. Всѣ выгоды, истекающія для него изъ ошибки издателя, если онъ ея не раскроетъ, ясно представились уму Марка; всѣ же опасности и затрудненія отступили на задній планъ. Онъ былъ неспособенъ хладнокровно обсудить дѣло. Онъ чувствовалъ, что имъ овладѣло непреодолимое желаніе, а онъ не привыкъ вообще бороться съ своими желаніями. Логическая мысль въ немъ хромала. Ему показалось, что очень легко поддержать такой обманъ. И самый обманъ съ каждой секундой казался менѣе безобразенъ и болѣе безобиденъ.

Онъ видѣлъ свои собственныя произведенія, такъ долго отвергавшіяся благодаря невѣжественнымъ предразсудкамъ, напечатанными вслѣдъ за „Волшебными Чарами“ Гольройда и быстро затмѣвающими книгу послѣдняго въ глазахъ восхищенной публики. Его оцѣнятъ наконецъ; онъ будетъ избавленъ отъ ненавистной ему жизни и поведетъ такую, которая ему нравится. Все, что̀ ему нужно, это только, чтобы согласились его выслушать. Другого способа, повидимому, нѣтъ. Времени терять нельзя. Какая могла быть въ этомъ обида для Гольройда? Онъ никогда не гонялся за славой при жизни; зачѣмъ она ему послѣ смерти? Издатели могутъ ошибаться; книга можетъ пройти незамѣченной. Онъ самъ можетъ оттого пострадать.

Но такъ какъ м-ръ Фладгэтъ былъ, повидимому, убѣжденъ въ ея достоинствахъ, такъ какъ, очевидно, онъ будетъ склоненъ принять всякое произведеніе того же автора безъ строгой критики, то почему бы и не воспользоваться этимъ обстоятельствомъ?

Маркъ былъ убѣжденъ, что издатели вообще руководятся неосновательными предубѣжденіями; онъ безусловно вѣрилъ, что его произведенія должны произвести фуроръ, разъ только найдется фирма, которая побѣдитъ свое отвращеніе къ ихъ мощной оригинальности, и вотъ тутъ передъ нимъ была такая фирма, готовая принять отъ него все, что̀ угодно, безъ разбора. Неужели же онъ пропуститъ такой случай?

Денежный вопросъ смущалъ его всего болѣе. Если онъ возьметъ деньги за трудъ другого, то такой поступокъ называется весьма нехорошимъ именемъ. Но онъ не возьметъ этихъ денегъ. Какъ скоро онъ узнаетъ, кто—законный представитель покойнаго Гольройда, онъ передастъ ему эти деньги, не объясняя въ точности, откуда они взялись.

Опасность быть изобличеннымъ почти не существовала, а если и существовала, то весьма слабая.

Не такой былъ человѣкъ Винцентъ, чтобы избрать себѣ нѣсколькихъ повѣренныхъ. Онъ былъ настолько остороженъ, что даже не открылъ своего настоящаго имени издателямъ, а теперь не могъ больше этого сдѣлать.

Все это вихремъ проносилось въ головѣ Марка, а его тщеславіе, пустота и вѣтренность дѣлали его совершенно неспособнымъ противостоять искушенію.

— Ну-съ, — сказалъ, наконецъ, м-ръ Фладгэтъ.

Сердце Марка сильно забилось. Онъ повернулся и взглянулъ на издателя.

— Я полагаю, что мнѣ лучше довѣриться вамъ, — сказалъ онъ съ смущеніемъ и стыдомъ, вполнѣ непритворными, хотя издатель и объяснилъ ихъ себѣ совершенно ложно.

— Значитъ вы написали эту книгу: „Волшебныя чары?“

— Если вы такъ хотите, то да,—отвѣчалъ Маркъ отчаянно. Слово было высказано и, къ худу или къ добру, отнынѣ приходилось на немъ стоять.

X.

Раскаяніе.

Не успѣлъ Маркъ объявить себя авторомъ произведенія своего покойнаго пріятеля, какъ готовъ бы былъ все отдать, чтобы вернуть свои слова назадъ. Не столько изъ угрызеній совѣсти (хотя ему и казалось, что онъ вдругъ сталъ безусловнымъ негодяемъ), сколько изъ страха, что его ложь обнаружится. Онъ сидѣлъ и

глупо таращилъ глаза на м-ра Фладгэта, который благосклонно и снисходительно гладилъ его по плечу. Онъ еще никогда не видывалъ такого робкаго писателя.

— Я очень радъ, что, наконецъ, познакомился съ м-ромъ Винцентомъ Бошаномъ,—говорилъ онъ, весь сіяя честной гордостью оттого, что тактика его увѣнчалась успѣхомъ.—Теперь мы можемъ толковать объ условіяхъ.

Онъ нашелъ Марка такимъ же сговорчивымъ относительно гонорара, какъ и большинство начинающихъ писателей. Кромѣ того, Марку особенно мучительно хотѣлось поскорѣе покончить съ денежнымъ вопросомъ. Онъ не могъ рѣшить, легче или тяжелѣе будетъ его совѣсти, если онъ станетъ настаивать на лучшихъ условіяхъ, а потому въ своей нерѣшительности избралъ легчайшій путь: согласиться на все, что̀ ему предложатъ.

- Ну-съ, а теперь какъ быть на счетъ заглавія?—сказалъ м-ръ Фладгэтъ. — Мнѣ, по-правдѣ, сказать, не очень нравится ваше; оно слишкомъ, какъ бы сказать, неопредѣленно!

Маркъ согласился, что оно неопредѣленно.

- Мнѣ помнится даже, что нѣчто въ этомъ родѣ уже имѣется въ литературѣ и это, знаете, можетъ повести къ непріятностямъ. Не можете ли придумать какое-нибудь другое, которое дало бы общее понятіе о характерѣ самой книги?

Такъ какъ Маркъ не имѣлъ никакого представленія о книгѣ, то и не могъ ничего придумать.

— М-ръ Блакшо совѣтовалъ назвать „Чародѣйство“ или „Колдовство“.

— Мнѣ не нравится ни то, ни другое, — замѣтилъ Маркъ, находя, что такого рода замѣчаніе не можетъ его скомпрометировать.

— Не нравится,—повторилъ м-ръ Фладгэтъ.—Вы, пожалуй, правы. Мнѣ приходило въ голову, — не знаю, какъ вы найдете это,—но я полагалъ бы назвать книгу такъ: „Современный Мерлинъ“, какъ вы думаете?

— Современный Мерлинъ?—повторилъ Маркъ раздумчиво.

— Да, это не совсѣмъ то быть можетъ, но довольно подходящее, право, довольно подходящее заглавіе.

Маркъ согласился.

— Конечно, вашъ герой не настоящій магъ, но вы видите, въ чемъ тутъ намекъ.

Разумѣется, Маркъ не видѣлъ, но счелъ за лучшее согласиться.

— Ну-съ,—продолжалъ м-ръ Фладгэтъ, въ тайнѣ гордившійся

придуманнымъ имъ заглавіемъ,—какъ вы находите? Мнѣ кажется, что это заглавіе не хуже всякаго другого.

Маркъ подумалъ, не все ли равно въ сущности, какое будетъ у книги заглавіе, вѣдь книга не его.

— Я нахожу его прекраснымъ, прекраснымъ. Кстати, м-ръ Фладгэтъ, я бы желалъ перемѣнить nom de plume; быть можетъ, это капризъ съ моей стороны, но въ послѣднее время мнѣ понравился другой псевдонимъ.

— Какъ вамъ угодно,—отвѣчалъ тотъ, беря въ руки карандашъ, чтобы произвести требуемое измѣненіе.—Но почему бы вамъ не подписаться вашимъ настоящимъ именемъ? Предсказываю, что со временемъ вы будете гордиться этой книгой.

— Нѣтъ, я не желаю пока подписываться настоящимъ именемъ (онъ и самъ не зналъ хорошенько, почему, быть можетъ его удерживалъ остатокъ стыда отъ такого откровенно безчестнаго поступка). Вычеркните „Винцентъ Бошанъ“ и поставьте на его мѣсто „Кириллъ Эрнстонъ“.

Этотъ псевдонимъ онъ давно уже избралъ для себя и желалъ теперь воспользоваться имъ, такъ какъ не могъ употребить собственное имя.

— Хорошо; этотъ вопросъ мы будемъ, значитъ, считать рѣшеннымъ. Мы разсчитываемъ напечатать книгу какъ можно скорѣе, не дожидаясь весенняго сезона. Мы немедленно начнемъ печатать и будемъ присылать вамъ корректуры на просмотръ.

— Да, вотъ еще одно обстоятельство, о которомъ мнѣ лучше упомянуть уже теперь,— внезапно сказалъ Маркъ.—Рукопись написана не моимъ почеркомъ. Считаю нужнымъ объяснить вамъ это впередъ, чтобы не возникало потомъ недоразумѣній. Рукопись переписана однимъ моимъ пріятелемъ.

М-ръ Фладгэтъ расхохотался.

— Извините меня,—сказалъ онъ,—но право я не могъ удержаться, вы, повидимому, пустили въ ходъ всѣ средства, чтобы провести насъ.

— И, однако, вы все-таки вывели меня на свѣжую воду,—отвѣчалъ Маркъ съ невеселымъ смѣхомъ.

М-ръ Фладгэтъ тоже засмѣялся и сдѣлалъ небольшой жестъ рукой; онъ думалъ, быть можетъ, что никакія предосторожности не обманутъ его проницательности. Послѣ этого они разстались.

Маркъ вышелъ на улицу самъ не свой. Онъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ своемъ вѣроломномъ поступкѣ, потому что соблазнъ былъ такъ внезапенъ, паденіе оказалось такъ легко, что онъ почти не чувствовалъ его позора, да и врядъ ли по натурѣ

своей могъ его почувствовать, пока результаты были для него выгодны. Но онъ смутно сознавалъ, что онъ не тотъ человѣкъ, какимъ былъ сегодня поутру; что у него въ сердцѣ родились новыя надежды и, быть можетъ, новыя опасенія; но надежды были близки и ярки, а опасенія далеки и неопредѣленны. И вскорѣ первенствующимъ чувствомъ въ немъ стало нетерпѣніе видѣть поскорѣе книгу Гольройда въ печати и получить возможность напечатать свои собственные романы. Тогда всякіе упреки совѣсти будутъ заглушены сознаніемъ торжества, которое оправдаетъ средство, какимъ оно достигнуто. Итакъ, онъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ прибытія первыхъ корректуръ.

Онѣ пришли наконецъ. Разъ вечеромъ, когда онъ вернулся на Малахову террасу, онъ увидѣлъ Трикси, выбѣжавшую къ нему на встрѣчу съ двумя толстыми свертками въ рукахъ и съ глазами, полными любопытства.

— Ихъ принесли сегодня днемъ,—шепнула она,—и знаешь, Маркъ, я не могла удержаться и заглянула въ свертокъ и увидѣла, въ чемъ дѣло. Ахъ, Маркъ! неужели это корректура твоей книги?

Маркъ подумалъ, что ему лучше поскорѣе пріучить себя къ этимъ вопросамъ.

— Да, Трикси,—сказалъ онъ,—это первыя корректуры моей книги.

— О, о, о!—протянула Трикси съ восторгомъ,—это „Звонкіе колокола“.

— Нѣтъ, нѣтъ, Трикси, это другая книга, ты ее не знаешь, такъ, бездѣлица, отъ которой я ничего особеннаго не ожидаю, но мои издатели, повидимому, ею довольны и послѣ нея мнѣ можно будетъ напечатать „Колокола“.

Позднѣе ночью онъ заперся въ комнатѣ, которая служила ему и спальной, и гостиной, и принялся безъ особеннаго, впрочемъ, удовольствія читать корректуры произведенія, которое онъ себѣ присвоилъ.

Много было говорено о наслажденіи, съ какимъ авторъ читаетъ свои первыя корректуры и, быть можетъ, нѣкоторымъ это дѣйствительно доставляетъ безусловное удовольствіе. Но для другихъ это занятіе имѣетъ и свою обратную сторону. Идеи, казавшіяся ясными и живыми въ рукописи, какъ-то блѣднѣютъ и становятся безцвѣтными, когда ихъ читаешь въ печати. Писатель начинаетъ судить свое произведеніе какъ посторонній человѣкъ и находитъ его неудовлетворительнымъ. Онъ усматриваетъ многія оплошности и пробѣлы, исправить которые внѣ всякой возмож-

ности и впервые, быть можетъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ узналъ, что рукопись его принята, сомнѣніе снова возвращается къ нему.

Но чувства Марка были гораздо сложнѣе; естественная гордость автора, видящаго свое произведеніе напечатаннымъ, не могла ощущаться имъ и ему было рѣшительно противно поддерживать свой обманъ такимъ непріятнымъ путемъ, какъ неизбѣжная корректура типографскихъ ошибокъ.

Но ему нетерпѣливо хотѣлось знать, какого рода литературное дѣтище онъ усыновилъ такимъ мошенническимъ образомъ. Онъ повѣрилъ на слово издателямъ, но что, если они ошиблись! Что, если книга окажется такою, что не принесетъ ему ровно никакой чести!—что, если это западня, куда его заманило честолюбіе? Мысль, что это весьма возможно, очень тревожила его. Бѣдный Гольройдъ, думалъ онъ, былъ прекраснымъ малымъ, но врядъ ли способенъ написать очень интересную книгу; можетъ быть, его книга и умна, но навѣрное скучна.

Съ этими сомнѣніями принялся онъ за чтеніе начальныхъ главъ; ни въ какомъ случаѣ не былъ онъ расположенъ восхищаться тѣмъ, что читалъ, потому что обычное отношеніе его даже къ великимъ произведеніямъ было критическое и онъ всегда откапывалъ недостатки и погрѣшности, какихъ самъ онъ ни за что бы не сдѣлалъ.

Но какъ бы то ни было, главная забота его была устранена по мѣрѣ того, какъ онъ читалъ произведеніе умершаго пріятеля. Оно не могло уронить его репутаціи. Конечно, самъ онъ не написалъ бы такого. Онъ находилъ его слишкомъ мечтательнымъ и мѣстами даже слегка мистическимъ произведеніемъ человѣка, который жилъ больше среди книгъ, нежели среди людей. Но все же оно было недурно, и послѣ того какъ онъ сдѣлалъ нѣсколько поправокъ, тамъ и сямъ выпустилъ нѣкоторыя мѣста и замѣнилъ ихъ собственными измышленіями, исправилъ слогъ въ описаніяхъ природы, придавъ ему больше кудреватости, мѣстами подпустилъ сатиры, пересыпалъ цитатами изъ классиковъ, онъ почувствовалъ себя въ нѣкоторомъ родѣ безкорыстнымъ человѣкомъ, щедро растратившимъ хорошій матеріалъ на чужую книгу.

XI.

Бунтъ.

Ближайшимъ результатомъ выступленія Марка на запретную литературную стезю было объясненіе съ дядюшкой Соломономъ, которому онъ объявилъ, что не желаетъ долѣе обманывать его и

жить на его счетъ, такъ какъ отказывается отъ карьеры адвоката и избираетъ окончательно и безповоротно карьеру литератора. Послѣ бурнаго объясненія съ дядюшкой пришлось выдержать не менѣе бурную сцену на Малаховой террасѣ. Онъ не могъ не испытывать нѣкотораго нервнаго раздраженія, когда отворилъ входную дверь, взглянувъ предварительно на окна дома, гдѣ жили его семейные. Окна нижняго этажа были темны, но и верхняго также, изъ чего можно было заключить, что семья еще не удалилась на покой. Миссисъ Ашбернъ была безусловно противъ того, чтобы ея домочадцы заводили себѣ отдѣльные ключи, а потому Маркъ (у котораго такой ключъ, разумѣется, былъ) счелъ за лучшее не прибѣгать къ нему, тѣмъ болѣе, что въ настоящую минуту въ томъ не было никакой необходимости. Онъ постучалъ и позвонилъ.

Трикси впустила его.

— Анну отослали спать, но папаша съ мамашей не ложились и дожидаются тебя.

— Что они очень сердиты? — спросилъ Маркъ угрюмо, вѣшая шляпу.

— Да,—отвѣчала Трикси,—войди ко мнѣ на минутку, Маркъ, я разскажу тебѣ все, какъ было. Дядя Соломонъ обѣдалъ у насъ сегодня и наговорилъ такихъ ужасныхъ вещей о тебѣ. Почему тебя не было?

— Я нашелъ, что пріятнѣе проведу время, если отобѣдаю въ гостяхъ. Ну, а чѣмъ же все это кончилось, Трикси?

— Право, сама не знаю. Дядя Соломонъ предлагалъ мнѣ ѣхать жить къ нему въ Чигбурнъ, и сказалъ, что сдѣлаетъ меня своей наслѣдницей, если я пообѣщаю ему раззнакомиться съ тобой.

— Вотъ какъ? когда же ты ѣдешь? — спросилъ Маркъ съ напускнымъ цинизмомъ.

— Когда?—съ негодованіемъ переспросила Трикси,—разумѣется, никогда. Глупый старикъ! Очень мнѣ нужны его деньги! Я высказала ему свое мнѣніе и, кажется, разсердила его. Надѣюсь, по крайней мѣрѣ.

— Что же, онъ обратился съ этимъ предложеніемъ къ Мартѣ или Кутберту? а они вознегодовали или нѣтъ?

— Онъ къ нимъ не обращался. Не думаю, чтобы дядюшка Соломонъ очень ихъ любилъ. Ты его любимецъ, Маркъ.

— Да, я его любимецъ. Но не имѣю причины этимъ гордиться. Да и теперь этому конецъ.

Тутъ дверь сосѣдней комнаты отворилась, и послышался голосъ миссисъ Ашбернъ:

— Трикси, скажи своему брату Марку, что если онъ въ состояніи держаться на ногахъ, то мнѣ съ отцомъ надо поговорить съ нимъ.

— Какъ это пріятно слышать,—сказалъ Маркъ.—Ну, Трикси, готовится гроза. Ложись лучше спать. У насъ, боюсь, будетъ бурная сцена.

Онъ вошелъ въ гостиную съ напускной веселостью.

— Милая мамаша,—началъ онъ, пытаясь ее поцѣловать,—я не обѣдалъ сегодня дома, потому что...

— Я знаю, почему ты не обѣдалъ дома,—отвѣчала она.—Мнѣ не надо твоихъ поцѣлуевъ, Маркъ. Ты видѣлся съ дядей?

— Да, я съ нимъ завтракалъ.

— Безполезно отлынивать, мы все знаемъ.

— Увѣряю васъ, что мы вмѣстѣ завтракали; мы ѣли бараньи котлеты,—настаивалъ Маркъ, который находилъ, что ребячество и дурачество иногда вывозятъ въ такихъ случаяхъ. Но на этотъ разъ это не послужило ему въ прокъ.

— Какъ могъ ты обмануть твоего дядю?

— Напротивъ того. Я вывелъ его изъ заблужденія.

— Ты разстроилъ всѣ его планы на твой счетъ; ты бросилъ адвокатуру, бросилъ свое мѣсто въ школѣ св. Петра, отказался отъ всякой карьеры въ жизни и ради чего?

— Ради одной шутки, матушка. Я самъ не знаю, на что я гожусь и къ чему способенъ. Я безпечный идіотъ, это вы хотите сказать?

— Да; но не говори со мной такимъ дерзкимъ тономъ, Маркъ. Въ послѣдній разъ я спрашиваю тебя, правду ли мнѣ сказалъ братъ, что ты опять зарылся въ грязь, какъ свинья, про которыхъ говорится въ Св. Писаніи, что ты... что ты готовишься опозорить свое имя, выставивъ его на романѣ... послѣ всего того, что ты обѣщалъ?

— Совершенно вѣрно; я надѣюсь, что имя мое будетъ стоять на многихъ романахъ, а не на одномъ только.

— Маркъ,—начала его мать,—ты знаешь, какъ я объ этомъ думаю. Умоляю тебя, остановись, пока еще не поздно, прежде, нежели ты совершишь что-нибудь непоправимое. Прошу тебя объ этомъ не изъ однихъ только суетныхъ мотивовъ. Неужели ты не согласишься пожертвовать презрѣннымъ тщеславіемъ своему долгу къ матери? Я могу ошибаться въ своихъ взглядахъ, но все же имѣю право требовать, чтобы ты уважалъ ихъ. Я прошу тебя еще разъ, брось этотъ пагубный путь. Неужели ты откажешь мнѣ?

Въ рѣзкихъ словахъ миссисъ Ашбернъ слышались искреннее

чувство и мольба. Она искренно вѣрила, что писаніе романовъ должно привести ея сына къ нравственной и матеріальной погибели, и у Марка хватило здраваго смысла разобрать это и бросить вызывающій тонъ, которымъ онъ началъ объясненіе въ видахъ самообороны.

Отецъ его по обыкновенію не принималъ участія въ бесѣдѣ; онъ сидѣлъ и уныло глядѣлъ въ огонь, какъ бы желая по возможности сохранить нейтралитетъ. Онъ такъ давно былъ простымъ сюзереномъ, что чувствовалъ весьма слабое негодованіе на возмущеніе противъ его власти, чисто номинальной.

Такимъ образомъ, Маркъ обращался только къ матери.

— Мнѣ очень жаль, матушка, что я васъ огорчаю,—сказалъ онъ довольно мягко,—но право же вы должны предоставить мнѣ поступать по моему усмотрѣнію. Безполезно просить меня бросить это дѣло... Я слишкомъ далеко зашелъ... Со временемъ вы увидите, что я не такой безумецъ, какъ вамъ кажется. Ручаюсь вамъ въ этомъ. Неужели вы не хотите, чтобы я велъ такую жизнь, какая мнѣ по сердцу, чтобы я былъ счастливъ, быть можетъ, знаменитъ со временемъ, вмѣсто того, чтобы прозябать школьнымъ учителемъ или адвокатомъ. Разумѣется, вы не можете этого не хотѣть. И увѣряю же васъ, что романъ вовсе не такая ужасная вещь, какъ вамъ кажется. Вы ни одного, я знаю, не прочитали, а потому не можете быть безпристрастнымъ судьей.

Миссисъ Ашбернъ вообще была мало знакома съ литературой. Она читала только проповѣди и біографіи диссидентскихъ священниковъ и никогда не испытывала желанія читать романы, т.-е. исторій, никогда въ дѣйствительности не бывавшихъ и которыя слѣдовательно были неправдой. Ея безусловное отвращеніе ко всякимъ фикціямъ было особой формой ханжества, нынѣ уже почти исчезнувшей, но она выросла въ такихъ понятіяхъ и придерживалась ихъ со всей старинной пуританской энергіей.

Она не выказала и признака того, чтобы слова Марка произвели на нее какое-нибудь впечатлѣніе. Глаза ея были холодны, а голосъ ровенъ и громокъ, когда она возразила, не глядя на него:

— Ты не заставишь меня измѣнить мои мнѣнія, Маркъ, хотя бы говорилъ до разсвѣта. Если ты пойдешь наперекоръ моимъ желаніямъ въ этомъ дѣлѣ, то мы съ Матью рѣшили, какъ намъ поступить; не правда ли, Матью?

— Да, конечно,—отвѣчалъ м-ръ Ашбернъ смущенно,—конечно, но я надѣюсь, Маркъ, милый мой мальчикъ, я надѣюсь, что ты уважишь желанія матери, когда ты видишь, какъ она

сильно этого желаетъ. Я желаю, чтобы дѣти жили со мной, пока я въ состояніи ихъ содержать. Я не желаю, чтобы кто-либо уѣзжалъ, если этому можно помѣшать... если можно уладить дѣло.

— Вы хотите сказать, матушка, что если я не исполню желаніе дяди Соломона и ваше, то долженъ оставить вашъ домъ? — спросилъ Маркъ.

— Да,—отвѣчала его мать:—я не намѣрена потакать своему сыну; это противно моей совѣсти и принципамъ. Если ты хочешь вести праздную и пустую жизнь, то ты будешь ее вести не подъ моей кровлей. Поэтому ты теперь знаешь, что тебя ожидаетъ, если ты будешь упорствовать въ неповиновеніи мнѣ... я хочу сказать, намъ.

— Если такъ, то мнѣ лучше уѣхать, хотя я и не могу понять, чѣмъ я такъ провинился передъ вами, но такъ какъ вы смотрите на вещи въ такомъ свѣтѣ, мнѣ ничего больше не остается, и говорить больше нечего. Я выбралъ себѣ карьеру и не намѣренъ бросать ея. Я поищу себѣ квартиру и переѣду какъ только можно скорѣе, чтобы не безпокоить васъ долѣе своей особой.

— Маркъ, не будь упрямъ, не будь слугой своихъ страстей! — закричала его мать, тронутая, не смотря на свою деревянность, потому что она не ожидала такого результата и думала, что ничтожное жалованье Марка и его дорогія привычки дѣлаютъ его вполнѣ отъ нея зависимымъ. Она позабыла про чекъ дядюшки Соломона и не вѣрила, чтобы можно было заработать большія деньги литературой.

— Я нисколько не сержусь,—сказалъ онъ,—я не желаю разставаться съ вами, если вы позволите мнѣ остаться, но если вы серьезно думаете то, что сейчасъ сказали, то мнѣ нѣтъ другого выбора.

Его мать была слишкомъ горда, чтобы ослабить свой авторитетъ уступкой. Она все еще надѣялась, что онъ уступитъ, если она будетъ тверда, но Маркъ и не думалъ уступать, да притомъ независимость имѣетъ свою прелесть, хотя онъ и не порвалъ бы связь съ семьей по собственному почину.

— Вини свою пагубную гордость и эгоизмъ, Маркъ, а не мать, которая желаетъ тебѣ добра. Уѣзжай, если хочешь, но не смѣй надѣяться на мое благословеніе, если ты упорствуешь въ неповиновеніи.

— Вы того же мнѣнія, батюшка?—спросилъ Маркъ.

— Ты слышишь, что говоритъ твоя мать. Что же я могу

еще сказать?—слабо проговорилъ отецъ.—Мнѣ очень прискорбно все это, но я ничего перемѣнить тутъ не могу.

— Хорошо, я переѣду, — отвѣчалъ Маркъ и вышелъ изъ комнаты.

Но оставшись одинъ и обдумавъ событія этого знаменательнаго для себя дня, Маркъ не могъ пожалѣть о томъ, что случилось. Онъ избавился отъ дядюшки Соломона, онъ стряхнулъ материнское иго. Разлука съ семьей не печалила его; онъ не былъ къ ней особенно привязанъ, да и семья не понимала его и не симпатизировала ему. Онъ всегда разсчитывалъ при первой же возможности отдѣлиться отъ нея.

XII.

Въ открытомъ морѣ.

Итакъ, Маркъ отдѣлился отъ семьи и переѣхалъ въ меблированныя комнаты въ одной изъ небольшихъ улицъ близъ Конноть-Сквера, гдѣ и выжидалъ осуществленія своихъ надеждъ. Онъ все еще оставался учителемъ въ школѣ св. Петра, хотя и надѣялся отказаться отъ этого мѣста при первой же возможности. Время, остававшееся отъ школьныхъ занятій, онъ употреблялъ на исправленіе произведенія своего пріятеля. Нельзя сказать, чтобы онъ дѣлалъ это съ любовью; напротивъ, этотъ трудъ скоро утомилъ его. Просмотръ груды корректурныхъ листовъ, вставки собственнаго сочиненія надоѣдали ему и онъ сталъ ненавидѣть книгу, которая была его, но ему не принадлежала.

Она никогда не казалась ему интересной; онъ не способенъ былъ хоть сколько-нибудь оцѣнить ее и по временамъ недовѣріе къ ея успѣху овладѣвало имъ съ новою силой и онъ начиналъ бояться, что обманъ его въ концѣ концовъ не принесетъ ему никакой пользы. Во всякомъ случаѣ ему тяжело было это постоянное напоминаніе о его некрасивомъ поступкѣ.

Между прочимъ, въ этой книгѣ одно изъ второстепенныхъ дѣйствующихъ лицъ разсказываетъ ребенку печальную исторію сахарнаго принца, воображавшаго, что онъ заколдованный принцъ, и подареннаго одной маленькой дѣвочкѣ, которая, какъ принцъ надѣялся, должна была какимъ-нибудь способомъ отпустить его на волю въ волшебную страну, но вмѣсто того попросту безъ затѣй съѣла его.

Маркъ не зналъ, оставлять ли ему эту исторію и не выкинуть

ли ее совсѣмъ; она казалось ему такой ребяческой и ненужной. Но онъ не рѣшился выкинуть ее и это имѣло впослѣдствіи вліяніе на его судьбу.

Заглавіе книги было опять измѣнено: м-ру Фладгэту не понравилось въ послѣднюю минуту то, которое онъ измыслилъ, и онъ предложилъ назвать книгу „Иллюзіей", на что Маркъ согласился такъ же охотно, какъ и на первое.

И вотъ въ одинъ прекрасный день Маркъ не безъ страннаго волненія прочиталъ объявленіе о томъ, что „Иллюзія", романъ м-ра Кирилла Эрнстона, „продается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ". Онъ не разослалъ его экземпляровъ никому, ни даже Трикси. Сначала было онъ хотѣлъ это сдѣлать, но потомъ раздумалъ.

Дѣло было въ одну субботу, подъ вечеръ, въ мартѣ мѣсяцѣ. Маркъ сдѣлалъ большой крюкъ, возвращаясь изъ школы домой, черезъ парки, гдѣ клумбы пестрѣли сиренями, желтыми и бѣлыми крокусами и другими весенними цвѣтами, а воздухъ былъ тепелъ и ароматиченъ. Маркъ рѣшился отправиться за-городъ подышать чистымъ воздухомъ, но вернувшись домой, нашелъ у себя на столѣ нѣчто такое, что̀ заставило его забыть о всякихъ загородныхъ гуляньяхъ. То былъ пакетъ отъ его издателей, и онъ догадался, прежде, нежели распечаталъ его, что въ немъ находятся журналы. Онъ поспѣшно разорвалъ пакетъ, такъ какъ понималъ, что теперь узнаетъ, сдѣлалъ ли онъ смѣлый и рѣшительный шагъ впередъ или же страшное фіаско.

Первыя строки первой же критики показали Марку, что ему нечего бояться. Книга Гольройда встрѣчена была съ лестнымъ одобреніемъ, какъ нѣчто весьма замѣчательное, какъ произведеніе человѣка, съ которымъ слѣдуетъ считаться. Если журнальная критика (а этотъ журналъ былъ очень распространенный) имѣетъ вліяніе на читателей, то одной этой статьи было достаточно, чтобы вселить въ нихъ уваженіе къ „Иллюзіи".

Маркъ отложилъ первую статью съ чувствомъ торжества. Если такая ординарная вещь, какъ книга бѣднаго Гольройда, встрѣтила такой пріемъ, то что же ожидаетъ его собственныя произведенія!

Послѣ того онъ сталъ читать вторую статью. Здѣсь критикъ былъ осторожнѣе въ похвалахъ. Книга въ цѣломъ признавалась хорошимъ и чуть ли не великимъ произведеніемъ, но осуждался прорывавшійся въ ней мѣстами мечтательный мистицизмъ (тутъ Маркъ пожалѣлъ, что не былъ щедрѣе на помарки) и въ самомъ слогѣ указывались слабыя мѣста.

„Авторъ,—писалъ критикъ,—пишетъ большею частью легкимъ и изящнымъ слогомъ, съ похвальнымъ отсутствіемъ всякой риторической шумихи, но по временамъ имъ какъ будто овладѣваетъ желаніе порисоваться передъ читателями дешевой эрудиціей и выспренними чувствами и этотъ контрастъ былъ бы нелѣпъ и даже забавенъ, еслибы не было больно встрѣчать такія несообразности въ такомъ высокомъ произведеніи. Что подумаетъ, напримѣръ, читатель о вкусѣ писателя, который способенъ заключать истинно патетическую сцену взаимнаго отчужденія между любящимися, такой тирадой, какъ нижеслѣдующая...

Этой тирадой оказывалась какъ разъ одна изъ вставокъ издѣлія Марка. „И такихъ не мало“,—говорилъ строгій критикъ, и во всѣхъ нихъ изумленный Маркъ узналъ свои собственныя поправки.

Сказавъ, что это было весьма чувствительнымъ ударомъ для самодовольства Марка, мы укажемъ довольно очевидный фактъ, но характеръ Марка очерченъ нами недостаточно ясно, если кто-нибудь удивится, услышавъ, что онъ весьма быстро оправился отъ этого удара.

Быть можетъ, съ его стороны было ошибочно вкладывать свою мощную индивидуальность въ чужія рамки—онъ недостаточно тщательно слилъ между собой два слога—и по странной случайности критикъ, естественно пораженный этой дисгармоніей, вообразилъ, что плохъ именно его слогъ, а не слогъ Гольройда. Мало-по-малу, Маркъ убѣдилъ себя, что для него положительно лестно, что критикъ (человѣкъ, безъ сомнѣнія, тупой) не одобрилъ какъ разъ всѣ тѣ мѣста, которыя слишкомъ глубоки для его пониманія. Еслибы въ нихъ не было ничего замѣчательнаго, онъ бы ихъ вовсе не замѣтилъ.

И такимъ образомъ, благодаря замѣчательной особенности ума человѣческаго, который зачастую способенъ удовлетвориться теоріей собственнаго измышленія, которая не выдержала бы и минутной критики, еслибы онъ ее подвергъ таковой (слыханое ли дѣло, чтобы шарлатанъ сталъ лечиться хлѣбными пилюлями собственнаго издѣлія и почувствовалъ облегченіе), Маркъ убѣдилъ себя, что критикъ—идіотъ, котораго похвалу и порицаніе слѣдуетъ понимать наоборотъ, и съ этой минуты рана, нанесенная его самолюбію, стала заживать.

Въ эту самую субботу Мабель сидѣла въ своей маленькой пріемной, гдѣ она принимала своихъ пріятельницъ и читала. Въ числѣ книгъ, присланныхъ ей изъ книжнаго магазина, находилась и „Иллюзія“, романъ Кирилла Эрнстона, и Мабель съ любопыт-

ствомъ поглядѣла на хорошенькій изсѣра-зеленый переплетъ съ красными буквами, потому что кто-то на прошедшей недѣлѣ съ похвалой отозвался при ней объ этой книгѣ. Она открыла ее съ намѣреніемъ прочитать одну или двѣ главы прежде нежели идти съ лопаткой въ скверъ, гдѣ уже начался сезонъ игры въ теннисъ.

Но день прошелъ, а она не покидала низенькаго стула у окна, равнодушная къ весеннимъ лучамъ солнца, къ пріятностямъ тенниса и читала, читала, порой музыкально смѣясь, а порой невольно вздыхая, именно такъ, какъ Гольройдъ мечталъ, что она прочитаетъ его произведеніе.

Его сильная и сдержанная натура развернулась во всей своей нѣжной глубинѣ и мощной фантазіи въ этомъ первомъ произведеніи и его страницы имѣли интересъ исповѣди. Мабель почувствовала личную симпатію къ незнакомому автору, которая должна была бы быть вѣнцомъ изъ вѣнцовъ для тѣхъ, кто любитъ свое искусство.

Ошибокъ и несообразности въ слогѣ она не замѣтила при первомъ бѣгломъ чтеніи, такъ какъ онѣ не такъ часто повторялись и не могли серьезно повредить книгѣ. Она отложила въ сторону книгу, не дочитавъ ея, не отъ чувства утомленія, а отъ желанія продлить удовольствіе.

— Желала бы я знать каковъ собой этотъ „Кириллъ Эристонъ“,—подумала она почти безсознательно.

Быть можетъ, если бы популярный, но некрасивый писатель, любящій общество, могъ ходить подъ вуалемъ или нанять своимъ представителемъ другого красиваго человѣка, онъ увидѣлъ бы, что послѣдующія его произведенія быстрѣе раскупаются. Въ то время какъ Мабель размечталась о наружности автора „Иллюзіи“, Долли неожиданно вбѣжала въ комнату.

— О! вотъ гдѣ ты, Мабель! какая ты лѣнивая! мамаша думаетъ, что ты играешь въ теннисъ; пріѣзжали гости и мы съ мамашей должны были ихъ занимать!

— Иди ко мнѣ и присядь,—Долли отвѣчала Мабель, обнимая и притягивая дѣвочку къ низенькой скамеечкѣ, стоявшей возлѣ ея стула.

— На мнѣ надѣтъ мой новый поясъ,—предостерегала Долли.

— Хорошо, я буду осторожна; но я нашла въ этой книгѣ исторійку, которую хочу прочитать тебѣ, Долли.

— Она не длинная, Мабель?—съ сомнѣніемъ въ голосѣ освѣдомилась Долли.

Но тѣмъ не менѣе она усѣлась у ногъ Мабель и положила къ

ней на колѣни свое веселое личико, а Мабель стала ей читать про печальную судьбу сахарнаго принца.

Долли слушала молча, но глаза ея отуманились. И когда дѣло дошло до того, какъ жестокая дѣвочка скушала сахарнаго несчастливца, она отвернула голову и тихо сказала:

— Мабель, это я сдѣлала.

Мабель засмѣялась.

— Что ты хочешь сказать?

— Я думала, что онъ въ самомъ дѣлѣ сахарный,—жалобно увѣряла Долли,—развѣ я могла знать, что нѣтъ. Я никогда не слыхала про сахарныхъ настоящихъ принцевъ. Онъ былъ такой хорошенькій, но я облила его чаемъ и онъ полинялъ, и тогда я его съѣла, совсѣмъ такъ, какъ сказано въ книгѣ.

— Милая Долли, это вѣдь сказка, не огорчайся, пожалуйста, вѣдь это все неправда.

— Нѣтъ, это вѣрно, правда, потому что все такъ описано, какъ было... И это я сдѣлала... Я съѣла настоящаго волшебнаго принца, Мабель, я—жадная свинка... Еслибы я его не съѣла, онъ, можетъ, быть какъ-нибудь бы ожилъ и мы съ Колиномъ могли бы играть съ живымъ волшебнымъ принцемъ. Онъ этого отъ меня и ожидалъ, а я вмѣсто того съѣла его. Я знаю навѣрное, что онъ—волшебный принцъ, Мабель, онъ былъ такъ вкусенъ... Бѣдный, бѣдный маленькій принцъ!

Долли была въ такомъ горѣ, что Мабель старалась убѣдить ее, что исторія эта написана не про нее и что ея принцъ былъ только сахарный, а не волшебный. Но это ей не удалось и она наконецъ придумала слѣдующее, такъ какъ авторъ книги, казалось ей, любитъ дѣтей и не сочтетъ скучнымъ трудомъ успокоить взволнованнаго имъ ребенка.

— Послушай, Долли, знаешь что: напиши письмо къ м-ру Эрнстону, по адресу его издателей; я научу тебя, какъ его адресовать, но все остальное ты должна написать сама и попросить его сказать тебѣ, былъ ли сахарный принцъ настоящій волшебный принцъ или нѣтъ. Но по моему мнѣнію, Долли, волшебныхъ принцевъ совсѣмъ нѣтъ и не бываетъ.

— Еслибы ихъ не было,—разсуждала Долли,—то про нихъ бы не писали въ книгахъ. Я видѣла столько картинокъ, гдѣ они были нарисованы.

— И они пляшутъ въ пантомимахъ, неправда-ли, Долли?

— О! я знаю, что то не волшебные принцы, а куклы,—презрительно отвѣчала Долли.—Я не дитя, Мабель, но я напишу м-ру... какъ ты сейчасъ сказала, но только я такъ не люблю

писать письма... чернила такъ пачкаются... и м-ръ этотъ навѣрное мнѣ ничего не отвѣтитъ.

— Попробуй.

И вотъ нѣсколько дней спустя, Маркъ нашелъ на своемъ столѣ конвертъ отъ своихъ издателей, въ которомъ было письмо на имя „Кирилла Эрнстона". Письмо было написано крупнымъ, дѣтскимъ почеркомъ съ подчистками, показывавшими, на какихъ мѣстахъ красовались злополучныя, но неизбѣжныя кляксы.

„Дорогой м-ръ Кириллъ Эрнстонъ,—гласило письмо,—я желаю, чтобы вы сказали мнѣ, какимъ образомъ вы узнали, что я съѣла сахарнаго принца, про котораго вы разсказываете въ своей исторіи и про меня ли вы это разсказали? Быть можетъ, это сдѣлала другая дѣвочка и вы про нее разсказали, а не про меня, но пожалуйста напишите мнѣ объ этомъ, потому что мнѣ такъ страшно думать, что я нечаянно съѣла настоящаго волшебнаго принца. Дороти Маргаретъ Лангтонъ".

Это наивное посланьице очень разсердило Марка. Если бы онъ написалъ эту исторію, то безъ сомнѣнія ему было бы забавно и даже, можетъ быть, пріятно такое наивное подтвержденіе силы его таланта. Но такъ какъ не онъ былъ авторъ, то письмо разсердило его, совсѣмъ даже не въ мѣру.

Онъ бросилъ письмо Долли на столъ:—какая досада, что я не выкинулъ эту исторію про сахарнаго принца. Ну что я скажу теперь этой дѣвочкѣ, Лангтонъ... желалъ бы я знать, не родня ли она моему Лангтону. Можетъ быть, сестра его... онъ живетъ гдѣ-то въ Ноттингъ-Гиллѣ. Ну конечно я ничего ей не отвѣчу; если я вздумаю отвѣчать, то могу провраться... Весьма вѣроятно, что Винцентъ былъ знакомъ съ этой дѣвочкой. Не можетъ же она въ самомъ дѣлѣ чувствовать себя несчастной отъ такихъ пустяковъ, а если и чувствуетъ, то это не моя вина.

Маркъ не могъ забыть того туманнаго утра, когда произошло столкновеніе поѣздовъ, своего кратко-временнаго знакомства съ Мабель и несвоевременной разлуки. Послѣдующія событія нѣсколько сгладили впечатлѣніе, произведенное на него ея привлекательной и граціозной внѣшностью. Но и теперь по временамъ ему мерещилось ея милое лицо и онъ ощущалъ жгучую боль при мысли, что она ушла отъ него, не оставивъ ему ни малѣйшей надежды на счастіе снова встрѣтиться и покороче познакомиться съ ней.

Порою, когда въ немъ разыгрывались мечты о блестящемъ будущемъ, на которое онъ разсчитывалъ какъ авторъ многихъ знаменитыхъ и прославленныхъ произведеній (долженствовавшихъ

вполнѣ затмить „Иллюзію"), онъ представлялъ себѣ, какъ онъ встрѣтится съ ней и накажетъ ее самой изысканной, но холодной вѣжливостью. Но эта встрѣча, даже и тогда, когда воображеніе разыгрывалось въ немъ всего сильнѣе, представлялась ему лишь въ очень отдаленномъ будущемъ.

Если бы онъ зналъ, что въ лицѣ юнаго Лангтона онъ имѣлъ полную возможность ловкимъ манеромъ осуществить теперь же свою мечту и еслибы могъ догадаться, что письмо Долли прямо давало ему право увидѣться съ предметомъ своихъ мечтаній.

Но онъ этого не зналъ и жалобное посланіе, сочиненное по внушенію Мабель, лежало на его столѣ безъ отвѣта.

XIII.

Розы и терніи.

Вскорѣ послѣ появленія „Иллюзіи" Маркъ съ несовсѣмъ пріятнымъ чувствомъ долженъ былъ убѣдиться, что успѣхъ этого романа превзойдетъ всѣ его ожиданія. Нельзя было думать, что онъ сдѣлается популярной книгой въ обширномъ и грубомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ онъ былъ выше уровня развитія массы читателей романовъ. Врядъ ли можно было ждать, чтобы онъ когда-нибудь занялъ мѣсто въ желѣзно-дорожныхъ библіотекахъ или былъ сочтенъ выгоднымъ товаромъ за-атлантическими пиратами; но уже и теперь выяснилось, что люди, претендующіе на нѣкоторую культуру, обязательно должны были читать или прикидываться, что читали и одобрили его.

Маркъ былъ признанъ многими компетентными судьями въ этихъ вопросахъ новымъ и мощнымъ мыслителемъ, пожелавшимъ замаскировать свои теоріи въ формѣ романа и если теоріи оспаривались нѣкоторыми, то прелесть и обаяніе формы были всѣми признаны. На званыхъ обѣдахъ и во всѣхъ кружкахъ, гдѣ вообще разсуждаютъ о литературѣ, „Иллюзія" сдѣлалась любимой тэмой разговоровъ. Люди дружились или ссорились изъ-за нея и она стала нѣкотораго рода талисманомъ.

Сначала Маркъ имѣлъ мало случаевъ убѣдиться въ этомъ фактѣ во всемъ его объемѣ, потому что онъ рѣдко бывалъ въ свѣтѣ. Было время въ его жизни—прежде, нежели онъ вышелъ изъ Кембриджа—когда онъ велъ разсѣянную жизнь: студенты, его товарищи, охотно представляли своимъ родственникамъ человѣка, считавшагося чуть не геніемъ, и въ каникулярное время

Маркъ не имѣлъ отбоя отъ приглашеній. Но это не долго длилось. Когда онъ провалился на экзаменахъ, всѣ очень быстро сообразили, что прославленный геній—самый обыкновенный человѣкъ и Маркъ былъ скоро позабытъ. Въ первыя минуты горькаго разочарованія онъ былъ даже этому радъ и его не тянуло въ общество.

Но теперь началась реакція въ его пользу; издатели его уже поговаривали о второмъ изданіи „Иллюзіи“ и онъ получалъ на имя „Кирилла Эрнстона“ безчисленныя письма съ похвалами и дружественной критикой и всѣ они были составлены въ такихъ лестныхъ выраженіяхъ, что сердили его, и только одно письмо, писанное женской рукой и ругавшее напропалую автора и его книгу, утѣшило его.

Слѣдующей стадіей въ карьерѣ книги было чье-то открытіе, что имя, стоящее на ней, не настоящее, а псевдонимъ и хотя много людей, которые такъ же мало заботятся о томъ, кто написалъ комедію, которую они смотрятъ, или книгу, прочитанную ими, какъ о томъ, кто сдѣлалъ локомотивъ, съ которымъ они путешествуютъ, но все же достаточно есть и такихъ, которые интересуются первымъ изъ этихъ предметовъ.

Поэтому автора стали разыскивать, какъ иголку въ сѣнѣ. Сначала было не мало фальшивой тревоги. Одинъ „лондонскій корреспондентъ“ съ достовѣрностью узналъ, что книга написана старой лэди, находящейся въ больницѣ для душевныхъ больныхъ, въ ея свѣтлыя минуты. Какой-то дамскій журналъ, напротивъ того, увѣрялъ, что по самымъ точнымъ справкамъ авторъ —простой столяръ, который самъ образовалъ себя. И много было другихъ открытій въ этомъ родѣ. Но прежде, нежели всѣ эти исторіи успѣли укрѣпиться въ обществѣ, всѣ какъ-то узнали, что авторъ—молодой школьный учитель и что его имя—Маркъ Ашбернъ.

И вскорѣ Маркъ сталъ пожинать плоды этого. Старые друзья опять вспомнили о немъ; люди, проходившіе мимо него по улицамъ съ безпечнымъ кивкомъ головы, оскорблявшимъ его сильнѣе, нежели полное невниманіе, теперь находили время останавливаться и растабарывать съ нимъ на улицѣ, разспрашивая о томъ, насколько вѣрны слухи о его дебютѣ въ литературѣ.

Мало-по-малу визитныя карточки стали накопляться на его каминѣ, какъ въ былые дни. Онъ опять появился въ свѣтѣ, гдѣ его встрѣчали съ любезностью и вниманіемъ. Сначала Марку это нравилось, но когда онъ увидѣлъ, что книга возбуждаетъ все бо́льшій и бо́льшій восторгъ, и за нимъ вслѣдствіе этого ухажи-

ваютъ особенно усердно, то онъ сталъ конфузиться своего успѣха. Куда бы онъ ни явился, разговоръ немедленно переходилъ на книгу, которой онъ считался авторомъ. Онъ нигдѣ не могъ спастись отъ книги Гольройда. Всѣ непремѣнно хотѣли говорить съ нимъ о ней.

Тщетно боролся онъ противъ этого, тщетно сводилъ разговоръ на другіе предметы, его собесѣдники никакъ не хотѣли упустить случая замѣтить:

— Послушайте-ка, м-ръ Ашбернъ, я непремѣнно хочу высказать вамъ, какое удовольствіе и какую пользу доставила мнѣ ваша книга,—и такъ далѣе.

И затѣмъ Марку приходилось выслушивать похвалы своему сопернику, какимъ онъ начиналъ считать Гольройда, и обсуждать съ видомъ компетентнаго судьи книгу, которой онъ никогда не могъ понять и которую начиналъ отъ души ненавидѣть.

Еслибы онъ былъ настоящимъ авторомъ, все это было бы для него пріятно, но къ несчастію, какъ намъ извѣстно, Маркъ не самъ написалъ „Иллюзію“ и въ этомъ-то и заключалась вся разница. Но онъ старался закалить себя и разыгрывать свою роль какъ слѣдуетъ. Все это не могло долго длиться; вскорѣ онъ напечатаетъ свой собственный романъ и ему станутъ его такъ же точно расхваливать. А пока онъ старался изучить содержаніе „Иллюзіи“. Онъ уже узналъ имена всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ и не путалъ ихъ больше; онъ вникъ въ интригу романа и запомнилъ нѣкоторыя подробности. Трудъ этотъ былъ такъ же скученъ и такъ же непріятенъ, какъ и изученіе законовъ. Но нельзя было избѣжать его, если онъ хотѣлъ спасти приличія.

Разъ онъ встрѣтился съ однимъ изъ прежнихъ своихъ знакомыхъ, нѣкимъ юношей Гербертомъ Фезерстономъ, который въ предъидущихъ встрѣчахъ съ нимъ какъ-то внезапно становился слѣпъ и глухъ, но теперь опять прозрѣлъ, такъ что не только увидѣлъ Марка, но и съ жаромъ поздоровался съ нимъ.

Неужели правда, что онъ написалъ эту новую книгу? „Иллюзія“ или что-то въ этомъ родѣ. Ему говорили, самъ онъ не читалъ. Но его мать и сестры читали и очень хвалили; чертовски хорошая, говорятъ, книга. Гдѣ онъ теперь обрѣтается? свободенъ ли онъ 10 числа? Не можетъ ли онъ пріѣхать къ нимъ на танцовальный вечеръ? Ну вотъ хорошо, онъ получитъ пригласительный билетъ.

Марку хотѣлось-было дать почувствовать, что онъ понимаетъ причины этой проснувшейся пріязни, но онъ удержался.

Онъ зналъ, что Фезерстоны—богатые люди и даютъ вечера, славящіеся въ Лондонѣ своимъ весельемъ. Ему необходимо было пробить себѣ дорогу въ свѣтѣ и онъ не могъ пренебрегать такими случаями. Поэтому онъ отправился на танцовальный вечеръ, и такъ какъ хорошо танцовалъ, то очень пріятно провелъ время, не смотря на то, что его дамы читали „Иллюзію“ и знали, что онъ авторъ этой книги. Въ продолженіе вечера ему довелось бесѣдовать съ миссисъ Фезерстонъ, которая сама была литераторша и написала два довольно слабыхъ романа. Она любила принимать у себя начинающихъ молодыхъ писателей, съ которыми могла разговаривать о болѣе возвышенныхъ предметахъ, чѣмъ тѣ, о которыхъ обыкновенно трактуется въ салонахъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ старательно избѣгала, чтобы дочь ея участвовала въ этихъ разговорахъ, потому что Джильда Фезерстонъ была очень хороша собой, а литераторы—такіе же впечатлительные люди, какъ и другіе.

Маркъ отправился съ визитомъ въ одну изъ субботъ къ Фезерстонамъ въ Гросвеноръ-Плесъ, по настоятельному приглашенію хозяйки дома, и тамъ его ожидала неожиданная удача, о которой мы сейчасъ узнаемъ. Джильда Фезерстонъ, живая брюнетка, съ манерами особы, привыкшей поступать, какъ ей вздумается, поздоровалась съ Маркомъ черезъ столъ.

— Вы застали насъ за весьма безпутной игрой, м-ръ Амбернъ. Надѣюсь, что васъ она не шокируетъ. Мы-то уже болѣе или менѣе обстрѣляны; теперь очередь за вами.

— Что такое, милая Джильда? — спросила миссисъ Фезерстонъ.—Надѣюсь, что это не карты?

— Нѣтъ, мамаша, этой игрѣ научилъ насъ м-ръ Каффинъ; онъ называетъ ее „фотонапъ“.

— Позвольте мнѣ объяснить вамъ, въ чемъ дѣло, миссисъ Фезерстонъ,—вмѣшался Каффинъ, любившій бывать у Фезерстоновъ, съ которыми былъ на короткой ногѣ.—Вы, вѣроятно, не знаете этой игры.

Миссисъ Фезерстонъ не особенно любезно покачала головой. Ее пугала въ послѣднее время привычка, усвоенная ея дочерью кстати и не кстати упоминать имя этого вѣтренаго молодого человѣка, которому ея мужъ слѣпо покровительствовалъ.

— Вотъ въ чемъ дѣло,—продолжалъ Каффинъ, не смущаясь.—Мы беремъ фотографическія карточки всѣхъ знакомыхъ и сдаемъ по пяти каждому, а затѣмъ выбираемъ самую безобразную изъ всѣхъ, и тотъ, кому она попалась на руки, выигрываетъ.

— Какая неприличная игра,—замѣтила присутствовавшая при

этомъ тетушка, видѣвшая, какъ одна изъ ея собственныхъ старинныхъ карточекъ, не узнанная присутствующими, и нѣсколько изъ карточекъ, изображавшихъ родственниковъ ея мужа (весьма некрасивыхъ), доставили выигрышъ ихъ владѣльцу.

— О! да! съ этимъ нельзя не согласиться,—отвѣчалъ Каффинъ.—Конечно, въ эту игру нельзя играть вездѣ и при всякихъ обстоятельствахъ. Но за то какая веселая игра! Представьте только себѣ, какое удовольствіе, если вы выиграете леди, съ портретомъ вашей любимѣйшей пріятельницы. И кромѣ того это —вѣрнѣйшее средство убѣдиться, какое мѣсто вы и ваши друзья занимаютъ въ іерархіи красоты. И наконецъ благодаря этой игрѣ некрасивые люди пріобрѣтаютъ совсѣмъ новое значеніе.

— Всѣ мои братья берутъ леди,—замѣтила одна молодая дѣвушка, унаслѣдовавшая красоту матери, между тѣмъ, какъ ея братья всѣ какъ одинъ вылились въ очень некрасиваго отца.

— М-ръ Ашбернъ,—сказала миссъ Фезерстонъ,—помогите мнѣ, пожалуйста, вставить эти фотографіи обратно въ альбомъ. Тутъ есть много кэмбриджскихъ пріятелей брата, которыхъ я не знаю, и вы назовете мнѣ ихъ фамиліи.

Такимъ образомъ, Маркъ послѣдовалъ за ней къ боковому столику, гдѣ и ожидала его вышеупомянутая удача: — вставляя карточки въ альбомъ въ томъ порядкѣ, какъ ему указывала Джильда, онъ былъ до того пораженъ при взглядѣ на одну изъ нихъ, что даже вздрогнулъ, не смѣя вѣрить своему счастію, потому что узналъ въ ней прелестную головку Мабель, которую уже отчаялся когда-либо снова увидѣть.

Голосъ его задрожалъ отъ волненія, когда онъ спросилъ:—какъ зовутъ эту молодую лэди?—Позвольте узнать, чей это портретъ?

— Это—Мабель Лангтонъ. Неправда ли, хорошенькая дѣвушка? Она должна была быть у насъ въ прошлый разъ на танцовальномъ вечерѣ, но что-то ей помѣшало.

— Мнѣ кажется, я встрѣчался съ миссъ Лангтонъ,—сказалъ Маркъ, начиная соображать какое важное открытіе онъ сдѣлалъ.

— Есть у нея сестра Дороти?

— Долли? О, да. Хорошенькая дѣвочка, но страшно избалованная. Я боюсь, что она совсѣмъ затмитъ милую Мабель, когда выростетъ. У нея черты гораздо правильнѣе. Да, я вижу, что вы знаете нашу Мабель Лангтонъ. А теперь, м-ръ Ашбернъ, скажите мнѣ совсѣмъ откровенно, что́ вы о ней думаете, вы, конечно, насквозь видите людей.

Миссъ Фезерстонъ любила провѣрять свои мнѣнія о пріятель-

ницахъ съ помощью компетентныхъ мужчинъ, но надо сознаться, что часто ставила ихъ этимъ въ очень затруднительное положеніе, потому что надо быть очень наивнымъ человѣкомъ, чтобы откровенно высказывать свое мнѣніе въ такихъ случаяхъ.

— Право, не знаю, что вамъ сказать,—отвѣчалъ Маркъ,—я видѣлъ ее всего одинъ разъ.

— О! но этого вполнѣ довольно для васъ, м-ръ Ашбернъ! А для меня Мабель Лангтонъ кажется всегда такой загадкой. Я не могу представить себѣ, такъ ли она кротка въ дѣйствительности, какъ кажется. И кромѣ того, я замѣтила... хотя и не увѣрена въ этомъ... я слыхала, что нѣкоторые говорили, что она немножко не то, чтобы самонадѣянна, а, знаете, слишкомъ придаетъ большое значеніе своимъ мнѣніямъ и склонна осуждать людей, которые съ нею несогласны. Но это невѣрно, неправда ли? Хотя, впрочемъ... О! позвольте мнѣ васъ познакомить съ м-ромъ Каффиномъ, онъ очень умный и интересный молодой человѣкъ и недавно поступилъ на сцену. Онъ выбралъ себѣ для сцены псевдонимъ „м-ръ Деламеръ“. Но онъ не такой хорошій актеръ, какъ мы всѣ думали. Вотъ онъ направляется въ нашу сторону.

Каффинъ подошелъ къ нимъ, и молодые люди были представлены другъ другу.

— Вы, конечно, слышали про великое произведеніе м-ра Ашберна „Иллюзія?“—спросила Джильда Фезерстонъ.

— Я ни о чемъ другомъ не слыхалъ въ послѣднее время,—отвѣчалъ Каффинъ, - хотя къ стыду моему долженъ сознаться, что самъ не читалъ.

Маркъ не зналъ, что̀ сказать на это, и только снисходительно улыбнулся за неимѣніемъ отвѣта, который былъ бы и скроменъ, и остроуменъ.

Кромѣ того, новый знакомый смущалъ его. Странный инстинктъ (котораго мы рѣдко слушаемся, хотя онъ данъ намъ для самообороны) подсказалъ ему, что это опасный человѣкъ. Ему трудно было выдержать холодный и пронзительный взглядъ его свѣтлыхъ глазъ, которые, казалось, видятъ насквозь.

— Мы только-что разбирали съ м-ромъ Ашберномъ характеръ одной личности,—проговорила миссъ Фезерстонъ, чтобы перервать наступившую неловкую паузу.

— Бѣдная личность! — процѣдилъ Каффинъ съ развязной дерзостью, которую многія дѣвушки, въ томъ числѣ и Джильда, не только спускали ему, но даже поощряли.

— Вамъ нечего жалѣть ее,—сказала Джильда съ негодованіемъ,—мы ее защищали.

— Какъ это? другъ противъ друга?—спросилъ Каффинъ.

— Вовсе нѣтъ; но если вы въ циническомъ, сатирическомъ и подобномъ, настроеніи, то можете удалиться. Нѣтъ?—ну такъ садитесь и ведите себя смирно. Какъ? вы уже уходите, м-ръ Ашбернъ? Ну въ такомъ случаѣ, прощайте. М-ръ Каффинъ, я желаю, чтобы вы мнѣ сказали, какого вы мнѣнія о...

Но дальше Маркъ не слышалъ. Онъ былъ радъ уйти отъ проницательныхъ взоровъ Каффина.

„Можно подумать, что онъ знаетъ, что я шарлатанъ", думалъ онъ, вспоминая впослѣдствіи его взглядъ. Но онъ убѣжалъ также, чтобы на досугѣ обдумать свое открытіе и все, что́ оно ему обѣщало.

Онъ зналъ теперь ея имя; онъ имѣлъ надежду съ ней встрѣтиться рано или поздно въ томъ домѣ, который онъ только-что оставилъ. Но, быть можетъ, это можно устроить теперь же?

Маленькая дѣвочка, чье письмо въ своей слѣпотѣ онъ съ досадой бросилъ нѣсколько дней тому назадъ, кто могла она быть, какъ не обладательница собаченки, за которой онъ бѣгалъ въ вагонъ? И онъ чуть было не пренебрегъ ея письмомъ!

Конечно, онъ ей напишетъ теперь. Кто знаетъ, что́ изъ этого можетъ выйти? Во всякомъ случаѣ, она прочитаетъ его письмо.

Письмо къ Долли стоило Марку неимовѣрныхъ трудовъ. Внимательно прочитавъ исторію, о которой въ немъ шла рѣчь, онъ сѣлъ и сталъ писать, но съ нетерпѣніемъ рвалъ одинъ листъ бумаги за другимъ. Дѣти не интересовали его; онъ не понималъ ихъ и разговоръ съ ними всегда казался ему мученіемъ. Но желаніе угодить болѣе строгому критику, чѣмъ Долли, въ нѣкоторомъ родѣ вдохновило его, и письмо, посланное имъ, не безъ трепета душевнаго, было вполнѣ удовлетворительно съ этой точки зрѣнія.

Онъ былъ достойно вознагражденъ, получивъ, день или два спустя, другую записку отъ Долли, въ которой она просила его на чашку чая въ Кенсингтонъ-Паркъ-Гарденсъ въ любой день, кромѣ понедѣльника и четверга. Въ постскриптумѣ стояло (очевидно, по постороннему внушенію), что мамаша и сестра будутъ очень рады съ нимъ познакомиться.

Маркъ, прочитавъ эту записку, затрепеталъ отъ радости. И такъ то, о чемъ онъ мечталъ, сбудется. Онъ ее увидитъ, будетъ говорить съ нею. По крайней мѣрѣ хоть этимъ онъ былъ обязанъ „Иллюзіи". На этотъ разъ она не разстанется съ нимъ какъ въ

прошлый, ни слова не сказавъ, не подавъ никакого знака. Его, вѣроятно, пригласятъ бывать въ домѣ.

И онъ привѣтствовалъ это радостное событіе какъ счастливое предзнаменованіе для будущаго.

XIV.

Весною.

Маркъ рѣшилъ, не теряя времени, воспользоваться приглашеніемъ Долли и въ извощичьей каретѣ отправился въ Кенсингтонъ-Паркъ-Гарденсъ въ самомъ радужномъ настроеніи духа. Но дорогою сомнѣніе и уныніе снова овладѣли имъ. Мабель навѣрное уже позабыла его; когда онъ позвонилъ, онъ далеко не ликовалъ.

Онъ спросилъ миссъ Дороти Лангтонъ и назвалъ себя „м-ромъ Эрнстономъ". Его ввели въ небольшую комнату, гдѣ онъ нашелъ Долли одну и въ очень степенномъ и спокойномъ расположеніи духа.

— Подайте сюда чаю, Чампіонъ, — сказала она слугѣ,—и кэкъ... вы, конечно, любите кэкъ? — обратилась она къ Марку, какъ бы спохватясь. Мамаши и Мабель нѣтъ дома. Онѣ поѣхали съ визитами или еще куда-то,—прибавила она,—такъ что намъ никто не помѣшаетъ.

Сердце у Марка упало при этомъ извѣстіи. Онъ совсѣмъ не того ожидалъ. Но Долли усѣлась снова на стулъ съ такимъ рѣшительнымъ видомъ и убѣжденіемъ, что, наконецъ, она имѣетъ дѣло съ лицомъ компетентнымъ въ волшебныхъ дѣлахъ, что Маркъ не рѣшился ее разочаровывать, хотя знакомство его съ этимъ предметомъ было самое ограниченное.

— Начинайте, — спокойно произнесла Долли, въ то время, какъ Маркъ безсмысленно уставился глазами въ свою шляпу.

— Да, но скажите мнѣ, что вы собственно хотите узнать о волшебницахъ и волшебникахъ?

— Все рѣшительно, — отвѣчала Долли повелительнымъ тономъ особы, привыкшей, чтобы всѣ ея желанія исполнялись.

— Ну вотъ,—продолжалъ Маркъ, прокашливаясь,—они шутятъ по вечерамъ и въ лунныя ночи, какъ вамъ извѣстно, живутъ въ цвѣтахъ и играютъ всякаго рода штуки съ людьми, то есть,—прибавилъ онъ, сообразивъ, что не слѣдуетъ поддержи-

вать суевѣрія въ дѣтяхъ,—это было прежде, но теперь уже больше этого не бываетъ.

— Какъ же могла эта дѣвочка, про которую вы писали, съѣсть волшебнаго принца?

— То былъ послѣдній,—вывернулся Маркъ.

— Но почему онъ былъ превращенъ въ сахарнаго принца? Вѣрно онъ дурно себя велъ?

— Именно.

— Что же такое онъ сдѣлалъ? Солгалъ?

— Именно,—обрадовался Маркъ, — страшно солгалъ.

— Кому солгалъ?—не унималась Долли, и Маркъ подумалъ, что она пренесносная дѣвчонка, не смотря на то, что такая хорошенькая.

— Онъ... онъ сказалъ, что королева фей косая.

— И она, значитъ, превратила его въ сахаръ?

— Разумѣется.

— Но вы сказали, что онъ былъ послѣдній волшебный принцъ? — приставала Долли.

— Неужели?—переспросилъ злополучный Маркъ,—я хотѣлъ сказать, что онъ былъ послѣдній, кромѣ царицы фей.

— Но кто же тогда разсказалъ эту исторію? — неумолимо допрашивала Долли, и Маркъ окончательно спасовалъ.

— Мнѣ кажется, вы сами не много знаете о волшебникахъ и волшебницахъ,—строго замѣтила она.—Должно быть, вы все, что знали, и разсказали въ этой исторіи. Но по крайней мѣрѣ вы вполнѣ увѣрены, что сахарный принцъ, котораго я съѣла, не былъ волшебнымъ?

— О! да! — съ убѣжденіемъ сказалъ Маркъ.

— Ну и прекрасно,—съ облегченіемъ вздохнула Долли.— И вы никакой другой волшебной исторіи не знаете, кромѣ этой?

— Никакой, — поспѣшно объявилъ Маркъ, въ смертельномъ страхѣ, что она заставитъ разсказывать ей сказки.

— Если такъ,—объявила Долли,—то мы можемъ пить чай.

Тутъ дверь отворилась.

— Ахъ! это не Чампіонъ! — закричала Долли,—это Мабель. Когда ты успѣла вернуться, Мабель?

И Маркъ повернулся къ двери, чтобы убѣдиться, что самыя радостныя его надежды осуществились и онъ снова стоитъ лицомъ къ лицу съ Мабель.

Она вошла въ свѣтломъ весеннемъ платьѣ и показалась ему еще прелестнѣе, чѣмъ въ зимнемъ мѣховомъ одѣяніи. Поцѣловавъ

Долли, она взглянула на него и глаза ея сказали, что она его узнала.

— Вотъ м-ръ Эрнстонъ, Мабъ,—представила Долли.

Румянецъ на щекахъ Мабель заигралъ сильнѣе. Авторъ книги, необыкновенно заинтересовавшей ее, оказывался тотъ самый молодой человѣкъ, который не счелъ нужнымъ сдѣлать имъ визитъ. Вѣроятно, еслибы онъ зналъ, кто написалъ ему, онъ и теперь не пріѣхалъ бы. Отъ этой мысли манеры ея стали невольно холоднѣе и сдержаннѣе.

— Мы уже встрѣчались съ м-ромъ Эрнстономъ, — сказала она, подавая ему руку безъ перчатки.—Онъ, по всей вѣроятности, забылъ, когда и гдѣ именно, но ты, Долли, конечно, помнишь?

Но Долли была такъ поглощена заботой о своей собакѣ въ день столкновенія поѣздовъ, что не успѣла хорошенько разглядѣть и запомнить наружность ея спасителя.

— Когда я видѣла его, Мабель? — шепнула она.

— О, Долли, неблагодарная дѣвочка! неужели ты забыла, кто вынесъ Фриска изъ вагона, когда поѣзды столкнулись.

Но Долли повѣсила носъ и опустила длинныя рѣсницы, и теребила пальцы въ припадкѣ застѣнчивости, нападающей иногда на самыхъ бойкихъ дѣтей.

— Ты помнишь, что даже не поблагодарила его тогда,— продолжала Мабель:—поблагодари хоть теперь.

— Благодарю васъ за то, что вы спасли мою собаку, — пробормотала скороговоркой Долли, не поднимая глазъ на Марка. И Мабель, видя, что она такъ смущена, посовѣтовала ей сбѣгать за Фрискомъ, чтобы собачка могла лично поблагодарить своего спасителя. Долли съ радостью ухватилась за этотъ предлогъ, чтобы убѣжать изъ комнаты.

Маркъ, конечно, всталъ съ мѣста при входѣ Мабель и стоялъ теперь въ углу около драпированнаго камина. Мабель стояла по другую сторону камина, разсѣянно перебирая рукой бахрому драпировки и глядя въ коверъ подъ ногами. Оба съ минуту молчали. Маркъ чувствовалъ холодность ея обращенія.

„Она помнитъ, какъ была невѣжлива со мной,—думалъ онъ,— и слишкомъ горда, чтобы показать это“.

— Вы должны извинить Долли,—сказала, наконецъ, Мабель, находя, что если Маркъ рѣшилъ быть надутымъ и непріятнымъ, то нѣтъ резона ей быть такою же.—У дѣтей, какъ вы знаете, короткая память. Но еслибы вы желали, чтобы васъ благодарили, то мы бы раньше увидѣли васъ.

„Довольно нахально, — подумалъ Маркъ. — Меня удивляетъ

одно только, — прибавилъ онъ вслухъ,—что вы помните это; вы благодарили меня на мѣстѣ происшествія больше, нежели я того заслуживалъ. Но конечно еслибы я могъ узнать ваше имя или гдѣ вы живете... если припомните, мы разстались очень внезапно и вы не дали мнѣ позволенія...

— Но я послала вамъ записку съ кондукторомъ, — сказала она,—я сообщала вамъ въ ней нашъ адресъ и просила васъ пріѣхать познакомиться съ мамашей и позволить Долли какъ слѣдуетъ поблагодарить васъ.

Значитъ, она не была горда и невѣжлива. Онъ почувствовалъ сильную радость при этой мысли и стыдъ, что такъ неправильно истолковалъ ея поведеніе.

— Еслибы я получилъ эту записку... надѣюсь, что вы повѣрите мнѣ, что тогда я бы давно уже былъ у васъ. Но я спрашивалъ про васъ у этого стараго лгуна кондуктора, но онъ... (тутъ Маркъ вспомнилъ вздоръ, который нагородилъ ему кондукторъ) наговорилъ мнѣ какихъ-то нелѣпостей и никакой записки не передавалъ.

Слова Марка были, очевидно, искренни, и когда она услышала ихъ, то холодность и сдержанность исчезла; недоразумѣніе было разсѣяно.

— Какъ бы то ни было, а вы у насъ, вопреки всѣмъ кондукторамъ,—сказала она съ веселымъ смѣхомъ.—И теперь у насъ есть новая причина благодарить васъ.

И въ простыхъ, откровенныхъ выраженіяхъ, она высказала ему, какое удовольствіе доставило ей чтеніе „Иллюзіи“. И тутъ только, выслушивая ее, Маркъ почти впервые почувствовалъ вполнѣ всю низость своего обмана и пожелалъ такъ, какъ еще до сихъ поръ не желалъ, чтобы онъ въ самомъ дѣлѣ написалъ эту книгу.

Но это породило въ немъ только большее нежеланіе говорить о ней; онъ поблагодарилъ ее въ краткихъ и формальныхъ выраженіяхъ и попытался рѣзче, чѣмъ когда-либо въ подобныхъ случаяхъ, перевести разговоръ на другое. Мабель же была того мнѣнія, и вполнѣ основательно, что даже генію непозволительно такъ безцеремонно относиться къ ея мнѣнію и слегка обидѣлась, хотя и объяснила это себѣ застѣнчивостью черезъ-чуръ скромнаго человѣка.

— Я забыла, конечно,—замѣтила она обиженнымъ тономъ,— что вамъ, должно быть, страшно надоѣло говорить объ этомъ.

Она угадала, но онъ тоже понялъ, что его рѣзкость обидѣла ее и постарался загладить свою ошибку.

— Не думайте этого,—серьезнымъ тономъ произнесъ онъ,—но увѣряю васъ, что очень тяжело постоянно слушать похвалы.

— И вамъ въ самомъ дѣлѣ непріятно говорить объ „Иллюзіи"?

— Я буду откровененъ съ вами, миссъ Лангтонъ; да, мнѣ это непріятно. Потому что, видите ли, я все время чувствую... надѣюсь, что могу написать лучше.

— И мы всѣ городимъ вздоръ, когда хвалимъ васъ?—спросила Мабель невиннымъ тономъ, но съ лукавымъ блескомъ въ глазахъ.

— Я знаю, что это можетъ показаться самонадѣяннымъ съ моей стороны, но право же, когда я слышу всѣ эти комплименты на счетъ книги, которая стоила мнѣ такъ мало труда, то мнѣ становится страшно, что слѣдующее мое произведеніе, надъ которымъ я много и усиленно работаю, вдругъ пройдетъ незамѣченнымъ или хуже того.

Этого нельзя было принять за притворную скромность, и хотя Мабель нашла такую щепетильную чувствительность нѣсколько преувеличенной, но Маркъ только больше понравился ей.

— Я думаю, что вамъ не слѣдуетъ этого бояться,—сказала она,—но какъ бы то ни было, а я не буду больше безпокоить васъ. А теперь пойдемте въ гостиную, я васъ представлю мамашѣ.

Миссисъ Лангтонъ задремала-было послѣ утомительныхъ визитовъ, но проснулась и была достаточно любезна съ Маркомъ, когда узнала, кто онъ такой.

— Вы были очень добры, что отвѣтили моей дѣвочкѣ на ея глупое письмо,—сказала она.—Конечно, я не хочу сказать, что сама исторія, о которой писала вамъ Долли, глупа, но дѣти часто забираютъ въ голову такія нелѣпости... Ты была такая же, когда была въ лѣтахъ Долли, моя милая Мабель... Но вотъ я не помню, чтобы когда-либо интересовалась такими пустяками. Говорятъ, что вы написали такую удивительную книгу, м-ръ Эрнстонъ. Я ее еще не читала. Мое слабое здоровье, знаете, мнѣ не позволяетъ много читать! Но право же мнѣ страшно разговаривать съ вами; вы, должно быть, такой умный. Мнѣ кажется, что надо быть такимъ умнымъ и такимъ терпѣливымъ, чтобы написать книгу.

— О, Мабель, подумай только,—вбѣжала въ эту минуту Долли, съ которой совсѣмъ соскочилъ давишній конфузъ.—Фрискъ опять сбѣжалъ изъ дому. Онъ вчера еще пропалъ, я забыла сказать объ этомъ. И потому м-ръ Эрнстонъ не увидитъ его.

Тутъ Мабель объяснила матери, что препрославленный авторъ „Иллюзіи" былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и спасителемъ собаки Долли.

— Вы не должны больше рисковать такой драгоцѣнной жизнью, какъ ваша,—внушительно сказала миссисъ Лангтонъ и поблагодарила его въ торопливыхъ и сбивчивыхъ выраженіяхъ, доказывавшихъ, что она позабыла, за что именно ей слѣдуетъ его благодарить.

Въ эту минуту появился и Колинъ.

— Здравствуй, Мабель! здравствуйте, мамаша! Да, я причесалъ голову и вымылъ руки. Здравствуй, Долли. Какъ? м-ръ Ашбернъ здѣсь?—выпучилъ онъ глаза, тряся Марка за руку.

— Мнѣ слѣдовало бы раньше объяснить, — сказалъ Маркъ удивленной компаніи,—что Эрнстонъ мой литературный псевдонимъ, и что я имѣю удовольствіе быть преподавателемъ вашего сына въ школѣ св. Петра.

Мабель весело засмѣялась.

— М-ръ Ашбернъ, — сказала она,—я жду, въ какой еще новой роли вы появитесь въ слѣдующую минуту. Еслибы вы знали, какъ я васъ боялась, когда помогала Колину приготовлять латинскій урокъ. Я представляла васъ себѣ такимъ страшнымъ.

— Я таковъ и есть какъ оффиціальное лицо. Я увѣренъ, что вашъ братъ подтвердитъ это.

— Не думаю,—отвѣчала Мабель,—онъ очень цѣнитъ васъ.

— Это правда, сэръ,—замѣтилъ пріободрившійся Колинъ,—я очень цѣню васъ, съ извѣстныхъ сторонъ,—прибавилъ онъ добросовѣстно.

Когда Маркъ сталъ прощаться, миссъ Лангтонъ спросила его адресъ, имѣя въ виду пригласить его въ непродолжительномъ времени. Молодой человѣкъ, въ нѣкоторомъ родѣ знаменитость и вполнѣ приличный во всѣхъ отношеніяхъ, могъ быть очень полезенъ и какъ танцоръ на танцовальныхъ вечерахъ, и какъ пріятный собесѣдникъ на скучныхъ званыхъ обѣдахъ.

Мабель протянула ему руку на прощанье такъ дружелюбно и довѣрчиво, какъ она рѣдко это дѣлала относительно людей, которыхъ еще мало знала. Но ей нравился м-ръ Ашбернъ, который фигурировалъ въ нѣкоторомъ родѣ какъ герой, когда она видѣла его въ послѣдній разъ, а теперь оказывался тѣмъ самымъ „щеголемъ“ учителемъ, къ которому, сама того не сознавая, она прониклась отчасти такимъ же мальчишескимъ восхищеніемъ, какое чувствовалъ къ нему Колинъ, и который въ концѣ концовъ написалъ книгу, поразившую ея воображеніе.

Вдобавокъ ко всему этому онъ былъ красивъ, очень красивъ; его темные глаза выражали явное удовольствіе отъ того, что онъ

ее видитъ и съ нею разговариваетъ... что̀ также говорило въ его пользу. Манеры у него были пріятныя и веселыя, и Мабель съ удовольствіемъ слушала похвалы матери ушедшему Марку.

— Премилый молодой человѣкъ, душа моя, стоитъ только взглянуть на него, чтобы сразу увидѣть, что онъ геній, и при этомъ такъ простъ и ненатянутъ. Право, это истинный кладъ для нашихъ вечеровъ.

— Я открыла его, мамаша,—вмѣшалась Долли:—еслибы не я, онъ бы къ вамъ не пріѣхалъ. Но я въ немъ разочаровалась; онъ такъ мало со мной разговариваетъ и, кромѣ того, я не думаю, чтобы онъ много зналъ про волшебниковъ и волшебницъ.

— Не будь неблагодарна, Долли, — замѣтила Мабель,—кто спасъ Фриска?

— О, да, конечно, онъ; я это знаю; но не потому, чтобы онъ любилъ Фриска, а потому... я не знаю, почему.

— Потому что онъ добрый молодой человѣкъ,—наставительно произнесла миссисъ Лангтонъ.

— Нѣтъ, не потому; онъ вовсе не такъ добръ. Онъ не такъ добръ, какъ былъ бѣдный Винцентъ, но, конечно, добрѣе Гарольда. Но онъ не любитъ собакъ, и не любитъ меня, и я его не люблю,— заключила Долли довольно сердито.

XV.

Гарольдъ Каффинъ дѣлаетъ открытіе.

Гарольдъ Каффинъ не особенно успѣшно подвизался въ своей новой карьерѣ съ тѣхъ поръ, какъ мы съ нимъ разстались. Напротивъ того, его разочарованіе на этотъ счетъ было полное. Онъ поступилъ на сцену вслѣдствіе сумазбродныхъ похвалъ добрыхъ знакомыхъ, совсѣмъ упустивъ изъ виду, что отъ всякаго рода любителей требуется гораздо меньше, чѣмъ отъ настоящихъ спеціалистовъ. Красивая наружность и безусловное самообладаніе были почти единственными его качествами, если не считать прекраснаго голоса и хорошихъ манеръ, что̀ въ настоящее время далеко уже не такая рѣдкость у актеровъ, какъ было прежде. Общій приговоръ его собратовъ по ремеслу былъ: „умный малый, но не артистъ“.

Каффинъ не былъ такой человѣкъ, чтобы упорнымъ трудомъ пробить себѣ дорогу, не смотря на невыгодныя условія. Онъ разсчитывалъ на немедленный успѣхъ и быстрое обогащеніе, и дѣй-

ствительность разочаровала и обезкуражила его. Онъ скоро могъ бы сбиться съ пути истиннаго и превратиться въ гуляку, не особенно разборчиваго на средства къ жизни, еслибы у него не было цѣли, заставлявшей его высоко держать свое знамя въ обществѣ. И цѣль эта была Мабель Лангтонъ. Теперь, когда Гольройдъ сошелъ съ его пути, надежды его овладѣть сердцемъ и рукой этой дѣвушки, выказывавшей ему постоянную холодность и тѣмъ еще болѣе разжигавшей его любовь и самолюбіе, ожили. Но не одна только любовь и самолюбіе дѣлали для него желательнымъ бракъ съ Мабель. Отецъ ея былъ богатый человѣкъ и у Мабель было значительное приданое. Поэтому онъ съ нетерпѣніемъ искалъ какого-нибудь занятія болѣе почетнаго и выгоднаго, чѣмъ театръ, такъ какъ очень хорошо зналъ, что отецъ Мабели не считалъ его въ настоящее время выгоднымъ женихомъ для дочери.

Ему посчастливилось увѣрить какого-то дѣльца изъ своихъ пріятелей въ своей дѣловитости и практичности и тотъ предложилъ ему бросить сцену и вступить съ нимъ въ ассоціацію для какого-то выгоднаго предпріятія. Предпріятіе процвѣтало, пріятель его отлично руководилъ имъ, а Каффинъ забралъ въ руки пріятеля и будущее ему улыбнулось. Онъ могъ теперь считать, что худшія препятствія для женитьбы на Мабель устранены съ его пути.

Времени у него было теперь довольно, и въ одно прекрасное утро онъ рѣшилъ отправиться въ Кенсингтонъ-Паркъ-Гарденсъ и сообщить Мабель о своихъ новыхъ планахъ.

Ему объявили, что ни миссисъ, ни миссъ Лангтонъ нѣтъ дома. —Но миссъ Долли дома,—прибавилъ Чампіонъ, хорошо знавшій Каффина.

— Хорошо, я повидаюсь съ миссъ Долли,—сказалъ Каффинъ, разсчитывая, что пока онъ будетъ сидѣть съ Долли, Мабель вернется.

Онъ вошелъ въ комнату и засталъ Долли какъ разъ на томъ, что она отрываетъ почтовую марку съ письма.

— Эге! госпожа шалунья, что́ это вы творите?—спросилъ онъ въ дверяхъ.

— Это вовсе не шалость,—отвѣчала Долли, не удостоивая повернуться въ его сторону.—Зачѣмъ вы пришли, Гарольдъ?

— Чтобы имѣть удовольствіе побесѣдовать съ вами, Долли. (Долли сдѣлала при этихъ словахъ гримасу).—Но что это такое вы дѣлаете съ этими ножницами и письмомъ, смѣю васъ спросить?

Долли была въ смиренномъ и покойномъ настроеніи, потому

что наканунѣ обидѣла Колина и онъ до сихъ поръ еще не простилъ ей. Случилось это такъ. День былъ праздничный и Колинъ пригласилъ къ себѣ товарища, главнымъ образомъ затѣмъ, чтобы показать ему свои сокровища и пуще всего, чтобы товарищъ высказалъ, какъ экспертъ, свое мнѣніе о достоинствахъ коллекціи иностранныхъ почтовыхъ марокъ, собранной Колиномъ. Къ несчастію для Колина, Долли совсѣмъ поработила его пріятеля. Восхищенная его внезапнымъ интересомъ къ совсѣмъ не мальчишескимъ играмъ, она увела его за собой показывать домъ своей куклы и пріятель былъ такъ низокъ, что измѣнилъ товарищу и послѣдовалъ за ней. Долли безъ всякаго кокетства, такъ какъ она не была скороспѣлкой въ этомъ отношеніи, монополизировала гостя, обрадованная, что нашелся мальчикъ, который, въ противность Колину, удостоивалъ интересоваться ея дѣлами, но когда тотъ ушелъ, негодованіе Колина обрушилось на невинную Долли. Она сдѣлала это нарочно. Она знала, что онъ пришелъ посмотрѣть на его почтовыя марки! И какой интересъ могъ онъ находить въ ея куклахъ! А она продержала его все время въ дѣтской и заставила даромъ потерять время. Она очень дурно поступила и такъ далѣе, пока Долли не расплакалась отъ огорченія и раскаянія.

И вотъ теперь она ухватилась за случай загладить свою вину самымъ подходящимъ, какъ ей казалось, образомъ. Но всего этого она не сказала Каффину.

— Знаете ли вы толкъ въ почтовыхъ маркахъ? - спросила она.—Какъ вы думаете, рѣдкая вотъ эта?—подала она ему сорванную съ письма марку.

— Покажите письмо,—сказалъ Каффинъ и Долли подала ему. Онъ поднесъ его къ окну и слегка вздрогнулъ.

— Когда его принесли?—спросилъ онъ.

— Сейчасъ,—отвѣчала Долли,—за минуту или за двѣ до вашего прихода. Я услышала, что пришелъ почтальонъ, побѣжала къ ящику и увидѣла вотъ это, а такъ какъ ящикъ не былъ запертъ, то я его вынула и сорвала марку. Отчего вы такъ на меня строго глядите, Гарольдъ? Это письмо къ Мабель; она на меня не разсердится.

Каффинъ все еще стоялъ у окна. Онъ получилъ весьма чувствительный ударъ и старался справиться съ собой и освоиться съ фактомъ, о которомъ свидѣтельствовало письмо, находившееся въ его рукахъ.

Письмо было изъ Индіи, на немъ приклеена почтовая марка изъ Коломбо и адресъ написанъ рукой Винцента Гольройда.

Каффинъ случайно зналъ его почеркъ. Еслибы нужно было еще другое доказательство, то онъ имѣлъ его, такъ какъ прижавъ тонкую бумагу конверта къ письму, прочиталъ нѣсколько просвѣчивавшихъ словъ. А именно: „Больше не напишу, пока вы...“, и ниже полная подпись Гольройда.

И письмо только-что пришло. Онъ могъ заключить одно только: что по какой-то необыкновенной случайности Гольройдъ не погибъ, какъ о немъ думали. Онъ живъ и—болѣе опасный соперникъ, чѣмъ когда-либо. Въ этомъ письмѣ, кто знаетъ, онъ, можетъ быть, дѣлаетъ предложеніе!

„Безполезно говорить съ Мабель, если она увидитъ это письмо. Чортъ бы его побралъ! Почему онъ не утонулъ! Вотъ моя вѣчная незадача! Что теперь дѣлать“?..

XVI.

Отчаянное средство.

Стоя у окна съ письмомъ Гольройда въ рукахъ, Каффинъ почувствовалъ безумное желаніе истребить или украсть письмо. „Еслибы я былъ одинъ!“—нетерпѣливо подумалъ онъ. Но онъ былъ осторожный молодой человѣкъ и вполнѣ понималъ, какія могутъ быть послѣдствія такого поступка и притомъ тутъ была Долли. Она видѣла письмо и заставить ее молчать было труднѣе, чѣмъ истребить письмо. Нѣтъ! онъ ничего не можетъ сдѣлать. Остается предоставить все на волю судьбы.

Мрачное лицо его наполнило Долли внезапнымъ страхомъ; она позабыла свою антипатію, и застѣнчиво подойдя къ нему, тронула его за руку.

— Что случилось, Гарольдъ?—спросила она.—Мабель вѣдь не разсердится? Я вѣдь ничего худого не сдѣлала, Гарольдъ?

Онъ вышелъ изъ задумчивости и увидѣлъ ея встревоженное лицо... и вздрогнулъ. Дѣятельный мозгъ его придумалъ въ эту минуту отчаянное средство, навѣянное страхомъ, который онъ читалъ на ея лицѣ. „Честное слово! я попробую это сдѣлать!—подумалъ онъ:—стоитъ попытаться... она такой ребенокъ... я могу убѣдить ее“.

— Худого?—внушительно произнесъ онъ,—это хуже худого. Моя бѣдная Долли, ты сама не знаешь, что ты надѣлала.

— Н-нѣтъ!—пролепетала Долли,—Гарольдъ, не дразни меня... не говори неправды... я... я... мнѣ страшно.

— Мое милое дитя, что же я могу сказать. Вѣдь, разумѣется, ты сама знаешь, что провинилась въ воровствѣ.

— Въ воровствѣ?—повторила Долли, широко раскрывъ удивленные глаза.—О! нѣтъ, Гарольдъ! это не воровство. Разумѣется, я скажу Мабель и попрошу у нея марку... вѣдь я потому только теперь же оторвала ее, что еслибы я этого не сдѣлала, она могла бы бросить ее прежде, нежели я успѣла бы попросить.

— Боюсь, что это все-таки воровство, Долли,—продолжалъ Каффинъ тономъ печальнаго соболѣзнованія,—ничто не въ силахъ измѣнить этого факта.

— Мабель не разсердится на меня за это, — настаивала Долли,—я ей разскажу, какъ было дѣло.

— Еслибы все зависѣло отъ Мабель, то намъ нечего было бы бояться, но Мабель ничѣмъ тутъ не поможетъ, бѣдная Долли. Законъ наказываетъ такого рода поступки. Ты знаешь, что такое законъ, полиція и судьи?

Жалобное выраженіе на личикѣ ребенка, темные глаза, наполнившіеся слезами, и дрожащій ротикъ тронули бы нѣкоторыхъ людей, и даже Каффинъ не остался вполнѣ нечувствителенъ. Но его единственнымъ шансомъ было запугать ребенка и онъ не могъ позволить себѣ расчувствоваться некстати. Онъ продолжалъ свое дѣло, старательно взвѣшивая каждое слово.

— О, я не повѣрю этому!—кричала Долли, пытаясь сопротивляться впечатлѣнію, производимому на нее его строгимъ соболѣзнованіемъ.—Гарольдъ, ты хочешь меня только запугать. Но я вовсе не боюсь. Скажи, что ты шутишь.

Но Каффинъ отвернулся съ притворнымъ отчаяніемъ.

— Неужели похоже, что я шучу, Долли,—проговорилъ онъ съ искусно поддѣльной дрожью въ голосѣ. Онъ еще никогда такъ хорошо не игралъ.

— Что это сегодняшняя газета тамъ на столикѣ? — вдругъ спросилъ онъ.—Дай мнѣ ее, пожалуйста, Долли. „Я долженъ какъ-нибудь справиться съ этой упрямой дѣвчонкой“,—нетерпѣливо думалъ онъ, просматривая тотъ столбецъ, гдѣ печатаются полицейскіе отчеты и гдѣ онъ помнилъ, что читалъ утромъ про злополучнаго почтальона, воровавшаго почтовыя марки съ довѣренныхъ ему писемъ.

Наконецъ, онъ нашелъ и прочиталъ ей вслухъ.

— Если ты мнѣ не вѣришь, то погляди сама,—прибавилъ онъ, ты вѣдь умѣешь читать. Видишь теперь, вѣдь эти марки были со штемпелемъ. Ну а твоя вѣдь тоже со штемпелемъ.

— О, да! — закричала Долли,—вся покрыта штемпелями! Да

я теперь повѣрила, Гарольдъ. Но чтожъ мнѣ дѣлать?.. знаю! я скажу папашѣ: онъ не позволитъ посадить меня въ тюрьму.

— Твой папаша—законникъ, онъ обязанъ исполнять законъ, а не мѣшать его исполненію. Всего менѣе совѣтую я тебѣ говорить объ этомъ папашѣ или ты вынудишь его исполнить свой долгъ. Вѣдь ты не хочешь, чтобы тебя посадили въ темную тюрьму, Долли, гдѣ ты будешь сидѣть одна? А между тѣмъ, если то, что ты сдѣлала, откроется, то ни папаша, ни мамаша, ни сама Мабель нечего не сдѣлаютъ. Законъ сильнѣе ихъ всѣхъ!

Странная и страшная мысль о неизвѣстной власти, въ когти которой она нечаянно попала и отъ которой спасти не могли ее ни любовь родительская, ни семейный кровъ, привели дѣвочку въ неописанное состояніе. Она судорожно ухватилась за Каффина, побѣлѣвъ какъ смерть, напуганная до того, что не могла даже плакать.

— Гарольдъ! — закричала она, схватывая его руку обѣими своими:—ты не пускай ихъ ко мнѣ! Я... я не могу идти въ тюрьму и всѣхъ оставить. Я не люблю потемокъ. Я не могла бы просидѣть всю жизнь въ тюрьмѣ и никого не видѣть, ни Мабель, ни Кодина, и никого! Скажи мнѣ, что дѣлать, только скажи мнѣ и я все сдѣлаю!

Опять повторяемъ, что многіе порядочные негодяи постыдились бы смутить такъ ужасно свѣтлую жизнь ребенка, да и Каффину было непріятно, но онъ былъ почти у цѣли и не захотѣлъ лишиться плодовъ своей тактики.

— Я не долженъ былъ бы помогать тебѣ,—сказалъ онъ;—еслибы я поступилъ по совѣсти, то передалъ бы тебя въ руки... Нѣтъ, нѣтъ, Долли, успокойся, я этого не сдѣлаю. Но не могу и помочь тебѣ. Но если ты хочешь, то сама можешь помочь себѣ и обѣщаю, что я тебя не выдамъ.

— Что ты хочешь сказать? можетъ быть, я могу приклеить марку обратно?

— Неужели ты думаешь, что этого не будетъ видно? Нѣтъ, Долли, если кто-нибудь, кромѣ тебя и меня, увидитъ это письмо, все пропало.

— Но неужели ты хочешь сказать... неужели... о, нѣтъ, Гарольдъ, я не могу сжечь письмо!

Въ каминѣ горѣлъ огонь, потому что, не смотря на весну, утро было холодное.

— Пожалуйста, не думай, что я совѣтую тебѣ сжечь его. Сжечь письмо, конечно, не хорошо. Все въ этомъ дѣлѣ нехорошо отъ начала до конца, только другого средства нѣтъ и надо будетъ

идти въ тюрьму. Но если ты рѣшишь сжечь письмо Долли, то я тебя не выдамъ. Я вовсе не желаю, чтобы такую бѣдную маленькую дѣвочку, какъ ты, посадили въ тюрьму. Но дѣлай, какъ знаешь, Долли, я тутъ не причемъ.

Долли не могла выдержать долѣе; она схватила письмо и швырнула его въ огонь. Но едва пламя охватило его, какъ она уже раскаялась и хотѣла вытащить его изъ камина.

— Это письмо Мабель! – закричала она:—я боюсь сжечь его; оно принадлежитъ Мабель.

Но Каффинъ схватилъ ее и удержалъ дрожащія ручки, пока письмо Гольройда не превратилось въ пепелъ.

— Поздно, Долли! — сказалъ онъ, съ торжествующей нотой въ голосѣ.

Долли бросилась въ кресла и зарыдала въ припадкѣ жгучаго раскаянія.

— О! къ чему я это сдѣлала! къ чему вы заставили меня это сдѣлать, Гарольдъ!

— Вотъ это мнѣ нравится, — сказалъ Каффинъ, рѣшившій разъ навсегда положить этому конецъ.—Я ничего ровно не заставилъ тебя сдѣлать, все было сдѣлано, прежде, чѣмъ я вошелъ. Я думалъ, что ты будешь рада отдѣлаться отъ письма такимъ способомъ, но ты сожгла его по собственному побужденію, помни это!

— Полчаса тому назадъ я была хорошая дѣвочка,—стонала Долли,—а теперь я дурная дѣвочка... воровка! Никто меня больше знать не захочетъ, меня посадятъ въ тюрьму.

— Не говори пустяковъ,—встревожился Каффинъ, не ожидавшій, что ребенокъ способенъ принимать такъ близко къ сердцу такія вещи.—И пожалуйста не плачь, рѣшительно не о чемъ тебѣ плакать... ты вполнѣ безопасна, пока сама не проболтаешься. Надѣюсь, что ты не думаешь, что я тебя выдамъ (и это дѣйствительно было въ высшей степени невѣроятно). Никто ничего не узнаетъ. И вѣдь я знаю, что ты не хотѣла сдѣлать ничего дурного. Незачѣмъ тебѣ такъ мучаться. Вѣдь это только законъ такъ строгъ. Ну, успокойся, я долженъ идти; мнѣ нельзя ждать Мабель долѣе. Но прежде ты должна улыбнуться, ну чуть-чуть, въ благодарность за то, что я выпуталъ тебя изъ бѣды.

Долли слабо улыбнулась.

— Вотъ и прекрасно; теперь я могу уйти спокойно. Ободрись и не бойся ничего. Помни, что тебѣ рѣшительно нечего бояться.

И онъ ушелъ, увѣренный, что теперь она ничего не разболтаетъ.

„Тяжеленько пришлось ей бѣдняжкѣ,—разсуждалъ онъ самъ съ собой, быстро идя по улицѣ,—но она вскорѣ все это забудетъ, у дѣтей память воротка. И что же могъ я иначе сдѣлать? Нѣтъ, я радъ, что во-время заглянулъ туда. Нашъ воскресшій другъ не напишетъ еще раньше мѣсяца или двухъ... а тогда будетъ уже поздно. И если это обстоятельство когда-нибудь обнаружится (чего я не думаю), то я ничего не сдѣлалъ такого, къ чему можно было бы придраться. Это я все очень ловко устроилъ. Надо будетъ какъ можно скорѣе переговорить съ Мабель; откладывать въ долгій ящикъ безполезно".

Но дѣйствительно ли Долли такъ скоро позабудетъ? Она не любила Гарольда Каффина, но ей и въ голову не приходило, что онъ налгалъ всѣ тѣ ужасныя вещи, которыя ей сообщилъ. Она твердо вѣрила, что сдѣлала нѣчто такое, что, если будетъ обнаружено, то лишитъ ея родительскаго крова, симпатіи и любви. Она, до сихъ поръ не испытавшая въ своей счастливой, невинной жизни серьезнаго горя въ продолженіе пяти минутъ сряду, повѣрила, что виновна и должна скрывать преступную тайну!

Быть можетъ, еслибы Каффинъ способенъ былъ понять, какимъ смертельнымъ ядомъ отравилъ онъ умъ бѣднаго ребенка, то смягчилъ бы нѣсколько свои ядовитые намеки (конечно, въ томъ только случаѣ еслибы это не помѣшало ему достигнуть своей главной цѣли), и вотъ все, что можно сказать въ его пользу. Но какъ бы то ни было, онъ видѣлъ, что необходимо произвести возможно сильное впечатлѣніе въ данную минуту, и не сомнѣвался, что она такъ же скоро забудетъ его слова, какъ и онъ самъ.

Но если и была необдуманность въ его злomъ поступкѣ, то она происходила отъ безсердечія.

XVII.

Перемѣна фронта.

— Ну что, Дженъ,—говорилъ м-ръ Лайтовлеръ однажды вечеромъ, когда самъ пригласилъ себя обѣдать и ночевать въ домѣ на Малаховой террасѣ,—не слышала ли ты чего про нашего великаго молодого человѣка?

Аппберны, за исключеніемъ Трикси, оставались упорно равнодушны къ знаменитости, внезапно пріобрѣтенной Маркомъ; имъ не приходило въ голову, чтобы на томъ пути, который онъ избралъ, можно было стать знаменитымъ. Быть можетъ, многіе изъ

родственниковъ Магомета сожалѣли о томъ, что онъ бросилъ свои занятія вожака каравановъ (которыя шли у него блистательно) для неблагодарной и невыгодной карьеры пророка.

Трикси, разумѣется, съ наслажденіемъ слѣдила за литературной карьерой брата. Она купила его книгу, такъ какъ онъ не догадался подарить ей, и усердно читала и собирала всѣ критическія статьи въ журналахъ и газетахъ и старалась изо всѣхъ силъ убѣдить Марту прочитать книгу.

Марта холодно отказалась. У ней была суровая, лишенная воображенія натура матери и она неохотно читала романы. Кромѣ того, высказавшись съ самаго начала противъ Марка, она не хотѣла скомпрометировать своего достоинства, выразивъ теперь интересъ къ его произведенію. Кутбертъ прочиталъ книгу, но потихоньку и такъ какъ не бранилъ ее, то можно предположить, что не нашелъ въ ней ничего особенно худого. Миссисъ Ашбернъ способна была бы, узнавъ, что книга находится въ домѣ, приказать удалить ее во избѣжаніе соблазна, а супругъ ея, каково бы ни было его мнѣніе, не выражалъ ни интереса, ни любопытства относительно этого предмета.

Такимъ образомъ, на вопросъ м-ра Лайтовлера, сдѣланный больше для того, чтобы облегчить собственныя взволнованныя чувства, нежели изъ желанія получить требуемыя свѣденія, миссисъ Ашбернъ отвѣчала, дѣлая самое холодное и кислое лицо:

— Нѣтъ, Соломонъ, Маркъ самъ избралъ свою дорогу и мы не ожидаемъ и не желаемъ отъ него извѣстій. Быть можетъ, въ эту самую минуту онъ жестоко оплакиваетъ собственное безуміе и непослушаніе.

На это Кутбертъ замѣтилъ, что это довольно вѣроятно, а м-ръ Ашбернъ рѣшился спросить:

— Я... я полагаю что онъ не писалъ и не былъ у тебя, Соломонъ?

— Нѣтъ, Матью. Желалъ бы я поглядѣть, какъ бы онъ ко мнѣ пріѣхалъ. Я бы его съ лѣстницы спустилъ, ручаюсь вамъ. Нѣтъ, говорю вамъ, какъ и ему сказалъ, я покончилъ съ нимъ навсегда. Когда молодой человѣкъ отплачиваетъ черной неблагодарностью за тѣ деньги, которыя на него потрачены, то я умываю руки, рѣшительно умываю руки. Еслибы онъ занялся законовѣденіемъ, я бы обезпечилъ его до тѣхъ поръ, пока онъ не пробилъ бы себѣ дорогу въ жизни. Но онъ предпочелъ быть писакой и умереть на чердакѣ, что не замедлитъ случиться. И вотъ чего я добился, желая помочь племяннику. Ну что-жъ, это послужитъ мнѣ урокомъ на будущее время. Молодые люди стали

совсѣмъ другіе, чѣмъ были въ мое время: лѣнивые и самолюбивые эгоисты, и ничего больше.

— Не всѣ, Соломонъ, — замѣтила его сестра. - Я увѣрена, что есть такіе молодые люди, которые... Кутбертъ, сколько часовъ ты проводишь въ конторѣ послѣ положеннаго срока и занимаешься бухгалтеріей? И по собственной охотѣ, Соломонъ. И его никогда никто не ободритъ и не похвалитъ бѣднаго мальчика!

Миссисъ Ашбернъ питала тайную надежду, что ея братъ пойметъ, наконецъ, что въ ея семьѣ не одинъ только Маркъ, но должна была убѣдиться, что пока мечты ея напрасны.

— О! — произнесъ ея братъ, презрительно мотнувъ головой: — я ничего противъ него не имѣю. Онъ трудолюбивъ. Да и довольно одного безпутнаго малаго въ семьѣ, говорю по совѣсти. Ахъ, Дженъ, если когда-нибудь человѣкъ любилъ мальчишку, то это я его брата Марка; веселый, красивый, умный былъ онъ мальчикъ. Дамъ-ка я ему образованіе, пошлю въ университетъ, думалъ я, и онъ сдѣлаетъ мнѣ честь. И вотъ, однако, что изъ этого вышло!

— Очень, очень печально для всѣхъ насъ,—вздохнула миссисъ Ашбернъ.

Тутъ Трикси, слушавшая съ раскраснѣвшимися щеками и дрожащими губами, не выдержала.

— Вы толкуете про Марка, вы всѣ и дядя Соломонъ, — сказала она, съ негодованіемъ оглядывая ихъ,—такъ, какъ будто бы Маркъ насъ всѣхъ осрамилъ! Вы, кажется, воображаете, что онъ умираетъ съ голоду на чердакѣ, въ полной неизвѣстности. А это все неправда... онъ уже сталъ знаменитъ, хотите вѣрьте, хотите нѣтъ. Вы бы должны были имъ гордиться.

— Беатриса, ты забываешься, — объявила мать, и еще при дядѣ.

— Что-жъ дѣлать, мамаша, за Марка некому вступиться, кромѣ меня. И я вамъ говорю истинную правду. Въ рисовальной школѣ, куда я хожу, много говорятъ про книги и литературу и всѣ очень хвалятъ книгу Марка. И пожалуйста не бойтесь, дядюшка, что онъ безъ денегъ. Мнѣ говорили, что Маркъ получитъ много денегъ за свои книги, что онъ можетъ разбогатѣть, и все своимъ перомъ. И никто не думаетъ худо о немъ изъ-за этого, кромѣ васъ. Я покажу вамъ, что въ газетахъ про него написано. И даже вашъ журналъ, мамаша, „Еженедѣльный Хоривъ“ напечаталъ большую хвалебную статью о книгѣ Марка. Значитъ, она не можетъ быть такъ дурна.

И Трикси стремительно выбѣжала изъ комнаты, оставивъ всѣхъ

въ большомъ смущеніи, въ особенности дядюшку Соломона, который уставился глазами въ пространство, стараясь усвоить новую для него мысль о литературной карьерѣ, только-что имъ услышанную.

Миссисъ Ашбернъ пробормотала что-то о томъ, что Трикси всегда была упряма и своевольна, но даже и она была поражена неожиданнымъ свидѣтельствомъ своего любимаго оракула, „Хорива".

— Вотъ, дядюшка, поглядите,—вернулась Трикси съ книгой въ рукахъ, — вотъ прочтите, что тутъ сказано.

— Я не хочу читать этого,—сердито оттолкнулъ онъ книгу,—какое мнѣ дѣло до того, что они тутъ пишутъ. Всѣ писаки, разумѣется, стоятъ другъ за друга.

Но слушалъ съ тупымъ удивленіемъ въ глазахъ и глухимъ рычаніемъ по временамъ, какъ она читала отрывки изъ журнальныхъ критикъ. И мало-по-малу довольная улыбка появилась на его лицѣ.

— А гдѣ можно достать эту удивительную книгу?—спросилъ онъ наконецъ.

— Что, дядюшка Соломонъ, вы все еще думаете, что Маркъ васъ осрамилъ?—возразила торжествующая Трикси.

— Хвала людей имѣетъ мало значенія въ нашихъ глазахъ, —отвѣтила миссисъ Ашбернъ.—Твой дядя и я судимъ о поведеніи Марка съ христіанской точки зрѣнія.

— Послушай-ка, сестра,—накинулся на нее вдругъ дядюшка Соломонъ, нахмуривая брови:—я желалъ бы знать, что ты имѣешь противъ Марка?

— Что я имѣю противъ него? — повторила его сестра съ удивленіемъ.

— Да, я желалъ бы знать, отчего вы всѣ такъ противъ него вооружены?

— Я думаю, ты самъ очень хорошо знаешь? Во-первыхъ. за его неблагодарность къ тебѣ, послѣ всего, что ты для него сдѣлалъ.

— Пожалуйста, оставьте меня въ покоѣ! Я вовсе не прошу васъ вступаться за себя, я самъ съумѣю за себя постоять. Я желаю знать, что онъ вамъ сдѣлалъ? Въ чемъ ты обвиняешь его, Матью?

Бѣдный м-ръ Ашбернъ былъ совсѣмъ сраженъ такимъ неожиданнымъ вопросомъ.

— Я... о!.. я... Дженъ очень строгихъ правилъ на этотъ счетъ, какъ тебѣ извѣстно, братъ Соломонъ, а я... ну и я такіе, —заключилъ онъ чуть слышно.

— Гмъ!—пробормоталъ м-ръ Лайтовлеръ, обращаясь къ сестрѣ:—ну такъ ты, Дженъ, скажи мнѣ, наконецъ, что̀ такое сдѣлалъ Маркъ? обокралъ церковь или поддѣлалъ вексель?

— Если ты хочешь, чтобы я повторила тебѣ то, что̀ ты прекрасно знаешь, то изволь: онъ, наперекоръ моимъ мнѣніямъ, сдѣлалъ то, чего я не одобряю: написалъ легкомысленный романъ.

— Ну знаешь ли, что̀ я тебѣ скажу, Дженъ, это все только твоя ограниченность и односторонность—я говорю съ тобой какъ братъ. Предположимъ, что онъ написалъ, какъ ты говоришь, легкомысленный романъ; что-жъ тутъ дурного?

— Мы съ тобой такъ были съ дѣтства воспитаны, Соломонъ, что меня удивляетъ твой вопросъ. Ты хорошо знаешь, какъ въ нашей молодости смотрѣли на чтеніе романовъ, ужъ не говорю о сочиненіи ихъ. И у меня сердце болитъ при мысли, что мой сынъ содѣйствуетъ развращенію молодежи.

— Вотъ вздоръ какой!—закричалъ м-ръ Лайтовлеръ.—Въ нашей молодости, какъ ты говоришь, мы не ходили въ театръ и читали только набожныя и нравоучительныя книги. Да и скучища же это была, скажу я вамъ! Я теперь не читаю романовъ, потому что у меня и безъ того много дѣла. Но съ тѣхъ поръ міръ пошелъ впередъ, Дженъ. Всѣ наши прихожане читаютъ романы. Почему ты воображаешь, что ты умнѣе ихъ? А между тѣмъ, ты взяла да и выгнала мальчишку изъ дому, и даже не посовѣтовавшись со мной. А кажется, меня можно было бы спросить!

— Ну, Соломонъ,—отвѣчала миссисъ Ашбернъ, пыхтя, что̀ у нея было признакомъ величайшаго волненія,—этого я отъ тебя не ожидала; и ты былъ такъ же сердитъ на Марка, какъ и всѣ мы.

— Потому что я тогда не зналъ всего. Потому что никто мнѣ не потрудился объяснить. Я думалъ, что Маркъ меня осрамитъ, а онъ, вмѣсто того, дѣлаетъ мнѣ честь. А вѣдь мнѣ этого-то и нужно.

Тутъ Трикси не выдержала и въ восторгѣ обняла дядю и жарко его поцѣловала.

— Милый дядюшка, вы, значитъ, не думаете больше, что Маркъ осрамилъ васъ.

Дядюшка Соломонъ самодовольно оглядѣлся вокругъ.

— У меня нѣтъ ограниченности и односторонности въ умѣ, моя милая Трикси. Я прочитаю его книгу и если она мнѣ понравится, я ему дамъ знать, что онъ можетъ на меня разсчитывать, какъ на дядю, который ему поможетъ въ случаѣ нужды.

Больше я пока ничего не скажу. Но я думаю, Дженъ, что мы были слишкомъ жестоки съ Маркомъ. Нельзя же всѣмъ быть такими исключительными баптистами, какъ ты.

— Я радъ, что ты это говоришь, Соломонъ,—пролепеталъ м-ръ Ашбернъ,—потому что я то же самое говорилъ Дженъ (если ты припомнишь, моя душа), но у нея свои опредѣленныя на этотъ счетъ мнѣнія и она со мной не согласилась.

Злополучная Дженъ, видя, что всѣ на нее обрушились, и въ душѣ довольная, быть можетъ, тѣмъ, что можетъ простить сына, тѣмъ болѣе, что „Еженедѣльный Хоривъ“ похвалилъ его книгу, объявила:

— Я тоже была введена въ заблужденіе, я думала, что Маркъ написалъ какую-нибудь пошлую и суетную любовную исторію. Но я готова сознаться въ своей ошибкѣ, и если Маркъ пожелаетъ ко мнѣ переѣхать...

Но м-ръ Лайтовлеръ желалъ сохранить за собою монополію великодушія.

— Слишкомъ поздно, Дженъ,—сказалъ онъ.—Маркъ не переѣдетъ къ тебѣ, послѣ того какъ ты такъ дурно обошлась съ нимъ. Ты сама такъ устроила и теперь оставайся при своемъ. Но пока я живъ, я не допущу, чтобы онъ отъ этого пострадалъ, да и послѣ моей смерти также. Я всегда относился къ нему какъ къ сыну. Не такъ, какъ ты.

И, уходя спать, онъ оставилъ всю семью, за исключеніемъ Трикси, въ печальныхъ размышленіяхъ о томъ, что они лишили себя всякаго права радоваться и гордиться успѣхами Марка и что пропасть, образовавшаяся между ними, слишкомъ велика, чтобы ее можно было сравнять.

А. Э.

РАЗБОРЪ ПОСЛѢДНЯГО ТРУДА

К. Д. КАВЕЛИНА,

„Задачи этики".

(Исполненіе завѣщаннаго).

Художникъ удовлетворенъ, когда его произведеніе взволновало публику, вызвавъ общую эстетическую эмоцію. Поработавшій надъ міровыми вопросами жизни мыслитель достигъ цѣли, когда онъ, хотя бы на минуту, овладѣлъ вниманіемъ читателя, заставивъ его поразмыслить о вопросахъ и о предлагаемыхъ рѣшеніяхъ этихъ вопросовъ. Онъ удовлетворенъ даже и тогда, когда бы всѣ его предложенія были отвергнуты, коль скоро вопросъ ясно поставленъ. Раньше или позже вопросъ этотъ дождется рѣшенія. Съ такими скромными требованіями конченъ былъ 2 августа 1884 предсмертный трудъ К. Д. Кавелина, посвященный „Молодому Поколѣнію". Съ этимъ поколѣніемъ знаменитый умершій желалъ подѣлиться мыслями, сложившимися въ его головѣ въ теченіе многихъ лѣтъ и содержащими, по его убѣжденію, крупинки истины. „Пусть молодое поколѣніе,—писалъ онъ, —усвоитъ изъ моего этюда, что̀ покажется ему вѣрнымъ, а объ остальномъ пусть подумаетъ крѣпко". Письмо Кавелина изъ с. Иванова отъ 25 іюня 1884 („Вѣстн. Евр.", іюнь, 1885) удостовѣряетъ, что̀ онъ четыре раза брался за этотъ трудъ и бросалъ написанное, а о предметѣ думалъ послѣдніе двѣнадцать лѣтъ (1873—1885); что онъ помѣстилъ въ книгѣ все главное и существенное, что̀ могъ сказать современникамъ, что онъ радовался какъ ребенокъ,

что, бывъ изложены литературно, мысли его не пропадутъ. Онъ опасался той нашей лѣни умственной, отъ которой мы толчемся на одномъ мѣстѣ, не двигаясь. Онъ опасался, что его книгу прочтутъ, слегка похвалятъ и положатъ, что она забудется, не задѣнетъ никого за нутро, не вызоветъ критики и тѣхъ опроверженій, которыя перекрестнымъ огнемъ встрѣчаютъ всякое новшество въ вопросахъ міровыхъ и общедоступныхъ, каковы вопросы этики и вообще жизни практической. Я ему предлагалъ по выходѣ каждой изъ трехъ книжекъ „Вѣстн. Евр.“, въ коихъ помѣщались „Задачи Этики“, мои посильныя замѣчанія и опроверженія. Не разбирая ихъ, Константинъ Дмитріевичъ прямо потребовалъ, чтобы я мои замѣчанія напечаталъ. Повтореніемъ этого вызова я былъ почтенъ за недѣлю до послѣдней болѣзни и за двѣ до оплакиваемой нами кончины. Приступая къ исполненію, по мѣрѣ силъ моихъ, долга моего по отношенію къ памяти умершаго, я считаю необходимымъ предварить читателя, что мой разборъ былъ бы недостоинъ памяти К. Д. Кавелина, еслибы онъ не былъ написанъ съ полнѣйшею откровенностью, еслибы онъ имѣлъ видъ похвальнаго слова, а не опроверженія послѣдняго труда Кавелина, еслибы я забылъ правило: amicus Plato, magis amica veritas, еслибы я понизилъ сколько-нибудь тонъ защиты моихъ мнѣній, прямо противныхъ его мнѣніямъ, а такихъ спорныхъ пунктовъ будетъ весьма много. Только горячимъ отстаиваніемъ того, что я считалъ истиною, могу я почтить такого поборника и искателя истины, какимъ былъ привлекательный и вліятельный авторъ „Задачъ Этики“, воплощавшій въ своихъ дѣйствіяхъ субъективные этическіе идеалы и преданный имъ безпредѣльно до самаго конца. Въ моихъ глазахъ разборъ этой по объему малой, но весьма содержательной книги представляетъ еще и тотъ особый интересъ, что сама книга есть превосходный матеріалъ для нѣсколькихъ страницъ будущаго жизнеописанія одного изъ самыхъ крупныхъ русскихъ дѣятелей XIX вѣка.

I.

Этика есть ученіе о нравственности (писатель XVIII вѣка, сказалъ бы: о добродѣтели), о томъ, чего долженъ желать человѣкъ, въ чемъ долженъ онъ искать того вѣчно-ускользающаго отъ него удовлетворенія, которое обозначается крайне общимъ и туманнымъ словомъ: счастіе. Нельзя сказать, чтобы опредѣленіе этики у К. было ясное и точное. На 75 стр. онъ утверждаетъ, что эти-

ческая точка зрѣнія не противорѣчитъ научной, изъ чего слѣдуетъ, что бываетъ этика и ненаучная. Она дѣйствительно есть; такова этика религіозная. К. только потому и предлагаетъ въ своей этикѣ путь болѣе трудный и тернистый, нежели въ вѣроученіи, что бываютъ люди, у которыхъ нѣтъ вѣры и которымъ никакія земныя силы ее не внушатъ (72). Итакъ, этика этикѣ рознь. Предлагаемая Кавелинымъ этика есть научная (72), составляющая особую отрасль знанія (83). Всякая наука (въ томъ числѣ и этика) есть произведеніе ума, раалагающаго понятія, выработанныя изъ ощущеній и впечатлѣній, на составные мысленные элементы и дающаго результатамъ этой переработки своеобразную группировку (16), причемъ продуктъ знанія отсѣкается отъ своихъ первоначальныхъ живыхъ корней, изъ этого продукта исключается все личное, конкретное. За этимъ исключеніемъ въ знаніи остаются только обезцвѣченныя обобщенія, сведенныя въ своей совокупности въ одинъ міръ идейный, совсѣмъ отличный отъ дѣйствительнаго и даже на него не похожій. Міръ этотъ въ извѣстномъ отношеніи даже и лучше дѣйствительнаго, потому что происходящія въ немъ сочетанія занесенныхъ извнѣ чрезъ впечатлѣнія элементовъ, иногда гораздо болѣе удовлетворяютъ человѣка, нежели дѣйствительная жизнь; притомъ эти сочетанія способны превратиться въ руководящіе идеалы внѣшней дѣятельности, а, слѣдовательно, способны преобразовать самую дѣйствительность сообразно требованіямъ ума. По вѣрному замѣчанію К. (46), теоретическое знаніе, т.-е. наука, не имѣетъ никакихъ иныхъ цѣлей, кромѣ критическаго установленія фактовъ и открытія ихъ условій и законовъ. Значитъ, наука можетъ имѣть свою область, свой предметъ, но не свои спеціальныя практическія задачи. Если этика – наука, то не вѣрно, будто бы ея задача— регулировать жизнь человѣка, подчинять ее нормамъ (15); невѣрно, якобы этика имѣетъ задачею дать душевнымъ движеніямъ направленіе, опредѣляемое субъективными идеалами (92). „Идеаловъ,— говоритъ К.,—собственно нѣтъ и быть не можетъ въ области теоретическаго знанія“ (46), слѣдовательно, они являются за гранью теоретическаго знанія въ области прикладного знанія, т.-е. не науки, а искусства. Это признаетъ К. и предлагаетъ (81) раздѣлить этику на двѣ части: 1) этика-наука—опредѣленіе условій и законовъ нравственности, и 2) этика прикладная или этика-искусство, введеніе нравственности въ житейскій обиходъ. По его же словамъ, этика-наука доводитъ насъ только до порога дѣйствительной жизни, но еще не создаетъ добраго, нравственнаго человѣка. При такомъ дѣленіи слѣдовало

заняться либо наукою, либо искусствомъ, либо обоими. Кавелинъ задачъ прикладной этики вовсе не касается (они возможны однако въ смыслѣ казуистики); онъ же учитъ, какъ осуществлять идейныя нравственныя комбинаціи, онъ не переступаетъ порога дѣйствительной жизни, онъ занятъ исключительно началами и основаніями нравственности, иными словами—законами и условіями нравственности. Онъ обходится съ этикою какъ съ наукою, имѣющею особое мѣсто въ системѣ знанія. Прежде чѣмъ я перейду къ оцѣнкѣ мыслей К. по этой части, я долженъ замѣтить, что тѣ „основанія" этики, которыя онъ назвалъ „задачами", не поставлены на настоящей научной почвѣ, не доказаны и висятъ на воздухѣ. Наука есть произведеніе ума, который служитъ прекраснымъ проводникомъ, но только въ ограниченномъ пространствѣ. Есть предметы, обрѣтающіеся внѣ предѣловъ знанія; есть неразрѣшимые умомъ вопросы. Опытная психологія считаетъ несомнѣннымъ существованіе безсознательныхъ психическихъ процессовъ, такъ что сознательная дѣятельность является только освѣщенною вершиною дерева психической жизни, стволъ котораго въ тѣни, а корни пребываютъ въ непроглядной темнотѣ. Нашъ умъ не есть первичное событіе въ психической жизни, раньше его были ощущенія, рефлексы, эмоціи, волевыя движенія; нашъ умъ—не начальствующая способность души, словомъ, онъ весьма ограниченъ. К. отказывается признать, что онъ ограниченъ (87), но вмѣстѣ съ тѣмъ констатируетъ непререкаемыми доказательствами его ограниченность: „умъ не схватываетъ индивидуальности, чувства, перехода объективнаго въ субъективное; умъ просвѣтляетъ ощущеніе, подымаетъ его, дѣлаетъ тонкимъ, но замѣнить его своими комбинаціями не можетъ; умъ не выходитъ изъ условій своей дѣятельности: анализа, сравненія и частичнаго синтеза". Какова бы ни была однако ограниченность ума, если этика—наука, то она можетъ быть выстроена только средствами того же ума, который прежде, чѣмъ выведетъ любое положеніе, долженъ его доказать. Прежнія системы этики задавались прежде всего выводомъ идеи долга, какъ факта, присущаго совѣсти человѣка, и опредѣленіемъ санкціи долга, т.-е. роковыхъ дурныхъ послѣдствій его нарушенія, обезпечивающихъ его исполненіе у большинства людей. Основаніе идеи долга усматриваемо было либо въ авторитетномъ приказаніи свыше, либо въ категорическомъ императивѣ, т.-е. въ безотчетномъ, немогущемъ быть доказаннымъ требованіи ума, либо въ разсчетахъ прямой пользы личной или коллективной отъ добродѣтели и отъ самаго страданія. Въ послѣднее время сказывается наклонность упразднить долгъ въ

смыслѣ какого-то почти внѣшняго на душу нажима и объяснить его какъ непреодолимое влеченіе достигшей извѣстнаго совершенства природы человѣческой, творящей добро ради самого добра безъ всякихъ иныхъ мотивовъ (H. Spencer, Data of ethics, 1879; Guyot, Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, Paris. 1885). Съ легкой руки Дарвина и Спенсера понятія, казавшіяся неразлагаемыми и простыми, являются крайне сложными отложеніями, которыя готовились въ теченіе сотенъ вѣковъ и имѣли свои превращенія и фазисы развитія. Производятся усиленныя разысканія физіологическихъ основаній такихъ идей—чувствъ, какими являются добро и красота. Сверленіе производится одновременно съ двухъ концовъ и есть основательныя надежды думать, что когда-нибудь, хотя еще не скоро, будетъ пробитъ тоннель и установлено полное тождество физическихъ и психическихъ отправленій, въ сравненіи съ каковымъ проходомъ будетъ считаться сущею бездѣлицею тотъ, которымъ пробуравлена громада горы С.-Готардъ. Психо-физіологическими изысканіями К. не занимался. Онъ не эволюціонистъ; онъ располагаетъ только старинным методомъ самонаблюденія, но онъ не занимается также ни выводомъ, ни опроверженіемъ идеи долга и его санкціи. Объявивъ, что умъ неспособенъ постигать личное, К. полагаетъ, что единеніе силамъ или цѣльность жизни придаетъ не умъ, а непосредственное ощущеніе дѣйствительности, которое и составляетъ настоящую почву и для этической жизни, и для религіознаго міросозерцанія (87). Съ основною мыслью этого отрывка я согласенъ, но съ извѣстными оговорками. Преподаваніе правилъ плаванія не сдѣлаетъ человѣка искуснымъ пловцомъ, если у него нѣтъ, во-первыхъ, желанія плавать и, во-вторыхъ, навыка плавать, доведеннаго до того, что плаваніе совершается автоматически. И преподаватель этики, и фанатическій блюститель религіозной обрядности могутъ быть дурными, жестокими и безсердечными людьми, даже любуясь красотою нравственности, даже сантиментальничая и предаваясь сладкимъ мечтамъ объ идиллическомъ счастіи людей. По древнему преданію крокодилъ проливаетъ слезы, пожирая жертву, то-есть, онъ сочувствуетъ ей эстетически, что ему не мѣшаетъ относиться къ ней крайне не-этически. Оставимъ пока въ сторонѣ подобныя уродства, которыя вообще—только исключенія изъ общаго правила объ обыкновенномъ и естественномъ превращеніи идеи въ эмоцію и дѣйствіе. Допустимъ съ К., что уму непостижимо индивидуальное и что, слѣдовательно, онъ никогда не разгадаетъ, какъ превращается общая идея добра—предметъ науки этики—въ нравственный идеалъ

добра — предметъ искусства этики, иными словами, какъ къ сознанному добру привходитъ желаніе поставить его цѣлью стремленій и осуществить. Во всякомъ случаѣ и при всей необъяснимости превращенія К. различаетъ идею и идеалъ, какъ два настроенія сознанія, занятаго однимъ и тѣмъ же предметомъ. На стр. 51 онъ упрекаетъ русскихъ за частое смѣшиваніе идеи и идеала. Идея, по его словамъ, есть предметъ созерцанія, сопровождаемаго ощущеніями и чувствами, а идеалъ—то же, что цѣль; идеалъ—проводникъ между мыслью и дѣйствительностью, идеалъ—камертонъ дѣятельности, спрягающій во-едино мотивы и дающій имъ одно общее направленіе (50). При такомъ отнесеніи идеала въ этику—искусство и при сознаніи различія между идеею и ея проводникомъ, автору надлежало начать съ первичнаго и затѣмъ перейти къ производному, дать понятіе объ идеяхъ, какъ предметахъ созерцанія, и затѣмъ уже объяснить идеалы, ихъ проводники. Если онъ—психологъ стараго покроя, то онъ долженъ бы изучить идею подъ микроскопомъ абстракціи или созерцанія, дать ея формулу, какъ то дѣлали бывшіе метафизики, и развить потомъ эту идею путемъ дедукціи. Онъ ничего подобнаго не дѣлаетъ, но онъ не слѣдуетъ и за эволюціонистами, не пытается искать корешковъ этики въ біологіи, не слѣдитъ за зарожденіемъ нравственныхъ понятій, за ихъ развитіемъ въ настоящемъ и не заключаетъ о ихъ будущемъ. Раздѣливъ идеалы на объективные и субъективные (53), К. даетъ новое опредѣленіе этикѣ, называя ее ученіемъ о субъективныхъ идеалахъ, послѣ чего внезапно, какъ deus ex machina, выводятся имъ на показъ неизвѣстно откуда происходящіе и какъ бы произвольно народившіеся субъективные или нравственные идеалы. Человѣкъ! ты долженъ быть воздержанъ и умѣренъ (56), скроменъ и простъ (61), довѣрчивъ къ жизни и покоенъ; ты долженъ любить вообще людей и притомъ любить въ каждомъ не то, чѣмъ сей послѣдній есть въ дѣйствительности, но то, чѣмъ онъ могъ бы и долженъ бы быть въ качествѣ человѣка. Всѣ эти правила прекрасны, писать бы ихъ золотыми буквами, но они не связны, не полны, а главное, неизвѣстно на чемъ основаны. Они несомнѣнно субъективны и заслуживаютъ полнаго уваженія, какъ выводъ, сдѣланный весьма добродѣтельнымъ человѣкомъ изъ всей его практической жизни и дѣятельности; но снабдите только этимъ запасомъ чисто субъективныхъ данныхъ человѣка, извѣрившагося и неудовлетворяемаго религіозною этикою, и я увѣренъ, что снабженный липнетъ будетъ возможности вступить въ споръ съ поборниками религіознаго міросозерцанія. Предлагая идеалы, К. не выяснилъ нисколько, почему

нравственный человѣкъ долженъ извѣстнымъ образомъ чувствовать и поступать. Таково мое первое возраженіе противъ книги К.; хотя оно формальнаго свойства, но немаловажное: не научная постановка вопроса, обходъ понятія: должень; почему человѣкъ долженъ? или, по крайней мѣрѣ, почему считаетъ человѣкъ, что онъ что-либо долженъ сдѣлать? Прежде чѣмъ перейду къ разбору мыслей, на которыя наводитъ Кавелина обличаемый имъ кризисъ въ нравственности, считаю удобнымъ покончить за разъ и съ другимъ еще чисто формальнымъ возраженіемъ и указать на то, что разсуждая и о психологіи и объ этикѣ, К. не отвелъ этикѣ подобающаго ей мѣста въ системѣ знаній и не установилъ ея отношенія къ психологіи, что̀ ведетъ къ разнымъ недоразумѣніямъ и сбивчивости въ выводахъ.

II.

Я раздѣляю взглядъ Кавелина (34) о томъ, что этику втадкивали изъ поконъ вѣка по недоразумѣнію въ философію, съ которою она не имѣетъ ничего общаго, но что несомнѣнно также, что этическія ученія вліяли на образованіе философскихъ системъ. Между занимавшимися міровыми вопросами всегда замѣтны были, по части взглядовъ на мораль, два противоположныя теченія неравной величины. Между изслѣдователями были нѣкоторые, правда, немногіе (единицы или по крайней мѣрѣ только сотни среди милліоновъ), которые, задаваясь исключительно изслѣдованіемъ начала вещей и причинъ явленій, относились къ фактамъ морали безсердечно и превращали этику въ своего рода экспериментацію. Извѣстна характерная фраза Тэна: „Есть причины добродѣтели, какъ и причины пищеваренія и животной теплоты. Порокъ и добродѣтель—такіе же продукты, какъ сѣрная кислота или сахаръ“. Если для наблюдателя его *я* исчезло въ природѣ, то онъ удовлетворенъ уже тѣмъ, что созерцалъ громаду и проникъ лучше другихъ ея тайны. Но для огромнаго большинства людей умственныя наслажденія ученаго недоступны. Милліоны воспринимаютъ только умственную пищу уже вполнѣ готовую, будь она догматъ вѣры или новое открытіе. Ихъ не интересуетъ ни начало вещей, ни громада вселенной, а смотрятъ они только на другой конецъ, на свое *я*. Они на всѣ лады повторяютъ то, что̀ такъ хорошо выразилъ К. (28): „что я, единица среди природы, мыслю несущійся за предѣлы міра, а связанный тѣломъ и обстановкою, ничтожный рабъ, зависимый отъ случайности, которая можетъ

раздавить меня, какъ червяка?" Хотя призракъ личнаго счастія при погонѣ за нимъ всегда ускользаетъ изъ рукъ и хотя нелѣпо искать смысла личной жизни, потому что подъ микроскопомъ ума она есть только голый фактъ, а не символъ съ внутреннимъ скрытымъ смысломъ, но червячекъ-единица порою жалуется, протестуетъ и злословитъ и этотъ протестъ имѣетъ нѣкоторое значеніе и послѣдствія, потому что въ сознаніи дѣйствительность претворяется въ міръ идейный, причемъ дѣлаются сочетанія идей, представляющія не то, что существуетъ, но то, что возможно. Человѣческое *я* и будетъ осуществлять возможное, совершенствуя и себя, и обстановку, слѣдовательно, весьма существенно, чтобы это *я* не заупрямилось и не сдѣлало забастовки въ работѣ. К. правъ, когда онъ говоритъ (63): человѣческая личность есть стержень, на которомъ вертится все общество въ поступательномъ движеніи человѣка. Въ минутахъ колебанія и остановки единица сильно страдаетъ, теряетъ бодрость духа; порою, извѣрившись въ знаніе, кидается опрометью въ мистицизмъ. „Это состояніе несносное,—говоритъ Поль Буржэ (Essais de psychologie contemporaine; art. Taine, p. 207, édit. 1885),— которое кончается либо отреченіемъ отъ благороднѣйшихъ требованій души, либо признаніемъ, что наука не можетъ проникать до самаго дна вѣчно ноющаго сердца нашего. Такое признаніе равносильно воротамъ, открытымъ въ мистицизмъ"... Оставаясь безучастными къ законамъ міросданія, несмѣтныя толпы страдающихъ ловятъ каждое слово, вѣщающее имъ о томъ, что вѣчно, прочно, что добро. Они готовы вѣрить на слово каждому вѣщателю и пророку, который имъ только передаетъ, какъ удивительную тайну, ихъ собственныя эмоціи, ихъ истому и печаль. Въ этомъ отношеніи весьма знаменательны и „Исповѣдь" графа Л. Толстого и „Задачи этики" Кавелина, оба занимающіеся исканіемъ смысла жизни личной. Графъ Л. Толстой отвернулся отъ науки, его неудовлетворившей; Кавелинъ строитъ свою этику, какъ науку, отводя ей какую-то смежную съ психологіею область, но не опредѣляя ея отношеній къ сосѣдкѣ. „Объ,—говоритъ онъ (10),—проникаютъ въ тайны психической жизни и подходятъ къ источникамъ, гдѣ эта жизнь зарождается". Еще недавно этику включали въ философію; послѣ паденія философіи, основанной на самодержавіи ума въ области души, отъ нея отложились опытныя науки, которыя создали опытную психологію, выросшую на нашихъ глазахъ и получившую громаднѣйшій объемъ. Въ ближайшемъ будущемъ эта психологія должна преобразовать по своимъ началамъ всю область права и всю соціологію. По схемѣ новѣйшей индуктив-

ной философіи соціологія и будетъ заключительнымъ и послѣднимъ звеномъ въ цѣпи знанія. Все научное знаніе только и дѣлится въ сущности на двѣ части: на естествознаніе, посвященное движеніямъ вещества, отъ звѣздъ и колебаній эѳира до жизненныхъ физіологическихъ явленій въ мірѣ животныхъ, и на психологію, посвященную тоже движеніямъ, но отмѣчаемымъ только сознаніемъ, измѣненіями состояній сознанія, изъ которыхъ въ каждомъ происходитъ сочетаніе элементовъ мышленія, эмоціи и воли. Правовыя и соціальныя науки являются только привѣсками къ психологіи; онѣ посвящены тѣмъ приспособленіямъ и снарядамъ, которыми достигается возможно полное и богатое развитіе психической жизни въ цѣлыхъ собраніяхъ единицъ, въ народныхъ и государственныхъ массахъ. Быстро и непомѣрно разростаясь, психологія поглотила множество наукъ, считавшихся самостоятельными, въ томъ числѣ эстетику и этику. Въ природѣ нѣтъ ни красоты, ни нравственности, это произведенія идейнаго лишь міра, это только обобщенія не самыхъ чувственныхъ отъ внѣшняго міра ощущеній, но душевныхъ, чисто личныхъ эмоцій, вызываемыхъ впечатлѣніями внѣшняго міра. Опытная психологія помѣщаетъ эти обобщенныя эмоціи въ отдѣлѣ чувствованій, въ которомъ особыя главы отведены чувствамъ: эстетическому, этическому, религіозному. Въ каждой изъ этихъ главъ разыскиваются законы причинъ, вслѣдствіе которыхъ явленія дѣйствительности волнуютъ насъ извѣстнымъ образомъ пріятно или непріятно, какъ честность или порокъ, какъ грандіозность, грація, комизмъ или просто красота. Дальше того наука не идетъ, но за ея рубежомъ имѣются практическія искусства, преподающія практическіе совѣты для творчества по началамъ науки.

Этику, какъ искусство, можно бы подраздѣлить на этическую педагогику или выработку характеровъ и этическую политику или воплощеніе этическихъ идеаловъ въ правовыхъ и общественныхъ учрежденіяхъ. Эта часть этики со временемъ займетъ мѣсто нынѣшней философіи права. Я утверждаю, что если разложить по этой схемѣ все содержаніе книги К., то большая часть ея отойдетъ въ опытную психологію, а все остальное помѣстится въ этической педагогикѣ. Кавелинъ не признаетъ вовсе этической политики, такъ какъ по его понятіямъ этика преподаетъ только субъективно-личные, а не объективно-коллективные идеалы нравственнаго добра. Послѣ этой раскладки на выстройку этики, какъ особаго зданія, не останется уже ни одного кирпича.—Наибольшее количество матеріала должно быть отнесено, конечно, въ область психологіи какъ науки. У самаго порога своей этики К. и по-

мѣстилъ самое крупное свое заимствованіе изъ психологіи въ видѣ предварительнаго вопроса о свободѣ воли. Этотъ вопросъ—чисто метафизическій, одинъ изъ тѣхъ, которые индуктивная философія старается всячески оставить за штатомъ, что она дѣлаетъ со всѣми вообще вопросами нерѣшимыми, а потому и праздными по ея понятіямъ. Очень можетъ быть, что этотъ вопросъ и будетъ упраздненъ въ наукѣ; въ этомъ направленіи высказался А. Бэнъ (Emotions and Will), отрекающійся отъ вопроса о свободѣ воли, въ которомъ онъ видитъ отрыжку средневѣковой схоластики. При разложеніи данныхъ психологіи на ихъ первичные элементы, понятіе о свободѣ воли теряетъ свое прежнее значеніе и даже отчасти и самый свой смыслъ. Книга К. передаетъ только въ сжатомъ пересказѣ результаты литературнаго диспута его съ г. Сѣченовымъ (Кавелинъ, Задачи психологіи. 1872; Сѣченовъ, Психологическіе этюды. 1873). Нельзя сказать, чтобы новая редакція была удовлетворительна. Она состоитъ изъ уступокъ детерминизму, дѣлаемыхъ одною рукою и взятыхъ назадъ другою. Въ сущности К., какъ я думаю, правъ, но аргументація его неубѣдительна, что и постараюсь доказать.

III.

Все въ мірѣ имѣетъ свои причины и совершается по законамъ бытія. Если есть на лицо условія явленія, то оно неминуемо послѣдуетъ, слѣдовательно, мы о немъ говоримъ, что оно необходимо. Эти основанія вполнѣ примѣнимы къ поступкамъ и образамъ дѣйствія и единицъ, и массъ, разсматриваемыхъ какъ сыпучія кучи песчинокъ и массъ уорганизованныхъ, то-есть, общественныхъ группъ. Зная характеръ человѣка, мы навѣрняка предсказываемъ, какъ онъ поступитъ въ данномъ случаѣ, и не ошибемся, если точно знаемъ и характеръ лица, и обстановку, въ которой онъ дѣйствуетъ. Въ сущности понятія: рокъ, случай, произволъ тождественны и не обозначаютъ вовсе настоящіе какіе-либо предметы. Они условныя вѣхи, которыя ставятся на пробѣлахъ знанія, они—x, y, z, алгебраическіе знаки неизвѣстныхъ величинъ. Мы многаго не знаемъ, порою насъ настигаетъ нечаемое, опрокидывающее съ хохотомъ всѣ предвидѣнія и разсчеты. Рокъ и есть олицетвореніе того нечаемаго, которое человѣкъ воображаетъ какъ нѣчто на него самого похожее, какъ олицетворенный верховный произволъ. Случай есть такой же символъ незнанія единичнымъ лицомъ многихъ явленій природы, долженствующихъ самымъ естественнымъ образомъ произойти и его коснуться.

Отъ этихъ явленій онъ могъ бы себя оградить, еслибы онъ ихъ предвидѣлъ, но онъ ихъ не предвидѣлъ. Верховенство случая въ природѣ, воспѣваемое многими философами и поэтами пессимистами (Лукрецій, Ришпэнъ), есть самоотреченіе разума отъ его дѣятельности, нарочитое напускное незнаніе. Самъ произволъ въ единичномъ лицѣ обыкновенно доказывается свидѣтельскимъ показаніемъ непосредственнаго чувства, увѣренностью въ возможности сознательнаго выбора между двумя прямо противоположными направленіями дѣйствія; но чувство можетъ также ошибаться, какъ ошибается зрѣніе человѣка, находящагося на палубѣ движущагося парохода, которому кажется, что онъ-то неподвиженъ, а бѣгутъ отъ него берега. Иное считать себя свободнымъ, а иное быть свободнымъ. Если разбирать каждое наше дѣйствіе, то большинство ихъ—это дѣйствія автоматическія, совершаемыя по навыку, безъ всякаго усилія воли и даже безъ напряженія вниманія. Меньшая часть дѣйствій произведена хотя и по волѣ, но по не встрѣчающимъ противодѣйствія мотивамъ, и только наименьшая часть родилась среди грозы, среди бури отъ столкнувшихся чувствъ и мотивовъ. Опытъ и анализъ доказываютъ, что и въ этой области бытія имѣетъ мѣсто дарвиновская теорія, то-есть, что происходитъ борьба между мотивами за существованіе, причемъ неизбѣжно беретъ верхъ тотъ изъ мотивовъ, который посильнѣе. Этотъ законъ признается Кавелинымъ (97): „борьба мотивовъ рѣшается по законамъ механики, въ преобладаніи сильныхъ надъ слабыми есть нѣчто роковое, неотразимое. Моралистъ не можетъ примириться съ такимъ исходомъ столкновенія, но тщетны усилія! противъ нихъ нѣтъ ни заклинанія, ни чаръ“. Итакъ, Кавелинъ, повидимому, рѣшительный детерминистъ. Такъ какъ онъ не даетъ пропуска этикѣ въ чисто объективную, по его понятіямъ, область права и государства, то его могутъ и не озадачивать нисколько вопросы, какъ быть общественной юстиціи безъ фикціи свободы, слѣдовательно, безъ основанія для вмѣняемости. Юстиція можетъ превосходно устроиться и при самомъ крайнемъ детерминизмѣ (теоріи новѣйшихъ итальянскихъ криминалистовъ); стоитъ лишь измѣнить слегка юридическую миѳологію и ея жаргонъ. Приручать можно и животныхъ, вся педагогика нынѣ только и заключается въ пріемахъ дрессировки людей. Если она не достигла цѣли, то остается правосудіе, котораго задача собственно упрощена, если ему не предлагаютъ доискиваться вины и отвѣшивать возмездіе на воображаемыхъ вѣсахъ, а просто требуютъ, чтобы оно опредѣлило, что такому-то волку или тигру въ образѣ человѣческомъ, неудобному или даже опасному для другихъ, будь онъ психически

здоровъ или тронутъ, слѣдуетъ обрѣзать когти, вырвать зубы или и совсѣмъ изъять его изъ общежитія.

Я уже сказалъ, что уступка Кавелина детерминизму была только кажущаяся. Несмотря на признанный роковой перевѣсъ сильнѣйшаго мотива, воля человѣка, по убѣжденію К., полусвободна. Чѣмъ развитѣе организмъ, тѣмъ менѣе похожа дѣятельность его на рефлексы, тѣмъ зависимѣе и возбужденія, и движенія отъ центральнаго психическаго органа, то-есть отъ сознанія (23). Наряду съ внѣшними побужденіями являются идеи и эмоціи, всякое и стремленіе, и внѣшнее побужденіе становятся мотивами, только просочившись сквозь сознаніе, причемъ каждое изъ нихъ теряетъ свою принудительную силу (26). Сознаніе нейтрализируетъ внѣшнія побужденія и превращаетъ наклонности въ опредѣленныя цѣли (27); оно—регуляторъ мотивовъ, дѣйствующій чрезъ противопоставленіе имъ разныхъ соображеній, которыя К. не рѣшается назвать мотивами, но которыя несомнѣнно—мотивы, коль скоро они имѣютъ власть одни возбужденія усиливать, другія задерживать или ослаблять (49). Эти соображенія не суть мотивы по словамъ К., они лежатъ внѣ и выше мотивовъ; они — идейныя основанія нравственныхъ идеаловъ (50). Все это крайне туманно и неопредѣленно. Еслибы пришлось этотъ сложный механизмъ, какъ онъ понятъ у К., изобразить въ картинѣ, то мнѣ кажется, что эту задачу можно бы разрѣшить слѣдующимъ образомъ. Представимъ себѣ рыдванъ, запряженный четверкою прытких и рвущихся въ разныя стороны лошадей; эти лошади—мотивы. На нихъ надѣты сбруи, закинуты возжи,—то суть соображенія, идейные зачатки идеаловъ. На козлахъ сидитъ возница—сознаніе или человѣческое *я*, которое правитъ четверкою, то попуская, то затягивая возжи, то ударяя, по усмотрѣнію, кнутомъ по любой коренной или пристяжной. Въ этой теоріи воли все отъ начала до конца сомнительно и даже несогласно съ дѣйствительностью. Мотивы, обуздываемые не другими мотивами, а соображеніями, не суть настоящіе мотивы, а какіе-то малеванные. Малая доля дѣйствій совершается по понудительнымъ мотивамъ, а весьма значительная часть ихъ—по вкусамъ, расположеніямъ, носящимся въ воображеніи идеаламъ, слѣдовательно, по соображеніямъ, которымъ авторъ упорно отказываетъ въ званіи мотивовъ, хотя они, если судить по послѣдствіямъ,—настоящіе мотивы, а не исправляющіе должность. Наконецъ, виновникомъ и причиною результатовъ ѣзды на запряженныхъ лошадяхъ всѣми будетъ считаемъ возница самъ, а не его лошади. На этихъ основаніяхъ компромиссъ съ детерминизмомъ состояться не можетъ; не мотивъ бу-

детъ увлекать человѣка, а допускать дѣйствіе будетъ мое *я*, орудующее мотивами, внѣ его находящимися и приручеными. Куда же дѣнется роковое преобладаніе сильныхъ мотивовъ надъ слабыми, если ни тѣ, ни другіе не принудительны и если мое *я* то и дѣлаетъ, что регулируетъ ихъ и ими управляетъ? При такихъ условіяхъ автора слѣдовало бы отнести къ сторонникамъ не условной, а безусловной самопроизвольности воли. Я вовсе не желаю входить самъ въ споръ и разрѣшать его либо въ пользу детерминизма, либо въ пользу самопроизвольности; объ этомъ предметѣ написано несмѣтное число книгъ; желающимъ изучить вопросъ можно указать превосходную книгу Альфреда Фулье: La liberté et le déterminisme (2 éd., 1884). Мнѣ кажется, что его и нынѣ можно бы изъять, если не изъ знанія вообще, то изъ опытной психологіи, и перенести въ столь обезславленную, но еще не совсѣмъ похороненную метафизику, потому что своими корнями этотъ вопросъ держится въ бездонныхъ глубинахъ индивидуализма, конкретной личности и идеи причинности, которую умъ въ самой личности подмѣтилъ, наблюлъ, обобщилъ и по аналогіи перенесъ на все, внѣ насъ существующее. Образцомъ для этой категоріи, подъ которую подводятся мысленно всѣ явленія міра, служитъ только самосознаніе, то-есть человѣческое *я* и притомъ не *я* настоящее и реальное, но *я* воображаемое, *я* метафизическое, то-есть, мысленно проектируемое въ пространствѣ и времени и только сравниваемое съ реальнымъ. Такъ называемая свобода воли сидитъ въ этомъ отвлеченномъ *я*, нѣтъ реальнаго предмета ей соотвѣтствующаго, потому что въ дѣйствительности царитъ неволя сильнѣйшихъ мотивовъ. Она—форма безъ содержанія, она—такой же абсолютъ, какъ всѣ идейныя существа: добро, правда, красота; она—созданіе воображенія, съ реальной точки зрѣнія небылица. Въ дѣйствительной жизни либо воля отсутствуетъ, либо она дѣйствуетъ, но если она дѣйствуетъ, то она полна содержанія и всегда либо стремится къ желаемому, либо борется съ нежелаемымъ. Въ дѣйствительной жизни нѣтъ никакого контраста между свободнымъ и необходимымъ. Необходимыми называются тѣ явленія, которыя не могутъ не произойти, когда имѣются въ наличности всѣ до единаго условія ихъ осуществленія. Предположимъ, что къ числу условій, факторовъ явленія, принадлежитъ личная чья-нибудь рѣшимость содѣйствовать его осуществленію. Если это событіе произошло, то оно произошло по необходимости, то-есть, по законамъ природы даже, если на него будемъ смотрѣть съ точки зрѣнія личнаго его фактора. Но оно было произвольно, потому что оно было симъ желаемо или, если упо-

требимъ болѣе точное слово, еще необтершееся, но уже употреблявшееся въ книгахъ объ уголовномъ правѣ, потому что оно было волимо. Свобода воли или вольная воля собственно тавтологія, какъ, напримѣръ, водяная вода; оно есть объясненіе не вещи, а ея символа, воспроизведеніемъ его почти механическимъ, причемъ употреблены другія слова, но знаніе не подвинулось ни на вершокъ. Большая заслуга Августа Конта и позитивистовъ—та, что они прогнали изъ индуктивной науки всѣ абсолюты, чѣмъ облегчили успѣхи опытнаго знанія, или, по крайней мѣрѣ, что они научили, что къ абсолютамъ слѣдуетъ относиться не какъ къ реальностямъ, а какъ къ символическимъ знакамъ, къ своего рода уличнымъ проваламъ въ мостовой, отмѣчаемымъ по ночамъ горящими фонарями. Разница только та, что провалы въ мостовой не глубоки, а тутъ зіяютъ бездонныя отверстія, въ которыя и не гляди, и не суйся, а не то пропадешь. Испытано, что всякая бездна манитъ и влечетъ къ себѣ человѣка. Послѣ всѣхъ успѣховъ знанія, послѣ идейнаго воспроизведенія въ видѣ простыхъ механизмовъ и міра, и души, въ химической ретортѣ изслѣдователя всегда останется неразлагаемый осадокъ, то неизвѣстное, которое К. называетъ единичнымъ, конкретнымъ; нѣчто добивающееся узнать смыслъ жизни и интересующееся не тѣмъ, что́ вразумительно написано на скрижаляхъ знанія, но только тѣмъ, что́ обрѣтается въ бездонныхъ колодцахъ. Одно непререкаемое существованіе такихъ колодцевъ обезпечиваетъ навсегда господство религіи въ умахъ милліоновъ людей. Они существуютъ и въ области эстетики, и въ области этики. Баллада Шиллера „Пловецъ“ не есть сплошной вымыселъ. Являются порою добровольцы, которые кидаются на дно моря не ради брошенной туда дорогой чаши и не ради жемчуга и коралловъ, а просто, чтобы побывать тамъ, куда не заходилъ ни одинъ человѣкъ. Нельзя сказать, чтобы всѣ эти Икаровы попытки были безплодны. Набѣги въ область, объявленную непознаваемою, кончались обыкновенно гибелью наѣздниковъ, но вознаграждались иногда и богатою добычею; послѣ нихъ иногда расширялся кругъ знанія за рубежи, начерченные циркулемъ осторожной индукціи, открещивающейся отъ вопросовъ съ гадательными отвѣтами и тѣмъ обрѣзывающей крылья пытливому уму и отважному сердцу. Назовите эти догадки подобіемъ науки, полунаукою, полу-поэзіею, а все-таки выйдетъ, что метафизика есть, что она не упразднена. Самъ Кавелинъ въ сущности метафизикъ, мнящій, что онъ стоитъ на почвѣ опытной индукціи. Но если метафизикѣ суждено воскреснуть, то только при условіи полнѣйшаго ея преобразованія, введенія новыхъ методовъ и полнаго ея отказа отъ

обращенія съ идеями-абсолютами, какъ съ понятіями, которымъ соотвѣтствуютъ реальныя дѣйствительности. Они—продукты одного лишь мышленія, символы непознаваемаго; они—хотя и факты, но только психическіе, и съ этой точки зрѣнія далеко небезрезультатны. При полномъ сознаніи ихъ метафизичности и нереальности, ихъ можно отстаивать какъ „насъ возвышающую мечту“ (я не рѣшаюсь сказать: „обманъ“), какъ дорогое сокровище души, ихъ можно защищать, дабы, похитивъ ихъ у насъ, знаніе не бросило, какъ говоритъ К. (104), сираго и немощнаго человѣка среди кипучаго омута жизни безъ всякой поддержки. Что поворотъ къ метафизикѣ не только возможенъ, но и существуетъ, то́ я постараюсь доказать нѣсколькими соображеніями и нѣсколькими цитатами.

IV.

Говоря языкомъ физіологіи, вся нервная дѣятельность, составляющая оборотную сторону психической, ничто иное какъ рефлексъ, но у человѣка онъ осложненъ преобладаніемъ функцій головного мозга, посредничающихъ между возбужденіемъ и движеніемъ. Такъ какъ организмъ у человѣка крайне сложный и наиболѣе сосредоточенный, то и откликается онъ на всякое возбужденіе всѣмъ составомъ нервнаго механизма, всѣмъ сознаніемъ, всѣмъ, что́ называется *я*. За исключеніемъ одного вопроса съ метафизическимъ проваломъ о тайнѣ творчества, о томъ, какъ совершаются геніальныя комбинаціи, великія открытія (о такъ-называемомъ творческомъ вдохновеніи), во всемъ остальномъ и мысль, и дѣятельное желаніе или мотивъ, суть только части живого *я* и изъ него въ дѣйствительности не выдѣлимы. Притомъ и мысль, и желаніе не различаются качественно; всякая мысль, по своей природѣ, или уже сдѣлалась или склонна къ тому, чтобы сдѣлаться мотивомъ. Мысль есть нѣчто производное, ей предшествовало чувство и уже начавшееся, но пріостановленное движеніе. Сама идея, какъ образъ или представленіе, вызываетъ въ мышцахъ нервныя движенія къ ея осуществленію [1]). Всякое внѣшнее сознаваемое возбужденіе похоже на послѣдняго пришлеца въ многолюдномъ собраніи, притомъ въ собраніи не безпорядочномъ, какъ торжище, а уорганизованномъ. По закону сродства одни изъ присутствующихъ манятъ пришлеца къ себѣ, другіе отталкиваютъ. Въ числѣ идей,

[1]) Fouillée: Quand je pense à marcher, l'idée je puis marcher signifie: je commence l'innervation aboutissant à la marche.

участвующихъ въ этомъ вѣчѣ, рѣшающемъ о направленіи движенія, есть одна съ метафизическимъ оттѣнкомъ, которая, развиваясь и укореняясь, можетъ сдѣлаться сильнѣйшимъ и даже преобладающимъ мотивомъ. Эта идея —метафизическая; она — формула съ величиною неизвѣстною, съ нѣкоторымъ осадкомъ, остающимся послѣ всѣхъ логическихъ операцій на днѣ индивидуальнаго *я*. Такой не разлагаемый осадокъ есть и въ понятіи темперамента, какъ совокупности природныхъ и унаслѣдованныхъ качествъ единичнаго организма. Онъ есть и въ характерѣ, какъ способѣ откликаться своеобразно на толчки и запросы извнѣ, слѣдуя по однимъ только лично собою протореннымъ колеямъ. Эта идея—фонарь надъ вѣчно открытымъ метафизическимъ проваломъ, надъ вопросомъ о томъ: машина ли человѣкъ, какъ полагаютъ феноменисты, или въ немъ есть еще нѣчто внѣ-феноменальное, которое участвуетъ въ отвѣтахъ на запросы извнѣ не только освѣщенными своими частями, но и своимъ темнымъ фономъ? Всякій вопросъ можетъ быть рѣшенъ положительно или отрицательно. Допустимъ отрицательное рѣшеніе, что свободы воли нѣтъ, что она лишь „насъ возвышающій обманъ“; но сама эта идея сидитъ крѣпко въ умѣ и если она изъ него не искоренима, то она и есть полнѣйшій эквивалентъ несуществующей реально свободы воли, эквивалентъ, приносящій на практикѣ всѣ плоды, какіе бы доставляла сама отрицаемая детерминизмомъ реальность. Въ развитіи идеи свободы могутъ быть отмѣчены фазисы этого развитія, психологическіе его моменты. Наименѣе свободны дитя и дикарь, ихъ жизнь наиболѣе приближена къ типу нервнаго рефлекса; они—рабы всякаго внѣшняго толчка и всякой похоти. Второй моментъ наиболѣе походитъ на такъ называемую свободу безразличія. Является сознаніе о возможности задержать движеніе, но и эта задержка не есть произволъ безъ мотива. Мотивъ ея—сама воля, какъ идеалъ, представленіе о силѣ, исходящей отъ *я* и способный сказать: не хочу, по отношенію къ самой настойчивой потребности, хотя бы пришлось страдать и погибнуть или убить въ себѣ сердечныя привязанности, отрѣшиться отъ привычекъ. *Я* дѣйствительному, состоящему подъ давленіемъ мотива противопоставляется мысленно *я* будущее, *я*, разсматриваемое внѣ времени sub specie aeterni, *я* при извѣстномъ настроеніи и напряженіи возможное, причемъ совершается сначала мысленное, а потомъ и дѣйствительное превращеніе обыкновеннаго человѣка въ героя. Разъ этотъ секретъ открытъ, то и найдена Архимедова точка опоры для мірового рычага. Лицо стяжало независимость, его могутъ стереть съ поверхности земли, но оно не согнется. Но этотъ моментъ задержки

движенія—только переходный; онъ важенъ не какъ убіеніе въ себѣ желаній (Nirvana), но какъ снятіе цѣпей внѣшнихъ мотивовъ, не исходящихъ изнутри самого *я*, а также какъ накопленіе запаса силы для дѣлъ предстоящихъ. Въ дѣйствительномъ, себя сознающемъ и возникло представленіе о другомъ *я* идейномъ, отличномъ отъ дѣйствительнаго, возникъ образъ человѣка, каковъ онъ долженъ быть, совершеннѣйшаго, любящаго, опредѣляющагося къ дѣйствію по наиболѣе универсальнымъ мотивамъ. На высотѣ этого послѣдняго видоизмѣненія идеи, свобода—то же что безкорыстіе, что самопожертвованіе, что любовь. Индивидуальныя разницы въ людяхъ исчезаютъ, всѣ личности одинаково идеальны, мое *я* отождествляется съ каждымъ другимъ и со всѣми, и съ вселенною, и желаетъ всеобщаго добра. Детерминизмъ, такимъ образомъ, признанъ, но въ немъ самомъ найденъ упругій элементъ—мотивъ: идея мысленной свободы, которая столь сильна, что выноситъ на своихъ плечахъ цѣлую этику. Выводъ идеи не мой, я его заимствовалъ отъ Фулье, изъ книги коего я рѣшаюсь сдѣлать еще два характерныя заимствованія.

„Мы въ этомъ мірѣ стѣснены и какъ бы прикрѣплены гвоздями необходимости; мы не только заключены, но насъ жмутъ самыя стѣны нашей тюрьмы. Мы можемъ пошевельнуться только тогда, когда сама тюрьма, то-есть вселенная, повернется и унесетъ насъ вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ. Однако, несмотря на давленіе, я нахожу въ идеѣ свободы средство сопротивляться. Когда я убѣжденъ, что стѣны темницы подадутся и допустятъ выпрямиться моимъ членамъ, стѣны, въ самомъ дѣлѣ, отодвигаются. Я ихъ ощупалъ опять на нѣкоторомъ разстояніи, но и затѣмъ онѣ не перестаютъ отодвигаться подъ натискомъ идеи и опытъ не способенъ провести границу, которую бы я не могъ переступить при простомъ воздѣйствіи идеи на эту границу“ (стр. 347).

Фулье кончаетъ свою книгу ссылкою на миѳъ о Прометеѣ и уподобляетъ идею свободы похищенному имъ отъ очага боговъ огню. Прометей связанъ по рукамъ и по ногамъ, но мыслью и сердцемъ онъ свободенъ и грезитъ только объ одномъ освобожденіи. Онъ изобрѣлъ способы развязывать понемногу свои путы: посредствомъ науки, посредствомъ искусства. Путы эти сдѣлались болѣе упругіе, болѣе тонкіе, почти незамѣтные, однако они есть и онъ ихъ мысленно ощупываетъ каждую минуту. Одновременно онъ созерцаетъ весь родъ человѣческій, закованный въ цѣпи, страдающій и плачущій. Слыша вопли братьевъ, Прометей забылъ себя и свои оковы, забылъ, что роковымъ образомъ онъ на вѣки отъ нихъ отдѣленъ, онъ устремляется на ихъ освобожденіе. Тогда

совершается чудо: при усиліи, внушенномъ любовью, Прометей сорвалъ съ себя свои цѣпи, самъ о томъ не думая, онъ соединился съ братьями, онъ съ ними, онъ въ нихъ, онъ свободенъ, насколько дано быть свободнымъ человѣку (стр. 359).

Еслибы книга Фулье побывала въ рукахъ у Кавелина, я не сомнѣваюсь, что она видоизмѣнила бы нѣкоторыя положенія „Задачъ этики". К. объяснилъ бы себѣ то, что̀ у него загадочно, какъ можетъ человѣкъ любить въ ближнемъ не конкретное лицо, какъ единицу, но универсальный типъ человѣка. К. указалъ бы на то, что, усмотрѣвъ этотъ образецъ въ самомъ себѣ, мыслящее лицо, обобщая его, перенесло его и на другихъ. Объяснилось бы и еще одно загадочное обстоятельство и какъ бы противорѣчіе, почему изслѣдователь, начавъ съ отыскиванія смысла жизни въ ускользающемъ и недоступномъ уму индивидуальномъ, предлагаетъ въ концѣ концовъ отрѣшиться отъ всякихъ чисто личныхъ идеаловъ счастія и прилѣпляться только къ универсальнымъ.—Я долженъ оговориться, что, ссылаясь на Фулье, я далекъ былъ отъ мысли попрекать К. незнаніемъ той или другой книжки. Нельзя знать все печатаемое, въ особенности человѣку, какъ К., весьма занятому другимъ дѣломъ и посвящающему философіи только малый остатокъ времени, досуги въ промежуткахъ занятій. Отъ автора можно только требовать, чтобы онъ былъ въ умственной атмосферѣ своего вѣка, чтобы отъ него не ускользали крупныя явленія и направленія. Впрочемъ, новѣйшая плеяда французскихъ психологовъ и моралистовъ, въ числѣ которыхъ блистаетъ и Фулье —явленіе довольно крупное, и жаль, что К. съ ними не познакомился.—Я отказываюсь также и отъ подробнаго разбора деталей у К. въ оцѣнкахъ новѣйшихъ школъ философіи. Неточно то, что̀ говоритъ К. о новѣйшей англійской, неточны его замѣчанія и о нѣмецкой, работающей нынѣ надъ подведеніемъ подъ сознательные психическіе процессы того, что̀ имъ предшествуетъ въ безсознательномъ. Нельзя отдѣлаться полустраничкою отъ утилитаріанца Джона Стюарта Милля (70) и двѣнадцатью строками (70, 71) отъ А. Конта и отъ Г. Спенсера, осудивъ гуртомъ и „Начала Психологіи" и „Данныя Этики". Нельзя сказать, что опытное знаніе, исключившее, насколько это возможно, метафизику, есть тоже знаніе метафизическое (103); нельзя предлагать, какъ нѣчто новое и неполучившее правъ гражданства въ наукѣ (33), перенесеніе центра тяжести въ знанія изъ объективнаго въ субъективное, потому что это давно уже сдѣлано при самомъ воцареніи опытной психологіи, но этимъ не рѣшились коренные вопросы знанія, потому что лицомъ къ лицу стали двѣ теоріи, изъ коихъ

одна усматриваетъ въ душѣ только особый механизмъ, а другая признаетъ и за, и подъ явленіями непроницаемый темный фонъ живой личности. Книга К. выиграла бы, еслибы изъ нея исключить нѣкоторыя нѣсколько рѣзкія и, можетъ быть, поспѣшныя сужденія въ родѣ того (107), напримѣръ, что новѣйшіе народы разрѣшили окончательно, безповоротно и блистательно вопросъ о мышленіи, его условіяхъ и законахъ и о его участіи въ жизни людей.—Никакой жизненный вопросъ не рѣшается безповоротно, даже въ біологіи (напр. что такое жизнь?), тѣмъ болѣе вопросъ о мышленіи, въ которомъ такъ и рябитъ въ глазахъ отъ засѣвшихъ цѣлыми гнѣздами абсолютовъ, отъ этихъ мысленныхъ созданій и якобы реальностей, между тѣмъ какъ они только мечты или условные знаки. — К. былъ весьма склоненъ къ рѣшительнымъ сужденіямъ, что можно доказать ссылкою (38) на его сужденія о христіанской этикѣ, какъ образцѣ совершенства, послѣднемъ словѣ мудрости и неприступной скалѣ, къ которой возвращаются люди послѣ скитаній для утоленія мукъ и терзаній души.—Я не опровергаю нисколько содержанія этого вполнѣ вѣрнаго положенія, но я возражаю противъ формы, противъ двусмысленностей, къ которымъ она располагаетъ. Религіозное ученіе Христово было, несомнѣнно, этическое, но слово: христіанскій объемлетъ весь ростъ ученія въ теченіе всѣхъ 19 вѣковъ, со всѣми уклоненіями, ошибками и даже ересями, наконецъ, со всѣми трудами ученыхъ, хотя и свѣтскихъ, но сочинявшихъ христіанскія этики въ родѣ Кавелинской, то-есть, этики, въ которыхъ предлагаемо было то же практическое ученіе, но выведенное изъ самого нутра природы человѣческой.—Я считаю опрометчивымъ даже и сужденіе (37) о тщетѣ усилій искать либо въ буддизмѣ, либо у Сократа или Платона этическихъ ученій, напоминающихъ христіанство. Я не хочу касаться церковнаго ученія, но разсуждая о такихъ „христіанскихъ“ этикахъ, какова Кавелинская, я утверждаю, что онѣ могли бы многое позаимствовать, напр., отъ буддизма. Слишкомъ тѣсенъ кругъ, которыми онѣ очерчиваютъ этическую дѣятельность: отношенія къ людямъ и между людьми, между тѣмъ какъ буддизмъ дышетъ безконечною любовью и къ меньшей братіи, ко всякой твари, ко всякому цвѣтку, къ жизни вообще, гдѣ бы и въ чемъ бы она ни проявлялась.

Кончивъ съ предварительнымъ вопросомъ о свободѣ воли и откинувъ все второстепенное, перехожу къ самой сути „Задачъ этики“ и утверждаю, что это строеніе имѣетъ мало общаго съ опытною психологіею. Оно все зиждется на понятіи *я*, какъ на первичномъ и неразложимомъ основаніи, между тѣмъ какъ нынѣ,

даже и не феноменистами, признано, что понятіе о *я* въ мышленіи есть сложнѣйшій продуктъ, значекъ, подъ который подведено весьма разнообразное содержаніе, что оно есть не болѣе какъ объединенная мысленно совокупность всѣхъ душевныхъ состояній лица.

V.

Извѣстно, что психологія сильно увеличилась въ объемѣ и разбогатѣла, когда перешла изъ рукъ философовъ въ руки физіологовъ, когда вмѣсто скудныхъ средствъ самонаблюденія она стала располагать данными статистики, психіатріи и внѣшними наблюденіями надъ тысячами людей здоровыхъ и больныхъ, находящихся въ сознательномъ состояніи или въ безсознательномъ.— Кавелинъ дѣйствовалъ еще по старымъ методамъ, посредствомъ одного самонаблюденія и разсуждалъ такимъ образомъ (11—27). Человѣку свойственно знаніе и кромѣ знанія—сознаніе, какъ бы второй ярусъ той же „способности", знаніе предметовъ, посредственное, послѣ переработки впечатлѣній въ мышленіи, вслѣдствіе чего психическая жизнь человѣка имѣетъ какъ бы два центра. Зачатки второго центра есть и у животныхъ, но у человѣка дифференціація органовъ мышленія особенно развита. Вторичная, посредственная дѣятельность ума не вполнѣ оцѣнена по мнѣнію К. въ Германіи и совершенно упущена (??) англійскими и французскими психологами. Сознаніе, по мнѣнію К. (13), можетъ быть и пассивное, и активное; оно пассивно въ созерцаніи, оно активно, когда повѣряетъ и направляетъ мысли, чувства и внѣшніе поступки, когда мысли, ставъ идеалами, превращаются въ цѣли (50). „Дѣятельное" (?) сознаніе [1]) этихъ идеаловъ есть совѣсть, но не совѣсть — ихъ родитель. Ихъ создаетъ само индивидуальное лицо, въ которомъ сходятся всѣ нити знанія и дѣятельности (64), человѣческое *я*, сознаніе и воля за одно. Этому *я* либо религія, либо этика внушаютъ: будь добръ, люби, жертвуй собою, между тѣмъ какъ въ другое ухо похоти шепчутъ: яждь, пей и веселися.— Такова, если не дословно, то по своему содержанію вся теорія Кавелина. Допустимъ, что она вѣрна, но есть же еще другія, которыя надобно было прежде всего опровергнуть и устранить. Есть цѣлая фаланга чистыхъ феноменистовъ съ Ип. Тэномъ во главѣ (de l'Intelligence, l. IV, ch. 3).— „Изъ всѣхъ запружавшихъ

[1]) Сознаніе есть собственно нотированіе происходящаго въ душѣ. Трудно понять, какъ еще иначе можетъ быть оно дѣятельно?

науку призраковъ,—говоритъ Тэнъ,—остались только два: *я* и матерія. Послѣдняя уже упразднена, все во внѣшней природѣ сводится къ движеніямъ, какъ къ проявленіямъ силъ, а сила есть лишь подмѣченный законъ такой постоянной связи между событіями, что за однимъ слѣдуетъ непремѣнно другое. Пора упразднить и это отвлеченное и пустое *я*, и всѣ якобы особыя способности, приписываемыя душѣ. Только одни психическія событія: ощущенія, образы, воспоминанія, идеи составляютъ поочередно наше моральное существо. Они—непрерывная ткань, разрѣзываемая лишь мысленно на полоски. Въ этой ткани нѣтъ ничего кромѣ психическихъ событій и связей этихъ событій, болѣе или менѣе далекихъ, съ фактами внѣшняго міра. Эту ткань мы именуемъ словомъ *я*. Оно—особое отдѣленіе въ системѣ нервныхъ функцій, а нервныя функціи составляютъ особую область въ живомъ и цѣломъ животномъ".—Есть еще и другое опредѣленіе понятія *я* у Герберта Спенсера (Начала Психологіи, часть 6-я, главы 16—18). Наша психическая жизнь есть постоянная то дифференціація, то интеграція состояній души, причемъ окончательнымъ результатомъ объединенія являются всегда двѣ противоположныя группы душевныхъ состояній: объектъ и субъектъ или не-я и я. Въ первой группѣ преобладаютъ ощущенія живыя и вызываемыя ими эмоціи, другая группа состоитъ изъ состояній сознанія слабыхъ, изъ образовъ и воспоминаній пережитаго.—Если по предложенію Тэна въ ткани сознанія вырѣжемъ мысленно тончайшую полоску, представляющую одно кратчайшее мгновеніе психическаго бытія, то функцію сознанія можно будетъ уподобить функціи зрѣнія. Глазъ, какъ извѣстно, обозрѣваетъ за-разъ малую долю внѣшняго міра, нѣсколько предметовъ, да и изъ нихъ видитъ вполнѣ точно только то, что отражается на свѣткѣ въ пунктѣ прямо противъ центра зрачка. Наше *я*, составляющее подвижной центръ самосознанія, также останавливается одновременно только на одномъ предметѣ и переходитъ затѣмъ на другіе. На этотъ пунктъ нанизываются, такъ сказать, всѣ мыслимые предметы, какъ впечатляющіеся, такъ и воспоминаемые или воображаемые посредствомъ комбинацій. Посредствомъ него и объединяется прошедшее, настоящее и будущее. Феноменисты правы въ томъ, что въ понятіи *я* содержится только совокупность отмѣченныхъ эмоціями перемѣнъ въ состояніяхъ сознанія: таково дѣйствительно *я* живое, реальное.—Но умъ нашъ не можетъ остановиться ни на какомъ конкретномъ явленіи, онъ тотчасъ его обобщаетъ и создаетъ изъ него нѣчто идейное, несуществующее въ дѣйствительности. Матеріалъ для обобщенія готовъ, обоб-

щеніе возможно чрезъ простое сопоставленіе по воспоминаніямъ того же *я* въ разные моменты прошлаго и чрезъ проектированіе его же въ возможномъ будущемъ, чрезъ представленіе себѣ этого *я*, какимъ оно было и какимъ оно могло бы быть, какимъ желательно, чтобы оно было. — Между реальною подкладкою идеи и самою идеею имѣется соединяющій оба предмета элементъ, — самъ процессъ обобщенія, идеализаціи. Изъ существованія этой связи между первоначальнымъ и производнымъ вовсе не слѣдуетъ заключать, будто бы имѣются двѣ способности, два рода или яруса познанія и, соотвѣтственно тому, два органа психической дѣятельности. Заимствуемъ сравненіе изъ самой книги К. (25). На возстановленіе тканей въ организмѣ человѣка поступаетъ не сама воспріятая организмомъ пища въ ея первоначальномъ видѣ, но только chylus, выработанный уже процессомъ пищеваренія въ желудкѣ, а все-таки претворяющій пищу въ организмѣ человѣка желудокъ одинъ, а не два, и нельзя сказать, чтобы въ пищеваренія самъ организмъ раздваивался.—Предлагаемое К. объясненіе механизма мышленія и не убѣдительно, и далеко не ново. Оно—дальній отголосокъ старинной, нынѣ покинутой теоріи о способностяхъ души; оно воспроизведеніе дѣленія познающей способности на Verstand и Vernunft, на Denken и Nachdenken, на непосредственное пониманіе и рефлексію, какъ спеціальный органъ философскаго мышленія, противуполагаемаго простому. Въ предлагаемой К. конструкціи динамическое признано статическимъ, притомъ психическое раздвоеніе знанія перенесено и на животныхъ (12). Его слѣдуетъ, по словамъ К., признать даже у комара (49), который влекомъ къ человѣку желаніемъ напиться крови, но вмѣстѣ съ тѣмъ боится за свою жизнь (слѣдовательно, представляетъ себѣ и будущее), высматриваетъ, описываетъ круги въ воздухѣ и только, убѣдившись, что опасности нѣтъ, вонзаетъ свой хоботъ.—Послѣ этихъ возраженій, направленныхъ на психологію К., послѣдуемъ за нимъ въ спеціальную область этики.

VI.

Опредѣленіе Кавелинымъ понятій: нравственный и нравственность, весьма, повидимому, точное, весьма своеобразное и крайне несходное съ общепринятымъ. Оно находится въ тѣснѣйшей связи съ господствующей у К. идеей, къ которой перейду впослѣдствіи, что современная мысль, склонившись къ односторонне-объективному взгляду на жизнь, утратила чутье къ внут-

ренней духовной жизни людей (7). К. совсѣмъ исключаетъ изъ области этики всѣ человѣческіе поступки, насколько они внѣшніе, то-есть насколько посредствомъ нихъ субъектъ соприкасается съ другими людьми и съ обществомъ или съ общественною властью. Мѣрка, по которой оцѣниваются поступки, разсматриваемые въ качествѣ внѣшнихъ, чисто объективная, только утилитарная. Поступокъ чествуется или преслѣдуется на основаніи окрѣпшихъ до неподвижности нормъ, установленныхъ закономъ или на основаніи общепринятыхъ приличій и нравовъ безъ всякаго отношенія его къ тому, изъ какихъ побужденій онъ истекалъ.—К. соединилъ, такъ сказать, въ одну кучу и законы, и нравы, и правовую, и общественную мораль. По его понятіямъ и установленное закономъ, и установленное нравами одинаково условно, одинаково принудительно, потому что одинаковъ съ наказаніемъ можетъ быть остракизмъ общественнаго мнѣнія.—Нравы,—говоритъ К. (8),—имѣютъ источникомъ потребности уорганизованнаго быта людей и относятся слѣдовательно въ области права, отъ котораго они отличаются только случайностью, больше по недоразумѣнію, нежели по существу дѣла.—К. иронически относится къ выраженіямъ: нравственное поведеніе, общественная мораль; они—такія же безсмыслицы какъ: законопротивный замыселъ, преступная воля (7). Мѣрка этики должна быть совсѣмъ иная. Этика оцѣниваетъ поступки, насколько они внутренніе, то-есть съ момента состоявшейся рѣшимости, хотя бы не обнаружившейся еще ни дѣломъ, ни словомъ. Она цѣнитъ поступокъ исключительно только по чистотѣ и достоинству побужденій. Такимъ образомъ подъ нравственностью К. понимаетъ чисто формальное отношеніе поступка къ его мотивамъ, отдѣленное отъ его содержанія и практическихъ послѣдствій, какъ случайныхъ, такъ и бывшихъ въ виду у дѣйствующаго лица. На этотъ счетъ К. выразился весьма категорически (6): часто объективная сторона поступка становится на одну доску съ внутренней и подразумѣвается, что понятіе о нравственности слагается съ обѣихъ сторонъ вмѣстѣ. Кавелинъ отвергаетъ этотъ взглядъ и полагаетъ, что оцѣнка должна быть производима только по субъективной сторонѣ поступка, причемъ объективная безразлична. Односторонній взглядъ на предметъ опровергается всего лучше сопоставленіемъ съ идеею ея послѣдствій.—Допустимъ, что извѣстное лицо по самому искреннему своему убѣжденію, весьма неправильному и ошибочному, сочло извѣстную идейную комбинацію условій добромъ и осуществило ее, проливъ много крови и причинивъ множество страданій. Допустимъ, что это лицо дѣйство-

вало вполнѣ безкорыстно. По опредѣленію Кавелина, дѣйствія его будутъ нравственны, хотя бы дѣйствующее лицо былъ Торквемада, потому что страданія людей суть признаки объективные, опредѣляющіе внѣшнюю, а не внутреннюю сторону поступковъ. Нельзя будетъ назвать безнравственною политику Филиппа II, еслибы было доказано, что онъ не лицемѣрилъ, а дѣйствовалъ какъ убѣжденный фанатикъ.—Трудно будетъ рѣшить, какъ отнестись къ лицу столь мало развитому, что въ сознаніи его и не родятся иные идеалы, кромѣ чисто личныхъ (101): разбогатѣть, жениться по разсчету, добиться между людьми почестей, извѣстности и т. под.—Понятіе о нравственности не можетъ быть только формальное; для полноты его необходимо, чтобы субъектъ осуществлялъ не только какой-либо субъективный идеалъ, но чтобы онъ осуществлялъ идеалъ хорошій, достойный одобренія и подражанія.—Въ концѣ книги Кавелинъ, самъ того не замѣчая, переходитъ на объективную точку зрѣнія, признавая (100), что идеалъ идеалу рознь, когда онъ дѣлитъ идеалы на низшіе—чисто личные и на высшіе—то-есть общіе и отвлеченные, и когда онъ сожалѣетъ (101) о томъ, что современный человѣкъ, извѣрившись въ отвлеченные идеалы, ограничивается теперь чисто личными, которые не могутъ его удовлетворить. Повидимому, при окончаніи своего труда К. если не перешелъ къ объективному взгляду, то находился на пути къ такому переходу, къ понятіямъ въ родѣ тѣхъ, какія изложены въ § 14 „Data of Ethics“ Г. Спенсера.—„Хотя бы, по словамъ Спенсера, приверженецъ такъ называемой имъ интуитивной морали исключительно руководствовался рѣшеніями одной только своей совѣсти, онъ все-таки потому лишь довѣряетъ этимъ рѣшеніямъ, что сознаетъ, хотя можетъ быть и смутно, что своимъ послушаніемъ онъ содѣйствуетъ благосостоянію другихъ, а непослушаніемъ причиняетъ имъ страданія. Предложите ему назвать добрымъ (нравственнымъ) образъ дѣйствія, который въ совокупности производимыхъ имъ ощущеній приноситъ болѣе страданій, нежели удовольствій въ сей жизни или въ общепринятой будущей—и онъ этого не въ состояніи будетъ сдѣлать, изъ чего очевидно слѣдуетъ, что въ основаніи всѣхъ умозрѣній о добрѣ и злѣ (нравственности и безнравственности) лежитъ то положеніе, что поступки называются добрыми или злыми, смотря по тому, содѣйствуютъ ли они по совокупности своихъ результатовъ счастію или несчастію людей“.—„Нѣтъ школы,—присовокупляетъ Спенсеръ (§ 16),—которая бы не ставила высшею нравственною цѣлью извѣстную желательную эмоцію, какъ бы мы ее ни называли: удовлетвореніе, радость, блаженство, испы-

танныя кѣмъ-либо, когда-либо, однимъ лицомъ или многими. Это понятіе объ удовлетвореніи—столь же необходимый элементъ въ морали, какъ понятіе пространства вообще въ міросозерцаніи". —Таковъ выводъ, дѣлаемый не утилитаріанцемъ, но философомъ, который въ окончательномъ фазисѣ эволюціи нравственности признаетъ господствующимъ началомъ: дѣлать добро ради только добра, а не по какимъ-либо инымъ побужденіямъ.

Выдѣленіе объективныхъ признаковъ изъ морали и построеніе ея на одномъ субъективномъ, на искренности и прямотѣ мотивовъ, не только невозможно логически, но ведетъ на практикѣ къ особенной этической нетерпимости, которая столь же неудобна и нежелательна, какъ и религіозная нетерпимость.—Миновало то время, когда полагали, что быть нравственнымъ не можетъ человѣкъ не вѣрующій или хотя бы и вѣрующій, но не по опредѣленному религіозному закону, отъ усвоенія себѣ котораго зависѣло и спасеніе человѣка. Въ этикѣ не ставится, конечно, вопросъ о спасеніи души, но вопросъ о нравственности, то-есть о настоящей, а не кажущейся добротѣ, выдвигается на первый планъ и подлежитъ рѣшенію.—Допустимъ, что мы имѣемъ дѣло съ двумя субъектами: одинъ—кантіанецъ, подчиняющійся въ своихъ дѣйствіяхъ категорическому императиву своего практическаго ума, то-есть безусловному требованію своей умственной природы, и другой—чистѣйшій бентамистъ, не признающій иной морали, кромѣ установленной положительнымъ закономъ и иного мотива, кромѣ эгоизма, но доведеннаго до той степени развитія, на которой лицо, желающее своего счастія, должно дѣлать добро и другимъ по простому разсчету. Допустимъ, что оба субъекта одинаково благодѣтельны, что ихъ человѣколюбіе доходитъ до самопожертвованія, у одного по чувству долга, у другого по тонкому разсчету, что вслѣдствіе долгаго упражненія воли дѣланіе добра другимъ людямъ стало у обоихъ второю природою и совершается почти автоматически безъ вмѣшиванія мотивовъ, по первому импульсу. По теоріи К., изъ нихъ только кантіанецъ—нравственный человѣкъ, а бентамистъ—не нравственный.—Съ этимъ я не могу согласиться. И по началамъ этики, человѣкъ долженъ судиться не за мотивы отдѣльныхъ своихъ поступковъ, но за все поведеніе, за свой характеръ, за свой образъ дѣйствій. Онъ судится какъ сила, сознательно производящая объективное добро или зло. Основаніе нравственности на одномъ субъективномъ началѣ, не только не принято наукою, но оно совсѣмъ непригодно для этики. Въ жизни психической трудно только въ первый разъ прійти къ новому сочетанію движеній; разъ оно сдѣлано, повтореніе его

идетъ шибче по проторенному слѣду, пока оно не сдѣлается совсѣмъ автоматическимъ. Чѣмъ крѣпче характеръ, тѣмъ больше выработалось въ немъ привычекъ дѣйствія, являющихся подспорьями и замѣстителями обдуманныхъ мотивовъ. Весьма рѣдко лицу приходится рѣшаться на что-либо совсѣмъ новое при борьбѣ сталкивающихся мотивовъ. Эти рѣдкія минуты борьбы служатъ повѣркою силы и закала характера. Между тѣмъ, въ дѣйствительности мотивъ—неразличимъ отъ привычки, и мы ежеминутно принуждены дѣлить не только дѣйствія людей, но и самихъ людей съ ихъ характерами и привычками на добрыхъ и злыхъ, нравственныхъ и безнравственныхъ, что́ мы и дѣлаемъ по объективнымъ признакамъ, не доискиваясь окончательно, какова была причина, которая привела въ дѣйствіе нравственную силу или, лучше сказать, носителя этой силы—человѣка.

И въ современной этикѣ, и въ современной психологіи выводы не основываются на результатахъ единичныхъ психическихъ самонаблюденій. Выводъ становится возможенъ только, когда сверхъ самонаблюденія имѣются тысячи опытовъ, произведенныхъ извнѣ надъ другими людьми. Съ этой точки зрѣнія исключеніе Кавелинымъ общественной морали и права изъ области этики едвали имѣетъ достаточное основаніе. Въ § VIII книги (105, 106) К. ставитъ, въ смыслѣ окончательнаго вывода, что объективный міръ, въ которомъ порою такъ плохо живется, есть не что иное, какъ мысль живого лица, прошедшая чрезъ повѣрку милліоновъ и цѣлыхъ поколѣній и сдѣлавшаяся, вслѣдствіе того, объективною для каждаго человѣка въ отдѣльности, мысль не неподвижная, но измѣняющаяся, хотя и очень медленно. — Это положеніе вѣрно, насколько оно относится не къ объективному міру вообще, а только къ общественному. Оно не ново, оно усвоено наукою и даже сдѣлалось банально отъ частаго повторенія. Изъ него слѣдуетъ, что законы и нравы общества не настолько пропитаны однимъ утилитаріанизмомъ, чтобы ихъ совсѣмъ исключать изъ этики. Субъективные, личные этическіе идеалы, распространяясь при переходѣ изъ единицъ въ массы, проникали въ учрежденія и нравы. Только на видъ законы и нравы могутъ казаться окаменѣлостями, на дѣлѣ же они странно живучи. Бывали примѣры крупныхъ рубокъ въ этой чащѣ, но каждый усѣченный пень пускалъ новые побѣги. Они такъ живучи именно потому, что исполнены этическаго элемента и что могутъ иногда содержать гораздо большій процентъ нравственнаго добра, нежели замѣстившія ихъ идейныя комбинаціи, вводимыя въ жизнь, но не повѣренныя опытомъ и не выдерживающія этой пробы. Наоборотъ, всякая идея общественной

реформы есть протестъ нравственнаго чувства противъ отвердѣлаго порядка и волевой порывъ къ осуществленію этическихъ идеаловъ, уже народившихся и затѣвающихъ борьбу за существованіе съ укрѣпившимися на боевыхъ позиціяхъ предшественниками. Идеалы эти—коллективные, но они также несомнѣнно этическіе, потому что ихъ содержаніе — идея возможнаго, положительнаго добра.—Мораль коллективная внушаетъ человѣку: будь справедливъ и милосердъ не только по отношенію къ ближнимъ и къ міру животныхъ, но и ко всему во вселенной, что развивается и дышетъ, не и ко всякому сословію, племени, народности, но и къ своему, и къ чужому государству; содѣйствуй правильному установленію отношеній между собирательными группами въ родѣ человѣческомъ; страдай лично отъ всѣхъ неправильно поставленныхъ общихъ отношеній и стремись къ тому, чтобы зло было вытѣсняемо, а добро водворяемо твоими единоличными усиліями или общимъ дѣйствованіемъ съ другими заодно.—Мораль не перестаетъ быть моралью, становясь изъ индивидуальной общественною; общественная есть также индивидуальная, но только обобщенная и перенесенная въ особую область фактовъ, располагаемыхъ по ея законамъ. Въ этой области царятъ тотъ же детерминизмъ, та же борьба мотивовъ за существованіе, та же упругость метафизической идеи свободы. Къ индивидуальной морали, послѣ разработки ея христіанствомъ, мало прибавитъ этика, въ томъ мы согласны съ К., но по его же словамъ (104), еще не вполнѣ обозначилось положеніе индивидуальнаго лица среди общества, въ государствѣ и въ международныхъ отношеніяхъ. Еслибы Кавелинъ не выдѣлилъ эту область въ исключительное вѣденіе опытному объективному знанію съ его индукціею, не имѣющею ничего общаго съ субъективными идеалами, то его этика сильно бы разрослась и сдѣлалась бы необычайно интересна. Въ ней бы выдвинулись на первый планъ всѣ жгучіе вопросы современности, въ ней бы сказались не одна ноющая тоска, но и локализированныя въ разныхъ частяхъ организма боли отъ современныхъ ранъ и язвъ. Невольно задаешься вопросомъ: съ какою цѣлью съузилъ, какъ бы нарочно, авторъ область этики? Былъ ли онъ озадаченъ громадностью объема или дѣйствовалъ по инымъ соображеніямъ? Конечно, по послѣдней причинѣ. Ограничивая этику душою единичнаго человѣка, Кавелинъ увлекаемъ былъ крайне смѣлою идеею, которая бы произвела, еслибы ее принять, коренной переворотъ въ современныхъ понятіяхъ о ходѣ европейской исторіи въ послѣдніе четыре или пять вѣковъ. Европейская мысль якобы склонилась въ этотъ періодъ времени къ односторонне объектив-

ному взгляду на жизнь и бросила безъ поддержки живое лицо, сирое и немощное въ кипучій омутъ жизни. Нынѣ надлежало бы укрѣпить и пріободрить это завязшее и зачерствѣвшее живое лицо, поставивъ его на первый планъ и сдѣлавъ изъ него ось, около которой вращается все сущее. Эту задачу совершать долженствующія примириться, не извѣстно на какомъ основаніи, религія и наука (88). Еще въ болѣе далекомъ будущемъ мерцаетъ едва замѣтнымъ блескомъ надежда привести къ одной системѣ, то-есть объединить идеалы объективные и субъективные (53), что и будетъ составлять вѣнецъ знанія и верхъ человѣческой премудрости. Идея о ходѣ всемірно-историческаго развитія постаменъ какъ очевидная аксіома, безъ всякихъ доказательствъ. Мнѣ приходится теперь съ этою-то именно идеею посчитаться.

VII.

Одна изъ главныхъ практическихъ задачъ морали: противодѣйствовать нравственному злу, то-есть такому, въ числѣ факторовъ котораго имѣется и воля лица единичнаго или собирательнаго, дѣйствующая вупно съ другими условіями. Воспрепятствовать проявленію нравственнаго зла можно двумя путями: либо лишивъ дѣйствующее лицо возможности дѣйствовать, либо уничтоживъ въ немъ само желаніе дѣйствовать. Заимствуемъ примѣръ для объясненія изъ книги К. (52). Человѣкъ страдаетъ извѣстною слабостью, напримѣръ, запоемъ. Онъ можетъ лечиться отъ этой слабости, избѣгать искушеній, просить другихъ, чтобы его не допускали напиваться (мѣры объективныя, внѣшнія). Но онъ можетъ также одолѣть свою слабость усиліемъ надъ самимъ собою, произвольнымъ увеличеніемъ извѣстнаго мотива, парализующаго желаніе, какъ бы оно ни было напряжено (субъективныя мѣры). Несомнѣнно, что противодѣйствованіе злу составляетъ только одну сторону нравственной задачи; измѣненіе среды и обстановки, устранивъ много поводовъ къ злу, еще не сдѣлаетъ человѣка добрымъ; желательно, чтобы самъ по себѣ онъ былъ твердъ и побѣждалъ всѣ искушенія. Допустимъ, что нынѣ мы слишкомъ много и слишкомъ часто налегаемъ на обстановку, что по вопросамъ о вмѣненіи мы часто слагаемъ причину дѣйствія, то-есть вину, съ лица на его обстановку, что работая больше всего по части обстановки, мы какъ будто бы отвыкли работать надъ единичною душою и превращать ее въ разсадникъ нравственнаго добра. (Надобно, однако, мимоходомъ сказать, что мы значительно пре-

взошли людей XVIII вѣка, наивно вѣровавшихъ въ нравственное возрожденіе всего рода человѣческаго посредствомъ одного распространенія въ немъ просвѣтительныхъ идей). Осуществляя идейныя комбинаціи, человѣкъ руководствовался ими какъ идеалами, которые и подраздѣляются Кавелинымъ на объективные и субъективные; изъ нихъ только послѣдніе, по его мнѣнію, тождественны съ нравственными и подлежатъ вѣденію этики. Кавелинъ возлагаетъ надежду совмѣстно и на проповѣдь религіозную, и на пропаганду этическую; онъ полагаетъ, что ихъ общими усиліями будетъ выпрямлена ось вращенія современнаго общества, которая въ послѣдніе вѣка излишне склонилась въ объективизму, между тѣмъ, какъ ей подобаетъ имѣть живую личность въ зенитѣ. Накренилась эта ось вслѣдствіе узурпаціи положительнаго знанія и родителя его—ума, который превысилъ, такъ сказать, свою власть и сталъ въ душѣ самодержавствовать, отвѣчая и на запросы индивидуальной жизни, и на вопросы, касающіеся его положенія въ природѣ и общежитіи (29), и отрицая всякую истину, получаемую инымъ путемъ, кромѣ знанія (102). Нынѣ этотъ умъ развѣнчанъ, мышленіе поставлено въ одинъ уровень съ другими незамѣнимыми имъ функціями души. Новое опытное знаніе рѣшило вопросъ о мышленіи. „Соблазнившись,—говоритъ К.,—древомъ познанія добра и зла и повторивъ исторію грѣхопаденія, народы Европы разгадали загадку мышленія, разсѣяли ея миражи и объяснили механику, которая ихъ производитъ“ (107). Благодаря имъ, путь расчищенъ отъ разбитой ими умозрительной философіи, но это только отрицательный результатъ. Кто будетъ грядый по очищенному пути? Тоска ожиданія, скука и скорбь, чувство пустоты и неудовлетворенности—таковы элементы вдыхаемаго нами воздуха. Что-то подобное чувствовалось предъ пришествіемъ Христа. Одинъ міръ кончается, другой еще не народился. Будущее принадлежитъ субъективизму. Религія и этика возстановятъ повергнутые въ прахъ субъективные идеалы, попираемые толпою, которая поклоняется Маммону и золотому тельцу. Эти черты и предсказанія основаны на соображеніяхъ, касающихся только западно-европейской исторіи. У насъ ни субъективное, ни объективное не устроено, между тѣмъ, какъ въ западной Европѣ формы общежитія до того, по мнѣнію Кавелина, выработаны и совершенны, что ощущается сравнительно и меньшая потребность нравственнаго обновленія человѣка. Эти формы и даютъ сильный отпоръ пробивающемуся сквозь нихъ индивидуализму.

Приступая къ разбору изложеннаго ученія, я долженъ начать съ предупрежденія недоразумѣній, какія бы могла породить сдѣ-

ланная мною выдержка (о соблазняющемъ древѣ добра и зла и о повтореніи грѣхопаденія). По одной этой выдержкѣ поверхностный читатель могъ бы, чего добраго, заподозрить К. въ клерикальномъ образѣ мыслей. Не только тотъ, кто имѣлъ счастье знать покойнаго автора лично, но и тотъ, кто внимательно прочелъ его книгу (въ особенности на стр. 2 слова ея, относящіяся къ поборникамъ преданій и старыхъ добрыхъ нравовъ), не можетъ не согласиться, что въ вышеприведенной фразѣ идетъ только рѣчь объ одномъ изъ эпизодовъ изъ послѣдняго періода европейской исторіи, о такъ-называемой трансцендентальной философіи, которая, если не считать ея отцомъ Канта, явилась тотчасъ послѣ него, и занявъ собою первые три десятка лѣтъ въ XIX столѣтіи, оборвалась на величайшемъ ея представителѣ Гегелѣ, послѣ котораго произошелъ взрывъ матеріалистическихъ ученій, а затѣмъ прослѣдовали позитивизмъ Л. Конта и философіи эволюціи. Положимъ, что были всякія узурпаціи со стороны трансцендентальной философіи; это обстоятельство не можетъ еще служить основаніемъ къ отождествленію этого, сравнительно короткаго, эпизода въ европейскомъ развитіи, съ совокупностью событій за послѣдніе 400 лѣтъ. Притомъ, эта-то трансцендентальная философія заслуживала бы особенной пощады со стороны Кавелина, потому что онъ относится къ религіозному чувству, какъ и слѣдуетъ, съ высокимъ уваженіемъ, а она была полу-религіозное ученіе; провозглашая тождество идеи и бытія, она замѣщала только божество идеею и пріучала людей погружаться въ созерцаніе этой идеи до самозабвенія, до пожертвованія собою и своими личными привязанностями. Она сіяла яркою и красивою звѣздою послѣ грубоматеріалистическихъ ученій XVIII вѣка. Вспомнимъ знаменитый московскій кружокъ конца тридцатыхъ и начала сороковыхъ годовъ, который начинается со Станкевича, имѣетъ въ центрѣ своемъ Грановскаго и вмѣщаетъ въ себѣ самого Кавелина; неужели этотъ кружокъ, со всею красотою своихъ идеальнѣйшихъ стремленій, съ чистѣйшею любовью и къ своему народу, и къ человѣчеству, клонился къ односторонне-объективному взгляду, а между тѣмъ онъ состоялъ изъ гегеліанцевъ, и Гегелева философія только тогда потеряла надъ ихъ умами свою власть, когда подъ острымъ ножемъ объективной критики оказалось, что у нея нѣтъ реальной подкладки. Съ забытыми противниками рѣдко разсчитываются; мы ждали отъ К. разсчетовъ не съ павшею философіею, а съ новѣйшею, индуктивною, и нашли только очень неопредѣленную фразу (103), что опытное знаніе есть по принципу то же, что и прежнее чисто логическое, метафизическое, но что оно только

ближе къ людямъ и практичнѣе! Чтобы судить это знаніе, какъ соучастника въ упадкѣ нравовъ и порчѣ идеаловъ, надобно доказать, что и оно вмѣстѣ съ западно-европейскою цивилизаціею излишне склонилось къ объективному направленію. Но изъ другихъ мѣстъ книги вытекаетъ прямо противное заключеніе. Кавелинъ винитъ европейца послѣднихъ вѣковъ (63) за обращеніе всего своего труда на природу и устройство общественныхъ дѣлъ и за оставленіе безъ ухода психической жизни, словомъ, за исключительныя занятія матеріальными интересами и политикою, и за пренебреженіе психологіи и этики. Но если были по этой части упущенія, то они, конечно, наверстаны, послѣ того какъ опытная психологія заняла первое мѣсто въ системѣ знаній. На стр. 43 К. признаетъ, что новѣйшіе европейцы сдѣлали великое открытіе, что подобно матеріальнымъ и психическіе факты могутъ быть измѣняемы и комбинируемы согласно съ желаніями людей. Такое признаніе рѣшаетъ вопросъ, если не о направленіи всей цивилизаціи, то о направленіи новѣйшей психологіи и этики. Этика есть ученіе о нравственности, а вмѣстѣ съ тѣмъ, искусство выводить и образовать нравственныхъ людей. Какъ наука, она преподаетъ условія, при которыхъ человѣкъ будетъ настроенъ къ добру, она предлагаетъ ему привлекательные идеалы добра, но какъ искусство, она можетъ дѣйствовать на людей только самымъ внѣшнимъ образомъ и совершенно объективно. Если на 97 стр. К. относитъ къ сферѣ чисто объективной дѣятельности художественное творчество, то то же самое онъ долженъ былъ сдѣлать и по отношенію къ нравственному творчеству. Этика, какъ искусство, дѣйствуетъ на людей только одними внѣшними, вполнѣ объективными средствами; другихъ средствъ она и не имѣетъ, и не можетъ имѣть въ своемъ распоряженіи. Въ этомъ отношеніи она раздѣляетъ участь самой религіи, которая также дѣйствуетъ на умъ, чувство и воображеніе только извнѣ: словомъ, ученіемъ и торжественностью обрядовъ. Мнѣ кажется, что само дѣленіе идеаловъ на субъективные и объективные и самъ субъективизмъ цѣлей и средствъ, считаемый отличительнымъ признакомъ этики, суть только недоразумѣнія, происходящія оттого, что авторъ исключительно держался метода самонаблюденія, между тѣмъ, какъ въ современной психологіи преобладаетъ наблюденіе извнѣ изслѣдователемъ множества людей. По мнѣнію К., идеалъ этическій субъективенъ; по мнѣнію Г. Спенсера, онъ объективенъ. Положимъ, что его можно назвать субъективнымъ съ формальной стороны, какъ образъ дѣйствія субъекта на самого себя, какъ измѣненіе своихъ мотивовъ дѣйствія своими же усиліями воли, но этическая дѣя-

тельность единичнаго лица сохраняетъ это качество субъективизма, только вращаясь въ своемъ собственномъ самосознаніи и не задаваясь мыслью исправлять другихъ людей. Разъ она этою послѣднею мыслью прониклась, она уже сдѣлалась объективна, потому что и предметъ ея сталъ внѣшній и всѣ средства ея внѣшнія и заключаются они только (я извиняюсь за выраженіе, но перемѣнить его не могу) въ дрессировкѣ другихъ лицъ. Вліяніе одного лица на волевые мотивы дѣйствія другого можетъ быть только посредственное. Никто не влѣзаетъ другому въ душу, не вставляетъ въ другого мотивы, подвигающіе волю на хотѣніе. Можно только окольными путями, пользуясь, конечно, знаніемъ человѣческаго сердца, располагать его къ тому, чтобы оно захотѣло что-нибудь сдѣлать. Еще труднѣе настроить его такъ, чтобы оно хотѣло только одного, а отъ другого воздерживалось при видоизмѣняющихся внѣшнихъ обстоятельствахъ. На практикѣ задача сильно облегчается тѣмъ, что сознательный мотивъ скоро и неминуемо превращается въ механическую привычку, которая и дѣлается его эквивалентомъ и замѣстителемъ.

Мотивъ не водружается извнѣ, но можно ученіемъ, просьбою, приказомъ, наказаніемъ заставлять другое лицо, чтобы оно совершало извѣстное дѣйствіе многократно. Еще легче тѣми же средствами заставлять лицо отъ чего-нибудь воздерживаться. Въ дѣйствительности нѣтъ такого нравственнаго человѣка, какого представляетъ себѣ К., на каждомъ шагу анализирующаго отдаленнѣйшіе мотивы своихъ дѣйствій. Въ дѣйствительности этическое искусство все сдѣлало, когда оно вселило въ людей хорошія привычки. Въ привычкѣ сидитъ укрывшійся мотивъ, какъ гусеница въ своемъ коконѣ. Въ случаѣ надобности при борьбѣ мотивовъ за существованіе коконъ вскрывается, то-есть при анализѣ привычки проявляется наружу самъ родитель ея—притаившійся мотивъ. Я полагаю, что родъ человѣческій не сталъ бы счастливѣе оттого, еслибы всѣ люди сдѣлались резонерствующими моралистами. Огромное большинство людей—оптимисты, мирящіеся съ жизнью и за нее благодарные, не смотря на тяготу труда и горе; но вмѣстѣ съ тѣмъ, они и не мыслящіе въ томъ смыслѣ, какой придаетъ К. этому слову, то-есть не составляющіе творчески изъ данныхъ сознанія неизвѣданныхъ еще комбинацій. Ихъ мнѣнія—шаблонныя, какъ бы подсказанныя, ихъ чувства настроены по камертону современныхъ литературы и искусства, ихъ дѣйствія приноровлены къ существующему обычаю и порядку. Это армія, командуемая весьма небольшимъ количествомъ офицеровъ—изобрѣтателей новыхъ идейныхъ комбинацій, людей выдающихся, геніаль-

ныхъ. Вся сила не въ рядовыхъ солдатахъ, а только въ этихъ руководителяхъ Прометеяхъ.—Между ними бываютъ и никогда не изведутся отчаянные и пессимисты, но можно ли сказать по общему впечатлѣнію, что нынѣ въ Европѣ сіи послѣдніе выражаютъ, какъ преобладающее во всемъ обществѣ чувство, міровую скорбь (taedium vitae, Weltschmerz), желаніе умереть?—Появленіе новаго религіознаго ученія крайне сомнительно, во-первыхъ потому, что, по совершенно вѣрному заключенію К., нельзя себѣ представить нравственнаго ученія выше евангельскаго, во-вторыхъ, что вѣкъ нашъ вообще нерелигіозенъ. Онъ отличается, напротивъ того, необычайнымъ развитіемъ и успѣхами положительнаго знанія. Наука стоитъ, повидимому, на высотѣ своего призванія и справляется бодро и смѣло со своимъ практическимъ дѣломъ; она имѣла и имѣетъ великихъ представителей. — Ссылка Кавелина на несомнѣнный упадокъ артистическаго творчества ничего не доказываетъ. К. до мозга костей моралистъ даже и въ искусствѣ, и оцѣниваетъ его главнымъ образомъ по его прикладной сторонѣ, по его воспитательному значенію (96, 98), изъ чего дѣлается выводъ, что если артистическое творчество у насъ теперь пало, то причина тому—одновременныя паденіе и порча нравственности. Паденіе творчества въ искусствѣ доказываетъ только, что настоящій моментъ мало расположенъ къ образованію новыхъ идейныхъ комбинацій эстетическихъ, а не этическихъ, а это обстоятельство можетъ быть объясняемо тѣмъ, что наше время—переходное съ ежеминутно мѣняющимся настроеніемъ. Обломки стараго нагружаются въ прошедшее, все будущее зависитъ отъ того, какъ устроится поднявшаяся демократія. Художники еще не потрафили угадать, какіе артистическіе идеалы заставятъ этого сфинкса восхищаться, какимъ образомъ можно имъ умственно завладѣть и его увлечь.—Опытъ учитъ, что между развитіемъ и процвѣтаніемъ искусства этики мало общаго, что они не совпадаютъ и во времени, что для процвѣтанія искусства, можетъ быть, нужна нѣкоторая порча нравовъ (Пелопоннезская война въ Греціи, Возрожденіе въ Италіи XVI среди полнаго разложенія всѣхъ основъ нравственности и такого разврата, какого не видалъ міръ со временъ римскихъ кесарей). Изъ всѣхъ этихъ соображеній уясняется для меня заключеніе, что пессимистическій взглядъ Кавелина, насколько онъ касается настоящаго Европы, ея культуры и направленія умственной дѣятельности, неправиленъ, неоснователенъ, и что еще нельзя сказать, чтобы въ поступательномъ движеніи европейской жизни и мысли не было прежней увѣренности и твердости, а слышались только плачъ, стоны и вопли унынія и отчаянія.

VIII.

Хотя содержаніе книги Кавелина передано мною почти въ полномъ ея объемѣ, но оно далеко не исчерпано. Есть въ ней еще одинъ уголокъ, крайне интересный не столько по отношенію къ системѣ этики, сколько по отношенію къ самому Кавелину лично, къ возможности опредѣлить то мѣсто, какое занималъ онъ, какъ мыслитель, среди господствовавшихъ въ его время системъ философіи, къ возможности уяснить его точки соприкосновенія и связи съ величайшими философами прошедшаго по коренным вопросамъ жизни и бытія. Кавелинъ былъ весьма крупнымъ и могучимъ дѣятелемъ въ умственной жизни Россіи съ сороковыхъ до восьмидесятыхъ годовъ XIX столѣтія. Я не сомнѣваюсь въ томъ, что появится въ будущемъ его жизнеописаніе, что сама его переписка съ именитѣйшими его современниками прольетъ много свѣта на его вѣкъ и на переживаемое нами время. Тогда „Задачи этики“ пріобрѣтутъ большое значеніе, какъ источникъ, возстановляющій особенно рельефно умственную физіогномію умершаго и его міросозерцаніе. Тогда весьма будутъ цѣнны автобіографическія указанія, разбросанныя въ книгѣ о томъ, отъ кого онъ заимствовалъ свои основныя философскія понятія, тогда будутъ приняты въ соображеніе даже его обмолвки или легкіе косвенные намеки на тѣ или другіе предметы и вопросы.

Кавелинъ, очевидно, не эволюціонистъ. Философія эволюціи не прошла мимо него безслѣдно, онъ ее отмѣтилъ, но не проникъ во внутрь ея и отошелъ. „Обойдемъ,—говоритъ онъ (12),—безконечный и для нашей цѣли (т.-е. для этики) безполезный (?) споръ о томъ, была ли индивидуальная самостоятельность организмовъ слѣдствіемъ того, что въ силу данныхъ условій должна была явиться организованная жизнь, или же стремленіе къ самостоятельности породило организованную жизнь, снабдило организмы самочувствіемъ, способностью вырабатывать впечатлѣнія и ощущенія“.—Хотя К. изучалъ психологію по старому методу, но нельзя не сказать, чтобы онъ не справлялся съ результатами психо-физіологіи и не принималъ ихъ къ свѣденію. Онъ ихъ пригонялъ къ своему идеализму, какъ прилаживалъ ихъ къ старому ученію и Германъ Лотце, гербартіанецъ († 1881), къ „Микрокосмосу“ котораго К. относился всегда съ особымъ уваженіемъ. Опытный методъ видоизмѣнилъ не только систему, но и языкъ психологіи, ея терминологію. Хотя К. и старался усвоить себѣ новую терминологію, („дифференціяція“, „унаслѣдованныя душевныя качества“, стр. 12, 111), но порою попадаются

въ книгѣ лоскутки старой, напримѣръ, выводы, основанные на оставленной нынѣ гипотезѣ о самостоятельныхъ способностяхъ души. Введено и метафизическое понятіе цѣлесообразности въ дѣятельности этихъ способностей, напримѣръ (32): умъ представляется какъ факторъ, служащій для достиженія извѣстныхъ въ природѣ души коренящихся цѣлей. Очень велика осторожность, съ которою К., проходя мимо обломковъ стараго и зачатковъ новаго, уклоняется почти дипломатически отъ прямыхъ отвѣтовъ на нѣкоторые коренные вопросы, отъ которыхъ въ сущности зависитъ выборъ точки отправленія при построеніи системы. Напримѣръ, на стр. 15 онъ пишетъ: „заключается ли единство всѣхъ нашихъ психическихъ отправленій въ единой живой душѣ или она есть равнодѣйствующая всѣхъ психическихъ отправленій, это вопросъ который для этики не имѣетъ интереса и значенія". Едва ли это справедливо; вопросъ имѣетъ коренное значеніе и онъ рѣшенъ косвенно К. въ его этикѣ, хотя К. и не нашелъ возможности о томъ распространяться. Кавелинъ—извѣрившійся въ своего учителя гегеліанецъ; на то указываютъ слова стр. 13, въ которыхъ, толкуя о не оцѣненной будто бы по достоинству способности самосознанія и строя на ней этику, К. отмѣчаетъ, что эта способность уже была подведена подъ логическую схему и послужила Шеллингу и Гегелю исходною точкою для ихъ системъ. Извѣриться въ философскую систему и вообще въ философію можно двоякимъ путемъ: либо пришедши къ заключенію, которое приводитъ и К. какъ причину осужденія, что система не отвѣчаетъ на запросы личной жизни, на требованія личнаго счастія, или убѣдившись, что она—мыльный пузырь, что она лишена реальнаго основанія. Я полагаю, что мотивъ, заставившій К. отложиться отъ гегеліанства, былъ скорѣе послѣдній, во-первыхъ, потому что пока вѣра въ истинность извѣстной философіи существуетъ, до тѣхъ поръ она по силѣ своей почти равна вѣрѣ религіозной, до тѣхъ поръ идеаломъ личнаго счастія является полная преданность идеѣ, принимаемой за безусловную истину; во-вторыхъ потому, что, по вѣрному замѣчанію К., умъ и знаніе не могутъ никогда дать никакихъ отвѣтовъ на запросы индивидуальной жизни,—а между тѣмъ, онъ не отошелъ отъ науки и изъ ея данныхъ старается выстроить систему, на которую возлагаетъ всѣ свои надежды. Гегелева философія уже была разрушена и превращена въ развалины. Изъ-за ея обломковъ выдвигался и росъ до громадной высоты образъ первоучителя Канта, съ котораго опять приходилось вновь начинать. Кавелинъ отчасти локкистъ, отчасти кантіанецъ. Отъ Локка онъ береть начало: въ умѣ нѣтъ ничего, кромѣ ощущеній (41); отъ Канта онъ заимствуетъ субъ-

ективизмъ знанія, непознаваемость внѣшняго міра въ его существѣ и ограниченіе операцій мышленія одними только субъективными отъ міра сего впечатлѣніями, знакомство съ этимъ міромъ только по слѣдамъ, какіе оставляютъ въ чувствѣ предметы. Извѣстно, что гордясь своимъ открытіемъ, что познаваемая среда существуетъ для насъ только во впечатлѣніяхъ, полученныхъ отъ нея, Кантъ сравнивалъ себя съ Коперникомъ. Онъ полагалъ, что поставилъ въ самомъ центрѣ знанія разумъ съ его апріорическими формами и категоріями мышленія, какъ началу, опредѣляющее само содержаніе этого знанія. Но извѣстно также, что по понятіямъ Канта существуетъ и незнаемое, но мысленно постижимое сверхчувственное, міръ ноуменовъ, по отношеніи къ которому міръ феноменовъ не можетъ считаться даже копіею его или отраженіемъ (сравн. Windelband, Geschichte der neueren Philosophie, т. 2-й, стр. 68—70. Leipzig, 1880). Ученикъ существенно отличается отъ учителя тѣмъ, что его философія уже совсѣмъ не трансцендентальная, она покончила съ ноуменами, отнеся ихъ къ числу фикцій, превративъ въ метафизическія мечты воображенія. Она отвергла все трансцендентное, даже то, что Герб. Спенсеръ вставилъ какъ отрицательный элементъ въ свою философію подъ названіемъ „Непознаваемаго“ (Unknowable). Спенсера упрекаютъ въ томъ, что, допустивъ этого фактора въ свою философію, онъ не выводитъ затѣмъ изъ него никакихъ послѣдствій. Трудно, однако, отрицать бытіе этой области, намъ недоступной и потому мистической. Кавелинъ отвергаетъ это бытіе весьма рѣшительно. Мы съ нимъ часто и долго по этому предмету спорили. У меня есть любопытный документъ: письмо ко мнѣ Константина Дмитріевича 30 апрѣля 1884 г. въ игриво шуточномъ тонѣ, который онъ любилъ. Передаю главное мѣсто въ этомъ письмѣ, не дерзая измѣнить ни словечка: „осенью, если до того времени не околѣю, привезу громовое опроверженіе magni ignoti въ своихъ „Задачахъ этики“, которая, между прочимъ, будетъ построена на совершенномъ его отрицаніи. Вы будете посрамлены и принуждены поджать хвостикъ“. То, что имѣетъ прямую связь въ „Задачахъ этики“ съ этимъ письмомъ, сводится къ слѣдующему.

О внѣшнемъ мірѣ Кавелинъ выражается такъ (45): „внѣ насъ несомнѣнно существуетъ реальный міръ, котораго мы частица“, міръ явленій уже познанныхъ или могущихъ быть познанными, но перенесенныхъ въ сознаніе въ передѣлкѣ, въ переводѣ на психическій языкъ. Кавелинъ указываетъ и на два критеріума объективныхъ фактовъ: тождество послѣдовательныхъ впечатлѣній, производимыхъ на субъектъ однимъ и тѣмъ же явленіемъ, и сличеніе впечатлѣній о событіи у большого числа людей, имѣющихъ

нормальныя умственныя способности (31), иными словами: экспериментація и преданіе или внѣшній авторитетъ. Во всякомъ случаѣ впечатлѣніе производно, прежде него существовалъ уже предметъ, который его произвелъ. Посему міръ идейный, сотканный изъ впечатлѣній, надлежало бы представлять какъ дальнѣйшее продолженіе реальнаго, хотя бы міръ этотъ былъ мало похожъ на то, что́ онъ въ передѣлкѣ изображаетъ. Такая постановка вопроса не умаляла бы ни въ чемъ притязаній человѣка на господство въ природѣ, потому что если при ней остается за умомъ полная возможность дѣлать новыя идейныя сочетанія занесенныхъ въ познаніе объективныхъ элементовъ, то онъ сообразно съ тѣмъ будетъ измѣнять объективную среду, устраивая ее по образу и подобію идейнаго. Но мнѣ кажется, что Кавелинъ, увлекшись Коперниковскою точкою зрѣнія Канта, далъ вопросу объ отношеніи объективнаго къ субъективному неожиданное и едва ли основательное рѣшеніе. Изъ того, что знаніе условно, что оно—плодъ объективной силы, превращенной въ психическое состояніе, что трудно провести границу между средою и мыслью (31), Кавелинъ заключилъ, что самъ якобы объективный міръ внѣшнихъ реальностей есть только продолженіе субъективнаго *я* (33). По его словамъ, міръ реальный можетъ быть извѣстенъ людямъ только съ той стороны, какою онъ ихъ касается. Они могутъ его знать, насколько могутъ что-нибудь знать, а это знаніе условное. Слѣдовательно для человѣка не можетъ быть безусловно объективнаго міра; это только—созданіе отвлеченной логики, которому нѣтъ соотвѣтствующихъ фактовъ въ дѣйствительности. Знаніе бываетъ либо единичное, либо коллективное: знаніе множества людей. Сему послѣднему мы по ошибкѣ приписываемъ названіе безусловнаго или объективнаго (45). Такъ какъ мы—часть и общества, и природы, то обѣ среды близки къ намъ и родныя (105). Отъ этихъ положеній уже одинъ только шагъ до окончательнаго вывода (106), что источникъ мнимаго объективнаго міра есть психическая жизнь единичнаго лица, которой продукты, перейдя чрезъ мышленіе другихъ людей, получаютъ видъ такъ-называемаго объективнаго міра, столь порою непривѣтливаго каждому человѣку въ отдѣльности.—Такое опроверженіе magni ignoti едва ли въ состояніи удовлетворить кого бы то ни было. Кавелинъ совершенно отвергаетъ существованіе нуменальнаго міра, то-есть предметовъ, имѣющихъ недосягаемое нутро и по поверхности которыхъ скользитъ только нашъ умственный глазъ. Онъ допускаетъ только міръ феноменальный и притомъ только міръ такихъ явленій, которыя входятъ въ сознаніе подъ психическими значками

и масками. Изъ того, что они замаскированы, онъ ихъ превращаетъ въ чисто психическія данныя, а внѣшній міръ онъ дѣлаетъ простымъ безформеннымъ продолженіемъ нашего *я*, составляющимъ съ этимъ *я* одно сплошное цѣлое, растягиваемое въ безконечность. Такимъ образомъ, мы дошли до геркулесовыхъ столбовъ въ субъективизмѣ: одинъ пунктъ въ пространствѣ—единичное *я*—сдѣлался не только средоточіемъ, но и эквивалентомъ всей вселенной.

Еще одно и послѣднее замѣчаніе. Въ сознаніи не все прозрачно, не все проницаемо. Въ видѣ паровъ подымается вверхъ до горныхъ высотъ все общее, коллективное, генерическое, превращающееся въ отвлеченія; на днѣ сознанія остается неразлагающійся ни при какихъ усиліяхъ ума осадокъ: живое *я*, и шевелится безпокойный, притязательный червякъ желанія счастія, рождающій всякія мрачныя, пессимистическія воззрѣнія. Какъ его заморить? какъ пріобрѣсти душевное спокойствіе? — Пессимизмъ предлагаетъ радикальный способъ, но унизительный и малодушный: бѣгство въ смерть, уклоненіе отъ борьбы. Есть и другіе выходы, болѣе достойные, болѣе человѣчные. Графъ Левъ Толстой предлагаетъ свою мораль, основанную не на знаніи, а на чувствѣ безконечнаго состраданія, мораль пассивную и не отъ міра сего, потому что, уча страдать, она воспрещаетъ всякое сопротивленіе злу.—Кавелинъ прибѣгъ къ пособіямъ науки, которая, очевидно, по вопросамъ о личномъ благѣ и счастіи помочь ему не можетъ, потому что она оперируетъ только надъ генерическимъ и обезличеннымъ. Предлагая свои якобы субъективные идеалы, Кавелинъ создаетъ ихъ изъ универсаловъ, изъ отвлеченностей, въ родѣ той: уважай въ единицѣ не ее, а идеальный типъ человѣка. Наконецъ, онъ вынужденъ заявить (107), что этическіе идеалы сами по себѣ—мертвые, и что они превращаются въ дѣйствительность только воспитаніемъ (т.-е. дрессировкою) и упражненіемъ (т.-е. возобновленіемъ много разъ однихъ пріемовъ). Прежде чѣмъ повторять что-либо, нужно его въ первый разъ сдѣлать, а чтобы впервые сдѣлать, нужно захотѣть его сдѣлать, въ противномъ случаѣ будетъ машина, но безъ своего двигателя. Таковы основанія, по которымъ я полагаю, что Кавелинъ не во всемъ былъ послѣдователенъ въ своемъ сочиненіи и что его система этики едва ли во многомъ облегчитъ выходъ современному человѣку изъ его затруднительнаго положенія.

Слѣдуетъ ли затѣмъ заключить, что безполезна сама книга, изъ которой оказывается, что немногое придется позаимствовать? Совсѣмъ напротивъ того, книга напомнила массу предметовъ, заставила не только юношей, но и стариковъ, сильно подумать о томъ, чего коснулась; она вложила пальцы вниманія въ открытыя

раны, заставила скорбѣть о томъ, что личность зачахла и одичала, а вмѣстѣ съ тѣмъ, что при кажущихся успѣхахъ чисто внѣшней культуры испортилась сама среда и жутко въ ней приходится человѣку. Эта скорбь необычайно глубока и сердечна, вслѣдствіе того она краснорѣчива и выразительна; она обаятельно дѣйствуетъ и притомъ она увлекаетъ въ гораздо большей степени людей нефилософовъ, нежели записныхъ психологовъ; да и предназначалась она не для немногихъ, а для массы читателей. Я увѣренъ въ томъ, что всѣ наши критики книги, направленныя противъ ея построенія и техники, канутъ въ Лету и забудутся, а читатели „Задачъ этики" все-таки не переведутся, и будутъ они не изъ тѣхъ, которые читаютъ книги ради критики, но изъ тѣхъ, которые дорожатъ всякими „изліяніями благородной души", потому что въ нихъ самихъ откликаются и ихъ эмоціонируютъ мощное негодованіе и искренняя печаль. И „Исповѣдь" гр. Л. Толстого, и „Задачи этики" Кавелина—знаменья времени, интереснѣйшіе „человѣческіе" документы изъ эпохи остановки въ движеніи, умственнаго шатанія и мучительной неизвѣстности куда идти? продолжать ли усвоивать извнѣ заимствованныя формы, которыя плохо къ намъ пристаютъ, скоро загрязняются и изнашиваются, или вернуться опять назадъ ко временамъ специфически московскаго развитія или, по крайней мѣрѣ, ко второй четверти XIX столѣтія? Скорбь и сѣтованія повсемѣстны, каждый откликается по своему; то же произошло съ Кавелинымъ. Его произведеніе—голосъ человѣка сороковыхъ годовъ, выработавшагося въ самомъ средоточіи умственной жизни тогдашней Россіи, Москвѣ, и притомъ голосъ „западника" въ тотъ моментъ развѣтвленія направленій русской мысли на западничество и славянофильство, когда у обоихъ было весьма много общаго. Послѣ неудачъ и разочарованій 1848 и западниковъ стала одушевлять общая со славянофилами вѣра въ близкій упадокъ Запада съ его законченною и богатѣйшею культурой, предполагаемымъ наслѣдникомъ которой являлся русскій Востокъ, по тому только основанію, что онъ—бѣлый листъ, еще не исписанный. Вѣра въ отживаніе западной Европы сохранилась неизмѣнная до конца жизни въ К.; книга его и есть нѣчто въ родѣ читаемой Западу отходной, но съ другой стороны ходъ послѣднихъ міровыхъ событій сильно ослабилъ предположенія о возможности предъявить какія-либо права на наслѣдство. Если на западѣ, какъ полагаетъ К., личность зачахла, то у насъ она не развилась; нравственная немощь, если ею поражена наравнѣ съ нами Европа, въ обоихъ случаяхъ почти одинакова, нѣтъ грани между Востокомъ и Западомъ, какъ нѣтъ

ея въ дѣйствительности между объектомъ и субъектомъ. Изъ крайне затруднительнаго положенія выручили Кавелина остатки западническихъ воззрѣній сороковыхъ годовъ. Они внушили ему то одностороннее на мой взглядъ убѣжденіе, что положеніе наше все-таки выгоднѣе и лучше, сравнительно съ европейцами, потому что если задача жизни уже не сводится къ тому, чтобы брать и пересаживать на свою почву плоды чужой культуры, а къ упорному труду каждаго единичнаго самосознанія надъ своими волевыми мотивами, то сама культура пойдетъ европейцу не въ прокъ, а въ задержку и помѣху, потому что онъ уже наладился совершенствовать себя измѣненіемъ внѣшней обстановки и объективныхъ формъ культуры, что едва ли рѣшится сдѣлать полуоборотъ направо къ субъективизму. Если откинуть эти пылкія увлеченія К. и выдѣлить изъ книги существенное, то окажется, что корень ученія свѣжъ и что на знамени написано то самое, за что К. воевалъ неизмѣнно всю жизнь: индивидуализмъ, усовершенствованіе личности, не отвлеченной только, а живой. Есть въ книгѣ слова, отъ которыхъ нельзя не встрепенуться: „иди, ищи, думай, изслѣдуй все своими усиліями и умомъ“ (29); „трижды счастливъ, кто, не пускаясь далеко отъ берега, мирно плаваетъ около него, освѣщаемый надежнымъ свѣтомъ маяка, но кто отважился подъ знаменемъ ума отыскивать неизвѣстное, тотъ сожегъ свои корабли, тому нѣтъ возврата; онъ долженъ идти впередъ, не останавливаясь и не страшась никакихъ чудовищъ“ (105).

Эти мужественныя слова ободряютъ; они раздаются, какъ трубный звукъ. Въ нихъ мы съ К. за одно, мы расходимся только въ томъ, что онъ совѣтуетъ погрузиться въ субъективную работу, совсѣмъ оставляя въ сторонѣ объективныя условія бытія, мы же убѣждены, что самой работѣ надъ единичнымъ самоусовершенствованіемъ мѣшаютъ объективныя условія, что порча нравовъ происходитъ отъ шатанія въ умахъ, отъ колебаній при рѣшеніи самыхъ коренныхъ, общихъ и притомъ вполнѣ объективныхъ вопросовъ, касающихся среды. Какъ только пріостановившаяся громада двинется по прямому пути и засвѣтятся маяки, несомнѣнно улучшится затѣмъ и нравственность въ живыхъ единицахъ, а, можетъ быть, и совершится вновь подъемъ и самосознанія, и нравственности, который напомнитъ блистательную эпоху всесторонняго прогресса и творчества въ Россіи въ концѣ пятидесятыхъ годовъ.

В. Спасовичъ.

5 сентября 1885.

ПОЭТЫ
ДВУХЪ ПОКОЛѢНІЙ.

— Полное собраніе сочиненій Я. П. Полонскаго. Томъ первый. Спб., 1885.
— Стихотворенія С. Надсона. Спб., 1885.
— Стихотворенія С. Г. Фруга. Спб., 1885.

Какъ ни мало, повидимому, благопріятствуютъ поэзіи условія переживаемой нами эпохи, число молодыхъ поэтовъ у насъ постоянно растетъ—и нѣкоторымъ изъ нихъ удается привлечь къ себѣ сочувственное вниманіе общества. Стихотворенія г. Надсона были замѣчены еще тогда, когда печатались въ журналахъ; стихотворенія г. Фруга, долго появлявшіяся только въ спеціально-еврейскихъ изданіяхъ, сдѣлались извѣстными большинству публики лишь по выходѣ ихъ въ свѣтъ особой книжкой—и тѣмъ сильнѣе было впечатлѣніе, ими произведенное. Новое изданіе стихотвореній Я. П. Полонскаго даетъ намъ случай сопоставить одного изъ немногихъ дѣйствующихъ до сихъ поръ людей „замѣчательнаго десятилѣтія“—т.-е. сороковыхъ годовъ—съ представителями поколѣнія, только-что выступающаго на сцену [1]).

Литературная дѣятельность г. Полонскаго продолжается сорокъ пять лѣтъ—почти столько же, сколько дѣятельность г. Майкова; но если послѣдняя сама собою распадается на періоды, охарактеризованные нами словами: поэтъ и тенденціозный писатель,—то первая не укладывается такъ легко въ опредѣленныя рамки, не представляетъ рѣзкихъ различій ни по направленію или окраскѣ

---

[1]) Мы говоримъ пока только о лирическихъ стихотвореніяхъ г. Полонскаго, составляющихъ содержаніе перваго тома полнаго собранія его сочиненій.

произведеній, ни по силѣ таланта. Дарованіе г. Майкова — это линія, быстро, почти сразу поднимающаяся до наибольшей доступной для нея вышины и черезъ нѣсколько времени столь же быстро и непоправимо опускающаяся къ низу; дарованіе г. Полонскаго—это линія, съ начала до конца описывающая капризные зигзаги. Сила г. Майкова заключается въ глубокомъ чувствѣ красоты, особенно античной; область, надъ которой онъ властелинъ, не велика, и онъ недолго оставался ей вѣренъ—за то въ ея предѣлахъ для него не страшно сравненіе съ величайшими его предшественниками. Поэтическія владѣнія г. Полонскаго разнообразнѣе и шире; онъ никогда не покидалъ ихъ совершенно, но никогда и не подчинялъ ихъ себѣ вполнѣ и всецѣло. Экскурсіи въ ту опасную сферу, которая окончательно втянула въ себя г. Майкова, попадаются и у г. Полонскаго—но онъ не перешелъ, avec armes et bagages, подъ знамена, чуждыя его натурѣ. На алтарь безплоднаго консерватизма и псевдо-патріотической фразы онъ принесъ лишь нѣсколько не особенно крупныхъ жертвъ; онъ сохранилъ, хоть и не безъ легкаго урона, свою поэтическую свободу. Въ поэзіи, какъ и вообще въ искусствѣ, тенденція — т.-е. сознательное, намѣренное служеніе политической, соціальной, этической идеѣ—законна лишь тогда, когда она идетъ изъ глубины души, овладѣваетъ всѣмъ существомъ художника, широко раздвигаетъ его кругозоръ, становится необходимою составною частью его творчества. Быть тенденціознымъ и оставаться поэтомъ можетъ только тотъ, кто созданъ для борьбы, кто способенъ проникнуться страстями эпохи, увлечься ея идеалами. Мягкимъ темпераментамъ, нерѣшительнымъ умамъ, людямъ рожденнымъ или воспитавшимъ себя исключительно для наслажденія „сладкими звуками“, такое увлеченіе не по силамъ; тенденція, большею частью, подкрадывается къ нимъ въ видѣ протеста противъ всего, возмущающаго ихъ покой, нарушающаго ихъ привычки, задѣвающаго ихъ самолюбіе. Поэтъ, отдающій себя во власть такой тенденціи, перестаетъ быть поэтомъ. Къ счастію для г. Полонскаго, тенденціозность овладѣвала имъ только мимолетно; онъ уклонялся въ сторону, но не терялъ художественнаго чутья, постоянно возвращавшаго его на настоящую его дорогу. Къ нашему автору вполнѣ примѣнимо сказанное имъ нѣкогда (1857) о г. Майковѣ: „Я самъ люблю твою Камену, подругу сѣверныхъ ночей; я помню, какъ неловко съ ней ты шелъ на шумную арену народныхъ браней и страстей; какъ ей самой неловко было... Но олимпійская жена тебѣ осталася вѣрна и вновь въ объятія природы съ тобою весело

ушла". Камена г. Майкова опять, и на этотъ разъ уже безповоротно, ушла на ту арену, гдѣ ей было и продолжаетъ быть „неловко"; муза г. Полонскаго оказалась болѣе благоразумной, сослужила ему болѣе вѣрную службу.

Первыя стихотворенія г. Полонскаго относятся къ тому времени, когда только-что умолкъ Лермонтовъ и все было полно воспоминаній о Пушкинѣ. Обаянію великихъ поэтовъ поддавался — и не могъ не поддаваться—всякій, мечтавшій идти по ихъ стопамъ. Чтобы сохранить оригинальность, чтобы выработать себѣ манеру, рѣзко отличную отъ любимыхъ образцовъ, нужно было найти новый источникъ вдохновеній — или отмежевать себѣ, посреди разработанныхъ уже полей поэзіи, хоть небольшой уголокъ, посвятивъ всѣ свои силы интенсивной, если можно такъ выразиться, его культурѣ. Первое, нѣсколько лѣтъ спустя, удалось Некрасову; второму обязанъ своей ранней славой г. Майковъ. Поэтическая индивидуальность г. Полонскаго не сложилась сразу въ ярко опредѣленный образъ. Болѣе близкій, по своей натурѣ, къ Пушкину, онъ пытался, какъ будто, продолжать Лермонтова — но это было не продолженіе, а скорѣе повтореніе уже извѣстныхъ мотивовъ. „Кто по-неволѣ оторвалъ, — читаемъ мы въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній нашего поэта („къ NN"),— отъ сердца, съ болью нестерпимой, любимыхъ думъ предметъ любимый, кто постепенно разрушалъ свои святыя убѣжденья и, какъ ночное привидѣнье, на ихъ развалинахъ стоналъ — пускай надменно презирать, негодовать и отрицать, онъ грустнымъ пользуется правомъ! Онъ дорого его купилъ: цѣною напряженныхъ силъ, цѣной труда въ поту кровавомъ". „Никто не вѣдалъ,— восклицаетъ поэтъ въ другомъ мѣстѣ („Прости"), — „глубокихъ тайнъ моихъ страстей, и никому я права не далъ заплакать на груди моей. Любви прекраснымъ упованьямъ разсудкомъ положа предѣлъ, страдая самъ, твоимъ страданьямъ я отозваться не хотѣлъ". Что это такое, какъ не запоздалое печоринство, скорѣе продуманное, чѣмъ прочувствованное авторомъ? Внѣшніе слѣды увлеченія Лермонтовымъ можно найти даже въ позднѣйшихъ произведеніяхъ г. Полонскаго. Если „Лунный свѣтъ", написанный еще въ сороковыхъ годахъ, напоминаетъ: „Выхожу одинъ я на дорогу", если въ „Дубкѣ", относящемся къ тому же времени, попадается стихъ, почти цѣликомъ взятый изъ того же стихотворенія („Міръ внемля Богу молчитъ"), то въ „Поцѣлуѣ" (половина шестидесятыхъ годовъ) ясно слышится та же нота, какъ и въ лермонтовскомъ: „Нѣтъ не тебя такъ пылко я люблю"; „Очеркъ" (половина семидесятыхъ годовъ)—точно копія съ из-

вѣстной надписи къ портрету гр. Воронцовой-Дашковой („Какъ мальчикъ кудрявый рѣзва"). Мы видимъ въ этомъ, конечно, не сознательное подражаніе, а только невольные отголоски вліянія, противъ котораго рано началъ бороться поэтъ. Борьба, въ сущности, была успѣшна; лермонтовскій скептицизмъ, лермонтовское разочарованіе не были свойственны г. Полонскому, составляли наносный элементъ въ его творчествѣ. Ему казалось иногда, что онъ побѣдилъ ихъ погруженіемъ въ глубокое море чистаго искусства, восхожденіемъ въ міръ идей, смиряющихъ душевную тревогу. „И я сынъ времени, и я былъ на дорогѣ бытія встрѣчаемъ демономъ сомнѣнья; и я, страдая, проклиналъ, и отрицая провидѣнье, какъ благодати ожидалъ послѣдняго ожесточенья... И вотъ, среди мятежныхъ думъ, среди мучительныхъ сомнѣній установился шаткій умъ и жаждетъ новыхъ откровеній... Весь міръ открытъ моимъ очамъ, я снова гордъ, могучъ, спокоенъ— пускай разрушенъ прежній храмъ, о чемъ жалѣть, когда построенъ другой... И какъ великъ мой новый храмъ! Всѣ геніи земного міра, и всѣ, кому послушна лира, мой храмъ наполнили толпой; Гомера, Данте и Шекспира я слышу голосъ вѣковой". Таковы иллюзіи юности! На самомъ дѣлѣ незачѣмъ было разрушать прежній храмъ, потому что онъ вовсе не былъ воздвигнутъ; нужно было только удалиться изъ чужой обители, въ которой молитвы возносились не отъ сердца. Не было, съ другой стороны, и постройки новаго, великаго храма; возведена была только небольшая часовня, но возведена по плану самого строителя. Какъ бы то ни было, стихотвореніе: „И я сынъ времени" — страница изъ внутренней исторіи поэта, памятникъ тѣхъ усилій, которыхъ стоила ему его самобытность. Такое же значеніе имѣетъ, въ нашихъ глазахъ, слѣдующій отрывокъ изъ „Прогулки по Тифлису": „Но... я не знаю что,—привычка, можетъ статься, бродя въ толпѣ на лицахъ различать слѣды разврата, бѣдности безгласной или корысти слишкомъ ясной, невѣжества угрюмую печать— убавило во мнѣ тотъ жаръ напрасный, съ которымъ нѣкогда я радъ былъ вопрошать послѣдняго изъ всѣхъ забытыхъ нами братій. Я знаю, что нужда не въ силахъ раздѣлять ни чувствъ насыщенныхъ, ни развитыхъ понятій, что наша связь давно разорвана съ толпой, что лучшія мечты, источники страданья, для благородныхъ душъ остались мечтой". Не споримъ, можетъ быть, въ жизни г. Полонскаго и были минуты, когда онъ готовъ былъ „съ жаромъ вопрошать (о чемъ?) послѣдняго изъ забытыхъ братій"—но она во всякомъ случаѣ продолжалась недолго и вовсе не отразилась на его поэзіи. Оставаясь самимъ собою, онъ не

могъ быть ни поэтомъ „проклятыхъ вопросовъ“ и сомнѣній, ни поэтомъ народной бѣды и народнаго горя.

Настала пора, когда именно эта невозможность была поставлена въ вину г. Полонскому. Упрекъ, безъ сомнѣнія, былъ несправедливъ—но обиднымъ онъ не былъ уже потому, что обвиненіе было формулировано весьма широко и коснулось Пушкина, Гёте, самого Шекспира. Къ сожалѣнію, г. Полонскаго оно задѣло за-живое. Начиная съ „Давнишней просьбы“ (1862 г.), мы встрѣчаемъ цѣлый рядъ стихотвореній, въ которыхъ поэтъ отбивается отъ докучныхъ критиковъ, часто переходя отъ обороны къ наступленію (стр. 237, 274, 275, 289, 298, 305, 325, 372, 375 и др.). Иронія, сатира—далеко не сильная сторона г. Полонскаго; злая шутка ему не удается (см., напримѣръ, первое письмо къ Музѣ, „о бульдогѣ“), негодованіе его слишкомъ легко переливается черезъ край и становится патетичнымъ свыше всякой мѣры. Стихотвореніе: „Прости имъ“—все цѣликомъ можетъ быть названо одной фальшивой нотой. Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, начинать обращеніемъ къ Христу, ссылкой на его заповѣдь о прощеніи, о любви къ врагамъ—и заканчивать желчными словами: „меня во вѣкъ имъ (т.-е. врагамъ) не понять, а я ихъ глупость понимаю?“... Вполнѣ безслѣдными, однако, „вѣянія“ шестидесятыхъ годовъ не прошли и для г. Полонскаго. Онъ чаще прежняго выходитъ изъ своей обычной сферы, чаще прежняго затрогиваетъ „современные“ и даже гражданскіе мотивы. Онъ „жаждетъ жить и двигаться съ толпой“; онъ находитъ, что одна природа ничего не сдѣлаетъ съ тѣмъ, кому „нужна для счастія—законная свобода, а для свободы — вольная страна“ („Одному изъ усталыхъ“). Еще знаменательнѣе стихотвореніе, относящееся къ 1865 или 1866 г.: „Писатель, — если только онъ волна, а океанъ — Россія, не можетъ быть не возмущенъ, когда возмущена стихія. Писатель, если только онъ есть нервъ великаго народа, не можетъ быть не пораженъ, когда поражена свобода“. Г. Полонскій задумывается надъ новыми задачами, намѣчаемыми для поэзіи, и точно оправдывается въ томъ, что не отдается ихъ власти. „Я пѣть не могу,—такъ начинаются „Жалобы музы“:—я встрѣчаю на каждомъ шагу озлобленныхъ, бѣдныхъ, измятыхъ судьбой: идутъ они порознь изъ сумрака въ мглу, отъ извѣстнаго зла къ неизвѣстному злу, и не ищутъ звѣзды путевой, и не нужно имъ сердце мое — факелъ мой!“... „Мой связанный языкъ, скажи, кого разбудитъ? Невѣжество грозитъ, и долго, долго будетъ грозить, со всѣхъ сторонъ загородивши свѣтъ“ („Среди хаоса“). Угрюмая толпа,—говоритъ г. По-

лонскій въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, — не откликается на голосъ „поэта-гражданина“; „въ досужій часъ“ она отзовется скорѣе „любовной пѣсенкѣ“, чѣмъ „рощущей музѣ“. Нѣсколько лѣтъ спустя судьба „поэта-гражданина“ представляется ему уже въ другомъ свѣтѣ. „Блаженъ озлобленный поэтъ“ — восклицаетъ онъ, какъ бы отвѣчая на извѣстное стихотвореніе Некрасова („Блаженъ незлобивый поэтъ“),—

„Будь онъ хоть нравственный калѣка;
Ему вѣнцы, ему привѣтъ
Дѣтей озлобленнаго вѣка.
Онъ какъ титанъ колеблетъ тьму,
Ища то выхода, то свѣта,
Не людямъ вѣритъ онъ — уму,
И отъ боговъ не ждетъ отвѣта.
Своимъ пророческимъ стихомъ
Тревожа сонъ мужей солидныхъ,
Онъ самъ страдаетъ подъ ярмомъ
Противорѣчій очевидныхъ...
Невольный крикъ его—нашъ крикъ,
Его пороки—наши, наши!
Онъ съ нами пьетъ изъ общей чаши,
Какъ мы, отравленъ—и великъ“.

Это то же своего рода „невольный крикъ“, вырвавшійся изъ души писателя. Онъ не сочувствуетъ „озлобленному поэту“, но испытываетъ на себѣ силу „озлобленной поэзіи“; онъ охотно подчеркиваетъ ея „очевидныя противорѣчія“, но не можетъ отрицать ея глубокую связь съ озлобленнымъ вѣкомъ“ [1]). Злоба, о которой здѣсь идетъ рѣчь, чужда натурѣ г. Полонскаго; но отъ этой злобы только одинъ шагъ до тоски, ему знакомой, — тоски, слагающейся изъ недовольства настоящимъ и мечтаній о лучшемъ будущемъ. Здѣсь выступаетъ на видъ отличительная черта, отдѣляющая г. Полонскаго отъ другихъ, еще живущихъ представителей поэзіи сороковыхъ годовъ. Совпаденіе общаго кризиса съ личными невзгодами — подобными тѣмъ, которыя пришлись на долю г. Полонскаго — поселили въ нихъ тяготѣніе къ прошедшему; напуганные и раздосадованные новыми требованіями жизни, они стали уходить отъ нея не впередъ, а назадъ. У г. Полонскаго мы также встрѣчаемся съ „корабликомъ“, посланнымъ въ минувшее (стр. 315)—но этотъ кораблик возвратился нагруженный не обманчивымъ миражемъ золотого вѣка, не ле-

[1]) Весьма любопытно, въ этомъ отношеніи, стихотвореніе: „О немъ“, по всей вѣроятности касающееся Некрасова. Г. Полонскій защищаетъ его противъ упрека въ неискренности. „Молвѣ,—восклицаетъ онъ,—нипочемъ сказать: за то, что ты свѣтилъ, иди скорѣй во тьму; молва мнѣ не судья и я ей не слуга“.

идиллiями добраго стараго времени, не фразами о „Богоносицѣ-Руси“ или о „третьемъ Римѣ“, а „блѣднымъ роемъ тѣней, казнями, мученiями и стонами“. Другой корабликъ, ходившій въ противоположную сторону, принесъ оттуда „рой призраковъ, созданныхъ мечтою“—призраковъ „довольства безъ рабовъ, любви безъ цѣпей“. Не всегда, конечно, будущее рисуется передъ поэтомъ въ такихъ свѣтлыхъ картинахъ — но оно во всякомъ случаѣ остается магнитомъ, притягивающимъ къ себѣ его фантазію. „Кто этотъ геній, что заставитъ очнуться насъ отъ тяжкихъ сновъ, разъединенныхъ мысли сплавитъ и силу новую поставитъ на мѣсто старыхъ рычаговъ?.. Кто этотъ дерзкій полубогъ? Кто нечестивецъ сей блаженный? Кто геніальный сей глупецъ? Пророкъ-фанатикъ вдохновенный или практическій мудрецъ?“ („Неизвѣстность“, 1865 г.). „Откуда же взойдетъ та новая заря свободы истинной—любви и пониманья?... Мнѣ, какъ поэту, дѣла нѣтъ, откуда будетъ свѣтъ, лишь былъ бы это свѣтъ—лишь былъ бы онъ, какъ солнце для природы, животворящъ для духа и свободы, и разлагалъ бы все, въ чемъ духа больше нѣтъ“... („Откуда“?! 1871 г.) „И въ нашъ бурливый вѣкъ, межъ нивъ и городовъ, не сфинксъ ли сталъ блуждать, загадочно-опасный, когтисто-злой, какъ левъ, голодный царь лѣсовъ, какъ дѣва трепетный и лживо-сладкогласный? Не онъ ли дерзко задаетъ задачи всѣмъ, кого ни встрѣтитъ, и угрожаетъ, что пожретъ того, кто не впопадъ отвѣтитъ? О! если это сфинксъ... Гдѣ ты, Эдипъ? Иди! И безъ оружія спасай свободу вѣка любовью пламенной въ безтрепетной груди, рѣшеньемъ всѣхъ задачъ во славу человѣка!“ („Сфинксъ“, 1879). Иногда ожиданіе лучшаго будущаго уступаетъ мѣсто сомнѣнью („Среди хаоса“, „Рознь“)—но, какъ и въ молодые годы поэта, это состояніе души является чѣмъ-то навѣяннымъ извнѣ, скоропреходящимъ, и „Двойникъ“ г. Полонскаго очевидно неправъ въ своихъ упрекахъ („Ты видѣть мнѣ мѣшаешь и не даешь внимать гармоніи ночной; ты хочешь отравить меня своимъ сомнѣньемъ, меня — живой родникъ поэзіи твоей“).

Устоявъ противъ соблазна, противъ призыва назадъ, противъ навѣтовъ оскорбленнаго самолюбія, г. Полонскій удержалъ за собою возможность свободнаго отношенія къ тѣмъ общественнымъ тэмамъ, которыя вторгались, по временамъ, въ его замкнутую, мирную поэтическую область. Такія стихотворенія, какъ „Бранятъ“ (1865), второе письмо къ музѣ (около 1875 г.), „Грёзы“ (1876), „Ренегатъ“ (1876), „Духъ вѣка“ (1877), составляютъ небольшую дань, уплаченную торжествующей модѣ;

холодъ, которымъ отъ нихъ вѣетъ, послужилъ, быть можетъ — вмѣстѣ съ нескладностью формы,—предостереженіемъ для поэта и остановилъ его въ самомъ началѣ скользкаго пути. Успѣхъ, впрочемъ, не давался г. Полонскому и тогда, когда онъ подходилъ къ „гражданскимъ мотивамъ“ другою, менѣе истоптанною дорожкой. „Литературный врагъ“, „Что съ ней“, „Отрадная встрѣча“, „На улицахъ Парижа“, „Что мнѣ она!—не жена, не любовница“ — все это свидѣтельствуетъ о безпристрастіи г. Полонскаго, о его независимости отъ узкихъ кружковыхъ взглядовъ, но ничего не прибавляетъ къ его поэтической славѣ. Удачной, изъ числа пьесъ этого рода, можетъ быть названа развѣ одна— „Старые и новые духи“, живо и остроумно осмѣивающая спиритовъ и спиритизмъ. Что дѣлать! Не всякому поэту дано быть отраженіемъ вѣка, вѣстникомъ его мукъ и скорбей, истолкователемъ его мечтаній; не всякому поэту суждена роль хранителя идеаловъ, блюстителя священнаго огня, „горящаго въ пустынѣ“. Г. Полонскому чуждо высокомѣрное ослѣпленіе, продиктовавшее г. Майкову бесѣду съ ангеломъ [1]); но и въ его самооцѣнку вкралась, по видимому, небольшая ошибка. Стихотвореніемъ: „На каланчѣ“ не даромъ, кажется, заканчивается первый томъ новаго изданія; не даромъ выводится на сцену пожарный, то внимательно присматривающійся къ зареву, то грезящій, подъ дыханіемъ мороза, о давно минувшей юности, то приносящій себя въ жертву своему долгу.

„За своевременный сигналъ
(Хотя бы городъ ты спасалъ)
Никто тебя благодарить
Не станетъ—даже, можетъ быть,
Тебя и не замѣтятъ, братъ;
И тутъ никто не виноватъ:
И чернь слѣпа, и высока
Та вышка, гдѣ тебя судьба
Поставила... И не легка
Твоя задача—та борьба
Страстей и долга... Но пока
Тебя не смѣнитъ кто-нибудь,
На высотѣ своей побудь“...

---

[1]) „И ангелъ мнѣ сказалъ: иди, оставь ихъ грады, въ пустыню скройся ты, чтобъ тамъ огонь лампады, тебѣ повѣренный, до срока уберечь, дабы когда тщету суетъ они познаютъ, возжаждутъ истины и свѣта пожелаютъ, имъ было бъ чѣмъ свои свѣтильники возжечь“. Для большей ясности намѣреній автора, стихотвореніе это помѣщено во главѣ полнаго собранія его сочиненій, вслѣдъ за его портретомъ, въ видѣ снимка съ рукописи.

Нѣтъ, никакихъ „сигналовъ“ г. Полонскій не подавалъ; судьба не ставила его ни на какую вышку, не возжигала въ немъ—какъ въ поэтѣ—борьбы между долгомъ и страстями. Роль его въ нашей литературѣ совсѣмъ другая—цѣнная, но не той цѣной, которую какъ будто бы придаетъ ей самъ авторъ.

„Чтобы пѣсня моя разлилась какъ потокъ,
Ясной зорьки она дожидается:
Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ
Отражается въ ней, отливается.
Пусть чиликаютъ вольныя птицы вокругъ,
Сонный лѣсъ пусть проснется—нарядится,
И сова—пусть она не тревожитъ мой слухъ
И, слѣпая, подальше усядется“.

Поэтическому самоопредѣленію, выраженному въ этихъ чудесныхъ стихахъ, минула или скоро минетъ четверть вѣка—но оно было и продолжаетъ быть гораздо ближе къ истинѣ, чѣмъ поздняя параллель съ пожарнымъ. Свѣтлое, мирное настроеніе духа, тихая грусть или тихая радость, спокойное наслажденіе природой, предчувствіе счастья или воспоминаніе о немъ—вотъ источникъ лучшихъ вдохновеній г. Полонскаго. Въ этой области онъ у себя дома; даже обыкновенныя, будничныя ея черты получаютъ подъ его рукой своеобразную прелесть. Легкая шутка неожиданно заканчивается поэтическимъ перломъ; припомнимъ, напримѣръ, заключительныя строки стихотворенія: „Моей молоденькой сосѣдкѣ“—„а впрочемъ, господа,—листы молоденькой осины дрожатъ безъ вѣтра иногда“. Въ этомъ отношеніи г. Полонскій часто напоминаетъ Гейне: „Моя судьба, старуха, нянька злая“, „Сны“, „Финскій берегъ“, „Разсказать ли тебѣ, какъ однажды хоронилъ другъ твой сердце свое“, „Что за бѣда, что старости уроки“, „Въ городкѣ“—все это могло бы быть написано капризнымъ нѣмецкимъ поэтомъ, хотя въ подражаніи ему г. Полонскій ничуть не повиненъ [1]). Въ описаніяхъ природы иногда слышится что-то похожее на Фета („Вечеръ“, „Ночь въ Крыму“)—но этимъ и исчерпываются сближенія, невольно возникающія въ памяти при чтеніи г. Полонскаго, исчерпываются тѣ знакомыя черты, избытокъ которыхъ подорвалъ бы вѣру въ оригинальность поэта. „Если про кого можно сказать, что онъ, по выраженію Альфреда де-Мюссе, пьетъ хоть изъ маленькаго, но своего стакана, такъ это именно про Полонскаго“. Эти слова Тургенева внушены не снисходи-

[1]) Въ другомъ, но также гейневскомъ, родѣ—прелестное стихотвореніе: „Я читаю книгу пѣсенъ“, полное такого же глубокаго чувства, какъ: „Ich stand in dunkeln Träumen und starrte ihr Bildniss an“.

тельностью дружбы; съ ними согласится всякій, кто внимательно изучитъ нашего поэта.

Стихотворенія, носящія на себѣ печать самобытнаго, крупнаго дарованія, не могутъ быть пріурочены къ какому-нибудь одному періоду въ жизни г. Полонскаго; они разсѣяны по всей книгѣ, начиная съ перваго юношескаго опыта: „Солнце и мѣсяцъ“, и оканчивая „Аллегоріею“, помѣченною 1885-мъ годомъ. Въ большинствѣ случаевъ они законченны и вмѣстѣ съ тѣмъ сжаты, проникнуты насквозь однимъ чувствомъ, однимъ мотивомъ, простымъ, но задушевнымъ и музыкальнымъ.

„Ахъ, какъ у насъ хорошо на балконѣ, мой милый! смотри—
Озеро свѣтитъ внизу, отражая сіянье зари,
Бѣлый тамъ нѣжится лебедь, въ объятьяхъ стихіи родной,
И не разстанется съ ней, какъ и ты, другъ мой милый, со мной...
Сколько ты мнѣ ни толкуй, что родная стихія твоя—
Міръ, а не жаркое сердце, не грудь молодая моя!“

Въ такихъ короткихъ, звучныхъ аккордахъ всего типичнѣе, быть можетъ, выражается талантъ г. Полонскаго. Впечатлѣніе получается чистое и цѣльное; въ воображеніи читателя возникаетъ и надолго остается именно та картина, подъ вліяніемъ которой создалось стихотвореніе. Не въ видѣ номенклатуры, претендующей на безусловную полноту, а въ видѣ примѣровъ, иллюстрирующихъ нашу мысль, назовемъ еще нѣсколько пьесъ, выдающихся изъ ряда: „Утро“, „Посмотри — какая мгла“, „Нищій“, „Не мои ли страсти поднимаютъ бурю“, „Лѣсъ“, „Мое сердце—родникъ“, „Звѣзды“, „Холодѣющая ночь“, „Иная зима“, „Чайка“, „Въ наводненье“, „На закатѣ“, „Въ телегѣ жизни“, „Пусть злая осень добила дождемъ“, „Увидалъ изъ-за тучи утесъ“. Иногда образъ, вызываемый г. Полонскимъ, сливается съ мыслью, ничего отъ этого не теряя въ поэтической силѣ („Нищій“, „Наяды“ „На закатѣ“ и др.); иногда мысль и образъ стоятъ рядомъ, не соединяясь въ одно гармоничное цѣлое — и это ослабляетъ общее дѣйствіе стихотворенія, не уничтожая отдѣльныхъ красотъ его (напр., „Въ дурную погоду“); иногда мысль совершенно подавляетъ собою образъ или переходитъ въ резонерство —и тогда поэзіи не остается и слѣда (напр., „Жизнь движется впередъ походкою неровной“, „Поэзія“, „Міровая ткань“, „То въ темную бездну, то въ свѣтлую бездну“). Любопытно сравнить, съ этой точки зрѣнія, два посланія г. Полонскаго—одно къ И. С. Аксакову, другое къ Ѳ. И. Тютчеву. Первое, съ его искусственно придуманнымъ контрастомъ, съ его вымученнымъ паѳосомъ, холодно какъ ледъ—второе точно согрѣто тѣмъ огонькомъ, въ образѣ

котораго встаетъ одинъ поэтъ передъ фантазіей другого. Для иныхъ тэмъ, слишкомъ грандіозныхъ, силы г. Полонскаго оказываются недостаточными; въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ памяти Шиллера, Шекспира, Ломоносова, Пушкина, Тургенева, авторъ точно изнемогаетъ подъ тяжестью сюжета, либо вовсе не поднимаясь на вышину, къ которой стремится, либо достигая ея только урывками и снова опускаясь. И здѣсь подспорьемъ для него служитъ образъ, если только онъ созданъ свободнымъ полетомъ фантазіи, а не усиліемъ мысли. „Духъ поэта—вѣтеръ; но когда онъ вѣетъ, въ небѣ облака съ грозой плывутъ, подъ грозой тучнѣй родная нива зрѣетъ и цвѣты роскошнѣе цвѣтутъ". „Знаемъ мы, какъ чутко наше время; какъ шіонъ (!) за всѣмъ оно слѣдитъ и свободы золотое сѣмя отъ очей завистливыхъ таитъ" (?!). Оба отрывка взяты нами изъ одного и того же стихотворенія („Юбилей Шиллера")—но разстояніе между ними настолько же велико, насколько поддѣльный цвѣтокъ далекъ отъ настоящаго. Такихъ контрастовъ много и въ „Хандрѣ и снѣ"—стихотвореніи, написанномъ для Ломоносовскаго юбилея; рядомъ съ тяжеловѣснѣйшими, безсодержательными стихами („Черезъ Германію и оды понемногу съ латинскимъ языкомъ ты вышелъ на дорогу") попадаются и здѣсь проблески фантазіи, достойные поэта. Когда г. Полонскій, заглянувъ въ прошедшее, даетъ полную волю своему воображенію, ему удается извлечь оттуда то эффектную картинку въ родѣ „Міазма", то милую шутку въ родѣ „Шиньона".

Совершенство или даже просто изящество формы дается г. Полонскому далеко не всегда; въ этомъ отношеніи онъ менѣе счастливъ, чѣмъ г. Майковъ (конечно—до поступленія послѣдняго на службу консервативно-славянофильской тенденціи). Едва ли правъ, поэтому, тотъ критикъ, по мнѣнію котораго г. Полонскому „недостаетъ только пророческой силы, чтобы быть великимъ поэтомъ". Отсутствіе „пророческой силы" можетъ быть восполнено, до извѣстной степени, торжествомъ пластичности и красоты—торжествомъ, котораго слишкомъ рѣдко достигаетъ г. Полонскій. Многія стихотворенія его испорчены въ концѣ неясностью мысли, натянутостью сравненій, неуклюжими, прозаичными выраженіями, немузыкальными сочетаніями звуковъ. Возьмемъ хотя бы „Бредъ", начинающійся и оканчивающійся чисто-гейневскими чертами, но содержащій въ себѣ такіе стихи: „Дай сердце мнѣ! его я сберегу. Здѣсь на землѣ я все могу... Могу къ труду твои направить руки, могу твои прославить муки... И въ полуснѣ, твоимъ рѣчамъ внимая, я плакалъ, недоумѣвая". Вотъ еще нѣсколько примѣровъ: „Повѣрь, не нужно быть въ Парижѣ, чтобъ къ истинѣ

быть сердцемъ ближе, и для того, чтобы созидать, не нужно въ Римѣ кочевать" („А. Н. Майкову")... „Волшебный край! Сорento дремлетъ — умъ колобродитъ — сердце внемлетъ" („Ночь въ Сорento")... „И будешь утоленъ, иль новый примешь видъ, чтобъ жаждать вновь, пока вновь будешь не разбитъ" („Передъ закрытой истиной")... „Схоронилъ я навѣкъ и оплакалъ мое сердце—и что-жъ, наконецъ! Чудеса, наконецъ!—шевелится, шевелится въ груди мой мертвецъ" („Плохой мертвецъ")... „Пока страстями ты себя не истранилъ"... („Поэзія"). Поэтовъ сороковыхъ годовъ — поэтовъ пушкинской школы — ставятъ иногда въ образецъ ихъ преемникамъ, какъ мастеровъ формы, сильныхъ ею даже тогда, когда подъ ней не скрывается никакого содержанія. Намъ кажется, что это ошибка. Примѣръ г. Полонскаго доказываетъ съ полною ясностью, что форма, въ большинствѣ случаевъ, до крайности тѣсно связана съ содержаніемъ —не въ томъ, конечно, смыслѣ, чтобы для красоты формы было необходимо значительное (т.-е. высокое или глубокое) содержаніе, а въ томъ, что выборъ предмета долженъ соотвѣтствовать натурѣ и дарованію поэта. Свободно и мѣтко искусная рука движется въ особенности тогда, когда чертитъ излюбленный образъ.

Въ противоположность многимъ современнымъ поэтамъ, заботящимся если не исключительно, то преимущественно о формѣ, гоняющимся за „рѣдкими эпитетами" („l'epithète rare" Гонкура), за яркимъ колоритомъ, за новизной и оригинальностью сравненій, гг. Надсонъ и Фругъ оба отдаются во власть той мысли или того чувства, которыя заставляютъ ихъ взяться за перо; настроеніе минуты овладѣваетъ ими всецѣло, оно составляетъ центръ тяжести ихъ произведеній, направленныхъ не къ тому, чтобы удивить или плѣнить ухо, а къ тому, чтобы найти отголосокъ въ душѣ читателей. Это не значитъ, конечно, чтобы они пренебрегали формой; такое пренебреженіе менѣе чѣмъ гдѣ-либо мыслимо въ стихѣ, тяжеловѣсность, неумѣлость котораго можетъ заслонить, парализовать собою самыя серьезныя достоинства содержанія. Оба поэта очень молоды, полное развитіе таланта обоихъ еще впереди. Не заглядывая далеко въ будущее, посмотримъ, что они дали намъ до сихъ поръ, какія черты ихъ творчества опредѣлились уже теперь съ достаточною яркостью.

Въ стихотвореніяхъ г. Надсона прежде всего бросается въ глаза измѣнчивость настроенія автора—измѣнчивость, идущая рука объ руку съ постоянствомъ главнаго мотива. Этотъ мотивъ—ти-

жесть переживаемой нами эпохи, мракъ, надвигающійся со всѣхъ сторонъ, трудность найти дорогу, ведущую къ свѣту. Какіе же отголоски возбуждаетъ онъ въ душѣ поэта? Иногда — страстную жажду знанія, знанія причинъ, обусловливающихъ собою страданіе и горе. „Я сынъ нашихъ дней, сынъ раздумья, тревогъ и сомнѣній... Какъ хирургъ, довѣряющій только ножу, я лишь мысли одной довѣряю... Какъ жалкій трусъ, я жизнь не пряталъ за обманы и не рядилъ ее въ поддѣльные цвѣты, но безбоязненно въ зіяющія раны, какъ врачъ и другъ, вложилъ пытливые персты; огнемъ и пыткою правдиваго сомнѣнья я все провѣрилъ въ ней, боясь себѣ солгать“... Иногда сомнѣніе переходитъ въ отчаяніе, въ безнадежность, въ безусловный пессимизмъ. Тайный голосъ твердитъ поэту: „Безумецъ! не страдай и не люби людей... Окаменѣй, замри... Не трать напрасно силы! Добро ли, зло-ль вокругъ, забвенье и могилы — вотъ цѣль конечная и міровой итогъ!“... „Завѣса сброшена: ни новыхъ увлеченій, ни тайнъ заманчивыхъ, ни счастья впереди; покой оправданныхъ и сбывшихся сомнѣній, мгла безнадежности въ измученной груди... Какъ мало прожито—какъ много пережито! Надежды свѣтлыя, и юность, и любовь... И все оплакано, осмѣяно, забыто, погребено — и не воскреснетъ вновь!“... Иногда поэтомъ овладѣваетъ недовольство самимъ собой, горькое сознаніе собственной слабости. „Милый другъ, я знаю, я глубоко знаю, что безсиленъ стихъ мой, блѣдный и больной: отъ его безсилья часто я страдаю, часто тайно плачу въ тишинѣ ночной“... „Я жилъ, какъ всѣ живутъ, — какъ всѣ, я убивалъ безцѣльно день за днемъ и рабски отгонялъ укоры разума, и думы, и сомнѣнья“... „Окутанъ душной мглой невыносимой ночи, безсильный, какъ дитя, въ раздумьи я стою: что значу я, пигмей, со всей моей любовью, и разумомъ моимъ, и волей, и душой, предъ льющейся вѣка страдальческою кровью, предъ вѣчнымъ зломъ людскимъ и вѣчною враждой?“... Иногда это уныніе, эти обвиненія, обращенныя къ самому себѣ, усложняются ожиданіемъ или предчувствіемъ близкаго конца. „Чтобъ въ пѣснѣ вылиться, душа моя должна красть рѣдкіе часы у жаднаго недуга; и больно мнѣ, что жизнь безцѣльно догоритъ, что посреди бойцовъ — я не боецъ суровый, а только стонущій, усталый инвалидъ, смотрящій съ завистью на ихъ вѣнецъ терновый“... „Пѣвецъ твой осужденъ, и жадными глазами повсюду смерть слѣдитъ за жертвою своей“... Появляется у поэта и мысль о самоубійствѣ; смерть напѣваетъ ему свою „угрюмую пѣсню“ и зоветъ его въ свои объятья, которыя одни только „даютъ примиренье“. Жизнь, кипящая вокругъ него, гнететъ

его своимъ равнодушіемъ къ страданію и горю; онъ обращается къ ней съ горькимъ упрекомъ — „но, величава и горда, она идетъ, какъ пла донынѣ, и гаснетъ крикъ мой безъ слѣда, крикъ вопіющаго въ пустынѣ! И задыхаюсь я съ тоской, въ крови, разбитый, оглушенный,—червякъ, раздавленный судьбой, среди толпы многомилліонной!“ Ему тяжело, по временамъ, даже спокойствіе и безучастіе природы.

„Не знаю отчего, но на груди природы,—
Лежитъ ли предо мной полей нѣмая даль,
Колышетъ ли заливъ серебряныя воды,
Иль простираетъ лѣсъ задумчивые своды,—
Въ душѣ моей встаетъ неясная печаль.
Есть что-то горькое для чувства и сознанья
Въ холодной красотѣ и блескѣ мірозданья.
Мнѣ словно хочется, чтобъ темный этотъ лѣсъ
И вправду могъ шептать мнѣ рѣчи утѣшенья,
И, будто у людей, молю я сожалѣнья
У этихъ яркихъ звѣздъ на бархатѣ небесъ“...

Рядомъ съ этой тоской, съ этой печалью мы видимъ въ стихотвореніяхъ г. Надсона теченье совершенно другого рода. Бываютъ минуты, когда онъ рвется впередъ, жаждетъ дѣла и страданья, когда все окружающее кажется ему тюрьмой, изъ которой долженъ же быть какой-нибудь выходъ („мой духъ негодовалъ на власть и цѣпи тѣла, — онъ не хотѣлъ преградъ, онъ не хотѣлъ завѣсъ, и вѣчность цѣлая въ лицо мое глядѣла изъ звѣздной глубины сіяющихъ небесъ“). Проклиная „стоны рабскаго безсилья“, онъ зоветъ свое поколѣнье „на дружную работу, на борьбу съ порокомъ“; „пусть никто не можетъ вымолвить съ упрекомъ: для чего я не жилъ въ прошлые вѣка“... Онъ хочетъ любить и вѣрить — „во что-нибудь вѣрить душой“, только бы „распахнулись затворы глухой темницы въ даль и блескъ лучезарнаго дня“.

„Я не тому молюсь, кого едва дерзаетъ
Назвать душа моя, смущаясь и дивясь...
Я не тому молюсь, предъ чьими алтарями
Народъ, простертый ницъ, въ смиреніи лежитъ,
И льется ѳиміамъ душистыми волнами,
И зыблятся огни, и пѣніе звучитъ;
Я не тому молюсь, кто окруженъ толпами
Священнымъ трепетомъ исполненныхъ духовъ
И чей незримый тронъ за яркими звѣздами
Царитъ надъ безднами разбросанныхъ міровъ...
Мой Богъ—Богъ страждущихъ, Богъ, обагренный кровью,
Богъ-человѣкъ и братъ съ небесною душой,—
И предъ страданіемъ и чистою любовью
Склоняюсь я съ моей горячею мольбой“!..

Ему вѣрится, по временамъ, въ возможность успокоенія, личнаго счастья („Сбылося все, о чемъ за школьными стѣнами"; средина стихотворенія: „И кривы оргіи, и гимны ликованья")— но въ своихъ мечтахъ онъ останавливается съ особенною любовью на другой, болѣе широкой картинѣ,—картинѣ общаго мира и довольства, побѣдоносной истины и торжествующей любви („Весенняя сказка", окончаніе „Грёзъ").

Гдѣ же главное соединительное звено всѣхъ этихъ различныхъ, иногда противоположныхъ настроеній? Намъ кажется, что въ поэзіи г. Надсона отражаются, какъ въ зеркалѣ, впечатлѣнія, переживаемыя значительною частью современной молодежи. Наша эпоха, трудная для всѣхъ, особенно трудна для воспріимчиваго молодого сердца, для ума, только-что начинающаго жить самостоятельною жизнью. Колебанія государственной и общественной почвы, рѣзкіе переходы отъ одного направленія къ другому, воскресающія притязанія похороненной-было старины, неопредѣленныя очертанія скорѣе предчувствуемаго, чѣмъ предвидимаго будущаго — все это вызываетъ массу смутныхъ, разноцвѣтныхъ ощущеній, ставитъ массу неразрѣшенныхъ и трудно разрѣшимыхъ вопросовъ. Кто утомленъ или запуганъ жизнью, тотъ старается не видѣть этихъ вопросовъ, кто успокоился и застылъ—для того они не существуютъ; но между людьми молодыми сравнительно мало усталыхъ и равнодушныхъ — и въ этой средѣ броженіе не затихаетъ, принимая, по временамъ, форму круговорота. Между доктринерами или фанатиками, на все имѣющими готовый отвѣтъ, и индифферентами, вовсе не заботящимися объ отвѣтѣ, идетъ длинная вереница ищущихъ, сомнѣвающихся, надѣющихся, рвущихся впередъ, волнуемыхъ то отчаяніемъ, то надеждой. Къ этой вереницѣ принадлежитъ г. Надсонъ; она можетъ узнать себя въ его стихахъ, высказанное имъ испытывалось и испытывается многими [1]). Здѣсь, какъ намъ кажется, разгадка и силы, и слабости г. Надсона—силы, потому что онъ выразилъ одно изъ теченій своего времени, слабости, потому что въ теченіи этомъ по необходимости много несложившагося, неопредѣленнаго. Сила, въ нашихъ глазахъ, преобладаетъ надъ слабостью. Глубокою искренностью, свѣжестью, горячностью дышатъ лучшія страницы г. Надсона, соединяющія въ себѣ лѣтопись его внутренней жизни съ отголосками движенія, болѣе широкаго и общаго.

---

[1]) Само собою разумѣется, что это нисколько не исключаетъ личнаго, индивидуальнаго элемента въ поэзіи г. Надсона; такимъ элементомъ является, напримѣръ, указанная нами мысль о близости смерти.

Существуетъ мнѣніе,—не знаемъ, проникло ли оно въ печать, но въ разговорахъ мы встрѣчались съ нимъ довольно часто,—видящее въ г. Надсонѣ преимущественно кружкового писателя, попавшаго въ тенета предвзятой мысли и рискующаго потерять въ нихъ все свое поэтическое дарованіе. Такъ ли это на самомъ дѣлѣ? Отличительная черта кружка и кружкового вліянія — это односторонность, и притомъ, въ данномъ случаѣ, односторонность тенденціозная. Тенденціознымъ, какъ мы уже видѣли, г. Надсона назвать никакъ нельзя: это поэтъ настроенія или настроеній, поэтъ влеченій и симпатій, а не замкнутой, ярко окрашенной доктрины. Въ стихотвореніи: „Поэтъ“ онъ ставитъ на одну доску поэта—служителя идеи и поэта—чистаго художника, признаетъ за ними равное право на господство надъ сердцами.

„Пусть пѣснь твоя звучитъ, какъ тихое журчанье
Ручья, звенящаго серебряной струей...
Пусть мы забудемся подъ молодые звуки
И въ міръ фантазіи умчимся за тобой,—
Въ тотъ чудный міръ, гдѣ нѣтъ ни жгучихъ слезъ, ни муки,
Гдѣ красота, любовь, забвенье и покой;
Пусть насладимся мы безъ думъ и размышленья,
И снова проживемъ мечтами юныхъ лѣтъ,—
И мы благословимъ тогда твои творенья,
И скажемъ мы тебѣ съ восторгомъ: ты—„поэтъ“!

Могъ ли написать что-нибудь подобное рьяный партизанъ политическо-соціальной поэзіи, завзятый врагъ искусства для искусства?... Если г. Надсонъ рѣдко выходитъ изъ одной, уже знакомой намъ сферы, то вовсе не потому, чтобы онъ поступилъ къ ней въ добровольную кабалу, а потому, что къ ней всего чаще обращается его мысль и его чувство. Внѣ ея предѣловъ онъ остается тѣмъ же поэтомъ, какъ и всегда; нѣсколько прекрасныхъ стихотвореній—„Въ глуши“, „Да, хороши онѣ, кавказскія вершины“, „О любви твоей, другъ мой, я часто мечталъ“, „Rêverie“, „Похороны“, „На кладбищѣ“, „Я вчера еще радъ былъ отречься отъ счастья“, „Подъ звуки музыки, струившейся волною“. „Отрывокъ“, „Снова лунная ночь, только лунная ночь на чужбинѣ“—написано имъ на тэмы, чуждыя господствующему мотиву его творчества. Мы видимъ въ этомъ залогъ дальнѣйшаго развитія таланта г. Надсона. Къ тому же выводу приводитъ насъ сравненіе болѣе позднихъ и болѣе раннихъ произведеній поэта. Въ послѣднихъ (см., напр., „Томясь и страдая во мракѣ ненастья“, „Не весь я твой“, „Терпи... пусть взоръ горитъ слезою“) слышатся тѣ же главныя ноты, какъ и въ первыхъ—но какая раз-

ница въ зрѣлости мысли, въ силѣ выраженія! Какой шагъ впередъ, сдѣланный въ короткое время!

Строгіе судьи, на мнѣніе которыхъ мы уже ссылались, упрекаютъ г. Надсона въ недостаточной выработанности стиха, въ банальности эпитетовъ, въ избитости сравненій. Этотъ упрекъ находится въ тѣсной связи съ направленіемъ, упомянутымъ въ началѣ нашей замѣтки—съ направленіемъ, безусловно преклоняющимся передъ красотой и оригинальностью формы. Не споримъ, стихъ г. Надсона не всегда одинаково изященъ и силенъ; встрѣчаются въ немъ и неровности, и неудачныя выраженія, и блѣдные, точно стертые образы. Иногда они уравновѣшиваются и выкупаются всѣмъ остальнымъ, иногда портятъ общее впечатлѣніе — но въ лучшихъ пьесахъ они едва замѣтны, увлеченіе поэта передается читателю, если только послѣдній ищетъ въ поэзіи не однихъ пріятныхъ слуховыхъ ощущеній. Погоня за рѣдкими эпитетами и сравненіями слишкомъ часто ведетъ къ изысканности, къ манерности, слишкомъ часто—даже при удачѣ—удовлетворяетъ только „гастрономовъ слова", пресыщенный вкусъ которыхъ нуждается въ искусственномъ возбужденіи. Изъ двухъ крайностей мы предпочитаемъ ту, въ которую иногда—но, спѣшимъ прибавить, вовсе не часто—впадаетъ г. Надсонъ. Немногихъ цитатъ, нами приведенныхъ, достаточно чтобы показать, въ какой степени ему доступна и музыкальность стиха, и пластичность образовъ; прибавимъ къ нимъ только небольшой отрывокъ изъ „Грёзъ", какъ бы въ вознагражденіе за то, что не можемъ привести цѣликомъ всю эту небольшую поэму:

„Я помню ночь: блѣдна, какъ тяжело больная,
Она слетала къ намъ съ лазурной вышины,
Съ несмѣлой лаской серебрянаго мая,
Съ привѣтомъ сѣверной, задумчивой весны.
Всѣ окна въ комнатѣ мы настежъ отворили,
И, съ грохотомъ колесъ по звонкой мостовой,
Къ себѣ и эту ночь радушно мы впустили
На скромный праздникъ нашъ, въ нашъ уголъ трудовой...
А чуть вошла она—чуть ароматъ сирени
Повѣялъ въ комнатѣ—и тихо вслѣдъ за ней
Вошли какія-то оплаканныя тѣни,
Какихъ-то звуковъ рой изъ мглы минувшихъ дней...
Тѣмъ, кто закинутъ былъ въ столицу издалека,
Невольно вспомнились родимые края,
Убогое село, и церковь, и поля,
И надъ нѣмымъ прудомъ недвижная осока;
Припомнился тотъ садъ, знакомый съ колыбели,
Гдѣ въ невозвратные младенческіе дни

Скрипѣли весело подгнившіе качели,
И звонкій смѣхъ стоялъ въ узорчатой тѣни;
Крутой обрывъ въ саду, бесѣдка надъ обрывомъ,
Тропинка. въ темный лѣсъ бѣгущая змѣей
И полосы хлѣбовъ съ ихъ золотымъ отливомъ,
И мирный свѣтъ зари за сонною рѣкой"...

Кто несомнѣнно и рѣшительно тенденціозенъ — это г. Фругъ; но такъ какъ тенденція имъ не выискана, не сочинена, не усвоена искусственно, такъ какъ она владѣетъ имъ съ неотразимой силой, то онъ обязанъ ей, можетъ быть, пробужденіемъ—и во всякомъ случаѣ могучимъ развитіемъ поэтическаго таланта. Господствующія чувства г. Фруга—сожалѣніе, негодованіе, уныніе, вызываемыя вѣковыми страданіями евреевъ; господствующая его идея—непреходящее величіе еврейскаго народа. Изъ этихъ рамокъ молодой поэтъ выходитъ рѣдко, въ ихъ предѣлахъ созданы лучшія его произведенія. Вспоминаетъ ли онъ кровавыя страницы еврейскаго мартиролога („Двѣ картины", „Изъ средневѣковыхъ картинъ"), останавливается ли онъ мыслью на горькой чашѣ, все еще не выпитой до дна евреями („И длинный рядъ вѣковъ прошелъ уже съ тѣхъ поръ", „Среди родныхъ могилъ, на мрачномъ пепелищѣ"), рисуетъ ли онъ свѣтлые образы сѣдой старины („Надъ Библіей"), черпаетъ ли онъ въ нихъ надежду на лучшее будущее („Ужъ ночь близка")—его постоянно поддерживаетъ и поднимаетъ чувство солидарности съ прошедшей славой, съ прошедшимъ и настоящимъ народнымъ горемъ. Тяжелымъ бременемъ лежитъ на немъ, повидимому, впечатлѣніе послѣднихъ еврейскихъ погромовъ; оно вноситъ разладъ въ его душу, колеблетъ прежнія его стремленія—но эти колебанія становятся для него источникомъ новыхъ поэтическихъ вдохновеній. „Думы"—какъ посвященная сестрѣ поэта, такъ и другая, съ эпиграфомъ изъ Лермонтова, — „Надъ Днѣпромъ", „На родинѣ" принадлежатъ къ числу лучшихъ стихотвореній г. Фруга Заключеніе второй „Думы "напоминаетъ превосходныя строки, которыми заканчивается Некрасовское: „Внимая ужасамъ войны"—и ничего не теряетъ отъ сравненія съ ними: „не возвратить во вѣкъ тебѣ тѣхъ дней счастливыхъ, какъ не поднять кустамъ, нависшимъ надъ рѣкой, росинокъ, что съ вѣтвей украдкою скатились и съ мутною волной на вѣкъ соединились".

Чѣмъ сильнѣе разочарованіе, пережитое поэтомъ, тѣмъ больше наслажденія находитъ онъ въ преданіяхъ своего народа; отшатнувшись, на время, отъ родины, онъ весь, если можно такъ выразиться, уходитъ въ свое племя. Библія даетъ ему матеріалъ для

картинъ, для мечтаній, для сновъ, даетъ пищу и мстительному чувству, и мирнымъ грёзамъ объ идеальномъ счастьѣ. Въ ея вѣковыя, непреходящія тэмы легко вплетаются отголоски современности; событія давно минувшихъ дней происходятъ точно передъ нашими глазами, точно отвѣчаютъ на жгучіе вопросы нашей эпохи. Въ этомъ разгадка глубокаго впечатлѣнія, производимаго такими пьесами, какъ „Быстро отдернулся пологъ шатра“, какъ „Видѣніе Пророка Исаіи“, какъ „Легенда о чашѣ“ или „Старое горе“. Не скроемъ, однако, что господство одного мотива—и притомъ именно того, который избранъ г. Фругомъ — имѣетъ и свою опасную сторону. Оно окружаетъ его иногда искусственной атмосферой, въ которой неправильно преломляются лучи, безмѣрно растутъ очертанія предметовъ, теряется или слабѣетъ сознаніе дѣйствительности. Такой миражъ чувствуется, напримѣръ, въ стихотвореніяхъ: „Мой Богъ“, „Памяти друга“, „Притча о золотомъ ключѣ“. Иногда туманъ застилаетъ собою зеркало, въ которое смотрится поэтъ—и онъ видитъ самого себя въ колоссальныхъ размѣрахъ, видитъ себя новымъ Давидомъ (стр. 51—53), новымъ Прометеемъ (стр. 15), чѣмъ-то бо́льшимъ, нежели Прометей. „Посмотри на меня, Прометей! Не укралъ я у Бога святого огня, не укралъ: онъ мнѣ самъ его далъ, и нести его къ людямъ, въ міръ рабства и тьмы, и беречь, и хранить завѣщалъ!.. И до нынѣ еще я плачу за него и слезами, и кровью своей, и не коршунъ одинъ мое сердце клюетъ — сотни коршуновъ, тысячи змѣй въ беззащитную грудь мою жадно впились, рвутъ кровавыя раны мои... Что же значатъ, въ сравненіи съ мукой моей, всѣ страданья, всѣ муки твои“?!.. Намъ скажутъ, можетъ быть, что въ образѣ Прометея, какъ и въ образѣ Давида, г. Фругъ рисовалъ не самого себя, а весь еврейскій народъ. Положимъ—но не отождествлялъ ли онъ себя съ своимъ народомъ? Не видитъ ли онъ свои страданія сквозь ту же призму, сквозь которую онъ смотритъ на судьбу своего племени? Въ той сферѣ, изъ которой почти не выходитъ г. Фругъ, трудно уберечь себя отъ гиперболъ, наполняющихъ собою, напримѣръ, и чисто личное стихотвореніе: „Призывъ“.

Опасность, сигнализированная нами, не такъ велика, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Поэтическое дарованіе г. Фруга слишкомъ велико, чтобы изсякнуть или замкнуться навсегда въ одну тѣсную сферу. Онъ слишкомъ художникъ, чтобы обречь себя на повтореніе, въ безконечныхъ варіаціяхъ, одной и той же пѣсни. Когда онъ сходитъ съ обычной своей дороги, вдохновеніе часто остается ему вѣрнымъ; нѣсколько удачныхъ

стихотвореній—„Весною“, „На могилѣ“, „Сонетъ“, „Видѣніе алхимика“, „Въ душѣ моей мрачной, глухой и унылой“—написано имъ не на библейскіе мотивы, не на тэму, такъ или иначе соприкасающуюся съ еврейскимъ народомъ. Формой онъ и теперь уже владѣетъ, какъ немногіе; ему остается только освободиться отъ нѣкоторой расплывчатости, отъ нѣкоторой наклонности къ трескучимъ фразамъ. Русскій стихъ сдѣлаетъ, быть можетъ, г. Фруга русскимъ поэтомъ,—не въ томъ смыслѣ, конечно, чтобы онъ посвятилъ себя спеціально русскимъ сюжетамъ или усвоилъ себѣ какую-нибудь спеціально-русскую точку зрѣнія, а въ томъ, чтобы произведенія его могли стать достояніемъ русскаго народа. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ—и въ сердцѣ г. Фруга опять, можетъ быть, расцвѣтетъ то чувство къ родинѣ, которое заглохло въ послѣдніе, несчастные годы; опять, можетъ быть, „съ его струнъ станетъ срываться русская пѣсня“, когда онъ захочетъ пѣть „сіонскимъ пѣснямъ въ ладъ“ („Надъ Днѣпромъ“). Мы желали бы этого не только для самого поэта, но и для его племени. Русскіе евреи дали Россіи, до сихъ поръ, только одно громкое имя—имя Антокольскаго; изъ ихъ среды не вышло до сихъ поръ ни Гейне, ни Бёрне, ни Лассалей, ни Мендельсоновъ, ни Мейерберовъ. Если этому суждено измѣниться, если представителямъ русскихъ евреевъ удастся занять выдающееся мѣсто въ русской умственной жизни, то отсюда возникнетъ, быть можетъ, прочная связь между элементами, слишкомъ долго отталкивавшими другъ друга. Поэтъ, съ этой точки зрѣнія, можетъ сдѣлать гораздо больше, чѣмъ музыкантъ, скульпторъ, живописецъ, потому что его орудіе—слово, русское слово.

Гг. Надсонъ и Фругъ—не единственные молодые поэты, передъ которыми открыто будущее; но одного знакомства съ ними достаточно для того, чтобы отрѣшиться отъ слишкомъ мрачнаго взгляда на современную русскую поэзію. Придетъ ли, и когда именно, великій поэтъ, котораго давно, съ самой смерти Лермонтова, ожидаетъ Россія—это по прежнему остается вопросомъ; но сравненіе съ второстепенными свѣтилами поэзіи сороковыхъ годовъ лучшіе изъ новыхъ поэтовъ могутъ выдержать безъ страха, и для слишкомъ большихъ, съ этой точки зрѣнія, сожалѣній о прошедшемъ мы не видимъ причины.

К. Арсеньевъ.

ОБЗОРЪ
МАЛОРУССКОЙ ЭТНОГРАФІИ

III.—Н. И. Костомаровъ *).

Изъ біографіи Костомарова извѣстно [1]), что интересъ къ малорусской народности явился у него съ 1836—37 года, по окончаніи университетскаго курса.

Университетъ, въ которомъ учился Костомаровъ, былъ тотъ же харьковскій, мало измѣнившійся съ тѣхъ поръ, какъ незадолго передъ тѣмъ прошелъ его Срезневскій. Только первый годъ Костомаровъ былъ въ Москвѣ, гдѣ слушалъ лекціи Каченовскаго и Погодина по русской исторіи, и Шевырева, тогда только-что вернувшагося изъ-за границы, по русской словесности. Костомаровъ хвалитъ лекціи послѣдняго, но повидимому не успѣлъ много вынести изъ преподаванія. Въ Харьковѣ профессура на историко-филологическомъ, по тогдашнему словесномъ, факультетѣ была самая несчастная.

„Историко-филологическій факультетъ еле держался. Латинскую словесность преподавалъ Кронебергъ, человѣкъ замѣчательно ученый и даровитый, но замѣчательно лѣнивый... Нѣкоторыя

*) См. выше: сентябрь, 325 стр.

1) Біографическія свѣденія о немъ см. въ запискѣ его въ „Біографическомъ словарѣ профессоровъ Имп. Университета св. Владиміра“, Кіевъ, 1884; въ „Автобіографіи“, записанной съ его словъ г-жею Бѣлозерской, въ „Р. Мысли“, 1885, май и іюнь; въ некрологахъ „Вѣстника Европы“ 1885, май, стр. 311—327, „Кіевской Старины“ 1885, май, стр. I—XLIII; въ воспоминаніяхъ г. Мордовцева, разсѣянныхъ въ разныхъ изданіяхъ; въ статьѣ г. Кулиша, „Новь“ 1885, и друг.

изъ вещей, напечатанныхъ имъ по-нѣмецки, читались бы и теперь съ пользой, но студентамъ было отъ этого не легче: онъ вовсе не занимался ими. Греческій языкъ преподавалъ нѣмецъ Мавра, такъ плохо говорившій по-русски, что его никто не понималъ. Профессоромъ русской исторіи былъ Артемовскій-Гулакъ, болтунъ и фразеръ; Сокальскій читалъ латинскій языкъ, и довольно плохо, а политическую экономію еще того хуже".

Такимъ образомъ здѣсь не могло быть и рѣчи о какой-нибудь правильной школѣ, которая готовила бы къ дальнѣйшимъ историко-этнографическимъ трудамъ. Тотъ научный интересъ, который вскорѣ навсегда укрѣпился въ Костомаровѣ и направилъ его къ историко-этнографическимъ изученіямъ, созданъ былъ литературой, гдѣ въ самыхъ различныхъ проявленіяхъ сказывалась идея народности. Изъ неполныхъ разсказовъ „автобіографіи" объ этомъ времени видно, что старая „ученая" школа не понимала влеченій къ изученію живого народнаго быта, языка и преданія,—но въ молодомъ кругу были уже энтузіасты народности. Такъ въ это время Костомаровъ былъ, повидимому, въ дружескихъ отношеніяхъ съ Срезневскимъ, еще жившимъ тогда въ Харьковѣ, и вмѣстѣ съ нимъ дѣлалъ экскурсіи, имѣвшія этнографическую цѣль. Такъ были литературные кружки, гдѣ увлеченіе народностью внушало стремленіе писать на малорусскомъ языкѣ: еще жилъ патріархъ тогдашней малорусской литературы, Квитка (Основьяненко), явилась цѣлая группа малорусскихъ поэтовъ, между которыми и Костомаровъ самъ вскорѣ занялъ не послѣднее мѣсто [1])...

При окончаніи курса, Костомарову было двадцать лѣтъ. Въ университетское время онъ велъ, по его словамъ, весьма безпорядочную жизнь; но подъ конецъ курса проснулась любознательность, и онъ повелъ свои занятія съ тѣмъ порывистымъ трудолюбіемъ, которое его съ тѣхъ поръ отличало. Онъ много читаетъ, изучаетъ нѣмецкій и польскій языкъ (послѣднимъ онъ, кажется, овладѣлъ окончательно во время учительства въ Ровнѣ, гдѣ было много поляковъ и языкъ былъ въ ходу даже въ верхнемъ слоѣ малорусскихъ жителей), наконецъ увлекается малорусской исторіей и этнографіей. Чрезвычайно любопытенъ фактъ, сообщаемый самимъ Костомаровымъ въ „автобіографіи", что привязанность къ малорусской народности едва ли не впервые была пробуждена въ

[1]) См. названную раньше статью г. Де-Пуле; статью г. Науменка о Костомаровѣ въ „Кіевской Старинѣ", 1885, май, и особливо книгу г. Петрова о малорус. литературѣ XIX столѣтія.

немъ Гоголемъ—„Вечерами на хуторѣ близъ Диканьки“ и „Тарасомъ Бульбой“. Онъ уже раньше читалъ Гоголя, но теперь—на пробудившуюся мысль—его вліяніе было могущественное.

„Я читалъ Гоголя съ увлеченіемъ,—говоритъ Костомаровъ, – перечитывалъ и начитаться не могъ: какъ это все такъ близко кругомъ меня, и я ничего этого не видѣлъ, не знаю!—думалось мнѣ:—нужно изучить это хорошенько.—Затѣмъ я взялъ небольшое изданіе пѣсенъ малорусскихъ Максимовича 1827 года, сталъ читать, потомъ „Думы“, изданныя тѣмъ же Максимовичемъ [1]), и совершенно увлекся ими. Идея народности, уже существовавшая въ то время, стала сильно занимать меня: я прочелъ Сахарова, иностранныя книги о народной поэзіи, какія только могъ достать, прочелъ диссертацію Бодянскаго о славянскихъ пѣсняхъ, началъ учиться по-чешски и сербски. Малорусскія пѣсни, изданныя Максимовичемъ, я выучилъ наизусть, хотя малороссы хохотали тогда надъ моимъ выговоромъ“...

Зиму 1837—38 онъ, кажется, провелъ опять въ Москвѣ, гдѣ слушалъ лекціи популярнаго тогда Шевырева. Весной 1838 года онъ уѣхалъ домой въ деревню. „Мною овладѣла какая-то страсть ко всему малороссійскому,—говоритъ онъ:—меня выводило изъ себя, что невѣжды, какихъ тогда было очень много, съ презрѣніемъ отзывались о хохлахъ и всякое малороссійское слово возбуждало только смѣхъ. Я вздумалъ писать по-малорусски, но какъ писать? Нужно учиться у народа, сблизиться съ нимъ. И вотъ я сталъ заговаривать съ хохлами, ходилъ на вечерницы, сталъ собирать пѣсни“...

Разсказъ не можетъ быть названъ отчетливымъ, но тѣмъ не менѣе характеристиченъ, намѣчая тѣ разнородныя возбужденія, которыя приводили тогда къ этнографическимъ изученіямъ: это были и вліяніе иностранныхъ литературъ, откуда къ намъ доходили пока только отголоски романтическихъ влеченій къ старинѣ и народу, сохранявшему эту старину; и отголоски славянскаго возрожденія, особливо изъ сербской и чешской литературы; и поэтическія созданія русской литературы на народныя тэмы, и у Гоголя—именно на тэмы малорусскія; и параллельныя явленія въ литературѣ малорусской, и наконецъ, повидимому, слабые начатки мыслей о соціальномъ положеніи народной массы... Но, какъ упомянемъ дальше, еще мало доходили вліянія начавшейся археологическо-этнографической науки, какъ она создавалась тогда въ рукахъ Якова Гримма.

---

[1]) Это былъ второй сборникъ Максимовича, 1834 г.

Намъ случалось указывать [1]), какое обширное значеніе общественно-нравственное имѣли эти обращенія къ народу, которыя открывали въ немъ (хотя бы на первый разъ съ преувеличенной идеализаціей) глубокое нравственное содержаніе, самую сущность національной жизни и открывали путь къ вопросу объ освобожденіи крестьянъ, къ которому съ иной совсѣмъ стороны приводили также вліяніе европейскаго политическаго либерализма и соціалистическихъ ученій. Въ молодыхъ поколѣніяхъ тридцатыхъ годовъ началось броженіе, очень похожее на недавнее „хожденіе въ народъ"—только оно имѣло народно-романтическія, а не соціалистическія цѣли. Такъ ходили въ народъ Срезневскій или Костомаровъ и другіе на югѣ, а на сѣверѣ Петръ Кирѣевскій или его выученикъ Павелъ Якушкинъ и многіе иные искатели откровеній народности. Для Костомарова эти странствія стали потребностью; ему не сидѣлось въ городѣ, и онъ бродилъ по селамъ въ воронежской и харьковской губерніяхъ: заходилъ прямо въ хаты, отправлялся на вечерницы и повидимому дѣлалъ это съ своей безцеремонной разсѣянностью, такъ что иной разъ хозяева встрѣчали его не весьма дружелюбно, а парни однажды собирались побить его, предполагая въ немъ соперника на вечерницахъ,—ему пришлось спасаться бѣгствомъ. Особенно онъ старался сближаться съ женщинами и дѣвушками, такъ какъ въ ихъ пѣсняхъ языкъ былъ чище... Попавши на Волынь, учителемъ въ Ровнѣ, Костомаровъ нашелъ новую богатую почву для своего этнографическаго увлеченія; нанявши квартиру въ малорусскомъ семействѣ, которое совсѣмъ не умѣло говорить по-русски (а съ гостями говорило по-польски), онъ окончательно привыкъ къ малорусскому языку; по вечерамъ иногда собиралъ къ себѣ бабъ и дѣвушекъ, и заставлялъ ихъ пѣть пѣсни и разсказывать сказки; по деревнямъ знакомился съ попами, которые давали ему возможность записывать пѣсни и сказки... Еще раньше задумалъ онъ исторію Богдана Хмельницкаго и здѣсь, въ правобережной Украйнѣ, разыскивалъ и осматривалъ мѣста давнихъ историческихъ событій и козацкихъ битвъ,—былъ въ Берестечкѣ, Кременцѣ, Радзивиловѣ, Почаевѣ, Острогѣ и т. д.

Когда была отвергнута и предана сожженію первая диссертація Костомарова на степень магистра русской исторіи, — объ уніи,—онъ написалъ вторую. Это была извѣстная въ свое время книга: „Объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи" (Сочиненіе Николая Кастомарова. Харьковъ, 1843).

---

[1]) См. „Вѣстн. Евр." 1883, октябрь,—о трудахъ г. Буслаева.

Судьба этой книги довольно любопытна для исторіи нашей этнографіи. Не разъ было упомянуто, что эта книга вызвала со стороны Бѣлинскаго весьма пренебрежительный отзывъ [1]), который обыкновенно приписывается непониманію Бѣлинскаго. На дѣлѣ это не совсѣмъ такъ. Бѣлинскій вообще не совсѣмъ сочувствовалъ тому народно-романтическому движенію, которое обнаруживалось въ дѣятельности малорусскихъ писателей. За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ онъ расхвалилъ „Саву Чалаго“, потому что замѣтилъ въ немъ талантливыя вещи; но онъ не выносилъ „Гайдамаковъ“ Шевченка и многихъ другихъ стихотворныхъ произведеній на малорусскомъ языкѣ, гдѣ велась однообразная народно-сантиментальная нота безъ особеннаго содержанія, и еще меньше удовлетворялся теоретическими разсужденіями харьковской школы [2]); здѣсь, какъ въ мнимо-народномъ романтизмѣ „Маяка“, переходившемъ въ чистый обскурантизмъ (а „Маякъ“ сочувствовалъ украинскому романтизму), Бѣлинскаго возмущала теоретическая запутанность понятій, неумѣнье установить той новой идеи, которая бродила въ этомъ романтизмѣ и хотя не успѣла еще сосредоточиться въ ясное міровоззрѣніе, но уже осмѣливалась отрицать тѣ интересы общечеловѣческаго просвѣщенія и искусства, передъ которыми преклонялась литературная школа Бѣлинскаго и его друзей. Эта неясность теоретическаго вопроса о томъ значеніи, которое должно было принадлежать вновь открытому народному началу, несомнѣнно существовала въ тогдашнемъ народномъ романтизмѣ, русскомъ и малорусскомъ,—и это чувствовалъ Бѣлинскій. Что онъ нисколько не ошибался относительно украинскихъ романтиковъ, можно видѣть по тому, что́ мы говорили раньше о литературныхъ идеяхъ Срезневскаго. Интересы и понятія Костомарова въ этомъ отношеніи были шире, но людямъ, близко его знавшимъ, извѣстно, что и для него многое въ русской литературѣ, развивавшейся изъ идей 40-хъ годовъ, было чуждо и непонятно. Самъ Бѣлинскій, съ другой стороны, также не предчувствовалъ значенія новаго начала, выдвигавшагося въ литературѣ и, въ частности, не оцѣнилъ въ

[1]) Коротенькая рецензія въ Отеч. Зап. 1844, кн. 8 (Сочин. Бѣлинскаго, IX, стр. 111—112) начинается такъ: „Въ наше время, если сочинитель не хочетъ или не умѣетъ говорить о чемъ-нибудь дѣльномъ, русская народная поэзія всегда представитъ ему прекрасное средство выпутаться изъ бѣды. Что́ можно было сказать объ этомъ предметѣ, уже было сказано. Но г-на Костомарова это не остановило, и онъ издалъ о народной русской поэзіи цѣлую книгу словъ, изъ которыхъ трудно было бы вынять какое-нибудь содержаніе“—и проч.

[2]) См. его разборы „Молодика“, книжки Метлинскаго о значеніи поэзіи, и т. п.

трудѣ Костомарова того, что́ было въ немъ новаго въ научномъ отношеніи.

Гораздо страннѣе было отношеніе къ книгѣ Костомарова ученой харьковской коллегіи. По словамъ автобіографіи, нѣкоторые изъ профессоровъ не хотѣли признать диссертаціи, предметъ которой имъ казался страннымъ и неученымъ; противъ нея спорили долго, между прочимъ, Артемовскій-Гулакъ, профессоръ русской исторіи. За книгу заступался особенно профессоръ всеобщей исторіи Лунинъ, одинъ изъ лучшихъ профессоровъ во всей исторіи харьковскаго университета, человѣкъ просвѣщенный и ученый не по образцу другихъ своихъ сотоварищей. Онъ находилъ, что въ диссертаціи проводится настоящій историческій взглядъ, что для исторіи всего важнѣе найти выраженіе народнаго чувства и мысли... Этнографическія пристрастія Костомарова казались харьковскому ученому люду большой странностью; его самого считали немножко помѣшаннымъ или съ придурью; Лунинъ хлопоталъ о посылкѣ его за границу для приготовленія къ каѳедрѣ всеобщей новой исторіи,—но большинство, на упомянутомъ основаніи, не согласилось.

Обратимся къ книгѣ Костомарова. Въ сущности, ея научная роль была недолговѣчна: она была заслонена дальнѣйшими работами въ этой области, съ конца сороковыхъ годовъ, трудами Буслаева, Аѳанасьева и проч.; но чтобы опредѣлить ея цѣнность, надо сравнивать ее съ тѣмъ, что́ было въ нашей этнографической литературѣ до ея появленія. Популярнѣйшимъ этнографомъ былъ Сахаровъ, но трудъ его, имѣющій значеніе какъ собираніе, не имѣлъ совершенно никакой научной цѣнности; въ объясненіи народнаго обычая лучшими были труды Снегирева; Даль работалъ тогда только въ беллетристикѣ; Кирѣевскій собиралъ пѣсни, но еще ничто изъ нихъ не появлялось въ печати; Пассекъ, едва успѣвшій начать свои работы, оставилъ лишь нѣсколько очерковъ народнаго обычая и нѣсколько общихъ мыслей... Никакой, сколько-нибудь опредѣленной теоріи народныхъ изученій не было; общій взглядъ оставался еще на степени инстинкта, догадки, романтической идеализаціи; изученіе было эмпирическое; западная т.-е., собственно нѣмецкая, научная этнографія была неизвѣстна,— и въ своемъ источникѣ еще только начиналась. Если въ этой обстановкѣ мы представимъ себѣ работу провинціальнаго молодого ученаго,—не только не имѣвшаго правильной школы, но изъ-за своихъ интересовъ къ народности казавшагося оффиціальной ученой компаніи только чудакомъ и блаженнымъ, и лишеннаго, конечно, въ должной мѣрѣ и средствъ библіотечныхъ,—мы

найдемъ, что книга занимаетъ весьма видное мѣсто въ тогдашней этнографической литературѣ, какъ попытка цѣльнаго обзора и установленія извѣстнаго пріема изслѣдованія. Общая точка зрѣнія автора и объемъ его свѣденій объ этнографическомъ движеніи въ западной литературѣ будутъ видны по слѣдующей выдержкѣ изъ его введенія.

„У всѣхъ европейскихъ народовъ,—говорилъ Костомаровъ,—видна любовь къ народности и уваженіе къ народной поэзіи. Вездѣ собирали народныя пѣсни, объясняли ихъ, подражали имъ; вездѣ народность—и въ наукѣ, и въ словесности—нашла себѣ представителей. Англійскіе поэты, Вальтеръ-Скоттъ и Томасъ Муръ черпали изъ народныхъ пѣсенъ вдохновеніе для своихъ поэтическихъ созданій. Всеобъемлющая лира Гёте въ лучшихъ своихъ пѣснопѣніяхъ настраивалась подъ ладъ старонѣмецкихъ „лидовъ"; баллады Уландовы такъ близки къ своему источнику, что замѣняютъ для народа прежнія, его собственныя произведенія. Множество важныхъ трудовъ посвящено изученію, разработкѣ и изданію народности. Собранія старинныхъ англійскихъ поэтическихъ произведеній, изданныя Перси, много доказали, какъ важны пѣсни народныя для исторіи и литературы. Четырехтомная исторія англійской поэзіи Вартона служитъ примѣромъ того, какъ люди ученые цѣнятъ народное достояніе. Не менѣе важны труды Эллеса, Рейтсона и другихъ. „Древнія баллады" Джемсона и народныя „пѣсни Бордеровъ" Вальтеръ-Скотта можно поставить примѣрами отличнѣйшихъ сборниковъ. Въ послѣднемъ сочиненіи превосходно разсмотрѣна исторія Бордеровъ съ примѣненіемъ къ народнымъ остаткамъ и показаны суевѣрія народныя, наводящія притомъ на яснѣйшія точки воззрѣнія относительно повѣрій и миѳологіи европейскихъ народовъ. Въ Германіи замѣчательны труды Герреса, Брентано, Ерльаха, котораго сборникъ неоконченъ и къ сожалѣнію загроможденъ чуждыми прививками. Новое изданіе нѣмецкихъ пѣсенъ съ нотами для пѣнія подтверждаетъ то всеобщее вниманіе, которое показываютъ къ народной поэзіи германцы. Не ограничиваясь разработкой отечественныхъ матеріаловъ, они занимались и поэзіей другихъ народовъ; такъ Гриммъ, Бюшингъ и Вольфъ познакомили нѣмецкую публику съ народными произведеніями скандинавскихъ, славянскихъ и романскихъ племенъ. Передъ всѣми народами нѣмцы могутъ похвалиться своимъ безсмертнымъ Гердеромъ, который нанесъ рѣшительный ударъ прежнимъ мнѣніямъ и водрузилъ на незыблемомъ основаніи знамя народности. Не лишнимъ считаю упомянуть о сочиненіи г-жи Тальви, написавшей Опытъ характеристики народныхъ пѣсенъ. Французы, сбросившіе позже иго классицизма, долго упорствовали въ ложныхъ и уродливыхъ понятіяхъ о романтизмѣ;—но и они могутъ представить изъ числа своихъ ученыхъ такихъ, которые оказали услуги народности; Форьель, собиратель греческихъ пѣсенъ, Амперъ, Мармье, Генрихъ Бльазъ, Шарль Нодье и другіе. — Испанцы, еще въ XVI вѣкѣ имѣли собраніе своихъ народностей. — Въ Швейцаріи, Швеціи и Даніи ученые также занимались этимъ предметомъ. — Пѣсни славянскихъ народовъ были издаваемы нѣсколько разъ; но богатство матеріаловъ столь велико, что еще слишкомъ много нужно труда, дабы достичь того, что имѣютъ германскіе народы. У сербовъ есть прекрасный сборникъ пѣсенъ Вука Стефановича словаки имѣютъ Коллара, поляки Войцицкаго, Жеготу Паули и другихъ; пѣсни южно-русскія собирали Вацлавъ изъ Олеска, Жегота Паули, Максимовичъ,

Срезневскій, издавшій богатый запасъ исторической поэзіи съ учеными объясненіями, и другіе. Великорусскихъ пѣсенниковъ Сахаровъ насчиталъ 120; но преимущественно важны для насъ труды этого почтеннаго собирателя.

„Такимъ образомъ, почти вездѣ занимались народностью. Чтожъ было причиной любви къ прежде брошеннымъ и долго презираемымъ произведеніямъ поэзіи, которую еще и теперь иные честятъ именемъ мужицкой и базарной?

„Я полагаю тому три причины: первая есть литературная — слѣдствіе упадка классицизма; враждующія стороны классицизма и романтизма примирились въ идеѣ народности. Вторая—политическая, произошла изъ отношеній правительствъ къ народамъ. Третья—историко-сціентифическая.

„До сихъ поръ всѣ способы, какими выражали исторію, могутъ быть подведены подъ два главные вида: повѣствовательный и прагматическій. Но эти способы, какъ ни противоположны казались у нѣкоторыхъ писателей, ничуть не противны одинъ другому и оба необходимы въ каждомъ историческомъ сочиненіи... Два, наприм., событія случились въ разныхъ вѣкахъ, у различныхъ народовъ. Какъ бы ни было похоже одно на другое, но если они будутъ изображены совершенно безразлично, то ни въ томъ, ни въ другомъ не будетъ истины: въ мірѣ нѣтъ двухъ существъ, совершенно похожихъ; въ каждомъ есть что-нибудь особенное... Съ другой стороны, еще менѣе возможно чисто размышлительное (прагматическое) направленіе при небрежности повѣствованія и описательности. Для человѣческаго мышленія нуженъ предметъ; чтобы человѣкъ судилъ правильно, этотъ предметъ долженъ представиться ему ясно и ощутительно. Слѣдовательно, историческій прагматизмъ возможенъ только при отдѣлкѣ повѣствованія, а иначе все будетъ ошибочно и ограничится пустѣйшимъ мечтаніемъ. Два эти способа не только не заключаютъ въ себѣ противорѣчія, но единственно и возможны одинъ при другомъ. Главное въ исторіи вѣрность.

„Но изобразить событіе такъ, какъ оно было, не легко: историкъ долженъ постигнуть, въ чемъ состоитъ характеристика его. Слѣдовательно, занимаясь наукой, историкъ долженъ изучать все то, что въ мірѣ человѣческомъ кладетъ на разумное существо печать различія, то есть, мѣсто и время, народъ и вѣкъ".

Причины интереса къ народности, еще носившаго тогда характеръ по преимуществу романтическій, указаны въ сущности вѣрно, потому что, дѣйствительно, этотъ интересъ выросталъ въ литературѣ, политической жизни и наукѣ. Какъ мы замѣчали, Костомаровъ не былъ тогда знакомъ съ Гриммовымъ пріемомъ изслѣдованія, которое открывало миѳологическія основы поэзіи и пролагало путь широкому сравненію и обобщенію поэтическихъ мотивовъ,—и ставя историческій вопросъ о значеніи народной пѣсни, онъ понимаетъ его только въ тѣсномъ ближайшемъ смыслѣ; но важно было и то, что онъ настаивалъ на необходимости изученія народной стороны исторіи;—что потомъ надолго осталось лозунгомъ его историографической дѣятельности. Эту народную сторону исторіи, которой можно не найти и не угадать у лѣтописцевъ и историковъ, онъ искалъ въ пѣсняхъ. — Въ чемъ же состоитъ народная особенность и характеръ?

„Всякій народъ,—говоритъ онъ,—имѣетъ въ себѣ что-то опредѣленное, касающееся болѣе или менѣе каждаго изъ тѣхъ лицъ, которыя принадлежатъ народу. Это — народный характеръ, по которому цѣлая масса можетъ быть разсматриваема какъ одинъ человѣкъ. Всякое индивидуальное лицо имѣетъ свой характеръ: этотъ характеръ постигается въ его дѣйствіяхъ, пріемахъ, но преимущественно въ такихъ случаяхъ, когда онъ выказывается невольно, не стараясь быть замѣченнымъ, испытаннымъ, узнаннымъ... Всякій народъ, разсматриваемый какъ единое лицо, имѣетъ свой идеалъ, къ которому стремится. Отъ того, напр., историкъ, описывая дѣянія своего народа, старается тѣ черты, къ которымъ сильно сочувствуетъ, изображать въ благопріятномъ свѣтѣ. Для узнанія народнаго характера надобно поступать такъ, какъ съ человѣкомъ, котораго желаютъ изучать: надобно искать такихъ источниковъ, въ которыхъ бы народъ высказывалъ себя безсознательно. Къ такимъ источникамъ принадлежитъ литература... Истинная поэзія не допускаетъ лжи и притворства; минуты поэзіи—минуты творчества; народъ испытываетъ ихъ и оставляетъ памятники,—онъ поетъ; его пѣсни, произведеніе его чувства, не лгутъ; онѣ рождаются и образуются тогда, когда народъ не носитъ маски. Онъ самъ сознаетъ это: die Sache lebt im Gesang, говоритъ нѣмецъ; пѣсня—быль, скажетъ русскій. Въ самомъ дѣлѣ, народная пѣсня имѣетъ преимущество предъ всѣми сочиненіями: пѣсня выражаетъ чувства не выученныя, движенія души не притворныя, понятія не занятыя. Народъ въ ней является такимъ, каковъ есть: пѣсня—истина. Есть другое, столь же важное, достоинство народной пѣсни: ея всеобщность. Никто не скажетъ, когда и кто сочинялъ такую-то пѣсню: она вылилась цѣлою массою; всякій, кто ее поетъ, какъ будто считаетъ за собственное произведеніе; нигдѣ не является народъ такимъ единымъ лицомъ, какъ въ этихъ звукахъ души своей, слѣдовательно, ни въ чемъ такъ не выказываетъ своего характера".

По своему значенію историческаго источника, пѣсни могутъ быть важны въ разныхъ отношеніяхъ: какъ лѣтопись внѣшнихъ событій (напр., пѣсни историческія), какъ отраженіе народнаго быта, какъ предметъ изслѣдованія филологическаго,—наконецъ, какъ „памятники воззрѣнія народа самого на себя и на все окружающее". Въ этомъ послѣднемъ Костомаровъ видѣлъ самое важное достоинство пѣсенъ и, здѣсь, для историческаго вывода—„не нужно даже никакой критики, лишь бы пѣсня была народнаго произведенія". Съ этой точки зрѣнія и ведется его изслѣдованіе, по тремъ сторонамъ народной жизни: духовной, исторической и общественной.

Въ изложеніи жизни „духовной", авторъ въ одной главѣ выбираетъ изъ пѣсенъ черты, рисующія религіозное чувство народа (только малорусскаго, потому что „не имѣлъ ничего въ этомъ родѣ изъ великорусской поэзіи"); въ другой, онъ подробно останавливается на отношеніи народа къ природѣ.

Понятно, что событія, личныя и историческія, составляющія сюжетъ пѣсенъ, окружены обстановкой мѣстной природы. Но понятіе народа о природѣ не ограничивается одними этими изоб-

раженіями: она входитъ въ народную поэзію и болѣе глубокимъ образомъ,—она оживаетъ въ народномъ воображеніи, и авторъ объясняетъ это отношеніе народа къ природѣ слѣдующимъ, нѣсколько мистическимъ, образомъ:

„Предметы природы, часто встрѣчаемые, не интересуютъ народнаго воображенія, потому только, что глазъ безпрестанно видитъ ихъ. Надобно, чтобъ они существовали въ полномъ смыслѣ этого слова; народъ ищетъ въ нихъ жизни, а не призраковъ, хочетъ съ ними сообщаться не только тѣлесно, но и духовно. Физическая природа проникнута творческою идеею, согрѣта божественною любовію, облечена въ формы совершенства. Каждое явленіе въ ней не случайно, но имѣетъ свой законъ, открываемый духомъ. Въ природѣ заключается для человѣка значеніе, примѣнительное къ его собственному существу; человѣкъ видитъ въ окружающихъ его предметахъ не одну грубую безжизненную матерію; напротивъ, какъ бы ни удалено казалось отъ его существа какое-нибудь произведеніе родной планеты,—въ человѣкѣ есть тайное око, которое видитъ, что и грубая матерія имѣетъ связь съ духовнымъ существомъ; есть тайный голосъ, который указываетъ, въ чемъ состоитъ эта связь. Вотъ это сознаніе духовнаго въ тѣлесномъ и составляетъ основу всего прекраснаго въ искусствѣ. Оно есть признакъ гармоніи и любви, существующей между Творцомъ и его твореніями. Человѣкъ способенъ любить только духъ; тѣлесное само по себѣ недоступно его сердцу“ (стр. 25—26).

На этомъ Костомаровъ построилъ свое объясненіе роли природы въ народной поэзіи. Эта роль—символическая. Предметъ природы, входя въ поэтическое произведеніе народа, получаетъ въ немъ духовное значеніе, въ формѣ примѣненія его къ жизни нравственнаго существа или—символа. Символъ не есть ни образъ, ни сравненіе, ни аллегорія—они служатъ ему только формой; символъ представляетъ тайную внутреннюю связь, единство идеи въ явленіяхъ жизни природы и человѣка. „Народные символы, расположенные въ системѣ, составляютъ символику народа, которая служитъ намъ важнымъ источникомъ для уразумѣнія народной жизни. Въ общемъ смыслѣ символика природы есть продолженіе естественной религіи: Творецъ открывается въ твореніи; сердце человѣка любитъ въ явленіяхъ міра физическаго Вездѣсущій Духъ... Отношенія человѣка къ природѣ занимаютъ средину между отношеніями къ Творцу и къ самому себѣ, между любовію божественною и человѣческою, между жизнію созерцательною и практическою. Все это открывается въ символикѣ, которая имѣетъ чрезвычайную важность для этнографіи и исторіи. Взглядъ народа на природу показываетъ вмѣстѣ съ религіею, что такое народъ, какое человѣческое бытіе онъ заключаетъ въ себѣ: а это ведетъ къ уразумѣнію дальнѣйшихъ историческихъ вопросовъ—почему народъ дѣйствовалъ такъ, а не иначе“.

Русская народная символика имѣетъ, по Костомарову, трои-

кое основаніе: одни символы имѣютъ ясное основаніе въ самой природѣ; другіе основаны на историческомъ употребленіи извѣстнаго предмета въ древней жизни; третьи основаны „на старинныхъ миѳическихъ или традиціональныхъ сказаніяхъ и вѣрованіяхъ, составляющихъ достояніе народнаго баснословія". Предметы и явленія природы, изъ которыхъ почерпалась народная русская символика, Костомаровъ распредѣлялъ такъ: символы небесныхъ свѣтилъ и стихій; символы мѣстности, — царства ископаемаго, растительнаго, животнаго. Въ своемъ изслѣдованіи онъ остановился только на двухъ послѣднихъ разрядахъ народно-поэтическаго символа; онъ проводитъ длинный рядъ растеній, деревьевъ, птицъ, и иллюстрируетъ ихъ символическое значеніе многочисленными примѣрами изъ пѣсенъ русскихъ и особливо малорусскихъ.

Присутствіе символа не подлежитъ сомнѣнію, и въ ученой разработкѣ народной поэзіи онъ долженъ былъ необходимо быть собранъ и выясненъ; но Костомаровъ—по средствамъ своего времени—сдѣлалъ только половину задачи. Онъ большею частію, почти всегда, только указываетъ символъ—въ особенности тотъ, котораго смыслъ представляется самъ собою; но мало, или даже совсѣмъ не касается тѣхъ, которые произошли изъ „историческаго употребленія извѣстнаго предмета" или „старинныхъ миѳическихъ сказаній и вѣрованій". Двѣ послѣднія категоріи были указаны совершенно вѣрно, и очевидно, что въ опредѣленіи историческаго значенія народнаго міровоззрѣнія онѣ именно должны были привлечь особенное вниманіе, такъ какъ въ нихъ надо было ожидать отголоска давней и исторической поры народной мысли и поэтическаго творчества. Костомаровъ только указываетъ въ подобныхъ символахъ намеки на ихъ миѳологическое значеніе,— напр., на такое значеніе нѣкоторыхъ растеній; относительно символики птицъ онъ припоминаетъ птицеволхвованіе, которое было однимъ изъ догматовъ славянскаго язычества, или миѳологическія сказанія о птицахъ, замѣчая, что „нѣкоторыя изъ этихъ сказаній могутъ быть объяснены, другія надолго останутся одними неразрѣшимыми вопросами" (стр. 63).

Мы еще остановимся далѣе на этой сторонѣ его труда. Изъ символики животнаго царства Костомаровъ останавливается лишь на птицахъ; относительно насѣкомыхъ и звѣрей пѣсни давали скудный матеріалъ —этого матеріала надо было бы искать въ народныхъ разсказахъ и преданіяхъ, „но они у насъ мало извѣстны, особенно малорусскіе" (стр. 89).

Переходя затѣмъ къ исторической жизни народа, Костома-

ровъ указываетъ прежде всего, что пѣсни никакъ не могутъ служить полною исторіею, во-первыхъ, по вмѣшательству поэтической фантазіи; во-вторыхъ, потому, что съ одной стороны пѣсня не знаетъ многихъ событій, подробно описанныхъ лѣтописью, а съ другой останавливается на событіяхъ, лѣтописи совсѣмъ неизвѣстныхъ. Въ пѣснѣ остается лишь то, что произвело сильное впечатлѣніе на народъ; поэтому дольше сохраняются въ ней лишь важныя событія, крупные переломы въ народной жизни.

„Разница между историческими пѣснями Великой и Малой Руси чрезвычайно значительна. У великоруссовъ остались преданія о глубокой старинѣ кіевской, о Владимірѣ и богатыряхъ его, хотя народъ представляетъ себѣ славную эпоху превратно. Казалось бы, у малоруссовъ скорѣе должна была сохраниться исторія ихъ отечества, и однако мы еще ничего не видали въ такомъ родѣ. Дѣятельная жизнь послѣдующихъ временъ, участіе цѣлаго народа въ политическихъ дѣлахъ, кажется, стерли всю старину. За то исторія позднѣйшихъ временъ отразилась въ пѣсняхъ полно и ясно: цвѣты фантазіи не въ силахъ были совершенно закрыть истины; у великоруссовъ, напротивъ, ни одно изъ историческихъ событій, оставшихся въ народной памяти, не представляется такимъ, какимъ оно было въ самомъ дѣлѣ: народная фантазія все передѣлала по своему“ (стр. 90—91).

Циклъ малорусской эпической поэзіи начинается съ XVI вѣка и содержаніе его обнимаетъ козацкія дѣянія въ отношеніяхъ турецко-татарскихъ, польскихъ и русскихъ. Костомаровъ излагаетъ принадлежащія сюда думы и пѣсни, прибавляя къ нимъ историческія объясненія фактовъ и стараго быта. „Запорожская Старина“ доставила ему для этого обильный матеріалъ, и онъ не думалъ заподозрить подлинности многихъ произведеній, взятыхъ изъ этого источника. Приводя думы,—какъ теперь несомнѣнно, подложныя—онъ находитъ, напр., что „во всѣхъ этихъ пѣсняхъ событія рисуются вѣрно“; что „происшествіе разсказано согласно съ повѣствованіемъ Конисскаго, противно лѣтописямъ польскимъ“; что одна изъ этихъ думъ „отличается народною философіею, въ которой видимъ свойственное малорусскому народу самопреданіе въ волю божію и сознаніе собственной справедливости; она оканчивается пророческимъ предчувствіемъ будущаго, далекаго счастія Украины“ (стр. 99—100). Теперь, заслугу этой „народной философіи“ надо приписать тому „даровитому автору“, котораго предполагалъ Максимовичъ (какъ было упомянуто нами въ прошлой статьѣ), а „пророческое предчувствіе“ теряетъ цѣну какъ высказанное цѣлые вѣка послѣ событій.

Въ обзорѣ поэзіи великорусской Костомаровъ не берется объяснять особеннаго склада древняго кіевскаго эпоса, но уже подозрѣваетъ вопросы, которые должны были о немъ возникнуть и потомъ дѣйствительно возникли. „Конечно,—говоритъ онъ,—Владиміръ, богатыри, змѣи, калѣки перехожіе, перешли къ намъ изстари, но они измѣняли столько разъ свои черты, столько разъ пересоставлялись, передѣлывались,—и каждое преобразованіе оставляло въ нихъ свою память,—что могутъ служить для насъ зеркаломъ народной жизни не какого-нибудь одного періода времени, хотя бы и очень важнаго, а цѣлыхъ вѣковъ. Пѣсни эти имѣютъ для историка значеніе обширное, но только при извѣстныхъ условіяхъ. Надобно сначала употребить самый строгій трудъ, чтобы показать, откуда, что, и какъ, и почему, и когда. Для этого нужны глубокая ученость, разнообразныя свѣденія, неутомимое трудолюбіе, а болѣе всего добросовѣстность, безъ которой всякій ученый трудъ остается не только безъ пользы, но даже со вредомъ. Тогда каждое лицо богатыря, каждое, повидимому, безсмысленное имя что-нибудь указало бы историку. До сихъ поръ, эти пѣсни, такъ, какъ онѣ теперь напечатаны въ сборникахъ, столько же помогутъ ему, сколько помогли неизъяснимые гіероглифы на старинныхъ камняхъ историкамъ-археологамъ“ (стр. 115).

Любопытно, что какъ изъ малорусскихъ думъ именно въ подложныхъ Костомаровъ нашелъ „вѣрность исторіи“ и „народную философію“, такъ въ обзорѣ новгородскихъ сказаній ему „всѣхъ полнѣе и отчетливѣе изъ новгородскихъ поэмъ представляется повѣсть объ Акундинѣ Акундиновичѣ, помѣщенная въ изданіи сказокъ Сахарова“—и, какъ теперь ясно, составляющая собственное сочиненіе Сахарова. Перечисливъ въ этой сказкѣ различныя черты новгородскаго быта и „современныя понятія“, Костомаровъ заключалъ, что „весь разсказъ проникнутъ духомъ особеннаго романтизма (!), свойственнаго только русскому элементу“ (стр. 116—117).

Въ изложеніи общественной жизни малоруссовъ по пѣснямъ, Костомаровъ останавливается на главнѣйшихъ типахъ, которые рисуетъ пѣсня: козакъ, чумакъ, бурлакъ, поселянинъ, панъ, жидъ, цыганъ.—Книга оканчивается обзоромъ общественнаго быта по пѣснямъ великорусскимъ [1]).

[1]) Въ концѣ книги Костомаровъ перечисляетъ источники, служившіе ему въ трудѣ его. Это—немногочисленная этнографическая литература того времени, русская, малорусская (и галицкая) и славянская:

— Изданія Сахарова; сочиненія Снегирева.

Этнографическіе взгляды Костомарова выясняются еще другой его книгой—о славянской миѳологіи, изданной во время профессуры въ Кіевѣ, въ разгарѣ его славянскихъ мечтаній и напечатанной даже, вѣроятно, для большаго археологическаго внушенія, церковно-славянскимъ шрифтомъ [1]).

Въ книгѣ о народной поэзіи, какъ мы видѣли, Костомаровъ, разбирая поэтическіе „символы" народной пѣсни, предчувствовалъ, что многіе изъ нихъ были отголоскомъ отдаленныхъ вѣрованій, а эти вѣрованія представлялись ему надолго неразрѣшимыми вопросами. Въ книгѣ о миѳологіи эти вопросы кажутся ему уже въ большой степенени разъяснившимися. Костомаровъ сопоставляетъ извѣстія о славянскомъ язычествѣ, особливо балтійскомъ, какихъ довольно много оставили средневѣковые нѣмецко-латинскіе лѣтописцы, съ тѣмъ, что́ сохранилось въ извѣстіяхъ славянскихъ, и

— Изданія Максимовича, Срезневскаго, Лукашевича, Вацлава изъ Олеска, Жеготы Паули, Лозинскаго, „Русалка Днѣстровая".

— Изданія Войцицкаго (Klechdy; Zarysy Domowe); словацкія „Narodnie Zpiewanky", Коллара.

— Кромѣ того, онъ ссылается на галицкое собраніе колядокъ, Бѣрецкаго, сообщенное ему, по возвращеніи изъ путешествія въ славянскія земли, Срезневскимъ. „Это рукописное собраніе,—говоритъ Костомаровъ,—содержитъ 33 пѣсни и драгоцѣнно въ высокой степени для русской этнографіи, филологіи, исторіи, и въ особенности миѳологіи; такъ что многое проливаетъ новый свѣтъ на вѣрованія нашихъ предковъ". Это „драгоцѣнное собраніе", кромѣ отдѣльныхъ цитатъ, никогда не являлось въ печати.

— Наконецъ, Костомаровъ „имѣлъ подъ рукою" собраніе нигдѣ еще не напечатанныхъ малорусскихъ пѣсенъ, числомъ болѣе 500, и которое вскорѣ должно было явиться въ печати.—Вѣроятно онъ говорилъ о собственномъ сборникѣ.

Прибавимъ еще, что книга Костомарова вызвала, кромѣ упомянутаго отзыва Бѣлинскаго, еще нѣсколько журнальныхъ статей. Сенковскій (Библ. для чтенія, 1844, т. 66-й, отд. 6, стр. 12) съ остроуміемъ весьма сомнительнаго качества глумился надъ мыслью отыскивать историческое значеніе—въ народной поэзіи, т.-е. въ мірѣ ямщиковъ, зелена вина и т. д. Срезневскій далъ о книгѣ весьма сочувственный отзывъ въ „Москвитянинѣ" (1844, ч. II, № 3, стр. 141—154), гдѣ, впрочемъ, замѣчалъ, что авторъ, излагая содержаніе народной поэзіи, не разъяснилъ вопроса о томъ, какъ и чѣмъ же можетъ воспользоваться здѣсь историкъ,—между тѣмъ какъ только рѣшеніе этого вопроса могло бы оправдать названіе книги. Наконецъ, обширный разборъ книги Костомарова сдѣлалъ нѣкто К. Калайденскій, въ „Маякѣ" 1844, т. XV, кн. XXX, стр. 31—82; но въ сущности этотъ разборъ есть только изложеніе книги, съ очень немногими и незначительными замѣчаніями.

[1]) „Славянская Миѳологія. Сочиненіе Николая Костомарова. Извлеченіе изъ лекцій, читанныхъ въ университетѣ св. Владиміра во второй половинѣ 1846 года". Кіевъ 1847. Большое 8°, 113 стр. Эта книга въ свое время не успѣла поступить въ продажу, и потомъ извѣстна была только любителямъ и спеціалистамъ. Въ шестидесятыхъ годахъ А. А. Котляревскій намѣревался перепздать эту книгу, дополнивъ ее по новнмъ изслѣдованіямъ; много было даже напечатано,—но изданіе не было приведено къ концу, не знаемъ, почему.

въ народныхъ преданьяхъ, повѣрьяхъ и обычаяхъ,—и старается открыть внутренній смыслъ этихъ фактовъ. Этотъ смыслъ представляется ему въ томъ, что славянскія божества, какъ сохранившіяся народныя повѣсти и обряды, представляютъ символизацію силъ и явленій природы. Объясненіе, по существу, было вѣрно, потому что древнія религіи не знали вообще другихъ предметовъ поклоненія; но вопросъ заключался въ опредѣленіи пути, которымъ совершалось образованіе миѳа, и въ опредѣленіи его склада. Наука въ то время, въ сороковыхъ годахъ (а въ послѣднія десятилѣтія и у насъ) была уже на пути къ реальному, филологическому и археологическому выясненію этого образованія миѳа и его характера; Костомарову это движеніе, происходившее именно въ нѣмецкой наукѣ, осталось тогда, да и послѣ, чуждо, и онъ довольствуется общими впечатлѣніями, отгадкой, и его объясненіе (какъ мы отмѣчали и относительно народно-поэтической символики) остается общимъ и полу-мистическимъ.

Славянскую, и въ томъ числѣ древне-русскую, миѳологію Костомаровъ постоянно сравниваетъ съ миѳологіей древнихъ восточныхъ, классическихъ народовъ, германцевъ—перенося на славянскія божества и преданія тотъ смыслъ, который находили тамъ ученые старой школы, и вообще устанавливаетъ между ними полную параллельность—въ олицетвореніи силъ природы, борьбы свѣта и тьмы, тепла и холода, лѣта и зимы, добра и зла. —Сдѣлавъ рядъ подобныхъ сравненій миѳологіи разныхъ народовъ, Костомаровъ приходитъ къ такому обобщенію:

„Такимъ образомъ, мы видимъ здѣсь всеобщее понятіе объ олицетвореніи солнечной силы: смерть и воскресеніе въ мірѣ физическомъ знаменуетъ годовой кругъ—лѣто и зима, а въ мірѣ нравственномъ вочеловѣченіе божества на землѣ, благодѣянія, страданія и торжество. Эта идея высказалась и въ воплощеніяхъ Вишну, и въ Озирисѣ, и въ Діонисіи, и въ Атисѣ, и въ Созіашѣ, и въ Бальдурѣ, и въ нашемъ языческомъ божествѣ съ различными названіями и съ однимъ значеніемъ [1]). Гельмольдъ говоритъ, что Радегастъ былъ герой, странствовалъ по землѣ, и погибъ въ сраженіи, а потомъ содѣлался божествомъ. Вѣрно славяне вѣрили въ его воскресеніе или переходъ въ высшую жизнь какъ существа, вмѣстѣ божественнаго и человѣческаго, ибо Свантовитъ, по ихъ понятію, ѣздилъ на конѣ своемъ и сражался съ врагами...

«Эта идея воплощенія, страданія и торжества божественнаго существа на землѣ была чудеснымъ предчувствіемъ пришествія Сына Божія, солнца правды, свѣта истины, и служитъ величайшимъ историческимъ подтвержденіемъ истины нашего св. Писанія. Это была идея, вложенная Творцомъ въ родъ человѣческій: человѣкъ, какую бы религію ни создалъ себѣ, непремѣнно долженъ былъ проявить въ ней то начало, съ которымъ самъ произошелъ на свѣтъ; оторвать

[1]) Раньше онъ говорилъ о Свантовитѣ, Радегастѣ, Сварогѣ, Дажьбогѣ и проч.

отъ него мысль о вочеловѣченіи божества было бы столь же трудно, какъ истребить вѣру въ свою душу. Коварные умы не разъ уже хотѣли доказывать подложность исторіи Іисуса Христа видимымъ подобіемъ съ вѣрованіемъ народовъ, не разъ уже указывали и на Созіаша, и на Адониса, и на Аполлона, какъ на первообразы Богочеловѣка; но всѣ ихъ указанія могутъ служить только бо́льшимъ подтвержденіемъ и укрѣпленіемъ того, что хотятъ ниспровергнуть. Во всѣхъ миѳологіяхъ, какъ бы онѣ ни были извращены человѣческимъ мудрованіемъ и фантазіею, скрываются истины, въ глубочайшей древности дѣтства человѣческаго открытыя свыше... За всѣхъ умеръ Христосъ, и потому былъ чаяніемъ всѣхъ языковъ. Въ блуждающихъ образахъ народа искали его; Онъ, по словамъ Св. Писанія, въ мірѣ былъ, но міръ его не познавалъ, и когда нашлись тѣ, которые познали его, когда, подобно завѣсѣ, раздранной въ храмѣ въ минуту его кончины, пали передъ свѣтомъ его темные призраки и символы, церковь его стоитъ на такомъ твердомъ камнѣ ясной для всѣхъ истины, что врата адовы не сдвинутъ ее во вѣки" (стр. 51—54).

Такимъ образомъ точка зрѣнія Костомарова на древнія языческія миѳологіи есть та, съ какой теологія объясняла „естественныя религіи". Съ другой стороны прибавлялся къ этому тотъ взглядъ, какой излагала такъ-называемая символическая школа миѳологіи, предшествовавшая Гримму и которой главнѣйшимъ представителемъ былъ Крейцеръ (1771 — 1858), авторъ знаменитой нѣкогда книги: „Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen" (1810 — 12, и нѣсколько изданій потомъ). Символическая школа миѳологіи была въ тѣсной связи съ романтическимъ движеніемъ, которое, обращаясь къ старинѣ, къ востоку, къ народному преданію, видѣло въ нихъ запасъ новыхъ нравственныхъ и поэтическихъ идей. Символическая школа была реакціей противъ сухого эвгемеризма XVIII-го столѣтія, который видѣлъ въ миѳологіи фантастическое извращеніе или обобщеніе историческаго лица и событія, или басню, „выдуманную жрецами", и не видѣлъ цѣлаго психологическаго процесса, какимъ создавалась миѳологія. Новая школа была шагомъ впередъ въ томъ отношеніи, что на мѣсто механическаго понятія о происхожденіи миѳа, ставила вопросъ объ его естественномъ происхожденіи въ психологическомъ процессѣ народной жизни, — ошибка была лишь та, что новая школа на этотъ вопросъ давала отвѣтъ, построенный не на точномъ изученіи фактовъ, а на теоретическомъ предположеніи. По ученію символической школы (Крейцеръ, Отфридъ Мюллеръ, Швенкъ, Велькеръ и др., которые частію и цитируются Костомаровымъ, а позднѣе и Аѳанасьевымъ), миѳъ есть вообще иносказаніе, изображающее астрономическія и физическія явленія,—солнце и звѣздное небо, свѣтъ и тьму, переходы временъ года и т. п. Сравненіе указывало господство однихъ и тѣхъ же мотивовъ въ миѳологіи всѣхъ народовъ; въ сравненіе

были привлечены и семитическіе языки, и недавно открытый санскритъ и египетская древность; аллегорія и образный языкъ были у всѣхъ народовъ выраженіемъ религіозно-миѳологическихъ идей; „миѳы и сказанія отдѣльныхъ народовъ суть только незначительныя варіаціи и нарѣчія одного первобытнаго общаго языка, именно—восточнаго, образнаго языка“. Источникомъ многообразнаго развитія миѳологій было первобытное единобожіе востока, которое было дѣломъ откровенія, и притомъ не въ формѣ деизма, отличающаго божество отъ творенія, а въ формѣ пантеистическаго ихъ единства, воплощенія и эманаціи. Вся миѳологія становилась рядомъ символовъ, и такъ какъ ея основныя тэмы и олицетворенія повторялись у разныхъ народовъ, то въ отождествленіи символовъ терялись наконецъ отличительныя черты вѣковъ и народностей. Миѳологія становилась мистической; для ея уразумѣнія требовалось уже не одно историческое изслѣдованіе, но особое чувство [1]). Страсть видѣть повсюду символъ приводила, наконецъ, къ самому превратному пониманію фактовъ, напр., греческой древности. Миѳическія исторіи боговъ и героевъ были только символами природныхъ событій и явленій. Греки заимствовали ихъ у индійцевъ и египтянъ, но это былъ народъ легкаго, подвижного характера, — они забыли глубокое значеніе символовъ, и древняя египетская мудрость сохранилась у грековъ только въ мистеріяхъ. Первобытная религія, пришедшая изъ Индіи и Египта, хранилась у пелазговъ; греки утратили ея таинственный смыслъ, такъ что въ этомъ смыслѣ греческая цивилизація была упадкомъ, сравнительно съ первоначальнымъ достоинствомъ преданія. По слѣдамъ Вольфа, наука считала Гомеровскій эпосъ истинно національнымъ произведеніемъ, передающимъ греческое міровоззрѣніе въ полной чистотѣ первобытной наивности; символическая школа, напротивъ, видѣла въ Гомерѣ только поэта, который вносилъ свой личный произволъ въ міръ религіозно-символическихъ идей и нарушилъ древнюю чистоту ученій: послѣдняя, хотя и не вполнѣ, сохранилась у Гезіода и была легкомысленно искажена у Гомера. Наконецъ, вообще первобытная религіозная символика восходитъ къ отдаленнымъ временамъ человѣчества и, передаваемая изъ рода въ родъ жрецами, представляла таинственное ученіе, которое было подготовленіемъ къ христіанству...

[1]) „Главный трудъ, лежащій на миѳологѣ, — говорилъ Крейцеръ, — заключается не въ исторической критикѣ, которая, конечно, необходима, но въ воспріятіи (Apperception), которому нельзя научиться или добиться трудомъ, но которое обусловливается духовной организаціей, въ родѣ той, какая дѣлаетъ поэта“.

Относительно греческой древности, эта теорія еще въ десятыхъ и двадцатыхъ годахъ вызвала сильныя опроверженія, въ особенности со стороны знаменитыхъ классическихъ филологовъ Готфрида Германна и Лобека; самый пріемъ этой безграничной символизаціи былъ устраненъ новымъ филологическимъ и археологическимъ методомъ Гримма, который—не смотря на его преувеличенія — сводилъ вопросъ на реальную почву; наконецъ, новыя изслѣдованія въ области антропологической археологіи совершенно опровергали мысль о глубокихъ первобытныхъ откровеніяхъ и, напротивъ, открывали перспективу грубаго до-историческаго быта и грубой первоначальной миѳологіи...

Взглядъ Костомарова, какъ онъ выразился въ его „Миѳологіи“ и частію въ книгѣ объ историческомъ значеніи русской народной поэзіи. очевидно находится въ связи съ теоріями символической школы. Раза два Костомаровъ цитируетъ Гримма („Rechtsalterthumer“ и самую „Mythologie“), но книга пересыпана ссылками на Крейцера, который, безъ сомнѣнія, внушилъ ему и частыя обращенія къ миѳологіямъ восточнымъ, индійской и персидской [1]). Построеніе славянской миѳологіи осталось апріористическимъ; факты пригонялись подъ готовую систему, и недостатокъ построенія оказался таковъ же, въ какомъ дальнѣйшая критика укоряла самого Крейцера. Увлеченія натуръ-философіи легко были отринуты, потому что первыя строгія реальныя наблюденія опровергали ихъ наглядно, такъ какъ самый предметъ наблюденія былъ всегда на лицо; но предметъ миѳологическихъ изслѣдованій отсутствовалъ, и мистическія толкованія могли быть отвергнуты только путемъ сложныхъ и глубокихъ изслѣдованій, для основанія которыхъ нужна была такая великая научная сила, какъ Яковъ Гриммъ. У насъ отголоски старой символической школы еще продолжались въ трудѣ Аѳанасьева, о которомъ мы говорили при другомъ случаѣ. Лишь въ послѣднее время сознана вполнѣ необходимость точнаго опредѣленія первоначальныхъ фактовъ и самыхъ источниковъ,—съ чего слѣдовало начаться изслѣдованію.

Трудъ Костомарова не былъ первымъ въ этой области: не говоря о первыхъ, очень мало или совсѣмъ ненаучныхъ трудахъ по русской миѳологіи и этнографіи (какъ Сахарова и Терещенка), онъ имѣлъ предшественниковъ въ Снегиревѣ—уже собиравшемъ „простонародные праздники и суевѣрные обряды“, въ Касторскомъ

[1]) Ср. Котляревскаго, разборъ „Поэтическихъ воззрѣній Славянъ на природу“ Аѳанасьева, въ десятомъ присужденіи наградъ гр. Уварова, Спб. 1868, стр. 40.

(„Славянская миѳологія“, 1841) и особливо въ Срезневскомъ, въ книгѣ котораго: „Святилища и обряды языческаго богослуженія древнихъ Славянъ, по свидѣтельствамъ современнымъ и преданіямъ“ (Харьковъ, 1846), кромѣ множества указаній изъ средневѣковыхъ лѣтописцевъ и другихъ памятниковъ, иностранныхъ и славянскихъ, введены и народныя преданья, пѣсни и обычаи. Костомаровъ имѣлъ также въ распоряженіи труды западно-славянскихъ ученыхъ (Шафарикъ, Палацкій, Ганушъ).—Не смотря на указанную натянутость взгляда, „Миѳологія“ Костомарова, какъ и его сочиненіе о народной поэзіи, были большой заслугой. Въ литературѣ популярной были еще возможны такіе образчики невѣжества, какіе мы указали въ рецензіи Сенковскаго; съ другой стороны, невѣжественное отношеніе къ предмету было возможно и въ ученомъ ареопагѣ, какъ тотъ Харьковскій, который не хотѣлъ принимать диссертаціи. Труды Костомарова были важны для установленія новаго историко-этнографическаго изученія, во-первыхъ, какъ цѣльные обзоры, во-вторыхъ, многими частностями: таковы были въ „Миѳологіи“ указанія на смыслъ народныхъ обрядовъ, въ книгѣ о народной поэзіи—обзоръ поэтической символики пѣсенъ и опыты изображенія по пѣснямъ историческихъ общественныхъ отношеній. Можно пожалѣть, что эти стороны народной поэзіи привлекаютъ теперь сравнительно мало вниманія: новые изслѣдователи всего больше поглощены изслѣдованіемъ генезиса народнаго преданія, и мало вниманія посвящаютъ народной поэзіи въ ея statu quo, въ томъ послѣднемъ историческомъ терминѣ, въ какомъ мы видимъ ее въ настоящее время, и въ ея современномъ смыслѣ для народа.

Костомаровъ остался чуждъ дальнѣйшему развитію нашихъ этнографическихъ изученій, когда они усложнились новыми пріемами—детальнымъ изученіемъ самыхъ источниковъ, при содѣйствіи сравнительнаго языкознанія и обширнаго сличенія нашихъ сказаній съ преданіями другихъ народовъ. Онъ остался до конца на своей прежней точкѣ зрѣнія... Но его этнографическій интересъ, при этой старой точкѣ зрѣнія, тѣмъ не менѣе плодотворно развился въ двухъ направленіяхъ: въ трудахъ по изданію произведеній народной поэзіи и ихъ ближайшему историческому толкованію, и особливо—въ примѣненіи этнографическихъ соображеній къ исторіографіи.

Уже съ конца сороковыхъ годовъ Костомаровъ сталъ заниматься по преимуществу исторіей, и въ его историческихъ трудахъ именно вошла—глубокимъ внутреннимъ основаніемъ—та же мысль о народной жизни и ея исторической судьбѣ, которая ру-

ководила его прежними этнографическими трудами, мысль, которая и составляетъ отличительную особенность и главнѣйшее достоинство его историографической дѣятельности. Мы замѣчали въ другомъ мѣстѣ, что Костомаровъ не написалъ своей историографической теоріи, но кромѣ того, что она выражается самыми его трудами—нѣкоторое объясненіе ея онъ далъ въ лекціи: „объ отношеніи русской исторіи къ географіи и этнографіи".

Указавъ, какъ историческое знаніе, и наше въ томъ числѣ, постоянно расширяло кругъ своихъ изслѣдованій отъ чисто внѣшнихъ государственныхъ событій до подробностей внутренняго быта, Костомаровъ объясняетъ, что главная цѣль исторіи заключается все-таки даже не въ самыхъ обстоятельныхъ изображеніяхъ внѣшней жизни, а въ уразумѣніи „психологіи прошедшаго". Для этой цѣли трудъ историка долженъ быть необходимо связанъ съ трудомъ этнографа.

„Поставивши задачею историческаго знанія жизнь человѣческаго общества и, слѣдовательно, народа, историкъ тѣмъ самымъ становится въ самое тѣсное отношеніе къ этнографіи, занимающейся состояніемъ народа въ его настоящемъ положеніи. Исторія изображаетъ теченіе жизни народной; для этого, само собою, нужно историку знать тотъ образъ, къ которому довело ее это теченіе. Съ другой стороны, и этнографъ не иначе можетъ уразумѣть состояніе народа, какъ прослѣдивши прежніе пути, по которымъ народъ дошелъ до своего состоянія; всѣ признаки современной жизни не иначе могутъ имѣть смыслъ, какъ только тогда, когда они разсматриваются какъ продуктъ предъидущаго развитія народныхъ силъ. Въ способѣ занятій этнографіей и въ способѣ ея изложенія усматриваются тѣ же ошибки, какъ и въ сферѣ исторической науки. Принимали матеріалъ для предмета за самый предметъ. Этнографіею называли замѣчанія или описанія, касавшіяся того, какіе обычаи господствуютъ въ томъ или другомъ мѣстѣ, какія формы домашняго быта сохраняются здѣсь и тамъ, какія игры и забавы въ употребленіи у народа. Но забывалось, что главный предметъ этнографіи или науки о народѣ,—не вещи народныя, а самъ народъ, не внѣшнія явленія его жизни, а самая жизнь. Притомъ же давалось этнографіи значеніе очень тѣсное. Въ кругъ этой науки вводилось только то, что составляетъ особенности быта простонародія; все, что принадлежало другимъ классамъ народа, считалось не входящимъ въ эту науку. Пляска сельскихъ дѣвушекъ была предметомъ этнографіи, но никто не осмѣлился бы внести въ этнографію описаніе бала или маскарада. Въ этомъ отношеніи этнографія представлялась въ прямомъ противорѣчіи съ исторіей, когда послѣдняя занималась исключительно верхними сферами. По нашему мнѣнію, если этнографія есть наука о народѣ, то кругъ ея слѣдуетъ распространить на цѣлый народъ, и такимъ образомъ—предметомъ этнографіи должна быть жизнь всѣхъ классовъ народа, и высшихъ, и низшихъ. Какъ наука о жизни—она не можетъ ограничиваться тѣмъ, что прежде всего бросается въ глаза съ перваго раза, но тѣмъ менѣе одними обычаями и чертами низшихъ классовъ. Въ этнографію должно входить вліяніе, какое имѣютъ на процессъ народной жизни законы и права, дѣйствующіе въ странѣ: сложеніе понятій и взглядовъ во всѣхъ классахъ народа, административныя и юридическія от-

правленія, принятіе и усвоеніе результатовъ современнаго воспитанія и науки, политическія понятія и тенденціи, соотношеніе внѣшнихъ явленій и политическихъ событій съ народными взглядами.

Этнографъ долженъ быть современнымъ историкомъ, какъ историкъ своимъ трудомъ излагаетъ старую этнографію" [1]).

Упомянувъ о новѣйшемъ историческомъ вопросѣ, возникшемъ въ нашей литературѣ—о противорѣчіи между государственностью и народностью, Костомаровъ объясняетъ, что прежде „историки наши имѣли въ виду государство и его развитіе, а не народъ: послѣдній оставался въ глазахъ ихъ какъ бы бездушною массою, матеріаломъ для государства, которое одно представлялось съ жизнью и движеніемъ. Для полноты же исторической науки необходимо, чтобы и другая сторона народной жизни равнымъ образомъ была представлена въ научной ясности, тѣмъ болѣе, что народъ вовсе не есть механическая сила государства, а истинно живая стихія, а государство, наоборотъ, есть только форма, само по себѣ мертвый механизмъ, оживляемый только народными побужденіями, такъ что самодѣятеленъ ли народъ, бездѣйственъ ли онъ,—во всякомъ случаѣ государственность не можетъ быть инымъ чѣмъ, какъ результатомъ условій, заключающихся въ народѣ; и даже тамъ, гдѣ народъ, погруженный въ мелкіе, единичные интересы, представляетъ собою недвижимую, немыслящую, покорную массу, и тамъ формы государственныя со всѣми своими развѣтвленіями и со всѣми уклоненіями отъ потребностей, лежащихъ въ народѣ, все-таки получаютъ корень въ народѣ, если не въ сознаніи и дѣятельности, то въ отсутствіи мысли и въ безсиліи его" [2]).

Костомаровъ указываетъ затѣмъ неразвитость нашей русской этнографіи—въ объясненіи собираемаго матеріала. Какъ исторія становится только археологіей, когда накопляетъ только факты прошлой жизни, такъ и этнографическое богатство, даже при научномъ построеніи, не составляетъ науки о народѣ. У насъ есть собранія пѣсенъ, пословицъ, областной словарь, подробныя описанія быта, но все это отрывочно, неполно и не приведено въ систему. Сравнительная сторона дѣла чрезвычайно мало обработана. Указываютъ извѣстные предметы и явленія въ одномъ краѣ, и не указываютъ, есть ли они въ другомъ; или, находя сходство, не ищутъ узнать, есть ли оно давнее или позднѣйшее. Относительно произведеній народной словесности оставалось обык-

[1]) Историческія монографіи и изслѣдованія. Т. III, Спб. 1867, стр. 359—360.
[2]) Тамъ же, стр. 361—362.

новенно не выясненнымъ, кѣмъ именно и въ какихъ обстоятельствахъ, съ какимъ настроеніемъ поются тѣ или другія пѣсни, гдѣ и кѣмъ употребляются извѣстныя пословицы, и т. п. Относительно народнаго языка мы имѣемъ сборникъ областныхъ словъ, но не имѣемъ понятія объ областной рѣчи, т.-е. цѣломъ изложеніи, разсказѣ или разговорѣ; знаемъ, что есть особыя нарѣчія, но не знаемъ ихъ границъ,—и притомъ, съ особыми нарѣчіями соединяются оттѣнки понятій, нравовъ и обычаевъ, въ которыхъ, безъ сомнѣнія, отложились слѣды прожитыхъ вѣковъ. Наконецъ, этнографія никакъ не должна ограничиваться изображеніемъ быта одного простонароднаго сельскаго класса: не только низшіе, но средніе и высшіе классы представляютъ много отличій; помѣщики различны по землямъ, какими владѣютъ, по способу хозяйства и правиламъ домашняго быта, купцы и мѣщане по роду занятій и т. д. Все это еще должно быть собрано, и главное, освѣщено сравненіемъ и историческимъ объясненіемъ, и тогда только этнографія въ связи съ исторіей станетъ настоящей наукой.

Въ частности, относительно пѣсенъ, которыя были нѣкогда предметомъ первыхъ ученыхъ работъ Костомарова, онъ замѣчалъ—черезъ двадцать лѣтъ послѣ своей диссертаціи: „Пѣсни наши вообще мало были анализованы: не показано отраженія въ нихъ природы; не приведена въ ясность народная символика образовъ природы, составляющая вообще сущность первобытной поэзіи; не указаны типы лицъ, созданныхъ народной поэзіей, не изложенъ въ системѣ поэтическій способъ выраженій, общій народу и любимый имъ по преимуществу; не указаны переходы отъ старыхъ формъ къ новымъ; не представлено, какъ сохранились въ пѣсняхъ воспоминанія и слѣды старой жизни съ ея угасшими посреди новаго быта признаками и, наконецъ, не соблюдались особенности нарѣчій, на которыхъ записывались пѣсни“ [1]).

Такова была программа этнографическихъ понятій Костомарова. Очевидно, это было развитіе тѣхъ самыхъ взглядовъ, съ какими онъ велъ свою первую работу о народныхъ пѣсняхъ: они стали теперь только болѣе опредѣленными.

Позднѣйшія работы Костомарова въ этой области, какъ мы замѣтили, шли въ двоякомъ направленіи. Съ одной стороны, онъ искалъ въ исторіи народныхъ и бытовыхъ элементовъ — таково множество его работъ по исторіи великорусской, въ статьяхъ о федеративномъ началѣ древней Руси, въ исторіи Новгорода

[1]) Тамъ же, стр. 369.

и Пскова, въ трактатѣ о началѣ единодержавія въ древней Россіи, въ книгѣ о бытѣ и нравахъ XVI — XVII вѣка, въ мастерскомъ изслѣдованіи о Стенькѣ Разинѣ, и т. д. Тѣмъ же стремленіемъ выдвинуть племенные элементы внушаемы были многочисленныя изслѣдованія по малорусской исторіи, которая видимо казалось ему не достаточно оцѣняемой и принимаемой во вниманіе,—какъ то дѣйствительно и было. Характеристическая эпоха Богдана Хмельницкаго съ самаго начала привлекла его, и уже въ послѣдніе годы жизни онъ приготовилъ четвертое, переработанное изданіе книги. Въ статьѣ о „двухъ народностяхъ" онъ поставилъ и основной вопросъ объ отличіяхъ племенъ великорусскаго и малорусскаго, — до тѣхъ поръ никогда ясно не поставленный и съ тѣхъ поръ также еще не вызвавшій новаго, болѣе подробнаго опредѣленія. Съ другой стороны, Костомаровъ, какъ упомянемъ, продолжалъ заниматься спеціальнымъ изученіемъ пѣсенъ.

Мы касались въ другомъ мѣстѣ отличій направленія Костомарова отъ славянофильства, — достоинства котораго онъ не однажды нѣсколько демонстративно указывалъ. Не говоря о томъ, что здѣсь расходились личные интересы и привязанности, направленные у славянофиловъ къ Москвѣ, у Костомарова къ Малороссіи,—различно было существо мнѣній. У Костомарова никогда не было увлеченія абстрактными и напыщенно выраженными теоріями; онъ былъ всегда проще, реальнѣе, нагляднѣе, не пускался въ рѣшеніе текущихъ вопросовъ національной жизни и въ прорицанія. По существу взглядовъ, у него было мало общаго съ славянофилами. Интересъ къ народнымъ элементамъ исторіи и общественнаго быта, въ той или другой формѣ, принадлежалъ обоимъ главнымъ литературнымъ лагерямъ—западному и восточному еще съ сороковыхъ годовъ; съ пятидесятыхъ годовъ, этотъ общій интересъ выросъ тѣмъ болѣе, и въ другомъ мѣстѣ мы указывали, сколько драгоцѣнныхъ трудовъ и изслѣдованій сдѣлано было въ этомъ направленіи людьми именно не-славянофильскаго лагеря. Не мудрено, что въ этомъ общемъ пунктѣ и Костомаровъ могъ сходиться съ славянофилами. Его сближалъ съ ними также особый консервативный романтизмъ. Мы упоминали выше, что харьковскіе романтики издавна не сходились съ прогрессивнымъ направленіемъ литературы и не понимали его: такъ осталось и потомъ— это направленіе и послѣ бывало Костомарову во многомъ чуждо, что̀ опять сближало его съ славянофилами. Но затѣмъ Костомаровъ и славянофилы шли совсѣмъ въ разныя стороны: для славянофиловъ народное начало была чисто московская исключитель-

ность, столь же исполненная деспотической нетерпимости, какъ обличаемая ими государственность „петербургскаго періода“; для Костомарова (который здѣсь говорилъ совершенно согласно съ прогрессивной школой) это начало предполагало право на существованіе и самодѣятельность племенныхъ оттѣнковъ, уваженіе къ преданію не только центральному, но и областному... Въ концѣ концовъ, Костомарову пришлость увидѣть злостныя нападенія на свои идеи на страницахъ славянофильскихъ изданій, встрѣтить не только противорѣчіе своимъ стремленіямъ, но увидѣть ихъ заподозрѣнными и оклеветанными.

Приведенныя выше замѣчанія его о пѣсняхъ были и до сихъ поръ остаются справедливы: пѣсенная поэзія до сихъ поръ не опредѣлена въ ея цѣломъ составѣ; ея складъ, ея историческое развитіе, отложившіяся въ ней наслоенія разныхъ эпохъ и формъ народной жизни не вызвали пока полнаго и систематическаго изслѣдованія. Пристальныя и нерѣдко замѣчательныя работы вызвалъ только эпосъ и нѣкоторыя отдѣльныя части лирики, — но цѣлая область народно-поэтической дѣятельности народа еще не была обнята изслѣдованіемъ, и въ особенности съ тѣхъ ея сторонъ, гдѣ она является отраженіемъ непосредственнаго народнаго міровоззрѣнія, чувства и быта—если не въ настоящемъ, то въ давнемъ и недавнемъ прошедшемъ.

Во время пребыванія въ Саратовѣ, Костомаровъ вмѣстѣ съ другимъ лицомъ собиралъ пѣсни; нѣсколько пѣсенъ было напечатано имъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и, какъ извѣстно изъ его біографіи, появленіе этихъ пѣсенъ навлекло не малую непріятность пропустившему ихъ цензору: пѣсни (великорусскія) были, между прочимъ, новѣйшаго происхожденія и по народному грубо рисовали нѣкоторыя бытовыя явленія, и высшая власть нашла, что подобныя пѣсни слѣдовало истреблять, а не собирать (разумѣется, было легче сказать это, чѣмъ достигнуть, а запретить наблюденіе явленія значило добровольно закрывать на него глаза). Впослѣдствіи, уже въ новое царствованіе, сборникъ Костомарова былъ изданъ въ „Лѣтописяхъ русской литературы и древности“ г. Тихонравова [1]), — но впослѣдствіи оказалось, къ сожалѣнію, что этотъ сборникъ, собиравшійся самимъ Костомаровымъ или на глазахъ его, опытнаго этнографа, не обошелся безъ сомнительныхъ подправокъ, которыя уже вскорѣ были указаны г. Безсоновымъ [2]). Сколько помнимъ, замѣчанія г. Безсонова,

[1]) Томъ IV. М. 1862.

[2]) Пѣсни Кирѣевскаго, вып. VII-й, М. 1868, и слѣдующіе. Нѣкоторыя изъ пѣсенъ г. Безсоновъ называетъ прямо поддѣльными и дурно поддѣланными; въ другихъ

весьма недвусмысленныя, не были разъяснены другою стороной.

Передъ тѣмъ, въ „Малорусскомъ литературномъ сборникѣ“ г. Мордовцова (Саратовъ, 1859) Костомаровъ издалъ пѣсни, собранныя имъ въ сороковыхъ годахъ на Волыни [1]).

Наконецъ, подъ редакціей или „наблюденіемъ“ Костомарова изданы были три тома извѣстныхъ „Трудовъ“ этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край, Чубинскаго, а именно: томъ III, 1872, заключающій „народный дневникъ“ —описаніе обычаевъ и обрядовъ, принадлежащихъ только опредѣленнымъ временамъ года, и соединенныхъ съ ними повѣрій, и обширный отдѣлъ пѣсенъ, которыя также поются только въ опредѣленныя времена года, какъ веснянки, русальныя или троицкія пѣсни, купальскія, обжиночныя, колядки и щедровки; томъ IV, 1877, заключающій описаніе обрядовъ — родинъ, крестинъ, свадьбы, похоронъ, и принадлежащія сюда пѣсни; наконецъ, — громадный томъ V, 1874 (1209 стр.), заключающій пѣсни любовныя, семейныя, бытовыя и шуточныя. – Не знаемъ, въ данную минуту, какъ далеко простиралось „наблюденіе“ Костомарова надъ изданіемъ этихъ томовъ, именно, кому, напр., принадлежало распредѣленіе матеріала на отдѣлы и рубрики, ему или самому Чубинскому. Критика не всегда находила это распредѣленіе научно-правильныхъ [2]).

Черезъ тридцать лѣтъ послѣ своей диссертаціи Костомаровъ снова вернулся къ ея предмету, и именно къ южно-русской ея части, въ рядѣ статей, который начатъ былъ въ „Бесѣдѣ“ 1872: „Историческое значеніе южно-русскаго народнаго пѣсеннаго творчества“, затѣмъ продолжался въ „Р. Мысли“ 1880 и 1883: „Исторія козачества въ памятникахъ южно-русскаго народнаго пѣсеннаго творчества“. Это была именно переработка старой диссертаціи — съ тѣми же самыми основными положеніями и тѣмъ же планомъ, и съ тою разницей, что изложеніе было исправлено и дополнено по новымъ матеріаламъ, какіе наросли съ начала сороковыхъ годовъ. Костомаровъ въ сущности не измѣнилъ своихъ

случаяхъ онъ находитъ присочиненныя, или сомнительныя, подробности и прикрасы. См. напри. вып. VII; стр. 9, 11, 74, 109—111, 154, 203—204; вып. VIII, М. 1870 стр. 61, 162, 174—175, и т. д.

[1]) Объ одной пѣснѣ этого собранія см. замѣчаніе въ предисловіи къ „Историч. пѣснямъ“ гг. Антоновича и Драгоманова, т. I, стр. XXII—XXIII.

[2]) См., напр., отзывъ А. Н. Веселовскаго въ академическомъ присужденіи уваровскихъ премій, 1880, стр. 33—34; отзывъ Ягича въ „Archiv für slavische Philologie“.

представленій о первобытной миѳологіи, оставившей въ пѣсняхъ свои слѣды въ видѣ миѳической символики; онъ только расширилъ главу о символикѣ небесныхъ и физическихъ явленій цитатами изъ старыхъ и вновь изданныхъ пѣсенъ; символика животныхъ осталась нетронутой и теперь. Возвратившись послѣ 1872 г. къ этому предмету въ 1880, онъ прямо перешелъ къ эпохѣ козачества и ея отраженіямъ въ пѣсняхъ. Понятнымъ образомъ здѣсь изъ числа источниковъ были исключены тѣ пѣсни, поддѣльность которыхъ была обнаружена и была объясняема имъ самимъ въ упомянутой нами прежде статьѣ по поводу „Историческихъ пѣсенъ" гг. Антоновича и Драгоманова [1]); и самое изложеніе—очень подробное. Костомаровъ пересматриваетъ всѣ думы и пѣсни, имѣющія отношенія къ исторіи козачества, — причемъ приводитъ въ сноскахъ самые тексты,—сличаетъ варіанты и даетъ историческія объясненія о предметахъ пѣсенъ и ихъ складѣ. — Этотъ трудъ остался недоконченнымъ.

Таковы были въ общихъ чертахъ этнографическія работы Костомарова. Какъ мы видѣли, онъ относительно вопросовъ о происхожденіи и значеніи народнаго преданія остался до конца ученымъ старой школы: онъ не только не принималъ въ соображеніе того, что̀ добывалось въ послѣднее время путемъ сравнительнаго языкознанія и сравнительнаго изученія преданій, но, повидимому, даже мало интересовался ими и не зналъ ихъ: нигдѣ никакого указанія на труды Буслаева, Аѳанасьева, Потебни, Веселовскаго, Ягича и т. д., вообще на всю новую литературу по этому предмету. Онъ хотѣлъ какъ будто устранить упрекъ, замѣчая, что не будетъ вдаваться въ миѳологію, такъ какъ хочетъ заниматься только пѣснями [2]); но по его же словамъ, въ пѣсняхъ отражается именно миѳологія. Взамѣнъ этихъ недостающихъ изслѣдованій, онъ даетъ только первоначальное внѣшнее изученіе пѣсенной символики,—надѣясь, что это будетъ небезполезно для изыскателей. Оно и было дѣйствительно полезно, но само по

[1]) Заявивъ сомнѣніе въ подлинности этихъ пѣсенъ, Костомаровъ перечисляетъ ихъ такъ: „Мы разумѣемъ: думу и пѣсни о Серпягѣ, подъ которымъ думаютъ видѣть казацкаго гетмана Подкову, думу и пѣсни о Наливайкѣ, пѣсню о Лободѣ, пѣсню о Чураѣ, пѣсню объ отступникѣ Тетеренкѣ, думу о трехъ полковницахъ, относящуюся къ періоду временнаго упадка козачества послѣ возстанія Павлюка, Остранина и Гуни, и нѣкоторыя менѣе крупныя и отрывочныя произведенія, выдаваемыя за народныя. Есть еще нѣсколько пѣсенъ объ эпохѣ Хмельницкаго, какъ, напримѣръ, въ пѣсни о Пилявскомъ дѣлѣ, пѣсня о взятіи Бендеръ и пѣсня о Жванецкой битвѣ, которыхъ касаться здѣсь не считаемъ умѣстнымъ, не имѣя достаточныхъ основаній разсѣять сомнѣнія въ ихъ подлинности.

[2]) Бесѣда, 1872, IV, стр. 24.

себѣ не было достаточнымъ объясненіемъ древней стороны пѣсеннаго содержанія, а только указаніемъ внѣшнихъ признаковъ пѣсни.

Съ другой стороны, труды Костомарова имѣютъ, несмотря на то, большое достоинство [1]), кажется, недостаточно оцѣняемое. Онъ указывалъ на такія стороны этнографической науки, которыя у насъ еще мало разработываются. Онъ стремился дать цѣльное понятіе о народномъ пѣсенномъ творчествѣ, о данномъ содержаніи народной пѣсни, о данномъ ея состояніи, какъ памятникахъ народнаго міровоззрѣнія, какъ современномъ фактѣ народной жизни. При всѣхъ пробѣлахъ въ его изслѣдованіяхъ, они за послѣднее время остаются единственнымъ трудомъ подобнаго рода, и надо пожалѣть, что ученые болѣе молодого поколѣнія не рѣшаютъ подобной задачи съ болѣе обильными научными средствами. — Въ самомъ дѣлѣ, пѣсня, какъ вообще вся народная поэзія, какъ мы ее можемъ знать въ настоящее время, не есть же только предметъ археологіи, и надо отдать себѣ отчетъ въ ея цѣломъ значеніи, какъ факта внутренней нравственно-бытовой жизни народа и его исторіи.

Другимъ достоинствомъ этнографическихъ понятій Костомарова были тѣ, выше нами приведенныя мысли его, что этнографія не должна, наконецъ, быть разумѣема только какъ изученіе быта, поэзіи и повѣрій сельскаго простонародія; что она должна точно также обнять и другіе классы народа, не только средніе, какъ купечество и мѣщанство, у которыхъ сохранилось, въ нѣкоторыхъ чертахъ быта и понятій, много общаго съ народомъ, но и высшіе образованные классы, бытъ городовъ также, какъ и бытъ селъ и деревень; далѣе, что этнографія не должна отстраняться отъ тѣхъ формъ быта, которыя кажутся будто не-народными, какъ, напр., жизнь фабричная, и тѣхъ пѣсенныхъ произведеній, которыя, создаваясь въ этой области, кажутся искаженіемъ „чисто народной“ поэзіи и вкуса. Что этнографія должна подобнымъ образомъ расширить свои границы, въ этомъ едва ли можетъ быть сомнѣніе; точно также несомнѣнно, что она не должна устраняться отъ изученія того, что кажется искаженіемъ, — эти искаженія чѣмъ дальше, тѣмъ больше растутъ, обнимаютъ уже теперь большую долю населенія, и будутъ еще расширяться вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ слагаются новыя условія простонароднаго быта, и съ ними новыя его формы... Необходимость этнографи-

[1]) Ср. статью г. Науменка о Костомаровѣ, какъ этнографѣ, въ „Кіев. Старинѣ“, 1885, май.

ческаго изученія быта всякихъ классовъ народа, всякихъ мѣстностей, не только селъ, но и городовъ, не только крестьянъ, но баръ и купцовъ, не была указана впервые Костомаровымъ. Напр., иностранные путешественники, которые обращались къ русскому быту, какъ вообще къ неизвѣстному, описывали его (насколько знали) именно въ подобныхъ широкихъ предѣлахъ; наши академическіе путешественники конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка подобнымъ образомъ понимали свою задачу и это придаетъ теперь только особый интересъ ихъ запискамъ.

Наконецъ, важнымъ достоинствомъ трудовъ Костомарова въ этой области было то соединеніе этнографіи и исторіи, о которомъ онъ говорилъ въ цитированной выше статьѣ. Мы упоминали, какъ эта мысль о народномъ бытѣ и характерѣ, ихъ вліяніяхъ и отраженіяхъ примѣнялась въ его историческихъ трудахъ, —что и составитъ всегда ихъ отличительную особенность. Свойство его собственнаго таланта влекло его къ живописному, образному изложенію исторіи; но сюда прибавлялась и сознательная мысль о необходимости дать мѣсто въ исторіи тѣмъ бытовымъ явленіямъ, тѣмъ этнографическимъ стихіямъ, которыя прежде обыкновенно такъ забывались историками и которыя, однако, по его мнѣнію, играли въ исторіи весьма видную роль, какъ глубочайшая подкладка событій. Здѣсь, въ разной оцѣнкѣ этихъ бытовыхъ основаній, лежитъ, напримѣръ, часто разница между Костомаровымъ и Соловьевымъ; напомнимъ, напримѣръ, взглядъ того и другого на судьбу и значеніе козачества.

Не требуетъ большихъ объясненій, что Костомарову, какъ историку Малороссіи, драгоцѣнную помощь оказало впослѣдствіи то, что въ годы молодости онъ былъ усерднымъ этнографомъ, что онъ бродилъ по деревенскимъ хатамъ, слушалъ пѣсни, присматривался къ обрядамъ, собиралъ народныя преданья и повѣрья—даже самъ, съ ученой шутливостью, совершалъ языческіе обряды, какъ бы для того, чтобы закрѣпить ихъ въ своемъ воображеніи: „народный духъ“, котораго онъ искалъ,—въ извѣстной мѣрѣ дѣйствительно дался ему и помогъ потомъ освѣтить прошедшее своего народа. Эта складка мысли и фантазіи, воспитанная съ раннихъ лѣтъ, помогла ему послѣ и въ исторіи сѣвернаго русскаго народа. Успѣхъ его историческихъ трудовъ былъ, во многихъ отношеніяхъ, успѣхомъ этнографіи.

А. Пыпинъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-е октября 1885.

Новый фазисъ вопроса объ административной реформѣ.—„Улучшеніе мѣстныхъ учрежденій", разсматриваемое съ спеціально-сословной точки зрѣнія.—Охраненіе à outrance и такая же ломка.—„Соединеніе властей" и сословное земство, какъ главныя основанія „улучшеній".

Говоря, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, о закрытіи кахановской коммиссіи, мы выразили предположеніе, что этимъ не снимается съ очереди вопросъ, для разработки котораго коммиссія была учреждена—вопросъ о переустройствѣ мѣстнаго управленія и самоуправленія. Въ послѣднее время накопилось много фактовъ, подтверждающихъ наше предположеніе. Въ нѣсколькихъ петербургскихъ газетахъ появилось, въ одинъ и тотъ же день, сообщеніе о томъ, что г. министръ внутреннихъ дѣлъ, получивъ возможность возобновить служебныя занятія, обратилъ особенное вниманіе именно на административную реформу и совѣщается о ней, у себя въ имѣніи, какъ съ опытными администраторами, такъ и съ „свѣдущими людьми" изъ мѣстныхъ жителей. Къ этому прибавлялся слухъ, что проектъ „улучшенія мѣстныхъ учрежденій" будетъ внесенъ въ государственный совѣтъ не дальше, какъ въ сессію 1885—86 г. Не лишено значенія, съ другой стороны, и то ожесточенное усердіе, съ которымъ извѣстный отдѣлъ петербургской и московской печати идетъ на штурмъ земскаго и городового положеній. Одна мрачная картина „безвластія" и „безначалія" слѣдуетъ за другою; изобрѣтаются и пускаются въ ходъ страшныя словечки, въ родѣ: „анархія идетъ"; отдѣльные факты—если только они подливаютъ воду на реакціонную мельницу—поспѣшно возводятся на степень общаго явленія. Эти послѣднія данныя указываютъ не только на предстоящее продолженіе работы, но и на возможный ея характеръ. Мысль о преобразованіи мѣстныхъ учрежденій все больше и больше, повидимому, уступаетъ мѣсто мысли о специфическомъ ихъ улучшеніи,

—т.-е. о частныхъ поправкахъ, направленныхъ къ согласованію старой системы съ новыми вѣяніями. Самое опредѣленное—хотя, можетъ быть, не совсѣмъ полное, и не совсѣмъ откровенное—выраженіе этихъ вѣяній можно найти въ нѣкоторыхъ предложеніяхъ и мнѣніяхъ, заявленныхъ въ средѣ кахановской коммиссіи. Труды коммиссіи—это складочный магазинъ, изъ котораго будутъ заимствованы, быть можетъ, и матеріалы, и планы ожидаемой постройки. Предпринимая осмотръ этого магазина — насколько онъ былъ доступенъ,—мы постоянно будемъ имѣть въ виду „признаки времени", установленные нами выше; они помогутъ намъ остановиться именно на томъ, что всего больше—не по внутренней цѣнности своей, а въ силу внѣшнихъ условій—заслуживаетъ изученія.

Чтобы судить о свойствѣ проектируемыхъ „улучшеній", необходимо знать, съ одной стороны, что̀ признается удовлетворительнымъ, не подлежащимъ ни уничтоженію, ни передѣлкѣ, съ другой стороны—что̀ предполагается устранить, измѣнить или создать вновь. Если перебрать, съ этой точки зрѣнія, все высказанное до сихъ поръ нашими „преобразователями на оборотъ", то получится слѣдующая схема: остаются неприкосновенными —сельское общество, крестьянская волость, крестьянская полиція, крестьянскіе избирательные съѣзды, имущественный цензъ личныхъ землевладѣльцевъ, предсѣдательство предводителей дворянства въ земскихъ собраніяхъ; предназначается къ измѣненію—устройство волостного суда; проектируются вновь: 1) должность завѣдывающаго участкомъ, съ соединеніемъ въ его лицѣ судебной и административной власти (и безъ требованія отъ него, какъ условія sine qua non, образовательнаго ценза); 2) организація земскаго и городского самоуправленія на основаніи сословномъ, т.-е. избраніе гласныхъ въ земскія собранія и городскія думы не по разрядамъ, а по сословіямъ и отъ сословій; и 3) самостоятельное, не обусловленное выборомъ право крупныхъ землевладѣльцевъ на участіе въ земскомъ собраніи. Прибавимъ къ этому, что предсѣдательство въ уѣздномъ присутствіи—т.-е. объединяющей все уѣздное управленіе коллегіи, за образованіе которой стоятъ, и совершенно основательно, представители самыхъ различныхъ мнѣній—предполагается возложить на уѣзднаго предводителя дворянства, а полноправными членами присутствія сдѣлать, между прочимъ, всѣхъ завѣдывающихъ участками.

Присмотримся поближе къ каждому пункту этой программы; общее ея значеніе выяснится для насъ, затѣмъ, само собою. Наши читатели припомнятъ, можетъ быть, что проектъ такъ-называемаго „совѣщанія" (т.-е. сборникъ „намѣтокъ", поступившихъ на обсужденіе кахановской коммиссіи въ полномъ и усиленномъ ея составѣ) отвер-

талъ всесословную волость, но допускалъ нѣчто въ родѣ всесословнаго сельскаго общества. Мы возражали, въ свое время [1]), противъ этой мысли—возражали противъ нея какъ потому, что считали настоящей почвой для слiянія сословій не сельское общество, а волость, такъ и потому, что за множествомъ оговорокъ и исключеній всесословность, проектированная совѣщаніемъ, оказалась бы чисто-фиктивной, номинальной; но хорошо было уже и то, что совѣщаніе не уклонялось, въ принципѣ, отъ привлеченія привилегированныхъ сословій къ участію въ повинностяхъ и расходахъ, лежащихъ теперь всецѣло на однихъ крестьянахъ. Иначе относится къ вопросу, та группа, взгляды которой насъ теперь занимаютъ. На все, направленное къ сглаженію различій, къ уравненію обязанностей, у нея имѣется только одинъ отвѣтъ—безусловно отрицательный. Слѣдуетъ ли разрѣшить сельскому обществу обложеніе постороннихъ лицъ, живущихъ на территоріи общества или чѣмъ-либо владѣющихъ въ чертѣ селенія? Нѣтъ, не слѣдуетъ. Слѣдуетъ ли предоставить этимъ лицамъ голосъ въ нѣкоторыхъ, прямо ихъ касающихся дѣлахъ общества? Нѣтъ, не слѣдуетъ. Пускай все остается здѣсь по старому, пускай „чужаки“ пользуются даромъ всѣми удобствами совмѣстной жизни, пускай никто не помогаетъ крестьянамъ нести то бремя, которое обусловливается административными функціями сельскаго общества.

Существующую крестьянскую волость совѣщаніе предполагало замѣнить волостью территоріальною, т.-е. административною единицею, обнимающею собою, по образцу стана или мирового участка, все населеніе данной мѣстности. Для приверженцевъ самоуправляющейся всесословной волости, къ числу которыхъ мы всегда принадлежали [2]), мысль совѣщанія представлялась весьма мало симпатичной—но она устраняла, по крайней мѣрѣ, одинъ серьезный недостатокъ нынѣшняго порядка, распредѣляя между всѣми сословіями стоимость содержанія волостей. Такое распредѣленіе не входитъ въ составъ улучшеній, проектируемыхъ защитниками сословности (этимъ именемъ мы будемъ называть, для краткости, изучаемую нами группу). Пускай уѣздъ раздѣлится на участки, но пускай рядомъ съ новымъ дѣленіемъ уцѣлѣетъ и старое, на крестьянскія волости; пускай волостные старшины станутъ помощниками участковыхъ начальниковъ—т.-е. исполнителями распоряженій, относящихся до всѣхъ сословій,—но пускай издержки по содержанію ихъ, да и вообще по волостному управленію, несутъ по прежнему одни крестьяне; пускай волостные

[1]) См. Внутр. Обозр. въ № 11 „В. Евр.“ за 1884 г.

[2]) См. Внутр. Обозр. въ №№ 7, 8 и 11 „В. Евр.“ за 1881 г., № 3 за 1882 г., № 11 за 1883 г.

сходы сохранять свой замкнутый. сословный характеръ, собираясь, однако, не иначе, какъ подъ ближайшимъ наблюденіемъ участковаго начальника. Противорѣчіе, коренящееся въ этихъ положеніяхъ, такъ очевидно, что попытка смягчить его была сдѣлана однимъ изъ членовъ группы, высказавшимся за обязательную приписку къ волости нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, постороннихъ лицъ, проживающихъ въ ея предѣлахъ. Нужно ли прибавлять, что эта мысль была отвергнута, какъ слишкомъ близкая къ чудовищу, именуемому всесословною волостью?

Если содержаніе волости по прежнему должно упадать всецѣло на крестьянъ, то отчего бы не оставить на крестьянскихъ плечахъ и содержаніе низшей сельской полиціи? Вѣдь эта повинность, по мнѣнію одного изъ „мѣстныхъ дѣятелей", на столько привилась къ населенію, что еслибы ее и уничтожить, сельскія общества все-таки продолжали бы снабжать себя полицейскими органами въ родѣ сотскихъ. Со стороны, конечно, такая необузданная любовь къ полиціи можетъ показаться нѣсколько странной, самое существованіе ея — сомнительнымъ; но сословная прямолинейность не знаетъ сомнѣній и ни за что не хочетъ лишить крестьянъ столь драгоцѣннаго для нихъ права оплачивать исключительно своими средствами труды десятскихъ и сотскихъ. Правда, стоимость этой новинности, при переводѣ на деньги, составляетъ отъ четырехъ до пяти милліоновъ рублей; правда и то, что услугами сотскихъ пользуются всѣ классы населенія, что содержаніе ихъ могло бы быть принято на государственный или земскій счетъ даже при избраніи ихъ, по прежнему, крестьянами изъ среды крестьянъ,—но что за бѣда? Одною повинностью меньше или больше—не все ли равно для крестьянъ? Что они выносили до сихъ поръ, то вынесутъ, вѣдь, и на будущее время.

Давно уже признано, что одну изъ самыхъ слабыхъ сторонъ земской избирательной системы составляетъ способъ избранія гласныхъ отъ сельскихъ обществъ. Члены волостного схода, избранные сельскими сходами, избираютъ выборщиковъ, которые, въ свою очередь, избираютъ гласныхъ. Выборы расположены, такимъ образомъ, словно въ три этажа, при чемъ въ верхнемъ этажѣ сходятся люди почти вовсе незнакомые между собою и уже потому одному до крайности легко поддающіеся каждому внѣшнему вліянію. Совѣщаніе предполагало замѣнить существующій порядокъ устройствомъ нѣсколькихъ соединенныхъ сельскихъ сходовъ, изъ которыхъ каждый избиралъ бы одного гласнаго. Въ средѣ коммиссіи предложено было другое, болѣе практичное, разрѣшеніе вопроса — установленіе двухстепенныхъ выборовъ, т.-е. избирательныхъ собраній, составленныхъ изъ выборщиковъ отъ сельскихъ сходовъ. Всѣмъ этимъ преобразователь-

нымъ проектамъ защитники сословности противопоставили простое сохраненіе status quo, вѣроятно находя, что оно не оставляетъ желать ничего лучшаго. Не нашли они нужнымъ также исключить изъ числа лицъ, подлежащихъ избранію въ выборщики и въ гласные, волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ—т.-е. именно тѣхъ, отъ кого на избирательномъ съѣздѣ всего скорѣе можно ожидать давленія на избирателей, а въ земскомъ собраніи—подчиненія „властной рукѣ" должностныхъ лицъ.

Избирательные съѣзды личныхъ землевладѣльцевъ почти вездѣ, какъ извѣстно, страдаютъ малочисленностью; случается даже, что число съѣхавшихся лицъ не достигаетъ числа подлежащихъ избранію гласныхъ—и тогда всѣ наличные избиратели прямо, безъ выборовъ, становятся гласными (Земск. Полож. ст. 34). Чтобы увеличить число избирателей, совѣщаніе предполагало понизить имущественный цензъ вообще, а въ особенности для лицъ, обладающихъ опредѣленнымъ образовательнымъ цензомъ или цензомъ личныхъ заслугъ. Этому предположенію не посчастливилось въ средѣ коммиссіи. Напрасно было указываемо на то, что пониженіе ценза—въ виду повышенія цѣнности земли—будетъ, во многихъ случаяхъ, простымъ возвращеніемъ къ нормамъ, установленнымъ двадцать лѣтъ тому назадъ; защитники сословности усмотрѣли въ немъ стремленіе къ демократизаціи избирательныхъ съѣздовъ и земскихъ собраній, и простерли свой консерватизмъ до того, что не согласились даже на отмѣну ст. 34-ой. Та же судьба постигла и другое предположеніе совѣщанія, касавшееся предсѣдательства въ земскомъ собраніи. Изъ числа членовъ совѣщанія только одинъ подалъ голосъ за сохраненіе предсѣдательства въ рукахъ предводителя дворянства; трое полагали возложить предсѣдательство на лицо выбранное собраніемъ, пятеро—на предсѣдателя уѣзднаго присутствія или на его замѣстителя (замѣтимъ, что по единогласному заключенію совѣщанія какъ предсѣдатель уѣзднаго присутствія, такъ и его замѣститель, должны были быть назначаемы министромъ внутреннихъ дѣлъ изъ числа трехъ кандидатовъ, избранныхъ земскимъ собраніемъ). Въ коммиссіи мнѣніе одного члена совѣщанія обратилось въ мнѣніе большинства, рѣшительно высказавшагося за сохраненіе нынѣ дѣйствующаго порядка, т.-е. за предсѣдательство предводителя.

Отъ сохраненія à outrance переходимъ теперь къ тѣмъ отдѣламъ сословнической программы, въ которыхъ она не отступаетъ передъ новизной и даже передъ ломкой. Въ волостномъ судѣ проектируются, повидимому, только частныя „поправки", но значеніе ихъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ кажется съ перваго взгляда. Въ противоположность такому упорядоченію народнаго суда, которое бы не исключало ни

самостоятельности его, ни своеобразности, „преобразователи наоборотъ“ прямо узаконяютъ злоупотребленіе, слишкомъ часто встрѣчающееся теперь на практикѣ, и спокойно отдаютъ волостной судъ во власть волостного старшины, предоставляя ему предсѣдательство въ судѣ. Предсѣдательство должностного лица, безъ того уже хозяйничающаго въ волости—это именно не что иное, какъ власть его надъ судомъ; кто знаетъ хоть сколько-нибудь условія деревенской жизни, для того не можетъ существовать на этотъ счетъ никакихъ иллюзій. Единственнымъ ограниченіемъ власти старшины явится—при осуществленіи разбираемыхъ нами предположеній—другая власть: власть участковаго начальника, которому непосредственно должны быть подчинены волостные старшины. De facto, такимъ образомъ, дѣла, подсудныя волостному суду, и въ низшей инстанціи, и въ апелляціонной будутъ разрѣшаться однимъ лицомъ—и притомъ лицомъ, либо вовсе не принадлежащимъ къ крестьянскому сословію, либо выдѣлившимся изъ него на половину, потерявшимъ именно лучшія его качества. А между тѣмъ дѣйствіе личнаго произвола, облеченнаго, съ грѣхомъ пополамъ, въ законную форму, предполагается распространить на всѣхъ жителей волости, не принадлежащихъ къ привилегированнымъ сословіямъ. Любопытно было бы знать, доведено ли будетъ это уравненіе мѣщанъ съ крестьянами до своего крайняго логическаго вывода, т.-е. до возстановленія для первыхъ тѣлеснаго наказанія, этой „привилегіи“ крестьянскаго сословія?

Свободное творчество сословниковъ—т.-е. открытое выступленіе ихъ изъ рамокъ существующаго порядка—начинается съ созданія участковыхъ начальниковъ, соединяющихъ въ своемъ лицѣ власти административную и судебную. Само собою разумѣется, что при этомъ не обходится безъ ссылокъ на труды редакціонныхъ коммиссій, на дѣятельность мировыхъ посредниковъ перваго призыва. Тѣ самыя общественныя группы, для которыхъ, двадцать пять лѣтъ тому назадъ, редакціонныя коммиссіи были чѣмъ-то въ родѣ національнаго конвента, мировые посредники—чѣмъ-то въ родѣ его комиссаровъ, прикрываются теперь авторитетомъ бывшихъ враговъ своихъ и стараются возстановить, подъ этимъ покровомъ, учрежденія полезныя и необходимыя въ свое время, но ни мало не подходящія къ условіямъ нашей эпохи. Сознательна ли или безсознательна та фальшь, которая лежитъ въ основаніи этихъ ссылокъ—во всякомъ случаѣ она является зрѣлищемъ крайне печальнымъ. Рука, домогающаяся власти, принимаетъ на себя образъ руки оберегающей и благотворящей; учрежденіе, павшее подъ бременемъ собственной несостоятельности, выставляется панацеей противъ всѣхъ болѣзней, отъ которыхъ страдаетъ наша современная провинція. Кромѣ редак-

ціонныхъ коммиссій и посредниковъ перваго призыва, роль поручителя, если можно такъ выразиться — поручителя въ благонамѣренности и цѣлесообразности предлагаемаго сліянія властей—приходится играть и составителямъ судебныхъ уставовъ. Въ то самое время, когда газеты извѣстной окраски осыпаютъ укоризнами „судебную республику", созданную уставами 1864 г., и расшатываютъ по мѣрѣ силъ всѣ краеугольные камни судебной реформы, „мѣстные дѣятели" той же окраски провозглашаютъ эту реформу „гордостью Россіи", лишь бы только создать для себя, per fas et nefas, новую точку опоры въ борьбѣ противъ „книжнаго, незнакомаго жизни, непонятнаго народу" принципа раздѣленія властей [1]). Вербовкѣ союзниковъ въ прошедшемъ соотвѣтствуетъ, по легкости и безцеремонности пріемовъ, устраненіе противниковъ въ настоящемъ. Какъ объяснить себѣ, напримѣръ, несочувственное отношеніе многихъ земствъ къ мысли объ администраторѣ-судьѣ? Очень просто. Земства желали учрежденія этой должности, но опасались встрѣтить, въ случаѣ возбужденія о томъ ходатайства, непреодолимыя препятствія со стороны министерства юстиціи! Кто бы могъ думать, что въ нашихъ земствахъ таятся такія сокровища сдержанности, осторожности, дипломатическаго такта?.. Какъ! Земство признаетъ пользу реформы и не рѣшается просить о ней, потому что она можетъ встрѣтить противодѣйствіе со стороны министра юстиціи? Да развѣ мало было земскихъ ходатайствъ, шедшихъ въ разрѣзъ не только съ предполагаемымъ взглядомъ одного министра, но и съ болѣе чѣмъ вѣроятнымъ настроеніемъ всей высшей бюрократической сферы? Нѣтъ, въ боязливомъ взвѣшиваніи шансовъ удачи или неудачи задуманнаго ходатайства земскія собранія повинны менѣе, чѣмъ въ чемъ бы то ни было другомъ; они привыкли просить о томъ, что считаютъ нужнымъ, а не о томъ, что кажется имъ, въ данную минуту, легко осуществимымъ. Не споримъ, можетъ быть въ какомъ-нибудь одномъ или двухъ уѣздахъ—изъ нѣсколькихъ сотенъ—земство, необыкновенно „строгое насчетъ манеръ", и не захотѣло „утруждать господина министра" несимпатичною ему просьбой,—но отдѣльный случай не можетъ служить объясненіемъ для часто повторявшагося явленія. Замѣтимъ, въ добавокъ, что мысль о соединеніи властей выступила на земскую сцену именно въ тотъ періодъ времени, который былъ для земства пробужденіемъ къ новой жизни—въ періодъ разсмотрѣнія земскими собраніями извѣстнаго циркуляра гр. Лорисъ-Меликова о преобразованіи крестьянскихъ учрежденій (1881—82 г.). Именно тогда были выра-

[1]) Дѣло въ томъ, что нѣкоторые изъ числа составителей судебныхъ уставовъ признавали возможнымъ соединить въ одномъ лицѣ функціи мирового посредника и мирового судьи.

ботаны кое-гдѣ—напр., губернскими земскими коммиссіями въ Москвѣ и Симбирскѣ—проекты, клонившіеся къ возстановленію чего-то въ родѣ посреднической власти; именно тогда эти проекты были отклонены большинствомъ уѣздныхъ собраній, а затѣмъ и губернскими собраніями. Неужели можно допустить, что единственное уѣздное собраніе симбирской губерніи (алатырское), высказавшееся за проектъ, было единственнымъ, рискнувшимъ навлечь на себя неудовольствіе министра юстиціи, а всѣ остальныя отступили передъ этимъ рискомъ?.. Существуетъ, впрочемъ, еще одинъ аргументъ въ пользу того, что земства тайно желаютъ „соединенія властей“ и высказываются противъ него только „такъ“, по недоразумѣнію или робости. Знаете ли, въ чемъ заключается этотъ аргументъ? Въ томъ, что земства вообще совсѣмъ не стоятъ за строгую спеціализацію обязанностей—напримѣръ, не держатъ врачей-спеціалистовъ по отдѣльнымъ родамъ болѣзней, а стремятся лишь найти такихъ врачей, которые могли бы оказывать дѣйствительную помощь во всякой болѣзни. По истинѣ удивительное открытіе! Признаемся откровенно—мы думали до сихъ поръ, что отъ приглашенія врачей-спеціалистовъ земство воздерживается не изъ нерасположенія къ „спеціализаціи обязанностей“, а просто по недостатку средствъ, едва-едва позволяющихъ кое-какъ организовать въ уѣздахъ необходимѣйшую врачебную помощь.

Какимъ же условіямъ должны удовлетворять будущіе многовластные распорядители уѣзда? Проектируя волостелей, съ ограниченной, сравнительно, компетенціей и ограниченнымъ территоріальнымъ кругомъ дѣйствій, совѣщаніе предполагало установить для этой должности довольно высокій образовательный цензъ—окончаніе курса въ среднемъ учебномъ заведеніи. Въ средѣ коммиссіи признано было возможнымъ понизить это требованіе—въ примѣненіи къ участковымъ начальникамъ—до размѣровъ курса первыхъ шести классовъ гимназіи; но для защитниковъ сословности такая уступка оказалась недостаточною. Сначала они предлагали признать должность завѣдывающаго участкомъ прерогативой помѣстнаго дворянства, съ тѣмъ, чтобы лица другихъ сословій могли занимать ее только при отсутствіи мѣстныхъ кандидатовъ изъ дворянъ. Отъ дворянъ, при этомъ, не считалось нужнымъ требовать образовательнаго ценза, на томъ основаніи, что дворянскому сословію, и только ему одному, присущи тѣ особенныя качества, которыя необходимы для управленія такимъ дѣломъ, какъ крестьянское. Что касается до лицъ другихъ сословій, то для нихъ образовательный цензъ оказывался необходимымъ, и притомъ въ пропорціи восходящей по мѣрѣ нисхожденія по ступенямъ общественной лѣстницы: для личныхъ дворянъ—среднее образованіе, для не-дворянъ—высшее образованіе. Другими словами, долж-

ность участковаго начальника признавалась на столько важной, чтобы быть доступной для обыкновеннаго смертнаго лишь подъ условіемъ высшаго образованія; но для людей привилегированнаго класса—суррогатомъ образованія провозглашались какія-то особенныя качества, свойственныя имъ отъ рожденія, переходящія къ нимъ по наслѣдству. Такая вѣра была, впрочемъ, столь велика, что на одинъ уровень съ наслѣдственными обладателями административнаго искусства возносились и тѣ, которые никакъ не могли получить его отъ своихъ предковъ. Недоросль, сегодня неспособный къ какой бы то ни было должности, становился du jour au lendemain возможнымъ кандидатомъ на мѣсто участковаго, если въ этотъ промежутокъ времени его отецъ удостоивался ордена или чина, дающаго потомственное дворянство. Удержаться на исходной точкѣ, приводившей къ такимъ выводамъ, было болѣе чѣмъ трудно; la position n'était pas tenable, по крайней мѣрѣ въ данную минуту и при данныхъ условіяхъ. Уступка, дѣйствительно, была сдѣлана; занята была другая позиція, но по возможности близкая къ оставленной. Право на избраніе въ участковые предложено было признать за всѣми получившими на государственной службѣ чинъ XIV-го класса. Извѣстно, что по дѣйствующимъ законамъ полученіе этого чина облегчено въ особенности для потомственныхъ дворянъ, за которыми и сохранялось, такимъ образомъ, преимущественное право на занятіе должности участковаго. Канцелярскій служитель перваго разряда (т.-е. принадлежащій по происхожденію къ потомственнымъ дворянамъ) производится въ первый чинъ черезъ два года—и слѣдовательно скорѣе можетъ сдѣлаться участковымъ, чѣмъ предсѣдатель земской управы, допускаемый къ избранію въ участковые не раньше, какъ послѣ трехъ лѣтъ земской службы!

Избраніе участковыхъ начальниковъ изучаемая нами программа предоставляетъ земскому собранію—но земскому собранію, преобразованному въ сословномъ духѣ. Вмѣсто нынѣ существующихъ городскихъ и землевладѣльческихъ избирательныхъ съѣздовъ предполагается учредить съѣздъ дворянъ (какъ потомственныхъ, такъ и личныхъ, если послѣдніе записаны въ списокъ плательщиковъ сбора на частную дворянскую повинность), съѣздъ лицъ торговаго состоянія и мѣщанскій избирательный сходъ; остаются въ прежнемъ видѣ только крестьянскіе избирательные сходы. Представителей дворянства и крестьянства должно быть въ земскомъ собраніи поровну, такъ чтобы они составляли, вмѣстѣ взятые, около $^4/_5$ общаго числа гласныхъ; остальная пятая часть предоставляется избранникамъ купечества и мѣщанства. Независимо отъ этого, въ составъ земскаго собранія входятъ, ipso jure и сверхъ комплекта, крупнѣйшіе земле-

владѣльцы уѣзда, въ извѣстной пропорціи къ общему числу избираемыхъ гласныхъ. Условіемъ для пользованія этимъ правомъ установляется либо принадлежность къ дворянскому сословію, либо образовательный или служебный цензъ, въ связи съ извѣстною продолжительностью землевладѣнія. И здѣсь, слѣдовательно, трудно доступное для другихъ сословій является естественною, прирожденною привилегіей дворянства.

Прежде чѣмъ обрисовать цѣлое, слагающееся изъ перечисленныхъ нами составныхъ частей, мы должны сдѣлать двѣ существенно-важныя оговорки. Въ пользу нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пунктовъ сословической программы—такъ напримѣръ, въ пользу сохраненія крестьянской полиціи, въ пользу непривлеченія чужаковъ къ сельско-общественнымъ сборамъ, въ пользу расширенія круга дѣйствій волостного суда, въ пользу присоединенія къ избраннымъ гласнымъ никѣмъ не избранныхъ крупныхъ землевладѣльцевъ, въ пользу предсѣдательства уѣзднаго предводителя въ земскомъ собраніи и въ уѣздномъ присутствіи—подавали голосъ и такіе члены коммиссіи, которыхъ никакъ нельзя причислить къ безусловнымъ защитникамъ сословности. Если мы тѣмъ не менѣе считаемъ себя въ правѣ говорить о существованіи особой группы, упорно и систематически стремящейся къ ясно опредѣленной цѣли, то основаніемъ къ этому служитъ съ одной стороны совокупность ея пожеланій, тѣсно связанныхъ между собою, съ другой стороны—яркая окраска такихъ требованій, какъ соединеніе властей или сословная организація земскаго (и городского) самоуправленія. Здѣсь различіе между противоположными теченіями выразилось съ полною очевидностью, не оставляя мѣста для сомнѣній. Вторая оговорка заключается въ томъ, что сословническая программа, главныя черты которой намъ теперь извѣстны, едва ли составляетъ послѣднее слово особой группы. Кахановская коммиссія, съ ея разнообразнымъ составомъ, съ ея борьбою направленій, съ тѣмъ предрѣшеніемъ нѣкоторыхъ вопросовъ, которое досталось ей по наслѣдству отъ „совѣщанія", не была благопріятной почвой для идей особой группы. Правда, въ послѣдній періодъ дѣятельности коммиссіи центръ тяжести ея, если можно такъ выразиться, замѣтно перемѣстился направо; отъ первоначальныхъ „намѣтокъ" допущено было, съ согласія нѣкоторыхъ членовъ совѣщанія, не мало отступленій (припомнимъ, напримѣръ, вопросъ о предсѣдательствѣ въ земскомъ собраніи и уѣздномъ присутствіи)—но все же преданія коммиссіи служили, до извѣстной степени, противовѣсомъ новой тенденціи, внесенной въ ея среду большинствомъ „мѣстныхъ дѣятелей". Въ своихъ печатныхъ заявленіяхъ носители этой тенденціи выражаются гораздо рѣшительнѣе и тверже; они прямо говорятъ о не-

обходимости искоренить „фикцію политическаго равенства сословій", о возведеніи дворянства на степень „служилаго и вмѣстѣ съ тѣмъ высшаго земскаго сословія". Съ этими предпосылками не вяжется ни равенство числа гласныхъ отъ дворянъ съ числомъ гласныхъ отъ крестьянъ, ни допущеніе не-дворянъ (безъ крайней необходимости) къ занятію должности участковаго начальника. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что внѣ кахановской коммиссіи опять воскреснетъ оставленная-было мысль о сословномъ (т.-е. дворянскомъ) цензѣ, да и отношеніе между представителями дворянства и крестьянства будетъ опредѣлено другою численною формулой, свободною отъ всякихъ слѣдовъ „сословной равноправности". Весьма можетъ быть, что будетъ взято назадъ и уравненіе личныхъ дворянъ съ потомственными на дворянскомъ съѣздѣ.

Допустимъ, однако, что всего этого не будетъ, что требованіямъ сословниковъ—на сколько они касаются мѣстнаго управленія и самоуправленія—подведенъ уже теперь окончательный итогъ. Чѣмъ станетъ уѣздъ, въ случаѣ осуществленія этихъ требованій? Внизу—сельскія общества, чисто-крестьянскія, по прежнему замкнутыя для посторонннихъ элементовъ, по прежнему, слѣдовательно, безгласныя, худо вооруженныя для самозащиты, и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ зависимыя отъ участковаго и его помощниковъ—волостныхъ старшинъ; повыше—крестьянскія волости, столь же зависимыя и безгласныя [1]), несущія на себѣ, вмѣстѣ съ сельскими обществами, множество повинностей и расходовъ, плодами которыхъ пользуются всѣ сословія; волостной судъ, связанный по рукамъ и по ногамъ, но властный карать—въ особенности по приказанію свыше—всякаго не привилегированнаго жителя волости; еще выше—участки, начальники которыхъ судятъ, управляютъ, ревизуютъ, наблюдаютъ—короче, соединяютъ въ своихъ рукахъ всѣ роды и виды власти, кромѣ полицейской (въ тѣсномъ смыслѣ слова). Кому подчинены эти вліятельнѣйшія должностныя лица? Коллегіи, въ которой они сами засѣдаютъ на правахъ членовъ и составляютъ большинство. Предсѣдательствуетъ въ этой коллегіи представитель сословія, къ которому, de facto или de jure, принадлежатъ всѣ или почти всѣ участковые начальники: замѣстителемъ предсѣдателя, а также однимъ изъ двухъ членовъ

[1]) Чтобы убѣдиться въ этомъ, нужно только помнить, что участковый начальникъ разсматриваетъ жалобы на должностныхъ лицъ крестьянскаго управленія, подвергаетъ ихъ дисциплинарнымъ взысканіямъ, наблюдаетъ за веденіемъ списка домохозяевъ (опредѣляющаго составъ сельскаго—а слѣдовательно и волостного—схода), ревизуетъ крестьянскія управленія, утверждаетъ и свидѣтельствуетъ опредѣленные приговоры сходовъ, пріостанавливаетъ, когда признаетъ нужнымъ, исполненіе остальныхъ, открываетъ волостной сходъ и крестьянскіе избирательные сходы.

присутствія [1]), являются избранники того же земскаго собранія, которое выбираетъ участковыхъ начальниковъ. Земское собраніе, руководимое предводителемъ дворянства, состоитъ почти на половину (а можетъ быть и болѣе чѣмъ на половину; припомнимъ правило о крупныхъ землевладѣльцахъ, какъ непремѣнныхъ членахъ собранія) изъ дворянъ, избранныхъ дворянами, или никѣмъ не избранныхъ. Этого мало: большая часть остальной половины—т.-е. гласные отъ крестьянъ—избираются на сходахъ, со всѣхъ сторонъ доступныхъ вліянію и давленію участковыхъ начальниковъ. Между гласными отъ крестьянъ многіе состоятъ въ должности волостныхъ старшинъ и сельскихъ старостъ, т.-е. прямо подчинены участковому начальнику. Тѣ немногіе гласные, которые не принадлежатъ ни къ крестьянству, ни къ дворянству, избираются не городской думой (какъ совершенно правильно проектировало совѣщаніе), а двумя различными группами, мало заинтересованными въ земскомъ дѣлѣ и почти всегда, вдобавокъ, враждебно настроенными другъ противъ друга. Если уже теперь городскіе избирательные съѣзды отличаются крайнею малочисленностью, то на съѣзды купеческій и мѣщанскій будутъ сплошь и рядомъ являться только тѣ, кого завербуетъ къ себѣ на службу господствующая уѣздная сила, а представителями ихъ легко будетъ управлять по правилу: divide et impera.

Итакъ, собраніе земское по имени—дворянское на самомъ дѣлѣ; уѣздное присутствіе—почти исключительно дворянское; мѣстные администраторы—судьи, избираемые de facto дворянами изъ среды дворянъ; крестьянство, какъ за всѣхъ платящая, повидимому самоуправляющаяся, на самомъ дѣлѣ извнѣ управляемая масса—вотъ будущая картина уѣзда. Благодаря лучамъ, исходящимъ изъ этой картины, яснымъ становится и многое другое. Въ настоящемъ своемъ свѣтѣ является, прежде всего, „соединеніе властей". Спорный вопросъ заключается вовсе не въ томъ, согласно ли оно или несогласно съ тѣмъ или другимъ отвлеченнымъ принципомъ, а въ томъ, съ какою цѣлью оно проектируется и къ какимъ можетъ привести результатамъ. Нѣтъ теоріи, которая на практикѣ не допускала бы отступленій и исключеній; все дѣло—въ свойствѣ этихъ отступленій. Во имя чего же проектируется, въ данномъ случаѣ, облеченіе однихъ и тѣхъ же лицъ судебною и административною властью? Во имя экономіи? Но экономія, разумно понятая, требовала бы прежде всего уничтоженія крестьян-

[1]) Постоянными членами присутствія, кромѣ предсѣдателя и лица, заступающаго его мѣсто, должны быть исправникъ и предсѣдатель уѣздной земской управы; представители остальныхъ отраслей уѣзднаго управленія участвуютъ въ присутствіи лишь при разсмотрѣніи дѣлъ своего вѣдомства.

скихъ волостей, поглощающихъ съ каждымъ годомъ все бо́льшія и бо́льшія суммы—суммы, доставляемыя однимъ только классомъ насе-сенія и собственно ему приносящія очень мало пользы. Размѣръ расходовъ на волостныя управленія не вездѣ одинаковъ; если вѣрить защитникамъ крестьянской волости, онъ составляетъ въ иныхъ мѣстахъ не болѣе 40—60 коп. на душу, но въ другихъ за то онъ восходитъ до $2^1/_2$ рублей. Никѣмъ не оспаривается, во всякомъ случаѣ, фактъ постояннаго и быстраго возрастанія этого расхода. Если прибавить къ стоимости волостныхъ управленій добавочныя издержки на содержаніе участковъ—нельзя же допустить, въ самомъ дѣлѣ, чтобы участковыхъ начальниковъ, обремененныхъ двойнымъ комплектомъ занятій, было столько же, сколько теперь мировыхъ судей,—то въ концѣ концовъ получится не уменьшеніе, а значительное увеличеніе общей суммы, требуемой отъ уѣзда. Наоборотъ, при учрежденіи, взамѣнъ крестьянской волости, волости всесословной или даже административной, территоріальной, къ суммѣ, расходуемой теперь на содержаніе крестьянскихъ волостей, не пришлось бы, по всей вѣроятности, ничего прибавить (по отношенію къ нѣкоторымъ губерніямъ это доказано съ полною точностью), а для каждаго плательщика въ отдѣльности она сдѣлалась бы менѣе чувствительною, потому что распредѣлилась бы между всѣми жителями волости. Кромѣ экономіи въ расходахъ есть, однако, еще другая—экономія личныхъ силъ, особенно важная въ провинціи, постоянно жалующейся на „недостатокъ людей“. Говоритъ ли эта экономія въ пользу соединенія властей? Нѣтъ, потому что, при правильной организаціи всесословной волости, къ волостелю, волостному начальнику, волостному старшинѣ (дѣло не въ имени) можно было бы примѣнять требованія гораздо болѣе скромныя, чѣмъ къ мировымъ судьямъ или вновь проектируемымъ участковымъ,—требованія, которымъ соотвѣтствовали бы весьма многіе изъ числа мѣстныхъ жителей. Гораздо труднѣе, быть можетъ, окажется выборъ 10—12 администраторовъ-судей, чѣмъ выборъ 4—5 мировыхъ судей и 15—20 волостныхъ старшинъ съ небольшимъ, сравнительно, кругомъ дѣйствій и ограниченною властью. Необходимо имѣть въ виду, что въ всесословной и даже въ территоріальной волости выборъ старшины могъ бы быть предоставленъ волостному сходу, для котораго несравненно легче было бы найти одного подходящаго кандидата, чѣмъ для земскаго собранія—десять или двѣнадцать... Говорятъ, что соединеніе властей положитъ конецъ пререканіямъ между различными учрежденіями, недоумѣніямъ частныхъ лицъ, куда они должны обратиться съ своею просьбой; но эта цѣль можетъ быть достигнута гораздо проще, съ одной стороны—объединеніемъ уѣзднаго управленія (т.-е. устрой-

ствомъ уѣзднаго присутствія), съ другой—выдѣленіемъ изъ сферы дѣйствій административной власти нѣкоторыхъ функцій судебнаго свойства. Говорятъ, что безъ соединенія властей невозможенъ нравственный авторитетъ начальства, что постоянная отсылка къ суду ослабляетъ значеніе администраціи; но администрація имѣетъ въ своихъ рукахъ и другіе способы понужденія, кромѣ преданія суду—напр., исполненіе той или другой работы за счетъ лица, обязаннаго ее исполнить—и притомъ дѣйствительное нарушеніе правильнаго административнаго распоряженія никогда не остается безъ надлежащей кары со стороны суда. За административною властью можетъ быть оставлено, наконецъ, право наложенія небольшихъ денежныхъ штрафовъ—право, теоретически сближающее ее съ судомъ, но практически весьма далекое отъ того сліянія властей, о которомъ мечтаютъ наши сословники.

Устранивъ оболочки, мы подошли къ самому зерну. Это зерно—возстановленіе, въ новыхъ, смягченныхъ формахъ, власти одного сословія надъ другими. Какъ ни обширны, на основаніи судебныхъ уставовъ, права мирового судьи, онъ постоянно чувствуетъ и сознаетъ себя судьею, невольно вырабатываетъ и примѣняетъ къ дѣлу судейскіе пріемы, пріучается взвѣшивать доводы обѣихъ сторонъ, сообразоваться съ закономъ, не увлекаться „личнымъ усмотрѣніемъ". Администраторъ, съ другой стороны, постоянно видитъ передъ собою границу своихъ полномочій, постоянно помнитъ, что не только надъ нимъ, но и рядомъ съ нимъ существуетъ другая власть, въ сферу которой онъ вторгаться не въ правѣ. Прибавимъ къ этому, что нынѣшній администраторъ — иногда (мы имѣемъ въ виду въ особенности непремѣннаго члена крестьянскаго присутствія), нынѣшній мировой судья (въ земскихъ губерніяхъ) — всегда является избранникомъ земскаго собранія, въ которомъ сословный элементъ не играетъ ни преобладающей, ни даже выдающейся роли. Совершенно инымъ, во всѣхъ отношеніяхъ, будетъ положеніе администратора-судьи, созданнаго по новому сословническому типу. Въ своемъ участкѣ онъ будетъ всѣмъ, рядомъ съ нимъ не будетъ равныхъ, а только одни низшіе, подчиненные, подвластные. Въ его рукахъ будутъ и учрежденія, и лица. Распоряжаясь и приказывая, какъ администраторъ, онъ внесетъ тѣ же пріемы и привычки и въ свою судейскую дѣятельность. Еще важнѣе то, что онъ будетъ смотрѣть на себя, какъ на представителя сословія, а слѣдовательно и сословныхъ интересовъ. Онъ не будетъ упускать изъ виду, что обязанъ своею должностью не кому иному, какъ гласнымъ отъ дворянъ, что отъ нихъ зависитъ и избраніе или неизбраніе его вновь на слѣдующее трех-

лѣтіе [1]). Насколько близкими къ повелительному полномочію (mandat impératif) будутъ инструкціи—прямо выраженныя или безмолвныя, разумѣющіяся сами собою—дворянскаго избирательнаго съѣзда дворянскимъ гласнымъ, настолько же сходны будутъ съ этимъ образцемъ и напутствія, внушенія дворянскихъ гласныхъ участковымъ начальникамъ. Еслибы кто-нибудь изъ послѣднихъ сталъ забывать о своемъ главномъ призваніи, ему напомнитъ о томъ коллегія, непосредственно стоящая надъ участковыми — уѣздное присутствіе, все наполненное прямыми и косвенными представителями дворянства. Остается только узнать, есть ли у „помѣстнаго дворянства", въ настоящую минуту, общій интересъ настолько сильный, чтобы служить паролемъ и лозунгомъ выборовъ, руководящею нитью для избирателей и избираемыхъ. Безъ сомнѣнія—есть. Вопросъ переносится здѣсь на экономическую почву, на почву отношеній между работниками и работодателями, между нанимаемыми и нанимающими, между личнымъ и общиннымъ землевладѣніемъ. Достаточно указать на эти отношенія, чтобы понять, о чемъ именно будутъ заботиться, чего—добиваться участковые начальники. Являясь въ одно и то же время и судьями, и начальниками крестьянскихъ властей, они будутъ регулировать въ извѣстномъ духѣ все, касающееся важнѣйшихъ условій мѣстной хозяйственной жизни. Уже теперь мы слышимъ, что назначеніе участковыхъ—„сдѣлать возможною жизнь въ уѣздѣ, изъ котораго въ настоящее время всѣ бѣгутъ". Бѣгутъ изъ уѣзда во всякомъ случаѣ не крестьяне [2]); бѣгутъ помѣщики—а это, въ глазахъ извѣстной группы, равносильно бѣгству всѣхъ, потому что изъ всѣхъ элементовъ населенія особой охраны заслуживаетъ и требуетъ, по ея мнѣнію, только одинъ.

Въ связи съ „соединеніемъ властей" вполнѣ понятно и проектируемое преобразованіе земскихъ учрежденій. Полновластіе участковыхъ начальниковъ—это цѣль; уничтоженіе безсословнаго земства — средство къ достиженію цѣли. Какъ изъ пѣсни, по извѣстной русской поговоркѣ, нельзя выкинуть слова, такъ изъ программы сословниковъ нельзя, безъ нарушенія ея цѣльности, исключить ни одного требованія. Оставить земство какъ оно есть, значило бы отнять у новой системы необходимый ея фундаментъ; передѣлать земство и не дать

---

[1]) Довольно знаменательно, въ этомъ отношеніи, что защитники сословности высказались противъ удлиненія срока, на который выбираются гласные (а, слѣдовательно, и всѣ лица, избираемыя земскимъ собраніемъ). Чѣмъ короче этотъ срокъ, тѣмъ сильнѣе давленіе избирателей на избираемыхъ.

[2]) Переселенческое движеніе—совсѣмъ особая статья; въ основаніи его лежитъ, конечно, не „безначаліе" и не „безвластіе", и остановить его не можетъ никакая административная реформа.

ему властныхъ органовъ, значило бы не возвести зданія, для котораго положенъ фундаментъ. Защитники сословности вполнѣ послѣдовательны, когда стоятъ, вездѣ и всегда, за выборное начало; имъ нужны выборы, но выборы, организованные по данному образцу и совершающіеся по данному шаблону. Въ средѣ коммиссіи выражено было мнѣніе, что назначеніе участковыхъ должно быть предоставлено правительственной власти; главными противниками этого мнѣнія являются тѣ самыя лица, которыя всего больше настаиваютъ на „соединеніи властей". Они же, преимущественно они, возстаютъ и противъ назначенія предсѣдателя уѣзднаго присутствія, и противъ назначенія замѣстителя его (или непремѣннаго члена присутствія). Они непремѣнно хотятъ, чтобы на мѣстѣ была „властная рука", но только подъ непремѣннымъ же условіемъ обезпеченія за ними одними—т.-е. за одною представляемою ими группой—права и возможности распоряжаться этою рукою. Чрезвычайно характеристично противодѣйствіе, которое встрѣтила въ этой средѣ мысль о созданіи въ уѣздѣ особаго органа финансоваго управленія. Чтобы доказать его безполезность или непрактичность, были призваны на помощь самые разнообразные аргументы—но преимущество откровенности и прямоты безспорно принадлежитъ мнѣнію одного члена коммиссіи, смѣло провозгласившему то общее начало, что на помощь населенію въ дѣлѣ платежа податей надо приходить лишь въ крайнихъ случаяхъ. Репрессивныя (?) мѣры, принимаемыя теперь полиціей при взысканіи сборовъ, являются иногда—по словамъ того же члена—совершенно необходимыми и вполнѣ умѣстными, а поэтому нѣтъ даже особыхъ основаній желать, чтобы учрежденіе финансоваго органа повело къ существенному измѣненію нынѣ практикующейся системы взысканія недоимокъ. И въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ выше степень энергіи, до которой можно дойти въ взысканіи недоимокъ, тѣмъ больше возможная сумма давленія и на отдѣльныхъ крестьянъ, и на должностныхъ лицъ крестьянскаго управленія. Въ программу „соединенія властей" непремѣнно должна входить неприкосновенность этой суммы, и притомъ неприкосновенность ея именно въ „властной рукѣ" или въ рукахъ родственныхъ, союзныхъ. На союзъ съ органомъ финансоваго управленія разсчитывать, особенно въ настоящее время, нельзя, — не надо, поэтому, и самаго органа... На этотъ разъ счетъ, по извѣстной нѣмецкой поговоркѣ, былъ сведенъ „безъ хозяина": учрежденіе податныхъ инспекторовъ предрѣшило спорный вопросъ въ смыслѣ неблагопріятномъ для разбираемой нами программы. Слишкомъ радоваться этому, однако, мы не видимъ причины. Безусловно господствующій элементъ долженъ подчинить себѣ, мало-помалу, всѣ остальные; въ уѣздѣ, организованномъ по сословническому

типу, податные инспектора не сдѣлаются—или перестанутъ быть — тѣмъ, чѣмъ они должны быть по мысли создавшаго ихъ закона.

Сословническая программа можетъ сослужить службу, о которой, безъ сомнѣнія, не мечтали ея составители; она можетъ разыграть роль фонаря, какъ предостереженіе для путниковъ. Другими словами, она намѣчаетъ то направленіе, котораго больше всего слѣдуетъ избѣгать при преобразованіи мѣстныхъ учрежденій. Она доказываетъ съ полною ясностью, что земство должно сохранить свой настоящій, т.-е. безсословный характеръ; что судебная власть не должна быть соединяема съ административной; что судьба уѣзда не должна быть отдаваема въ руки одной общественной группы. Это не значитъ, конечно, чтобы самымъ правильнымъ разрѣшеніемъ вопроса было сохраненіе status quo; — но это значитъ, что лучше оставить все по прежнему, чѣмъ вступить на крайне опасную дорогу. Къ положительной сторонѣ преобразованія, къ желательнымъ его цѣлямъ и средствамъ мы еще возвратимся.

ПИСЬМО ИЗЪ МОСКВЫ.

16 сентября 1885 года.

...Насталъ моментъ—повнимательнѣе заглянуть въ область здѣшняго судебнаго міра, проникнуть подалѣе внутрь священнаго зданія гласнаго суда. Гласный судъ! Когда-то онъ былъ новымъ, а теперь „первымъ страницамъ“ изъ его исторіи отводится уже мѣсто въ „Русской Старинѣ“; когда-то онъ былъ „правымъ“ и „милостивымъ“, а теперь, увы, обозванъ кличкой „судбища людей съ улицы“, переведенъ въ разрядъ штрафованныхъ учрежденій и преданъ осужденію, и не только отъ враговъ всякой реформы вообще, въ смыслѣ шага впередъ по пути къ усовершенствованію, но и отъ людей въ свое время сочувствовавшихъ судебной реформѣ и расточавшихъ ей самыя восторженныя похвалы и восхваленія.

Кто былъ въ Москвѣ и осматривалъ достопримѣчательности древней столицы, тотъ, конечно, не миновалъ Кремля и не оставилъ безъ вниманія высящееся при входѣ въ Кремль громадное зданіе, сведенное подъ одинъ куполъ и увѣнчанное „закономъ“ и „короною“. Тамъ—судъ, тамъ—судебная палата, тамъ—краса зданія,—круглая зала судебныхъ установленій, убранная портретами государей и украшенная художественной работы барельефами, которые относятся къ событіямъ царствованія императрицы Екатерины Второй и объясняются надписями. схватывающими основную мысль изображенія. Подъ однимъ изъ барельефовъ, по счету пятнадцатымъ, выставлена надпись: „до вѣчности“. Надпись эта относится къ изображенію Минервы, повелительно требующей отчета у колѣнопреклоненной женщины въ царской мантіи, опирающейся, въ свою очередь, на щитъ съ двуглавымъ орломъ; сидящій у подножія Минервы Сатурнъ также протягиваетъ руку, требуя отвѣта; въ глубинѣ—лѣтописецъ, занесшій въ лѣтопись свою все совершившееся. Не минуло еще четверти столѣтія со дня изданія и обнародованія судебныхъ уставовъ, положившихъ начало новому суду, а между тѣмъ, книга лѣтописца переполнилась, и такъ и кажется, что вотъ-вотъ она на послѣдней страницѣ и если не сегодня, такъ завтра, какъ трудъ оконченный, закроется совсѣмъ и навсегда. А много сыщется въ этой лѣтописи, идущей къ концу, какъ-будто съ пропускомъ средины, похвальнаго для суда вообще и для дѣятелей его, подвизавшихся въ разное время на поприщѣ честнаго и, можно сказать, безкорыстнаго слу-

женія, въ смыслѣ забвенія себя и своихъ личныхъ выгодъ, дѣлу и интересамъ правосудія въ частности.

Сломать старое и создать новое, сдѣлать отъ стараго къ новому поворотъ, но съ такою осторожностью, чтобы не повредить новое и не завалить его сразу на бокъ, вотъ въ сущности та задача, которую предстояло выполнить дѣятелямъ новаго суда и которая при большомъ въ то время спросѣ на людей и при малой возможности удовлетворить спросу, представляла много трудностей и внушала серьезныя опасенія насчетъ возможности ихъ преодолѣнія. И въ самомъ дѣлѣ, новый судъ, какъ и всякое новое дѣло вообще, требовалъ для его осуществленія, прежде всего способныхъ людей, разумѣя способность чисто дѣловую, а не дипломатическую съ оттѣнкомъ предупредительной готовности служить людямъ и ихъ вкусамъ, требовалъ обширныхъ отъ выступавшихъ на новое поприще дѣятелей знаній, не малой опытности и недюжинной подготовки. Откуда набрать судебный персоналъ, какъ сформировать судебныя полчища и кому ввѣрить ихъ водительство?

Занимаясь разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ, общество тревожилось, волновалось; но вотъ открылся судъ, и всѣ страхи и тревоги стихли и улеглись. Вспомнимъ первыхъ дѣятелей открытыхъ на первыхъ порахъ столичныхъ судовъ. Постъ старшаго предсѣдателя с.-петербургской судебной палаты занялъ Гольдгоеръ, въ Москвѣ на такое же мѣсто былъ назначенъ сенаторъ Полѣновъ; на мѣстахъ прокуроровъ судебныхъ палатъ оказались — въ С.-Петербургѣ Чемадуровъ, въ Москвѣ Ровинскій; предсѣдателями окружныхъ судовъ были назначены: въ С.-Петербургѣ Мотовиловъ, въ Москвѣ Люминарскій. Всѣ эти лица собственнымъ опытомъ извѣдали неустройство старыхъ судовъ и ихъ распорядковъ, прямо или косвенно принимали участіе въ составленіи новыхъ уставовъ, поняли духъ времени, прониклись идеею законодателя и сразу поставили дѣло суда на твердую ногу и прочное основаніе. Ихъ имена, какъ и ближайшихъ ихъ замѣстителей и преемниковъ—Манасеина, Шахова, Дейера, Половцева и др. всѣмъ и каждому хорошо извѣстны и говорятъ сами за себя. Они вводили судъ, ими поддерживался корпоративный духъ среди судей, они отстаивали непоколебимость основъ новаго правосудія, съ ихъ именами неразрывно связывается воспоминаніе о лучшихъ дняхъ новаго суда и его процвѣтаніи.

Москва какъ-то особенно по-сердцу служебному люду всѣхъ вѣдомствъ вообще и судебнаго въ особенности. Странствуетъ, странствуетъ чиновникъ по свѣту, переѣзжаетъ изъ одного города въ другой, переходитъ съ мѣста на мѣсто, получаетъ прогонныя деньги, выгадываетъ и собираетъ подъемныя, а вотъ заѣдетъ въ Москву

и засядетъ. Привлекательность неумытой Москвы заключается, кажется намъ, въ томъ, что она, совмѣщающая въ себѣ отчасти условія столичной жизни, имѣетъ черты и сродственныя провинціи. Москва какъ-то скорѣе приладится къ человѣку и человѣкъ къ ней; она проще Петербурга, въ ней свободнѣе живется и дышется; она какъ-то лучше умѣетъ потрафить разнообразію людскихъ вкусовъ и требованій, въ ней климатъ лучше; съ нею жаль разстаться.

Въ силу ли притягательной силы Москвы, въ силу ли другой какой-либо причины, но случилось такъ, что въ теченіе двадцати лѣтъ стоялъ во главѣ московскаго судебнаго вѣдомства сенаторъ Александръ Николаевичъ Шаховъ. Занимая должность старшаго предсѣдателя московской судебной палаты, онъ стяжалъ себѣ не только всеобщее уваженіе отъ лицъ судебнаго сословія обширнаго московскаго судебнаго округа, но и выслужилъ отъ передовой статьи трудно пріобрѣтаемый въ нашъ вѣкъ титулъ „досточтимаго“, „вѣрнаго преданіямъ своего народа русскаго человѣка, поставляющаго одною изъ главныхъ задачъ судовъ охранять основы государственнаго устройства“.

И точно, всѣ труды и заботы Александра Николаевича направлялись исключительно къ тому, чтобы охранять основы судебныхъ уставовъ, а, слѣдовательно, и государственнаго устройства. Всегда скромный, со всѣми деликатный и обходительный, безъ малѣйшаго поползновенія проявлять свою власть и свое высокомѣрное „я“, Александръ Николаевичъ тихо и незамѣтно трудился въ нѣдрахъ своего кабинета, не вызывая ни толковъ, ни разсказовъ о себѣ, ни, тѣмъ менѣе, анекдотическихъ сказаній, которыя очень искусно отличаютъ какую-либо присущую человѣку слабость, ту или другую преобладающую черту его характера, тотъ или другой его существенный недостатокъ. Никого, какъ-будто не примѣчая, но все видя и все зная, во все вникая и все проникая, онъ ясно понималъ, когда слѣдуетъ помолчать и когда выступить со словомъ, кого обличить и кому оказать снисхожденіе. Всякія нововведенія по части усиленія надзора и соединенныхъ съ такимъ надзоромъ строгостей умѣрялись имъ способомъ выполненія и осуществленія новой мѣры. Стоя на стражѣ закона и охраны государственнаго устройства, онъ свято чтилъ освященныя временемъ традиціи и зорко блюлъ интересы лицъ судебнаго сословія, всѣхъ въ сложности и каждаго въ отдѣльности, почитая источникомъ исцѣленія язвъ, если проповѣдуемая чумная эпизотія вступила въ періодъ гнилостнаго зараженія, не новшества и отважное пересозданіе или такъ называемое исправленіе созданнаго, а, напротивъ того, сохраненіе водвореннаго судебными уста-

вами порядка вещей въ его первоначальномъ видѣ и во всей его неприкосновенности.

Неожиданная вѣсть о переходѣ Александра Николаевича въ Петербургъ, объясняемомъ домашними обстоятельствами и причинами разстроеннаго здоровья, вызвала у насъ всеобщую скорбь и всеобщее сожалѣніе. Закрылась живая лѣтопись суда, сошелъ съ арены дѣятельности честный и благородный труженикъ, не стало того незамѣтнаго человѣка, который долгіе и долгіе годы былъ главою судебнаго сословія московскаго округа. Мѣнялись люди, мѣнялись взгляды, дѣти выростали, созрѣвали до высшихъ государственныхъ должностей и становились въ ровень по служебному и общественному положенію, съ свидѣтелемъ ихъ рожденія и государственнаго роста, Александромъ Николаевичемъ; а этотъ послѣдній все былъ тѣмъ же старшимъ предсѣдателемъ московской судебной палаты и все тѣмъ же безперемѣнно простодушно честнымъ человѣкомъ. Проводы его были простые, но за то задушевные и трогательные. Обѣда не было; не было, слѣдовательно, и оскомину набившихъ словоизверженій. Мастера по части отшлепыванія языка о любой случай и на какую угодно тэму застольнаго и похороннаго краснорѣчія по-неволѣ отдыхали и въ безмолвіи злобствовали. Все было по семейному и по родственному, и, если что и было въ проводахъ служебнаго, то развѣ спросы и вопросы о томъ, кто будетъ замѣстителемъ отъѣзжающаго, какіе водворятся порядки и скоро ли, выражаясь судебнымъ языкомъ, послѣдуетъ замѣщеніе открывшейся вакансіи?

Замѣщеніе совершилось. Мѣсто старшаго предсѣдателя московской судебной палаты занялъ теперь старшій предсѣдатель харьковской судебной палаты. Съ этою личною перемѣною совпало изданіе новаго закона, увеличивающаго власть старшаго предсѣдателя судебной палаты „ревизовать“, „призывать“, „напоминать“, „внушать“, „возбуждать“ и т. п., говоря иначе, распространяющаго его власть и на окружные суды, изъ коихъ, въ особенности изъ глухихъ провинціальныхъ давно вѣетъ словомъ „обветшалаго“! Да, вѣетъ этимъ словомъ! Не говоря уже о пыли и паутинѣ, часто замѣчаемыхъ во внутреннихъ покояхъ, въ домашнемъ, такъ сказать, помѣщеніи, гдѣ имѣютъ пребываніе предсѣдательствующіе судьи, секретари и весь канцелярскій полкъ, и куда изъ обыкновенныхъ смертныхъ не всякій имѣетъ доступъ, обветшаніе сдѣлалось замѣтнымъ и въ самомъ святилищѣ, предназначенномъ для отправленія скораго и праваго суда. Сукно на столѣ, прежде краснаго цвѣта, стало рыжимъ или бурымъ, бахрома, окаймляющая сукно, мѣстами повытрепалась и повыпустилась, а то такъ и вовсе пообборвалась; керосиновыя лампы покосились на бокъ; скамьи для присяжныхъ и для публики повытерлись

и повысидѣлись вплоть до самой ихъ деревянной основы; мундиры на судьяхъ повылиняли, золото съ шитья послѣзло и мишура обнажилась; физіономіи судей, словно поля невспаханныя травой, позаросли волосами; сторожа у входныхъ и выходныхъ дверей иззѣвались и издремались, и ихъ форменная одежда предалась отъ времени тлѣнію... Неприглядно стало! Такъ обносилось и такъ обветшало, что при одномъ воспоминаніи о прошломъ, минувшемъ времени, невольно тоскуетъ душа и болѣзненно сжимается сердце...

Не сонъ или фантазія, а горькая дѣйствительность рисуетъ такую провинціальную картину... На площади, какъ разъ противъ кремля, стоитъ огромное двухъэтажное зданіе съ надписью по линіи второго этажа: „Окружный судъ“, и съ вывѣсками по линіи перваго и подвальнаго этажей „овощная лавка“, „гробовое заведеніе“, „распивочно и на выносъ“, „папиросы, вакса, спички“ и все въ этомъ родѣ. Еще съ вечера надвигались на небѣ тучки, ночью шелъ проливной дождь, не разгулялось и къ утру. На улицахъ грязь, съ рѣки дуетъ вѣтеръ, охватывающій пѣшехода со всѣхъ сторонъ и пронизывающій его до самыхъ костей. Пѣшеходъ ежится, морщится, по временамъ запахиваетъ полы своего дранаго пальтишка, а все труситъ и впередъ двигается. Дошелъ онъ до входнаго крыльца, юркнулъ въ дверь и скрылся. Часъ ранній, только что началась обѣдня, а пѣшеходы одинъ за однимъ идутъ и идутъ, идутъ все по тому же пути, идутъ сегодня, завтра, послѣ завтра, идутъ недѣли, мѣсяцы и годы, идутъ дотолѣ, доколѣ печаль и болѣзнь не скосятъ ихъ усталыя отъ ходьбы ноги и ихъ самихъ не свалитъ, иныхъ въ могилу, а другихъ, того хуже, въ постель, отъ которой идетъ торная дорожка къ той же могилѣ, но съ тою лишь разницею, что смерть скорая вызоветъ небольшой расходъ на погребеніе, а смерть медленная, поддерживая у семьи надежду на выздоровленіе главы ея, высосетъ послѣдніе у семьи достатки и вгонитъ въ неоплатные долги, въ злую нужду, отнимающую у тѣхъ, кого она посѣтила, кровъ, пищу и самые послѣдніе, какіе ни на есть у взрослыхъ и малыхъ членовъ семьи, лоскутки одежды.

Бѣгутъ въ судъ раннимъ утромъ и канцелярскіе чиновники, бѣгутъ они скоблить перомъ бумагу, получая за этотъ трудъ, длящійся по шести, семи часовъ въ сутки, какихъ-нибудь двадцать рублей въ мѣсяцъ. Мѣсяцъ-то великъ,—разсуждалъ съ нами одинъ канцелярскій чиновникъ. Въ иномъ тридцать дней, а въ другомъ, словно на пропасть, съ придачею еще лишнихъ сутокъ. На полтинникъ въ день не разгуляешься: жену и дѣтей кое-какъ накормишь да еле-еле самъ сытъ будешь, а на обувь и на одежду добывай гдѣ хочешь, хоть крадь! А украдешь, такъ не посѣтуй: приведутъ тебя въ тотъ же

окружный судъ, посадятъ на скамью обвиняемыхъ и судить станутъ, а тамъ, неровенъ часъ, осудятъ и пошлютъ, если на бѣду ты привилегированный, въ Сибирь прохлаждаться.

Списывая картину съ натуры, мы имѣли въ виду провинцію и типъ провинціальнаго канцелярскаго чиновника. Чѣмъ, спрашивается, лучше бытъ и положеніе такого же чиновника, въ Москвѣ, гдѣ квартиры и продовольствіе дороже, и гдѣ жизнь для маленькаго человѣка съ воробьинымъ содержаніемъ, если и представляется возможною, то лишь на удаленныхъ отъ центра города и мѣста его служенія городскихъ окраинахъ и неизбѣжною перспективою опоздать на службу и подвергнуться за нерадѣніе и небрежность вычету изъ жалованья, а не то, милости просимъ, и совершенному увольненію отъ двадцати рублевой должности. Тогда, о, тогда! Тогда, почивъ отъ дѣлъ своихъ, почивайте на лаврахъ и пользуйтесь плодами сбереженій отъ вашихъ прежнихъ достатковъ, или, что то же, проводите ночь, если вы одни, въ ночлежныхъ домахъ Хитрова рынка; а днемъ, если угодно, бродяжничайте по улицамъ и побирайтесь; если же вы человѣкъ семейный, то нищенствуйте и распѣвайте на разные лады „donnez moi quelque chose“, съ семьею въ совокупности. Не красиво и положеніе судьи, получающаго на всѣ свои нужды и затѣи 131 рубль въ мѣсяцъ и 166 рублей квартирныхъ въ треть. Можно ли позавидовать положенію помощника секретаря, окончившаго курсъ наукъ юридическихъ и имѣющаго на все про все 35 серебренниковъ въ мѣсяцъ.

Возникъ вопросъ о прибавкѣ содержанія судьямъ, а съ этимъ вмѣстѣ и народилась надобность измыслить источникъ потребной на этотъ предметъ суммы. Путемъ урѣзокъ и сокращеній штатовъ въ рядахъ все тѣхъ же канцелярскихъ тружениковъ вымолотилась ежегодная экономія въ суммѣ 24 тысячъ. Сумма эта для равномѣрнаго ея распредѣленія между всѣми судьями оказалась недостаточною, и вотъ возникъ новый вопросъ: какъ быть съ нею? При первоначальной разверсткѣ ея было предположено нѣкоторыхъ судей наградить, другихъ обдѣлить, принявъ въ соображеніе прелести въ смыслѣ удобства жизни, столичной жизни, имущественную состоятельность того или другого должностного лица, его семейное положеніе, молодость или старость его лѣтъ и быстроту повышенія для служащихъ въ столицѣ. Изъ виду упустили то, что содержаніе чинамъ, состоящимъ на государственной службѣ, по существующимъ законамъ и по общей справедливости, установлено въ видахъ вознагражденія за ихъ личный трудъ, и что по этому каждое должностное лицо, неся на себѣ бремя такого труда, въ правѣ ожидать за него надлежащаго вознагражденія.

Столичная жизнь, никто не споритъ, несомнѣнно имѣетъ свои преимущества и удобства; но пользоваться ими возможно лишь при наличности достаточныхъ матеріальныхъ средствъ, которыхъ не представляетъ изъ себя казенное содержаніе судьи въ 2098 р. въ годъ, едва хватающее на удовлетвореніе самыхъ скромныхъ потребностей одинокаго человѣка. Положеніе же семейнаго человѣка, ограниченнаго такимъ жалованьемъ, сводитъ всѣ его заботы къ вопросу о дневномъ пропитаніи, вытѣсняя всякія стремленія къ возможности пользоваться удобствами столичной жизни. Правильное отдѣленіе судей, имѣющихъ собственныя средства и не нуждающихся въ увеличеніи содержанія, отъ неимущихъ такихъ средствъ, крайне затруднительно, а иногда и совершенно невозможно. Могутъ быть судьи, владѣющіе недвижимою собственностью, но обремененною долгами; могутъ быть и такіе, которые живутъ на средства своихъ женъ, на принадлежащіе имъ капиталы, не поддающіеся точному и правильному вычисленію въ смыслѣ ихъ размѣровъ и получаемой съ нихъ прибыли и доходности. Личныя средства, какъ указываетъ опытъ, могутъ уменьшаться и даже вовсе исчезать; въ этомъ случаѣ, если брать за основаніе къ увеличенію содержанія личныя средства должностного лица, пришлось бы отъ поры до времени производить между судьями передѣлъ добавочнаго содержанія, давая большой просторъ догадкамъ и размножая неудовольствія. Нѣкоторые судьи могутъ не имѣть семействъ, но у нихъ могутъ же быть престарѣлые родители, малолѣтніе братья и сестры, которымъ, по чувству долга и родства, они обязаны помогать изъ собственныхъ средствъ; они могутъ, наконецъ, сами вступить въ бракъ, не останавливая выбора своего на богатыхъ невѣстахъ, и изъ холостыхъ превратиться въ семейныхъ людей. Увеличеніе содержанія только неимущимъ и семейнымъ, лишая такого увеличенія имущихъ, безсемейныхъ и относительно молодыхъ, которыхъ напримѣръ, въ московскомъ окружномъ судѣ вовсе не числится, имѣло бы видъ благотворительной помощи однимъ въ ущербъ другимъ и не отвѣчало бы требованіямъ самой простой и первобытной справедливости оплачивать настоящею платою всякій трудъ, не взирая на то, кто трудящійся и каковы случайныя условія его частной жизни.

Быстрота повышенія и передвиженія по службѣ не обусловливается служеніемъ въ столицѣ. Изъ числа 36 судей московскаго окружнаго суда за время съ 1874—1884 г. получили повышеніе лишь восемь человѣкъ, четверо умерли, двое уволены отъ службы и двадцать одинъ остаются на лицо, занимая все тѣ же самыя и все въ томъ же судѣ судейскія должности.

Говоря о выпадающемъ на долю судей трудѣ, придется замѣтить, что въ столичныхъ окружныхъ судахъ и въ судахъ многолюдныхъ

городовъ вступаетъ, какъ видно изъ отчетовъ, несравненно большее количество дѣлъ, чѣмъ въ суды городовъ менѣе населенныхъ. Въ послѣднихъ, для публичнаго разсмотрѣнія уголовныхъ дѣлъ назначаются сессіи, отдѣляемыя одна отъ другой довольно значительными промежутками времени; тогда какъ въ столичныхъ городахъ сессіи происходятъ безпрерывно круглый годъ, не исключая и вакантнаго времени. Большинство мнѣній высказывалось въ пользу, во-первыхъ, прибавки добавочнаго содержанія всѣмъ судьямъ столичныхъ судовъ, находящихся въ многолюдныхъ городахъ, въ виду большаго количества дѣлъ и, слѣдовательно, личнаго труда и дороговизны жизни,—не взирая на то, имѣетъ ли кто изъ нихъ свои личныя средства или живетъ только на казенное содержаніе; и, во-вторыхъ, въ пользу увеличенія содержанія старшимъ по службѣ членамъ провинціальныхъ судовъ, раздѣливъ между ними суммы, оставшіяся отъ назначенія добавочнаго содержанія судьямъ судовъ столичныхъ и другихъ многолюдныхъ городовъ. Рубиконъ перейденъ; волкъ, коза и капуста переплыли черезъ рѣку! Порѣшили прибавить содержаніе лишь старшимъ судьямъ судовъ имперіи,—и затѣмъ смолкли! Деньги, какъ слѣдуетъ, собраны и хранятся въ казначействѣ. Далѣе этой грани вопросъ впередъ не двигается, такъ какъ до сего времени судьи добавочнаго содержанія не получаютъ и, сидя у моря, ждутъ погоды!..

„Подтянуть“ и „сократить“!... Дѣло одно—напечатать эти слова на бумагѣ въ приносящей многотысячные доходы своей или чужой типографіи, и совсѣмъ иная вещь быть въ потокѣ скорбной дѣйствительности, познать горькія ея стороны собственными боками и собственною спиною, или, если не это, то, по крайней мѣрѣ, взглянуть правильнымъ окомъ на настоящее положеніе вещей, имѣющее источникомъ своей неудовлетворительности въ смыслѣ умственнаго и нравственнаго оскуденія, не фантастическіе призраки воображаемыхъ явленій и цѣлей, а только бѣдность и недостатокъ матеріальнаго обезпеченія.

„Подтянуть“ и „сократить“!... Возвращеніе къ возгласамъ стараго добраго времени ведетъ за собою и возвращеніе къ его обычаямъ и привычкамъ; бюрократизмъ вѣдается все болѣе и болѣе въ судебные нравы и извращаетъ отношенія, основанныя, въ своемъ существѣ, на иномъ началѣ. „Подтянуть“! слышится со всѣхъ сторонъ. Когда-то грозныя слова „ревизія“, „обревизовать“, отождествляясь съ терминами военнаго искусства „произвести смотръ“, „обозрѣть выправку“, неизбѣжно рисуютъ въ воображеніи двѣ стороны: одну вѣчно бодрствующую, имѣющую ястребиное око, способное все усмотрѣть и, усмотрѣвъ, въ порядкѣ ревизіи нагрянуть, накрыть и разнести, а другую, если и не вполнѣ погруженную въ летаргическій сонъ,

то, по меньшей мѣрѣ, дремлющую или жующую отъ бездѣлья, подобно крестьянскимъ ребятишкамъ, рукава, и вслѣдствіе сего въ любой часъ и въ любой моментъ времени и года пригодную къ уловленію, а съ тѣмъ вмѣстѣ и къ уязвленію. Ревизія, по свойству разыгрываемыхъ участвующими въ ней лицами ролей, имѣетъ нѣкоторое сходство съ соколиной садкой. Ревизоръ это соколъ; ревизуемое лицо, смотря по вкусу и усмотрѣнію, или кроликъ, или голубь, какъ въ соколиной садкѣ; для одной стороны забава и благоденствіе, для сокола обильный послѣ побѣды кормъ, а для другой гибель и смерть,—такъ точно и въ серьезномъ дѣлѣ ревизія: ревизору, если онъ съумѣлъ искусно произвести ревизію, а главное подвести подвигу ревизіи надлежащіе въ надлежащемъ видѣ итоги, облить ихъ специфическою приправою собственнаго усмотрѣнія и затѣмъ, по исполненіи сего, представить свое усмотрѣніе подлежащему начальству на его благоусмотрѣніе—награда; обревизованному же лицу—или гражданская смерть въ видѣ снятія его съ прейсъ-куранта лицъ служебнаго міра, или же, по меньшей мѣрѣ выговоръ, замѣчаніе, предостереженіе, разъясненіе, поставленіе на видъ и всякая иная мѣра строгости, заимствуемая изъ того излюбленнаго ревизорами и начальствующими лицами поэта, который носитъ названіе уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ и имѣетъ переплетную обложку, въ большинствѣ экземпляровъ, зеленаго цвѣта.

„Ревизія уголовныхъ дѣлъ,—гласитъ законъ, — есть прилежное разсмотрѣніе, произведено ли дѣло порядочно и сходственно съ закономъ, сколь для оправданія невинности, столь и для приведенія въ ясность преступленія и обличенія преступника". Подъ словомъ „ревизія" разумѣется точное удостовѣреніе о положеніи дѣлъ и о причинахъ замѣченной или „предполагаемой" медленности въ движеніи дѣлъ или въ дѣлопроизводствѣ вообще. Спрашивается, совмѣстимы ли прилежаніе и точность съ быстротою, и возможно ли. при быстротѣ ревизіи, удостовѣреніе о такой неисправности, которая, не бывъ ранѣе замѣченной, только предполагается. Практика даетъ на этотъ вопросъ отвѣтъ утвердительный. Стоитъ взять номеръ любой газеты и начать пересматривать или отдѣлъ внутреннихъ извѣстій. или списокъ прибывающихъ въ Москву и отбывающихъ изъ нея дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ, какъ тотчасъ же окажется, что такой то, имя-рекъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ въ понедѣльникъ изъ мѣста своего служенія выбылъ, а во вторникъ или въ среду прибылъ обратно, въ четвергъ снова отбылъ и въ пятницу опять вернулся и т. д., въ иные мѣсяцы безъ конца.

„Обревизовать" обозначало въ прежнее время все, въ извѣстный періодъ времени, содѣянное и совершившееся, перетрясти, переворо-

чать всѣ письмена и рукописанія, свидѣтельствующія о дѣятельности, пересмотрѣть и перечитать, во все вникнуть, всмотрѣться и вдуматься. Теперь слово „ревизія", въ этомъ именно настоящемъ его смыслѣ и значеніи, если и не совсѣмъ испарилось изъ служебнаго лексикона, то въ значительной степени вылиняло, впитавъ въ себя понятія разъѣздовъ по городамъ и весямъ, съ цѣлью, напримѣръ, „познакомиться съ личнымъ составомъ" того или другого учрежденія, разсмотрѣть какое-либо одно дѣло, преподать совѣтъ по тому или другому казусному случаю, якобы закономъ не предусмотрѣнному, вообще проѣхаться и прокатиться на казенный счетъ съ пріятнымъ увеселеніемъ на счетъ казны своего собственнаго должностного самолюбія. Въ законахъ о ревизіи, за исключеніемъ сенаторской, имѣется въ виду одно ревизующее должностное лицо и отпускъ денегъ ему одному. Не то представляетъ собою дѣйствительность. Назначается выѣздъ и составляется маршрутъ поѣздки. Какая-нибудь маленькая газетка, приближенная къ юному секретарю, приближенному въ свою очередь узами родства къ особѣ, сама ли прознавъ или инымъ образомъ получивъ извѣстіе, оповѣщаетъ, что вотъ-молъ, такой-то совѣтникъ, занимающій такую-то должность въ сопровожденіи секретаря такого-то и еще такого-то лица, безъ поименованія его должности, отъѣзжаетъ въ такой то градъ для ознакомленія съ личнымъ составомъ служебнаго персонала, что особа и свита его отбываютъ не на долго, и что вскорѣ послѣ того та же особа, но съ другимъ секретаремъ и другою свитою, выѣдетъ въ ту же самую или въ иную подвѣдомственную ей страну, но въ этотъ уже разъ для ревизіи. Выходитъ такъ, что впередъ рекогносцировка, вывѣдываніе, высматриваніе и развѣдываніе, какъ будто служебный персоналъ есть непріятельскій лагерь, а особа и ея свита—лазутчики, а затѣмъ уже ревизія, результатомъ которой газетка и обѣщаетъ подѣлиться со своими читателями. Спрашивается, откуда газетка почерпнетъ необходимыя ей въ этомъ направленіи свѣденія. Кладеземъ живой воды, имѣющей напоять умы и любознательность читающей публики будутъ уста юнаго секретаря и юнаго квартирмейстера, рекущія, пожалуй и не безъ вѣдома особы, сначала о предстоящемъ для особы выѣздѣ, а потомъ и о всемъ происходившемъ въ пути и совершившемся въ путешествіи. Ревизіи предшествуетъ „ознакомленіе", къ которому иной разъ пристегивается слово „обозрѣніе". Обозрѣніе осуществляется въ такой формѣ: пріѣхавшая знакомиться съ личнымъ персоналомъ особа требуетъ къ себѣ дѣла на выдержку и передаетъ ихъ для прочтенія и изученія юному секретарю и юному квартирмейстеру; эти юные мужи дѣла прочитываютъ, усматриваютъ, замѣчаютъ, усмотренное и замѣченное отмѣчаютъ на бумажкѣ, и докладываютъ бумажку особѣ, которая усмо-

трѣвъ по усмотрѣнному недостатки, неправильности и беззаконія призываетъ къ себѣ осмотрѣнное лицо и пушитъ его. На обозрѣніе тратится два три часа времени, за обозрѣніемъ слѣдуютъ должностные визиты, обѣдъ у градоначальника или у подчиненнаго съ разными „diable au chester", „mayonaise de erchis" „sauce rémoulade", и пр., и наконецъ отъѣздъ, по обычаю съ торжественными проводами. И распушили же мы такого-то, повѣствуютъ возвратившіеся къ мѣсту своего служенія секретарь и квартирмейстеръ, и вотъ такому-то такой поднесли экзаменъ, какого никакой экзаменаціонной коммиссіи и во вѣкъ не выдумать.

Предназначенные къ обозрѣнію города стоятъ на протяженіи прямой линіи или расположены окружностью и всѣ между собою соединяются желѣзно-дорожнымъ путемъ, дающимъ возможность совершить объѣздъ въ одинъ пріемъ, и изъ послѣдняго города, не возвращаясь въ первый, вернуться къ мѣсту своего служенія въ столицу. И что же дѣлается? Прогоны исчисляются не въ объѣздъ, а въ каждый городъ по одиночкѣ и притомъ съ обратнымъ изъ каждаго города, хотя и не было обратности, путемъ въ столицу, при чемъ привѣскомъ къ капиталу прогонныхъ денегъ является капиталъ суточныхъ и квартирныхъ суммъ. При такомъ распорядкѣ вещей, не правда ли, страдаютъ виды государственной экономіи, страдаетъ казна? Да, страдаютъ! Но такъ какъ всѣ эти страданія происходятъ во славу особы, а не труженниковъ, особамъ подчиненнымъ, то такого рода недугъ не считается болѣзненнымъ.

Въ наши дни всевозможныхъ вольностей и всякаго рода, въ видахъ наилучшаго приспособленія закона къ практикѣ, отступленій отъ закона, ревизія бываетъ: или парадная и передвижная, съ выѣздомъ начальствующаго ревизора за черту опредѣляемаго его службою мѣстожительства, или же домашняя, въ формѣ сидѣнія въ должностномъ кабинетѣ и пріема по докладу, иной разъ съ довольно продолжительнымъ обожданіемъ, того или другого должностного лица, являющагося издалека и затрачивающаго на надобность явки изъ скудныхъ достатковъ своей трудовой мошны. Нельзя не представиться. Явкою и представленіемъ, во-первыхъ, свидѣтельствуется нижайшее почтеніе, совершенное уваженіе и полная покорность особѣ начальника, и во-вторыхъ, снискивается его благорасположеніе, которое подобно благочестію, на все полезно. Вѣдь сидящему въ кабинетѣ начальнику могутъ забѣгать въ голову разныя думы; вдругъ ему придетъ на умъ мысль ревизовать, и онъ, воспрянувъ съ кресла, возьметъ да и нагрянетъ. Въ роли выѣзднаго ревизора начальникъ, когда ему представятся подчиненные, сосредоточенно сдержанъ, холодно вѣжливъ и мало рѣчистъ; напротивъ того, когда онъ у себя дома,

то необычайно привѣтливъ, очаровательно милъ и любезенъ, и порою, какъ киска съ мышкой, даже игривъ.

— Ахъ, Петръ Иванычъ! И зачѣмъ это вы, имѣя подъ жилетомъ мягкую шапку для улицы, являетесь въ мой кабинетъ съ цилиндромъ въ рукахъ... я батюшка, вы знаете, человѣкъ простой и все у меня по-просту.

Подчиненный выходитъ изъ кабинета очарованнымъ, а начальникъ, чего подчиненный не чуетъ, шлетъ ему въ спину кличку глупца или эпитетъ безтактнаго человѣка.

Всякое время и всякій вѣкъ, имѣя свои предубѣжденія, несомнѣнно имѣетъ и свои обычаи и свои, свойственныя вѣку, особыя привычки.

Одна изъ главныхъ привычекъ нашего вѣка воплощается въ стремленіи къ ревизіямъ и повѣркамъ. Страсть этого рода распространена въ такой мѣрѣ, что иное учрежденіе подвергается ревизіи и повѣркѣ столь часто, сколь часто смѣняются власть имѣющія ревизовать начальствующія лица. Съ понятіемъ о новомъ начальствѣ неразрывно связывается представленіе о новой ревизіи, а со словомъ ревизія всегда соединяется представленіе о новыхъ требованіяхъ, новыхъ предписаніяхъ и новыхъ распорядкахъ. Смѣна декорацій идетъ съ такой быстротой и съ такою стремительностью, что погоняемые быстрыми перемѣнами актеры перепутываютъ въ попыхахъ свои костюмы и на сцену являются растерянными.

Бюрократъ, конечно, тѣмъ и отличается, что для него чуждъ живой принципъ завѣдуемаго имъ учрежденія, и что, въ роли начальника, онъ заботится не объ этомъ принципѣ, а о поддержаніи своего начальническаго престижа и о проявленіи своей начальнической добродѣтели. „Подтянуть"!—вотъ лозунгъ той дѣятельности, которая направлена къ осуществленію первой части этой задачи; „сократить"!—вотъ слово, выражающее всю сущность добродѣтельныхъ заботъ начальника. „Сократить штаты", „урѣзать", облегчить, въ видахъ государственный экономіи, расходы казны! Вотъ тѣ возгласы и рѣчи, которые съ нѣкотораго времени все чаще и чаще стали раздаваться въ стѣнахъ здѣшняго суда, внушая у подлежащихъ сокращенію серьезныя на счетъ своей участи и судьбы опасенія и страхъ.

Вмѣсто девяти членовъ палаты достаточно, говорятъ, пять человѣкъ; изъ пяти помощниковъ секретарей можно удержать на службѣ двоихъ, вмѣсто десяти канцелярскихъ чиновниковъ достойно и праведно довольствоваться однимъ. Всю дѣятельность палаты, какъ учрежденія отжившаго, безплоднаго и безполезнаго,—ходятъ и такіе толки,—можно свести къ бланкамъ и штемпелевымъ оттискамъ, во

образѣ словъ: „прекратить“, „измѣнить“, „утвердить“, „возвратить“, „оставить безъ послѣдствій“; всѣ мыслительныя способности и нелегкій трудъ обвинительной камеры по части провѣрки правильности высказываемыхъ прокурорскимъ надзоромъ по дѣламъ взглядовъ, воплотить въ бланкъ и штемпель, и превративъ такимъ путемъ правосудіе въ бланковое и штемпельное заведеніе, сдѣлать его и дешевымъ и быстротечнымъ. Грузъ большого корабля придется втиснуть въ очень маленькую лодку, весь экипажъ уничтожить, замѣнивъ его однимъ рулевымъ лодочникомъ, выдти съ кладью въ открытое море и по волѣ вольной по волнамъ моря плыть! А куда дѣнутся всѣ эти заштатные и за ненадобностью въ видахъ государственной экономіи, отставленные и уволенные?

Впрочемъ, медленная рука времени сглаживаетъ горы, и нѣтъ ничего такого, чего бы время не сравняло и не поглотило. Заглядывая въ будущее, насколько оно доступно человѣческой прозорливости, мы думаемъ, что, можетъ быть, все останется по прежнему, обойдется безъ всякой ломки...

Wz.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го октября 1885 г.

Болгарское „возсоединеніе", и его предполагаемая связь съ политикою трехъ имперій.—Роль князя Александра и мѣстныхъ патріотовъ.—Отношеніе европейскихъ державъ, иностранной и нашей реакціонной печати къ совершившемуся перевороту.

Въ политикѣ очень часто великія дѣла совершаются не великими людьми: такъ, искра, брошенная рукою ребенка въ массу горючаго матеріала, можетъ произвести пожаръ, и случайный выстрѣлъ, раздавшійся гдѣ-нибудь на Балканахъ или на афганской границѣ, можетъ послужить также началомъ крупныхъ событій. Общій миръ въ Европѣ объявленъ былъ упроченнымъ послѣ торжественныхъ свиданій монарховъ въ Гаштейнѣ и въ Кремзирѣ; руководящіе министры трехъ великихъ имперій совѣщались о способахъ устраненія возможныхъ разногласій между державами, и вся европейская печать прониклась увѣренностью въ твердомъ миролюбіи кабинетовъ. Но не можетъ ли иногда случиться что-либо серьезное въ международныхъ дѣлахъ, безъ вѣдома и участія сильныхъ міра сего? Дипломатія не задавалась этимъ вопросомъ, а публика успокоилась на сознаніи, что существующій политическій порядокъ неуклонно поддерживается и княземъ Бисмаркомъ. Англо-русскій кризисъ разрѣшился скромнымъ протоколомъ, подписаннымъ въ Лондонѣ и закрѣпившимъ безобидное соглашеніе по вопросу о Зюльфагарѣ; лордъ Сольсбюри присоединился къ континентальнымъ охранителямъ европейскаго мира. И вдругъ это общее спокойствіе нарушено самымъ неожиданнымъ образомъ. Не прошло еще трехъ недѣль со времени кремзирскаго съѣзда, и не успѣли еще затихнуть газетные толки о благополучномъ сохраненіи status-quo на востокѣ, какъ получилось извѣстіе о внезапномъ поколебаніи этого status quo однимъ изъ мелкихъ государствъ Балканскаго полуострова. Горсть болгарскихъ патріотовъ нанесла сильный и мѣткій ударъ тому искусственному зданію, которое воздвигнуто было берлинскимъ конгрессомъ, и охрана котораго составляетъ одну изъ важнѣйшихъ заботъ европейской дипломатіи. Такъ-называемая восточная Румелія перестала существовать въ видѣ самостоятельной турецкой области; она присоединилась фактически къ болгарскому княжеству, при восторженномъ участіи всего болгарскаго населенія. Переворотъ совершился легко и быстро, безъ пролитія крови; генералъ-губернаторъ Гавріилъ-паша далъ себя спокойно

арестовать въ своемъ дворцѣ, и на его мѣсто вызванъ былъ князь Александръ, который и прибылъ въ Филиппополь съ министромъ Каравеловымъ среди всеобщихъ ликованій.

Событіе 6-го сентября поразило всѣхъ своею неожиданностью; оно застало врасплохъ не только дипломатовъ трехъ имперій, но и наиболѣе заинтересованныя въ дѣлѣ балканскія народности. Короли Сербіи, Румыніи и Греціи находились въ это время за границей; они поспѣшили вернуться къ своимъ мѣстамъ, переговоривъ предварительно съ иностранными министрами, особенно съ графомъ Кальноки. Представители Россіи также отсутствовали въ Софіи и въ Филиппополѣ; повсюду, очевидно, господствовало убѣжденіе, что для политики настало вакаціонное время. Самъ князь Александръ болгарскій всего менѣе давалъ поводъ къ подозрѣніямъ о какихъ-либо рѣшительныхъ планахъ съ его стороны; онъ могъ даже получить благоразумные совѣты отъ русскаго министра иностранныхъ дѣлъ, съ которымъ видѣлся въ Франценсбадѣ, и затѣмъ имѣлъ случай узнать и австрійскіе взгляды на неприкосновенность status quo; онъ увѣрилъ императора Франца-Іосифа и графа Кальноки, что въ Болгаріи не предстоитъ никакихъ перемѣнъ, и что все обстоитъ въ ней благополучно,—а возвратившись съ австрійскихъ маневровъ въ Пильзенѣ, онъ черезъ двѣ недѣли принялъ участіе въ переворотѣ, который ни въ какомъ случаѣ не могъ понравиться Австро-Венгріи. На первыхъ порахъ послѣ извѣстія о мирномъ возсоединеніи „сѣверной и южной Болгаріи“, невольно являлась мысль о связи этого факта съ результатами кремзирскаго свиданія,—тѣмъ болѣе, что нѣсколькими днями раньше былъ впервые поставленъ вопросъ о формальномъ присоединеніи Босніи и Герцеговины къ австрійскимъ владѣніямъ, по поводу поѣздки императора Франца-Іосифа къ боснійской границѣ. Многимъ казалось, что перемѣна въ Болгаріи можетъ служить удобнымъ предлогомъ для перемѣны въ судьбѣ Босніи, и что филиппопольскій coup d'état былъ заранѣе предусмотрѣнъ въ Вѣнѣ; но это предположеніе падаетъ само собою при видѣ неудовольствія и растерянности вѣнской оффиціозной печати по отношенію къ болгарской „революціи“,—да и вопросъ о Босніи не созрѣлъ еще и остается пока въ прежнемъ переходномъ состояніи. Никто не думалъ также, что дѣло совершилось съ вѣдома Россіи;—это было немыслимо послѣ дружескихъ совѣщаній въ Кремзирѣ; притомъ князь Александръ давно уже не пользуется особымъ расположеніемъ русскаго правительства и русской дипломатіи. Нѣкоторые проницательные политики намекали на англійскую интригу, имѣвшую будто бы цѣлью посѣять раздоръ между Австріею и Россіею; существованіе „интриги“ доказывается уже тѣмъ обстоятельствомъ, что братъ болгарскаго князя женился недавно на младшей дочери

королевы Викторіи, и что, слѣдовательно, фамилія Баттенберговъ можетъ разсчитывать на поддержку со стороны Англіи. Подобныя глубокомысленныя догадки не нуждались въ опроверженіяхъ. Для всякаго ясно, что ни князь Бисмаркъ, ни лордъ Сольсбюри, не могли отнестись одобрительно къ насильственному измѣненію порядка, установленнаго берлинскимъ трактатомъ. Газетамъ пришлось въ концѣ концовъ примириться съ скромнымъ выводомъ, что важное событіе 6-го сентября совершено людьми сравнительно менѣе крупными — Каравеловымъ и его единомышленниками, на собственный ихъ рискъ и страхъ, безъ вѣдома и участія великихъ державъ и ихъ представителей.

При такомъ характерѣ болгарскаго переворота, европейскіе кабинеты могли свободно обсудить совершившуюся перемѣну, не опасаясь взаимныхъ пререканій и обвиненій; они имѣли предъ собою выборъ—или признать совершившійся фактъ, ограничивъ по возможности его предѣлы, или же допустить усмиреніе болгаръ турецкими войсками, что равносильно было-бы открытію восточнаго вопроса во всемъ его грозномъ значеніи. Восточная Румелія была и безъ того весьма слабо и поверхностно связана съ турецкою имперіею; она имѣла свое самостоятельное управленіе, гарантированное международнымъ договоромъ и почти независимое отъ Порты; она была свободна, по крайней мѣрѣ фактически, отъ присутствія турецкихъ солдатъ и почти не давала доходовъ въ турецкую казну, такъ, что присоединеніе этой области къ вассальному княжеству въ сущности очень мало измѣняетъ дѣйствительныя отношенія ея къ Турціи. Порта не могла забыть, что Восточная Румелія была вырвана послѣднею войною изъ-подъ турецкой власти и входила въ составъ болгарской территоріи по Санъ-Стефанскому миру; этого не могло забыть и населеніе обѣихъ частей Болгаріи, раздѣленныхъ европейскою дипломатіею ради противодѣйствія русскому преобладанію на Балканскомъ полуостровѣ. Турція имѣла право держать свои гарнизоны въ Балканахъ, но она не воспользовалась этимъ правомъ, считая край какъ-будто потерянным безвозвратно. Турецкая власть только номинально существовала въ Восточной Румеліи; она не имѣла тамъ никакихъ реальныхъ опоръ, ни военныхъ, ни полицейскихъ, ни административныхъ,—мѣстная милиція, чиновничество, жандармерія—все это учрежденія чисто болгарскія, съ примѣсью нѣкоторыхъ иностранныхъ элементовъ, безъ малѣйшаго участія турокъ. Единственнымъ представителемъ турецкой власти оставался генералъ-губернаторъ, но и онъ—не турокъ, а болгаринъ, къ имени котораго вовсе не подходитъ титулъ паши. Не было поэтому ничего легче, какъ свергнуть турецкое владычество въ Филиппополѣ: стоило

только устранить Гавріила-пашу Крестовича и объявить во всеуслышаніе о счастливомъ возсоединеніи съ княжествомъ,—и все кончено. Не нужно было ни готовиться къ битвѣ, ни брать штурмомъ какую-либо крѣпость, ни изгонять турецкіе гарнизоны; одного провозглашенія было достаточно для того, чтобы зданіе рухнуло само собою, по отсутствію фундамента и соотвѣтственныхъ точекъ опоры. Болгарская милиція, болгарскіе чиновники и болгарскіе жандармы не могли стоять за турецкую власть, хотя-бы и номинальную; они тотчасъ-же примкнули къ движенію, организованному кружкомъ патріотовъ и поддержанному единодушно всѣмъ народомъ. Чтобы сохранить за собою отпавшую область, турки вынуждены были-бы дѣйствовать не оборонительно, а наступательно,—вступить въ предѣлы Восточной Румеліи, разогнать милицію, жандармовъ и чиновниковъ, подвергнуть страну опустошенію и оставить въ ней свои турецкія силы. Нечего и говорить, что самые безсердечные враги славянства не могли желать такой развязки, которая грозила-бы въ будущемъ новыми возстаніями и новыми войнами. Порта во-время поняла свое положеніе и остановила свой воинственный порывъ, который могъ-бы вызвать естественное заступничество державы, уже разъ освободившей Болгарію отъ турецкаго господства. Дѣло перешло въ руки европейской дипломатіи, которая по обыкновенію оформитъ совершившееся безъ ущерба для своего достоинства. Нельзя возстановить то, чего нѣтъ, и что исчезло безъ слѣда;—пользуясь лишь дипломатическими способами дѣйствія, Европа можетъ только признать переворотъ подъ другимъ именемъ или въ смягченномъ видѣ, съ выраженіемъ строгаго порицанія виновникамъ событія. Измѣнить результаты переворота въ чемъ-либо существенномъ или даже назначить болгарамъ другого князя, вмѣсто принца Баттенберга, возможно не иначе, какъ путемъ военной оккупаціи княжества; а на этотъ рискованный шагъ едва-ли рѣшатся державы безъ крайней необходимости. Князь Александръ пріобрѣлъ себѣ прочную популярность въ странѣ; его смѣлая поѣздка въ Филиппополь доставила ему славу народнаго героя. Чтобы низложить его противъ воли болгаръ и навязать послѣднимъ новаго иностраннаго князя, потребовалась-бы экспедиція весьма сомнительнаго свойства, съ цѣлымъ рядомъ непріятныхъ усложненій и случайностей. Перемѣна династіи при подобной обстановкѣ могла-бы увлечь болгаръ на путь республики или породить чрезмѣрную шаткость политическаго строя, что одинаково нежелательно для Европы; а попытка водворить въ Болгаріи твердую власть, не имѣющую почвы въ народѣ, получила-бы значеніе насилія и значительно ослабила-бы прежнюю заслугу освобожденія отъ твердой власти турецкихъ пашей. Настроеніе, чувства и интересы самихъ

освобожденныхъ народностей также играютъ нѣкоторую роль въ ихъ національной жизни; не все на Балканскомъ полуостровѣ исчерпывается дипломатическими формулами и фикціями, изъ которыхъ составляется такъ называемый восточный вопросъ:—тамъ приходится имѣть дѣло не съ одними продуктами дипломатіи, а съ живыми народами, проникнутыми вѣрою въ будущее и добивающимися независимости въ настоящемъ. Оскорблять эти милліоны людей, насмѣхаться надъ ихъ чувствами и желаніями, заглушать ихъ завѣтныя мечты—Европа не имѣетъ повода и основанія, съ тѣхъ поръ, какъ разсѣялся страхъ поглощенія этихъ народовъ родственною имъ Россіею. Даже такіе черствые публицисты, какъ сотрудники лондонскаго „Times'a“ и нѣмецкихъ биржевыхъ газетъ, высказываются теперь прямо въ пользу устраненія турецкой власти надъ враждебными ей балканскими племенами; новое самостоятельное устройство этихъ народностей считается только вопросомъ времени.

Правда, могутъ найтись люди, которые зададутъ себѣ вопросъ: если жители Румеліи только номинально подчинены были Портѣ и имѣли свое выборное „областное собраніе“, свою милицію и свою администрацію, то зачѣмъ же понадобилось нарушать берлинскій трактатъ, обезпечившій имъ всѣ эти блага самоуправленія? На этотъ вопросъ не трудно отвѣтить другимъ болѣе общимъ вопросомъ: почему даже тѣнь зависимости отъ враждебной силы всегда волновала народы и поднимала ихъ на самоотверженную борьбу ради полнаго освобожденія? Румелія не могла получать новые законы иначе, какъ черезъ Константинополь: постановленія „областного собранія“ нуждались въ санкціи султана и часто отвергались только потому, что въ Стамбулѣ были вообще недовольны дѣйствіями и рѣчами румелійскихъ „гласныхъ“. Гавріилъ-паша старался по временамъ показывать свое усердіе въ дѣлахъ службы; онъ арестовывалъ людей за вольномысліе относительно турокъ, преслѣдовалъ пропаганду опасной идеи болгарскаго объединенія, назначалъ на видныя должности нѣмцевъ и вообще иностранцевъ, какъ болѣе благонадежныхъ въ политическомъ отношеніи, и въ то же время не мѣшалъ болгарамъ имѣть въ Филиппополѣ нѣсколько оппозиціонныхъ газетъ открыто и неустанно проповѣдывавшихъ сліяніе Румеліи съ княжествомъ. Свобода печати была однимъ изъ тѣхъ благъ, которыя записаны были въ органическомъ статутѣ и не могли быть вычеркнуты по произволу. Сознаніе, что высшая законодательная и административная власть надъ страною остается въ турецкихъ рукахъ или въ непосредственной зависимости отъ нихъ, уже само по себѣ отравляло общественное чувство румелійскихъ болгаръ,—еслибы даже никакихъ злоупотребленій не практиковалось со стороны Порты. Близкое сосѣдство свободнаго

княжества, гдѣ народъ живетъ полною политическою жизнью и гдѣ совершенно исчезли слѣды печальнаго прошлаго, дѣйствовало на Румелію возбуждающимъ образомъ и поддерживало въ ней патріотическія надежды, которымъ суждено было сбыться скорѣе, чѣмъ предполагала дипломатія. Соединеніе обѣихъ Болгарій есть фактъ естественный и неизбѣжный, по общему признанію оффиціозныхъ западноевропейскихъ газетъ; только способъ соединенія осуждается державами, какъ неудобный прецедентъ для дальнѣйшихъ попытокъ раздѣла оттоманской имперіи. Что касается уваженія къ международнымъ договорамъ, то на эту тэму напрасно разсуждаютъ газеты въ данномъ случаѣ: ни одна изъ державъ, подписавшихъ берлинскій трактатъ, не нарушила его, а измѣнилась только фактическая основа нѣкоторой части трактата, помимо воли и участія заинтересованныхъ кабинетовъ. Болгары не могли нарушить договоръ, въ которомъ вовсе не участвовали; они играли въ немъ роль матеріала, о которомъ составлены были извѣстныя постановленія, но не пользовались правами дѣйствующихъ лицъ, и потому не подлежали отвѣтственности за послѣдствія мѣръ, принятыхъ великими державами. Если Восточная Румелія соединилась съ княжествомъ при первомъ призывѣ болгарскихъ дѣятелей, безъ всякихъ потрясеній и опасностей, то это доказываетъ лишь, что объединеніе лежало въ природѣ вещей, и что обстоятельства, побудившія державы раздѣлить Болгарію на двѣ части, перестали существовать. Европа не можетъ подвергать наказанію народъ, достигшій своей завѣтной цѣли; нельзя также наказывать князя за то, что онъ не побоялся послѣдовать народному призыву и не предпочелъ оставить поднявшуюся Румелію на произволъ анархіи. Взрывъ подготовленъ и совершонъ былъ не княземъ Александромъ, быть можетъ, даже безъ его вѣдома и одобренія; онъ принялъ готовый плодъ, сорванный руками единомышленниковъ Каравелова, и покрылъ своимъ именемъ самопроизвольное дѣйствіе, направленное противъ Порты. Болгарское народное собраніе, созванное княземъ, признало объединеніе фактомъ совершившимся и утвердило всѣ исключительныя мѣры, принятыя министерствомъ;— этимъ болгарскій народъ взялъ на себя отвѣтственность за происшедшее. Съ другой стороны, князь Александръ пытался успокоить Порту увѣреніемъ, что онъ не думалъ порвать вассальныя отношенія свои къ Турціи, и что повинности княжества, какъ и Восточной Румеліи, останутся въ силѣ при соединеніи обѣихъ областей. Можно даже думать, что отъ „цѣлокупной“ Болгаріи турецкая казна можетъ получать дань съ большею аккуратностью и въ большемъ размѣрѣ, чѣмъ отдѣльно отъ княжества и отъ Румеліи,—ибо расходы администраціи значительно сократятся, съ упраздненіемъ централь-

ныхъ „дирекцій“ въ Филиппополѣ и съ передачею дѣлъ генералъ-губернаторства въ общія министерства въ Софіи, по принадлежности.

Фактъ, столь рѣзко нарушившій привычное спокойствіе европейской дипломатіи, произвелъ особенно сильное впечатлѣніе среди западныхъ и южныхъ славянъ; радостныя привѣтствія и сочувственные порывы выражаются болѣе или менѣе краснорѣчиво въ славянскихъ, особенно чешскихъ газетахъ. Корреспонденты чешскихъ газетъ создали уже легенду, въ которой героинею является болгарская Жанна д'Аркъ; молодая дѣвушка предводительствовала отрядомъ, занявшимъ дворецъ генералъ-губернатора, лично арестовала Гаврилапашу и съ обнаженною шпагою конвоировала его въ каретѣ. Лихорадочное возбужденіе создаетъ заманчивыя картины, въ которыхъ фантазія перемѣшана съ дѣйствительностью; люди живутъ усиленною жизнью, увлекаются далекимъ идеаломъ и не замѣчаютъ прозаическихъ невзгодъ и затрудненій. Славянская идея опять пошла въ ходъ, но съ нею вмѣстѣ и славянская рознь: сербы раздражены смѣлостью болгарскихъ дѣятелей и собираются ограничить плоды ихъ успѣха; они хотятъ или завладѣть старо-сербскими землями, или выступить на защиту поруганнаго берлинскаго трактата, чтобы помѣшать болгарамъ достигнуть единства ранѣе сербовъ, въ ущербъ ихъ будущему величію. Такъ же точно греки боятся за цѣлость ожидаемой добычи и готовятся занять часть Македоніи, на которую одновременно претендуютъ еще болгары и сербы. На Македонію простираютъ свои виды и австрійцы, которые успѣли обезпечить за собою преобладаніе въ значительнѣйшей части Балканскаго полуострова и не отказались еще отъ надежды дойти до Эгейскаго моря. Черногорія, окруженная со всѣхъ сторонъ австрійскою территоріею, австрійскими фортами и австрійскимъ вліяніемъ, скрываетъ пока свои притязанія; но возстаніе сосѣднихъ албанцевъ и военныя дѣйствія турокъ въ Коссовскомъ округѣ, между Сербіею и Черногоріею, могутъ заставить и черногорцевъ взяться за оружіе. Македонскіе болгары организуются въ отряды, которые пока не имѣютъ еще общихъ руководителей; софійское правительство отклоняетъ участіе Македоніи, чтобы не усложнить своего положенія передъ державами, и чтобы не вызвать вражды соперниковъ—сербовъ и грековъ. Словомъ, предъ нами разыгрывается цѣлый вихрь интересовъ и отношеній, который издавна пугалъ Европу подъ именемъ восточнаго вопроса. Горячіе славянофилы могли, во всякомъ случаѣ, найти весьма утѣшительные признаки въ настоящемъ положеніи дѣлъ; быстрый и легкій успѣхъ болгаръ Восточной Румеліи могъ обнадежить остальныя подвластныя туркамъ населенія и ближе показать имъ перспективу полной національной

свободы. Соперничество между сербами, болгарами и греками рано или поздно разрѣшится полюбовнымъ раздѣломъ пограничныхъ областей, сообразно ихъ этнографическимъ особенностямъ; взаимное недоброжелательство неизбѣжно затихнетъ предъ лицомъ общаго врага, въ рѣшительный моментъ ликвидаціи турецкаго наслѣдства: въ худшемъ случаѣ каждый взялъ бы столько, сколько хватило бы силы, не переступая за черту, намѣченную сосѣдомъ,—еслибы даже предположить, что такой раздѣлъ совершится безъ руководящаго контроля могущественныхъ европейскихъ имперій.

Какъ бы то ни было, въ ожиданіи неизвѣстнаго и сомнительнаго будущаго, частичное рѣшеніе одного изъ многихъ вопросовъ, касающихся Балканскаго полуострова, — и притомъ рѣшеніе безспорно въ пользу славянства—должно было искренно обрадовать всѣхъ сторонниковъ самобытнаго національнаго развитія славянскихъ племенъ. Что же видимъ мы у насъ, среди славянофиловъ и патріотовъ по профессіи, неустанно осуждающихъ берлинскій трактатъ, какъ одно изъ позорныхъ явленій въ нашей новѣйшей исторіи?

Газета, основавшая свой успѣхъ на крайнемъ увлеченіи модными славянофильствомъ въ эпоху сербской войны, рѣзко нападаетъ теперь на князя Александра и его совѣтниковъ за смѣлое присоединеніе восточной Румеліи. Газета допускаетъ возможность того, что „Россія круто обойдется съ строптивыми (?) младшими братьями, увлекающимися своею свободою“ и что „въ русской политикѣ... скажется нѣкотораго рода реакція противъ идеалистическихъ стремленій семидесятыхъ годовъ“, причемъ „политикѣ національныхъ чувствъ будетъ противопоставляться политика голыхъ интересовъ“. Въ семидесятыхъ годахъ газета предлагала русскому обществу жертвовать жизнью и средствами для поддержанія Сербіи, а теперь показываетъ въ перспективѣ какія-то крутыя мѣры подъ предлогомъ несуществующихъ „голыхъ интересовъ“. Едва ли газета въ состояніи была бы объяснить, какіе именно интересы требуютъ систематическаго отталкиванія балканскихъ народовъ отъ Россіи и отъ всего русскаго; а что враждебныя и насмѣшливыя выходки русской печати не могутъ поддерживать въ болгарахъ хорошія къ намъ чувства,—это несомнѣнно. А потомъ мы удивляемся и негодуемъ, когда освобожденныя нами народности попадаютъ подъ покровительство Австро-Венгріи и входятъ въ кругъ австрійскаго или англійскаго вліянія! Газетѣ кажется смѣшнымъ князь Александръ Баттенбергъ, потому что онъ „поторопился разрубить гордіевъ узелъ, связанный къ тому же весьма плохо (?)“. Болгарскій узелъ, по мнѣнію газеты, „былъ такъ плохо завязанъ, что онъ распался бы самъ собою, причемъ вопросъ о Македоніи рѣшился бы въ пользу Болгаріи (?!). „Поспѣшишь—насмѣшишь“, гово-

ритъ пословица. Въ данномъ случаѣ, ее можно произнести такъ: „поспѣшишь—навредишь". И князь Александръ именно „повредилъ своею торопливостью дальнѣйшимъ судьбамъ Болгаріи" и т. д. Откуда газета почерпнула увѣренность, что Македонія досталась бы болгарамъ безъ вмѣшательства принца Баттенберга,—это остается загадкою. Не думаетъ ли авторъ, что возможна такая комбинація, при которой Австрія, Греція и Сербія одновременно проглядѣли бы Македонію, отдавъ ее великодушно болгарскому княжеству? Или въ будущемъ найдется великая держава, готовая завоевать Македонію именно для болгаръ, въ ущербъ грекамъ, сербамъ и австрійцамъ? Не стоитъ взвѣшивать эти альтернативы, ибо одно предположеніе нелѣпѣе другого. Гезета говоритъ теперь о „революціонныхъ движеніяхъ на Балканскомъ полуостровѣ", подобно тому какъ въ періодъ герцеговинскаго возстанія заграничныя туркофильскія газеты называли балканскихъ славянъ революціонерами, сопротивляющимися законной власти султана и его башибузуковъ. Бывшіе славянофилы считаютъ „наименѣе удобнымъ исходомъ изъ нынѣшней путаницы... такой образъ дѣйствій Порты, при которомъ вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ восточной Румеліи былъ бы предоставленъ ею совершено на усмотрѣніе державъ, пожалуй даже съ оговоркою, что она не можетъ допустить одного, а именно, безнаказанности виновниковъ нынѣшняго затрудненія".

Отношеніе нашихъ „патріотическихъ" газетъ къ болгарскому объединенію кажется намъ болѣе удивительнымъ и неожиданнымъ, чѣмъ самое событіе 6 сентября. Вчерашніе славянолюбцы заговорили вдругъ объ охранѣ берлинскаго трактата, о совмѣстномъ дѣйствіи и даже союзѣ съ Турціею (противъ болгаръ и славянства?), о фиктивности „турецкаго ига" и о пользѣ пребыванія восточной Румеліи подъ просвѣщеннымъ владычествомъ турецкихъ пашей. „Московскія Вѣдомости" находятъ объединеніе болгаръ нежелательнымъ въ настоящее время, когда Болгарія „повергнута въ хаосъ и предана губительнымъ интригамъ". Почтенная газета разсказываетъ свою старую сказку о вредномъ вліяніи интеллигенціи и о превосходствѣ „великой народной силы, движимой духомъ своей исторіи" (и глаголющей исключительно устами двухъ-трехъ московскихъ публицистовъ, проникнутыхъ духомъ иностранной древне-классической интеллигенціи?). „Въ минувшую войну,—вѣщаетъ газета,—русскій народный духъ совершалъ великія дѣла, русскій солдатъ явилъ чудеса самопожертвованія и свято исполнилъ свой долгъ, причемъ ему гораздо труднѣе приходилось отъ интеллигенціи своихъ (т.-е. интендантовъ, казнокрадовъ и т. п. ?), нежели отъ оружія непріятелей. По окончаніи войны историческая Россія уступила мѣсто анти-Россіи (?!), которая

тотчасъ же надѣлила Болгарію самою нелѣпою изъ всѣхъ конституцій, причемъ во главу ея поставленъ князь, не имѣющій ничего общаго со страною". Мы и не знали до сихъ поръ, что на берлинскій конгрессъ пошла какая-то „анти-Россія", которая по московской терминологіи есть не что иное, какъ наша загнанная и забитая „либеральная интеллигенція". Ново для насъ и то, что князь Александръ ставленникъ той же интеллигенціи, и что онъ не пользуется уже симпатіями людей, привѣтствовавшихъ его въ маѣ 1881 года, какъ избавителя страны отъ „нелѣпой конституціи". Было время, когда нѣмецкій принцъ признавался болѣе вѣрнымъ выразителемъ болгарскихъ интересовъ, чѣмъ заслуженные туземные патріоты, Цанковъ, Каравеловъ и другіе, подвергнутые имъ изгнанію. Или тогда устами „Московскихъ Вѣдомостей" говорила также „анти-Россія"? Московскій публицистъ не могъ не замѣтить слѣдовъ польской интриги въ томъ обстоятельствѣ, что начальникъ милиціи (арестованный въ день переворота!) носитъ фамилію Дрыгальскаго, и что одинъ изъ руководителей движенія, Странской, имѣетъ также подозрительную фамилію: затѣмъ газета поправилась и со свойственною ей деликатностью объяснила, что „Странской—не полякъ, а румынскій либералъ, хотя болгаринъ родомъ,—невѣжда и тупица (!!); во главѣ же болгарскаго правительства стоитъ безшабашный, безмозглый (!) и тщеславный Каравеловъ". Какова же должна быть вся болгарская нація, если ея выдающіеся дѣятели суть люди безмозглые, невѣжды и тупицы! Очевидно, народъ долженъ уже просто состоять изъ безсловесныхъ животныхъ,—если только эти свѣденія объ умственныхъ способностяхъ болгарскихъ дѣятелей болѣе основательны, чѣмъ указаніе на польское происхожденіе Странскаго. Такого рода отзывы о болгарахъ невольно напоминаютъ тѣ ругательные эпитеты, которыми вѣнскіе туркофилы въ свое время награждали черногорцевъ, герцеговинцевъ и сербовъ; какъ возмущались у насъ, когда люди, которыхъ мы считали великими героями, обзывались просто головорѣзами, разбойниками, ворами, не имѣющими другой цѣли, кромѣ грабежа! Теперь роли перемѣнились. Заграничныя газеты толкуютъ серьезно о болгарскихъ дѣятеляхъ и даже сочувствуютъ ихъ предпріятіямъ, а наши патріоты только по снисхожденію допускаютъ споръ о томъ, что Каравеловъ—человѣкъ не совсѣмъ безмозглый, и что Странской не лишенъ признаковъ ума: по этому послѣднему вопросу выступилъ даже, въ качествѣ достовѣрнаго свидѣтеля и эксперта, одинъ изъ бывшихъ русскихъ чиновниковъ восточной Румеліи.

Оставляя въ сторонѣ эти нелѣпыя выходки и эту убогую полемику, мы не можемъ не обратить вниманія на близорукую мелочность политическихъ воззрѣній, лежащихъ въ основѣ подобныхъ отзывовъ

печати. „Современныя Извѣстія“ догадываются, что „объединеніе Болгаріи совершилось или, точнѣе, допущено не ради болгаръ, а ради Австро-Венгріи“; австрійцы стремятся „подогрѣть албанцевъ, помутить македонцевъ“, чтобы имѣть предлогъ для захвата турецкихъ областей вплоть до Салоникъ. Точь въ точь какъ извѣстныя ссылки на русскую агитацію и русскіе рубли по поводу освободительныхъ движеній въ Турціи и въ другихъ краяхъ! Албанцы и македонцы не могутъ дескать сами сообразить, нужно ли имъ освободиться отъ турецкой власти или нѣтъ; они нуждаются для этого въ посторонней интригѣ, безъ которой не обходится ни одно событіе въ мірѣ по универсальному и крайне дешовому представленію публицистовъ московскаго лагеря. „Современныя Извѣстія“, требовавшія когда-то уничтоженія Турціи безъ остатка, совѣтуютъ теперь заключить тѣсный союзъ съ султаномъ, причемъ не отступаютъ отъ ручательства за цѣлость турецкой имперіи; ибо „политика идетъ по образу и подобію коммерціи“. Въ Москвѣ повторяются теперь фразы, за которыя клеймилось позоромъ имя лорда Биконсфильда; но и этотъ знаменитый лордъ не доходилъ до циническаго смѣшенія политики съ мелочною торговлею, какъ это склонны дѣлать его запоздалые россійскіе подражатели. А много ли лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ почтенный профессоръ Иловайскій не находилъ болѣе сильнаго слова для осужденія англичанъ, какъ называя ихъ „торгашами“! Такъ мѣняются времена и нравы, при отсутствіи дѣйствительнаго политическаго пониманія и такта. Всѣ наши толки о славянствѣ забываются безслѣдно, когда „священное“ дѣло освобожденія отъ турокъ устраивается помимо насъ, безъ нашего руководства и хозяйничанья; въ этомъ основное зерно теперешнихъ нашихъ жалобъ на неблагодарность Болгаріи и ея правителей. Яснѣе всего это выражается въ статьяхъ извѣстнаго спеціалиста по псевдо-славянофильству, редактора „Руси“. „Русь“, подобно другимъ газетамъ того же оттѣнка, считаетъ несчастными тѣхъ славянъ, которые не отдаются всецѣло въ руки назойливыхъ „благодѣтелей“, говорящихъ самозванно отъ имени Россіи и русскаго народа. Какіе нибудь желѣзнодорожные дѣльцы, добиваясь концессіи въ балканскихъ государствахъ, припутываютъ къ своимъ разсчетамъ вопросы высшей политики, опираются на русскіе интересы и на обаяніе русскаго имени; а когда концессіи все-таки недостаются, то по этому поводу поднимаются широкія національныя притязанія, не имѣющія въ сущности никакой связи съ даннымъ фактомъ. Та же самая исторія повторяется съ каждымъ русскимъ карьеристомъ, прибывающимъ въ освобожденныя страны съ обширными ожиданіями и требованіями, которыя конечно не могутъ внушить къ себѣ особенной симпатіи; большинство враждебныхъ и желч-

ныхъ отзывовъ о балканскихъ дѣлахъ проистекаетъ, къ сожалѣнію, изъ этого мутнаго источника. Странно, что у насъ не привыкли еще отличать личные вопросы отъ политическихъ; стоитъ только болгарамъ отказаться отъ услугъ какого-либо русскаго чиновника или неуживчиваго офицера, чтобы тотчасъ-же раздавались возгласы о неблагодарности болгаръ по отношенію къ Россіи вообще. Отдѣльные русскіе люди, иногда весьма неудобные, отожествляются съ цѣлымъ народомъ, и чувство признательности къ россійской имперіи смѣшивается съ отношеніями къ тѣмъ или другимъ русскимъ дѣятелямъ. Такого рода смѣшенія постоянно встрѣчаются въ русской печати—въ томъ числѣ и въ спеціальномъ органѣ славянофильства, въ „Руси". Болгарское княжество не можетъ похвалиться симпатіями „Руси",—повидимому только благодаря тому, что оно перестало служить общедоступнымъ пріютомъ для русскихъ искателей мѣстъ. „Общій уровень цивилизаціи, благосостоянія и промышленности въ Румеліи выше, замѣчаетъ „Русь",—и какъ ни недовольны были румеліоты своимъ генералъ-губернаторомъ Крестовичемъ, дѣла въ этой провинціи шли положительно лучше, чѣмъ въ княжествѣ... Тѣмъ не менѣе великое счастіе для Болгаріи, что возсоединеніе не отложено на дальній многолѣтній срокъ и т. д.". Для „Руси" важно впрочемъ только участіе Россіи въ балканскихъ дѣлахъ, а не успѣшное развитіе и направленіе самыхъ этихъ дѣлъ; газета полагаетъ, что допустить переворотъ безъ русскаго почина и руководства значило-бы „дать себя провести грубо и нагло". Дѣло идетъ не о возсоединеніи болгаръ для ихъ собственнаго блага и для пользы славянства, а о томъ, чтобы по поводу этого событія созванъ былъ „новый конгрессъ для передѣлки берлинскаго договора, причемъ могло-бы произойти и новое расчлененіе Турціи съ передачею, пожалуй (!), Россіи и ключа отъ ея дверей". Мы не говоримъ уже о великодушіи и безкорыстіи этихъ соображеній; но нельзя не удивляться наивности того ожиданія, что новый конгрессъ великихъ державъ „пожалуй" дастъ намъ добровольно берега Дарданеллъ и Босфора. Какимъ чудомъ совершится это непостижимое „пожалуй", послѣ неоднократныхъ дипломатическихъ опытовъ прошлаго, когда наши фактическія пріобрѣтенія урѣзывались елико возможно,—это опять-таки одна изъ тайнъ самодовольнаго новѣйшаго славянофильства. Для достиженія желанныхъ результатовъ достаточно внушить нашей дипломатіи твердое сознаніе, что „такая передача (ключа отъ дверей) есть условіе sine qua non дальнѣйшаго политическаго существованія Россіи въ мірѣ, безъ чего и возсоединеніе Болгаріи было-бы едва-ли желательно, какъ мало полезное для нея самой (?!)". Значитъ, болгарамъ ничего не нужно, если мы не можемъ добыть „ключа отъ дверей". Для

„Руси“ нѣтъ ничего легче, какъ „двинуть войска на полуостровъ, причемъ Россія немедленно заняла бы ворота Босфора и расположилась бы гдѣ-нибудь, пониже Буюкъ-Дере къ Черному морю, на обоихъ берегахъ, азіатскомъ и европейскомъ“. Любопытно, что дѣлала бы въ это время Англія, по предположенію г. Аксакова,—не говоря уже о Германіи и другихъ державахъ. „Русь“ признаетъ возсоединеніе обѣихъ Болгарій только при одномъ условіи, что „хозяевами и распорядителями (переворота) должны бы быть мы, никто какъ мы“. Откровенно, но едва ли остроумно:—если это „м ы“ должно означать оффиціальную Россію, то вѣдь послѣдняя связана берлинскимъ трактатомъ и не можетъ сама перестраивать балканскія дѣла безъ согласія другихъ европейскихъ кабинетовъ, такъ что дѣло возсоединенія было бы фактически отложено на долгое время, до будущей войны. Зачѣмъ же брать на себя задачу, которую нѣтъ возможности выполнить при данныхъ условіяхъ? „Русь“ осуждаетъ переворотъ, если онъ совершенъ „по личному дерзкому (!) почину самого болгарскаго князя“. Довольно оригинально со стороны славянофила—называть „дерзостью“ попытку болгаръ пошатнуть владычество Турціи безъ участія Россіи. Сколько помнится, дѣятельность славянскихъ комитетовъ въ 1875—6 годахъ, подвиги генерала Черняева и князя Милана,—все это не считалось у насъ „дерзкимъ починомъ“, хотя и шло въ разрѣзъ съ миролюбивою политикою правительства.

Вслѣдъ за „Московскими Вѣдомостями“, „Русь“ повторяетъ фразы о „навязанной“ болгарамъ „безобразнѣйшей, радикальнѣйшей конституціи въ мірѣ, при неограниченнѣйшей свободѣ печати“; о князѣ болгарскомъ говорится какъ о „поручикѣ прусской службы“, выдвинутомъ нами въ томъ предположеніи, что онъ „будетъ дѣйствовать въ интересахъ не Запада, а Востока или, иначе, Россіи, интересы которой тождественны съ интересами всего православнаго славянства“. Безъ сомнѣнія, газета рѣшительно фантазируетъ: никто не предполагалъ, что нѣмецкій принцъ, „поручикъ прусской службы“, будетъ воплощать въ себѣ интересы православнаго Востока „или, иначе, Россіи“; довольно того, что онъ проникся интересами болгаръ и старается дѣйствовать въ ихъ пользу. Этотъ „неопытный, неприготовленный, крайне молодой человѣкъ, не лишенный, впрочемъ, дарованій и смѣлости, притомъ и честолюбивый“,—какъ аттестуетъ „Русь“ князя Александра,—попалъ съ перваго же дня въ трудное положеніе, благодаря водворенной въ странѣ „правовой разнузданности“; только сельскій и вообще простой народъ въ Болгаріи „еще не заразился растлѣвающимъ вліяніемъ конституціоннаго режима и вкусомъ къ политиканству; онъ питаетъ въ душѣ своей чувство неизмѣнной благодарности Россіи; онъ чуетъ своимъ вѣщимъ историче-

скимъ инстинктомъ, что она, никто какъ она, призвана стоять во главѣ историческихъ судебъ славянскаго міра" и т. д. Другое дѣло —болгарская интеллигенція; она, по выраженію „Руси", есть „не болѣе, какъ грубая копія съ нашей же русской интеллигенціи, той, которая порождена была у насъ общественнымъ воспитаніемъ въ 60 и 70-хъ годахъ, которая дала Россіи нигилистовъ, анархистовъ и динамитчиковъ (!), которая возростила въ себѣ, передала и учившимся въ Россіи болгарамъ тотъ же духъ отчужденія отъ общихъ намъ со славянами народныхъ духовныхъ основъ, тотъ же духъ отрицательнаго отношенія къ Россіи, къ ея историческому прошлому и политическому коренному принципу, всегда лживо ими толкуемому и понятому, тотъ же духъ поклоненія „послѣднимъ словамъ" западной науки и жизни, и всѣмъ новѣйшимъ радикальнымъ доктринамъ". Всѣ эти старыя клише приводятся для объясненія фактовъ, не имѣющихъ ничего общаго ни съ какими западными доктринами,— какъ, напримѣръ, захватъ мѣстъ на государственной службѣ съ громаднымъ жалованьемъ, подкопы и подвохи другъ противъ друга, личные интересы властолюбія и корыстолюбія подъ видомъ общественныхъ. Стремленіе къ крупнымъ окладамъ, личные интересы и корыстолюбіе всякаго рода—приписываются, такимъ образомъ, „растлѣвающему вліянію" интеллигенціи, конституціоннаго режима и „неограниченнѣйшей печати". Казнокрадство является продуктомъ „западныхъ доктринъ" и чрезмѣрной свободы общественнаго мнѣнія; непониманіе государственныхъ потребностей, пренебреженіе къ интересамъ народа, господство бюрократіи, хищенія въ разныхъ видахъ и формахъ, — все это результаты „подлыхъ (какъ выражается г. Аксаковъ) конституціонныхъ уловокъ" и „уродливаго режима, разнуздавшаго всѣ скверные элементы". Безполезно спорить съ „Русью" о подобныхъ вещахъ; есть люди, у которыхъ слова вытѣсняютъ мысль и становятся настоящими idées fixes. Конечно, отъ редактора „Руси" можно было ожидать чего-либо болѣе умнаго и самобытнаго, чѣмъ простого пережевыванья любимыхъ словечекъ „Московскихъ Вѣдомостей", безъ малѣйшей тѣни анализа и критики. „Русь" отзывается о болгарскихъ дѣятеляхъ немножко мягче и снисходительнѣе, чѣмъ газета г. Каткова; по словамъ „Руси", главный виновникъ переворота, Каравеловъ, есть только „взбалмошный агитаторъ, доктринеръ,—впрочемъ, не казнокрадъ" (не смотря на увлеченіе конституціоннымъ режимомъ и радикальными теоріями!). „Русь" не уяснила себѣ даже того смысла, въ какомъ употребляется слово „радикалъ" въ турецко-славянскихъ и австрійскихъ земляхъ: газета слѣдуетъ въ этомъ отношеніи примѣру вѣнской печати, для которой герцеговинскіе, сербскіе и болгарскіе патріоты составляли

скопище революціонеровъ, дерзкихъ отрицателей существующаго турецкаго порядка. Въ томъ самомъ нумерѣ „Руси", гдѣ болгарамъ ставятся въ упрекъ радикальныя тенденціи, помѣщена корреспонденція изъ Загреба, въ которой какъ нельзя яснѣе доказывается нелѣпость подобныхъ обвиненій. „Радикалами,—говоритъ корреспондентъ,—на всемъ югѣ Австріи и въ Сербіи называютъ всѣхъ тѣхъ, кто отстаиваетъ народные интересы противъ притязаній котеріи, имѣющей власть. Мадьярская и вѣнская печать обыкновенно изображаетъ сербскихъ радикаловъ чѣмъ-то въ родѣ нашихъ нигилистовъ и коммунистовъ. Въ то же время партія правительственная нерѣдко величается именемъ народной и консервативной. Но какъ эти „народныя" партіи не имѣютъ ничего общаго съ народомъ, такъ точно и радикалы въ Сербіи, Австріи и Хорватіи не имѣютъ ничего общаго съ нигилистами. Эти радикалы, защищающіе народность и права народа, добытыя кровью, въ сущности стоятъ на чисто-консервативной почвѣ, оберегая все, что досталось народу отъ его предковъ... Мы бы совѣтовали русскимъ читателямъ, — заключаетъ корреспондентъ, — при встрѣчѣ съ терминами: радикалъ, консерваторъ, либералъ, если рѣчь идетъ о славянахъ, не связывать съ ними представленій, столь обычныхъ въ другихъ случаяхъ". Этотъ благоразумный совѣтъ могъ бы быть принятъ къ свѣденію и самою „Русью". Если писатели, выдающіе себя за спеціалистовъ славянофильства, обнаруживаютъ непониманіе элементарныхъ политическихъ явленій славянскаго міра, то чего же требовать отъ массы обыкновенныхъ русскихъ читателей? Нельзя же считать признакомъ глубокомыслія заключеніе о томъ, что тутъ „не безъ англійской интриги"; погоня за интригою въ политикѣ и повсюду есть одна изъ спеціальныхъ особенностей узкаго полицейскаго міровоззрѣнія, котораго болѣе всего должно было бы чуждаться славянофильство.

Политическія понятія и предположенія „Руси" въ области иностранной политики дышатъ какою-то невѣроятною наивностью; вопросы рѣшаются просто однимъ полетомъ фантазіи, безъ всякаго намека на средства и условія исполненія. „Чтобы взять крѣпко дѣло въ руки,—заявляетъ „Русь",—Россія должна занять крѣпкую стратегическую позицію на самомъ Балканскомъ полуостровѣ, и именно на Босфорѣ,—позицію, которая бы тотчасъ дала ей на полуостровѣ господствующее положеніе. Да и не откладывать этого дѣла—иначе будетъ уже поздно!" Газета даже не ставитъ себѣ вопроса, съ какими державами придется вести войну для исполненія этого плана; она не совѣтуетъ даже откладывать дѣло до окончанія военныхъ приготовленій, въ виду возможности противодѣйствія Англіи, Австро-Венгріи и Германіи: нужно просто „занять позицію" и водвориться

на Босфорѣ, не заботясь о послѣдствіяхъ и не думая объ ожидаемыхъ преградахъ, въ видѣ европейской коалиціи и тому подобныхъ пустяковъ. И все это высказывается категорически, съ самодовольнымъ апломбомъ знатока, съ авторитетомъ непогрѣшимаго патріотизма, безъ колебаній и сомнѣній. „Русь“ готова съ „легкимъ сердцемъ“ предлагать немедленную кровавую борьбу съ цѣлою Европою и не считаетъ даже нужнымъ останавливаться на этомъ трудномъ способѣ осуществленія московско-славянофильской программы. Простая-ли это наивность, преступное легкомысліе или же сознательное лицемѣріе, желаніе сбить съ толку читателей? Дѣйствительно ли думаетъ „Русь“, что внѣшняя политика есть tabula rasa, на которой можно выводить какіе-угодно узоры, что сосѣднія намъ имперіи откажутся отъ участія въ турецкомъ наслѣдствѣ и предоставятъ намъ львиную долю добычи,—что намъ ничего не стоитъ одолѣть англичанъ, австрійцевъ и ихъ союзниковъ? „Русь“ торопитъ насъ совершить этотъ великій подвигъ, такъ какъ „иначе и возсоединеніе (Болгаріи съ Румеліею), и всякія иныя измѣненія берлинскаго трактата—станутъ намъ и славянству не во благо, а во вредъ“. Долго пришлось бы ждать славянамъ, еслибы въ самомъ дѣлѣ судьба ихъ была неразрывно связана съ занятіемъ нами Константинополя. Нѣтъ ничего безразсуднѣе, какъ смѣшивать воедино двѣ различныя задачи, изъ которыхъ каждая сама по себѣ требовала бы полнаго напряженія силъ и колоссальныхъ средствъ, изъ которыхъ, притомъ, одна противорѣчитъ и мѣшаетъ другой. Если мы безкорыстно стоимъ за свободное и самостоятельное развитіе балканскихъ славянъ, то мы можемъ не встрѣтить противодѣйствія соперничающихъ съ нами государствъ Европы; но если мы заявимъ, что освобожденіе славянства нужно намъ непремѣнно вмѣстѣ съ занятіемъ Дарданелль и Босфора, то мы можемъ быть увѣрены, что даже оффиціальные наши друзья примутъ мѣры противъ нашего проекта и возстанутъ рѣшительно противъ попытокъ славянскаго объединенія при подобномъ условіи. Почему македонцы, албанцы и прочая турецкая райя не могутъ добиться свободы ранѣе разрѣшенія великаго спора о Стамбулѣ? Восточный вопросъ до сихъ поръ разрѣшался постепенно, по частямъ, и таковъ будетъ и впредь естественный ходъ его разрѣшенія; судьба Босфора рѣшится позднѣе всѣхъ прочихъ балканскихъ вопросовъ,—въ ней замѣшано слишкомъ много разнообразныхъ и могущественныхъ интересовъ, чтобы можно было приступить къ исполненію задачи съ тою поспѣшною легкостью, которую рекомендуетъ „Русь“. Неразумно вселять славянамъ убѣжденіе, что ихъ національная свобода интересуетъ насъ не сама по себѣ, въ силу родственныхъ и историческихъ связей, а только какъ орудіе нашихъ особыхъ по-

литическихъ цѣлей; некрасиво и ненужно, съ нашей стороны, доказывать славянамъ, что мы смотримъ на нихъ исключительно съ точки зрѣнія нашихъ будущихъ выгодъ. Для насъ важенъ Стамбулъ, и быть можетъ онъ достанется намъ когда-нибудь; но это сознаніе не должно мѣшать освобожденію и объединенію турецкаго славянства, если послѣдняя цѣль достижима скорѣе и легче первой. Мало того, мы должны были бы сознательно устранять вопросъ о раздѣлѣ добычи, когда дѣло идетъ о судьбахъ славянскихъ племенъ,—если только мы желаемъ избавить эти племена отъ судьбы Босніи и Герцеговины, отданныхъ австрійцамъ съ согласія Россіи. Намъ слѣдовало бы выставить принципъ славянской политической свободы для того, чтобы успѣли образоваться и окрѣпнуть сочувственные намъ элементы на Балканскомъ полуостровѣ, безъ корыстнаго вмѣшательства Австро-Венгріи; а наши славянофилы толкуютъ о Босфорѣ и подзадориваютъ австрійцевъ занять Салоники, предоставляя славянство въ жертву сосѣднимъ имперіямъ. Вмѣсто освобожденія, о которомъ мечтали у насъ десять лѣтъ назадъ, выдвигается коммерческое начало „голыхъ интересовъ“, и съ циническою откровенностью проповѣдуется принципъ раздѣла и захвата; а рядомъ съ этимъ идутъ назойливыя напоминанія объ обязательной благодарности славянъ за „великодушныя“ заботы объ ихъ судьбѣ.

Московскій политическій сумбуръ выдается за мудрость и патріотизмъ; пошлое и бездушное политиканство самой дешовой пробы прикрывается знаменемъ Россіи, ея „народнаго духа“, ея исторической силы и правды,—а множество лѣнивыхъ умовъ ловитъ пустыя и звонкія слова, какъ откровенія „чисто-русскаго“ національнаго чувства. Недавнее сочувствіе къ освободительнымъ стремленіямъ балканскихъ народностей вырождается въ безсмысленное глумленіе, мало чѣмъ отличающееся отъ выходокъ вѣнскихъ и лондонскихъ газетъ временъ графа Андраши и лорда Биконсфильда. Органы названныхъ политическихъ дѣятелей, по крайней мѣрѣ, знали, ради чего они враждуютъ съ славянствомъ и поддерживаютъ турецкую имперію; у насъ же ни одна изъ газетъ, осуждающихъ Болгарію, не могла бы толкомъ объяснить мотивы своихъ мнѣній. Предположимъ, что князь Александръ поступилъ бы согласно запоздалымъ указаніямъ нашихъ газетныхъ политиковъ:—онъ не послѣдовалъ бы призыву филиппопольскихъ заговорщиковъ и высказался бы противъ самовольнаго „воссоединенія“, подготовленнаго болгарскою національною или (по терминологіи „Руси“) радикальною партіею. Что произошло бы въ такомъ случаѣ? Въ Восточной Румеліи возникла бы анархія, въ виду отсутствія прочной власти, способной замѣнить собою свергнутый полу-турецкій режимъ; въ самомъ княжествѣ обнаружилось бы вол-

неніе, направленное противъ князя Александра, какъ „нѣмецкаго принца", и дѣло могло бы кончиться печально не только для князя, но и для всей Болгаріи. Этого ли желали бы наши мнимые славянофилы, глумящіеся теперь надъ смѣлою рѣшимостью болгарскаго князя, —рѣшимостью, которая въ глазахъ самихъ болгаръ составляетъ великую и единственную заслугу молодого правителя? Такъ какъ наши „консервативные" органы не могли желать водворенія анархіи въ родственной намъ странѣ, то насмѣшки ихъ надъ княземъ Александромъ и его совѣтниками должны быть приняты просто какъ невинная забава, не имѣющая никакого серьезнаго отношенія къ политикѣ. Ходъ событій нерѣдко ускользаетъ отъ контроля гораздо болѣе могущественныхъ правителей, чѣмъ князь Александръ, и винить его за несвоевременное объединеніе обѣихъ Болгарій—значитъ приписывать ему такую руководящую роль, на какую онъ едва ли самъ претендуетъ при современномъ положеніи дѣлъ на Балканскомъ полуостровѣ. Никогда еще наша „политическая" печать не обнаруживала такъ мало политическаго смысла, какъ теперь; надобно перенестись мысленно къ началу двадцатыхъ годовъ, чтобы встрѣтить что-нибудь подобное: тогда видѣли у насъ „революціонеровъ" даже въ грекахъ, возставшихъ противъ турецкаго ига и отказывали имъ какъ революціонерамъ въ сочувствіи и помощи. Старое славянофильское знамя сдѣлалось, очевидно, совершенно неузнаваемымъ въ рукахъ нынѣшнихъ самобытныхъ его носителей.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

1-е октября 1885.

— Съ русскими паломниками на Святой Землѣ весною 1884 года. Очерки, замѣтки и наблюденія А. В. Елисѣева. Спб. 1885.

Имя г. Елисѣева извѣстно читателямъ „Вѣстника Европы“ какъ неутомимаго путешественника на Востокѣ и занимательнаго разсказчика о своихъ странствіяхъ. Путешествіе въ Святую Землю весной 1884 года не было его первой поѣздкой на востокъ; онъ былъ уже знакомъ съ его природой, нравами и т. д.; на этотъ разъ г. Елисѣевъ взялъ спеціальную цѣль — изученіе странствій и быта русскихъ паломниковъ въ святой землѣ.

Путешествія въ Палестину стали обычаемъ благочестивыхъ людей въ русскомъ народѣ съ самыхъ давнихъ вѣковъ нашего христіанства. Начиная съ Даніила Паломника въ XII столѣтіи и до послѣдняго времени, эти странствія оставили свой слѣдъ и въ литературѣ длиннымъ рядомъ описаній. Вѣкъ, понятія, личныя особенности и приключенія странниковъ давали каждому описанію особый характеръ и колоритъ; но всѣ были сходны въ одномъ—глубокомъ религіозномъ чувствѣ, которое наполняло путешественниковъ и все вниманіе ихъ привлекало къ описанію святынь, бывшихъ цѣлію паломничества. Г. Елисѣевъ едвали не въ первый разъ предпринялъ, кажется, по почину Палестинскаго Общества, путешествіе, цѣлью котораго было именно подробное описаніе самаго процесса странствія нашихъ паломниковъ,—начиная съ пути въ Палестину и въ продолженіе всего пребыванія въ Іерусалимѣ, и кончая осмотромъ всѣхъ палестинскихъ святынь, какъ дѣлаютъ его паломники, вмѣстѣ со всѣми подробностями быта паломниковъ въ Іерусалимѣ.

„Я самъ,—говоритъ г. Елисѣевъ,—продѣлалъ кругъ паломничества со всѣми его невзгодами; проѣхалъ рейсъ въ трюмѣ съ про-

стыми паломниками, прожилъ ихъ жизнью и на подворьяхъ, и въ греческихъ монастыряхъ" (стр. 156), потомъ, вмѣстѣ съ ихъ толпой, ходилъ на поклоненіе святынямъ въ Іерусалимѣ, и—насмотрѣлся всего, изучилъ ихъ бытъ въ Святой Землѣ такъ, какъ не случалось этого никому изъ тѣхъ новѣйшихъ путешественниковъ по святымъ мѣстамъ, которые были обыкновенно поглощены душеспасительной цѣлью своего странствія и мало обращали вниманія на бытовое положеніе толпы своихъ соотечественниковъ, совершавшихъ тотъ же подвигъ душевнаго спасенія—съ меньшимъ запасомъ денегъ и съ болѣе тяжкими жертвами.

Для этой послѣдней цѣли—изученія самаго быта народныхъ паломниковъ—г. Елисѣевъ былъ хорошо приготовленъ: онъ уже достаточно зналъ востокъ, и мѣстная обстановка, какъ болѣе или менѣе знакомая, не отвлекала его вниманія; онъ не устрашился поѣздки въ тѣхъ самыхъ условіяхъ, въ какихъ дѣлаютъ ее масса бѣднаго люда, и, слѣдовательно, увидѣлъ ее во всѣхъ ея подробностяхъ; онъ вообще умѣетъ наблюдать и разсказывать; онъ одушевленъ теплымъ чувствомъ къ людямъ, путевую судьбу которыхъ хотѣлъ изображать; зналъ ихъ обычные нравы, умѣлъ понимать ихъ душевное настроеніе. Въ результатѣ получилась книга, которую мы не усомнимся назвать однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій нашей литературы за послѣднее время, книга, исполненная интереса, освѣщающая цѣлую область внутренней жизни народа и наводящая на размышленіе обо многомъ.

Авторъ начинаетъ съ историческихъ указаній о способахъ и трудностяхъ стариннаго паломничества. Не говоря о томъ, какъ мудрено бывало въ средніе вѣка такое дальнее путешествіе, въ самой Палестинѣ съ древнѣйшихъ временъ нашего паломничества и до послѣднихъ дней пути были болѣе или менѣе опасны отъ „сарацинъ" и въ самомъ Іерусалимѣ богомольцы подвергались грабежу и оскорбленіямъ. Въ Палестинѣ, по разсказу средневѣкового странника „путь тяжекъ вельми, и непроходенъ, и тѣсненъ, ту бо поганіи срацини мнози сидятъ въ горахъ, и по полю сидятъ многи селы срацынскія, и тѣ изъ горъ и изъ селъ страшныхъ выходятъ и избиваютъ странныхъ (т.-е. странниковъ, чужеземцевъ). Бѣдно-жъ (трудно) минути путемъ тѣмъ въ малѣ дружинѣ, но со многою дружиною безъ страха мочно пройти". Въ первой половинѣ прошлаго столѣтія Барскій такимъ же образомъ жалуется на „еѳіоповъ": не однажды на пути онъ „претерпѣ отъ безстудныхъ и проклятыхъ еѳіоповъ"... „Егда бо сперва начахомъ входити въ великія горы и прейдохомъ къ узкому прехожденію въ едину долину, тамо предваряюще насъ, многое мно-

жество собрася оныхъ, иныя съ копіями, иныя же съ дрекольми и, ставше на пути, возбраняху намъ шествовати, ищуще отъ насъ бакшиша, еже есть дара". Кто не могъ откупиться, того „попихаху и каменьми толцаху созади", и, наконецъ, дашь одному, „прискочитъ" другой, и т. д. Нападенія кочующихъ арабовъ продолжались до нашего столѣтія; но недостатокъ покровительства русскимъ подданнымъ-богомольцамъ чувствуется и до сихъ поръ... Вмѣшательство Россіи въ турецкія дѣла и въ интересы восточнаго православія мало-по-малу улучшили положеніе русскихъ богомольцевъ,—но только въ 1847 г. учреждена была въ Іерусалимѣ русская миссія, и въ 1858—русское консульство; еще больше помогло паломничеству пріобрѣтеніе земельныхъ участковъ въ Палестинѣ и основаніе на нихъ русскихъ пріютовъ, благодаря Палестинской коммиссіи, учрежденной въ 1860 году. Но, по словамъ близкихъ наблюдателей дѣла, какъ гг. Хитрово и Елисѣевъ, облегченіе паломничества достигнуто было больше всего „желѣзной настойчивостью русскаго народа, который добился въ настоящее время того, что эти сѣрые мужички и бабы ходятъ по святой землѣ словно по любой русской губерніи" (стр. 7).

Свое описаніе современнаго паломничества авторъ начинаетъ разсказомъ, со словъ бывалыхъ людей, о томъ, какъ совершалось оно въ прежнее время, за нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ. Понятно, что оно было тогда несравненно труднѣе, чѣмъ теперь; но и то, что разсказываетъ авторъ о нынѣшнемъ странствіи богомольцевъ въ Іерусалимъ, составляетъ не весьма утѣшительную картину тяжелыхъ испытаній, какія приходится переносить богомольцу простолюдину. Современное паломничество авторъ изображаетъ съ величайшею подробностью. Онъ начинаетъ съ первыхъ сборовъ паломника въ путь, сопровождаетъ его на подворья и пріюты въ Одессѣ, разсказываетъ о пароходномъ пути въ Константинополь, на Аѳонъ, наконецъ въ Яффу, описываетъ первое вступленіе на палестинскую почву, дорогу въ Іерусалимъ. Здѣсь паломники находятъ помѣщеніе въ русскихъ постройкахъ, возведенныхъ на краю города на пожертвованныя деньги и гдѣ помѣщается консульство, миссія, обширный странноприимный домъ, русская церковь, больница. Авторъ, какъ упомянемъ дальше, подробно разсказываетъ объ этомъ учрежденіи. Отдохнувши кое-какъ съ пути, богомольцы стремятся обойти святыни. Это дѣлается обыкновенно группами, которыя получаютъ отъ миссіи руководителя-монаха; онъ ведетъ свою группу,—въ нѣсколько десятковъ и за сотню человѣкъ,—по всѣмъ священнымъ мѣстамъ Іерусалима и окрестности, объясняетъ значеніе всѣхъ достопримѣчательностей, приводя тексты и подробности изъ ветхаго и новаго завѣта. Затѣмъ—обратный путь.

Г. Елисѣевъ прослѣдилъ все это странствіе богомольца въ Палестинѣ до послѣдняго шага и описываетъ его бытъ въ пути, въ мужскомъ и женскомъ „корпусахъ“ странноприимнаго дома, въ осмотрѣ святынь, въ дѣлахъ съ консульствомъ, въ больницѣ,—русской и мѣстной патріаршей,—на отъѣздѣ, прослѣдилъ до послѣднихъ мелочей и со стороны нравственнаго настроенія богомольцевъ, и со стороны ихъ матеріальнаго положенія. Повторяемъ, разсказъ—исполненный интереса, но часто чрезвычайно прискорбный. Остановимся на двухъ-трехъ подробностяхъ.

Путешествіе богомольцевъ въ настоящее время несравненно удобнѣе и безопаснѣе, чѣмъ было въ прежнія времена, до учрежденія миссіи и консульства, до постройки своей церкви и странноприимнаго дома; на дорогѣ не нападаютъ сарацины и „ѳѳіопы“, въ Іерусалимѣ есть свой русскій уголъ,—но гг. Хитрово и Елисѣевъ все-таки слишкомъ преувеличили дѣло, когда разсказываютъ, что богомольцы ходятъ по Палестинѣ какъ „по любой русской губерніи“. По разсказамъ самого г. Елисѣева, пребываніе русскаго паломника въ Палестинѣ есть тяжкій крестъ, который выноситъ только привыкшая къ долготерпѣнію русская народная натура. „Ѳѳіопы“, правда, не рѣжутъ и грабятъ открыто на большой дорогѣ, но притѣсняютъ богомольцевъ при каждомъ удобномъ случаѣ, и, напр., при посадкѣ на пароходъ или съѣздѣ съ парохода безнаказанно тѣснятъ, обворовываютъ и, наконецъ—бьютъ русскихъ паломниковъ на глазахъ агентовъ консульства, и паломники не находятъ никакой защиты отъ „ѳѳіоповъ“ со стороны этого консульства, учрежденнаго для охраны русскихъ подданныхъ. Авторъ разсказываетъ возмутительные случаи подобнаго рода какъ очевидецъ (напр. стр. 97—107); русское консульство не обращаетъ вниманія на то, что творится съ русскими подданными и, по словамъ автора, которымъ весьма не трудно повѣрить, подобное отношеніе къ интересамъ подданныхъ своего государства было бы немыслимо для всякаго другого европейскаго консульства, которое является дѣйствительной защитой и покровителемъ своимъ соотечественникамъ,—и это вовсе не служитъ къ поддержанію русскаго національнаго достоинства на востокѣ—какъ и на западѣ.

Въ Іерусалимѣ, паломникъ помѣщается въ странноприимномъ домѣ. Этотъ домъ оставилъ въ авторѣ самыя печальныя впечатлѣнія, приводилъ его въ негодованіе.

„...Еще въ мужскомъ отдѣленіи порядки немного сноснѣе, но въ женскомъ власть пресловутой М. Н. — смотрительницы, которой ихъ проклинаютъ всѣ паломницы, даетъ себя знать тяжело. Детали построекъ и жизни въ нихъ нашихъ паломниковъ — послѣ, а теперь

только мы ограничимся указаніемъ одного факта, на который прежде всего наталкивается сѣрый поклонникъ. Не смотря на то, что помѣщеніе всякому русскому пришельцу на первое время должно даваться даромъ, сплошь и рядомъ корыстолюбивыя смотрительницы облагаютъ своихъ гостей настоящимъ тарифомъ, на что онѣ, разумѣется, не имѣютъ никакихъ правъ; но безправіе и беззаконность такъ обыкновенны на нашихъ постройкахъ, что мы увидимъ еще не разъ далѣе, что справедливо выраженіе одного изъ монаховъ, останавливавшихся тамъ въ нынѣшнемъ году: „еслибы наши постройки сгорѣли, то смрадъ отъ беззаконій, творимыхъ тамъ, поднявшись горѣ, заставилъ бы содрогнуться небеса“.

„Доброе, истинно христіанское дѣло призрѣнія странныхъ пришельцевъ, притекшихъ издалека въ святой градъ, наши русскіе дѣятели съумѣли превратить въ такой хаосъ, въ которомъ нельзя разобраться, благодаря только халатности людей, коимъ дѣло это вѣдать надлежитъ, и абсолютной безконтрольности веденія дѣлъ. Лица, заинтересованныя въ этомъ, съ такою, достойною лучшей цѣли, настойчивостью закрываютъ все отъ глазъ пріѣзжающихъ, способныхъ видѣть и замѣчать и,—что всего страшнѣе,—предавать огласкѣ, что все содѣянное и содѣлываемое остается въ нашихъ постройкахъ,—этихъ настоящихъ вертепахъ всяческихъ насилій надъ тѣломъ и духомъ паломниковъ, остается въ мирной сѣни неизвѣстности. Но отдернемъ узорчатое, затканное снаружи покрывало, и мерзость запустѣнія во всей своей наготѣ и голой правдѣ предстанетъ передъ нами, какимъ оно представляется ежеминутно передъ простыми сѣрыми, безгласными, все переносящими для ради Бога паломниками.

„Уже одна мысль о взиманіи денегъ за помѣщенія тамъ, гдѣ эти послѣднія выстроены на кровные гроши этого же сѣраго простого народа, по меньшей мѣрѣ, нелогична. Спросите, однако, любого паломника или, лучше паломницу, и они вамъ скажутъ, что взиманіе бакшиша за помѣщеніе—вещь очень обыкновенная на русскихъ постройкахъ. Долго этому я не хотѣлъ вѣрить, но, разспросивъ десятки платившихъ, я долженъ былъ убѣдиться въ этомъ, хотя консульство и не допускаетъ подобной возможности; позднѣе я убѣдился, что консульство тутъ не причемъ и что оно знаетъ о многомъ, но все это по неисповѣдимымъ судьбамъ разсматривается имъ сквозь пальцы... Надо видѣть нужду и тѣсноту въ нашихъ общихъ корпусахъ, чтобы понять вполнѣ ту причину, по которой невольно многіе даютъ жаднымъ смотрительницамъ съ цѣлью получить уголокъ мало-мальски поудобнѣе, тѣмъ болѣе, если паломникъ можетъ затратить свободно нѣсколько лишнихъ рублей. Если въ мужскомъ еще, сунувъ 20—50 к.

и много, много рубль коридорщику, можно купить все-какое удобство, то въ женскомъ надо платить въ десять разъ дороже, отчасти по тому одному, что женщинъ паломницъ гораздо болѣе, чѣмъ мужчинъ, а помѣщенія недостаточно для всѣхъ. Рубль, два, три считаются смотрительницею ни за что, и только за красненькую можно надѣяться получить снисхожденіе; въ тѣсное время, т.-е. паломническій сезонъ передъ Рождествомъ, въ Великій постъ и передъ Пасхою за конуру, въ которой можетъ помѣститься четыре человѣка, брали по 25 руб., и то не доставляя никакихъ удобствъ...

„Не смотря на эту ужасную тѣсноту, когда въ постройкахъ набивается въ два, три и даже четыре раза больше, чѣмъ полагается, не смотря на всѣ безобразія и поборы, чинимые тамъ, огромное большинство русскихъ все-таки идетъ туда и соглашается скорѣе валяться въ коридорахъ или даже на дворѣ, только бы на русскомъ мѣстѣ, а не въ гречесномъ монастырѣ или арабскомъ ханѣ — такъ хороши условія помѣщенія въ этихъ послѣднихъ“ (стр. 120—122).

По описанію г. Елисѣева, иногда едва вѣроятному, эти „корпуса“ странноприимнаго дома превратились, частію отъ непрактичнаго первоначальнаго устройства, частію отъ дальнѣйшаго небреженія, въ настоящія клоаки, гдѣ не можетъ быть рѣчи о сколько-нибудь сносномъ удовлетвореніи самыхъ элементарныхъ потребностей человѣческаго существованія.

Автору много разъ приходится возвращаться къ несчастному безпомощному положенію русскихъ богомольцевъ. Не лучше и нравственный ихъ бытъ въ Іерусалимѣ, чѣмъ тотъ матеріальный, о которомъ подробно разсказываетъ г. Елисѣевъ. „Если жизнь нашего поклонника на русскихъ постройкахъ со стороны физической обставлена непривлекательно, — говоритъ онъ, —то все это еще ничего сравнительно съ тѣмъ, что ему приходится переживать и перечувствовать, когда оскорбляется въ немъ самое чувство человѣческаго достоинства, когда профанируются самыя дорогія для него чувствованія, когда разбиваются его идеалы, которые онъ привыкъ любить и въ которые не можетъ не вѣрить, когда отъ него отнимаются самыя невинныя радости жизни, отравляется самое пребываніе его въ Іерусалимѣ. Говоря эти слова, я знаю, что не бывавшіе въ Палестинѣ и не знающіе жизни паломника не поймутъ меня и не повѣрятъ на слово, и это будетъ вполнѣ естественно, потому что я и самъ прежде не хотѣлъ ни вѣрить, ни даже знать о томъ, что творится тамъ, во градѣ Давидовомъ, во градѣ мира, вокругъ и около святѣйшаго гроба Основателя религіи мира и любви.

„Болѣзненно сжимается сердце, когда разспрашиваешь паломника

о томъ, какъ жилось ему въ Іерусалимѣ; немного скажетъ онъ, но въ его простыхъ, но чрезвычайно мѣткихъ словахъ рельефно очерчивается вся неприглядность его истинно страдальческой жизни. „Все противъ нашего мужика,—говорятъ они,—нѣтъ тебѣ ни откуда ни защиты, ни совѣта, ни помощи, одинъ заступникъ Богъ"! Да, всѣ и вся, прибавлю я, противъ паломника; все какъ будто соединилось вмѣстѣ давно для того, чтобы сдѣлать еще тяжелѣе крестъ паломничества. Самая церковь, представляемая недостойными служителями на всѣхъ ступеняхъ іерархіи, вмѣсто твердой вѣры и мира въ истомленную душу и измученное сердце паломника вселяетъ сомнѣніе и тоску, вмѣсто облегченія и утоленія усиливаетъ еще религіозную жажду, встрѣчая его не словомъ правды и духовнаго утѣшенія, а тѣмъ профанирующимъ церковь и религію высасываніемъ изъ бѣдняка послѣдней копѣйки, глумленіемъ надъ нимъ и профанаціею святыни, что̀ составляетъ тяжкую вину греческаго духовенства не по отношенію къ намъ, русскимъ лично, а передъ идеалами христіанства и всего человѣчества.

„Если въ церкви даже не находитъ себѣ нравственной поддержки нашъ паломникъ, то не мудрено, что ему не найти ея и въ тѣхъ оффиціозахъ, которые поставлены на то, чтобы помогать заброшенному въ далекіе края безпомощному сѣрому русскому человѣку. Но Богъ съ ними!" (стр. 179—180).

Надо надѣяться, что палестинскому обществу, которое успѣло уже теперь оказать большую помощь русскимъ паломникамъ въ Палестину организаціей и чрезвычайнымъ удешевленіемъ самаго путешествія, удастся, хотя бы и не вдругъ, помочь и тому положенію вещей, какое описываетъ г. Елисѣевъ,—т.-е. привести въ человѣческій видъ пребываніе паломниковъ въ Палестинѣ. Уже то обстоятельство, что оно хотѣло правдиво и безъ умолчаній выяснить это положеніе, есть большая заслуга общества: невозможно думать, чтобы оно оставило безъ вниманія факты, собранные г. Елисѣевымъ.

Пусть, впрочемъ, не подумаетъ читатель, что книга г. Елисѣева есть только рядъ обличеній, жалобъ и мрачныхъ картинъ. Авторъ хотѣлъ вообще изобразить странствіе русскаго паломника,—и исполняетъ эту задачу весьма успѣшно: читатель получаетъ весьма точное понятіе о всей процедурѣ путешествія, о всѣхъ мѣстностяхъ, какія проходятъ паломники, о мѣстныхъ нравахъ и обычаяхъ, связанныхъ съ паломничествомъ; какъ мы сказали, авторъ сопровождаетъ богомольцевъ на всемъ пути ихъ странствія и даетъ полный маршрутъ богомолья съ подробнымъ описаніемъ всѣхъ пунктовъ, какіе посѣщаютъ паломники; рисуетъ ихъ собственныя привычки, настроеніе

и т. д. Словомъ, это—цѣлая эпизодическая картина русской народной жизни.

Что касается изложенія, оно вообще весьма просто; иной разъ проглядываетъ пристрастіе автора къ цвѣтистому стилю, который въ другихъ его сочиненіяхъ нерѣдко переходилъ въ крайность; но иногда авторъ—не къ выгодѣ изложенія—впадаетъ въ небрежность, употребляетъ безъ надобности вульгарныя выраженія (напр., вмѣсто: напиться чаю—напузыриться, и т. п.). Risum teneat*e* amici (стр. 159)—по-латыни не говорится.—А. В.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-е октября, 1885.

Исполненіе новаго университетскаго устава.—Правила о зачетѣ полугодій и объ экзаменныхъ требованіяхъ правительственныхъ коммиссій. — Регламентація студенческихъ занятій и профессорскихъ лекцій. — Вопросъ о дерптскомъ университетѣ. — По адресу „Московскихъ Вѣдомостей".

Ни одинъ изъ новѣйшихъ законовъ не оставлялъ столько простора для инструкцій или дополнительныхъ правилъ, издаваемыхъ административною властью, сколько оставилъ его университетскій уставъ 23 августа 1884 г. Многіе—и притомъ существенно-важные—вопросы были разрѣшены этимъ уставомъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ или не разрѣшены вовсе, а только намѣчены для дальнѣйшей разработки. Къ послѣдней категоріи принадлежитъ также и все касающееся зачета полугодій, повѣрочныхъ испытаній въ стѣнахъ университета, государственныхъ испытаній въ особыхъ коммиссіяхъ — т.-е. самыхъ капитальныхъ сторонъ университетской жизни. Правила, ихъ регулирующія, утверждены министромъ народнаго просвѣщенія и распубликованы во всеобщее свѣденіе передъ самымъ началомъ текущаго учебнаго года; не опредѣленнымъ до сихъ поръ остается только составъ особыхъ экзаменаціонныхъ коммиссій — вѣроятно потому, что онѣ будутъ призваны къ дѣятельности еще не скоро (не ранѣе 1889 года). Если правило объ экзаменныхъ требованіяхъ, которымъ должны удовлетворять испытуемые въ особыхъ коммиссіяхъ, обнародованы задолго до открытія самыхъ коммиссій, то это объясняется тѣсною связью этихъ правилъ съ свойствомъ и объемомъ университетскаго преподаванія. И для учащихъ, и для учащихся, одинаково необходимо знать уже теперь, какъ будутъ организованы небывалые до сихъ поръ у насъ государственные экзамены. Что касается до правилъ о зачетѣ полугодій и о повѣрочныхъ испытаніяхъ, то они немедленно вступаютъ въ силу и должны оказать еще болѣе непосредственное вліяніе на занятія профессоровъ и студентовъ.

Отличительная черта правилъ о зачетѣ полугодій—это стремленіе регламентировать, регламентировать даже то, что всего меньше поддается регламентаціи, напримѣръ, взглядъ студента на профессора, характеръ ихъ взаимныхъ отношеній и т. п. Студенту вмѣняется въ обязанность „видѣть въ преподавателѣ не судью, который допытывается

его недостатковъ и недочетовъ затѣмъ, чтобы по нимъ постановить приговоръ, а наставника и руководителя, призваннаго способствовать ему въ усвоеніи необходимыхъ познаній". Характеристическимъ признакомъ каждаго студента, имѣющаго право на зачетъ семестра, указывается „охотное обращеніе въ серьезныхъ затрудненіяхъ къ преподавателямъ, готовность выслушивать ихъ замѣчанія и указанія и пользоваться оными, довѣрчивая откровенность въ отвѣтахъ на вопросы по предметамъ преподаванія на повѣрочныхъ испытаніяхъ и въ другихъ случаяхъ". Конечно, весь этотъ параграфъ легко можетъ сдѣлаться мертвой буквой, какъ то бываетъ съ постановленіями нашихъ гражданскихъ законовъ о любви мужа къ женѣ и о повиновеніи жены мужу—или онъ можетъ ввести въ обычай такіе „вещественные знаки невещественныхъ отношеній", подъ покровомъ которыхъ можетъ процвѣсти и лицемѣріе. „Довѣрчивость", старающаяся обнаружить себя во что бы то ни стало, „готовность", тщательно подчеркивающая свое существованіе, обращеніе, нарочито заявляющее себя „охотнымъ"—для всего этого въ нѣмецкомъ языкѣ есть непереводимое, но весьма выразительное слово: Angendienerei. Не думаемъ, чтобы понятіе, соотвѣтствующее этому слову, нашло для себя благодарную почву въ русской университетской жизни—но если что-нибудь можетъ благопріятствовать его сѣменамъ и росткамъ, то именно чрезмѣрное расширеніе области формальныхъ предписаній, стремленіе основать на нихъ не только порядки, но и чувства.

Болѣе опредѣленны, но едва ли болѣе цѣлесообразны требованія, имѣющія предметомъ прилежаніе студентовъ. „Для зачета полугодій", говоритъ параграфъ 5-ый, „принимаются въ основаніе данныя студентомъ доказательства своего прилежанія въ изученіи предметовъ факультета; оцѣнка же результата его занятій принадлежитъ правительственнымъ коммиссіямъ". Съ этимъ абсолютнымъ принципомъ не вполнѣ согласуется параграфъ 11-ый, рекомендующій преподавателю, при контролѣ практическихъ упражненій и домашнихъ работъ, имѣть въ виду „не столько оцѣнку удовлетворительности результата, сколько качества положеннаго труда и способовъ, какими студентъ старался исполнить свою задачу". Судить о результатахъ студенческихъ занятій разрѣшается, слѣдовательно, и профессору, по крайней мѣрѣ въ извѣстныхъ предѣлахъ. Такое разрѣшеніе было неизбѣжно. Оцѣнить прилежаніе помимо его результатовъ можно только при самомъ близкомъ знакомствѣ съ учащимся, при постоянномъ наблюденіи за каждымъ его шагомъ, т.-е. при условіяхъ, едва осуществимыхъ даже въ закрытомъ учебномъ заведеніи и вовсе немыслимыхъ въ университетѣ. Положимъ, что мало способный студентъ проводитъ

дни и ночи надъ работой, которая въ концѣ-концовъ все-таки ему не удается; какъ онъ докажетъ профессору, что въ основаніи неудачи лежитъ нѣчто другое, чѣмъ недостатокъ прилежанія? Вѣдь не станетъ же профессоръ производить разслѣдованіе о томъ, сколько часовъ студентъ сидѣлъ надъ книгой и тетрадью. Прилежаніемъ обусловливается въ особенности количество труда, не подлежащее точной повѣркѣ; приглашая профессоровъ обращать вниманіе на качество труда, правила существенно отступаютъ отъ своей исходной точки, стушевываютъ демаркаціонную черту, проведенную ими первоначально между функціями университетовъ и правительственныхъ коммиссій.

Ошибочно было бы думать, однако, что этимъ уничтожаются и всѣ невыгодныя послѣдствія искусственнаго дѣленія. Настаивая больше всего на прилежаніи, возводя его на степень мѣрила, обязательнаго и для профессоровъ, и для студентовъ, правила о зачетѣ полугодій широко открываютъ дверь для формализма, мало совмѣстнаго съ успѣшнымъ ходомъ научныхъ занятій. „Прилежный студентъ", на основаніи параграфа 8-го, „не ограничивается пассивнымъ слушаніемъ лекціи, но, внимательно слѣдя за нею, записываетъ по крайней мѣрѣ наиболѣе существенные моменты ея содержанія и составляетъ послѣдовательно, изо дня въ день, конспекты слушаемыхъ лекцій. Предъявленіе такихъ записей или конспектовъ, въ сомнительныхъ случаяхъ, можетъ служить однимъ изъ доказательствъ прилежанія студента". Если сопоставить это правило съ параграфомъ 14-мъ, возлагающимъ на инспекцію наблюденіе за исправнымъ посѣщеніемъ, а на преподавателей—наблюденіе за исправнымъ слушаніемъ лекцій, то нельзя не придти къ заключенію, что чисто внѣшнимъ признакамъ вниманія и усердія отводится весьма видное мѣсто въ мотивахъ, обусловливающихъ аттестацію студента. Разъ, что записываніе лекцій и составленіе конспектовъ является не совѣтомъ, а требованіемъ,—въ студентахъ, какъ и въ профессорахъ, весьма легко можетъ развиться привычка преувеличивать значеніе этого требованія, считать исполненіе его лучшимъ доказательствомъ „прилежанія", столь важнаго для судьбы студента. Усидчивость, аккуратность, точность—качества безспорно желательныя, но все же второстепенныя—могутъ получить рѣшительное преобладаніе надъ другими, менѣе бросающимися въ глаза, но болѣе серьезными. Профессоръ, отдающій предпочтеніе знанію передъ шаблоннымъ трудолюбіемъ, снисходительный къ внѣшнимъ пробѣламъ въ запискахъ или конспектахъ, если только имъ не соотвѣтствуютъ внутреннія пробѣлы въ свѣденіяхъ, можетъ показаться придирчивымъ, несправедливымъ; студенты могутъ взвести на

него обвиненіе въ нарушеніи правилъ, въ присвоеніи себѣ той роли, которая предоставлена исключительно правительственнымъ коммиссіямъ. Вмѣсто взаимнаго довѣрія можетъ, такимъ образомъ, получиться цѣлый рядъ недоразумѣній, для предупрежденія которыхъ стоило бы только дать профессорамъ нѣсколько большую свободу дѣйствій, студентамъ — нѣсколько меньше поводовъ злоупотреблять девизомъ: „усердіе все превозмогаетъ".

Передача окончательныхъ испытаній изъ рукъ университетовъ въ руки особыхъ правительственныхъ коммиссій влечетъ за собою, ipso facto, нѣкоторое приспособленіе университетскаго преподаванія къ программамъ, пріемамъ и взглядамъ коммиссій. Это явленіе естественное и неизбѣжное; вреднымъ и ненормальнымъ оно становится только тогда, когда переступаетъ извѣстныя границы, когда идетъ въ разрѣзъ съ такъ-называемой академической свободой, внося въ занятія учащихъ и учащихся элементъ узкой практичности, усиленную заботу о предстоящемъ государственномъ экзаменѣ. „Неустойчивому равновѣсію" между научными и житейскими требованіями безъ того уже угрожаетъ у насъ постоянная опасность рѣшительнаго торжества послѣднихъ надъ первыми; задачей ближайшаго будущаго слѣдовало бы признать охраненіе той чашки вѣсовъ, которая ежеминутно рискуетъ взлетѣть на воздухъ. Правила о зачетѣ полугодій ложатся всей своей тяжестью на противоположную чашку; они усиливаютъ тяготѣніе къ „практичности", и безъ того слишкомъ сильное. Чрезвычайно характеристична, съ этой точки зрѣнія, оговорка, сдѣланная въ извѣстномъ уже намъ опредѣленіи отношеній студента къ профессору; первому предлагается видѣть въ послѣднемъ лицо, призванное способствовать ему „въ усвоеніи тѣхъ необходимыхъ познаній, въ которыхъ придется ему отдать отчетъ на предстоящемъ по окончаніи университетскаго ученья рѣшающемъ судѣ правительственныхъ испытаній". Итакъ, профессоръ долженъ быть для студентовъ не истолкователемъ чистой науки, не проводникомъ на пути, ведущемъ къ знанію, а помощникомъ въ пріобрѣтеніи диплома, служащаго ключемъ къ той или другой карьерѣ. Въ этомъ взглядѣ нѣтъ ничего новаго, онъ всегда пользовался у насъ большою, слишкомъ большою популярностью—но тѣмъ менѣе нужно было оффиціальное его закрѣпленіе, тѣмъ желательнѣе было, наоборотъ, встрѣтиться съ авторитетнымъ противодѣйствіемъ ему. Въ другихъ параграфахъ правилъ таже самая мысль выражается еще яснѣе. Студенту,—читаемъ мы въ § 16,—предоставляется, въ извѣстной мѣрѣ, свобода избирать себѣ для слушанія предметы, сверхъ поставляемыхъ ему въ обязанность экзаменными требованіями; но занятія его этими предметами въ соображеніе при

зачетѣ не принимаются. Понужденія къ сверхъ-обязательнымъ занятіямъ со стороны факультета быть не должно; напротивъ, деканамъ и преподавателямъ рекомендуется предостерегать студентовъ отъ обманчивыхъ увлеченій незрѣлою любознательностью, могущихъ безплодно разсѣять ихъ силы и погубить ихъ время. Параграфъ 17-й опять возвращается къ тому же предмету, установляя, что слушаніе курсовъ по научнымъ спеціальностямъ, сверхъ нормы экзаменныхъ требованій, не принимается въ соображеніе при зачетѣ полугодій. Этого мало: косвенный запретъ кладется не только на цѣлые курсы или предметы, но и на части курсовъ, если онѣ не имѣютъ прямого соотношенія съ „нормой экзаменныхъ требованій". „Если преподаватель обязательной для студента науки,—говорится въ ст. 17-й, —не ограничивается въ преподаваніи оной установленною нормой, но идетъ далѣе, студенты обязываются предъявить доказательства своего прилежанія только въ предѣлахъ, установленныхъ экзаменными требованіями относительно даннаго предмета. Такъ, напримѣръ, профессоръ философіи, сверхъ изученія Платона и Аристотеля, поставляемаго въ обязанность студенту филологическаго факультета, можетъ излагать системы другихъ мыслителей и свою, буде таковую имѣетъ, но слушаніе сверхъ-обязательной части преподаванія предоставляется любознательности студентовъ и имъ не вмѣняется въ обязанность доказывать по оной свое прилежаніе". Не слышится ли въ этихъ послѣднихъ словахъ нѣкоторая иронія, несвойственная, вообще говоря, оффиціальнымъ документамъ? Не означаютъ ли они, въ вольномъ переводѣ, что профессору, усердствующему свыше „нормы", предоставляется читать передъ пустыми скамьями?.. Мы не стоимъ за принужденіе и понужденіе въ дѣлѣ высшаго образованія—но ужъ если признано нужнымъ регулировать исправное посѣщеніе и даже исправное слушаніе лекцій, то не странно ли ставить эту исправность въ зависимость отъ того, о чемъ говоритъ преподаватель? Выходъ изъ нормы—понятіе относительное, не всегда достаточно опредѣленное; нѣтъ такихъ признаковъ, по которымъ можно было бы безошибочно констатировать переходъ профессора изъ области обязательнаго въ область „сверхъ-обязательнаго". „Отчего вы не были сегодня на лекціи такого-то профессора"?—спроситъ инспекторъ у студента. — Оттого — отвѣтитъ послѣдній,—что профессоръ вышелъ изъ нормы, а я не любознателенъ. „Отчего — спроситъ профессоръ—вы не написали заданнаго вамъ упражненія?" —Оттого — отвѣтитъ студентъ, — что заданная тэма относится къ сферѣ „сверхъ-обязательнаго" и выступаетъ за предѣлы, въ кото-

рыхъ я долженъ „доказывать свое прилежаніе“ и т. п. Удобны ли, желательны ли такіе разговоры? Нужно ли усиленно напоминать студентамъ, что они должны изучать только необходимое для полученія диплома? Большинство учащихся не слишкомъ ли и безъ того уже расположено смотрѣть на свои занятія именно съ этой утилитарной точки зрѣнія?.. Нужно ли, съ другой стороны, отбивать у профессоровъ охоту расширять кругъ своего преподаванія, присоединять къ общимъ курсамъ, согласованнымъ, въ главныхъ чертахъ, съ требованіями государственныхъ экзаменовъ, частные, подробные курсы по той или другой части предмета, не пріуроченные ни къ какой извнѣ данной цѣли? Судя по первымъ словамъ ст. 17-ой, слушателями такихъ курсовъ предполагаются преимущественно лица выдержавшія уже испытаніе въ правительственныхъ коммиссіяхъ. Не споримъ, можетъ быть оно такъ и будетъ на самомъ дѣлѣ—но только вслѣдствіе правилъ, стѣсняющихъ и затрудняющихъ приливъ студентовъ къ „сверхъ-обязательнымъ“ курсамъ“. Въ Германіи курсы, посвященные спеціальнымъ научнымъ вопросамъ, сплошь и рядомъ привлекаютъ слушателей изъ числа студентовъ, безъ всякаго ущерба для главныхъ задачъ преподаванія. Какъ согласить, притомъ, ограниченіе частныхъ курсовъ съ поощреніемъ приватъ-доцентуры, о которомъ такъ много говорили составители и защитники новаго университетскаго устава? Читать общій курсъ, уже объявленный однимъ изъ профессоровъ, приватъ-доцентъ, въ большинствѣ случаевъ, не рѣшится; самымъ удобнымъ поприщемъ дѣятельности для начинающихъ преподавателей было бы именно изученіе, вмѣстѣ съ студентами, тѣхъ или другихъ спеціальныхъ научныхъ вопросовъ. Свободу ученья, провозглашенную уставомъ, правила о зачетѣ сводятъ къ размѣрамъ еще болѣе ничтожнымъ, чѣмъ свободу преподаванія; они ограничиваютъ ее, въ сущности, правомъ выбора между нѣсколькими преподавателями, читающими одинъ и тотъ же предметъ (§ 3). Часто ли будетъ встрѣчаться такая комбинація? Много ли найдется университетовъ, располагающихъ избыткомъ личнаго состава, много ли преподавателей, склонныхъ къ конкурренціи другъ съ другомъ? Если и допустить, что одинъ и тотъ же курсъ—въ однихъ и тѣхъ же размѣрахъ, продиктованныхъ экзаменными требованіями—будетъ читаться нѣсколькими преподавателями, то не приведетъ ли это къ напрасной тратѣ силъ, къ застою и односторонности въ научныхъ занятіяхъ профессоровъ?

Необходимой основѣ научныхъ занятій—достаточному досугу отъ обязательной работы, угрожаетъ, впрочемъ, другая, еще болѣе серьезная

опасность. Повѣрочныя испытанія, просмотръ и поправка домашнихъ студенческихъ работъ, потребуютъ отъ профессоровъ большой затраты времени, отвлекая ихъ отъ кабинетнаго труда, отъ дальнѣйшей разработки своего предмета. Безспорно, практическія упражненія, самостоятельныя работы составляютъ существенно-важную часть университетскаго курса, и противъ обязательности ихъ, пока они остаются въ извѣстныхъ границахъ, нельзя сказать ни слова. Въ какой степени это послѣднее условіе будетъ соблюдено при примѣненіи новаго устава—объ этомъ, покамѣстъ, судить еще не время; но для серьезныхъ опасеній уже теперь есть поводъ, въ особенности если сопоставить правила о зачетѣ съ распубликованнымъ одновременно съ ними циркуляромъ министра народнаго просвѣщенія (отъ 23 августа). Въ общихъ правилахъ о зачетѣ ничего не говорится о времени производства повѣрочныхъ испытаній; распредѣленіе ихъ предоставлено факультетамъ, съ тѣмъ, чтобы они не нарушали общаго хода преподаванія (§ 19). Болѣе опредѣлительны, въ этомъ отношеніи, частныя правила о зачетѣ полугодій для студентовъ юридическаго факультета, повторяемыя и развиваемыя еще дальше въ министерскомъ циркулярѣ. „Повѣрочныя испытанія,—читаемъ мы въ этой послѣдней бумагѣ,—будутъ тѣмъ полезнѣе, чѣмъ чаще производятся, служа побужденіемъ для студентовъ внимательно слѣдить за ходомъ преподаванія. По усмотрѣнію преподавателя, такія испытанія или репетиціи могутъ быть дѣлаемы имъ послѣ каждаго пройденнаго отдѣла". Если на мѣсто усмотрѣнія будетъ поставлено приказаніе, то повѣрочныя испытанія займутъ громадное число часовъ, отнятыхъ либо у преподаванія, либо у досуга преподавателя, и сдѣлаются чѣмъ-то въ родѣ гимназическихъ репетицій, т.-е. не столько бесѣдой о пройденномъ, съ цѣлью разъясненія и дополненія его, сколько внѣшней, механической повѣркой вниманія и прилежанія слушателей. Что касается до домашнихъ работъ, то для того, чтобы составить себѣ приблизительное понятіе о ихъ значеніи и объемѣ, мы должны перейти отъ общихъ правилъ о зачетѣ къ спеціальнымъ правиламъ для отдѣльныхъ факультетовъ, а также къ правиламъ объ экзаменныхъ требованіяхъ правительственныхъ коммиссій. Особенно интереснымъ и важнымъ представляется здѣсь все то, что относится къ факультетамъ историко-филологическому и юридическому.

Классическая филологія составляла у насъ до сихъ поръ только одну изъ отраслей историко-филологическаго образованія; на первомъ планѣ изученіе ея стояло только для тѣхъ, кто посвящалъ себя ей

спеціально. Теперь она занимаетъ въ историко-филологическомъ факультетѣ то самое мѣсто, которое принадлежитъ древнимъ языкамъ въ классическихъ гимназіяхъ; она становится средоточіемъ и основаніемъ требованій, предъявляемыхъ ко всѣмъ безъ исключенія слушателямъ факультета. Каждый изъ нихъ, въ каждое изъ восьми полугодій, долженъ изучить на дому по меньшей мѣрѣ одну книгу (въ древнемъ смыслѣ этого слова) или одну трагедію, одну комедію, одинъ обширный діалогъ, одну обширную рѣчь или два небольшихъ діалога и двѣ небольшія рѣчи греческаго и римскаго автора, изъ числа читаемыхъ въ старшихъ классахъ гимназій или объясняемыхъ въ университетѣ. Тѣ книги авторовъ, которыя въ данное полугодіе объясняются съ каѳедры или толкуются при научно-практическихъ занятіяхъ, не могутъ быть избираемы студентами для домашняго чтенія. Помимо этого чтенія, для каждаго студента историко-филологическаго факультета обязательно исполненіе, въ каждомъ полугодіи, домашнихъ письменныхъ работъ, въ числу которыхъ принадлежатъ переводы и упражненія въ древнихъ языкахъ. Работы, задаваемыя по русской исторіи и по русской литературѣ, не должны препятствовать успѣшному занятію студентовъ основными общеобязательными предметами (т.-е. древними языками). Къ этимъ же предметамъ должно относиться четырнадцать изъ числа восемнадцати лекцій, слушаніе которыхъ обязательно для студентовъ. Сообразно съ этимъ, общеобязательными для всѣхъ испытуемыхъ въ историко-филологической коммиссіи являются только свѣденія, относящіяся, прямо или косвенно, къ области классической филологіи. Главнымъ основаніемъ всего историко-филологическаго испытанія служитъ интерпретація греческихъ и римскихъ авторовъ; затѣмъ требуются знанія по греческимъ и римскихъ древностямъ, по исторіи греческой и римской литературы, по древне-классической метрикѣ, по миѳологіи, по исторіи Греціи и Рима, по исторіи древняго пластическаго искусства, по философіи Платона и Аристотеля. „Твердость въ формахъ и синтаксическихъ оборотахъ, а для латинскаго языка и въ стилистикѣ", испытуемые должны обнаружить посредствомъ „клаузурныхъ работъ". Другими словами, испытаніе въ историко-филологической коммиссіи—это, отчасти, повтореніе или продолженіе экзамена на аттестатъ зрѣлости. Студентъ историко-филологическаго факультета, чѣмъ бы онъ ни намѣревался заняться послѣ окончанія курса, какой бы спеціальности ни желалъ посвятить себя, долженъ отдавать почти все свое время изученію классической филологіи—и притомъ отдавать его не только чтенію авторовъ, не только знаком-

ству съ умственною и политическою жизнью древности, но и чисто грамматическимъ упражненіямъ, тѣмъ же переводамъ съ русскаго языка на греческій и латинскій, надъ которыми онъ трудился въ продолженіе восьми лѣтъ гимназическаго курса. Обремененіе профессоровъ классической филологіи громадною массой домашнихъ студенческихъ работъ — это еще далеко не самый неблагопріятный результатъ новой системы. Гораздо важнѣе обусловливаемое ею ограниченіе занятій другими предметами, входящими въ область историко-филологическаго факультета. Четыре лекціи изъ восемнадцати, домашнія работы, исполняемыя въ немногіе свободные промежутки между переводами и упражненіями по древнимъ языкамъ—вотъ все, что остается на долю такихъ предметовъ, какъ философія, сравнительное языкознаніе, русская литература, исторія всеобщая и русская, географія и этнографія, исторія западно-европейскихъ и славянскихъ литературъ!! Философія (за исключеніемъ древнегреческой) и географія не играютъ никакой роли въ экзаменныхъ требованіяхъ; изученіе ихъ предоставляется исключительно „любознательности“ студентовъ, т.-е. относится къ числу тѣхъ занятій, которыя не имѣютъ ни малѣйшаго вліянія на зачетъ полугодій, и отъ „увлеченія“ которыми деканъ и профессора должны предостерегать студентовъ. Историко-филологическій факультетъ и при дѣйствіи прежняго устава не принадлежалъ, какъ извѣстно, къ числу тѣхъ, къ которымъ особенно охотно стремятся студенты — а между тѣмъ, съ точки зрѣнія общаго образованія онъ имѣетъ (вмѣстѣ съ естественнымъ отдѣленіемъ физико-математическаго факультета) безспорныя преимущества передъ всѣми остальными. Изученіе математики, медицины, юриспруденціи даетъ спеціалистовъ — изученіе философіи, исторіи, естественныхъ наукъ даетъ широко образованныхъ людей, въ которыхъ такъ сильно нуждается наше общество. Привлеченіе студентовъ къ историко-филологическому факультету было бы задачей въ высшей степени важной и благодарной; правила о зачетѣ и объ экзаменныхъ требованіяхъ какъ бы стремятся— или по крайней мѣрѣ могутъ привести—къ цѣли прямо противоположной. Кто не чувствуетъ особаго расположенія къ классическимъ языкамъ, кого они утомили и оттолкнули уже въ гимназіи, тотъ отступитъ передъ перспективой новаго, четырехлѣтняго погруженія въ эту пучину и пройдетъ мимо историко-филологическаго факультета, какъ бы сильно ни было въ немъ желаніе посвятить себя изученію философіи, исторіи, литературы. Найдутся, однако, лица, которыя рѣшатся на тяжкій искусъ и поступятъ въ историко-филологическій факультетъ, не

имѣя намѣренія сдѣлаться классиками по профессіи. Трудно ожидать, чтобы они вынесли изъ университета основательныя, всесторонніе знанія по избранному ими предмету. Положимъ, напримѣръ, что мы имѣемъ дѣло съ будущимъ учителемъ русской исторіи. Изъ двухъ группъ „дополнительныхъ требованій" (т.-е. дополнительныхъ къ обязательнымъ предметамъ) онъ избираетъ, конечно, вторую, въ которую включена его спеціальность. И что же? Въ этой группѣ нѣтъ мѣста для русской литературы! Другими словами, можно сдѣлаться учителемъ русской исторіи, вовсе не занимавшись русской литературой — или наоборотъ, учителемъ русской литературы, вовсе не занимавшись русской исторіей. Отъ будущаго учителя всеобщей исторіи не требуется, въ силу тѣхъ же правилъ, знанія исторіи западно-европейскихъ литературъ. Въ основаніи всѣхъ этихъ несообразностей лежитъ одна и та же причина—преувеличенная роль, отведенная классической филологіи и оттѣсняющая на второй планъ все остальное. Можно подумать, что студенты историко-филологическаго факультета готовятся всѣ поголовно въ учителя древнихъ языковъ. И дѣйствительно, отъ тѣхъ изъ нихъ, которые избрали эту дорогу, не требуется на экзаменѣ ни на волосъ больше свѣденій по классической филологіи, чѣмъ отъ всѣхъ другихъ.

Обратимся теперь къ юридическому факультету. Здѣсь господствующая роль принадлежитъ римскому праву, хотя и въ меньшей степени, чѣмъ древнимъ языкамъ на историко-филологическомъ факультетѣ. Для того, чтобы юристы не слишкомъ отстали отъ филологовъ, основаніемъ устнаго и письменнаго испытанія по римскому праву имѣетъ служить подлинный текстъ институцій Гая и Юстиніана. Ниже римскаго гражданскаго права, но все же на весьма видномъ мѣстѣ стоитъ римское государственное право, съ тѣми отличительными особенностями, которыми оно характеризуется въ восточной половинѣ имперіи, т.-е. въ Византіи. По исторіи философіи права требуется только знаніе главныхъ ученій древне-классическаго міра, въ особенности ученій Платона, Аристотеля и Цицерона. Между студентами, посвятившими себя юриспруденціи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, и такъ-называемыми камералистами, не дѣлается никакого различія; уровень знаній по римскому праву и еще по тринадцати главнымъ предметамъ установленъ одинаковый для тѣхъ и другихъ. Выборъ спеціальности можетъ выразиться лишь по отношенію къ такъ-называемымъ особымъ, дополнительнымъ требованіямъ, изъ числа которыхъ для каждаго студента обязательны только два (а всѣхъ ихъ—десять). Кто предполагаетъ, напримѣръ, сосредо-

точиться на изученіи политической экономіи или финансоваго права, тотъ можетъ не держать экзамена по восьми другимъ „особымъ требованіямъ", но долженъ знать права: римское, церковное, государственное, международное, уголовное, гражданское, торговое, энциклопедію правовѣдѣнія, исторію философіи права въ такой же мѣрѣ, какъ и будущій юристъ. Слабыя стороны этой системы менѣе важны, чѣмъ указанныя нами неудобства единовластія древнихъ языковъ на историко-филологическомъ факультетѣ, — но во всякомъ случаѣ она далеко не гармонируетъ съ девизомъ, рекомендуемымъ какъ руководство для испытательныхъ коммиссій: non multa, sed multum.

Особенность правилъ, относящихся къ юридической испытательной коммиссіи, заключается въ томъ, что они не ограничиваются установленіемъ минимальнаго размѣра и внѣшнихъ нормъ университетскаго преподаванія, а имѣютъ въ виду регулированіе его по существу, по содержанію. Отсюда полемическій характеръ правилъ, сообщающій имъ, мѣстами, большое сходство съ публицистикой. Мы встрѣчаемъ здѣсь и насмѣшки надъ Блунчли, „преподающимъ уроки мудрости правительствамъ", и наставленіе по адресу „позитивныхъ философовъ", съ указаніемъ на то, что они забываютъ, и чѣмъ „плѣняются",—и порицаніе исторіи философіи, по которой будто имѣются большею частью только „лишенные научнаго характера пересказы содержанія, нерѣдко вовсе непонятаго или извращеннаго въ смыслѣ доктрины, по личному вкусу излагателей". Если кому-нибудь изъ профессоровъ вздумается объявить курсъ по исторіи философіи права, то слушаніе этого курса будетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, актомъ гражданскаго мужества, потому что съ точки зрѣнія правилъ оно явится доказательствомъ мало похвальнаго „желанія пріобрѣсти запасъ именъ, разныхъ курьезовъ и готовыхъ сужденій безъ понятій".

„Вмѣсто разныхъ доктринъ и теорій, претендующихъ на всеобщее значеніе и именующихъ себя философскими", предисловіе, предпосланное правиламъ, признаетъ „дѣйствительнымъ условіемъ всѣхъ наукъ общую всѣмъ людямъ логику здраваго смысла, рѣшенія которой столь же обязательны, какъ и очевидность факта. Что не выдерживаетъ ея окончательнаго суда, то не можетъ быть не только принимаемо, но и терпимо ни въ какомъ дѣлѣ". Итакъ, надъ наукой ставится высшая апелляціонная инстанція, повѣряющая и контролирующая ея выводы; здравый смыслъ возносится надъ знаніемъ, дѣлается окончательнымъ его судьею. Но развѣ рѣшенія, постановляемыя здравымъ смысломъ, всегда бываютъ единогласны? Развѣ онъ всегда и всѣмъ подсказываетъ одно и то же? Развѣ, отправляясь отъ

него и оставаясь—или думая, что остаешься—на его почвѣ, нельзя придти къ самымъ противоположнымъ заключеніямъ? Развѣ непогрѣшима самая очевидность факта, съ обязательностью которой сравнивается обязательность внушеній здраваго смысла? Вѣдь „логику здраваго смысла“ и „очевидность факта“ имѣлъ на своей сторонѣ и приговоръ надъ Коперникомъ или Галилеемъ. И логика здраваго смысла. и очевидность факта — понятія относительныя, неустойчивыя, измѣняющіяся, между прочимъ, и именно подъ вліяніемъ развитія науки. „Очевидное“ для дикаря или для ребенка можетъ быть сомнительнымъ или немыслимымъ въ глазахъ взрослаго, образованнаго человѣка; здравый смыслъ большинства сегодня признаетъ безспорнымъ одно, завтра—другое. Составители правилъ хотѣли создать что-то неподвижное среди движенія, постоянно одинаковое среди перемѣнъ—и конечно не достигли своей цѣли. Мы увидимъ сейчасъ, что они даже не остались вѣрными своей исходной точкѣ.

„Преподаватели юридическихъ дисциплинъ, слѣдуя главному и единственно плодотворному методу познающей науки, окажутъ истинную пользу учащимся заботами не о томъ, чтобы снабжать ихъ готовыми обобщеніями, а о томъ, чтобы давать имъ тщательно провѣренный матеріалъ, изъ котораго могли бы они сами, продолжая свои изученія или находясь при дѣлахъ, вырабатывать свои понятія и воззрѣнія. Иные думаютъ, что теоріями можно предохранить молодые умы отъ увлеченій. Большая ошибка! Обобщенія навязанныя, и притомъ преждевременно, оставляютъ въ умѣ легковѣсныя представленія, которыя безъ труда приводятся въ произвольныя сочетанія. Университетъ долженъ давать государству не верхоглядовъ, не фанатиковъ чужой мысли, но умы дѣльные, зрячіе, дѣйствительно знающіе и проникнутые чувствомъ реальности властвующихъ въ нравственномъ мірѣ силъ“. Во всѣхъ этихъ соображеніяхъ много справедливаго; особенно замѣчательны подчеркнутыя нами фразы — но чѣмъ сильнѣе онѣ врѣзываются въ память, тѣмъ больше бросаются въ глаза отступленія отъ только-что установленнаго начала. Протестуя, и совершенно основательно, противъ снабженія студентовъ готовыми обобщеніями, противъ навязыванія имъ теорій, хотя бы съ самою благонамѣренною цѣлью, составители правилъ сами не избѣжали ни того, ни другого. У нихъ также есть готовыя обобщенія, предвзятыя теоріи, которыми они хотятъ „снабдить“ не только студентовъ, но и профессоровъ. „Наказаніе,—читаемъ мы нѣсколькими строками ниже приведеннаго нами мѣста правилъ,—есть прямое послѣдствіе, естествен-

ная развязка преступнаго дѣла. Безъ соотвѣтственнаго наказанія преступное дѣло остается безъ исхода. Нормальный человѣкъ, мучимый совѣстью, самъ чувствуетъ потребность кары, которая есть не что иное какъ post factum, являющееся нравственное начало, не оказавшееся въ силѣ въ моментъ преступнаго рѣшенія". Что это такое, какъ не „готовое обобщеніе", какъ не „теорія", и притомъ не новая, а прямо заимствованная изъ той исторіи философіи права, о которой съ такимъ пренебреженіемъ отзываются составители правилъ? Не помнимъ, кто именно изъ нѣмецкихъ философовъ-криминалистовъ провозгласилъ право преступника на наказаніе; цитированное нами разсужденіе—парафраза этого принципа. Основателемъ ли онъ или неоснователемъ—это вопросъ, въ настоящую минуту для насъ безразличный; намъ нужно было только доказать, что составители правилъ черпаютъ изъ осужденнаго ими источника, что у нихъ есть своя доктрина, совершенно однородная съ другими. Имъ кажется, можетъ быть, что единственнымъ ея основаніемъ служитъ „логика здраваго смысла",—но вѣдь то же самое думаетъ каждый мыслитель о своемъ излюбленномъ ученіи. Теоріей, доктриной слѣдуетъ признать, далѣе, и тѣ взгляды, проводникомъ которыхъ должна служить, за силою „экзаменныхъ требованій", наука государственнаго права. По мѣткому выраженію г. П. Б. Д.—автора замѣчательной статьи, недавно появившейся въ „Руси" (№ 11)—правила о юридическихъ испытаніяхъ заключаютъ въ себѣ цѣлую „государственную философію", обязательную и для учащихъ, и для учащихся. Свободно созданная преподавателемъ „столь же свободно усвоиваемая, слушателями, эта философія могла бы имѣть несомнѣнное значеніе; преподаваемая и повторяемая par ordre, она приведетъ именно къ тѣмъ результатамъ, о которыхъ такъ предусмотрительно говорятъ, въ другомъ мѣстѣ, составители правилъ. Въ лучшемъ случаѣ явятся „фанатики чужой мысли", „легковѣсныя представленія" которыхъ окажутся плохой почвой для плодотворной работы; въ худшемъ случаѣ „преждевременно навязанное обобщеніе" вызоветъ реакцію, уступить мѣсто прямо противоположному взгляду... Стремясь опредѣлить не только рамки, но и духъ университетскаго преподаванія, „экзаменныя требованія" превысили, если можно такъ выразиться, свою законную власть, выступили за предѣлы своего законнаго назначенія. Наука, искусственно подводимая подъ заранѣе опредѣленный уровень, обязательно приспособляемая къ заранѣе опредѣленной практической цѣли, или продолжаетъ идти своимъ путемъ вопреки стѣсненіямъ и преградамъ, или перестаетъ быть наукой.

Газетный походъ противъ дерптскаго университета, упомянутый нами вскользь въ концѣ предъидущей хроники, продолжается и теперь, разростаясь и ожесточаясь. Та самая газета, которая въ концѣ августа признавала наиболѣе „простымъ, дешевымъ и цѣлесообразнымъ" оставить университетъ въ Дерптѣ, преобразовавъ его (за исключеніемъ богословскаго факультета) примѣнительно къ общему университетскому уставу и принявъ мѣры къ постепенному введенію въ немъ преподаванія на русскомъ языкѣ, въ половинѣ сентября предлагаетъ уже совершенное закрытіе ненавистнаго учрежденія, съ одновременнымъ открытіемъ новаго, русскаго университета въ одномъ изъ русскихъ городовъ, ближайшихъ къ остзейскому краю—напр., въ Псковѣ. Главное основаніе, приводимое противъ дерптскаго университета—это роль, которую онъ играетъ въ обнѣмеченіи латышей и эстовъ, въ поддержаніи замкнутости, обособленности нѣмецкаго элемента, въ затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ примѣненіемъ русскаго языка къ дѣлопроизводству въ присутственныхъ мѣстахъ остзейскаго края. Обнѣмеченіе латышей и эстовъ еще недавно было безспорнымъ и, конечно, весьма печальнымъ фактомъ; но вотъ что мы читаемъ по этому поводу въ корреспонденціи „Руси" — замѣтимъ, также враждебной дерптскому университету. „Онѣмеченіе латышей и эстовъ, даже въ дерптскомъ университетѣ, идетъ далеко не такъ успѣшно, какъ прежде. Весьма существенныя преграды воздвигли для успѣховъ германизаторовъ такъ называемыя народныя стремленія латышей и эстовъ, которыя не могли не воодушевить и обучающуюся латышскую и эстскую молодежь. Сущность этихъ стремленій заключается въ полномъ разрывѣ съ нѣмечиной, въ развитіи туземцевъ самымъ прямымъ путемъ, т.-е. посредствомъ роднаго, простонароднаго языка, и въ самомъ тѣсномъ сближеніи съ великимъ русскимъ народомъ... Недавно возникла въ Дерптѣ первая латышская (студенческая) корпорація, подъ названіемъ Lettonia, которая, въ составѣ безъ малаго сто человѣкъ, борется изо всѣхъ силъ за студенческую равноправность и способна спасти многихъ латышскихъ юношей, попавшихъ въ дерптскій университетъ, отъ полнѣйшаго онѣмеченія". Итакъ, противодѣйствовать обнѣмеченію латышей и эстовъ закрытіемъ дерптскаго университета—по меньшей мѣрѣ несвоевременно. Проснувшееся національное самознаніе—лучшая гарантія противъ германизаціи; нужно только не препятствовать его росту, не стѣснять—какъ это сплошь и рядомъ бывало прежде—его проявленій, не вѣрить тенденціознымъ обвиненіямъ, взводимымъ на руководителей, эсто-латышскаго движенія, не останавливать свободнаго разви-

тія эсто-латышской прессы. Еще важнѣе, съ этой точки зрѣнія, освобожденіе массы эсто-латышскаго населенія изъ-подъ власти нѣмецкаго дворянства, скорѣйшее осуществленіе реформъ (земской, судебной, административной), которыхъ такъ давно ждетъ остзейскій край—и осуществленіе ихъ, конечно, въ узкомъ сословномъ духѣ. При такихъ условіяхъ окончаніе курса въ дерптскомъ университетѣ только закалитъ латышей и эстовъ для предстоящей имъ борьбы, вооружитъ ихъ именно тѣмъ оружіемъ, которымъ располагаютъ ихъ противники. Далеко не лишнимъ было бы, безъ сомнѣнія, и увеличеніе числа эстовъ и латышей, получившихъ образованіе въ русскомъ университетѣ—но этого можно достигнуть безъ закрытія дерптскаго университета, учрежденіемъ, напримѣръ, для не-нѣмецкихъ уроженцевъ остзейскаго края извѣстнаго числа стипендій въ петербургскомъ университетѣ. Петербургъ—немногимъ дальше отъ прибалтійскихъ губерній, чѣмъ Псковъ (не говоримъ уже о томъ, до какой степени странно было бы открытіе новаго русскаго университета въ 250 верстахъ отъ Петербурга. Что касается до нѣмецкаго элемента, то онъ слишкомъ преданъ своей культурѣ, чтобы потерять, вмѣстѣ съ своимъ университетомъ, и свою національную своеобразность. Ссылаются на примѣръ варшавскаго университета — но это примѣръ поучительный развѣ a contrario, въ смыслѣ указанія на то, чего не слѣдуетъ дѣлать. Преподаваніе на русскомъ языкѣ, русскими профессорами, едва ли обрусило или обруситъ, едва ли даже сблизило или сблизитъ съ русскими хотя бы одного польскаго студента. Распространеніе русскаго языка въ остзейскомъ краѣ — настолько, насколько оно законно и необходимо— не требуетъ ни закрытія, ни радикальнаго преобразованія дерптскаго университета; совершенно достаточно открыть русскому языку доступъ въ народную школу, укрѣпить и расширить преподаваніе его въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, обезпечить за нимъ, въ судебныхъ и другихъ присутственныхъ мѣстахъ, полнѣйшую равноправность съ языками нѣмецкимъ, эстскимъ и латышскимъ (какъ это сдѣлано по отношенію къ мировымъ учрежденіямъ въ неосуществившемся до сихъ поръ законѣ 28 мая 1880 г.).

Остается еще одинъ аргументъ противъ дерптскаго университета: это несоразмѣрность между стоимостью содержанія его, оплачиваемаго изъ общихъ бюджетныхъ суммъ—т.-е. изъ средствъ всего русскаго народа—и численностью нѣмецкаго населенія, для котораго, собственно говоря, дерптскій университетъ существуетъ. У насъ нѣтъ подъ рукою цифръ, съ помощью которыхъ можно было бы точно опредѣлить степень этой несоразмѣрности; но допустимъ, что она

дѣйствительно очень велика, и посмотримъ, что̀ изъ этого слѣдуетъ. Необходимо помнить, что теперь идетъ рѣчь не объ учрежденіи, а о сохраненіи въ Дерптѣ нѣмецкаго университета. Создавать его вновь не было бы, можетъ быть, достаточной причины—но это еще не значитъ, чтобы нужно было немедленно положить конецъ его существованію. Разсадниковъ высшаго образованія у насъ не такъ много, чтобы можно было съ легкимъ сердцемъ уничтожать одинъ изъ нихъ. Съ тѣми же самыми средствами, какія расходуются теперь на дерптскій университетъ, можно было бы, конечно, приступить къ открытію новаго русскаго университета, но прошло бы не мало времени, прежде чѣмъ послѣдній занялъ бы вполнѣ мѣсто своего предшественника. Въ профессорахъ у насъ и теперь чувствуется недостатокъ; не легко было бы сразу замѣнить новыми силами весь теперешній ученый персоналъ дерптскаго университета. Еще важнѣе одно обстоятельство, совершенно упускаемое изъ виду обрусителями во что бы то ни стало: это — та роль, которую дерптскій университетъ игралъ, по временамъ, въ нашемъ прошедшемъ и которую ему, быть можетъ, суждено еще не разъ сыграть въ нашемъ будущемъ. Въ самыя мрачныя эпохи нашей университетской жизни дерптскій университетъ, свободный отъ подозрѣній, огражденный отъ грозы, не затронутый „преобразованіями на оборотъ“, служилъ пристанищемъ для значительной части русской молодежи и поддерживалъ въ русскомъ обществѣ представленіе объ истинной „академической свободѣ“.

Та часть предъидущей Общественной Хроники, которая посвящена „финляндскому вопросу“, вызвала въ реакціонной печати цѣлый рядъ выходокъ, хорошо характеризующихъ пріемы и тенденціи этого лагеря. Петербургскій его органъ воспользовался случаемъ, чтобы констатировать живучесть „самыхъ вредныхъ, самыхъ задорныхъ либеральныхъ теченій“, „чуть-чуть жива притихнувшихъ“, но по прежнему „враждебныхъ, ядовитыхъ и злобныхъ“. Для усугубленія эффекта, сказанное нами о нѣкоторыхъ газетахъ примѣняется... къ цѣлой Россіи, „надъ образомъ которой“ мы, будто бы, „изощряемъ свою злобу“. Тотъ же маневръ повторяется, только съ бо́льшею настойчивостью, въ передовой статьѣ московской реакціонной газеты. У насъ шла рѣчь о журнальныхъ нападеніяхъ на Финляндію, исполненныхъ „самымъ низкопробнымъ, жалкимъ хвастовствомъ — хвастовствомъ грубой силой“,—а намъ приписываютъ мысль, что это

хвастовство проявляетъ Россія! Но съ котораго времени Россія и редакція такихъ газетъ, какъ „Московскія Вѣдомости“, сдѣлались тождественны! Мы говорили о мономаніи величія, „признаки которой опять начинаютъ обнаруживаться въ нашемъ обществѣ“ (т.-е., само собою разумѣется, въ извѣстной его части) — а по изложенію „Московскихъ Вѣдомостей“ больною, въ нашихъ глазахъ, оказывается опять-таки Россія! Дальше этого нельзя идти въ передергиваніи чужихъ словъ и чужихъ мнѣній. Чтобы отождествлять съ небольшой группой реакціонеровъ весь русскій народъ или хотя бы все русское общество, надобно быть не „либераломъ“, а просто безумцемъ.

ИЗВѢЩЕНІЕ.

Общество любителей россійской словесности, состоящее при Императорскомъ Московскомъ университетѣ, извѣщаетъ, что съ 1-го августа по 1-е сентября сего 1885 года къ казначею общества поступили собранныя съ Высочайшаго соизволенія на сооруженіе въ Москвѣ памятника Николаю Васильевичу Гоголю: 1) по подписному листу № 29 черезъ барона Н. П. Фонъ-Штакельберга—3 руб. 25 коп.; 2) по подписному листу № 23 черезъ К. И. Котовича—5 руб. 30 коп. 3) проценты по вкладному билету Московскаго купеческаго банка № 27549-й—316 рублей 4 коп. Итого триста двадцать четыре рубля 59 коп., а всего съ прежде поступившими одиннадцать тысячъ восемьсотъ пятьдесятъ четыре рубля 71 копѣйка.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ

ПЯТАГО ТОМА.

СЕНТЯВРЪ — ОКТЯВРЬ, 1885.

Книга девятая. — Сентябрь.

отр.

Реформація и католическая реакція въ Польшѣ.—III. Внутренняя политика въ Польшѣ и реформація въ другихъ странахъ.—IV. Возникновеніе реформаціоннаго движенія въ Польшѣ и отношеніе къ нему государственной власти.—Н. КАРѢЕВА. 5

Въ нѣмочатомъ углу.—Замѣтки обывателя.—XI-XIX.—Окончаніе.—Н. И. . . 49

Пессимизмъ и прогрессъ.—IV-VIII.—Окончаніе.—А. КРАСНОСЕЛЬСКАГО. . 88

Робертъ Шуманъ.—III-IV.—Окончаніе.—П. А. ТРИФОНОВА. 128

Всесословная семья. — Разсказъ изъ хѣтописей одного благонамѣреннаго сближенія.—I-III.—Н. Д. АХШАРУМОВА. 157

Въ волостныхъ писаряхъ.—XIII-XVII.—Окончаніе.—Н. А—РЕВА. 190

Въ панцырѣ великана.—Романъ Ф. Ансти.—Съ англійскаго.—I-VIII.—А. Э. . 246

Философія Донъ-Кихота.—Н. И. СТОРОЖЕНКО. 307

Обзоръ малорусской этнографіи.—II.—И. И. Срезневскій.—А. Н. ПЫПИНА. 325

Хроника.—Внутреннее Обозрѣніе.—Общій желѣзно-дорожный уставъ.—Сравненіе его съ первоначальнымъ проектомъ коммиссіи гр. Э. Т. Баранова.—Неразрѣшенные и неудовлетворительно разрѣшенные вопросы.—Достоинства новаго закона.—Перемѣны въ учрежденіи судебныхъ установленій; высшее дисциплинарное присутствіе сената. — Еще нѣсколько словъ по поводу банковъ крестьянскаго и дворянскаго. 351

Иностранное Обозрѣніе.—Свиданіе монарховъ въ Гаштейнѣ и въ Кремзирѣ. — Австро-германская дружба.—Отношенія между Германіею и Россіею. — Политическая роль Англіи и мирныя нѣлнія въ Европѣ.—Приготовленія къ парламентскимъ выборамъ. — Положеніе дѣлъ во Франціи. — Ссора нѣмцевъ съ испанцами изъ-за колоніальнаго недоразумѣнія.—Колоніальные захваты и ихъ условія. 375

Съѣздъ германскихъ антропологовъ.—М. И. КУЛИШЕРА 389

Новый томъ книги Маркса.—Л. С—СКАГО 400

Литературное Обозрѣніе. — Учебникъ логики, проф. М. Троицкаго. — Международная хлѣбная торговля, П. Георгіевскаго. — Труды коммиссіи при Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ по вопросу о внѣшней хлѣбной торговлѣ.—Матеріалы къ медицинской географіи и статистикѣ Россіи, Г. М. Герценштейна. — Л. — Закавказскіе сектанты, Николая Дингельштедтъ. — Историко-критическій комментарій къ сочиненіямъ Ѳ. М. Достоевскаго, В. Зелинскаго.—Русское правописаніе, акад. Я. К. Грота.—А. В. 405

Изъ Общественной Хроники. — Русская печать о Финляндіи. — Представленія, возстающія изъ могилы.—„Русь“ и берлинскій трактатъ.—„Хорошіе“ и „дурные“ учебники.—Кому у насъ весело?—Отставки городскихъ головъ въ Ревелѣ и Ригѣ. 420

Извѣщеніе. — Отъ Общества Любителей Россійской Словесности при Московскомъ университетѣ. 432

Библіографическій Листокъ.—В. Н. Латкинъ. Земскіе соборы древней Руси.—Полное собраніе сочиненій Я. П. Полонскаго. Изд. Ж. А. Полонской.—Словарь практическихъ свѣденій. Изд. д-ра Л. Симонова.—Архивъ князя Воронцова.—Методы изслѣдованія низшихъ организмовъ. Л. Л. Гейденрейха. — Отчетъ по главному тюремному управленію за 1883 годъ. — 1885 годъ въ сельско-хозяйственномъ отношеніи, по отвѣтамъ, полученнымъ отъ хозяевъ.—Полный курсъ коммерческой корреспонденціи. С. М. Бараца.

Книга десятая.—октябрь.

стр.

Реформація и католическая реакція въ Польшѣ.—V.—Борьба за политическую реформу и религіозную свободу, и вопросъ о національномъ соборѣ.—VI. — Полное разновѣрство, попытки его организаціи и унія между протестантскими исповѣданіями.—VII.—Крайнее направленіе польской реформаціи.—Н. И. КАРѢЕВА 433
Всесословная семья.—Разсказъ.—IV—X.—Н. Д. АХШАРУМОВА 490
Берлинъ, какъ столица Германіи. — Воспоминанія Брандеса. — Перев. съ датскаго.—Г. 535
Моя женитьба.—Записки В. И. Матвѣева.—I.—Ѳ. С. СТУЛЛИ 571
Наполеонъ I, по новымъ изслѣдованіямъ.—Н. Д. 621
Въ панцырѣ великана.—Романъ Ф. Ансти.—Съ англійскаго.—IX-XVII.—А. Э. 668
Разборъ послѣдняго труда К. Д. Кавелина: „Задачи этики“. — В. Д. СПАСОВИЧА 717
Поэты двухъ поколѣній.—К. К. АРСЕНЬЕВА 757
Обзоръ малорусской этнографіи.—III.—Н. И. Костомаровъ.—А. Н. ПЫПИНА . 777
Хроника.—Внутренній Обозрѣніе.—Новый фазисъ вопроса объ административной реформѣ.—„Улучшеніе мѣстныхъ учрежденій“, разсматриваемое съ спеціально-сословной точки зрѣнія.—Охраненіе à outrance и такая же ломка.—„Соединеніе властей“ и сословное земство, какъ главныя основанія „улучшеній“ 805
Письма изъ Москвы.—WZ. 822
Иностранное Обозрѣніе. — Болгарское „возсоединеніе“, и его предполагаемая связь съ политикою трехъ имперій.—Роль князя Александра и мѣстныхъ патріотовъ. — Отношеніе европейскихъ державъ, иностранной и нашей реакціонной печати къ совершившемуся перевороту. 835
Литературное Обозрѣніе.—Съ русскими паломниками на Святой Землѣ весной 1884 года, А. В. Елисѣева.—А. В. 853
Изъ Общественной Хроники. — Исполненіе новаго университетскаго устава. — Правила о зачетѣ полугодій и объ экзаменныхъ требованіяхъ правительственныхъ коммиссій.—Регламентація студенческихъ занятій и профессорскихъ лекцій.—Вопросъ о дерптскомъ университетѣ.—По адресу „Московскихъ Вѣдомостей“ 861
Извѣщенія.—Отъ Общества любителей Россійской Словесности 878
Библіографическій Листокъ.—Геродотъ. Исторія въ девяти книгахъ, Ѳ. Г. Мищенко. — Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи по вѣкамъ, Я. Г. Гуревича.—Переходъ Россіи къ регулярной арміи, П. О. Бобровскаго.—Введеніе въ общее языкознаніе, А. Питта.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ

НА 1886 Г.

„ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРІИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ.

	Годъ:	Полгода:	Четверть:		Годъ:	Полгода:	Четверть:
Безъ доставки. . .	15 р. 50 к.	8 р.	4 р.	Съ пересылкою . .	17 „ — „	10 „	6 „
Съ доставкою . . .	16 „ — „	9 „	5 „	За-границей	19 „ — „	11 „	7 „

Нумеръ журнала отдѣльно, съ доставкою и пересылкою, въ Россіи — 2 р. 50 к., за-границей — 3 руб.

Книжные магазины пользуются при подпискѣ обычною уступкою.

ПОДПИСКА принимается — въ Петербургѣ: 1) въ Главной Конторѣ журнала „Вѣстникъ Европы“ въ С.-Петербургѣ, на Вас. Остр., 2-я лин., 7, и 2) въ ея Отдѣленіи, при книжномъ магазинѣ Э. Мелье, на Невскомъ проспектѣ; — въ Москвѣ: 1) при книжныхъ магазинахъ Н. И. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; 2) Н. П. Карбасникова, на Моховой, д. Коха, и 3) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи. — Иногородные обращаются по почтѣ въ редакцію журнала: Спб., Галерная, 20, а лично — въ Главную Контору. Тамъ же принимаются частныя извѣщенія и ОБЪЯВЛЕНІЯ для напечатанія въ журналѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Редакція отвѣчаетъ вполнѣ за точную и своевременную доставку городскимъ подписчикамъ Главной Конторы и ея Отдѣленій, и тѣмъ изъ иногородныхъ и иностранныхъ, которые выслали подписную сумму *по почтѣ* въ Редакцію „Вѣстника Европы“, въ Спб., Галерная, 20, съ сообщеніемъ подробнаго адресса: имя, отчество, фамилія, губернія и уѣздъ, почтовое учрежденіе, гдѣ (NB) *допущена* выдача журналовъ.

О перемѣнѣ адресса просятъ извѣщать своевременно и съ указаніемъ прежняго мѣстожительства; при перемѣнѣ адресса изъ городскихъ въ иногородные доплачивается 1 р. 50 к.; изъ иногородныхъ въ городскіе — 40 коп.; и изъ городскихъ или иногородныхъ въ иностранные — недостающее до вышеуказанныхъ цѣнъ по государствамъ.

Жалобы высылаются исключительно въ Редакцію, если подписка была сдѣлана въ вышеуказанныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не позже, какъ по полученіи слѣдующаго нумера журнала.

Билеты на полученіе журнала высылаются особо тѣмъ изъ иногородныхъ, которые приложатъ къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:
Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:
Вас. Остр., Академ. пер., 7.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Геродотъ. Исторія въ девяти книгахъ. Перев. съ греч. Ѳ. Г. Мищенко. Т. I. 1885. Стр. 287. Ц. 2 р. 60 к.

Геродотъ. Мѣсто его въ исторіи древне-эллинской образованности. Того же автора. М. 1885. Стр. 106. Ц. 60 коп.

Имя г. Мищенко давно уже извѣстно, какъ по разнообразнымъ изслѣдованіямъ изъ области классической древности, такъ и по переводнымъ трудамъ. Еще не такъ давно былъ изданъ имъ переводъ семнадцати „книгъ“ географіи Страбона; въ первомъ, вышедшемъ нынѣ томѣ перевода исторіи Геродота, помѣщены изъ ея девяти „книгъ“ первыя четыре „книги“ съ довольно обширнымъ предисловіемъ. Заслуги подобныхъ трудовъ несомнѣнны и весьма важны даже и въ томъ случаѣ, еслибы онѣ ограничивались однимъ толковымъ переводомъ текста, вѣрнымъ подлиннику и удовлетворительнымъ по языку. Особенно такая заслуга имѣетъ значеніе въ нашей литературѣ, страдающей отсутствіемъ хорошихъ переводовъ классическихъ произведеній, въ то время, какъ на западѣ такія произведенія давно имѣютъ, можно сказать, и классическіе переводы. Предисловіе переводчика явилось и отдѣльной брошюрой; спеціальная его задача состоитъ въ томъ, чтобы выяснить мѣсто, занимаемое Геродотомъ въ исторіи древне-эллинской образованности. Было бы, конечно, желательнѣе и, по нашему мнѣнію, цѣлесообразнѣе, вмѣсто такого спеціальнаго предисловія дать біографію Геродота, исторію его изданій и очеркъ новѣйшихъ изслѣдованій; желательно было бы также, а можетъ быть авторъ имѣетъ въ виду сдѣлать то при слѣдующемъ выпускѣ, а именно,—снабдить переводъ географическою картою, составленною по Геродоту, согласно представленіямъ того времени. Что касается самой брошюры, служащей вмѣстѣ и предисловіемъ, то она вращается, главнымъ образомъ, около вопроса: справедливо ли считаютъ Геродота „отцомъ исторіи“, и не будетъ ли вѣрнѣе считать таковымъ Гекатея Милетскаго? Принимая во вниманіе, что отъ сочиненій послѣдняго сохранилось нѣсколько фрагментовъ, такъ сказать, нѣсколько страницъ, вышеприведенный вопросъ можно считать почти праздными и не развѣнчивать Геродота. Впрочемъ, и самъ авторъ только въ началѣ своей брошюры сомнѣвается въ правахъ Геродота на титулъ „отца исторіи“ и допускаетъ то не иначе, какъ „съ значительными оговорками“; но тѣмъ не менѣе кончаетъ брошюру признаніемъ, что „нѣтъ ровно никакихъ основаній для перенесенія этого титула съ галикарнасскаго историка на кого-либо изъ его предшественниковъ или современниковъ“. Оцѣнивая общественно-политическій характеръ Геродота, авторъ говоритъ такъ: „Если въ заключеніе спросимъ, какіе общественно-политическія убѣжденія исповѣдывалъ нашъ историкъ, просвѣщенный, гуманный и терпимый, то въ трудѣ его найдемъ безспорныя свидѣтельства о наибольшемъ расположеніи его къ демократической формѣ правленія и объ отвращеніи къ тираніи“.

Обзоръ главныхъ явленій средней исторіи по вѣкамъ. Состав. Я. Г. Гуревичъ. Спб. 1885. Стр. 174. Ц. 60 коп.

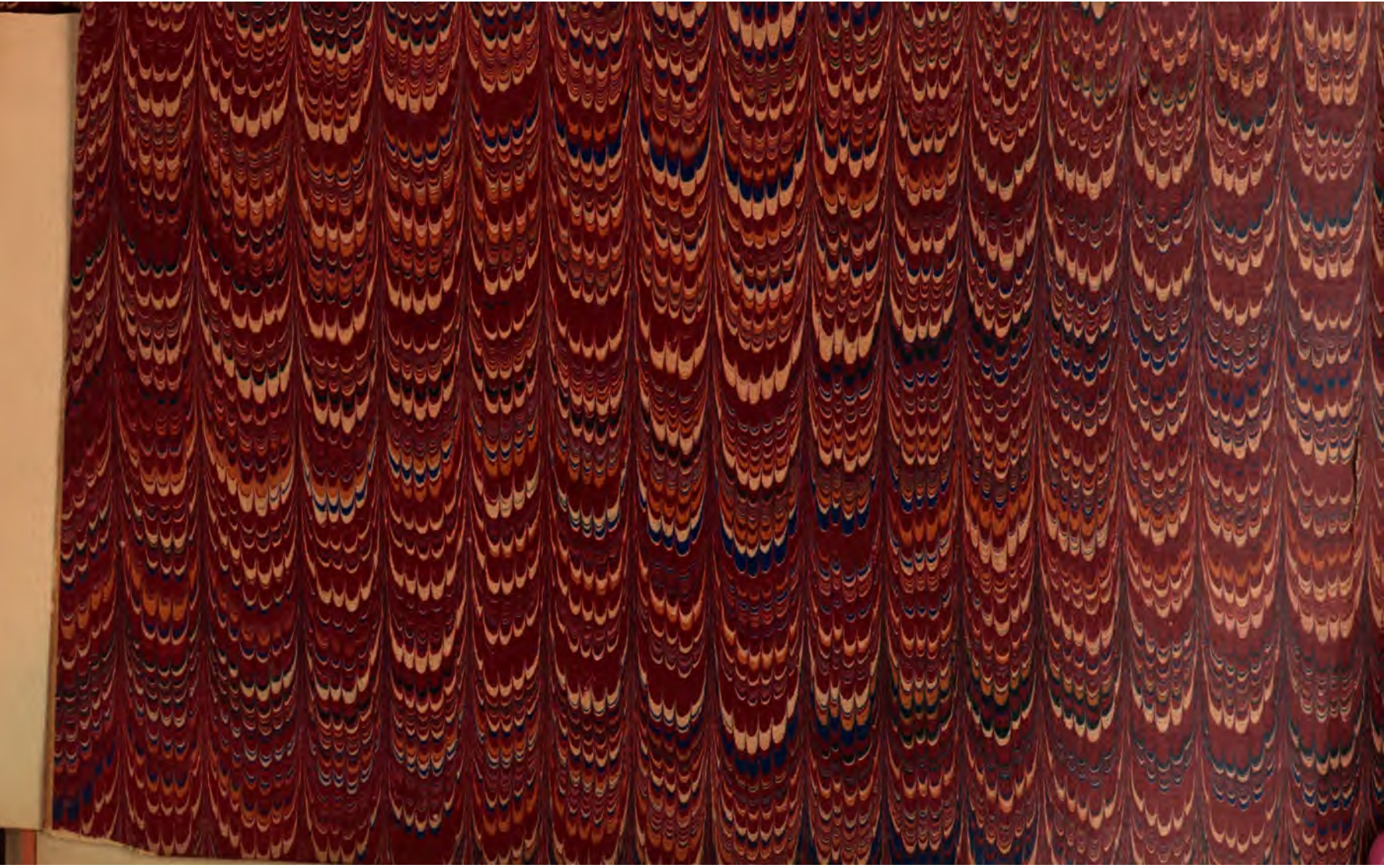
Изъ предисловія къ настоящему „обзору главныхъ явленій (?) средней исторіи по вѣкамъ“ видно, что авторъ поставилъ себѣ задачею возвѣстить крупный, по его мнѣнію, недостатокъ въ преподаваніи исторіи, а именно, отсутствіе „раціональнаго (?) повторительнаго курса исторіи въ выпускныхъ классахъ средне-учебныхъ заведеній“. Для достиженія же такой раціональности, факты и событія изъ исторіи среднихъ вѣковъ группируются и располагаются изъ „по вѣкамъ“. Авторъ самъ признаетъ, что уже только „по этому“, трудъ его не свободенъ отъ различныхъ погрѣшностей—и въ этомъ отношеніи онъ совершенно правъ. Если онъ упрекаетъ въ искусственности всякія другія попытки къ систематизаціи средневѣковой исторіи, то его опытъ вызываетъ еще болѣе упрековъ, такъ какъ составленный имъ обзоръ является чѣмъ-то въ родѣ календаря исторіи среднихъ вѣковъ. Такая календарная форма, по нашему мнѣнію, всего менѣе удобна именно для средневѣковой исторіи—эпохи зарожденія и постепеннаго развитія новѣйшихъ европейскихъ національностей; по системѣ автора, судьба каждой изъ нихъ дѣлится, такъ сказать, на 10 періодовъ, по 10 вѣкамъ, и въ основаніи такого дѣленія лежатъ хотя весьма точныя и круглыя данныя, но имя, однако, ходъ историческихъ событій нисколько не стѣсняется, и избираетъ для себя свои эпохи, безъ всякаго отношенія къ круглымъ цифрамъ. Независимо отъ формы, избранной авторомъ, его трудъ „какъ сокращенный учебникъ, можетъ быть, впрочемъ, признанъ тѣмъ не менѣе весьма полезнымъ, по сжатости и ясности изложенія отдѣльныхъ событій средневѣковой исторіи и характеристики ихъ.

Переходъ Россіи къ регулярной арміи. Изслѣдов. П. О. Бобровскаго. Спб. 1885. Стр. 315.

Настоящій трудъ составляетъ только вступленіе къ важнѣйшей части Воинскаго Артикула, положеннаго Петромъ В. въ основаніе совершенной имъ военной реформы въ эпоху Сѣверной войны. Послѣ краткаго очерка успѣховъ военнаго дѣла въ западной Европѣ, послужившій Петру В. и въ этомъ отношеніи образцомъ и школою, авторъ представляетъ картину того матеріальнаго и нравственнаго упадка военныхъ силъ въ Россіи, въ какое онѣ впали наканунѣ воцаренія Петра В., во второй половинѣ XVII вѣка, и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ подробный обзоръ тѣхъ обстоятельствъ, при которыхъ произошелъ въ Россіи переходъ къ регулярной арміи, потребовавшей для себя и новаго военнаго законодательства. Въ предисловіи авторъ приводитъ тѣ многочисленные источники и пособія, которыми онъ воспользовался при составленіи своего труда, и вмѣстѣ дѣлаетъ краткую оцѣнку ихъ значенія для изслѣдователя исторіи и судьбы нашихъ военныхъ порядковъ въ эпоху преобразованій Петра Великаго и наканунѣ ея.

Вводныя изъ ошибки языкознанія. Соч. А. Питтэ. Перев. съ нѣм. Спб. 1885. Стр. 97.

При обширности литературы по предмету науки о языкѣ вообще и общихъ его законахъ, нельзя не признать полезнымъ перевода краткаго очерка какъ фактовъ, такъ и существеннѣйшихъ результатовъ, которые достигнуты наукою о языкѣ за послѣднія десятилѣтія нынѣшняго вѣка. Авторъ брошюры, одинъ изъ крупныхъ авторитетовъ Германіи, вслѣдствіе въ своей громадный матеріалъ, собранный имъ, и со стороны философской, и со стороны естественной и исторической, а потому интересующіеся судьбою лингвистики найдутъ здѣсь для себя самыя разнообразныя и драгоцѣнныя указанія на литературу каждаго отдѣльнаго вопроса.



3 2044 009 751 439

FEB 6 1886

NOV 14 '58 H

STALL-STUDY
CHARGE